**ХРЕСТОМАТИЯ**

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«ЛИТЕРАТУРНАЯ СИБИРЬ»

**10 класс**

**Второе полугодие**

**К урокам 15-16.**

**Исаак Гольдберг. «Сладкая полынь».**

**Исаак ГОЛЬДБЕРГ**

**СЛАДКАЯ ПОЛЫНЬ**

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

**I**

Двое (может быть, больше) попадают в странное, нелепое положение.

Город обнят двумя реками. На запад и на восток тянутся четверные полосы дорог. Реки вгрызаются в таежные берега. На берегах пристроились деревни.

Город, пути и деревни – и отчасти реки – имеют тесное отношение к тем, которые попадают в странное и нелепое положение.

**II**

Когда поезд, урча и фыркая, уползает на восток и теряется в узком прохладном коридоре, обставленном соснами, на глухой станции остается один пассажир. Женщина. Она стаскивает скудный багаж свой с платформы к дверям и, завидя сторожа, спрашивает его:

– Верхнееланских тут, товарищ, никого нету?

– Нонче не приезжали. Нонче каки поездки? Страдуют на полях...

Сторож оглядывает приезжую и, отмечая для себя что-то в ее внешности, любопытствует:

– А тебе, тетка, туда – в Верхнееланское?

– Туда! – скупо отвечает женщина и подбирает свой багаж: брезентовую, когда-то зеленую, красноармейскую сумку и узловатый тючок. Женщина взваливает на себя, прилаживает за плечи сумку, подхватывает тючок за бечевку, свободной рукой оправляет платочек на голове, отводит выскочившую на лоб тонкую прядь волос и, отставляя немного вбок голову, идет за станционное здание, – туда, где бурая полоса дороги вонзается в ровную стену леса.

– Пешедралом полагаешь попутешествовать? На своих, некупленных? – снисходительно спрашивает сторож.

Не оборачиваясь, по-прежнему скупо и холодно, женщина отвечает:

– Да.

Она спускается на дорогу. Сухая пыль всплывает из-под крепких ее башмаков, серая юбка плещется о ноги, мешок за спиною подпрыгивает, всплывает и качается.

Сторож глядит ей вслед. Он морщит лоб, тащит из кармана кисет, трубку. Красным язычком выскакивает огонь, буроватый дым поваливает из трубки, из его рта. Дым застилает глаза, сквозь него не видно уходящей женщины. Но сторож глядит на зыблющуюся сквозь дым дорогу. Глядит и видит чужое, но знакомое, и чем-то стократно чужим ставшее лицо.

**III**

Собаки кидаются прохожей под ноги, рычат и норовят ухватить за обувь, за подол юбки.

Женщина отмахивается от них подобранной на дороге палкой, и они отбегают от нее к воротам, к завалинкам, оттуда визжат, задыхаются, стонут от ярости. Открываются окна, старушечьи, слепые окрики удерживают собак, урезонивают:

– Цыть, вы!.. Цыть, язвы!..

Старушечьи тупые глаза подслеповато всматриваются в прохожую, оглядывают ее, разглядывают.

Женщина идет кривой, широкой улицей, не глядя по сторонам, не останавливаясь.

Густой и пыльный июль простерся над избами. Деревня заброшенно и малолюдно встречает женщину, которая уверенно проходит мимо молчащих окон, с прильнувшими кое-где к стеклам ребячьими запачканными лицами, мимо узеньких переулков, мимо темных изб.

Уверенно сворачивает она к покосившимся воротам и, встречая звонкий лай остромордой, остроухой пестрой собаки, выскочившей из подворотни, вздрогнувшим потеплевшим голосом (и голос этот печально певуч), окликает:

– Пестрый!.. Дурашка, не узнал?!

Собака обрывает лай, пригибается к пыльной земле, метет широким хвостом пыль и, взвизгивая и рыча, узнает женщину. И, узнавши ее, кидается к ней, скулит, цапает лапами колени, хочет лизнуть, дрожит от возбуждения и, подпрыгнув выше, к лицу женщины, жалобно и недоверчиво, испуганно воет.

– Ну, ну! Пошел, Пестрый! Пошел, старик!

Женщина толкает калитку и входит во двор. Остановившись во дворе, она оглядывается. Она стоит как в забытьи, и собака, поджав хвост, осторожно отходит от нее и издали скулит, дрожа и перебирая лапами. И собака глядит немигающими желтыми глазами. В желтых глазах испуг и недоверчивость и настороженность гаснут. И вместо них теплеет и оживает собачья бездонная преданность.

На чисто вымытое скрипучее крылечко из темных сеней выходит старуха. Старуха вглядывается в пришедшую, шарит взглядом по башмакам, по платью, по котомке. Нащупав лицо (женщина, выйдя из забытья, повернула голову на скрип досок), старуха простирает руки, вскрикивает, подается вперед.

– Осподи!.. Матушка... Аксинья?! Ксеша!..

Женщина, не трогаясь с места, кладет правую, свободную, руку на грудь, теребит лямку от сумки и тихо говорит:

– Здравствуй, кресна!.. Вот я и пришла!.. Поди, не ждали?..

Старуха разглядывает пришедшую, всплескивает руками. Плачет. Слезы часто и легко катятся по темным ее морщинам.

– Што ж это, осподи?! – сквозь слезы, недоуменно и горестно спрашивает она, – Как жа это, Ксенушка?!

И тогда пришедшая ступает вперед, делает первый шаг в родном дворе, и тогда только вздрагивают ее губы, и из правого единственного глаза выкатывается у нее скупая, медленная, сверкающая слеза.

– Вот так, кресна... – обреченно говорит она: – Видищь, кака я красивая?!.

И левая половина лица с выхлестнутым глазом, с развороченным и красным зияющим шрамом сбегается в морщинистую вздрагивающую маску...

**IV**

Вечерняя ласка ложится на деревню. В верхнем конце улицы золотою зыбью стелется пыль: закатное солнце купает в потревоженном прахе земли свои стрелы. Мыча и посапывая, бредут с выгона коровы и вздымают прозрачные и сияющие над ними тучи. С полей, с покосов катятся телеги. С полевых дорог несутся песни, говор, всплески смеха.

Вечер зажигает за пыльными стеклами оконниц золотые огни. Над избами, по-летнему пахучий и легкий, вьется и шагает дым.

Пробираясь в пахучие стайки, скот устало и отдохновенно дышит. Коровы привычно становятся боком, подставляя вымя. И из омытых сосцов крепко и звонко струит молочная нить. И позвякивает тихим шумом в ведрах.

Бурая корова широко захватывает ноздрями знакомый дух. Старуха несет перекрытый чистой тряпицей подойник. Старуха подталкивает ближе к корове обсиженный, темный чурбашек и говорит идущей следом за ней женщине:

– Садись, Ксенушка! Садись к буренке. Это Красавкина дочка... Помнишь, поди, Красавку-то?..

Женщина нагибается к корове, гладит ее бока и ровно отвечает:

– Как же, как не помнить. Помню, кресна... Помню.

Под пальцами сосцы упруго отдают молоко. Молоко льется крепкой и звонкой струей.

Старуха вздыхает. Вздох этот ее облегчает, и она подпирает щеку рукою и, оглядывая потемневший двор, корову и женщину, вдохновенно утешает:

– Ничего, девонька! Ничего. Бог даст, обживешься, обоснуешься... Хозяйство твое исправное, Ксенушка... Хозяйствовала я тебе, чего напрасно хвастать, крепко... Обсмотришься, судьбу себе свою найдешь. Ты не гляди, девонька, что красота загублена. Не гляди! Вот, даст бог, мужика себе найдешь, хорошего мужика. Ей-богу!.. Рази судьба в красоте? Нет... Ты мне поверь, Ксенушка, поверь старухе! Найдешь ты себе судьбу хорошую... Обязательно найдешь.

Тоненькие струйки звучат в подойнике тверже и глуше. Молоко пенится. Корова ровно и мягко жует.

Женщина молчит и крепче сжимает сосцы.

**V**

Город обнят двумя реками. Над реками горбятся мосты. Широкая улица сливается с мостом, у которого потемневшие сваи глядятся в зыбучую неспокойную воду. Одним концом мост сбегает в широкую пыльную улицу, другим упирается в отгороженную колючей проволокой и палями тюрьму – домзак.

Узенькая калитка в больших, кованых железом воротах визжит, приоткрывается. Серым-серым, пыльным кажется платье, серой бледностью светится лицо – человек выходит из калитки. Калитка захлопывается за ним. Человек стоит, беспомощный и раздумчивый. По ту сторону калитки – годы. Впереди – свобода. Вздыхая, человек делает первый тяжелый и неуверенный шаг туда, где свобода.

Он переходит мост, и шаг его делается крепче и быстрей, когда вступает он на разбитую горячую мостовую. Его ноша невелика – небольшой узелок слегка отягощает левую руку, и правой делает он короткие и быстрые взмахи в такт и согласованно с шагом.

Он затерялся в движении улиц. Долго, часы, ходит он из улицы в улицу, из переулка в переулок. Серая, въевшаяся пыль тюрьмы покрывается свежею и густою пылью свободы.

Человек ищет кого-то в городе. Он изредка заходит в какие-то дома. Он заходит в них, окрыленный надеждой, но выходит оттуда на улицу сумрачный, и забота собирает резкие морщины на его лбу.

Когда пыльное дыхание города окрашивается над крышами и трубами домов грязным пурпуром и вечер шлет свое успокоение с гор, человек безнадежно осматривает свои карманы, пересчитывает скудные деньги и уходит в прибазарные улицы и находит там свой первый ночлег на воле.

Наутро он снова выходит на улицу. Борозды и морщины на его лбу еще глубже, рука обессиленно тащит ношу. До полудня ходит он так же бесполезно, как вчера. Он устает, он голоден. Он зол. А пыль мостовых жжет его подошвы, и тяжело липнет к телу заношенная рубаха.

По улицам несутся звуки. Звуки вьются над крышами, над городом. Среди многих звуков один – властный и гудящий – останавливает человека: гудок паровоза, призыв поезда. Человек останавливается среди улиц. Он жадно слушает, вслушивается в этот гудок. Он вспоминает отрывки разговоров на ночлеге, где сошлись и съехались случайные собеседники. И голодный человек тут же вспоминает, что над его головою неистовствует плодоносный август, что где-то за каменными, деревянными кривыми и широкими улицами и площадями открытым раздольем раскинулись поля и светлым золотом блещут созревшие хлеба. Он вспоминает, что за городом с его улицами, которые жгут бесплодным зноем, где-то, на разбеге множества дорог, рассыпались обветренные деревни, а над деревьями август раскинул страду.

Человек шарит по карманам, еще раз пересматривает свои деньги и быстро уходит в ту сторону, где ревут паровозы, где вокзал.

**VI**

В душном, заплеванном, гудящем, многолюдном вагоне махорочный, крепкий, кислый и потный дух плавает. В открытые окна плещется разорванный бегом поезда пыльный зной. К открытым окнам протиснулись люди, чтобы рывком, пригоршней неполной, расплесканной, хватнуть воздуха посвежее, почище, чем в вагоне.

Притиснулся, прижав к груди узелок, голодный и усталый человек. Хватает скупую, невзначайную свежесть, порою сорвавшуюся где-нибудь с распадка, с озерка или речки и плеснувшуюся в грохочущую стену поезда. Усталый человек привалился к стенке, к нему притиснулись жаркими боками другие люди. Вместе с другими людьми, слитно с ними, покачивается в грохоте вагона только что вышедший из тюрьмы, из домзака, человек.

Кто-то сзади, жарко и мутно дыша, заглядывая через окно на светлое золото пашен, завистливо говорит:

– Эх, и хлебушка!.. Урожайно нынче земля потрудилась. Не зря!.. Теперь только успевай управляться!..

Кто-то другой сбоку добавляет:

– Чьи руки работы не боятся, будут с хлебом...

Человек с трудом отдирается от окна, оглядывается, спрашивает:

– Работу, товарищи, можно тут, значит, достать?

– Ты, стало быть, безработный?

Человек отвечает кивком головы, но, спохватившись, говорит:

– Ищу работу... Вот еду до Тырети...

Разные голоса сзади, сбоку кричат ему сквозь сердитый рокот вагона:

– Зачем туда? Там своих много!

– Ежели не по найму туда, лучше не езди!

– Там людьми забито!..

– Самый полный кумплект!..

Растерянно и огорченно слушает человек многоголосый ответ. Растерянно гадает:

–- Как же мне быть? Куда?..

И опять, вперебой, разными голосами, но согласно, отвечают ему:

– Да ты не езди туда! Не езди!..

– Ты, слышь, слазь ближе.

– Этта разъезд, полустанок будет, там ссаживайся. Там сворот на хрестьянскую дорогу имеется... К хлебным деревням!..

– Речка там, слышь! По етой речке деревни уселись. Туда поддайся!

– Конешно, туда!

– Именна!..

В заплеванном, пыльном, многолюдном вагоне шумно. Может быть, человеку, прижатому к окну с узелком, кричат и еще что-нибудь, но он ничего другого не слышит. И когда поезд лязгает и гудит гулче и сочнее, проходя по какому-то мосту, те, с боков и сзади, напоминают:

– Вот сейчас тебе и тот самый полустанок!

– Тут, парень, и слазь... Верно слово!

– Эта самая река и есть. Мост-то... взрывали его в восемнадцатом. Партизаны...

Когда поезд останавливается, человек с узелком протискивается к выходу, соскакивает с подножки вагона и оглядывается.

Поезд с ревом уползает дальше, в узкий, соснами обставленный коридор. Человек снимает свой узелок, смотрит на высокую башню водокачки, на одноэтажное станционное здание, прочитывает синюю надпись на грязно-белой вывеске и что-то вспоминает. И так как это воспоминание, видимо, заставляет его сердце биться тревожней и резче, он стаскивает с головы бурую и мягкую фуражку и заношенным и пыльным рукавом рубахи вытирает вспотевший горячий лоб.

**VII**

Путник идет веселой летней дорогой и несет в себе хмурую и черствую заботу.

В самый разгар страды, в самое настоящее, нужное время он порезал литовкой руку, рука загноилась, вспухла, почернела. Рукой нельзя работать, нужно уходить с поля и уступить место другому, здоровому, у кого руки не изранены, не порезаны.

Путник вздымает нетерпеливыми ногами бурую горячую пыль проселка. Он досадливо бормочет ругательства и злобно поглядывает на завязанную тряпьем, повисшую на самодельной лямке через плечо руку.

Солнце недвижно, печет. Солнце жарит нещадно. Солнце испепеляет непокрытую травой дорожную землю. Путник усаживается в тени, возле дороги, вытягивает ноги, здоровой рукой достает и свертывает себе папироску и, жмурясь от синего едучего дыма, закуривает.

Полеживая, покуривая, путник глядит на безлюдную дорогу. И вот на безлюдной дороге появляются с той стороны, куда направляется он сам со своей раненою рукою, еще один путник, запыленный, распаренный зноем, с маленьким узелком в левой руке.

Двое прохожих, встретясь на пустынной, тихой и жаркой дороге, оглядывают друг друга, бормочут холодные скупые приветствия и готовы разойтись в свои стороны. Но тот, у кого рука на перевязи, досадливо оплевывает на траву, бережно и злобно перекладывает закутанную в тряпье руку, задирчиво и неприязненно смотрит на крепкие и целые руки прохожего и сердится:

– Работу стрелять идешь?

– Да...

– Поди, не жрал?

– Безработный.

– Ну, пофартило тебе!

– Как?.. – Прохожий, который хочет идти своей дорогой, не связываясь с лежащим человеком, у которого завязана рука и глаза которого глядят неприязненно, медлит и со вспыхивающим оживлением переспрашивает:

– Как пофартило?

– А так... Видал – руку я себе покарябал? Ну, значит, теперь я в самый жар к фершалу должен идти... Л кто вместо меня косить будет? Кто управится в горячее время? Понимаешь теперь?

– Не совсем... – сознался прохожий.

– Не совсем? – передразнивает лежащий. – Тут что и понимать?.. Иди, наймовайся заместо меня... В Верхнееланское... Шесть верст туда ходу...

И, не слушая больше прохожего, человек с пораненной рукой переваливается на другой бок, устремляет глаза вверх, сквозь листву, к жаркому небу и резко и неприятно свистит. Какая-то птичка испуганно вылетает из кустов и, кружась над дорогой, улетает подальше от этих беспокойных мест.

**VIII**

Ночи после знойного дня пряно пахнут всем тем, что расплавленное днем злым солнцем плавало густыми и упругими облаками над гладью полей, над сонной водой озер, над духмянно дышащим лесом. Ночи после знойного дня дают усладу крепкого отдохновения. Летний сон короток, беспрерывен и глух.

Старуха крестная спит крепко и шумно. Она дышит громко и всхрапывает и свистит носом.

Сжавшись на своей лежанке, Ксения бессонно и упорно глядит в зыбкую и неверную тьму ночи одиноким глазом. Она высматривает там что-то знакомое, привязавшееся надолго и неотрывно, отчего коротенькими вздохами вздымается грудь, отчего самые крошечные остатки сна тают без конца.

Вспоминается.

Вечером в тот день, когда она вернулась после долгого отсутствия домой, в избу натолкались бабы. Они ахали, качали головами, шумно и соболезнующе вздыхали. Они разглядывали ее с жадным любопытством, щупали взглядами морщинистую, красную, безобразную рану, ахали, всплескивали руками.

И хоть когда-то доходил до них слух о ее несчастье, но, разглядев ее лицо, ее вытекший, выхлестнутый, вырванный с мясом, с кровью глаз, они не скрывали своего ужаса и соболезнования. И бабьей своей жалостью не утешали, не ослабляли зажившей уже было боли, а пуще разжигали ее, сильнее бередили рану.

Они жалели ее сиротскую долю и попутно хвалили крестную, которая в лихолетние беспокойные и непрочные годы кое-как через силу защитила маленькое хозяйство, не дала упасть двору, сберегла Ксении родной угол.

– Ничего, девонька, – утешали старухи (и были их слова так похожи на слова крестной), – обживешься на своем-то месте, в родном углу, гнездо себе совьешь!.. Не горюй! Обойдется!..

За первым взрывом горячих и ранящих соболезнований потекли будничные, каждодневные рассказы и сплетни бабьи. За долгие годы многое накопилось, о чем хорошо бы рассказать этой нежданной поздней гостье.

И среди других новостей и вестей – будто невзначай и равнодушно:

– А Тимоха Коненкинский в третьем году Марью узколугскую высватал. Парнишечка уже у них шустрый растет. Весь, девка, в Тимоху...

Сказали, спохватились, тревожной тишиной разорвали ненадолго шумный говор, потом, спохватившись, громче, вперебой заговорили о чем-то другом, совсем другом и постороннем.

Когда ушли гости, крестная пошла в куть к горшкам. Повозилась там с горшками, погремела ими и оттуда:

– Не хотела я тебя, Ксенушка, тревожить, растравлять... Ну, а как теперь ты дозналась, то не горюй, девка. Брось. Не стоит!..

...В душистую летнюю ночь, когда другим крепко спится, – вспоминается многое. И это ли самое главное?

Ксения упрямо глядит в зыбкую небесную тьму единственным глазом и редко-редко вздыхает.

**IX**

По извилистой Белой реке запали привольно и отдохновенно мягкие луга. Кудрявые тальники редко отгородили паи, ко взгорью рассыпался черемушник. Над тальниками, над черемушником, над цветистой травою стрекочут, как косы, кузнечики, поют, как кузнечики, косы. Ряд за рядом, прокос за прокосом двигаются косцы. Густой зной облил спины потом; сквозь рубахи и кофты проступили темные пятна. Над головами вьются роя мошки, мелкий гнус жалит и щекочет шеи, руки, от него трудно укрыться густой сеткой. По краям полей, по границам паев кудрятся дымокуры: густой белый дым тяжело ползает по земле, бессильный подняться.

Последним в ряду – новый поденщик. Он неуверенно машет литовкой, она позванивает у него в руках тревожно и недоуменно. Уже дважды нажимал он носком в землю, и дважды идущие впереди его предостерегающе кричали ему:

– Чище!.. Пяткой нажимай, пяткой!..

Три дня тому назад пришел он в деревню и обошел ее почти всю, из конца в конец, и только в одной избе застал хозяйку и обратился к ней за работой.

Он вошел, отмахиваясь от собаки, во двор и у крыльца увидел женщину. Она стояла к нему боком и глядела выжидающе на него. Она коротким криком усмирила собаку и спросила:

– Кого надо?

Он сказал, что ищет работу, что только что пришел со станции и что встречный парень сказал ему, что работа здесь есть.

Женщина все еще боком, не поворачиваясь вся к нему, смотрела на него, на его усталое лицо, на пыльные ноги, на узелок. Подумав, она кивнула ему головой:

– Заходи в избу.

И, сказав это, повернула к нему все лицо. И тогда увидел он обезображивающий ее шрам, вздрогнул, потом скрыл неожиданный легкий испуг и поднялся за нею по шатким ступенькам крыльца.

В избе скупо рассказал он ей, что не смог устроиться в городе, отвык от крестьянской работы, но постарается справиться с нею.

Пока он говорил, она подошла к темному шкафчику, достала оттуда что-то съедобное, поставила на стол.

– Покушай, – просто сказала она. – Поди, промялся...

Не скрывая своего голода, он накинулся на пищу, а женщина, чтобы не смущать его, ушла за перегородку, в куть.

Он уснул в этот вечор на поветях, где свежая, недавно скошенная трава пахла тонкими волнующими запахами увядания, смешанными с легкой горечью полыни.

Засыпая, он вспомнил о первой встрече с женщиной, с Ксенией, с его временной хозяйкой. Он видел чистое, простое лицо, немного впавшую щеку, неуловимо-трогательную линию брови и упорный, безулыбчатый взгляд карего глаза. Вспомнил, как вслед затем мгновенное очарование рассыпалось, распалось, когда женщина показала ту, обезображенную, пугающую сторону своего лица.

Но, убаюканный освежающим и бодрящим запахом травы, он уснул крепко и безмятежно...

Идя последним в ряду косцов, он изредка замечал впереди спину Ксении, ее стройные ноги, крепко и легко посаженную голову; следил за сильным и ловким взмахом ее косы. И не мог забыть обезображенного лица.

**X**

В узелке, который принес с собою поденщик, была пара белья и какая-то мелочь. Когда через три дня, в субботу вечером, он устало ужинал рядом с двумя женщинами, младшая, оглядев его, спросила:

– У тебя, Павел, верхней смены нету, што ли?

Работник отложил деревянную ложку и, нахмурившись, ответил:

– Нету.

Женщина мотнула головой, словно ответила себе утвердительно на какой-то вопрос:

– Спать ложиться будешь, кинь мне рубаху-то. Постираю тебе к утрему... Вишь, срамно-то как. Заносил ты ее больно.

Работник ничего не ответил, наклонил голову над хлебом и сжал обветренные губы. Только немного погодя, поглядывая в сторону, он словно спохватился:

– Спасибо... Только беспокойство вам...

– Какое беспокойство! Я заодно со своим постираю...

В воскресенье работали, урывая погожие сеностойные дни, только до обеда. После работы работник в вымытой хозяйкою рубахе выходит на деревню, которую еще не успел по-настоящему оглядеть.

У ворот на лавочке сидят старики. По Пыльной улице носятся ребятишки. В горячем воздухе сухо плещутся звуки: ребячий крик, громкий говор, позванивающий хрип гармошки. Работник идет мимо стариков, здоровается с ними. Старики взглядывают на него, глядя ему вслед, говорят о нем за его спиною. Из окон выглядывают бабы и девки, смеются, задорно поблескивая зубами.

С верхнего конца деревни навстречу работнику с усиливающимся звоном гармошки движется ватажка парней. Они молча и сосредоточенно шагают под песню гармошки; гармонист молча и сосредоточенно раздирает, раздувает мехи.

Работник хочет посторониться, разминуться с парнями, но его заметили, его оглядели, к нему устремились, ему кричат:

– Эй, паря! Заворачивай с нами!

– Иди в нашу компанию!

– Гуляй сюда!

Его окружают. Он глядит на парней, видит тянущиеся к нему руки, здоровается. Нехотя, невесело и вяло пристает он к ватаге и вместе с нею идет обратно по широкой пыльной улице.

Гармошка хрипит мехами, выкрикивая частушку. Парни молчат, парни молча вздымают горячую деревенскую пыль.

Идущий рядом с работником говорит ему:

– Ты, городской! Тебя как звать-то, городской?

– Павлом.

– Ты, Павел, приходи вечером на вечерку. С тебя вспрыски полагаются. Поставишь?..

Остальные парни слушают, ждут ответа.

– Ладно! – говорит Павел, – поставлю. Возьму у хозяйки заработанное да поставлю.

Парни одобрительно кивают головами. Гармонист перестает играть и ухмыляется:

– Возьми, возьми! Только навряд ли у кривой, у партизанши, деньга водится!

– У партизанши?!

Павел, работник, изумленно глядит на гармониста, всматривается в других парней:

– Почему партизанша?

– А глаз-то ей белые выхлестнули.

– В девятнадцатом году. На линии...

Павел отводит глаза от парней, оглядывает свои сбитые, запыленные сапоги. Гармошка снова гудит переборами, парни снова молчат. Тогда Павел приостанавливается и отстает от ватаги.

– Ты куда?.. Ты пошто?..

– Я, ребята, пойду... Нужно мне, – изворачивается Павел.

– Ну, иди! Ступай! – кричат парни. – Ты не забудь только вечером выставить!

– У Потапихи!.. Крайняя изба от поскотины!..

Парни уходят. Пыль вьется за ними. Звуки уползают. Павел остается один. Смотрит на потемневшие старые бревенчатые стены изб, на серую улицу, смотрит вдаль, туда, где изба его хозяйки.

**XII**

Жаркие дни тают одни за другими. На покосах круглыми шатрами выросли душистые копны. По пологим склонам пашен выстроились шеренги суслонов. Горит работа, горят руки от работы. Ночью уставшее за день тело сразу тонет в мягком бездонном сне. Ночью густой беспрерывный и жаркий сон кутает деревню, обволакивает ее, колдует.

Павел засыпает сразу же, как только добирается до постели. Непривычный полевой, крестьянский труд накаляет тело жгучей усталостью. Руки и ноги ноют, в ушах стоит серебряный протяжный звон, в голове нет мыслей.

В голове нет мыслей – и это самое сладкое, самое настоящее, самое нужное.

Потому что Павел принес с собою городские, свои, тогдашние (о том, что было до домзака и там, в камерах и на пустынном тюремном дворе), ненужные здесь мысли.

Ночью Павел редко просыпается. И утрами – ясными, розовыми и волнующими утрами – он с трудом продирает глаза и часто видит возле себя хозяйку Ксению, которая трясет его за плечо и громко кричит:

– Заспался! Будет спать!.. Вишь, солнце-то уж где!..

И когда, проснувшись от чужих прикосновений и громкого голоса, он замечает склонившуюся над собою Ксению, Павел весь съеживается и замирает и ждет.

Но уходит хозяйка, он выскакивает во двор к полубочью с холодной водой, плескает себе на руки, на лицо расплавленную свежесть утра, и наскоро позавтракав, отправляется в поле.

Но наступает неизбежное утро, когда Павел, проснувшись, схватывает Ксению за руку и не соображая, не думая, как во сне, который только что отлетел и еще виснет вот где-то здесь близко, тянет к себе. И чувствует, что рука Ксении, поддавшись в первое мгновенье, сразу крепнет, напрягается в сопротивлении, и голос женщины, ставший сразу жестким и отчужденным, звучит властно и угрожающе:

– Но-но... Не балуй... Думаешь, ежели кривая, так можно?!

Сон тает без остатку. Павел убирает быстро и тревожно свою руку и виновато молчит.

А потом целый день, на работе, за обедом и позже, за неторопливым ужином, прячет свои глаза от женщины, норовит уйти, когда можно, от ее взгляда. И только в полутьме остывающего вечера, прежде чем уйти спать, ловит Ксению и просит:

– Ты, Ксения Михайловна, извини меня... Напрасно я утром обидеть тебя хотел... Совсем напрасно.

Женщина, хоть лицо ее скрыто вечером, отворачивается от Павла. Павел слышит тихие и примиренные, дрогнувшие слова:

– Ну, коли сам сознаешь, отчего же не простить? Я зла не буду держать на тебя, Павел...

Павел облегченно вздыхает и уходит спать.

А ранним свежим, бодрым и звонким утром его будит непривычный голос. Он открывает глаза и видит возле себя Арину Васильевну, крестную.

**XII**

Широкую деревенскую улицу дважды перерезали кривые проулочки, сбегающие к гумнам, к темному, прохладному бору. Над второй избою с краю от нижнего проулка белеет вывеска. Неодинаковыми, разбегающимися буквами на вывеске чернеет: «Сельсовет».

В летние страдные дни крыльцо сельсовета пустует. Только изредка выковыляет из дверей и сядет на верхний приступок сторож Афанасий – Афонька кривоногий. Он сядет, широко и неуклюже расставив выгнутые дугою ноги, почешет выдубленной черной рукой под трепаной меховой шапкой, поглядит на пустынную, серую улицу и плюет, долго откашливаясь, на нижние ступеньки крыльца.

Редкие, застрявшие на деревне мальчишки, пробегая мимо сельсовета, мимо Афоньки кривоногого, высовывают ему языки, дразнят его. Афонька свирепей плюет, сует в сторону охальников кулак и хрипит:

– У, гаденыши!.. Черти болотные!..

Но в страдные дни мало ребятишек на улицах; только дремотные псы, опустив морды и лениво волоча хвосты, тихо крадутся в тени и издали оглядываются на четырехступенчатое крыльцо и черного старика на верхней ступени.

В летние, в знойные, в рабочие дни пусто в сельсовете. Единственный и главный хозяин здесь – Афонька кривоногий. Афоньке наскучит сидеть на крыльце, он, кряхтя и посапывая, уплетается в сторожевую свою каморку и заваливается спать. Поспавши, пойдет в «присутствие», в обширную, заплеванную комнату с обвешанными плакатами и правилами стенами, пороется на председателевом столе, вытащит какую-нибудь бумажку погрязней, поисписанней, отдерет от нее клок и закрутит из самосадочного крепкого и непроворотно-душистого табаку самокрутку потолще.

А потом, искуривши ее, снова пойдет дремать на крылечко или в каморку свою.

Бурая пыль вяло стелется по земле; курица от зноя, от истомы врывается в рыхлый прах улицы и трепещет крыльями. Бурая пыль катится с верхнего конца деревни, и из тучи пыли вырастает мягкий грохот. Зыбкая, скрипучая одноколка-таратайка влечётся пегой лошадью. Лошадь головой и хвостом отмахивается, отбивается от гнуса, от паутов. Туча пыли подкатывает к сельсовету к крыльцу, к Афоньке кривоногому.

Не слезая с таратайки, рыжий мужик заодно, враз, тпрукает на лошадь, кричит сторожу и роется в мешке:

– Афанасий Косолапыч! Не помер еще?.. Примай пакет из волости! Жива!..

Афанасий мотает головой, сбрасывает с себя сон и медленно лезет вниз с крыльца:

– Ты пошто суетишься? – хрипит он. – Пошто кирпичишься ты, Селифан Петрович?

Рыжий мужик вытаскивает из мешка помятую бумагу, сует ее Афанасию и чмокает на лошадь.

– Эх, и горячий ты! Кипяток! – огорчается Афанасий, подхватывая бумагу.

Пыль вздымается из-под мохнатых ног, из-под толстых колес. Из пыли, на ходу, рыжий, оборачиваясь, кричит:

– Мне в Ерши обязательно поспеть надо!.. К свату... Это я запопути в волости комуху-то то спел!.. Прощай, Косолапыч! Кланяйся!..

Пыль вместе с таратайкой, с рыжим Селифаном Петровичем несется дальше. Афанасий ползет по ступенькам вверх. Наверху, на крыльце, останавливается, вертит в руках бумагу, разглядывает ее. Бумага без конверта, бумага исписана только наполовину и сложена вчетверо. Афанасий роется в кармане штанов, нащупывает хрусткие корешки табаку, думает, неодобрительно жует губами и несет бумагу в присутствие, на председателев стол.

Позже Афанасий приходит снова к этому столу, берет привезенную Селифаном Петровичем бумагу и, нацелившись на грязную, исписанную половинку, отрывает от нее лоскут и закручивает самокрутку...

**XIII**

Закоптелые, приземистые, со светлыми глазками-оконцами бревенчатые бани сбежали по косогору к Белой реке. К баням от дворов, от огородов, от изб протоптаны торные дорожки. У ленивой воды вьется трава. За рекой берег крут и обрывист. Обнажена сыпучая плоть земли, краснеет глиной, осыпается, как брызги застывшей крови. За рекой на крутом берегу корявые сосенки ползут ввысь. Легкий перевал уводит в прохладный борок, за борком, за широкими старыми пряслами поскотины – поля. За полями лес, лес, лес. А выше, а дальше хребет: тихий, молчаливый, укутанный мохнатой шубой тайги хребет.

Ксения брякает ведрами у воды и носит ее в натопленную баню. Ксения не вовремя топит баню: крестная с утра занемогла, разломило ее старые кости, стонет, жалуется:

– Попарить бы спинку-то, Ксена!.. Бать, облегчало бы мне!..

Урвав золотое время у работы, Ксения облаживает баню.

Зачерпнув ведром воду, замедлилась она у речки, опустила, поставила ведра возле себя, выпрямилась. Глядит на речку, на красный яр заречный, на темный борок и высящийся над ним круглый хребет.

Глядит и считает.

Сколько лет тому прошло, как вот в этом борке; разбуженные земляной внезапной грозою, сосны трещали ветвями, скрипели, вздрагивали, и над их шапками встревоженными плыл беспокойно, клочьями, остро и чадно пахнувший дым? Сколько лет прошло?

В деревне искали дезертиров. Трое были застигнуты врасплох. Нежданно-негаданно пришли солдаты, зашарили по избам, по дворам, по поветям. Трое разными дорогами кинулись бежать. Один заскочил в Ксеньин двор, заметался, обезумел, ослаб. Шинель с медными пуговицами (на пуговицах львы) мешала ему, он бросил ее возле амбара. Он без толку кидался по углам.

Ксения вышла к нему, охнула, услыхав шум на деревне, выстрелы, сшибла с ног перепуганную крестную, кинулась в избу. Из избы выбежала с ворохом тряпья в руках.

– Переоболакайся!.. Скорее!..

Сама помогла тому, опаленному опасностью, переодеться в свое платье, сама вытолкала его задами, огородами к баням, к броду. И он, непривычно путаясь коленями в широкой цветастой юбке, побежал по тропинке.

Были крики позади, во дворах; рвали внезапным хлестом воздух винтовочные выстрелы. Был шум тревоги и смятенья. Бежали по дворам, шарили, искали. В Ксеньином дворе наткнулись на брошенную шинель, накинулись на старуху крестную, до смерти напугали ее допросом и криком. На огороде застигли Ксению, грубо и зло приволокли ее на двор. А на дворе многолюдье, солдаты, начальство. Кричали на Ксению, грозили ей. Молчала она. Коротко сказала, что ничего не знает, ничего не ведает.

А пока кричали и допрашивали, где-то хлестнули выстрелы, и после короткой тишины над хребтами, над рекою покатился гул. Гул рос со стороны огородов, он приближался, из неясных сплошных возгласов вырвался отчетливый и ясный крик:

– Поймали!..

Во двор вкатилась толпа. Впереди толпы окровавленный, обессиленный, смешной и неуклюжий, в бабьем, Ксеньином, платье беглец...

...Ксения со вздохом наклоняется к ведрам, легко берет их, легко несет к бане. Возле черной двери останавливается и смотрит на тропинку.

Вот по этой тропинке, по этой самой дороге...

**XIV**

Белая река извилась по лугам, обставилась кое-где тальниками. К тальникам, под которыми стелются густые лохмы дымов, у дымокуров, в обеденный перерыв, сложив косы и разминая на умятой траве ноющие руки и сведенные работою спины, на отдых ложатся косцы.

С ближайших паев приходят к общему дыму, к общей прохладе соседи. Развязывают свои узелки, расставляют свои туесы: трапезуют.

Ребята уходят за тальники, быстро сбрасывают с себя одежду и шумно бултыхаются в воду. С плеском потревоженной воды мешаются громкие крики и звонкие всплески веселого смеха.

Ксения раскладывает на суровом полотенце надвое порушенные шаньги и встряхивает стрелками зеленого сочного лука.

– Вот у нас тут, – говорит она неожиданно, и соседи поворачивают головы в ее сторону, изумленные разговорчивостью скупой на слова женщины: – Лук, говорю, у нас экой маленький. А робила я в совхозе, такой-то хрушкой да отборный родится – чисто загляденье... Сладкий!..

Павел внимательно разглядывает травинку, которую вертит в пальцах, и мотает головой.

– Испанский. Есть такой сорт. Его богатые люди вместо хорошей закуски употребляют. При выпивке.

Черный, белозубый мужик усмехается и метет закурчавившейся бородой траву: лежит он на брюхе, руки под грудь уложил, вылеживает замлевшие кости.

– Чудаки! – грохочет он. – Рази эго дело – сладкая луковица, да еще к выпивке?! Для закуски обязательно лучок надобен едучий, чтоб скрозь продирал, до слезы!.. Чудаки люди!

Черный мужик смеется. С черным мужиком смеются остальные.

Усмехается Ксения. Но тает ее усмешка, и строгим и тревожным становится лицо, когда веселоглазая, светловолосая баба, сидящая против нее, громко спрашивает:

– А ты, Ксения, в каком таком сахозе живала? Долго ли?..

Павел ухватывает этот вопрос, настораживается, украдкой глядит на Ксению. Но она берет шаньги, сует их, не глядя, Павлу и озабоченно торопит:

– Ешь, Павел... Время-то пошто без толку провожать?..

И вопрос любопытной женщины остается без ответа.

День уходит. Сползаются тени из-под кустов, стелются по покосам, гладят несворошенные ряды пахучих умирающих трав. С полей в деревню тянутся наработавшиеся, уставшие косцы. На вспыхивающем небе алыми полотнищами играет закат.

Павел, покачивая косою на плече, идет следом за Ксенией. Усталые ноги бороздят по тропинке; взрывается легкая пыль и неуловимо сверкает на закатных огнях.

У самого дома, у Ксеньиных огородов, когда нужно перелезать через изгородь, Павел спрашивает:

– Ты давеча, Ксения Михайловна, про совхоз помянула... В работницах, что ли, была там?

Ксения молчит. Она перелезает ловко и опрятно через прясло, берет свою литовку, туес, оправляет подол. Прежде чем идти дальше, говорит:

– Я по чужим людям много пожила... Об этом нечего разговаривать... Это ни к чему... Думаешь, сладко мне было с этим лицом домой ворочаться?.. Обвыкла я в чужих людях...

– Где это тебя? – осторожно, опасливо ведет свое Павел.

– Глаз-то?! – загорается Ксения. – Про беду мою хошь разузнать?! Белые это. Гады!.. На линии...

Но, спохватываясь, словно припомнив свое что-то, укромное, затаенное и выношенное, Ксения сразу обрывает, круто отворачивается от Павла и быстрее идет к дому по меже, в густом картофеле. Густая темная ботва цепляется за ее ноги, удерживает ее; она легко вырывается из влажных и ползучих пут.

Молча доходят они оба до двери.

Павел складывает косы под поветью, Ксения с крыльца кричит ему:

– Завтра на дальнее ноле поедем. К калтусам...

– Ладно...

**XV**

В воскресенье вечером у сельсовета золотые огни самокруток и мерный говор отмечает ровную неторопкую беседу. С деревни сошлись поговорить мужики, поймали председателя и пытают его о всякой всячине.

Афанасий Косолапыч громоздится на перильцах крыльца и озорно заводит председателя. Афанасий с утра сковылял на заимку, на заимке повстречал самогонщиков, угостился по-хорошему, потом на пути в Ворхнееланское поспал в ельнике, а теперь куражится с полпохмелья:

– Ты, Егор Никанорыч, заводи, шуруй в волости, пущай они там супонь подтянут!.. Пошто карасину мне мало отпущают? Никак мне несподручно клопов в потьмах давить... Вали, действуй, ты начальство!..

Мужики лениво смеются. Егор Никанорыч выколачивает трубку о ступени и кряхтит.

– Совсем мужичонка скопытился! – пренебрежительно говорит он мужикам: – Никакого резону не понимает: почем зря карасин жгет, и никаких толков...

– Я всякие толки понимаю! – пыжится Афанасий. – Я по летнему делу все присутствие на себе держу!.. Это понимать надо! А что касается карасина, так подай по плепорции – и не шабаршись!..

– Помолчи ты, Косолапыч! – вяло говорит кто-то снизу. – Чисто грохот, никакого удержу.

– Я те загну – Косолапыч! – ворчит Афанасий. – У меня имя-величанье православное имеется.

– Ну и молчи!

– Ну и молчу!

Среди наступившего ненадолго молчания раздается голос председателя:

– Как бы, ребята, промашки не вышло с налогом.

– А што?

– Опять какая-нибудь заваруха? Опять рази по-новому?

– Нет заварухи никакой. Только оногдысь в волости прижимали, чтоб никакой утайки и, значит, своевременно.

Мужики на крыльце и возле него шевелятся. Огоньки прыгают, Гуще трубочный махорочный дым.

– Эвон какие удалые! Хлеб-то еще на корню, без малого, а они там: без утайки! Умники-разумники!

– Это ни к чему, што на корню. Вы такие издашны, вы своего не пропустите: ямы-то, поди, позапрошлогодние в исправности?

Язвительный голос в темноте хлещет остро, берет за живое. Мужики бурлят, некоторые встают со ступеней, оборачиваются на голос, шумят:

– Ямы-ы... Ты ямами не попрекай!

– Когда нужно было, так и по ямам прятали. Сам, поди, тоже прятал!

– Обязательно! Куды больше?! Он не хуже других...

– Я против закону никогда не перечил...

– Конечно! Ты – известный праведник!..

– Оттого и в волость к коммунистам шляешься... Чтоб, значит, поближе к начальству.

Председатель кряхтит, отхаркивается, покрывая перебранку, кричит:

– Мужики! Ребята! Да не гыркайте вы!.. Чо, на самом деле, орете? Рази мужик неправду толкует?.. Прятали – это раз. Ну, и есть опасенье, чтоб и нонче не прятали... Конечно, было бы вам упрежденье, а там как хотите...

– Слыхали!.. Ладно!

– Когда ешо будет. Надоест, поди, об этом глотки драть...

Опять стелется молчание. Густой пахучий вечер молчит. Здешнее молчание тонет в ясности и покое вечера.

Перед тем как расходиться мужикам, Егор Никанорыч, председатель, мимоходом роняет:

– Тут еше Ксения Коненкина жалобилась. Находит для себя обиду в пае...

– Какая ешо обида? – снова вспыхивают мужики.

– Как обчество выделило, так, значит, и ладно.

– Она незнамо где шлялась кою пору, а земле рази пустовать?

– Об чем разговор: дадено ей по положению, ну и нечего мир мутить!

– Да это я так, к примеру, – вяло успокаивает Егор Никанорыч, – конечно, как обчество положило, менять не будем... Только, пожалуй, пойдет она в волость, а то, может быть, и до города дотакнется...

– Ну и пущай!..

– Ее дело!..

**XVI**

К крестной, к Арине Васильевне, на огороде подходит Потаповна, черная прямая старуха, опирается на изгородь, говорит:

– Чего это, Васильевна, Ксенка твоя, чай, полным хозяйством обзаводится?

– Не пойму я, – недоумевает крестная, – об чем ты толкуешь?

– Кака ты непонятливая, – морщит усмешкой изборожденное старостью темное лицо свое Потаповна. – Парня-то приблудящего совсем к себе прикрутила, говорю, иль на время?

Брови у крестной сбегаются, вздрагивают гневно губы:

Побойся ты бога-то, Потаповна! Чего говоришь?..

– А я что говорю? – удивляется старуха и прячет хитрость в выцветших глазах. – Что люди, то и я!

– Да и люди зря треплют языками... Павел у нас работник, человек временный. Сегодня поработал, а завтра, глядишь, и нету его.

– Ну, давай бог, давай бог! – смиренно вздыхает Потаповна и отлипает от изгороди, уходит.

Крестная Арина Васильевна смотрит ей вслед, крутит головой, вздыхает.

Но она подавляет вздохи и уходит в неотложную, неждущую работу.

А вечером, когда сон готовит свое мягкое бездонное ложе, когда Павел после ужина уходит на поветь, крестная не укладывается на своей лежанке, снова вздыхает и тихо окликает Ксению:

– Слышь, Ксена, что люди-то стали болтать?

Ксения, сбросив с себя исподницу, в одной розовой рубахе, теплым пятном мерцая в полутьме, быстро оборачивается, настораживается:

– Об чем?

– Об тебе, девка... Давеча Потаповна про тебя с Павлом наветки сплетала. Судят, говорит, люди про вас дурное...

– Людям рта не заткнешь! – зло говорит Ксения и в голосе ее холод. – Люди всякое могут наплести.

– Я и то толкую! – подхватывает крестная. – Языки-то долгие... Только... – крестнин голос делается вкрадчивей и глуше: – Ты ба, Ксена, ежели што, поопасилась...

Ксения молчит, потом сухо, невесело смеется:

– Эх кресная!.. Ну ладно...

Устало, протяжно вздыхая, Арина Васильевна укладывает кости на покой. Ксения садится на постель, обхватывает колено руками, сцепляет пальцы. Застывает без сна.

Ночь плывет мягкая, сосредоточенная, неторопливая. Сквозь щели в ставнях вливаются в душную избу серебряные нити. Вливаются и тают в рыхлой тьме. По стенам, по потолку мелкие шорохи и трески. И, покрывая их, мерный негромкий храп спящей Арины Васильевны.

Ксения застывает, кутается во тьму; в сонной тревоге избы, сцепив пальцы на теплом колене, холодеет и борется с мыслями.

И мимо многих горячих и тревожных мыслей своих проносит она мысль о бабьем одиночестве своем, о невыплаканных слезах, об обидах, которые еще будут.

В рыхлой тьме полнее тают вползающие через щели ставни тонкие светы; рыхлая тьма светлеет: ночь проползла ровный и отмеренный путь свой и повернула к рассвету.

Ксения выпрямляется, потягивается всем телом и ложится на постель, чтоб урвать кусочек ночи и сомкнуть ненадолго глаза.

Утро встречает ее, как всегда, крепкой, сильной, готовой к жаркому, томливому труду.

Утром, еще покуда не пришел к завтраку Павел, она говорит крестной:

– Я, крестная, так думаю: сама я себе хозяйка! Своей волей живу. Пущай люди свои беды расхлебывают, я сама со своей управлюсь!..

Арина Васильевна молчит. В ее глазах испуг и неодобрение.

**XVII**

Мимо верхнееланских нолей, мимо бурых, зеленых, черных и золотых лоскутов земли дорога ведет в волость, в деревню Острог.

Летняя дорога пустынна. Летним зноем прибитая, лежит спокойно дорожная пыль.

На полях разноцветными пятнами движутся люди. На полях неустанно и споро кипит работа. И когда на свороте дороги вырастает облако пыли и из облака этого выносится тарахтенье телеги, люди с косами, с серпами, люди у борон, с тучами мошки над головами на мгновенье приостанавливают работу, оборачиваются в сторону ожившей дороги и глядят.

Усталая мухортая лошадь тащит телегу, на которой вразвалку полулежит мохнатый, бородатый мужик. Лошадью правит мальчонка в картузе, картуз мальчонке налезает на глаза, мальчонка грязной рукой все время поправляет его и по-взрослому солидно и строго покрикивает на лошадь.

Лохматый мужик навеселе, завидя поля, людей на молях, кладет тяжелую руку на детское плечо и кричит:

– Стой!

Мальчонка натягивает вожжи, останавливает лошадь и поправляет картуз.

Вылезая из телеги, мужик опускает на землю ноги, обутые в старые рыжие солдатские башмаки с истрепанными обмотками, и ухватывается тяжело одною рукою за передок. На земле мужик стоит нетвердо, и когда идет к ближайшим приостановившим работу людям, то пошатывается и прихрамывает: пошатывается оттого, что выпил, хромает потому, что одна нога – правая – слегка согнута в колене.

– Здорово, пахари, работнички! – кричит он весело и озорно. – Потеете?!..

Подошедшие к дороге, разглядев приезжего, махают руками и насмешливо отвечают:

– Здравствуй, здравствуй!

– Это опять, значит, ты, Архип?

– Снова чертомелешь?.. В самую что есть рабочую пору гулянку заводишь?..

И люди уходят обратно на поля, к серпам, к лошадям, к работе.

Архип глядит на них, смеется. Широкое лицо, заросшее грязной бородою, кривится от смеха, белые зубы молодо блестят, пряди грязных курчавых волос сбегают и дрожат на морщинистом темном лбу.

– Хлебушко жнете? – кричит он полям и людям. – Землю-кормилицу зорите?! Ладно, пожалста, с полным удовольствием! Жарьте!.. Жарьте, елки-палки!

Люди возвращаются к работе, люди не слушают лохматого, хромого мужика. Мальчонка налаживает замызганную рваную шлею на лошади и все поправляет картуз.

Архип умолкает на мгновенье, смех тает на его лице, изумленная обида растягивает его губы и кривит их.

– Молчите?! – горестно изумляется он и широко взмахивает руками. – Вам Архип Степаныч Ерохин, партизан пострадавший, привет делает, а вы морды сытые воротите? А?

Мальчонка залезает в телегу и деловито прерывает мужика:

– Едем, что ли, тятька?

Архип поворачивает к нему огорченное лицо и вежливо и просительно говорит:

– Василей Архипыч, погоди! Обожди, пожалста. Дай мне этим бестолковым всю правду выяснить. Всюю правду-матку...

И, внезапно свирепея, подается туда, в сторону работающих людей:

– Обормоты! Храпы!.. С чего рыло-то воротите?! Кто вам землю-то эту приспособил? Кто от белых, от колчаков отбивал? Я – Архип Степаныч Ерохин, партизан, воитель!.. А кто, елки-палки, кровь проливал за эту самую землю? Я!.. Из ваших верхнееланских, окромя Ксенки, кто бил колчаков?! Едрена шишь!.. Теперь хозяевами полными стали, зарылись... А у меня всюю нутро отбило, ногу и руку покарябало. У Ксенки очка нет, спорчена баба, а вы на готовеньком! А?.. С вами Архип Степаныч Ерохин, партизан, здоровкает, а вы не желайте?! У, обормоты!..

На полях, на золотых и черных лоскутьях земли движутся люди; работают. Слышат Архипов крик – и молчат.

Мальчонка подбирает веревочные размочаленные вожжи и, встряхивая головой, кричит Архипу:

– Залазь, тятька! Будет. Поеду я. Хватит тебе орать-то.

Сразу опадая, срываясь с голосу, Архип умолкает и неловко лезет на телегу.

Мухортая лошадь испуганно трогается, телега тарахтит, облако пыли плывет за нею.

Над полями, над землей тихий зной.

**XVIII**

Приходит день – хлеб свезен на гумна, сено сметано и народы, обведено остожьями, ночи становятся ясными, темными и звонкими, как тугое стекло.

Приходит конец страде, и уже подает о себе знаки осенняя пора золотом пажитей, бурой, но еще цветистой и сочной зеленью хребтов, ранним звонким лаем собак на заре, кудрявыми султанами дыма над темными крышами.

Павел увязывает свой узелок. Новые ичиги, рубаху и немного денег – свой заработок готовится унести он отсюда. Работа кончилась, теперь снова нужно возвращаться в город, снова бродить по улицам, опять искать.

Павел озабочен и молчалив.

Ксения стоит возле печки и смотрит на него и думает. Она следит за его неторопливыми движениями, она видит его загоревшую шею, золотящийся затылок, согнутую спину. Заметив прореху на его рубахе, она оживляется:

– У тебя, Павел, в городу-то кто есть?

– Никого у меня там нет, – не оборачиваясь, отвечает Павел: – Я там чужой!..

Ксения молчит и снова думает. И снова после некоторого молчания:

Коли никого там нету, туго, поди, тебе придется?

– Пожалуй, – пожимает плечами Павел. – Хлебну мурцовку. Ну, все-таки окреп я на твоих хлебах, теперь легче будет работенку искать.

Узелок завязан. Павел выпрямляется, пробует приладить его за спину и встречается взглядом с Ксенией. Она ловит его хмурую улыбку и, подавшись вся к нему и открывая перед ним свое лицо – глубокий сверкающий единственный глаз и безобразный шрам – тихо говорит: Оставайся, слышь, Павел, оставайся!.. – И с погасшим порывом прибавляет тише: – ...Ежели не обрыдно тебе со мною...

Павел складывает узелок на табуретку, подходит к Ксении вплотную.

– Мне бы тебе сказать нужно...

Но она перебивает его, что-то отгоняя и от себя и от него:

– Ты ничего не говори. Не надо!.. Ты только по правде: ежели не обрыдна я тебе, оставайся!..

Павел остается.

**XIX**

К покрову ждали снега. Такое поверье у народа, что на покров богородицы обязательно земля, уставшая от родов, должна укутаться белым полотнищем снега. Но с утра небо стояло ясное, глубокое, и усмиренное осенними ветрами солнце светило ярко и неомрачимо. Земля щетинилась жнивьями, желтые поляны сбегали с угоров, черными спутанными сетями громоздились тальники и черемушники возле Белой реки. У берегов звонкие льды прикрывали студеную и ясную воду. Осень взмахнула обезувеченными крыльями своими, дрогнула, застыла. И вот-вот должен был просеяться первый пахучий, некрепкий и ласковый снег. Должен был, но не просеялся, не пал на землю, не укрыл ее.

К покрову отпросился зачем-то Павел у хозяйки, у Ксении, в город.

Ксения, отпуская Павла, встрепенулась, подавила в себе мгновенную тревогу, но спокойно сказала:

– Поезжай. Коли ненадолго, без тебя управимся

Павел уехал.

Арина Васильевна подглядела за Ксенией, помолчала. На второй день за ужином мимоходом бросила:

– Без Павла чтой-то скушно.

– Какое тебе веселье надобно? – нахмурилась Ксения.

– Все коли быть мужик в доме. Вечера нонче долгие становятся, не так сумно с мужиком-то.

Ксения промолчала и отвернулась.

На пятый день Павел вернулся.

Когда он, после, полудня, вошел во двор и добродушный приветливый лай Пестрого отметил его возвращение, Ксения стояла на поветях. Она увидела Павла и вся подалась вперед и внезапно обессилела. Ноги задрожали у нее, и она опустилась на пахучее, душистым холодком веющее сено.

Павел, не заметив ее, вошел в избу.

Ксения отдышалась и отошла. Лицо ее зарумянилось, глаз сверкнул радостно. Она поправила платок на голове, спрыгнула легко и ловко с поветей, отряхнула юбку, мгновенье постояла. И пошла. И в это мгновенье, пока стояла она, прежде чем пойти в избу, улыбнулась она широко и светло, улыбнулась радостным и легким мыслям своим, которые наконец пришли к ней.

В избу вошла она спокойная и приветливая.

– Вернулся, гулеван? – певуче сказала она.

Вместо Павла поспешно и охотно ответила крестная:

– Вернулся, вернулся!

Ксения помрачнела и сердито взглянула на старуху. Но ясным снова стало ее лицо, когда услыхала она веселый и бодрый голос.

Вернулся!.. Здравствуй... Хотел я управиться раньше, да не вышло.

– Что ж... тебя не неволили, мог и дольше пробыть...

Павел поглядел на Ксению, отвел глаза в сторону.

– Мне в городе-то не очень сладко... Тяжело там. Кому, может, и хорошо, только не мне.

– Трескучая жизнь в городу-то! – всунулась крестная. – Пошто это они там все суетятся так?

Ксения прерывает разговоры крестной. Сбрасывая платок с головы, она хозяйственно говорит:

– Собирай-ка, кресная, завтрак на стол, а я самовар наставлю. Павел-то, однако, промялся, поди!

Крестная кидается к полкам, к печке; гремит самоварная труба, плещется вода, трещат лучины.

За завтраком все как раньше. Может быть, и не уходил вовсе Павел в город? Но светится у Ксении лицо, сдержанная радость пронизывает ее всю. Голос упруг и ровен, и новым теплом согрето каждое ее слово.

К вечеру за окном начинают кружиться и падать мохнатые снежинки. Закат застлан зыбучей сеткой. Крыши белеют. В стайках протяжно мычит корова. Пестрый свернулся у погребушки, уткнул морду в теплый бок и дремлет. Ксения заправляет керосиновую лампу. Красный язычок пламени отрывается от горелки, прыгает, садится на место. Стекло прикрывает его, и желтый свет лижет стены избы, стол, лавки. Шарахаются тени в углы.

– Ну, вот и снежка бог дал! – весело говорит Ксения. – Нонче, видно, зима-то ранняя... Я давно зиму-то в деревне не живала.

В голосе чуть-чуть вздрогнувшая грусть.

Павел вслушивается в Ксеньины слова и наклоняет голову.

– Хорошо зимою, – говорит он, – отдых. Сон крепкий...

**XX**

Рыхлый снег укрыл поля, побелил дороги. По первопутку розвальни бегут со скрипом, изредка визжа полозьями по вывернувшемуся зря и ненужному булыжнику.

На хребтах поредела щетина, хребты по-зимнему принизились. Небо стало ниже к застывшей земле. Небо утрами опирается на зыбкие, витые столбы дыма.

По первопутку, хмельной и шумный, едет Архип через Верхнееланское. У Ксеньиной избы парнишка приворачивает мухортого коня, Архип отворяет ворота и весело грозит Пестрому:

– У-у! Лешава душа! Не признаешь знакомых? Вот я тебя подворотней огрею по хребту!

В избу Архип входит первый: парнишка облаживает лошадь, хозяйственно прикручивает ее под навес, разнуздывает.

В избе Архип шумно здоровается с хозяевами, радостно гогочет:

– Здорово!.. Прямо ко щам я, значит! Ловко!..

Ксения выходит из-за стола и зовет Архипа:

– Проходи, садись обедать, Архип Степаныч.

– Ладно, ладно! Не зови, сам залезу. Вот разобалакусь только.

Он стаскивает с себя решменку, сбрасывает ее на лавку у дверей. В двери входит парнишка и солидно говорит:

– Здравствуйте-ка! Сенца-то у вас где брать: на поветях али из стайки?

– Садись за стол, Вася, – зовет его Ксения. – Лошадь сыта будет, вот Павел управится.

За столом сидят молча. Шумно хлебают из общей чашки. Наедаются неторопливо, спокойно, без суетни.

После обеда Архип закуривает трубку. Павел уходит во двор задать сена лошади. Арина Васильевна моет ложки. Щуря глаза от густого дыма, Архип спрашивает Ксению:

– Парня-то в дом взяла?

Ксения молчит.

– Ты не шебаршись! – наставительно продолжает Архип. – Кака беда в том, ежели ты свой бабий паек доспела. Это никого не касаемо.

Ксения оборачивается к нему и сухо переспрашивает.

– А ежели не касаемо, пошто допросы чинишь?

Архип вытаскивает трубку изо рта и морщится:

– Дак я рази в счет?.. Я по дружбе тебя спрашиваю... Миг надобно дознаться, какой такой он есть, откуда налетел и чем душа его жива... Мужика ты себе, Ксения, приспособить самое полное право имеешь, ну, а все-таки требовается знать, из какой глины он замешан...

Арина Васильевна настораживается и украдкой поглядывает на Ксению.

Парнишка смотрит в окно, берет шапку, натягивает на себя трепаную шубенку и выходит из избы.

– Поглядеть пойти коня, – бурчит он, захлопывая за собою дверь.

Ксения проходит в передний угол, мимо Архипа, берет что-то там и возвращается обратно.

– Мне делов мало, из какой глины он замешан, – сухо говорит она, но в голосе ее сдержанный гнев. – Я не допытчица. Был бы мужик душевный...

– Вот, вот!.. – кивает радостно и удовлетворенно головою Архип. – Был бы, значит, душевный... А все-таки, – озабоченно морщит он лоб, – хошь бы знатье, из каких, какого роду-племени?

– Он городской, – смягчается Ксения. – А отцы у него были деревенские. В городах-то не сладко ноне житье стало... Вот и подался сюда.

– Так. Конешно! – кивает головою Архип и выколачивает трубку.

– Конешно, – раздумчиво тянет он, словно не замечая Ксении, – бывает так, что налетит незнамо откуда молодчик, покуражится, обогреется да и ходу, дальше, только мы его и видели.

Ксения упирает левый кулак в бок, вздергивает голову; ноздри у нее слегка трепещут.

– Ну, я, дядя Архип, не таковская! Со мной много не покуражишься!

– Ладно, ладно, девка! Всяко бывает!..

Дверь отворяется; дверь впускает в избу Павла. Ксения отходит от Архипа. Архип поворачивается к вошедшему и ухмыляется.

– Вот слышь, Павлуха, – говорит он, – тут у нас с Ксенией задача выходит. Я ее спрашиваю: откуль, мол, Павел – это ты-то – заявился? А она: мол, не знаю, из городу... А окончательного сообщения сделать не может...

Павел переводит взгляд от Архипа на Ксению и обратно. Ксения молчит и прячет глаз в сторону. Павел вздыхает и, опуская взор, говорит:

– Я Ксении про себя все могу рассказать. Без утайки... Она не допытывалась, я и не говорил.

Ксения срывается с места, встает между обоими мужчинами и опускает руки.

– Я и теперь не допытываюсь, Павел! Молчи! Не надо!.. Это Архип Степаныч чудит... Эго ему заделье пришло вызнать, а я и без того могу... И даже не хочу я ничего знать!.. Слышишь, не хочу!..

Мужики изумленно слушают почти исступленный крик женщины. Крестная украдкой оглядывается на Архипа и качает головой.

– Ну, ладно! – шумно вставая со скамьи, кончает разговор Архип. – Ладно! Мне, однако, пора дальше подаваться. Где это у меня Василей Архипыч, друг мой разлюбезный, ямщичок мой замечательный? Поди, обладился он, ждет, чай, меня...

**XXI**

В долгую, крепкую, снежную ночь лежат оба, один возле другого, без сна. Лежат и обманывают друг друга: спим, мол, крепко и бездумно спим.

Но невзначай протяжный вздох вскрывает обман, и вслед за этим вздохом шепот:

– Не спишь? Почему не спишь?

– Не знаю, Павел. Не спится отчего-то... А ты разве спал? Ты, однако, тоже глаз не сомкнул...

Ночи длинные стали. Сколько еще до свету времени, вот и не идет сон.

Изба таит в темноте шепоты. Шорохи отлипают от стен и плывут. Они плывут и колеблются над этими двумя, которые снова умолкают и опять прикидываются спящими.

Ночные часы идут вразвалку, не торопясь. Снежной ночи некуда спешить: солнце встанет над хребтами бледное, укутанное холодными туманами, чуть-чуть потревожит розоватыми лучами синие морщины теней. Солнце не обрадует радостью яркою и многоцветною. Некуда ночи спешить. В шорохах, в шепотах, в неуловимых вздохах влечется она – покойная, сонная, усталая.

Но снова зыбкая настороженность ночи рвется шепотом:

– Павел!

– Слышу... Спи, Ксения.

– Павел... А не обрыдна я тебе такая... одноглазая? Не обрыдна?

– Да нет же, нет!.. Сама чувствуешь. Разве был бы я с тобой такой, если б противна была ты мне?..

– Ой, боюсь я, Павел!.. Я жизнью напуганная. Со мной всякое бывало. Ежели б тебе рассказать все...

– Ты, как хочешь, – можешь и рассказывать, и молчать о прошедшем. Я сам жизнью покоребан. Здорово... Мне бы тебе самому, Ксения, по-настоящему все порассказать надо...

– Об чем рассказывать? Не надо... Что было, то, значит, прошло. Меня быльем не ударишь... Я вот одного боюсь: кабы у тебя сердце от меня не отшатнулось...

– Ты не бойся...

– Эх, кабы все это раньше! – шепот вырастает во вскрик. В голосе тоска: – Эх, кабы раньше!.. Прежде-то я, спроси у людей, первой красавицей была... Прежде бы я не боялась ничего. А нонче... А нонче... Вот, Павел, вся дрожу, вся томлюсь: а ну ежели все это пройдет?

– Ты не бойся! – горячим шепотом повторяет Павел. – Мне, кроме тебя, нет в жизни ходу... Я сам мурцовки здорово хлебнул. Я в жизни совсем одинокий, и некуда мне податься... Без тебя бы я никакой радости не узнал. А ты меня, как родного, сразу угрела... Ты ничего не бойся...

В темноте, не видя друг друга, ощущая только телом тело другого, тянутся они ближе один к другому. Тянутся жадно... Ксения протягивает руку, горячей лаской обжигает шею Павла, вздрагивает, вспыхивает; вздрагивая и прижимаясь к Павлу, со сладкой тоской говорит:

– Не боюсь... вот теперь, родимый, не боюсь... ничего...

**XXII**

Кошевка со скрипом полозьев останавливается у сельсовета. Кошевку приволокли крепкие закуржавевшие на морозе лошадки. Сидящий в кошевке ловко вываливается, подскакивает, хлопает рукавицами и, оттаптывая наметенный на ступени за ночь снег, быстро взбегает на крыльцо.

В сельсовете, кроме Афанасия, никого. Афанасий неприветливо всматривается в приезжего и простуженно хрипит:

– Опять, стало быть, начальства какая ни на есть?.. Ну, жди. Председатели у нас ешо чаи с мягкими пьют.

Приезжий раздевается. Афанасий неодобрительно разглядывает дубленый полушубок приезжего, шапку с кожаным верхом, высокие катанки. Ремень с наганом заставляет Афанасия фыркнуть:

– Ешо не бросили моду с оружием по хрестьянству ездить? Воители!..

Приезжий – серые глаза бодро блестят с морозу, бритое лицо, чистое, только словно после болезни, немного исхудалое, спокойно – приезжий садится на скамейку, поближе к печке, и весело кричит:

– Ты пошто такой вредный, дядя? Спишь плохо, блохи заели?

Афанасий плюет на грязный пол и шмурыгает носом:

– Я тебе какой – вредный? Я обчественный человек. Сторож. Ты не задавайся, хучь и начальства... По какому ты опять делу?

Приезжий смеется и жмурит глаза:

– Ах, видать, и мятый же ты мужик! Ну, это пустяки. Самое главное, знаешь, в чем состоит?

Афанасий пренебрежительно молчит.

– Не знаешь? – лукаво щурится приезжий, – А дело самое простое: дело в чайнике. Есть у тебя чайник? Тащи воды, грей, кипяти! Тут у меня в узелке в сумке чай имеется, да еще с сахаром. Понял?

Афанасий мотает головой, идет в свою каморку, гремит чайником и примиренно кричит приезжему:

– Ты, начальства, видать, мозговатый!.. Дело понимаешь.

Чайник, фыркая и шипя, закипает на железной печке. Приезжий развязывает сумку. Афанасий с приезжим хозяйственно и домовито напиваются чаю. И когда Афанасии уносит в свою каморку остатки чаю, в присутствие является председатель.

Приезжий весело здоровается с ним, вытаскивает из сумки портфель, из портфеля бумагу, подает ее председателю. И видит Афанасий, что председатель, долго разбирая бумагу, преисполняется волнения и суетливости, кланяется, еще раз сует приезжему руку, сопит, потеет.

– Аха! – хмыкает Афанасий. – Приперло тебя, Егор Никанорыч, начальства! Карежит?!

Приезжий легко и властно отстраняет Афанасия:

– Помолчи, дядя. Мы делом займемся.

Афанасий потухает и, поворачивая, отходит в сторону.

И со стороны смотрит и слушает.

Приезжий с председателем садятся за стол. Приезжий вытаскивает какие-то бумаги, чему-то поучает председателя. Тот мотает головой, но глаза у него непонимающие и растерянные. –

– Надо бы секлетаря кликнуть да кого еще из мужиков, – осмеливается он и кричит Афанасию: – Слышь, сходи-ка за Иван Петровичем. Старика Потапова попутно скличь да Ерохинских.

И когда Афанасии угрюмо натягивает на себя шубу, приезжий прибавляет к приказу председателя:

– Заодно, дядя, позови-ка Коненкину Ксению.

– Ето кривую, што ли? – пренебрежительно переспрашивает Афанасий.

– Да. Глаз у нее попорченный. Ее.

– Дела! – ворчит Афанасий. – Начальства сурьезная, а бабу кривую требовает!...

– Ну, ну, катись, – смеется приезжий. – Экой ты, право, вредный!

**XXIII**

За председателевым столом трое. На лавке двое. Над головами плавает едучий густой махорочный дым. Говорят степенно, мало, больше слушают приезжего.

Ксения входит в присутствие, останавливается, оглядывается. Замечает приезжего и с радостным испугом:

– Батюшки! Пал Ефимыч?!

Приезжий подымается из-за стола, широко улыбается, кивает головой, приветливо и весело:

– Узнала? Не забыла, значит? Ну, проходи, проходи, Ксения! Здравствуй!

Они сходятся на середине комнаты, в крепком рукопожатии сцепляются их пальцы и ладони. Мужики молча и сосредоточенно следят за их встречей; Афанасий у порога вскипает изумлением и трясет бурой и седой бородою:

– Видал ты?!.. Ну, спиктакиль!

Узнала, как не узнать, – в радостном смущении отвечает Ксения. Жаркий румянец жжет ее щеки; губы приоткрыты, глаз смотрит широко; в глазу отблеск далекой, не созревшей еще тревоги.

– Это хорошо! Я, было, тебя потерял. Даже бумажку посылал в волость, да все ответа не было. А вот пришлось мимо этих мест ехать, ну и разыскал.

– Спасибо! – вспыхивает Ксения. – Спасибо, что не шбыл.

Мужики курят и слушают. Председатель ерзает на своем месте, крякает, откашливается:

– Может, вы тут, товарищ, об своем с Ксенией потолкуете, а мы уж опосля займемся?

– Нет, зачем же! – встряхивает головой приезжий, – Ксения вот посидит, подождет, пока я с вами обо всем поговорю, а потом и с нею про наше общее вспомним. Посиди, Ксения, обожди немного.

Вскидывая голову выше, приезжий тепло, вслушиваясь сам в свои слова, прибавляет:

– Мы с ней, с Ксенией, с товарищем Коненкиной, под одними пулями стаивали. Одним огнем крещены...

– Я посижу обожду, – задыхаясь, соглашается Ксения и отворачивает лицо от приезжего, от мужиков.

Афанасий медленно и широко раскачивает голову и сокрушенно, не вмещая в себе всю изумленность, чмокает.

Ксения садится на лавку, ближе к двери. Она прячется от по-новому разглядывающих ее глаз. Сживается и ждет.

Приезжий кончает разговор с председателем, с мужиками. Мужики подымаются с лавки, выходят из-за стола.

– А насчет кресткома, – говорит уже стоя мужикам приезжий, – вы облаживайте скорее. Это дело нужное и для бедноты полезное.

Мужики переглядываются, вяло отвечают:

– Трескон, конешно, следовает попробовать... Пошто не попытать...

– Попробуйте! Вот и Ксению к этому делу приспособьте. Женщине ход теперь должен быть. А она верный человек.

Мужики снова переглядываются, и председатель осторожно говорит:

– Конечно... Можно и Ксению. Да только у ей теперь хозяйство крепкое. Мужика себе в дом взяла.

Приезжий удивляется. Быстро проходя к Ксении, которая смущенно и сердито встала, вслушиваясь в разговор, он спрашивает ее:

– Семью завела, Ксения? Верно?

– Да, – глухо отвечает Ксения и исподлобья смотрит на приезжего. Тот улыбается, трясет головой и неожиданно весело одобряет женщину:

– Что ж, хорошо!.. Веди меня, Ксения, к себе. Знакомь с семьей. А может, и покормишь?

– Покормлю! – теплеет от ласки, от бодрого голоса Ксения, – На угощеньи не обессудь, Пал Ефимыч, а накормлю!

Они оба – Ксения и приезжий – уходят. Мужики остаются в сельсовете. Мужики наполняют сельсовет громким, шумным говором.

– Новую, грит, жизнь строить надо! А сила-то где? Капиталы-то откуль возьмешь?..

– Ишь, чего нагородил! Не так, мол, живем!

– Землю по-новому, видал ты, обхаживать надо!.. А ежели у меня лошадь одна, да и та еле ходит – как я буду с ею землю грызть? Зубам?!

– Наворотил много, что и говорить, да только чьим горбом все это?

– Трескон!.. У оецких вот еще о прошлом годе завелся этот самый трескон, а что толку вышло? Ни хрена!

Мужики, согласные между собою, ожесточенно спорят. Они спорят с тем, ушедшим, невидимым, и распаляют в себе спящую страсть.

Афанасий ковыляет от своего места, втирается к спорящим мужикам.

– Кирпичитесь?! Ну, глядишь, хозяева, загнет он ешо какую-нибудь хреновину на сходке опосля обеда. Заведет горлопанов, трещать у вас головы будут! Он – начальства ловкая!.. Покорежит вас, ей-бо!

– Молчи ты, Афанасий! – отмахивается председатель. – Тут дела умственные, а ты торболо свое распустил! Заткнись!

Мужики возбужденно расходятся.

У порога:

– И к чему ешо Ксенку приплетает? Ежели она с партизанами путалась, так ее под божничку ставить али как?

– Чистое беспокойство теперь пойдет.

– Корежит вас? – хихикает Афанасий и косолапо топчется у дверей. – Забрало под самое сердце?!

**XXIV**

Павел Ефимыч сидит за столом; Ксения и крестная хлопочут возле него, угощают.

– Да ты не хлопочи, Ксения, – смеется Павел Ефимыч. – Меня угощать не надо, я, как волк, голодный – все съем.

– Кушайте на здоровье! – кланяется Арина Васильевна. – У нас убоинки только нету. Кушайте яишенку!

– Ладно! Все съем!

Ксения прячется за самоваром и брякает чашками. Она, крадучись, вглядывается в гостя – жадно и упорно.

Павел Ефимыч ест скоро, с хрустом, весело, – видно, и впрямь голоден. И пока ест – не томит расспросами.

Крестная отходит от стола, прислушивается к чему-то и тревожно говорит:

– Кажись, Павел приехал с дровами...

Ксения выпрямляется, оборачивается к двери, ждет. В сенях мягко топочут шаги. Срывом, широко и по-хозяйски открывается дверь. С запахом снега, морозца и сосны входит Павел. Сбрасывает на лавку у двери трепанную плешивую доху, оглядывает стол, за столом человека, раздевается. Раздеваясь, издали здоровается:

– Здравствуйте!

– Ну, вот и хозяин! Здорово! – отвечает Павел Ефимыч, пристально вглядываясь в вошедшего.

– Проходи к столу, – говорит Ксения, – грейся чаем... Это – знакомый мой, Пал Ефимыч. Проведать заехал.

Павел подходит к столу, протягивает руку гостю. Садится, придвигает к себе чашку, берется за хлеб.

Настороженно замирает молчание.

Не разрывая этого молчания, Павел Ефимыч спокойно и деловито разглядывает Павла. Но, усмотрев в нем что-то неожиданное, он теряет на мгновение спокойствие и озабоченно и недоуменно взглядывает на Ксению.

Ксения снова прячется за самовар; застыла, молчит.

Павел быстро выпивает чашку чая и вылезает из-за стола.

– Ты пошто мало? – удивляется Ксения.

Павел Ефимыч вслушивается в тихие ласковые звуки Ксеньиного голоса и следит дальше за Павлом.

– Не хочу больше, – сухо отвечает Павел. – Пойду скидаю дрова.

– Да погодил бы ты, Павел! – вмешивается крестная, – не горит. Посиди, с гостем поговори. Они с Ксеной войну вместе воевали.

Павел останавливается и встречается взглядами с гостем. И гость, отмечая мимолетное смятение его, неуловимую растерянность, не сводя взгляда своего с его лица, охотно и просто поясняет слова крестной:

– Отрядом я командовал. Партизанским. Коврижкин я...

– Коврижкин? – переспрашивает Павел, и растерянность множится в нем.

– Слыхали разве про такого? – улыбается Павел Ефимыч.

– Случалось...

Ответ Павла скуп, в голосе напряжение: нет обычной ясности и чистоты в нем.

Словно не замечая этого напряжения, гость, Павел Ефимыч, открыто и широко ухмыляется. Выходит из-за стола, ближе подходит к Павлу, который еще не ушел во двор к лошади, к дровам. Разжигая ухмылку свою в широкую улыбку, Павел Ефимыч кивает головой:

– Да. Это, конечно. Про меня в те годы многие слыхивали... Особенно которые на линии были, около Канска...

– Я там не бывал! Я около Канска не был! – поспешно опровергает Павел. И эта поспешность сразу всхлестывает его, сразу самого же смущает: от досады, от смущения, от неожиданности красные пятна прожигаются на его щеках, красные тени ложатся на уши.

– Это ничего не доказывает, что не был... – не сгоняя усмешки с лица, спорит Павел Ефимыч. – Все может быть... Можно и не бывать там, да про все знать... Это, конечно, пустяк...

Они стоят рядом, один против другого. Один – улыбаясь, но улыбка его не властна над глазами: глаза сосредоточены и упорны. Другой – без улыбки, и также сосредоточен и упорен его взгляд, но губы сжаты, чтоб не вздрогнуть.

Они стоят один против другого и чего-то ждут. И это ожидание захватывает Ксению, которая тоже встает и выходит из-за стола. Это ожидание томит ее, она порывисто поворачивается к Павлу Ефимычу. Но не успевает ничего сказать. Павел Ефимыч окончательно сгоняет с лица остатки усмешки и сурово говорит:

– Вот что... Ты, Ксения, и вы, тетушка, выйдите-ка куда-нибудь... Будет у меня разговор с этим гражданином... Разговор деловой и срочный...

Арина Васильевна кидается к полушали своей, к шубе. Ксения переводит дыхание, бледнеет. И снова не успевает она спросить, не успевает сказать. Павел треплет беспокойными пальцами пояс и глухо спрашивает:

– Зачем? Им зачем выходить? Я не скрываюсь... Действительно, был я тогда у белых... А за это в концлагере и в домзаке отсидел... У меня на это документы есть... Женщинам не нужно уходить... Я при них все про себя рассказать могу... Я не беглый...

Ксения переводит дух. Теплеет лицо ее, к которому снова прилила кровь.

– Пошто, Пал Ефимыч, мотаешь мужика? – с горечью спрашивает она. – Пошто?

Гость, Павел Ефимыч, морщит лоб. У гостя не светлеет лицо.

– Документы, – говорит он. – Я погляжу... Документам в этом случае проверку непременно сделать надо... Но, кроме документов, не в этом дело...

Поворачиваясь к Ксении и охватывая ее горячим и вопрошающим взглядом, он повторяет громче, настойчивей:

– Не в этом дело!

Ксения молчит. Ксения молча спрашивает. Тогда гость, Павел Ефимыч, протягивает руку в ее сторону и, почти касаясь ее лица, ее обезображенного, изуродованного глаза темным и крепким закорузлым пальцем, кричит:

– А это?.. А это забыла?.. Забыла, откуда это?!

– Осподи!.. К чему это ты? – охает Ксения и вздрагивающей рукою опирается о стол.

– А к тому, что бабья у тебя память, Ксения... Вот к чему... Он, думаешь, кто? Кто? – и черный, крепкий. закорузлый палец обращается, грозя и указуя, на Павла. – Он белогвардеец!.. Он на линии был с теми, супротив которых мы бились. Я таких сразу, за тыщу вере г чую! Он нашу кровь проливал... Ежели копнуться, так, может, и в твоей крови, в твоей обиде он повинен!.. Вот он кто!.. А ты приветила его, незнаемого привечаешь... Обманом он к тебе пришел!..

– Я не обманом! – горит лицо у Павла, и вздрагивают жилы на висках. – Я тебя, Ксения, не обманывал... Я пред тобою, женщина, не виновен!..

– Осподи! – вздрагивает Ксения и беспомощно озирается. – Что же это такое?

– Я хотел тебе про все рассказать, – продолжает Павел и слегка придвигается к Ксении, – Ты сама останавливала меня... Не обманывал я тебя...

– Не обманывал он меня, – сквозь слезы подтверждает Ксения.

Обретая силу в этих тихих и решительных словах, Павел встряхивает головой:

– А что я с белыми был, так за это я уже свое наказание получил... Теперь я вольный человек, чистый.

Павел Ефимыч Коврижкин, бывший партизанский командир, слушает, вслушивается в слова, произносимые Павлом, работником, хозяином, бывшим белым. Павел Ефимыч, вглядывается в его лицо, обретающее уверенность и смелость. Потом глядит на женщину, теребит ухо и, когда теребит его, приоткрывает верхнюю губу, обнажает желтоватые крепкие зубы, и, кажется, что усмехается он злой и жестокой усмешкой. Но Павел Ефимыч не усмехается. Сурово его лицо, хмурятся брови. В глазах непримиримость.

– Наказание, которое ты, гражданин, перетерпел, это одно... Это еще мало для того, чтоб чистым считаться... Это с тебя рабоче-крестьянская власть взыскала. И, может, мало взыскала... А с партизанами тебе вместе быть не полагается. Места тебе возле них нет!.. У Ксении, у Коненкиной, кто глаз с надругательством выхлестнул? Кто над долей ее галился? – твои товарищи, такие же проклятые белые гнусы! И ежели рабоче-крестьянская власть пощадила тебя, ежели миновала тебя стенка, так где же у тебя стыд-то, где твоя совесть что со всем нахальством своим приходишь ты и берешь себе в жены честную и верную женщину, которая с партизанами кровь и пот делила?..

Слова Коврижкина, Павла Ефимыча, бывшего партизанского командира, падают тяжко и разяще. Холодом окованы Арина Васильевна, Павел. Застыла и ждет и порывается к чему-то Ксения. Она поднимает руку, правую, словно отстраняя что-то от себя, и, выждав передых в речи Коврижкина, ломающимся, грудным, молодым голосом кричит:

– Стой!.. Обожди!.. Обожди, Пал Ефимыч!.. Моя обида, моя доля!.. Моему сердцу кипеть за нее!.. Не виновен Павел, мой муж!.. Ни в чем предо мной не виновен!..

**XXV**

Голубая ночь вползает в щели сквозь ставни. Голубая ночь неистовствует за толстыми, кондовыми стенами избы.

Ксения в тишине, в темноте глотает слезы. Слушая эти слезы, Павел глухо говорит:

– Слушай, Ксения... Лучше, может, уйти мне?.. Тяжело тебе будет, беспокойно...

– Нет! – порывается Ксения. – Нет, не уходи!.. Не надо!..

– Не надо!.. – тише заключает Ксения и вздыхает. И, вздыхая, снова глотает подступающие к горлу бесконечные, обессиливающие, нерадостные слезы...

**XXVI**

Город обнят двумя реками. На набережной глядятся и стальные струи быстрой воды белые колонны барского дома. Над домом полощется вылинялый, трепаный, но вспыхивающий неумирающим огнем красный флаг. Когда большую быстроводную реку сковывают морозы, и она, борясь с зимою и острыми северными ветрами, морщит и крошит лед, – зимняя одежда ее выстилается торосом – остриями усмиренных льдин и льдинок. Тогда лом с колоннами сливается белизной своей с белым покоем реки, глядит пустынным, задумчивым и важным.

Тогда ярче среди окружающей белой, зимней ясности обвиснувший красный флаг.

В трех этажах белоколонного дома, во множестве комнат, черными буквами на стенах, на дверях выведены надписи. Одна надпись кричит: Уком ВКП(б). В эту дверь чаще, чем в другие, заходят озябшие, покрытые куржаком дальней дороги люди.

В эту дверь, подобно другим, входит, неся с собою острый и бодрящий запах снежных ветров, Коврижкин.

– Э-э, путешественник! – встречает его веселый и приветливый окрик, – Вернулся?

– Вернулся.

– Мало же ты гостил в своих местах. Потчевали плохо разве?

– Мы тебя, Ефимыч, не ждали...

– Ну вот, я неожиданно и прикатил!

Коврижкин посверкивает зубами. Короткие волосы курчавятся на голове; две глубокие борозды идут ото лба к переносице и словно давят на глазницы. Серые глаза смотрят ласково, но сторожко.

– Вот и прикатил! – повторяет он. – Чего мне без дела зря трепаться – я непривышен к гулянкам.

– Ну, ладно... Это хорошо, что ты раньше. Запряжем тебя, держись!

– Запрягайте! Выдюжу!

Люди входят и выходят. Со входящими людьми проползают в комнату шумы и заботы и озабоченность. Вокруг Коврижкина, не останавливаясь ни на мгновенье, влечется стремительно и безостановочно деловая, суматошливая жизнь. Коврижкин сразу же становится на привычное место свое и вместе с другими впрягается в повседневную работу.

И только к концу рабочего дня, случайно оставшись один на один с секретарем укома, он ожесточенно трет и теребит короткие волосы, смотрит в сторону и жалуется:

– Слышь, неувязка у меня, товарищ Протасов, выходит.

– С чем? В чем?

– Да вот связчицу я свою поглядеть захотел. Хорошая баба, много она с нами в девятнадцатом году беспокойства натерпелась... Я к ней, приспособить ее к делу настоящему, было, хотел, а она себе мужика завела...

– А ты что? – смеясь, перебивает Протасов. – Сам ее для себя приглядел? Так?

– Да нет... – нетерпеливо и досадливо отмахивается Коврижкин. – Не в етим дело... Ты смешки-то осыпь... Она мне для етого не надобна. Тут обстоятельство совсем даже наоборот.

У Коврижкина слова корявые, тяжелые. Коврижкину трудно высказать заветное слово ясно и понятно. Он темнеет от огорчения – вот оттого, что такое ясное, такое бесхитростное и каждому понятое дело не может он сразу и толково рассказать Протасову. Коврижкин пугается, подбирает слова, сопит.

– Тут обстоятельство такое... – горячится он. – Была женщина рабоче-крестьянскому делу преданная, даже серьезно через это пострадала, и следовало бы ей обчественными делами орудовать... А она засела в деревню спою – ничем ни к чему, и ко всему этому белого к себе н мужья приспособила... Самую паршивую контрреволюцию....

– Если контрреволюционер – нужно изъять.

– Изъять! – взматывается головой, кривится Коврижкин, – Его куда будешь изымать, если он свою порцию отсидел!..

– Чего же тебе хлопотать, коли он наказан? С одного вола двух шкур не дерут... Сейчас-то он себя тихо не дет? Не шабаршит? Мужиков не мутит?

– Сейчас – это не касаемо. Теперь он ниже травы... Ну ведь разве я об этом? Ты вникни, товарищ Протасов, и чем штуковина: он, может, ее кровь проливал, а она теперь с ним супружеские фигли-мигли разводит...

– Партийная она? – спрашивает Протасов и украдкой поглядывает на стопку бумажек, лежащую перед ним.

– Нет.

– Так в чем же дело? Зачем горячишься, Ефимыч?

– Ах, чудаки! – вскипает Коврижкин, – То есть самые настоящие чудаки!.. Да разве суть в том, что партейная она или нет? Она же голову свою под пули подставляла, а пули-то, может, выстреливал в нее этот самый нынешний ее муж!.. Вот оно какое дело!.. Да!..

– Не ясно мне это твое дело, – крутит бритым подбородком Протасов, – Если эта твоя женщина не партийная и если бывший белый теперь безвредный и понес уже, что ему полагалось, то в чем же беда?

– Справедливость! – шумно выдыхает из себя накипевшее Коврижкин. – Какая может быть справедливость, если такие штуковины в жизни будут! Ему, паршивцу, нужно каждый день свое преступление против рабоче-крестьянского дела чувствовать, а он мягонькие жрет! Он без всякого стеснения честным бойцам прямо в глаза глядит. Где же, товарищ, правда?

– Ну, знаешь, Ефимыч! – решительно берется Протасов за бумажки. – У тебя какая-то каша. Ты не спутал ли? Год-то, знаешь, нынче какой – ведь не девятнадцатый да не двадцатый... Ты повторил бы кое-что из политграмоты. Проветрил бы голову...

– Голова моя крепкая!.. Ты про мою голову оставь... Она супротив белогвардейских пуль уцелела... Мне проветривать ее нечего... Я к тебе за советом, а ты слово неподходящее мне тычешь в нос... Бумажная душа у тебя...

Коврижкин сердито машет руками. Бумажки на столе всплывают, шевелятся.

Протасов придерживает листки локтем и, устало улыбаясь, говорит:

– Катился бы ты, Ефимыч! Видишь, сколько у меня тут делов всяких... Как-нибудь на днях я с тобой потолкую. Иди, пожалуйста, путаная голова, не мешай!

**XXVII**

В зимнее бездельное время Архип в своей двадцатидвухдворовой Моге ходит по соседям, коротает ранние вечера, дымит вместе с другими трубки и ведет путаные, смешливые, но порою вспыхивающие неожиданным раздражением беседы.

Пятистенная Архипова изба – из кондового листвяка, прочерневшая и обветренная годами – сбилась набок; в белой половине упали потолки, и потому сиротливо пустует она. Амбары во дворе стоят с настежь раскрытыми дверями, словно захлебнулись в крике, разинули рты. Ворота сорваны, и закрывает Василий двор на ночь, чтоб чужая заблудящая скотина не забрела, жердью поперек покривившихся уцелевших столбов.

Архипово хозяйство еле держится. С полем и огородишком управляется сухая, костлявая, черная Василиса и Василий. А Архип беспечно оглядывает свой недостаток, аппетитно плюет и восхишенно урчит:

– Ну и язвинская доля! Самый у нас, Василей Архипыч, настоящий пролетарий всех стран... Никаких буржуев!..

В страдовую, рабочую пору наводит Архип уныние на соседей своей беспечностью, своим бездельем. Досыта напоенные усталостью люди обжигают его тогда насмешкой. Но Архип крутит головой, не слушает попреков и полон беспечности и странной, какой-то горячей лени.

Но в зимние бездельные вечера люди деревенские вяло и добродушно лелеют покой свой и встречают Архипа приветливей.

И так как жизнь скупа на неожиданности и бедна событиями, и так как Архип в беспокойные годы мотался где-то в чужих местах и повидал разных людей и нагляделся на всякие разности, то в скупо освещенных двойным светом керосиновых коптилок и гудящих железных печей душных избах неумолчно и победно рокочет голос Архипа.

Он рассказывает о мытарствах отряда, с которым партизанил больше года, о людях, которые умирали в тайге, о тяжелом голодании, о налетах на станции.

Он воскрешал в своей памяти события и, приукрашивая их своей фантазией, потрясал слушателей необычайностью и остротой пережитого.

Он пугал баб кровавыми подробностями слепых свирепых схваток, и слушатели, разомлев в тепле, в махорочном дыме, в уютном рокотании Архиповых рассказов, порою встряхивались, оживали и незлобиво и восхищенно перебивали его:

– Ну и врет, язви его!.. Ну и чешет!..

Но он не смущался этих вскриков. Он рассказывал, разжигая себя воспоминаниями о том, что было и чего но было, что родилось вот сейчас, в этой накуренной, накопленной, густо надышанной избе.

Мужики дремотно слушали. Зимний вечер садился к ночи, к окнам прилипали голубые лики ночи. Приходили сладкие позывы сна. С протяжными смачными зевками начинали разбредаться слушатели. Архип тускнел, брался за шапку, уходил.

И когда он уходил, кто-нибудь за его спиной не обидно, но уверенно и убежденно говорил:

– Ботало мужик! Кабы столько робил, сколь говорит, праведным человеком был бы...

Архип приходил домой, медленно раздевался, садился на лавку и молчал. Тогда Василиса, повозившись у черного жерла печи, засвечала лучину, шебаршила плошками, добывала еду и, неся ее к темному столу, звала Архипа.

– Поснедай, Степаныч! Мы, не ждамши тебя, отпаужнали.

И когда Архип наедался и, вздыхая, разувал ноги, с голбчика свешивалось заспанное лицо, и сонный голос озабоченно тянул:

– Тятька, я сегодня остатную солому Мухортке скормил... Чем завтра скотину кормить станем?

Отбрасывая в сторону стоптанный, изопревший катанок, Архип взглядывал на парнишку и весело отзывался:

– Ничего, Василей Архипыч!.. Живы будем, не пропадем! Спи, хозяин...

Лучина потухала, Архип забирался под трепаное свалявшееся ушканье одеяло, кряхтел и тяжело укладывал битые-перебитые кости свои.

Василиса притуливалась сбоку и, слушая вздохи и кряхтенье мужа, осторожно говорила:

– Все воюешь, Степаныч... Кости-то у тебя болят. Тебе ба отдых костям надо ба дать. А ты все воюешь... Опять, поди, потаповские галились над тобою? Неуважительные они, охальные.

Архип отвечал не сразу. А когда отвечал, беспомощное смущение звучало в его словах.

– Народ нынче веселый. Пущай смеется! Меня не убудет... Я их, Василиса, в самую центру жизни наставлю... Они непонимающие...

Василиса прятала что-то в себе и, помолчав, роняла:

– Тебе ба, Степаныч, в город податься... Попробовал бы за ранение свое, за муки, должность каку-набыть легкую достать... Ты заслужил!..

И Архип вспыхивал. Приподнявшись на локоть и сверля смутную и вязкую темноту избы взглядом, он забывал, что на дворе тихая голубая ночь, что время сонной тишине и покою – и бурлил:

– Я-то! Заслужил!.. Я, Василиса, кровь свою честно проливал с партизанами... Я в отряде самый веселый был! Самый отчаянный!..

Забывая, что об этом рассказано уже множество раз, что Василиса знает про все это давно, что заучила она наизусть все похождения его, Архип в сотый раз повествовал о том, как ходил он в тайгу, как скрадывал белых, как был ранен.

Скорбно и обреченно сжавшись, Василиса слушала и не перебивала.

Но иногда, в самый разгар рассказа, с голбчика снова звучал парнишкин голос:

– Ты что это?!. Людям спать охота, а ты гудишь... спи, тятька...

Архип обрывал рассказ и, посапывая и ворча, зарывался в одеяло.

– Ну, ладно... – пыхтел он. – Сплю я, хозяин!.. Ладно...

**XXVIII**

Павел и Ксения проходят в сельсовет. Афанасий вглядывается в Павла и ворчит. Павел проходит в присутствие к столу, за которым шебаршит бумагами Егор Никанорыч. Сбоку, за другим столом, молча листает какую-то книгу секретарь. Павел останавливается перед председателем:

– Здравствуйте! – говорит он.

– Здравствуйте! – тянет за ним Ксения.

Председатель кивает головой и глядит неприветливо:

– По какому делу?

– Да все насчет прежнего, – застенчиво, но ласково отвечает Ксения. – Все насчет прежнего, Егор Никанорыч.

– Делов у меня много, – ворчит председатель. – Обчество большое, где мне упомнить?

Секретарь откладывает книгу в сторону, складывает руки па столе и глядит то на Павла, то на Ксению.

– Это, значит, касательно надела? – ухмыляется он. Семейный переворот, можно сказать, гражданки Коненкиной? А?

Павел оборачивается к нему и примирительно отвечает:

– В дом я вошел ко Ксении Коненкиной... Расширяться думаем. Какое будет решение насчет надела? Подавали мы заявление...

Егор Никанорыч шебаршит бумагами: занят, мол, – и сбоку говорит секретарю:

– Объясни им течение дела, Иван Петрович.

– Течение дела простое! – весело подхватывает секретарь и насмешливо смотрит на Ксению и Павла. – Надела вам не полагается.

– Почему?

– Как же так?

Ксения гневно продвигается ближе к столам, к председателю.

– Как же ты, Егор Никанорыч? Я с моим клином куда денусь? Я, что ли, не работница? По какому же положению?

Секретарь усмехается и перегибается через стол:

– Тебе, Коненкина, беспокоиться зря не следует... Дело решенное... Взяла ты в дом чужого человека, не общественник он наш. Нам землю разбрасывать зря тоже не приходится...

– Нам обчеству земли нехватки, а не то что чужим! – хмурится председатель.

– Я, что ли, чужая? – звенит обидою и гневом Ксеньин голос. – Я урожденная здешняя! У меня земля родительская. А теперь урезали мне пай безвинно. Я Павла в дом беру, он обчеству работник будет... Почему перечите?

– Работников у нас своих хватит, – загорается председатель, – В земле у нас нехватка, а ты чужих приваживаешь. Не может тебе обчество в етим потакать.

Ксения тяжело дышит. Лицо горит у нее. Пуще всего горит та сторона, где зияет шрам.

– Я себе вольна судьбу свою выбирать! – гневно говорит Ксения, – Обчеству какое дело до моей доли?

Секретарь насмешливо скалит зубы и хихикает.

– Обчеству, конечно, будто и нет никакого до этого дела. Но, между прочим, сказано уж председателем, что землю зря распехивать не приходится, и добавить к этому нужно, что не каждого-всякого приходящего в общество примать следует... К примеру, вот и мужика твоего, Павла Гаврилова...

– На каком основании? – бледнея, спрашивает Павел. – Я человек чистый.

Как сказать, – пожимает плечами секретарь: – С одной стороны, если поглядеть, так, может быть, чистый, ну, а с другой – выходит и не так...

– Егор Никанорыч! – вскипает Ксения и порывается к председателю. – Что же это такое? Пошто вы над мужиком измываетесь? Он человек безвинный...

– Погоди, Ксения! – мягко отстраняет ее Павел. – Не горячись. За мной вины теперь никакой нет. Слышите, – обращается он к председателю и секретарю, – я теперь вольный человек. Что было, то было. Зачем же две шкуры драть?

Егор Никанорыч отводит глаза в сторону и туго говорит:

– Двух шкур с тебя, человек, никто не дерет. Ну, а насчет того... касаемо земли и чтоб тебе прописаться к обчеству, то согласия нашего на то не может быть... Это, брат, как припечатано... Конечно, жалко Ксению, наша она, верхоеланская, доморощенная. А все-таки было бы тебе, Ксения, лучше глядеть, чтоб, значит, наперекор миру, обчеству не идти...

Ксения вспыхивает:

– Меня нечего жалеть! Не маленькая... А ежели ми, то давайте мне бумагу, что отказываете. Словам не мерю.

– Жаловаться хошь? – щурится Егор Никанорыч, – Жалься. Только не советую... Напрасно.

– Мое дело! – сухо отвечает Ксения.

Павел и Ксения выходят из присутствия. Афанасий неуклюже прислонившись к притолоке, лениво пропускает их мимо себя и ворчит:

– Зря!.. Совсем зря, Ксена, а гору скачешь... Супонь не выдоржит. Лопнет!..

– Молчи, Афанасий! – в сердцах обрывает его Ксения.

– Молчи не молчи, схамкают они тебя!.. Вишь, какие они горластые!.. Зря не шебаршись, баба!..

Не слушая его, выходит Ксения на крыльцо. За нею Павел. Павел нахлобучивает неловко шапку и смущенно крякает.

– Съедят они меня, – озабоченно говорит он. – Отступилась бы ты, Ксения!

– Я не отступлюсь!..

Лицо у Ксении гневно пылает.

**XXIX**

У крестной, у Арины Васильевны, годы выели лучистый цвет в глазах. Под старушечьим, под темным, к самым бровям подвязанным платком бабий ум, жизнью выутюженный, ворочает скупо и неподатливо привычные и медленные мысли.

Крестная, Арина Васильевна, медленно, но надежно скопила в себе мудрость жизни. От просторных полевых дней, от длинных зимних ночей, от радости девической, от вдовства, от бездетности, от всех дней ее, медленно и мерно катавшихся от поскотины к поскотине, от всего бытия ее пришла эта мудрость. И был среди неписанных законов мудрости этой один вернейший закон:

– А как люди? А что люди скажут?

Поэтому, пока Ксения и Павел мытарятся с устроением жизни своей, пока ведут они нудные беседы в сельсовете, крестная обегает соседей, подружек своих, таких же вот, как она, с такими же погасшими глазами старух, слушает, впитывает в себя услышанное, огорчается, вздыхает, даже плачет.

А соседки собирают деревенские нехитрые новости, сплетают молву, тычут ею Арине Васильевне в глаза, ранят ею:

– Мужики шибко на Ксению твою злобятся! Ширится она, до земли добирается. Мужики говорят: она кою пору шлялась по чужим людям незнамо где, а теперь пай себе хороший требовает, это не порядок!..

– И ешо, девонька: парня, говорят, прикормила себе, а парень-то беззаконный, в белых войсках воевал. Таких, сказывают, всех скрозь пристреливали, а он уцелел. Нехорошо, мол, может в уезде дурная слава про наше село пойти. Недаром тот-то, приезжал который оногдысь, комиссар, от Ксенки-то откачнулся, парня ее увидав... Ох, плохо! Плохо, девка, крестница твоя поступает. Не по правилу... С миром шуметь собирается... А у мира и то сколь суеты с коммунистами да с комиссарами...

– Ей бы, Васильевна, смириться бы... Отпустила бы она мужика-то, Павла. Разве не нашла бы она своей судьбы поближе где?..

– Это ничо, что лицо порченое у нее. Кои мужики есть, что и не глядят, какая баба: лишь бы хозяйка была да покорливая...

– Ну, Ксенка-то как раз и не покорливая!..

Арина Васильевна слушает, вздыхает и огорчается:

– Какая же людям забота, что девка судьбу свою приглядела? Никого-то они не трогают, никому-то поперек дороги не стоят... Ну, дали бы пай хрестьянский, пущай бы робят... Какая кому беда?..

– Беда не беда, а, вишь, говорят: зачем землю в чужие руки отдавать, когда ее своим-то вволю не хватает?

– А мы разве чужие? – негодует Арина Васильевна.

– По вас, Васильевна, речи нет. А вот мужик-то, – он, конечно, чужой, вроде самохода.

– Он обчеству ничем не заслужил, чтоб на землю садиться.

– Он, бать, заслужит! – у Арины Васильевны вспыхивает надежда. – Он, девоньки, тихий да обходительный. Он заслужит.

– Ну, это еще когды будет!..

И кто-то постарше, мудрее других, покрывая властно и решительно бабий, старушечий говор, обрывает сомнения Арины Васильевны, крестной:

– Ты не хлопочи зря, Васильевна. Противу всех не пойдешь. Не по нутру мужикам Ксенкина затея... Ну, а наших мужиков не переспоришь. Не хлопочи! Лучше ты скажи им, девке твоей да тому, приходящему, скажи им прямо в глаза – пущай не перечат миру! Не дело это. Нехорошо!

Арина Васильевна уходит от соседей, от подружек, от старух расслабленная, прибитая сомнениями и тревогами.

Дома застает она настороженность и тишину.

Зимний теплый уют в избе. Густыми сливками закидал мороз стекла. От печи льется густой жар. Пахнет березовыми лучинами.

В зимнем уюте хорошо бы дремотно склоняться над какой-нибудь нетрудной домашней работой. Склоняться и слушать рокот спокойной неторопливой речи.

А вот здесь стынет молчание. Павел сжался на лавке и молча ковыряет шилом рыжие ремни, чинит сбрую.

Ксения перебирает какую-то рухлядь в сундуке, и оба безмолвны.

И Арина Васильевна, удрученная этим безмолвием, с деланным оживлением рассыпается словами:

– У воробьевских мужики из волости приехали, коня привели. Хороший конь. Пофартило людям, совсем сходно выменяли... Нынче, бают, скотину на хлеб напроходь меняют... В дальних-то местах отощал народ, последний хлеб доедат...

Крестная сыплет словами, суетится и примечает: Павел ткнул шилом гнилую разлезающуюся кожу и прислушивается к словам и, видно, собирается что-то сказать, но не говорит; Ксения, сжав губы, перебирает тряпье и ни на кого не глядит. И, может быть, вовсе не слушает.

Не в силах остановиться, цепляясь за что-то, пугаясь молчания, Арина Васильевна, не думая, не соображая, выпаливает:

– Вот бы, Ксена, нам бы скотинку, выменять... лошадь бы...

Павел откладывает шило и ремень. Взглядывает на Арину Васильевну и отворачивается. Ксения отходит от сундука и грубо кричит:

– Ты, кресна, чего понапрасну сказки рассказываешь? Откуда это, на какие-такие достатки мены устраивать? Нас, может, скоро люди отсюда со свету сживут, а ты – лошадь бы!.. выменять!.. Не люблю побасенок!.. Слышишь, не люблю!..

Арина Васильевна, ошеломленная, тянется вздрагивающей рукой к головному платку: закипают слезы, мутят глаза. Не слыхала она раньше от Ксении таких слов, такого голоса. Она всхлипывает и бормочет жалостливые, обиженные слова:

– Что же это ты, Ксеночка? Уж и слова сказать разве нельзя?.. Обидно мне...

– Обидно?! – Ксения выходит на середину избы шаленная, гневная. Видно, долго она сдерживала в себе то, что вот сейчас вырвется из ее сердца.

– Обидно тебе?.. А мне каково?.. Меня пошто мытарят? Меня вот душат здесь, жизни моей не хотят ходу давать... У меня вся, можно сказать, душа изныла, все сердушко изболелось... А ты про то, что у людей да как у людей... Людям что?! Им до нас делу никакого не должно быть, а они шипят... Слыхала, наверно, как обо мне по деревне высказывают... Эх!..

Внезапно Ксения умолкает, поворачивается и выходит из избы.

Арина Васильевна трет углом платка заплаканные глаза. Павел прибирает недочиненную сбрую и, пряча лицо от старухи, хмуро говорит:

– Видать, самое лучшее – собирать мне манатки... Сживут. И Ксению всю изломают...

Опуская конец платка, Арина Васильевна удивленно поворачивается к Павлу:

– Как же это так?.. Неужто уйдешь?..

– Не знаю... К тому, стало быть, подходит...

**XXX**

Железная койка скрипит. Ножки у железной койки разъехались и с трудом держат беспокойную, неустойчивую тяжесть. Под потолком мечутся и вздрагивают сипло полотнища дыма. Коврижкин расставил ноги, крепко уперся ими в протертый пол и дымит махоркой. И вместе с клубками едучего дыма выдавливает из себя корявые слова.

Коврижкин смущен и волнуется и кипятится. А тот, кто лежит на зыбкой койке, посмеивается и следит за беспокойством, за смущением, за шумным смятением Коврижкина. Следит устало и снисходительно.

– Моя голова простая! – шумит Коврижкин. – Я тонкостей не знаю... всяких деликатесов!.. По мне, был в белой – значит, сволочь, дави его под ноготь! Конечно, ежли своевременно делом не смыл с себя белоту... А тут ты мне, Протасов, загадку загинешь, У меня и кружение происходит... кутерьма. Если на твои понятия встать, так, выходит, я женщину зря обидел?

– Конечно, зря.

– Обидно!.. – рванулся Коврижкин. – Я сгоряча завел тогда тарарам... Эх!.. Простосердечный я человек!

– Право дело!.. Прямо с плеча рублю. А тут нужно, говоришь, выдержку иметь?.. Та-ак...

Махорочные лохмы пляшут под потолком. Протасов со скрипом переворачивается на кровати и свертывает папироску.

– Мне, Ефимыч, – тянет он, – прямо беда с тобою. Ты своих партизан – товарищей прежних – растерял. Они у тебя, как у плохой наседки, разбрелись, рассыпались. И не видать их и не слыхать. Они, как вернулись с гражданского фронта, так большей частью неприспособленные к новой жизни оказались. И деревня на них косо поглядывает. А выходило, что через них на деревню, на крестьянство действовать можно. Ошибка вышла. Авторитета у них среди крестьян никакого... Совсем плевое дело... Тут, Ефимыч, и твоей ошибки не мало. Ты зачем их всех растерял? Надо бы с теми, кто покрепче да башковитей, связь прочную держать, к делу приспособить. А ты сколько времени думал, сунулся однажды да напутал, вместо того, чтобы дело налаживать...

– Да, может, еще и не вконец напутано? – смущенно оправдывается Коврижкин. – Знаешь, люди мы простые... Ну, что было сказано... от слова-то не окривеют... Конечно, свербит у меня между ребрами: зачем я бабенку-то, Ксению, ошарашил... Да и мужики. Хитрые они. Сразу разузнали мое такое настроение. Ухайдакают они парня... Да мне его и не жалко. А по твоей идеологии выходит, что из него может толк выйти... Ох, запутал ты меня совсем, Протасов!

– Сам ты запутался! – смеется Протасов. – Рубишь сгоряча.

– Я по-большевицки! – твердо вскидывается Коврижкин. – По-боевому!

– По-большевицки, брат, это не значит, что без ума, без соображения... Ты этим не прикрывайся: нашумишь, наплетешь, а потом гордишься: я, мол, по-большевицки поступаю. За этакое и по шапке накласть можно.

– Ну, вот ты и наклал мне... уж больше некуды! – смеется Коврижкин. А смех у него невеселый, сухой и смущенный.

Протасов соскакивает с кровати, тянет со стула тужурку, застегивает ворот рубахи.

– Уходишь?

– Пора. В шесть заседание.

– Торопитесь вы все, – ворчит Коврижкин, – заседаете... Тут я еще хотел с тобой по душам поговорить... Мне бы работу другую. Чтоб мыслей поменьше. Пусть бы рукам натуга да маята... Не пристроен я языком орудовать, он у меня ленивый... Да, случается, не то, что нужно, брякнет... Торопишься ты, а я до пункта хотел с тобой договориться. До самого главного пункта моей жизни...

Застегивая одной рукой пуговицы тужурки, а другой ухватывая на ходу шапку, Протасов, плохо слушая Коврижкина, говорит:

– О пунктах, Ефимыч, как-нибудь, когда посвободнее будет... Ну, поехали!..

Коврижкин лапает свою ушанку и темной тенью, разрывая дымные тенета, мечется за Протасовым.

**XXXI**

В морозном затишье каждый звук четок и остер. За рекою лает собака, и эхо относит лай этот от стылого хребта в улицы и тревожит деревенских псов. Пестрый бежит впереди лошади, приостанавливается, вслушивается в чужой лай, ворчит, встряхивается и трусит дальше. Зябко кутаясь в дошку, Павел идет за возом. Идет и поколачивает на ходу ногой об ногу: декабрьские стыли взялись, видно, дружно и цепко.

Павел выворачивает из переулочка на широкую улицу. Пестрый с разбегу обскакивает встречного человека и коротко тявкает. Человек ковыляет неуклюже, раскорякой. Кричит на собаку, смотрит на лошадь, на воз дров, на Павла.

– Это ты, самоход?.. Хозяйствуешь?..

– Здорово! – не останавливаясь, кивает головою Павел.

– Стой!.. Куда бежишь? Я человек обчественный, старый, ты мне уваженье делай... Вишь, я проразгуляться вышел... Ломит у меня башку...

Павел останавливается, ждет. С опадающих тощих боков лошади тяжело валит пар.

– Умаял скотину... Худо хозяйствуешь... Уходишь, што ли?

– Не знаю, – хмуро отвечает Павел, – не собирался... – и спохватывается, торопится:

– Ну, оставайся, Афанасий... Мне времени нет болтаться тут.

– Чудак! – сердится Афанасий. – Ты не торопись... Ты у старого человека про свою положению спроси... Ты не гордись и прямо вот шапочку долой и, мол: «Извините, Афанасий Потапыч, разгадайте мне мою положению, какому моему поступку быть?». И скажу я тебе, как обчественный человек: «Уходи, собирай причиндал весь свой, бросай бабенку и айда!» Вот...

Павел понукает лошадь. Воз срывается с места, снег под полозьями скрипит и визжит. Пестрый уносится легко и бесшумно, распуская нарядный хвост, далеко вперед.

– С-сукин сын! – кричит Афанасий, оставаясь один на пустынной улице. – Самый настоящий сукин сын... Чтоб тя язвило!..

Павел слышит крики Афанасия, но не оборачивается. Он нахлестывает лошадь. Над лошадью зыблется пар. Под полозьями укатанная деревенская уличная дорога визжит и поет. Лошадь сама, без понуканья и похлестыванья, почуяв близость жилья, шагает быстрее. Пестрый врывается в полуоткрытые ворота.

Павел въезжает во двор.

Он оставляет лошадь с невыпряженным возом и входит в избу.

– Теперь, выходит, что и проходу скоро в деревне не будет! – раздраженно говорит он, сбрасывая на лавку рукавицы и доху.

Ксения выходит ему навстречу и молча подбирает неряшливо брошенную одежду. Она охлапывает рукавицы, встряхивает доху и вешает ее на деревянную спицу, торчащую в потемневшей стене.

И только тогда, только обладив и прибрав к месту мужикову лопоть, Ксения выпрямляется, становится пред Павлом и спрашивает:

– Что опять приключилось?

– Ничего! – ворчит Павел.

– Как ничего, коли ты сам сказываешь, что проходу нет?

– Да так... Все как следует. Выживают меня из деревни... Не ужиться мне, видать...

– Не ужиться?!

Ксения хочет посмотреть Павлу в глаза, но он прячет их, отворачивается, силится стащить набухшие ичиги.

– Коли не поддадимся, – тихо и решительно продолжает Ксения, – коли сами не поддадимся, чего люди с нами смогут сделать?.. Мы в своем полном праве...

– Против людей не пойдешь!

Павел стащил ичиг с правой ноги и потрогал пальцами размягченную подошву.

– Павел! – У Ксении голос высок и туг, вот-вот сломится. – Сдаешь, Павел? Говори прямо, чего надумал? Не крути!

– Я ничего... – осторожно и крадучись увиливает Павел. – Я не кричу... Мне тебя же, Ксения, жалко... Заедят нас, не дадут ходу... Камнем я тебе на шею сяду...

– Та-ак... – приглушенно и протяжно говорит Ксения. – Надоела, стало быть?.. Что ж ты виляешь? Ты прямо говори. Ты не бойся, ты вольный человек... Прямо говори!..

– Эх, – морщится Павел и стаскивает второй ичиг. – Зачем, Ксения, говоришь чего не следует?

Но неуверен голос у Павла, и слова выходят вялые, непрочные, трусливые.

– Вовсе я не об этом. И в голове у меня такого ничего не было... А то, что не дадут нам с тобою прочную жизнь здесь складывать, это мне ясно. Куды же мы с тобою подадимся? Мне везде трудно придется, у меня документы плохие, всякий увидит: белый, в белых войсках был... Вот оно в чем дело... И жалко мне тебя, Ксения, путать в свою судьбу...

– Ты меня этак не жалей! – с горечью перебивает Ксения. – Я об своей судьбе хорошо понимаю.

– Ну, вот и рассуди: нет нам с тобою пути... Один конец – собираться мне в дорогу. Спасибо тебе за все сказать и руки тебе развязать. Пусть не гавкают...

Бледная, с внезапно запавшим глазом, Ксения перехвалила, глотнула воздух и стиснула зубы. Подавив в себе внезапную, обжигающую слабость, глядит она на Павла, ранит его неотрывным взглядом.

– Уходишь, стало быть?! Пошто прямо не говоришь? Пошто не сказываешь, что обрыдна я тебе?!. Я тебя не держу!.. Уходи!..

Ксения поворачивается от Павла и уходит в куть.

Павел растерянно молчит. Он мнет в руках портянки, потом встряхивает их, берется за ичиги. Снова берет портянки и начинает медленно и сосредоточенно переобуваться.

В кути за перегородкой тихо. Эта тишина начинает тревожить Павла. Он прислушивается, вытягивает шею. Слушает.

За перегородкой раздается шорох. В дверях показывается Ксения. Прислонившись к перегородке, она почти спокойно, но с какой-то усталостью в голосе говорит:

– Вечером ты подсчитай... Должна я тебе за работу... Скажешь, как у нас с расчетом выходит...

– Какие долги! – вспыхивает Павел. – Ты мне ничего не должна.

– Ладно! – сурово перебивает его Ксения. – Я знаю... Ты у меня в работниках кою пору прожил... Получишь расчет...

– Ксения! – голос у Павла звенит обидою и стыдом. – Не обижай, Ксения!.. Разве я у тебя работником был?..

– В работниках! – жестоко отвечает Ксения. – О прочем забудь... Утресь кресная свезет тебя на станок... Больше тебя не держу!..

– Ксения!..

Но Ксения глядит гневно и непримиримо.

Павел нагибается к ичигам. Он прячет лицо, на котором пламенеет стыд.

**XXXII**

Утро тает. Серые светы, облепившие окна, окрепли, пролились ясным белым блеском. Солнце отразилось в снегах, синие тени стали гуще и резче. День встал крепкий, морозный, сияющий.

Ксения прислонилась к стене, бесцельно, напряженно, невидящим глазом смотрела в обледенелое окно... Это уже все прошло.

С рассветом безмолвно и угрюмо проснулась жизнь. Павел связал свою котомку, потолокся возле лавки. Потом вышел на зов крестной, пошел запрягать лошадь.

Потом сиротливо бурлил самовар на столе, и только одна крестная, Арина Васильевна, обжигаясь, торопливо пила жидкий чай.

И когда затягивал последний пояс на себе Павел, когда брался за шапку, повернулся он к Ксении, поднял на нее глаза. Глаза вздрогнули, и вздрогнул голос:

– Ну, прощай... Спасибо тебе, Ксения... за все.

Но холоден, глух и отчужденно бесстрастен был ответ:

– Прощай...

...Это уж все прошло. Теперь в избе никого нет. Теперь никого не стыдно, не от кого хорониться, скрываться. Теперь можно глубоко, до боли в груди вздохнуть, опуститься, опустить голову на руки и открыть сердце перед самой собою. Заплакать щедрыми, колючими, опьяняющими, обессиливающими бабьими слезами.

Сначала эти слезы холодным тугим комком стынут в груди, давят и томят грудь. Сначала нет выхода слезам. И с застывшим, с холодным, как душа ее, лицом стоит Ксения посреди избы, и мудрое затишье избяное не тревожит, видимо, ее, и острая скорбь ее молчит. Но какое-то мимолетное, какое-то внезапное воспоминание окатывает ее жаром. Она прислушивается к чему-то, она беспокойно оглядывается, ее грудь тяжело поднимается от глубокого вздоха. Этот вздох содрогает ее, она слепо, покачиваясь, идет к лавке, обессиленная, опускается на нее, заламывает руки, и вопль, острый и освобожденный, вырывается из ее трепещущих губ.

И слезы приходят бурно, неудержимо, дико.

Когда первые слезы отпускают ее, Ксения подходит к двери, закладывает ее на крюк, а потом бросается на постель – и вволю, досыта, безудержно плачет.

Она плачет долго. Устав от плача, она приподнимается, вытирает заплаканное лицо, тупо отдыхает. Потом снова плачет и снова вытирает лицо. И так несколько раз.

Позже, взглянув на окна, в которые светился яркий зимний день, она решительно встряхивается, вытирает в последний раз слезы и идет к рукомойнику, который, серёбряно позвякивая, роняет тусклые капли в темную лохань. Она подставляет заплаканное, горячее лицо под жидкую струю ледяной воды. Тщательно, долго и старательно смывает она с себя слезы.

А еще позже, когда крестная возвращается домой, Ксения домовито и бодро уходит прибрать лошадь. Во дворе она задерживается дольше, чем надо. Во дворе вокруг нее весело двигается Пестрый. Она останавливается среди двора, опустив руки, стоит недвижно, глядит поверх забора, слушает. А слушать-то и нечего: над деревней стылой пеленою в тишине и задумчивости протянулся солнечный мороз над крышами; сверля эту пелену, вьются дымные спирали; над тихими домами беззвучно пляшут бесчисленные искры изморози.

И только легкое взвизгиванье Пестрого, который урчит от радости, от умиления, от преданности, рвет прочную, уютную, ласкающую тишину.

Ксения возвращается в избу.

Крестная развязывает покупки, сделанные на станции, и, не глядя на Ксению, говорит:

– Павел-то такой уж сумный был... всю дорогу... На последях говорит: пущай Ксения на меня, говорит, сердца не доржит... Виноватый я пред ей, сознаю...

– Ладно! Будет! – перебивает Ксения. – Это дело уже прошедшее. Этому делу, кресная, возврату нет... А что про вину... так незнаемо, кто виноватей... Моя бабья глупость... Сама знаю...

**ЧАСТЬ ВТОРАЯ**

**I**

Архип получает в своей Моге письмо. Письмо идет из города, плутает в волости, из волости с попутным мужиком попадает в Могу. В Моге попутный мужик мнет его в кисете и, обвалянное в крупном крошеве самосадки, измызганное и мятое, приходит оно в Архипову избу.

Архип взволнованно и торжественно берет письмо, оглядывает его, вертит в руках. В неуклюжих пальцах Архиповых мятый конверт беспомощно и нелепо дрожит и бьется из стороны в сторону, как испуганная, пойманная птица.

– От кого бы? – недоумевает Архип и удивленно и застенчиво усмехается. – Кака така оказия?

Василиса встревоженно молчит: откуда письмо? с добром ли?

Протягивает Архип письмо неожиданное мальчонке и заискивающе спрашивает:

– Можешь, Василей Архипыч? По этаким буквам можешь читать?..

Василий вытянул из пальцев отца конверт. Он вцепился глазами в строчки. На лбу его над белесыми бровями набухли шишечки, нос сморщился. В бережном молчании пошевелил Василий губами, повертел конверт и досадливо и обидчиво прошелестел:

– Тута-ка не по книжке... Ишь, какие завитушки накарябали! Не умею я этак-то!

– Ах, беда! – конфузливо отвернулся от паренька Архип. – Плохая твоя образования, Василей Архипыч.

– Плохая?!. – У Василия румянец полыхает на обветренных щеках и серые глаза посверкивают суровостью. – Я, рази, училищу кончил?.. Я зиму только бегал... Учили бы, я и не этакое тебе прочитал бы!

– Ну... – Архип проглатывает огорчение и глядит на письмо, которое Василий кладет на стол. – Ну, об чем толковать... Такая мешанина была, об учении ли было думать!

Василиса схватила шубенку:

– Пойду попрошу Аграфену. Она письмецо-то разберет.

Аграфена, девка веселая и некуражливая, приходит. Срывает конверт, вытаскивает кругом исписанный листок.

– Гляди-ка, сколько написано тут!

Аграфена медленно и затрудненно, останавливаясь и путаясь в словах, читает письмо.

Архип, Василиса и забившийся в угол паренек слушают. До них доходят кудрявые и не всегда понятные слова. Слова эти то пропадают бесследно, как пустой шелест сухих трав, то остаются остро в памяти и вызывают тревогу. До самого конца, до последних строчек письмо поит их всех, особенно самого Архипа, недоуменьем. И только тогда, когда Аграфенин голос звонко и размеренно читает конец, Архип шумно подымается с лавки, ерзает и треплет в воздухе кудлатыми патлами, широко в смехе, в радостном смехе разевает рот и густо рокочет:

– Ух! Язви его!.. Дак вот это кто он?! Эго – Пал Ефимыч! – И просит девку прочитать письмо еще раз с самого начала до конца. – Чтоб крепче упомнить!

Из дважды прочитанного письма выползает и цепко запоминается:

«...Парня, сына, мальчонка, спроворь сюда. Мы из него полного человека наукой сделаем. Довольно, как отцы, в темноте ходить. Пущай поколение будет в культуре. А тебе, товарищ боевой, партизан Ерохин, довольно стыдно в бездельи и лодырем в родной деревне быть. Не для этого кровь проливалась горячая. Цельных три года в спокое живешь и не надумал обчественным делом заняться. Жизни нашей цельных три года проспал, прохряпал! А тут тебе и сельсовет, и крестком, и всякое другое неотложное советское положение...»

Дважды прочитав письмо, отдала Аграфена листок Архипу. Архип подобрал его бережно вместе с лоскутьями конверта. Весело обернулась Аграфена, девка веселая и некуражливая, к парнишке, к Василию:

– Ну вот, Васютка, в город тебя устраивают!.. Когды поедешь?

Василий отлип от угла, боком вылез поближе к людям, наклонил упрямый лоб, не смотрит:

– Дак я куды?.. Я на кого хозяйство брошу?.. Коня?..

Василий говорит солидные слова, пыжится, как большой, и в голосе слезы дрожат, вот-вот брызнут:

– Про науку... а от кого я в город-то поеду?..

Аграфена весело всплескивает руками и задорно смеется:

– Ой, мужичок!.. Ой, глядите-ка, люди, да он в сам-деле мужик!

Архип вертит головой, жует волосатым ртом, смущенно мнет письмо и тихо говорит. И когда говорит – затихает Аграфенин звонкий, беззлобный смех:

– Это... ты, Василей Архипыч, не печалься... Про хозяйство... Будет, натер ты себе холку... О коне тоже... Как-набудь управимся... Вот со старухой... Тебе к Пал Ефимычу обязательно поехать надо. Обязательно!

На мгновенье Архип умолкает, лицо его темнеет, в глазах разгорается тревожный свет. Он крепко собирает заскорузлые пальцы в корявый, шишковатый кулак, выпрямляется и неожиданно кричит:

– Правильно!.. Совершенная истина! Цельных три года прохряпали!.. И неизвестно к чему!..

Василиса сжимает тонкие бледные губы и, сдерживая вздох, успокаивает мужа:

– Ну, пошто ты, Степаныч, кричишь-то?! Известное дело, управимся. Об этом заботы нечего брать. Только боюсь я. В чужих людях будет ли Васютке сладко? Не обидел бы...

– Пал Ефимыч?! – Архип озаряется улыбкой, улыбка ширит его лицо, раздувает рот. – Это он-то, товарищ мой, Пал Ефимыч, обидит?! Да он глотку за Василея Архипыча кому ни на есть перервет!.. Он!.. Ты в этом понятии, старуха, не опасайся! Тут без обману.

– Может, и так, Степаныч, – вздыхает Василиса, – да все сумление у меня. Дите безответно, долго ли утеснить.

Василий, у которого от письма, от этих разговоров разгорелись глаза и взлохмачены светлые путаные волосенки, оборачивается к матери:

– Я немахонький! Пошто ты, мамка, нюнишь? Не люблю этого!..

Аграфена, поблескивая зубами, уходит.

**II**

На святках из волости, из села Острожного, приезжают в кошеве, словно гости, веселые и обычные, молодые ребята, комсомольцы.

У сельсоветского крыльца они весело топчутся, охлапываются, разбрызгивая свеженаметенный снег, и, весело переговариваясь, вместе с белым паром, вместе с морозцем вторгаются в присутствие.

Афанасий, хмуро озабоченный похмельем, нудливо ворчит им навстречу и топает ногами:

– Кыш вы! Валитесь обратно! валитесь!.. Каки по святошному времени занятия?! Во середу приезжайте.

– Не кыркай! – добродушно покрикивает в ответ один из приезжих. – Что у вас тут за мода – праздники?

– Два дня полагается отдыхать, а у вас цельные святки отдых, што ли?

– Где председатель?

– Сторонись, сторонись, товарищ!..

Афанасия смывают с порога, ватага весело проникает в сельсовет. В сельсовете сразу становится шумно и крикливо.

Ребята стряхивают с себя снег, распоясываются, сбрасывают полушубки. Они не обращают внимания на Афанасия. И сторож, наливаясь тревогой, тушит в себе задорный жар и озабоченно и примирительно спрашивает:

– Да вы зачем?

– Мы – комсомол! – горделиво и вызывающе отвечают ему.

– Будем мы тут у вас лекцию читать. И насчет религии просвещать...

– Лекцию? – криво наставляет Афанасий заросшее шерстью ухо под непривычное слово. – Это к чему же?.. А?..

– А там увидишь.

– Против бога? Охальничать опять!.. – снова закипает Афанасий. – Как лонись?.. Носит вас...

Но ребята уже не слушают его. Они устраиваются удобно за столом. Из холщовой сумки вытаскивают книжки, разбирают их, говорят о чем-то своем. Один из них, накинув на себя полушубок, выходит:

– Пойду к председателю.

А через час, когда побывал в сельсовете председатель и досадливо и несговорчиво побеседовал с приезжими, ребята рассыпались по деревне, пошли по избам, стали сбивать мужиков и баб пожаловать на беседу.

Позже они приносят в сельсовет скамьи, табуретки, доски, налаживают места для сиденья. Разворачивают с хрустом и звонким шелестом раскрашенные плакаты, прибивают их к стенам.

Афанасий обидчиво и сумрачно поглядывает на хозяйничающих в сельсовете комсомольцев. Боком протискивается он к картинкам, облепившим стены. Разглядывает их. Видит: волосатые, толстобрюхие попы, высоко вздымая полы ряс, отплясывают пьяно и озорно среди священной утвари и икон. Старый бог-отец, в очках, смешной и лукавый, пялит свои глазки и метет пышной и холеной бородой дородное брюхо свое. Худая, носатая богородица прижимает к своей груди щекастого младенца, а вокруг них хороводом вьются монахи, купцы, генералы, господа.

Под картинками выведены какие-то подписи. Афанасий разглядывает, не понимая, эти подписи и догадывается:

– Галятся над богом, язви их в душу!..

И когда лениво, опасливо и поодиночке начинают сходиться на беседу мужики, бабы и ребятишки, Афанасий тащит их к плакатам, тычет в глумливые картинки черным грязным пальцем и бубнит;

– Ето што? А?.. Глядите-ка, православные, ето кака хреновина, прости господи, про иконы, про бога накручена?!

Мужики молча глядят на плакаты, бабы испуганно переговариваются.

Афанасий кипит, ковыляет между лавками, по проходам, фыркает, хватает вновь приходящих и влечет их к плакатам.

Скамьи заполняются. Под низким потолком собирается гул и табачный дым. Приезжие ребята расположились за отодвинутым к самой стенке председателевым столом и совещаются о чем-то. Посовещавшись, затихают они, смотрят на народ, и один из них, чернявый и скуластый, встает, трет голый безбородый подбородок и кричит собравшимся:

– Граждане, крестьяне и товарищи! Сейчас товарищ Верещагин, член нашей ячейки, сделает вам доклад, то есть прочтет лекцию: есть бог или нет!.. Прошу тишину!..

В шуме и движении толпы на смену чернявому встает за столом товарищ Верещагин, и, когда он встает, с передней скамейки остро звенит бабий вскрик:

– Матушки!.. Да это Митька сватьи Дарьи!..

Товарищ Верещагин, Митька, сконфуженно усмехается, перебирает на столе тоненькие книжечки, откашливается. Начинает доклад о боге.

В топоте, в кашле, во вскриках и переговорах тонет и неуклюже ползет этот доклад. Несколько раз останавливается товарищ Верещагин, и ребята из-за стола кричат:

– Тише-е!.. Товарищи! Граждане женщины, тише!.. Не мешайте порядку!..

Несколько раз ненадолго затихают слушатели, но не выдерживают и снова бурлят и грохочут. И вместе с другими, озлобленней и яростней иных, грохочет и бурлит Афанасий...

Вспотев и отдуваясь, кончает свое дело товарищ Верещагин, Митька. Чернявый, скуластый снова встает и, покрывая усилившийся шум и говор, звонко предлагает:

– Граждане, которые желают, могут вполне свободно задавать вопросы. Кому что непонятно.

Пылающий возбуждением, шумный и неуклюжий, протискивается меж скамьями Афанасий и широко размахивает руками:

– Давай я спрошу!

– Ну, спрашивай.

Не глядя на ребят, ни на чернявого, ни на оратора-Митьку, Афанасий оборачивается к своим, к мужикам и бабам:

– Хочу загнуть я вопрос! – кричит он восторженно и гневно.

– Вали!.. Сыпь, Косолапыч!..

– Хочу поспрошать – пошто этих сукиных сынов матери рожали, утробы свои надрывали? Какой ляд?!

Пляшет прокуренный сельсовет в хохоте, гневе, реве и шуме. Пляшут полуизодранные плакаты на гулких стенах. Вокруг Афанасия свивается клубок, ребята напрасно призывают к порядку, к спокойствию, к тишине. Порядка, спокойствия и тишины нет.

**III**

Крестная, Арина Васильевна, приходит из сельсовета сердитая, ругаясь:

– Черти охальные! Страсти какие, Ксеночка, – бога, говорят, нету, бога, мол, попы придумали!.. Да разрази их богородица, изгальщиков этаких!

Ксения хмуро слушает и не сочувствует крестной. Ксения думает о своем, и нет ей дела до старухиных забот. Но Арина Васильевна, распаленно, разгневанно воодушевленная, многословно рассказывает о том, что было в сельсовете, – и нехотя, лениво и бесстрастно втягивается Ксения в разговор.

– Афанасий-то что разорялся? – усмехается она. – Ведь он лет двадцать, поди, в церкви не бывал.

– А это нипочем! Он, может, без церкви бога в душе держит!..

– Пьяница он... бездельник. Ни во что не верит. Сам он изгальщик хороший. И с ребятами этими штырился он так, из озорства... Поперечный он.

– Напрасно ты, – вскидывается крестная. – Правильно он этих дурней лаял. Совесть они потеряли, а он их по душевности и обличил... Кака беда, ежели он в церкву молиться не ходит? Он, бать, веру-то в душу сохранят?!

– Пустой мужик! – лениво повторяет Ксения.

Арина Васильевна обиженно умолкает. Арина Васильевна молча таит в себе свою догадку: Ксеночка-то отшиблась сама от бога, с партизанами да в чужих местах там где-то мыкаясь.

Догадка эта остро буравит ее позже, в тот же день, когда во двор въезжают непрошенные гости, когда, откричавшись от Пестрого, в избу заходят трое, те самые, которые совсем недавно над богом галились в сельсовете.

Ребята входят в избу, окутанные морозным паром, останавливаются у дверей, здороваются. От дверей спрашивают:

– Ночевать, хозяюшка, не пустите ли?

Крестная сразу узнает вошедших. Крестная напитана обидою и торопится ответить:

– Женски тут. Мужиков нету... Ищите у соседей ночлегу.

Мнутся парни у порога. Значит, поворачивать надо. По из-за спины крестной, Арины Васильевны, выходит Ксения, ловит старухины слова, вглядывается в гостей непрошеных.

– Вы к нам-то сюды сразу али еще где просились? – поняв что-то, спрашивает она.

– Нас из третьей избы гонят! – смеются парни. – Бога мы, видишь, обидели...

– У! Шалыганы! – вскипает крестная.

У Ксении чуть-чуть яснеет лицо. Но не улыбается она и просто говорит:

– Разболокайтесь... Что ж, не гнать вас на мороз... Коня-то приберите.

Крестная глухо и обиженно ворчит. Ребята остаются ночевать.

Накормив их ужином (а крестная, не проронив за столом ни слова, сразу же ушла в куть), Ксения перед сном присела с ребятами и втянулась в беседу.

– Бессознательный у нас тут народ, – досадливо сказал Верещагин, – ничего не признает. Орут, галдят, того и гляди, в драку полезут.

– В прошлом годе, – подхватил чернявый, – наши ребята в Спасском отгрозились, а го насыпали бы им, мое почтенье!

Третий, корявый и молчаливый, засопел носом и обиженно отозвался:

– Дак ребята шибко мужиков задирали! Хлебом, что прятали, попрекали, то да се, ну и огорчились мужики, раскипели!

– Кулаки шебаршатся!.. От кулаков вся загвоздка...

Ксения прислушалась, пригляделась я снисходительно усмехнулась:

– А на ночевку-то вас, ребята, не пустили кто? Совсем не кулаки, самая настоящая наша голь... Стало быть, не одни кулаки...

– Бессознательность!.. Газет не читают, избов читальных нет!.. Заставить бы по закону, чтобы вникали в положение, легче бы стало.

Ребята говорили бестолково, но возбужденно. Они украдкой разглядывали Ксению, щупали вороватыми взглядами ее уродство, незаметно подталкивали друг друга.

Когда им постлали на полу общую постель и они улеглись, когда, мигнув, погасла керосиновая лампочка, в темноте сдержанно зашуршали их голоса: ребята толковали о своем. А сквозь свое незаметно вкралось и вот это, что шло от женщины, которая приютила их на ночь, у которой кто-то безжалостно разрушил красоту. Тихий говор мягко полз по темной избе. Он вползал во все углы. Он вполз и туда, за перегородку, где боролась с бессонницей Ксения:

– Ишь, баба ни за что пропадает. На одну половину – такая приглядная, а с другого боку – ребятишек пугать только и впору!

– Где это ее пошоркали так?

– На линии, слышно было, белые, что ли...

– А ничо, кабы не уродство...

– Эх, давайте, ребята, всхрапнем!.. Чего уж тут...

Ксения слушала и стискивала в темноте зубы. Она не шелохнулась, не вздохнула, пока ребята не угомонились, не заснули.

Позже, ближе к рассвету, заснула и она.

Утром она сдержанно и молчаливо напоила парней чаем и выпроводила их.

– Спасибо, хозяйка! – поблагодарили ее на прощанье ребята.

– Ладно, не на чем! – оборвала она и отвернулась от них.

Крестная утром ничего не сказала о вчерашнем, но за обедом, побывав у соседей, как бы невзначай заметила;

– Смеются люди-то...

– Над чем?

– Да над ночевальщиками вчерашними. Пустили, говорят, бродяжню комсомольскую ночевать, а их ни в одну избу православные не допущали, отовсюду гнали!

– Дураки смеются! – вспылила Ксения. – Ребята свои, деревенские, кому они мешают?.. Кому не любо, пусть не слушали бы... Да и то сказать, парни не зря про попов говорят: темный мы народ...

– Осподи, Ксения, да што жа ты?!. Неужто веришь тварям этим?

Ксения ничего не ответила, отвернулась от Арины Васильевны и задумалась.

**IV**

Январь проходил с оранжево-зыбкими кольцами вокруг луны. Синие глубокие тени лежат нд пухлом снегу. Тальники и черемушники покрыты воздушною сетью куржака. При луне куржак отливает сверкающим серебром. Над хребтами стелется рыхлая и трепетная пелена. Порою солнце в полдень висит в густом и плотном небе медным тусклым щитом. Свежий лошадиный помет лежит на дорогах не тронутый, не расклеванный птицами.

Зима стоит в своем зените. Зима расправила крылья свои и парит над тайгою, над застуженной землей.

Ксения задает корм скотине и изредка дует на коченеющие пальцы.

Красавкина дочь, Буренка, шумно втягивает в себя теплое пойло и, роняя брызги, громко жует. Мир и домовитое спокойствие отмечаются этими привычными звуками. О мире и умиротворенной тишине тоскует Ксения, вслушиваясь в окружающее. В груди ее ноет тревога. Острыми уколами ранит воспоминание о Павле. О нем напоминает здесь каждый предмет, каждый звук. Он еще живет в Ксеньиной жизни. И думы о нем приносят горечь.

Но часто Ксения – и вот так же теперь – распаляет свою тоску мечтою о ребенке, о маленьком, кровно родимом существе, которое бездумно и отреченно можно было бы прижать к своей груди и согреться и согреть. И то, что не зачала она от Павла, наполняет ее и болью и испугом.

– Стало быть, никогда не была ему мила! – убеждает она себя и стискивает, как от жгучего удара, зубы, – Стало быть, баловался только...

Легкий пар вьется от пойла. Буренка сыто вздыхает, Ксении пора уйти в избу, в тепло. Но она стоит бездельно, обвеваемая холодом и ранящими мыслями. Идти в избу, а там молчаливая, вздыхающая крестная, которая что-то думает про себя, которая с некоторого времени смотрит как-то со стороны, выжидающе и неодобрительно. И нет желания возвращаться в неуютное тепло. А тут – стерегущая тишина, и холодное безлюдье, и унылый простор для невеселых дум.

Ксения выпрямляется, протяжно вздыхает и берется за опустошенную Буренкою посуду. И когда она выходит из стайки во двор, там ее встречает обиженным и нетерпеливым лаем Пестрый.

– Чего ты, дурашка? – незлобиво покрикивает на собаку Ксения.

Пестрый пригибается к земле, метет пушистым хвостом снег и не перестает лаять. Потом срывается с места и, подбежав к воротам, продолжает лаять, и в лае его звенит ярость.

– На кого это ты, дурной? – недоумевает Ксения и идет к воротам. За воротами никого нет. Ксения возвращается, поднимается на крыльцо и, оборачиваясь, кричит на Пестрого. А Пестрый, когда она открывает дверь и входит в избу, вдруг обрывает лай и начинает остро и протяжно выть. Вой этот вползает глухим отголоском следом за Ксенией, пугает ее и Арину Васильевну. Крестная всполошенно проходит ей навстречу и тревожно говорит:

– На чью это, прости осподи, голову развылся Пестрый-то?..

День только-только начался. Впереди тихие дневные часы медлительной, неторопкой зимней жизни. И унылый и необъяснимый вой собаки пугает смутным предчувствием. Крестная накидывает на голову платок и проходит к дверям мимо Ксении. Она с крыльца визгливо и сердито кричит на Пестрого. Собака затихает, и крестная возвращается безмолвная, но умиротворенная.

После раннего крестьянского обеда Арина Васильевна усаживается за кросна, и в угрюмой тишине избы раздается треск и шуршание ее работы. А Ксения, окончив мелкую домашнюю работу, бесцельно и устало опускается на лавку, заламывает руки за голову, потягивается и сдержанно и неслышно вздыхает протяжным вздохом. Проходят минуты, медленные, почти неподвижные. Еле-еле движется время. Задумчивый и ушедший в себя взгляд Ксенки делается упругим, яснеет. Она встает с места и приближается к крестной.

– Слышь, кресная...

Арина Васильевна останавливает станок и оборачивается к ней.

– Слышь, кресная... Уйду я отсюда. Тошно мне, глаза бы мои не глядели!

– Куда уйдешь-то? – тревожно и жадно спрашивает старуха.

– Не знаю... Может, в город.

– Слаще ли там?

– Хуже, чем здесь, поди, не будет...

Крестная что-то обдумывает и отвечает не сразу. А когда отвечает, в ее голосе осторожная вкрадчивость:

– Смирилась бы, Ксена... Люди у нас рази плоше других?.. Ты с веселой душой к людям, и они бы к тебе так же... Гордая ты. Штыришься с народом, оттого и тошно тебе...

– Мне не с чего веселую душу иметь... Что и говорить об этом!.. Уйду я...

– А хозяйство? – Тревога темнеет на выдубленном, морщинистом лице старухи: – Со двором-то как?.. Тягло мне будет теперь, Ксена. Силы-то у меня высохли. Куда мне теперь со двором, с хозяйством управляться!..

Ксения молчит. Не отвечает и смотрит в сторону. Потом тихо и вовсе не старухе, не крестной, а, может быть, себе самой говорит:

– Стало быть, хозяйство-то как камень на шею?..

**V**

Когда несколько лет назад, в лихие дни, Ксения очутилась далеко от дому, среди непривычной обстановки и размеренное спокойствие деревенской жизни сменилось для нее тревожным беспорядком опаленных опасностями и огненной страдою дней, сердце ее сжалось больною жалостью: так горько было покидать родной хвор, родную поскотину! И разве не примчалась бы она сразу же, как только мало-мальски устроилось все кругом, домой, к себе, к привычному и милому? Но тогда пришло несчастие. Обезобразившая ее рана наполнила ее колючим стыдом: «Как вернуться домой и с этаким лицом? Как показаться тем, кто знал сызмальства?»

Стыд этот держался в ней и держал ее вдали от дома долгие месяцы. Стыд этот прожигая ее насквозь, сколько бессонных ночей провела она в слезах? Сколько строго и мучительного горя перенесла она, скрывая его от всех?

Но притупилась боль. А может быть, заглушило ее все то, что встречало Ксению там, в чужих местах: ранящие обидою перехваченные жалостливые и испуганные взгляды, иной раз полускрытый смех, дерзкие и властные приемы мужчин (чего, мол, с таким лицом куражиться) и страшное постоянное одиночество. Может быть, все это однажды разбудило радостно тревожным ударом в сердце и погнало:

– Домой!.. домой! домой!

И она тогда вернулась домой.

А там пришла в скором времени обманувшая радость. Пришел и ушел Павел.

И теперь дом опостылел. Тоска сжала, вцепилась – неотступная и жадная. И нужно бежать от нее. И Ксения готова бежать. Мысль об этом бегстве пришла внезапно, в тот январский томительный день. Но когда Ксения высказала неожиданно для себя эту мысль, она ухватилась за нее и стала ее развивать дальше. И тут перед Ксенией выплыл сложный и трудный вопрос:

– Куда?

Вопрос этот обрушился на Ксению великою тяжестью. Она припомнила людей и места, с которыми встречалась, в которых была. Она припомнила, подумала и с горечью решила, что уходить-то ведь и некуда. Несколько знакомых и близких людей вспомнилось, и среди них раньше всех Коврижкин, – но ведь тот же Павел Ефимыч не понял ее тогда, спугнул ее радость, оказался таким далеким и чужим!

– Куда же?

И в нахлынувшем на нее смятении вспомнила Ксения давний разговор с суровой неизвестной женщиной, соседкой по койке в грязном и смрадном лазарете. У женщины отняли отмороженные ноги, она молча страдала от этой потери, и только однажды ночью, когда он и обе не спали, подавленные своими несчастиями, женщина заговорила:

– Нет нам с тобою, бабочка, теперь ходу в жизни. Обломали нас... Теперь, кабы не позарили их да не обхаяли напрочь бога, одна бы дорога, что в монастырь, в обитель...

Тогда, помнит Ксения, восстала она против слов безногой женщины. Ее возмутила обреченность ее и вера в тихую, но уже несуществующую обитель. Она горячо поспорила с соседкой, но та осталась при своем и только сурово и пророчески твердила:

– Вот вспомнишь, когда горя хлебнешь, мои слова. Вспомнишь!..

Теперь она вспомнила эти слова. Неужели безногая женщина была права? Неужели самым лучшим, самым простым, дающим покой и отдохновенье, было бы это? Уйти к богомольным, суровым, отрекшимся от жизни и от ее радостей женщинам? Надеть черные одежды, приникнуть к молитвам и посту и перестать чувствовать людские, плотские соблазны и волненья?

Ксения никогда не любила попов и ходила в прошлом в церковь только потому, что так всегда велось и так делали все окружающие. И когда пришли новые времена и люди стали открыто поносить бога и глумиться над попами, Ксения не была с теми, кто злобно ворчал на новые порядки, на безбожников, на хулителей веры. Она почувствовала тогда, что в этом новом живая правда, и живая правда пришлась ей по душе. И еще совсем недавно она стала безмолвно на сторону деревенских комсомольцев, которые рассердили крестьян, особенно баб, своей лекцией и безбожными картинками. Еще совсем недавно она не задумывалась над богом, над снятыми, над церковью. А теперь... Смутная мысль обожгла, смутила, встревожила.

Хуже всего было то, что не с кем душу отвести, некому поведать про свое наболевшее. Есть возле нее крестная. Арина Васильевна, но разве ей скажешь и разве поймет она?

Дни январские по-зимнему коротки. Зато ночам нет конца и краю. В углах, на печке, по полкам шуршат тараканы. Жарко натопленная печь иссушила воздух, и дышится трудно. От жары, от утомительной ночи, от дум нет сна у Ксении. Она ворочается на горячей постели. А недалеко от нее уже второй раз в эту ночь просыпается крестная и прислушивается и следит настороженно и украдкою. И вот в темноте в глухой затаенности ночи раздается осторожное:

– Не спишь, Ксена?

– Нет...

– А ты бы соснула... Неужто все думами сердце-то томишь!.. Все про свое думаешь?

– Да.

– Неужто уйдешь?

– Уйду.

Ксения отвечает скупо. Скупые ответы смущают Арину Васильевну. Она протяжно вздыхает, и в избе снова стынет молчание. Уже опять настороженно притаилась старуха, обиженная и растерянная, но внезапно Ксения начинает говорить. Крестная ловит ее слова и в изумлении, кряхтя, поворачивается и садится на скрипучей кровати.

– И уйти ведь мне, крестная, некуда... Одно бы дело, в монастырь. Да и монастырей, поди, теперь не осталось... В монашках бы, бать, отошла бы моя тоска. Не пялили бы люди глаза на мою беду. Не рвали бы мое сердушко, не галились бы...

– Святители!.. – радостный испуг охватывает Арину Васильевну. Слышно в темноте, как всплескивает она руками: – Пошто же в монастырь? Ты бы так помолилась, дома бы... Право слово, Ксеночка, от молитвы бы тебе полегчало!.. В монастырь-то зачем? Тебя, бать, судьба еще хорошая ждет...

Крестную охватывает деятельное, суетливое возбуждение. Она говорит громким шепотом, будто боясь, чтобы кто-нибудь не подслушал. Она сползла к самому краю постели и тянется в темноте к Ксении. А Ксения затихла и неизвестно, слушает ли она или ушла в свои мысли и отгородилась от старухи, от старухиных слов.

– Право слово, Ксеночка! Сходила бы ты в Острог, помолилась бы... Кою пору ведь ты не маливалась. Вот в субботу съездила бы, да там и переночевала бы! Поезжай, девонька!.. Заступнице свечечку поставь, помолебствуй, ну так скрозь облегченье тебе и выйдет!..

В щелистых ставнях тускло оживает рассвет. Он беспомощно льнет к толстому льду на стеклах окон, и тьма в избе по-прежнему густая и непроницаемая. Но Ксения улавливает слабые, белесые признаки рассвета и прерывает старуху:

– Перестань, кресная! Ночь-то уж проходит... Поспала бы лучше.

Ночной разговор окончен, прерван. И в кроткие предутренние часы в избе восстанавливается тишина.

Наутро Арина Васильевна выжидающе глядит на Ксению. Ждет чего-то, не решаясь пока еще спросить. А Ксения хлопочет хмуро по хозяйству и ничего не говорит.

**VI**

Когда душа тоскует, раскрываются все старые раны. Одна такая, почти забытая, почти зажившая, ожгла неожиданной болью.

В воскресный день вышла Ксения на улицу. Солнце прорвалось сквозь белую стужу и засверкало снежинками, засияло на снежных крышах, напоило сочною синью густые тени.

По снежно-солнечной дороге мимо Ксении прошла молодая женщина с разрумянившимся на солнце малышом, который неуклюже и весело переваливался возле нее, закутанный в шубенку и шаль. Женщина взглянула па Ксению и отвернулась.

«Марья», – укололась воспоминаньем Ксения и жадно разглядела ребенка.

А когда и женщина и ребенок скрылись по улице, Ксения долго стояла неподвижно и одиноко на снегу.

И живо и ясно прошли пред нею давнишние дни, когда, по-девичьи беспечная и по-девичьи же безрассудная, она выслушивала от ласкового и тихого парня стыдные, но горячие, но радующие слова, когда верила этим слонам и доверчиво куталась в крепких объятиях и не отворачивала лица, не прятала губ от томящих поцелуев. А что сталось от всего этого? Она ушла, и не по своей поле, а он не дождался ее, сменил на другую, и вот сейчас эта другая прошла мимо нее, отворачиваясь, с его ребенком... Но ведь могло же быть иначе!

Душа тоскует, и раскрываются все старые, уже зажившие раны.

В воскресный день тихо и прибрано в избе. Арина Васильевна, по-праздничному выспавшись, встречает Ксению молча, но ласково. К крестной вернулась ее прежняя ласковость после того ночного разговора. Крестная носит в себе какую-то мечту, но пока еще не обнаруживает ее. Она не удержалась и поделилась с верными подружками-соседками и том, что неожиданно услышала от Ксении, и теперь ждет она чего-то, и, видно, еще не приспело время для того, что лежит у нее в мечтах.

Но робко и несмело краешек этого выскальзывает:

– Ксеночка... – говорит она, когда Ксения, раздевшись, садится к заиндевевшему окну: – Я вот что надумала. В Острожном, сказывают, батюшка новый из схимников, праведной жизни человек и ученый. Вот, бать бы, съездить к нему... Многим, сказывают, утешение молитвою дает он... А, Ксеночка?

Ксения еще не стряхнула с себя острых воспоминаний и отвечает растерянно и невпопад:

– Вот и был бы теперь ребеночек мне утешением...

Арина Васильевна испуганно вслушивается в этот ответ. Качает головою:

– Да об чем?.. Коли господь не дал детей, об чем же тужить? Я тебе про батюшку острожного. Утешить молитвою, мол, сумеет он. Слышишь?

Ксения слышит. Губы ее сжаты. Упрямые мысли морщат лоб. Рука теребит кончик головного платка.

– Слышу... Не верю я, кресная!

– А ты поверь! Попробуй!..

И, торопясь использовать покорное молчание Ксении, крестная обрушивает на нее все, что узнала она у подружек-соседок о праведной жизни бывшего схимника, о душевном исцелении, которое он подал вот той-то да тому-то, о радости, которую приносит его молитва. И, может быть, подавленная всем этим, Ксения внимательно и безмолвно слушает ее.

Вечером, с первыми огнями, к Арине Васильевне приходят соседки, сначала одна, потом другая. Садятся тихо и затаенно, как в доме, где лежит тяжело больной.

Вздыхают, смотрят друг на дружку, кидают сострадательные и умиленные взгляды на Ксению. Невзначай начинают разговаривать об отце Сосипатре, острожном попе. Невзначай и исподволь пробираются к Ксеньиному томлению. Осторожно с бабьей, нигде не обученной, но верной хитростью поворачивают речи свои как раз на то, о чем толковала Арина Васильевна.

Так же как и крестную, Ксения слушает их внимательно, но молчит. Но, не смущаясь ее молчания, старухи продолжают говорить, разгораются, кипят, поминают Христа, богородицу, святых, молитвенно вздымают глаза к иконам и порою чертят над иссохшими, плоскими грудями мелкие крестики.

Они уходят чинно и степенно, опять словно в избе тяжело больной. И после их ухода, выждав немного, Арина Васильевна проникновенно и почти уверенно говорит:

– В сретенье, Ксеночка, престол в Острожном. Тогды и поедем...

**VII**

Сперва Аграфена, девка веселая и некуражливая, написала под диктовку Архипа ответ в город, потом из города пришло еще одно письмо, а вместе с письмом денежный перевод – целый червонец. И уж после всего этого начала Василиса снаряжать Васютку своего в дорогу. Архип, получив деньги, какое-то томительное мгновенье продержал в руках, протяжно выдохнул из себя переполнивший его соблазн и отдал жене:

– Спрячь до поры, Василиса!

Отвозил в город паренька Архип все-таки навеселе. В Моге деревенские гудели на проводинах, благо день был праздничный – сретенье. Над Архипом незлобиво посмеивались, Васютке надавали сотню вздорных советов. Васютку тормошили и завистливо шутили с ним. А парнишка хранил в себе испуганную радость, хмуро надувал губы и степенно огрызался.

На станцию ехали через волость, через Острог. Над селом, когда туда въезжали, плавали жидко в густом морозном воздухе звуки колоколов. Василиса выпрямилась на сиденье, торопливо перекрестилась:

– Благовестят. Нонче тута престол.

– Попы страдают! – хмыкнул Архип. – Подлавливают вас этаких на удочку: престол!..

В Остроге остановились у свата. Василиса, как приехали, сразу побежала в церковь.

– Пушшай, – примирительно сказал Архип свату. – Я так кумекаю: у меня слабость – самогон, а у ее – леригия!..

Но когда Василиса вернулась из церкви, у него благодушие исчезло без остатку.

– Ну, мужики, – возбужденно стала рассказывать баба. – Оказия-то какая! Кого я в церкви-то видела! Ксению верхнееланскую!..

– Врешь! – вскипел Архип. – Не может этого быть! Не такая она, чтоб к попам ходить!

– Да своими я глазами видела! Ты чего это? Когды я тебе врала?

Архип опомнился: действительно, не водилось за Василисой вранья, всегда баба правду говорила. Выслушал огорченно жену, выругался, схватился за шапку.

– Ты куда? Щей похлебаем! – удержал его сват.

– Сбегаю я к ней, дознаюсь! Где она, Ксения, останавливается-то?

Сват сказал и отпустил его.

Ксению нашел Архип окруженной множеством баб. Она сидела посреди них тихая и усталая. Недоуменье и скорбь вспыхнули ярче, как только увидела она Архипа. Бабы оглянулись на него и неприязненно зашушукались. Хозяйка дома вышла ему навстречу я певуче протянула:

– Проходи-ка, Архип Степаныч! Проходи, гостем будешь.

Но Архип не слушал хозяйку. Прямо к Ксении прошел он, прямо к ней:

– Ты што это, Ксения?.. Ты пошто же?

Ксения отвернулась. Губы у нее дрогнули:

– Оставь, дядя Архип... Не томи.

Бабы теснее подались к Ксении, зашумели, заговорили, покрывая голос женщины:

– Чего пристал к женчине?.. Не мужичье здесь дело!.. Уходил бы!.. Зачем пристал?!..

Но Архип озлился и прикрикнул на баб:

– Не гыркайте вы!.. Мое дело! Должен я с Ксенией, со связчицей своей поговорить!.. Должон, и кончено!..

Вставая с места и все еще не глядя на Архипа, Ксения напряженно думая о чем-то, сказала женщинам:

– Пустите, бабоньки... Хочет поговорить, пущай говорит.

Сразу умолкнувшие женщины пропустили Архипа поближе к Ксении и впились в него разгоревшимися любопытством и неприязнью глазами.

– С чего же это ты, товарищ дорогой Ксения, в церкву, к попам потянулась? Не займовалась ты раньше этим. Кто тебя надоумил? Была ты сознательная и справедливая, а теперь что с тобою исделалось?.. Обидно мне, Ксения! Укорительно обидно!..

Архип заговорил горячо, но успел сказать совсем немного и почувствовал, что нет у него настоящих, убедительных и уместных слов и что вот эти слова бесплодно падают в настороженную, недоверчивую, враждебную тишину, что Ксения слушает к не слышит его, отгородилась от него чем-то, ушла куда-то. И, чувствуя свое бессилие, озлобленный им, он вскипел, закружился, сорвался:

– Знаю я! – вдруг закричал он и обернулся к бабам. – Знаю!.. Сороки все это, трещотки язвинские! Они тебя сомустили!.. У-у!! Длинноволосое отродье!..

Хозяйка приблизилась к Архипу и язвительно промолвила:

– Перестал бы ты, батюшка, в чужом доме шуметь. Не было тебе приглашенья, не обессудь, коли вот тебе бог, а вот и порог.

Архип осекся, плюнул, яростно оглянул баб, сунулся к выходу и ушел.

У свата Архип разразился бессвязной и гневной речью и против попов и против баб, наконец, против кого-то неизвестного, кто, по его мнению, виноват во всем. Сват, легонечко посмеиваясь, поддерживал его, сватья дулась и обзывала греховодником. Василиса озабоченно уговаривала ехать на станцию. Было Архипу тошно и муторно, когда выезжал он из Острога.

Было тошно и муторно Ксении, оставшейся среди негодовавших на Архипа, на беспутного мужичонку, баб.

Но, насытивши свое негодованье, бабы постепенно разошлись по домам. Ксения осталась одна с хозяйкой.

Попозже вернулась откуда-то Арина Васильевна, пошепталась с хозяйкой, покрутила озабоченно головой, посидела немного молча, как перед дальней дорогой – сидят молча и сосредоточенно. Потом поднялась, твердо и настойчиво напомнила:

– Пойдем, Ксеночка! Ждет тебя батюшка, отец Сосипатр.

Растерянно вздрогнув, Ксения встала, поправила головной платок и решительно и деловито пошла одеваться.

**VIII**

Собирались со станции по железной дороге Васютку в город отправить одного, но на станции Архип вдруг перерешил:

– Хватит у нас копеек! Повезу-ка я Василея Архипыча сам в город!

Ни споры, ни уговоры не помогли: Архип влез в вагон следом за Васюткой и укатил. Василиса, вытирая заплаканные глаза, одиноко поехала рысцою обратно.

Всю дорогу парнишка простоял у окна, жадно разглядывая убегающие и кружащиеся в быстром беге распадки, поля, косматые полосы поредевшего леса. В жадности этой не слушал, о чем толкует с попутчиками отец. А Архип вцепился в праздных, по-дорожному охочих до разговоров слушателей и толковал им о своем, хвастался, что везет сынишку в город на хорошую ученую жизнь приспосабливать.

– Станет он у меня там человеком, во! – потрясал он черным кулаком. – По науке пойдет! Мозги проветривать будет!.. Город – это не деревня!

Соседи рассматривали парнишку и соглашались с Архипом и выматывали из него все, чем переполнена была его душа. А телеграфные столбы за мутными окнами бежали и бежали, а город все приближался, и путь к нему становился короче.

В городе Архипа и парнишку выплеснуло вместе с другими на разжеванный грязный снег улиц. И, немного оглушенный городом, приотстал Васютка от отца и тоскливо взглянул вокруг. Увидел снующих взад и вперед людей, обгоняющих друг друга извозчиков, редкие, но грохочущие автомобили. Он натыкался, как слепой, на прохожих, пыхтел и, несмотря на стужу, весь вспотел.

А Архип шел уверенно, как у себя в Моге, и парнишка, вдруг протиснувшись к нему, почувствовал необходимость в крепкой и надежной опоре. Васютка прикоснулся рукою в верхонке к отцовскому рукаву.

– Сробел, Василей Архипыч? – ласково и подбадривающе спросил Архип. – Ничего! Не робей, брат! Обвыкнешь.

Парнишка услыхал в голосе отца снисходительную ласку, почуял превосходство бывалого человека, угрюмо насупился и снова замкнулся, кидая вокруг опасливые взгляды.

По письму, в котором написан был адрес, с помощью встречных, не всегда готовых на услугу добрых людей, Архип прямо пробрался к Коврижкину на квартиру. Но Коврижкина дома не оказалось. Рябая толстая баба, недоверчиво прощупав острым взглядом серых холодных глаз и Архипа и Васютку, грубо объяснила:

– На занятьи он. Туда ступайте, если нужон он вам!

Архип почесал в затылке, потолокся, оставляя на полу широкие следы грязи, в узеньком коридоре пред враждебной женщиной и просительно сказал:

– А нам бы обождать тут? Нельзя, что ли, тетушка?

– Ждите! – коротко бросила рябая и ушла в какую-то дверь.

Опустившись на корточки возле мешка, Архип развязал кисет и завозился с трубкой.

– Подождем, Василей Архипыч! Мы подождем! От нас, брат, наше не уйдет... Вот, гляди, воротится Пал Ефимыч, все в порядке будет. Ты на бабу не смотря, баба мало что понимает...

Но парнишка настороженно молчал и тоскливо глядел на грязный пол и на расползавшуюся вокруг его ног черную лужу.

Коврижкин пришел часа через полтора. Увидев гостей, он весело и шумно приветствовал их, повел в свою комнату, которую отомкнул маленьким ключом. И в этой комнате, в беспорядке и неуюте холостяцкого жилища, вернулись к Архипу его уверенность и беспричинная радость.

– Надо вас, ребята, однако, накормить! – спохватился Коврижкин, когда гости разделись и уселись на единственный стул и кровать. – А у меня дома никакой жратвы нету! В столовке кормлюсь я. Ну, ждите, свожу я вас куда-нибудь.

– Ты не беспокойся, Пал Ефимыч, – возразил Архип, – мы поемши.

– Ладно! Немного погодя все сделаем!.. А ну-ка, кажись поближе, товарищ! – обратился Коврижкин к пареньку. – Будем мы с тобою смычку делать, город с деревней. Кажись!

– Кажись, кажись, Василей Архипыч! – подтолкнул Архип сынишку.

Васютка, насупив брови, нерешительно приблизился к Коврижкину. Широкая крепкая ладонь легла на его плечо, он поднял глаза и встретил лукавый, смеющийся взгляд. От этого взгляда ему стало вдруг теплее, брови его дрогнули, расправились, в глазах сверкнул отблеск улыбки, словно отражение этого смеющегося лица.

– Будем мы тебя, значит, приспосабливать к городу, – не снимая ладони с плеча, заговорил Коврижкин. – Следовало бы раньше, да ничего не поделаешь, промашка была. Теперь в училища, говорят, среди года не принимают. Ну, а мы и так дело сварганим, не бойся!.. А ты рад, что в город перебираешься? Учиться-то тебе охота?

– Я, ежели не хотел бы, – зажегся решимостью парнишка и взглянул Коврижкину прямо в глаза, – так неужто поехал бы?!. Я только за хозяйство боюсь.

– Ты?!.. – весело удивился Коврижкин.

– Тятька у нас плохой хозяин, – пояснил Васютка, – мамке тяжело одной-то будет...

Архип виновато и смущенно крякнул. Павел Ефимыч захохотал, взглянул на обоих и, не отгоняя смеха от себя, протянул:

– Дела-а!..

Бодрый и задорный смех Коврижкина еще больше расположил к нему Васютку. Парнишка приободрился, повеселел, стал развязнее. А позже, когда Павел Ефимыч повел их в столовую и по дороге показывал и называл разные городские места, Васютка уже совсем освоился и сам начал задавать ему вопросы, жадно торопясь все узнать, обо всем проведать.

Архипу можно было возвращаться домой в этот же день вечером, но после столовки, после разговоров с Павлом Ефимычем, после того, как были разбужены им партизанские воспоминания, он вдруг почувствовал необходимость побыть здесь еще хоть немного времени.

– Переночую я у тебя, Пал Ефимыч! – застенчиво сказал он.

– Ночуй! – коротко согласился Коврижкин. – Только вечером ты меня не увидишь, заседать я пойду.

Прокоротали Архип с сыном долгий вечер одиноко. Засиженная электрическая лампочка показалась Васютке морем огня, сверкающим, ярким солнцем. Он потрогал недоверчиво выключатель, и, когда по одному только короткому и нехитрому движению его пальцев свет погас, а потом снова зажегся, парнишка не удержался и радостно засмеялся.

– Електричество! – горделиво сказал Архип, словно это он – причина, что свет загорается и гаснет от одного лишь слабого движения руки. – Без огня горит! Умственно выдумано. Тута, Василей Архипыч, еще и не такие чудеса наворочены. Вот увидишь!

У парня горели глаза. В ясных глазах трепетала неосознанная жадная радость.

Коврижкин пришел поздно. Гости, дожидаясь его, не ложились спать. Он сходил на кухню, повозился там с чем-то и, вернувшись, весело объявил:

– Держитесь, ребята! Чаишко скоро пошвыркаем!.. Состоялось!

Немного погодя в дверь просунулась голова рябой бабы:

Тащи, товарищ Коврижкин, свой чайник! Скипел!

Сидели за чаем долго. Долго ели городскую булку с колбасой. И булка и колбаса Васютке очень понравились, он ел с аппетитом и вышел из-за стола сытый, отяжелевший от пищи.

– Сморило парня-то! – заметил Коврижкин. – Стели ему, Архип, постель.

И Васютка не заметил, как кончился для него этот первый день в городе: он уснул быстро и крепко, и сон его был сладок и по-детски безмятежен.

А Архип с Павлом Ефимычем остались еще сидеть и дымили в два дыма табаком.

Кругом все спало. За стенами спал целый город, и тысячи людей забылись в отдохновенном или истомном сне, и сотни домов погрузились в мрак, словно и дома тоже заснули, отдыхая от дневных грохотов и шумов, – а эти двое сидели и медленно, не торопясь, смакуя и наслаждаясь, будили ушедшее, ворошили общие воспоминания. Порою им казалось, что немирный, уснувший от трудовой, от мирной жизни город, в котором безмятежно затерялись они, окружает их, а притаившееся молчание в дозоре, в разведке, полная кровавых опасностей предбоевая ночь. Порою забывали они прочно о действительности, и горели их глаза, и какой-то страстностью рокотали в ночи сдержанные голоса. И засиженная мухами лампочка освещала их головы – одну кудлатую и взлохмаченную, а другую низко остриженную, – освещала мертвым светом.

О многом вспомнилось. О многих, кого уже нет в живых. Вдруг Коврижкин произнес имя Ксении. Архип очнулся. Сразу вернулась действительность, сразу отодвинулось прошлое.

– Ах, язви тебя, я и забыл совсем сказать тебе, товарищ! – возбужденно вскричал он. – Затес ей в голову попал бабе! К попам, в церковь потянуло!

– Ксению? Коненкину? – не поверил Коврижкин.

– Ее самую! Вот утресь, я ее в Остроге встретил, при мне и от обедни пришла. Совсем ничего, никаких толков и слушать не хотит...

– Здорово! – со злобным огорчением протянул Павел Ефимыч и покачал головой.

Вдруг он весь как-то подобрался, закрылся. Встал на ноги, прошелся по комнате, еще раз сказал:

– Здорово!

И неожиданно решил:

– Ну, ладно! Давай спать! Хватит на сегодня разговоров.

Когда они оба улеглись и лампочка потухла, на мгновенье протрепетав внутри красной свернутой ниточкой, Павел Ефимыч в темноте глухо проговорил:

– Вот, значит, опять непоглядели... промашку дали!

**IX**

Ксения, входит в сторожку при церкви, где живет теперь поп. Поповский дом, высокий, шестиоконный, под железной крышей, несет на своем карнизе маленькую вывесочку: «Изба-читальня». Ксения проходит мимо дома, не подымая глаз.

Сухой чернобородый монах встречает ее на пороге и, внимательно разглядывая, пропускает в низенькую горенку. В полусвете, рассеянном кругом, видит Ксения мельком голые стены с киотом в красном углу, узенькую лежанку, простой, ничем не покрытый стол и табуретку возле него.

– Садись, дочь моя! – торжественно говорит монах. – Слыхал я, что о душевном у тебя есть желание побеседовать. Слыхал.

У Ксении сердце замирает в тоске и жалости какой-то. Она отвечает не сразу. И глух и неуверен ее голос в этом ответе:

– Да, батюшка...

Монах еще раз внимательно разглядывает. Он слышит тревогу и замкнутость в голосе пришедшей к нему женщины, он чувствует ее смятение, но он уверен в себе, он знает по многолетнему опыту эти замкнутые и недоверчивые души, приходящие за духовной помощью, и ость у него для них большой запас давнишних, привычных слов. Он уверен в себе и в силе своих утешений. И, полон непоколебимого, но смиренного превосходства над этой заблудшей душой, он ободряет ее:

– Не бойся, дочь моя... Я не мирской, мне можно все поведать. Садись и все расскажи, все, что смущает дух твой. Господь тебе через меня, недостойного, поможет.

Как во сне, пробуждаемая чужою волею, опускается Ксения на табуретку, складывает руки на коленях, наклоняет голову и тихо вздыхает.

– Не знаю я... Я, батюшка, от бога давно откачнулась... А теперь не знаю, куда мне стукнуться. Люди говорят, молитва помогает...

– Молитва, если с чистым сердцем да с верою приступить к ней, всегда поможет. Господь милостив.

Ксения снова вздыхает и умолкает.

– Ты все, все, как на духу, расскажи про себя! – подходит к ней монах ближе, и в его глазах, устремленных на Ксению, горит настойчивость. – Если утешение в пере ищешь, ничего не скрывай!

И в мирной тишине суровой, с показной монашескою убогостью горенки начинает неуверенно, но с возрастающей страстностью звучать сдержанный женский голос. Начинают нанизываться слова, сначала сбивчиво и тревожно, но чем дальше, тем все слаженней и смелее. Полузакрыв глаза и уйдя вся в себя, Ксения начинает обнажать перед чужим, но внимательно, как бы подстерегая ее, слушающим человеком самое тайное, самое сокровенное свое.

Монах, черный и тонкий, стоит возле нее и опирается рукою о стол, и костлявые пальцы его неподвижно лежат на свежей желтизне дерева. Он слушает и не прерывает женщину. Лицо его бесстрастно, глаза чуть-чуть поблескивают. Он молчит, ибо по давнему опыту знает, что женщина и так скажет все.

Ксения рассказывает все. С каким-то отчаянием она говорит о том, о чем не говорила никому. О своем случайном уходе с партизанами, о своей жизни у них среди боевой опасности, о первой крови, которую сама пролила. О том, как ее ранили, и об ужасе, который охватил ее, когда она очнулась и узнала о своей беде. О годах скрываемой боли и стыда. И, наконец, о возвращении домой и мелькнувшей на минуту радости. Почти ничего не утаивает Ксения. Монах дослушивает ее до конца молча. И он хранит еще некоторое время молчание даже тогда, когда Ксения умолкает и склоняется ниже, роняя на колени слезы.

– Многогрешная ты перед богом, – жестоко и властно прерывает молчание монах. – Ох, как многогрешна! Покаяться тебе надо. Искупить свои заблуждения...

Все еще не подымая головы, впитывает Ксения суровую и обличающую речь монаха. Слышит она голос, его гневные слова и чувствует, как вздрагивает ее сердце, как странное успокоение входит в нее от этих слов. Но голос монаха незаметно становится проще, мягче, теряет торжественность и обличительную суровость, и житейское, суетливое, слегка трусливое вплетается в него, и с внезапным изумлением слышит Ксения, приходя в себя, это житейское и суетливое.

– Вот еще я слыхал про тебя, что совсем недавно хулителей господа бога привечала, бесят комсомольских... Православные, истинно-верующие и на порог их не пустили, а ты им приют дала. А они с богомерзкими речами выступали, кощунственные картины развозили на соблазн христианам... Грех это, великий грех!..

Ксения быстро приподымает голову. Слезы быстро сохнут на ее щеках, губы плотно сжаты. Почему он заговорил об этом? Разве это ей нужно? Вот пусть бы продолжал так, как начал, пусть сурово и огненно, опаляюще говорил бы о чем-то далеком, не здешнем! Зачем он заговорил о маленьком, ничтожном, что не трогает ее души?

Ксения не говорит этих слов вслух, они, может быть, и не так слагаются в ее сознании, но она так чувствует. И вот поэтому-то тихие слезы перестают скатываться на колени, и смутное, неуловимое сожаление о чем-то, сейчас вспугнутом, приливает к ее сердцу.

А монах ничего не замечает и говорит. Теперь, когда он из ее уст услыхал о ее заблуждениях и о ее жизни, он с большой подробностью перечисляет все житейское и повседневное, в чем согрешила она против его законов, против незыблемых устоев его бытия, и в этих прегрешениях узнает она то, к чему уже крепко привыкла, что незаметно стадо новым законом новой жизни, к которой за последние годы она приобщилась.

– Нет брака, – поучает он, – кроме брака, освященного церковью. Все остальное блуд и прелюбодеяние... Вот, женщина, оттого и не крепка жизнь твоя была с мужчиной, с которым была ты в греховной связи... Покаяться тебе нужно, смыть с себя молитвой и подвигом согрешения.

Она слышит эти слова, и внутри ее нарастают недоумение и протест: ведь она сама так хорошо знает, что если б не ее уродство, то нашел бы в себе Павел силы противостоять неприязни деревни, отстоял бы и ее и сейм и не ушел. Не в грехе здесь дело, чувствует она. Но смятенны се чувства, тянется слабеющая воля к чужой поддержке: может быть, поддержит вот этот, может быть, он вольет в нее новые силы?..

Монах осеняет себя широким крестом. Он кончил, видимо, беседу.

– Наложу я на тебя епитимию, женщина, – говорит он: – Потрудишься молитвою. А потом погляжу...

Ксения уходит от него подавленная. Смятение, с которым пришла она сюда, не рассеялось, не исчезло, она уносит его с собою обратно.

В Верхнееланское едет она вместе с крестной невеселая. Бегут заснеженные поля, бегут укутанные белым придорожные сосенки, бегут версты. Арина Васильевна возбужденно говорит о чем-то, о чем-то рассказывает, но все проходит мимо Ксении, ничего она не слушает, ничего не слышит...

**X**

Афанасий Косолапыч ходит по деревне и хвастается:

– Зарочит подхея у начальства! Из волости бумага председателю, а его корежит! Вострая бумага! Приказывают бедноту собирать на сходку, чтоб самосильно оборачивалась... Ну, Егору Никанорычу в кишке прищемило! Он какой – беднота? У его изба пятистенная, заимка в паях с братом, скотишко завидное... Ступайте седни опосля обеду в присутствие, забирайте свои права!..

Захудалые мужики, которых обходит Афанасий Косолапыч, досадливо слушают его. Они настроены недоверчиво:

– Сколько раз только и делов, что поманут, а толку никакого!

– А вы крепче горла-то дерите! – учит их Афанасий. – Нажмите на начальству на нашу, она сдаст!

После обеда оповещенные начинают лениво собираться в сельсовете. Они держатся немного растерянно, помалкивают и ожесточенно сосут трубки. Сизый и горький дым окутывает их. В дыму этом они понемногу смелеют; завязываются беседы, вспыхивает громкий спор, прорывается крик: сплетается и крепнет все то, из чего вырастает шумная, галдежная, страстная деревенская сходка. И когда Егор Никанорыч, оглядев собравшихся, находит, что пришли уже почти все, он криком призывает к тишине и порядку, и сходка начинается.

Секретарь как-то брезгливо и нехотя читает бумагу. Мужики слушают внимательно, но понимают, видимо, плохо.

– Постой! – несется из примолкнувшей толпы озабоченный крик. – Пошто ты, как пономарь? Непонятно, незнатно этак-то! Ты пореже, понятней!..

– Пореже?! – фыркает секретарь и начинает читать медленнее.

Полотнища самосадочного едучего дыма подплясывают над головами, говор и волнение взметаются к потолку: секретарь кончил читать, а председатель откашлялся и, глядя куда-то вбок, обиженно сказал:

– Теперь, ребята, гражданы, согласно инструкции, зачинайте свое заседание и заводите этот самый крескон. Прошу только в присутствии никаких безобразиев не делать и вообще понимать свою ответственность...

Беднота остается одна, без начальства. Мужики с непривычки теряются, смущены.

– Вот, видали! – ликующе кричит Афанасий и сразу возбуждает толпу. – Закорежило их!..

Словно прорывается долго сдержанная сила: самые захудалые мужики, с гнилого угла деревни, ободранные, испитые и заскорузлые в недостатках и в мелком пропое, вылезают вперед, неуклюже размахивают руками, стараются перекричать других. И в шуме и в бестолковщине долго нельзя ничего разобрать, и никто никого не слушает, и гомон стоит, как на самой свирепой сходке, когда делят покосы или наряжают гоньбовую очередь. Но в этой сутолоке выделяется несколько мужиков потолковее и сдержаннее, они урезонивают других, они расталкивают крикунов, одергивают их, толкуют им резонное и убедительное:

– Да тише вы, горлопаны!.. Этак прокричите без толку, а надо дело делать!.. Тише, говорят вам!..

И им удается установить порядок, а когда в сельсовете становится спокойно и толпа утихает, мужики жадно принимаются за дело. Неумело и сбивчиво облаживают они это дело, ощупью и беспомощно, но нутром и догадкой постигают они суть его. И, чувствуя свою неподготовленность, кто-то из мужиков в сердцах говорит:

– Ну и люди, едри их капалку! Ни писарь, ни председатель, ни одна собака не осталась людям подмогу сделать!

И так как он выражает общее чувство, то сразу со всех сторон прорывается и летит:

– По-омо-огут!.. Дорж-ись крепче, чтобы тебе помогли!.. Каждый для себя смотрит!..

– И волостны тоже умные: чем бы послать кого помозговитей, а они бума-агу! А с ей, с бумагой, тут и разбирайся...

Самосадочный, едучий дым треплется над головами ровными полотнищами. Дух в сельсовете навивается крепкий, непроворотный. Мужики потеют, мужики обламывают собственное, кровное дело.

Афанасий Косолапыч трется в самой гуще. Лохмы его трепещутся, как в вихре, его всего так и дергает от возбуждения, каждая жилка в нем ходуном ходит: у Афанасия Косолапыча словно праздник годовой: шутка ли? Каверза-то какая против его начальства завинчивается!.. Афанасий Косолапыч проталкивается к толковым мужикам, которые облепили стол и возятся с бумагой, шикают на нетерпеливых и беспокойных, руководят собранием и впитывают в себя и в себе преображают в законченный порядок суматошную и текучую волю окружающих. Вплотную притиснулся Афанасий Косолапыч к президиуму и непрошенно подает свой голос. От него отмахиваются, как от гудящего комара, его не слушают, но он упорен и неутомим. Он лезет со своими указаниями, со своими советами, он кипит и радостно волнуется.

– Я, – наседает он, – обчественный человек! Я всякую казенную повадку знаю! Вы меня послухайте!..

А его не слушают, и непривычное дело, скрипя и застревая на каждом шагу, медленно и верно идет вперед.

Один только раз Афонькины слова ненадолго задерживают внимание мужиков. Насмешливо скривив лицо, он вдруг по какому-то поводу вспоминает:

– Пошто же это я одноглазую-то Ксению не оповестил? А ее оногдысь проезжающий, коммунист-то, в самый этот трескон натакал! Верный, грит, она человек! Хо!..

– Зря не оповестил, – укорил кто-то Афанасия Косолапыча: – Баба малосильная, да возле людей терлась, гляди – и польза от ей была бы!

– Кака от бабы польза?

– Да она, Ксения-то, от людей в стороне, прячется...

– Скиснительная, значит! Совестится.

– Чего совеститься? Мы понимаем! Не звери!

В президиуме застучали по столу:

– Гражданы! Оставьте об этих пустяках языки трепать! Займовайтесь делом! Начинаем на голоса ставить, кого в комитет для ведения руководства и прочего!

Имя Ксении тонет в деловом шуме, в мужичьей незлобной, но гомонливой перепалке.

**XI**

Переночевав в городе, Архип прощается с сынишкой и отправляется домой. При расставании с Васюткой у мужика начинает немного подергиваться нос, и, скрывая предательское волнение, он с напускной суровостью наказывает:

– Доржись, Василей Архипыч! Не сдавайся! Пал Ефимыча пуще родителя слушайся! Выходи правильным и сурьезным человеком! Вот!..

Васютка отворачивается от отца и угрюмо – а за угрюмостью приглушенная ребячья робость! – обрывает:

– Поезжай!.. Ладно!.. Ты там поленницу-то с елани вывези. А то забудешь...

Уезжает Архип. Дорогой, в переполненном вагоне, переваривает в себе все, что услыхал от Коврижкина. Ноет душа у него: скучно будет без парнишки, скучно будет без ворчливо-незлобивых окриков. Скучно. Но пусть, пусть идет парень по новой дороге, пусть выцарапывается в настоящие люди!..

От Павла Ефимыча много корявых, занозистых слов наслушался Архип. Вечернее, когда оба напитались воспоминаниями и опьянели от них, начисто смыто было утром. Утром Коврижкин все припомнил Архипу: что он откачнулся от всякого дела, что запустил хозяйство, что не втянулся в мирские, крестьянские заботы.

– Зачем ты тогда и партизанить ходил? Не все ли тебе этак-то равно, что Колчак, что советская власть? – прижал его напоследок Павел Ефимыч.

Огрызнулся Архип, уел его этими словами товарищ таежный, боевой, но в самом далеком и глухом уголке сердца почувствовал: а ведь прав, истинную правду разворотил Коврижкин!

И в этих горьких словах, которыми напутствовал его юг, Архип почти забывает всю горечь, с какою Павел Ефимыч говорил о Ксении.

В Остроге Архип у свата не задерживается и на сватовой лошади катит домой.

Дома Василиса жадно расспрашивает его про сынишку. Материнское сердце все хочет знать. Бабе мало того, что ей рассказывает муж, она засыпает его вопросами, перебивает его рассказ, взволнованно и горестно или радостно, смотря по тому, что говорит Архип, всплескивает руками и качает головой. А потом тихо плачет.

– Ну, пошло! – пренебрежительно отмахивается от этих слез Архип, но почему-то отворачивается от жены...

Проходят дни. В Архиповом обиходе ничего не меняется, только на Василисины плечи взвалено большое бремя: нет маленького и старательного помощника, Васютки. Дрова на дальней делянке лежат под толстым слоем снега, зерно на мельницу (последние остатки, пожалуй) нужно было еще на той неделе везти, да мало ли крестьянских зимних работ надо переделать? И Василиса терпеливо тащит все на себе. А Архип бродит по соседям и толкует о том, как его Василей Архипыч выйдет в люди и станет настоящим городским, знающим человеком. И соседи снисходительно слушают его да посмеиваются.

Но через неделю какой-то случайный попутный человек привозит из города коротенькое письмо. Опять Аграфена, девка услужливая, приходит разбирать написанное, опять письмо оказывается от Коврижкина, от Павла Ефимыча. И пишет он по настоянию Васютки о Васюткиных заботах: как хозяйство вертится? вывез ли тятька поленницу с елани? здоров ли Мухортка?

Архип слышит Аграфенин голос, вычитывающий слова, написанные Павлом Ефимычем, но чудится ему, что это сам Васютка, смешно пыжась и хмуря брови, отчитывает его. Он наклоняет лохматую голову и бормочет:

– Опасается Василей Архипыч! Забота его долит!..

И вечером в тот же день говорит пред сном Василисе:

– Я, мать, на свету по дрова поеду, кабы не растаскали...

**XII**

Чадя прогорклым маслом, потрескивает немощный огонек пред черной иконой. Арина Васильевна чтит канун воскресный. Не столько для себя, сколько ради Ксении, старается крестная угодить своему богу. Она наблюдает исподтишка за Ксенией, наблюдает с того радостного для нее дня, когда молодая женщина неожиданно согласилась поехать в церковь и пойти к попу. С того же дня Арина Васильевна и сама приналегла на богомолье, словно этим хотела пуще разжечь Ксеньин пыл. В вечерней тишине скупо звучат в избе редкие слова, которыми перекидываются обе женщины. У старухи легонькая тревога. Что-то смущает ее. Неуловимое и неясное.

– Я кудельки немного натрепала, – хлопотливо говорит она: – Свезу сватье Фекле, у них не уродилась конопель.

– Вези! – вяло соглашается Ксения.

– А ты, нешто, не поедешь к обедне?

– Не знаю...

– Как же так? Ты ж обещала батюшке!

– Обещала... А может, и не поеду, – упрямые звуки холодно звенят в голосе.

Крестная обиженно и укорительно поджимает губы.

– Не ладно, ай, не ладно, Ксения!

Ксения молчит. Проходят томительные, настороженные минуты. Кажется, не будет ответа на горький возглас старухи. Но неожиданно в страстном порыве Ксения говорит, и голос ее звенит, как туго натянутая тетива:

– Да ведь я для души!.. Душа моя томится!.. Так неужто я против себя пойду? Меня, может, не тянет сегодня туда?.. Зачем я себя ломать стану?! Зачем?..

Голос обрывается, и снова Ксения умолкает. Но Арина Васильевна, всегда такая покладистая, уступчивая и робкая, теперь вскипает. На морщинистом лице ее недоуменье, досада и гнев.

– Неразумная ты! – почти кричит она. – Как дите малое, то тебе это неладно, то того подавай!.. Только бог дал тебе радость, обратил тебя к себе, а ты, эвон как, опять за старое! Совсем ты запуталась.

– Верно, кресная, – покорно соглашается Ксения, – верно, запуталась я... Сама знаю свое горюшко...

В избе висит напряженное молчание. Женщины – старая и молодая – уходят одна от другой. Обе сумрачные и обиженные.

Вечер густеет. На деревне покой. Собаки притихли, стынет мглистый воздух: мороз набирается сил к утру. Утром освирепеет он, обожжет, упруго застынет.

За остывшими стенами, со двора несется лай Пестрого. Женщины прислушиваются к лаю: кто-то старается попасть во двор.

Ксения выходит на крыльцо.

– Арина Васильевна! – кричит из-за ворот соседка. – Тут твою спрашивают, Ксению.

– Кто это? – недовольно осведомляется Ксения.

– Ну, вот и сама! – услужливо рокочет голос за воротами. – Проходите!

У ворот Ксения сталкивается с закутанной женщиной.

– Здравствуйте! Это вы – Ксения Коненкина? – весело спрашивает пришедшая. Голос ее незнаком Ксении.

– Я самая. А вы зачем?

– От Павла Ефимыча я, от Коврижкина.

Они входят в избу. Приезжая распутывает с себя шаль, сбрасывает шубу, топает у дверей обутыми в валенки ногами, чтоб снег отстал. Ксения разглядывает ее. Видит незнакомое молодое лицо с гладко зачесанными темно-русыми волосами, крепкую грудь, мягко перекатывающуюся под темной, простого покроя кофточкой; замечает упорный, но ласковый взгляд карих глаз.

– Здравствуйте! – еще раз говорит женщина, раздевшись и проходя на середину избы, – Озябла я! Как с подводы слезла, так и пошла искать вас!

Ксения с крестной выжидающе глядят на нее. Они не спрашивают словами, но вопрос слишком неприкрыто светится на их лицах; приезжая видит это и охотно объясняет:

– Я в Максимовщину учительницей еду. Из города. Павел Ефимыч узнал, что мимо вас проезжать буду, велел зайти поклон передать. А я и думаю: не пустят ли переночевать? Пустите?..

Ксения стряхивает с себя неприязнь и оцепенение.

– Ночуйте! – со скупою приветливостью приглашает она. – Милости просим!

Через некоторое время Арина Васильевна, разжегши самовар, сбегала на квартиру, куда заехал подводчик учительницы, и оттуда принесла ее вещи – небольшой сундук и постель. Немного позже на столе пыхтел самовар, побрякивали чашки, и три женщины, сидя вокруг стола, молчаливо пили чай.

За чаем Ксения узнала, что учительницу зовут Вера Алексеевна. А после чаю, при мигающем красноватом свете лампочки, в тепле, когда за окнами крепчал мороз, медленно и сначала неуверенно и робко завязывается беседа.

**XIII**

В спокойную жизнь Егора Никанорыча вторгнулись беспокойства и заботы. Не шевелилась, не шевелилась верхнееланская беднота, а как тронулась с места – и почувствовал председатель сельсовета конец своему мирному житию. Пошумев на первом собрании, потратив много времени по неопытности зря, маломощные мужики псе же положили начало крестному. А лиха беда начать. Появились коноводы, выделилась крепкая и напористая кучка мужиков понастойчивей. Зажглись желанием постоять за себя. А так как в Верхнееланском поддержки и совета неоткуда было ждать (председатель и секретарь отговаривались недосугом), то посоображали, пораскинули умом да и сгоняли ходоков, представителей, в волость.

Ходоки из волости вернулись, нагруженные указаниями, советами, инструкциями и всем прочим, что сопровождает всякое мирское, общественное дело. Кроме этого, они привезли оттуда обещание, что в скором времени в Всрхнееланское пошлют знающего человека, который окончательно поможет там, где надо будет.

Знающий человек действительно скоро приехал. Но когда мужики-кресткомовщики взглянули на него, они разочарованно удивились:

– Вишь ты! Да это тот самый, который про бога несусветное рассказывал?!

– Он самый... Парнишка еще, молодой больно!.. Какой может быть толк?

На первом собрании, которое было созвано в присутствии приезжего, Афанасий Косолапыч первый не выдержал.

– Что же это такое, на самом деле? – заорал он, как только разглядел приезжего. – Да нам куда такие наставники да советчики?! Да он давно ли штаны-то без мамки застегивать стал?!..

– Тише ты! – останавливали Афанасия со всех сторон, но останавливали как-то незлобиво, слезно сочувствуя ему.

Все-таки в конце концов парню удалось провести собрание. Но когда оно окончилось и с приезжим остались только двое-трое из кресткомовской новоявленной головки, кто-то сказал с виноватой усмешкой:

– Действительно, товарищ Верещагин, нашим мужикам кого постарше подавай. Отсталый у нас народ, седине да бороде больше доверяет.

Товарищ Верещагин, Митька, смотрит косо, прячет глаза: совестно ему отчего-то. Язвинский народ в этом Верхнееланском! В других местах уж привыкли к молодым, которые делами ворочают, а тут самое непроворотное затемнение умов.

– Теперь разницы нет, – говорит он: – Что молодые, что старые. Молодежь-то, может, еще пять очков старичыо даст!

– Все может быть! Конечно! – соглашаются собеседники. – Нонче время не старое!

И все-таки – молодой наставник, безбородый советчик, а, видно, пред отъездом из волости сюда зазубрил, заучил кое-что, – и у верхнееланцев после него происходит некоторое просветление в их деле. И принимаются они за него с жаром.

От этого-то жару беспокойной становится жизнь Егор Никанорыча, председателя. Кипит в нем сердце: что же это такое? Выбирали всем миром, три целых общества голоса подавали за него, а теперь шантропа всякая, голь, бесхозяйственная нос свой начала всюду совать, то ей не так, да это!

Горячее сердце срывает председатель на Афанасии Косолапыче. Афонька и раньше-то не был воздержан на язык, а теперь после бедняцких собраний совсем зарвался. Ему сельсоветское начальство приказ какой по нехитростной службе его, а он все по-своему рассуждает, пофыркивает. Придрался к нему за что-то Егор Никанорыч и давай отчитывать. Да и секретарь гуда же.

– Ты эту моду оставь, фордыбачить! – стал орать председатель. – Ежели тебе советская власть распоряженье дает, ты сей минут, без оглядки сполняй его!.. На то ты и сторож. Тебе жалованье идет общественное, казенное. Ты понимай это!

– Я все понимаю! – огрызался Афанасий Косолапыч, – Я не маленький, сам с усам!..

– Распустились! – брезгливо поджимая губы, вмешивался секретарь.

– Кто распустился-то? – ехидно обнажал сохранившиеся крепкие зубы Афанасий Косолапыч. – Вот доберется до вас обчество-то!..

– Но-но! – останавливали мужичонку. – Легше!..

Егор Никанорыч темнеет и думает. Не любит он беспокойства и штырни. Ему бы все потихоньку, ладком, по-семейному. А писарь, секретарь Иван Петрович, учит:

– Надо бы, Егор Никанорыч, верховодов, закоперщиков ихних, приручить. Помогает это. Всего делов-то пустяк какой-нибудь, а результат основательный производится.

– Попробовать можно, – задумчиво и озабоченно соглашается председатель.

– Попробуйте, попробуйте! А я в циркулярчиках пороюсь, в приказах, не может этого быть, чтоб отсюда поубавить им пылу заблаговременно нельзя было! В казенном деле не может этого быть.

– Попробую! – повторяет Егор Никанорыч и веселеет.

**XIV**

Город под снегом, а Васютке кажется, что вовсе снегу мало. Васютка осторожно вылезает на улицу и приглядывается. У него есть еще свободное время, Павел Ефимыч сказал ему:

– Гуляй, Вася, присматривайся к городу. Занятно! Скоро я тебя пристрою к учебе, а пока сыпь вовсю!

На улицах Васютка удивляется торопливости и многолюдству прохожих. Он подолгу останавливается на углах и рассматривает трехэтажные каменные дома. Его пугают своим разнообразием и кажущимся ему неслыханным, сказочным богатством витрины магазинов. Афиши и плакаты кино ошеломляют его яркими красками. Он теряется и молчит, когда Коврижкин берет его с собою в кино и на экране оживает настоящая жизнь. И на вопрос Павла Ефимыча: – Нравится тебе? – он сразу отвечает, и ответ его застенчив и скуп:

– Нравится... Голову только закружило.

Несколько дней, предоставленный самому себе и встречаясь с Коврижкиным вечерами и за обедом в столовке, Васютка сам отыскивает в городе необычное и невиданное им раньше. И город медленно и цепко начинает овладевать им. Порою охватывает его тоска по дому, по Мухортке, по привычному, деревенскому. Но тоска стирается новыми открытиями, которые он делает здесь на каждом шагу.

Однажды Коврижкин, возвратившись домой вечером, объявляет парнишке:

– Ну, герой, завтра доржись! Завтра я тебя к делу приставлю.

Васютка замирает. Что-то новое предстоит ему, и это новое тревожит своей неизвестностью.

– Куда меня? – упрямо наклоняя лоб, спрашивает он. – В училищу?

– В училище, герой, да только не простое! Сам увидишь!

Плохо спит эту ночь Васютка. Томит его нетерпение. Скорей бы утро! А утро, словно издеваясь над ним, медленно и лениво вползает в высокие городские окна, затянутые тоненьким ледяным узором.

Обжигается чаем, торопится он утром, а Павел Ефимыч, как нарочно, медленно и в охотку распивает чай и искоса поглядывает смеющимися глазами на его торопливые и суетливые движения.

– Торопишься?.. Не торопись, не уйдет от тебя. Напивайся пуще чаю, кругли брюхо!

Утренне возбужденными, но целиком еще не стряхнувшими с себя ночную дрему улицами ведет Коврижкин Васютку. Мимо них в ту и в другую сторону торопятся люди. С узелками и сумками в руках, с папками или портфелями, быстро идут они по своим делам, и нет им никакого дела до Васютки, и никто не остановит их, не спросит любопытно: куда это вы идете? У парнишки оживает на мгновенье тоска; все вокруг чужое ему, и он бессознательно жмется к единственному человеку в большом городе, на которого все-таки можно положиться, к Павлу Ефимычу.

Сворачивая с улицы на улицу, они доходят до какого-то красного каменного дома. Возле этого дома Павел Ефимыч останавливается и, берясь за ручку двери, говорит Васютке:

– Ну вот и пришли.

Васютка краснеет. Он начинает быстро дышать, сдергивает верхонку с руки и трет ладонью под носом.

– Туто-ка? – срывающимся голосом спрашивает он

– Видишь! – протягивает Коврижкин руку и показывает на висящую над дверью вывеску.

**XV**

Учительница Вера Алексеевна от чаю раскраснелась. Во время разговора о разных пустяках Ксения пригляделась к ней, и гостья показалась ей красавицей. Ревнивое чувство шевельнулось в ней. Но глаза у учительницы сияли ясно и притягивающе, рот складывается в добрую и открытую улыбку, а слова были такие простые, – и Ксения отошла, внутренне чуть-чуть согрелась.

Стали укладывать гостью спать. Арина Васильевна ушла в куть и там скоро затихла. Остались вдвоем Ксения и Вера Алексеевна.

Учительница присела на постланную постель и тихо позвала:

– Идите-ка сюда поближе, Ксения... Идите!

Ксения настороженно приблизилась к ней.

– Сядьте... Милая вы моя! Я про вас многое от Коврижкина слышала... Давайте поговорим!

– Об чем говорить? – сумрачно усмехнулась Ксения, но придвинулась к Вере Алексеевне. – Вам, поди, спать надобно.

– Нет, нет! – запротестовала Вера Алексеевна. – Я хочу поговорить с вами! Я ведь женщина, я вас лучше других пойму... У меня, Ксения, горя тоже не мало было...

– У вас-то? – недоверчиво взглянула на нее Ксения.

– Я с мужем разошлась... – тихо пояснила Вера Алексеевна. – А в прошлом году у меня ребенок умер... единственный...

– Ах ты, горюшко! – вырвалось у Ксении. Она прикинулась к учительнице ближе и почувствовала к ней сладкую жалость. Вера Алексеевна протянула руку и положила ее на Ксенино плечо.

У каждой из нас свое горе, – задушевно шепнула она. Шепот этот проник Ксении в сердце, обжег давно не испытанным чувством; к ее горлу что-то подступило, но она пересилила себя и подавила сорвавшийся вздох.

– Мальчишечка? – осторожно спросила она.

Вера Алексеевна поняла ее вопрос.

– Нет, девочка... Три года ей было. Сгорела, как свечечка.

Рука, лежавшая на Ксеньином плече, слегка задрожала. Ксения вздохнула. Чужая женщина с ее горем стала как-то ближе ей, роднее.

– Это уж теперь все прошло... А первое время очень тяжело было.

– Горькая наша женская доля! – уронила Ксения.

– Надо бороться... Не стоит поддаваться! Всякое горе, всякое несчастье можно в себе переломить. Всякое...

– А я вот не могу! – доверчиво созналась Ксения и сразу сжалась, сделала попытку освободить свое плечо из-под чужой ласковой руки. Но учительница почувствовала ее движение. Она наклонилась к ней ближе и мягким, слегка звенящим от волнения голосом проговорила!

– Зачем?.. Ну зачем вы такая недоверчивая? Ведь легче становится, когда выскажешься. Я по себе знаю.

– Мне об чем говорить? – упрямо сказала Ксения. – Моя жизнь простая... Вам не к чему беспокоиться.

Она почувствовала неожиданную неприязнь к этой чужой, ласковой женщине.

Что-то непонятное пришло внезапно, что спугнуло теплую доверчивость, которая охватила ее еще с минуту назад. Она снова сделала попытку освободить свое плечо, и на этот раз удачно: Вера Алексеевна поспешно убрала руку.

– Спать пора! – поднялась Ксения.

– Верно. Давайте спать... Завтра поговорим. Ведь еще поговорим?

– Завтра мне недосуг будет. Я в Острог поеду.

– Жалко! – огорчилась Вера Алексеевна и стали раздеваться.

– Я к обедне завтра в Острог-то поеду! – неожиданно добавила Ксения. И вдруг ее охватила какая-то жалость к чему-то, вот сейчас, в это мгновение от нее ускользающему.

Вера Алексеевна ничего не ответила и, раздевшись, легла в постель. Ксения потушила огонь.

В темноте тишина в избе стала гуще и насыщенней.

В темноте Ксения сжалась на своей постели. Без сна, полная тревожных мыслей и чувств, прислушивалась она к тому, что томило и угнетало ее. И, смутно слыша сквозь думы свои ровное дыхание учительницы, мгновеньями порывалась встать, подойти к ней, разбудить, если она спит, и снова почувствовать теплое прикосновение ее руки, снова услышать ее успокаивающий голос. Но она осталась на месте, неподвижная, усталая, тоскующая.

Утром учительница уехала своей дорогой. Прощаясь с Ксенией, она дружески пообещала:

– А я, как устроюсь в Максимовщине, выберу свободный денек и приеду к вам в гости. Можно?

– Приезжайте!

Она уезжает. Ксения долго стоит в задумчивости. Смутные мысли уводят ее куда-то далеко от действительности, далеко от земли. Вкрадчивый голос крестной приводит ее в себя. Крестная спрашивает:

– Ты што ль, не поедешь? Не опоздать бы!

– Еду! – рывком, почти злобно отвечает Ксения. – Еду я!..

**XIV**

Отец Сосипатр, острожный поп, появился здесь недавно. Где-то за Уралом сжали и утеснили тихую обитель, лавру, и пришлось братии рассыпаться по свету белому, кто куда. Сосипатр подался в Сибирь. Страна, слыхал он, неизмеренная. Побродил отец духовный по епархиям, присмотрелся, скорбела его душа: и здесь разврат пошел, и здесь живая церковь единую древлеапостольскую угнетает, и здесь народ отшибся от бога. Помытарился Сосипатр по разным местам и осел, наконец, и Остроге. А до него попом был тут Андрей, рыжегривый, толстошеий, с крепкими, как у грузчика, руками мужчина, весельчак и пьяница, Андрей этот распустил паству, по вдовьему состоянию своему был не чист по женской части и к церковной службе рвение имел плохое. И кончил он плохо. По пьяному делу побился с мужиками об заклад, что в рекостав перебредет нагишом небольшую курью, да оступился, нахлебался жгучей студеной воды и через неделю умер в горячке. Наследство он оставил Сосипатру неважное. Когда новый трезвенный поп обосновался здесь, в первый же престольный праздник мужики потащили его по избам гулять, но он сурово отказался:

– Не вкушаю.

Мужики, даже те, что были привержены к церкви, обиделись, но среди баб новый поп прослыл праведником, и о нем пошла слава как о святом человеке.

– Виданное ли это дело? – с испуганной почтительностью толковали бабы. – Не пьет и чистоту свою соблюдает! Праведный человек!

И старухи потянулись в церковь, где Сосипатр, приученный монашеским уставом к долгим службам, томил их и доводил до головокружительного восторга бесконечными обеднями и вечернями. Но одними старухами трудно было удовлетвориться попу: старухи на закате своих дней все равно от бога не уйдут. Хорошо бы, мечтал Сосипатр, привлечь к церкви, к богу молодых, таких, которые вере православной делом могли бы послужить. А таких почти совсем и не было.

Вот почему, когда, забегая вперед Ксении, Арина Васильевна и другие старухи рассказали ему о том, что потянуло молодую женщину, которая и там-то была и то-то делала, к богу, – вот почему обратил особое внимание на Ксению Сосипатр: он почувствовал смятенную душу.

– Нет ближе человека ко господу, чем многогрешивый и вернувшийся на истинный путь человек! – сказал он старухам и вызвал с их стороны пугливое, но почтительное недоуменье.

Первый осмотр Ксении заставил его насторожиться. Женщина держала себя несвободно, все время настороже. Потом, немного освоившись, она все же поведала ему о своем прошлом, немного отошла, согрелась, но к концу, заметил он, она снова сжалась и закрылась пред ним. Он учел это, сообразил и решил в следующий раз быть осторожней.

Поэтому в воскресенье после обедни, которую она выстояла вместе с Ариной Васильевной и другими старухами, Ксения, придя к Сосипатру, нашла строгого, углубленного и скупого на слова человека, которому все мирское, все мелочное чуждо и далеко.

– Ты, женщина, не лукавь! – предостерегает он ее сразу. – К господу богу надо идти с чистою душою. Будешь душою кривить, не спасешься. Не лукавь, говорю я! Если испытывать думаешь меня, то знай, что все мы грешны, и я, раб смиренный, как и другие...

Ксения смущается. Ей непонятно, к чему ведет поп. Она чувствует что-то новое в его обращении с нею. И она не знает, в чем дело.

– Я без лукавства. Мне бы душе моей спокойствие найти... Сказывают, молитва помогает. Я, батюшка, за молитвой к вам... Помогите мне молиться, научите!

Единственным глазом впивается Ксения в попа. В глазе ее пылает ожидание, суровое и страстное. Сосипатр ловит ее взгляд и не опускает пред ним своих глаз; Сосипатр привык глядеть в глаза своим пасомым. И, однако, на одно мгновенье чувствует он, как трудно ему выдержать, не отвести в сторону своего взгляда.

Он сметает внутреннее свое смущенье и зажигается. Слова – вот его сила. Он знает это и обрушивается на Ксению потоком звучащих суровою и пламенною страстью слов. Он тратит ради этой простой и рядовой заблудшей женщины испытанное свое красноречие. Он гремит, обличающий, скорбящий, о суетности и заблуждениях мирских, гремит всеми привычными, пропитанными монастырской, отшельнической прилаженностью словами. Эти слова должны убедить, должны сломить последние остатки сомнения. Кажется, женщина сломлена; кажется, она подавлена и не уйдет. Наступает сосредоточенное молчание; поп устал, прикрыл глаза, он витает где-то не здесь. Женщина сжалась и вся еще под властью его слов. У женщины раскрывается душа. Вот скажет она самое заветное слово, самое затаенное. Сосипатр знает эти простые души, и он, не открывая глаз, расслабленно и тихо приказывает:

– Говори!

Ксения наклоняет голову низко-низко. Голос ее слаб и приглушен волнением.

– Батюшка! Батюшка... – начинает она и вдруг умолкает. Внезапно она сознает, что ей стыдно говорить о своем самом заветном этому чужому мужчине, и ее охватывает дрожь при воспоминании, что она уже однажды раскрывала пред ним душу, отдаленные и сокрытые от других тайники своей души. Она умолкает и неподвижно застывает. Сосипатр ждет. Не дождавшись, он открывает глаза.

– Что же ты замолчала? Говори!

– Не могу! – качает головою Ксения и не смотрит на попа.

– Я – пастырь, служитель божий, меня грех стыдиться!– властно говорит поп, – От меня нельзя ничего скрывать!

– Я ничего не скрываю! – тоскливо говорит Ксения. – Я все сказала в прошлый раз... Так это я...

– Все! – сурово и требовательно повышает Сосипатр голос. – Все говори!.. Всякую малую мысль, каждый помысел свой поведай, если хочешь угодна быть богу и спастись.

И опять ненадолго Ксения чувствует над собою силу этого властного голоса, опять готова она распахнуть пред монахом, у которого сдвинутые брови и глаза смотрят отчужденно, всю душу свою.

**XVII**

Приходят дни, когда крестная, Арина Васильевна, не нарадуется на Ксению. В избе после немудреной зимней домашней работы тихо и спокойно. Ксения сидит у стола с каким-нибудь рукоделием умиротворенная и отвечает на вопросы крестной просто и ровно, без недавней сумрачности. И лицо Ксении, хотя и грустное, но какое-то ясное. Словно отдыхает она от тяжкой ноши и не уверена, что совсем избавилась от нее.

Арина Васильевна забегает к соседкам и делится с ними своею радостью:

– Помог ведь батюшка-то Ксении! Совсем девка у меня выправилась!

Соседки слушают Арину Васильевну с загорающимися глазами, соглашаются с нею и несут ее слова дальше, в соседние избы. И так из избы в избу идет эта весть, увеличенная, изменененная и приукрашенная молвою. И из Верхнееланского катится она во все стороны: в Могу, в Максимовщину, в другие деревни. Катится и разрастается. А вместе с нею катится и разрастается слава отца Сосипатра.

– Вот праведный да святой человек что значит! – горделиво и заносчиво говорят богомольные бабы. – Не то что покойник Андрей-пьяница, царствие ему небесное!..

Ксения не знает об этих разговорах. Изредка в эти дни забегает та или другая баба к ней, – да для видимости, впрочем, не к ней, а к Арине Васильевне, – жадно поглядит на нее, подсмотрит воровски за нею: что, мол, поп с женщиной сделал? – и убежит, обогащенная новыми своими наблюдениями. Изредка пройдет она сама по деревне, зайдет в какую-нибудь избу, где ее встретят услужливо, с какой-то скрытой опаской, как только что выздоровевшего труднобольного. Но ничего не доходит до нее, ничего она не слышит.

А Арина Васильевна не нарадуется на Ксению.

Однажды в соседской избе, где, забежав на минутку, Арина Васильевна засиделась надолго, речь зашла о свадьбах. Бабы поразобрали чей-то неудачный брак и удивлялись:

– А свадьба-то, девоньки, какая веселая была! Страсть...

– Быват! Быват!.. Пока женихаются, все милуются да целуются, а как венцы на голову – ну беда!

– Кому какое счастье! – вздохнула одна, а за ней и другие. А после вздохов родилось неожиданно и всех поразило, как это раньше-то не придумали?

– Васильевна, а пошто бы тебе своей Ксенушке мужика не приглядеть?.. Есть вдовы да детные, что и не поглядят на обличье. Есть и такие!..

Арина Васильевна смутилась, замялась и виновато объяснила:

– Не хочет она и слышать об этом.

– Да ты когды говорила с ней? Поди, раньше?

– Раньше! – вспомнила Арина Васильевна и загорелась вот тут, вот сейчас только что выросшей и окрепнувшей надеждою. – Я об этом осенесь ей толковала. Не теперь.

– Вот видишь!.. А нонче в ей мечтанье, может, другое! Оклемалась она, очухалась.

– Ты теперь помани ее этим, она сразу побежит!

– Сразу! Что и говорить!.. Натосковалась, поди!..

– Павел-то ее, работник ваш, давненько ведь ушел!

Арину Васильевну на мгновенье укладывает острым стыдом и обидою воспоминание о Павле, но она не дает разгореться в себе этим чувствам и ухватывается за высказанное соседками предположение. Для видимости не сразу сдаваясь, она слабо сомневается:

– Не то у Ксении теперь на уме. Она больше о молитвах. Был бы монастырь, как раньше-то, так в монастырь пошла бы...

Соседки крутят головами и ухмыляются:

– И-и, девонька! Нонче разве этак-то?! Да и прежде. Монастырь для бабы, которая еще ребят таскать в силе, не сладость!..

У баб заплетаются нескончаемые рассуждения о женской доле, о путях, которые вели в монастырь, о том, что, при хорошем муже ни в какой монастырь, будь он святой-распросвятой, никто никогда не уходит. Бабы в этих рассуждениях забывают даже про Ксению, но вовремя спохватываются и возвращаются к ней, к ее судьбе. Они уже властно и непрошенно распоряжаются ею. Они перебирают в памяти всех вдовцов, многодетных и пожилых, со всей волости, они примеривают их к Ксении, одобряют одного, хулят другого, ищут получше, спорят об их качествах, об их зажиточности, хозяйственности хозяйствах.

Вместе со всеми горячо и деловито спорит и горячится Арина Васильевна. Возбужденная, идет она домой, когда бабы кончают наконец беседу.

И дома молча, тая в себе вновь выпестованную мысль, загадочно поглядывает на Ксению.

Ксения ничего не замечает, ничего не слышит, ни о чем не знает. Ксения пребывает в каком-то отрешенном от действительности состоянии. Ей легко, словно освободилась она от тяжелой ноши, которая давила ее и обессиливала.

Это состояние пришло к ней после того, как она, послушавшись советов Сосипатра, постаралась ни о чем не думать и молиться. Ее молитва не была похожа на те, что произносят в церквах и которыми полон был монах, она молилась по-своему. В каком-то болезненном экстазе останавливалась перед темною иконою и, слабо шевеля губами, что-то неслышно шептала. Так простаивала она долго, порою возбуждая в крестной беспокойство.

Но если бы Арина Васильевна как-нибудь ночью проснулась и подошла бы к Ксении, ее беспокойство перешло бы в острую тревогу. По ночам Ксения не спала.

Она лежала с открытым глазом, вся застыв, оцепенев, без вздоха, без движения. Лежала без сна, к чему-то прислушиваясь, чего-то ожидая...

**XVIII**

Сорок утренников идут отмеренной чередой. До полудня жгуч и сердит мороз. К полудню солнце набирается крепости, пылает бледным, но оживающим огнем, радостно тревожит предчувствием медленно приближающейся оттепели. На увалах, на угорах, на открытых местах снег поблескивает зернью мелких искорок: на увалах, на угорах, на открытых местах нарастает и твердеет наст.

Сорок утренников защищают отступление сдавшейся зимы. Вот уже носятся неуловимые признаки ее конца: беспокойней стал скот, уставший в тесноте дворов и стоек, насторожились, вслушиваются во что-то собаки, острым и беспричинным лаем встречающие утро. У прорубей на Белой реке дольше задерживаются в беседах сошедшиеся за водою девки и бабы. И дым над крышами не так густ и бел, как прежде.

Пожалуй, пора уж готовиться к весне. И кой-где по завозням, по поднавесам звонко стучит топор, кой-где за избами возятся с ободьями или со скатами колес хозяйственные, запасливые мужики.

Арина Васильевна щурит глаза на помолодевшее солнце и соображает:

– Неужто и нынче брать в дом работника, чужого человека?

После бабьих разговоров, после горячих советов со всех сторон запало ей прочно в голову: надо, непременно надо Ксении мужиком обзаводиться. Мысль эта томит ее, и однажды, не сдержавшись, Арина Васильевна начинает серьезный разговор с Ксенией.

– Хочу я тебе, Ксеночка, сказать... – начинает она. Ксения медленно поворачивает к ней лицо и внимательно ждет. Старуха немного теряется, но быстро сминает в себе небольшое смущение и торопится высказать:

– Обзаводилась бы ты, Ксеночка, семьей... мужиком... Вот ты теперь за ум взялась, заодно бы...

Арине Васильевне не удается кончить. Ксения встает со своего места и каким-то чужим, незнакомым крестной голосом прерывает ее:

– Перестань!.. Слышь, кресная, перестань об этом... Никогда не говори такого, никогда!

Все расчеты Арины Васильевны рушатся. Вся бабья городьба рассыпается. Старуха огорчена. И ее огорчение усиливается еще и оттого, что после этого разговора Ксения будто просыпается от долгого сна, теряет глухое спокойствие, которое владело ею несколько дней, становится снова тревожной, возбужденной и не находящей себе места. Она, ничего не говоря крестной, запрягает в одно утро лошадь и уезжает, и Арина Васильевна догадывается, что едет она в Острог. Крестная обжигается обманчивой надеждою: не образумится ли, мол, баба, побывав у монаха, но Ксения возвращается к вечеру еще более смятенная и растерянная.

И совсем неожиданно, сбивая Арину Васильевну с толку и пугая ее, заявляет:

– Уйду я!..

– Куда? – недоумевает крестная. – Куда же, Ксеночка?

Но Ксения не отвечает, не говорит, куда же она задумала уйти.

**XIX**

Архип сердится. До Моги дошли толки о Ксении, о том, что богомольной стала она, совсем монашкой заделалась. Могинские старухи разукрасили эти толки и пересказали, ехидно задев по пути безбожника Архипа, Василисе:

– Вот тоже, как твой-то, против белых воевать ходила, с большаками путалась где-то, а нонче совесть и ее зазрила!

Василиса поделилась услышанным с Архипом, а Архип и загорелся:

– Спортили девку!.. Спортили, чтоб их язвило!

И стал порываться в Верхнееланское:

– Съезжу я, мать, дознаюсь, допытаюсь до корню!.. Ране бы надо еще понаведаться к ей, а я все моргал...

Но и на этот раз Архип все не мог собраться навестить Ксению. И, вместо того, чтобы поехать к ней, сидел в своей Моге и ругался.

А тут пришло еще одно письмо из города. Васютку Коврижкин устроил в какую-то ремесленную школу, пока так, на время. «По-настоящему, – писал Павел Ефимыч, – устрою я его попозже...»

Но не в этом была главная суть письма. Главное было в другом.

Павел Ефимыч корил Архипа за его бесхозяйственность и спрашивал, когда же мужик за ум возьмется?

«Парня мы твоего устроили, – гвоздило письмо, – об этом тебе заботы не будет. Ну, а сам волынку ты свою оставь! Примайся за дело! Пишу тебе это я, бывший товарищ твой, связчик. Примайся за работу, руки у тебя есть, не гляди, что белые пули дырки в тебе накрутили! Пулями, товарищ, не отговаривайся!.. Парень твой, Василий, к делу горячий азарт имеет, куда тебе до него! И не конфузь больше товарищей своих безделием и безобразием... Берись, говорят тебе, за работу!..»

Вырвал Архип письмо из рук Аграфены, стыдно ему вдруг стало, так стыдно, что и не скажешь.

– Шутки заворачивает! – смущенно гудит он. – Шутит дружок мой, Пал Ефимыч!

Хочется ему замять неприятные слова, хочется, чтоб острозубая, веселая Аграфена ничего не знала, да как она не узнает, когда письмо-то ею вкривь и вкось просмотрено и прочитано. Стыдно Архипу, и оттого сердится он, хотя не в его обличье сердитым быть.

И в сердцах, сгоряча удерживает он Аграфену:

– Будь столь широкодушна, Груняша, – прооиг он. – Пиши ответ! Закручу я ему, пушшай понимает...

Аграфена соглашается. Добыта откуда-то бумага, появляются чернила. Архип морщит лоб, ждет, когда девка наладится писать.

– Готово? Ну, пиши!

Собирает свои мысли Архип. Ах, и загнет он, и покажет же Павлу Ефимычу, что не все Архип Степаныч Ерохин, бывший партизан, кровь свою на линии проливавший, виноват! Покажет.

Аграфена лукаво ждет, притихла.

– Говори, что писать-то! – подбивает она.

– Ну, вот...

И, подбирая слова поцветистей да поблагороднее, Архип начинает диктовать Аграфене длинное письмо.

Слово к слову пристраивает он, охорошивает речь свою, но ядовит и гневен смысл этих слов. Прорвало Архипа. Откуда и прыть взялась. Даже Аграфена удивленно взглядывает на него и тушит лукавый блеск в своих глазах. Василиса неодобрительно покачивает головою и пытается, но безуспешно, что-то сказать.

Слово за словом нанизывает Архип. После нежного и почтительного обращения, после уведомления, что у нас, нечего жаловаться, все благополучно, чего и вам от души желаем, после горделивого сообщения, что работонка по хозяйству не стоит и даже дровишки с дальней делянки вывезены, – после всего этого сообщает о Ксении: «Попрекаете вы, Пал Ефимыч, меня, дескать, гадит мужичонка всю компанию, дескать, пулями отговариваюсь! А напрасно! Совсем про меня этак-то напрасно отписали! А про кого надо, вы и не в рассуждении. Вот обсказывал я вам еще в городу про Ксению Коненкину, про кривую, которой подлые колчаки глаз выхлестнули, обсказывал я, что с прямого трахту свернула женщина, по поповской породе стала бегать, по церквам, молитвенницей заделалась и вое подобное. А правильно это? Очень даже могу подтвердить, что никакой тут правильности нету, все одно безобразие и глупость. А вы на это никакого внимания. И при вашей сознательности и партейности рази не могли вы на слабосильную женщину голос поиметь? И, может, все возможно, она бы, эта самая Ксения Коненкина, в головокружение свое не закружилась. А теперь об ей вся волость гремит, и от всей волости срам на нас наваливается. Вот где самая центра, а не во мне. Я свою линию понимаю. Даже очень правильно понимаю...»

Хмурит, морщит лоб Архип, нанизывает слова, путает Аграфену: то еле-еле выжмет из себя слово, то заторопится, так и сыплет, так и хлещет, а девка кряхтит, не успевая выводить пером его слова.

Наконец все написано, все вытряс из себя Архип. Ушла Аграфена. Готовое письмо лежит на столе: возьми да посылай его по адресу. Глядит Василиса с опаской на готовое письмо.

– А ладно ли ты это, Степаныч? – не выдерживает она. – Ладно ли, это эдак-то Пал Ефимычу написал в письме? Как бы не рассердился?!

– Он-то?! – изумляется Архип. – Пал Ефимыч-то рассердится? Да никогда!.. Ежели я сущую правду ему описал, пошто же он сердиться будет?!..

**XX**

Город кутается в рыхлом снегу. Утром тротуары покрываются ледяной корочкой. На тротуарах по утрам можно ловко прокатиться на подошвах валенок или сапог, как на коньках. Ребятишки, устремляясь в школы, путаются под ногами у взрослых и шаркают ногами по обледенелой дороге.

Васютка со стороны поглядывает на это и идет степенно и солидно. Васютка каждое утро ходит в школу, куда его отвел Павел Ефимыч. Каждое утро окунается он с головою в городскую сутолоку, и все не может еще свыкнуться с нею. Он живет покамест с Коврижкшшм, и Павел Ефимыч шутит порою:

– Вот мы с тобою, Василий Архипыч, два холостяка! Некому нам рубаху заштопать или постирать. Ты бы женился, что ли! – Коврижкин, когда весел и шутит, всегда называет его по имени-отчеству, как Архип.

Васютка надувает губы и отмалчивается. Но он знает, что Павел Ефимыч подшучивает над ним беззлобно, любя. Он чувствует скрытую ласку в голосе, в обращении к нему со стороны Коврижкина. И сам он начинает питать к Павлу Ефимычу теплое и нежное, но стыдливое чувство.

В школе парнишка приглядывается ко всему, все впитывает в себя. Хозяйственно оглядел, ощупал он в первый же день парты, классную доску, сравнил с тем, что видел в Максимовщине когда-то. Вытаращив глаза, побродил он украдкой по мастерским, загляделся на станки, прислушался к гуденью проводов.

Ко всему присматривается, обо всем хочет узнать Васютка. Коврижкин замечает это за ним и довольно ухмыляется. И товарищам, которые советуют устроить парнишку куда-нибудь в хороший детдом, он, потрясая кулаком, втолковывает с горячностью:

– Это замечательный парень! С ним овчинка выделки стоит повозиться.

Парнишка неприхотлив, не надоедает Павлу Ефимычу, ничего не клянчит, а соблазнов для ребячьей души в городе хоть отбавляй. Только в одном он упорен, об одном просит время от времени:

– Пал Ефимыч, напишем тятьке письмо. Я покеда еще по письму не знаю... Напишите!

– Я, выходит, к тебе в секретари нанялся, что ли?! – шутит Коврижкин, но никогда не отказывается, садится и под Васюткину диктовку, прибавляя и от себя, пишет послание Архипу. К последнему письму он делает большую приписку. Он много наслушался от скупого на разговоры парнишки о хозяйстве Архипа, ему прежде и не приходило в голову, что мужик так распустил себя, стал таким, по его мнению, лодырем. Поэтому насел он в приписке этой на Архипа и прикрикнул: не конфузь!

Но городская жизнь и городские всякие дела оставляют ему мало времени для разговоров, для бесед с Васюткой. Урывками, перед сном и в обеденное время, да и то не всегда, бывает он вместе с парнишкой. Мало ему времени и о бывших старых товарищах подумать: кружит и закруживает его работа. И ему самому порою удивительно, как это он все-таки выбрался о судьбе Архипова сынишки подумать? Просто фарт такой вышел, что урвался он в отпуск. А то так бы и прособирался и ничего не сделал.

Теперь у него на душе стало легче. Парнишка, который украдкой поглядывает на него теплым взглядом, живое доказательство, что он, Коврижкин, Павел Ефимыч, не забыл старого, не потерял живой связи со своими партизанами.

Но приходит письмо от Архипа, и Павел Ефимыч темнеет.

– Черт! – ругается он в пространство. – Какая же тому причина? Ведь баба-то такая разумная была!..

Огорчение Коврижкина не ускользает от внимания Васютки. Парень поглядывает на Павла Ефимыча. Поглядывает и затихает еще больше, чем всегда.

Меряя комнату из угла в угол, Павел Ефимыч думает. Что-то, пожалуй, следует предпринять. Написать разве Ксении? Но он сам усмехается над вздорностью этого плана. Поехать самому? Нельзя, работа не пустит, работа общественная, а тут дело идет всего-навсего об одном человеке. Что-то надо придумать. Вот разве Вера Алексеевна, она там поблизости учительствует, он уже говорил ей об этой женщине, может быть, она уж встречалась с Ксенией, – разве ей написать, ей поручить повидаться с Ксенией, которая, видно, немного свихнулась без хорошей поддержки?

Коврижкни обрывает свое шатание по комнате. Коврижкин напал на верную мысль. Он веселеет. Заметив, что Васютка присмирел и сжался и притаился, он шагает к нему, кладет широкую ладонь на его голову, наклоняется:

– Ничего, Василий Архипыч! Не так страшен черт, как его малюют! Мы еще посмотрим!..

**XXI**

Егор Никанорыч придумывает умную штуку. Кресткомовские ребята могут сесть ему на шею, об этом он сам догадывается, да секретарь, бывалый человек, об этом же ему все время твердит. Разговоры с коноводами пока что не привели ни к чему: то ли не понимают ребята, чего от них хочет председатель, то ли по хитрости дурачками прикидываются. И вот Егор Никанорыч придумывает умную, как ему кажется, штуку.

О необычайном обороте в судьбе Ксении ему стало известно, конечно, сразу же. Вначале он не обратил на эго никакого внимания: что ж, мол, дело пустое, отсырела баба, молельщицей стала, ее это забота, больше ничья. Но когда подходцы к мужикам, которые забирали силу в кресткоме, прошли впустую, он вспомнил о Ксении.

– Ведь не зря же тогда ее комиссар приезжий в этот самый крестком совал! А что если вот теперь ее туда пристроить?! Нонче она стала богомолкой, можно на нее не с той, так с этой стороны нажать!

Секретарь, с которым Егор Никанорыч поделился своим планом, не отверг его:

– Для пробы почему и не испытать. Для пробы можно.

И, не откладывая дела, под горячую руку вызвал Егор Никанорыч к себе Ксению.

А когда Ксения пришла, Егор Никанорыч выставил из присутствия Афанасия Косолапыча.

– Ступай-ка ты, Афанасий, в свою каморку! У нас тут дело серьезное и секретное... Ступай!

– Сурье-езное! – пренебрежительно протянул Афанасий и ушел прочь. – А ну вас, однако, к лешему!

Ксении было не до бесед, не до деловых разговоров. Она была на тысячу верст от всяких крестьянских, мирских дел. Голова ее была занята другим. Но все-таки изумило ее то, что послали за нею из сельсовета. И еще больше изумили ласковые ухватки и льстивый голос, с каким обратился к ней Егор Никанорыч.

– Так что, Ксения, по делу по маленькому скликал я тебя... Надумал я, зачем, дескать, чтоб у нас Коненкина зря околачивалась, коли занятье ей имеется? Да к тому же и из городу мне намеки на это самое делали... Вот, прямо, без виляния тебе говорю: поступай, Ксения, в крестком. У тебя вся твоя положения подходящая. И сама себе дело сделаешь, да обществу послужишь. Слыхала, небось, какие горлопаны туда затесались? Ну, гы и поработай. Тогда-то знакомый твой коммунист шибко старался, чтоб тебе у дела, у занятья быть... Согласна ты?

Ксения вслушивалась в смысл председательских слов. Откуда-то издалека, сквозь толщу ее невеселых мыслей, донеслись они до ее сознания и хлестнули горькими воспоминаниями. Она тяжело задышала. Волнение, которое внезапно подступило к ее горлу, задерживало слова на устах. Егор Никанорыч подумал, что она раздумывает и колеблется, подошел к ней и одобряюще и снисходительно сказал:

– Да ты не бойся! Коли в чем у тебя силы не хватит, я тебе завсегда помогу! Обязательно!

Переборов свое волнение, Ксения повернула лицо и взглянула на Егора Никанорыча злым и горячим взглядом. Одинокий глаз на бледном обезображенном ее лице засверкал пугающе.

– Спасибо тебе! – гневно крикнула она председателю. – Ладно ты сделал!.. Сперва утеснил, петлю на шею захлестнул, а теперь добрым стал?!.. Спасибо!.. Не хочу я с тобою и толковать-то!.. Не знаю, к чему ты речи свои гнешь, а все равно не хочу!..

Злая и возбужденная вышла Ксения из сельсовета, оставив Егора Никанорыча встревоженным и сконфуженным.

– Чертова уродина! – сквозь зубы послал он ей вслед, когда она скрылась за дверью.

**XXII**

Проруби на Белой реке были широкие. От прорубей по угорку к улице вели бурые исхоженные скотом и истоптанные людьми дороги. У прорубей по утрам ледяной звон стоял: бабы, а порою, когда мороз был крепкий, и мужики, пешнями и кайлами пробивали твердую корку льда, затянувшего отверстие за ночь. Над прорубями в лютые морозы белый пар вился.

Ксения выходила за водою по утрам раньше всех. Она зачерпывала оба ведра, отставляла их на лед и молча стояла подолгу и глядела в зияющее жерло реки. Она ни о чем не думала. Холодное оцепенение охватывало ее, и она трогалась с места и уходила от проруби только тогда, когда звон ведер и скрип шагов давали знать, что кто-то еще другой подходит за водою.

Она пристрастилась к этому бездумному стоянию над полой водою недавно. Всего несколько дней назад она побывала еще раз в Остроге. И там с ней случилось что-то непонятное. Простояв томительную службу в церкви, в обществе нескольких старух, она намеревалась зайти к Сосипатру. Она уже перешла снежный двор и взялась за крюк двери поповской каморки, как ей послышалось, что кто-то ее окликнул:

– Ксения! – тихо, но внятно позвал откуда-то со стороны знакомый голос.

Она обмерла и опустила руку: голос проник ей в сердце. Она узнала его. Голос Павла трудно ей забыть и не узнать! Обернувшись, она стала искать позвавшего ее, но нигде никого не увидела. Недоумение навалилось на нее, недоуменье и испуг. Она съежилась и стала ждать. И снова тихо и ясно донеслось до нее откуда-то:

– Ксения!

Ксеньин испуг увеличился, она вздрогнула, ухватилась опять за дверную скобку, хотела рвануть дверь, войти к Сосипатру, скрыться у него от этого бесплотного голоса, но не смогла. Тяжелая оторопь напала на нее и лишила сил. Она с ужасом и с неожиданно приливающим к сердцу мучительным желанием стала ждать, не повторится ли этот зов, идущий неизвестно откуда. Она ждала, сама не зная, почему. Но кругом все было безмолвно. Где-то вдали прозвучали чьи-то голоса. Это не было то, чего она ждала. Рука ее крепче сжала скобку, рука дернулась, и дверь перед нею раскрылась.

Она вошла к попу.

В этот раз она пробыла у Сосипатра совсем недолго. Монах заметил ее смущенье, стал добиваться от нее его причины. Но Ксения не рассказала ему о том, что случилось с нею у дверей. Она утаила свой сладостный и почти радостный испуг, который пережила она так недавно. И, выйдя от Сосипатра, Ксения ощутила, что ни за что в жизни не смогла бы она ему рассказать об этом.

А дома, в Верхнееланском, потянуло ее с этого мгновенья к морозному тихому одиночеству, потянуло из тесных и жарких стен избы. И стала она останавливаться среди двора, прислушиваться к чему-то, чего не слышала, или утрами, ранними зимними утрами задерживалась у прорубей, над дымящейся ледяной водою.

В избу она возвращалась с возбужденным лицом, словно стряхнув с себя только что сладкий и тяжелый кошмар. И в такие минуты отвечала Арине Васильевне на ее случайные вопросы так странно, так невпопад, что крестная прямо обомлевала. Крестная решила, что Ксения захворала, что ее нужно лечить. У крестной на всякий случай за божничкой хранились пучки богородицыной травки и девятильника. Крестная знала ряд испытанных средств от десятка болезней, да к тому же в деревне была Парамониха, бабничавшая и лечившая всех больных. Арина Васильевна озабоченно сунулась к Ксении:

– Занемогла, Ксеночка? Дай я тебя чем-нибудь попою! Ишь, видно, продуло тебя у проруби!

Но холодный и далекий взгляд Ксении приковал ее к месту, она замолчала. А про себя подумала, что с девкой опять стряслось что-то неладное, отчего не помогает ни богородицына трава, ни девятильник, ни все искусство Парамонихи.

**XXIII**

Город, пути и деревни переплетаются в судьбе людей. И еще реки.

Город обнят двумя реками, которые скованы теперь льдами и молчат. На запад и восток тянутся стальные колеи дорог. Обложенные снегом, еще крепким и обильным и укрепляемым сорока утренниками, дремлют деревни. Отгородились старыми поскотинами от чужой, от новой жизни, дремлют.

И где-то в городе, – а может быть, в пути, – затерялся Павел, пришедший однажды в страдовую пору и потом оторвавшийся, сгинувший. Где-то затерялся, словно и не было человека.

Но след его остался. Осталось острое и больное воспоминание о нем. И, быть может, сам он тоже унес в себе неизгладимую память о деревне, которая была для него приютом на короткое время, о женщине, хорошо и незабываемо встретившей его, о днях, связанных с этой женщиной и этой деревнею.

След его остался.

И о нем вспоминают люди, для которых он чужд и неизвестен. О нем упоминает в своем письме к Вере Алексеевне Коврижкин.

Она узнает нехитростную историю Ксении, узнает о том, как прошел через недавние дни этой женщины Павел, бывший белогвардеец. Она понимает из этого письма многое, что было неясно ей и непонятно при первой встрече с Ксенией. Женской чуткостью чует она одиночество и боль, терзающие молодую женщину. И так же как Коврижкин, она понимает, что нужно помочь, безотлагательно помочь.

Она решает поехать в Верхнееланское в ближайшее же воскресенье. Она принимается за свою работу.

А в Моге Архип, непривычно впрягшийся в запущенную работу по двору, вечером в теплой избе прислушивается к ноющим болям в костях и добродушно ворчит:

– Вот гыргали: мол, никуда мужик. Не-ет! Архип Степаныч свою линию знает! Архип Степаныч, ежели нужно, гору своротит! Вот как!..

– Отдыхал бы ты, Степаныч! – успокаивает его Василиса. – Намаялся. Кто про тебя чего худого скажет?!

– Я теперь Пал Ефимычу пропишу!.. Пушшай не задается!

Архип пьянеет от сознания, что он не хуже других. Правда, работенка-то, с которой он возится, плевая и маловажная. Но Архип и ее еще так недавно избегал, и он чувствует себя теперь героем. Теперь не его должны срамить и попрекать, а пожалуй, он сам кой-кого попрекнет!

И вот он спохватывается:

– Василиса! Слышь, а про Ксению я писал Пал Ефимычу?

– Писал, Степаныч. Напрасно, поди... Как бы не осердился...

– Не в етим дело!.. Вишь, писал я, а никакой ризалюции. Молчит. А бабенка пропадает ни за что!

– Пошто же пропадает! – робко протестует Василиса. Что в церкву стала ездить, это, што ль, пропасть?

Архип не отвечает жене: что о такой неразумной, несознательной говорить. Архип гнет свое:

– Все это от того, от мужика приблудящего пошло! Навернулся храп, сомустил бабенку, теперь ее, неиздашную, и карежит.

– Степаныч, – осторожно откликается баба, – а кабы не утеснили их, жила бы Ксения теперь тихо и, бать, детна была бы!..

– Все может быть! – соглашается Архип и замолкает.

И снова прислушивается он к ноющим болям в костях. Изредка потихоньку охает и кряхтит. А перед тем как заснуть, кряхтит усиленней, стонет чаще и на тревожные вопросы Василисы отвечает:

– Ничего, старуха! Обойдется!.. Я, слышь, такое надумал: съезжу-ка я на неделе в Верхнееланское к Ксении. Погляжу на нее, поспрошаю...

– Ну-к что ж, поезжай! – не протестует Василиса.

Совсем засыпал – вот-вот слипнутся глаза, – Архип ухмыляется в темноте, расталкивает бабу, приподнимается на локте и мечтательно говорит:

– А что теперь в городу наш Василей Архипыч поделывает? Геройствует, поди, с Пал Ефимычем?!

И сразу отлетает сон от Василисы. Придвигается она поближе к Архипу, жадно хватает его слова и отвечает:

– Не заморили бы там мальчишечку! Не утеснили бы!

– Там-то? – вскипает Архип, – В городу-то? Пал Ефимыч?.. Да никогда!.. Там, старуха, Василею Архипычу первый и настоящий ход!.. Да! Василей Архипыч чей сын? Чьего он корню? Партизана Архипа Степаныча Ерохина. Вот чей! Это понимают! Ты не думай, это шибко понимают!..

Кипит восторженным возбуждением, красуется Архип перед женой. Долго толкует и втолковывает ей давно и много раз слышанное ею вот в такие же темные и глухие ночи. Долго не засыпает и не дает спать Василисе.

**XXIV**

Ко всему присматривается Васютка в новой, в городской жизни. Все старается впитать в себя. Но держится он от остальных ребят, которые окружают его, в сторонке, особняком. И со стороны видит: бродят стайками, шумливыми и оживленными оравами ребята, кипят какими-то своими волнениями, радостями и ссорами, крутятся в каких-то своих делах, от которых взрослые, большие на отлете. Со стороны видит, а подойти не подходит. Насупливает брови, зверенышем взглядывает, когда кто-нибудь из парнишек зовет его в компанию.

Коврижкин, что-то смекнув, спрашивает его однажды:

– Ты в пионеры записался, герой?

– Нет, – бубнит под нос Васютка.

– Напрасно. Ты смелее, дуй с горы, да и все! Смелее, Василий Архипыч!

Но прошло после этого несколько дней, а все по-прежнему в сторонке, приглядывается и молчит Васютка.

И во второй раз на расспросы Павла Ефимыча отвечает он хозяйственно, но с какою-то обидою в голосе:

– Что я там с парнишками да с бабами делать буду? Они балуются, в барабаны стучат, песни поют... Это какое дело?.. Я не маленький! Дома-то я пахать зачинал... Что я с ними возиться буду?

Сначала Павел Ефимыч весело смеялся над парнишкой:

– Ну и парень! Да ты, Василий Архипыч, прямо форменный большой дядя! Тебя только женить остается!

Но потом отгоняет смех, всматривается в парнишку, задумывается. Соображает. Крутит головой. Сам с собою безмолвно о чем-то рассуждает.

Думает: когда же из ребенка детство его успело вытравиться? Какими кислотами эта лучшая, безмятежная пора жизни вытравляется? Мальчишка совсем крошечный...

– Тебе сколько лет? – проверяет он.

– Мне?.. Мне, может, скоро двенадцатый. Ты не думай!..

Мальчишка совсем крошечный, а душа у него заботой недетской закутана. Совсем ерунда какая-то! Нет, шалишь, дадим природе ходу! Заставим ее действовать!

– Одиннадцать... А в бабки ты играешь? А песни петь умеешь?.. А драться в тебе сноровка есть?!

Васютка обиженно молчит.

– Молчишь?! Хорошо! Примусь я, брат, за тебя по-настоящему. Не хошь с товарищами знаться, пионеров боишься – я сам драться с тобой начну! Только урву свободную минутку, так и – пожалуйте, Василий Архипыч, засучайте рукава, подставляйте бока!

Вздрагивающая, еле заметная улыбка зарождается у парня на лице. Глаза чуть-чуть лукаво вспыхивают. Васютка прячет беспричинную радость, которая мягко охватывает его маленькое сердце.

Через несколько дней куча сорванцов нападает на Васютку в школе. Они принимаются тормошить его беззлобно и заигрывающе. Он вырывается от них, и, когда ребятишки, расшалившись, стараются свалить его с ног, он набирается сил, злится и начинает по-настоящему действовать кулаками. Домой возвращается он с расцарапанным лицом. На насмешливые вопросы Коврижкина отвечает:

– Парнишки заедались ко мне... Я их отшил.

Павел Ефимыч вглядывается в него, прячет веселую усмешку и начинает деловито и серьезно урезонивать.

– Понимай, как знаешь, – кончает он свои резоны о том, что, однако, в школе драться не следует, – но только, кроме драчишки, ты заведи-ка и дружбу. Нужны тебе товарищи, это я вижу, а выбирать ты их сам выбирай!..

Таким образом выходит так, что приходит Васютка однажды домой и, дождавшись возвращения Павла Ефимыча, смущенно сообщает ему:

– Поступил я... в эти самые, в пионеры... Записали меня.

– Поступил? – хитро и весело поблескивает глазами Коврижкин. – Ну, раздувай там кадило, Василий Архипыч! Не подгадь!

...Трещит Васютке в уши барабан, звенит пионерская песня, шумит ребячье деловое безделье вокруг него. На шее его болтался красный клинышек пионерского галстука.

**XXV**

Афанасий Косолапыч выхаживает ранним утром неласковое похмелье. Ковыляет он, загребая ногами снег, по улице. Ворчит на безлюдье, на то, что спят вот другие, не маются, как он, бедняга. Выходит на угор, к заснеженной, закованной по-зимнему реке. Тоскливо смотрит на нее. Видит: мельтешит кто-то темный и неподвижный у прорубей.

– Ишь! – бормочет он недовольно и укоризненно. – Носит кого-то, язви их в душу! – И он с усилиями, петляя, подвигается ближе, спускается к реке и идет к прорубям.

Присмотревшись, в сером неверном свете стылого утра узнает он Ксению. Стоит женщина неподвижно над прорубью; возле нее стынет в полных ведрах темная иода.

– Ты пошто здесь шаманишь? – кричит ей Афанасий. – Кого в проруби выглядываешь? Мил дружка?

Неожиданный окрик приводит в смятение Ксению. Она отбегает от проруби, останавливается, дико глядит на подходящего к ней Афанасия Косолапыча, глядит и не узнает.

– Пошто экую рань шаманишь? – приваливается к ней мужичонка, навязчивый, неугомонный, шальной. – Неуж похмелье долит?! – Он начинает смеяться сам над своею шуткою, над своими словами. Но сквозь смех, сквозь похмельный туман замечает он что-то необычное в знакомой женщине. – Ты постой... – обрывает он смех. – Нет, ты постой... Ты скажи же мне, пошто же ты ране солнышка выхлестнулась?.. Сна тебе нету?

Ксения, словно издалека, слышит знакомый голос; постепенно она приходит в себя. Она узнает Афанасия Косолапыча, она возвращается к действительности: к пустынной и серой глади реки, к темным манящим пастям прорубей, к деревне, прижавшейся на угоре и мутно висящей в зыбких сумерках утра.

Она схватывает ведра, расплескивая воду, налаживает коромысло, ничего не отвечает Афанасию Косолапычу и быстро бежит по протоптанной, темнеющей дорожке.

Афанасий сперва озадачен, но, видя, что женщина молча убегает от него, он зажигается негодованием. Оборачивается в сторону исчезающей Ксении и начинает громко и яростно ругаться. И крик его гулко рвет упругую тишину.

– Язва одноглазая! Кикимора!.. – несется над рекой. – Чтоб те лопнуть, уродине окаянной!.. Никакого обхождения не понимаешь! Гнуша-аешься бедным человеком! Партизанша мокрозадая!..

Ксения уходит, не оглядываясь.

К обеду, проветрив трещащую голову, Афанасий Косолапыч разносит обидный случай свой по полдеревне. В средней избе он застревает и не идет дальше: в средней избе застает он четверть самогонки, чистого, как слеза, перегону.

Из путаной и гневной болтовни Афанасия Косолапыча в деревне ничего толком узнать не могут. Только чуют по избам, что обошлась как-то неладно Ксения с мужиком и застал он ее утром раненько на речке, у прорубей, за каким-то зазорным делом, а за каким – толком уяснить не могут.

Афонькина болтовня доходит до Арины Васильевны. Крестная и так пришиблена и полна тревоги: ей странно поведение Ксении за последние дни, она подглядывает и следит за молодою женщиной и теряется в догадках: что же это такое делается с Ксеночкой?

Самое тревожное и подозрительное для крестной в поведении Ксении – это то, что та внезапно перестала молиться. Как неожиданно и порывисто недавно она пристрастилась к богу и стала ездить в Острог к отцу Сосипатру за утешением, так стремительно же и внезапно она охладела к религии и забросила молитвы.

Старухи, приятельницы крестной, которая жалуется им на непонятное, на нехорошее поведение Ксении, вытаскивают из древней мудрости своей готовое объяснение:

– Порча это на девке! Не иначе, как спортили!

Арина Васильевна пугается этого объяснения и отгораживается от бед и от напастей тройным крестом.

**XXVI**

В субботу Вера Алексеевна, учительница из Максимовщины, приезжает в Верхнееланское. Она заезжает прямо к Ксении. Встречающая ее Арина Васильевна радостно приветствует гостью. Радость эта неожиданна для самой Арины Васильевны: ведь в первый приезд учительницы насторожилась она против той и была недовольна, что они с Ксенией допоздна о чем-то пробеседовали.

– Разоболакайтесь, матушка! Проходите-ка! Проходите!

Гостья весело раздевается и громко оправдывается:

– Незваная я к вам!.. Да мне скушно стало, дай, думаю, съезжу!

– Что вы! – успокаивает ее Арина Васильевна. – Мы рады!

Крестная ищет глазами Ксению, которая бесстрастно стоит в стороне и молчит. Вид Ксении, оцепенелой, неподвижной, тушит старухину показную радость. Она сжимается и торопливо уходит в куть.

Вера Алексеевна замечает замешательство Арины Васильевны и неподвижность Ксении. Проходя к последней, она участливо осведомляется:

– Что это вы, Ксения? Хвораете? Лицо у вас такое бледное и усталое.

– Я здорова, – сухо говорит Ксения. – Мне что сделается?

И обе неловко молчат.

Молчание длится некоторое время и начинает тяготить. В по-зимнему тусклые окна ползут сумерки. За перегородкой, у печки, Арина Васильевна звенит железом: ставит самовар.

Ксения и учительница перебрасываются редкими и малозначительными словами, пока крестная не появляется с кипящим самоваром. Появляется свет керосиновой лампочки, появляется на столе вместе с самоваром чайное хозяйство и всем троим становится немного легче.

Но и за чаем не завязывается непринужденная беседа. Вера Алексеевна пытается рассказывать о чем-то веселом. Она хочет втянуть в разговор Ксению. А Ксения не поддается. Она отгородилась своим бесстрастием от всего окружающего, и ее невозможно расшевелить. Тогда Вера Алексеевна решается действовать напрямик.

– Я ведь, Ксения, приехала к вам, чтобы поговорить о деле!

Тревожный огонек загорается в Ксеньином взгляде. Она делает движение, будто готовясь бежать, но остается на месте.

– Какое может быть дело? – устало говорит она. – Я никакого дела не знаю.

– Дело серьезное! – идет в открытую учительница, – Вас, Ксения, касается... С вами что-то происходит, а вы скрываетесь даже от своих друзей. Вот Коврижкин, Павел Ефимыч, беспокоится об вас...

– Ему какая забота обо мне? – горько произносит Ксения, наконец прерывая свое оцепенение. – Я не дите... Сама об себе должна заботиться...

– Вам помочь хотят...

– Не надо мне никакой помощи!

Вера Алексеевна подыскивает слова, чтобы продолжать дальше, а слов подходящих, чувствует она, нет у нее. Нет нужных слов, чтобы пробить страстную отчужденность, владеющую Ксенией. Вера Алексеевна понимает, что все ее попытки будут неудачны, но она еще раз пробует:

– А вот к попу за помощью вы ездили?

Ксения сжимает пальцы до хруста в костях... Наклоняет голову. Голос прерывист у нее:

– Ездила... – хрипло соглашается она. – Теперь отъездилась!

– Да ну?.. – всполошенная радостным удивлением, восклицает Вера Алексеевна. – Поняли, значит, что пустое это?!

– Мне теперь все равно...

Безнадежность, звучащая в голосе Ксении, сразу без остатка уничтожает минутную, обманную надежду Веры Алексеевны. Безнадежность и обреченность властно господствуют над Ксенией, и это проявляется у нее во всем: в каждом движении, в звуке голоса, в том, как она сидит, как наклонила голову, как сцепила пальцы.

Вера Алексеевна с тоскою понимает, что разговаривать дальше нельзя. Она умолкает. На этот раз окончательно. И только потому, что уже поздно ехать обратно, она остается ночевать.

Утром она хлопочет о лошади, добивается ее и уезжает. Уезжает с тяжелым чувством. Прощаясь с Ксенией, не выдерживает и по-женски беспричинно подавляет глубокий вздох и шепчет ей:

– Ах вы, моя бедная!..

Выезжая из Верхнееланского, долго слышит Вера Алексеевна из самой глубины больного сердца вырвавшееся:

– Мне теперь все равно!..

**XXVII**

Сорок утренников идут отмеренной чередой. Скоро, скоро сдадут морозы, скоро зазвенит с крыш светлая и певучая капель. Скоро на реке пойдут ржавые пятна, и неверными и опасными станут речные дороги.

В городе в полдень на тротуарах серое месиво подтаявшего снега и грязи звучно хлюпает под ногами пешеходов. В городе длинные ледяные сосульки, сверкая на солнце, весело падают с высоких домов и рассыпаются блестящими осколками по канавам. В городе появляются извозчичьи пролетки, и первые редкие колеса задорно шуршат по грязным мостовым.

В городе вздрагивает грязная, городская весна. Еще не сама весна, но ее необманные предвестники.

По грязному тротуару идет озабоченный человек. Он поглядывает по сторонам, он что-то ищет на стенах домов. Руки его засунуты глубоко в карманы пальто.

На углу человек протискивается между прохожими к каменному дому, к чему-то связанному с этим домом. Он вытаскивает руки из карманов. В одной руке, левой, у него запечатанное письмо с непогашенной маркой. Он останавливается пред домом: на каменной стене висит синий почтовый ящик. Человек вертит письмо, перекладывает из руки в руку, наконец опускает его в ящик. Потом торопливо переходит улицу. Где-то бьет семь часов. Человек прислушивается к бою часов и ускоряет шаг.

По грязным уличным дорогам торопятся толпы людей. Люди спешат на работу. Вот-вот предостерегающе завоют, засвистят гудки.

А позже – солнце выкатится повыше – рассыпятся по этим дорогам ребятишки с сумками, со свертками, с книжками. Всплеснутся свежие голоса. Зазвенят дерзкие переклики.

Из разных дверей потянутся ребята. Из своей двери выйдет Васютка. Деловито оглянет не виданную еще сегодня улицу и уверенно устремится в знакомый путь.

Так каждый день.

Иногда Васютка выходит вместе с Павлом Ефимычем. Они идут несколько кварталов рядом. Они беседуют о своем чем-то, неотложном и важном, хотя в глазах Коврижкина поблескивают лукавые огоньки. На каком-то углу, где пути их расходятся, они расстаются. И почти всегда Павел Ефимыч оглядывается и смотрит парнишке вслед. Мягкий свет играет в такие мгновенья в его глазах.

Сорок утренников влекутся через февраль к марту. Раздумчиво, почесываясь и поплевывая, осматривает Архип хозяйство свое. В деревянной бороне поизносились зубья, и надо бы заменить борону настоящей, железной. А то у этой только и осталось хорошего, что ржавая кандальная цепь. Когда-то променяла бродяжня кандалы на водку. Ржавая цепь сухо позванивает, а Архип сопит и считает: пожалуй, если понатужиться, то и этим инструментом землю можно хорошо вычесать. Вот плужок бы... Дедовская соха совсем запарит Мухортку, изведет старика... Бродит Архип по двору, оглядывает свое хозяйство. А Василиса украдкой следит за ним и облегченно вздыхает.

Звенит веселая капель. Чем дальше, тем больше звону и веселья.

Арина Васильевна вслушивается в этот звон, всматривается в крепнущее сияние солнца, – всматривается и вслушивается и темнеет. Тяжкая забота наваливается на ее плечи, – тяжкая забота, которая пугает ее.

На реке все больше ржавых пятен. У прорубей сверкает вода. По утрам поблескивает наледь.

**XXVIII**

Арина Васильевна темнеет от заботы и уходит к соседям развеять свою тоску.

Ксения остается одна.

Непрочная тишина в избе обступает ее со всех сторон. Со всех сторон надвигается на нее одиночество, со всех сторон ползет к ней ее боль.

Тараканы шуршат на печке, на столе, по полкам. Скрипит половица под колеблющимся шагом Ксении. Мертвое молчание лелеет Ксеньину печаль.

В отсутствие крестной Ксении легче отдаваться своим мыслям, своей скорби. Нет тревожно подглядывающих глаз, нет сочувствующих вздохов. Можно дать волю скованному недоверчивому сердцу.

Ксения садится в углу на лавке. Лицо ее искажена болью. Где-то далеко накопилось в ней много слез. Но нет им пока еще выхода. А как хорошо бы однажды всласть выплакаться до конца! Сладко выплакать пред самой собою всю горечь. Дать сердцу, замерзшему, застывшему, отогреться в жгучести одиноких и редких слез. Как хорошо бы, если б хватило силы выплакаться!

Но нет слез у Ксении. Глаз – тот единственный глаз ее! – сух. Взгляд его устремлен далеко, дальше знакомых и ныне опостылевших стен, – словно пытается проникнуть в безотрадное будущее. И оттого, быть может, Ксения вдруг срывается с места, начинает метаться по избе, хватает зачем-то шаль, шубу; потом останавливается в изнеможении, в испуге, в отчаяньи, бросает шубу и шаль на пол и громко стонет. Без слез, с застывшим лицом.

Без слез, с застывшим лицом забивается она снова в угол. Сердце колотится в ее груди неровно. Шею сцепило холодное, жесткое, словно чья-то мертвая рука силится задушить ее.

Возвращается крестная. С ее приходом гнетущее молчание разрывается. Но горечь тоски становится острее.

Арина Васильевна приносит с деревни от соседей мелкие и докучливые новости. Она торопится рассказать их Ксении. Старуху гнетет и страшит молчание. Она делаемся болтливой. И слова ее мелкими и тупыми ударами бьют Ксению по голове.

– Селифан низовский с Гордеевым расштырились, сказывают, с председателем. Докопались они сквозь трескон этот самый, будто обман какой-то в сельсовете сделали с покосами. Ну, галдеж теперь идет по деревне – беда.

Крестная сыплет словами и не глядит на Ксению.

– Теперь, бать, волостных ждут, начальство приедет. Может, из городу кто прискачет...

Арина Васильевна приостанавливается и осторожно щупает:

– Может, твой-то знакомый приедет, тогдашний-то?

Вяло и бесстрастно раздаются слова Ксении:

– Не знаю... Ничего не знаю.

– А потом, – крестная подавляет в себе крикливую злобу, – слушок есть, что супротив батюшки в волости хай начался. Притесняют его. Поперек горла, вишь, стало им, что отца Сосипатра народ уважает и чтит!..

Но не трогает Ксению и этот слух. Молчит она, ничем не проявляет сочувствия негодованию крестной.

Старуха умолкает и думает: «Словно каменная!.. Беда!.. Что-то будет дальше?»

Темнеет от заботы Арина Васильевна. Это ли ей сулило возвращение Ксении домой? Для этого ли она радовалась тогда, в летний день, когда необычный лай Пестрого вызвал ее на крыльцо и увидела она впервые вернувшуюся наконец Ксению? И как коротка была эта радость! Как недолго продержалась она!

Старуха горестно думает. За ее плечами целая жизнь лежит. Чего-чего только не было за долгие годы этой жизни! Была скупая, торопливая и непрочная радость, были огорчения, было острое горе. Был, наконец, беспрерывный тяжелый труд. И ведь все переносили, безропотно, разве только всплакнув порою, – все переживали, ко всему привыкли. Почему же вот Ксения не может привыкнуть? Почему она не смирится, не понесет свою ношу так же, как другие, кого судьба обидела?! Почему?

– Худые времена настали, – решает Арина Васильевна. – В бога народ перестал верить, старыми, прилаженными обычаями гнушается. Испортился народ. В корень испортился.

**XXIX**

Пестрый выползает из своего теплого угла и, повиливая хвостом, подкатывается Ксении под ноги. Серое утро еще не окрепло. Морозная мгла наполняет воздух. Деревня спит. Над избами чернеют холодные трубы.

Пестрый изумлен: никогда в эту пору двор не оживает скрипучими шагами, никогда не просыпаются так рано хозяева. А тут вышла женщина, запах которой ему так знаком, и, не глядя на него, не окликнув его, идет к воротам. И даже, когда он мягко тычется мордою в ее подол, она не останавливается, не произносит ни звука.

Пестрый опускает морду, тихо плетется за Ксенией. Они выходят за ворота на застывшую, спящую улицу. Ксения идет возле тихих домов. Она торопится куда-то. Внезапно она останавливается. Обернувшись, смотрит на Пестрого, как будто только что заметила его. Хватается обнаженными пальцами за конец шали, съеживается.

– Пестрый! – тоскливо говорит она собаке. – Пестрый, ступай, ступай домой! Домой!

Собака пригибается к снегу, скребется лапами, скулит.

– Иди домой! – повторяет Ксения и ступает дальше. Но Пестрый, приотстав немного, крадется за нею, не уходит в свой привычный угол.

Ксения подходит к взвозу. Перед нею вьется дорожка на реку, к прорубям. Серая мгла зыблется над ледяным спокойствием реки. Серая мгла простирается вокруг. Не задумываясь, Ксения погружается в эту мглу. Порывисто и торопливо начинает она спускаться с угора. Но на полдороге опять оборачивается, опять замечает собаку, выбрасывает обе руки вперед, задыхается от мгновенной, непонятной злобы и яростно кричит – и крик ее странно и дико звучит в пустынном и неразбуженном утре:

– Уходи, пропастина!.. Пошел! Пошел отсюда, гад!..

Пестрый поджимается, отбегает в сторону, зажимает хвост меж ногами, взвизгивает обиженно и сиротливо. Он плетется нехотя в сторону дома, все время воровски оглядываясь. И, заметив, что хозяйка продолжает свой путь к прорубям, он быстро возвращается, подходит к самому краю спуска на реку и оттуда следит за Ксенией.

У старого пса еще острые глаза. Уши его сторожко подняты, и острые концы их слегка вздрагивают. Он не спускает глаз с уходящей женщины, он вслушивается в каждый звук, несущийся со льда.

Пестрый видит, как Ксения подходит совсем близко к крайней проруби, стоит возле нее несколько мгновений, потом идет дальше и останавливается около другой. Он видит, как она наклоняется над темною дырою и сразу же стремительно выпрямляется. Пестрому непонятно, что это делает женщина. Он потихоньку подвигается вперед, вытягивается и в непонятном беспокойстве начинает тихо скулить.

Вдруг он весь напрягается, рывком кидается вперед. И на бегу начинает возбужденно, отчаянно лаять. Он ошеломлен, он вне себя: там, впереди, возле проруби что-то метнулось, мелькнуло. И вот уже никого нет.

Шерсть на его спине подымается, зубы обнажены. Пестрый прыжками домчался до черных дыр во льду. Он врылся когтями в лед у самой проруби, второй с краю, – и дикий собачий вопль потрясает берега и несется во все стороны. Дикий вой стоном стоит в мглистом зыбком воздухе...

**XXX**

Собачий протяжный вой в раннее тусклое утро будит многих. Но мало ли отчего в пустынное сумрачное утро может выть собака? И никто не выходит на этот вой, никого он не тревожит. Утренний сон сладок, и проснувшиеся в сердцах клянут собаку.

Утренний сон крепок у Арины Васильевны. Она просыпается в обычное время. В избе выстыло за ночь. Железная печка молчит. Ксении на ее обычном месте нет. Арина Васильевна не тревожится: не в первый раз Ксения встает чуть свет и уходит во двор или на реку. Старуха разжигает печку. Смолистый дымок ненадолго оживляет застоявшийся за ночь жилой избяной дух. Прокаленные станки печки начинают гудеть.

Время идет. Арина Васильевна начинает недоумевать. У дверей находит она коромысло; ведра, перевернутые вверх дном, стоят, как были поставлены с вечера.

– Куда же она девалась? – изумляется старуха и выходит во двор. А там тоже никого нет. Даже Пестрый не выползает навстречу.

Но вот издали, с реки, до Арины Васильевны доносится протяжный и тоскливый собачий вой. Он беспрерывен и безысходно уныл. Он надрывает душу. Старуха боязливо прислушивается к нему.

– Чья бы это выла?

И в тревоге, неосознанной, беспричинной и внезапно нахлынувшей на нее, она оборачивается и начинает звать:

– Ксения!.. Ксе-ена!

В соседних дворах просыпаются голоса. Над крышами ползут ранние дымы. Крик старухи, бесплодно повторенный несколько раз, привлекает внимание соседей.

– Ты пошто зовешь-то?.. Куда она у тебя делась?

Человечьи голоса возбуждают старуху. Она заламывает руки, она в отит, несуразно, острым голосом:

– Ой, люди милые, что же это такое?!.. Просыпаюсь я, а Ксеночки-то нету!.. И Пестрый куда-то убежал!.. И собака отчего-то воет!.. Ой, милые! Поищите, ради спасителя!.. Боюсь я!..

– Да ты што воешь?.. Не маленькая твоя Ксения. Придет.

Но упорный, безнадежный вой, который доносится с реки, нарушает беспечную уверенность соседей. Они выходят вместе с Ариной Васильевной за ворота и слушают. И на мгновенье умолкают. И, словно в этом кратком молчании, рождается в них тревога, бросаются они гурьбою по улице, туда, в сторону воя, к реке. И впереди всех – Арина Васильевна, порою оглашающая еще не проснувшуюся окончательно деревню зовущим кряком.

– Ксе-аночка!.. Ксе-ена!

На берегу они останавливаются и видят: внизу, у прорубей, сидит собака, крепко упершись передними лапами в лед, морда ее задрана вверх, и тягучий вой, переливистый, замирающий и зловещий, рвется из ее глотки и стелется над льдом, над угором, над деревней.

– Пестрый! – вскрикивает Арина Васильевна. – Святые угодники! Да ведь это наш Пестрый!..

Соседи, окружающие Арину Васильевну, так же как и она, заметившие и узнавшие собаку, молча и многозначительно переглядываются. Быстрая поражающая догадка осеняет их. Они порывисто кидаются вниз по угору к зияющим темным прорубям. Не отставая от других, торопится туда же и Арина Васильевна. Ее пошатывает, и она вот-вот потеряет последние силы.

Почуяв приближение людей, Пестрый припал на передние лапы, ощетинился и завыл громче, яростней и тоскливей.

Мужики и бабы обступили прорубь.

В деревне приметили кучку людей, зачем-то столпившихся в необычный час на реке. В деревне всполошились. Со всех дворов потянулись сюда люди. В морозном воздухе зареяли громкие переклики. Нарастал многоголосый шум. А над этим шумом – ничем не нерушимый, грозящий бедою, о беде властно напоминающий, колыхался вой Пестрого.

**XXXI**

Труп Ксении не находят.

Стремительная вода уносит ее подо льдом куда-то вниз. Где-нибудь прибьет ее в омуте к коряжине и там останется она навсегда. А может быть, унесет дальше, вынесет в широкие реки и однажды, когда спадет вешнее половодье, выбросит на илистый берег, и чужие люди со страхом и омерзением будут разглядывать мертвое тело.

Арина Васильевна безутешна.

– Господи! Согрешенье-то какое! – плачется она. – Даже и косточек не нашли, все бы легче!.. Похоронила бы я тебя, Ксеночка, поплакала бы над тобою!.. А то вот. На кого ты меня, разнесчастную, оставила?!.

Афанасий Косолапыч бродит по деревне, суется в избы и, грозя грязным, шершавым кулаком, похваляется:

– Я сразу заприметил!.. Вижу: шаманит бабенка над прорубью и сделалась вся не в себе. И меня не признает, бежит, от меня!.. Ну, я и сообразил: крышка бабе, мозги на сторону свернулись!.. Я замечательный! Мой глаз вострый!..

Афанасия Косолапыча плохо и неохотно слушают: ботало мужик. Но по избам и без его слов и без его рассказов не умолкают разговоры о Ксении, об ее судьбе, об ее участи. Толкуют, обсуждают, вздыхают. Сожалеют.

А солнце все больше, все крепче забирает свою силу. Солнце съедает непрочные снега. Солнце кой-где, на высоких местах, на прогалинах обнажает прошлогоднюю траву, выхватывает из-под талого грязного снега клочки черной жадной земли.

Дороги покрыты разжеванным снегом, дороги покрыты грязью. Сани хлюпают по лужам. Стоит ли ездить зря в такую пору?

Но хмурый, – словно трещит у него голова с перепою, а опохмелиться нечем, – погоняет Архип Мухортку, торопится в Верхнееланское. Он знает, что торопиться не к чему, что все кончено, но не может удержаться и нахлестывает коня.

Когда весть о гибели Ксении добежала до Моги, Архип в первую минуту вскипел и рассердился:

– Хлопаете? Зря хлопаете! – разъярился он. – Не поверю я, чтоб Ксения руки на себя наложила!

Но поверить пришлось, и Архип затих, растерянно замолчал и стал избегать разговоров о Ксении.

И только Василисе сказал:

– Опять обманула меня Ксения...

– Как так, Степаныч? – не поняла его жена.

Но он не объяснил ей смысл этих слов.

Через несколько дней Архип, все время обретавшийся в непривычной для него задумчивости, запряг коня и в последнюю минуту, вваливаясь в сани, сообщил Василисе:

– Съезжу я, старуха, хоть теперь гуда, в Верхнееланское... Поспрошаю, как да что...

Архип нахлестывает коня, въезжает в Верхнееланское и к Ксеньиной избе подъезжает быстрой рысцой. Заплаканная и осунувшаяся, постаревшая Арина Васильевна встречает его со слезами.

– Вот, Архип Степаныч, не захотела Ксеночка на свете белом жить. Руки на себя наложила. Срамота-то какая! Грех-то какой!..

Старухины слезы гнетут Архипа, он отворачивается от нее и с внешней суровостью ворчит:

– Что ж теперь-то слезы лить?.. Слезами тут никакой помощи быть не может!.. Надо бы ране глядеть...

– Да глядела я! Глядела, Архип Степаныч!.. Да какие мои старушьи силы супротив ее идти были?!

Слезы снова заливают лицо Арины Васильевны. Не переставая плакать, начинает она рассказывать о последних днях жизни Ксении.

Архип сумрачно слушает.

В этот же день возвращается он обратно домой. Долго кряхтит и отмалчивается на расспросы Василисы. Потом идет к Аграфене.

– Письмишко бы мне опять в город бы послать надо! – заискивающе говорит он девке.

И долго диктует путанное и пространное письмо Коврижкину. А под конец отдельно для Васютки:

...«Образуйся, Василей Архипыч, в науке крепким человеком. Чтобы тебя никакие заковырки в жизни не сбивали. Закручивай молодые твои годы в настоящем образовании и слушайся правильных, умных людей...»

**XXXII**

Опущенное в синий почтовый ящик письмо идет в волость, оттуда треплется в чьей-то сумке до Верхнееланского. В Верхнееланском, в сельсовете, его ощупывают многие руки, и чьи-то глаза ухватывают строчки адреса:

«... Ксении Коненкиной».

Афанасий Косолалыч слышит, как секретарь вслух читает эти слова и с издевательством, глумливо замечает:

– Ну, умники в городах: утопленнице письмо посылают!.. Хо!.. Давай, Егор Никанорыч, его сюды, мне давай! Я его в речку спущу: не догонит ли покойницу!..

Секретарь похлопывает пальцами по конверту.

– Надо бы, Егор Никанорыч, вскрыть. Нет ли чего делового.

– Вскрывай.

Письмо вскрыто. Разорванный конверт летит на пол. Чужие люди медленно читают не для них написанные строки.

– Сладко написано! – грохочет Афанасий Косолапыч.

– Любовное послание! – определяет секретарь, – Подпись: Павел Гаврилов. Тот это пишет, работничек ее, с которым она путалась... Желает внове возвратиться. Понятно!

– Поздновато пишет-то! – ухмыляется Егор Никанорыч. Кабы неделькой поране...

– Опоздал!..

Опустошенное и осмеянное письмо шелестит в руках у секретаря.

– Уничтожить его?

– Валяй.

– Стой, погоди! – волнуется Афонька. – Зачем нистожать? Я его лучше искурю. Все польза будет! – он хватает листок и прячет его в кисет.

...Город опаздывает...

**XXXIII**

Город опаздывает. Его закружили звонкие заботы быстрых дней. Ему некогда, ему нет времени.

Кипит на улицах жизнь. Трещат и грохочут разнородные шумы. Звенят и гудят путаные, перепутанные голоса и звуки. Трепещет дробь барабанов, вспыхивают весело возгласы и песни. Солнце пляшет в зыбком влажном воздухе. Солнце пляшет в дымящихся легким паром лужах.

Начинает свое неистовство ранняя весна.

Скоро оживет молодая, новая жизнь.

Скоро лопнут набухшие почки.

Скоро расцветет каждогодняя, необдуманная, прочная радость...

Рыхлые пласты лоснящейся земли выворачиваются из-под сверкающего, землей же отполированного лемеха. Мухортка напрягается и изо всех сил тянет тяжелую соху.

Косматая голова Архипа обнажена. Солнце глади: тепло и ласково косматую голову.

– Но-но, Мухортка! Тяни, приятель!.. Не поддавайся! – покрикивает Архип на коня.

– Натужься! Вот! Вот!.. Но-но, старик, не плошай!..

**XXXIV**

Васютка из школы уходит вместе с другими ребятами на реку.

Город обнят двумя реками, и одна из них в весеннее половодье сердито заливает прибрежные улицы.

Ребята идут смотреть на эту непокорливую реку.

Мутная вода, вспененная у краев, крутилась омутами, надвигаясь валами, несла на себе остатки льда, коряги, дрова, всякий хлам. Мутная вода вышла из берегов и обмывала дома, из которых убрались уже жители, вливалась в переулки, плескалась и шипела.

Над рекой стоял звонкий гул. На берегу, там, куда еще не дошла вода, толпились люди. Над людьми вспыхивали возгласы, крики, испуганный или беспричинно радостный рев.

Ребятишки притиснулись к самой воде.

Васютка жадно глядел на сумасшедшую, ликующую, неудержимую реку и вспоминал родную Белую реку. Вспоминал веселый плеск ее воды, тальники, которые купаются в ней, тихие курьи, в которых летом вода теплая и мягкая, как щелок.

Васютка под шум воды вспоминает многое. И его тянет домой, к матери, к отцу, к Мухортке.

Но беспечные товарищи вспугивают его воспоминания, его тоску.

– Айда, ребята, дальше! – радостно волнуются они. – Там вода дамбу разворачивает!.. Айда!

И Васютка убегает с ними дальше, растеривая свою ребячью тоску. Туда, где река грозна и неукротима, где мощь ее кажется непреодолимой.

**XXXV**

Белая река, сбросив с себя истлевший, ржавый лед, несет лишние воды в широкие, большие реки. Белая река впадает в одну из рек, омывающих город.

Проходит половодье. Спадает река, высыхает на берегах намытый весенним разливом ил. Светлеет и чище становится вода. И прямые, колючие лучи полносильного солнца жарко и жадно щупают светлую воду, в которой оживает все живое.

Арина Васильевна выжидает, когда окончится распутица, чтобы поехать в волость, в Острог. Она сожгла перед иконою все восковые огарки, она скорбит и болеет о погибшей душе Ксении, которая истлеет где-то без отпевания, без ладана, без молитв.

У Арины Васильевны в тоскующем и испуганном сердце гнездится холодная забота:

– А допустит ли батюшка, отец Сосипатр, панихидку отслужить по Ксении? Простится ли ей, покойной, согрешение ее?!

Она выжидает конца распутицы и ходит взглянуть на реку: успокоилась ли она, утихомирилась ли после вешнего бремени.

Пестрый выбегает вместе с нею. У реки он беспокойно нюхает землю, бегает по берегу, слегка скулит. Иногда он настораживается; весь вытянувшись и наставив острые уши, смотрит на воду, вглядывается во что-то, во что-то вслушивается. Потом начинает обиженно лаять.

Течет невозмутимо река. Жадные лучи полносильного солнца щупают текучую светлую воду.

В бегущей воде отражается небо.

Земля проснулась...

**К уроку 17.**

**Геннадий Машкин. «Божья управа».**

**Геннадий МАШКИН**

**БОЖЬЯ УПРАВА**

*Непокаянная история*

Бедствия наши начались с того, что муж мой, бывший хорунжий Ононского полка, не решился бросить родной Чиндан, уйти за кордон, в Маньчжурию, как многие другие по Забайкалью. Рассуждал мой Михаил вроде здраво: служил у белых, но не запятнан в кровавых делах, прощен советской властью. Скота, как прикидывали они со свекром, не так уж много у них, да и отдать могут стадо в любой день в пользу артели, лишь бы оставили на развод скотины. Самое ж красноречивое в пользу безвинности – жена, то есть, из беднейшей массы, можно сказать, сирота. Любил меня мой Миша не меньше, чем иной какую состоятельную, но и я должна бы оплатить в трудные дни гонений на богатеев нашей семье своим происхождением – так прикидывали мы все вместе.

Да началась облава на богатеев – тут уж стало не до чинных разборов. Понятное дело: у колхозной артели аппетиты с каждым собранием растут, как у волчьей стаи. В одночасье забрали старика свекра, повезли в Борзю на тарантайке, он по дороге и отдал богу душу: где-то бросили его конвойные в степи на съеденье карсукам.

Мы уже решили, что отделались от судьбины такой жертвой, да тут приехал в помощь нашим активистам уполномоченный из самой Читы.

Выделили ему, Комаровскому Леону Самсоновичу, нашего гнедого резвого Зарголку, взятого вместе со стариком-хозяином. И заскакал на жеребчике нашем уполномоченный, засверкал бритой головой по улицам села и загаркал на актив, поспешающий за ним.

Наш дом не обошел уполномоченный, указал на него плеткой. Двое вооруженных односельчан вошли во двор, велели Михаилу запрягать лошадь и ехать в Борзю в их сопровождении.

Поцеловал меня на прощанье мой муж колючками на щеках, обнял деток и поехал со двора на борзинский шлях, понурясь в телеге. Тут же и я засобиралась было на станцию. Да к нашему дому уже шла комиссия раскулачивать.

Как по степному ветру, приказано было пригнать весь наш скот в одну кучу, общим гуртом.

– Вот она, вся стада кулацкая, товарищи!

Я знала только дойных коров, а молодняк круглый год пасся на подножном корму. Тут же вдруг набилось скота полный двор – шум, рев, гвалт. Но на слуху же всего и поубавилось – вмиг растащили чинданские активисты нажитое честными мозолями нашей большой семьи. Когда брали баранов, мы даже и не заметили, лошадей табун увели – тоже не видели – никто не обмолвился, как своровали. А рабочих лошадей приказали свекрови запрячь во все телеги, какие у нас есть, нанять людей, чтобы съездить за нашим сеном. Все сено привезли в коммуну. Потом активисты с бичами и весь скот выгнали с нашего двора, оставив самую плохую корову, а мне коня.

Когда настала весна, этот конь ушел от нас, по слухам, его перехватили в Даурии. Мясо у нас тоже все забрали, сгребли чай, белую муку, рис. Из одежды унесли шубы и дохи.

Затем настал черед выселения из дома. Свекрови дали землянку и велели переходить с младшей невесткой. А мне, как видно, учтя бедняцкое происхождение, сказали, чтобы нашла себе квартиру и жила со своими дочерьми отдельно. Я пыталась попроситься в артель, но мне не разрешили, посоветовали поступать на производство. На третий день после выселения я пошла посмотреть свой дом и узнать, кто в нем живет или будет жить, но от дома остались одни печи с трубами – его продали в бурятскую коммуну.

Можно было пожить и в землянке – не привыкать, – но мои девочки приходили из школы со слезами: «Нас обзывают, мама, не дают проходу и кричат: «Офицерские ублюдки!» Я наказывала детям терпеть, а сама думала, как переехать в Борзю, где хоть как-то затеряться и ждать весточки от мужа. Да трудно было в Чиндане найти людей, кто бы меня с детьми увез в Борзю. Люди добрые исподтишка научили сходить к председателю коммуны и попросить, чтобы он дал разрешение своим людям, которые на нескольких подводах собирались в Борзю за грузом, чтобы они увезли меня. Наш выдвиженец Золотарев разрешил после того, как предложила ему доху и лом, которые еще оставались у меня – нечем было расплатиться.

Доехали мы до Борзи, кое-как приютились у дяди мужа, который благополучно пережил эти сложные времена. Вот о Михаиле моем он ничего хорошего не мог сказать: отправили его в Читу, а там след в ГПУ затерялся.

Погоревала я, да жить надо было дальше – девочек своих, кровинушек наших растить. Благо родственник в беде не оставил, хоть сам жил под страхом, старичок. Но повезло расчетливому родственнику из железнодорожных служащих: у него было настроено несколько домов, и один у него взяла важная организация «Речинскстрой». Заведующий этой организацией Зосим Макарович был порядочный мужчина из инженеров. Он взял дядю под свою защиту. Дядя попросил его устроить меня на работу, хотя бы уборщицей, и заведующий согласился.

Наконец, и в мое беспросветное существование проник лучик солнца. Зарплата была небольшая – 50 рублей, но зато работников «Нерчинскстроя» снабжали продуктами. Давали 24 килограмма белой муки на рабочего и 8 килограммов на иждивенца и еще добавляли других продуктов. Да к тому же каждый месяц мы получали мануфактуру. Все было сравнительно дешево, и даже мне вполне хватало денег, чтобы расплатиться за продукты и мануфактуру. По своей работе я понравилась заведующему, и он стал относиться ко мне с большим доверием.

Зосим Макарович выписывал чеки на получение в банке денег по 100 и 200 тысяч. Получив деньги в кассе, я заворачивала их прямо в халат, приносила ему и аккуратно выкладывала на стол. Заведующий убирал пачки в денежный ящик, не считая. И никогда между нами не было недоразумений. И в работе «Нерчинскстроя» не замечалось особых нарушений.

Но вот приехал к нам из Читы с проверкой мужчина с бритой головой, в котором я без труда узнала настропаленного бывшего уполномоченного по раскулачиванию Леона Комаровского. Здесь он объявил себя партийным ядром, посланным для проверки нашего штата. Быстро подкопался под управляющего, отдал нашего Макаровича под суд, а сам занял его место.

В скором времени начала я замечать, что он с большим вниманием следит за мной, стал подолгу оставаться без всякого дела в конторе, когда я убираю комнаты и мою полы, решила, что он признал во мне жену раскулаченного, которая была у него на примете. Но оказалось, он просто заинтересовался мной, стал заигрывать и любезничать. Как-то в своем кабинете, когда я пришла убираться, он угостил меня хорошими папиросами и повел со мной разговор на тот предмет, что славно бы посидеть нам вместе в непринужденной обстановке и поговорить о жизни. Чтобы не рассердить начальника и не потерять место, я ответила уклончиво, у самой же сердце наперекосяк: вот же вурдалак – и тут своего не хочет упустить.

Кое-как отделалась от него в тот вечер, но ощутила клешни его на себе. На следующий день Комаровский вновь начал подступать ко мне с намеками.

Только отделалась я от незваного ухажера, прибралась в конторе, дома уложила дочек в постель, как постучал конюх Мокеич в оконце: «Даша, вызывает управляющий», примерзла к оконцу: что это значит? Он меня никогда не вызывал ночью. Спросила конюха: «Бухгалтерия работает?» – «Еще работает», – ответил он. Тогда я пошла вслед за конюхом. Комаровский как раз разговаривал с приезжим шофером в своем кабинете. Отдавая распоряжения, он ногу протянул, будто сам нарком или еще кто повыше. А по его такому веленью значило, что мне без лишних разговоров следовало заняться срочной приборкой нашей заезжки к особой встрече. Словом, морду веником и жми, Даша, в заезжий двор, который находился рядом с конторой, как пристрой. Но я прошлась по тусклой улице, вышла к железной дороге и постояла под ветерком, который надувал с ночных сопок. Когда-то, уже в вечном прошлом, мы с Михаилом так же стояли под нашими звездами после вечорки. Знали мы друг друга еще по школе, а потом пути-дорожки наши разошлись. Я должна была работать в хозяйстве у своих народных, но добрых, бездетных родителей. Мишу взяли на войну, оттуда он уже в офицерских погонах вернулся с белыми, и в такое негожее время мы встретились на вечеринке. Хмелевые ветры закрутили нас, мы поженились и в перебедах гражданской войны родили детей. Жить бы нам, никому не мешая, с таким трудящимся славным мужем семья только бы крепла. Да жерновами смололо всех нас и развеивает остатки по забайкальским долинам. А мужа моего и дальше унесло по этим вот путям, блещущим в ночи, как сабли: на Соловки без права переписки, как объяснили мне в местной тюрьме, на которую и ночью оборачиваться страшно.

«И меня склевать собирается мой начальник, как последнее зернышко затаенное нашего семейного колоска, – пригорюнилась я. – Так неужто не подавится?»

Но делать нечего – надо исполнять наказ начальства. Вернулась я к заезжке, на пороге причепурилась и вошла в пристрой. Прямо глаза зажмурила – такое на столе: самовар, полный графин и стаканы, и закуски в тарелках. В тридцатых годах выпивку и хорошую закуску можно было купить только на золото. Но тут, вижу, Мокеевич и его жена Пана моему приходу обрадовались.

Пана усадила меня за стол, сама побежала к печке за отгородкой что-то готовить и загремела там посудой да запела песню: «Скакал казак через долину». Мокеевич оправил бороду, скосил на меня хитрые гуранские глазки и положил чугунную руку на мою еще чистую ладошку. Потом в ухо дыхнул горячей перегаркой.

– Ты вот что, бабонька, Леон Самсоныч большой интерес к тебе поимел. Сама понимаешь, что мужику надо, когда такое угощенье выставил. Бабонька ты у нас загляденье. Щеки вон сараной цветут, как и не переживала столь бед. Стало быть, себе можешь покровительство видное заиметь. Дашка, деткам будущность обеспечить и нас не забыть по малости. Придет сейчас начальник – не кочевряжься...

Сам Мокеевич для уточнения и поддернул меня к койке, убранной как на свадебную ночь. У меня в груди как правленным свинцом обожгло, да пришлось изо всех сил искать отступ.

– Как же, Игнат Мокеевич, я составлю ему компанию при живой жене?

Конюх повез бородой по столу, подгоняя ко мне стакан, хмыкнул и засипел:

– Какая к лешему жена ему та бурятка. Взял ее, когда вместях учились в партшколе. Алхон выдвиженка из бедного улуса – ему как раз для партийной карточки пара. Сама-то уродная партейка, трубку смолит да пень пнем, хоть и училась в партийной семинарии. А для любви русская нужна, красивая, как ты, Дашутка, смекаешь?

Налил он мне в стакан из графина, себе не забыл и добавил:

– Только чур, предупрежденье одно хочу сделать тебе, Дарья, насчет свойства нехорошего у нашего Леона...

Тут и затаилась, как охотник на солонце, по рассказам моего мужа, даже из стакана чуток пригубила. А Мокеевич засипел самоваром в ухо:

– Как раззадорится он, мужская вся доблесть станет в нем, так нужна баба ему непременно. Иначе может остаться надолго в бычьем возбуждении. Было с ним такое уже – врачи еле отвадили, болезнь эту определили и предупреждение вынесли: в таком разе баба должна полностью вернуть в соответствие евонные члены. Иначе потом может навек мерином остаться. Так что ты с ним тут поласковей, когда мы с Паной покинем вас...

Я не знала, плакать или смеяться на такой оборот, да тут вошел сам Леон Самсоныч. Сапоги на нем лучились, как кожа на голове, а глаза мигом обстреляли застолье. Потер наш начальник руки, присел за стол и объявил беззаботным голосом:

– Кого ждем? Наркома?

– Самого! – закивал Мокеевич.

– Вы для нас больше наркома, Леон Самсоныч, – подскочила Пана к столу, налила стакан.

– В таком разе выпьем за наши успехи, – предложил управляющий, взметнул стакан над самоваром и опрокинул в рот – кадык три раза дернулся на шее.

Конюх с женой тоже выпили от души, а я выплеснула стакан под ноги. И так мы угощались до тех пор, пока лица мужиков в самоварном боку не стали красней, чем у нас с Паной. А язык Леона Самсоновича стал выговаривать такие непотребы про белые телеса, которые снятся ему каждую ночь возле темной жены, что Мокеевич с Паной застыдились и улизнули в свою боковушку.

Тут управляющий прикрутил лампу, кинулся ко мне и подхватил на руки. В два прыжка он донес меня до кровати, обронил в подушки и стал расстегивать на себе галифе. Да только он обронил свои штаны на сапоги, как я вскочила и вышмыгнула за дверь. Сзади бычий рев чуть меня не сшиб:

– Игнат, держи контру!

Тут же конюховы руки меня перехватили, в бороде его я задохнулась и осела. А Мокеевич мне зарычал в ухо:

– Он же тебя завтра сдаст в ГПУ, дура, воротись – детей пожалей!

Я бороду выплюнула, натужилась и отпихнула деда.

– А я жене его, Алхонке скажу, как он ее поносил да измывался на бурятской кровью! Посмотрим тогда, кого в гепеу потащут! Как-нибудь знаю бурятский язык с детства!

– Он мужества лишится! – взвыла из темноты Пана. – Пожалей его!

– Сама и жалей! – огрызнулась я, хватила боком калиточку и выскочила на улицу.

Сзади вой не вой, а стон какой-то стоял. Но я шла по тусклой улице с поднятой головой: пусть не думают сильники, что нет на них божьей управы. И если роду его не быть на земле, знать, тому и быть!

С такой мыслью я прокралась в дом, тихо улеглась в своем углу и проворочалась до утра: все мерещились шаги ночных посланцев за дверью.

Днем я осмелела, как ни в чем не бывало пришла в контору и тут узнала новость: увезли управляющего в Читу с приступом какой-то редкой болезни, которая только тамошней медицине под силу.

Только итога лечения мы не дождались – не вернулся больше к нам Комаровский Леон Самсонович. А может, это и был справедливый итог.

**К урокам 18-19.**

**Виктор Астафьев. «Звездопад».**

**Виктор АСТАФЬЕВ**

**ЗВЕЗДОПАД**

*Повесть*

Я родился при свете лампы в деревенской бане. Об этом мне рассказала бабушка. Любовь моя родилась при свете лампы в госпитале. Об этом я расскажу сам. О своей любви мне рассказывать не стыдно. Не потому, что любовь моя была какой-то уж чересчур особенной. Она была обыкновенная, эта любовь, и в то же время самая необыкновенная, такая, какой ни у кого и никогда не было, да и не будет, пожалуй. Один поэт сказал: «Любовь – старая штука, но каждое сердце обновляет ее по-своему».

Каждое сердце обновляет ее...

Это началось в городе Краснодаре, на Кубани, в госпитале. Госпиталь наш размещался в начальной школе, и возле нее был садик без забора, потому что забор свели на дрова. Осталась одна проходная будка, где дежурил вахтер и принуждал посетителей следовать только через вверенный ему объект.

Ребята (я так и буду называть солдат, потому что в моей памяти все они сохранились ребятами) не хотели следовать через объект, «пикировали» в город мимо вахтера, а потом рассказывали такие штуки, что у меня перехватывало дыхание и горели уши. Тогда еще не было в ходу слова «пошляки», и оттого, стало быть, я не считал похождения солдат пошлыми. Они просто были солдаты и успевали с толком провести отпущенное им судьбой время.

Вам когда-нибудь приходилось бывать под наркозом, под общим наркозом, несколько раз подряд? Если не приходилось – и не надо. Это очень мучительно быть несколько раз под наркозом.

Я помню, был маленький и играл с ребятами на сеновале. Они бросили на меня охапку сена, навалились, и я стал задыхаться. Я рвался, бил ногами, но они смеялись и не отпускали маня. А когда отпустили, я долго был как очумелый.

Когда мне давали первый раз наркоз, я досчитал до семи. Делается это просто: раз – вдох, два – вдох. Потом станет душно и захочется крикнуть, рвануться, вытолкнуть из себя тугой комок, стряхнуть тяжесть. И рванешься, и крякнешь. Рванешься – это значит слегка пошевелишь рукой, а крикнешь – чуть слышным шепотом.

Но неведомая сила внезапно вздымет тебя с операционного стола и бросит куда-то в бесконечную темноту, и летишь в глубь ее, как звездочка в осеннюю ночь. Летишь и видишь, как гаснешь.

И все.

Ты уже во власти и воле людей, но для себя не существуешь.

Я почему-то думаю – так вот умирают люди. Может быть, и не так. Ведь ни один умерший человек не смог рассказать, как он умер.

Тогда я завидовал тем, кто быстро засыпал под наркозом. Очень тяжело засыпать долго. Минуло больше двадцати лет, а меня душит запахом больницы, в особенности хлороформом. Вот поэтому я не люблю заходить в аптеки и больницы.

Помню, в тот раз, с которого и началось все, я досчитал до семидесяти и канул во тьму.

Приходил в себя медленно. Где-то внутри меня происходила непонятная, трудная работа, словно диски сцепления в двигателе подсоединялись один к другому и мозг ненадолго включался. Я начинал чувствовать, что мне душно, что я где-то лежу. И снова все отдалялось, проваливалось. Но вот я еще раз почувствовал, что мне душно, что я лежу, и кругом тишина, и только пронзающий голову звон летит отовсюду.

Я напрягся и открыл глаза.

Посреди палаты было светло. Я долго смотрел туда, боясь закрыть глаза, чтобы снова не очутиться в темноте.

Горела лампа. Стекло на ней было прикрыто газетным абажуром, и я постепенно разглядел и увидел, что абажур повернут так, чтобы свет не падал на меня.

Мне почему-то стало приятно. Возле лампы спиной ко мне сидела девушка и читала книгу. Она в белом халате, поверх воротничка вроде бы темнела косынка. Волосы вытекали из-под белого платка на ее остренькие плечи.

Шелестели страницы. Девушка читала. А я смотрел на нее. Мне хотелось воды, чтобы омыть из горла тошноту, но я боялся вспугнуть девушку. Мне было до жалости приятно смотреть на нее и хотелось плакать. Я ведь был все равно что захмелелый, а хмельные русские люди всегда почему-то плачут или буянят.

И чем дольше я смотрел на девушку, тем больше меня охватывала эта умильная жалость и оттого, что лампа вот горит, и что вот девушка читает, и что я снова вижу все это, вернувшись невесть откуда. И, наверное, заплакал бы, но тут девушка обернулась. Я отвел глаза и полуприкрыл их. Однако я слышал, как она отодвинула стул, как повернула абажурчик, и мне стало светлее. Слышал, как она пошла ко мне. Я все слышал, но маскировался, сам не знаю, почему.

Она склонилась надо мной. И тут я увидел ее темные глаза с ослепительно яркими белками, разлетевшиеся на стороны брови, изогнутые ресницы, слепка припухлую, нравную губу, тоненькую шею, вокруг которой в самом деле была повязана цветная косынка. Нет, вру. Она не повязана была. Халатик на девушке был с бортами, и косынка спускалась с шеи вдоль этих бортов. Из кармана халата торчал градусник с обвязанной бинтом верхушкой. А одна пуговица на халате была пришита черными полинявшим я нитками. И еще на девушке была кофточка, тоже завязанная черной тесемочкой, как шнурок у ботинка – двумя петельками. А повыше петельки дышала ямка. Я видел, что она дышала, эта ямочка! Я все, все увидел разом, хотя в палате горела лампа, всего лишь семилинейная лампа. Наверное, был еще какой-то свет, который озарил мне всю ее!

– Ну, как вы?

Я постарался бодро ответить:

– Ничего.

Девушка озабоченно и смешно сдвинула брови, которые никак не сдвигались, потому что очень уж разбрелись они в разные стороны, и подала мне воды. Я потянулся к стакану, но девушка отстранила мою руку, ловко подсунула мне под голову ладонь и приподняла меня.

Я выдул полный стакан воды, хотя пить не особенно хотелось. Она опросила:

– Вам дать снотворный?

– Не, – испугался я, застигнутый врасплох этим предложением, – я не хочу спать. – И, чего-то стесняясь, добавил: – Я уже наспался...

– Тогда лежите спокойно.

Она снова села за стол и раскрыла книгу. Но теперь я уже не решался долго смотреть на девушку. И только так, изредка, украдкой пробегал по ней глазами. Она сидела вполоборота, готовая прийти в любую секунду ко мне. Но я не звал ее, не решался.

В палате спали и бредили раненые солдаты. Некоторые скрежетали зубами, а Рюрик Ветров, бывший командир минометного расчета, все время невнятно командовал:

«Огонь! Огонь!.. Зараза! Вот зараза!.. Вот за-ра-за... Во-о-оза-ра-за-за-за...» Это уж всегда так: отвоюется наяву солдат, а во сне еще долго-долго продолжает воевать. Только во сне очень трудно стрелять. Всегда какая-нибудь неполадка стрясется: курок не спускается либо ствол змеевиком сделается. А у Рюрика, видать, мина в «самоваре» зависла, вот он и ругается. Мину из трубы веревочной петлей достают. Опасно! Вот он и ругается. Война во сне очень нелепая, но она всегда заканчивается благополучно. Иной раз за ночь убьют раз десять, но все равно проснешься. Во сне воевать ничего, можно.

Я так и не решился позвать девушку. Я просто чуть-чуть шевельнулся, и она подошла. Подошла, положила ладошку на мой горячий лоб и ровно бы всего меня накрыла этой прохладной и мягкой-мягкой ладошкой, потому что всему мне сделалось сразу легче, нервная дрожь, смятение, духота и покинутость оставили меня, отдалились, утихли.

– Ну, как вы? – снова опросила она. И снова я сказал:

– Ничего... – Сказал и проклял себя за то, что никаких других слов на ум больше не приходило. – Ничего, – повторил я и заметил, что она собирается снять ладошку с моего лба и уйти. Я сглотнул слюну и чуть шевельнул пальцами здоровой руки: – Вы... вы какую книжку читаете?

– «Хаос». «Хаос» Ширванзаде. Читали?

– Не-ет. «Хаос» я не читал. А вот «Намус» читал. Эго вроде бы тоже Ширванзаде?

– По-моему, да.

Снова стало не о чем говорить. Я знал, что она вот-вот уйдет и заторопился:

– А я много книжек читал. – Мне тут же стало жарко, и я пролепетал: – Правда, много, разных, всяких... Ну, может, и не так много... – И разом возненавидел себя за такое хвастовство, и отвернулся к стене, и отрешенно ковырнул стенку ногтем, уверенный, что девушка сейчас уйдет и будет вечно презирать меня.

Но она не уходила.

Я прислушался.

Да, она стояла рядом, и я, кажется, слышал ее дыхание.

– Вам, может, почитать? – спросила она.

– Ой, пожалуйста! – обрадовался я. Девушка огляделась, покусала губу.

– Ах, нельзя! Свет будет мешать вам и соседу вашему, а он тяжелый. Знаете что, давайте лучше пошепчемся, а?

– Чего-о?

– Ну, поговорим шепотом.

– Давайте, – сразу переходя на шепот, стыдливо согласился я.

И мы заговорили шепотом.

– Вы откуда? – наклонилась она ко мне.

– Сибиряк я, красноярец.

– А я здешняя, краснодарская. Видите, как совпало: Краснодар – Красноярск.

– Ага, совпало, – тряхнул я головой и задал самый «смелый» вопрос: – Как вас зовут?

– Лида. А вас?

Я назвался.

– Ну вот мы и познакомились, – оказала она совсем уж тихо и отчего-то опечалилась.

А я лихорадочно соображал: уж не сделал ли опять что-нибудь неловкое?

– А теперь помолчим. Вам еще нельзя много разговаривать. Baм поспать бы.

– Нет, не буду, мне уже ничего... – запротестовал я, хорошо.

– Знаю я вас. Все вы так геройствуете, а потом...

И я сразу скис. Конечно, все мы. Нас тут много. А я-то уж, готово дело, расчувствовался. Она небось со всеми так вот шепчется, всех ласкает, как умеет. Жалко ей, что ли, пошептаться или воды подать. А я аж целый стакан выдул, балда!

И до того я расстроился, что мне, по всей видимости, стало хуже, и когда я очнулся снова, рассвет уже забил робкий огонек лампы.

Солдаты просыпались, кряхтели и охали, потому что вместе с ними просыпалась боль от ран, боль от недавно сделанных операций. Стоны, ворчанье, кашель, ругань – знакомая картина.

По окну криво текут капли. Ветка черная видна, вся усыпанная каплями, светлыми, круглыми. Два нахохленных воробья сидят на ветке – подачек ждут – крошки им из огона бросают.

У нас с поврежденным позвоночником лежит Афоня Антипин из города Бийска, или из деревни, что под Бийском. Он без подушки лежит, на матрасе, набитом песком. Кровать его поставили так, чтоб хоть эту ветку видно было, воробьев – все радость какаяникакая.

За ним, так, чтоб можно было руками дотянуться и подать Антипину чего потребуется, глыбится грудью, брюхом и сыто хрюкает ноздрями старшина Гусаков, командир полковой разведки. Обе ноги у него в гипсе, желтые, гипсом вымазанные, пухлые ступни и пальцы с кривыми ногтями торчат из-под одеяла – оно ему коротко, одеялото, а он, скабрезник и посказитель, поясняет, что одеяло ночью с ног стягивается по причине воздействия хорошего харча и прелюбодейных сновидений.

Старшина спит здорово, но чуток, как птица, – разведчик! – и, учуяв шевеление в палате, хуркнул затяжно, прощально и сладко, завыл, открыв широченный зубатый рот.

Зевая, он подтянулся, схватившись за спинку кровати, и глянул за окно:

– Прилетела стая воробушков на землю зерна клевать, ох и настала погодушка, растуды же, туды ее мать! Ну, что, Афоня? это он к Антипину обращается, они из одного взвода разведки, и ранило их в одном поиске, и, кажется, вернулось из поиска-то всего двое – Гусаков с перебитыми ногами выпер с нейтралки Антипина на себе. Что-то, видать, не додумал, не доглядел Гусаков, перед там как идти в поиск, и вот всячески выслуживается за всю перебитую группу перед Антипиным. Впрочем, если б на фронте можно было воевать без ошибок, мы бы уж давно в Берлине были.

– Шоб тому хвюреру! – ворчит вислоусый украинец, мой сосед, схватившись за полоску бинта, приклеенную к животу. – Шоб ему на тым свити було як мэни сейчас...

– Как дела? – спросил меня Рюрик Ветров, всю ночь командовавший минометом.

– Живу, – коротко ответил я, глядя на лампу, которую забыла погасить Лида. «Где она сейчас? Сменилась или нет? Хорошо быть ходячим».

– Курить будешь? – опять полез с вопросом Рюрик.

– Без курева тошно.

– А я, братцы, закурю, – испрашивая у всех разом разрешения, сказал Рюрик.

Никто ему не ответил. Через минуту в палате хорошо запахло табаком, и ненадолго пропала палатная вонь, в которой смешались все запахи, какие только бывают в больницах.

Утренняя разминка продолжалась, шел ленивый трёп, и ожидание няни с тазом для умывания, и позднее – завтрака.

– И что за сторона такая? Мокрень и мокрень! – жаловался старшина Антипин, делая передышки. – Текот и текот, текот и текот! Это ж весь тут отсыреешь. Вот бы меня домой – у нас уж мороз так мороз, жара так жара. И люди не подвидные, хоть в грубости, хоть в ласке нарастопашку. Меня бы домой, а?

Это повторяется изо дня в день – Антипин намекает старшине, чтобы тот выхлопотал эвакуацию в другой, желательно алтайский, госпиталь. Но дела Антипина плохи, ему нельзя и здесь-то шевелиться, даже много разговаривать нельзя, силы его убывают. Старшина Гусаков и все мы это знаем. Потому старшина увиливает от разговора с Антипиным. Он громко, с показной озороватостью, командует:

– Кому что снилось? Докладай!

– Дак чё может нам сниться? Война! Все она, проклятая...

– У меня опять мина в трубе зависала, мучался, мучался, откликается из угла Рюрик.

– Выудили?

– Да уж и не помню.

Худой, непородистой щетиной обметанный мужичонка, из тех, чьей фамилии не узнаешь, имени и роду-племени тоже, пока он не помрет или что-нибудь выдающееся с ним не случится, вдруг подал робкий и смущенный голос от двери.

– А мне баба приснилась. – Мужичонка сделал паузу, я вся палата заинтересованно насторожилась. – Голая! Прет на меня, понимаешь, и грудя у ей, как мины... – Мужичонка опять прервался, сглотнул слюну.

– Нну-у!!! Дальше-то чего?! Дальше?..

– Дальше? Испугался я. Попятился...

– Э-э-эх! – простонал старшина Гусаков. – Везет мужикам! Хватался бы за мину-то...

– Э-э, нет! – Мужичонка оживился. – Я – сапер! Сдуру за мину не схвачусь. А ну как и рванет!.. Я думаю: такой сон к выздоровленью, братцы, а? – повернул он разговор на серьезное направление.

– 3намо! Баба голая да еще чужая уж зазря не приснится!

Мы с Рюриком и рты пооткрывали – внимаем! Я и про боль, и про наркоз, и про все позабыл, но тут, после долгих попыток все же уселся на кровати мой сосед, отстонался, отхныкался и укоризненно покачал головой:

– Ай-яй-яй! Парубки тут, диты неразумные, а воны таку шкоду размовляють!..

Старшина Гусаков оконфуженно крякнул, прокашлял скрипуче горло и, приподнявшись на локте, нашел меня взглядом:

– Ну как ты там, недорезанный парубок?

– Живу! – коротко, как и Рюрику, ответил я, не опуская глаз с лампы.

«Хорошо-о, – сердился я неизвестно отчего, – очень хорошо! Водички попил, на косыночку посмотрел, пошептался – и рассолодел, готово дело. И до чего я чувствительный, оказывается! Но не на такого напала! Меня, брат, такими штучками не доймешь... Я, брат. Я вот сейчас встану и погашу лампу. Какого черта она горит днем? Керосину много, да? Я вон до фронта на станции работал составителем поездов. Там дальние стрелки иной раз не освещали: керосину не хватало. А тут, видали, палят!»

Я оперся здоровой рукой о кровать, сел, и все пошло передо мной другом: палата, стол с лампой, скуластый Рюрик, у которого ран было столько же, сколько и годов, – девятнадцать....

Постепенно все встало на свои места. Я глянул на Рюрика. Он мне подмигнул. Хорошая у него морда. Нос набок, рот большущий, уши круглые, как у соболя; в треугольнике рубашки виднеется орел с утиным клювом, увлекающий женщину под небеса.

Рюрик знает обо мне все, и я о нем тоже – мы одногодки.

Я подхватил раненую руку, поднялся, утвердился на полу, подошел к столу и дунул. Свет в лампе качнулся, взмыл вверх, и его не стало. Еще недолго от фитиля тянулся дым, обволакивая и без того потемневшее за ночь стекло, но и дым скоро исчез.

– Дай докурить, – подсел я к Рюрику. Он обкусил замусоленную цигарку, выплюнул ошметок на пол, сунул недокурок мне в губы.

– Раза два дерни, и все, довольно.

– Ладно.

Я затянулся два раза, и Рюрик без лишних разговоров вынул окурок из моих губ. Я еще посидел маленько и, страшась расстояния в три шага, отправился на свою кровать. Голова закружилась. Меня качнуло и бросило на соседа. Он зажмурился от ужаса, но я не упал на него. Падать на него было нельзя – он ранен в живот.

– Носит тебя тут, – заворчал сосед. Он поймал меня за кальсоны, подтолкнул вперед.

Ходячих у нас в палате не было, и я кое-как самостоятельно добрался до своей кровати.

Я ныром вошел в подушку, отдышался и закрыл глаза. Стало сильнее тошнить. Зря курил, совсем зря.

Этот день прошел в каком-то зыбком полусне. Я ничего не ел, не курил больше, читать не мог, разговаривать тоже. Наркоз выдыхался медленно. После завтрака обход. Старшая сестра, палатная сестра, кастелянша, няня и другой разный народ – все в белых халатах, и у всех такой вид, будто они к безобразникам, если не к разбойникам в камеру, зашли, чтобы подвергать их исправлению и вообще поменьше с ними церемониться. Впереди всей челяди, как сухонький, маленький полководец Суворов, только без шпаги, – Агния Васильевна – главный врач. У нее одной приветливое лицо, весело сверкает старомодное пенсне да серые вихры из-под белой шапки торчат. Лицо, как она ни тужится, делать его строгим, выражало давнее озорство, и я всегда думаю, с первого дня, как ее увидел, что как, наверно, любил ее какой-то парень! Без ума!

Агния Васильевна, может, угадала эти мои хорошие о ней мысли и, может, потому ко мне хорошо относится, но прикрывает такую свою слабость строгостью. Уж так она строга ко мне, так строга, что уж мне порой и сменно даже. Но только не сейчас.

Лидочки нет среди челяди, сопровождающей Агнию Васильевну. Жаль. Ну ладно. Я и на Агнию Васильевну люблю смотреть. Я бы не знаю что для нее сделал, а она даже и не взглянет в мою сторону! Задрала рубаху на том мужичонке, которому баба голая приснилась, постучала, послушала я заключила:

– Вас жена так заморила или на фронте отощали? – И, не дожидаясь ответа, кинула через плечо сестре, изготовившейся писать: – Усиленное питание!

Ох уж эта Агния Васильевна! Ну до чего же я ее люблю! Да что там люблю, обожаю просто! Вот если б она это знала и посмотрела бы на меня!.. Хоть разок!.. Нет, не смотрит.

Азербайджанца Колю (у него другое имя, но трудное, и он махнул рукой: «А какой разница?! Пусть будит Коля!») слушает Агния Васильевна, слушает, щупает. Коле щекотно и он ужимается, хихикает. А еще месяц назад богу, или, – как он у них там? аллаху, что ли, душу отдавал. Когда ему сделали операцию, он, обалдевший от наркоза, утром мостился и мостился на кровати, улыбаясь всем нам светлой такой улыбкой. «Ты что?» – с ужасом, придавленно вопросил кто-то наконец. «А я сичас на кина пойду!» все так же лучезарно улыбаясь, заявил. Коля. Ну, тут все мы застучали, забренчали чем только можно, прибежали санитарки и Колю к кровати привязали.

Агния Васильевна звонко завезла по Коликой спине ладонью:

– В палату выздоравливающих!

Что тут началось! Азербайджанец рубаху на себя, вскочил, глазами засверкал:

– Вот! Кто прав? Я прав! Вот! Мне Полше гаварили: «Памрешь!» Украине гаварили: «Па-а-аамрешь!!» и Львове, и Винице, и Киеве «Памрешь! Памрешь! Памрешь!.» Как памрешь? Пачиму памрешь? Ни сагласный! Жить хачу! Вина пить хачу! Танцивать хачу! Девушек любить хачу! – Колю тут же осенило: – Дайте я вас па-сссы-ци-лую! – Раскинув руки, Коля двинулся вперед, но Агния Васильевна остановила его:

– Потом, потом! Придешь в ординаторскую и сколько твоей душе будет угодно – целуй! Мы изготовимся к этой процедуре, а сейчас обход. Не мешай!..

Говоря это, Агния Васильевна медленно двигалась к койке Антипина, и тон ее и выражение лица заметно менялись. Возле Антипина она пробыла недолго и все время уводила глаза. А он ловил ее взгляд, не умеющий и все-таки часто вынужденный врать.

– Вас переведут в другую палату, – оказала Агния Васильевна, помолчала. – В отдельную.

– В изолятор?

– Нет-нет, что вы! Просто в отдельную палату. Там тише, теплей. Удобней там...

Антипин все понял, попробовал бороться, отстоять еще что-то:

– Зачем же? Мне здесь хорошо. Ребята все свои... привык я к ним. Гусаков, товарищ старшина, однополчанин... ребятишки вон молоденькие! Веселые. Мне здесь глянется... – торопился Антипин, видя, что Агния Васильевна поднялась и собирается уходить от его койки.

В палате сделалось тихо. Так тихо при мне еще ни разу не было.

Агния Васильевна остановилась возле койки моего соседа.

– Ну, а тут все пече?

– Пече, доктор, ох, пече...

– Шов рубцуется нормально. В палату выздоравливающих! Она у нас самая холодная. Чтоб не пекло! – Что-то неприятное, свойственное только докторам и веем тем, кто может беспрепятственно властвовать над людьми и распоряжаться их судьбами, появилось в голосе Агнии Васильевны. Я ее такую не любил, боялся и потому затаился под одеялом и не дыбился уж ей встречно.

– Та як же ж?.. Та ж болыть! И так пече. Так пече... – ныл мой сосед.

Но Агния Васильевна ровно бы и не слышала его. Сдернула с меня одеяло, послушала, велела показать язык.

– Покурил?! – Я опустил покаянно голову. – Разве от хлороформа мало обалдел? Могу добавить!

– Н-не! – испугался я. – Ну его! Что-то похожее на улыбку тронуло сухие губы Агнии Васильевны, и пенсне сверкнуло приветливей.

– Ходить когда разрешите? – осмелел я.

– Сие зависит от тебя. Будешь смирно лежать – скоро, прыгать станешь – полежишь.

«Зависит, – раздражению повторил я про себя. – Ну, зависит если, так полежу смирно. Не жалко».

Больше никакого разговору в палате не было. Деловито и молча закончив обход, Агния Васильевна удалилась из палаты и, комкая в руках фонендоскоп, что-то на xoдy раздраженно сказала старшей сестре. Та плаксиво скривила губы и отвернулась.

Афоня Антипин накрылся с головой одеялом и лежал плоский, неслышный, будто и не было никого под одеялом.

Старшина Гусаков залез рукою под себя, шарил где-то в тяжелых гипсах или под гипсами, выудил из недр кровати плоскую грелку, брезгливо выплеснул в плевательницу лекарство из мензурки. Грелка заскрипела коровьим выменем, захлюпала влагой, и по палате угарно поплыл запах самогона.

– Афонь! Афонь! – потянул с Антипина одеяло старшина. – Тяпни для сугреву, а? Тяпни!..

Антипин не отзывался. Старшина опрокинул одну, другую, третью мензурку в себя, попробовал еще выдавить из грелки чего-нибудь, но больше даже не капало, и тогда он сдавил мензурку в руке так, что она хрустнула, и из пальцев старшины кровь брызнула на постель. Старшина, не замечая крови, мрачно матерился и спрашивал: где и как еще самогонки достать? Но этого никто не знал и никто, кроме старшины, находящегося в недвижном состоянии и все же умудряющегося через нянь добывать горючку, сделать такое не сумел бы, таланту не хватило бы, и, как бы оправдываясь за эту нашу бесталанность, Рюрик угрюмо сказал:

– Руку обрезал.

Старшина глянул на руку, досадливо бросил: «А!» – и стал обмывать ее из графина над плевательницей.

Я не смог пролежать, как было ведено, и двух дней. Однажды вечером я потихоньку поднялся и, придерживаясь за спинки кроватей, побрел к двери. Перед тем как подняться, я долго глядел в зеркало и любовался прической – больше-то нечем было любоваться.

Я и забыл оказать, что с тех пор, как окончательно очнулся от наркоза, я занимался только своей прической. Случилось так, что до этого у меня никогда не было прически. В деревне бабушка меня стригла наголо ножницами; в детдоме всех нас чохом обрабатывали машинкой. В ФЗО я пытался отпустить чуб, но дальше вершка дело не пошло – обкорнали. Ну а потом армия, форма двадцать, суровые порядки. Одним словом, лишь в госпитале наступила некоторая вольность. Я забыл сказать еще вот о чем. В этом госпитале я лежал недавно. В него я был переведен из армейского госпиталя, где и начал отращивать чуб.

Госпиталь этот именовался не то нервно-патологическим, не то нервно-терапевтическим. В общем, нервным. А у меня на руке были перебиты обе кости и нерв. Вот его-то и вылавливали доктора, пока я лежал под наркозом. Говорят, связали, но пальцы все равно не шевелятся. Рука совсем-совсем не болит. Она висит, ровно чужая. Пальцы на ней усохли и пожелтели. Мертвая рука.

Что я буду делать после госпиталя? Как жить? У меня единственная профессия – составитель поездов, и семь классов образования. Чтобы работать составителем, нужны обе руки.

«А, наплевать! Не один я такой! Не пропаду! Не так страшен черт...»

Мне надо выбраться в коридор, ну просто позарез надо. А рука, глаз, нога – это все пустяки. И то, что я в одном белье, – тоже пустяки. Я обернул одеяло вокруг бедер, как римский патриций, и вот в такой юбке щеголяю. Все ребята ходят в таких же. Так прилично, не видно аккуратно завязанной бинтами прорехи, и теплее, и вообще удобно.

Главное – это моя прическа, мой, можно сказать, единственный козырь. Говорят еще, что я веселый и беззаботный парень. Очень веселый. Да, я люблю пошутить, знаю всякие там присказки. Парубок, словом!

Уверен, что, если бы Лида поговорила со мной еще раз, я бы такие вещи ей рассказал из книг, про фронт и про тому подобное, что она сразу бы сомлела и взоры ваши и вздохи наши слились бы воедино!

Где я это вычитал? Сильно написано!

Вот я и в коридоре. Вспотел. Прислонился к стене. Горит всего одна лампа. Электростанция в Краснодаре еще не восстановлена. И вообще город живет еще трудно – это я знаю но разговорам.

В дальнем конце коридора наша «культурница» Ира беседует с раненым. Судя по всему, намечает план культ-мероприятий. Я начал продвигаться вдоль стоны, к этой парочке. Раненый с сожалением выпускает руку собеседницы и досадно смотрит на меня. Я же на него не смотрю. Мне не до него. Я хотел спросить у Иры, дежурит ли сегодня такая тоненькая сестренка с огромными глазами, у которых белки блестят, как фарфоровые, и повыше черной завязки дышит ямочка, а спрашиваю совсем про другое:

– Ирочка! Который час?

Удивленная моим игривым тоном, Ирочка пожимает плечами, давая понять тем самым своему собеседнику, что она ничего общего с этим солдатишкой в юбке не имеет, и говорит мне время. Я еще полюбопытствовал: когда завтра откроется библиотека? Ирочка уже сердито ответила, что в послеоперационную палату она сама принесет книги и, кроме того, доложит главврачу, как я шлялся без разрешения по коридору.

– Что ж, валяй! – вздохнул я и отправился в свою палату. По пути заглядывал во все открытые двери.

Будто через нейтралку «за языком» к противнику крался я к своей койке по нашей, глухо затемненной палате, и все же за моей спиной раздался внятный шепот:

– И кто там оно ходит? Хлебом, винам просит? – Рюрик! Ну, не скроешься, не спрячешься от этого командующего «самоваром»!

– Охламон! – ругается Рюрик. – Сестрицу перевели в операционную. Операционная мадама с одним товарищем капитаном активно дружила! Агния свет Васильевна этого не любит!.. И еще учти – дежурит сестрица через сутки...

– По мне хоть через трое!..

– И зовут ее Лидкой.

– По мне хоть Маргариткой!..

– И ушивается возле нее тут лейтенантик один.

– По мне хоть генерал!

– Дурында! – взъелся и подскочил Рюрик. – Кого охмурить хочешь? Я ж саратовский мужик! Я в этих вопросах!..

– Когда и выучился?

Рюрик отвечает не сразу, напускает на себя важность, неспешно скручивает цигарку, ну вce-все делает степенно, важно, а ведь такой же оголец, как и я, и, главное, знает ведь, что никакого действия этот солидный кураж на меня не производит, а вот поди ж ты, кочевряжится! Видать, такая уж порода у этих саратовских брехунов!

– У нас, у саратовских, знашь как?!

– Ну, как? – гляжу я на него, ухмыляюсь.

– А вот так! Родится малый – ему ни побрякушек, ни игрушек, а сразу гармонь в руки и пошло: «Я не знаю, как у вас, а у нас, в Саратове, девяноста лет старухи шухерят с ребятами!..» – Рюрик аж заподпрыгивал, аж задом об койку заколотил так, что пружины забрякали.

– Трепло! – сказал я, отобрал у него цигарку, дотянул, погляделся в кругленькое зеркальце, лежавшее на тумбочке Рюрика, поплевал на ладонь, приплюснул ерша на маковке и отправился «к себе» – обдумывать положение.

В коридоре госпиталя реденько светят повешенные на стены керосиновые лампешки с большей частью побитыми стеклами, а то и вовсе без стекол.

Копотно, людно. Пахнет горелой соляркой, карболкой, иодом, хлороформом, гниющим человеческим мясом и кровью.

Нынче этакое скопище запахов изысканно называют «букетом».

Но ещё смешанней, еще запутанней и разнообразней коридорный треп – этакая «мыслительная разминка» перед сном, короче – самая настоящая трепотня людей, без дела слоняющихся из угла в угол.

Вот возле школьной карты, истыканной спичками, изрисованной намусленными карандашами и разными чернилами, сошлись «стратеги». С видом если не заправского преподавателя академии, то хоть заместителя по политчасти, директора нашей школы ФЗО – человек в кальсонах и с желтушно цветущими глазами водит по карте пальцем:

– Главное препятствие на нашем пути: Висла и Одер. Героические наши войска уже один из этих рубежей одолели и ведут неукротимое давление с Сандомирского плацдарма – и лагерь хищного врага трещит по всем швам!..

Ему внимают, открывши рот, четверо контуженых – этим хоть что говори, они все слушают и ничего не понимают, а пытаются по губам угадать – что к чему.

Интересное вот тоже свойство с людьми происходит – отшибет память человеку, я он впадет в детство, не только умственно, но и телесно, глядишь сзади: стоит школьник в кальсонах, шея тонкая, затылок, кот у петуха, даже и кость наружу, ручонки в кисти плоские, плечи узенькие, грудь запала.

«Как сюда ребятишки-то затесались?» – подумаешь. Но, глядь-поглядь, человек-то в морщинах, на пятках старые мозоли известью взялись, кожа с них сходит, от годов сутулится человек, а взгляд младенчески несмышленый, пытающийся что-то осознать... Сестры и няни зовут их: «Ребятишки, ребятишки...»

Два белоруса, поддерживая друг дружку, лепятся к стене возле карты. Ну, эти хоть кого слушать готовы и верить чему угодно. Оба они счастливые – недавно из освобожденного города Витебска впервые за три года письма получили! Плакали, обнимались, за сестрами гонялись, чтобы и их обнять и поцеловать. А те Агнии Васильевны боятся – еще подумает чего, с работы прогонит, недаром кличут ее Огнея! Огнеика! Огнюха! С Огнюхой не забалуешься!

– Так то ж выходиць?.. – после долгого обдумывания задает добровольному политруку-политинформатору вопрос один из белорусов. – У тым логове скоро наши будуць?

Но не успевает «политинформатор» подтянуть кальсоны, сползающие со впалого живота и ответить умственно, с достоинством на вопрос, как находится человек, вся и всех подвергающий сомнению.

– Держи хлебало шире! Он у себя даст прикурить, немец-то!

– То ж ня дай бог у конце войны загинуць! – простовато высказывает таимую многими про себя тревожную мысль второй белорус. – Ня дай бог!..

Махорочный дым слоями плавает по коридору. На подоконнике двое контуженых, еще не выучившихся, говорить и писать, но уже наловчившихся играть в шашки «в Чапаева», – это когда щелчками выбивают строй шашек противника, сражаются на щелчки по лбу.

Давно они сражаются, у обоих уж лбы буфами вздулись, а их, дурачков, болельщики подначивают – они и рады стараться, раскраснелись, трясутся, с кулаками уж готовые друг на дружку пойти! Зрителям потеха!

Больше всего народу возле старшего сержанта. Шестопалова. Вот уж травило так травило! За ним с утра до вечера так и таскается косяк слушателей и зрителей – есть не давай, только бы Шестопалова слушать! Он забрался с ногами на кожаный, единственный в коридоре, диван, и оттуда слышится:

– Купимо бугая?.. – Дальше уж ничего не слышно, народ просто валится друг на дружку со стоном и рыданиями.

Мимо пробегает, бултыхая загипсованной рукой, паренек с подергивающимися шеей и глазом, умеющий шевелить ушами. Но сейчас ему не до фокуса с ушами: видать, разболелась рука или черви под гипсом завелись, а может, клопы залезли! Это уж беда, если клоп под гипс попадет, – ничем его, гада, оттуда не выгонишь! Попитается, попитается и тут же отдыхает, л потом опять жрет. Черви, те дурь выедают, и польза от них из-за этого, но когда их много разведется и рану они подчистят, тогда начинают мясо точить – тут уж скорее гипс надо снимать, иначе ревом реветь будешь! А реветь нельзя, кругом люди, и тоже больные.

Ах, сколько я уже видел всего и знаю! – мрачные мысли, проникшие было в мою голову, на которой заметно отрос чуб так, что я его начал уже на бок зачесывать, отвлекла и разбила одна занимательная пара: угрюмый человек в короткой пижаме, с бровями, из которых вполне рукавицы вышли бы, если бы с толком кроить, и узкозадый, суетливый человечек с козлиной неряшливой бородкой один из них будто бы подполковник, а другой – артист. Наверное, так оно и есть: говорит всегда этот, с бородкой, а тот слушает, не выражая никаких чувств ни слухом, ни видом.

Я увязался за этой парой – интересно же послушать артиста!

– Н-да-с! – семенил старичок, заплетаясь в одеяльной юбке. И не спорьте! И не возражайте! – Тот, с бровями, не только не спорил и не возражал, он даже бровью-то своей меховой не повел! Богиня Коринфская была поднята со дна моря неподалеку от...ского голубого грота!

Вот черт, не расслышал! Какого грота! А все из-за Шестопалова: он опять чего-то траванул такое, что госпиталь закачался от гогота, и дежурная сестра выскочила из палаты со шприцем наизготовку и цыкнула:

– А ну, тихо! А то всех переколю!..

– И не спорьте, и не возражайте! – настаивал артист с бородкой. – Обычай целоваться не губами, а носами распространен не только среди африканских племен, но и на некоторых полинезийских островах, следовательно, миграции народов...

Нет, он, пожалуй, не артист, он ученый, пожалуй. А может, и артист, и ученый сразу! А может, просто хлопуша и болтун, как Рюрик! Целоваться носами? Это как же? Тут и губами-то не знаешь, как это делается. В кино только и видал, да в книжках читал. Но книжки и кино – что они? Искусство мертвое и только!

А вот если бы...

Я отправился в санпропускник, устроился возле ванной комнаты на колченогом диване и грянул во всю головушку:

Я – цыганский барон,

Я в цыганку влюблен.!..

На мой голос явился «псих» из девятой палаты и закатил глаза:

– К-к-к-к...

– Пой, – сказал я мрачно. Я уже знал, что заики или те, кто перенес контузию и у кого восстанавливается речь, поют внятней, чем говорят.

И «псих» запел:

– К-канчай му-му-узыку!

«Психами» мы звали контуженых. Их у нас целая палата. Ни одного ранения нет на теле контуженого, ни одной дырки, а он все равно что не человек. Человек, не чувствующий боли, вкуса пищи, забывший грамоту и даже мать родную, – разве это человек? Все выбито, истреблено. Из него заново пытаются сделать человека. Но удивительное дело, почти все контуженые болезненно переносили музыку и пение. Вот и этот: я еще только начал петь, а он уже явился.

Поскольку многие из контуженых были взяты с передовой, в беспамятстве и оставили там, на поле боя, все, в том числе и свое имя, мы их всех подряд звали Иванами. И я мрачно сказал этому Ивану, который уже заметно подлечился, и верховодил а десятой палате:

– Уйди! Я еще немного попою и перестану!

Иван, как птичка, свернул голову на плечо, глуповато уставился на меня печальными глазами и открыл рот. Я отвернулся от него и грянул дальше:

Знает свод голубой,

Знает встречный любой,

Даже старый наш клен

Знает, как я влюблен...

Иван хихикнул и поддернул кальсоны.

Я замахнулся на него.

Лицо Ивана вытянулось и сделалось вовсе глупым. Я ушел в палату. Так и не дозвался я, кого хотел. Для Ивана или просто так мне петь не хотелось.

А в палате-то у нас перемена! Пока я шлялся да соло исполнял в санпропускнике, вместо Антипова Афони танкиста доложили. С Сандомирского плацдарма партию раненых привезли. Танкист мечется, кричит: «Горим! Братцы, в нижний люк! Горим! Братцы, не бросайте!..» И бьется-бьется – того и гляди с койки свалится. Нянь в госпитале не хватает, поэтому без уговоров и приказов возле послеоперационных и «тяжелых» добровольно дежурят те, кто пошел на поправку.

Эту ночь мы поделили с Рюриком. Он тоже начинает потихоньку бродить по палате, правда еще за койки держится. Не спал также старшина Гусаков. В изолятор к Афоне его не допускают, самогонкой он не разжился – не на что самогонки купить: и часишки, и все, что было, уже позагонял.

Рюрик поздней ночью убрел в операционную, явился оттуда с Лидой – она что-то несла в мензурке. Я не видел Лиду с того самого раза, поспешно вскочил с кровати.

– Здрасте!

– Здравствуйте, здравствуйте! – мимоходом бросила она – и к Гусакову: – Ну что вы, ей-богу! У нас на операции нет спирту, иодом обходимся. Нате вот... – и сунула ему склянку.

Гусаков, не глядя, что в ней, выплеснул из мензурки в себя и скосоротился:

– Чё это? Тьфу!

Лида положила ладонь на лоб танкиста, и он сморился, обмяк под ее ладонью. Я-то знаю, помню прикосновение этой ладони! Лучше всякой процедуры. Может, даже лучше всякого лекарства эта маленькая прохладная ладонь.

– Ax, ребятишки, как я устала, если б вы знали! – пожаловалась Лида мне и Рюрику. – Такие дежурства иногда выпадают... такие!..

– К Афоне нельзя? – прохрипел Гусаков.

– Нельзя! Вам сказано!

– А он живой?

– Живой-живой! Господи! Что я вас, обманывать стану?!

Гусаков отвернул голову, скрипнул зубами, засыпая, – каким-то снотворным, видать, угомонила его Лида.

– Ну, я пойду, ребятишки! – вздохнула Лида и посидела еще маленько. – Не хулиганите тут без меня?

– Ангелы! – просвистел шепот Рюрика.

– Вы у меня молодцы! – Лида поочередно потрепала меня и Рюрика по отросшему волосью. – Хуже будет, – кивнула она на танкиста, – зовите. Свет совсем не тушите: во тьме раненые хуже себя чувствуют. Хотя, что это я? Вы ведь все знаете, – и она еще раз дотронулась до меня и до Рюрика и пошла из палаты. И так пошла, что вот хоть верьте, хоть нет, я едва не разревелся: такая она была худенькая, усталая, такая жалостная – ну спасу нет никакого!

Вот так штука!

Оказывается, голос мой растревожил не одних контуженных! Он достиг ценителя и проповедника искусств – культурницы Ирочки, которая немедленно мобилизовала меня в самодеятельность. После недолгого сопротивления я согласился петь для народа, робко надеясь, что уж если не чубом, то песнями своими покорю кой-кого.

И вот стою я в палате выздоравливающих (здесь в прежние времена был школьный спортзал) и под баян пою грустную-грустную песню:

Не надейся, рыбак, на погоду,

А надейся на парус тугой.

Не надейся на тихую воду,

Острый камень лежит под водой...

Я и раньше участвовал в самодеятельности и даже приз однажды получил на районной олимпиаде – коробку шоколадных конфет. Я угощал конфетами ребят и девчонок наших, детдомовских. Всем конфет не хватило, и последние резали пополам, а потом на четвертушки. Мне и четвертушки не досталось. Тогда первоклассница Муська Кочергина дала мне откусить от конфетки чуть-чуть, как от своей собственной. Муська, Муська, помнишь ли ты про конфетку? Я вот все помню. И как пельмени всей оравой стряпали на Новый год и бросали друг в друга тестом; и как задом наперед кино показывали; и как курили в уборной и вы, девчонки, выслеживали нас, а мы всегда грозились отлупить вас и не лупили, потому что в нашем детдоме был закон – не бить девчонок и тех, кто еще мал. А мы ведь драчуны были, ой, драчуны! И учиться нам все некогда было, и грешили с нами взрослые люди. Я все помню, все!

На баяне играет Рюрик. Рюрик, по-моему, человек неистребимый. Он весь в осколках. Один осколок даже пробил ему щеку в попал в рот. И Рюрик говорят, что проглотил его впопыхах. Врет, пожалуй. А может, и не врет. Попробуй, узнай у саратовского, когда он врет а когда правду говорит?!

Рюрик лежит пробитой щекой на деке баяна и выводит так, будто не в палате находится, а где-то на реке или на озере в закатный час и печалится вместе с угасающим днем.

Злая буря шаланду качает.

Мать выходит и смотрит в окно

И любовь, и слезу посылает

На защиту сынка своего.

Слова песни мы с Рюриком восстанавливали по памяти и, по всей видимости, сильно изменили их в соответствии со своими мечтами и талантами. Но припев остался тот же, и я невольно снижал голос и чувствовал, что припев этот получается доверительней и что дурной совет давала мне Ирочка: петь громче, чем, мол, громче, тем шибчей проймет. И что она понимает в искусстве! Ей только бы с офицерами в уголочке шушукаться. И как она в культурницы попала? Должность все-таки...

А баян ведет меня, требует не отставать.

Сразу солнце заплещется рыбкой,

И лучи серебром заблестят.

Если мать провожала с улыбкой,

То с улыбкой вернешься назад...

Пока Рюрик пробегает проигрыш, я жду (надо повторить две последние строчки и закончить песню) и мысленно успеваю пройтись по всей своей девятнадцатилетней жизни, такой еще небольшой, такой нескладной, и все-таки моей, дорогой мне жизни.

Очень мне жаль, что ни с улыбкой, ни без улыбки не провожала меня мать. Никто не провожал. Я сам уехал в армию, добровольно, один. И встречать никто не будет. Вот выйду из госпиталя инвалидом, ни к труду, ни к жизни не приспособленным...

Умереть бы мне здесь. Вот тогда бы, может, и пожалели обо мне все, и Лида, может пожалела бы. И сказала бы, может: «Эх, парень-то был – и пел славно, и чуб у него был ничего...»

Я окидываю взглядом палату. Койки, койки, койки. Весь спортзал набит ими. На койках лежат и сидят раненые. Молодые и старые, русские и нерусские, беззаботные и грустные, с прическами и без причесок, с костылями и без костылей, с руками и без рук, с ногами и без ног. Горе людское собралось сюда и слушает мою песню.

Среди раненых, рядом с офицером сидит Лида. Я уже давно перестал смотреть в ее сторону. И тушеваться перестал. Что мне до нее, когда вон сколько глаз смотрят на меня и чего-то ждут. Я сам раненый, я сам почти убитый, и потому я знаю, чего от меня ждут. И я обнадеживаю их, этих знакомых мне и незнакомых изувеченных людей:

Если мать провожала с улыбкой,

То с улыбкой вернешься назад.

Я не пою, я почта говорю им это твердым голосом, из которого исчезла моя, такая еще жиденькая печаль, печаль хотя и много уже повидавшего, но все же девятнадцатилетнего человека. И вижу, что мне поверили. Однорукие стучат о колени, лежащие колотят костылями об пол: аплодисменты.

Рюрик встает и чопорно раскланивается, как перед чужими, направо и налево. А мой глаз упрямо косят туда, где сидит Лида. Она делает несколько вежливых хлопков и обращает свои глазищи к молоденькому офицерику, который отрастил усики, форсистые черные усики. «Кому что нравится, конечно. Кому – чуб, а кому – усики», – мысленно глумлюсь я над этой парочкой и слышу заполошный шепот Рюрика:

– Поклонясь, поклонясь, дуб! Полагается!

– Иди ты! – Я выскочил из палаты. Мне теперь все нипочем.

Да, на этот раз Рюрик не соврал: Лиду и в самом деле перевели в операционную, правда, будто бы временно, да мне-то не легче от этого. Я не мог видеть ее хотя бы издали. А если и видел, то проходил мимо нее с гордым видом и безразличным тоном бросал: «Здрасте».

Я пытался не замечать ее и, когда она появлялась поблизости, я отворачивался и заговаривал с кем-нибудь. Заложив руку за спину, я небрежно отставлял ногу и со значением произносил: «Прут наши, прут! Скоро по домам!» Или: «Краснодар – препаршивый городишко, и люди здесь больно уж какие-то гордые», – и, как дурачок, хохотал.

А когда я однажды заметил, что тот самый офицер с усиками надел кожаное летчицкое пальто и пошел провожать Лиду, то с горя закрутил с Капой из электрокабинета.

Пальто это меня доконало!

Опытные солдаты заводили знакомства с поварихами, а я по молодости лет подрулил к электричеству. Не потому, что тянуло меня к технике, а просто так, с отчаяния.

Капа усаживала меня в уютное кресло, накрывала одеялом, и меня начинало греть со всех сторон, в особенности из-под низу.

– Как на русской печке! – шептал я истомно. Капа, черноглазенькая, быстроногая девушка, управлявшая множеством непостижимой техники, которая светилась синими и красными лампами, моргала, жужжала, чихала и тикала, пищала и верещала, Капа сидела за столиком в бывшей когда-то учительской этаким властным колдуном, этакой владычицей нездешнего царства, делая непринужденные, размашистые росчерки в карточках больных.

А я травил:

– Вот знаешь, Капынь, вот так же вот сидишь, бывало, на печке, на русской, задницу печешь, пот по всем членам текет, в трубе ветер воет: у-у-у-у-у! У-уууу – ну чисто волк и волк! И такая жуть кругом, аж тараканы со страху во все дырки и отверстия лезут, и так щекотно!..

Капа поднимает веселую кудрявую головку от бумаг и, обнажая в улыбке беличьи зубки, грозит мне пальцем:

– Будешь хулиганить – отключу!

Э-э, нет, мне не хочется, чтобы меня отключили, – самую уютную, самую теплую процедуру прописала мне Kaпа «по блату», из явной ко мне симпатии. Вот возьму тоже, да как проложу ее домой, на глазах у Лиды и офицерика того, так будут знать! Вот только пальто летчицкого у меня нету, даже и обмундирования никакого нет. Не пойдешь же в одеяльной юбке девушку провожать...

– Хочешь, Капынь, стишок почитаю? – предлагаю я и удивляюсь самому себе: ну почему это вот с Капой могу трепаться как угодно, а как Лиду завижу – все заколодит: и ум, и язык, и все-все!

– Ну, где стишок-то? Давай! – Капа отложила ручку, кокетливо изогнула шейку, ждет.

– А-а, стишок-то? – Я шевелюсь в теплом кресле, устраиваюсь удобней и начинаю: «У лукоморья дуб срубили, златую цепь в торгсин снесли, кота на мясо истребили»...

Капа давно тут работает, всякого народу навидалась и наслушалась всего, так что все эти штучки-дрючки знает. И я декламирую ей стих серьезный, про любовь, единственный стих, который я знаю, вычитал в одной потрепанной, старинной книжке, когда лежал в больнице, переломив ребро в драке с городской шпаной:

Я не любил, как вы, ничтожно и бесстрастно,

На время краткое, без траты чувств и сил...

Но к этой поре меня уж так размаривало, так во мне слабело и распускалось все, что язык мой начинал дрябнуть, заплетаться, и я ронял голову на грудь, погружаясь в обволакивающий мягкий, бархатный сон, при котором нет никаких сновидений, даже война не снится.

Так, кажется, ни разу и не дочитал я Капе стихотворение до конца. Да, по правде оказать, я до конца его и не помнил.

Я заметно поправился за это время, но рана на руке не заживала. На каждом обходе лица врачей делались все озабоченней и озабоченней. Они вертели мою руку, кололи ее иглой, заставляли шевелить пальцами. Я напрягался, но ни один из пяти пальцев даже не вздрагивал и боли от иглы не было. «Хорошо», – говорили врачи и уходили. Но я уже знал, что, если врачи говорят «хорошо», это значит плохо. Так оно и вышло.

Как-то днем появилась в нашей палате Лида и прямо направилась ко мне:

– Больной, будем готовиться к операции.

– К какой опять?

– К обыкновенной.

– Так я готов. Режьте! Чего вам еще? Клизму мне не надо. Брюхо у меня крепкое. Я не какой-нибудь офицер-интеллигентик...

Последние слова я проговорил совсем почти тихо, но Лида услышала их и уничтожающе сощурила глаза.

– Когда на операцию? – заторопился я.

– Завтра, в одиннадцать. – Она повернулась и ушла, а я закрыл лицо рукой и упал на подушку.

Я боялся операции. Я боялся наркоза. Я боялся темноты.

А тут еще процедурная сестра Паня, лучезарно улыбаясь, вплыла в палату белой павой, неся кружку с наконечником, как стеклянную хрупкую вазу с вареньем для милых деток.

– Кто-то последние известия слушать будет! – возрадовался Рюрик, Ну что вот ты с ним сделаешь, если он такой веселый? Я показываю ему кулак: «Ну, погоди, гад, погоди!»

Лежу вниз лицом. Паня надо мной с кружкой стоит и, как ни в чем не бывало, с ранеными болтает о том о сем. Из ее, хоть и осторожных, окольных слов, между прочим, сделали мы вывод, что дела у Афони Антипина в изоляторе неважные, и даже очень. Гусаков осунулся за эти дни, почернел, неразговорчив сделался.

Так бы оно, может, и кончилось все незаметно, с клизмой-то, но Рюрик – это ж человек какой? Он уж, как говорится, не даст молоку прокиснуть.

– Ну, что слышно по радио, Михей?

– Наша берет! И рыло в крови!

– Вон ему маленько охладительного оставьте, – кивает головой Рюрик на койку моего соседа. – У него все пече.

Сосед починялся, бумажник чей-то кожаный за сахар латал, и взвыл горестно, бросив работу:

– И шо она, та кобылка усе грае? Шо вона така вэсела?!

В ту ночь я почти не сомкнул глаз. Несколько раз ко мне подсаживался Рюрик, давал докурить и со вздохом уходил на свою кровать.

К одиннадцати часам я крепко-накрепко (чтоб не развязали) закрутил бинтом кальсоны и прошел в операционную. Там была только Лида. Она помогла мне снять рубаху, глянула на подвязанные кальсоны и ничего не сказала, а лишь подсобила забраться на холодный операционный стол и прикрыла меня до пояса простыней.

Противная мелкая дрожь возникла внутри меня, дошла до губ, и меня начало колотить так, что стол или на столе что-то забрякало. Хорошо, что Лида возилась у кипятильника с инструментами и не видела этого. Из соседней комнаты с поднятыми вверх руками появился хирург и отдал Лиде какую-то команду. Она наклонилась ко мне с просящей улыбкой:

– Будем ровно и глубоко дышать, да?

Я тряхнул головой, и тут же на мое лицо обрушилась маска. Послушно, как обреченный, я вздохнул и сказал:

«Раз!» Потом: «Два!» Потом: «Три!» Когда дошло до ста двадцати, откуда-то издалека донесся убаюкивающий голос Лиды:

– Родненький, спи! Родненький, спи... Затем голос главного хирурга:

– Почему больной не снял белья? И еще чей-то:

– Глядите, как он подштанники-то бинтом прикрутил – не развязать.

И снова издали, и все тише, тише:

– Родненький, спи... Родненький, спи...

Должно быть, я плохо спал, потому что, когда очнулся в палате, на мне оказалась разорванная рубаха и здоровая рука моя прикручена была к кровати.

Возле меня сидел Рюрик.

– Ну, здорово, Мишка-Михей! – ухмыльнулся до ушей Рюрик.

– Здравствуй, Урюк! – оказал я ему с детской радостью.

Урюком я его еще никогда не называл, и Рюрик нахмурился, считая, должно быть, что я все еще не в своем уме.

– Отвяжи руку, – попросил я Рюрика. – Затекла. Бушевал я, что ли?

– Ой, бушевал! – откручивая накрепко привязанный ремень, помотал головой Рюрик. – В основном матом всех крыл. Врачиха тут, а ты кричишь: «Что фашисты, что доктора – одинаковы. Все кровососы!»

– Да ну?

– Пра! Оно, конечно, не в уме ты был. Но только уж и безумному такое непростительно. Я окончательно убедился, что против сибиряков по мату никто не устоит.

– Я что? Вот у меня дед был, тот колена загибал, так уж загибал!.. Вороны с неба валились, кверху лапами! Как даст, так и готово!.. – Мне так хотелось говорить, вспоминать что-нибудь из жизни смешное. Но Рюрик решительно пресек мое опьянелое озорство:

– Колена! Загибал! – передразнил он. – Посмотрел бы ты, как девушку ту загибало!..

– Какую девушку? – похолодел я и цапнул под одеялом – бинт на месте. Кальсоны прикручены будь здоров.

– Ту самую! Она около тебя и так и этак, родненьким называла, а ты... Ребята в хохот. А она: «Человек, – говорит, – в невменяемом состоянии, и смеяться, – говорит, – над ним подло... Подло! Подло!..» – И еще ногой топнула. Ну, я тут одному костылем по кумполу отоварил. В дверь заглядывал... В общем – концерт!

Я не успел ничего оказать Рюрику в ответ. Дверь в палату открылась, и стремительно влетела в палату ОНА. Губы у нее строго поджаты, лицо силилось быть суровым, но глаза смеялись.

– А ну, где тут этот гренадер? Где этот негодник, поносивший советскую медицину? Дайте мне его, я с ним за всех рассчитаюсь.

Я закрыл глаза рукой и еще одеяло на себя натянул. Но Лида приоткрыла одеяло и стала отнимать руку от лица, разжимая пальцы один за другим.

– Видали вы его, прячется, устыдился! Нет, вы поглядите, поглядите на меня, – все тем же строгим голосом, в котором бился смех, требовала она.

И я поглядел. И навстречу мне плеснулось столько яркого света, что я зажмурился и сказал едва слышно:

– Лида!

– Что, родненький, что?

– Лида! – повторил я еще тише и увидел, как Рюрик подается из палаты, прихватывая с собой всех, кто способен двигаться: создает условия. От этого я вовсе смешался, и наступила долгая пауза.

Лида послушала у меня пульс, посмотрела температурный листок. Хорошо быть медиком. Если разговору нет, делом можно заняться.

– Та-ак, больше покоя, не курить, не дрыгаться лишка...

– Вы будете приходить теперь... ко мне?..

Она погладила меня ладошкой по лбу и тронула за чуб.

– А тебе хочется, чтоб я приходила?

– Ага.

– И ты не будешь больше ругаться?

– Нет.

Лида все еще перебирала пальцами мои волосы, и я боялся шевельнуться, даже дышать боялся. И хотя в палате лежало несколько человек после операции, мы, кажется, чувствовали себя так, словно были одни.

– Идти мне надо, Миша, – с озабоченным вздохом сказала Лида, а сама продолжала сидеть. Я осторожно сжал ее пальцы:

– Посиди еще маленько, ну?

– Две минутки, ладно?

– Пять.

– Ну, хорошо, пять, – уступила она.

И мы просидели не пять, а, наверное, целых десять минут. Когда она ушла, явился Рюрик и сообщил радостную весть: прибыл фотограф Изик Изикович Шумсмагер, и он, Рюрик, захватил на всю палату очередь.

На койках пошло шевеление. Рюрик в зеркальце глядеться взялся, прилизываться начал. Кавалер!

Меня он тоже тайком вывел во двор, и сначала я ничего не разобрал, а захлебнулся воздухом и голова моя кругом пошла. Ладно, Рюрик за талию держал, как барышню, а то бы я упал, пожалуй. Мы и снялись с Рюриком вроде бы как в обнимку а на самом-то деле поддерживали друг дружку. Он и сам-то еще ходить много не умел, хорохорился больше.

Был там такой гвардеец-доброволец, становился за спиной раненого, подпирал его плечом, а Изик Изикович, держась за черную круглую заслонку, из-под которой обычно птичка вылетает, делал отмашку рукой, будто командир орудия:

– Левее! Левее! Тэ-э-экс! Минуточку! Одну минуточку... Подбородок выше! И не так грозно, не так грозно! Ви же, надеюсь, не дорогому фюреру будете карточку высылать? Ви маме высылать ее будете! А маму пугать не нужно. Мамы и бэз этого напуганы. Вниимание! Опля! Прошу следующего героя!

Гимнастерку, штаны, фуражку и сапоги всем ссуживал тот самый младший лейтенант, что провожал Лиду. К ней, к этой гимнастерке, только награды свои перецеплялись, а у кого наград не было, тому младший лейтенант давал сниматься и с орденом своим – «Красная звезда», и с медалями своими, заявляя каждому ранбольному: «С тебя пол-литра!» А те его отшивали: «Шибко пьяный будешь!..»

В нижней рубахе, в палатном, заношенном халате, усиками только отличимый от солдатни, младший лейтенант слонялся по двору, травил чего-то и зароптал только тогда, когда его гимнастерку попытались надеть на старшину Гусакова, потому что она затрещала по швам, и младший лейтенант ужаснулся: в город не в чем спикировать будет!

Тут старшина Гусаков, которого вывезли на тележке, пытались поставить на ноги и подпереть плечом сзади, как шуганул услужливого подпорщика да как рявкнул на весь двор:

– Сымай так! Я со своей бабой пятерых ребят нажил! Я свою бабу обманывать не ж-желаю!.. Сымай, в три господа бога!..

Изик Изикович испугался, забегал, забормотал, дескать он тут ни при чем, он готов отражать любую действительность... но все желают быть красивыми, и он делает их по возможности красивыми. Ведь даже великий русский писатель Достоевский... Не знаете такого? О-о, это был плодотворный писатель! Он написал много толстых книг! Так вот, даже Достоевский говорил, шо красота спасет мир, и хотя предначертание это не сбылось, будем надеяться – все же сбудется, хоть в какой-нибудь степени... Такой человек не может напрасно бросать такие слова на ветер...

Вся эта сыпучая и ласковая болтовня Изика Изиковича не подействовала на Русакова – вышел он на карточке огромной белой глыбой с твердо сжатыми челюстями, и только награды, много наград, прицепленных к нижней рубахе, оживляли карточку и лежащего на тележке старшину.

А почему он озверел и таким голосом рявкнул – объяснилось тут же. Когда старшину везли по коридору на тележке, встречь ему выкатилась белая тележка из изолятора. Старшина попросил остановиться, приподнял на встречной тележке простыню и долго, пристально глядел под нее. Потом, как из пустого дупла, раздался его отдаленный, чужой голос:

– Как все просто! Один перекресток и две дороги: в наркомзем и в наркомздрав... – Неловко и грузно извернулся так, что затрещали на нем гипсы и посыпались крошки, припал к соседней тележке лицом и просипел задавленно: – Прости, Афоня! Не уберег... – Откинулся на свою тележку, махнул рукой уже вяло: везите, мол, кого куда положено...

Дня через два Рюрика перевели в большую палату и соседа моего тоже. Я попросился туда же. Прибыла большая партия раненых, в послеоперационной палате нужны были места.

Мы здорово устроились с Рюриком за печкой-голландкой, поставив две кровати вплотную. Это был чуть затаенный, дальний уголок, и сюда устремлялся госпитальный люд с разными делами, не терпящими постороннего глаза: играли в карты, рассказывали всякую всячину, выпивали, если удавалось достать вина.

Вот старший сержант Шестопалов пыхтит, за печку протискивается. А здесь и так уже теснотища – Рюрик с Колей азербайджанцем в подкидного играют и лупят друг дружку картами по носам, с оттяжкой лупят. У Коли и без того носище, как у парохода, а тут еще Рюрик уличил его – мухлует, азият лукавый! И ну ему нос на бок всей колодой карт сшибать. Коля шмыгает носищем после каждого удара и смиренно оправдывается:

– Ми, васточные люди, ни можим не мухлевать в любви и в азартных играх. Наша душа восточная фантастическая!.. Шехерезаду знаешь? Васточный народ придумал!..

– А вот игру в русского дурака худо знаешь.

– Асва-ываю!

Шестопалов отгреб карты с тумбочки, выудил стакашек из-под кровати, налил до краев мутной жидкости, выпил, в себя вслушивается:

– А-а, милая! – шепчет он, прикрывая глаза. – Идет! Идет! Воскресе душа и возрадухося!..

Было кольцо золотое на правой руке Шестопалова, с «брыльянтом», – как он называл белую бусинку, впаянную в кольцо, – охолостела рука Шестопалова. Плеснув по половинке стакана Рюрику и Коле-азербайджанцу, Шестопалов утырил грелку под пояс кальсон и стал закуривать. Рюрик выпял, задохнулся, головой очумело потряс. Коля выпил – скривился.

– Это вина?!. Приезжай на моюм родина, в Акстафа, я тебя такой вина налью! М-м-мых! – целует он щепоткой сложенные пальцы. – А этот вина клопов душить и штрафникам пить самий раз, чтобы умирать не боялись.

– Я и есть штрафник, может? – Мутнея взглядом. Шестопалов решает про себя: еще выпить или погодить? Внутренние его борения с самим собой можно угадать по лицу.

Рюрик последний раз врезал картами по носу Колиазербайджанца, тот красно высморкался в плевательницу, пощупал осторожно нос и качнулся на Шестопалова, впавшего в угрюмость:

– Шту сыдыш? Шту ты сыдыш? Вина есть, он сыдыт! Сам ни хошь, гостю налывай, – тыкает он себя в грудь, – как пострадавшему!

Грелку они таки опорожнили. Шестопалов разохотился, вылез окном во двор и махнул на рынок задами госпиталя. А Рюрик с Колейаэербайджанцем продолжали сражение и изводили меня тем, что я вот пить бросил уже, скоро курить, поди-ко, брошу и вообще бог знает до чего могу докатиться по причине влюбленности.

В палату, как всегда, важно, как всегда, с улыбкой царицы вплыла сестра Паня. Я зашипел: «Полундра!» – ребята сразу карты спрятали, дым начали руками разгонять. Но Паня уж тут как тут, принюхивается, пошевеливая чистеньким носиком, и розовенькие ноздри ее вздрагивают, как у чуткой лесной зверюшки-соболюшки. Шестопалов от пышной, чистенькой Пани без ума. Не встречайся, говорит, в укромном месте! Не отвечаю, говорит, я за себя; могу еще раз, говорит, в штрафную угодить, а я уж, говорит, два раза в ней был...

– Пануша, сыграем в дурака! – предлагает. Коля-азербайджанец сестре, переставшей улыбаться и подозрительно принюхивающейся.

– Я вот вам сыграю! Я вот вам сыграю!..

– Что такое? – Рюрик с Колей-азербайджанцем уставились друг на дружку с полным недоумением. «Ну, гады! Ну, артисты!» – Я не удержался, прыснул и отвернул лицо к стене.

– Сивухой от вас прет, вот что такое!

– Ка-аааакой нух! Ц-цы. – цы! – поражается Коля-азербайджанец. – Пануля, тебе с таким нухом шпиенов нада лавить!

– Шпионов! Я вот вас поймаю и ко главному потащу! – И неожиданно мне: – А тебе как не стыдно, Миша?! Такой хороший мальчик и связался с такими разложившимися типами!..

Она повернулась и уже без улыбки, в полном расстройстве покинула палату, а Рюрик упал на койку, задрал ноги так, что видно сделалось заплату на заду кальсон, и до слез, до рыданий хохотал, показывая на меня пальцем. И Коля-азербайджанец не отставал от него. Они даже пытались что-то сказать насчет меня и не могли сказать, уморенные смехом.

Я завез тому и другому затрещину и отправился к Капе в электрокабинет, затем к массажистке, затем...

Как только попал я в палату выздоравливающих, дела мои пошли на поправку. Рука стала оживать, и я принялся тренировать ее. Мало того, что я донимал массажистку и заставлял ее выделывать с рукой разные штуковины, я и сам все время тревожил немые пальцы, шевелил их, заламывал и уже мог, правда еще с трудом, держать цигарку. И еще, каждую минуту, каждый час, словом, все время ждал Лиду. Она дежурила через сутки, и эти сутки я раскладывал по частям. Мне казалось, что так легче ждать. Я говорил себе: «вот осталось уже полсуток», «вот десять часов», «вот четыре часа», «вот час».

Когда оставался один час, я выходил в раздевалку и околачивался там.

Парадная дверь была широкая, со стеклами, и я замечал Лиду еще во дворе. Она чаще всего являлась со старым портфелем, у которого оторвался один железный уголок. Лида училась в медицинском институте и в госпиталь на работу приходила прямо с занятий.

На Лиде было узенькое в талии пальтишко, а вокруг шеи лежала рыженькая лиса с обхлестанным хвостом. И еще на ней был беретик, освеженный акрихином. Ей очень шло желтое.

Ей все шло. Девчонки, работавшие в госпитале, да и все мы считали, что Лада шикарно одевается и имеет дополна всякой одежды. И как я удивился, когда узнал впоследствии, что у нее было всего лишь два платьишка да кофточка, та самая, со шнурочком.

Полюбовавшись Лидой издали, я задавал стрекача по коридору. Потом точно рассчитывал время, потребное на то, чтобы раздеться человеку, и не спеша, вразвалку, с видом необремененного никакими заботами парня шел насвистывая. На повороте я «неожиданно» сталкивался с Лидой и удивленно приветствовал ее:

– О-о Лида! Мое почтенье! Как ваше ничего поживает?

– Здравствуй, Миша! Ничего мое поживает ничего, – и улыбалась усталой и доброй улыбкой.

Один передний зуб у нее чуть сломлен наискось, и меня он особенно умилял. Но я не показывал виду, что меня умиляет зуб, и безразличным тоном говорил:

– Заходи в гости, когда захочется.

– Хорошо, зайду, если будет время.

Но времени у нее часто не оказывалось, и тогда я ждал ее еще сутки.

Лишь иногда после вечернего обхода и после окончания процедур у Лиды выдавался свободный час-другой, и она приходила за печку слушать сказки. Я никогда не умел рассказывать сказки. А тут приохотился и, видно, рассказывал подходяще, потому что Лида и солдаты слушали их с большим вниманием.

Вскоре все сказки, какие я знал, кончились, и я стал их придумывать. Наверное, это были чудные сказки, потому что я собирал в кучу и прочитанное из книг, и виденное в кино, и разные были и небылицы. Но за то, что эти сказки имели в общем-то схожее содержание, можно ручаться.

Подобных историй, оторванных, как принято сейчас выражаться, от действительности, я наслышался в детдоме от бывших беспризорников. Но я их переделывал на свой лад: Вместо душегуба-блатяги у меня преимущественно действовал благородный воин-храбрец, а вместо купеческой дочери – фронтовая сестра, называемая то принцессой, то царицей. Оба они были красавцы, и оба из сражений выходили целы и невредимы, а дальше шло, как во всякой доброй сказке: женились, оправляли свадьбу. Я там был, мед лил и так далее.

Чудные это были сказки! И Лида, очевидно, догадывалась, что я выдумываю их, но она не прерывала меня и хорошо слушала. Она ведь знала, что я стараюсь для нее и что солдаты, которые слушают вместе с нею мои сказки и хвалят меня за них, вовсе тут ни при чем.

В госпитале возбуждение, суета и сумятица – идет подготовка к Новому году. Должны приехать наши шефы со швейной фабрики и студенческий ансамбль медицинского института – давать концерт. Студентов мобилизовали Агния Васильевна, читающая какой-то предмет на каком-то курсе института, и ее любимая студентка и помощница Лида. А швейников завербовал Шестопалов, давно проникший в сердца разлученных с мужьями модисток, шьющих, чинящих белье нашему и: другим госпиталям.

Праздник разбит на два этапа: сперва студенты концерт дадут, а назавтра швейники прибудут и чего-то принесут – намекал Шестопалов.

В коридоре стук, бряк, волнение. Больше всех суетится культурница Ира, и голос ее слышен везде и всюду:

– Молоток? Кто взял молоток? Вы же порвете панно! Панно, говорю, порвете! Не знаете, что это такое? Нет, товарищи, это невозможно! Я н-не выдержу, н-не выдержу! Я сама попаду в палату контуженых!..

Рояль в коридор выкатили. Все кому не лень бренчат на нем. Ирочка отгоняет от инструмента ранбольных и раскудлаченная, потная летает по коридору, вроде бы не касаясь пола, всюду и везде дает указания и уверяет руководство и себя, что она-таки не выдержит, таки угодит к психам.

Между прочим, тот самый псих, что рассказывал про богиню Коринфскую и про то, как целуются носами (умора, ей-богу!), смущенно, дергая себя за бородку, предупредил Ирочку насчет палаты контуженых: вы, мол, знаете, как на них музыка дурно влияет.

– Знаю, знаю! – оборвала его Ирочка. – Сейчас, между прочим, у всех нервы! И у меня нервы! Распустились, понимаешь!..

Старичок сконфузился, теребнул еще раз себя за бородку и тихо удалился в девятую палату.

И вот наступил долгожданный день! Лежачих вынесли на носилках, навыкатывали на тележках, и пошла музыка.

Один парень из медицинского института жарил на барабане, другой дул в трубу, третий – в саксофон, а длинноволосый студент в латаных штанах юлил смычком по скрипке. Девчата пели всякие песни про любовь и про войну.

Студенты не только играли и пели, они еще и сценки потешные разыгрывали. Одна сценка уж больно смешная получилась. Из санпропускника явился на костылях одетый в драный немецкий мундир и в дырявую каску «фриц» с нарисованными углем усами. Студент в латаной на рукавах вельветке, но при галстуке, который вел концерт и называл себя в нос «конфэрансьэ», глянув на «фрица», пожал плечами и спросил у всех нас:

– А это, простите, что за фигура? – И повернулся к «фрицу»: Мы, любезный, кажется, вас сюда не звали?

Хохот прокатился по коридору и разом замер – все предвкушали, какая потеха дальше пойдет, если уж сейчас смех удержать невозможно.

– С под Сталинграда пробираюсь! – жалостно заныл «фриц». Щоб об любимого фюрера эти костыли обломать!..

Ну, тут уж все грохнули так, что в лампах свет подпрыгнул, и заговорили:

– Во дает!

– А нога-то, нога-то?! Крива!

– Дойдешь ли до Берлина-то?

– Вы поглядите, как он поумнел после Сталинграда! – усмехнулся конферансье.

– Умнель! Умнель! – согласился «фриц» и чего-то еще хотел оказать, но все представление чуть было не испортил старшина Гусаков. Он последнее время возжается с Шестопаловым, и вот, видать, они опорожнили на двоих грелочку с микстурой, и оттого перепутал старшина искусство с жизнью и загремел, приподнявшись на тележке:

– Поумнел?! Об чем ты раньше думал, живоглот? Где твоя башка была? Объясни народу!..

– Говори, стерьва, не то мы тебе!.. – поддержал старшину Шестопалов, и другие ранбольные тоже грозно загоношились.

Едва угомонили публику. «Фрицу» даже каску пришлось снимать и доказывать, что он самый настоящий русский парень из медицинского института и никакой не враг, а шеф и что все это было лишь искусство, направленное против фашизма. Однако номер с «фрицем» дальше продолжать студенты не решились, хотя там еще были сатирические куплеты и танцы на костылях, завершающиеся пинком «фрицу» под зад. Во всех других местах этот номер имел потрясающий успех, а здесь не прошел, здесь ведь не простой госпиталь, а нервно-патологический, о чем забыли медики и руководство забыло.

И, надо сказать, напрасно забыло оно об этом!

В коридоре был полумрак, потому что горело возле артистов всего несколько привезенных ими же свечей да несколько лампешек на стенах. В дальнем конце коридора, занавешенная красным одеялом, виднелась дверь девятой палаты. За нею шла жизнь, а какая – никто пока не знал.

Концерт после небольшой заминки продолжался и вошел в свое русло. Ребята уже исполнили один номер, другой. Уже спела белокурая девушка неугасимый в то время «Огонек», а Лида все не появлялась. «Неужели не придет?» – расстроенно думал я.

Никакой договоренности насчет концерта у нас не было, но я все же захватил для нее место и упорно оборонял его от наседающей солдатни. На моем же ряду сидел тот офицер с усиками и тоже нетнет да и озирался по сторонам. Я не озирался, но все равно почувствовал, когда появилась Лида. Офицер сразу вскочил и предложил ей свое место. А я только метнул взгляд в их сторону и отвернулся.

– Сидите, сидите, – тихо сказала Ляда офицеру и уважительно, как бы оправдываясь, добавила: – Чего же вам стоять, когда есть свободное место.

Она, очевидно, по моему взгляду или еще по чему догадалась, что, если не сядет рядом со мной, я уйду и чего-нибудь натворю: окно разобью, лампу, а может, и зареву. И она села рядом со мной и сразу уставилась на оркестр с полным вниманием.

Я тоже напряженно слушал оркестр и, не отрываясь, смотрел на него.

Народ захлопал, зашевелился, и я тоже с запозданием начал хлопать. Кто-то втиснулся еще на наш ряд, и меня прижали к Лиде. Я испуганно отодвигался, теснил и наваливался на моего бывшего соседа в операционной палате, а теперь вот и по скамейке соседа. Везет мне!

– Шо я тоби, забор? А? Дэрэвьяный, га? – не выдержал он.

– Оловянный! – рыкнул я.

«Дэрэвьяный» удивленно уставился на меня, моргнул раз-другой и не стал больше ничего говорить.

В это время конферансье, рассказывавший ехидные штуки про Гитлера и его клику, объявил в нос, как настоящий столичный конферансье:

– Л-любимая песня фронтовиков – «Дочурка»! К роялю подошла, улыбающаяся девушка, поклонилась нам и запела:

Злится вьюга всю ночь, не смолкая,

Замело все дороги-пути.

Ты в кроватке лежишь, дорогая,

Нежно Мишку прижавши к груди...

Пела девушка о маленькой дочурке, которую в полуночный час, в час короткого роздыха между боями вспоминал в окопе отец. И то, что от имени отца-фронтовика пела об этом девушка, женщина, почему-то особенно тревожило и скребло сердце.

Одеяло на двери девятой палаты шевельнулось, и из-под него возник Иван, тот самый, что просил меня прекратить «м-музыку». Иван прислонялся спиной у дверному косяку и стал слушать. Я с тревогой следил за ним и почувствовал, как обеспокоенно шевельнулась и напряглась оцепенело Лида. Рот Ивана начал подрагивать и кривиться. Казалось, какая-то жилка на его лице сделалась короче и оттягивала губы вбок. Иван с таким усилием выпрямлял губы, что пальцы его сжимались в беспокойные костлявые кулаки. Блик от свечи падал на лицо Ивана, и я увидел, каяк по степенно разгораются и дичают его тоскливые глаза.

Это же заметили и санитарки, которым ведено было бдить и, в случае чего, принимать решительные меры. Они белыми тенями возникли подле контуженого и принялись осторожно и молча оттирать его от косяка в палату. Иван тоже молча и настойчиво отбивался от санитарок. Он смотрел в одну точку – на свечу, рот его подергивался, будто он судорожно сглатывал музыку.

И вдруг Иван издал клокочущий, гортанный вопль:

– H-н-e ца-ца-пай-те! – И тут же высоко, как резинового, подбросила его страшенная сила, и он упал, сраженный припадком, ножницами раскинув ноги.

Музыка оборвалась. И теперь особенно явственно слышалось, как часто и тупо стучит затылок контуженого о деревянные половицы. На крики Ивана выскочили из палаты еще несколько контуженых, и началось...

Свечи погасли. Коридор провалился в темноту. Раненые бросились бежать. Крик, стон, вой...

– А-а-а-а-а!

– Бомбят, что ли?!

– Уби-и-или-и-и-и! Ой, убили-и-и-и!

– Товарищи, товарищи!

– Больные, спокойно! Голубчики, спокойно! – взывала во тьме Агния Васильевна. Но ее никто не слышал и не слушал.

Няни старались поскорее растолкать по палатам тележки, унести носилки.

– Кончай панику, в господа бога! – перекрывая весь грохот, заорал старшина Гусаков и тут же опрокинулся с тележки, громко рухнув на пол, хрустнули на нем гипсы, голос оборвался.

Видимо, опыт разведчика подсказал мне, как надо действовать в этой обстановке. Я схватил Лиду, прижал к стене, загородил собой и кричал ей:

– Стой! Изувечат; Стой, говорю! Она порывалась бежать.

– Да стой же ты!..

Кто-то ударил меня, а потом рванул за раненую руку так, что в глазах закружился огонь. Я охнул. Оседать начал.

– Миша, что с тобой?! – подхватила меня Лида и в ужасе истерически крикнула: – Свет! Зажгите свет! Ой, да что же это такое?

Появился свет. Санитарки и солдаты из выздоравливающих навалились на Ивана, связали его полотенцем. Контуженый все еще вздрагивал на руках санитарок и со всхлипами брызгал слюной и пеной. Гладя по мосластым спинам и по стриженым головам других контуженых, наговаривая им что-то умиротворяющее, байкающее, санитарки повели их в девятую палату. Туда же пробежала дежурная сестра со шприцем наготове и со стаканом воды, Двоих солдат и старшину Русакова, валявшихся на полу, тут же унесли на перевязку. Несколько человек, люто ругаясь и охая, пошли в перевязочную сами.

А я, когда близко мелькнула лампа, увидел кровь на щеке Лиды и рванулся к ней:

– Кровь?!

– Какая кровь? – изумилась Лида и вдруг схватила меня за руку. – Это твоя! Это твоя... Я слышала, как потекло по щеке. – И сильно потащила меня: – Скорей на перевязку, скорей...

Мы очутились в перевязочной. Там толпился бледный народ. Кто похохатывал, кто требовал скорее остановить кровь, некоторые все еще рыдали, ругались, а иные лишь слабо стонали. Русакова оживили нашатырным спиртом.

– Все это сикуха-культурница! Предупреждали же ее контуженные об музыке, предупреждали! – ругался старшина и голос его успокаивающе действовал на раненых, на меня в особенности.

Я потихоньку выбрался из перевязочной и пошел искать Рюрика. Он оказался цел и невредим, помогал сестрам. Помогали и студенты-медики, Коля-азербайджанец, парень, который изображал фрица, даже усики не успел стереть. Я тоже стал помогать. Но тут послышалось:

«Миша-а! Мишка! Вы не видели Мишу?» – Я еще и подумать не успел, что это обо мне, – мало ли Мишек на свете, как налетела не меня петухом Лида:

– Герой какой нашелся! Без перевязки ушел...

– Не шуми ты, Лидка, ничего мне не сделается.

– Да, не сделается, – сказала она, и губа у нее задрыгала. Вон кровь-то лье-oт! Иди, говорю, на перевязку, несчастный, а то я тебе не знаю что сделаю!

И я пошел на перевязку.

Ирочку с работы выгнали. Раненых привели в порядок. Все прибрали, наладили. Вот только шефы наши пострадали – остались без инструментов. В суматохе погнули трубу, на барабан кто-то наступил или упал и покорежил его. Студенты, по слухам, прирабатывали на хлеб музыкой этой. Остались без приработка жаль. Неловко получилось. Нехорошо. Я всегда презрительно относился к этой Ирочке. Оказывается, не зря.

Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. После этой «битвы» отношения между мной и Лидой сделались такими, что мы вовсе перестали избегать друг друга и таиться.

Если по какой-либо причине я не выходил ее встречать, она сама появлялась в нашей палате хоть на минутку. Солдаты к этому уже привыкли и даже насмехаться надо мной перестали. Мало того, нас всячески оберегали, и до меня дошел слух, что всем надоевший грубиян и выпивоха старшина Гусаков отчитал офицера с усиками за то, что он сказал какую-то поганость о нас с Лидой и в заключение даже будто бы кулачище под усики младшему лейтенанту поднес. Ну, это уж придумали, пожалуй. У нас тут присочинить есть такие мастера, что закачаешься.

Конечно, если бы услышал какую гадость я сам, то просто дал бы плюху младшему лейтенанту и все. А за это меня выдворили бы из госпиталя, а может быть, в штрафную роту отослали бы. Бить офицера солдату не полагается даже в госпитале.

Катится время, бежит. Весна скоро. Шестопалова, старшего сержанта, моего соседа – «дэрэвьяного», Колю-азербайджанца и еще много кого уже выписали из госпиталя и направили на пересыльный пункт.

Рюрика тоже комиссовали домой – у него на легком не зарастает дырка. Он получил новое обмундирование и ждал какую-то окончательную бумагу. Завтра я провожу его на поезд. Мне разрешили. А сегодня он меня спросил:

– Ты хоть знаешь, где живет Лидка-то?

– На улице Пушкина, дом с поломанным крыльцом и с флюгером на крыше.

– Ну, раз с флюгером, значит, найдешь, – заключил Рюрик и бросил на мою подушку сверток с обмундированием.

Я прикрутил к гимнастерке свои награды, стараясь попадать в просверленные Рюриком дырки, надел тесные сапоги и предстал перед народом весь окованный, стесненный новым обмундированием.

– Ну как, ничего, братцы?

– Какой там ничего?! Гвардеец! Чистых кровей гвардеец!

– Нет, правда, братцы?

– Не верит! Да сегодня девки по Краснодару снопами валяться будут!

– Слухай, тэбе до артыстки трэба!

– На хрена сдалась ему артистка! Какой прок от нее! Он любую буфетчицу в таком параде зафалует!..

– Да ну вас! – совсем уж обалдевший от конфуза и счастья, махнул я рукой и подался из палаты. А вслед неслось:

– Ты там про природу долго не разговаривай! Небо, мол, видишь? Землю, мол, видишь? Ну и все...

– Выпей для храбрости!..

Эти научат! Опытный сплошь народ, особенно на языке.

А все же кой-чему и обучили... Пользуясь советами «опытных» бойцов, я благополучно миновал все госпитальные заслоны, а также вахтера с будкой и направился на улицу Пушкина, которой вскорости и достиг. Также без особенных помех и затруднений нашел дом с флюгером – и тут чего куда девалось: оробел, топтался возле поломанного крыльца. А потом сел, потому что ноги, отвыкшие от обуви, жало невыносимо.

Я долго сидел на крыльце, слушал, как скрипит ржавый флюгер на крыше и сыплются крошки льда с ветвей, и до того досидел, что замерз, и сунул руки в рукава стеганого бушлата. Из дому вышла женщина с кошелкой в руке, глянула на меня большими, все еще яркими глазами, и я понял, что это мать Лиды.

– Вы чего-то потеряли молодой человек?

– Червонец!

– Где потеряли-то?

– Там, – кивнул я подбородком за ворота, потому что руки не хотелось вытаскивать из рукавов; мне все как-то сделалось нипочем.

– А ищете червонец здесь оттого, что светлее? Я этот анекдот знаю.

Разговор иссяк, все смешное кончилось. Надо было уходить «домой» в тепло, а я как прирос к этому крыльцу с проломленной ступенькой.

– И долго вы намерены сидеть здесь, молодой человек?

– Не знаю, – ответил я, впадая в уныние. – Еще посижу маленько, и тогда ясно станет.

– Что ясно-то?

– Все станет ясно.

– Э-э, дорогой солдатик, да ты вовсе закоченел! – нахмурилась женщина. – А ну марш в дом! Лидия спит. Разбуди ее. Я скоро вернусь из магазина. – И она ушла.

Дверь в сенцы осталась открытой. Я тщательно вытер сапоги, вежливо постучал в дверь и тихо вошел в дом. Снял бушлат, повесил. Звякнули медали. Я придержал их рукой и огляделся. Старый диван с зеркалом, бархатная с проплешинами накидка на туалетном столике, шифоньерчик с точеными ножками, картина, писанная маслом, в потускневшей раме. На картине арбуз и две груши – скудновато для такой рамы.

Отец Лиды был, видимо, начальником, и они жили в довоенное время хорошо. Но куда делся отец, Лида не рассказывала, а спрашивать было неловко. Из города они не успели выехать и во время оккупации проели с матерью все вещи, какие только можно было проесть. Проели и половину дома – это уже после оккупации. И зуб Лида поломала при немцах. Во время обстрела забилась она под стол, и не то со страха, не то еще от чего щелкала семечки, и под разрывами не заметила, как вместе с семечками попала в рот галька. Словом, понесла урон от войны.

Ох, и дуреха же! Право, дуреха! Спит и не знает, что я пришел при всех регалиях и в обмундировании. Она привыкла видеть меня в одеяльной юбке или в байковом халате, протертом на локтях. Не узнает небось.

Я придвинулся к дивану и опасливо глянул в зеркало. Ничего парень. Лицо, правда, осколком повредило, но это ничего, это за свидетельство геройства сойдет. Какое-то выражение на лице у меня незнакомое, осветилось вроде бы чем-то лицо. Недаром как-то в перевязочной, куда я пришел после ванны на перевязку, Агния Васильевна, эта до жуткости строгая Агния, сняв пенсне и близоруко щурясь, будто на бог весть какого «прынца» поглядела на меня и закудахтала так, будто золотое яичко снесла:

– Лидочка! Лидочка! Ты посмотри, какой у нас Миша-то стал!

Тогда я страшно смутился и удрал из перевязочной. Но я все-таки знал, что стал красивей и лучше. И мне было хорошо оттого, что я стал лучше, и на душе у меня праздник. А в праздник люди всегда выглядят красивыми.

Я пригладил заметно отросший, чуть волнистый чуб и кашлянул. Никакого ответа. Тогда я осторожно отодвинул занавеску на двери, ведущей в другую комнату, и увидел Лиду.

Она спала.

Я поставил стул и сел подле кровати. Сидел, смотрел, как ровно и глубоко дышит Лида, как легко пошевеливается одеяло на ее груди и как бесшабашно раскинулись ее волосы по пухлой подушке. Я привык видеть Лиду в белой косынке и не знал, что у нее такие пенистые волосы. Что-то истаивало у меня в груди. Я не удержался и дотронулся до волос Лиды. Они были действительно мягкие, невесомые, как пена. Лида шевельнулась и открыла глаза. Секунду она ошеломленно смотрела на меня, затем поддернула одеяло до подбородка.

– Ой, Миша! – Она какое-то время таращила на меня глаза, потом, как слепая, дотронулась до меня, провела рукой по волосам, по лицу, побрякала медалями, икнула и засмеялась: – Ой, и правда Миша!

Лида схватила меня за чуб и принялась теребить его так, будто это не мой чуб, а грива лошадиная. Она терзала мой чуб, а я терпел и улыбался. Она пригнула мою голову к себе, притиснула к груди и заливалась все громче и громче:

– Мишка! Пришел! Сам! Один! Нашел!.. – И все икала и смеялась. Вот уж воистину, как у ребенка: то икота, то хохота! Ой, Мишка, и ты сидел возле меня? Я никогда-никогда этого не забуду, Миша! – Она укусила губу, отвернулась и опять икнула. По щеке ее покатилась слеза, круглая-круглая, и беспомощная-беспомощная такая Лида была.

– Ты что? Ты что это?

– Ты знаешь, Миша, такая жизнь кругом: раны, кровь, смерти и вот такое... Даже не верится. Все еще кажется, что я сплю, и просыпаться не хочется. – Икота, слава богу, пропала, но смех тоже пропал. А как хорошо смеялась Лида, и зуб поломанный во рту ее мелькал веселой дыркой.

– Ты какая-то сегодня...

– Какая? – спросила она и по-ребячьи, локтем утерла лицо.

– Нервная, что ли?

– Ну уж и сказанул, – улыбнулась она сквозь слезы, которые дрожали на ресницах. – Мне ведь одеться надо, Миша. Отвернись.

Оба мы тут же смутились и стали глядеть в разные стороны. Но глаза наши сами собой встретились.

В упор глядели мы один на другого. Глядели напряженно, не отрываясь, будто играли в «кто кого переглядит». Лида первая опустила глаза и жалобно попросила:

– Отвернись, Миша.

Я стиснул ее руку до хруста.

– Отвернись, родненький, – еще тише повторила она, отвернись, лапушка... – Голос ее слабел, угасал. – Мама!.. – пропищала она.

Я с трудом выпустил ее руку и, переламывая в себе что-то такое смутное, захлестывающее даже рассудок, отодвинулся, а потом шагнул за занавеску и сел на диван. Медленно унималась дрожь, мне становилось все стыдней и стыдней, а Лида снова принялась икать.

– Господи, да что же это за напасть?! Ты, Миша, удрал без разрешения? – голосом, в котором была виноватость, спросила из-за занавески Лида и опять икнула.

– Да! – сердито отозвался я.

– Молодчик! – совсем уже виновато похвалила она меня и появилась в халатике, смущенная и робкая. Мимоходом, несмело погладила она меня по щеке, направляясь к умывальнику, стоявшему в этой же комнате.

А я как подскочил сзади, как цапнул ее под мышки да как зарычал лютым зверем – она аж шарахнулась, таз опрокинула:

– Ты Чего? Ты чего? Рехнулся?!

– Ничего. Умывайся знай.

Она принялась чистить зубы углем, а я взял альбом в бархатных корочках с этажерки и начал листать его. На первой странице обнаружился жизнерадостный ребенок.

Он в совершенно голом виде лежал на подушке и пялил глаза на свет белый.

– Надо же! Икота-то кончилась! – удивленно сказала Лида, утираясь полотенцем.

– Хэ! – сказал я. – Икота! Я и похлеще чего изгнать могу! Наваждение! Беса! Родимец! Даже наговоры... приворотные средства. Это неуж ты? – ткнул я пальцем в жизнерадостного ребенка.

Лида выхватила у меня альбом, треснула им меня по лбу.

– У-у, бессовестный какой! На вот! – Сунула мне подшивку журналов «Всемирный следопыт», а сама ускользнула под занавеску.

Я листал подшивку, стянутую веревочкой, смотрел картинки, а за занавеской слышался шорох одежды, и Лида развлекала меня оттуда разговорами:

– А где ты амуницию взял? Так она тебе идет!

– Рюрик дал. Его комиссовали.

– Молодчик.

– Кто молодчик-то?

– Ты, конечно! Вон от икоты меня излечил. А нашел-то как?

– Нюхом!

– Ну и нюх у тебя! Звериный прямо!

– Говорю тебе, таежный человек я.

– С тобой опасно!

– Еще как!

Лида явилась в синеньком платье с белой кокеткой, в навощенных туфлях, причесанная как-то так, что волосы вроде бы сами собой на плечи скатываются, но в то же время и прибраны, не кудлаты.

– Вот и я нарядилась! – перехватив мой взгляд, сказала она, скованная и чего-то стесняющаяся. – Не одному тебе форсить! – И, чудно закинув подол, подсела на диван, ощипалась, натягивая платье на колени. – Малое все сделалось...

Я листал журнальчики и помалкивал да поглядывал на нее украдкой.

– Что-то мама задержалась, – сказала Лида таким тоном, будто обманула меня в чем, и, не дождавшись ответа, с натянутым смехом прибавила: – В очереди застряла. Стареет. Любит поболтать. А раньше терпеть не могла очередей и болтовни.

Я листал «Всемирный следопыт». Лида отняла у меня подшивку.

– Ну, что будем делать, Миша-Михей?

– Почем я знаю?

– Почем-почем! Бука! – ткнула она меня в бок пальцем.

Я подпрыгнул, потому что щекотки боюсь.

– Мы будем гулять с тобой по Краснодару. Вот придет мама, пообедаем и отправимся. А то забудешь наш город. Уедешь и забудешь.

– Не забуду!

– Как знать?

– Не забуду! – упрямился я.

– И до чего же ты сердитый, Мишка-Михей!

– У нас вся родова такая. Медвежатники мы.

– Какие медвежатники? Медведей ловили, что ли?

– Ага. За лапу. Дед мой запросто с ними управлялся: придет в лес, вынет медведя за лапу из берлоги и говорит: «А ну, пойдем, миленький! Пойдем в полицию!» И медведь орёт, как пьяный мужик, но следует.

Лида внимательно слушала меня и вроде бы даже верила.

– Ну и балда же ты, Лидка! А еще в институте учишься!

– Сам ты балда!

Лида хлопнула меня по руке. Я ее. И пошла игра: кто чью руку чаще прихлопнет. Лида, медицинская сестра, ничего не скажешь, ловкая девка! Однако же и я не в назьме найден – в тайге вырос, с девяти лет ружьем владею, потом детдомовскую школу прошел может, самую высшую по психологии и ловкости школу.

Лида лупит меня по руке, а я ее заманиваю, а я ее заманиваю. И как только она увлеклась, тут я и завез ей изо всей силушки!

Лида завопила – и руку в рот, а на глазах слезы навернулись от боли. Девушка все же, нежное существо, а я... Виновато погладил я ее руку, стал на пальцы дуть. А пальчишки, господи твоя воля, аж светятся насквозь и ногти розовенькие. Вот если бы не детдомовец я был, то и поцеловал бы пальчики эти, каждый по отдельности, но не могу я этого сделать, стыдно как-то.

Однако же и оттого уж только, что я подул на ушибленную руку, легче сделалось Лиде, и она принялась колотить меня кулачишком:

– Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе!

– Карау-у-у-ул! Наших бьют! – заорал я и подвернул Лидку, придавил к дивану, и мы начали дурачиться и бороться. И до чего бы мы доборолись – неизвестно, да в сенках послышались шаги Лидиной матери. Мы отпрянули друг от друга и стали торопливо приводить себя в порядок.

– Мама, а Мишка обманывает меня и балуется, – капризно пожаловалась Лида и надула губы.

– Это ж основная обязанность мужчин, доченька, – обманывать и баловаться, – ответила мать, выкладывая из кошелки черную горбушку хлеба. И по ее глазам и тону я понял, что эта женщина очень много пережила и много знает. Мать тут же окинула меня пристальным и умным взглядом.

– Так это и есть тот самый герой, который грудью защитил мое чадо?..

Она сняла шубу и стала цеплять ее на вешалку. Гвоздь у вешалки давно уже расшатался и вылазил из дырки. Шуба была тяжелая, и гвоздь не удержал ее – выпал. Шуба, слабо охнув, тоже упала. Я взял чугунный утюг с плиты, выпрямил гвоздь и забил его не в старую дырку, а в целую доску, пошатал, пристроил вешалку, водворил на место шубу.

– Вот что значит мужчина в доме! – оказала мать не то в шутку, не то всерьез и чуть заметно усмехнулась, глядя на меня, и я стушевался. А Лида уже наливала в рукомойник воды и совала мне плоский обмылок, будто я невесть какую работу выполнил.

Руки я все же помыл.

– Чем же мы будем потчевать гостя? – не то опросила, не то подумала вслух мать, и Лида жалостно отозвалась, глядя при этом с затаенной надеждой на нее:

– Придумаем что-нибудь.

– Да вы не хлопочите. Какой я гость? И сыт я. Нас хорошо кормят – на убой. Вот Лида знает.

– Мало ли как вас там кормят, и мало ли чего Лида знает, – заявила мать и подала Лиде жестяной бидончик. – Мигом слетай на рынок за молоком. Мы сварим мамалыгу. Вы когда-нибудь ели мамалыгу? – обратилась она ко мне.

– А что это такое?

– Ну вот, вы даже не знаете, что такое мамалыга, – усмешливо проговорила она и, когда Лида выпорхнула за дверь, думая о чем-то совсем другом, пояснила: – Мамалыга – это почти каша, только из кукурузы. Понятно?

– Понятно.

Мать прошлась по комнате, без надобности поправила занавеску и остановилась против меня. Я почувствовал – она хочет что-то сказать, и сказать неприятное для меня. Я отвел глаза в сторону и насторожился. И вдруг мать дотронулась до моих волос, погладила их почти так же, как Лида, и спросила:

– Вам сколько лет, Миша?

– Девятнадцать.

– Хороший возраст, – вздохнула мать и принялась растапливать печку тремя дощечками от тарных ящиков, бумагой какой-то и мазутным тряпьем. – Хороший возраст, – повторила она. – Вам бы сейчас по клубам, по вечеркам, петь, танцевать...

– У нас танцевать не умеют, у нас пляшут, – мрачно прервал я ее и отстранил от печки, потому что не растапливалась она, а только дымила.

Кое-как раздул я печку. В ней огонек закачался, хилый, чуть живой от такого топлива. Сюда бы охапку наших сибирских швырковых дров!

– Студено у вас, – оказал я.

– Студено, – эхом откликнулась мать. – Слово-то какое точное. Везде сейчас студено: в домах, на улицах, в душах... – Она хрустнула пальцами и наконец тихо опросила:

– Михаил, мне можно поговорить с вами откровенно?

– Почему нельзя? Можно. Я откровенно люблю.

– Вы не сердитесь. Я – мать. И дочь – это единственное, что есть у меня. Муж нас оставил, бросил. Он доктор. Сошелся с какой-то во фронтовом госпитале. И вы понимаете... Словом, Михаил, будьте умницей, поберегите Лиду. Душонка у нее – распашонка. Она уж если... все отдаст. А девушке и отдавать-то – всего ничего.

– Зачем вы так?

– Ах, Михаил, Михаил... – сжала ладонями седые виски Лидина мать. – Не так бы надо сказать. Но раз уж сказалось, так слушайте дальше. Вы уже взрослый, вам уже девятнадцать. Не ко времени это все у вас, Михаил! Еще неделя, ну, месяц, а потом что? Потом-то что? Разлука, слезы, горе!.. Предположим, любви без этого не бывает. Но ведь и горе горю рознь. Допустим, вы сохранитесь. Допустим, вас изувечат еще раз, и несильно изувечат, и вы вернетесь. И что?.. Какое у вас образование?

– Семь.

– А специальность?

– Была специальность... да сплыла.

– Вот видите, вот видите, – подхватила она. – Лидка тоже еще на перепутье. Институт даже не кончила. В общем, Михаил, будьте взрослым. Сделайте так, чтобы ваши отношения не зашли далеко. Понимаете, есть вещи, есть такие вещи... Ну вы меня понимаете...

– Да. Почти что. – Я резко поднялся и стал надевать бушлат. А он, гад, как нарочно, не надевается, раненая рука мешает. Пришлось зубами помогать натягивать.

Диван затенькал пружинами. Мать подошла ко мне и молча отняла бушлат, В уголках ее глаз, у самых морщинок блеснуло.

– Не уходите. Вы сделаете ей больно. А боли и горя – добра этого и так хватает.

Мать неуверенно протянула руку, нежно погладила меня по плечу, и я от этого чуть было не заревел.

– Дети вы мои, дети! – Она уронила руки. – Разговор наш вы можете забыть... Это ведь только слова, слова матери, у которой ум и сердце тоже иной раз не согласуются. Может, я и не права? Может, устала от нужды? Оскудоумела от горя? Все может быть. Простите меня, бога ради...

– Что вы? За что?.. – У меня повело губы. – Я ведь и в самом деле отучился думать о других... За меня начальство думает, старшина харч выдает – и вся недолга. – Я помолчал и добавил: Не переживайте хоть из-за этого. Будет в норме! Так в детдоме у нас говорили, – вымучил я улыбку.

– А у вас?

– У меня? Обо мне не стоит. Я – солдат, а загадывать солдату нельзя, по суеверным соображениям, – пояснил я.

В это время в комнату ворвалась Лида, поставила бидончик на стол, разделась и... Ох, и глазастая девка все-таки!

– Вы что? Что у вас произошло? Мама!

– Да ничего особенного. Печку растопляли, о жизни говорили. Студено, – говорит твой солдат. Сейчас мы его согреем, мамалыгой угостим! Представляешь, он, оказывается, никогда не ел мамалыги.

– Ага! Он медвежатиной всю жизнь питался! – поджала губы Лида.

Мы гуляли по Краснодару, по улице Красной, по Чкаловской и еще по каким-то. У меня не шел из головы разговор с Лидиной матерью. Мне его никогда не забыть. Не так я устроен, чтобы забыввать такое. Что-то повернулось во мне, непонятное содеялось. До этого я воспринимал наши отношения с Лидой как свет, как воздух, как утро, как день. Незаметно, само собой это входило, заняло свое место в душе, жило там и не требовало вроде бы никаких раздумий. Выло и все. А что, зачем, почему – это как будто и ее касалось нас.

Оказывается, ничего в жизни просто так не дается. Даже это, которое еще только-только народилось и которому еще не было названия, уже требовало сил, ответственности, раздумий и мук. И еще мне страшно жало ноги, до того жало, что по самые коленки горели они. Я терпел, и даже шутил, и смеялся, но, видимо, иной раз не совсем ладно смеялся, говорил невпопад, и Лида удивленно опрашивала:

– Ты чего?

Я отделывался шуткой.

Ночь была ясная и звездная. В городе лишь кое-где тускло светились окна, но и они гасли одно за другим. Город, разрушенный в центре, с кое-как прибранными и подметенными улицами, утомленно затихал. Вскоре он и вовсе погрузился в темноту. Ямки возле тротуаров и на тротуарах были наспех засыпаны обломками кирпичей, мусором. В этом городе много деревьев, кое-где они почти смыкали вершины, и это маскировало раны и разрушения, сделанные войной.

Я держал Лиду под руку и говорил:

– Осторожно, воронка!

– Осторожно, воронка! – предупреждала она. Забивая душевную смуту, эту, насквозь меня пронзившую после разговора с Лидиной матерью, горесть, даже не горесть, а недомогание какое-то, боль, еще неизведанную мной, точнее, не похожую на те боли, которые я изведал от ран, ушибов и тому подобных пустяков. Я вспоминал, мучительно вспоминал название этому и вспомнил – страдание! Такое старомодное, так часто встречающееся в книжках и в кино слово, а я его забыл, вернее сказать, и не знал вовсе.

А тут еще сапоги эти проклятые! Хоть ложись на землю или разувайся и шествуй босиком по Краснодару. Но я ж героический воин, я ж гвардеец, я ж медвежатник, и что мне все эти самые страдания? Я весело и беспечно травил про войну:

– И вот кричат фрицы нам: «Еван! А Еван! Переходи к нам! У нас шестьсот грамм хлеба дают!» – «А пошел ты!» – отвечают ему наши. Ну, ты знаешь, куда пошел?..

– Смутно догадываюсь, – роняет Лида. – Я все-таки с военным народом на работе дело имею.

– Кхы! – поперхнулся я и продолжал: – «А пошел ты, фриц, туда-то и туда-то! У нас кило хлеба дают и то не хватает!» – Тут я как захохотал и вдруг обнаружил, что Лида-то не смеется. Она остановилась против меня, смотрит и ждет, когда кончится мое веселье. – Миша, вы о чем с мамой говорили?

М-да, эта девица-сестрица не такая уж простофиля, не такая уж девчушечка с поломатым зубом! Надо ухо востро держать!

– Да так, обо всем. Про мамалыгу больше. Выяснилось, между прочим, что она все равно как наша сибирская драчена, только та из картошек, а эта из кукурузы.

– Объяснил вполне популярно. Дуй дальше. Только не про войну. Войной я сыта вот так! – чиркнула Лида себя ребром ладони по горлу.

– Так ведь кто про чё. – Я вовремя застопорил, чугь не брякнув: «А вшивый про баню».

– Тогда стихи читай, как положено на свидании! – потребовала Ляда.

– Стихи? Да я их не помню. Вот разве что: «У лукоморья дуб срубили...»

– Не трудись. Весь госпиталыный фольклор тоже изучила!

– Ну «Однажды, в студеную зимнюю пору»?

– Вот за этим углом груда кирпичей лежит – разбитая школа. В четвертом классе оной школы я, как сейчас помню, отхватила «отлично» за декламацию этого популярного стишка.

– Н-ну, дорогая сестрица, я уж и не знаю, чем вас развлекать?

– Расскажи, о чем вы говорили с мамой?

– А-а! – хлопнул я себя по лбу: – Помню! Один стих помню! И какой стих! В нашем взводе стишок этот очкарик один читал. Его баба, извиняюсь, жена спокинула, вот он, по причине разбитого сердца...

– Валяй по причине разбитого сердца.

Я остановился, задрал морду в небо и с завыванием начал:

Я не любил, как вы, ничтожно и бесстрастно,

На время краткое, без траты чувств и сил.

Я пламенно любил, глубоко и несчастно.

Безумно я любил...

Гляди-ка ты: стишок, вычитанный мной в старой, растрепанной книге, звучит сегодня как-то совсем по-иному, смешным вовсе не кажется – от него незащищенность какая-то происходит! От него даже чего-то внутри зашевелилось и сердце давит. Ну, это, может, и по причине тесных сапог? От тесной обуви, говорят, даже порок сердца случается.

– Ну, чего же ты? – Лида упрятала лицо по самый нос в рыженький мех – и не понять: смеется она или на полном серьезе меня слушает.

– Да я дальше не помню. Конец только.

– Р-руби конец.

Я звал забвение. Покорный воле рока,

Бродил с поверженной, мятущейся душой,

Но, всюду и везде преследуя жестоко,

Она была со мной...

Тут я опять сбился, запамятовал стих дальше, начал терзать свою хилую память, натужно шевелить мозгами:

– Та-та-та-та... та-та-та... Есть! – обрадовался я.

И вот я слабый раб порока...

– Та-та-та... та-та... Ага, поймал!

Искал всесильного забвения в вине,

Но и в винных парах являлся образ милой

И улыбался мне...

– Дальше опять не помню, делаю перескок.

И в редкие часы, когда, людей прощая,

Я снова их люблю, им отдаю себя,

Она является и шепчет, повторяя:

«Я не люблю тебя...»

Мы оба долго не шевелились и молчали. Какое-то жалостное чувство подтачивало меня. Тянул самолет вверху. Над нами пощелкивали обмерзлые ветки. В темных улицах верещали свистки патрулей и подозрительно разбегались по подворотням подозрительные людишки, а мы стояли и молчали.

– Ну, как? – прокашлялся я. – Так себе стишок, правда? Но солдаты переписывали...

Лида ничего не ответила. Зябко ежась, она глухо, в мех лисы выдохнула:

– И в редкие часы, когда людей прощая, я снова их люблю... Голосишко ее задрожал. Она вдруг прижалась ухом к моей молодецкой груди и чуть слышно прошептала: – Ты бы хоть поцеловал меня, медвежатник!..

Я как будто того только и ждал. С торопливым отчаянием обнял Ладу и ткнулся губами во что-то мягкое и не сразу понял, что поцеловал лису.

– Ах, медвежатник ты, медвежатник, – прошептала Лида, – тебе бы только со зверями якшаться.

Я обиделся и пытался выдернуть руку. Но Лида приблизила свое лицо к моему и вытянула губы, как это делают ребятишки, изготовившись к поцелую. Я припал к ним плотно стиснутыми губами и так вот держал, не дыша, до тех пор, пока без дыхания уж стало невозможно.

Я отнял губы, сделал громкий выдох.

Мы снова молчали, отвернувшись друг от друга.

– Гляди, Миша, сколько звезд сегодня! – наконец заговорила Лида, и я поглядел на небо.

Звезд и в самом деле сегодня было очень много. Ближе других ровно светились солидные, спелые звезды, а за ними мерцали, перемигивались, застенчиво прятались одна за другую звезды, звездочки, звездушки. И не было им конца и края, невозможно было их перечесть – эти бессонные, добрые звезды.

– Может, и наша звездочка там есть, Миша?

– Может, и есть, да не про нашу честь!

– У-у, какой ты грубый! – опечалилась Лида. – Я знаю, почему ты так...

Я насторожился и сказал, что ничего она не знает, что это детдомовщина да солдатчина во мне грубая сидит, и нечего тут мудрить!

– Миша, ты так и не скажешь, о чем вы говорили с мамой?

– Так и не скажу!

– Ну что ж! Ты настоящий мужчина и воин! – тряхнула она меня за отворот бушлата. – Характер твой железный, и тайны ты умеешь хранить. А я слабое созданье женского пола. И прошу тебя все-таки загадать со мной вместе звездочку. Во-он ту, рядом с ковшиком которая...

Мы снова поцеловались, теперь уже за звезду, и на этот раз не отвернулись один от другого. И хорошо, так хорошо мне было держать ее меж отворотов бушлата и слышать, как греет мою грудь ее дыханием, и так хотелось ее стиснуть, да уж больно хрупкая, больно уж мягонькая, пуховенькая птичка-канарейка, и прилепилась, понимаешь, дуреха такая, примолкла! А я бы не знаю что сделал для нее и для всего советского народа!..

– Миша, ты когда-нибудь целовался... ну... с девушкой?

– Нет, не целовался. Некогда было.

– И я тоже не целовалась.

Я отстранил ее, в лицо всмотрелся с недоверием. Она тряхнула головой.

– Правда-правда. Тот младший лейтенант Макурин провожал меня два раза, но не целовал. Да я бы и не позволила ему...

– Ты, может, думаешь, – ревную? – фукнул я носом и даже хохотнул. Но смех получился такой, будто у меня подшипники в горле расплавились. И тогда я рассердился: – Была нужда!

– Не смей так говорить со мной. – От обиды голос Лиды дрогнул: Грубиян несчастный!

– Ладно уж, не буду, – подразнил я ее и боднул лбом. Она схватила меня за чуб, и все дело кончилось тем, что мы еще раз поцеловались.

Поздно ночью мы остановились на улице Пушкина, возле дома с флюгером. Флюгера за тополем не было видно. Он только время от времени напоминал о себе железным, ленивым скрипом. И тогда голые ветви тополя начинали чуть слышно пошевеливаться, пощелкивать друг о дружку, и сверху к ногам падали звонкие ледышки. Снега на улицах нет. Лишь кое-где в заулках притаился он линялым зайцем. И холода настоящего нет, но и мокрети, этой вечной кубанской малярийной мокрети, нет сегодня. Какая хорошая ночь! А на душе горько, так горько, ну просто невмоготу.

Я перекатывал сапогом эти, то вспыхивающие, то гаснущие звездочки-ледышки, помалкивал, понимая, что надо уходить, пора уходить, а ноги ровно бы приросли к земле.

По пустынным, гулким улицам города возвращался я в госпиталь и не замечал воронок, малой обуви, а рубил строевым, и, забыв, что говорила мне Лидина мать, отрывал любимую песню нашего полка:

С нашим знаменем,

С нашим знаменем

До конца мы врага разобьем!

За родимые края, края советские

Мы в поход, друзья-товарищи, пойдем!..

И плевать мне было на все на свете. Во мне бурлило столько радости, что я готов был обнять первого же встречного и поцеловать его. Но первыми встречными оказались не те, которых надо целовать.

В одном из особенно темных переулков меня перехватили налетчики – добра этого тогда в Краснодаре водилось, хоть пруд пруди. Они весело приказали:

– Гоп – стоп! Не вертухайся, соловей!

– Вам чего?

– Лопотинку, всего лишь лопотинку, соловей! Кальсоны оставляем, уважая застенчивость.

– Рылы! – с облегчением произнес я, понимая, что имею дело с веселыми мазуриками, каких в детдоме перевидал видимо-невидимо, и сам «на дело» хаживал во младенчестве. – Госпитальник я! Самоволочников из госпиталей никакие мазурики не трогали тогда. Ну уж самые распаскудные если, для которых ничего святого на свете не существовало.

Меня осветили из-под полы фонариком, погасили его, сказав: «Любезно звиняемся!», и попросили закурить. Я отвалил мазурикам всю оставшуюся у меня махру, и они растворились во тьме развалин и густых дерев, а я потопал дальше и снова грянул:

С нашим знаменем!

С нашим знаменем!..

Налетчики подсвистнули в лад моей песне и захохотали:

– Во хватанул вояка микстурки!

Я провожал Рюрика на вокзал. Он шагал рядом, опираясь на тополиный сук, курил без перерыва и почему-то сердито говорил, что все равно будет тренироваться и еще станет играть в футбол, и успевал стрелять глазами в мимо проходивших девок. Бравый народ эти саратовские, послушать Рюрика, так у них там сплошные футболисты и гармонисты. И частушки у них одна чище другой.

– Зачем кочегаришь, когда дырка? – сказал я. А он вместо ответа пробубнил мне:

– Комиссуют если по чистой, приезжай без никаких. Все-таки халупа, отец, мать живые. И город у нас знаешь какой, Саратов-то, о-о-о-о!

– Знаю: «Ты – Саратов, город славный», и так далее...

– Я те дело говорю!

– Ладно, Урюк, видно будет, что и как. Давай обнимемся, что ли.

– Давай, – говорит Рюрик, и пробитая щека его начинает подергиваться. Он притискивает меня к себе и давит концом палки в мой позвоночник. А я держу за удавку вещмешок, и так мы стоим некоторое время, будто собираемся побороть друг друга.

В одном поезде с Рюриком уезжал тот младший лейтенант Макурин. Он в серой, ладно сидящей на нем шинели. Значит, кожан брал напрокат у кого-то, и я зря переживал. И усики лейтенант сбрил. Теперь они ему ни к чему, усики-то. Он на передовую едет, а там завлекать некого. Если есть одна или две девки в части, так они уже давно и не по разу завлечные.

Мы и с лейтенантом обнимаемся. Он хлопает меня по плечу и говорит, весело сверкая серебряным зубом:

– Ну ты, ревнивый мавр, следи тут за порядком в городе.

Я знаю, кто такой мавр, и мне это не очень-то нравится, но младший на войну едет, не надо нам цапаться напоследок, и я отвечаю дружески:

– Можешь быть уверен – порядок в этом городе обеспечу, а ты там бродягу-фюрера скорее дожимай...

Наши шефы со швейной фабрики, не побывавшие у нас по причине новогоднего разгрома, затребовали энное количество кавалеров к себе на фабрику, чтобы веселей было праздновать Международный женский день восьмое марта.

В число «кавалеров», набираемых из команды выздоравливающих, угодил и я. Скучно мне сделалось после отъезда Рюрика и отбытия всех близких мне корешков, с которыми сдружила нас госпитальная длинная жизнь.

Смятение охватывало, и места я найти себе не мог еще и иного, что приближалась и моя выписка из госпиталя, а значит, и...

Одним словом, решил я тоже малость поразвлечься, тем более что Лидино дежурство в следующие сутки, а они, эти сутки, как вечность сделались, и надо было их как-то скоротать незаметней.

Швейная фабрика размещалась в подвалах, где был когда-то склад этой же фабрики. Сами же швеи восстанавливали свою фабрику и уже слепили целый этаж из собранных по городу кирпичей, но рам достать нигде не могли, и оттого пустоглазо чернел надстроенный этаж и дожидался лучших времен.

В подвале станки с машинами, раскройные столы и прочие швейные премудрости и весь инвентарь были сдвинуты в одну сторону, растолканы по углам, а на освободившемся месте сомкнутым строем стояли конторские столы, соединенные досками, па столбиками сложенные кирпичи были положены плахи.

На столах снедь в основном огородная, девушки, видать, тут работали нее больше станичные и понавезли из дому кто чего смог: огурцы соленые, капусту, помидоры, яблоки моченые, – и вина много на столах и под столами. Точнее, самогонки много, а вино «бабье» – красненькое лишь для разгона праздника и разживления веселья.

К моей радости в гостях у швей оказались Шестопалов, Коля-азербайджанец и еще кое-кто из наших. Были и незнакомые ребята, как попало и во что попало одетые. Все они держались стесненно, жались по углам, не зная, что делать, понимая фальшь и неестественность той роли, какую они призваны были выполнять, роль мужчин на женском празднике! По принуждению!

Один Шестопалов чувствовал себя тут как рыба в воде, бодрил мужской род, прибывший на «прорыв», сообщил между прочим, что через два дня отправляется с маршевой ротой на фронт и Колю-азербайджанца берет в свою команду, сделает из него совсем отчаянного солдата и вернет в Акстафу усыпанного орденами, а может, и сам туда рванет, потому что вина и девок там много Коля говорит.

– Как же это вас Агния-то отпустила? – неожиданно перескочил он на другую тему.

– Скрепя сердце. Они, – кивнул я на девушек, суетящихся возле столов, – сулятся нового белья нашему госпиталю отвалить...

– А-а, бельишко и в самом деле заплата на заплате. А как же? – Шестопалов хотел, видно, спросить, как же это отпустила меня Лида, но парень он хоть и шалопутный, да многое понимать умеет. Тут же захохотал, тут же сообщил весело, что они с Колей-азербайджанцем воспользовались «заборной книжкой» – ушли через забор пересылки.

Речь говорил директор швейной фабрики, мужик на костыле и с завязанным белой тряпкой глазом. Точнее, он не говорил речь, а только открыл торжество, понимая, что для парадных выступлений вид его не очень-то подходящ, и скорее передал слово секретарю профкома, крепкой, подвижной женщине – лучшей стахановке цеха массового пошива, как представил ее директор, чем страшно смутил ее и взволновал.

Говорила она без бумаги и начала довольно бойко: «Мы, советские женщины, тут, на трудовом фронте, не жалея сил...». А как дошла до тех, кто «проливает кровь там», «а мы собрались тут», – брызнули у нее слезы, и речь продолжать она больше не могла. Девки многие тоже заплакали, и, горестно покачав головой, директор фабрики поглядел на нас скорбным глазом и жестом пригласил всех за стол.

Само собой, распорядителем праздника оказался Шестопалов и, будучи великим знатоком душ человеческих, наклонностей их и запросов, довольно точно угадал, кого с кем рядом посадить.

Для меня, как для «своего парня», он постарался особо. Рядом со мной оказалась девушка в черном платье с глубоким вырезом, красиво открывавшим ее длинную шею, напоминающую рюмку, на которой висела цепь с золотисто сверкающей штуковиной, блямбой назвали бы в детдоме, – и в блямбе этой зеленым кошачьим глазом светилось какое-то ювелирное изделие. Длинные, орехового цвета волосы девушки, закругленные на концах, волнами спадали на нее, эту замечательную шею, и приоткрывали плечи. Глаза у девушки были того же цвета, что и волосы, с коричневым отливом. Держалась она свободно, чуть свысока, умела, однако, не выделяться, и на шуточку Шестопалова такой спокойный и складный ответ дала, что он сразу укатился на дальний конец стола, заграбастал там пышную сероглазку, и та, бедная, не только пить или говорить не могла, у нее уж по всем видам и дыханье-то занялось.

А я держался скованно. Таких девушек, как моя соседки Женя (имя ее мне мимоходом Шестопалов сообщил), я боялся, считал недоступными нашему простому сословию и вообще мечтал о том, чтобы поскорее «отбыть положенное» и смыться отсюда на улицу Пушкина. Зайти в Лидин дом я, конечно уж, больше не решусь, но хоть возле него пошляюсь. А может, она по молоко пойдет, по воду, да мало ли зачем?..

– Вы что-то совсем за мной не ухаживаете? – оборвала мои раздумья Женя.

– Да вот... не умею... не приходились, – смутился я и торопливо налил ей и себе из пузатой банки красного вина. – С праздником вас, с Женским днем!

– Вас также! – стукнула рюмкой об мою рюмку Женя и, улыбаясь мне игриво, медленно тянула вино из граненой рюмки. А я выпил разом и вдруг сообразил: она же подъелдыкнула меня, она же вроде бы как и меня в женщины зачислила! Я покрутил головой и хотел придумать что-нибудь тоже ехидное, но в это время зазвучал баян, и все, сначала недружно, невпопад, но, постепенно собирая силы в кучу, уже в лад пели на мотив танго «Брызги шампанского» знаменитую тогда песню: «Когда мы покидали свой любимый край и молча уходили на восток, над Тихим Доном, над веткой клена, моя чалдонка, твой платок...»

Когда песня подошла к концу и накатили слова: «Я не расслышав слов твоих, любовь моя, но знаю – будешь ждать меня в тоске; не лист багряный, а наши раны горели на речном песке», – то все уж бабенки и девчата заливались слезами, иные из-за стола повыскакивали и бросились куда попало, в голос рыдая.

Ну, тут все понятно – у них мужиков и сыновей поубивало. С ними отваживались, отпаивали их водой и водворяли обратно за стол зареванных, погасших, с распухшими глазами.

Моя соседка Женя сидела бледная, прямая, с плотно сжатыми губами и, не моргая, глядела куда-то остановившимися глазами. Я оробел еще больше и не шевелился, даже и коснуться ее боялся. Но сидеть все время так вот тоже было невежливо. Я положил на тарелку винегрета, сверху плюхнул яблоко моченое, поставил тарелку перед Женей и тронул ее за плечо:

– Женя, покушайте, пожалуйста!

– А? Что? – вздрогнула Женя и возвратилась откуда-то, из далекого далека, слабо и признательно улыбнулась мне:

– Спасибо, Миша! Я и в самом деле есть хочу...

«Вот это девка! – восхитился я. – Вот что значит культурное воспитание! Хочет есть и ест, а коснись деревенщины – изжеманится вся: „Да что вы! Да я не хочу! Да я вообще винегрет не употребляю...“»

– Если бы вы налили еще и вина, вам бы цены не было, Миша!

– Вина? – Я сгреб пузатую банку: – С полным моим удовольствием!.. – Я начинал чувствовать себя свободней и пытался изображать развязность.

– Если можно, покрепче, Миша.

Мы выпили по рюмке такого самогона, что у меня сперло дыхание в груди, и если бы Женя не дала закусить от своего яблока, может, дыхание так бы и не началось больше.

– Вот, Миша, мы, как Адам и Ева, – вкусили одного плода, показала Женя на отхваченный мною бок яблока. И я еще раз налил, и еще раз куснул, а потом ударился в умилительные мысли: «Миша! Почему меня все зовут Мишей? Я здоровый, крепкого сложения человек, а Миша. Это, наверно, потому, что я слабохарактерный? А может?..» Но дальше думать о себе я запретил, понявши, что захмелел крепко, потому что дальше уж бог знает чего в голову полезло: «Может, я человек хороший, не злой», – ну и всякие такие пьяные глупости.

– Вы бы хоть развлекали как-то меня, Миша! – пьяненько жеманилась Женя, близко придвинувшись ко мне и опаляя меня оголенным жарким плечом.

Многие солдатики уже сидели за столом свободно, гомонили, рассказывали что-то – и все в обнимку, все вплотную, а Шестопалов исчез куда-то со своей сомлевшей сероглазкой.

– Да я, – горло у меня ссохлось, – не умею я.

– Ну, про войну, про героические подвиги что-нибудь соврите.

Ну, это она зря! Войны она касается зря. Фронтовые окопные дела мало подходящи для пьяной застольной брехни. Из меня даже хмель начал выходить, и я сказал Жене строго:

– Война страшная, Женя. Не надо об ней шутить. Она смешалась, нервно затеребила красивыми, но сплошь исколотыми иглой руками цепочку на шее и тут же, преодолев себя, с вызовом бросила:

– Тогда танцевать приглашай!

– А я и танцевать не умею. – И развел руками покаянно: Видишь вот, какой тебе нескладный кавалер попался.

– Обманули нас! Сказали: самых боеспособных, самых героических выдадут, а налицо оказалось что? Мякина! Ну мы им за это кальсоны назад ширинкой понашьем!..

– Ох, Женька, Женька! – расхохотался я и подумал: – «Вот была бы у меня сестра такая!..»

Но Женя опять не дала мне углубиться в мысли, вытащила из-за стола, заявила, что мужику в танцах главное – ногами переступать и стараться не уронить под себя на глазах у публики партнершу!

«Шпана! Детдомовщина! Наш брат – кондрат! И никакая она не интеллигенция!», – порешил я и закружился вместе с нею. Мы кого-то толкали, и нас кто-то толкал, было шумно и весело.

Тетка, что говорила речь, обхватив Шестопалова за шею, громко кричала:

– Дай я хоть от имени профсоюзу швейников тебя поцелую!

Тут я вдруг вспомнил про Лиду, как целовались, вспомнил, и потихоньку-полегоньку в кладовую умотал, где кучей были сложены шинеленки и шапки «кавалеров», и долго не мог найти я незнакомую, напрокат выданную мне шинель и шапку из бывших в употреблении, решил уж надеть какую попало, лишь бы налезла на меня, как услышал:

– А чтой-то ты, брат Елдырин, бросил меня? – Пойманный и уличенный, я только плечами пожал – А помоги-ка, брат Елдырин, и мне одеться – чтой-то скучно мне на эфтом празднике изделалось!

Ох, земля ты кубанская, пространственная, плоская, нашему брату-сибиряку непонятная да и неподходящая.

Зимой моросило либо хлопьями снег валил, грязища по колено, да вязкая такая грязища-то! А вот в марте подморозило и даже снежок выпал, пока мы на швейной фабрике отплясывали. Да и сейчас рябит снежок, тихий такой, мирный, душу чем-то детским и далеким радующий.

Женя снежок скатала, лизнула его, как мороженку, и мне лизнуть дала. Сладко! Право слово, сладко!

Потом она этим снежком в меня запустила, но я не ввязался в игру. Мне почему-то не хотелось ни дуреть, ни играть после того, что поведала о себе Женя; она здешняя, краснодарская, из семьи художника, и сама в изостудии занималась. Но потом война, эвакуация, и вся семья погибла под бомбежкой, осталась Женя и два чемодана: один – с мамиными платьями и украшениями, другой – с папиными этюдами и рисунками. Теперь Женя белье в массовке шьет и лучших времен ждет...

Хмель из моей головы весь почти испарился. Я шел по тихому городу и курил толсто скрученную цигарку. А Женя прыгала впереди меня на одной ножке, палочкой трещала по штакетнику палисадников и что-то напевала. Длинный белый шарф (тоже, видать, от мамы оставшийся) крыльями подпрыгивал и мотался над ее плечами, и мне было так жалко эту девушку, так жалко!..

– Дай и мне покурить, сибирячок-снеговичок! – остановилась и протянула руку Женя, вынув ее из тоже белой вязаной рукавички.

– Не дам! Не балуйся!.. И вообще не выкаблучивайся! – вздыбился я на нее и вправду что как старший брат. Женя изумленно уставилась на меня:

– Да ты что?!

– А ничего! Вон какая девка! Красавица! Умница! На художника, может, выучишься!.. Я и сидеть-то сначала рядом боялся с тобой! А ты?..

– Ми-и-ишка, ты напился! В дребадан! Красавица! Умница! Художница-безбожница! Дай докурить! – Она вырвала у меня недокурок и несколько раз жадно и умело затянулась. – Ишь какой! – усмиренней буркнула она, – в богиню почти произвел!

– Чихал я на богиню! Девка ты мировая и не дешевись!..

– Ты чего орешь-то? Чего разоряешься?

– А ничего!

– Ну и все!

– Нет, не все!

– Нет, все!

Она опять опередила меня, опять попробовала прыгать на одной ноге и, рассыпая искры от цигарки, напевала: «Слабый, слабый, слабый табачок, вредный, вредный, вредный сибирячокснеговичок...»

Но уже не могла она попасть в прежнюю струю беспечного, праздничного настроения и, остановившись возле ворот общежития, церемонно подала мне руку ребрышком и оттопырила палец каким-то фокусным фертом:

– До свиданья, милое созданье! Спасибо за кумпанью и приятственную беседу. В общагу не зову, поскольку приставать будете, а у нас этого девицы не любят и даже не переносят, поскольку обрюхатеть можно! А абортик, он – э-ге-ге-ге! Копеечку стоит!..

– Я чем-то обидел тебя. Женя?

– Да! – сверкнула она глазами: – Гадость сказал!

– Га-аааадость!?

– Твои благородные, красивые слова больнее гадости! Ты ими брезгливость прикрываешь! Прикрываешь ведь? Даже поцеловать не попытался! Брезгуешь, да?! Брезгуешь!?

– Женька ты, Женька! Цены ты себе не знаешь...

– Цена мне четыре сотни и пятисотграммовая карточка! Ну, если не такой ископаемый, как ты, встретится – глядишь, покормит, попоит, четвертак отвалит.

– Будь здорова, Женя! Прости, коль неладное брякнул.

– Бог простит! – Женя вознесла руку к небу, принимая позу богини, но внезапно сникла вся, прикрылась концом шарфа и слепо бросилась в ворота.

Я свернул цигарку толще прежней, высек огня из трофейной зажигалки, прикурил, потоптался, удрученный, возле ворот общежития фабрики и подался «домой», в госпиталь.

Что я тут мог сделать? Чем помочь?

Час от часу не легче! Не успел я повесить на гвоздь в раздевалке шинель и шапку, как услышал за своей спиной свистящий, клокочущий, пронзающий, разящий – словом, самый грозный, самый потрясающий со дня сотворения рода человеческого, шепот:

– Ты где шлялся, медвежатник несчастный?! Обернулся: за барьером раздевалки она – Лидка! Кулаки сжаты, лицо серое, глаза молнии бросают, и только деревянный барьер, разделяющий нас, мешает ей броситься и растерзать меня на куски.

– О-о! Мамзель! Мое вам почтенье! – отвесил я земной поклон. – Не ожидал, не ожидал, понимаете ли, вас сегодня здесь повстречать! Такой приятный сурприз!

– Я тебе покажу мамзель! Я тебе покажу сурприз! Признавайся, где ты был?!

– На празднике. На Международном женском дне.

– И ты... и ты пил там?

– А как же?! – подныривая под барьер, развязно воскликнул я. – На то и праздник, чтобы петь и смеяться, как дети.

Лида была сражена. Рот ее беззвучно открывался и закрывался, глаза угасали. Я уж хотел пожалеть ее и перестать придуриваться, но в это время очень кстати появился «громоотвод» – приволокся тот артист с бородкой чего-то просить, и я догадался, что Лида на ночь подменила дежурную сестру.

– Отбой был?! – налетела Лида на «артиста». – Шагом марш в палату! Шля-а-аются всякие – развсякие! – И тут же набросилась на меня, принялась тыкать рукой в грудь: – Сейчас же! Сейчас же! Она задыхалась от негодования, она обезумела, можно сказать: Весь парад! Весь! И в палату! Я приказываю! Я вам всем тут покажу! – Она даже ногой топнула.

– Ты чего пылишь-то?

Лида сгребла меня за грудки и стала трясти так, что все мои медали заподпрыгивали и забрякали.

– Ты провожал модистку, признавайся! Я покорно склонил голову. Лида втянула воздух дрожащими ноздрями:

– Да от тебя духами пахнет! Дешевыми! Пошлыми!

– Самогонкой от меня пахнет, не выдумывай!

– Нет, духами! Ты меня не проведешь!

– Ну, может, и духами. Танцевал я там с одной...

– Ага! Ага-а-а! – с еще большим негодованием восторжествовала Лида: – Танцева-ал! А танцевать-то ты не умеешь, несчастный! Я все! Я все-о-о про тебя знаю! – Она притиснула меня к стене, да так сильно притиснула, что ни дыхнуть, ни охнуть. – Ты целовался с ней, целовался?!

И я тоже гусь хороший, нет, чтоб честно все рассказать и покаяться, давай ее дальше дразнить да разыгрывать – опять удалую голову на грудь опустил.

– Сколько?

– Чего сколько?

– Сколько, ты с нею лизался?

– Ну, сколько? – начал припоминать я, – может, полчаса, может, больше. Часов-то у меня нету...

Я уж надеялся, что после таких моих шуточек она придет в себя и расхохочется вместе со мною, да не тут-то было. Она и в самом деле обезумела.

– А потом?

– Чего потом?

– Что было потом? Не скрывайся лучше! Признавайся, несчастный! Не то я тебе не знаю что сделаю!..

– Потом? Что же было потом? А-а, потом я вспомнил, что ужин пропадает, и скорее рванул домой.

Лида выпустила меня, уронила руки:

– Дядя шутит! Я тебя зарежу!

– Чем? Скальпелем или ножом? Лучше ножом. Скальпели уж больно тупые.

– Дурак! Медвежатник! Грубиян! Сибирская деревянная колода! Чурбан! И... и... Я плакала! Вот... Тут... Тут... – показывала она на кожаный диван, единственный в коридоре диван, истерзанный, мятый, дыроватый. И как я представил, что она на этом диване, вжавшись в уголочек, на пружинах этих жестких, маленькая такая, в халатике... – так сгреб ее и прижал к себе:

– Балда ты, ей-богу!

– Конечно, балда, да еще какая! – всхлипывая, прерывисто выговаривала она: – Разве умная стала бы из-за такого...

Я утер ей нос концом ее же косынки, глаза утер и дунул в ухо.

– Ты правда не целовался? – жалко пролепетала она, глядя на меня глазами, все еще полными слез.

– Ну ей-богу!

– Я ведь чуть не умерла. Правда-правда! Все меня обманывают. Все заодно. Я, как дура, по палатам шастаю, а мне говорят: к психам ушел; в физкабинет подался; в шашки сражается... Потом эта ваша любимица-царица, процедурная сестрица: «Лидочка, ты кого ищешь? Мишу? А его сегодня не будет. Он к женщинам на праздник ушел!» – Представляешь?! Ы-ы-ых, я бы ее так и разорвала! – И Лида в самом деле разорвала какую-то бумажку, попавшую в руки, изображая, как она управилась бы с Паней.

Я утянул Лиду под барьер, в раздевалку, и там, закрытый одеждой и халатами, крепко-крепко ее поцеловал. После чего она брякнула меня кулаком по голове:

– Вот тебе, враг такой! – И, совсем успокоившись, сказала: – Сколько ты моей крови выпил, кто бы знал!

О том, что днями будет комиссия и меня выпишут из госпиталя и потому она выпрашивалась подменять сестер и дежурила за них, забыв про сон и покой, чтобы только побыть со мною, – она мне не сказала. Об этом я уже узнаю позднее.

Многого я тогда еще не знал и не понимал.

Вот подошла и моя очередь покидать госпиталь. Меня признали годным к нестроевой службе. Предстояло еще раз мотаться по пересылкам и резервным полкам. Мотаться, как всегда, бестолково и долго, пока угодишь в какую-нибудь часть и определишься к месту.

Лида осунулась, мало разговаривала со мной. Завтра с утра я уже буду собираться на пересыльный пункт. Эту ночь мы решили не спать и сидели возле круглой чугунной печки в палате выздоравливающих. В печке чадно горел каменный уголь, и чуть светилась одинокая электролампа под потолком. Электростанцию уже восстановили, но энергию строго берегли и потому выключали на ночь все, что можно выключить.

Я пытался и раньше представить нашу разлуку, знал, что будет и тяжело, и печально, готовился к этому. На самом деле все оказалось куда тяжелей. Думал: мы будем говорить, говорить, говорить, чтобы успеть высказать друг другу все, что накопилось в душе, все, что не могли высказать. Но никакого разговора не получилось. Я курил. Лида гладила мою руку. А она, эта рука, уже чувствовала боль.

– Выходила тебя. Ровно бы родила, – наконец тихо, словно бы самой себе, вымолвила Лида.

Откуда ей знать, как рожают? Хотя, это всем женщинам, поди-ка, от сотворения мира известно. А Лида же еще и медик!

– Береги руку. – Лида остановила ладошку на моей перебитой кисти. – Чудом спаслась. Отнять хотели. Видно, силы у тебя много.

– Не в том дело. Просто мне без руки нельзя, кормить меня детдомовщину – некому.

Опять замолчали мы. Я подшевелил в печке огонь, стоя на колене, обернулся, встретился со взглядом Лиды.

– Ну что ты на меня так смотришь? Не надо так!

– А как надо?

– Не знаю. Бодрее, что ли?

– Стараюсь...

С кровати поднялся пожилой боец, сходил куда надо и подошел к печке, прикуривать. Один ус у него книзу, другой кверху. Смешно.

– Сидим? – хриплым со сна голосом полюбопытствовал он.

– Сидим, – буркнул я.

– Ну и правильно делаете, – добродушно зевнул он и пошарил под мышкой. – Мешаю?

– Чего нам мешать-то?

– Тогда посижу и я маленько с вами. Погреюсь.

– Грейся, – разрешил я, но таким голосом, что боец быстренько докурил папироску, сплющил ее о печку, отряхнулся, постоял и ушел на свою кровать со словами: – Эх, молодежь, молодежь! У меня вот тоже скоро дочка заневестится... – Койка под ним крякнула, потенькала пружинами, и все унялось.

Близился рассвет. В палате нависла мгла и слилась с серыми одеялами, белеющими подушками. Было тихо-тихо.

– Миша!

– А?

– Ты чего замолчал?

– Да так что-то. О чем же говорить?

– Разве не о чем? Разве ты не хочешь мне еще что-нибудь сказать?

Я знал, что мне нужно было сказать, давно знал, но как решиться, как произнести это? Нет, вовсе я не сильный, совсем не сильный, размазня я, слабак.

– Ну, хорошо, – вздохнула Лида. – Раз говорить не о чем, займусь историями болезни, а то я запустила свои дела и здесь, и в институте.

– Займись, коли так.

Я злюсь на себя, а Лида, видать, подумала – на нее, и обиженно вздернула нравную губу. Она это умеет. Характер!

Я притянул ее к себе, взял да и чмокнул в эту самую вздернутую губу. Она стукнула меня кулаком в грудь.

– У-у, вредный!

В ответ на это я опять поцеловал ее в ту же губу, и тогда Лида припала к моему уху и украдчиво выдохнула:

– Их либе дих!

Я плохо учился по немецкому языку я без шпаргалок не отвечал, но что значит слово «либе», все-таки знал, – и растерялся.

И тогда Лида встала передо мной и отчеканила;

– Их либе дих! Балбес ты этакий! Она повернулась и убежала из палаты. Я долго разыскивал Лиду в сонном госпитале, наконец догадался заглянуть все в ту же раздевалку, все в тот же таинственный с нашей точки зрения уголок и нашел ее там. Она сидела на подоконнике, уткнувшись в косяк. Я стащил ее с подокон ника и с запоздалой покаянностью твердил:

– Я тоже либе. Я тоже их либе... еще тогда... когда ты у лампы...

Она зарылась мокрым носом в мою рубашку:

– Так что же ты молчал столько месяцев?

Я утер ей ладонью щеки, нос, и она показалась мне маленькой-маленькой, такой слабенькой-слабенькой, мне захотелось взять ее на руки, но я не взял ее на руки – не решился.

– Страшно было. Слово-то какое! Его небось и назначено человеку только раз в жизни произносить.

– У-у, вредный! – снова ткнула она меня кулачишком в грудь. И откуда ты взялся на мою голову? – Она потерлась щекой о мою щеку, затем быстро посмотрела мне в лицо, провела ладошкой по лицу и с удивлением засмеялась: – Ми-и-ишка, у тебя борода начинает расти!

– Брось ты! – не поверил я и пощупал сам себя за подбородок: – И правда что-то пробивается.

– Мишка-Михей – бородатый дед! – как считалку затвердила Лида и спохватилась: – Ой, спят ведь все! Иди сюда!

Теперь мы уже оба уселись на подоконник и так, за несколькими халатами, пальто и телогрейками, прижались друг к дружке и смирно сидели, как нам казалось совсем маленько, минутки какие-нибудь. Но вот хлопнула дверь одна, другая, прошаркали шлепанцы в сторону туалета, кто-то закашлял, потянуло по коридору табаком.

Госпиталь начинал просыпаться, оживать. Уже кличут из палат няню лежачие, и она с беременем посудин зевая пробежала по коридору, издали давая знать, что на посту была, ни капельки не спала, а только то и делала, что больным прислуживала да ублажала их.

Скоро и сестру покличут.

Окно за нашими спинами помутнело, сыростью тянуло от него. Лида все плотнее прижималась ко мне. Начала дрожать мелко-мелко и вдруг, словно бы проснувшись начала озираться, увидела совсем уже посветлевшее окно куривших в отдалении и на крыльце госпиталя ранбольных.

– Неужели и все? Неужели сегодня ты уйдешь. Ведь только вот сказали друг другу, и уже все! Мища, что же ты молчишь? Что ты все молчишь!

– Не надо плакать, сестренка моя.

Лида встрепенулась и поглядела на меня потрясенными глазами. Дрожь все колотила ее, а слезы остановились и лицо сделалось решительное:

– Миша, не откажи мне! Дай слово, что не откажешь!

– Я все готов... для... тебя...

– Я поставлю тебе температуру... ну, поднялась, ну, неожиданно, ну, бывает...

Я так и брякнулся с подоконника, встряхнул ее за плечи:

– Ты с ума сошла?!

– Я знаю, я знаю; это нехорошо, нельзя. За это меня с работы прогонят. Из института прогонят. Ну и пусть прогоняют! Хочу с тобой побыть еще день, хоть один день! Пусть же эта проклятая война остановится на день! Пусть остановится! Пусть...

– Лидка, опомнись! Что ты несешь? Лида! Лида! – тряс я ее, успокаивал. Мне было страшно. Мне жутко было. Меня озноб колотил. Я не знал, что она меня так любит. И за что только! За что? Ничем я не заслужил такой большой любви. Я простой парень, простой солдат! Боже ж ты мой, Мишка, держись! Раз любишь – держись! Не соглашайся! Ты сильный, ты мужик! Не соглашайся! Нельзя такую девушку позорить. Держись!

И я выдержал, не согласился. Я, вероятно, ограбил нашу любовь, но иначе было нельзя. Стыдился бы я рассказывать о своей любви. Я презирал бы себя всю жизнь, если бы оказался слабей Лиды.

Я в самом деле, видать, был тогда сильным парнем.

Пересыльный пункт размещался в бывших складах «Заготзерно». Там уцелели полати для просушки зерна и не надо было делать нар, вот и приспособили «Заготзерно» под временное жилье, под перевалочную базу для людей. По старой привычке на склады залетали присмиревшие от недоедов воробьи. Солдаты щепками и складными ножиками выковыривали зерна из щелей, обдували с них пыль и жевали, круто двигая челюстями. Щепотку-другую уделяли воробьям. Птички быстро и без драки склевывали зерна и ждали еще, томительно следя за унылыми, медлительными людьми.

Эта пересылка была не хуже и не лучше других, по которым мне приходилось кочевать. Казарма не казарма, тюрьма не тюрьма. От того и другого помаленьку. Я думаю, что о таких вот запасных военных полках и о таких пересылках напишут еще люди. Иначе наши дети не будут знать о том, сколько мы перенесли, сколько могли перенести и при этом победить. Дети наши приучены думать так, будто война – это только фронт, где мы лишь тем и занимались, что без конца совершали героические подвиги.

У меня же в этом рассказе совсем другая задача. Он же о любви. Только о любви. Могу лишь добавить, что за все время воинских и госпитальных скитаний я побывал все же на одной пересылке, где более или менее сносно кормили.

Там был хромой и очень строгий комендант, и он так следил за порядком, что поварам, пекарям, охранникам, интендантам не удавалось обворовывать постоянно меняющийся состав пересылки.

Но у этого коменданта была слабость – он любил марши. Жил он на территории пересылки в домике с балконом. И вот каждый вечер комендант выходил на балкон и наяривал на гармошке «Легко на сердце» и заставлял нестроевых солдат маршировать под свою музыку.

Что сделаешь, обожал, видно, человек парады, под музыку ходить обожал, а фашисты изувечили его на фронте.

На краснодарской пересылке никто маршировать нас не заставлял и делать ничего не заставляли. Нас просто никуда не выпускали с территории пересылки, и мы были круглые сутки предоставлены самим себе и ждали «покупателя». «Покупатели» – это представители нестроевых частей. Они выстраивали нас во дворе, устланном растрескавшимися булыжинами, и выбирали тех, кто годился еще в охранники, в строители, и уводили с собой.

Здесь происходили частые встречи однополчан, знакомых по госпитальным палатам и так же часто повторялись неизбежные разлуки.

Я отвоевал себе угол в дальнем конце склада и сидел там сутками, обняв колени. На меня напало какое-то оцепенение и тупое ко всему безразличие. На смотр «покупателей» я не выходил, в торговые сделки, которые совершались между солдатами, не ввязывался, увольнительную не просил. Да и бесполезно было ее просить. Слишком много оказывалось желающих хоть на часок-два вырваться за ворота пересылки, загнать на базаре бельишко и купить семечек, еды или самогона.

И продавать мне было нечего.

Времени у меня было теперь дополна, все я мог вспомнить и обдумать, в том числе и подробности разговора с Лидиной матерью. Ничего не скажешь, битая женщина! Все знает, все сумела угадать, что и как будет со мною, что с нами будет даже!

Вот он я, весь нестроевой, и ничего, ничего не могу изменить. Была радость, большая, оглушительная радость. Не хотелось ни о чем думать, и война вроде бы забылась, все-все забылось. И вот на тебе! Смотри, думай, оглядывайся, раз выбрел из тумана, который отгородил тебя от всего мира. В пересылке тумана не бывает. Здесь пыль, запах мышей и робкие, полуоблезлые воробьи. Солдаты в «очко» дуются; пользуясь «заборной книжкой», к бабам каким-то пикируют, и чего там сделают – не сделают, а уж наврут с три короба...

Однажды я вылез из своего угла, сходил в медпропускник, попросил, чтобы остригли волосы, – чего доброго еще и вшей разведешь. Они особенно на тех, кто с тоски и горя доходит, насыпаются – это я по окопам знаю. Солдат, повязанный вместо фартука рюкзаком, быстро содрал тупой машинкой мой чуб, и голове сделалось легче. Я посмотрел на свои темные волосы, смешавшиеся на полу с рыжими, белыми, седыми...

И ушел. На что они мне теперь, волосы? Чуб мой знатный?! Зачем попу гармонь, когда у него есть кадило!

Угол мой тем временем заняли. Я попросил вежливо освободить его. Белобрысый солдат было заартачился, но глянул на меня и быстро отодвинулся в сторону со своими вещичками. Если бы он еще немного поогрызался, я бы избил его.

Неподалеку от меня сидел в окружении хохочущего народа старший сержант, не только званием, но характером и повадками вылитый бродяга Шестопалов, и так же, как тот, травил анекдоты. Знал он их чертову прорву. И вообще парень был из тех, что и в аду умудряются жить с прибаутками. Солдатня с любовью смотрела в рот рассказчику и взвизгивала, корчилась, утирала слезы руками. Я тоже стал слушать:

– Н-да, и вот приходит, стало быть, старик Еремей с собранья, а старуха уж тут как тут: «Об чем собранье было? Чё постановили?» Ну, старик Еремей поначалу кураж напустил, потылицу чешет: «Да разве, говорит, скажут нашему брату, об чем оно, собранье-то, было!..» – «О-ой, старик, не лукавь! Все ты понял, да мне оказывать не хотишь! Помучить меня жалаешь...» – «Ну уж, ладно уж, – вздохнул старик, – об мансипации собранье было, об равноправьи, значит. И вырешили: к кажной бабе прикрепить по два мужика». – «Ну-к чё жа – собранье уж зря не постановит! Вот и будете оба-два как сродные братья жить...»

Пересылка содрогнулась так, что воробьи по ней заметались и в окна ударились, пыль взрывами из-под нар и углов заклубилась, солдатня повалилась кто куда.

– О-о-о-ой! – стонал и захлебывался кто-то подо мной. – Как сродные братья, значит?! О-о-ой, не могу! О-о-оой!..

«Как бы мы жили? Как бы мы одолели врага, горести, беды и утраты, если бы не было у нас таких вот парней, как этот старшой!» – ударился я в длинные размышления, которые неожиданно прервал окрик моего бывшего соседа по послеоперационной палате, пристроившегося вахтером на проходной пересылки.

– Рохвеев е?

– Кто? Кто?

– Рохвеев, е? – пытаю.

– Кто, кто? – еще раз переспросили его сразу несколько солдат.

– Да, Рохвеев, говорю! Там к нему прийшлы. Я почувствовал, как похолодело темя на стриженой голове, рванулся к краю нар.

– Может, Ерофеев?

– Осе, осе! – подтвердил солдат, – То ж ты, Мыха! – захлопал он глазами. – А я ж хвамиль твою забув! – И пошел со склада величественный, неприступно важный и оттого совсем уж глуповатый, осудительно глядя на валяющуюся по нарам публику, которая не выказывала никакого рвения к службе. А так вот валялась, курила, трепалась и довольно терпеливо ждала подходящего «покупателя».

Я шел и чувствовал, как тяжелеют мои ноги, как наливается ежистым страхом все внутри и как сразу замерзла раненая рука, снова подвешенная на бинт, потому что вчера открылся на ране свищ. Я снял бинт, скомкал и сунул его в карман, застегнул и одернул гимнастерку.

Возле ворот, притулившись к кирпичной стене, озеленелой снизу, на чахлой травке, каким-то чудом проросшей в камешнике, стояла Лида. Она была все в том же желтеньком беретике, все с той же желтенькой лисой, все такая же большеглазая, хрупкая с виду девчонка. Она рванулась ко мне навстречу, и я рванулся было к ней, но вдруг увидел себя чьими-то чужими, безжалостными глазами, в латаных штанах, в огромных, расшлепанных ботинках, в обмотках, в ветхой гимнастерке, безволосого, худого.

Я остановился и, когда Лида подошла и не подала мне руки, а лишь испуганно глядела на меня, спросил, стиснув зубы:

– Зачем ты пришла?

Она чуть попятилась, оступилась на булыжнике, залитом рыженькой грязцой. Я поймал ее за локоть.

– Зачем ты сюда пришла?

Она не знала, что сказать, и только глядела на меня с ужасом и состраданием. И это вот сострадание, которого я никогда не видел в ее глазах, даже там, в послеоперационной палате, окончательно взбесило меня, и не знаю, что я сделал бы еще, но Лида вдруг выхватила из-за рукава конверт.

– Я... Вот... письмо тебе принесла.

– Какое письмо?

– От Рюрика. Я думала... оно три дня назад пришло... Я думала, зачем его обратно отсылать...

Она еще лепетала что-то, и я видел, как наполнялись слезами ее глаза.

– Ничего девочка! – послышался сиплый голос сзади меня. Я обернулся. По двору шлялись и глазели на нас два расхлябанных солдата. Бывшие лагерники, видать, – то в карты играют, то дерутся и все химичат чего-то, продают, покупают, меняют и с пересылки не уходят, прижились тут, на фронт не торопятся – там и убить могут.

Я придвинулся к Лиде, попытался загородить ее грудью.

– Да, фигурешник! Конфета!

– И везет же человеку! Доходяга доходягой, а такую девку урвал.

– По нонешним временам не это главное. Главное, чтоб мужским пахло.

Я – затравленно озирался по сторонам, а Лида презрительно сощурилась, как тогда, в госпитале, когда я ей сказал про лейтенанта. Да ведь тут презрительностью и всякими другими интеллигентскими штучками никого не прошибешь! Тут потяжельше чего-нибудь требуется.

Солдат во дворе появлялось все больше и больше. Иные из них выламывались, форсили, чтобы обратить на себя внимание. Были тут и из нашего госпиталя ребята. Они здоровались и быстро уходили, оставляя нас в покое, пробовали и тех двоих урезонить, да куда там! Они от уговоров только распалялись в поганстве своем, куражились и наглели все больше.

Я знал, чем все это может кончиться. Я уже целился глазами на железную ось от телеги, стоящую в углу возле ворот. Лида обернулась, тоже увидела ось, бледнеть начала и шевелить губами беззвучно: «Не надо, Миша! Не надо!..»

Слава богу постовой вмешался:

– Шо вы к человеку привязались, га? – заорал постовой на двух блатяг. – Ну, шо? Мабуть, у людей горе? Гэть до помещенья!

Солдаты начали неохотно расходиться. Те двое тоже пошли вразвалку, цыркая слюной, почесываясь и вихляясь.

– И шо тильки безделье з чоловиком не зробыть? – как бы оправдываясь за всех, говорил охранник, доверительно глядя на Лиду, а потом подумал и добавил уже строго-официально: – Дозволяю выйти за ворота на скамейку.

Я сидел на скамейке возле ворот пересылки, уставившись себе под ноги.

По улице густо валил народ, все больше военный. Но уже и легко одетые девушки ходили. Какие красивые здесь на Кубани девушки, только полнеть начинают рано. Это от хорошей еды, наверное, от фруктов. Я когда-то успел сломить ветку с клена, что рос над скамейкой. Почки уже клеились к пальцам, и радио где-то, с какой-то крыши играло про весну.

– Миша! – позвала меня Лида, но я не сразу услышал ее, я где-то далеко от нее и от себя был, и она потрясла меня легонько за плечо: – Миша!

– А!

– Миша, что с тобой? Ми-иша! – Лида поднесла руку ко рту, закусила палец, а потом опять принялась трясти меня: – Миша, скажи же что-нибудь! Родненький, скажи!

Но я не мог говорить. Я держался из последних сил. Я чувствовал, что если скажу хоть слово, то сейчас же разрыдаюсь и стану жаловаться на пересылку, скажу, что мне плохо без нее, без Лиды, и что рана у меня открывается, и что не таким бы мне хотелось быть перед нею, какой я сейчас. Мне хотелось бы быть тем красивым, удалым молодцем, о котором я все время рассказывал ей в своих сказках. И если бы я в самом деле был им, этим сказочным по велителем, я бы велел всем, всем людям в моем царстве выдавать красивую одежду, особенно молодым, особенно тем, кто ее никогда не носил и впервые любит... и если не навсегда, то хоть на день остановил бы войну.

Но я солдат, нестроевой солдат, остриженный, как и все солдаты, наголо, и сказки нет больше, сказка кончилась. Не время сейчас для сказок.

– Лида, тебе лучше уйти, – сказал я и поднялся со скамьи. Привет матери передавай! Умная она у тебя женщина. И очень тебя любит. Береги ее.

– Хорошо, хорошо, Миша, я уйду. Я сейчас уйду. Я ведь только письмо...

– Уходи, Лида!

Мы стояли посреди тротуара, и люди обходили нас, толкали. Лида что-то говорила, или губы у нее дрожали: невозможно было понять. Я наклонился к ней, и до меня донеслось:

– Миша, я боюсь за тебя! Миша, я боюсь тебя тут одного оставить. У тебя в глазах что-то...

– Прошу тебя, Лида, иди! – Я отбросил завязанную узлом кленовую ветку, закусил губу и поднял глаза к небу. – Иди, ничего со мной не станется. Я ведь медвежатник, – попытался пошутить я. Но шутки не получилось, голос у меня осекся, и я легонько повернул ее от себя. – Прошу тебя...

Она послушно пошла от меня, по-старушечьи ссутулившись. Я почувствовал – Лида вот-вот обернется.

– Пожалуйста, не оглядывайся.

Она шла медленно и услышала эти слова, тряхнула головой, согласилась... и все-таки оглянулась. Своими яркими глазищами, в которых стояла мука, она позвала меня.

– Да уходи же ты! – заорал я, оттолкнул постового и вбежал во двор.

Я залез на нары, наглухо укрылся шинелью и плакал молчком до тех пор, пока были слезы. Потом я лежал просто так, обессиленный слезами, и впервые в жизни узнал, как может болеть у человека сердце. Кто-то осторожно потянул с меня шинель. Я подумал, что ее намереваются спереть два тех блатняка – они могут и последнюю шинель солдата на пропой пустить, – и резко поднялся.

– Курни, солдат. – Из темноты ко мне протянули светящийся окурок.

Я залпом выхлебал дым из бычка – ожгло даже губы.

– Убили кого-нибудь? – спросил меня из темноты тот, что давал докурить.

– Убили...

– Когда только и конец этому будет? – Вздох, молчание, а спустя время – тихий, добрый совет: – Спи давай, парень, если можешь...

Я снова завернулся в шинель, угрелся и где-то под утро заснул. Днем я вышел в строй и с первым попавшимся «покупателем» уехал на Украину. Оттуда было ближе добираться до фронта и отыскивать свою часть. В нестроевой части я, конечно, не помышлял оставаться – еще могу пока бегать, стрелять, работать, а кирпичи таскать да рельсы либо мыло варить и без меня кому найдется.

Ну вот и точка. Больше я никогда не видел Лиду наяву, и больше мне нечего рассказать о своей любви. В книгах часто случаются нечаянные встречи, а у меня и этого не было.

Закружила меня война, бросала из полка в полк, из госпиталя в госпиталь, с пересылки на пересылку. Постепенно присохла боль в душе, рассеялось и чувство задавленности, одиночества, все входило в свои берега. В сутолоке военной и любовь-то моя вроде бы притухла, а потом, показалось, и вовсе истлела, навсегда, насовсем.

Но вот годы прошли. Многие годы. И война-то вспоминается как далекий затяжной сон, в котором действует незнакомый и в то же время до боли близкий мне парнишка, а я все думаю: «А может, встречу? Случается же, случается!» И знаю ведь – ничего уже не воротишь, не вернешь, и все равно думаю, жду, надеюсь...

Я люблю родную страну свою, хоть и не умею сказать об этом, как не умел когда-то и девушке своей сказать о любви. Но очень уж большая земля-то наша – российская. Утеряешь человека и не вдруг найдешь.

Но ведь тому, кто любил и был любим, счастьем, есть и сама память о любви, тоска по ней и раздумья о том, что где-то есть человек, тоже об тебе думающий, и, может, в жизни этой суетной, трудной и ему становится легче средь серых будней, когда он вспомнит молодость свою – ведь в памяти друг дружки мы так навсегда и останемся молодыми и счастливыми. И никто и никогда не повторит ни нашей молодости, ни нашего счастья, которое кто-то назвал «горьким». Нет-нет, счастье не бывает горьким, неправда это! Горьким бывает только несчастье.

Вот обо всем этом я часто думаю, когда остаюсь один, остаюсь с самим собой, думаю с той щемящей печалью, о которой Александр Сергеевич, незабвенный наш, прекрасный наш поэт, лучше, глубже и пронзительней всех нас умевший чувствовать любовь, уважать ее и душу любящую, сказал так просто и так доверительно: «Печаль моя светла...»

В яркие ночи, когда по небу хлещет сплошной звездопад, я люблю бывать один в лесу, смотрю, как звезды вспыхивают, кроят, высвечивают небо и улетают куда-то. Говорят, что многие из них давно погасли, погасли еще задолго до того, как мы родились, но свет их все еще идет к нам, все еще сияет нам.

*1960–1972 гг.*

**К уроку 20.**

**Виктор Астафьев. «Прости меня».**

**Виктор АСТАФЬЕВ**

**ПРОСТИ МЕНЯ**

*Драма в двух действиях*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Миша Ерофеев, 19 лет.

Лида, медсестра, 18 лет.

Смерть.

Мать Лиды.

Агния Власьевна, главврач госпиталя.

Пана, медсестра.

Няня.

Два слепых мальчика.

Афоня Сидоров.

Матрена, жена Афони Сидорова.

*Дети Сидоровых:*

Катя.

Афоня-младший.

Ваня

Старшина Шестопалов.

Рюрик.

Восточный человек.

Попийвода.

Старичок-философ.

Полковник.

Два солдата-pазгильдяя, несколько раненых больных и санитарок.

Игрок.

Болельщик.

**ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ**

**КАРТИНА ПЕРВАЯ**

*Полное затемнение. Тишина. Постепенный нарастающий раскат грома, и вместе с грядущим громом во всю мощь, как обвал: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...» Отдаляется, глохнет песня. На нее наплывает хаос звуков: крики, морзянка, взрывы, свист пуль, вопль мин, удар по железу. Но над всем этим преобладает один какой-то пронзающий все тело, сердце, звук, похожий на звон дисковой пилы, режущей металл. Отчетливей, внятней слышны крики: «Огонь! Огонь! Бей его, падлу! Бей! Огонь и дым! Зависла!.. Мина зависла! Вот зараза! Вот зараза!»*

*Разгорается свет, выявляя койки, палату, посреди которой стоит стол. За столом, возле керосиновой лампы, прикрытой газетным абажуром, сидит девушка в белом халате. Читает. Темнеет квадрат окна. В этом квадрате неровными жилами переплелись ветви дерева. В палате продолжается война: «Огонь! Огонь! Пр-рицел четыре! Трубка шесть...» Вдруг громко и отчетливо: – Хочешь жить – копай землю! – В углу на койке подскакивает огромная фигура в белье.*

ДЕВУШКА *(читавшая газету).* Вы что, Шестопалов?

ШЕСТОПАЛОВ. Ничего, Лида, ничего. Война снится. Все война... Как Афоня?

ЛИДА. Спит пока. Снотворное действует, Но вообще-то...

ШЕСТОПАЛОВ. Ах ты... Не уберег мужика! Не уберег... И все отделение угробил... Ах ты... Нельзя на войне промахиваться никому, разведчику и подавно. А-а-ах...

ЛИДА. На войне кто не воюет, тот, наверное, и не ошибается.

ШЕСТОПАЛОВ *(смотрит на нее удивленно).* Так оно... Да вот тут-то, тут-то согласья нет. Я мог, мог... Внимательней, собранней надо быть. А-ах ты... Как там молодежь-то?

ЛИДА. Тоже спят. Вертятся только без конца.

ШЕСТОПАЛОВ. Воюют. Тоже воюют. Мишка, сибирячок-то, после операции как?

ЛИДА. Все прекрасные слова высказал. Отошел. Спит. *(Встрепенулась, что-то заметив.)* Одну минуточку, товарищ старшина, одну минуточку. *(Вытягивает шею, всматривается.)* Ну так и есть! Только отвлекись, забудься, она уж тут как тут!

*В противоположном углу палаты высвечивается койка. Возле койки Миши Ерофеева, облокотившись на спинку, стоит Смерть, и меланхолическая улыбка трогает ее смазливое лицо с накрашенными губами. Смерть одета в черное диковинное платье, подол которого, разделенный на широкие ленты, антрацитно сверкает, по нему искрят ночные звезды.*

МИША. Ты кто?

СМЕРТЬ. Смерть.

МИША. Чья?

СМЕРТЬ. Пока не разобралась спросонья.

*Подбегает Лида, загораживает собой больного.*

ЛИДА. Пошла отсюда! Пошла вон!

СМЕРТЬ. Чего-о-о?! Ты, пташка...

МИША. Сказано тебе – катись! Сталыть, катись колбаской!

СМЕРТЬ. Грубиянишка! *(Треплет Мишу за щеку.)* При девушке, при милосердной сестре такие выраженья! Эх-хе-хе! Охамеешь с этой солдатней! Ну ладно, покедова! Я, кажется, койкою ошиблась. *(Поет.)* Что-то с памятью моей стало... *(Вздыхает.)* Считаю с вечера, считаю – и ошибусь голов на тыщу. Работы гибель! *(Целует пальчики.)* Гудбай, как говорится на одном острову... (Передвигается от койки к койке, напевая.) А умирать нам рановато, пусть помрет лучше дома ж-жена!

МИША. Вот распустилась, зараза, за войну! Во обнаглела!

ЛИДА. Уж распустилась так распустилась! Властвует!

СМЕРТЬ *(склоняется над Афоней Сидоровым).* Как ты тут, болезный? Не сподобился еще?

АФОНЯ *(слабо борется со смертью).* Уйди! Уйди! Креститься начну... Матюгом покрою...

СМЕРТЬ. Напугал! Я этих матюгов перетерпела-а-а! И в таких-то условиях женщина работай!..

АФОНЯ. Какая ты женщина! Ты – зло!

СМЕРТЬ. А зло на чем замешено, мужик?

АФОНЯ. Н-ну, на добре.

СМЕРТЬ. Вот то-то и оно-то! А я – как избавленье от всего.

АФОНЯ. Поди ты! Покрою! Правда, покрою!..

СМЕРТЬ. Не посмеешь! В последние часы мои клиенты суеверны. Давай-ка поторапливайся! Дюжишь, дюжишь... Другой бы околел. Обход мой продолжается. Косьба идет. Большая косьба...

*За сценой слышны крики: «Смерть! Смерть!»*

Иду, иду! Чего вы орете? Вас много, я одна... *(Исчезает во тьме.)*

ЛИДА *(считает пульс у Миши, опускает его здоровую руку на одеяло).* Ну, как вы?

МИША. Да я-то ничего. Как вы?

ЛИДА. Я тоже ничего.

МИША. Ничего на ничего – и получается ниче.

ЛИДА. Герой! Шутник! Обалделый от наркоза. Лежи и не дрыгайся. А то она, эта дама, тут поблизости.

МИША. Ниче, значит, нельзя?

ЛИДА. Ниче.

МИША. Ты какую книжку читаешь?

ЛИДА. Интересную. *(Хочет уйти, но задерживается.)* Стихи. Сборник стихов. Тут Пушкин, Блок, Есенин, Тютчев, Ахматова. Читал?

МИША. Не-е, я стихи не люблю. Я больше про разбойников да про пиратов люблю.

ЛИДА. Тоже занятная литература. *(Мнет конец косынки.)* Неужели и это вот не нравится? «Вокруг белым-бело, так чисто, пусто так. Зима? Нет, не зима. Светло, а снега нет. Ах, этот белый цвет, ах, эта чистота... Зачем палаты красят в белый цвет? Припомнилось опять: от крови красный наст, и пламя ран, и горя чернота. О, госпитальный цвет! Разительный контраст жестоким фронтовым двум траурным цветам! Других на свете нет. Поклясться был готов! Победы красный цвет, вей знаменем, гори. Мальчишкой верил я, что в спектре семь цветов. А было на войне три цвета. Только три!»

МИША. Здорово!

ЛИДА. Вот! А то: про пиратов люблю... Миша. Да стих-то у тебя как-то душевно произносится. Слушал бы и слушал.

*На койке заворочался Попийвода, приподнял голову Рюрик. Лида это заметила.*

Почитай еще? Поговори!

ЛИДА. Нельзя. Сосед, Попийвода, заворчит.

МИША. Сосед? Да, сосед у меня... А тебя как зовут?

ЛИДА. С этого и начинал бы, как все добрые люди. Лида. А тебя?

МИША. Мишкой. Ерофеев Мишка.

ЛИДА. Вот мы и познакомились. Спи. На рассвете так хорошо спится...

МИША. Ага, познакомились.

*Опять в палате появляется Смерть.*

АФОНЯ. Сестра! Сестра! Сестренница!

ЛИДА. Я все-таки пошла. Зовут. *(Погладила мимоходом по щеке Мишу.)* Ну, как от нее избавиться? Как отмолиться?

АФОНЯ. Сестренница! Тут Смерть! Так и шастает, так и шастает... Отгони ее от койки! Отгони...

ЛИДА. Сейчас! Сейчас! *(Хватает полотенце, машет им.)* Уйди! Уйди! Проклятая! Уйди!

*Смерть, ухмыляясь, пятится, отступает в темноту. Афоня успокоенио расслабляется. Лида дает ему попить из мензурки, озирается вокруг, вглядывается в темноту, подходит к столу, склоняется над книгой.*

*За спиной ее светлеет квадрат окна. Жилы дерева становятся темными. Голова Лиды клонится к книге. В палате продолжается война – редким выкриком, далекой пулеметной очередью, вспышкой ракеты за окном...*

*Медленно светает.*

*В палате на одной, на другой койке шевеление. Кряхтя и стеная, усаживается Попийвода, украдкой крестится, Рюрик, еще не поднявшись с койки, лезет под подушку за кисетом. Со стоном просыпается и начинает кашлять Миша. Разом выбрасывает себя из-под одеяла Восточный человек и обращается к Рюрику.*

ВОСТОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Оставь, сорок, пожалста!

*Продолжает спать и храпеть на всю палату Шестопалов.*

Во дает товарищ старшина!

АФОНЯ. Эту физкультуру он, оборони бог, как любит. Рассвет! Слава богу, рассвет!

РЮРИК. А я разлюбил рассветы. Как рассвет, так снова война, бой. То ли дело сумерки. В сумерках все помыслы чисты, в сумерках все женщины прекрасны...

ВОСТОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Не согласен! Женщина – всегда прекрасный. Асобинна ночью, в саду ли, в агароде...

ШЕСТОПАЛОВ *(с завыванием зевнул).* Ы-ых, люблю я поработать, особенно поспать, люблю повеселиться, особенно пожрать. *(Восточному человеку.)* Откуда ты знаешь про женщин?

ВОСТОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Мы, восточные люди, многие тыщи лет живем и кое-что про женщин знаем! Пануша, грозный медсестра с клизмом на нас, как с автоматом! Мне клизма, Мишке клизма, Рюрику клизма. Попийвода уклоняется, все равно клизма. Шестопалов – клизма нет! Пачиму?

ПОПИЙВОДА. Бо усюду блат! *(Полощет во рту, выплевывает в плевательницу.)* Вон який я тяжелый – процедур нема, одна клизма, лекарствив таж не богато, с госпиталю не выпускают, вахтеров понаставили! У-у, попки!

РЮРИК. Да, ты тяжелый! Кил сто!

ПОПИЙВОДА. Сто двадцать.

МИША. С фунтом! А что я, братцы, во сне видел?!

РЮРИК. Войну? Любовь? Детдом родимый? На! *(Подает Мише докурить.)* Зобни!

МИША *(затянулся).* Ой-ой-ой, пошло-поехало! *(Изображает, как кружится голова.)*

РЮРИК *(отбирает у него окурок).* Это не от наркоза. От любви!

МИША. От какой любви? Ты че треплешься?

РЮРИК. От обыкновенной. *(Грудью на Мишу.)* Кого хочешь провести? *(Бьет себя в грудь.)* Саратовского мужика? Да у нас в Саратове токо народился, сразу тебе вместо соски в одну руку гармонь, в другую – бутылек и...

ВОСТОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Возми миня Саратов, пожалста!

МИША *(с обожанием глядя на Рюрика).* Трепло!

РЮРИК. Между прочим, варежку широко не разевай! За ней, за сестрицей, один младший лейтенант приударяет!..

МИША. Да лан ты, и откуда ты?!

РЮРИК. Сквозь землю на три метра...

НЯНЯ *(входит).* Доброе утро, больные!

БОЛЬНЫЕ *(вразнобой).* Доброе, доброе, чтоб ему...

*Няня дает умыться из таза больным, поливая на руки из банки. Афоню она протирает мокрым полотенцем.*

НЯНЯ. Во-от, во-от! Все полегче!

АФОНЯ. И то, и то! Мне б счас в баньку, парку бы поддать, веничком бы тело высветлить...

НЯНЯ. Какая тебе баня? Какой веничек?

АФОНЯ. Да уж токо в мечтах.

НЯНЯ. А кто не загадывает на будущее, тот и не жилец. Ты надейся, мечтай, на загад спросу нет. *(Оглядывает палату.)* О, милостивцы! Бедность-то, бедность!.. Но все равно, больные, прибирайтесь! Сегодня главврач обход будет делать.

ШЕСТОПАЛОВ. О-о, это серьезно, братцы! Подтяни-ись!

*В палату стремительно вошла Агния Власьевна – с седым хохолком, в золотых очках, ростиком и видом напоминающая полководца Суворова. За нею – сестра Пана, которая, только войдя в палату, нашла глазами Шестопалова и тут же сурово насупилась. В свите еще Лида и еще одна няня.*

АГНИЯ ВЛАСЬЕВНА *(полуоткрыв одеяло на Восточном человеке).* Как у нас тут дела? *(Звонко завозит ему ладонью по спине.)* Молодец! Скоро в строй!

ВОСТОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Вот что такое восточные люди!.. В Левоне говорили: па-амрешь, памрешь... В Виннице: кранты! В санпоезде: каша ему не давай, каша даром пропадет! Как так?.. Сколько вина не выпито! Сколько девушек не целовано! Несогласный! Вай, чуть не забыл! Дайте я вас поцилую!

АГНИЯ ВЛАСЬЕВНА. Потом, потом! После обхода. В процедурной. Мы изготовимся. *(Направляется к койке Афони. Куда делись ее напор и веселость. Она слушает, выстукивает Афоню.)*

*Вся палата настороженно притихла.*

АФОНЯ. Ну, как оно, доктор? Навроде бы лучше?

АГНИЯ ВЛАСЬЕВНА. Да, да. Только вас, голубчик, переведут в другую палату.

АФОНЯ. В изолятор?

АГНИЯ ВЛАСЬЕВНА. Н-нет, в другую... Там будет покойнее, теплее.

АФОНЯ. Мне и здесь тепло. И ребята мне глянутся. Товарищ старшина-однополчанин. Спас меня, можно сказать. Молодежь...

*Агния Власьевна, пряча глаза, уходит от койки Афони. Он было протянул просительную руку, но, всхлипнув, закинул сам себя одеялом с головой. Агния Власьевна, выдвинув ногой табуретку, садится между коек Попийводы и Миши, протирает очки, надевает, сидит, тяжело уронив руки.*

АГНИЯ ВЛАСЬЕВНА. Что, Попийвода, все пэчэ?

ПОПИЙВОДА. Пэчэ, доктор, пэчэ. И шо воно?

АГНИЯ ВЛАСЬЕВНА. А если я вас в палату выздоравливающих? В школьный спортзал? Прохладиться?

ПОПИЙВОДА. Да як же ж так? Недолечивсь, не укрепивсь? Я ж буду жаловаться, писать в наркомат обороны...

АГНИЯ ВЛАСЬЕВНА. Я велю дать вам бумагу и чернила. *(Мише.)* А где этот негодяй, поносивший советскую медицину матерными словами? Где этот архаровец? Дайте мне его!

*Миша тянет одеяло на себя. Агния Власьевна не дает.*

Не-ет, вы поглядите на него, поглядите! Покажи-ка язык! Язык как язык. Обметан. Покурил?

МИША. Разок и зобнул всего...

АГНИЯ ВЛАСЬЕВНА. Зо-обнул! Зачем курил? От наркоза не обалдел? Могу добавить.

МИША. Ну его.

АГНИЯ ВЛАСЬЕВНА. Лидочка! Я срочно в девятую палату. Запишите назначения, раздайте лекарства. *(Шестопалову.)* Жена заморила или на фронте отощал? Пить надо меньше. *(Стремительно уносится из седьмой палаты.)*

*Пана на ходу сдергивает с койки Афони фанерку с температурной таблицей, грозит Мише пальцем.*

ПАНА. Докуришься! Допрыгаешься! Туда же попадешь!.. *(Уходит.)*

*Лида берет с подноса поставленные няней мензурки, заглядывая в журнал назначений, расставляет их по тумбочкам.*

ЛИДА. Пейте на здоровье, крепите оборону... Вам стрептоцидик. Та-ак. Вам – салицилка, аспиринчик... *(Подходя к койке Миши.)* А этому архаровцу плетку хорошую, чтоб берег себя.

МИША. Тебя что, не сменили?

ЛИДА. Не сменили. Старшей сестре похоронная с фронта. Слегла...

МИША. Вон оно что! И у вас тут горе.

ЛИДА. Не-ет, у нас только радости... *(Кладет порошки на тумбочку. Няне.)* Все. В восьмой палате Пана выполнит назначения.

*Няня уходит. Лида присаживается на табурет. Трясет градусник. Сует его Мише под рубаху.*

МИША. Так я че, под наркозом в самом деле крыл?..

ЛИДА. Крыл? Громил! Ниспровергал!.. Вон ваш товарищ не даст соврать.

РЮРИК. Х-хо-э-э! Только теперь я окончательно убедился: против сибиряка по мату никто не устоит! Уж на что саратовские молодцы!..

МИША. А че! Мелкота! Вот у меня дед был, как даст – вороны с неба сыплются! Хотите верьте, хотите нет, в тридцать три колена загибал!..

РЮРИК *(подождав, чтоб Лида отошла).* Дурында! В тридцать три! Она вон возле тебя и так и эдак, родненьким называла, а ты пластаешь...

ЛИДА. Саратовский боец тут одного костылем...

РЮРИК. Заглядывают в палату, хохочут. Цирк им! Сестрица ка-ак топнет ногой: «Человек в невменяемом состоянии, и смеяться над ним могут только идиоты». Я и отоварил одному костылем по кумполу! Покеда!

*Рюрик подмигивает Мише, пристраиваясь на костылях.*

МИША. Че подмаргиваешь? Окривеешь!

*Рюрик удаляется из палаты, прихватив за рукав Попийводу и коленкой вытолкав любопытно вытягивающего шею Восточного человека. Афоня все так же плоско лежит под одеялом. Шестопалов отвернулся лицом к стене.*

*(Возвращая Лиде градусник.)* Ребята подначивали меня. Теперь вот условия создают.

ЛИДА. Не переживай. Обычная картина. Ой, температура подпрыгнула.

МИША *(неожиданно для себя погладил руку Лиды).* Как подпрыгнула, так и спрыгнет. А наркоз ты мне давала?

ЛИДА. Я. Говорю же – старшая сестра не вышла. Она прекрасный анестезиолог. Я первый раз. Изнервничалась вся. А ты мучился, бился, рвался, рубашку испластал.

МИША. Сколько раз сосчитал?

ЛИДА. Сто двадцать. *(Шарит в кармане, перебирает порошки.)*

МИША. А первый раз, когда ранили, всего семь раз. Раз – вдох, два – выдох... И готов! *(Пауза. С тоской.)* И вздымет со стола, и понесет, будто звездочку в темную ночь... Летишь и видишь, как гаснешь... Вот так, поди, и умирают люди? А тебе самой-то не приходилось бывать под наркозом?

ЛИДА. Нет, не приходилось. *(Нашла порошок, развернула.)*

МИША. И не надо, и не надо. Ну его!

ЛИДА. Но я представляю. *(Высыпает Мише в готовно подставленный рот порошок, дает запить.)* Я маленькая в станице у бабушки в гостях играла с ребятами, они бросили в меня ворох соломы, навалились... Я задыхаюсь, боюсь, они не отпускают...

МИША. Во, во! Точно! Хочется рвануться, выкрикнуть удушье...

ЛИДА *(сама себе, тихо).* Ты и рванулся. Чуть-чуть пошевелил пальцем. И крикнул. Шепотом, едва слышно.

МИША. Третье ранение... сказывается.

ЛИДА. Потом, после войны, долго не сможешь заходить в аптеки и больницы – дурно будет делаться от запаха лекарств.

МИША. Дожить еще надо до этого «потом». Ох и порошок! Тьфу! Голимая отрава.

ЛИДА. Ничего, ничего. Может, температуру снимет? *(Щупает лоб Миши.)* А мне тебя жалко было...

МИША. Жалко? С чего бы?

ЛИДА. Лежишь распятый на операционном столе. Рубашка рваная, пульс слабый, жизнь едва в тебе теплится... только пот на лбу... мелкий-мелкий выступает... Я его вытру тампоном – выступит, вытру – выступит... И радуюсь – живой человек, только беспомощный... И вот – ты не смейся, ладно? И вот у меня такое ощущение, что ты мой младенец, ну, мой, совсем мой, мною рожденный... Не смейся, пожалуйста.

МИША. Че уж я, совсем истукан? Только вот... младенец – и сразу матом.

ЛИДА. Это ж в беспамятстве, когда просыпаться начал. Бывает... Мало хорошего слушать такое, да куда денешься? Работа.

МИША. Лан. Ты, это самое... прости меня.

ЛИДА. Так и быть... Прощаю. Какой спрос с дитя? С условием: не будешь больше лаяться?

МИША. Вот гад буду!

ЛИДА. Ну уж... если гад, тогда, конечно... Ой, идти ведь мне надо!

МИША. Посиди еще маленько.

ЛИДА. Две минуты.

МИША. Пять.

ЛИДА. Хорошо, пять. *(Пауза.)* Ой, до чего я устала! Вот легла бы здесь, на пол на голый, и заснула.

МИША. Ты будешь еще приходить?

ЛИДА. А как же? Я работаю здесь. Учусь в мединституте и работаю, чтобы карточку усиленную получать...

МИША. Не-ет, ко мне, сюда...

ЛИДА. К тебе? А тебе хочется, чтоб я приходила?

МИША. Да!

ЛИДА. Постараюсь! *(Потрепав его по отросшему чубу.)* А ты постарайся уснуть, ладно? *(Уходит.)*

*Шестопалов грузно поворачивается, из недр постели достает красную грелку, отвинчивает пробку, брезгливо выплеснув из мензурки лекарство, наливает в нее из грелки. Выпив три мензурки подряд, Шестопалов утирается, теребит за одеяло соседа.*

ШЕСТОПАЛОВ. Афонь! Афонь! Может, подживишь душу?

*Не отзывается Афоня. В палату вкатывается тележка. Няня и Пана берут Афоню вместе с одеялом, перекладывают на тележку, везут. Возвращаются Попийвода, Восточный человек, Рюрик.*

ПОПИЙВОДА *(сторонясь тележки).* Ото ж сотворилась жизнь! Две у ии дороги: у наркомзем и у наркомздрав, и всего один перекресток...

*Шестопалов протягивает Попийводе мензурку.*

*(Опрятно выпив, утер усы, грузно поник.)* Хай живэ той русский мужик Ахвоня.

РЮРИК. Щеб не пекло! *(Принимает мензурку от Шестопалова, несет Мише, встревоженно.)* Э! Э! Кореш! Ты че? Ты че? Весь горишь?

МИША. Ти-ха! Ша! А то загремлю вслед за Афоней...

ШЕСТОПАЛОВ *(Попийводе).* Я Афоню-то на себе... Заползает на меня... Волоку... Сам виноват... недоразведал. Боевому охранению доверился... Там салаги двадцать пятого года, шары на затылке!.. На нейтралке попали в минное заграждение... Хай подняли. Обнаружилось! Фрицы нам и дали! Зачем тащил? Зачем мужика мучил? Зачем все это? *(Трясет, давит грелку.)* Ребята, нету ли у кого? *(Рюрику.)* Чего у вас там?

РЮРИК. Да вот, Мишка...

МИША. Ничего, ничего... Я битый, я сдюжу. Только никому ничего...

НЯНЯ *(вбегая в палату).* Все по местам! Шефы!

*В палату входят два подростка в пионерских галстуках. У одного мальчика через плечо подвешен аккордеон. Они натыкаются на стол... Ощупав спинки коек, стол, табуретки, гости отодвигают в сторону стол, становятся посреди палаты.*

ПЕРВЫЙ МАЛЬЧИК. Учащиеся отдельной образцовой школы слепых детей приветствуют героев битв с фашизмом и предлагают им прослушать маленький концерт.

ВТОРОЙ МАЛЬЧИК *(маршируя вместе с ним).* Мы советские ребята, очень счастливо живем, а как вырастем большие, всех фашистов перебьем!

ПЕРВЫЙ МАЛЬЧИК. Будем крепко мы учиться, как границу охранять, а в свободные минуты будем петь, плясать, играть!

*Второй мальчик пошел в пляс, но наткнулся на койку Рюрика, чуть не упал.*

РЮРИК *(поймал его).* Лучше пойте, ребятишки. *(Присаживается на койку Миши, подтыкает под него одеяло.)*

ВТОРОЙ МАЛЬЧИК *(отряхиваясь).* Есть петь! *(Берет переборы на аккордеоне.)* Л-любимая песня фронтовых бойцов «Медсестра дорогая Анюта!»

ОБА *(поют).*

Дул холодный порывистый ветер,

И во фляге застыла вода,

Нашу встречу в тот зимний вечер

Не забыть ни за что, никогда!

Был я ранен, и капля по капле

Кровь горячая стыла в снегу,

Наши близко, но силы иссякли,

И не страшен я больше врагу.

Не сдавайся ты смертушке лютой,

Докажи, что ты парень-герой,

Медсестра, дорогая Анюта,

Подползла, прошептала: «Живой!»

*Попийвода плачет, Восточный человек плачет, Рюрик, задрав голову, смотрит в окно. Миша, бессильно роняет руку, сваренно распускается.*

ШЕСТОПАЛОВ *(шорнув рукавом по лицу).* Парень! Эй, парень! Поди, брат, сюда! *(Лезет рукой под матрас, вынимает массивные часы с цепочкой, сует их подошедшему мальчику.)*

МАЛЬЧИК *(было взял подарок, но тут же начал отталкивать руку старшины).* Ой, я думал сахар!

ШЕСТОПАЛОВ. Бери! Фрицевские. Золотые. Может, тебя за их вылечат. Может, ты вторым Лемешевым станешь. Я их все одно пропью-у-у-у...

РЮРИК *(трясет Мишу).* Кореш! Кореш! Ребята! Мишке худо! Врача! Сестру! Э-эк скребутся... *(Схватил костыли, метнулся из палаты.)*

**КАРТИНА ВТОРАЯ**

*Изолятор. Глухая белая комната. Две койки, крашенные белым. На одной койке мечется, рвет на себе бинты Миша. На второй койке лежит неподвижно, уставившись в потолок, Афоня. Среди сцены на стуле сидит Лида, просматривает книгу процедур, что-то записывает в нее, что-то зачеркивает.*

*Входит Смерть, напевая: «Во лузях, во лузях, во лузях ходила...» Окинув цепким взглядом палату, всплескивает руками.*

СМЕРТЬ. Ох, живучи людишки! *(Пританцовывая вокруг кроватей, трогает ладонью то одного, то другого.)* Во лузях, во лузях головы косила...

ЛИДА. Зачем ты сюда пришла?

СМЕРТЬ. Ты будто и не знаешь?

ЛИДА. Наглая! Сумасбродная! От крови пьяная...

СМЕРТЬ. Мое время! Всех передавлю! И до тебя, Милосердье, доберусь!.. Ишь, субчики, в изоляторе укрылись! Борются! Со мной? Ха-ха-ха! Пустое дело, ребята! Я королей, бунтарей, инквизиторов, которые страшнее смерти хотели казаться, успокоила. *(Гладит Афоню.)* Ух ты, мой роднуля!

АФОНЯ. Уйди! Уйди!

СМЕРТЬ. Как это «уйди»? *(Делает из пальцев козу.)* Идет козара по большому базару, кого найдет, того забодает, забодает.

ЛИДА. Отстань от человека!

СМЕРТЬ. На тебя его спокинуть? На муки? На страданья? Это ведь жестоко, Милосердье. Эй, товарищ Сидоров! Ты что, со своей Марфой никак расстаться не можешь?

АФОНЯ. Матрена у меня.

СМЕРТЬ. Матрена, Марфа – не все ли равно? Все на одно лицо.

АФОНЯ. Это для тебя все на одно лицо. Моя Матрена как ягодка!

СМЕРТЬ. Эй, Матрена-ягодка! Явись, иначе мужа отобью!

ГОЛОС ИЗ-ЗА СЦЕНЫ: «Я те отобью! Я т-те...»

*Вбегает Матрена.*

МАТРЕНА. Ой, кто это? Зачем ты, Афонюшка, ее привечаешь? Зачем? Она же пустоглазая! Отринь! Отринь! Родимый...

АФОНЯ. Не могу, Матреша. Нет больше сил... Проститься... Милости. Детишек.

*Матрена вводит за руки двух мальчиков в рубашках, подпоясанных поясками, обутых в яловые сапоги. Следом за матерью тащится девочка, сосет палец. В руках у детей зеленые березовые ветки.*

Ваня! Афоня-младший! И Катя-Катенька! Подойдите, подойдите! Я счас! Счас! Сахарку!.. *(Шарит в постели.)* Ах ты! Вещмешок-то в той палате остался. Ах ты! И Мишутку не пошлешь. Горит парень... Допрыгался после операции... Ах ты!

МАТРЕНА. Не напрягайся, кормилец. Они сахару-то и на скус не знают. И неча их сладостями нежить...

АФОНЯ *(пригребая к себе ребят).* Молодцы мои! Мужики! Катю-то, Катеньку берегите! *(Робко гладит девочку. Она дичится.)* Не знают своего тятю. *(Отдыхивается, замечает по березовой ветке в руках у ребят.)* Дак это че, неужто троица?

МАТРЕНА. Нет, кормилец. Весна. Ранняя. Ребята веток наломали, в крынку их с водой – почки-то и проклюнулись.

АФОНЯ. Парни мои, парни! Любите мать- то. И меня не забывайте. *(Переламывает слезы, глядит на сапоги сынов. Встрепенувшись.)* Ты, может, забыла? Грешен, грешен. Матерьялы-то от властей утаил... Как в колхоз вступали, я старую седелку сдал, верхову спрятал. Сгодилась... Такие безысносные обутки получились! Сам тачал.

МАТРЕНА. Я все помню, кормилец, все.

АФОНЯ *(зажмуривается).* Мечталось мне на фронте, шибко мечталось, чтоб было у нас десятеро ребят...

МАТРЕНА. У-у, бесстыжий!

АФОНЯ. Чтоб парней и девок много. Чтоб в дому шумно, чтоб по всей земле оне жили, в гости приезжали со всех сторон...

СМЕРТЬ. До чего жадны эти мужики!

АФОНЯ. Пуля, что в меня угодила, окосила и тех, что ты не родила. Сыновей, дочерей, внучат, правнуков, шеренги целые Сидоровых... Летит та пуля, летит!

СМЕРТЬ. Хватит, хватит. Сейчас ты проклинать меня начнешь. А я костенею от проклятий... Коль хочешь мне услужить...

АФОНЯ. Не-ет, пахарь в услуженье смерти не ходок. Он для жизни рожден. *(Показывает на сыновей.)* Вон оне, мои пахари! Стоят! Неодолимо! И пока под нами дышит земля, нам нет конца*! (Пробует подняться, схватить Смерть за горло.)*

СМЕРТЬ *(сильным толчком отбрасывает Афоню на койку).* Ох, уж эти мужики! Зевни только! *(Матрене.)* Все, разлюбезные, все! Через неделю похоронка. Поплачете, поголосите – и в поле, на работу.

МАТРЕНА *(Смерти).* Воздастся тебе, проклятая, за муки, за сиротство, за вдовьи слезы...

СМЕРТЬ. Иди, иди! Меня поэты проклинали, цари, мыслители, полководцы! Что мне твои бабьи причитания? Иди! Детишек не забывай, а то ведь приберу...

МАТРЕНА *(обхватив ребятишек, пятится).* Прощай, Афоня! Прощай, мой ненаглядный!..

АФОНЯ. И ты прощай, законная жена! И прости за брань, за пьяный кураж. Ладно хоть не бил. Шибко маются на смертном одре мужики, которые жен бивали.

СМЕРТЬ. Довольно! Довольно! Еще разжалобите меня! *(Выталкивает Матрену с детьми.)* Уж я ли всякую тварь в сем земном раю не постигла?! Я – край всему! За мною нет ни лжи, ни правды – пустота, блаженство.

ЛИДА. Что смыслишь ты в жизни, холодная, костлявая, без сердца? В жизни сеятеля тем более...

СМЕРТЬ. Во Милосердье голос подает! Лишь только появилась жизнь из тьмы, из недров, и тут как тут и ну ее давить, корежить, мять, косить! А тут и ты – Милосердье – на голос мрущих. Дитя дитем, не быстро возмужала. На обмане. Все бегом, бегом, все раем, раем утешала сирых... Притвора! Лизоблюдка!..

ЛИДА. Чего ты разоралась? Чего стучишь костылем? Дай покоя!

СМЕРТЬ. Покоя? Покой нам только снится!.. Ха-ха-ха! Эй, мужичок! Хочешь ли покоя?

АФОНЯ *(со стоном).* Хочу, чтобы ты отстала или прибрала меня скорее с богом...

ЛИДА (рушась на колени). Пощади ты его, пощади! Без хлебороба нет жизни!.. Он, что я говорю? Кому?!

СМЕРТЬ. Ага! Дошло! Дошло-доехало и до тебя, пустое Милосердье! А я давно свою задачу знаю.

АФОНЯ. Смерть! Смерть!

СМЕРТЬ. Глупая, послушай! Когда невмоготу – меня зовут, тебя – в надежде. Иду, иду, соколик мой! Иду, касатик! *(Направляется к койке Афони, нервно, вызывающе напевает.)* Афоиьку встретила на клубной вечеринке... Л-ля-ля, л-ля, л-ля-ля, ля-ля, ля-ля... Да ты еще живой?! Шутки шутишь? Такое культурное обслуживание: жена, дети, троица... Ловчишь опять! Усмыгнуть метишь! Не выйдет! Я – баба опытная. У меня разводов не бывает... Давай-ка поторапливайся! Кончай волынить! Что бы ты еще хотел увидеть? Да быстро, быстро, не чешись!

АФОНЯ. Родину!

СМЕРТЬ. Это что?

АФОНЯ. Деревня на Алтае... Чистый Исток называется.

СМЕРТЬ. Чистый! Все-то у вас чистое, светлое... Однако ж быть по-твоему!

*Возникает видение родины: голубое небо, зеленая даль, залитая солнцем, лучатся волшебно солнечные блики...*

АФОНЯ. Горы! Тайга! Пашня! Деревушка на пригорке. Тропинки детские, стежки гулевые... Родина моя! Как же спокинуть-то тебя? На кого?

СМЕРТЬ. Еще один блажной! Родина ему нужна! Нужен ли ты родине? С перебитым-то хребтом?

АФОНЯ. Я ей всякий нужен.

СМЕРТЬ. Святое заблуждение! Рассвет подступает... Успевай, дивуйся. Что там родина, мужик! В слезах, в крови, в бескрайнем горе...

АФОНЯ. Вся в солнце! Небо над нею чистое-чистое! В небе жаворонок трепещется, за деревней кедрачи малахитовые шепчутся...

СМЕРТЬ. Да ты поэт! Постой-постой! Ты вроде оживаешь?

АФОНЯ. Память моя при мне. Сил бы маленько да в поле, на пашню, на луга – я бы тебя уделал...

ЛИДА. Возьми мое сердце, возьми мою силу, пахарь!

АФОНЯ *(с сожалением).* Милосердью без сердца нельзя. Силенки твои, хоть невеликие, тоже людям нужны. Не дай бог им еще и тебя лишиться...

СМЕРТЬ. Довольно болтать! На выход! Без вещей! От барахла у нас свободно...

АФОНЯ. Куда и как мне собираться – знаю! За мной осталось последнее право: умереть достойно. Не базарь, баба! Дай утихнуть.

СМЕРТЬ. Все, все, Афоня из Чистого Истока! Закрой глаза, сделай выдох. Вдох не надо... Не надо... не надо... Во-вот. Достойно и прилично.

ЛИДА. Теперь уйди. Сделала свою черную работу и удались...

СМЕРТЬ. Ах, Милосердье, Милосердье! Я же не артельная, я ж единоличница, и за меня никто не доделает мою работу. Ни сна мне, ни отдыха... тыщу лет... без выходного. *(Треплет волосы Миши.)* Эй-эй, вьюнош, чего болит-то?

МИША. Лопата. Кто положил горячую лопату на грудь? Кто?

СМЕРТЬ. Счас охладишься. *(Прикладывает руку к голове Миши, и он сразу перестает метаться.)* Во-от! Во-от, нет ни боли, ни огня. Блаженство...

МИША *(дернулся).* Взглянуть! Хоть раз взглянуть!..

СМЕРТЬ *(Мише).* Тебе хочется побыть с невестой в последнюю минуту?

МИША. Кому не хочется?

СМЕРТЬ. Ничего нет проще. *(Стягивает с себя платье.)* Во, цивилизация меня приодела! Из кустарей нагих в царь-девицу оборотила! *(Тело Смерти фосфорически светится,)* Ух ты мой хорошенький, мой желанненький...

МИША. Какая ты холодная...

СМЕРТЬ. И-и, милай, ты из такого пекла!..

*Лида сорвалась с места, хватанула Смерть, бросила с койки так, что Смерть загремела, будто пустое ведро.*

ЛИДА. Н-не отдам! Не отдам! Души обоих! Он молод. Он еще ничего в жизни не видел. Люди-и! Агния Власьевна! Рюрик! Да где же вы? Миша! Миша! Да очнись же, опомнись! (Волоком тащит из изолятора Мишу.) Миленький! Родненький! Очнись, не поддавайся!..

СМЕРТЬ. Вот тебе и хлипкое созданье! Одурела, сикуха! *(Напялила платье, поглядела вслед Лиде, озадаченно поцарапала затылок.)* Неужто любовь в самом деле сильнее смерти? *(Уходит, устало, расхлябанно волоча ноги, и оттуда, куда она ушла, из тьмы, из пространства дальних, земных, снова возникает видение родины и раздается торжественный, эхом повторяемый голос Матрены.)*

Ты прости-прощай навеки,

Муж мой верный, дорогой.

Промеж нас леса и реки,

Неприветный край другой.

Может, так оно и лучше,

Я привычна – за двоих.

Пусть тебя ничто не мучит,

Не тревожит снов твоих.

Знай одно, что счастье было,

Била молодость ключом.

Я тебя не позабыла

Спи. Не думай ни о чем.

**КАРТИНА ТРЕТЬЯ**

*Седьмая палата. Попийвода подстригает усы перед зеркалом. Миша лежит на койке, читает книжку. Рюрик с оттяжкой лупит картами по носу Восточного человека.*

РЮРИК. Двенадцать! Тринадцать!

ВОСТОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Вай! Вай! Дай передышка! Пардон!

РЮРИК. Никакого пардону.

ВОСТОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Немцы, фашисты делают передышку на обед, так?

РЮРИК. А не мухлюй! Не мухлюй, азият лукавый!

ВОСТОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Мы, восточные люди, в любви и азартных играх не можим не мухлевать.

РЮРИК. А плуту – первый кнут! Слыхал?

ВОСТОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Лучче бы пацилуйчик!

РЮРИК *(целясь колодой карт).* Счас, счас получишь поцелуйчик.

ПОПИЙВОДА. О то же шпана. Вона и в аду шпаной остается. *(Уходит.)*

*В шинели, надетой на белье, в окно грузно вваливается Шестопалов. Держась за живот, садится на койку Рюрика, трогает «руль» Восточного человека, вынимает грелку из-за пояса.*

ШЕСТОПАЛОВ. Теперь понял, что такое русский дурак?!

ВОСТОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. В дурака трудно играть. Может, умного пробуем?

ШЕСТОПАЛОВ. Сей миг! *(Цедит из грелки в мензурку.)*

*Восточный человек втягивает воздух носом.*

*(Выпивает одну, другую мензурку.)* Идет, идет, милая! И воскресе душа, и возрадухося...

ВОСТОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК *(трясет за рукав Шестопалова).* Эй, товарищ старшина! Рядовых не забывайте, пожалста!

*Рюрик выпил и осипел сразу.*

РЮРИК. Мишке не давай! Он еще слабый. Да и целоваться ему. Отравит.

ВОСТОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК *(выпил, лупит глазами, наконец, выдохнул).* От эта вина! Штрафникам пить, смерти не бояться, так?

ШЕСТОПАЛОВ. Я, может, и есть штрафник.

ВОСТОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Суравна хороший человек! Приезжай Азербайджан, так? На станцию Акстафа, так? Наливаю тебе вина, пьешь, без когтей на столб лезишь! Плюешь сверху на людей! Хорошо?

ШЕСТОПАЛОВ. Куда уж лучше?

ВОСТОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Што ты сидишь? Вина есть. Так? Гость есть. Так? Мы, восточные люди...

*Рюрик наклоняется, тянет из-под койки за ремень аккордеон, пробегает по нему пальцами.*

МИША *(затягивает тихонько).* Не надейся, рыбак, на погоду...

*Подтягивает Рюрик, гудит Шестопалов.*

А надейся на парус тугой,

Не надейся на тихую воду –

Острый камень лежит под водой,

Злая буря шаланду качает,

Мать выходит и смотрит в окно,

И любовь, и слезу посылает

На защиту сынка своего!

*Поет Шестопалов, забрав в горсть лицо.*

Мать родная тебе не изменит,

А изменит туман голубой.

*В палату вплывает Пана. Ребята скоропалительно прячут мензурки. Шестопалов – грелку.*

ПАНА *(принюхивается).* Боже мой! Чем это прет? Прекратите сейчас же безобразничать!

ВОСТОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Вот спасибо, Пануля! Спасла! Н-ни-никакой пощады! Бьет и бьет младшего брата саратовский мужик. *(Тасует карты.)* Может, мы с тобой сыграем, Пануля, в дурака? Я никого не могу обыграть.

*Все это время, пока ребята валяют дурака и идет перепалка, в забывчивости тянет песню Миша и, не отнимая руки от глаз, басит негромко Шестопалов.*

ПАНА. Я вот сыграю! Я вам так сыграю! Пили! Курили!

ВОСТОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Ну и нюх у тебя, Пануля! Тебе бы шпиенов ловить!

ПАНА. Шпионов?! Я вот вас поймаю, да к главному врачу! А ты, Миша, такой приличный мальчик – и связался с этими разложившимися типами! Как не стыдно?

ШЕСТОПАЛОВ (отнимая руки от лица). Тебе, Пана, нельзя сердиться! Тебе надо только улыбаться – тогда от тебя свет, а так ты сразу как все бабы.

ПАНА. Я, между прочим, женщина и есть.

ШЕСТОПАЛОВ. Знаю. И, между прочим, попрошу в укромном месте не попадаться! Могу из-за тебя снова загреметь в штрафную.

ПАНА. И-интересно! Каким это образом?

ШЕСТОПАЛОВ. Обыкновенным.

ПАНА. Все-то вы шутите, товарищ Шестопалов! А у нас ведь работа, служба. Мы на ваши нарушения снисходительно смотрим, потому что трагическая ваша судьба. А вы на молодёжь разлагающе действуете. Вот колечко на руке было. Золотое. Может, обручальное. А вы его...

ШЕСТОПАЛОВ. Кольцо души-девицы... А ну, советская молодежь, вэк! Вэк-вэк из палаты!.. Я в самогонке утопил и за это преступленье в немилость Пане угодил...

*Рюрик набрасывает на Мишу халат и, приобняв его, уводит из палаты. Восточный человек, ухмыляясь, оглядываясь назад, вываливается из палаты.*

ПАНА. Ой, товарищ Шестопалов, я вас боюсь.

ШЕСТОПАЛОВ. Это тебя все боятся. Такая грозная медсестра!

ПАНА. Вы мятежный человек, товарищ Шестопалов!

ШЕСТОПАЛОВ. Не зови меня, Пана, товарищем, ладно? Что я тебе, комиссар, что ли? Выпью с твоего разрешения.

ПАНА. Уж что с вами сделаешь! Только мальчикам – не давайте.

ШЕСТОПАЛОВ. А ты меня и в самом деле боишься? Мятежный! А-ах, Пана, Пана! Мятежный – он ищет бури! А я мужик, псковский скобарь. И не бурь, тишины себе и всем хочу. И еще хочу быть чуркой, на которой ты дрова колешь, ковриком, на который утром ступаешь своими теплыми ножками...

ПАНА. Ой, как нехорошо шутите!.. Мрачно как. Да, я слышала, у вас своя семья.

ШЕСТОПАЛОВ. Где был дом, семья, растет картошка да репей... А зовут меня Эрнестом. Красиво, правда? Отец, бывший балтийский моряк, в честь Тельмана нарек. Ба-альшой патриот был! И помер от язвы желудка.

ПАНА. Вот видишь... Такое имя... А горе ни у одних у вас. Что сделаешь? Война.

ШЕСТОПАЛОВ. Война, Пана, большая война... *(Как бы стирая ладонями что-то с лица.)* А что, Пана, возьму и не погибну. После войны к вам постучуся?

ПАНА. Да что вы? Как можно! Мы вдвоем с мамой на семи метрах. Вы у нас все кастрюли опрокинете...

ШЕСТОПАЛОВ. Скажи, Пана, тебе хочется, чтобы я выжил?

ПАНА. Да я хоть и комсомолка, пусть с просроченным стажем, всем ранбольным вслед молюсь, чтоб жили...

ШЕСТОПАЛОВ. У каждого свой бог. У меня вот его не стало. Помолись хоть своему богу за меня. За кастрюли не бойся. Кастрюли – дело наживное. Которую уроню – поднимем, которую разобью – починим. Да не зайду я в дом, не посмею. Я на скамеечке сяду. Буду сидеть, пока ты не позовешь...

ПАНА. Зачем же сидеть? Дайте телеграмму, я вас встречу, честь честью. Что я, совсем ненормальная, что ли? Нет, лучше вот. *(Достает из кармана ключ, привязанный на бантике.)* Вот вам ключ. Чего вы испугались? Берите-берите. У нас дома два: у мамы и у меня. Пусть он вам будет талисманом.

ШЕСТОПАЛОВ. Ну, спасибо!

ПАНА. За что спасибо-то?

ШЕСТОПАЛОВ. Да за доверие, что ли. Только вот, Пана, мы, фронтовики, суеверны, дорогу переступать... Если у тебя кто там, на фронте...

ПАНА. Глупый! Ненаблюдательный! Да я еще девица! Видел возле меня кого-нибудь? Не видел! Теперь и подавно не увидишь! Со школы это. Я все выступала, все чего-то возглавляла, организовывала: собранья, диспуты, суды, советы. В медтехникуме комсорг, здесь профорг. Ко мне никто не пристает, даже блатные. Не урод, не мегера, а вот не пристает...

ШЕСТОПАЛОВ. Пусть кто попробует!

ПАНА. Слава богу, теперь я под защитой! Ой, как мы надолго уединились!..

*Возвращаются парни в палату. Рюрик и Восточный человек несут новое обмундирование и ботинки.*

РЮРИК. Все! Я – по домам! Фартовый игрок в карты *(кивает на Восточного человека)* и ловко увертывающийся от клизматона разведчик – довоевывать! Дуй, старшина, расписывайся за манатки!

*Шестопалов и Пана уходят.*

*(Перебирая обмундирование, грустно поглядывает на Мишу.)* Ну что, сибирячок-снеговичок? Как тут один с бабами бороться будешь?

МИША. Лан те! Кончай трепаться!

РЮРИК. Выпишут по чистой или после победы – чеши ко мне! Все же отец, мать, халупа своя...

МИША. Там видно будет...

ВОСТОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Солнце, тепла, вина, дружбы хочешь, так? Приезжай на станцию Акстафа, братом назову!

РЮРИК. Он, скорее всего, здесь задержится...

МИША. Да лан те.

РЮРИК. Завяз он тут! Присох. *(Чего-то ищет под койкой и, дурачась, что-то бурчит.)*

ВОСТОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Зачем так шутишь, Рюрик? Нехорошо шутишь! Лучше давай соображать, так? *(Показывает на обмундирование.)*

РЮРИК *(Мише).* Хватит дуться-то! Ну, ляпнул как в лужу... Ты хоть знаешь, где она живет-то?

МИША. На улице Пушкина. Дом с флюгером на крыше...

РЮРИК *(подвигая Мише обмундирование).* Коли с флюгером – найдешь.

ШЕСТОПАЛОВ *(появляется, зашвыривает в угол обмундирование).* Снова здорово! Запасной полк. Пересыльный пункт. *(Трясет, болтает грелку.)* Все выжрали! Спикировать на базар еще разок, что ли?

*Тем временем Миша нацепляет орден, одевается.*

ВОСТОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Я готов, как юный пионер, так?

ШЕСТОПАЛОВ. Старшина должен заботиться о рядовых, так? Я из тебя знаешь какого бойца сделаю? *(Немеет.)*

*Перед ним стоит Миша в новом обмундировании, при орденах, с заглаженными набок волосами.*

О-о, Миша! Ты ли это?

МИША. Ну как, братцы, ничего?

РЮРИК. Да что там ничего! Герой! Красавец! Гренадер!

МИША. Нет, правда, братцы?

ВОСТОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. К артистке тебе надо!

ШЕСТОПАЛОВ. Что ему артистка! Он при таком параде любую буфетчицу свалит.

МИША. Да ну вас!

РЮРИК. Ни пуха ни пера!

ВОСТОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Про природу долго не разговаривай. Небо видишь, так? Землю видишь? Все!

ШЕСТОПАЛОВ *(вытирая Восточному человеку ладонью губы).* Че ты в природе понимаешь, рыло! Ты, Мишка, жми на слабую струну: мол, сирота, пожалеть некому...

МИША. Во обормоты! *(Поспешно уходит.)*

ШЕСТОПАЛОВ. А я двинул другим ходом! *(Набрасывает шинель, лезет в окно.)* Нарушать!

РЮРИК. О, Шестопалов! О, мятежный сокол!

**ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ**

**КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ**

*Комната об одно окно. В одной половине комнаты таз на табуретке под умывальником, полочка со стаканом для щеток и мыльницей. Далее видна темная дверца печки, деревянная настенная вешалка, диван, этажерка, на которой разрозненно стоят книги, альбомы. Во второй половине комнаты, за полураздернутой занавеской, кровать. На ней спит Лида. Мать Лиды надевает пальто, берет сумку, собирается уходить.*

МИША *(втискивается, нерешительно).* Здравствуйте!

МАТЬ. Здравствуйте, здравствуйте! Проходите, хвастайте!.. *(Что-то ищет.)*

*Миша стягивает шапку, прокашливается. Мать нашла кошелек, заглянула в него, направляясь к двери, почти наткнулась на Мишу.*

О, господи! И долго вы еще намерены стоять у порога?

МИША. Не знаю.

МАТЬ. Интересно!

МИША. Вот постою еще, и там видно будет.

МАТЬ. Постой, постой! Да это уж не тот ли гренадер, что вскружил голову моей единственной дочке?

*Миша засмущался, запереступал, наладился повернуть обратно, но мать перехватила его.*

Нет-нет! Раз уж пришли, раздевайтесь. А я в магазин. Я мигом. Лидия спит после дежурства. Но ей пора вставать. *(Уходит.)*

*Миша озирается по сторонам. Не знает, что делать. На цыпочках крадется к кровати Лиды, отодвигает занавеску. Стоит. Затем осторожно протягивает руку, дотрагивается до волос Лиды.*

ЛИДА. Ой! Кто это?

МИША. Домовой.

ЛИДА *(натягивает на себя одеяло до подбородка).* Ой, Мишка! *(Хватает его за чуб, бренчит медалями, перебирает пальцами по орденам.)* И правда, Мишка! Да при всех регалиях! Такой представительный!

МИША. Скажешь!

ЛИДА. И голос Мишкин! Значит, не снится! Мишка сам пришел! Нашел! Один! Мишка! Мишка! Слезы, кровь, горе кругом... И вдруг... Мне кажется, я все еще сплю, и просыпаться не хочется... *(Спохватывается.)* Ой, раскосматилась! Мне ведь одеться надо... Отвернись, Миша. *(Но не может оторвать от него взгляда.)* Отвернись, родненький. Отвернись, лапушка!

*Миша стискивает руку Лиды.*

Отвернись... Мама!

*Миша отпрянул на диванчик, поправил гимнастерку. Лида задернула занавеску, шевелится за нею, одевается.*

МИША. Ушла твоя мама в магазин. Зря орала...

ЛИДА. Магазин рядом. Я горластая. Как завизжу, так...

МИША. Во-во! Визжать – это вы все горазды!

ЛИДА *(появляясь из-за занавески).* Ты откуда про всех-то знаешь?

МИША. Оттуда!

ЛИДА *(чистит зубы).* Грубиян! А ты в самоволке? Или отпросился?

МИША. Жди! Отпустит ваша любимая Агния!..

ЛИДА *(проходя мимо Миши за занавеску).* Молодчик!

МИША. Кто молодчик-то? Я или Агния Власьевна?

ЛИДА. Ты, конечно! *(Появляется в платьице с кокеткой. Оно ей чуть коротковато. Садится рядом с Мишей. Ждет. Потом прикладывает ладонь к его лбу, щупает пульс).* Ты ничего? Не устал? Голова не кружится? Во рту не сохнет?

МИША. Хорошо быть медиком: нет разговору – щупай человека.

ЛИДА. Щ-щупай!.. Вон в изоляторе перепугал нас. Н-ну, что будем делать?

МИША. Я почем знаю?

ЛИДА. «Почем, почем»? Бука. *(Тычет Мишу в бок.)*

*Он, закатившись, валится на диван.*

Мишка, да ты ревнивый.

МИША. Да лан тебе щекотаться-то! *(Берет альбом с этажерки.)*

ЛИДА. Давай рассказывай чего-нибудь.

МИША. Че рассказывать-то?

ЛИДА. Хоть про медведей. Как их в Сибири ловят?

МИША. А за лапу! У меня дед, бывало, придет в лес, найдет берлогу, возьмет медведя за лапу и говорит: «А ну, пойдем, миленький, пойдем в милицию!» Медведь орет, как пьяный мужик, но следует.

ЛИДА. Ой! Это правда?

МИША. Х-хм. Врать стану! Лид, неужто вот этот голый жизнерадостный ребенок на карточке – ты?!

ЛИДА *(вырывает альбом у Миши из рук и бьет им его по башке).* Бессовестный!

МИША. Но, но, гвардейцев бить!

*Миша и Лида понарошку начинают бороться. Лида повалила Мишу на диван, колотит его кулачком.*

ЛИДА. Вот тебе, вот тебе, вральман! Миша. Карау-у-ул! Наших бьют! *(Одним маневром переворачивает Лиду и прижимает к спинке дивана.)* Смерти или живота?

*Их лица сближаются, они тянутся один к другому губами, но, заслышав предупреждающее покашливание, отпрянули к спинке дивана.*

*Входит мать.*

ЛИДА. Мама! А Мишка обманывает меня и балуется!

МАТЬ *(выкладывает хлеб из сумки).* Это ж основная обязанность мужчин, доченька. *(Вешает пальто. Трещит пальцами.)* Н-ну, чем мы будем потчевать гостя?

ЛИДА. Придумаем чего-нибудь.

МИША. Ничем меня и потчевать не надо. Я сыт. Нас хорошо кормят. На убой. Вон Лида знает...

МАТЬ. Мало ли как вас там кормят, и мало ли что Лида знает! А ну *(она подает Лиде бидончик)*, лётом на рынок за молоком! Мы сварим мамалыгу.

ЛИДА. Есть, товарищ начальник. *(Убегает.)*

МАТЬ. Вы ели когда-нибудь мамалыгу?

МИША. Н-нет. Не доводилось.

МАТЬ. Даже не знаете, что такое мамалыга? А ранены уже два раза?

МИША. Третий раз.

МАТЬ. Третий? А лет вам сколько?

МИША. Девятнадцать. Двадцатый. Летом двадцать первый пойдет.

МАТЬ. Да-а, нечего сказать, насыщенная молодость! Окопы, госпиталь, окопы...

МИША. Что же делать? Время нам выпало такое... Может, за нами людям будет легче?

МАТЬ. Может быть, может быть... *(Пробует растопить печку – не получается.)* Дрова сырые, погода гнусная, время ужасное...

*Миша берет секач, колет какие-то жалкие дощечки па лучинки, подбирает бумажку с пола, рвет на клочки, поджигает. В печке занимается огонь. Мать и Миша смотрят на огонь.*

Девятнадцать лет! В таком возрасте по вечеркам, по клубам, танцевать, веселиться.

МИША. У нас танцевать не умеют. У нас пляшут. Вы что-то хотите сказать, так говорите.

МАТЬ *(треща пальцами).* Не сказать, а спросить. Как бы это поделикатнее?

МИША. А вот ловчить и вилять у нас не любят. Валят напропалую.

МАТЬ. Напрямую. Это хорошо. Я как-то разучилась со своим бывшим мужем напрямую... Миша... Лидка стала какая-то ненормальная: спит плохо, на меня покрикивает, то хохочет, то молчит... Миша, у вас ничего такого?

МИША. Нет!

МАТЬ. Не сердитесь на меня. Лидка – все, что у меня осталось. Постарайтесь понять. И поберегите ее. Душонка у нее как распашонка... Всяк может отпечатки пальцев оставить...

МИША. Я понимаю.

МАТЬ. Надо было по-другому это сказать, но раз уж прямо велели...

МИША. И правильно. И добро... У вас муж, случаем, не милиционер?

МАТЬ. А как вы догадались?

МИША. Да вы насчет отпечатков пальцев как-то к месту ввернули...

МАТЬ. Господи! О чем мы говорим! Миша, не сердитесь на меня, не сердитесь... И у матери ум с сердцем не всегда в согласии... Издергалась, извелась за войну. Поглупела, видать... Муж-то нас бросил. Мы все прожили... О чем это я опять?.. Эх, Миша, Миша! Любовь, мечты, романтика – все это славно, все это прекрасно, да не время... не вовремя... Ну, еще неделя; месяц... Потом что? Разлука, слезы, горе... Положим, любви без этих прелестей не бывает. Положим, вас ранят еще раз и вы вернетесь. Какое у вас образование?

МИША. Семь групп.

МАТЬ. А специальность?

МИША. Солдат.

МАТЬ. Вот видите, вот видите! И Лида еще институт не кончила... Так будьте благоразумны...

МИША. Есть быть благоразумным. *(Направляется к вешалке, пробует надеть бушлат.)* Я и в самом деле до сего дня не думал, как и что у нас... Это как свет после ночи... сам собою пришел – и наступил день... Оказывается, за все надо нести ответственность, расплачиваться муками даже за то, чему еще и названия нету...

МАТЬ *(уткнувшись в плечо Миши лицом).* Дети вы мои, дети! Простите меня, Миша! Простите, если можете... И Лидке о нашем разговоре не говорите. И не уходите, пожалуйста, не уходите... Лидка звереныш чуткий... А вот и она!

*В комнату влетела Лида, ставит бидон, раздевается, падает на диван.*

ЛИДА. Ф-фу, мчалась! Автомобиль чей-то своротила! *(Смотрит на Мишу, на мать.)* Что случилось? Вы повздорили?

МАТЬ. Ничего не повздорили. Разговаривали тихо-мирно.

МИША. В основном про мамалыгу. Выяснилось: она все равно как картофельная драчена, только мамалыга варится из кукурузы...

МАТЬ. Представляешь, человек никогда не ел мамалыгу!

ЛИДА. Да! Он медвежатиной всю жизнь питался.

**КАРТИНА ПЯТАЯ**

*Старый длинный штакетник, за ним тенями проступают силуэты домов. Лида и Миша неторопливо шествуют по улице. Миша курит.*

ЛИДА *(палкой трещит по штакетнику, напевая).* Вредный, вредный сибирячок-снеговичок! Крепкий, крепкий у сибирячка табачок. Саморуб. Складно?

МИША. Поэт!

ЛИДА. Запоминай! Город наш запоминай, меня, песню мою... А то уедешь и забудешь.

МИША. Не забуду.

ЛИДА. Как знать?

МИША. Сказал – не забуду, сталыть, не забуду!

ЛИДА. Бу-бу-бу-бу! Какой ты все-таки, Мишка, сердитый, вредный!

МИША. У нас вся родова такая. Медвежатники мы.

ЛИДА. Ты так и не скажешь мне, медвежатник, о чем вы с мамой говорили?

МИША. Так и не скажу.

ЛИДА. Боец! Умеешь хранить тайны! Настоящий боец! А раз настоящий, развлекай меня, как положено на свиданиях.

МИША. Как это «развлекай»? Я те клоун, что ли?

ЛИДА. А мне какое дело? Положено развлекать? Положено. Устав знаешь? Выполняй!

МИША. Не умею. Сказал, не умею!

ЛИДА. Ты все умеешь, только прикидываешься недотепой.

МИША. Лан те трепаться!..

ЛИДА. Какое рандеву! Какое обхождение!

МИША. Че ты выдумываешь-то? «Развлекай, развлекай»... И развлеку... Хочешь, про Милку расскажу?

ЛИДА. Про какую еще Милку? У тебя и Милка была?

МИША. Во, львица! Во, псих! В детдоме корову так звали.

ЛИДА. A-а, корову! Про корову валяй!

МИША. Ты ручкой-то не махай, не махай! Милка, может, умнее другого человека была, добрее – уж точно!

ЛИДА. Ты чего сердишься-то?

МИША. А ниче! Такая же вот дурында свела Милку со свету...

ЛИДА. Сразу и финал!..

МИША. «Финал, финал»... Говорю тебе, мировая корова была! Доиться, правда, не доилась, зато дрова в поленницу складывала.

ЛИДА. Как это?

МИША. Мы научили. Подденет полено на рога, положит в поленницу, отойдет, полюбуется, если поленница не поглянется – разбежится и р-раз ее рогами! Своротит! Потеха! Один раз мы ее в валенки обули, в комнату завели. Милка – понятливая стерва, крадется, ничего не роняет, не мычит. На кровать положили, платочком повязали, одеялом закрыли...

ЛИДА. Люди добрые! Да как же с вами воспитатели-то?

МИША. Выдержали! Куда им деваться? Вот, слушай. Уложили, значит, Милку и говорим: «Милка! Как заведующая войдет, ты мычи, вскакивай и поднимай шухер!» У Милки с заведующей тоже не контачило. Выдра эта все грозилась ее на котлеты пустить. Мы б самуе заведующую скорее в дурдом свели, да под Милкой кровать обрушилась. Милка подумала: шухер начался, давай по дому бегать в платочке, в катанках, все своротила, перебила... Че бы-ы-ло-о! Че бы-ы-ло-о!..

ЛИДА. Миша, а Миш? Она по карманам не лазила?

МИША. Не успели выучить... На котлеты ее всежки пустила выдра!.. Весь детдом ревел, котлеты никто есть не мог... Да и как не реветь? Мороз, дождь, слякость – Милка всегда с нами. В школу идет – все сумки прет на хребтине, на рогах. Потом по городу ошивается, где хлеба кус сопрет, где веник изжует... К большой перемене обратно. Тут ее все ученики угощают, кто конфеткой, кто пряником – кто чем богат, тот тем и рад. За отстающих Милка шибко переживала. После уроков останется, мычит под окнами: зачем, дескать, мучаете бедных детей? Один раз мычала, мычала да как разбежится, да ка-ак даст – всю раму вынесла! Во какая Милка-то была! А ты про че подумала? Э-э, одно у вас, у девок, на уме!..

ЛИДА. Та-ак! Первый номер программы исчерпан. Дуй дальше.

МИША. Че дальше?

ЛИДА. Развлекай.

МИША. Ну-ну, мадам, я уж и не знаю, про что еще врать?

ЛИДА. Врать не надо. Расскажи, о чем с мамой?

МИША. А хочешь анекдот?

ЛИДА. Давай анекдот.

МИША. На фронте, значит, фрицы кричат: «Еван! Еван! Переходи к нам! У нас шестьсот грамм дают». А наши ему в ответ: «Пошел ты!..» Ну, ты знаешь, куда пошел...

ЛИДА. Смутно догадываюсь.

МИША. Пошел ты, значит, куда-то! У нас кило дают, и то не хватает. Ха-ха-ха! Не смешно, да? У-ух, какая ты! Это не я вредный, это ты вредная! Что же делать-то?

ЛИДА. Читай стихи.

МИША. Стишки? Да я один всего и помню. «Однажды в студеную зимнюю пору...»

ЛИДА. Можешь дальше не трудиться. В школе, лет восемь назад, за чтение этого стиха я отхватила отлично. Говори, несчастный, о чем вы с мамой?

МИША. О-ох! Не зря мы лупили отличников! Все-то они знают, все-то постигли. Хоть постой, врубило! Помню. Жалобный стих помню. Нашему радисту баба в тылу изменила, и он, этот стих все декламировал. Сидит у радии, не ест, не пьет, не воюет, все декламирует, декламирует...

ЛИДА. А хитрый же ты, Миш-ка-а!

МИША. У нас вся родова...

ЛИДА. Довольно про родову... Стих давай! Но только не про войну. Войной я во как сыта!

МИША *(прокашливается).* Я не любил, как вы, ничтожно и бесстрастно, на время краткое, без траты чувств и сил, я пламенно любил, глубоко и несчастно, безумно я любил... Та-та-та, та-та, безумно я любил...

ЛИДА. Мишка, не придуривайся!

МИША. Ну отбило. Забыл. Та-та-та... Снова врубило! Та-та-та!.. И вся моя душа стремилась к ней любя. Я обожал ее, она ж, смеясь, твердила: «Я не люблю тебя!» Как? Ниче?

ЛИДА. Потрясающе.

МИША. То-то же! Дальше еще переживательней. Я звал забвение, покорный воле рока, бродил с мятущейся и смутною душой, но всюду и везде, преследуя жестоко, она была со мной! Длинный стих-то, где все упомнишь? Конец буду.

ЛИДА. Валяй конец.

МИША. И в редкие часы, когда, людей прощая, я снова их люблю, им отдав себя, она является и шепчет, повторяя: «Я не люблю тебя!..»

*Лида и Миша стоят притихшие.*

ЛИДА *(ложится на грудь Миши щекой).* И в редкие часы, когда, людей прощая, я снова их люблю... Ты бы хоть поцеловал меня, медвежатник.

*Миша торопливо ткнулся в воротник Лидиного пальто.*

Медвежатник ты, медвежатник! Тебе бы со зверьем только якшаться. Ты и целоваться- то не умеешь!

МИША. А ты? Ты все умеешь?

ЛИДА. Нет, Миша, я ничего не умею. Давай учиться сообща.

*Они поцеловались и стоят, глядя в ночь. В полутьме, с кайлом и лопатой, в рабочем комбинезоне, в шапке, ковыряется Смерть, что-то ищет, вынюхивает.*

*(Заметив Смерть.)* Опять она тут! *(Пытается утянуть Мишу подальше.)*

*Но Миша оставил Лиду, подошел, взял Смерть за воротник, повернул к себе.*

МИША. Чего тут ищешь? А пододелась-то! Пододелась... Рядишься! Маскируешься?!

СМЕРТЬ *(со вздохом).* Что же делать? Солдатик? Всяк со своей задачей, культурно говоря – миссией... Дал бы закурить?

*Миша протягивает кисет. Смерть уверенно и быстро излаживает цигарку. Миша дает ей прикурить.*

*(Закашлялась.)* Ну и самодрал! Так о чем я? A-а! Научились, понимаешь, людишки обманывать меня, отмаливаться, прятаться. Вот я и крадусь, оборотнем прикидываюсь... Стра-а-тегия, обратно.

ЛИДА. Слов-то, слов каких набралась!

СМЕРТЬ. Все у людей, голуба, у людей. Они кого хошь и чему хошь научат.

МИША. Курить-то где выучилась?

СМЕРТЬ. В местах не столь отдаленных.

ЛИДА. Устаешь везде-то поспевать?

СМЕРТЬ. Устаю не устаю, жаловаться некому. Службу несу исправно. Тут вот, невдалеке, в развалинах, после бомбежки людишки заваленные жили. Уж так ли сильны, так ли терпеливы!.. Почти месяц, считай... без воздуха... без пищи... капля по капле воду собирали из оторванного водопровода, всю живность подвальную приели. Дюжат. Ждут. Я уж смотрела, смотрела и... пожалела бедняг...

ЛИДА. Пожалела?! Слушать тебя...

СМЕРТЬ. И послушай! Умнее станешь.

МИША. Шла бы ты...

СМЕРТЬ. Напрасно вы со мной, вьюноши, отношение портите, напрасно... Я ведь могу и намучить, прежде чем пожалеть...

МИША. Иди, иди!

*Смерть заглядывает озабоченно за забор, досасывает окурок, уходит.*

ЛИДА. Ушла! Слава богу, ушла! *(Показывая на небо.)* Вызвездило. Может, там и наша звездочка есть? Хоть самая-самая маленькая...

МИША. Есть, да не про нашу честь!

ЛИДА. Все испортила, костлявая!

МИША. Мне пора уходить. В розыск попаду...

ЛИДА. Да, пора. *(Ежится.)* Давай все- таки загадаем во-он ту звездочку, рядом с ковшиком. Она такая маленькая, голубенькая... звезда, звездочка, звездушка.

МИША. Давай. Ты чего плачешь-то?

ЛИДА. Не знаю, Миша. Ничего не знаю.

МИША. Забудь об этой заразе. Шляется тут. Нервишки у тебя барахлят.

ЛИДА. Нервишки, Миша, нервишки.

МИША *(прижимает Лиду к себе, гладит по голове).* Хорошая ты моя!..

ЛИДА. И ты, Миша, хороший мой.

**КАРТИНА ШЕСТАЯ**

*Коридор госпиталя. К белой стене придвинут деревянный диван-скамейка. Двое ранбольных сражаются на диване в «Чапая» – игра в пешки, когда щелчком бьют по пешке и она выбивает строй «противника». Возле сражающихся несколько болельщиков. Среди болельщиков толкается Смерть. По коридору прогуливаются перед сном ранбольные, рядовые в халатах, в одеяльных юбках, офицеры в пижамах.*

БОЛЕЛЬЩИК *(возле дивана).* Сила есть, ума не надо! Ты как бьешь-то?

ИГРОК. Не лезь! Не твое дело! Так-так-так!

*Появляются двое в пижамах. Один старенький, суетливый, другой солидный, с мохнатыми насупленными бровями.*

СТАРИЧОК *(попрыгивая вокруг бровастого).* И не говорите, и не возражайте, полковник! Нравственность – понятие разностороннее и традиционное. Да, она лежит в сфере сознания, и потому какой уровень сознания, таков уровень нравственных отношений среди людей. Вот, к примеру, есть в Африке племя карибов, в котором мужчины и женщины разговаривают на разных языках.

ПОЛКОВНИК. На разных?!

СТАРИЧОК. Да, да, на разных! И знаете, полный порядок и гармония царят в сем благословенном племени.

ПОЛКОВНИК. Это, положим, к понятию нравственности никакого отношения не имеет. Это, скорее, из области причуд.

СМЕРТЬ *(игроку).* Ы-ых, мазила! Не брался бы! Вот что ты лупишь? Куда, зачем? Тут стратегия нужна, стра-те-гия!..

ИГРОК. Отвали, баба, не мешай!

СТАРИЧОК *(полковнику).* А что, по-вашему, есть нравственность?

ПОЛКОВНИК *(разводит руками).* Боюсь, не объять необъятное... Но что понятие это разностороннее, совершенно с вами согласен. Вот хотя бы они. *(Кивает на играющих в шашки солдат.)* Ранены, биты, еда – чай да каша пища наша, перевязаны стираными бинтами, на палату один халат, пара тапочек, а они такой урок чистоты преподали бы...

СТАРИЧОК. Вот эти стриженые?

ПОЛКОВНИК. Да-с, милостивый государь, эти-с!

*Удаляются.*

*Являются два солдата-pазгильдяя, один в белье, другой в шинели. Первый тянет за грудки второго, прислоняет его к стене.*

ПЕРВЫЙ. Из рота рвешь, гад? Я те пайку отдал? Отдал! Чтоб ты мне шмару зафаловал! А ты?

ВТОРОЙ. А я находчивость проявил. Пайку сховал и сам по шмаре.

ПЕРВЫЙ *(плюет на второго).* Кусочник! Арестантская харя! Попадись ты мне на передовой! *(Снова хватает за грудки второго, но в это время появляется старичок с полковником.)*

*Полковник вклинивается между разгильдяями.*

ПОЛКОВНИК. Прекратить! Я кому сказал – прекратить?

ПЕРВЫЙ. А че он, гадюка!.. *(Рвется ко второму.)* Я те все одно глаз выбью!

ВТОРОЙ. У глазу хозяин есть! *(Загоготавши, ринулся к дивану.)* Я на очереди! Играю на высадку! За пайку!

БОЛЕЛЬЩИК. За пайку играй в родной тюряге!

ПЕРВЫЙ *(заметив Смерть).* Х-хо, баба! *(С ходу лапает ее за зад.)* Это че такое? Одне кости!

СМЕРТЬ. Ущипни еще раз, мордоворот! Ущипни! Я так тя ущипну!

ИГРОК. Ребята, да откуда эта баба? Че она тут базлает, на самом-то деле?

БОЛЕЛЬЩИК. Черт ее знает! Все время меж нас отирается. И наглеет, и наглеет... Ты откуль, в самом деле, взялась?

СМЕРТЬ. Откуль? Откуль? Не видишь, что ли? *(Топает ногами.)* Лучше не доводите меня до психу! Всех перешшелкаю! *(Морщится.)* А накурили-то, накурили! Совсем женщину уважать разучились, оглоеды! *(Увидев полковника и старичка, Смерть приветствует их.)* A-а, старые знакомые! Обманули, обманули вы меня! Нехорошо, нехорошо-о!

ПОЛКОВНИК *(глядя вслед Смерти).* Я где-то видел эту препротивную особу. Во сне? В бреду ли?

СТАРИЧОК. И я, знаете ли... И я... Ну, господь с нею! Так вот, дорогой мой полковник, два эти разгильдяя были вескими контраргументами, и я бы ими воспользовался, ниспровергая вас, если б не знал очаровательную сестричку и молоденького солдатика...

ПОЛКОВНИК. Прошу вас, оставим их в покое.

СТАРИЧОК. Охотно, охотно! Лучше я вас заморской экзотикой буду удивлять.

*Оба удаляются.*

*Появляется Лида. Она что-то или кого-то ищет. Подходит к дивану.*

ЛИДА. Больные, вы не видели Мишу?

БОЛЕЛЬЩИК. Какого еще Мишу?

ИГРОК. Да Мишку Ерофеева. К психам он ушел, к психам, в девятую палату.

ВТОРОЙ ИГРОК. Не мешай играть, сестрица! *(Становится на колено, засучивает рукав.)*

*Появляется Пана.*

ПАНА. Кыш, больные! Кыш по палатам! Хватит, хватит, хватит! Спатиньки, спатиньки! *(Пытается отобрать доску с шашками.)*

БОЛЬНЫЕ *(не дают).* Н-ну, сестрица! Ну-ну, еще одну, последнюю,

ПАНА. Так и быть, последнюю. *(Как бы только заметив Лиду.)* Лидочка? Ты кого ищешь, Мишу? А он на праздник ушел, на Международный женский день, к шефам на швейную фабрику. Пусть развлечется мальчик, ему днями отправка. Все, все, мальчики! Все! *(Берет под мышку доску и величественно удаляется.)*

БОЛЬНЫЕ *(тащатся следом).* Сестра! Пана! Панюшенька! Еще одну!..

*Лида присаживается на диван, закрыв лицо руками. Является Старичок-философ. Замерев в охотничьей стойке, он смотрит на сестру. Почувствовав его взгляд, Лида отнимает руки от лица.*

СТАРИЧОК. Какое время, миледи?

ЛИДА. Военное!

СТАРИЧОК. Да что вы говорите?! А я, знаете ли...

ЛИДА. Отбой был?

СТАРИЧОК. Был, был. Но знаете ли...

ЛИДА. Так какого черта шляетесь? Марш в палату! Расшлялись тут по коридору, по швейным фабрикам! Я вам всем покажу! *(Топает ногой, да так сердито, что Старичок отринул.)*

*Пока Лида разорялась, появляется Миша – в бушлате, в сапогах. Ухмыляясь, понаблюдал всю сцену и вдруг пошел, пьяно пошатываясь, и грянул: «Ха-ха! Там, за поворотом, гоп-стоп, не вертухайся! Схватили два мазурика и-ий-йо-о-о!» Шествует мимо Лиды.*

*(Цап его за шкирку.)* Стоп, мазурик!

МИША. И ктой-то?

ЛИДА. Ты где шляешься, несчастный?

МИША. A-а, это вы, миледи!

ЛИДА. Я те покажу миледи! *(Втягивает носом воздух.)* Да от тебя пахнет духами! Дешевыми, пошлыми! Ты провожал модистку? Признавайся, несчастный!

МИША. Провожал.

ЛИДА. И ты целовался с ней?

МИША. Целовался.

ЛИДА. Сколько?

МИША. Чего сколько?

ЛИДА. Целовался?

МИША. А кто ее знает? Может, час, может, два? Часов-то у меня нету.

ЛИДА. А потом?

МИША. Чего потом?

ЛИДА. Чего было потом? И не лги, не выкручивайся!

МИША. A-а? Потом я вспомнил, что ужин пропадает, и домой рванул.

ЛИДА. Дурак! *(Опускается на диван.)* Я тут ищу его, а он... Все надо мной смеются, кто – к психам ушел, кто куда, а эта ваша Пана-сестрица... Уу-х! Я бы вас всех!.. *(Пластает какую-то бумажку.)*

МИША. Во даешь! Не позавидуешь мужичонке, который тебе достанется!

ЛИДА. Мужик у меня будет один! Ты!

МИША. Н-не, я не согласен!

ЛИДА. Не отвертишься!

МИША *(чешет левой рукой затылок, правой зад).* А если сразу развод?

ЛИДА. Разводящий не пришел! Прекрати чесаться, несчастный! Ты пил там?

МИША. А ты дура!

ЛИДА. Конечно, дура! Была бы умная, разве б пристала к такому? *(Приваливается к Мише.)* Ты, правда, не целовался?

МИША. Ну, чесслово. Послали нас играть женихов на фабрику. Че может быть нелепей? Ребята по стенкам жмутся, кто с палкой, кто одноглазый, кто без руки... Одеты в бэу – все с чуждого тела... Напились поскорее и мужики, и девки, чтоб не стесняться. Я маленько выпил и ушел... Думал, тебя дома застану...

ЛИДА. А я подменила дежурную сестру. Тебя ведь днями выпишут. Я и хотела еще побыть с тобой...

МИША. Во как? Ну, все равно, рано или поздно.

ЛИДА *(обнимает Мишу).* А невест, Миша, играть тоже нелегко.

МИША. Ты, что ли, играешь?

ЛИДА. Не обо мне речь... Сдавай старшей сестре амуницию. Праздник кончился, Миша.

*Лида и Миша стоят, обнявшись. Из-за кулис выступила Смерть, в старом халате, в белой перепачканной косынке. Словно споткнулась, остановилась, прислушалась и, приложив палец к губам, на цыпочках, неслышно ушла назад.*

**КАРТИНА СЕДЬМАЯ**

*Седьмая палата. В ней поставлена печка вместо стола, горит электросвет. На койках раненые-новички. Они тоже воюют во сне. Из старых остался только Попийвода. Лида и Миша сидят неподвижно возле горячей печки. У Лиды на коленях папка с историями болезней. На папке мертво покоятся ее руки, Миша молча курит. Докурил цигарку, сунул в подтопок, подшевелил в печке клюкою, смотрит на огонь, не вставая с колена.*

МИША. Тепло-о! Зимой колели, к весне печку поставили. Пор-р-ря-дочки...

ЛИДА. Легче с углем и дровами стало, вот и поставили, электростанцию восстановили.

*Снова умолкли Лида и Миша.*

МИША *(подвигаясь к Лиде с табуреткой).* Эй, гражданин начальник! Ты спишь?

ЛИДА. Сплю.

МИША. Нельзя ли поспать рядом?

ЛИДА. Нельзя!

МИША. В одном романе я вычитал: «Если женщина говорит «нельзя», стало быть, можно, даже нужно».

ЛИДА. В каком это романе? Я бы тоже почитала.

МИША. Кажись, во французском.

ЛИДА *(не открывая глаз).* О чем мы говорим в последнюю ночь! Тебя же завтра отправят на пересылку, затем в нестроевую.

МИША. Нет уж, дудки! Рельсы таскать и мыло варить пусть дураков ищут. Я к себе в часть!

ЛИДА. Снова на передовую? В четвертый раз?

МИША. Привычно! Это кто в тылу окопался, тому в дичь, а мне окромя волос и терять нечего...

ЛИДА *(все не открывая глаз, нащупывает руку Миши, гладит ее).* Оторвало бы...

МИША. Че?

ЛИДА *(встряхнулась, открывает глаза).* Да ничего! Резали, резали, пилили, пилили, чистили, чистили – и рука осталась, и грудь зажила. Ничего не болит? Не беспокоит?

МИША. Вашими молитвами.

ЛИДА. Молитвы наши ни при чем. Силы в тебе много.

МИША. А мне ее много и нужно. Некому меня, детдомовщика, кормить, если калекой стану. *(Встряхнулся.)* Но я, знаешь, когда захочу, так и баню сворочу!..

ЛИДА. Стоп, военный! На шутки у нас нет времени. Давай поговорим о чем-нибудь серьезном.

МИША. О чем же?

ЛИДА. Разве не о чем? Разве ты ничего мне не хочешь сказать на прощанье? Вдруг тебя убьют?.. Нет!.. Нет!.. *(Лида бьет себя кулаком по рту.)* Нет, Миша! Нет! Сорвалось!..

МИША. Не дамся!

ЛИДА. Опять ты с шутками. А если тебя и в самом деле не станет, что будет со мной?

МИША. Да и откуда мне знать? Меня еще ни разу до смерти не убивало... В изоляторе помер бы, дак ты...

ЛИДА. Больно-то как! Тут больно! *(Берет его руку, прикладывает к груди.)*

МИША. Лан те! Заревем оба, че хорошего!

ЛИДА. И зареветь нельзя, больных поразбудим... Раньше бы хоть помолились. Но мы ж атеисты...

*Опять смолкли.*

Миш, а Миш! Ты хоть башку-то удалую под всякую пулю не подставляй.

МИША. Лан, не буду. Я их, чуть чего, ротом заглочу! Хам – и нету! Как Рюрик.

ЛИДА. Рюрик! Рюрик! «В футбол буду играть. В футбол...» Легкое все в дырах от осколков, а он – в футбол!..

МИША. Рюрика послушаешь – у них в Саратове сплошь футболисты да гармонисты. Лида. Оба вы обормоты несчастные!

*Миша понарошку проводит пальцем под носом Лиды и вытирает палец о конец косынки.*

У-у, противный! *(Бьет Мишу по руке и вдруг в ухо выпаливает.)* Их либе дих!

МИША. Чево-о!

ЛИДА *(выпрямившись).* Их либе дих, балбес ты этакий! *(Закрывается руками.)*

МИША *(топчется перед нею).* Я тоже... либе... Тоже их либе... Да ну его, этот немецкий! Я и в школе-то по шпаргалкам... Я еще тогда, когда ты возле меня...

ЛИДА. Так что же ты молчал?!

МИША. Страшно. Слово-то какое! Его только раз в жизни произносить можно. Только... раз...

ЛИДА. У-у, противный! *(Бьет Мишу кулаком по голове, тут же обнимает и утыкается лицом в него.)* Противный! Противный! Противный! И откуда ты свалился на мою голову?

МИША. С верхней полки.

ЛИДА. Кажется, светает! Неужели все? Вот только сказали друг другу – и все? Мишка! Мишка! Что же ты молчишь? Что ты все молчишь?

*Миша, боясь заплакать, отворачивается.*

Миша, я попрошу тебя. Ты сделаешь для меня...

МИША. Что хочешь?

ЛИДА. Я поставлю тебе температуру... Миша *(пятится от нее, открещивается руками).* Ты с ума сошла! Ты че буровишь-то?

ЛИДА. Ну, поднялась... ну, неожиданно... ну... бывает...

МИША *(трясет Лиду.)* Лидка! Лидка! Опомнись!

ЛИДА. Пусть меня с работы попрут, из института... Но я так хочу побыть с тобой, так хочу!

МИША. Не блажи, Лидка, не блажи! И за что нам такая мука?

ЛИДА. Что будет со мной? С нами? Я хочу, чтобы ты вечно был!..

МИША. Да я же еще здесь, живой еще...

ЛИДА. Тут! Тут! Тут! *(Тычет себя пальцем в грудь.)*

МИША. Да-а, если тут...

ЛИДА. Нет, нет, это не предчувствие, нет! Просто болит, тут болит.

МИША. Боль проходит. Я много боли перенес в жизни и вон какой жизнерадостный...

ЛИДА. Ты еще можешь шутить!

МИША. У нас вся родова веселая. Вот у меня дед...

ЛИДА. Это который медведя за лапу ловил?

МИША. Че медведей! Он однажды девку за поскотиной поймал, и стала та девка сразу моей бабкой.

ЛИДА. Вот это дед! Рубака! Не то что некоторые... *(Гладит Мишу ладошкой по лицу.)* Мишка, да у тебя борода?! Мишка-Михей, бородатый дед!

МИША. Тихо ты! Поразбудишь всех! И правда, че-то просеклось!

*С койки поднимается Попийвода, почесываясь, шествует мимо примолкших Лиды и Миши.*

ПОПИЙВОДА. Сидымо? А утро? Вот у меня дочка тэж заневестилась! Тэж, мабуть, до утра с парубком милуется... *(Ушел, на ходу разбирая ширинку.)*

ЛИДА. Утро! И в самом деле утро! Как же я завтра на дежурство приду, а тебя нет?

МИША. Ты прости меня, Лидия!

ЛИДА. За что же, Миша?

МИША. Я не знаю, за что, но чувствую себя виноватым...

*Возвращается Попийвода, зевая, укладывается в постель. И тут же возникает Смерть, в старой солдатской шинели, в пилотке, в обмотках. Шарится руками по койкам, заглядывает в лица спящих. Увидела оцепеневших в объятиях Лиду и Мишу.*

СМЕРТЬ. Эти еще здесь?! Все не могут разлучиться! Ах, страсти, страсти роковые! Помилуйтесь, помилуйтесь минуту-другую, я у печки кости погрею. *(Присаживается за печкой.)* Какая благодать! Вот так бы сидеть вечно в тепле. Так нет, все работа, все сроки поджимают. Выходит срок и этого солдатика... А тихо-то как! Эх, кабы не вражда людская, быть может, и я бы отдохнула... Устала я, совсем устала!..

*Миша замечает Смерть и заслоняет от нее Лиду.*

*(Приветливо делает Мише ручкой.)* Пора, солдатик, пора!

МИША *(шепотом).* Дай встретиться еще хоть раз!..

СМЕРТЬ. А эта встреча неизбежна.

МИША. Нет, не на том, на этом свете!

СМЕРТЬ. Ах, хитрованы! Вымогатели! Все чего-нибудь да выпрашивают. Не пожалей, солдат! Я вам устрою встречу не из легких...

МИША. Пусть пожалею, пусть! Пусть мука, пусть страданье.

СМЕРТЬ. Что ж, коли добро не понимаешь. *(Машет рукой, и сзади высвечиваются ворота, тускло видны буквы: «Запасный полк».)*

**КАРТИНА ВОСЬМАЯ**

*Возле ворот с винтовкой поплясывает Попийвода.*

*Появляется Лида.*

ЛИДА. Попийвода! Товарищ боец! Сторожите, значит?

ПОПИЙВОДА. Пристроився. Так разбегутся ж. Такой народ. Ось бачьте: воинская часть – забор, ворота, часовой, а воины тикают!

ЛИДА *(просительно).* Мне бы Мишу!

ПОПИЙВОДА. Якого ще Мишу?

ЛИДА. Ерофеева. Вы же знаете, в палате рядом лежали.

ПОПИЙВОДА. У палати, у палати!.. Щоб вона сгинула, та палата. Недужного человека в часть! Це як?!

ЛИДА. Я все, что могу, делала и делаю для раненых.

ПОПИЙВОДА. Тебя благодарю, бо доброе дитятко. Но той Агние-змие!.. Шоб ей шшастя не було! *(Кричит в ворота.)* Рахвеев! Эй, Рахвеев! Пришли тут до тебе!

*Появляется Миша.*

МИША *(смотрит на нее в упор и вроде бы не узнает).* Пришла?! *(Медленно, трудно.)* Ты зачем сюда пришла? Зачем? Чтобы увидеть доходягу? В расшлепанных ботинках, драного, стриженого. Н-на, смотри! Любуйся! Пока не переобмундировали...

ЛИДА. Миша! Да что ты! Что ты, миленький! Что ты! Я уйду... уйду... если нужно, уйду. Вот только письмо... Счас-счас. Я уйду... уйду... *(Шарится в рукаве пальто.)* Счас- счас...

МИША. Какое письмо? Откуда?

ЛИДА. От Рюрика. Оно третьего дня пришло. Я подумала: зачем его обратно отсылать? И... и... и вот... принесла...

МИША. Спасибо!

ЛИДА. Мне уходить?

МИША. Да, да, уходи! *(Замечает, как Смерть оттерла Попийводу от ворот, встала вместо него на посту.)* Матери привет передай! Прозорливая, умная она у тебя женщина! И, пожалуйста, не оглядывайся!

ЛИДА. Я боюсь, Миша! Тебя одного боюсь оставить! У тебя в глазах что-то...

МИША *(зажимая лицо руками и становясь так, чтобы Лида не видела Смерти у ворот).* Я прошу тебя, прошу! Ну, что ты хочешь? Чтобы я сказал, что мне плохо без тебя, что на ране открылся свищ, что мне одиноко, голодно, холодно, что предчувствия мучают меня, что сны один кошмарнее другого...

ЛИДА. Я хочу видеть тебя. Хочу с тобой быть! Взять от тебя боли, убавить твои муки, страдать вместе... Миша! Ми-и-ша! Я же люблю тебя, такого люблю еще больше!

МИША. Какого такого?

ЛИДА. Такого вот... неистового и беспомощного. Это я, я отбила тебя у Смерти, воскресила для нас, для жизни совместной, для любви...

ГОЛОС ПОПИЙВОДЫ *(за воротами).* Рахвеев, на построение...

МИША. Мне пора. Через час отправка. Прощай! Пожалуйста, не оглядывайся! Пожалуйста!.. Примета такая... Прошу тебя...

*Миша допятился до ворот. Смерть интимно взяла его под руку и увела. Лида осталась одна. Послушно выполняя наказ Миши, не оборачиваясь, она твердит.*

ЛИДА. Не уходи! Не уходи! Побудь еще минуту! Не уходи! Не уходи!

*Сужается край света вокруг Лиды. Слышно войну, выкрики команд: «Вперед! Вперед! Перебежками! Р-руби! Залпом пли!» Треск очередей, разрывы, вой мин и тот страшный, все пронзающий звон.*

Я хочу побыть с тобой еще хоть день, хоть час, хоть минуту...

*Пятно света сужается.*

Пусть остановится война на день, на час, на минуту!.. Пусть остановится!..

*Нарастает грохот войны. Лиду теснит темнотою. Отступая от нее, Лида рушится на колени возле оркестровой ямы... будто у обрыва, и, воздев руки к небесам, с отчаянием и мольбой взывает.*

Пусть остановится война!..

*Конец*

**К урокам 21-22.**

**Александр Вампилов. «Прощание в июне».**

**Александр ВАМПИЛОВ**

**ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ**

*Комедия в двух действиях*

Действующие лица

КОЛЕСОВ.

БУКИН.

ФРОЛОВ.

ГОМЫРА.

РЕПНИКОВ.

ЗОЛОТУЕВ.

ТАНЯ.

МАША.

РЕПНИКОВА.

ВЕСЕЛЫЙ. |

СЕРЬЕЗНЫЙ. |

КРАСАВИЦА. | студенты.

КОМСОРГ. |

СТРОГАЯ. |

МИЛИЦИОНЕР.

**ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ**

**УЛИЦА**

*Весна. Крашеный забор, большая доска с объявлениями, афишами. Угол старого двухэтажного дома, столб с табличкой: «Остановка автобуса». Слышны гаммы: в старом доме кто-то учится играть на фортепиано. Таня читает афиши. Появляется Колесов.*

КОЛЕСОВ. Добрый вечер.

ТАНЯ *(не оборачиваясь).* Добрый вечер.

КОЛЕСОВ. Давно нет автобуса?

ТАНЯ. Не знаю. *(Оборачивается.)*

КОЛЕСОВ. Ого... добрый вечер!

ТАНЯ. Что значит «ого»?

КОЛЕСОВ. Комплимент.

ТАНЯ. А-а... *(поворачивается к афише.)*

*Некоторое время оба молча читают афиши.*

КОЛЕСОВ *(подходит к Тане).* Девушка, куда Вы едете если не секрет?.. *(У афиши.)* В кино?.. Нет?.. Ну значит, на концерт... Тоже нет?.. Куда же вы собрались? Неужели в театр?.. Все ясно. Куда – вы этого еще сами не знаете. А раз так, то идемте со мной.

ТАНЯ. Пристаете?

КОЛЕСОВ. Нет. Хочу вас пригласить...

ТАНЯ *(перебивает).* Спасибо, но пригласите кого-нибудь другого... И вообще у меня нет времени с вами разговаривать.

КОЛЕСОВ. Это неправда... Вы сколько раз прочли афиши? Скажите честно.

ТАНЯ *(не сразу).* Три. Ну и что?

КОЛЕСОВ. Видите, вам скучно.

ТАНЯ *(пожимая плечами).* Просто я смотрю, куда завтра пойти.

КОЛЕСОВ. А сегодня? Куда вы хотите? На танцы? На концерт? На массовое гуляние?

ТАНЯ. Все это завтра. Почитайте. А в парке – через неделю.

КОЛЕСОВ. Чепуха! Мы откроем все это сегодня. Я вас приглашаю.

ТАНЯ. Куда вы меня приглашаете?

КОЛЕСОВ. На свадьбу. На первый случай я приглашаю вас на свадьбу.

ТАНЯ. На свадьбу? Прямо сейчас?

КОЛЕСОВ. Немедленно. Как вас зовут? У вас нет имени?

*Молчание.*

ТАНЯ. Есть. Да зачем оно вам?.. Я скажу, а вы, пожалуй, сразу и забудете.

КОЛЕСОВ. Почему?

ТАНЯ. Ну, вы так торопитесь. Конечно, вы все забываете.

КОЛЕСОВ. У меня хорошая память.

ТАНЯ. Не хвастайте.

КОЛЕСОВ. Нет, в самом деле, у меня приличная память. Хотите проверить?

ТАНЯ. Хорошо. Сейчас проверим... Отвернитесь!

КОЛЕСОВ. Отвернулся.

ТАНЯ. Так... А теперь скажите, кто приехал к нам на гастроли?

КОЛЕСОВ. Жанна Голошубова, эстрадная певица.

ТАНЯ. Правильно. А кто с ней?.. Так, не знаете... А запомнили ее портрет? Как он выглядит?

КОЛЕСОВ. Прекрасно выглядит. Улыбается.

ТАНЯ. Она вам нравится?

КОЛЕСОВ. Интересная женщина.

ТАНЯ. Вот и пригласите ее на свадьбу.

КОЛЕСОВ. А вы?.. Вы отказываетесь?

ТАНЯ. Вы это серьезно?

КОЛЕСОВ. Что?

ТАНЯ. Да вот приглашение на свадьбу...

КОЛЕСОВ. С полной ответственностью. *(Смотрит на часы.)* Видите ли, женится мой друг, и на свадьбу я обещал прийти с самой симпатичной девушкой в городе. Я искал вас целый день, неужели вы меня подведете. Как?.. Нас ждут.

ТАНЯ. Нас?.. Ну знаете, вы... И где же «нас» ждут?

КОЛЕСОВ. Чапаева, восемнадцать, комната сорок два. Ну?.. Соглашайтесь! Ручаюсь, скучно не будет.

ТАНЯ. Нет... И потом меня тоже ждут.

КОЛЕСОВ. Жаль... Ну что же... Придется пригласить артистку Голошубову... Счастливо оставаться.

ТАНЯ. Счастливо повеселиться.

КОЛЕСОВ *(пошел, вернулся).* Послушайте, давайте познакомимся. На прощание. (Протягивает ей руку) Николай. Фамилия Колесов.

ТАНЯ *(подает ему руку).* Таня.

КОЛЕСОВ. И все же, Таня, зря вы от свадьбы отказываетесь. Пожалеете, Таня.

ТАНЯ. Ничего, переживу как-нибудь.

КОЛЕСОВ. Ну, смотрите. А то приходите, если надумаете. Комната сорок два – запомнили?

ТАНЯ. Как? Вы опять меня приглашаете? А с Голошубовой как же?

КОЛЕСОВ. Приглашаю и вас и Голошубову. Что тут такого? *(На ходу.)* Места всем хватит – свадьба! *(Исчезает.)*

**ОБЩЕЖИТИЕ**

*В большой комнате вынесены кровати, сдвинуты столы. Свадебный ужин. Букин и Маша (жених и невеста), Фролов. Из гостей неумеренной непосредственностью выделяется друг и однокурсник Букина по прозвищу Гомыра. Прочих, сидящих за столом, удобно назвать так: Комсорг, Веселый, Серьезный, Красавица. Разгар веселья.*

КОМСОРГ. Товарищи! Внимание, товарищи...

ГОМЫРА *(перебивает).* Прошу слова! *(Поднимается.)* Тихо!.. Хочу сказать пару слов...

БУКИН *(поощрительно).* Давай, Боря, скажи. Вырази.

ГОМЫРА. Сейчас, Вася, сейчас... Значит так... Сегодня здесь в виде жениха и влюбленного человека сидит мой друг и геолог Вася Букин. Что я хочу сказать?.. Вася такой парень, что уж если он чего надумал, то идет прямым путем, честно и откровенно. Без козьей морды. На козью морду он неспособен... И между прочим, зря тут некоторые ухмыляются. С Васей я бывал во всевозможных маршрутах, кто-кто, а я знаю, какой Вася парень. По кустам он никогда не прятался, друзей в беде не бросал. Я это к тому говорю, что раз уж он попал в такую историю, то пусть он знает... *(Обращаясь к Букину.)* Короче если что, то знай, Вася, у тебя есть друзья, которые не бросят тебя на произвол судьбы. У меня все. Выпьем.

МАША. Постойте. Что-то я его не поняла. *(Гомыре.)* Ты не мог бы выразиться яснее?

БУКИН. Все ясно, Маша. Он предлагает выпить за дружбу. Верно, Боря?

ГОМЫРА. Вася, ты понял меня правильно.

Серьезный. За дружбу.

*Все, кроме Маши и Фролова, выпивают.*

ГОМЫРА. *(Фролову.)* А ты?.. Почему ты не пьешь? *(Букину.)* Вася, почему он не пьет?

БУКИН. Не волнуйся, он выпьет.

КОМСОРГ. Товарищи! Прошу внимания...

СЕРЬЕЗНЫЙ *(перебивает).* Снова тост? Нет, так нельзя, только выпили и снова. Дайте закусить.

МАША. В самом деле, мальчики. Ешьте. А то окосеете.

ВЕСЕЛЫЙ. А не спеть ли нам, ребята? По-моему в самый раз. Такое что-нибудь оригинальное.

КОМСОРГ *(прорывается).* Друзья! Послушайте, друзья. Сегодня мы отмечаем радостное для всех нас событие. Подумайте, всего у нас на пятом курсе биофака восемнадцать девушек, и, представляете себе, одиннадцать из них уже замужем. Сегодня мы выдаем замуж Машу – она двенадцатая, по-вашему, это не достижение? Вон у химиков, вы посмотрите, у них дела гораздо хуже. Да что говорить! От имени девушек нашего курса и от всей души я желаю молодым счастья и радости. И еще. Пусть этот Букин уважает Машу так же, как уважают ее у нас на курсе. Машенька, дай я тебя поцелую!

*Комсорг и Маша целуются. Шум.*

ГОМЫРА *(взял в руки бутылку, разглядывает ее).* «Абрау Дюрсо» ... Нежности какие...

КОМСОРГ. И самое главное, товарищи! Сюрприз для молодоженов! В качестве свадебного подарка наш комитет и профсоюз выделяет молодым комнату в первом общежитии!

*Одобрительные возгласы, звон стаканов, выкрики: «Горько! Горько!» Букин и Маша целуются.*

БУКИН. Спасибо... Мы с Машей пьем за здоровье комитета и профсоюза. А также за рядовых членов, здесь присутствующих. За вас.

СЕРЬЕЗНЫЙ. Послушайте, а где же Колесов?

МАША *(засмеялась).* Он придет, не волнуйтесь. Наверное, до сих пор носится по улицам.

СЕРЬЕЗНЫЙ. С какой целью?

МАША. На нашу свадьбу он пообещал прийти с самой лучшей девушкой в городе.

*Возгласы: «Пижон!», «Найдет!», «Приведет!», «Посмотрим!».*

ВЕСЕЛЫЙ. Не оригинально.

БУКИН. Он зря старается. Я ему сразу сказал. Самая красивая девушка в городе уже здесь. Это моя невеста. *(Обнимает Машу.)*

ГОМЫРА. «Абрау Дюрсо» ... До чего докатились, а?

*Шум. Веселый что-то шепчет Красавице.*

КРАСАВИЦА. Замолчите, это скучно.

ВЕСЕЛЫЙ. Я говорю совершенно серьезно... *(Поднимается.)* Минутку внимания!

СЕРЬЕЗНЫЙ. Опять? Нет, так невозможно. Вы навязываете бешеный темп.

ГОМЫРА. Действительно, дайте человеку пожрать.

ВЕСЕЛЫЙ. Минутку внимания! Я к вопросу о самой лучшей девушке. Жених прав, ваш Колесов жестоко просчитался. Самые лучшие девушки собрались сегодня за этим столом. Давайте же мы выпьем за их здоровье, а Колесов тем временем пусть бегает по улицам. За вас, женщины!

*Шум. Пьют все, кроме Гомыры, который демонстративно отставил от себя стакан.*

ГОМЫРА *(Фролову).* Выпил?.. За женщин ты пьешь, а за мужскую дружбу, значит, не пьешь? Что ты этим хочешь сказать? *(Букину.)* Вася, что он этим хочет сказать?

БУКИН. Ты зря к нему придираешься. Не надо, Боря.

*Шум. Фролов, доселе молчавший, поднимается. Наступает тишина.*

ФРОЛОВ. Я вижу, мне надо сказать несколько слов. Это просто необходимо... Люди здесь собрались в основном сведущие и, надеюсь, понимают, что сегодняшний вечер и для меня весьма знаменателен. Ни для кого здесь не секрет: пять лет я любил эту девушку и все пять лет она меня не любила. Маша, я не стал бы об этом говорить, но, по-моему, тут некоторые нуждаются в справке, так вот... Мне не за что благодарить жениха, но, в конце концов, именно сегодняшний вечер освобождает меня от всех надежд, поверьте, за пять лет эти надежды мне изрядно надоели. Все должны знать: я пришел на свадьбу, чтобы искренне поздравить жениха и невесту и пожелать им самого хорошего. Желаю счастья.

МАША. Спасибо, Гриша...

СЕРЬЕЗНЫЙ. Хорошо сказал.

ГОМЫРА *(подозрительно).* Красиво...

БУКИН *(Фролову).* За твое здоровье.

ГОМЫРА *(поднимается).* А я предлагаю за геологов...

БУКИН. Подожди, старина. Сядь и закуси. Закуси, я тебя прошу.

ГОМЫРА. Что такое геология?.. Знаете?.. Не знаете. Геология – это такая штука... это когда мы уезжаем, а вы остаетесь с нашими женщинами.

БУКИН. Не говори лишнего, прошу тебя.

ГОМЫРА. Вася, заглянем правде в глаза. Мы с тобой уезжаем? Уезжаем. А они остаются. Что не правда?.. Они ждут не дождутся, когда мы уедем.

БУКИН *(поднимается и усаживает Гомыру).* Сядь, старина...

СЕРЬЕЗНЫЙ. И веди себя приличнее.

ГОМЫРА. Приличнее?.. Ну да, «Абрау Дюрсо», конечно, где уж нам... Ну ничего. Мы скоро уезжаем, а там медведи. Одни только белые медведи...

ВЕСЕЛЫЙ. Ребятишки! Давайте-ка что-нибудь споем, а?

*Шум. Маша поднимается, отходит в сторону. За нею Букин.*

МАША. Твой Гомыра мне надоел.

БУКИН. Не сердись, он остро переживает момент. Это у него чисто алкогольное. Я уверен, что впоследствии ты его полюбишь.

МАША. С чего ради? Почему я его должна полюбить?

БУКИН. Но ведь он мне друг, не просто так... И, видишь ли, сейчас ему кажется, что я лезу в петлю.

МАША. В петлю? А ты что на это скажешь?

БУКИН. Я? Лезу и радуюсь. *(Целует ее.)*

*За столом оживление, шум.*

Ну, а вообще как тебе это все... ну весь обряд в целом? Ничего?

МАША. Нормально... Совсем не то, что я себе когда-то представляла.

БУКИН. А что такое, разве не весело?

МАША. Могло быть и повеселее.

БУКИН. Ты так считаешь?

*Стучится и входит Строгая.*

СТРОГАЯ. Добрый вечер. Я не стала бы вам мешать, но, как член студсовета, я должна вас предупредить: в общежитии ректор.

ВЕСЕЛЫЙ. Оригинально.

КРАСАВИЦА. По какому случаю?

СТРОГАЯ. В частности ни по какому. Просто. Как правило, раз в семестр он нас навещает... Я не знаю, но мне кажется, надо его пригласить.

БУКИН. А кто против? *(Поднимается.)*

КОМСОРГ. Садись, жених. Я все сделаю. *(Уходит.)*

МАША *(Строгой).* Садись, Алла. Гостем будешь.

КРАСАВИЦА. Садись сюда.

СТРОГАЯ. Нет, что вы, девочки...

ГОЛОСА. Давай, давай.

– Присаживайся.

*Гомыра дремлет.*

СТРОГАЯ. Я не знаю, я даже не думала... Но, как член студсовета... *(Садится.)*

БУКИН. Итак на свадьбе будет ректор. *(Маше.)* Ты рада?

МАША. Еще бы. Вот уж повеселимся.

КРАСАВИЦА. Колесов, видимо, уже не придет. Но это даже к лучшему.

ВЕСЕЛЫЙ *(ревнует).* Странно. То вам жалко, что его нет, то опять хорошо, что его нет. Странно и таинственно... *(Всем.)* Ну, так как же, споем мы или нет. Романсик, а, какой-нибудь оригинальный?

БУКИН. Нет, никаких романсов. Есть пожелание что-нибудь повеселее. (Поднимается.) Одну минуточку... Предлагаю кое-что сверх программы. Новое в свадебном репертуаре. Букин прощается с Букиным. Минутку... *(Усаживает на свое место полуспящего Гомыру.)* Не похож, но дело не в этом. Представьте себе, что это Букин. То есть, что я сижу на месте и никуда не ушел. *(Идет к противоположному концу стола.)*

СТРОГАЯ *(с подозрением).* Интересно...

БУКИН *(со стаканом в руке).* Дамы и товарищи! Друзья! Букина я знаю неплохо. Лично я знаком с ним вот уже двадцать четыре года. Если всю водку, которую мы с ним выпили вместе, поставить сейчас на стол, то, уверяю вас, мы пили бы здесь не один день и не два.

ВЕСЕЛЫЙ. Оригинально.

БУКИН. Я его прекрасно знаю. Он был веселый парень, честное слово, я никак не думал, что в ближайшее время ему взбредет в голову жениться. Этой глупости я от него просто не ожидал.

СТРОГАЯ. Балаган.

БУКИН. Завтра же он выйдет на улицу, увидит там много красивых девушек, ему станет грустно, и он поймет, какой он дурак...

ВЕСЕЛЫЙ. Тоже оригинально.

*Смех.*

СТРОГАЯ. Послушайте, это же не свадьба, это... я даже не знаю...

ГОМЫРА *(внезапно очнулся. Маше).* Женщина... Там одни медведи. Одни только белые медведи...

МАША *(Букину).* Хватит. Убери от меня это чучело. И садись на свое место. Пока не поздно.

БУКИН. Ты хотела, чтобы было весело.

МАША. Теперь уже слишком весело.

КРАСАВИЦА *(Букину).* Нет, продолжайте, это интересно.

ВЕСЕЛЫЙ. Давайте дальше, это оригинально.

БУКИН. Одним словом, с Букиным все кончено. Пропащий он человек. На наших глазах он отправляется в самый дальний и, я бы сказал, в самый рискованный маршрут... Подогнал ремни, сориентировался по азимуту – и привет! Курс – на семейную жизнь. Прощай, старина Букин! Счастливого тебе пути, и пусть лямки не режут тебе плечи. Горько!

*Смех.*

ГОМЫРА *(поднимается).* Вася! Друг!.. Все хорошо. Отлично. *(Мрачно.)* Но в этом деле замешана женщина.

МАША *(Букину).* Послушай, может, хватит?

БУКИН *(Уводит Гомыру на место).* Все, Боря, номер окончен, садись на свое место.

МАША. Ему надо погулять.

ГОМЫРА *(Маше).* Женщина! Заглянем правде в глаза: все вы одинаковы. Стоит нам только уехать...

БУКИН *(трясет Гомыру).* Помолчи Боря, помолчи...

СТРОГАЯ. Хамство.

ГОМЫРА. Все вы одинаковы. Все!

МАША. Ну вот что... уходи отсюда.

*Молчание.*

Уходи.

ГОМЫРА. Вася, мне предлагают удалиться...

БУКИН *(сдержанно).* Помолчи, Боря... Сиди, но помолчи.

МАША. Сидеть он не будет. Он встанет и уйдет.

ФРОЛОВ *(поднимается).* Он не встанет. Ему надо помочь.

СТРОГАЯ. Безобразие.

ФРОЛОВ. Ему надо проветриться.

ГОМЫРА. Ерунда! Мне просто надо выпить.

*Фролов и Серьезный приближаются к Гомыре. Букин их останавливает.*

БУКИН. Он останется.

МАША. Он уйдет.

БУКИН. Я прошу прощения. У тебя. У всех. Но он останется.

ГОМЫРА. Вася, не унижайся. Если ты против, я могу удалиться.

БУКИН. Сиди и помалкивай.

МАША. Тогда я уйду.

БУКИН. Садись, прошу тебя. Невеста ты или не невеста?

МАША. Пусть он уходит или... Пусть уходит.

БУКИН *(твердо).* Он останется.

МАША. Как хочешь... *(Громко всем.)* Ну вот что, гости дорогие... Слушайте и не обессудьте. Свадьбу я объявляю недействительной.

БУКИН. Маша...

КРАСАВИЦА. Мария! Стоит ли?

МАША. Это шутка была, а не свадьба... Я *(показывает на Букина)* и пьяница вот этот – мы пошутили. Вот и все. *(Быстро уходит.)*

*Красавица выходит в след за Машей.*

ФРОЛОВ *(Гомыре и Букину).* Развлекаетесь?.. Шуты гороховые.

*Молчание.*

ГОМЫРА *(поднимается, идет к Фролову).* Вася, дай слово мне.

БУКИН *(кричит).* Сядь, я тебе говорю!

*Гомыра останавливается.*

ФРОЛОВ *(насмешливо).* Ну?.. Дуэли, вероятно, не будет? (Постоял и вышел.)

БУКИН. Дуэли не будет. Он прав. Прошу выпить и закусить.

ГОМЫРА. Вася! Как же так? Разве это разговор?.. Это же... это «Абрау Дюрсо» вместо серьезного разговора, Вася! Я не узнаю тебя.

БУКИН. Вполне естественно. Ты сегодня много выпил.

ГОМЫРА. Ладно... пью последнюю. За цивилизацию. *(Пьет и выходит.)*

*За Гомырой – Серьезный.*

СТРОГАЯ. Зачем вы пригласили этого хулигана?

БУКИН. Он мой друг... И он сегодня не в духе.

*Красавица возвращается. Букин выходит.*

КРАСАВИЦА. Отказаться от свадьбы, вы подумайте. Вот оно – настоящее легкомыслие.

СТРОГАЯ. Я не знаю, конечно, и это не мое дело, но я должна сказать, что Машу я не понимаю. Фролов серьезный парень, давно ее любит, а Букин – откуда он взялся? Только познакомились и готово! Да еще этот хулиган Гомыра. Прошлым летом, я слышала, у него увели невесту. Ну и что? Кто же тут виноват. Не все же подряд, правда же?

ВЕСЕЛЫЙ. Вот тебе и на. Так ничего и не спели.

СТРОГАЯ. Нет, Машу я не понимаю.

КРАСАВИЦА. А впрочем, эти геологи ничего... занятные ребята.

ВЕСЕЛЫЙ. А Колесов? Вы о нем уже забыли?

КРАСАВИЦА. Колесов? Да... Жаль все-таки, что он не пришел.

*Входит Комсорг c магнитофоном в руках.*

КОМСОРГ. Товарищи! Ректор в соседней комнате. Сейчас зайдет.

ВЕСЕЛЫЙ. Нашел время.

КОМСОРГ. Принесла музыку... А где остальные? Что случилось?

ВЕСЕЛЫЙ. Свадьба закончилась.

КРАСАВИЦА. Начался медовый месяц.

КОМСОРГ. Неужели поссорились?

СТРОГАЯ. Скандал, а не свадьба.

КОМСОРГ. Как же так?.. Пригласили в гости ректора...

СТРОГАЯ (поднимается). Я как член студсовета... Мне неудобно, я ухожу. *(Уходит.)*

КОМСОРГ. Он идет... Что же мы ему скажем?

КРАСАВИЦА. Не волнуйтесь, как-нибудь отбрешемся. Ему-то не все равно.

*Стук в дверь. Комсорг открывает.*

РЕПНИКОВ *(входя).* Разрешите?

КОМСОРГ. Проходите, Владимир Алексеевич.

РЕПНИКОВ. Добрый вечер.

ВСЕ. Добрый вечер.

КОМСОРГ. Садитесь, Владимир Алексеевич.

РЕПНИКОВ *(присматривается).* Ну я, кажется, не вовремя... Где же гости?

КРАСАВИЦА. Гости? А они на улице... Гуляют.

РЕПНИКОВ. Ага... *(Веселому.)* Вы, видимо, жених? *(Садится.)*

ВЕСЕЛЫЙ. Я?.. Ну да... до некоторой степени...

РЕПНИКОВ. Геолог? Слышал – слышал. Зашел поздравить. Поздравляю вас.

ВЕСЕЛЫЙ. Меня?.. Ну, что ж, спасибо.

РЕПНИКОВ. А невеста? Кто у вас невеста?

КОМСОРГ. Она... она вышла...

КРАСАВИЦА. Маленькая неприятность. Пролили вино на белое платье.

РЕПНИКОВ. Ну это пустяки.

КРАСАВИЦА. Разумеется, пустяки!

*Входит Гомыра.*

ГОМЫРА. А если что не так, то дайте мне по морде... *(Заметив Репникова.)* Нет я ничего... Ничего такого... Одни медведи, Одни только белые медведи...

РЕПНИКОВ. А что так невесело? Ни песен, ни танцев. Что, разве студенты разучились веселиться?

КРАСАВИЦА. Нет, что вы. Это у нас так... Затишье.

ВЕСЕЛЫЙ. А может, что-нибудь споем, действительно?

*Комсорг, пробормотав «сейчас», включает магнитофон. Негромко звучит музыка – нечто развеселое.*

ГОМЫРА *(Репникову).* Задумал геолог жениться – и вот, как видите... Выпьемте. Владимир Алексеевич, за геологию. Вы знаете, геология тонкая вещь...

РЕПНИКОВ. Что ж. Когда-то я тоже подумывал о геологии, но я домосед, и потому...

ГОМЫРА. Вы сидите дома. И правильно, между прочим, делаете... А Вася геолог, да и молодой он еще... Ничего, потом еще будет благодарить своего друга, увидите. А я с самого начала был против...

РЕПНИКОВ. Против чего?

ГОМЫРА. Против всего. В основном против женского персонала... А вы разве не в курсе?

РЕПНИКОВ. Выходит, что нет. *(Всем.)* А что, собственно, у вас здесь случилось?..

*Молчание.*

КРАСАВИЦА. Не сошлись характерами. Обычная история...

РЕПНИКОВ. Обычная?.. На свадьбе стало ясно, что не сошлись характерами... любопытно...

ГОМЫРА *(трезвея).* Нет, если что, то Вася не виноват, имейте в виду. Из-за меня получилось...

РЕПНИКОВ. Из-за вас?.. Из-за вас все может случиться, не сомневаюсь. *(Всем.)* Ну-с, расскажите-ка мне все подробнее.

КРАСАВИЦА. Да нет, в общем-то все было тихо, благородно...

КОМСОРГ. Владимир Алексеевич, мы их помирим.

КРАСАВИЦА. Помирим, конечно. И вообще ничего дурного тут не было.

КОМСОРГ. И не будет...

*Окно вдруг распахивается, в комнату прыгает Колесов, Репников сидит спиной к окну так, что Колесов его не узнает, а может быть, и не замечает. Колесов бросается к выключателю. Темнота.*

КОЛЕСОВ. Прошу прощения. Закройте дверь на ключ и сидите тихо. Если сюда постучаться – здесь живут девушки, они уже разделись и легли спать. Вам понятно?.. Двери не открывать ни в коем случае. Извините, что опоздал.

РЕПНИКОВ. Что такое?.. Что здесь происходит?

КОЛЕСОВ. Ничего особенного. Меня ловит милиция.

РЕПНИКОВ. Включите свет.

КОЛЕСОВ. Ни в коем случае! Здесь спят девушки, я, кажется, сказал. И выключите магнитофон.

*С перепугу кто-то прибавил магнитофону звук. Все кричат.*

РЕПНИКОВ. Включите свет!

КОЛЕСОВ. Тише!.. Что это за бас у вас тут появился?

РЕПНИКОВ. Я говорю, включите свет!

КОЛЕСОВ. А я говорю тебе – помолчи. Что с тобой? Ты что, темноты боишься?

РЕПНИКОВ. Немедленно включите свет!

КОЛЕСОВ. Слушай, замолчишь ты или нет?

КОМСОРГ. Коля, прекрати!

*У выключателя слышна возня. Что-то падает. Шум, музыка.*

РЕПНИКОВ. Свет!..

КОЛЕСОВ. Гомыра, возьми своего друга, или...

ГОМЫРА. Без рук, Коля! Без рук!

КРАСАВИЦА. Кошмар!

*Комсоргу удается включить свет. Колесов и Репников держат друг друга за руки. За окном стоит милиционер. Пауза.*

РЕПНИКОВ. Ах, это вы?

КОЛЕСОВ. Владимир Алексеевич?

РЕПНИКОВ *(Комсоргу о магнитофоне)*. Выключите.

*Комсорг выключает магнитофон. Милиционер в окне исчезает.*

КОЛЕСОВ. Простите, Владимир Алексеевич, но в темноте...

РЕПНИКОВ. Вы меня не узнали. Надеюсь.

КОЛЕСОВ. Честное слово...

РЕПНИКОВ. Хорошо, это мы потом обсудим, расскажите-ка нам лучше, кто за вами гонится и почему?

*Входит милиционер.*

МИЛИЦИОНЕР. Здравствуйте. *(Подходит к Колесову, протягивает руку.)* Документы.

*Колесов отдает ему документы.*

*(Берет их, просматривает.)* По какому поводу пьянка?

РЕПНИКОВ. Здесь, представьте себе, празднуют свадьбу.

МИЛИЦИОНЕР *(Репникову).* Что у вас произошло с нарушителем?

РЕПНИКОВ. Не беспокойтесь, мы здесь люди свои, разберемся сами.

МИЛИЦИОНЕР. Как хотите. Вы, как видно, преподаватель?

РЕПНИКОВ. Да. А у вас что он натворил?

МИЛИЦИОНЕР. Дебош в гостинице. Ваш студент ворвался в номер артистки Голошубовой...

КОЛЕСОВ. В номер я постучался.

МИЛИЦИОНЕР. Ворвался и произвел там дебош.

КОЛЕСОВ. Я пригласил Голошубову на свадьбу, и она согласилась...

МИЛИЦИОНЕР. Причем нанес телесные повреждения музыканту Шафранскому.

КОЛЕСОВ. Этот тип ворвался в номер, стал кричать, оскорбил женщину, и меня он оскорбил. Я привел его в чувство...

МИЛИЦИОНЕР. Ударом кулака. Кроме того, пытались скрыться. Короче, копию протокола вы получите. *(Колесову.)* Пошли.

КОЛЕСОВ *(со вздохом).* Пойдемте. *(Всем.)* До свидания. *(Репникову.)* До свидания, Владимир Алексеевич.

*Колесов и милиционер уходят.*

РЕПНИКОВ. Хорош... В прошлом году биологи добивались свободного посещения. Если мне не изменяет память, Колесов возглавлял компанию... Боюсь, что он своего добился...

*Молчание.*

КРАСАВИЦА. Надо же...

КОМСОРГ. Что же теперь будет?

РЕПНИКОВ. Судя по всему, его будут судить.

КРАСАВИЦА. А надо же так: перед самыми госэкзаменами! Неужели из-за этого...

РЕПНИКОВ *(перебивает).* Он получит по заслугам. Не меньше. Но и не больше.

*Появляется БУКИН.*

БУКИН *(со вздохом).* Здравствуйте...

РЕПНИКОВ. Здравствуйте...

*Небольшая пауза.*

БУКИН *(развел руками).* Виноват, каюсь... Прошу прощения... А что поделаешь? Да и кто тут больше всех пострадал? Я же и пострадал.

РЕПНИКОВ. А почему вы, собственно?

БУКИН. Кто же еще?

РЕПНИКОВ. А кто вы здесь такой, извините? Родственник невесты? Жениха?

БУКИН. Почему родственник?

РЕПНИКОВ. Ну кто вы?

БУКИН. Как кто? Жених... к сожалению...

РЕПНИКОВ. Жених?

*Небольшая пауза.*

Ну-ну, друзья. Спасибо вам за приглашение. Спасибо. Не могу остаться в долгу. Жениха и невесту приглашаю завтра к себе. К десяти часам... *(Остальным.)* И вы приходите.

*Стук в дверь.*

КРАСАВИЦА. Войдите.

*Входит Таня.*

ТАНЯ. Извините, я могу видеть Колесова?

КРАСАВИЦА. Кого?

ТАНЯ. Колесова.

ВЕСЕЛЫЙ. Э, зайдите, девушка, попозже. Суток через пятнадцать.

РЕПНИКОВ *(поворачивается).* Татьяна?

**ЗАГОРОДНАЯ ПРОГУЛКА**

*Солнце. Молодые березы, древняя кладбищенская ограда, перед нею асфальт, вдали – новые строения. Колесов, Золотуев и милиционер входят. В руках у Колесова лом, Золотуев с лопатой. Останавливаются.*

ЗОЛОТУЕВ. Товарищ сержант, это же кладбище.

МИЛИЦИОНЕР. Ну и что?

ЗОЛОТУЕВ. Как – что? Мне пятьдесят восемь лет, у меня жаба. Я таких шуток не понимаю. Я возражаю.

МИЛИЦИОНЕР *(расшатывает ограду).* Возражай, пожалуйста.

ЗОЛОТУЕВ. Я против таких методов. Это незаконно. Мне полагается десять нормальных суток.

КОЛЕСОВ. Успокойтесь, сержант привел нас на экскурсию.

МИЛИЦИОНЕР. Слушай, хулиганы. Дело простое: будете разбирать ограду. Ломать ее и выкапывать столбы. А после перетащите все это туда *(показывает),* подальше от дороги.

ЗОЛОТУЕВ. Господи, для чего же это?

МИЛИЦИОНЕР. Не ваше дело. Постановление горсовета.

КОЛЕСОВ. А в самом деле, что здесь намечается?

МИЛИЦИОНЕР. Трамвайная линия. Будете тут на трамвае кататься. Если, конечно, не сядете до той поры.

ЗОЛОТУЕВ. Старого человека вы заставляете разрушать кладбище! Разве это достойно?

КОЛЕСОВ. В самом деле, какая бестактность.

МИЛИЦИОНЕР. Приступайте.

КОЛЕСОВ *(Золотуеву).* Живописный уголок, не правда ли? Вам здесь нравится?.. *(Милиционеру.)* Сержант, нам бы здесь местечко – тихо, по знакомству. А сержант?

МИЛИЦИОНЕР. Сейчас здесь не хоронят. И давай за работу. Приступайте. А я схожу тут... возьму папирос. Ваша норма – вон до того столба. И учтите, пока не сделаете – не уйдете.

ЗОЛОТУЕВ. Товарищ сержант, я все-таки протестую.

МИЛИЦИОНЕР. Протестуйте, пожалуйста. *(Уходит.)*

КОЛЕСОВ. Какие у вас могут быть протесты? Пожили, похулиганили – хватит с вас.

ЗОЛОТУЕВ. Был бы ты мой сын! Эх, и вздул бы я тебя!

КОЛЕСОВ. А вы возьмите меня на воспитание.

ЗОЛОТУЕВ. Тебя? Ну что ты? Сторожем я могу тебя взять. Мне нужен сторож. На дачу.

КОЛЕСОВ. Нет. Лучше на воспитание. Вы сирота, я, между прочим, тоже сирота – двумя сиротами на свете меньше.

У вас, стало быть, дача?.. Это интересно. А пенсия? Будет у вас пенсия?

ЗОЛОТУЕВ. Мне пенсия не нужна, у меня жаба.

КОЛЕСОВ. Дача и жаба. Нет, вы мне все больше и больше нравитесь... А интересно, за что вы страдаете?

ЗОЛОТУЕВ. За что?.. В том и дело, что неизвестно за что.

КОЛЕСОВ. Ну а все же?

ЗОЛОТУЕВ. Говорю, сам не знаю... Орхидею я у них выкопал – подумаешь, разорил!

КОЛЕСОВ. Какую орхидею?

ЗОЛОТУЕВ. Обыкновенную. На площади выкопал орхидею. Цветок такой... Да разве это хулиганство?

КОЛЕСОВ. Это неслыханная наглость. На площади, под носом у милиции. Вы что, в другом месте не могли?

ЗОЛОТУЕВ. Не мог.

КОЛЕСОВ. А зачем вам орхидея?

ЗОЛОТУЕВ. Люблю цветы.

КОЛЕСОВ. А зачем же выкапывать? Сорвать же незаметней.

ЗОЛОТУЕВ. Люблю живые цветы.

КОЛЕСОВ. Кому-нибудь подарить хотели?

ЗОЛОТУЕВ. Сам хотел любоваться. Единолично.

КОЛЕСОВ. Ну да, у вас дача, а возле дачи, конечно, сад-огород... большой, интересно?

ЗОЛОТУЕВ. Послушай! Чего ты ко мне пристал?

КОЛЕСОВ. Вы меня заинтриговали. Хулиган – и разводите орхидеи. Игра природы. Почему не укроп, почему орхидеи?

ЗОЛОТУЕВ. У меня свой участок. На своем участке, молодой человек, я что хочу, то и ворочу. Хватит болтать, пошли работать. Слышал, что сержант сказал? На ночь я здесь оставаться не желаю.

КОЛЕСОВ. Почему. Что вам здесь не нравиться, не понимаю?

*Работают. Появляются Маша и Таня.*

МАША. Привет, Коля. Ты живой?

ТАНЯ. Добрый день.

КОЛЕСОВ. Здравствуйте, здравствуйте.

МАША. Слушай, что нам сказали в милиции. В настоящее время, говорят, он находится на кладбище. Но это, говорят, по секрету, только вам. Ничего шутки, а? *(Золотуеву.)* Я вас приветствую!

ЗОЛОТУЕВ. Здрасте.

КОЛЕСОВ. Это Золотуев. Тоже хулиган. В общем, шайка-лейка.

ЗОЛОТУЕВ. Глупости, я человек тихий. *(Идет вдоль ограды, в сторону.)*

КОЛЕСОВ *(Тане).* Идите сюда. Здесь можно сесть.

МАША. А где ваша охрана?

ЗОЛОТУЕВ. Конвой ушел куда-то.

ТАНЯ. Что же вы здесь делаете?

КОЛЕСОВ. Ломаем забор.

ТАНЯ. Зачем?

КОЛЕСОВ. Постановление горсовета. Этот свет расширяется, тот сокращается.

МАША. Красота!

КОЛЕСОВ. Садитесь, развлекайте. Как свадьба? Где муж?

МАША. Где, в том-то и дело!.. Сбежала я от него, Коля, прямо со свадьбы.

КОЛЕСОВ. Как – со свадьбы? Почему?

МАША. Да не свадьба была! Какая там свадьба. Неохота рассказывать. Другие расскажут. Другие, они всегда лучше знают.

КОЛЕСОВ. Но в чем соль?

МАША. Из-за Гомыры все началось. Они друг дружку любят, вот пусть Васька на нем и женится. Представляешь, комнату дали, а Васька в ней Гомыру поселил. Издевается... Тут еще Фролов вчера в общежитии. Хочу, говорит, поучиться у тебя жить. Теперь вместе ходят.

КОЛЕСОВ. Не огорчайся, старушка. Ты у нас невеста по первому разряду.

МАША. Нет, Коля, не нужна я ему, а раз так, то все... Были у ректора. Мне, Букину и Гомыре по выговору. Но это пустяки... Твои дела хуже. Мы ничего не могли сделать.

КОЛЕСОВ. Короче.

МАША. Тебя исключают из университета.

КОЛЕСОВ. Исключают? Сейчас?.. Есть приказ?

МАША. Приказа нет, но ректор говорит, что все решено.

КОЛЕСОВ. Так.

МАША. Артист этот, ты ему выставил руку, а он гитарист.

КОЛЕСОВ. Во везет...

МАША. Он был у ректора, сказал, если тебя не накажут, то подаст на суд. Певичка эта, Голошубова, звонила декану.

КОЛЕСОВ. Так...

МАША. Ну она сказала, что ты вел себя прилично, в гости приглашал... Коля, мы к ректору всем курсом пойдем.

КОЛЕСОВ. Значит, уже и приказ?.. Да он что, озверел, что ли?

МАША. Полегче. Эта девочка, между прочим, дочь Владимира Алексеевича.

КОЛЕСОВ. Вы – дочь?

ТАНЯ. Что поделаешь.

КОЛЕСОВ. Час от часу не легче.

МАША. Но Таня, по-моему, на твоей стороне.

ТАНЯ. На чьей стороне, я еще не знаю.

МАША. Да ладно, будто я не чувствую... Коля, может, не все еще потеряно... Ты не расстраивайся...

КОЛЕСОВ. Я не расстраиваюсь... Хотя мне кажется, что меня можно было и не исключать...

МАША. Мы всем курсом, и деканат за тебя заступается...

КОЛЕСОВ *(перебивает).* Ладно.

МАША. Ну хорошо, пока. Побегу, у меня еще уйма дел, да еще вот новое – развод. Завтра пришлю тебе парней.

КОЛЕСОВ. Пусть принесут сигарет.

МАША. Хорошо. *(Уходит.)*

ТАНЯ. Я принесу вам сигарет, хотите?

КОЛЕСОВ. Папины сигареты? Спасибо, не надо.

ТАНЯ. Вы думаете, он не захочет поделиться с вами сигаретами?

КОЛЕСОВ. Не захочет.

ТАНЯ. Да нет, он не жадный. Послушайте, он так занят. Он всегда старается быть справедливым.

КОЛЕСОВ. Ну конечно! У него нет времени на то, чтобы быть справедливым. Очень его понимаю...

ТАНЯ. Ведь он не из мести, вы понимаете, что не из мести?

КОЛЕСОВ. Конечно. Месть – чувство, недостойное руководителя.

ТАНЯ. И все-таки отец добрый. Мне кажется, я говорила бы так, если бы и не была его дочерью.

КОЛЕСОВ. Таня, в своем папе вы не ошиблись. У вас хороший папа. Добрый, серьезный, авторитетный.

ТАНЯ. Если отец неправ, я защищать его не буду. Но мне хотелось бы выяснить... *(Молчит.)*

КОЛЕСОВ. Что выяснить?

ТАНЯ. Я с отцом поссорилась. Из-за вас.

КОЛЕСОВ. Напрасно. Ваш отец и я – люди взрослые. Между нами все может быть. Мы с ним, возможно, еще встретимся, побеседуем... А на вашем месте я бы плюнул на это дело и пошел бы в кино.

ТАНЯ. Легко так говорить, когда все ясно, а мне разобраться надо...

КОЛЕСОВ. Зачем, смешная вы девушка. Вот лежат за этой оградой. Они тоже хотели во всем разобраться. Уверяю вас, они так ничего и не поняли.

ТАНЯ. Так уж ничего?

КОЛЕСОВ. У каждого, наверное, было столько приключений... Да они просто не успели ничего понять.

ТАНЯ. Вы по себе мерите. Не все же торопятся, как вы. Другие думают, размышляют...

КОЛЕСОВ. Нет, Таня. Или жить, или размышлять о жизни – одно из двух. Тут сразу надо выбрать. На то и на другое времени не хватит. Так по-моему... Их жизнь *(показал рукой на ограду)* прошла, и разобраться в ней легче нам, живым. А уж нас рассудят другие. Со стороны, как-никак, всегда виднее.

*Появляется Золотуев.*

ЗОЛОТУЕВ. Мне пятьдесят восемь лет. Я устал.

КОЛЕСОВ. Послушайте... Вот вы говорили, что вам нужен сторож.

ЗОЛОТУЕВ. А что?

КОЛЕСОВ. Я ищу работу.

ЗОЛОТУЕВ. Тебя не возьму, даже не думай.

КОЛЕСОВ. Почему? Вы же мне предлагали.

ЗОЛОТУЕВ. Я раздумал. Ты грубиян, а я этого не люблю.

КОЛЕСОВ. Грубиян? А вы какого сторожа хотели? С хорошими манерами? Из консерватории?

ЗОЛОТУЕВ. Зачем? Мне нужен человек скромный, работящий... Поливать грядки – образование тут ни к чему. Мне нужен сторож, который умеет держать в руках лейку и ножницы.

КОЛЕСОВ. Наши интересы совпадают. Я увлекаюсь садоводством. Соображаете, как вам повезло?

ЗОЛОТУЕВ. Не знаю, молодой человек, не знаю... Сержант идет!

ТАНЯ. Что ж... Я пойду...

КОЛЕСОВ. Извините, Таня. Но сами видите – не та обстановка. Возможно, еще увидимся. Поговорим.

ТАНЯ. Ничего вы мне не объяснили... Только еще больше запутали. До свидания.

КОЛЕСОВ. Счастливо, Таня... Не огорчайте папу.

*Таня уходит. Появляется милиционер.*

МИЛИЦИОНЕР. Так... Сачкуете? Я вам доверие, а вы мне...

КОЛЕСОВ. И мы вам доверие.

МИЛИЦИОНЕР. Я – доверие, а вы – саботаж?.. Вы умные, а я – дурак?

КОЛЕСОВ. Виноваты, товарищ сержант, исправимся. Разрешите папироску.

**КВАРТИРА**

*Большая комната в доме Репниковых. Первый этаж. Два больших окна, красивые портьеры. Судя по обстановке, комната эта предназначена для приема гостей, а также для праздничных ужинов и обедов. Дело к вечеру. Таня и ее мать накрывают белой нарядной скатертью стол, стоящий посередине. На Репниковой фартук, Таня одета по-домашнему.*

ТАНЯ *(сервирует стол).* Вечно эти церемонии. Можно и на кухне пообедать – отлично.

РЕПНИКОВА. Воскресение есть воскресение. Не ворчи.

*Репников появляется с букетом цветов и бутылкой вина. Он в отличном расположении духа.*

РЕПНИКОВ. Ну как? *(Останавливается.)* Мм... Запах божественный! Как он? Уже готов, не правда ли?

РЕПНИКОВА. Еще нет.

РЕПНИКОВ *(бутылку поставил на стол, цветы передал Репниковой.)* Как?!. Но прошло уже полтора часа!

РЕПНИКОВА. Еще минут пятнадцать.

РЕПНИКОВ *(с ужасом).* Еще пятнадцать?.. А не пережарится? *(Направляется к двери, которая ведет, по-видимому, на кухню.)* А соус?..

РЕПНИКОВА *(не дает Репникову пройти).* Нет-нет, тебе там делать нечего.

РЕПНИКОВ *(упирается).* Я взгляну, только взгляну...

РЕПНИКОВА. Иди в кабинет, жди в кабинете.

РЕПНИКОВ. Тсс... Шипит... как живой шипит... Он готов!

РЕПНИКОВА. Иди-иди! *(Подталкивает его к другой двери.)*

РЕПНИКОВ. Если через пятнадцать минут вы не подадите его на стол, предупреждаю вас, я умру. *(Уходит в кабинет.)*

РЕПНИКОВА *(взглянула на часы).* Да, с обедом мы сегодня подзатянули.

ТАНЯ. Ничего с ним не сделается.

РЕПНИКОВ *(появляется в дверях).* А лук? Я не слышу запаха лука!

РЕПНИКОВА *(смеясь, закрывает дверь).* Ну прекрати, прекрати.

ТАНЯ. Вечно одно и то же.

РЕПНИКОВА. Опять ворчишь? Не понимаю, чем ты недовольна.

ТАНЯ. Вечно объедимся, как не знаю кто, а потом весь вечер перевариваем...

РЕПНИКОВА. Не ешь, никто тебя не заставляет.

ТАНЯ. Не поешь у тебя – как раз! Один запах чего стоит. Да и папаша – всегда он раздразнит...

РЕПНИКОВА *(поставила на стол вазу с цветами).* Хороши... А вот, смотри, бутоны. Эти увянут, а бутоны только-только распустятся... Но и они увянут.

ТАНЯ. А, скорей бы все это заканчивалось! Все весной хорошо кроме экзаменов.

РЕПНИКОВА. Вот. Всем скорей. Скорей бы весна, скорей бы экзамены, скорей бы лето. Скорей бы, скорей. А куда?.. К гипертонии? К склерозу?

ТАНЯ *(обняла мать).* Ты-то чем недовольна? Молодая, красивая... Жить надо, а не философствовать. Размышляй, не размышляй – все равно ничего не поймешь. Только время упустишь.

РЕПНИКОВА. Что это? Откуда у тебя такие мысли?

ТАНЯ *(улыбнулась).* Из учебника. Из политэкономии.

РЕПНИКОВА. Ну-ну, не морочь мне голову. Знаю я, из какого учебника... Видно, прав отец – парень этот фокусник, да еще какой.

ТАНЯ. Мама, не суди человека, если ты его не знаешь.

РЕПНИКОВ. А что твой человек натворил в гостинице? А в общежитии?

ТАНЯ. Ничего страшного он не сделал.

РЕПНИКОВА. Такой успеет еще, сделает. Если не образумится. *(Идет на кухню. В дверях.)* Зови отца. *(Уходит.)*

*Раздается звонок. Таня открывает дверь. Появляется Колесов.*

КОЛЕСОВ. Здравствуйте, Таня.

ТАНЯ *(она растеряна).* Здравствуйте.

КОЛЕСОВ. Не ожидали?

ТАНЯ *(не сразу).* Вообще-то да, не думала...

КОЛЕСОВ. Правду сказать, и я на это не рассчитывал. Да вот. Чего только в жизни не бывает.

ТАНЯ. Опять что-нибудь случилось?

КОЛЕСОВ. Как же. Скандал на Панаме, на Занзибаре революция, пущены агрегаты Братской ГЭС – не слышали?.. А мы метем мостовую. Тут, на соседней улице.

ТАНЯ. Вас еще не отпустили?

КОЛЕСОВ. На полчаса. Под честное слово.

ТАНЯ. Проходите, присаживайтесь...

КОЛЕСОВ. Я собственно... Я к Владимиру Алексеевичу.

ТАНЯ. Я так и думала.

КОЛЕСОВ. Он дома?

ТАНЯ. Да.

*Появляется Репникова с большим блюдом в руках. На блюде большой румяный, украшенный зеленью гусь.*

КОЛЕСОВ. Добрый вечер.

РЕПНИКОВА. Здравствуйте.

ТАНЯ. Мама, это...

КОЛЕСОВ. КОЛЕСОВ.

РЕПНИКОВА. Да?.. Что ж, интересно познакомиться. *(Поставила блюдо на стол.)*

КОЛЕСОВ. Я, кажется, не вовремя, но...

РЕПНИКОВА. Почему же?.. Приглашаем с нами пообедать.

КОЛЕСОВ. Большое спасибо. Я уже пообедал.

РЕПНИКОВА. Вы присаживайтесь... Таня, усаживай гостя.

КОЛЕСОВ. Спасибо. *(Садится на краешек стула.)*

*Молчание. Таня тоже усаживается на стул недалеко от Колесова. Входит Репников. Не замечая Колесова, он приближается к столу, потирая руки.*

*(Поднимается.)* Здравствуйте, Владимир Алексеевич.

РЕПНИКОВ *(не сразу).* Здравствуйте, молодой человек, здравствуйте.

КОЛЕСОВ. Прошу меня извинить, но обстоятельства заставили меня прийти к вам домой.

РЕПНИКОВ *(не сразу).* Ко мне?.. Так... Любопытно...

КОЛЕСОВ. Я решился вас побеспокоить, потому что в университет я прийти не могу... ни завтра, ни послезавтра... Мне необходимо с вами поговорить.

РЕПНИКОВ. Со мной?.. *(Тане и Репниковой.)* Ну коли так, оставьте нас наедине. У молодого человека ко мне разговор.

*Репникова уходит на кухню. Таня задерживается.*

*(Строго.)* Таня, прошу тебя.

*Таня уходит.*

Я вас слушаю.

*За окном раздается легкий стук, на который Репников вначале не обращает внимания.*

КОЛЕСОВ. С просьбой.

*Тот же стук в окно.*

Я прошу прощения за высокопарный тон, но я хочу сказать вам, что я давно и твердо решил посвятить себя науке и не хотел бы терять времени даром...

*Портьера внезапно отодвигается, и в открытом окне появляется физиономия Золотуева.*

ЗОЛОТУЕВ *(Репникову).* Я душевно извиняюсь, но вашему гостю пора уходить. *(Колесову.)* Тебе пора.

КОЛЕСОВ *(Подходит к окну, закрывает его своей спиной, шепотом, Золотуеву).* Исчезните!

*Золотуев исчезает.*

РЕПНИКОВ. Что за явление? Кто это?

КОЛЕСОВ. Да так, один дядя. Не обращайте внимания.

РЕПНИКОВ. Но что ему надо?

КОЛЕСОВ. Беспокоится, как бы я вам не надоел. Он ужасно за меня переживает.

РЕПНИКОВ. Так это ваш дядя?

КОЛЕСОВ. Да, это мой дядя.

РЕПНИКОВ *(с неудовольствием).* Пусть он войдет, в таком случае.

КОЛЕСОВ. Да нет, пожалуй, не стоит. Он, знаете, человек необщительный, нелюдим, можно сказать, и вообще... Владимир Алексеевич! Дело в том, что вот уже два года я занимаюсь одним делом... Травами, возможно, вы об этом слышали.

РЕПНИКОВ. Слышал. И что же?

КОЛЕСОВ. Получается, Владимир Алексеевич, в том-то и дело. Вы ученый и знаете, что значит для начинающего потерять год-два...

РЕПНИКОВ. Так... Вы сказали – я ученый. Неплохо. Посещать мои лекции – я не ученый, а как просить – так сразу ученый.

КОЛЕСОВ. Владимир Алексеевич, дело в том... Мне кажется, то что я делаю, имеет значение не только для меня...

*В окне из-за спины Колесова снова появляется физиономия Золотуева.*

ЗОЛОТУЕВ. Слушай! Мы злоупотребляем доверием! Сержант нам этого не простит.

КОЛЕСОВ *(страшным шепотом, Золотуеву).* Сгиньте, я вам говорю!

ЗОЛОТУЕВ. Учти, мы останемся без каши.

РЕПНИКОВ *(Колесову).* Послушайте! Что наконец все это значит?

КОЛЕСОВ *(рукой отталкивает Золотуева от окна).* А, пустяки. Он большой любитель поесть и поговорить об еде. Иногда, знаете, ни с того ни с сего...

РЕПНИКОВ (с раздражением). Ваша правда, дядя ваш человек со странностями. *(Закрывает окно.)*

КОЛЕСОВ. Владимир Алексеевич! В среду в университете начинаются зачеты...

РЕПНИКОВ *(перебивает).* Итак, Колесов, вы решили, что достаточно явиться ко мне домой и все готово – и я отменяю приказ и допускаю вас к экзаменам.

КОЛЕСОВ. Кажется, я совершил ошибку, что пришел к вам домой. Я пришел к вам с личной просьбой, еще раз извините, что побеспокоил.

РЕПНИКОВ. Лихо, Колесов, работаете. На ходу подметки режете.

КОЛЕСОВ. То есть?

РЕПНИКОВ. Восстановили против меня дочь и решили, что самое время прийти ко мне с личной просьбой.

КОЛЕСОВ. Вашу дочь я не восстанавливал. Мы с ней знакомы, и только.

РЕПНИКОВ. Очень сожалею, что вы с ней знакомы.

КОЛЕСОВ. Моя просьба ничего общего не имеет с этим обстоятельством.

РЕПНИКОВ. Рассказывайте!

КОЛЕСОВ. Уверяю вас, я здесь не в качестве жениха.

РЕПНИКОВ *(не сразу).* Ей вы об этом говорили?

КОЛЕСОВ. Нет. Но она и не спрашивала.

*Золотуев неожиданно появляется в другом окне.*

ЗОЛОТУЕВ. Ты как хочешь, а я ухожу.

КОЛЕСОВ *(Золотуеву, тем же шепотом).* Вон отсюда... Сумасшедший! *(Закрыл окно.)* Простите, Владимир Алексеевич... Видите ли... Я должен сознаться: дядя мой – хулиган...

РЕПНИКОВ *(в большом раздражении).* Все! *(Задернул портьеру.)*

КОЛЕСОВ. Владимир Алексеевич! Я пришел сюда с надеждой, что вы меня поймете...

РЕПНИКОВ. Все, Колесов. Разговор окончен! Вы не пришли сюда – нет, вы ворвались, по своему обыкновению! И не с просьбой, а с требованием! Да знаете вы, как называются подобные визиты?

КОЛЕСОВ *(тоже вспылил).* Не знаю. Я пришел к вам с просьбой, но унижаться перед вами я не намерен. И если вы меня не понимаете, то это вовсе не значит, что вы можете на меня кричать.

РЕПНИКОВ. Так! Надеюсь, вы не будете меня душить? Здесь! В моем доме!

*Входит Репникова.*

РЕПНИКОВА. Нельзя ли поспокойнее?

РЕПНИКОВ. Вот! Полюбуйся, пожалуйста! Очень любезный молодой человек! Бывший студент, ныне...

КОЛЕСОВ *(поклонился Репниковой).* Хулиган.

РЕПНИКОВ. Вот – полюбуйся!

РЕПНИКОВА. Что ж... Пусть хулиган – зачем же так волноваться? *(Берет Репникова под руку.)*

РЕПНИКОВ. Считайте, что разговор окончен! И прошу вас, молодой человек, той дом, меня и мою дочь оставить в покое!

*Жена силой уводит Репникова на кухню.*

КОЛЕСОВ *(пошел к выходу, остановился – у зеркала).* Жених... Неужели я похож на жениха?

*Появляется Таня.*

Скажите, Таня, похож я на жениха?

ТАНЯ. Нисколько! Кто же, действительно, так просит? Кто так разговаривает? Вы на петуха похожи! На драчливого петуха.

КОЛЕСОВ. Серьезно? А ваш отец принял меня за жениха.

ТАНЯ. Что ж... Это глупо с его стороны. Извините.

КОЛЕСОВ. Глупо?.. А почему? По-моему, наоборот, за всю свою жизнь он впервые выдвинул интересную гипотезу. *(В дверях.)* До свидания, Таня. Передайте вашему папе, что вы мне нравитесь. Это произведет на него впечатление. *(Уходит.)*

*Появляются Репникова и Репников.*

РЕПНИКОВ. Ушел?

ТАНЯ. А что ему тут делать, в этом застенке?

РЕПНИКОВ. Что? Что ты сказала? *(Репниковой.)* Ты слышала?

РЕПНИКОВА. Татьяна, что ты себе позволяешь?

РЕПНИКОВ. Да понимаешь ли ты, что этот прохвост пришел сюда в расчете, что ты ему поможешь?

ТАНЯ. Ах вот как? Значит, ты отказал ему из-за меня?.. Говори! Из-за меня или нет?

РЕПНИКОВ. Я отказал ему, потому что он нахал. И довольно! Я не желаю больше о нем слышать!

ТАНЯ. А я не желаю тебя видеть! *(Надевает плащ.)*

РЕПНИКОВА. Можно узнать, куда ты собираешься?

ТАНЯ. Проветриться!

РЕПНИКОВА. Татьяна!

ТАНЯ. Что – Татьяна? Я не хочу, чтобы папа из-за меня делал подлости! Слышите! *(Уходит.)*

РЕПНИКОВ. Какова?.. Его влияние! *(Вдруг кричит.)* Кто впустил в мой дом этого проходимца?!

РЕПНИКОВА *(пожала плечами).* Я впустила. Открыла дверь, вижу – приятный человек... За что все-таки ты его так не любишь?

РЕПНИКОВ. А за что мне его любить? За что?.. *(Ходит вокруг стола.)* Мне никогда не нравились эти типы, эти юные победители с самомнением до небес! Тоже мне – гений!.. Он явился с убеждением, что мир создан исключительно для него, в то время как создан для всех в равной степени. У него есть способности, да но что толку! Ведь никто не знает, что он выкинет через минуту, а что в этом хорошего?.. Сейчас он на виду, герой, жертва несправедливости! Татьяна клюнула именно на эту удочку! Да-да! Он обижен, он горд, он одинок – романтично! Да что Татьяна! По университету ходят целыми толпами – просят за него! Но кто ходит? Кто просит? Шалопаи, которые не посещают лекции, выпивохи, которые устраивают фиктивные свадьбы, преподаватели, которые заигрывают с этой братией. Понимаешь? Он не один – вот в чем беда. Ему сочувствуют – вот почему я его выгнал! А не выгони я его, представь, что эти умники забрали бы себе в головы! Хорош бы я был, если бы я его не выгнал!.. Одним словом, он вздорный, нахальный, безответственный человек, и Татьяна не должна с ним встречаться! Это надо прекратить раз и навсегда, пока не поздно!

РЕПНИКОВА *(не сразу).* А по мне так пусть. Пусть она любит проходимца, хулигана, черта рогатого – пусть.

РЕПНИКОВ. Нашей дочери ты желаешь... Вот как?

РЕПНИКОВА. Так. И еще неизвестно, как лучше – так или по-другому.

РЕПНИКОВ. Я тебя не понимаю.

РЕПНИКОВА. Что тут непонятного. У них так, у нас по-другому.

РЕПНИКОВ. У нас? *(Осторожно.)* Что у нас?..

РЕПНИКОВА. У нас все прекрасно.

РЕПНИКОВ. Тогда в чем дело? Изволь объясниться. Что, интересно, тебе не нравится?

РЕПНИКОВА. Ладно, мне все нравится... Садись наконец за стол, пока все окончательно не остыло.

РЕПНИКОВ. Нет! Не сяду до тех пор, пока не узнаю, на что ты намекаешь. *(Усаживается.)*

РЕПНИКОВА. Успокойся. Ты лучший муж в городе... А я... Я хорошая жена... Ешь... Говорю тебе, у нас все прекрасно. Живем душа в душу. Все мне завидуют.

РЕПНИКОВ. Так... *(Поднимается из-за стола.)* Признаться, в последнее время я ожидал от тебя какой-нибудь глупости...

РЕПНИКОВА. «Последнее время» ... Всю жизнь ты ожидал от меня глупости. Всегда. Глупости и больше ничего... Что – неправда? Всегда так было. Ты умилялся моей глупости.

РЕПНИКОВ. Если это так, то, вижу, я достиг успеха. Только непонятно, для чего она мне, твоя глупость, зачем она мне понадобилась.

РЕПНИКОВА. Для удобства. И чтобы хоть чем-нибудь питать свое тщеславие. Гением ты можешь выглядеть только рядом с такой дурой, как я... Что я такое, ты не скажешь? Пока она училась в школе, я была членом родительского комитета. Теперь она выросла, кто я теперь?

РЕПНИКОВ *(не сразу).* Ты жена ученого, ты действительно хорошая жена. Разве этого мало?

РЕПНИКОВА. Да ведь ты не ученый, в том-то и дело. Ты администратор и немного ученый. Для авторитета.

РЕПНИКОВ *(сильно уязвлен).* Обо мне не напишешь мемуаров – это тебя раздражает?

РЕПНИКОВА. Нет. Но я оправдала бы себя, если бы ты был ученый... Ладно, хватит об этом. И не беспокойся, тебе ничто не угрожает: я поняла все слишком поздно... Подумай лучше о дочери. Неужели ты не видишь, что она выросла и ей ничего уже нельзя запретить? И послушай! Что тебе надо от этого парня? Чего ты в него так вцепился? Неужели нельзя отнестись к нему помягче?

*Молчание.*

РЕПНИКОВ. Ладно. Я подумаю... Скажи только, что у нас все хорошо. Все так и будет. Скажи!

РЕПНИКОВА. Садись – ешь.

РЕПНИКОВ. Хорошо... Но вначале я бы хотел услышать...

РЕПНИКОВА. Хорошо. Все хорошо. *(Целует его в щеку.)* Нормально.

РЕПНИКОВ. Я не хочу ссор. Я хочу мира и согласия. Неужели я этого не заслужил? *(Глянул в окно. Неожиданно.)* Каков наглец! Полюбуйся. Он любезничает с ней под носом. Не нахал ли? Ну скажи мне, скажи. Ну разве можно рядом с нашей дочерью терпеть такого человека. Никогда.

*Занавес.*

**ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ**

**САД**

*Весенний сад. Деревянный навес; под ним садовые инструменты, висит ружье. Тут же несколько корзин, одна из которых полна цветов – из ромашек. Новенькая дача видна наполовину. Колесов проходит с лейкой в руках. Он босиком, растрепан. Появляется ТАНЯ.*

ТАНЯ. Руки вверх, ни с места! Вы окружены... Вот так сторож! Я спокойно пробралась в сад, а вы и ухом не ведете. Добрый день.

КОЛЕСОВ. Долго ты меня искала?

ТАНЯ *(подходит).* Нет. Вы все очень толково объяснили. *(Осматривается.)* Сколько здесь цветов – надо же... Хозяин дачи важный человек?

КОЛЕСОВ. Да, он важная птица.

ТАНЯ. Пионы, гладиолусы... *(Подходит к клумбам.)* А это что?

КОЛЕСОВ. Дельфиниумы. А это галантус. Красный подснежник. Француз по происхождению.

ТАНЯ. А здесь?

КОЛЕСОВ. А здесь будет трава.

ТАНЯ. Трава?

КОЛЕСОВ. Альпийская. Как раз я ее и приручаю.

ТАНЯ. А что она – капризничает?

КОЛЕСОВ. Да, здешнее солнце ее не устраивает. Но ничего – приучим... Взгляни на тот вон косогор... Вид, скажем прямо, довольно бледный. А теперь представь на этом месте такую вот *(показывает)* траву, альпийский луг. Как?.. Я бы разрешил тебе побегать по нему босиком.

ТАНЯ. Я бы с удовольствием.

КОЛЕСОВ. Что ж, это я тебе устрою. *(Уносит лейку под навес.)*

ТАНЯ. А это то самое ружье, с которым вы ходите вокруг дома?

КОЛЕСОВ. Точно.

ТАНЯ. Представляю... А знаете, на кого вы сейчас похожи.

КОЛЕСОВ. На кого?

ТАНЯ. На проходимца. Так вас называет отец. А мне нравится. Про-хо-ди-мец... Забавное слово, правда?

КОЛЕСОВ. Ничего себе. Выразительное... Как папа, что он поделывает?

ТАНЯ. Не знаю, сегодня я его не видела.

КОЛЕСОВ. Разве он куда-нибудь уехал?

ТАНЯ *(беспечно).* Нет. Со вчерашнего дня я не была дома.

КОЛЕСОВ. Вот как?.. Где же ты ночевала?

ТАНЯ. Гуляла по городу.

КОЛЕСОВ. Всю ночь?

ТАНЯ. Да.

КОЛЕСОВ *(подходит к ней).* Почему?

ТАНЯ. Потому... Домой идти не хотелось. И никуда не хотелось. Вот и гуляла.

КОЛЕСОВ. Одна?

ТАНЯ. Ко мне приставали.

КОЛЕСОВ. Почему ты не ночевала дома?.. Почему ты всю ночь гуляла по городу? *(Обнимает ее.)*

ТАНЯ *(уклоняясь от объятий, не очень, впрочем энергично).* Потому... *(Нестрого.)* Отпустите...

КОЛЕСОВ. Ни в коем случае...

ТАНЯ. Отпустите...

КОЛЕСОВ. Никогда в жизни... Смотри на меня. Отвечай... В тот вечер почему ты пришла в общежитие?

ТАНЯ. Потому...

КОЛЕСОВ. А на кладбище?.. А сегодня?..

ТАНЯ. Потому... Потому... Потому...

*Поцелуй. Потом Колесов усаживает ее на скамейку.*

КОЛЕСОВ. Итак, дома ты не ночевала... В первый раз?

ТАНЯ. Да, в первый раз.

КОЛЕСОВ. Ну что ж. В конце концов не все же тебе ночевать дома.

*Небольшая пауза.*

ТАНЯ. Как здесь тихо... Вы здесь один?

КОЛЕСОВ. По-моему, самое время называть меня на «ты». Как?

ТАНЯ. Хорошо. Ты здесь один?

КОЛЕСОВ. Нет. Днем здесь бывает хозяин.

ТАНЯ. А вечером?

КОЛЕСОВ. А вечером я один... Приходи, если хочешь... Придешь?

ТАНЯ. Да.

КОЛЕСОВ. Когда ты придешь?

ТАНЯ. В девять, в десять... Когда будешь ждать.

КОЛЕСОВ. В девять. Но лучше – в восемь. *(Снова пытается ее обнять.)* А сейчас? Ты куда-то торопишься?

ТАНЯ. Домой. Утешить родителей. Представляешь, что там делается? Я думаю, они разыскивают меня через милицию.

КОЛЕСОВ. Что ж у вас случилось?

ТАНЯ. Отец на меня накричал, ну и вот... Раньше мы редко ссорились, а теперь каждый день скандалим... Это после вашего... *(поправляясь)* твоего посещения... Знаешь, оказалось, что мы друг друга не только не понимаем, но даже и не знаем как следует... Мне мать жалко... Да и отца жалко... В конце концов, не мать, а он всегда виноват, понимаешь?

*Близко кто-то насвистывает.*

*(Вскочив на скамейку, смотрит.)* Гости. По-моему, твои друзья.

КОЛЕСОВ *(привстал).* Вон как!.. Фролов и отставной муж Вася Букин. Теперь они уже вместе ходят. Друзья-соперники. Не понимаю, зачем им это надо?

*Входят Фролов и Букин.*

БУКИН *(напевает).* «Это ландыши все виноваты...»

ФРОЛОВ. Привет наемникам капитала!

КОЛЕСОВ. Закрой калитку.

БУКИН *(напевает).* «Этих ландышей целый букет...» Красиво живешь!

КОЛЕСОВ. Приходится... Познакомьтесь – Таня.

БУКИН *(кланяется).* Василий.

ТАНЯ. Таня.

ФРОЛОВ. Фролов.

КОЛЕСОВ. Дайте закурить. *(Закуривает.)*

БУКИН *(напевает).*

«Это ландыши все виноваты,

Этих ландышей целый букет...

Хорошо погулять неженатым

На расцвете студенческих лет...»

ФРОЛОВ *(Колесову).* Дела таковы. Ходили всем курсом в деканат, в профсоюз, в газету, шумели, говорили о твоих талантах. Собирались к ректору, но перед распределением ряды дрогнули.

КОЛЕСОВ. Знаю.

БУКИН. Когда мы с ректором беседовали о моей женитьбе, знаешь, что он сказал? Он сказал: вы настолько развинтились, что грех кого-нибудь не выгнать. Вы, говорит, отъявленные, а Колесов, так тот и совсем конченый. Не поверишь, Гомыру и того напугал. Сидит, бедный, занимается. *(Тане.)* Вот какая жизнь. А у вас?

ТАНЯ. У меня?.. У меня все прекрасно.

БУКИН. Счастливый человек. Сколько вам лет? Четырнадцать?

ТАНЯ. Шутите, шутите.

БУКИН. Нет, серьезно?

ТАНЯ. Если серьезно – девятнадцать.

БУКИН. Не может быть.

ФРОЛОВ. Коля, не теряй надежды. Сегодня распределились. Завтра горстка храбрецов вместе с деканом двинет к ректору.

КОЛЕСОВ. Бесполезно... Зачеты вы уже сдали. Скоро экзамены.

БУКИН. «Мне семнадцать, тебе девятнадцать...» *(Взял ружье.)* Вот это фузея! Стреляет?

КОЛЕСОВ. Не знаю.

БУКИН *(напевает).* «Не года, а жемчужная нить...» *(С ружьем в руках ходит по двору.)*

ТАНЯ *(Идет следом за Букиным).* Осторожнее. Это подснежники.

БУКИН. Ну? Надо понюхать.

ФРОЛОВ *(Колесову).* Получил назначение.

КОЛЕСОВ. Куда?

ФРОЛОВ. В район. На селекционную станцию. Хочешь, возьму водовозом?

КОЛЕСОВ. Надо подумать... Подожди, на селекционную?.. У Маши, кажется, там родители?

ФРОЛОВ. Совпадение.

БУКИН. Ну да совпадение! Скрадывает мою жену. Очевидно.

ФРОЛОВ. У Маши свободный диплом. Неизвестно, что ей взбредет в голову.

БУКИН *(Колесову).* Понял? Это не Гриша, это черный ворон, который кружит, понимаешь, кружит... Коля, присматривай за мной. Как бы я его не подстрелил нечаянно.

КОЛЕСОВ. Слушай ревнивец, вы еще не развелись?

БУКИН. Не разговариваем. Что бы развестись, надо прилично друг к другу относиться.

ФРОЛОВ. Он еще на что-то надеется.

ТАНЯ *(подходит к Колесову).* Ну, я побежала?

КОЛЕСОВ. Я тебя провожу.

ТАНЯ *(Фролову и Букину).* До свидания.

*Колесов и Таня уходят. Букин с ружьем стоит посередине двора.*

ФРОЛОВ *(развалился на скамейке).* Не понимаю, на что ты еще надеешься? Неужели ты думаешь, что она полетит с тобой на север? Она прекрасно знает, что по дороге вы забудете ее где-нибудь в кабаке. Ты и твой лучший друг Гомыра.

БУКИН. Я понимаю, Гриша. Ты во что бы то ни стало хочешь разбить молодую семью.

ФРОЛОВ. Твоя песенка спета. Через месяц я посажу тебя на самолет, и мы помашем друг другу на прощанье. В это время Маша будет ждать меня на вокзале. Тебя это устраивает?

БУКИН. Не надо, Гриша. Я впечатлительный. Возьму и выстрелю.

ФРОЛОВ. Ружье тебе идет, бандит.

БУКИН. «Это ландыши все виноваты...»

ФРОЛОВ. Мародер.

БУКИН. «Этих ландышей целый букет...»

ФРОЛОВ. Жизнерадостный погромщик.

БУКИН. Гриша, ты хорошо воспитан и знаешь, как себя надо вести. Во всех случаях жизни...

ФРОЛОВ. Тебе это не нравится?

БУКИН. Почему же. Мне нравится. Я даже тебе благодарен. Ты всегда умел вовремя остановить. Поправить. Удержать... Я тебе просто завидую. Ты организованный человек, цельная натура. У тебя удивительный такт и большое чувство меры...

ФРОЛОВ. Вот так всегда узнаешь со стороны, что ты неплохой человек.

БУКИН. С тобой никогда не наделаешь глупостей. В любом случае ты знаешь, как себя вести. Гриша, скажи, что делать, если тебе хочется выстрелить в человека?

*Молчат. Игра принимает серьезный оборот. Фролов поднимается, подходит к Букину.*

Вот что интересно. Ведь до этой самой минуты ты себе ничего такого даже и представить не мог.

ФРОЛОВ. Дай сюда.

БУКИН *(отступил).* Не подходи Гриша. Я знаю, это самая глупая из моих шуток. Но ты не подходи. Скажи лучше, что делать.

ФРОЛОВ. Отдай ружье, клоун.

БУКИН. Я клоун. Рядом с таким серьезным человеком, как ты, я – шут. Но шуты люди темные... Тебе никогда не приходило это в голову?

ФРОЛОВ *(садится).* Поиграй, поиграй. Чем бы дитя не тешилось...

БУКИН. Ты не поверишь, Гриша, а меня иногда такая находит серьезность... Я дикий человек, и мысли у меня дикие. И вот я думаю, что бы со мной было, если бы не ты? Ведь только ты, благоразумный человек, знаешь, как надо жить. А я человек неблагоразумный, живу не так, как я хочу. Я живу так, как ты этого хочешь. И вот иногда, Гриша, мне тяжело на тебя смотреть...

ФРОЛОВ. Что ты плетешь?

БУКИН. И хочется сделать по-своему.

ФРОЛОВ. Поставь ружье.

БУКИН. И сегодня мы сделаем по-моему. Сегодня мы поступим благоразумно.

ФРОЛОВ. Поставь ружье, если хочешь со мной разговаривать.

БУКИН. Мы будем стреляться. Как бы глупо тебе это не показалось.

ФРОЛОВ. Ах, дуэль. Во-от что... Иди-ка поспи. Дуэлянт!

БУКИН. Мужайся, Гриша. Сейчас мы пойдем за огород и бросим жребий.

ФРОЛОВ (весело). Это что же, на двоих один мушкет?

БУКИН. Ничего, по очереди. Там ты забудешь, что это глупо.

ФРОЛОВ. Ну а... секунданты? Кстати, они сейчас называются свидетелями.

БУКИН. Ты не отвертишься, даю тебе слово. Я даже струсить тебе не дам. *(Поднимает ружье.)*

ФРОЛОВ. Да ты что?.. Что ты, взбесился?

БУКИН. Пошли!

ФРОЛОВ. Подожди. Кого ты собираешься смешить?

БУКИН. Если ты будешь трусить, я прострелю тебе ногу.

ФРОЛОВ. Если ты собрался острить, надо собрать публику. В наше время не каждый день стреляются.

БУКИН. Пошли!

ФРОЛОВ. Слушай... Ты что – серьезно? А если мы друг друга покалечим? Подумай. Это же скандал, больница. И потом, ведь это позорное дело. Мы насмешим весь город.

БУКИН. Иди, я тебе говорю.

*Идут по дорожке, которая ведет дальше, в сад.*

ФРОЛОВ. Постой, Вася... Постой!

*Останавливаются.*

Слушай, давай подеремся, что ли. В конце концов набьем друг другу морды! Зачем же крайности!

БУКИН. Не хнычь. Может тебе повезет.

ФРОЛОВ *(вдруг).* Ну идем!

*Уходят. Появляется Колесов. Осматривается. Садится на скамейку. Раздается автомобильный гудок. Входит Золотуев. На нем соломенная шляпа, белая с вышивкой рубаха. Бодр. Держится уверенно.*

КОЛЕСОВ. Ну что, дядя как коммерция?

ЗОЛОТУЕВ. Я не коммерсант, я цветовод-любитель. Прошу не путать. Я, если хочешь знать, землю украшаю. Обо мне даже в газете писали.

КОЛЕСОВ. Это вы будете говорить, когда вас придут раскулачивать.

ЗОЛОТУЕВ *(усаживается на скамеечку).* Как придут, так и уйдут. Законы я знаю, не волнуйся. Я брат образован.

КОЛЕСОВ. Да?! И какое у вас образование?

ЗОЛОТУЕВ. Хорошее. Я его, образование, на Индигирке получил.

КОЛЕСОВ. Ну! Так это хорошее образование. Там ведь до Калифорнийского университета рукой подать... За что вас, туда, если не секрет?

ЗОЛОТУЕВ. За что, за что. Может я сам не знаю. Сам до сих пор удивляюсь – за что.

КОЛЕСОВ. Зря удивляетесь. Удивительно, как вас оттуда выпустили.

ЗОЛОТУЕВ. Я тебя выгоню, имей в виду!

КОЛЕСОВ. Не говорите глупостей. Вам не обойтись без научного сотрудника... А быстро вы сегодня обернулись.

ЗОЛОТУЕВ. Спрос неплохой, но цены падают. Надо торопиться. (Поднялся, идет по двору.) Много нарезал? Всего две корзины? Да чем ты тут занимаешься?.. Кран тоже не починил. Да ты на сигареты и на те не заработал.

КОЛЕСОВ. Кстати, о сигаретах. Привезли? *(Протягивает руку.)*

ЗОЛОТУЕВ. Две корзины с самого утра! Учти, если и дальше так пойдет, я не заплачу тебе ни копейки! *(Бросил Колесову пачку сигарет.)*

КОЛЕСОВ. Пачка? И это все? *(Закуривает.)* Послушайте, дядя. Как вы со мной обращаетесь? Как разговариваете? И вообще, где вы находитесь? В Аргентине? На собственной плантации?.. Не забывайтесь. Или вы хотите, чтобы ваша лавочка закрылась на учет?

ЗОЛОТУЕВ. Не пугай меня. Мне бояться нечего. Золото я не краду, валютой не торгую. Налоги плачу аккуратно. Обо мне не беспокойся, ты о себе побеспокойся... Мне нужны цветы, а ты что делаешь? С травами какими-то стал возиться. Нашел место! На кой черт мне твои травы?

КОЛЕСОВ. Жевать. Травы вам жевать надо.

ЗОЛОТУЕВ. Тьфу! Я даже в блатном мире такого грубияна не встречал. Недаром тебя выгнали из института.

КОЛЕСОВ. И потом, мы с вами договорились: день я работаю на вас, день на себя. Вы что, мне не доверяете?

ЗОЛОТУЕВ. Не доверяю. Но ты не обижайся. Я никому не доверяю. Я единственный человек, на которого я еще могу положиться.

КОЛЕСОВ. Это неправильно, дядя. Так нельзя... *(Не сразу.)* А что, дядя, была у вас семья?

ЗОЛОТУЕВ. Был я женат, и не единожды. Детей не было.

КОЛЕСОВ. Еще один нескромный вопрос – куда вам столько денег? Сколько их у вас, а вы все гребете, все хапаете, да еще трясетесь над ними – смотреть на вас тошно.

ЗОЛОТУЕВ. Зачем деньги – ну не глупый ли вопрос?

КОЛЕСОВ. Ведь у вас все есть: дом, дача, машина. Чего же вам еще дядя? Ведь вы же старый человек.

ЗОЛОТУЕВ. Старый, а что из того? Покрутись с мое, покувыркайся, тогда не будешь спрашивать, зачем людям деньги. Кому дом, кому свобода, кому жар птицу приобрести, а другому, бывает, и ничего не надо, потому как он денежки любит за одно наличие... Всякое бывает. Знаю я, к примеру, случай один, старичка одного знаю, так ему, грешнику, чтобы совесть свою успокоить, человека купить надо... *(Неожиданно.)* Хочешь расскажу?

КОЛЕСОВ *(с неохотой).* Валяйте, дядя, рассказывайте...

ЗОЛОТУЕВ. Ну слушай... *(Сначала спокойно, потом все более увлекаясь, держит монолог о взятке.)* Лет пятнадцать назад работал тот грешник в нашем городе в мясном магазине. Работа у него была интересная, он за прилавком стоял. Людей он не обижал и себя, конечно, не забывал. Время шло. Заходил в тот магазин покупатель, наезжали комиссии, ревизия налетала, а грешник все стоял за прилавком. Бывало, конечно, что и качнется, с кем не случается, качнется, но не падает – дело он свое знал, на ногах держался крепко. Долго бы он там простоял, если бы не объявился к нему тот самый человек. Объявился, поздоровался. Ревизор как ревизор. Моложавый такой, веселый. Стали бабки подбивать, и вышел у нашего продавца излишек. Небольшая была сумма, так себе. Говорить не о чем. А ревизор к нему с претензией: как же так дорогой товарищ? Выходит, вы народ обманываете? Что теперь с этим излишком, как нам быть. Как, – думает наш продавец, – известно как. И чтобы с ним, излишком, не возиться, говорит ревизору: возьмите, говорит, его себе, будьте таким любезным. Обыкновенное дело. А тот ему отвечает: мало, говорит, что вы народ обвешиваете, вы, говорит, еще и взятку предлагаете. Ну, говорит, это вам это так не пройдет... Ну думает продавец, значит мало дал. Значит добавлять надо. Ну и добавил. А ревизор ему на это: негодяй говорит. Вы что, купить меня хотите? Ну, грит, на себя пеняйте. И ушел. Да еще дверью хлопнул. Ну, думает наш продавец, шутки в сторону. Опять мало. Нашел он того ревизора и дает ему с перепугу все, что у него было. Все карманы вывернул. Ну, грит, ешь!

*Молчание.*

КОЛЕСОВ. Ну?

ЗОЛОТУЕВ. Вот тебе и «ну»! *(Не сразу.)* Посадил он того продавца на десять лет за излишек и взятку по совокупности. Такие дела. Десять лет, сам понимаешь прошли как в сказке... И вот выходит наш продавец на свободу. Садился – жена у него оставалась, интересная баба. На пятнадцать лет моложе его была. А вернулся – ни кола, ни двора. Ни одной близкой души. Идет он по родному городу, в кулак свищет. А навстречу ему ревизор. И улыбается, как десять лет назад. С возвращением, грит, рад вас видеть. То-то рад, думает наш продавец, а уж я-то как рад тебя видеть, если бы ты только знал. *(Тут свой рассказ он начинает сопровождать изображением в лицах.)* Ну, говорит ему продавец, дело прошлое, а скажи-ка ты теперь мне, дорогой товарищ, откровенно: сколько тебе тогда дать надо было? Какую сумму? Усмехается. Э, грит, много, у вас таких денег не было и не будет. А все ж таки, спрашиваю, сколько? Что вы, что вы, отвечает, эта сумма просто немыслима. А все ж таки? Тысячи, усмехается, много тысяч, никак не меньше двадцати. А если, спрашивает тут бывший продавец, добуду я эти деньги и вам из принесу, возьмете их сейчас? Странный, отвечает, вопрос. Зачем же, говорит, вам сейчас давать мне деньги, а тем более мне их у вас брать? А продавец ему свое. Я, говорит, вам эти двадцать тысяч предоставлю, а вы, грит, их у меня возьмите. А взамен, грит, мне ничего от вас не потребуется, кроме одного вашего слова. Как это? – спрашивает. Вот так, отвечает, я вам двадцать тысяч, а вы мне одно только слово, и даже без свидетелей... Какое же, спрашивает слово? А такое, говорит, сволочь я, зря человека посадил. Вот, грит, какое слово. И я, грит, не я, если от тебя такого слова не услышу. Да, говорит ему ревизор, странный вы человек и шутки у вас странные. Прощайте говорит. А продавец ему вслед: нет, до свидания, обязательно увидимся. На том и разошлись.

*Молчание.*

КОЛЕСОВ. И все? Вся история?

ЗОЛОТУЕВ. Нет, не вся. Продавец нашел себе другое занятие, и снова завелась у него монета.

КОЛЕСОВ. Он что, в самом деле собирается к этому ревизору?

ЗОЛОТУЕВ. Еще как собирается.

КОЛЕСОВ. Думает возьмет ревизор?

ЗОЛОТУЕВ. Конечно, возьмет.

КОЛЕСОВ. Вы уверены?

ЗОЛОТУЕВ. Двадцать тысяч! Кто же от них откажется? Кто? Я тебя спрашиваю! Кто откажется?

КОЛЕСОВ *(пожал плечами).* Честный человек.

ЗОЛОТУЕВ *(вдохновляется).* Где честный человек?.. Кто честный человек?.. Честный человек – это тот, кому мало дают. Дать надо столько, чтобы человек не мог отказаться, и тогда он обязательно возьмет! Возьмет! Ревизор возьмет! *(Забывается.)* Недолго ему осталось ждать! Еще полмесяца-месяц, и тогда хватит! Он все ему отдаст! Дом, машину, дачу! По миру пойдет! *(Кричит.)* Но он возьмет у него! Возьмет? Я говорю тебе, возьмет!

КОЛЕСОВ *(поднялся).* Дядя, да вы кошмарный старик...

*Молчание.*

Дядя, спокойнее, что это вы так раздухарились? Что с вами?

ЗОЛОТУЕВ *(вдруг опомнился).* А?.. Верно, чего это я?

КОЛЕСОВ. Странно... Уж не вы ли тот самый продавец?

ЗОЛОТУЕВ. Что ты, что ты... Упаси бог не я! Знакомый мой, товарищ мой! Срок вместе отбывали. Друг, можно сказать... За друга переживаю... Да еще нервишки. Какие они в моем возрасте?

*Выстрел.*

*(Вздрогнул.)* Что это?

КОЛЕСОВ. Понятия не имею. Да... Ну а как ваша жаба?

ЗОЛОТУЕВ. Жаба как жаба... Давит.

КОЛЕСОВ. Ну, дай ей бог здоровья.

ЗОЛОТУЕВ. Тьфу!.. Спасибо, сынок, и откуда только ты такой взялся!

*Из сада появляется Фролов, за ним Букин. В руках у Фролова ружье, у Букина – убитая сорока.*

*(Колесову.)* Что за люди?

КОЛЕСОВ. Друзья.

ЗОЛОТУЕВ. Друзей нет, есть соучастники. Вы стреляли?

БУКИН. Ну, мы.

ЗОЛОТУЕВ *(смотрит на Фролова подозрительно).* А что это вы вроде как не в себе.

БУКИН. Пролили кровь, раскаиваемся.

КОЛЕСОВ. Что за зверь?

БУКИН. Сорока.

ЗОЛОТУЕВ. За что вы ее, бедняжку?

БУКИН. Хлопнули свидетельницу.

ФРОЛОВ. Кого-нибудь надо было убить.

ЗОЛОТУЕВ. Открыли пальбу. Кто вам разрешил? Идите в лес, там и стреляйте.

ФРОЛОВ. Спасибо. На сегодня хватит. Мы неплохо провели время. Он хотел меня убить, но к счастью, раздумал.

БУКИН. С чего это я взял, что могу выстрелить?.. Я пережил в два раза больше. За тебя и за себя. А ты Гриша, ты только за себя.

ФРОЛОВ. Псих. Чтобы я когда-нибудь с тобой связался! *(Идет со двора, но сначала не в ту сторону.)*

БУКИН. Как бы он с перепугу не угадал под трамвай. *(Отдает Колесову ружье.)* Держи! Трудная у тебя работа. В субботу увидимся.

*Фролов и Букин уходят.*

ЗОЛОТУЕВ. Ну и друзья! Головорезы.

КОЛЕСОВ *(поднимает сороку).* Допрыгалась, дура. *(Унес ее под навес.)*

ЗОЛОТУЕВ *(кого-то увидел).* Последнее время здесь шатается много незнакомых людей...

КОЛЕСОВ. Кого вы там еще увидели? *(Смотрит на калитку.)*

ЗОЛОТУЕВ. А незнакомых людей я не люблю.

КОЛЕСОВ. Ого!

ЗОЛОТУЕВ. Кто такой?

КОЛЕСОВ. Это ко мне. По личному вопросу... Дядя вы свободны.

ЗОЛОТУЕВ. Имей в виду, мне это не нравится... Не забывай, ты кран хотел починить. *(Уходит в дом.)*

*Появляется Репников.*

РЕПНИКОВ. Позволите?

КОЛЕСОВ. Проходите, Владимир Алексеевич. Проходите.

РЕПНИКОВ *(проходит).* Здравствуйте.

КОЛЕСОВ. Добрый вечер.

РЕПНИКОВ. Удивляетесь, как я вас нашел?

КОЛЕСОВ. Удивляюсь.

РЕПНИКОВ. Найти вас не трудно. В университете вы сделались знаменитостью.

КОЛЕСОВ. На это я не рассчитывал.

*Репников садится на скамейку. Маленькая пауза.*

РЕПНИКОВ. Хочу вас спросить. Можно?

КОЛЕСОВ. Пожалуйста, прошу вас.

РЕПНИКОВ. Чем вы сейчас занимаетесь?

КОЛЕСОВ. Как видите, стерегу дачу.

РЕПНИКОВ. Работаете сторожем?.. Зачем?.. В знак протеста? В насмешку? Потехи ради?

КОЛЕСОВ. Я устроился сюда не по идейным соображениям. Это место меня устраивает. Днем я занимаюсь делом, а ночью спокойно сплю. Воруют-то днем... Кроме того, Владимир Алексеевич, кто не работает – тот не ест.

РЕПНИКОВ. А наука? Собираетесь вы быть ученым?

КОЛЕСОВ. Буду, Владимир Алексеевич.

РЕПНИКОВ. Судя по вашему поведению – не скоро или никогда. По-моему, вы готовитесь в канатоходцы.

КОЛЕСОВ. Почему вы так думаете?

РЕПНИКОВ. А вы как думаете, может ученый ходить на голове?

КОЛЕСОВ. Не знаю. Пока я не ученый, а сторож, и метафоры вашей не улавливаю.

РЕПНИКОВ. А вы не горячитесь. На этот раз мы поговорим спокойно. Можно?

КОЛЕСОВ. Как вы хотите.

РЕПНИКОВ. Послушайте, Колесов, я признаю ваши способности. Но учтите, способных людей много. Очень много. Гораздо больше, чем ученых. Не правда ли?

КОЛЕСОВ. Владимир Алексеевич, к чему этот разговор?

*Помолчали.*

РЕПНИКОВ. Прошлой ночью моей дочери не было дома. Вы не знаете, где она ночевала?

КОЛЕСОВ. У меня она не ночевала.

РЕПНИКОВ. Скажите откровенно, в каких вы с ней отношениях?

КОЛЕСОВ. Мы в хороших отношениях. Она мне нравится.

РЕПНИКОВ. И это все?

КОЛЕСОВ. Нет, Владимир Алексеевич, мне кажется, что и я ей нравлюсь.

РЕПНИКОВ. Так вот... Вы оставите ее в покое.

КОЛЕСОВ. А почему?

РЕПНИКОВ. А вы не знаете почему?

КОЛЕСОВ. Не знаю.

РЕПНИКОВ. Перестаньте, вы все прекрасно понимаете. Я недооценил вас. С такими, как вы, лучше сразу соглашаться... Послушайте! Не встречайтесь с ней, оставьте ее в покое! Она вам нравится, могу это допустить, но ведь вам нравятся все хорошенькие девушки, разве нет? Так почему же именно моя дочь? Вчера она ушла из дому, надо полагать, она здесь появится. Прошу вас... гоните ее от себя, исчезните, придумайте что-нибудь...

КОЛЕСОВ. Владимир Алексеевич, скажите... А не кажется вам несколько странным...

РЕПНИКОВ. Что, Колесов?

КОЛЕСОВ. Да все. Все для чего вы сюда явились? Не странно ли все это?

РЕПНИКОВ. Нисколько. Я пришел сюда, чтобы избавить от вас свою единственную дочь.

КОЛЕСОВ. А вы уверены, что она этого захочет?.. Интересно бы узнать и ее мнение.

РЕПНИКОВ. Вы старше ее, Колесов: ей девятнадцать лет. В ком же из вас искать мне здравый смысл, подумайте сами! *(Другим тоном.)* Я слышал, деканат еще раз собирается за вас ходатайствовать. Я возражать не буду... Получите диплом и уедете. По назначению... В Каменку на селекционную станцию, если угодно... Как раз то, что вам надо.

*Небольшая пауза.*

Что?.. Может быть, вы этого не хотите?

*Молчание.*

КОЛЕСОВ *(не сразу).* Нет. Об этом я не думал.

*Молчание.*

*(Медленно.)* Но теперь я должен об этом подумать.

РЕПНИКОВ. Меня привело к вам благоразумие. Будьте и вы благоразумны.

*Молчание. Появляется Золотуев.*

Так вот... Я буду ждать вашего звонка... До свидания. *(Уходит.)*

*Золотуев проходит мимо Колесова, возвращается.*

ЗОЛОТУЕВ. Кто это?

*Молчание.*

Профессор! Кто у тебя был?.. Сидишь, бездельничаешь... Чем рассиживать, прополол бы лучше пару грядок.

КОЛЕСОВ. Плевать я хотел на ваши грядки.

ЗОЛОТУЕВ *(удивился).* Ты что, не хочешь у меня работать?

КОЛЕСОВ. А вы думали, ваши клумбы – предел моих мечтаний. Вы рехнулись, дядя.

ЗОЛОТУЕВ *(встревоженно).* Собираешься уходить?.. Ты что, обиделся?.. Слушай, я на тебя не жалуюсь. Живи. Грубиян ты, конечно, порядочный, но и работник тоже, и в цветах понимаешь. Если откровенно – ты большой специалист.

КОЛЕСОВ *(усмехнулся).* Признали? Оценили, паук вы этакий.

ЗОЛОТУЕВ. Куда же ты собрался?.. Что, выгодное предложение?.. Ладно! Возись ты со своей травой, черт с ней! Слышь, я прибавлю тебе стипендию... Семьдесят. Хочешь?

КОЛЕСОВ *(рассеянно).* Помолчите, дядя.

ЗОЛОТУЕВ. Семьдесят нынче инженеры получают. А, профессор?

КОЛЕСОВ. Помолчите, я вам сказал.

ЗОЛОТУЕВ *(предупредительно).* Размышляй, я тебе не мешаю. Но не делай глупостей. Не дури, работай у меня. *(Уходит, оглядываясь.)*

*Колесов сидит на скамейке. Звучит музыка: мелодия песенки «Это ландыши все виноваты». Освещение меркнет и перемещается, в саду – темные длинные тени. Девятый час вечера. Появляется Таня.*

ТАНЯ. Я опоздала... *(Подходит к Колесову.)* На пять минут... Прощается?

*Молчание.*

*(Чувствует неладное.)* Что с тобой?

*Молчание.*

Что-нибудь случилось?

КОЛЕСОВ. Скандал на Панаме, на Занзибаре – революция. Я все еще работаю ночным сторожем...

ТАНЯ. У тебя испортилось настроение?.. Почему? Скажи.

КОЛЕСОВ. Да... Я все скажу.

ТАНЯ. Подожди, я тебя перебью...

КОЛЕСОВ *(вскочив, ему под ноги попала лейка, он швырнул ее в сторону).* Не надо меня перебивать!

ТАНЯ. Что с тобой?!

КОЛЕСОВ. Прости... И послушай. Ты ушла, а я здесь думал, и вот какое дело: нам надо остановиться... Я не Ромео. Мне только показалось, что я Ромео. Какой я к черту Ромео!.. В общем так: отбросим иллюзии, у нас с тобой ничего не выйдет... Все! Я не Ромео. У меня на это нет времени... Мне некогда, понимаешь?

ТАНЯ. Зачем ты мне это говоришь?

КОЛЕСОВ. Зачем говорю?.. Короче: нам надо остановиться. Вернее, нам не следует начинать. Днем я вел себя несколько... развязно, так это... Это у меня привычка такая. Прошу прощения.

ТАНЯ. Нет... Ты меня разыгрываешь...

*Молчание.*

КОЛЕСОВ. Все. А если ты отнеслась ко всему серьезно – наплюй, переживи... Вот и все, что я тебе хотел сказать.

ТАНЯ. Все?

КОЛЕСОВ. Все. И на этом поставим точку. Встречаться больше не будем.

*Молчание.*

ТАНЯ. Мне уходить?

КОЛЕСОВ. А ты как считаешь?

ТАНЯ. Все, что ты говорил мне, это вранье. Лучше бы ты сразу сказал, что я тебе не нравлюсь.

КОЛЕСОВ. Вот-вот. Ты мне не нравишься.

*Молчание. Таня уходит. Колесов смотрит вслед. Потом бредет по двору. В третий раз натыкается на лейку, хватает ее, размахивается, но опускает руку – жест скорее смешной, чем многозначительный. С лейкой в руке стоит посреди двора.*

**УНИВЕРСИТЕТ**

*Выпускной вечер в университете. Терраса, за ней окна зала, закрытые шторами. На террасе несколько столиков. Входа три: два из зала и один с улицы. Из зала доносится смех. Шум, музыка.*

*За одним из столиков сидит Колесов. Перед ним бутылка вина, несколько стаканов. Из зала выходит Букин и Гомыра. Останавливаются у двери, не замечая Колесова. Букин рассеянно насвистывает или без слов напевает песенку: «Это ландыши...»*

ГОМЫРА. Вася, ты извини меня за нахальство, но я хочу тебя спросить...

*Букин продолжает насвистывать.*

Я тебя всегда хорошо понимал, а теперь не понимаю.

*Букин продолжает насвистывать.*

Вася, я про женщину. После свадьбы ты про нее ни слова, я так понял, что ее не существует в природе. А сегодня, Вася... Ты извини меня за наглость, но мне показалось...

БУКИН *(негромко).* Послушай... Убей меня, если хочешь, но я без нее жить не могу.

ГОМЫРА *(не сразу, с искренним удивлением).* Извини, Вася, если ты поставил вопрос так резко, значит... извини...

*Заметили Колесова, подошли к нему.*

БУКИН. А ты один?

КОЛЕСОВ. Так, наслаждаюсь природой.

*Молчание. Из зала доносится музыка.*

ГОМЫРА. Парни... Вася, Николай...

БУКИН. Что такое?

ГОМЫРА. Ребята...

КОЛЕСОВ. Что, уже наклюкался? Успел?

ГОМЫРА. Да нет, парни, не то. Мысль в голову ударила: быстро время летит... *(Другим тоном.)* Магазины-то закрываются.

БУКИН. Выпьем?

ГОМЫРА. Не хочу.

БУКИН. Что такое?

ГОМЫРА. Не поверите, не принимал сегодня ни грамма и сейчас не хочу. А что, ребята, может, я желаю воспоминания сохранить об этом вечере?

*Голос Золотуева: «Профессор!». Появляется Золотуев. Одет торжественно, но вид у него растерзанный. В руках – портфель.*

ЗОЛОТУЕВ. Племянник...

КОЛЕСОВ. Дядя?

БУКИН. Коля, айда с нами, отдашь дань геологам.

КОЛЕСОВ. Сейчас приду. Дядя, вы откуда?

ЗОЛОТУЕВ. Едва тебя нашел... Беда у меня, профессор. Не взял.

КОЛЕСОВ. Что такое? Что там с вами стряслось?

ЗОЛОТУЕВ. Не взял, говорю! Выгнал. Сегодня было.

КОЛЕСОВ. Кто не взял? Чего не взял? Что вы плетете?

ЗОЛОТУЕВ. Он не взял! Ревизор.

КОЛЕСОВ. Ах да. Ревизор?.. Вот оно что... Не взял?

ЗОЛОТУЕВ. Не удостоил... Эх, племянник, жизнь разбита... Ты- то как? Чем занимаешься?

КОЛЕСОВ. Я? Да вот... веселюсь. Сдал экзамены, прощаюсь с университетом.

ЗОЛОТУЕВ. Получил, значит, образование?.. Как это ты? Сколько дал?

КОЛЕСОВ *(не сразу, негромко).* Много дал... *(Золотуеву.)* Много, дядя, вам столько и не снилось... Прощайте дядя. Идите себе.

*Золотуев уходит. Появляются Фролов и Маша.*

МАША *(о Колесове).* Вон он где скрывается. *(Подходит.)* Что с ним делается, я не понимаю, все у него уладилось, все устроилось, все хорошо. *(Колесову.)* Ну-ка отвечай, чем ты недоволен?

*Колесов не отвечает.*

МАША. Послушай, я вот все хочу тебя спросить, где эта девочка Таня? Почему ее не видно?

КОЛЕСОВ. А почему я должен знать, где она?.. Понятия не имею.

*Небольшая пауза. Слышна музыка.*

ФРОЛОВ. Хороший вечер.

МАША. Да... Тишина и прохлада. Хочется сказать какую-нибудь глупость.

ФРОЛОВ. В чем же дело?

МАША. Не умею. Чувствую, а сказать не умею.

Фролов *(Колесову).* Когда ты уезжаешь?

КОЛЕСОВ. Точно не знаю, чем скорее, тем лучше.

МАША. А я на днях. Я же домой еду.

КОЛЕСОВ. Знаю.

МАША. Вон и Гриша туда собирается, в наши места. Коля, может, мне выйти за него, и точка?

ФРОЛОВ. Ты очень любезна.

МАША. А что? Серьезный, надежный, все понимает, любит. *(Фролову.)* Любишь ты меня или нет?

ФРОЛОВ. Если в таком тоне, то нет.

КОЛЕСОВ. Опять ты замуж собираешься? Это не к добру... Пойти к геологам, авось рассмешат...

МАША. Еще как рассмешат.

*Колесов уходит в зал.*

ФРОЛОВ. Маша, да или нет? Я пять лет жду ответа.

МАША. Я тебе уже говорила много раз.

ФРОЛОВ. Но теперь ты можешь сказать «да».

МАША. Могу, Гриша. Но это будет такое «да», что... Уж не лучше ли «нет»?

*Фролов и Маша возвращаются в зал. Из зала выходят Репников и Репникова.*

РЕПНИКОВ. Веселиться они еще не разучились, не правда ли?

РЕПНИКОВА. Не знаю. Я никогда не бала студенткой... Скажи мне, сколько слов сказала нам наша дочь за последнюю неделю? Ты сосчитал? Это легко сделать. Все кончится тем, что она от нас сбежит.

РЕПНИКОВ. Не понимаю, когда она успела так в него влюбиться?

РЕПНИКОВА. Вместо того чтобы задавать такие глупые вопросы, думал бы, как ей помочь.

РЕПНИКОВ. Каким образом? Насильно ведь мил не будешь. С этим тоже надо считаться.

РЕПНИКОВА. Я слышала, его собираются оставить в аспирантуре. Все за, один ты против.

РЕПНИКОВ. Ну уж нет! Хватит и того, что он закончил университет.

РЕПНИКОВА. Но, признайся, аспирантуры он заслуживает. Все говорят, что заслуживает.

РЕПНИКОВ. Послушай, эту историю знает весь город, и считается, что инцидент исчерпан. А мы – на тебе – начнем все сначала. Подумай, какой тут может быть резонанс? Подумай обо мне. Немного.

РЕПНИКОВА. Не понимаю, что предосудительного в том, что ты оставишь в аспирантуре хорошего парня?

РЕПНИКОВ. Да ведь ты его не знаешь как следует. А если он совсем не тот, за кого он себя выдает?.. И, кроме того, это место уже обещано другому...

РЕПНИКОВА. Сделаешь, как я тебя прошу... Идем отсюда. Я озябла.

*Возвращаются в зал. Появляются Веселый, Красавица, Комсорг, Серьезный, Строгая, Фролов и Маша... В руках у Веселого бутылка.*

ВЕСЕЛЫЙ. Сюда, ребятишки, на свежий воздух.

*Все проходят к столу.*

Итак, друзья мои, разрешите провозгласить тост. *(Наливает вино в стаканы.)*

КРАСАВИЦА. Без тостов нельзя? Тосты, тосты, просто так и выпить уже нельзя.

ВЕСЕЛЫЙ. Почему нельзя? Можно. Выпьем просто так, за лыжный спорт в Африке. *(Гогочет.)*

*Входит Букин, за ним Гомыра.*

БУКИН. Чего это вам так весело? Чему вы так шумно радуетесь? Уж не тому ли, что вы больше не студенты? *(Наливает вино себе и Гомыре.)* Бедняги. Вас ждут железные объятья самостоятельной жизни. Веселитесь, но не забывайте, что вы на похоронах...

СЕРЬЕЗНЫЙ. Что ж, неплохо сказано.

МАША. Ну, конечно... Без скоморохов сегодня не обойтись.

БУКИН. Последний раз в сезоне. Так сказать, спешите видеть... Кстати, Маша. Мы вот-вот разъезжаемся... А ведь ты с тобой зарегистрировались. Вот что значит легкомыслие. Не обдумали как следует, не взвесили, раз-два, наставили штампов. А теперь – развод. Это же такая морока.

МАША. Никакой мороки. Надо подать заявление в загс – всего-то.

БУКИН. Всего-навсего?.. Скажите, какой прогресс. Надеюсь, ты подашь заявление?

МАША. Да, я собиралась зайти, да все как-то времени не хватало. Не волнуйся, завтра я это обязательно сделаю.

БУКИН. Я знал, что ты не будешь упорствовать.

ГОМЫРА. Маша, мне надо с тобой поговорить.

МАША. Тебе?.. Со мной?

ГОМЫРА. Конфиденциально. Я абсолютно трезвый, прошу заметить.

КРАСАВИЦА И ВЕСЕЛЫЙ *(произносят разом).* Что?!

*Смех.*

ГОМЫРА. Я трезв как стеклышко. Прошу вас. *(Подает Маше руку.)*

МАША. Ну если так... *(Подает Гомыре руку, и они картинно удаляются.)*

КРАСАВИЦА. Вот так Гомыра.

ВЕСЕЛЫЙ. Оригинально.

БУКИН. Ну вот... еще один скандал. Прощальный. Весь вечер на манеже Вася Букин, комик-пародист... *(Фролову.)* Гриша, ты знаешь, о чем я сейчас жалею?.. Мне жалко почему-то ту самую сороку. Зачем мы ее убили? За что?.. При чем здесь сорока?

ФРОЛОВ *(отшатнувшись).* Не знаю... И вообще, эта ваша неврастения... Прошу меня от нее уволить.

БУКИН. Никто ничего не знает...

*Из зала слышна музыка. Красавица и Веселый уходят в зал.*

Пойду, пожалуй, в буфет.

*Из другой двери из зала появляются Маша и Гомыра. Гомыра подводит к Букину Машу и проходит мимо.*

Маша... Перед отъездом всегда хочется помириться. Так принято. У неврастеников.

МАША. Уйди.

БУКИН. Ну и жизнь... Никто ничего не понимает. Палеолит... Маша, я пересмотрел всю свою философию...

МАША. Молчи, идиот.

БУКИН *(просиял).* Ну вот!.. А при чем же здесь слезы?

МАША *(вытерла слезы).* Отстань. Это у меня алкогольное... Когда уезжаешь?

БУКИН. Третьего июля.

МАША. Меня возьмешь?

БУКИН. Там вечная мерзлота, предупреждаю.

*Никого не замечая, Маша и Букин, обнявшись, уходят. Появляются Фролов и Колесов.*

ФРОЛОВ. Все! С меня, кажется, хватит. *(Колесову.)* Коля, я хотел сказать, мне предложили аспирантуру. Это на твое место, и я должен тебе это сказать...

КОЛЕСОВ. Какой разговор? На здоровье, Гриша... Мне все равно.

ФРОЛОВ. Правда?.. Я молчал, потому что собирался уезжать. Но теперь – кончено. Я остаюсь в аспирантуре. *(Уходит.)*

*С улицы входит Таня. Подходит к Колесову, сидящему за столом.*

КОЛЕСОВ *(холодно).* Зачем ты пришла?

ТАНЯ. Поздравить тебя с окончанием... Поздравляю.

КОЛЕСОВ *(мрачно).* Спасибо.

ТАНЯ. Извини, если не вовремя...

КОЛЕСОВ. Да нет, в самый раз... Самое время меня поздравить...

ТАНЯ *(не сразу).* Ты уезжаешь?

КОЛЕСОВ. Да.

ТАНЯ *(не сразу).* Я бы не пришла. Но я узнала, что ты уезжаешь...

КОЛЕСОВ. Папа тебе сказал?

ТАНЯ. Да.

*Небольшая пауза.*

КОЛЕСОВ. Ну, как поживаешь?

ТАНЯ. Если бы тебя это интересовало, ты мог бы позвонить.

КОЛЕСОВ. Один раз звонил.

ТАНЯ (радостно). Ты мне звонил?

КОЛЕСОВ. Разговаривал с папой.

*Пауза.*

ТАНЯ. Твоя трава... подросла она? Помнишь, ты меня приглашал... Босиком по лугу...

КОЛЕСОВ. Луга еще нет... Но босиком уже можно.

ТАНЯ. А я даже сон такой видела: мы с тобой бежим по лугу.

КОЛЕСОВ. Бежим?.. В одну сторону, ты не заметила?

ТАНЯ. В одну. Конечно, в одну.

КОЛЕСОВ. Приятный сон... идиллический. *(Вдруг.)* Но зачем ты пришла – не понимаю. Я тебе все сказал, мы поставили точку, чего еще?

ТАНЯ *(с волнением).* Ты уедешь... Но мне кажется, что мы с тобой еще встретимся. Пусть не скоро, пусть через год, через два... И ты не запретишь мне об этом думать!.. И когда мы встретимся, тогда... Скажи мне сейчас: может быть. Больше мне ничего не надо. Скажи мне: может быть.

КОЛЕСОВ *(взял ее за плечи).* Ты бредишь... Через месяц эта сказка вылетит у тебя из головы.

ТАНЯ. Никогда!.. Как мне тебе это доказать?

КОЛЕСОВ *(забылся).* Ты полоумная... *(Привлек ее к себе. Потом спохватился.)* Ты сама не знаешь, что ты говоришь... Знаешь, не мешало бы тебе быть благоразумнее.

ТАНЯ. Благоразумнее?

КОЛЕСОВ. Именно. Именно благоразумнее.

ТАНЯ. Что это? Что это ты себе выдумал? Какое такое благоразумие?

КОЛЕСОВ. Послушай. Знаешь, к кому ты пришла?

ТАНЯ *(улыбается).* Знаю. К проходимцу.

КОЛЕСОВ. Хуже, в том-то и дело.

ТАНЯ. Ты не рад, что я пришла... Всегда я... всегда сама... Я нахалка, правда?

КОЛЕСОВ. Нет, ты молодец. Ты пришла вовремя... А прощать? Умеешь ты прощать?

*Из зала выходит Репников.*

ТАНЯ *(негромко).* Явился... Давно его не видели.

РЕПНИКОВ *(Тане).* И давно ты здесь?

ТАНЯ. Недавно. Пришла поздравить некоторых знакомых.

РЕПНИКОВ. Ну-ну. Есть с чем поздравить.

КОЛЕСОВ. Вот и я говорю, самое время нас с вами поздравить.

РЕПНИКОВ *(отводит Колесова в сторону).* Почему, черт возьми, вы устроили свидание?

КОЛЕСОВ. А потому, черт возьми, что мы давно не виделись. Целых три недели.

РЕПНИКОВ. Но... Разве у нас в вами речь шла о трех неделях?

КОЛЕСОВ. Мы соскучились, понятно вам это? Мы, может, вообще друг без друга не можем. По-моему, это дороже стоит. Вам не кажется?

РЕПНИКОВ. Не шутите, Колесов, теперь вам это не идет...

КОЛЕСОВ. Почему вы так думаете? Разве я изменился?

РЕПНИКОВ. Вы как думаете? Кто однажды крепко оступился, тот всю жизнь прихрамывает.

КОЛЕСОВ. В таком случае вы мало дали. Вы дали мне диплом и требуете, чтобы мы не встречались всю жизнь... Так вот... *(Вынимает диплом из кармана.)* Возьмите его обратно. *(Бросает диплом на стол.)*

ТАНЯ. Что? Что это значит?

КОЛЕСОВ. В тот день, когда ты приходила на дачу...

РЕПНИКОВ *(кричит).* Таня! Оставь нас вдвоем.

ТАНЯ. Нет, я не уйду отсюда.

КОЛЕСОВ. Ты уйдешь. *(Колесову.)* Могу я поговорить с вами с глазу на глаз?

*Колесов и Таня переглядываются. Таня уходит.*

КОЛЕСОВ. Что ж, давайте поговорим. Я вас слушаю.

РЕПНИКОВ. Вот вы меня ненавидите. А почему, собственно? Давайте разберемся... Когда я рвался в науку с таким же нетерпением, со мной случилось нечто похожее.

КОЛЕСОВ. С какой стати вы мне исповедуетесь?

РЕПНИКОВ. А разве нам с вами нельзя немного пооткровенничать? Согласитесь, у нас с вами есть нечто общее... Присаживайтесь... И подумайте, имеете ли вы право меня ненавидеть... Откровенно говоря, со мной вам просто повезло.

КОЛЕСОВ. Да-а. С вами не пропадешь.

РЕПНИКОВ. Пожалуй... Деканат предлагает оставить вас в аспирантуре.

КОЛЕСОВ. Так...

РЕПНИКОВ. И знаете, что... я не возражаю.

КОЛЕСОВ. Ага... Решили, стало быть, добавить? И на каких условиях?

РЕПНИКОВ. Татьяну забудьте, держите язык за зубами. Впрочем, вы сами понимаете. Мы будем молчать. И я и вы – оба, как миленькие. Увидимся. К сожалению. *(Уходит.)*

*Входит Таня.*

ТАНЯ. Не дрались?

КОЛЕСОВ. Поговорили.

ТАНЯ. И что?

КОЛЕСОВ. Меня хотят оставить в аспирантуре. Твой отец не возражает.

ТАНЯ. Ты в самом деле, ты остаешься... Правда? *(Не сразу.)* Что с тобой?.. Ты не рад?.. Ну что еще случилось?

КОЛЕСОВ. Сядем.

*Садятся.*

ТАНЯ. Все идет к лучшему. На Панаме порядок, на Занзибаре давно республика...

КОЛЕСОВ. Я должен рассказать тебе, как я закончил университет. *(Молчание.)* В тот вечер, когда ты приходила ко мне на дачу, там был твой отец... Я должен был выбрать. Одно из двух.

ТАНЯ. Не понимаю.

КОЛЕСОВ. Именно так: одно из двух. Ты или университет.

*Молчание.*

ТАНЯ. Я или университет?.. Чепуха какая...

КОЛЕСОВ. Так и было.

Таня *(помолчав).* Но ведь не хочешь же ты сказать, что... диплом ты выменял у моего отца на меня?

КОЛЕСОВ. Говорю как есть.

ТАНЯ. Чепуха... Скажи, что это чепуха... Прошу тебя, скажи, что это чепуха.

КОЛЕСОВ. Я не мог иначе.

*Молчание.*

Я выиграл время: ты должна это понять.

*Молчание.*

Может, ты хотела, чтобы я всю жизнь был сторожем?

*Молчание.*

КОЛЕСОВ. Может, ты думаешь, что я сделал это ради собственного удовольствия?

ТАНЯ *(тихо).* Значит, с папой вы поладили... А сейчас? О чем вы говорили с ним сейчас? Об аспирантуре?.. Значит, моя цена повышается... Жаль, что мой отец не академик... Ну ничего... И так неплохо, правда? *(Не сразу.)* А зачем ты сознался? Для чего? Или тебе это тоже пригодиться?

КОЛЕСОВ. Перестань, выслушай меня!

ТАНЯ. Нет, я тебе не верю.

КОЛЕСОВ. Выслушай меня. Ты должна меня понять. Кто, если не ты?

ТАНЯ. Я все поняла. Ты сделал это не ради удовольствия, поняла. Ты не мог иначе, поняла... Ты выиграл время, теперь ты своего добьешься. Будет у тебя луг, будет все, как ты захочешь. На свете нет ничего такого, что могло бы тебе помешать... Все будет по-твоему... Без меня.

КОЛЕСОВ. Будет луг – кто побежит по нему босиком. Не могу же я один... Меня же примут за сумасшедшего. *(Берет ее за плечи.)* Оставайся...

ТАНЯ. Нет, я тебе не верю. Откуда я знаю, может, ты снова меня променяешь. В интересах дела. Я так не могу. Прощай... Прощай... *(Уходит.)*

КОЛЕСОВ. Таня! *(Идет вслед за ней.)*

*На мгновение дорогу Колесову загораживает появившийся Золотуев.*

Вы что? Что вам надо?

ЗОЛОТУЕВ. Куда ты теперь? Давай-ка ты ко мне... Я ведь один, ты знаешь. Один, как перст. Дом на тебя запишу, дачу, машину...

КОЛЕСОВ. Подождите, дядя... *(Уходит.)*

ЗОЛОТУЕВ. Племянник! *(Уходит за Колесовым.)*

*Из зала врывается шумная компания: Красавица, Веселый, Серьезный, Строгая, Комсорг, Гомыра, Букин, Маша. Музыка из зала звучит громче.*

ВЕСЕЛЫЙ. Сюда, ребята!.. Вроде бы все?

ВСЕ ХОРОМ. Горько! Горько!

СТРОГАЯ. Нет ректора.

ГОМЫРА. Ведут его, ведут... Горько!

*Появляется Репников.*

РЕПНИКОВ. В чем дело?

БУКИН. Владимир Алексеевич. Помните нашу свадьбу?

РЕПНИКОВ. Еще бы!

БУКИН *(всем).* Так вот. Свадьба продолжается. Как видите.

*Шум. Веселый смех.*

РЕПНИКОВ. Ах вот что! Значит, все благополучно? Я рад.

БУКИН. Представьте, мы выступаем в том же составе. Вот, все в сборе. Вас только и не хватало.

ВЕСЕЛЫЙ. А Колесов?

СЕРЬЕЗНЫЙ. Да, пока еще Колесова нет.

*Смех.*

РЕПНИКОВ *(смеется вместе со всеми).* Кстати о Колесове. Он остается в аспирантуре.

*Шум. Одобрительные возгласы.*

МАША. Где он, где? Надо его найти! Поздравить!

СЕРЬЕЗНЫЙ. Где Колесов?

*Появляется Колесов.*

КОЛЕСОВ. Я здесь.

СЕРЬЕЗНЫЙ. Поздравляю. Это справедливо. Тебя сохранили для науки.

КОМСОРГ. Коля, наш бывший курс... Ты что, недоволен? Что с тобой? Что случилось?

БУКИН. Скажи что-нибудь, вырази!

КОЛЕСОВ. Мне нечего вам сказать. Но мне надо кое-что сделать. *(Берет диплом, рвет его пополам. Бросает на стол.)*

*Небольшая пауза.*

МАША. Что ты наделал?

КОЛЕСОВ. Не волнуйтесь. Это мой диплом... Я за него заплатил. Вот и все прощайте.

**И СНОВА УЛИЦА**

*Обстановка первой картины: старый дом, забор, тротуар, афишная тумба. Поздний летний вечер. Колесов у афишной тумбы. Прошелся по тротуару, вернулся к тумбе, в задумчивости осматривает афиши. Непонятно: то ли он ждет кого-то, то ли в этот вечер ему просто некуда пойти. Снова прошелся и опять вернулся к афишной тумбе. В старом доме вновь разучивают гаммы, которые теперь звучат много бойчее, чем ранней весной. Появляется Таня. Проходит мимо.*

КОЛЕСОВ *(останавливает ее).* Девушка, куда вы торопитесь?..

*Молчание.*

Домой?..

*Молчание.*

В парк?

*Молчание.*

На концерт?

ТАНЯ. Простите, у меня нет времени. *(Хотела уйти, он снова ее остановил.)* Мне некогда.

КОЛЕСОВ. Жаль... Я хотел пригласить вас...

ТАНЯ *(перебивает).* Пригласите кого-нибудь другого.

КОЛЕСОВ. Не могу. Приглашаю именно вас.

ТАНЯ. Меня один раз вы уже приглашали. Не помните?

КОЛЕСОВ. Помню... У меня приличная память.

*Молчание.*

Не пойдете?

ТАНЯ. Нет... Счастливо оставаться.

*Стоят в трех шагах друг от друга.*

*Занавес.*

**К уроку 23.**

**Александр Вампилов. «Прошлым летом в Чулимске».**

**Александр ВАМПИЛОВ**

**ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ**

*Драма в двух действиях*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ШАМАНОВ

ПАШКА

ПОМИГАЛОВ

ДЕРГАЧЕВ

МЕЧЕТКИН

ЕРЕМЕЕВ

ВАЛЕНТИНА

КАШКИНА

ХОРОШИХ

**ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ**

*Утро*

*Летнее утро в таежном райцентре.*

*Старый деревянный дом с высоким крыльцом, верандой и мезонином.*

*За домом возвышается одинокая береза, дальше видна сопка, внизу покрытая елью, выше – сосной и лиственницей. На веранду дома выходят три окна и дверь, на которой прибита вывеска «Чайная». Перед мезонином небольшой балкончик, и дверь на него чуть приоткрыта, внизу окна закрыты ставнями. На одной из ставен висит бумажка, должно быть, распорядок работы чайной. Здесь же, на веранде, стоит несколько новеньких металлических столов и стульев. Слева от дома – калитка и скамейка, а дальше высокие ворота. Начинаясь за воротами, вверх к дверям мезонина ведет лестница с перилами. На карнизах, оконных наличниках, ставнях, воротах – всюду ажурная резьба. Наполовину обитая, обшарпанная, черная от времени, резьба эта все еще придает дому нарядный вид.*

*Перед домом – деревянный тротуар и такой же старый, как дом (ограда его тоже отделана резьбой), палисадник с кустами смородины по краям, с травой и цветами посередине. Простенькие бледно-розовые цветы растут прямо в траве, редко и беспорядочно, как в лесу.*

*Палисадник расположен так, что для посетителей, направляющихся в чайную с правой стороны улицы, он выглядит некоторым препятствием, преодолеть которое должно, обойдя его по тротуару, огибающему здесь половину ограды палисадника. Труд этот невелик – в обход шагов десяток, не более того, но по укоренившейся здесь привычке посетители, не утруждая себя «лишним шагом», ходят прямо через палисадник. Следствием этой манеры является неприглядный вид всего фасада: с одной стороны из ограды выбито две доски, кусты смородины обломаны, трава и цветы помяты, а калитка палисадника, которая выходит прямо к крыльцу чайной, распахнута и болтается косо на одной петле. У крыльца на веранде лежит человек. Устроился он в углу, незаметно. Из-под телогрейки чуть торчат кирзовые сапоги – вот и все. Сразу и не разглядишь, что это человек. Первоначальная тишина и неподвижность картины нарушаются лаем собак где-то по соседству и отдаленным гудением мотора. Потом щелкает заложка большой калитки и появляется Валентина.*

*Валентине не более восемнадцати лет, она среднего роста, стройна, миловидна. На ней ситцевое летнее платье, недорогие туфли на босу ногу. Причесана просто. Валентина направляется в чайную, но на крыльце неожиданно останавливается и, обернувшись, осматривает палисадник. Бегом – так же как и поднялась – спускается с крыльца. Она проходит в палисадник, поднимает с земли вынутые из ограды доски, водворяет их на место, потом кое-где расправляет траву и принимается чинить калитку. Но тут калитка срывается с петли и хлопает о землю. При этом человек, спящий на веранде и ранее Валентиной не замеченный, неожиданно и довольно проворно поднимается на ноги. Валентина слегка вскрикивает от испуга. Перед Валентиной стоит старик невысокого роста, сухой, чуть сгорбленный. Он узкоглаз, лицо у него темное, что называется, прокопченное, волосы седые и нестриженые. В руках он держит свою телогрейку, а рядом с ним лежит вещевой мешок, который он, очевидно, подкладывает под голову. Его фамилия Еремеев.*

ЕРЕМЕЕВ. Ты почему?

*Валентина молчит. Испуг еще не прошел, и она смотрит на Еремеева широко раскрытыми глазами.*

Почему? Зачем кричать?

ВАЛЕНТИНА. Ой, как вы меня напугали...

ЕРЕМЕЕВ. Напугал?.. Почему напугал? Я не страшный.

ВАЛЕНТИНА. Нет, вы страшный, если неожиданно... *(Улыбается.)* Извините, конечно...

ЕРЕМЕЕВ *(улыбается).* Зачем бояться? Зверя надо бояться, человека не надо бояться.

ВАЛЕНТИНА. Уже не боюсь... *(Снова возится с калиткой.)* Помогите, пожалуйста.

*Еремеев спускается с крыльца.*

Подержите мне ее... Вот так...

*Вдвоем они наладили калитку.*

Ну вот, большое вам спасибо... Я вас разбудила?

ЕРЕМЕЕВ *(кивает).* Разбудила. *(Кашляет.)*

ВАЛЕНТИНА *(поднимается на крыльцо).* Как же вы здесь спали?.. Холодно же. Да и жестко, наверно... Постучались бы.

ЕРЕМЕЕВ. Зачем стучаться? Зимой надо стучаться... Ты Афанасия знаешь?

ВАЛЕНТИНА. Афанасия?.. А вы к нему?

*Еремеев быстро кивает.*

Так он сейчас придет. Сюда.

ЕРЕМЕЕВ. Сюда?

ВАЛЕНТИНА. Должен прийти. Он сейчас здесь работает, чайную ремонтирует... Да вы лучше к нему сходите. Вон их дом *(показывает),* два окна... Знаете?

ЕРЕМЕЕВ. Сейчас придет – тут его подожду.

ВАЛЕНТИНА. Как хотите... *(Ключом открывает дверь чайной.)* Да вы садитесь, чего зря стоять. Присаживайтесь.

*В это время с громким стуком распахивается дверь на балкончике мезонина. Валентина, которая в это мгновение заходит в помещение чайной, на секунду замирает на пороге. На балкончике мезонина появляется Кашкина. Прищурясь, она смотрит на улицу.*

*Кашкиной двадцать восемь лет, не меньше, но и не больше. Она привлекательна. Недлинные прямые волосы, до сего момента непричесанные. Чуть близорука и впоследствии появится в очках. Сейчас она босая, в домашнем халате.*

КАШКИНА *(негромко).* Ну вот... День будет отличный – опять...

*Валентина исчезает в помещении чайной и поспешно закрывает за собой дверь. Еремеев присел на стул, сидит неподвижно.*

Послушай, почему мне так не везет? *(Обращается к кому-то находящемуся в комнате, но говорит, не оборачиваясь, глядя на улицу.)* В мае здесь стояла замечательная погода, помнишь? Так вот. Я ухожу в отпуск – начинается дождь. Приезжаю в город – там идет дождь. Еду к тетке, ну, думаю, наконец позагораю. Заявляюсь – и там дождь. А за день до моего приезда было солнце. *(Расчесывает волосы.)* Возвращаюсь сюда, выхожу на работу, и вот пожалуйста: прекрасные деньки. Ужас какой-то... *(Приостанавливает руку с расческой.)* Послушай. Ты ждал меня хоть немного?.. Или вовсе не ждал? *(Мгновение ждет ответа, потом продолжает расчесывать волосы, усмехается.)* Ладно, можешь не отвечать. Не затрудняй себя. Это я так спросила, от нечего делать... А все же денек сегодня будет чудесный. Послушай-ка! Идем сегодня на танцы... А почему бы и не пойти?.. Ну да, сейчас ты скажешь, что это безумие, что для танцев ты уже устарел, – я уже знаю, что ты скажешь... Что?.. Молчишь. Значит, все правильно... Ну ладно, я ведь только предлагаю... Заварить тебе чаю?.. *(Ждет ответа, потом оборачивается.)* Чаю тебе заварить?.. Неужели уснул?.. Успел уже... *(Помолчав.)* Ну и спи. *(Не без горечи.)* Спать – на это ты способен. Это единственное, что тебе еще не надоело... Ну и ладно. Ну и спи себе. *(Уходит с балкончика.)*

*С правой стороны улицы появляется Мечеткин. Ему около сорока лет. Он в новом сером костюме, в потешной зеленой шляпе, при галстуке. Держится он до странности напряженно, явно напуская на себя начальственную строгость, руководящую озабоченность. Старается говорить низким голосом, но часто срывается на природный фальцет. Он приближается к ограде, вынимает из нее одну доску, пытается протиснуться, но безуспешно – мужчина он, что называется, в теле. Вынимает другую доску и проходит через палисадник, оставляя за собой открытую калитку. При его появлении Еремеев поднимается и собирает свою постель: складывает в мешок телогрейку.*

МЕЧЕТКИН. Что такое?.. *(Строго.)* Ты что тут делаешь?

*Еремеев молчит.*

А?.. Спал, что ли?

ЕРЕМЕЕВ *(кивает головой, улыбается).* Отдыхал маленько.

МЕЧЕТКИН. Отдыхал, значит?.. *(Язвительно.)* Ну и как ты отдохнул?

ЕРЕМЕЕВ *(простодушно).* Хорошо отдохнул.

МЕЧЕТКИН. Так, так... Ну, а кто тебе разрешил?.. А?.. Я вопрос задаю, кто тебе разрешил здесь спать?.. *(Стучит в дверь.)*

*Еремеев молчит. Валентина появляется на пороге. На ней белый фартук.*

*(Приподнял свою шляпу, заговорил любезно.)* Работникам общепита...

ВАЛЕНТИНА. Доброе утро.

МЕЧЕТКИН. Ну и как оно... Как дела? Как настроение?

ВАЛЕНТИНА. Спасибо, хорошо.

МЕЧЕТКИН. Впечатление производите положительное...

ВАЛЕНТИНА *(смеется).* Неужели?

МЕЧЕТКИН. Определенно, определенно...

ВАЛЕНТИНА. Вы, Иннокентий Степанович, я гляжу, сегодня в хорошем настроении...

МЕЧЕТКИН. А где же буфетчица? Еще не пришла? *(Смотрит на часы.)* Опять она задерживается.

ВАЛЕНТИНА. Не волнуйтесь, сейчас придет. Садитесь, обождите минутку... *(Исчезает.)*

МЕЧЕТКИН *(прошелся по веранде).* Так, так... А ведь ты мне так и не ответил. Кто разрешил тебе здесь спать?.. А? Гостиница тут, что ли?

ЕРЕМЕЕВ. Ночью пришел, из тайги пришел...

МЕЧЕТКИН. Видать, что из тайги... А зачем? По какому поводу?

ЕРЕМЕЕВ. По делу пришел.

МЕЧЕТКИН. По делу, говоришь?.. Знаем мы ваши дела. Налижетесь, понимаете ли, и все дела. А пришел, так иди в гостиницу. На общем основании.

ЕРЕМЕЕВ. Зачем в гостиницу. У меня друг есть. Афанасий. Будить его не стал.

*Появляется Хороших, женщина лет сорока пяти. Она моложава на вид, энергична, в движениях смела и размашиста. Одета щеголевато.*

МЕЧЕТКИН *(Еремееву).* Будить не стал, скажи какой стеснительный. А в общественном месте валяться нестеснительный?.. Вот друг, понимаете.

ХОРОШИХ *(Мечеткину).* Дай пройти. Чего опять разоряешься? *(Еремееву.)* Никак Илья?

ЕРЕМЕЕВ. Илья, Илья...

ХОРОШИХ. Здравствуй-ка, Илья!

ЕРЕМЕЕВ. Здравствуйте, здравствуйте!

ХОРОШИХ *(проходит в помещение чайной, на пороге).* Здравствуй, Валентина.

МЕЧЕТКИН *(разглядывает свои часы).* Так, так...

*Хороших появляется и открывает ставни одного из трех окон. В этом окне оказывается витрина буфета, весы, бутылки на полке и прочее.*

Между прочим, уже десять девятого.

ХОРОШИХ. Ну и что?

МЕЧЕТКИН. Опаздываете, Анна Васильевна. Раньше вставать надо.

ХОРОШИХ. Тебя я не спросила. *(Исчезает за дверью. Тут же появляется в буфете за окном. Еремееву.)* Давненько ты здесь не заявлялся.

ЕРЕМЕЕВ. Давно, давно.

МЕЧЕТКИН *(Хороших).* Имейте в виду, дисциплина у нас для всех существует. Положение общее.

ХОРОШИХ. Да отстань ты, дай с человеком поговорить.

МЕЧЕТКИН. Смотрите, Анна Васильевна. Вы ведь не в первый раз, вы систематически задерживаетесь, так что имейте в виду... Мне две яичницы, простоквашу, хлеб и стакан чаю... Имейте в виду, на вас и так сигналы поступают...

ХОРОШИХ. Да иди ты со своими сигналами. Ты лучше скажи мне, когда ты женишься.

МЕЧЕТКИН. То есть?.. Что вы этим хотите сказать?

ХОРОШИХ. А то сказать, что давно тебе пора. Уж я жду, жду...

МЕЧЕТКИН. Гм... А ваше-то, между прочим, какое до этого дело?

ХОРОШИХ. Да как же. Женился бы, так, слава богу, сюда перестал бы ходить. Дома бы питался. Вот бы удружил так удружил. Зато жене твоей я бы не позавидовала.

МЕЧЕТКИН. Анна Васильевна!.. Вы забываетесь, между прочим.

ХОРОШИХ *(пишет на бумажке. Громко).* Валентина! Две яичницы! *(Подает Менеткину хлеб и талоны.)* Ешь да помолчи немного. *(Еремееву.)* А ты, Илья? Завтракать будешь?

ЕРЕМЕЕВ. Спасибо, спасибо.

*В буфете раздается телефонный звонок.*

ХОРОШИХ *(поднимает трубку).* Столовая слушает... Доброе утро... Открылись... Ремонт? Идет ремонт, заканчиваем... Нет-нет, полный день работаем, до десяти... Да вот, вдвоем пока управляемся, остальные в отпуске... Когда пожелаете, вам мы всегда рады... Доброго здоровья. *(Положила трубку, Еремееву.)* Ты когда пришел?

ЕРЕМЕЕВ. Ночью пришел.

ХОРОШИХ. Спал где же?

МЕЧЕТКИН. Тут и спал. Вот еще тоже. Тут люди питаются, понимаете ли... *(Проходит в чайную.)*

ХОРОШИХ. А че же ты не постучался? Или забыл, где живем?

ЕРЕМЕЕВ. Не забыл.

ХОРОШИХ. Так че же ты?.. Разве в доме места мало?.. А тут нынче у нас, наоборот, тесно. Видишь, на веранде пока обходимся. Ремонт у нас.

МЕЧЕТКИН *(появляется с едой на подносе).* Тоже безобразие. Ремонтируетесь крайне медленно.

ХОРОШИХ. Да помолчи ты, окаянный.

МЕЧЕТКИН. Меню однообразное. Котлеты вчерашние.

ХОРОШИХ. Ну и как ты, Илья, так один и живешь?

ЕРЕМЕЕВ. Один, один.

ХОРОШИХ. Как же так, в тайге-то? Старый ты стал, тяжело, поди, одному?

ЕРЕМЕЕВ. Старый, старый.

ХОРОШИХ. А вон и дружок твой ковыляет. Идол безобразный.

*Появляется Дергачев. Ему около пятидесяти. Он высок ростом, широкоплеч, кудряв, словом, мужик еще видный. Одно нехорошо: левая нога в колене у него не сгибается – протез. При ходьбе он заметно припадает и резко взмахивает правой рукой. В левой руке он держит ящичек со столярным инструментом. Он хмур и небрит. Проходит через палисадник по пути, проделанному Мечеткиным. При виде Еремеева он оживляется.*

ДЕРГАЧЕВ. Э, кого я вижу. *(Подходит, инструмент оставил на стуле. Одной рукой трясет руку Еремеева, другой хлопает его по плечу.)* Здорово, брат, здорово.

ЕРЕМЕЕВ. Здорово, Афанасий... Здорово... *(Смех и кашель.)*

ДЕРГАЧЕВ. А я, брат, думал, тебя уже и на свете нету...

ХОРОШИХ. Во. Обрадовал человека.

ДЕРГАЧЕВ. Постарел, брат, постарел, но молодец – долго живешь.

ЕРЕМЕЕВ. Долго живу, долго... *(Смеется.)*

ДЕРГАЧЕВ. Ну и правильно. Нашего брата, охотника, задаром со света не сгонишь, так или нет?

ХОРОШИХ. Что верно, то верно.

ДЕРГАЧЕВ. Молодец, Илья.

ХОРОШИХ. Илья, ты когда жену похоронил? Прошлым летом или позапрошлым?

ЕРЕМЕЕВ. Два лета прошло...

ХОРОШИХ. С тех пор, значит, один... Старику-то мыслимо ли?

ДЕРГАЧЕВ. Да-а, одному-то там неинтересно.

ЕРЕМЕЕВ. Неинтересно...

*Небольшая пауза.*

ДЕРГАЧЕВ. Анна...

*Хороших не отвечает.*

Анна... Ну.

ХОРОШИХ. Че – ну?

ДЕРГАЧЕВ. Ну... Или не понимаешь?

ХОРОШИХ. Да че ну-то?.. Павел там проснулся?

ДЕРГАЧЕВ. Встал твой Павел. Рожу свою бреет. Нахальную...

ХОРОШИХ. Нахальную? А ты на свою посмотри. Он свою хотя бы бреет...

ДЕРГАЧЕВ *(перебивает).* Об нем сейчас говорить не будем.

ХОРОШИХ. Ниче, сам начал...

ДЕРГАЧЕВ *(внушительно).* Анна! Насчет Павла разговор закончен. Пусть он уматывает. Отпуск у него закончился, дальше терпеть его не буду. *(Помолчав.)* И на этом точка. *(Небольшая пауза. Мягче.)* Сейчас разговор другой... Ко мне друг пришел, слышишь?

ХОРОШИХ. Не слышу. И не желаю слышать.

ДЕРГАЧЕВ *(не сразу).* Ну...

*Хороших молчит.*

Ну!

ХОРОШИХ. Да че ну-то? Ну да ну! Поехал ты, что ли?

ДЕРГАЧЕВ. Ну!

ХОРОШИХ. Счастливого пути, ежели поехал.

ДЕРГАЧЕВ. Кому говорят! *(Грохнул ладонью по столу.)*

МЕЧЕТКИН *(вздрогнул).* А?

ДЕРГАЧЕВ *(Хороших, спокойнее).* Принимай гостя.

МЕЧЕТКИН. Опять скандалишь?

ДЕРГАЧЕВ. А ты не суйся!

МЕЧЕТКИН *(поднимается).* Безобразие. В общественном месте орут, понимаете, как в загоне... *(Подходит к буфету.)*

ХОРОШИХ *(Дергачеву).* На самом деле. Я тебе не лошадь.

ДЕРГАЧЕВ. Принимай гостя...

ХОРОШИХ. Твой гость, ты его и принимай.

ЕРЕМЕЕВ. Афанасий... Зачем шумишь, Афанасий? Не надо шуметь...

ДЕРГАЧЕВ. Погоди, Илья...

МЕЧЕТКИН. Отпустите-ка мне конфет. Этих... *(Показывает.)* Двести грамм.

*Валентина появляется с подносом, прибирает на столе, за которым сидел Мечеткин. Обратила внимание на палисадник, отставила поднос, спустилась вниз. Снова возится с досками и калиткой.*

ДЕРГАЧЕВ. Ну смотри, Анна.

ХОРОШИХ *(рассчитываясь с Мечеткиным).* Ниче-ниче, обойдетесь. Я не миллионщица и растрату делать не желаю.

МЕЧЕТКИН *(жует конфету).* Растрату, между прочим, никто не желает делать, а приходит ревизия и выясняется...

ХОРОШИХ. А ты не каркай.

МЕЧЕТКИН. Я не каркаю, я предупреждаю.

ХОРОШИХ *(Дергачеву).* Зря рассиживаешься. Дело бы делал. Начальство вон с утра уже названивает. У меня этот твой ремонт в печенках уже сидит.

ДЕРГАЧЕВ. Смотри, Анна. С утра сегодня выпрашиваешь.

ХОРОШИХ. Ниче-ниче. Ни грамма сегодня не получишь, ни капли. *(Мстительно.)* И на этом точка. *(Громко.)* Валентина!.. Где ты? *(Выходит из буфета, но тут же возвращается.)* Где она?

ВАЛЕНТИНА *(налаживает калитку).* Я здесь!

ХОРОШИХ. Опять ты с палисадником? Не надоело тебе?.. Иди сюда, ящики занесем.

ВАЛЕНТИНА. Я сейчас.

*Гремит засов, открываются ворота, и появляется Помигалов, отец Валентины. Из ворот он выкатывает мотоцикл. Помигалову за пятьдесят лет. Он среднего роста, суховатый, но крепкий мужчина, с решительными, спокойными движениями, твердым взглядом. Одет в робу и кирзовые сапоги. В открытые ворота видна часть двора, навес, поленница под навесом, тын и калитка в огород – всюду порядок.*

ПОМИГАЛОВ *(всем).* Доброе утро.

*С ним здороваются.*

*(Закрывает ворота. Громко, на ходу, не глядя в сторону чайной.)* Валентина! В обед подметешь двор, натаскаешь воды. Борова покорми да выпустить его не забудь.

ВАЛЕНТИНА *(возится с калиткой).* Папа! Иди-ка сюда.

ПОМИГАЛОВ. Чего тебе?

ВАЛЕНТИНА. Иди помоги.

ПОМИГАЛОВ *(разглядел, чем занимается Валентина, махнул рукой.)* А! Некогда мне.

ВАЛЕНТИНА. Да на секунду! Тут только придержать надо.

ПОМИГАЛОВ. Кому это надо? *(Ведет мотоцикл в сторону.)* Брось. Детством занимаешься... *(Отдает Валентине распоряжения.)* За боровом присмотри. Да про баню не забудь. Будешь воду носить, смотри, чтобы куры в огород не попали. *(Исчезает.)*

*Слышится треск мотоцикла. Треск удаляется.*

ХОРОШИХ. И действительно, Валентина. Твой он, что ли, палисадник этот?.. А главное – даром ведь упрямишься: ходит народ поперек и будет ходить.

ДЕРГАЧЕВ. А ты бы ее не учила. Не твое дело. Нравится девке чудить, пусть она чудит. Пока молодая. Верно, Илья?

ЕРЕМЕЕВ. Верно, верно. Однако добрая девушка.

МЕЧЕТКИН *(жует).* Вот еще тоже. Не палисадник, а анекдот ходячий. Стоит, понимаете, на дороге, мешает рациональному движению.

ХОРОШИХ. Валентина! Скоро ты?

ВАЛЕНТИНА. Сейчас... Готово... *(Ей удалось-таки наладить калитку.)* Иду!

МЕЧЕТКИН *(поднялся).* И вообще. Будут у вас здесь продолжаться безобразия – я вас на весь район разрисую. Имейте в виду. *(Уходит.)*

*Валентина проходит в чайную. Появляется в буфете раза два-три вместе с Хороших – заносят ящики.*

ЕРЕМЕЕВ. Человек ушел – большой, однако, начальник.

ДЕРГАЧЕВ *(с пренебрежением).* Кто? Этот?.. В райздраве он бухгалтером. Да статейки в газету пописывает.

ЕРЕМЕЕВ. Строгий, однако.

ДЕРГАЧЕВ *(усмехнулся).* Не говори... Седьмой секретарь.

ЕРЕМЕЕВ. Секретарь?

ДЕРГАЧЕВ. Да, прозвали так. Седьмой секретарь, иначе его тут не величают.

*Хороших появляется в буфете одна. Валентина выходит на веранду, вытирает со стола, за которым завтракал Мечеткин.*

Илья, у тебя деньги есть?

ЕРЕМЕЕВ. Деньги? Есть маленько.

ХОРОШИХ *(Дергачеву).* Не совестно тебе?

ДЕРГАЧЕВ. А тебе не совестно?

ХОРОШИХ. Илья! Не вздумай ему ставить.

ДЕРГАЧЕВ. Не твое дело. Давай, Илья, не слушай бабу.

ХОРОШИХ. Илья!

ЕРЕМЕЕВ *(в замешательстве).* Так нехорошо... Так тоже нехорошо... *(Улыбается.)* Тогда надо немного выпить.

ХОРОШИХ. У-у! Все вы заодно. Алкоголики. *(Достает бутылку, со стуком ставит ее на стойку.)* На, подавись.

ДЕРГАЧЕВ *(не сразу, спокойно, но внушительно).* Давай стаканы и поднеси по-человечески.

ХОРОШИХ. Еще чего? И не подумаю... Сам возьмешь, ниче с тобой не сделается.

ДЕРГАЧЕВ. Ну!

ВАЛЕНТИНА. Я подам, тетя Аня...

ХОРОШИХ. Нет. Обойдутся. У нас тут самообслуживание.

*Еремеев хочет взять бутылку.*

ДЕРГАЧЕВ *(останавливает его).* Сиди, Илья. *(Хороших.)* Неси ее сюда.

ХОРОШИХ. Счас, тороплюсь. *(Помолчав.)* Не дождешься, я те говорю.

ДЕРГАЧЕВ. А я говорю, неси ее сюда.

*Наверху открывается дверь мезонина, появляется Шаманов. Шаманову тридцать два года, роста он чуть выше среднего, худощав. Во всем у него – в том, как он одевается, говорит, движется – наблюдается неряшливость, попустительство, непритворные небрежность и рассеянность. Иногда, слушая собеседника, он, как бы внезапно погружаясь в сон, опускает голову. Время от времени, правда, на него вдруг находит оживление, кратковременный прилив энергии, после которого, впрочем, он обычно делается особенно апатичным. Появляясь, он надевает на руку часы и осматривается. В этот же момент из мезонина раздается голос Кашкиной.*

ГОЛОС КАШКИНОЙ. Подожди.

ШАМАНОВ *(с некоторым нетерпением).* Да?

ГОЛОС КАШКИНОЙ. Завтракаем вместе?

*Они разговаривают негромко, но внизу их, конечно, слышно. Валентина, услышав их голоса, меняется в лице, движения ей становятся напряженными, неестественными.*

ШАМАНОВ *(с досадой).* Я не против, но я... Меня там машина должна ждать.

ХОРОШИХ *(Дергачеву, смеясь).* Сиди, сиди. Долго-то все равно не высидишь.

ГОЛОС КАШКИНОЙ. Подожди, я уже собралась.

ВАЛЕНТИНА *(на которую сильно действуют голоса наверху, пытаясь не подать вида и скрыть свои чувства, обращается к Хороших.)* Будет вам, тетя Аня! *(Снова намеревается подать бутылку.)*

ХОРОШИХ *(жестом предупреждает намерения Валентины).* Ты че? Нет у тебя своего дела? *(Кивком головы и глазами указывает наверх.)* Слышишь, что ли?

*Валентина вспыхнула, вздрогнула, как от удара.*

*(Ядовито.)* Пошевелись. Люди завтракать идут.

ШАМАНОВ *(заговорил потише).* Я буду внизу. *(Шагает вниз, лестница под ним заскрипела. Он останавливается, затем ступает осторожнее.)*

ГОЛОС КАШКИНОЙ. Все. Я иду.

*В ответ на ее слова Шаманов начинает спускаться быстрее, но при этом старается сохранить ту же осторожность, для чего ему приходится чуть согнуться.*

*В этот момент Валентина уходит в помещение чайной. Из мезонина появляется Кашкина. Сейчас на ней светлая юбка, белая блузка, босоножки. В руках – сумочка.*

КАШКИНА *(наблюдая, как Шаманов крадется вниз, негромко, насмешливо).* Держите вора!

*Шаманов останавливается и выпрямляется.*

Держите его, он украл у меня пододеяльник.

ХОРОШИХ *(Дергачеву).* Да хоть целый день просиди, мне-то от этого...

ШАМАНОВ *(Кашкиной).* Слушай, что за шутки?

КАШКИНА. Никакие не шутки. Ты крадешься, как вор.

ШАМАНОВ. А ты как хотела? Чтобы мы в обнимку ходили?

КАШКИНА. Послушай. Скоро три месяца, как ты ходишь по этой лестнице, неужели ты думаешь, что в Чулимске остался хотя бы один человек, который тебя тут не видел?

ШАМАНОВ. Ну и что? Может, нам теперь рассветы встречать здесь, на крыше?

КАШКИНА. Ну что ты – рассветы, где уж нам?.. Ладно уж, давай как поспокойнее. Спускайся. Сначала ты, а потом я.

ШАМАНОВ. Черт подери! *(Делает два-три шага наверх. С досадой и иронией.)* Руку, мадам, здесь такая шаткая лестница. *(Берет Кашкину под руку.)* Прошу вас. Наплюем на предрассудки, раз уж вы без этого никак не можете.

ХОРОШИХ *(Дергачеву).* Ну? Может, вы теперь ее и пить не будете?

*Дергачев, грозно насупившись, сидит неподвижно.*

КАШКИНА. Ладно, ладно. Иди... Иди, я забыла деньги... Да! Ты тоже кое-что забыл... *(Достает из сумки пистолет в кобуре.)* На, и больше никогда не оставляй у меня эту штуку.

ШАМАНОВ *(берет пистолет).* Мерси.

*Кашкина возвращается в мезонин. Шаманов цепляет кобуру с пистолетом за ремень под пиджаком, поворачивается и спускается по лестнице шумно, без всякой предосторожности.*

ХОРОШИХ *(подняла вверх палец).* Половина девятого. Следователь от аптекарши спускается. *(Исчезает, появляется в дверях, ставит бутылку на стол, подает стаканы, тарелку с закуской.)* Больше не получите. *(Уходит в чайную.)*

*Шаманов появляется и, снова становясь осторожным, тихонько закрывает за собой калитку. Чуть выждав, неслышно удаляется в сторону.*

ДЕРГАЧЕВ *(разлил в стаканы).* Ну, Илья... За встречу.

*Еремеев моргает, суетливо кивает головой. Оба выпивают.*

ХОРОШИХ *(появляется в буфете).* Илья, а дочь твоя где же?.. Где проживает?

ЕРЕМЕЕВ. Дочь?.. В Ленинграде была. Не знаю где...

ХОРОШИХ. Че, и писем не пишет?

ЕРЕМЕЕВ. Не пишет...

ХОРОШИХ. Вот беда-то...

ДЕРГАЧЕВ. Да, брат, неважные твои дела.

ЕРЕМЕЕВ. Неважные, неважные. Оленя нет, зверя в тайге мало стало, руки стали болеть – совсем неважные. *(Неожиданно.)* Не знаешь, пенсию не дадут?

ДЕРГАЧЕВ. Пенсию?.. Погоди, а сколь же тебе лет?

ЕРЕМЕЕВ *(поспешно).* Шиисят пять уже было, давно было. Уже семисят четыре.

ХОРОШИХ. Семьдесят четыре?.. Ну, Илья, ты даешь! Девять лет, как пенсия полагается!

ЕРЕМЕЕВ. Полагается. Зангеев Петька давно получает.

ХОРОШИХ. А ты-то че думал?.. Ну, Илья, голова два уха. Дурень ты! Шляпа! Чего же ты ждешь?.. Дуй в райсобес!

ДЕРГАЧЕВ. Погодите вы в райсобес. Разбежались... Ты с Петькой не равняйся, у него зарплата была. Он от лесничества всю жизнь работал.

ХОРОШИХ. А Илья? Не работал, что ли?

ЕРЕМЕЕВ. Работал. У геологов работал, проводником работал. Сорок лет работал...

ДЕРГАЧЕВ. Работать-то ты работал, а документы у тебя есть?

ЕРЕМЕЕВ. А?

ДЕРГАЧЕВ. Документы, говорю. Трудовая книжка?.. Справки, что ты у геологов работал?.. Есть у тебя?

*Еремеев молчит.*

ХОРОШИХ. Неужто нету?

ДЕРГАЧЕВ. Нет?.. А раз нет, значит, пенсию не жди. Без справок ты ее не получишь. Даже и не рыпайся.

*Из мезонина выходит Кашкина, спускается вниз.*

ЕРЕМЕЕВ. Как же, Афанасий! Я работал, у геологов работал...

ХОРОШИХ. О чем же ты думал? Собирать надо было документы-то. А теперь где те геологи?

ДЕРГАЧЕВ. Ищи-свищи.

*Из калитки выходит Кашкина, здоровается со всеми, проходит к буфету.*

ХОРОШИХ. Долго, барышня, спишь. Все, поди, сны досматриваешь?

КАШКИНА. Ладно, Анна Васильевна, не острите. Есть простокваша?

ХОРОШИХ. Простокваша есть, а булочки вчерашние. Свежих сегодня не будет.

КАШКИНА. А сигареты?

ХОРОШИХ. Нету, милая. Не получала.

КАШКИНА. Весело живем.

ХОРОШИХ *(громко).* Валентина! Одну простоквашу!

ЕРЕМЕЕВ. Я работал, сорок лет работал...

ДЕРГАЧЕВ. Документов нет, и разговору нет.

ЕРЕМЕЕВ. Я работал. Ты, Афанасий, знаешь...

ДЕРГАЧЕВ. Я-то знаю...

ЕРЕМЕЕВ. Со мной пойдешь, расскажешь... Разве не поверят?

ДЕРГАЧЕВ. Илья, Илья. Глупый ты человек. Тебе пенсия оттуда *(показал пальцем в небо)* причитается, а здесь, брат, ты не жди. Здесь тебе не отломится.

ХОРОШИХ. Да постой ты его расстраивать. Сперва надо толком все разузнать.

*Валентина появляется в буфете со стаканом простокваши. Она и Кашкина кивают друг другу довольно официально. Кашкина взяла булочку, простоквашу, расплатилась и уселась за столик справа, в углу. Дергачев разливает по второй.*

Илья! Не пил бы ты больше, а шел бы лучше в собес или куда там... (Дергачеву.) А тебе то же самое: не грех бы и остановиться, об работе подумать.

*Шаманов появляется оттуда, куда он исчезал, – с левой стороны улицы. Валентина незаметно для присутствующих исчезает из буфета.*

ШАМАНОВ. Доброе утро.

ДЕРГАЧЕВ. Здравствуйте.

ХОРОШИХ. Владимир Михалыч... Ждем вас, ждем. *(Обернувшись.)* Валентина! Одну яичницу.

ШАМАНОВ. Да... И чаю там или компоту...

ХОРОШИХ *(пишет).* Чай, компот. Больше ничего не надо?

ШАМАНОВ. Нет, Анна Васильевна, пожалуй, больше ничего...

ХОРОШИХ. Вот и правильно. Не то что эти. *(Кивает в сторону Дергачева и Еремеева.)*

ШАМАНОВ. А что такое?

ХОРОШИХ. Не видите? Ни свет ни заря уже запузыривают.

ШАМАНОВ. Ага... Уже, значит, начали... Не рано ли?

ДЕРГАЧЕВ. Вы как знаете, а нам не рано.

ШАМАНОВ. Думаете, не рано?

ДЕРГАЧЕВ. В самый раз.

ШАМАНОВ. В таком случае, Анна Васильевна... Стаканчик винца.

ХОРОШИХ (укоризненно). Владимир Михалыч...

ШАМАНОВ. Винца, винца, не более того... (Кошкиной.) Зина, может быть... *(Показывает – не выпить ли ей с ним за компанию.)*

*Кашкина отрицательно качает головой. Шаманов взял вино, хлеб, подсел к Кашкиной.*

ДЕРГАЧЕВ. Так-то, брат Илья. В собес ты, конечно, сходи, но на пенсию, между нами говоря, не рассчитывай. А покамест выпьем. За любовь без обмана.

КАШКИНА *(подняла стакан с простоквашей).* Я к вам присоединяюсь.

*Шаманов молча поднимает свой стакан. Все выпивают.*

ХОРОШИХ. Владимир Михалыч, тут такое дело, вы в курсе, наверно.

ШАМАНОВ. Что, Анна Васильевна?

ХОРОШИХ. Да вот человек тут, Еремеев Илья, за пенсией пришел. Вот вы рассудите, ему семьдесят четыре года, он у геологов всю жизнь проводником работал...

ЕРЕМЕЕВ. Работал...

ХОРОШИХ. Работал, а документов не имеет. Ни справок у него, ни трудовой книжки – ничего нет. Вот как ему насчет пенсии? Что делать?

ШАМАНОВ. А где ж документы?

*Еремеев молчит.*

Это вы Еремеев?

ЕРЕМЕЕВ *(не сразу).* Еремеев, Еремеев...

ХОРОШИХ. Эвенк он по национальности...

ЕРЕМЕЕВ *(кивает).* Эвенк.

ХОРОШИХ. Только что фамилия русская. Крещеный он.

ЕРЕМЕЕВ *(поспешно).* Крещеный, крещеный...

ХОРОШИХ. Да какие ж с него документы? Ведь он человек простой – неученый, таежный житель. Кабы ему раньше знать про эти документы...

ШАМАНОВ. Но паспорт-то у него, надеюсь, есть?

ЕРЕМЕЕВ. Есть. Есть паспорт.

ШАМАНОВ. Что ж, в таком случае надо взять с места работы справки и...

ХОРОШИХ. Да где ж он их возьмет? Геологи-то те разъехались давным-давно. Где они теперь? Кто по городам, а кто, поди, уже и помер.

ШАМАНОВ. Я не знаю, но существуют же отчеты всевозможные, архивы... Придется вам в это дело углубиться.

КАШКИНА. Кому углубиться? Ему углубиться?

ШАМАНОВ. Ничего не поделаешь, придется поездить, похлопотать... Вы в исполком сначала сходите, может, там что-нибудь посоветуют.

ДЕРГАЧЕВ. Все без пользы.

ХОРОШИХ. Это как же – без пользы? Мыслимо ли? Да ведь он и просить бы не стал и не пришел бы, если бы не нужда. Старик он, в тайге один остался...

КАШКИНА *(Шаманову).* Неужели ничего нельзя сделать?

ШАМАНОВ. Не знаю... Я тоже хочу на пенсию.

*Валентина появляется с яичницей для Шаманова. Ставит ее перед ним, не глядя ни на него, ни на Кашкину.*

*(Машинально).* Спасибо. *(Отодвигает от себя тарелку с яичницей.)*

КАШКИНА *(возвращая тарелку на место).* Недожаренная. То, что ты любишь. *(В отличие от Шаманова, внимательно глядя на Валентину.)* Наша кухня делает успехи.

*Валентина старается не обнаружить своих чувств, но уходит в чайную слишком порывисто.*

ДЕРГАЧЕВ. Давай, Илья. *(Разливает.)* Живы будем – не помрем.

ЕРЕМЕЕВ *(не уловив смысла).* Помрем, помрем.

ХОРОШИХ. Эй вы, хватит вам распивать. Ты, Илья, иди в исполком, а ты работай начинай. Утра девять часов, людей бы постеснялся.

ДЕРГАЧЕВ. Неймется тебе, да? *(Поднялся.)* Смотри, Анна, выпросишь ты сегодня... *(Еремееву.)* Идем отсюдова. *(Взял недопитую бутылку, стаканы, ящик с инструментом, прошел в помещение чайной.)*

*Еремеев идет за ним.*

ШАМАНОВ. Ты не опоздаешь на работу?

КАШКИНА. Не волнуйся... А твоя машина? Что-то ее не видно.

ШАМАНОВ. Должна подойти.

*Хороших выходит из буфета в помещение чайной.*

КАШКИНА. Куда ты едешь?.. Что там новенького, хорошенького?

ШАМАНОВ. Одно и то же... Грабанули киоск с водкой – в Потеряихе, в Табарсуке тракторист избил жену.

КАШКИНА. За что он ее?

ШАМАНОВ. Избил?.. Как нам оттуда сообщили: «За нетактичное поведение».

КАШКИНА. За что? *(Смеется, потом.)* Наверно, из ревности. *(Со вздохом.)* Боже, бывает же такое.

ШАМАНОВ. Безумие... *(Вздох.)* И когда все это кончится...

КАШКИНА. Ну, знаешь, если бы все были такими благоразумными, как ты...

ШАМАНОВ. И прекрасно. Тогда, может быть, меня отпустили бы на пенсию.

*Из помещения чайной доносится голос Хороших: «Хватит, говорю, распивать!» Потом она появляется в дверях, закрывает их плотней, и последующий разговор Кашкиной и Шаманова сопровождается скандальным гомоном, доносящимся из-за дверей.*

КАШКИНА. Не подерутся они там?

ШАМАНОВ. Очень может быть.

КАШКИНА. Знаешь, почему у них так?

ШАМАНОВ *(равнодушно).* Почему?

КАШКИНА. Она его любит...

*Шум за дверью усиливается. Голос Хороших звучит пронзительно, но слов разобрать невозможно.*

Он ее – тоже. Они любят друг друга, как в молодости.

ШАМАНОВ. Только бы они друг друга не убили. Последнее время они что-то чересчур усердствуют.

КАШКИНА. Это потому, что здесь Пашка. Ты знаешь, что Афанасий ему не отец?

ШАМАНОВ. Слышал.

КАШКИНА. Но когда Афанасий уходил на фронт, она была ему не жена. Только невеста.

ШАМАНОВ. Ну и что?

КАШКИНА. Пашка родился сразу после войны, а Афанасий – он был в плену, потом на севере, вернулся только в пятьдесят шестом году... Ты подумай. До сих пор он не может ей простить, до сих пор страдает. Разве это не любовь? Ну скажи... Ты как думаешь?

ШАМАНОВ. Не знаю. Я в этом плохо разбираюсь.

*Небольшая пауза. За дверью скандал поутих, доносятся лишь отдельные выкрики. Что именно выкрикивают – не поймешь.*

Зина, что ты от меня хочешь?

КАШКИНА. Я?

ШАМАНОВ. Да, ты. Что ты от меня хочешь?

КАШКИНА. А как ты думаешь?

ШАМАНОВ. Чтоб я на тебе женился.

КАШКИНА. Возможно... Но главное не в этом.

ШАМАНОВ. Не знаю. У меня такое впечатление, что ты хочешь от меня чего-то невозможного.

КАШКИНА. Боюсь, что так оно и есть.

ШАМАНОВ. Зина, я сделаю все, что ты захочешь. Но если у меня чего-то нет, значит, нет. Нельзя же, в самом деле, требовать от меня того, чего у меня нет.

КАШКИНА. Ну спасибо тебе. Умеешь ты высказываться деликатно... Ну да ладно... Какие у тебя планы на вечер?

ШАМАНОВ. Планы?

КАШКИНА. Послушай, идем сегодня на танцы.

ШАМАНОВ. На танцы?

КАШКИНА. Ну почему нет? Что же вечером делать?

ШАМАНОВ. Зина, ты меня удивляешь. Какие танцы, что ты. На танцах я в последний раз был в тысяча девятьсот...

КАШКИНА. Ладно, можешь не продолжать.

ШАМАНОВ. И потом, к счастью, сегодня здесь не танцы, а кинофильм. И я его, слава богу, уже видел.

КАШКИНА. А я не про ДК говорю, я предлагаю пойти в Потеряиху...

ШАМАНОВ. Куда?

КАШКИНА. Или в Ключи. Там сегодня танцы...

ШАМАНОВ. В Потеряиху? В Ключи?.. Ты шутишь, правда же?

КАШКИНА. Ну почему? До Ключей семь, а до Потеряихи всего пять километров. Отличная прогулка.

ШАМАНОВ. Пять туда и пять обратно. *(Ужасаясь.)* Десять километров.

КАШКИНА. А тебе не стыдно?

ШАМАНОВ. Ну в ДК – еще куда ни шло, но в Потеряиху! Зина, это безумие.

КАШКИНА. Ладно, ладно. Никто тебя туда не тащит. Просто я думаю, чем заняться сегодня после работы. Ладно... Что я тебя хотела спросить... Да. Что бы ты сделал, если бы я тебе изменила?

ШАМАНОВ. Ты уверена, что хотела спросить именно это?

КАШКИНА. Да, именно. Если бы я тебе изменила, сделал бы ты что-нибудь вообще, а если бы сделал, то что именно?

ШАМАНОВ *(со вздохом).* Что бы я сделал?.. Ну известное дело. Я бы тебя застрелил. Или бы задушил. Ты что предпочитаешь?.. В свою защиту я бы сказал, что ты замучила меня нелепыми вопросами. Суд бы меня оправдал. А вообще я хочу на пенсию.

КАШКИНА *(не сразу).* А знаешь, эта шутка похожа на правду.

ШАМАНОВ. Какая шутка?

КАШКИНА. Да вот про пенсию. Мне кажется, это и на самом деле твое единственное желание.

ШАМАНОВ. Конечно.

КАШКИНА. Одного я только не пойму: как ты дошел до такой жизни... Объяснил бы наконец.

*Шаманов пожал плечами.*

ГОЛОС ДЕРГАЧЕВА *(Он поет).* Это было давно,

Лет пятнадцать назад...

КАШКИНА. Ну серьезно. Сколько мы знакомы? А ведь я про тебя ничего почти не знаю. А что знаю, услышала от других людей, не от тебя. Знаешь, даже немного обидно... Да нет, не беспокойся, пожалуйста, ничего я от тебя не требую... Но я хотела бы тебя понять.

ШАМАНОВ. Зачем, Зина, зачем понять?

КАШКИНА. Зачем?.. Да хотя бы, чтобы не задавать тебе нелепых вопросов. В самом деле, ну почему бы тебе не рассказать мне про свою городскую жизнь?

ШАМАНОВ. Ни в коем случае. Стоит рассказать, и вопросов у тебя появится еще больше, и они будут еще нелепее. Уволь, Зина... Не обижайся, но у меня нет никакого желания исповедоваться.

КАШКИНА. Ладно, ладно, никто тебя не заставляет... *(Не сразу.)* Но ты не думай, что я про тебя ничего не знаю. Кое-что мне все-таки известно.

ШАМАНОВ. Тем лучше.

ГОЛОС ДЕРГАЧЕВА. Это было давно,

Лет пятнадцать назад,

Вез я девушку тройкой почтовой...

КАШКИНА. Говорят, ты был совсем другим человеком, не таким, как сейчас... Жена, говорят, у тебя была чья-то там дочь, и очень красивая. И вообще сначала ты процветал. Так говорят... *(Не сразу.)* В общем, в городе я встретила одну знакомую, Ларису, из облздрава – знаешь такую?

ШАМАНОВ. Не помню.

КАШКИНА. Не помнишь?.. А она тебя помнит. Оказывается, ты разъезжал в собственной машине. Никогда бы не подумала... Лариса, она так сказала: «У него было все, чего ему не хватало – не понимаю». И еще она сказал: «Он бы далеко пошел, если бы не свалял дурака...»

*Шаманов усмехнулся.*

Это ее слова. *(Чуть жеманно, подражая голосу своей городской знакомой.)* «Что с ним тогда стряслось – не понимаю...» *(Тихо.)* А я тебя понимаю. *(Сразу, как бы извиняясь.)* Мне кажется, я понимаю, в чем дело.

ШАМАНОВ *(вяло).* В чем дело?

КАШКИНА. Год назад чей-то сынок на машине наехал на человека. Было такое?.. Ну вот. И тебе поручили это дело. Верно?.. Лариса говорит, что того сынка, ну этого, который наехал на человека, она тоже знает. *(Снова подражая голосу Ларисы.)* «Старушка, с одной стороны, дело было темное, а с другой стороны, дело было абсолютно ясное, никто не думал, что он захочет его посадить. Никто от него этого не ожидал». Ты ее не припоминаешь – Ларису? У нее глаза чуть такие *(показывает),* крашеные волосы – черные, и – что еще?.. Да! Ногти. Ничего не скажешь, ногти у нее чудные. Ну что, ты ее не припоминаешь?

ШАМАНОВ. Не знаю. У них там у всех чудные ногти... Не помню.

КАШКИНА. Странно... Так вот, никто не ожидал, что ты захочешь его посадить, а ты вдруг захотел. Но у тебя ничего не получилось. Суд перенесли, следствие передали другому, но ты, говорят, на этом не успокоился. *(Подражая Ларисе.)* «Он уперся как бык... не знаю уж, кем он себя вообразил, но он тронулся, это точно. Он ушел от жены, нигде не показывался, одеваться стал кое-как, короче, он совсем опустился...» Так это было?

ШАМАНОВ. Вот видишь, все ты про меня знаешь, не понимаю, на что ты обижаешься.

КАШКИНА. Неужели это был ты?.. *(Не сразу.)* Я думаю, ты добивался справедливости.

ШАМАНОВ. Допустим. И что из этого?

КАШКИНА. Но ведь это здорово.

ШАМАНОВ. Ты думаешь?

КАШКИНА. Разве это плохо?

ШАМАНОВ. Не хорошо и не плохо. Это безумие. Твоя Лариса права.

КАШКИНА. Моя?

ШАМАНОВ. Я ее не помню. Но добиваться невозможного – в самом деле сумасшествие... Между прочим, суд состоится на днях... Я получил повестку.

КАШКИНА. Да?

ШАМАНОВ. Да! Кое-кто в городе ждет, что я примчусь туда и буду на этом суде выступать.

КАШКИНА. А ты?.. Не собираешься?

ШАМАНОВ. Ни в коем случае. С меня хватит. Биться головой об стену – пусть этим занимаются другие. Кто помоложе и у кого черепок потверже.

КАШКИНА. Да-а, ты был другой человек, теперь я вижу.

ШАМАНОВ *(вялый жест).* Какой бы я ни был, мое выступление ничего не изменит. Ничего ровным счетом. А раз так, значит, оно никому не нужно.

КАШКИНА. Ты в этом уверен?

ШАМАНОВ. На девяносто девять процентов.

КАШКИНА. И все-таки... Один процент остается.

ШАМАНОВ. Один против девяноста девяти – это шанс для умалишенных. Вот и пусть их – дерзают. И закончим этот пустой разговор.

КАШКИНА. Как хочешь...

ГОЛОС ДЕРГАЧЕВА. Это было давно,

Лет пятнадцать назад...

КАШКИНА. Знаешь, что сказала эта Лариса, когда узнала, что ты здесь? *(Подражая Ларисе.)* «Что ж, деревня, говорят, успокаивает, он правильно сделал, что туда уехал».

ШАМАНОВ. Ерунда. Мне просто было некуда податься.

КАШКИНА. Она передавала тебе привет. *(Подражая Ларисе.)* «Сердечный привет, надеюсь, он еще не постригся в монахи».

ШАМАНОВ *(рассмеялся).* Вспомнил! У нее здесь *(показывает)* железная коронка.

КАШКИНА. Точно!

ШАМАНОВ. Когда она смеется, эта коронка чуть дребезжит.

*Оба смеются.*

КАШКИНА. Точно!

ШАМАНОВ. До сих пор дребезжит?

КАШКИНА. До сих пор.

ШАМАНОВ. Ну да, глаза чуть такие. *(Показывает. Одобрительно.)* И надо сказать, она...

КАШКИНА *(перебивает).* Да-да. Она ничего. Даже очень ничего.

ШАМАНОВ. Вспомнил, вспомнил. *(Перестав смеяться, неожиданно.)* Подлая баба. Но неглупая.

КАШКИНА. Долго же ты ее вспоминал... Ну да ладно. *(Поднимается).* Пора в свою аптеку. Мой зав – она вон она, уже делает мне ручкой из окошечка. Пойду... Когда увидимся?.. За ужином?

ШАМАНОВ. Не знаю, Зина. К вечеру вернусь... Куда я денусь? *(Поднялся, пошел к буфету.)*

*Появляется Пашка – сын Хороших и пасынок Дергачева. Идет он напрямик: вынимает из ограды палисадника доску, ногой толкает калитку. Калитка снова повисла на одной петле. Пашке двадцать четыре года, в деревне он в гостях, на нем ярко-красная экстравагантная куртка, но одновременно и грубые рабочие башмаки. Парень он крупный, неуклюжий. Взгляд чуть исподлобья, говорит басом. Вообще склонность идти напролом хорошо согласуется с его внешностью.*

ПАШКА. Здрасте.

КАШКИНА. Добрый день.

*Шаманов кивает ему. Пашка проходит к буфету.*

*(Уходит через палисадник по пути, проделанному Пашкой. Шаманову.)* До вечера. *(Исчезает.)*

ШАМАНОВ. Счастливо. *(У буфета протянул руку в окно, достал оттуда телефон, снял трубку.)* Дайте милицию...

*Пашка у буфета. Стучит пальцами по витрине.*

Дежурный?.. Это Шаманов... Жду машину в Табарсук... Скоро?.. А когда?.. Скажи ему, пусть он подъедет к чайной... Жду его здесь... Скажи, пусть поторопится. *(Поставил телефон на место, отошел от буфета, уселся за столик, но не за тот, за которым сидел с Кошкиной, а за другой, у крыльца – подальше от буфета.)*

ПАШКА *(стучит.)* Ма-ать!

*В буфете появляется Хороших.*

ХОРОШИХ. Явился...

ПАШКА. Дай-ка «Беломору».

ХОРОШИХ *(дает ему папиросы).* Дров наколол?

ПАШКА. Наколол.

ХОРОШИХ. Баню сегодня протопишь.

ПАШКА. Пусть инвалид протопит.

ХОРОШИХ. Я говорю, ты протопишь. Понял?

ПАШКА. Ладно, там видно будет. *(Уселся прямо на подоконник-прилавок, закурил.)* Денек сегодня будет... Законный денек.

ХОРОШИХ. Не твой денек, Павел... Куда уселся? Слазь отсюдова. *(Сталкивает его с подоконника.)*

ПАШКА. Да погоди ты, мать. Дай покурить спокойно.

ХОРОШИХ *(не сразу).* Че, скажешь, покурить сюда пришел?

ПАШКА. А че еще? Дашь выпить и выпить могу.

ХОРОШИХ. Я вот те выпью. Еще чего не хватало.

ПАШКА. Да не надо, не надо. Я и без того заведенный.

ХОРОШИХ. Заведенный... Уезжать тебе надо, Павел.

ПАШКА. Ну во-от. В гости, называется, приехал. К матери родной... Гонишь, что ли?

ХОРОШИХ. Не гоню, а пора тебе. Отпуск кончился. Отгулял свое. Как бы тебя там с работы не выгнали.

ПАШКА. Не выгонят, не беспокойся. Это я у вас тут не котируюсь, а там – не беспокойся...

*Хороших вздохнула шумно и горестно.*

*(Негромко.)* Где она?

ХОРОШИХ. Послушайся, Павел, матери – уезжай. Пустое твое дело.

ПАШКА. Обижаешь, мать. Помочь бы могла.

ХОРОШИХ. Эх, Павел. Никому ты тут не нужен, кроме меня. Чем тебе поможешь?

ПАШКА. А не поможешь, значит, не мешай.

*Появляется Валентина с подносом и тряпкой. Прибирает на столе, за которым сидели Шаманов и Кашкина.*

Здравствуй, Валентина.

ВАЛЕНТИНА. Здравствуй. *(Направляется в помещение чайной, но Пашка загораживает ей дорогу.)*

ПАШКА. Погоди...

*Она старается пройти – безуспешно.*

*(Схватил ее за руку.)* Ну че ты как неродная...

ВАЛЕНТИНА. Пусти.

ПАШКА. А выйдешь вечером?

ВАЛЕНТИНА. Нет.

ПАШКА. Точно не выйдешь?

*Валентина пытается освободить руку – напрасно. А ты не торопись, ты подумай...*

ВАЛЕНТИНА. Я тебе уже сказала... Пусти.

ХОРОШИХ *(строго).* Павел!

ПАШКА *(понизив голос, глухо).* Я тебе скажу, Валя... Зря ты вертишься. Никуда ты от меня не денешься.

ВАЛЕНТИНА *(с отчаянием).* Пусти!

ШАМАНОВ. Послушай-ка. Нельзя ли полегче?

ПАШКА *(оборачивается).* Че такое?

*Валентина освободилась, быстро зашла в чайную.*

ШАМАНОВ. Я говорю, нельзя ли полегче – с девушкой?

ПАШКА. А че такое?.. Че тебе не нравится?

*Шаманов не отвечает.*

*(Садится напротив Шаманова.)* Нет, серьезно, чем ты недоволен?

ХОРОШИХ. Павел!

ПАШКА. Я разговариваю с девушкой, а ты че? Недоволен, что я с ней разговариваю?

ШАМАНОВ. Я-то доволен. Девушка недовольна.

ПАШКА. А че ты за нее волнуешься? Кто ты ей такой, с какого боку?

ХОРОШИХ. Павел! Как с людьми разговариваешь?

ПАШКА. Нормально, как мне еще разговаривать? По иностранному, что ли?.. А то я могу. *(Лицом и корпусом подался к Шаманову.)* Хау ду ю ду – это по-английски, а по-русски это значит – не суйся не в свое дело. Правильно?

ШАМАНОВ. Да нет, милый мой. Слабоват ты в английском. Хау ду ю ду – это значит: не валяй дурака, веди себя приличнее.

ПАШКА *(хмыкнул одобрительно).* Ниче...

ХОРОШИХ. Так его, Владимир Михалыч, покрепче его понужните, чтоб он понимал.

ПАШКА *(поднимается).* Ниче, ниче. Чувствуется, что поговорил с образованным человеком. *(Нагнулся к Шаманову, глухо.)* Но учти, следователь. К Валентине ты больше не касайся. Ни под каким видом... Я тебе серьезно говорю. *(Отходит от столика Шаманова.)*

*В буфете за спиной Хороших появляется Еремеев. Он протягивает Хороших деньги.*

ХОРОШИХ. Нет, нет. Сказала ни грамма – и точка.

ЕРЕМЕЕВ. Маленько, однако, налей.

ХОРОШИХ. Отойди, Илья. Выйди из буфета. *(Выталкивает Еремеева.)* Сказала – нет...

*Дергачев появляется и подталкивает Еремеева с другой стороны.*

ДЕРГАЧЕВ. Не твои деньги, не имеешь права.

ХОРОШИХ. Нет, я вам говорю. Не получите!

ДЕРГАЧЕВ *(грозно).* Обслужить клиента, и никаких!

ПАШКА *(подходит к буфету, Хороших).* Чего он там разошелся?

*Еремеев выбирается из буфета.*

ХОРОШИХ. Выйди, Афанасий. Не получишь больше – все равно.

ДЕРГАЧЕВ. Ну, Анна, на себя пеняй...

ПАШКА. Эй ты, деятель...

*Дергачев повернулся, только сейчас он заметил Пашку.*

Выйди из буфета. По-хорошему.

ДЕРГАЧЕВ. А-а, щенка своего позвала. Поможет, думаешь?

ХОРОШИХ. Выйди, Афанасий. А ты, Павел, помолчи...

ДЕРГАЧЕВ *(Пашке).* Заткнись, не то...

ПАШКА. Ну че?..

*Дергачев стучит кулаком по прилавку.*

Тише, тише. А то смотри, руку зашибешь.

ХОРОШИХ. Молчи, Павел!.. Афанасий, перестань!.. Господи, господи... Налью я тебе – только перестань! Налью, слышишь?

ПАШКА. Куда лить-то?.. Хватит с него, налил с утра пораньше.

ДЕРГАЧЕВ. Ну, щенок... *(Быстро выходит из буфета.)*

ХОРОШИХ. Афанасий! *(Устремляется вслед за Дергачевым.)*

*Дергачев появляется, приближается к Пашке, берет его за грудки.*

ПАШКА *(хватает его за руки).* Ну и че?.. А дальше че?.. Ну?

ДЕРГАЧЕВ. Я покажу тебе... Я научу тебя... Крапивник!

*Хороших появляется, пытается разнять Пашку и Дергачева, которые топчутся по всей веранде. При этом сила явно на стороне Пашки, он лишь защищается. Пытаясь их разнять, к Хороших присоединяется Шаманов. Еремеев появляется, сокрушенно качает головой. В дверях чайной появляется Валентина, останавливается на пороге.*

Я покажу вам!.. Я вам устрою!..

ПАШКА. Мать, убери его от меня!..

ХОРОШИХ. Афанасий!.. Павел!

ШАМАНОВ *(кричит).* Остановитесь!

*На секунду они останавливаются.*

Уведите его домой. Он пьян.

ХОРОШИХ *(подталкивает Дергачева и Пашку к крыльцу).* Опомнись! Афанасий... Павел! Веди его домой...

ПАШКА. Да пошел он... Сама с ним возись!

ХОРОШИХ. Помоги мне, Павел... Уведем его, слышишь... Ради бога, Павел...

ДЕРГАЧЕВ. А ну отцепитесь!.. Я научу вас свободу любить...

ПАШКА. Ладно, кончай... Повоевал – хватит... Пошли.

*Пашка потащил Дергачева через палисадник. Хороших идет за ними. У дыры они возятся, затем Пашка вынимает еще одну, третью доску и выталкивает Дергачева из палисадника. Исчезают все втроем. Еремеев идет следом, но палисадник обходит.*

ШАМАНОВ. Веселенькое утро, ничего не скажешь...

*Шум и голос Хороших: «Не трогай его! Не трогай его!» Затем шум удаляется и умолкает.*

*Валентина спускается в палисадник, подбирает доски и начинает восстанавливать ограду. Шаманов сначала рассеянно, потом внимательнее наблюдает за Валентиной. С момента ухода Пашки, Дергачева, Хороших и Еремеева прошло не менее полминуты.*

Валентина...

*Валентина прекратила работу.*

Вот я все хочу тебя спросить... Зачем ты это делаешь?

ВАЛЕНТИНА *(не сразу).* Вы про палисадник?.. Зачем я его чиню?

ШАМАНОВ. Да, зачем?

ВАЛЕНТИНА. Но... Разве непонятно?

*Шаманов качает головой: непонятно.*

И вы, значит, не понимаете... Меня все уже спрашивали, кроме вас. Я думала, что вы понимаете.

ШАМАНОВ. Нет, я не понимаю.

ВАЛЕНТИНА *(весело).* Ну тогда я вам объясню... Я чиню палисадник для того, чтобы он был целый.

ШАМАНОВ *(усмехнулся).* Да? А мне кажется, что ты чинишь палисадник для того, чтобы его ломали.

ВАЛЕНТИНА *(делаясь серьезной).* Я чиню его, чтобы он был целый.

ШАМАНОВ. Зачем, Валентина?.. Стоит кому-нибудь пройти, и...

ВАЛЕНТИНА. И пускай. Я починю его снова.

ШАМАНОВ. А потом?

ВАЛЕНТИНА. И потом. До тех пор, пока они не научатся ходить по тротуару.

ШАМАНОВ *(покачал головой).* Напрасный труд.

ВАЛЕНТИНА. Почему напрасный?

ШАМАНОВ *(меланхолически).* Потому что они будут ходить через палисадник. Всегда.

ВАЛЕНТИНА. Всегда?

ШАМАНОВ *(мрачно).* Всегда.

ВАЛЕНТИНА. А вот и неправда. Некоторые, например, и сейчас обходят по тротуару. Есть такие.

ШАМАНОВ. Неужели?

ВАЛЕНТИНА. Да. Вот вы, например. Вы всегда обходите по тротуару.

ШАМАНОВ *(искренне удивился).* Я?.. Ну не знаю, не замечал... Во всяком случае, пример неудачный. Я хожу с другой стороны.

ВАЛЕНТИНА. С другой стороны, но и с этой вы тоже ходите. И всегда вокруг.

ШАМАНОВ. Да? Ну, значит, мне просто лень нагибаться. Мне лучше обойти, чем нагибаться... *(Не сразу.)* Нет, Валентина, ты зря стараешься.

ВАЛЕНТИНА. Неправда... *(Двумя-тремя жестами закончила с оградой.)* Вот и все. Много ли здесь труда – и все на месте. И ограда целехонька. *(Живо.)* Ну неужели вы не понимаете? Ведь если махнуть на это рукой и ничего не делать, то через два дня растащат весь палисадник.

ШАМАНОВ. Так оно и будет.

ВАЛЕНТИНА. Неправда! Увидите, они будут ходить по тротуару.

ШАМАНОВ. Ты возлагаешь на них слишком большие надежды.

ВАЛЕНТИНА. Да нет же, они поймут, вы увидите. Должны же они понять – в конце концов. Я посею здесь маки и тогда...

ШАМАНОВ *(перебивает).* Нет, Валентина, напрасный труд. *(Подошел к буфету, извлек оттуда телефон, снял трубку.)* Дайте милицию... *(Ждет, потом Валентине.)* А ты не пробовала прибить доски гвоздями?

ВАЛЕНТИНА *(улыбается).* Пробовала. Две доски сломали пополам.

ШАМАНОВ. Вот видишь. Говорю тебе, это напрасный труд. *(По телефону.)* Дежурный?.. Следователь Шаманов... Послушай, там Комаров далеко?.. Дай ему трубку... Здравствуй, Федя... Шаманов... Из чайной... Что там у вас? Когда будет машина?..

*Валентина принимается за калитку.*

Вот я и звоню: когда она будет?.. Когда?.. А побыстрее нельзя?.. Мне все равно, но если ехать, значит, нечего тянуть резину, уже одиннадцатый час... К начальнику?.. А что такое?.. Вызывают в город?.. Знаю, получил повестку... Ну да, тот самый процесс... Да, послезавтра. А мне все равно – хоть сегодня – я не еду... Зачем? Там уже все решено, а с меня хватит... Все. Я не любитель красивых жестов... Говорю тебе: нет... Да, можешь сказать ему, что я отказываюсь... И вообще я хочу на пенсию... Да, так ему и передай... Так... А чем он недоволен?.. Пистолет?.. Да *(хлопнул себя по бедру),* у меня. А что такое?.. Ну и что?.. Я вернулся ночью, когда я его мог сдать?.. Ничего, переживет... Что? Сдать его сейчас?.. Ну да, охота мне сейчас тащиться... Не пойду... Нет, я не против дисциплины, просто мне лень туда идти... Ладно, пусть он успокоится, убивать я никого не собираюсь... *(Слушает, потом.)* Какие еще слухи?.. Так, так... Понятно. Общественность интересует, где я ночую... Беспокоится?.. Встревожена? Надо же. У меня такое впечатление, что общественность это волнует больше, чем меня самого... Ну вот что. Я, конечно, польщен вниманием, но где мне ночевать – эту заботу я попросил бы доверить мне лично. Как-никак сам я в этом больше разбираюсь...

*Тут Валентина опустила голову ниже.*

*(Заметил это и далее разговаривает, глядя на Валентину.)* Я не понимаю, у нас милиция или монашеский орден?.. Послушай, хватит на эту тему. Здесь рядом девушка, и я не могу сказать тебе всего, что я об этом думаю... Девушка?.. Да, интересная... по-моему, да... Здешняя... Да, как ни странно... Успокойся, старина. Ты ей в отцы годишься... Ты прав: еще совсем зеленая... И наш разговор ее смущает... Ну, привет... Да, жду машину. *(Поставил телефон на место.)*

*Пауза. Шаманов, пройдясь по веранде, подходит к крыльцу. Валентина налаживает калитку.*

*(Наблюдает за ней снова, на этот раз с большим интересом.)* Валентина...

*Валентина подняла голову. Небольшая пауза.*

Послушай... Оказывается, ты красивая девушка...

*Калитка, которую Валентина придерживала, падает на землю.*

Не понимаю, как я раньше этого не замечал...

*Валентина снова берется за калитку.*

Да брось ты эту калитку... *(Не сразу.)* Ах, какая ты упрямая. *(Спускается с крыльца.)* Ну что там?.. Помочь тебе?

ВАЛЕНТИНА. Если хотите... Подержите ее. Да, так...

ШАМАНОВ. Держу... *(Не сразу.)* Не опускай голову, ты же не видишь, что ты делаешь.

*Валентина наладила калитку, выпрямилась. Небольшая пауза. Валентина – в палисаднике, Шаманов стоит против нее по другую сторону калитки.*

ВАЛЕНТИНА. Спасибо... С этой калиткой не так-то просто... Другой раз легко, а сегодня что-то не получается...

ШАМАНОВ. Да, в самом деле... Странное сегодня утро... Вижу тебя целый год и только сейчас разглядел по-настоящему. И я должен тебе сказать...

ВАЛЕНТИНА *(тихо).* Не надо.

ШАМАНОВ. Ты лишаешь меня слова? Почему?

ВАЛЕНТИНА. Потому что вы надо мной смеетесь.

ШАМАНОВ. Смеюсь? Нисколько. Я говорю серьезно... Ты красивая, Валентина. Что в этом смешного?.. *(Не сразу.)* Ну вот, и уже покраснела... Нет, нет, не опускай голову, дай я на тебя полюбуюсь. Я давно не видел, чтобы кто-нибудь краснел.

*Далее – она хотела выйти, но он прикрыл калитку.*

Подожди... Подожди, Валентина... Удивительное дело. Мне кажется, что я вижу тебя в первый раз, и в то же время... *(Неожиданно.)* Послушай!.. Да-да... *(Не сразу.)* Когда-то, давным-давно у меня была любимая... и вот – удивительное дело – ты на нее похожа. *(Не сразу.)* К чему бы это? А, Валентина?

*Небольшая пауза.*

Сколько тебе лет?.. Семнадцать?.. Восемнадцать?

ВАЛЕНТИНА. Да.

ШАМАНОВ. А почему ты не в городе?.. Твои сверстники, по-моему, все уже там.

ВАЛЕНТИНА. Да, многие уехали...

ШАМАНОВ. А ты? Почему ты осталась?

ВАЛЕНТИНА. Осталась... А разве всем надо уезжать?

ШАМАНОВ. Нет. Совсем нет... Но раз ты осталась, значит, у тебя есть на то причины.

ВАЛЕНТИНА. Значит, есть.

ШАМАНОВ. А в чем дело?.. Я слышал, отец тебя не пускает. Это правда?.. Или – что тебя держит?

ВАЛЕНТИНА. Вам неинтересно...

ШАМАНОВ. А все же, в чем дело?.. (Не сразу.) Что с тобой?.. Ну-ну, если это тайна, я не спрашиваю... Это тайна?

*Небольшая пауза.*

Валентина, ты замечательная девушка. Все у тебя на лице – все твои тайны. Ты не уехала, потому что ты влюбилась... Разве нет?.. А в кого, интересно?.. Не скажешь?.. Ну еще бы! *(Любуется ею, потом, усмехнувшись.)* Глянула бы ты на себя со стороны... *(Не сразу.)* Ах, Валентина, грустно мне на тебя смотреть. Грустно, потому что меня уже никогда не полюбит такая девушка, как ты.

ВАЛЕНТИНА *(у нее вырывается то, что она могла бы сказать ему в любую минуту.)* Неправда!

ШАМАНОВ. Что неправда? *(С любопытством.)* Кто ж, интересно, может на меня позариться?.. Что-то не вижу я желающих... Может, ты кого знаешь?

ВАЛЕНТИНА *(тихо).* Все знают... Кроме вас.

ШАМАНОВ. Вот как?

ВАЛЕНТИНА. Вы один здесь такой: ничего не видите... *(Неожиданно громко, с отчаянием.)* Вы слепой! Слепой – ясно вам?

*Небольшая пауза.*

ШАМАНОВ *(никак не ожидал этого признания и явно им озадачен; с удивлением).* Ты это серьезно?.. *(Не сразу, с растерянностью.)* Ты уверена, что... *(Остановился.)*

ВАЛЕНТИНА *(с напряжением, изо всех сил стараясь улыбнуться).* Слепой... Но не глухой же вы, правда же?

ШАМАНОВ *(не сразу).* Да нет, Валентина, не может этого быть... *(Засмеялся.)* Ну вот еще! Нашла объект для внимания. Откровенно говоря, ничего хуже ты не могла придумать... *(Открыл калитку, сделал шаг и... погладил ее по голове.)* Ты славная девочка, ты прелесть, но то, что ты сейчас сказала, – это ты выбрось из головы. Это чистейшей воды безумие. Забудь и никогда не вспоминай... И вообще: ты ничего не говорила, а я ничего не слышал... Вот так.

ВАЛЕНТИНА *(негромко, с усилием).* Я не сказала бы никогда. Вы сами начали.

ШАМАНОВ *(довольно сухо).* Я пошутил.

*Валентина отступает на шаг, затем быстро выходит из палисадника.*

Постой... *(Идет за ней следом.)* Валентина!

*Она исчезает, оставляя за собой открытой калитку своего дома.*

*(Постоял-постоял, а потом поднялся на веранду и уселся на стул. Некоторое время сидит вытянув ноги и запрокинув голову.)* Ну вот... Только этого мне и недоставало.

*Кашкина и Пашка появляются одновременно, она с левой стороны, он – с правой.* *Столкнувшись у палисадника с Кашкиной, Пашка останавливается и, резко повернувшись,* *уходит обратно. Кашкина, на этот раз обойдя палисадник, поднимается на веранду.*

КАШКИНА. Где ж твоя машина?.. *(Иронизирует.)* Бедненький, сидишь тут в одиночестве, скучаешь, и развлечь тебя некому. Все куда-то разбежались...

*Шаманов глянул на нее мрачно.*

*(Другим тоном.)* Наше окно напротив, так что извини...

ШАМАНОВ. Сколько угодно. Тем более: глазеть в окно – в этом все ваше дело.

КАШКИНА. Не все, допустим, но когда есть на что посмотреть... А было на что посмотреть.

ШАМАНОВ. Что ж, значит, не зря вы сегодня пришли на работу.

КАШКИНА. Успокойся, никто этого не видел, кроме меня. Я одна наблюдала.

ШАМАНОВ. Ну?.. Надеюсь, тебе хорошо было видно?

КАШКИНА. Прекрасно. Вот только не слышно ничего...

ШАМАНОВ. А что тебя интересует? Я охотно тебе перескажу.

КАШКИНА. Как это вы вдруг... разговорились?

ШАМАНОВ *(насмешливо).* Да так, очень просто. Я сделал ей комплимент, она... Да, вот так, слово за слово, незаметно. Кое-что выяснилось...

КАШКИНА. А раньше ты этого не замечал?

ШАМАНОВ *(не сразу).* А что ты раньше замечала?

КАШКИНА *(не сразу).* Ну выяснилось, а дальше? Как это тебе понравилось?

ШАМАНОВ. Мне-то?.. *(Все так же насмешливо.)* А что мне? Она меня заинтриговала. Да, а ты как думаешь? Она милая девушка – разве нет? И я жалею, что не замечал этого раньше... Да, вот так. Раньше не замечал, зато сегодня... как бы тебе это выразить... Она явилась неожиданно, как луч света из-за туч. Нравится тебе такое сравнение?

КАШКИНА. Неплохо.

ШАМАНОВ. Кроме того, она напоминает мне мою первую любовь – не веришь?.. Это совершенно серьезно... А в довершение ко всему – вот, оказывается, она в меня уже влюблена... Ну что? Как, по-твоему, все это называется?

КАШКИНА. Я не пойму, над кем ты сейчас издеваешься?

ШАМАНОВ *(тем же тоном).* Судьба – другим словом все это не назовешь. Судьба. И она говорит мне: дерзай, старик, у тебя еще не все потеряно. Вот, она говорит, тебе тот самый случай – лови, другого уже не будет... *(Помолчал.)* Да. Вот так.

КАШКИНА. И что дальше?

ШАМАНОВ. Дальше?.. Известное дело. Я благодарю судьбу, плюю на предрассудки, хватаю девчонку и – привет. Я начинаю новую жизнь. Тебя это устраивает?

КАШКИНА. А тебя?

ШАМАНОВ *(другим тоном, с раздражением).* Зина. У тебя политика такая или ты действительно дура?.. Ну в самом деле! Мы с тобой знаемся, мне кажется, уже тыщу лет, а ведь ты совсем меня не понимаешь – ну совершенно! *(Расходится.)* Да нет, ты извращаешь каждое мое слово, каждый звук, каждую букву! Начни я за здравие, ты тут же начнешь за упокой, заикнись я про Фому, ты обязательно свернешь все на Ерему. Черт знает что! Ну скажи на милость, ну чего ты сюда прибежала? Зачем? Что такого ты здесь увидела? *(Вскочил.)* Ну в самом деле! Ну откуда берутся у тебя эти дикие мысли, эти нелепые подозрения? Ну скажи, «у что, что может быть у меня с этой девчонкой? Ну? Чем, черт меня подери, похож я на влюбленного? Ну чем, я тебя спрашиваю! Похож я на него хоть чем-нибудь?.. *(Перевел дух.)* Боже мой... Что за дурацкое утро! Что сегодня с вами? Что вам от меня надо?.. Я ни-че-го не хочу. Абсолютно ничего. Единственное мое желание – это чтобы меня оставили в покое. Все! И ты тоже. Ты – прежде всех!.. И вообще, с какой стати ты меня терроризируешь, по какому праву? Я не желаю больше этого терпеть, не же-ла-ю, ясно тебе?

КАШКИНА. Ясно... Но почему ты так разнервничался?

ШАМАНОВ. Уйди, Зина.

КАШКИНА. Что с тобой?.. На тебе лица нет... Ты не болен?

ШАМАНОВ. Уй-ди... Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Сейчас. С этой самой минуты.

КАШКИНА. Ладно, я уйду, но...

ШАМАНОВ *(перебивает).* Уйди. *(Внезапно угас, опустился на стул. Негромко, полностью равнодушным голосом.)* Уйди, я тебя прошу.

*Кашкина уходит с недоумением и обидой. Пауза, во время которой Кашкина заходит во двор, появляется на лестнице и исчезает у себя в мезонине.*

*Появляется Пашка. Поднимается на веранду, некоторое время молча стоит перед Шамановым.*

Ну?.. Что скажешь?

ПАШКА. Разговор у нас уже был... Может, ты меня не понял?.. Про Валентину понял ты или нет?

ШАМАНОВ. Пока нет. Еще не понял.

ПАШКА. Брось, не прикидывайся... Втихаря к ней подбираешься, по-интеллигентному?.. А я тебе говорю прямо, и притом последний раз говорю: увижу тебя с ней – обоим не поздоровится... Худо будет. Говорю тебе честно. *(Молчит.)*

ШАМАНОВ. Все?.. А теперь иди... *(Не сразу.)* Иди, иди. Погуляй, остуди голову... *(Небольшая пауза.)* Предупреждаю тебя, сегодня у меня отвратительное настроение.

ПАШКА Это ты брось. Я тебе серьезно говорю: последний раз предупреждаю. А там!.. *(Глухо.)* Убью, понял?

ШАМАНОВ *(усмехнулся).* Убьешь?

ПАШКА. Убью. И не посмотрю, кто ты есть и че у тебя там на ремне прицеплено. Убью.

ШАМАНОВ. Да неужели?..

ПАШКА. Думаешь, пушки твоей постесняюсь?

ШАМАНОВ. Убьешь?

ПАШКА. Плевал я на твою пушку.

ШАМАНОВ *(не сразу).* А что пушка?.. Вот она. *(Достал кобуру с пистолетом, вынул пистолет, положил его на стол и отодвинул от себя, ближе к Пашке.)* Убьешь?

*Пашка усмехнулся, взял пистолет, осмотрел его, вынул обойму, вставил обратно.*

Что? Все в порядке?

*Пашка подбросил пистолет на руке.*

Стрелять-то умеешь?

*Пашка усмехнулся.*

А то ведь еще не убьешь – напугаешь только или, чего доброго, покалечишь... Или убьешь?

ПАШКА. Возьми. Надо будет, обойдусь и без него. *(Протягивает пистолет Шаманову, но тот его не принимает. Пистолет остается у Пашки.)*

ШАМАНОВ. Зачем же без него?.. Каким образом? Поленом, что ли? Или топором?.. Нет, милый мой, поленом – это вульгарно, поленом я не согласен... У тебя в руках неплохая машина. Старенькая, правда, но все же... Может, попробуешь?

ПАШКА. Брось, следователь. Кончай. Мне не до шуток, учти это.

ШАМАНОВ. Мне тоже не до шуток.

ПАШКА. Держи. *(Снова протягивает Шаманову пистолет.)* Я тебя предупредил, ты меня понял. Разойдемся добром... Слышь? *(Глухо.)* Шуруй по чердакам. Знай свое место... И учти, этот разговор последний. Если увижу...

ШАМАНОВ *(перебивает).* Ты увидишь... Сегодня же ты увидишь.

ПАШКА. Брось.

ШАМАНОВ. Мы встречаемся здесь. В десять вечера... Мы с ней давно встречаемся. Ты опоздал.

ПАШКА. Заткнись...

ШАМАНОВ. Ты зря стараешься. Ты ей не нужен.

ПАШКА *(кричит).* Заткнись, тебе говорят!

ШАМАНОВ. Ты ей не нужен.

*Пашка отступает от Шаманова, сжимая в руке пистолет.*

Она любит меня... Тебе не видать ее... идиот, как ты не понимаешь... никогда не видать... *(Вцепившись руками в подлокотники стула, кричит истерически.)* Стреляй!

*Пашка нажимает на собачку – ясно слышен стук бойка. Осечка. На лице у Шаманова – ужас, потом недоумение. Пашка роняет пистолет.*

*(Приходит в себя, но разжать пальцы, которыми несколько секунд назад он схватился за подлокотники, ему не сразу удается. Но вот он овладел руками. Ладонью провел полбу и по глазам.)* Подними пистолет.

*Пашка поднимает пистолет.*

Положи на стол.

*Пашка положил пистолет на стол.*

Уходи.

*Пашка, чуть пошатываясь, будто пьяный, спускается с веранды. Он уходит. Шаманов хотел подняться, но безуспешно. Ноги его не держат.*

*Через мгновение появляется Еремеев. Что-то бормоча и охая, он усаживается на нижней ступеньке крыльца.*

ЕРЕМЕЕВ. Ох-хо-хо...

ШАМАНОВ. Что, дед? Как твои дела?

ЕРЕМЕЕВ. Дела, ядреная бабушка. Человеку не верят, бумагам верят.

*Шум подъезжающей машины.*

Работал, сорок лет работал...

ШАМАНОВ *(поднимается).* Сочувствую тебе, дед. Помочь ничем не могу. *(Прячет пистолет.)*

*Звук машинного тормоза, мужской голос: «Ну че, поехали?»*

Сейчас поедем! *(Берет со стола салфетку, достает ручку, быстро пишет и складывает салфетку вчетверо.)* Дед, у меня к тебе просьба. Будь добр, передай эту бумагу Валентине. Знаешь Валентину?

*Еремеев кивает. Шаманов отдает ему записку. Появляется Кашкина. Услышав голос Шаманова, она останавливается на пороге.*

Отдашь ей. Только сразу, как она придет. Договорились?

*Еремеев кивает.*

Да смотри, другому кому не отдай.

ЕРЕМЕЕВ. Хорошо, хорошо.

ШАМАНОВ *(себе).* Ну вот... *(Еремееву.)* Спасибо, дед. *(Быстро сходит с крыльца, исчезает.)*

*Шум отъезжающей машины. Кашкина спускается вниз.*

КАШКИНА *(покружив несколько перед Еремеевым, вступает с ним в разговор).* Ну и как? Что у вас новенького?.. Были в райсобесе?.. Что там сказали? Дадут вам пенсию?

*Еремеев качает головой.*

А почему?

ЕРЕМЕЕВ. Ох-хо, бумаги надо. Ты грамотная, сама, однако, знаешь... *(Живо.)* Из города приехала?

КАШКИНА. Я?.. Да, из города...

ЕРЕМЕЕВ *(с надеждой).* Карасева знаешь?.. Начальником партии работал... Не знаешь?

*Кашкина пожала плечами.*

Эдельмана знаешь?

*Кашкина качает головой.*

Быкова, однако, тоже не знаешь...

КАШКИНА. Нет, нет, откуда же? Город ведь большой.

ЕРЕМЕЕВ. Где найдешь? Как найдешь?

КАШКИНА. Но почему? Если они там, если не разъехались...

ЕРЕМЕЕВ *(махнул рукой).* Здесь не найдешь, там совсем не найдешь.

КАШКИНА. Зря вы так. Вы не торопитесь, не падайте духом раньше времени... Что это у вас? *(Показывает на записку, которую Еремеев держит в руке.)*

ЕРЕМЕЕВ. А?.. Бумага. Девушка придет, отдать надо. Парень просил.

КАШКИНА *(не сразу).* А все-таки вы надежды не теряйте. Я про пенсию говорю... Я тут с одной женщиной беседовала. Вам надо к ней зайти... Она вас проконсультирует и... В общем, вы к ней зайдите.

ЕРЕМЕЕВ. Где работает?

КАШКИНА. Пойдете по этой улице, спросите райздрав, вам покажут. А в райздраве спросите Розу Матвеевну... Она вас ждет.

ЕРЕМЕЕВ *(засуетился).* Райздрав, говоришь? Ждет, говоришь?

КАШКИНА. Да, но как же вам быть? Ведь вам сейчас бумагу надо отдать... Надо?

ЕРЕМЕЕВ. Надо, надо.

КАШКИНА. Ну вот. И к Розе Матвеевне надо. Тоже сейчас... Что же делать?

ЕРЕМЕЕВ *(расстроился).* Что же делать?

КАШКИНА. Вот задача... Что же придумать?

ЕРЕМЕЕВ. Что же придумать?..

КАШКИНА. Ладно! Идите, так уж и быть. А бумагу давайте сюда. Я передам.

ЕРЕМЕЕВ *(очень доволен).* Спасибо, спасибо... *(Отдает Кашкиной записку.)*

КАШКИНА. А кому передать?

ЕРЕМЕЕВ. Валентину знаешь?

КАШКИНА. Ну как же.

ЕРЕМЕЕВ. Она придет, ей отдай.

КАШКИНА. Ну-ну, хорошо.

ЕРЕМЕЕВ *(пошел, остановился).* Роза, говоришь?

КАШКИНА. Роза Матвеевна, не забудьте.

ЕРЕМЕЕВ *(снова приостановился).* Бумагу Валентине отдай. Другому не отдай.

КАШКИНА. Ладно, ладно.

*Еремеев уходит.*

*(Подходит к буфету, достает телефон, поднимает трубку.)* Дайте райздрав... *(Ждет, потом.)* Роза, ты?.. Привет... Роза, у меня к тебе просьба. Сейчас к тебе придет один старик... Эвенк, очень старый. Он насчет пенсии. Не удивляйся. Ему надо помочь, если можно... Ну я не знаю. Ты сама подумай. Может, санаторий, может, дом престарелых... Во всяком случае, выслушай его, посоветуй что-нибудь, посочувствуй... Да, надо... Ладно. Посочувствуй старому человеку – это само по себе неплохо. Согласна?.. Ну пока. *(Убрала телефон, подошла к столику, уселась, на мгновение задумалась, потом решительно развернула записку, последние слова которой прочла вслух.)* «...здесь... в десять вечера...» *(Медленно складывает записку.)*

*Появляется Хороших.*

ХОРОШИХ. Господи... Стыд и стыд. *(Кашкиной.)* Видала, поди... Сцепились-таки, разбойники. У меня сердце чуяло. *(Зашла в чайную, появилась в буфете.)* Да видно, не уйдешь: двум медведям в одной берлоге не место... *(Не сразу.)* А ты чего не на работе? Зинаида?.. Или не слышишь?

КАШКИНА. Что вам, Анна Васильевна?

ХОРОШИХ. А где Валентина?.. *(Громко.)* Валентина!.. Где она?.. Буфет нараспашку, касса открытая, она че думает?.. Давно здесь сидишь? Не видала ее?

КАШКИНА. Нет, Анна Васильевна.

ХОРОШИХ. Сроду без спросу не уходила, че это с ней? *(Громко.)* Валентина!

*Занавес*

**ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ**

*Вечер*

*Конец того же дня. От дома и от палисадника – длинные вечерние тени. Солнце близится к закату.*

*Из помещения чайной время от времени раздается визг ножовки, стук молотка – там идет работа.*

*Валентина стоит на веранде перед палисадником. Хороших в буфете. Она щелкает на счетах, что-то записывает.*

ГОЛОС ДЕРГАЧЕВА *(он поет).* Это было давно,

Лет пятнадцать назад,

Вез я девушку тройкой почтовой...

ХОРОШИХ. На твоем месте, Валентина, я отсюда давно уехала бы. Слышишь?.. Целый месяц молчком, не надоело тебе? *(Не сразу.)* Ну действительно! Сестры у тебя выучились, по иркутскам живут да по красноярскам, а ты чем хуже? Ведь ты, поди, и в городе ни разу не была. Это в твои-то годы... Павел вон рассказывает: в городе и работать можно и учиться – все условия. Ему вон и квартиру обещают, несмотря, что холостой... *(Помолчала.)* Отца твоего могу понять. Его хозяйство не пускает. И деньга леспромхозовская. *(Значительно.)* Тебя не понимаю. *(Вдруг запальчиво.)* Слушай! Докуда это будет продолжаться? Думаешь, заступился он за тебя, значит, что ж?.. Да ничего это не значит! Так просто, для порядка и вовсе не ради тебя. Не замечал он тебя и не замечает. Скажи, не так?

ВАЛЕНТИНА. Так, тетя Аня, так.

ХОРОШИХ. У него жена в городе! Знаешь ты про это?.. А Зинаида? Или ты не видишь?

ВАЛЕНТИНА. Вижу, тетя Аня.

ХОРОШИХ. Так из-за кого же ты переживаешь – подумай! Не стыдно тебе?

ВАЛЕНТИНА. Нет... Не стыдно... Я никому не навязываюсь. А из-за кого переживаю – это мое дело... И вы мне не запретите. Не то что вы, а если хотите знать, даже он сам не может мне запретить. Это мое дело.

*Хороших энергично разводит руками, выражая тем самым крайнюю степень удивления и отчаяния что-либо доказать. Обе некоторое время молчат.*

ХОРОШИХ *(негромко, примирительно, с горечью).* Что мне с Павлом делать? Как быть?.. Упрямый он. И дурной сделался... Упрямый он всегда был. Я мать ему, но выходка у него не моя... Бывало, че увидит, ну пропало. Вынь да положь. Лет до десяти, пока я одна была, баловала я его. *(Вздохнула.)* Потом отошла ему лафа. *(Не сразу.)* Не даст он нам покою... Слышишь, Валентина. Не отстанет он от тебя.

*Небольшая пауза. Мечеткин появляется с левой стороны, минуя палисадник, подходит к буфету.*

Что делать – не знаю. Кажется, сама бы сейчас взяла и сбежала куда глаза глядят.

МЕЧЕТКИН. Почему, Анна Васильевна? Я извиняюсь, что вмешиваюсь, но разве плохо вам здесь живется?

ХОРОШИХ. А что хорошего-то? Какое здесь житье?.. Ну нам еще, старикам, ну ладно, а для молодежи? Добра-то в нашем Чулимске. Одно комарье. Куда ни повернись – тайга в любую сторону на сотни верст. Другой раз как подумаешь – душно делается... Глядите, Илья на что уж таежный житель, и то не выдерживает...

МЕЧЕТКИН. Глупо вы, между прочим, рассуждаете... Две котлеты, две простокваши и чай... Глупо и в корне неверно. И все ваши несчастья, между прочим, заключаются в том, что вы не выписываете ни одной газеты.

ХОРОШИХ. Действительно.

МЕЧЕТКИН. А то бы вы знали, что через несколько лет через нас пройдет железная дорога.

ХОРОШИХ. Обслужи его, Валентина. *(Громко.)* Валентина!

*Валентина оборачивается.*

Очнулась? Дай ему котлеты.

*Валентина уходит в чайную.*

*(Как бы про себя.)* Как в воду опущенная.

МЕЧЕТКИН. А что с ней?

ХОРОШИХ. А я знаю? *(Усмехнулась.)* Тоже, поди, газеты не выписывает.

*Из чайной выходят Дергачев и Еремеев. Дергачев несет стремянку. Еремеев несколько брусков. Все это они складывают на веранде в углу.*

ДЕРГАЧЕВ. Отдохнем, Илья. *(Садится на ступеньку крыльца.)*

*Еремеев усаживается рядом. Валентина появляется, подает Мечеткину котлеты. Тот принимается за еду. Валентина уходит в чайную. Кашкина вышла на балкончик и тут же исчезла.*

МЕЧЕТКИН *(жует, обращаясь к Еремееву).* Слышал я, ты пенсию хлопочешь?

ЕРЕМЕЕВ *(машет руками).* Обратно ухожу, в тайгу ухожу.

МЕЧЕТКИН *(обращаясь к остальным).* Вот друг. За пенсией явился. Без документов.

ХОРОШИХ. Ну и что? Работал же человек. Если он не знал про бумаги эти, виноват он, что ли?

МЕЧЕТКИН. Кто же виноват? Жил, понимаете, беззаботно, как птичка божья, а?.. Ну вот, а теперь будь любезен, расплачивайся за собственное легкомыслие. *(Жует.)* У тебя дети есть?

ХОРОШИХ. Дочь у него. А что толку? Уехала – и с концом.

МЕЧЕТКИН. Совершеннолетняя?

ХОРОШИХ. Хватился. За сорок, поди, не меньше.

МЕЧЕТКИН. Вот народец. А раньше у них и того хуже было. Раньше они стариков вообще бросали. Сами, понимаете, на новое место, а стариков не берут. Продуктишек им оставят на день, на два, а сами ходу. *(Еремееву.)* Был такой обычай.

ХОРОШИХ. Ты обычаем ему не тычь, скажи лучше, что ему делать. *(С насмешкой.)* Ты у нас парень авторитетный, вес имеешь, законы знаешь – вот и давай.

МЕЧЕТКИН *(не замечая насмешки, раздувается).* Гм. Что ж... Могу дать ему добрый совет.

ХОРОШИХ. Ну?

МЕЧЕТКИН. Пусть в суд подает.

ЕРЕМЕЕВ *(испуганно).* Почему в суд?

МЕЧЕТКИН. На дочь свою, на алименты. Разыщут твою дочь, будешь с ней судиться.

ЕРЕМЕЕВ. Зачем суд? Почему дочь? Нет, нет! Не надо!

МЕЧЕТКИН *(всем).* Струсил. Вот друг. *(Еремееву.)* Чего испугался? Судить будут заочно, притом в твою же пользу. И притом...

ЕРЕМЕЕВ *(перебивает).* Нет, нет! Обратно ухожу, в тайгу ухожу.

ХОРОШИХ. Нет, Илья, ты послушай. *(О Мечеткине.)* Дурак дураком, а дело говорит.

МЕЧЕТКИН *(оскорбился).* Анна Васильевна! Вы забываетесь.

ХОРОШИХ *(Еремееву).* Ты пойми, ведь дочь твою найдут.

ЕРЕМЕЕВ *(дрогнул).* Найдут, говоришь?

ХОРОШИХ. В чем и дело. Помогать она тебе должна. А не захочет, ну тогда ее судом заставят.

ЕРЕМЕЕВ *(качает головой).* Нет, нет! В тайгу ухожу.

ДЕРГАЧЕВ. Ну и правильно. Научат они тебя: с собственной дочерью судиться. А ты не слушай. Ты век не судился, и не твое это дело.

*Кашкина появляется на своем балкончике.*

Твое дело свободное. Закон – тайга, прокурор – медведь. Собирайся, брат, до дому.

ЕРЕМЕЕВ *(закивал).* До дому, до дому.

ДЕРГАЧЕВ. И вот, Илья, я с тобой пойду.

*Хороших насторожилась.*

ЕРЕМЕЕВ. Ты пойдешь?

ДЕРГАЧЕВ. А что? Или не возьмешь?

МЕЧЕТКИН *(с осуждением).* Вот друзья, вот, понимаете. *(Поднимается.)*

ДЕРГАЧЕВ *(Еремееву).* Забыл, как вместе промышляли?

ЕРЕМЕЕВ. Давно, однако, было... До войны, однако.

ДЕРГАЧЕВ. А ты не бойся. От тебя я не отстану. Уж как-нибудь. *(Поднимается, уходит в чайную.)*

*Еремеев идет за Дергачевым. Мечеткин, намереваясь пройти через палисадник, подходит к калитке, но в это время его окликает Кашкина.*

КАШКИНА. Иннокентий Степаныч!

МЕЧЕТКИН. А? *(Оборачивается.)*

КАШКИНА. Который час?

МЕЧЕТКИН. Э-э... Двадцать минут девятого.

КАШКИНА. Спасибо. *(Поворачивается, чтобы уйти).*

МЕЧЕТКИН. Зинаида Павловна! Извините, есть один разговор.

КАШКИНА. Да?

МЕЧЕТКИН. Нет, нет! Разговор серьезный, вопрос обоюдоострый. Я должен поговорить с вами как член месткома.

*Дергачев выходит из чайной с ножовкой в руках. Взял брусок, начал пилить.*

КАШКИНА. Так что? Мне к вам спуститься или вы ко мне подниметесь?

МЕЧЕТКИН. Вам – как можно? Я поднимусь. *(Направляется во двор, потом по лестнице наверх.)*

ХОРОШИХ. Ты чего старика дразнишь? Какой ты ходок? Какая такая охота?

ДЕРГАЧЕВ. Дело мое. Тебя не спрашивают.

ХОРОШИХ. С ума сошел? Здесь маешься, а там...

ДЕРГАЧЕВ *(перебивает).* Все лучше, чем здесь. Пойду – и никаких. И давай без шума. Хватит.

*Мечеткин поднялся к Кашкиной, она усадила его на балкончике.*

ХОРОШИХ *(насмешливо).* Станете соболей добывать – припаси уж и на мою долю, не забудь... *(Без насмешки.)* Забудешь?.. А было что дарил.

ДЕРГАЧЕВ. Было, да прошло. *(Уходит в чайную.)*

*Хороших вытирает платком глаза.*

*Из чайной слышен стук – Дергачев работает.*

КАШКИНА *(вся в себе).* Я вас слушаю.

МЕЧЕТКИН. Видите ли, Зинаида Павловна... Вопрос, с одной стороны, узколичный, а с другой стороны, должен вам сказать...

КАШКИНА. О чем это вы? Говорите прямо.

МЕЧЕТКИН. Поймите меня правильно. Лично я против вас и против товарища Шаманова ничего не имею.

КАШКИНА *(рассеянно).* Ага... Понятно... Ну и что?

*Хороших выходит из буфета в чайную.*

МЕЧЕТКИН. Все бы ничего, но сигналы, Зинаида Павловна. Сигналы поступают. Надо же как-то реагировать... *(Хлопнул себя по щеке – убил комара.)* Что будем делать?

КАШКИНА *(себе).* Что делать?.. Что делать?.. *(Мечеткину.)* Вы водку пьете? Давайте выпьем водки.

МЕЧЕТКИН. А?

КАШКИНА. Хотите выпить?

МЕЧЕТКИН. С вами? *(Остолбенел от внезапно открывшейся передним возможности.)* Если вы не шутите...

КАШКИНА. У вас есть деньги?

МЕЧЕТКИН. Е-есть...

КАШКИНА. Так в чем же дело? Жмите вниз, несите бутылку. Потом рассчитаемся... Что такое? Может, вы непьющий?

МЕЧЕТКИН. Н-нет, я употребляю... В отдельных случаях...

КАШКИНА. Тогда чего вы стоите?

*Мечеткин двинулся, но в противоположную от лестницы сторону.*

Вы куда?.. Что это с вами? Вы случайно не алкоголик?

МЕЧЕТКИН. Ни в коем случае.

КАШКИНА. Так что с вами такое?

МЕЧЕТКИН. Ничего, Зинаида Павловна! Побежал за водкой.

КАШКИНА. Подождите... Что-то мне расхотелось пить.

МЕЧЕТКИН *(не сразу, драматическим тоном).* Все ясно. Это был минутный каприз, я так и знал.

КАШКИНА. Что-о?

МЕЧЕТКИН. А может... сбегать все же?

КАШКИНА. Нет, не надо.

МЕЧЕТКИН. Зинаида Павловна! Поймите меня правильно. Я не по легкомыслию, я, Зинаида Павловна, серьезно... Я жениться могу.

КАШКИНА. Что-что-что? *(Машет руками – отгоняет комаров.)*

МЕЧЕТКИН *(упавшим голосом).* Женюсь...

*Кашкина рассмеялась.*

Зинаида Павловна...

*Она смеется.*

Зинаида Павловна... Вы забываетесь...

КАШКИНА *(сквозь смех).* Иннокентий Степаныч, золото... Ну могла ли я надеяться, что кто-нибудь меня сегодня рассмешит?

МЕЧЕТКИН. Вот, значит, как? Значит, вы меня разыграли? Я к вам всей душой, а вы ко мне, извините?

КАШКИНА. Да нет же, просто мы друг друга не поняли... Спасибо вам за ваше предложение, но... Уверяю вас, зря вы так обиделись. Ну подумайте, гожусь я вам в невесты?

МЕЧЕТКИН *(неуверенно).* А что, Зинаида Павловна?

КАШКИНА. Ну что вы? Вы такой принципиальный, такой положительный, а я?.. Вспомните-ка, зачем вы сюда пришли. Вспомнили?.. Скажите, вы были женаты?

МЕЧЕТКИН. Ни разу.

КАШКИНА. А я и замужем побывала. Видите... Нет, Иннокентий Степаныч, увы, я вам не пара. Вам надо искать невесту, достойную вас. Достойную, вы понимаете?.. Что требуется от невесты? Прежде всего невинность. Вы согласны?.. *(Задумчиво.)* Ума не надо. Забота, преданность – все это лишнее. Опыт – ни в коем случае. Главное – невинность... Вам все понятно? Ищите девушку.

МЕЧЕТКИН. Легко сказать, если они все разбежались.

КАШКИНА. Всели?

МЕЧЕТКИН. Поголовно, Зинаида Павловна. Труба у нас с этим вопросом. Прямо катастрофа.

КАШКИНА. Плохо ищете.

МЕЧЕТКИН. Плохо? Да я все места прочесал. Все учреждения. Не в школу же мне идти, сами понимаете... *(Не сразу.)* Кого вы имеете в виду? Даже не знаю.

КАШКИНА. Подумайте...

*Мечеткин думает, потом разводит руками.*

Боже мой, да она тут, под самым вашим носом.

МЕЧЕТКИН *(удивился).* Валентина?

КАШКИНА. Неужели она вам не нравится?

МЕЧЕТКИН *(не сразу).* Но она... ей... Мне, Зинаида Павловна, уже сорок лет.

КАШКИНА. Вот и прекрасно.

МЕЧЕТКИН. Я, извините, лысый. *(Снимает шляпу, показывает лысину.)*

КАШКИНА. Ерунда. Просто у вас открытый лоб. Очень выразительный.

МЕЧЕТКИН. Но она такая э-э... миниатюрная, а я, извините...

КАШКИНА. Что вас смущает? Полнота мужчине не вредит. Она придает ему импозантность.

МЕЧЕТКИН. Как вы сказали?

КАШКИНА. Импозантность. Разве не так?

МЕЧЕТКИН. Слово красивое.

КАШКИНА. Вы себя явно недооцениваете.

МЕЧЕТКИН. Выдумаете...

КАШКИНА *(перебивает).* Я уверена. Вы тут первый жених. Это вам каждый скажет.

МЕЧЕТКИН. А Пашка?

КАШКИНА. Он ей не нравится.

МЕЧЕТКИН. А вам не кажется, что она посматривает на... э-э... на другого?

КАШКИНА. Вам показалось. И нечего рассуждать, надо действовать. Поговорите с ней, пригласите ее погулять, у вас есть лодка, покатайте ее на лодке, побеседуйте с ее отцом, вы местный житель, он человек патриархальный, да мало ли что? За счастье, Иннокентий Степаныч, надо драться. Зубами и ногами. Ясно вам?

МЕЧЕТКИН *(вдохновился).* Я вас понял.

КАШКИНА *(как бы спохватываясь).* Извините, что-то у меня голова разболелась. *(Исчезает в мезонине.)*

МЕЧЕТКИН *(не сразу, но решительно).* Зубами и ногами! *(Спускается по лестнице, появляется внизу. Прошелся несколько раз по веранде, остановился у буфета. Постучал пальцем по витрине.)* Анна Васильевна!

*Появляется Хороших.*

Будьте любезны э-э... порцию котлет.

ХОРОШИХ *(взяла у Мечеткина деньги, выдала ему талон. Громко.)* Валентина!.. Одни котлеты. *(Исчезает.)*

*Мечеткин уселся за столик. Валентина появляется с котлетами.*

МЕЧЕТКИН *(принимает тарелку, отставил ее в сторону).* Валентина... Дело не в котлетах. Дело в том, что мне надо решить с тобой один вопрос... *(Хлопнул себя по шее – убил комара.)* У твоего отца на лодке какой мотор? «Москва»? А у меня, между прочим, «Вихрь». На десять лошадей больше. Но вопрос не в этом... Когда ты заканчиваешь работу?

ВАЛЕНТИНА *(пожала плечами).* Через час примерно. А что?

МЕЧЕТКИН. Ну вот, перенесем этот разговор на после работы.

ВАЛЕНТИНА. Можете сейчас сказать... *(Отгоняет руками комаров.)*

МЕЧЕТКИН. Нет, Валентина. Разговор будет серьезный. Вопрос довольно обоюдоострый. Нет, не сейчас.

ВАЛЕНТИНА *(пожала плечами).* Как хотите... *(Уходит в чайную.)*

МЕЧЕТКИН *(проводил Валентину взглядом, потом).* Зубами и ногами... *(Придвинул к себе тарелку, принялся за еду.)*

*С этого момента медленно, как это бывает в природе, наступает вечер. Освещение таким образом убывает постепенно, незаметно для глаза.*

*Приближающийся треск мотоцикла. Мечеткин поспешно доедает котлету. Мотоцикл замолк, у своих ворот появляется Помигалов.*

*(Приподнимает шляпу, которая во время еды была у него на голове.)* Лесорубам, передовикам производства!

ПОМИГАЛОВ. Добрый вечер.

МЕЧЕТКИН *(поспешно спускается с крыльца и помогает Помигалову вкатить во двор мотоцикл.)* Отличная машина. Но я, между прочим, нацелился на «Запорожца». *(Закрывает ворота.)* Федор Игнатьевич, как у вас со временем?.. Видите ли, есть один разговор.

ПОМИГАЛОВ. Разговор?.. Что ж, выкладывай.

МЕЧЕТКИН. Разговор серьезный, вопрос обоюдоострый...

*Оба исчезают во дворе. Валентина появляется, прибирает на столе.*

*Появляется Пашка. Сейчас он с ружьем за плечами. Одет он в робу защитного цвета, обут в резиновые сапоги. На поясе ремень, на котором болтаются два рябчика. Негромко насвистывая, он поднимается на веранду.*

ПАШКА *(подходит к Валентине, демонстрирует рябчиков).* Трофеи... Мало их стало... Возьми, если хочешь.

ВАЛЕНТИНА. Не надо. *(Убила комара на своей руке.)*

ПАШКА. Поговорим, Валя.

*Небольшая пауза.*

Когда я отсюда уезжал, ты вот *(показывает)* была. Совсем пацанка, я и не смотрел на тебя... Да и смотреть не на что было... За шесть лет, Валя, я кое-что повидал. И геологию тебе, и службу, и стройки разные, и городской жизни попробовал...

ВАЛЕНТИНА. Не много ли?

ПАШКА. Я, Валя, везде нужен. Не об этом речь... Вот, говорят, в гостях хорошо, а дома лучше. Может, правда? Может, хватит мне шататься? Здесь дом, хозяйство, леспромхоз – работы навалом. Шофера здесь, говорят, неплохо заколачивают... Может, закрыть гастроли и приземлиться на лоне родной природы? Может, так, Валя?.. *(Ждет, потом.)* Че молчишь? Совета у тебя спрашиваю.

ВАЛЕНТИНА. Твое дело. Что я тебе посоветую?

ПАШКА *(глухо).* Следователя ждешь?

*Валентина качает головой: нет, никого я не жду.*

Врешь.

*Валентина пытается уйти.*

*(Не пускает ее.)* О чем с ним говорила? Утром.

*Валентина молчит.*

Я все знаю.

ВАЛЕНТИНА. Ты что, подслушивал?

ПАШКА. Зачем? У меня нет такой удачи – подслушивать... У нас с ним разговор был. *(Помолчав.)* Он сказал, что ты будешь его ждать. Здесь. В десять часов... Нет, что ли? Че так смотришь?.. Брось, Валя, не прикидывайся. Он сказал, что вы с ним давно встречаетесь.

ВАЛЕНТИНА. Не ври, Павел.

ПАШКА. Я вру?

ВАЛЕНТИНА. А то нет. Ты меня выпытываешь. Не мог он так сказать.

ПАШКА. Сказал.

*Валентина качает головой.*

Давно встречаемся. Так и сказал.

ВАЛЕНТИНА *(качает головой, потом как бы про себя).* Разве что снова пошутил.

ПАШКА. Разговор был серьезный.

ВАЛЕНТИНА. Ты его не знаешь. Шутит он или серьезно – сразу у него не поймешь... Ну зачем ему выдумывать, чего не было?

ПАШКА. Не было?

ВАЛЕНТИНА *(с сожалением).* Да, не было.

ПАШКА. Точно не было?

ВАЛЕНТИНА *(запальчиво).* Было, не было – тебе-то что? Было бы, если бы он захотел! Так и знай.

*Небольшая пауза. Кашкина появляется и спускается вниз. В руке у нее хозяйственная сумка.*

ПАШКА. Не хочу знать, Валя. Ничего не хочу знать. *(Глухо.)* В Потеряихе сегодня танцы...

ВАЛЕНТИНА. Нет...

ПАШКА. На руках тебя понесу. До самой Потеряихи.

ВАЛЕНТИНА. Нет. *(Мягче.)* Я не пойду... Не могу я с тобой пойти, пойми.

ПАШКА *(качает головой).* Я тупой, Валя, я не пойму.

КАШКИНА *(поднимается на веранду).* Добрый вечер. *(Пашке о рябчиках.)* Ах, какая роскошь! Молодцом, молодцом. Поздравляю... Это куропатки?

ПАШКА. Рябчики.

КАШКИНА. Рябчики? Ах, какая роскошь! И они что, прямо в лесу... летают?

ПАШКА. Эти свое уже отлетали.

КАШКИНА. Ужасно... У-у, какие брови! Вы посмотрите, какие красные,

ПАШКА. Самец.

КАШКИНА. А ведь я никогда не ела рябчиков.

ПАШКА *(протягивает ей рябчиков).* Ну вот попробуйте.

КАШКИНА. Ну что вы, я не для того сказала.

ПАШКА. Берите, берите.

КАШКИНА. Нет, нет. Вас ждут с добычей...

ПАШКА *(перебивает).* Держите, нас много, нам все равно не хватит, а одной вам в самый раз.

КАШКИНА. Нет, нет. *(Со значением.)* Я ужинаю не одна, у меня будет гость, так что...

ПАШКА. Берите, вам говорят. На двоих, по штуке на каждого – тоже ничего. *(Сует Кашкиной рябчиков.)*

*Во время разговора Валентина стоит перед палисадником, глядя прямо перед собой.*

КАШКИНА *(принимает рябчиков).* Спасибо. Но я за них заплачу. *(Роется в сумочке.)*

ПАШКА. Это вы бросьте. Или так берите, или...

КАШКИНА. Ну спасибо... А ведь я шла за этими дрянными котлетами. *(С восторгом.)* Ах, какой у меня сегодня будет ужин! Настоящий сюрприз. Мужчины любят рябчиков, не правда ли?

ПАШКА. А как же. Особенно если... *(Жестом обозначает выпивку.)*

КАШКИНА. Да! Сегодня это просто необходимо. Валентина, что там у вас есть, какое вино?

*Валентина не отвечает.*

По-моему, вермут. *(Поморщилась.)* Нет! Не годится. Иду в магазин. *(Спускается с крыльца, подходит к калитке палисадника.)*

ВАЛЕНТИНА. Обойдите кругом.

*Кашкина останавливается и подчеркнуто вопросительно смотрит на Валентину.*

Обойдите, пожалуйста, кругом.

КАШКИНА. Ах да! Извини, все время забываю... Пожалуйста. *(Обходит палисадник.)* Это мне ничего не стоит. *(Исчезает.)*

ПАШКА *(подходит к Валентине).* Валя...

*Валентина поворачивается и быстро уходит в чайную. Пашка, чуть помедлив, спускается с крыльца и уходит. На этот раз – минуя палисадник. Со двора выходят Мечеткин и Помигалов с канистрой в руке,*

МЕЧЕТКИН. Значит, если я вас правильно понял, вопрос упирается в личную инициативу.

ПОМИГАЛОВ. Назови, как хочешь, а тут не я главный. Сам знаешь, как нынче водится.

МЕЧЕТКИН. Ясно, Федор Игнатьевич. Если вы не возражаете, первую встречу я назначил сегодня.

ПОМИГАЛОВ. Уже назначил? Гляди, какой шустрый.

МЕЧЕТКИН. Оперативность, Федор Игнатьевич... Если вы не возражаете.

ПОМИГАЛОВ *(усмехнулся).* Возражать не имею права. *(Насмешливо.)* Но смотри у меня.

МЕЧЕТКИН. Что вы, Федор Игнатьевич!

ПОМИГАЛОВ. А то ведь у меня дробовик близко. В сенях висит. А меня ты знаешь.

МЕЧЕТКИН. Что вы! Кто ж вас не знает? Да я разве позволю? Нахальство, Федор Игнатьевич, совсем не в моих интересах.

ПОМИГАЛОВ. Ну-ну. Действуй. Вдруг да – мало ли что. А пока топай.

МЕЧЕТКИН. До свиданья, Федор Игнатьевич. *(Приподнял шляпу.)* До свиданьица. *(Уходит.)*

ПОМИГАЛОВ *(громко).* Валентина!

*Валентина выходит из чайной, спускается с веранды, подходит к отцу.*

ВАЛЕНТИНА. Ты куда собрался?

ПОМИГАЛОВ *(кивая в сторону, куда ушел Мечеткин).* Видала?.. Говорит, свидание тебе назначил.

ВАЛЕНТИНА. Глупости, папа. Он просто хотел о чем-то поговорить.

ПОМИГАЛОВ *(усаживается на скамейку).* Он свататься приходил.

ВАЛЕНТИНА *(улыбнулась).* Свататься?.. *(Усаживается рядом с отцом.)*

ПОМИГАЛОВ. А ты думала?

ВАЛЕНТИНА. Не смеши, отец.

ПОМИГАЛОВ *(не сразу).* А я тебя не смешу. Я серьезно говорю... Скажи-ка мне, тебе сколько лет?

ВАЛЕНТИНА. А ты не знаешь?

ПОМИГАЛОВ. Ты не знаешь. Все еще детством занимаешься. А ведь тебе уже немало. Тебе, Валентина Федоровна, замуж пора.

ВАЛЕНТИНА *(легко).* Правда?

ПОМИГАЛОВ. А ты как думала? Самое время. А где твои женихи?.. Ну где? Эти, что тут крутятся, это не женихи, я тебя в сотый раз предупреждаю. Не дай бог с которым увижу – из этих.

ВАЛЕНТИНА *(прижалась к отцу).* Постой, папа! Что-то не то ты говоришь. То за порог не выпускаешь, а то сразу – замуж.

ПОМИГАЛОВ *(строго).* А ты слушай. Пришло время, и говорю. Женихов не вижу. Это – первый. Один. И свататься пришел. Сам пришел, по чести, по-хорошему. И что? А я уважаю.

ВАЛЕНТИНА *(чуть от него отодвинулась).* Папа... Ты взаправду, что ли?

ПОМИГАЛОВ. А что?.. Старый, скажешь? А я тебе скажу – как смотреть. Мать твоя, покойница, меня на пятнадцать лет была моложе. И что?.. А на сестер оглянись. Ну пошли они за молодых, и что вышло? Одна теперь без мужа мается, другая – неизвестно как. Отца родного позабыла. А нам наука. Кеха, может, и не первого разбору жених, зато...

ВАЛЕНТИНА. Папа! Ну что ты говоришь? Ведь он смешной. Да и вообще! Я и слушать-то тебя не хочу.

ПОМИГАЛОВ. Нет, ты послушай. Человек сватается, значит, он требует к себе отношения. Просмеять его недолго, а я считаю, не смеяться надо, а задуматься. Не такой он и смешной. Трудится честно, не пьет, не дерется, и дом у него, и скарб, и деньги есть. *(Как бы предупреждая возражение.)* Да, Валентина Федоровна, и деньги! Потому, если у человека есть деньги, значит, он уже не смешной. Значит, серьезный. Нищие нынче из моды вышли. Даже по городам пошло: и свадьбу надо, и кольцо, и сберкнижку. И что? А я приветствую.

ВАЛЕНТИНА *(поднимается).* Папа... ты... Ты куда-то собирался... Иди куда собирался.

ПОМИГАЛОВ *(поднимается, внушительно).* Неволить не могу. А подумать – подумай... Об городе не мечтай. Помни: пока я жив, твой дом здесь. Вот он стоит. *(Показал.)* Советская, тридцать четыре. Отсюда и располагай. *(Пошел, остановился.)* Загони кур, телка накорми. И чтоб к одиннадцати дома была.

*После его ухода Валентина снова опускается на скамейку. Солнце уже скрылось, и с этого момента на дворе начинает заметно темнеть.*

*В буфете появляется Хороших, а с улицы Пашка – одновременно. Пашка одет так, как он был одет утром. Он направился было к Валентине, но Хороших его окликнула.*

ХОРОШИХ. Павел!.. Пойди сюда.

ПАШКА *(подходит, не сразу).* Ну, мать, че скажешь?

ХОРОШИХ *(не сразу, мягко).* Собирайся, Павел. Надо тебе ехать... Уезжай.

ПАВЕЛ *(не сразу).* Все?

*Валентина поднимается и входит во двор.*

ХОРОШИХ. Не гоню я тебя. Прошу... Сделай, Павел, для матери... Пожалей меня.

ПАШКА. Так... *(Грубо.)* А меня кто пожалеет?

*Из чайной выходит Дергачев, в руке у него ящик с инструментами.*

ДЕРГАЧЕВ *(на пороге).* Живей, Илья, живей. Приберут, не наше это дело.

*Еремеев появляется и идет следом за Дергачевым.*

ХОРОШИХ *(с наигранной бодростью).* Эй, работники! Куда вы? Дело сделано – садитесь, так уж и быть.

ДЕРГАЧЕВ *(на ходу).* Благодарим. Мы по воздуху погуляем. *(Еремееву.)* Живей, Илья.

*Оба проходят через палисадник, исчезают.*

ПАШКА. До магазина подались. *(Не сразу.)* Опять ты перед ним стелешься?

ХОРОШИХ *(не сразу).* Я перед ним всю жизнь стелюсь. Понятно тебе?

ПАШКА. Брось. Сколь вас вижу, вечно вы как собаки лаетесь.

ХОРОШИХ. Верно. Как собаки. При тебе. А без тебя – это ты врешь.

ПАШКА *(не сразу).* Вон, значит, как. При мне, значит...

ХОРОШИХ *(резко).* Завтра же уезжай.

*Небольшая пауза. Хороших быстро прибирается, запирает кассу, – словом, собирается уходить.*

ПАШКА. Спасибо, мать... Приласкала ты меня, приголубила...

*Хороших выходит из буфета, появляется на веранде, закрывает буфет снаружи, потом – двери в чайную.*

Мать, а кто виноват?..

*Валентина появляется и останавливается у скамейки.*

Кто виноват, мать?.. Говори... Откуда я взялся? Ты меня родила или не ты?

ХОРОШИХ. Замолчи!

ПАШКА. Кто ждал твоего Афанасия?

ХОРОШИХ *(кричит).* Замолчи!

ПАШКА. Кто его не дождался?

ХОРОШИХ. Замолчи!

ПАШКА. Ты или я?

ХОРОШИХ. Замолчи! Будь ты проклят... *(Ищет оскорбления, потом.)* Крапивник!

*Молчание.*

*(Приходит в ужас от того, что она только что произнесла.)* Паша... сынок... *(Плачет.)* Прости меня... *(Идет к Пашке, но он ее останавливает.)*

ПАШКА *(глухо).* Ладно, мать... Иди...

*Хороших плачет.*

Иди, мать.

ХОРОШИХ. Прости, сынок, и... *(Сквозь слезы.)* Уезжай, сынок... Уезжай от греха подальше... *(Уходит через палисадник, утирая глаза платком.)*

*Пашка медленно прошел до крыльца, уселся на ступеньку. Небольшая пауза. Валентина подходит к Пашке.*

ПАШКА *(с горечью).* А говорят, дома лучше. Не соответствует... *(Вдруг хватил кулаком о перила.)*

*Пауза. Пашка сидит, понурив голову.*

ВАЛЕНТИНА *(подходит к нему поближе и осторожно касается его плеча).* Павел... Павел... Я пойду... На танцы.

ПАШКА *(поднял голову).* Пожалела?.. Не надо.

*Появляется Кашкина.*

ВАЛЕНТИНА. Я переоденусь, и мы пойдем... Сейчас. *(Быстро уходит домой.)*

КАШКИНА *(растерянно).* Уже закрыли?.. Вот несчастье. Вспомнила, что у меня нет лука. Скажите, можно их приготовить с чесноком? Без лука?

ПАШКА. Все равно.

КАШКИНА. Спасибо... *(Заходит во двор, появляется наверху на лестнице, но, пройдя ее наполовину, останавливается и садится на ступеньки, поставив рядом свою сумку. Небольшая пауза. Поднимается и решительно спускается вниз. Ее сумка остается на ступеньках лестницы.)*

ГОЛОС КАШКИНОЙ *(во дворе).* Подожди, Валя!.. Постой!.. Послушай меня. Не ходи. Не делай этого... Подожди, выслушай меня.

ГОЛОС ВАЛЕНТИНЫ. Я вам, кажется, не мешаю. Что вам от меня надо?

*Валентина появилась и резко захлопнула за собой калитку. Она в сиреневом платье, в руке у нее синяя кофта.*

ВАЛЕНТИНА *(подходит к Пашке, останавливается перед ним; улыбается).* Ну вот. Я собралась.

*Пашка поднялся, некоторое время смотрит на нее, потом вдруг подхватывает ее на руки.*

Нет! Нет!.. *(Мягче.)* Я сама пойду.

*Пашка ее отпускает.*

*(У палисадника. Медленно, в задумчивости дотрагивается рукой до калитки.)* Ну вот... Снова все поломали...

ПАШКА. Че? Снова за ремонт? *(Смеется.)* Ну, Валюша, подписалась ты с этим палисадником!.. Ладно. Дай я его налажу. *(Направляется к калитке, но Валентина жестом его останавливает.)*

ВАЛЕНТИНА. Не надо.

ПАШКА. Да я его мигом.

ВАЛЕНТИНА. Нет. Это напрасный труд. Надоело... Идем. *(Проходит напрямик, через палисадник. Пашка – за ней.)*

ПАШКА *(на ходу).* В Потеряиху?.. Или в Ключи?

ВАЛЕНТИНА. Все равно.

*Оба исчезают. Кашкина выходит со двора, делает несколько нерешительных шагов вслед за ними, останавливается. К этому времени уже наступили сумерки. Небо еще синее, но на земле исчезли тени и стелется мрак. Еще хорошо различаются фигуры, но лица можно уже не узнать. Кашкина поднимается на веранду и тихо садится в углу за столик. Пройдет четверть минуты, прежде чем появится Мечеткин.*

*Мечеткин, минуя палисадник, подходит к крыльцу. Можно заметить, что он прифрантился: сорочка белеет под темным пиджаком. Воображая из себя незаурядного кавалера, присажывается на перила, достает белый платок, сначала эффектно им обмахивается, затем громогласно в него сморкается.*

МЕЧЕТКИН *(задушевным голосом).* Замечательная погода. В начале августа, между прочим, обычное явление... Листал я сегодня одну книженцию. Так, вместо отдыха. И вот попалось мне там одно стихотворение. Лирическое, между прочим... Такое... *(Мнется, напрягает память.)* Одну минуту...

КАШКИНА *(безразлично).* Не трудитесь вспоминать.

МЕЧЕТКИН. Простите... *(Поднимается на веранду.)* Это вы?.. Извините, но здесь должна быть...

КАШКИНА. Ее здесь нет.

МЕЧЕТКИН. Нет?

КАШКИНА. И не будет.

МЕЧЕТКИН. Как же? Она должна быть...

КАШКИНА. Не будет... Можете ее не ждать.

МЕЧЕТКИН. Почему же? У меня назначено. Я подожду. *(Усаживается на перила.)* Надеюсь, я вам не помешаю. *(Обмахивается платком.)*

КАШКИНА. Зря ждете. Идите лучше домой.

МЕЧЕТКИН. То есть?.. Что вы этим хотите сказать?

КАШКИНА *(с раздражением).* Я говорю, отдыхайте. Идите домой.

МЕЧЕТКИН *(задет ее тоном).* Между прочим, Зинаида Павловна, вы этого не решаете: сидеть мне или идти домой. Это вопрос узколичный.

КАШКИНА. Ну и болван же вы, Мечеткин.

МЕЧЕТКИН *(поднимается).* Болван?.. Зинаида Павловна, вы забываетесь.

*Появляется Шаманов. Он идет быстро, почти стремительно. Взбегает на веранду.*

ШАМАНОВ *(Кашкиной).* Зина?.. *(Прошелся по веранде, смотрит по сторонам, вернулся к Кашкиной.)* Мне надо с тобой поговорить.

МЕЧЕТКИН. Не буду мешать. Но учтите, Зинаида Павловна, я вашу аллегорию понял. *(Уходит.)*

ШАМАНОВ. Зина... Я должен перед тобой извиниться. За утрешнее. Я был к тебе несправедлив. Прости, ты оказалась права. Ты знаешь меня лучше, чем я сам. Ты самая умная женщина на свете.

КАШКИНА *(с горькой усмешкой).* Вот как?

ШАМАНОВ *(подсаживается к Кашкиной, берет ее за руку).* С первого дня, сколько мы друг друга знаем, ты понимала меня с полуслова. *(Смеется.)* Да! Ведь утром я говорил тебе совсем не то!.. Ты удивляешься?.. Зина!.. Я сам удивляюсь. Но такой уж сегодня день – утром одно, а вечером совсем другое. Странный день. Но, честное слово, он стоит всех моих дней в Чулимске. Ты тыщу раз права: разве я жил здесь, разве можно назвать это жизнью? Я спал, спал на ходу, я дрыхнул. Бессовестно, беспросветно дрыхнул все эти четыре месяца... Слушай! Это было недавно. Утром я проснулся и увидел свои руки. Они лежали у меня на груди – мои собственные руки, – и вдруг – ты слышишь? – они показались мне чужими. Представь себе это! Сначала руки, а потом весь я: все тело и даже мысли показались мне не моими. Все будто бы принадлежало другому человеку! Сейчас я думаю об этом с ужасом, а тогда – и вот в чем главный-то ужас! – тогда мне было все равно. Так все равно, что я даже не почувствовал, что я дошел до ручки. Понимаешь ты меня, Зина? Как я жил, дальше так жить было нельзя. И вот сегодня... *(Поднялся.)* Удивительный сегодня день! Ты можешь смеяться, но мне кажется, что я и в самом деле начинаю новую жизнь. Честное слово! Этот мир я обретаю заново, как пьяница, который выходит из запоя. Все ко мне возвращается: вечер, улица, лес, – я сейчас ехал через лес, – трава, деревья, запахи – мне кажется, я не слышал их с самого детства... *(Сел, снова взял ее за руки.)* Пойми меня. Ведь только сейчас я вижу тебя по-настоящему... Ты самая добрая, самая умная, самая красивая женщина на свете. Ты прекрасная женщина. Я хочу, чтобы ты меня поняла. Я хочу, чтобы ты меня простила. Я хочу... Я хочу тебя спросить... Где! Валентина?

КАШКИНА *(не сразу).* Она... Они ушли на танцы.

ШАМАНОВ. С кем?

КАШКИНА. С Пашкой.

ШАМАНОВ. Не может быть...

КАШКИНА. Твоя записка... Она попала ко мне... Валентина ее не видела...

ШАМАНОВ. Что?.. И ты могла...

КАШКИНА. Я хотела ей сказать...

ШАМАНОВ. Ну?

КАШКИНА *(безнадежно).* Что ты назначил ей свидание, она этого не знает.

ШАМАНОВ. Когда она ушла?

КАШКИНА. Полчаса... Минут двадцать назад.

ШАМАНОВ. Куда? В Ключи?.. В Потеряиху?

КАШКИНА. В Потеряиху.

ШАМАНОВ. Врешь.

*Кашкина не отвечает. Шаманов молча смотрит ей в глаза, потом сбегает с крыльца и быстро уходит налево, в сторону, противоположную той, куда ушли Валентина и Пашка.*

КАШКИНА *(поднимается, быстро идет к крыльцу, останавливается, кричит).* Они пошли в Потеряиху!.. Володя!

*Пауза. Потом Кашкина заходит во двор, медленно поднимается к себе в мезонин.*

*Затемнение. Пауза. Потом – не менее полминуты – нарастающий треск дизеля, дающего Чулимску освещение. Далее – треск дизеля становится ровным, приглушенным. Им сопровождается вся последующая картина.*

*Ночь.*

*Электрическая лампочка, приделанная под карнизом веранды, освещает палисадник, часть веранды, крыльцо и площадку перед крыльцом. Вверху, плотно занавешенное, тускло светится окно мезонина. Тень мелькнула в окне мезонина.*

*Со двора выходит Помигалов, садится на скамейку, которая находится в полутьме. Долго ничего не происходит и ничего не слышно, кроме далекого ровного рокота дизеля. Потом с той стороны, где находится дом Хороших, раздается голос Дергачева.*

ГОЛОС ДЕРГАЧЕВА *(он напевает).* Это было давно,

Лет пятнадцать назад,

Вез я девушку тройкой почтовой...

*Помигалов поднимается и уходит во двор.*

Это было давно,

Лет пятнадцать назад,

*Наверху в окне снова мелькнула тень.*

Вез я девушку тройкой почтовой...

*Кашель Еремеева. Кашкина выходит на балкон. Потом появляется Хороших.*

КАШКИНА. Анна Васильевна?.. Это вы?..

*Хороших останавливается.*

Не спите?

ГОЛОС ДЕРГАЧЕВА. Это было давно,

Лет пятнадцать назад,

ХОРОШИХ. Уснешь тут, как же... Голова кругом. Кассу закрыла или так оставила – не помню. *(Не сразу.)* А ты чего не спишь?

КАШКИНА *(не сразу).* Бессонница... Который час?

ХОРОШИХ. Второй. Четверть второго.

*Обе молчат. Кашкина уходит к себе.*

ГОЛОС ДЕРГАЧЕВА. Это было давно...

*Хороших поднимается на веранду, появляется Помигалов.*

ПОМИГАЛОВ *(приближаясь к веранде).* Анна, ты, что ли?

ХОРОШИХ *(испуганно).* Я!.. Я, Федор Игнатьич... *(Как бы оправдываясь.)* Кассу, кажись, не закрыла, пришла проверить... А ты чего?

ПОМИГАЛОВ. Парень твой дома или нет?

ХОРОШИХ. Кто? Пашка-то?.. А я и не знаю... Он на сеновале ночует.

ПОМИГАЛОВ. Где Валентина?

ХОРОШИХ. Не знаю, Федор. Почему же мне знать?.. Может, на танцах? Наши, чулимские, в Ключи ушли. Еще не возвращались.

ПОМИГАЛОВ. По танцам она не ходит, тебе известно.

ХОРОШИХ. Где она – не знаю...

*Пауза.*

ПОМИГАЛОВ. А то смотрите... *(Заходит во двор, тут же распахивает ворота, выкатывает мотоцикл на улицу, влево.)*

*Через мгновение треск мотоцикла раздается и удаляется. Почти в это же время с противоположной стороны улицы раздаются голоса Пашки и Валентины. Хороших открывает чайную и входит туда, но не закрывая за собой дверь и не зажигая света.*

ГОЛОС ВАЛЕНТИНЫ. Уйди.

ГОЛОС ПАШКИ. Стой... Ну постой же! Ну послушай, че скажу...

ГОЛОС ВАЛЕНТИНЫ. Уйди.

ГОЛОС ПАШКИ. Не будь дурой, Валя... Ну до этого – ну ладно, ну а теперь-то чего?

*Появляются: Пашка пятится перед Валентиной. Валентина идет прямая, глядя мимо Пашки.*

Кофту возьми. *(Сует ей кофту, она ее не берет.)*

*Кофта падает ей под ноги. Валентина на нее наступила. Пашка поднял кофту, накинул ее Валентине на плечи.*

ВАЛЕНТИНА *(сорвала с себя кофту, остановилась; с презрением, не оборачиваясь).* Ко мне больше не подходи... Уезжай отсюда... *(С угрозой.)* Не уедешь – отцу расскажу. *(Идет к своему двору.)*

*Пашка устремляется за нею, но появляется Хороших и окликает Пашку.*

ХОРОШИХ. Павел!

*Пашка останавливается и поворачивается к Хороших. Валентина у ворот своего дома в полутьме останавливается в нерешительности, а через мгновение безвольно опускается на скамейку. В продолжение последующего разговора Пашка и Хороших не замечают присутствия Валентины.*

Ты че наделал?

ПАШКА *(бодро).* Все, мать. Завилась веревочка... Она моя.

ХОРОШИХ *(угрюмо).* Нет, Павел...

ПАШКА. Брось, мать. Это пустяки, это по-первости.

*Небольшая пауза.*

ХОРОШИХ. Дурак... Она тебя возненавидела...

ПАШКА. Молчи, мать. Все будет в норме.

ХОРОШИХ. И я бы тебя возненавидела... Я бы тебя... *(Подступает к Пашке.)*

*Наверху появляется Кашкина и, прислушавшись, спускается вниз.*

ПАШКА *(пятится).* Спокойно, мать...

ХОРОШИХ *(наступает).* Я бы тебе...

ПАШКА *(пятится).* Мать, мать...

ХОРОШИХ. Слышал, че она тебе сказала?.. Завтра чтоб духу твоего здесь не было. Федор, он шутить с тобой не будет.

ПАШКА. Не боюсь я его... Делайте че хотите! Никого не боюсь!

ХОРОШИХ *(толкает его).* Уходи, Павел!

*Оба исчезают. Кашкина появляется со двора.*

КАШКИНА. Валя...

ВАЛЕНТИНА *(не сразу).* Чего вам?

КАШКИНА. Суди как хочешь... Вот записка. *(Подает Валентине записку, та ее не принимает.)* Тебе... От Владимира... Он написал ее утром. Я ее перехватила.

ВАЛЕНТИНА *(не сразу).* Что там написано?

КАШКИНА. Он ждал тебя здесь. В десять вечера... Он любит тебя...

*Пауза. Валентина сидит неподвижно, глядя прямо перед собой.*

*Появляется Шаманов, подходит к скамейке. Небольшая пауза.*

*Кашкина, как стояла, не поворачиваясь, пошла по улице и исчезла в темноте.*

ШАМАНОВ *(мягко).* А бог все-таки существует... Слышишь, Валентина? Когда я сюда подходил, я подумал: если бог есть, то сейчас я тебя встречу... Кто докажет мне теперь, что бога нет? *(Сел рядом с ней, с чувством.)* Я искал тебя... Ты слышишь?.. С десяти часов где я только не побывал... И чего я только не передумал... Валентина... Ведь утром я сказал тебе совсем не то...

*Валентина, закрыв лицо руками, внезапно разражается рыданиями.*

*(Поднимается со скамейки.)* Валентина... Что с тобой?

*Она рыдает.*

Что случилось?.. Что случилось?..

*Рыдания.*

Успокойся... Успокойся... *(Дотронулся рукой до ее плеча.)* Что бы ни случилось – успокойся...

*Из темноты появляется Пашка и неслышно приближается к скамейке.*

Послушай меня... Что бы ни случилось – скажи слово, и я увезу тебя отсюда... *(Взял ее за плечи.)* Хочешь я тебя увезу?

*Она прервала рыдания и впервые посмотрела ему в лицо.*

Да, Валентина. Ты не знаешь, чем ты стала для меня за эти несколько часов... Понимаю, ты можешь мне не поверить... Но ты не знаешь, что со мной произошло. Я объясню тебе. Если можно объяснить чудо, то я попробую...

ПАШКА. Зря стараешься.

*Шаманов оборачивается.*

Все, следователь. Твое дело – сторона... Ты опоздал.

*Небольшая пауза. В это время раздается нарастающий треск мотоцикла. Пашка и Шаманов стоят, готовые броситься друг на друга. Треск мотоцикла приближается.*

ВАЛЕНТИНА *(вдруг поднимается, кофтой вытирает слезы).* Едет отец. Уходите.

*Небольшая пауза.*

ПАШКА. Уходи, следователь... Не мешайся не в свое дело.

ВАЛЕНТИНА. Уходите оба.

*Треск мотоцикла рядом, луч фары выхватывает всех троих из полутьмы. Затем мотоцикл глохнет, и к скамейке быстро подходит Помигалов,*

ПОМИГАЛОВ *(всем, грозно).* Ну? Все молчат. *(Валентине.)* Где ты была?.. С кем?

ШАМАНОВ. Со мной. Она была со мной... Мы были в Потеряихе.

ПАШКА. Врешь! *(Помигалову.)* Я с ней был! Я!.. Он врет.

ШАМАНОВ. Она была со мной.

*Пашка бросается на Шаманова, но Помигалов его осаживает.*

ПОМИГАЛОВ. Стой!.. *(Валентине.)* Кто с тобой был?

ПАШКА *(Валентине).* Скажи!

ПОМИГАЛОВ. Говори! *(Указывает на Пашку.)* Этот?

ВАЛЕНТИНА. Нет.

ПОМИГАЛОВ *(указывая на Шаманова).* Он?

ВАЛЕНТИНА. Нет.

*Небольшая пауза.*

Не верь им, отец. Они ждали меня здесь. Я была с Мечеткиным... Успокойся...

*Молчание.*

Они здесь не при чем, пусть они не врут... И пусть... пусть они больше ко мне не вяжутся.

*Молчание.*

Идем, отец... Идем домой...

*Отдаленный стук дизеля прерывается и медленно умолкает. Лампочка под карнизом тускнеет и гаснет. Все погружается в полную темноту.*

*Утро следующего дня*

*Половина девятого утра. На веранде все, кроме Валентины и ее отца.*

*Хороших в буфете. За ближним к буфету столиком сидит Пашка. У его ног стоит большой чемодан. Шаманов и Кашкина сидят за средним столиком, заканчивают завтрак.*

*За соседним столиком Мечеткин обставлен едой со всех сторон.*

*На ступеньках крыльца рядом сидят Дергачев и Еремеев. Еремеев укладывает свой мешок. Дергачев ему помогает. Некоторое время все молчат.*

МЕЧЕТКИН *(обращаясь не то к Шаманову, не то к Кашкиной).* Этот самый дом *(стучит пальцем по столу)* строил купец Черных. И, между прочим, этому купцу наворожили *(жует),* наворожили, что он будет жить до тех пор, пока не достроит этот самый дом. *(Пауза. Ест.)* Вот, понимаете, до чего суеверие доходило. Когда он достроил дом, он начал его перестраивать. *(Жует.)* И всю жизнь перестраивал...

*Молчание.*

ДЕРГАЧЕВ. Зря ты, Илья. Остаться тебе надо.

ЕРЕМЕЕВ *(качает головой).* Тайга меня ждет. Ягода ждет, шишка ждет. Белка – тоже ждет... Зимой, однако, приду.

ДЕРГАЧЕВ. Смотри, Илья... Места для тебя всегда хватит.

ШАМАНОВ *(поднимается, подходит к буфету. Взял телефон, снял трубку).* Дайте милицию... Начальника... Добрый день. Шаманов... Скажите, есть у нас сейчас машина?.. Нельзя ли подбросить меня к самолету?.. В город. Да, хочу выступить на суде... Да, завтра... Нет, я решил ехать... Нет, я поеду... Мне это надо. И не мне одному... Да... Спасибо...

*Со двора выходит Валентина.*

Хорошо... Спасибо... До свиданья. *(Положил трубку.)*

*Все повернулись к Валентине. Тишина. Строгая, спокойная, она поднимается на веранду. Вдруг остановилась, повернула голову к палисаднику. Не торопясь, но решительно спускается в палисадник. Подходит к ограде, укрепляет доски.*

*Ворота распахиваются, появляется Помигалов с мотоциклом. Он останавливается и, как и все, молча наблюдает за Валентиной.*

*Валентина перешла к калитке палисадника. Налаживает калитку и, когда, как это случается часто, в работе ее происходит заминка, сидящий ближе всех к калитке Еремеев поднимается и помогает Валентине.*

*Тишина. Валентина и Еремеев восстанавливают палисадник.*

*ЗАНАВЕС*

Для самостоятельной работы

Существует вариант финала пьесы, оканчивающийся самоубийством Валентины:

*Появляются: Пашка перед Валентиной пятится, Валентина идет прямая, глядя мимо Пашки.*

ПАШКА. Кофту возьми.

*Он сует ей кофту, она ее не берет. Кофта падает ей под ноги. Валентина на нее наступила. Пашка посторонился, Валентина вошла во двор.*

До завтра, Валя...

*Пашка поднимает с земли кофту, замечает Хороших. Небольшая пауза.*

ХОРОШИХ *(негромко).* Ты че наделал?

ПАШКА *(бодро).* Все, мать. Завилась веревочка... Она моя.

*Небольшая пауза. Хороших угрюмо качнула головой: врешь, не твоя.*

ПАШКА. Брось, мать. Это пустяки, это по первости.

ХОРОШИХ. Она тебя возненавидела...

ПАШКА. Молчи, мать. Все будет в норме.

ХОРОШИХ. И я бы тебя возненавидела... Я бы тебя... *(Подступает к Пашке.)*

ПАШКА *(пятится).* Спокойно, мать.

ХОРОШИХ *(наступает).* Я бы тебе...

ПАШКА *(пятится).* Мать, мать.

*Хороших остановилась, прислонилась к палисаднику. Небольшая пауза.*

ХОРОШИХ. Уходи, Павел.

*Шаманов появляется со стороны, противоположной той, откуда появились Пашка и Валентина.*

ШАМАНОВ *(подходит).* Где Валентина?

ХОРОШИХ. Павел, уходи.

ШАМАНОВ. Что случилось? *(Подступает к Пашке.)* Где Валентина?

*Берет Пашку за грудки.*

ХОРОШИХ *(Шаманову).* Отпустите его... Пусть он уходит.

ПАШКА *(Шаманову).* А ну, отцепись.

ШАМАНОВ. Где она?.. Что с ней?..

*Снова голоса с улицы.*

ГОЛОС ЕРЕМЕЕВА. Не нальет.

ГОЛОС ДЕРГАЧЕВА. Посошок нальет.

ГОЛОС ЕРЕМЕЕВА. Не нальет.

ГОЛОС ДЕРГАЧЕВА. Нальет, никуда не денется.

*Оба появляются.*

ШАМАНОВ. Где она?

ПАШКА. Отцепись.

ШАМАНОВ. Говори или...

*Со двора выбегает Помигалов с ружьем в руках. За ним, вцепившись в него, – Валентина.*

*Все поворачиваются к ним. Шаманов выпустил Пашку.*

ВАЛЕНТИНА. Нет, папа!.. Не сме-ей!

*Помигалов отшвырнул Валентину в сторону. Кашкина выбегает на балкон.*

ПОМИГАЛОВ. Где он? Где?.. Дай мне гада!

ХОРОШИХ. Беги!

ПОМИГАЛОВ. Не беги... Не убежишь.

*Пашка замер, прижавшись к ограде палисадника. Кашкина, стоя на балконе, закрывает лицо руками. Так простоит она до последней реплики этой картины.*

ХОРОШИХ *(бросилась к Пашке, но Дергачев ее схватил).* Не виноват он! Не виноват!

ПОМИГАЛОВ. Не подходи! Пристрелю любого, кто подойдет... Он получит, че заслужил. *(Взводит курок.)*

ШАМАНОВ *(делает шаг в сторону Помигалова).* Остановитесь!.. С Валентиной был я.

*Помигалов на мгновенье застывает.*

Он не виноват. С ней был я.

ВАЛЕНТИНА *(кричит).* Не-ет!

*Но секундного помешательства Помигалова достаточно для того, чтобы с одной стороны Еремеев, а с другой Дергачев подошли к нему и отняли у него ружье.*

ШАМАНОВ. С ней был я. *(Обращаясь к Валентине.)* Валентина!.. *(Остальным.)* Мы... Я увезу ее отсюда.

ПАШКА. Врешь!.. Врет он! Не слушайте его! *(Сорвался с места, бросился на Шаманова, но его схватили Хороших и Дергачев.)*

ЕРЕМЕЕВ *(с ружьем в руках, качая головой).* В зверя можно стрелять, разве можно в человека? *(Валентине.)* На, спрячь. Подальше спрячь.

*Валентина берет ружье сначала одной рукой, машинально, потом – крепко, двумя, и уходит во двор.*

ПОМИГАЛОВ *(Шаманову).* Кто?.. Кто из вас? Он или ты?

ШАМАНОВ. Я. Валентина и я – мы отсюда уезжаем. Завтра же. *(Всем.)* Вам всем понятно?

ПАШКА. Врешь! *(Всем.)* Не он! Не он! Я! Я! Я!

*Во дворе раздается выстрел. Тишина. Только стучит дизель.*

ВСЕ РАЗОМ. Валентина!

*Стук прерывается – это перебой, и наступает темнота.*

*Утро следующего дня*

*На крыльце чайной. Сидят: Шаманов у калитки, на нижней ступеньке, на этой же ступеньке, слева, близко друг к другу – Пашка, Хороших и Дергачев. Пашка сидит, низко опустив голову и обхватив ее руками. Двумя ступеньками выше сидят – справа Еремеев, слева Кашкина. Со двора доносятся причитания старух.*

ЕРЕМЕЕВ *(сокрушается).* Бумагу давал, ружье давал – разве думал, что так получится?.. *(Не сразу.)* В тайгу не попадаю, в свидетели попадаю...

*Мечеткин выходит со двора от Помигаловых, на ходу надевая шляпу.*

МЕЧЕТКИН *(не сразу).* Что же это, товарищи?.. Это подумать, как судьба распорядилась.

ДЕРГАЧЕВ. Мы виноваты... Все виноваты. Слышь, Павел...

*Помигалов появляется, останавливается у своих ворот. За его спиной причитания становятся тише.*

Все причастные. Все будем отвечать.

*Старухи умолкают. Причитания их больше не слышны. Сопка за домом освещается первыми лучами солнца. Послышался лай собаки и где-то вдали ровное гудение мотора.*

*Шаманов поднимается, заходит в палисадник. При всеобщем молчании он восстанавливает ограду. Далее Шаманов переходит к калитке. С нею у него не выходит.*

ШАМАНОВ *(выпрямился).* Помогите кто-нибудь.

*С крыльца поднимаются все, кроме Пашки, который продолжает сидеть, опустив голову. К калитке подходит находившийся ближе всех Еремеев. Шаманов и Еремеев склоняются над калиткой.*

*ЗАНАВЕС*

**К урокам 24-25.**

**Юрий Князев. «Воображаемое пианино».**

**Юрий КНЯЗЕВ**

**ВООБРАЖАЕМОЕ ПИАНИНО**

*Действующие лица*

ЛЕНА

НАТАША

СЕРГЕЙ

МИША

ГАЛЯ

ВИКТОР, брат Лены

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА, мать Лены и Виктора

ЛИДИЯ ИВАНОВНА, мать Сергея

ФЕДОР РОМАНЫЧ, слесарь

МУЖЧИНА

*Место действия – небольшой город.*

*Время действия – начало и середина 70-х годов.*

*Площадка. Две двери. В окне видна луна. Четверо молодых людей, только что окончивших школу.*

МИША. Ну, кажется, отмучились!

НАТАША. А мне жалко.

ЛЕНА. И у меня непонятное чувство.

СЕРГЕЙ. И плакать хочется.

ЛЕНА. Вот тебе бы не мешало поплакать. Эмма так ждала, что ты подойдешь, извинишься перед ней... А ты только людей смешишь да обижаешь.

МИША. Кончайте. Опять начали... Сама виновата... ей под сорок, а она – физрук. Никакого ей прощения!

СЕРГЕЙ. Видишь, один я, что ли? Вы все меня подкалываете! Как все пели: «Прима-балерина!»

МИША. С ее ли фигурой кувырки показывать?!

НАТАША. Женщина она в годах. Неприятно ей. Тебе что, не стыдно, скажешь, Сережа?

СЕРГЕЙ. Что вы ко мне привязались? Сказал-сказал... Хотите, лучше яблоко вам дам? Лена?

ЛЕНА. Давай!

СЕРГЕЙ. Кусай. Ап!

*Лена кусает яблоко, но оно ненастоящее.*

ЛЕНА. Дурак! Зубоскал...

СЕРГЕЙ. Извините... Это подарок нашей химички. Можно, говорит, проверить человека на реакцию.

МИША. Дай-ка... кого-нибудь завтра тоже поймаю.

ЛЕНА. Что ты за ним все время повторяешь?

НАТАША. А как настоящее.

СЕРГЕЙ. Хочешь укусить? Кусай давай!

НАТАША *(кусает).* Прелесть... Мишка, хочешь?..

МИША. Аппетиту нету.

НАТАША. Ну, укуси... Ну, разок. Не хочешь? Тогда я сама съем, никому не дам... Нет... Сережа...

*Наташа и Сергей едят яблоко.*

СЕРГЕЙ. Одна вкуснятина.

НАТАША. Прелесть...

СЕРГЕЙ. А сочное!

МИША. Хватит вам... чавкать!..

СЕРГЕЙ. Ты не обижайся...

ЛЕНА. Я? Нет... Мне-то что? Сейчас поиграть бы...

СЕРГЕЙ. Мишка, что ты не прихватил с собой рояль? Играл ты сегодня просто... как, Наташа?

НАТАША. Прелесть!

СЕРГЕЙ. Тебя надо приковать к роялю и не отпускать, жаль, она не слышала, она бы тебя расцеловала.

МИША. А я и не помню, как играл. Она во мне вот здесь сидит... музыка эта...

СЕРГЕЙ. Мы все знаем, что ты – гений. А пока включим маг. Включим?

МИША. Тихо только. Мамка услышит.

СЕРГЕЙ. Мы тихонько-тихонько и потанцуем. Лена, разрешите?

ЛЕНА. Я занята. Миша?

МИША. Да, да, да. Сейчас.

*Лена с Мишей танцуют. На ступеньках – Сергей и Наташа.*

НАТАША. Сережа, вот как ты судишь о человеке?

СЕРГЕЙ. Я не сужу, я обсуждаю. Характер у меня, Натали, такой.

НАТАША. Да, характер у тебя не прелесть. А я лично так думаю: если ко мне хорошо относятся, то – прелесть, а если нет, то...

СЕРГЕЙ. ...не прелесть. Так нельзя, Ната...

НАТАША. ...ша! Почему? Ты ко мне же хорошо относишься... Да ты меня случайно не любишь?

СЕРГЕЙ. Безумно!

НАТАША. Врешь! Нет, когда любишь, начинаешь делать ему назло, а может, себе. Намечтаешься ночью, а днем всегда не так.

СЕРГЕЙ. «Мечты, мечты, где ваша сладость?»

НАТАША. Тебе хорошо – ты шут... А кого ты любишь, скажи? Все равно сегодня последний день.

СЕРГЕЙ. Если я скажу, ты все равно не поверишь.

НАТАША *(внимательно посмотрев на Сергея).* Не поверю.

СЕРГЕЙ *(обиженно).* Вот видишь... Никого!

НАТАША. Полюби Деньгу...

СЕРГЕЙ. Что?! Ты сегодня переволновалась, Ната!

НАТАША. ...ша! Как хочешь.

МИША. О чем разговор?

СЕРГЕЙ. О любви!

ЛЕНА. Понятненько.

СЕРГЕЙ. Что «понятненько»?

ЛЕНА. Все!

МИША. Абсолютно.

НАТАША. Да?! Надо же! Сережа, давай ему физиономию разукрасим, чтобы не ехидничал.

МИША. Я не ехидничаю. Я факт констатирую.

СЕРГЕЙ. Чего?

МИША. Факт любви.

ЛЕНА. Скрываемой.

НАТАША. Почему? Мы не скрываем. Да же?

СЕРГЕЙ. Да.

НАТАША. А давай, Сережа, поцелуемся. Ох, как мы сейчас поцелуемся!

*Целуются.*

ЛЕНА. Вкусненько?

СЕРГЕЙ. Сочно!

*Приоткрыв дверь, появляется Марья Платоновна.*

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Здрасьте! Устроились! Сколько раз вам говорила: сидите-сидите, но тихо. Лена, смотри, время уже позднее... Да и Вика спит. У него завтра соревнования начинаются. Дайте выспаться.

МИША. Ничего с ним не случится! Марья Платоновна, мы тихо будем. Мы шепотом будем.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Шепотом – не шепотом... Уснуть нельзя. *(Лене.)* Встань со ступенек, уселась!

СЕРГЕЙ. А вы не прислушивайтесь.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Я тебя еще не спрашивала. *(Уходит.)*

ЛЕНА. Выскочка этот – мамочкин сынок. Все ему разрешается. Спортсмен великий, что ты!

СЕРГЕЙ. Ая думал: он, как твоя мама – фармацевт, он моей матери принес лечебного сена и книгу, как готовить.

ЛЕНА. А мать эту книгу ищет. Траву эту она ему сказала выбросить, а он ее к вам припер. Ну болтун...

МИША. Все мы в тринадцать лет трепачами были. Я сколько раз... Мать меня на улицу выгонит: «Иди, подыши свежим воздухом», а я к вам и – за фоно. Теперь уже все.

НАТАША. Какими мы будем лет через пять?

СЕРГЕЙ. А давайте устроим машину времени. Запишем на пленку, кто о чем мечтает, и закопаем ее на пять лет! Во идея! Согласны? А потом вообразите: приходите вы в назначенное время на заветное местечко... Ленка на радостях в свободном стиле Айседоры Дункан исполняет «Танец сбывшейся мечты»... На Мишкиных руках пацаненок тянет ручонки... И тут появляется Наташа с группой учащихся. Она представляет им вас: «Перед вами, дети, люди, которые в отличие от Онегина и Печорина сумели воплотить в жизнь свою голубую мечту...»

ЛЕНА. Почему «вас»? А вас?

СЕРГЕЙ. А меня нет! Нет скромного строителя, который когда-то на заре своей юности придумал элементарную машину. Меня нет... Нет, я жив, но я где-то над стремительной рекою строю мост и называю его «Мостом мечтателей».

ЛЕНА. Намечтался? Мечтатель.

МИША. А что? Так оно и должно быть. И море музыки...

*Выходит Лидия Ивановна.*

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Вы меня, ребята, извините... я давно... жду вас.

СЕРГЕЙ. Мам, все! Аттестат вот... Все о’кей. Троек нет. Поведение удовлетворительное.

МИША. Лидия Ивановна, здравствуйте.

СЕРГЕЙ. Мать, ты знаешь, как сегодня Мишка играл!

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Я бы пришла... да приболела... вот немного. Я... вам торт... купила... Пойдемте к нам, чайку попьем.

СЕРГЕЙ. Мы тут привыкли, мать. Последний вечер... Луноходы мы...

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Да-да. Это у вас... э... лунники... так, кажется. Я сюда принесу. *(Уходит.)*

СЕРГЕЙ. Ну, кто первый мечтать? Мишка, иди, у тебя все ясно. На маг, микрофон на столе.

*Миша уходит в квартиру Сергея.*

*На площадку выходит Лидия Ивановна.*

СЕРГЕЙ *(Лидии Ивановне).* Мы решили записать на пленку, кто о чем мечтает, и закопать... вон в коробке из-под торта... *(Лене с Наташей.)* Ну, что задумались?

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Ешьте, девочки...

НАТАША. Прелесть... А о чем говорить? О самом, о самом? Вам-то хорошо, вы – пацаны. А о чем бы вы, Лидия Ивановна, помечтали?

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Я? Э... я хотела бы увидеть... Сережу за... роялем... Мне, Серенький, бывает... э... обидно, что я, учитель музыки, не смогла обучить сына...

СЕРГЕЙ. Да сам я виноват. Оболтус я!

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Оболтус-то ты хороший... Вот Миша, вы вместе учили гаммы, а он окончил школу...

*Выходит Миша.*

МИША. Следующий!

НАТАША. А, давай я... *(Уходит.)*

СЕРГЕЙ. Мам, ну кончил бы музыкалку... Мам, я люблю музыку... Честно! Ну если я мосты вижу, а вот Мишка музыку по ночам слышит... Ты сама каждый раз по-разному своего Моцарта играешь... Ты идешь на работу, он – с тобой, в магазин – тоже... Так же?!

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Когда ты вкладываешь свою... э... взволнованную душу... в музыку – это спасение... А ты? Музыка, мосты... это несовместимо...

СЕРГЕЙ. Я буду строить музыкальные мосты.

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Ты... все-таки решил твердо... ехать?

СЕРГЕЙ. Да... Мам...

ЛЕНА. Куда это?

СЕРГЕЙ. Строить мосты.

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Серенький, я человек музыки, для меня она – все... Для меня разлука будет только... э... отмерена расстоянием... Ведь можно быть далеко друг от друга и быть вместе, а можно – наоборот... Э... эта нереальная близость у Бетховена, Моцарта. Это высшее проявление души.

СЕРГЕЙ. Думаешь, мне будет мешать очень сильно расстояние?

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. У тебя нет... э... музыки. Ты выбьешься из нее... А может быть... «Реквием» можно создать... э... только выбившись из колеи...

ЛЕНА. Неужели, Лидия Ивановна, чтобы стать человеком, надо страдать?

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Леночка, нет, от ощущения полного счастья человек тоже... э... способен на поразительные поступки. Но человек... э... он путает счастье и радость. Радость – это ласка для души. *(Выходит Наташа.)* От нее человек... порой... э... успокаивается... Она прикрывает... э... укрывает... Вы слышали шестую симфонию Шостаковича? Эта музыка... когда я ее услышала... представила город – колючий, ледяной... э... почти неживой... и я подумала, что надо быть еще кем-то помимо музыканта...

СЕРГЕЙ. Кем же?

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Сережа, миленький мой мальчик, я не знаю, то есть, я знаю... Но, ребята, вы должны это понять сами... В моих устах это будет звучать... э... фальшиво. Да, да, я боюсь, наверное, сознаться... Сынок, если хочешь быть мужчиной без страха и упрека, тебе надо бояться за кого-нибудь... Этот страх помогает... э... нет, он оживляет душу, заставляет любить, ненавидеть...

СЕРГЕЙ. Мама, я и так... не волнуйся.

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Я... знаю... ты только не красней... Две вечные мелодии должны звучать в жизни человека... это Бетховен и Моцарт... Но «Реквием» только с Бетховеном остается «Реквиемом», а не похоронным маршем...

НАТАША. Лена...

ЛЕНА. Иду, иду... «Реквием» – это который ты, Миш, играл сегодня?

МИША. Да. *(Лена уходит.)* Лидия Ивановна, я... в общем, я играю, вот, а музыка обгоняет меня, не успеваю... Это только сегодня я не спутался... А все время бросаю сразу, не могу – и все.

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Да, да, я замечала... Ты боишься...

МИША. Я?

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Э... это такое чувство, которым переполнена твоя душа, а излить ее некому... Или... э... это все неестественно, или ты боишься его... э... выказать... Не у каждого человека хватает сил догнать... э... достичь... нет – взлететь! Воображение, мечта столь высоки, а бытие... э... обыденно... Страшно... Ищущих мечту отвергают... э... они высоки, не замечают этого ласкающего бытия! Они верны своим стремлениям...

СЕРГЕЙ. Принципиальны.

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Э... да, можно и так сказать. И решать надо всегда вдохновенно... то есть на высшем напряжении своих духовных сил... Даже если тебе от этого не будет легче...

СЕРГЕЙ. Вдохновенно... *(Уходит.)*

МИША. Тогда, Лидия Ивановна, мы через пять лет шизиками станем.

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Шизиками? Ах, с ума сойдем. Я как-то смотрела по телевизору документальный фильм... Показывали очень бедную страну... детишек... Я очень... э... очень разволновалась... Тогда я подумала, что если каждый день смотреть телевизор, можно... стать... э... шизиками...

МИША. Лидия Ивановна, может, вы нам сыграете?

НАТАША. Пожалуйста.

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Да, да, я сыграю... Все у вас будет хорошо... Как это вы говорите: «Человечек, будь...

ОНИ. ...человеком!»

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Вот-вот... Самое важное, наверное.

*Прожито пять лет.*

*Квартира Марьи Платоновны. Марья Платоновна и Галя смотрят телевизор. Лена лежит на диване. Виктор собирает спортивную сумку.*

ВИКТОР. Лена, я у тебя лекарство просил, принесла?

ЛЕНА *(показывает).* Там...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Не задерживайся после игры. Галя, вы вместе?

ГАЛЯ. Конечно. А куда мы друг без друга?

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ты посмотри, Лена, какое платьице! Викочка, я же тебе купила, сынок, другую сумку.

ВИКТОР. Да я привык к старой.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Привык ты... Какой-то непредставительный ты с ней. Принесу сейчас. Куда ты без меня?! Ой, Вика, Вика...

ЛЕНА. Ему без няньки никак нельзя. Что ты, Галя, в нем нашла?

ГАЛЯ. Я? А что? Он хороший... Я... я не искала ничего. Увидела его и полюбила. Сначала дружили, ругались, записки писали, а потом...

ЛЕНА. А потом?

ГАЛЯ. А потом – ничего! Витя, знаешь, какой? Ты его на площадке же не видела, это ж Витя, это... я не знаю кто. Даже смотреть страшно. Если его кто не по правилам остановит – все, всей командой успокаивают. *(Виктору.)* Давай, Вить, помогу.

ВИКТОР. Не надо, Галя. Да не хватай, я тебе говорю! Ты что?

ГАЛЯ. Да ничего.

ВИКТОР. Знаю... *(Тихо, ласково.)* Ну, не обижайся, Галочка...

ЛЕНА. Смотри-ка, какой у меня агрессивный братик. Ты что ж меня не пригласишь на свой бенефис?

ВИКТОР. Пускай тебя Мишка приглашает на свои концерты.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА *(входит с сумкой).* Вот тебе сумочка. Оригинальная... Носи, сынок... Давай-ка я тебе сама переложу.

ВИКТОР. Да сам я!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Сам ты, сам... напихаешь как попало. Всю форму помнешь, кто же побеспокоится за тебя, если не мать. А лекарство кому?

ВИКТОР. Лидии Ивановне.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Лидии Ивановне... А? Соседке нашей... Ну, ну. Одна же она... Вот так вот кормишь их, кормишь, а потом никакой благодарности. Взяли улетели... Умные стали все...

ВИКТОР. Мам...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ну, держи сумочку. Галя, ты его не задерживай долго.

ГАЛЯ. Конечно, конечно.

ВИКТОР *(взял сумку).* Пошли быстрее.

*Виктор и Галя уходят.*

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Что он в ней нашел? Лен, она его, по-моему, старше.

ЛЕНА. Не знаю я.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. А надо бы знать. Все-таки он тебе брат. Не нравится она мне – и все, хоть расшибись. Притом она деревенская. А он спортсмен, умница. Нет, не пара она ему.

ЛЕНА. Какая разница, мама?! Ты же сама из какой-то «нахаловки» или «похабихи».

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. «Похабихи». Это так звали местечко наше. А по-настоящему – «Полянки». Эх, захомутает она его, я деревенских девок знаю...

ЛЕНА. Успею.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ты чего сегодня такая? Устала, наверное. Ну, я сама.

ЛЕНА. Уйду я с этой работы. Надоело мне все это до чертиков. Не могу уже!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ты не дура... Привыкнешь. И как это ты уйдешь? И куда ты пойдешь? На производство? Думаешь, там легче?

ЛЕНА. При чем «легче-труднее»? Надоело мне – книги, грелки, аспирин!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Не дури. Ленка! *(Звонок в дверь.)* Дождалась!

*Марья Платоновна выходит и возвращается со Слесарем.*

СЛЕСАРЬ. Здорово, Елена!.. Ого! Мань! Живешь ты, я смотрю, загляденье. Все без мужика? Скучновато. А баба ты еще ягодка... Куда мужики смотрят?!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ты что пришел? Налаживать? Так давай, Федор Романыч, приступай.

СЛЕСАРЬ. Приступай? Нету у меня, что я тебе поставлю... Вот старый, бронзовый есть... Он тебе еще сто лет простоит.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ты его себе поставь, а мне простой... такой, какой стоял.

СЛЕСАРЬ. Интересная ты, Мань, какая... Я тебе одно говорю, а ты мне – ставь...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Поседел уже, а ни совести, ничего не нажил...

СЛЕСАРЬ. А что мне наживать? Кому? Мне много надо, что ли? Краюху хлеба, чаю покрепче.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Каким ты был, таким и остался! Алкаш несчастный...

СЛЕСАРЬ. Алкаши, Мань, под заборами валяются. А я работаю и не прогуливаю. И уважение ко мне имеется от начальства. Это ты мне со зла, а поставь я тебе... уважать будешь. Будешь же?

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Буду, буду, ставь!

СЛЕСАРЬ. А это другой вопрос... Абсурд какой-то, это по-японски «с удовольствием», а по-китайски «хрен вам с маслом». Потому как нету. Бронзовый есть. Давай поставлю. До смерти меня будешь вспоминать... Скажешь: «Ой, Романыч, не мужик, – скажешь, – а золото»... Ну что, Мань, ставить?

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Какая я тебе Маня?! Я с тобой свиней не пасла... Будешь тут передо мной выкаблучиваться, я тебе устрою! В ЖЭК позвоню... Пусть там тебя пропесочат хоть раз.

СЛЕСАРЬ. Это ты правильно, Платоновна. Пусть меня начальство, а я его. Звонят, звонят им, а ничего нет, хоть шаром покати. Ты, Мань, ой, извиняюсь, женщина интеллигентная, ты сходи сама лучше, все вот так и объясни. Ну, что, работать мне надо... Что, заглушку ставить будем?

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Федор Романыч, я же тебе по-человечески. Есть же у тебя нормальный кран... Ну, что, я тебя не знаю?..

СЛЕСАРЬ. Ой, и не говори, Мань, сколько я тебя знаю, наверное, столько же, сколь и этот бронзовый предмет...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ну вот, по старой дружбе...

СЛЕСАРЬ. Абсурд какой-то! Воду-то я отключил, жильцы придут с работы... усталые... Решай, Мань. Им же помыться надо, отдохнуть.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. А мне, значит, не надо. Я, значит, не работаю! У меня семьи нет? Так, что ли?!

СЛЕСАРЬ. Да нет, Мань. Почему же? Ну, как говорится, байками сыт не будешь. Поговорили и за работу.

*Уходит, и сразу же звонок.*

*Входит Миша с цветами.*

МИША. Добрый вечер! Цветочки – мое хобби. Люблю я их с капельками влаги на лепестках.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ах, ты боже мой! Какой букет! А как пахнут! Понюхай-ка! Почем они сейчас?

ЛЕНА. Кому это ты их?

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Тебе, тебе, кому еще. Боже мой!

ЛЕНА. Обалденный букет. *(Берет вазу, уходит.)*

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Что-то она сегодня не в духе. Как пришла, улеглась и только встала.

МИША. Плохо, видимо, себя чувствует.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Говорит, на работе нелады...

МИША. А, ничего... Я ей, Марья Платоновна, принес такую вещь, что она все забудет. *(Достает белые туфли.)* Вот! Ни одна новобрачная такие не надевала.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. И сколько же они?

МИША. Полета! Пока мы их припрячем...

ЛЕНА *(входит).* Уже опадают...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Сахарку брось. Ужинать пора, и этот еще навязался на мою голову.

ЛЕНА. Кто?

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Да сантехник... Кровосос.

МИША. Абсурд камурадус? Комик этот... Рубль он выпрашивает.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Обнаглел уже до предела.

МИША. У нас он тоже выпрашивал, выпрашивал, отец ему рубль железный, юбилейный, дает,

так тот обиделся, говорит: «Ты что, издеваешься?»

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Не говори, Михаил. Вы пока столик поставьте. *(Уходит.)*

ЛЕНА. Что она его уговаривает... Все равно как с козла молока! Сразу бы...

*Марья Платоновна и Слесарь.*

СЛЕСАРЬ. Ты же меня знаешь, Платоновна, я простой мужик. Ты ко мне по-хорошему, я тебе в сто раз лучше сделаю. *(Марья Платоновна наливает в стакан спирт.)* Ты мне спиртику, а я тебе кран... Раньше-то неразведенный употреблял, а сейчас... Фу... Задыхайся... Ты же знаешь меня, Платоновна, я человек веселый...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ставить будешь?

*В комнате Лена и Миша.*

ЛЕНА. Ты или целуйся, или разговаривай, а то кричишь под ухом.

МИША. Хорошо, я не буду ни целоваться, ни разговаривать. *(Входит Марья Платоновна с кастрюлей.)* О-о-о! Чудесно пахнет!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ну все, выпроводила, кажется. Слава богу, хоть кран поставил... Он же ко мне свататься собирается... Сколько лет все не может решиться. Ой, старый хрыч...

ЛЕНА. Не старей тебя...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ну, не старей... пьяница он!

МИША. Зря вы, Марья Платоновна. «Пойди завтракай!» Вам бы поваром.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. У тебя хобби, Миша, цветы, а у меня – покушать приготовить.

МИША. Цветы?.. Ах, да. Цветы – это...

ЛЕНА. Цветы-то откуда? Из ЖЭКа или со свадьбы?

МИША. Оттуда и отсюда... Зачем они там? Да! Сидит сегодня свидетель – за пьяненькими интересно наблюдать – сидит, значит...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Я их органически не перевариваю.

МИША. Что поделаешь, мир еще не избавился от этого зла. Ну, значит, сидит свидетель... Смотрю – перед ним букет с розами в вазочке. Он, значит, выпил, а уже пьяненький, и прилично, ну, значит, выпил, а запить нечем, берет цветы, вынимает их из вазочки и глык-глык!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Чего ты там только не насмотришься!

МИША. Не говорите. То невеста плачет... То жених напьется, то родители переругаются...

ЛЕНА. И все такие свадьбы?! Везде так, да?! Может, и нам не надо, зачем еще одна пьянка?!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Что ты прицепилась! Мы же не будем с улицы звать... Родственников пригласим, друзей...

ЛЕНА. Спасибо...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Да ты ничего и не покушала.

ЛЕНА. Не хочу я.

МИША. Не хочет она, Марья Платоновна... Ну, не хочет раз человек, чего его заставлять насильно.

ЛЕНА. А ты что ехидничаешь?!

МИША. Я? Да что ты, Лена. Я с Марьей Платоновной... Да, насчет помещения я договорился, в норме. По-моему, так лучше будет, а то дома потом полгода не убраться... Платье возьмем напрокат, его все равно потом носить Лена не будет. Вот туфельки надо купить...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Слышь, Лен? Туфли у тебя есть же, а?

ЛЕНА. Какие туфли? Белые, что ли? Сколько их можно носить?!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ничего, один раз наденешь, не какая-нибудь цаца!

ЛЕНА. Да и... не надо мне! Не надо!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ну что, даже лучше...

ЛЕНА. Хорошо!

МИША. А вот такие тебе не подойдут?.. Наверно, маленькие?!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Маленькие, кажется...

МИША. Придется сдать.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ты не померишь, Лен?

ЛЕНА. Что?.. Да... Померю, мне-то что, трудно, что ли.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Не жмут?

ЛЕНА. Да нет... Маленько...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Разносятся.

МИША. Вы думаете?

ЛЕНА. Что думать-то... В норме. *(Прошлась.)*

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. И на ноге надевано... Оригинальные. Наши такие не делают... Чьи это, Миша?

МИША. Э... Не знаю даже.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Иди, платьице надень, посмотрим.

ЛЕНА. Да ладно, так видно...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Иди, иди!

*Лена убегает.*

МИША. Все в норме.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Туфельки и вправду оригинальные... Где ты, Миша, только достаешь все?

МИША. Ой, Марья Платоновна, это через какие руки, я даже не знаю... У меня в ансамбле ударник, а у него мать, а?..

*Выступает Лена.*

ЛЕНА. Ну как?!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Вот, совсем другое дело... Целуй жениха, золото он у тебя.

ЛЕНА. Целовать, что ли?

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Целуй, целуй.

ЛЕНА. Ай да Миша! *(Целует его. Танцует.)* С ума сойдет Наташка... Да! А сзади как?

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Хорошо, хорошо. Правда же?

МИША. В норме... Я покурю. *(Уходит).*

*Женщины убирают со стола.*

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Такие-то мы и во сне не видели...

ЛЕНА. А мне нравится.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Вот ты уже и невеста... А я с отцом твоим, когда расписываться ходили, в тряпье была... Белые носочки, так вот. А что думаешь, стыдно было? Нет. Главное, что мы вместе были... Мама мне десять рублей присылала каждый месяц, сальца, картошечки, а мы за один вечер все съедали... А то? Друзья были да мы вдвоем... Весело было... Потом он техникум бросил, работать пошел... Кормиться-то надо было. Потом – ты родилась... Вот тогда я его проглядела... Один раз пьяненьким пришел, второй, а Вика родился, и пошло и поехало... И работа-то у него хорошая была, и зарплата... Запил! Пристроился потом где-то в ДОСААФе, собак кормить. Это, говорит, у меня с детства любовь к животным... Он же на ветеринара учился... Работай, я говорю, ради бога. Ну, а что вышло? Восемьдесят рублей и запах псины... Да и пил по-прежнему. Одна сказала: «Я твоего видела пьяненьким», вторая, а мне, думаешь, приятно слушать было? Тогда я ему чемоданчик и будь здоров, Кирилл Аверьянович! Вот так вот! И думаешь, больно не было?.. Было. И вот с тех пор и тяну вас одна. Ждала его, думала... эх! Теперь вы у меня вон какие вымахали! Витьку женю и все – на пенсию, а там и помирать можно.

ЛЕНА. Что ты, мам, тебе же никто больше сорока не дает.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. На лицо, а внутри-то у меня... Все вы маленькие дети – маленькие заботы, большие дети – большие заботы. Вот Вика, я, думаешь, не нервничаю? Нервничаю! Ну, не нравится мне эта Галя – и все! А Вика – это же папа родимый. Такой же, а-а, рот разинет, а Галя его и захомутает. Я его и в секцию-то отвела, чтобы характер выработался, а... пустое. Какой был, такой и до сих пор!

ЛЕНА. А Галя, знаешь, что о нем сказала?

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Эта Галя, что хочешь о нем скажет.

ЛЕНА. Говорит, что он не такой, какой-то агрессивный...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Как вот за стол садится, тут он просто агрессор. Давай столик поставим... Вот Миша у тебя – любо-дорого посмотреть. Культурный, воспитанный, но своего не упустит. Ты с ним как за стеной будешь. И мне спокойно... Ну, иди зови, прокурился насквозь уже... Туфли сними.

ЛЕНА. Да разношу немного.

*На площадке. Миша курит, выходит Лена.*

ЛЕНА. Уснул, что ли?

МИША. Нет. Сейчас докурю.

ЛЕНА. Дай курнуть.

МИША. Докуриваешь?

ЛЕНА. Замуж выйду, брошу. *(Слышна музыка.)* Лидия Ивановна...

МИША. Что?..

ЛЕНА. Она как письмо от Сереги получит, так всегда играет эту вещь.

МИША. Старенькое пианино... Слышишь? Он на выпуске играл... Раньше один раз послушаю, сажусь и повторю чистенько... Свадьба проедет, начнем новую с тобой жизнь... Наберу мальчиков, девочек и буду из них великих музыкантов делать. И ты свою аптечную карьеру заканчивай. Устроимся капитально и начнем. Ага?! Квартиру бы нам с тобой, Ленка, хоть захудаленькую... Я своим только заикнулся об обмене, вот такие рты поразевали. «Мы ее всю жизнь, – говорят, – обделывали: не квартира, а игрушка, а теперь чужому дяде? Живи, вот комната есть, приводи». А я лучше в общаге жить буду или снимать, чем с ними. Отец в смену работает, так не вздумай, когда он спит, кашлянуть...

ЛЕНА. Как-нибудь проживем.

МИША. Как-нибудь не пойдет. Квартира – это все. Ты хозяин, что хочешь, то и делай. Хочешь – на голове ходи, хочешь – деньги печатай... Свой микромир. Ну, ничего, мы еще, Ленка, заживем вот так вот! Не хуже других...

ЛЕНА. А мне, знаешь, что хочется? Ванну, как у Наташки, видел? Словно в аквариуме. Вовка все делал сам. Специально на керамический устроился, квартиру отделал и уволился.

МИША. Вовка – тот еще мужик. Дурак, дурак, а хитрый. Ну и мы сделаем аквариум, и будешь ты у меня золотой рыбкой.

*Дверь в соседнюю квартиру открывается.*

*Выходят Витя и Галя.*

ВИКТОР. Расселись!

ЛЕНА. А ты что, заблудился?

ВИКТОР. Заблудился... Пошли, Галь.

ГАЛЯ. Надо же сказать тете Маше.

ЛЕНА. Кому?

ВИКТОР. Марье Платоновне. *(Гале.)* Я же говорил тебе, не любит она...

ГАЛЯ. Что пошли-то?.. Она же беспокоиться будет...

ЛЕНА. Куда это вы собрались? Интересно.

ВИКТОР. Обожди, Галь. *(Лене.)* Скажешь матери, что мы поехали к Галиной бабушке, надо Лидии Ивановне травки привезти... Заболела она что-то.

ЛЕНА. Какой травки? Чадо ты! Ну достала же лекарство, импортное.

ВИКТОР. Не эффективно оно для Лидии Ивановны.

ЛЕНА. Ты что, Витька, для всех эффективное, а для нее нет?

ГАЛЯ. Ну, Лена, а почему нет?.. Ведь люди-то разные... А трава... к бабке многие обращаются.

ЛЕНА. Ты скажи им, Миша: «Или наука, или, извини, Галя, бабка».

ВИКТОР. Ты сама фармацевт, а не смыслишь ни черта. Твоя наука у бабки советов спрашивает.

ЛЕНА. А, разбирайтесь сами... *(Мише.)* Пошли?

МИША. Сейчас, докурю.

ЛЕНА *(Виктору).* Матери ничего говорить не буду. Сам иди, говори. *(Уходит.)*

ГАЛЯ. Пойдем скажем.

ВИКТОР. Да не пойду я... Не пустит она.

ГАЛЯ. Что ты все время боишься и врешь?!

ВИКТОР. Чего я боюсь?

ГАЛЯ. Всего боишься!

ВИКТОР. Ладно, не психуй. Некогда нам.

ГАЛЯ. А она будет нервничать, переживать. Ты вот ничего не понимаешь, она тебе все, а ты как идол деревянный!

ВИКТОР. Во, Мишка скажет. Скажешь же?

МИША. Скажу, мне-то что.

ГАЛЯ. А сам-то, сам-то!.. Ой, ой...

ВИКТОР. Галя... Галочка... Ну ты что?

ГАЛЯ. Ай... Вить... о... о... Что-то вот тут...

ВИКТОР. Ты сядь... Вот так вот. Ну? Галечка.

ГАЛЯ. Фу... Отошло...

ВИКТОР. Ты даже вспотела.

ГАЛЯ. Все, Витя... Ой, как я испугалась... Все ты, все ты!

ВИКТОР. Я, я, я, Галь!.. Нормально? Миш? Ну ты скажешь, хорошо?

МИША. Скажу, скажу. Все будет в норме. Момент поймаю и скажу.

ВИКТОР. Ну, мы пошли... *(Гале.)* Только осторожней... На руку, держись.

ГАЛЯ. Да уже все прошло... До свидания, Миша!

МИША. Будь...

ВИКТОР. Ага... *(Уходят.)*

*Квартира Марьи Платоновны. Лена и Наташа.*

ЛЕНА. Закружилась я совсем. Слышишь?

НАТАША. Что?

ЛЕНА. Ноги гудят!

НАТАША. А! Ну, я договорилась насчет вина.

ЛЕНА. Молодец! Значит, это вычеркнуть, это тоже... Это Михаил сегодня выяснит... Не знала, что во мне пропадал деловой человек.

НАТАША. А что тут делового, себе же надо... Попить бы чего-нибудь?

ЛЕНА. Молочка. Холодненького?

НАТАША. Нет, что ты.

ЛЕНА. Пользительная вещь!

НАТАША. Нет, я его не пью.

ЛЕНА. А зря. Чтобы быть здоровым, надо выпивать два стакана молока в день. Даже Михаил приучился.

НАТАША. Нет, спасибо... Сегодня целый день пью и пью. А на кассе сидишь, устанешь, покупателей полно, прямо не отойдешь... Мне скоро во сне будут сниться эти рожи... Ты знаешь, кого я сегодня видела? Вот не угадаешь! Подходит ко мне бородатый мужик и спрашивает: «Почем Михаил Юрьевич?» Я говорю: «Какого тебе Юрьевича?» А что, говорит, исчез Александр Сергеевич Пушкин? И лыбится. Смотрю и... знаешь, кто?.. Сережа!

ЛЕНА. Серега?! Приехал, значит... Надумал...

НАТАША. Разговорились мы с ним. Где-то он на куличках. Спросил о наших, о тебе. Этот Серега, с ним беда просто.

ЛЕНА. О свадьбе сказала?

НАТАША. Конечно.

ЛЕНА. Молодец. А Лермонтовым он тебя здорово подкусил...

НАТАША. А, каким был таким и остался. Еще хуже, наверное, я ему две водки отпускала... *(Роется в книгах.)* А борода у него...

ЛЕНА. Что ты там ищешь?

НАТАША. Лермонтова.

ЛЕНА. Нету там. Мать классику не собирает.

НАТАША. А твои?

ЛЕНА. А мои?.. Интересно?.. Витька, что ли, куда-нибудь засунул... У меня где-то в тетради было... Списывала по молодости. *(Достает тетрадь в клеенчатом переплете.)* Вот. Ахматова... Цветаева... Лермонтов.

НАТАША. Дай посмотрю.

ЛЕНА. Обожди! *(Читает.)*

НАТАША. Да... Какими мы были... Стихи переписывали... У меня тоже где-то есть. Помнишь, соберемся и давай стихи читать, а то еще что-нибудь придумаем. В лес ходили, помнишь? А сейчас? Я вот не пойму, Лен, вот мы такие же, а что-то не так... А сейчас молодые еще хуже нас, мыто хоть чем-то занимались, что-то придумывали. И клич у нас был...

ЛЕНА. Витьку нашего возьми... Дубина. Научился мяч гонять, и больше ему ничего не надо.

НАТАША. Вот Раечка подрастет, в садик пойдет, тогда попробую на заочный...

ЛЕНА. Пойдешь ты... Ты каждый год собираешься.

НАТАША. Пойду! В торговый или в нархоз. Вовку тоже выгоню. Сейчас без образования, как наша старший продавец говорит, что бутылка без этикетки.

*Входит Виктор.*

ВИКТОР. О чем судачите, старушки?

ЛЕНА. Какое твое дело?

ВИКТОР. Знаем... Все старухи судят о молодежи: «Не та нынче молодежь-то!» Так?

НАТАША. А что, не так, что ли?

ЛЕНА. Ты куда мои книги дел?

ВИКТОР. Какие?

ЛЕНА. Все. Учебники, классику...

ВИКТОР. Опомнилась! Они тебе зачем?

ЛЕНА. Дурная привычка у тебя: трогать не свои вещи!

ВИКТОР. Учебники – мои, кстати. Да они тебе и ни к чему... Четыре года они лежали, ты никак не могла решиться их выкинуть. А я Галке отдал, мы вместе готовимся...

ЛЕНА. Чтоб притащил обратно, понял? Я тебе сказала!

ВИКТОР. Я понял, понял... Мне они, кстати, тоже нужны... Надо поступать, а то в армию загремлю...

ЛЕНА. Ты и так пролезешь.

ВИКТОР. Пролезу. Ну надо же знать что-нибудь для приличия хоть... Ну как у тебя там, Вовик по ночам не писается, а Раечка не закладывает? Хе-хе...

НАТАША. Дурак ты, Витька!

ВИКТОР. Я не дурак, я спортсмен!

ЛЕНА. Одно и то же.

ВИКТОР. Не скажите, не скажите... Пожрать есть что-нибудь?!

ЛЕНА. Не ори. Не знаю!

ВИКТОР. Не знаю. Мишка бы пришел, и стол был бы накрыт, и серебро фамильное достали бы. А тут родному братику, единственному, которому нужна, так нужна горячая калорийная пища, не уделяют ни секунды внимания. Ах, бедный Витя, пойдем пить проклятое, но полезное молоко!

ЛЕНА. Мама придет, тебя накормит!

ВИКТОР. Я к тому времени сам подкормлюсь!

ЛЕНА. Иди ешь лечебное сено!

ВИКТОР. Лучше, чем твою химию! *(Уходит.)*

ЛЕНА. У меня уже сил нет!

НАТАША. Не обращай внимания.

ЛЕНА. Когда его нет дома, я отдыхаю... Еще при матери...

*Смеясь, входит с газетой Виктор.*

ВИКТОР. Смотри – «М. П. Садовская и Е. К. Садовская – трудовая династия в нашем аптечном управлении». Это же надо! Ну какой ты фармацевт?! Честное слово! Ты грелку от клизмы отличить не можешь... Ишь, спорят!.. Вот это вот меня, честное слово, поражает... ни черта не разберутся, а распишут на всю деревню! Мама с дочей, значит, династия? Разобраться надо, где династия, а где протеже! Так?

НАТАША. Слушай, Вить, ты что такой вредный стал? Лена, иди молочка попей!

ВИКТОР. Сейчас... Я о газете, не о тебе. Вот про меня писали: «Виктор Садовский – великий спортсмен...»

ЛЕНА. Какой? Великий?

ВИКТОР. Ну, не великий, ну, пусть большой. Жить не может без спорта! Честное слово, так и писали. А на фига он мне сдался?! Так, для здоровья. Всю свою сознательную жизнь я гонялся за мячиком, потому что в детстве мне его вручили и не позволяли расстаться до сих пор... А теперь я ничего не хочу и не могу! Вот так и умру с мячом в руках и жаждой гола. Вот так вот! Мамка придет, скажешь, на тренировку ушел, а если тренер позвонит, э... что-нибудь придумай.

ЛЕНА. А сам к Гальке?!

ВИКТОР. Какое твое дело? *(Уходит.)*

ЛЕНА. Видала?! Ему звонят из спортклуба, а он у Гальки. Она его приберет к рукам! Думать ни капельки не хочет. В сборной города... Ему надо, чтоб мама его за ручку водила.

НАТАША. Точно ненормальный...

*На площадке. Сергей сидит на ступенях, слушает «Реквием». Выходит Виктор.*

ВИКТОР. Привет, Серега! Ты чего?

СЕРГЕЙ. Тсс-с-с... *(Пауза.)* После этой музыки не здороваться надо, а прощаться...

ВИКТОР. Каждый вечер играет, когда писем долго нет... Твоих писем.

СЕРГЕЙ. Тс-с... Не будем. Слышишь? Старенькое пианино... Я куплю ей концертный рояль! А что? Как ты думаешь, пропихнем мы его здесь? Нет, повороты круты... А мы его через балкон, краном. Майна, вира... А? А Моцарт его, наверное, на стареньком в первый раз проиграл. *(Встает, подходит к двери.)* Майна, майна, майна... Как она?

ВИКТОР. Сейчас нормально...

СЕРГЕЙ *(рассматривает Виктора).* Здорово! *(Жмут друг другу руки.)* Ты чего так уединился?!

ВИКТОР. Опомнился!

СЕРГЕЙ. Боюсь я, Витек, честное слово! Хоть бы она вышла да отругала меня... Она же слова не скажет, будет подбирать слова, чтобы не обидеть, не дай бог... Телеграмму-то ты мне отбил?

ВИКТОР. Я.

СЕРГЕЙ. Спасибо, друг! Мать писала, что ты ее давал тайком... Спасибо, Витек! А сейчас... иди, Вить... Мне надо посидеть немного... Свинья я хорошая!

ВИКТОР. Давай я зайду, предупрежу?

СЕРГЕЙ. Не надо. Я посижу, подумаю... Не помешает.

ВИКТОР. А у нас Наташка.

СЕРГЕЙ. А я ее видел. Мишки нет?

ВИКТОР. Нет. Он сейчас, как пчелка, летает... Свадьба же у них!..

СЕРГЕЙ. Наташа сказала... Что же они так долго?

ВИКТОР. Надо же когда-нибудь! Сколько им дружить? Вот он и крутится...

СЕРГЕЙ. Крутится, говоришь?

ВИКТОР. Он на «скачках» играет и подрабатывает на банкетиках... Деловой стал.

СЕРГЕЙ. А музыка?

ВИКТОР. А он и так к музыке... Да какой из него музыкант?! Был я у него на танцах... Ничего хорошего!

СЕРГЕЙ. Нет, Витек, Мишка был талант! Он на маминой старушке мог сделать что угодно. Это ты зря! Ты-то как?

ВИКТОР. А что мне? Мячиком стучу себе на здоровье... В сборную взяли, кстати.

СЕРГЕЙ. Молодец! Видел я Эмму.

ВИКТОР. Кого?!

СЕРГЕЙ. Эмму Валентиновну. Прилетел, решил зайти... По пути.

ВИКТОР. Зачем?

СЕРГЕЙ. Ну... Извиниться! Она в школе-то не работает?

ВИКТОР. Давно уже.

СЕРГЕЙ. Хорошая она женщина... А мужик у нее вот такой! Бутылочку выпили, пока ее ждали. Она пришла и не узнала, сбрить ее, что ли? Говорит, не забыла...

ВИКТОР. Это все про «Приму»? Ого!

СЕРГЕЙ. Сергей, муж ее, так с тех пор и зовет ее: «Прима в моей жизни». А Эмма Валентиновна сейчас инспектором в гороно. Перевернул, говорит, я ей всю жизнь.

ВИКТОР. Да я знаю, что она в гороно, она к нам теперь со всех школ пацанов тащит... Все, матери попался!

*Поднимается Марья Платоновна.*

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Что это? Пьяный, что ли? Место другое не нашел!

СЕРГЕЙ. Да я тихо же... Не шумлю, не буяню...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Тихо, тихо, потом песни орать будешь! А ты чего здесь?

ВИКТОР. Да это же Серега!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Сергей? Смотри-ка. Приехал, значит. А зарос-то... Что к чему? На человека не похож.

СЕРГЕЙ. А когда все уже будут бороды носить, я совсем лысым буду ходить.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. И надолго ты осчастливил нас?

СЕРГЕЙ. Бродяга я. Хотел Ленку вот вашу увезти, да замуж выходит...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Кому ты нужен, бродяга!

СЕРГЕЙ. Тогда я Витька сманю. Такой парняга, а киснет здесь. Поехали, Витек, бороду отпустишь... Провоняюсь я водкой и редькой и, тревожа вечернюю гладь, буду громко сморкаться в руку и во всем дурака валять.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ты его не слушай. Он тебе наговорит. *(Сергею.)* Я тебе так сманю, бороду потом не расчешешь.

СЕРГЕЙ. Не волнуйтесь, тетя Маша, к нам с сердцем летят, а не из-под палки. Из-под палки не выходит.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Из-за пряника туда едут...

СЕРГЕЙ. А пряник пока голоден.

*В дверном проеме показывается Лидия Ивановна.*

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Добрый вечер, Марья Платоновна. Э... молодые люди... Что-нибудь произошло? Э... Сережа! Серенький...

СЕРГЕЙ. Мама! *(Сергей и мать долго стоят, обнявшись.)* Мамка... А я тут э... Мама!

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. А я... э... тут... Ой, Сережа! А я почувствовала, что ты... э... сегодня прилетишь. Э... извините, Марья Платоновна.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ничего, ничего... *(Лидия Ивановна и Сергей уходят.)* Ни стыда у человека, ни совести...

*Квартира. Лидия Ивановна с Сергеем накрывают на стол.*

СЕРГЕЙ. Ни разу так и не был?!

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Почему... э... не был, я... э... ну он... не был... Но я его часто вижу. Он часто ходит к Лене... Он меня по-моему... э... боится... э... стыдится... избегает.

СЕРГЕЙ. Скоро придет... У нас ничего хорошего нет... Снег в декабре, как у Есенина: «В декабре в той стране снег до дьявола чист», а в марте становится, как чешуя на рыбе... В общем, там, мам, ох...

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Вот видишь. Серенький, а мне ты говоришь, что плохо...

СЕРГЕЙ. Ну, что хорошего? Сорок градусов как прижмет, по пояс снег... А весной ноги не вытянешь из грязи... Нет, мам, это несерьезно, ну, твои задумки... Срываться с места, тебе...

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Серенький, я должна туда поехать! Я... э... мне... э... здесь, без тебя... э... скучно... э... нерадостно...

СЕРГЕЙ. В августе я приеду и поедешь погостишь... Осенью хорошо, ягода пойдет, орехи... Но комары. А я тебе накомарник подарю.

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Накомарник... э... это что?

СЕРГЕЙ. Это вроде, ну, вроде... вуали. Сетка такая.

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Нет, нет, Серенький, не надо мне никакой вуали...

*Звонок.*

СЕРГЕЙ. Я открою, мам...

*Входят Миша, Лена, Наташа.*

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. За меня... э... у меня, ребята, все уже позади... Э... за вас, э... Лена! Я хотела э... как выразить это... ну, сделать вам подарок... Мы уезжаем... да-да, Сережа. И вы можете переселиться к нам. Вот видишь, Сережа, как я хорошо решила... Ты же не будешь против? Э...

СЕРГЕЙ. Против? Не буду. Не буду, мамка! Ну, давайте за мою деловую мамку... Ну, что ты, Мишка, не радуешься? А?

МИША. Лидия Ивановна! Это же... я даже не знаю, как мне вас благодарить! Лена!

СЕРГЕЙ. Пляши, Ленка! *(Садится за фортепьяно. Попробовав, бросил.)* Вот черт, не могу. Мишка, изобрази. Лен, ну что ты?

ЛЕНА. Не умею.

СЕРГЕЙ. Как так?

МИША. Время, Сергей...

СЕРГЕЙ. Мама!.. Мишка плясать будет!

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Ребята, вы меня извините... э... вы веселитесь, веселитесь... э... а я пойду зайду к Марье Платоновне, обсужу этот... э... вопрос... Э... дома она, Леночка?

МИША. Дома, дома. Лидия Ивановна, я еще раз вас благодарю. Лидия Ивановна, дорогая, спасибо.

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Э... Миша, как будто снова вы у меня... э... школьники... *(Уходит.)*

СЕРГЕЙ. Давайте еще одну? Наташа, ты чего такая невеселая? Вон на Мишку полюбуйся!

НАТАША. Нет, почему, я и без Мишки веселая... Ты бы рассказал о себе...

МИША. Точно, расскажи. Где пропадал? Ни слуху о тебе, ни духу.

ЛЕНА. Как насчет мостов?

СЕРГЕЙ. Мостов? А что с мостами? Строим. А вы-то как? Миш?

МИША. Все в норме! Живу!

СЕРГЕЙ. Серьезно? Все пять лет жил? Давайте тогда лунник устроим. Пять лет – такая величина! Столько мостов можно понастроить, кучу дел переделать! Ну! Как?

МИША. Что как?.. Реализовал эту величину, огромную... Женюсь вот!

СЕРГЕЙ. Об этом я читал где-то, не то в «Правде», не то в «За рубежом». Я серьезно же.

МИША. Ну, как мы жили? Хорошо. Лена техникум кончила... Да что там жили, так... Вот когда у нас будет квартира, вот тогда мы заживем! Правда же, Лен?

СЕРГЕЙ. Я не про то, я серьезно.

МИША. А что еще?

СЕРГЕЙ. Да ну тебя! Наташа, есть у тебя разница между ночью и днем?

НАТАША. Сережа... Какая разница может быть? Десять часов на работе, за кассой, домой приходишь – Раечка... Девочка же у меня.

СЕРГЕЙ. И молчишь! Наташка! Поздравляю!

НАТАША. Спасибо, Сережа... Ну вот, тут все одно, что ни день... Все границы стираются. Ну, а ты-то как? Мосты строишь, да?

СЕРГЕЙ. Мосты-то я строю. Маленькие, полумаленькие. Я всего два дня дома, а уже тянет обратно. Не климат здесь, что ли? Глаза закрою и словно вишу на ремне над рекой... А она грохочет... Реки там не такие, как здесь – маленькие, но грохочут на всю тайгу, когда их начинаешь сдерживать. Не шепоток это, а вроде старых революционных песен... Эх, вас там нет! Жалко.

ЛЕНА. Зачем мы тебе там? От тебя сейчас так и пышет удальством.

НАТАША. Не надо, Лена...

ЛЕНА. Почему? Этот человек говорит, что нашел то, чего нам не хватает. Так? Сергей, только не ври, ты счастлив?!

СЕРГЕЙ. Счастлив?.. Да!

ЛЕНА. Врешь!

НАТАША. Ну, не надо, ребята.

МИША. Сколько прошло уже, а они все выясняют отношения...

ЛЕНА. Для меня все ясно.

СЕРГЕЙ. Что?

ЛЕНА. А то, что каким ты был пацаном, таким и остался... Кто тебе дал право судить нас?! Кто? Мы не твои школьные жертвы и не Эмма! Ты, ты все врешь!.. И себе ты врешь, и матери... Ты хочешь нас в лунник вернуть?..

МИША. Это правда... не получится. Ты хочешь нас вернуть туда, откуда мы сами рвались... Разве то, что было... ну, мы, те, – что мы знали о жизни? Ничего! Хоть бы Эмма, ну что с того, что она не могла перевернуться... Ты подумай, какая мелочь!

СЕРГЕЙ. Ты не понял... Она занимала не свое место.

МИША. Кончай ты... Не свое место... Все мы на своем месте... под солнцем. Что ты хочешь, чтобы она в сорок пять лет меняла профессию? А может быть, она любит ее! Так вот не может быть?

СЕРГЕЙ. Она ушла из школы. В гороно.

МИША. Вот как... Поближе к солнцу.

ЛЕНА. Ты начал оправдываться, Миш. Не надо.

МИША. Я? Нет, я не оправдываюсь. Что мы хотели раньше? То же, что и все, своей доли солнечной энергии...

СЕРГЕЙ. Своей доли штанов, жратвы...

МИША. Да!.. Своей доли, а не чужой. Вот весь смысл.

СЕРГЕЙ. А кто тебе напомнит, что берешь ты не свою долю?

МИША. Совесть моя.

ЛЕНА *(Сергею).* Ты прочти в трамваях.

СЕРГЕЙ. Ленка, раньше ты была ведьмой, а теперь похожа на злокачественную опухоль... Не ОБХСС она, совесть наша... Что твой ОБХСС, если ты у человека крадешь веру в честь, в доброту, в мечту, в любовь?..

МИША. Кому не дано любить, тот не сможет полюбить.

НАТАША. Всем дано любить, только, может быть, быть любимым не дано...

СЕРГЕЙ. Ты повзрослела, Ната...

НАТАША. Годы, Сережа... А кто у кого ворует, отнимает ли... Откуда знать... Тебе, Сережа, там в Сибири, на стройке, легче, ну, новые люди, все время в напряжении... А здесь люди... Ну, хороший, да, хороший... Одни покупатели, и мы для других тоже покупатели.

МИША. Чем мы для тебя плохи? Мы тоже делаем свое дело... Ты там, мы здесь. И разницы, по-моему, нет, чем заниматься, главное – хорошо делать, на совесть. Сделал дело, приходи домой, отдыхай. Для этого нужны штаны, телевизор... Микромир!

СЕРГЕЙ. Ты обрюзг, Мишка! Ведь раньше ты, я помню, обижался на «человечка»! Сейчас тебя, наверно, хоть как обзывай, только не садись? Совесть – не контролер, совесть – она двигатель! Пусть мы не добились того, чего хотели, пусть мы не боимся, что ночной мир лучше дневного, но... «Человечек, будь человеком!» Микромир, что это? Пародия. Солнце на люстру меняешь? Вы мне были ближе в Сибири, чем сейчас за столом... Мы с вами прощаемся сейчас... Нехорошо на душе, страшно... Ленка, огрызнись хоть по-доброму!

ЛЕНА. Раньше шутом был, теперь, похоже, стал прокурором. Надоело. Чего-то ты хочешь, теребишь, а кого? Никого не проймешь!

СЕРГЕЙ. Лена!.. Лен, я люблю тебя.

ЛЕНА. Вот эта реприза получше...

СЕРГЕЙ. Я люблю тебя. Я всегда тебя любил.

ЛЕНА. Не надо, Сергей!.. Врешь!

СЕРГЕЙ. Не веришь... У нас же есть машина времени! Давайте выкопаем ее! Прокрутим! Вы что, не понимаете, что происходит?! Наташа!

НАТАША. Я... верю... Но вряд ли... Да и мне домой пора... Раечка у меня с Вовкой... Вообще-то, как решите.

МИША. Ты всегда отмахивалась только: «Как решите» Я, конечно, не решаю, Ленка решает... Но получается некрасиво! Что ты пять лет молчал?

ЛЕНА. Да. Не такой уж ты скромный был! И вообще, что ты приехал?! Зачем? Кто тебя просил? Пять лет прошло. Не верю я!

СЕРГЕЙ. Лена, успокойся...

ЛЕНА. Не лапай! Она уже сгнила, твоя лента, в прах превратилась... Шут гороховый! Мишка!

МИША. Леночка... Обожди...

ЛЕНА. Пошли. Что, будешь перед ним оправдываться опять? Кто он такой?! Не пойдешь? Ну смотри. *(Убегает.)*

НАТАША. Я тоже пойду, наверно...

МИША. Решать должна была Лена. Первая любовь, естественно, расплывается, то вспыхнет, то опять...

СЕРГЕЙ. Это ты мне? И ты говоришь, Наташа, что нельзя отличить одного покупателя от другого?

НАТАША. Я пойду... Как ты отличишь, Сережа, если мы сами боимся отличиться друг от друга? И единственное желание, знаешь какое? Чтоб не хуже, чем у других. А то, что в школе было – смешно, ну, или мило просто.

СЕРГЕЙ. Милая мисс Прелесть... Ты права, наверно, настоящее становится смешным... Мама мне все время говорила раньше, если хочешь быть мужчиной без страха и упрека, бойся за кого-нибудь... И я боялся за нее, за Ленку, за тебя, за этого вот, а потом пришел другой страх, показаться смешным с этим страхом. Я краснел, когда говорил: «Мама, я боюсь за тебя». Может, поэтому я убежал? Но что поделаешь, я засыпал под Моцарта и просыпался с Бетховеном, было бы, наверно, странным, если бы я научился не делать жизнь, а переживать всю жизнь.

НАТАША. А ты не уезжай. Ой, я побегу... *(Уходит.)*

СЕРГЕЙ. Ну что, друг Михаил? Решать надо.

МИША. Да. Я остался для этого. Давай по-мужски.

СЕРГЕЙ. По-человечески.

МИША. Как хочешь называй. У тебя фантазии полно... В школе этим ты и отличался. Но кто претворял твои фантазии? Я! А сейчас кто их на широкую публику выносит, а? Некому! Вот видишь, и будешь переживать или пить...

СЕРГЕЙ. Это твое дело?

МИША. Да! Ленку я тебе не отдам! Фантазии прекрасны в материальном исполнении.

СЕРГЕЙ. А совесть, это что, фантазия?

МИША. Фантазия, на тему князя Мышкина... Я тебе повторяю, Лену я тебе не отдам. Я ее люблю. И моя любовь ей нужна, а не твое фантазерство. Жизнь, Серега, если представить в твоем плане, – это цирк. Кто-то в нем воздушный гимнаст, кто-то клоун, кто-то иллюзионист...

СЕРГЕЙ. Если ты себя под иллюзиониста хочешь подвести, то напрасно. Ты – дрессированная обезьяна... Хорошо, то есть легко сделаешь, кусочек сладенького получишь.

МИША. А ты что получаешь? Если ты думаешь поругаться, не получится... Я к тебе хорошо отношусь. А как ты – это твое дело. Каждый живет по-своему. Ты тоже нужен, чтоб развлекать...

СЕРГЕЙ. Вот видишь, ты меня уже оскорбляешь.

МИША. М-да... Не хотел, честное слово. Извини. Короче говоря, мы выяснили с тобой: ты хороший в чем-то, в чем-то нехороший... Я тоже в чем-то того, в чем-то не того. Но Лена... *(Входит Лидия Ивановна.)* Одним словом, смотри...

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Миша, вы почему так рано... э... разошлись, э... разбежались... э... расстались?

МИША. Извините, Лидия Ивановна. Наверно, уже поздно... До свидания, спасибо... *(Уходит).*

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Сережа, что-нибудь произошло?

СЕРГЕЙ. Нет, мам... Не знаю... Наверное. Мам, может, мы не поедем, останемся здесь?.. Там поселок, тротуар деревянный...

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Серенький... я надумала... Я пять лет... э... думала... ну и пусть деревянный, мы-то... э... не деревянные. Я понимаю, что неустроено... э... неуютно... Трудно! Пусть... И я уже договорилась с Марьей Платоновной, пусть Миша с Леной живут. И Марья Платоновна сказала, что они оба мечтали жить в отдельной квартире. Э... пусть порадуются. Мне нравится их... э... дружба.

СЕРГЕЙ. Мам, я Ленку люблю.

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Э... Да? И ты это сказал... Э... сейчас... э... перед их бракосочетанием? Сережа, как тебе не стыдно! Зачем? Зачем ты тревожишь их счастье? Это нетактично... э... нехорошо...

СЕРГЕЙ. Люблю я ее. А Мишка – дрянь!

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Прекрати! Это пошло. Ты что же, полюбил ее сейчас... э... недавно?

СЕРГЕЙ. Со школы.

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Э?! А как же ты жил все это время?

СЕРГЕЙ. Мамочка, не волнуйся! Работа, она все лечит.

ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Э... что же делать?

СЕРГЕЙ. Сыграй, мам...

*Квартира Марьи Платоновны. Лена лежит на диване. Витя, Галя, Михаил.*

МИША. Лена... Лен?.. Ну, что ты, как маленькая, надулась? Лен... На кого? На меня? Лена?

ЛЕНА. Отстань ты! Ну, что привязался?!

МИША. Лен? Ну, что ты его серьезно принимаешь? Он же клоун.

ВИКТОР. Сами вы клоуны.

ЛЕНА *(резко приподнявшись).* А ты что вмешиваешься? А?! Тюфяк проклятый, как ты мне надоел!.. Извини, Галя. *(Снова ложится.)*

ГАЛЯ. Да...

МИША. Уедет он, все будет опять спокойно. Ты же знаешь его, он не может, как люди... Не психуй.

*Входит Марья Платоновна.*

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Время, время... Давайте столик. Ленка, вставай, хватит валяться.

ЛЕНА. Мы только что из-за стола.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. А! Ничего... Время. Давай.

ГАЛЯ. Я помогу?

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Не беспокойся, Галочка... Мы уже знаем, кто что тащит. *(Уходит.)*

МИША. Давай, Лен, последние дни не будем нарушать традицию. Лен, ну не будь эгоисткой. Потом уж сами свои будем устанавливать законы, у себя!.. Что такое своя квартира, а, молодые? Это все! Это база! Это опора! Это закон материализма!

ГАЛЯ. Квартира – это хорошо, это крыша над головой.

МИША. Своя квартира – это все. Учтите. А с такой женой это просто оазис!

ВИКТОР. Пещерный ты человек, Михаил Гвоздарев!

МИША. Не понимаешь ты, Витя, ничего! Радоваться надо всему. Жизни, солнцу... Все для человека! Лена?

ЛЕНА. Не надо мне никакой радости.

МИША. Брось ты в амбицию кидаться.

ВИКТОР. А ей коттедж надо.

ЛЕНА. Опять лезешь не в свое дело!

МИША. Почему не в свое? Это в его интересах.

ЛЕНА. Надоело ему – пусть катится в общагу! Боится, тут-то – у мамочки под крылышком.

МИША. Зачем идти в общагу, Лена?.. У Гали будет ребенок... Извините меня, что проболтался, но все равно решать надо, а это в ваших интересах.

ЛЕНА. Серьезно? Витька-то ладно, а ты, Галь, что молчала?

ВИКТОР. Обожди, Галя. Что тебе Витька?!

ЛЕНА. Ничего. Что ты врешь все? Боишься?

ГАЛЯ. Правда, Вить, ну что скрывать, что мы, украли, что ли? Все равно на глаза скоро полезет.

ВИКТОР. Обожди... Матери не сболтните. А вообще, сестренка, что ты знаешь обо мне? Ты думаешь, что только Мишка у тебя деловой такой? У меня тоже есть перспектива...

ЛЕНА. Если мать узнает, что ты ей в перспективе подаришь...

ВИКТОР. Не скажешь – не узнает. Пройдет ваша свадьба, потом дело за мной.

ГАЛЯ. Вить, давай скажем сразу, а то неудобно... Как будто точно крутишься. Ну, что она, выгонит?

ВИКТОР. Обожди ты, выгонит, не выгонит... Надо сделать так, чтоб не выгнала.

ГАЛЯ. Думаешь, если она узнает позже, то будет относиться к нему по-другому? Давай, я сама?!

ЛЕНА. Не надо, Галя. Не знаешь ты нашу мать. В лоб ее не проймешь.

ВИКТОР. Бульдозер ты! У нее не запланировано.

МИША. Вот видишь, Лен? А ты...

ЛЕНА. Заврался ты, Витечка. Придется подготовить мать...

МИША. Мы там, они здесь. Так она быстрее согласится.

*Входит Марья Платоновна.*

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Садитесь... О чем это вы? Пододвигайтесь поближе... Во-от. О чем это вы спорите?

МИША. О квартире, Марья Платоновна.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. А о чем спорить?! Просто как в лотерею! Счастливые вы у меня! Жили через стенку, и я не знала, что такая чудесная женщина эта Лидия Ивановна. Вот, ребята, тут списочек я приготовила, пятьдесят шесть человек... Кого-то я забыла?.. Да, Лидию Ивановну надо обязательно пригласить... И Сергея вашего... Учудит он что-нибудь, страшно даже.

МИША. От него точно, всего можно ожидать.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Лен, ну что ты сегодня такая хмурая?

ЛЕНА. Может, не надо свадьбы...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Как это не надо?

ЛЕНА. Ну, народу не надо!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Да ты в своем уме? Что я, не в состоянии своей дочери сделать свадьбу?

МИША. Лен, ну что это?.. То тебе квартиру не надо, то люди помешают.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Квартиру не надо? Ты подумала, что ты мелешь? Это же счастье... Через стенку жить будем.

МИША. Да вы не знаете, в чем дело!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Не знаю? Ну, если не знаю, то объясни. Не психуй, а объясни толком! Миша?

МИША. Тут такое дело... Одним словом, Сергей этот любит или любил Лену, ну и...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Что?!

МИША. Он так говорит... И ему кажется, что Лена тоже... питает к нему чувства... Он может запросто уговорить Лидию Ивановну и остаться здесь.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Значит, надо просто сказать ей, чтобы он не надеялся.

ЛЕНА. И это должна сказать я? Я? Да? Ради квартиры?..

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Не кричи! Тебе не хочется жить в собственной квартире? Я за эту мою квартиру угробила столько крови, нервов, а тебе ее дарят! Дарят!

ЛЕНА. А я не хочу подарков! Не хочу и все!

МИША. Не хочешь? Хорошо. Ты думаешь опять о себе. В тебе сейчас играет самолюбие. А ты подумай не только о себе...

ВИКТОР. Прекрати.

МИША. Обожди. Ты его совсем со счетов сбрасываешь, в общагу его с ребенком, подумай.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Подумай, подумай... Какой ребенок, Миша?

МИША. Которого рожают.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА *(смотрит на Галю).* Так, значит?.. Я этого и ждала... Да вы меня в гроб сведете! Витька!..

ВИКТОР. Тебя что, за язык тянули?..

МИША. Все равно надо когда-то говорить. А если вы не можете без подготовки, то... Марья Платоновна, тут все свои...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА *(Гале).* Ах, ты... Я думаю, что она сюда зачастила? Чего это она его в деревню к себе возит? А она охмурила...

ЛЕНА. Мама!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Молчи! Ах, Галочка, я к ней – как к дочке, а она захомутала парня. Потаскушка!

ГАЛЯ. Я его не хомутала. Вы не орите на меня! Если хотите, я вас сама облаять могу.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Я тебе облаю. Витька, ты кого сюда привел? А?! Кого, я тебя спрашиваю?

ВИКТОР. Мама... Ты... ты не кричи на нее. Поняла? Ты сама...

ГАЛЯ. Витя, не надо... Не ругайся с матерью. Не надо!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Заступница нашлась! А ну-ка, выметайся отсюда, пока я тебя... И не вздумай рожать!

ВИКТОР. Мать!.. Не слушай ее, Галя... Ты, ты сама старая...

ГАЛЯ. Витька! *(Марье Платоновне.)* Хочу и буду, вас спрашивать, что ли? Чхать я хотела на вас. И Витя мой будет!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Приворожила!

ЛЕНА *(смеется).* Мать!..

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ты еще закатилась? *(Гале.)* А ну убирайся из моего дома!

ГАЛЯ. Не орите... Сама уйду.

ВИКТОР. Галя, обожди...

*Галя уходит. Виктор пытается выйти следом, но Марья Платоновна не пускает.*

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Цыц, прижми задницу!

ВИКТОР. Ты... ты не имеешь права! Ну что ты наделала?!

МИША. Успокойся. *(Встает рядом с Марьей Платоновной.)*

ВИКТОР. Пустите меня...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Да никуда она не денется, твоя краля. С таким приданым. Успокойся давай... Молочка принести?

ВИКТОР. Не надо! Ну, пустите вы меня!

МИША. Обожди...

ВИКТОР. Обожди, обожду, обождал... *(Отходит от матери.)* Точно – тюфяк... Чтоб меня! Ну, что смотрите? Нравлюсь?! Смотрите на подоночка во всей красе! Ну, нравлюсь?.. Там-тарам-там... Современный интеллектуальный подоночек. Производства 1962 года. Рост – метр восемьдесят пять! Объем груди – сто десять, бицепс – тридцать четыре. Особые приметы: устремленный, дальновидящий взгляд на десять лет вперед!..

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Прекрати паясничать. Миша, дай-ка ему по шее, что ли.

ВИКТОР. Убери руки, родственник импортный. Не за то морду хотите набить.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Викочка, давай успокоимся... Это во-первых. Во-вторых, никуда она не денется. В-третьих, у ребят свадьба... Мы все издерганы, пройдет свадьба, тогда и решим. Ну, не будь эгоистом, Витя!

ВИКТОР. Эгоистом?! Ха-ха... Вот перед этим я умолкаю... Викочка, зачем нам Галочка, зачем лишние хлопоты? Не будь эгоистом!.. Мишенька халтурит, деньги делает. Викочка, не ругайся, у них свадьба скоро, не ставь свои принципы выше. Не будь эгоистом! Хочу быть эгоистом! Поняли? Вы мне помогли хоть в чем? Леночке это, Леночка запсихует – «у-тю-тю...»

МИША. Послушай, если ты будешь истерику здесь закатывать, всех поносить, я тебе...

ВИКТОР. Что ты сделаешь?

МИША. Ты, ты жизни не знаешь! Тебя, как щенка, в молоко тыкали... Надо было думать своей головой. Или ты не знаешь, извините Марья Платоновна, что в постели не только спят? Эмоции надо держать.

ВИКТОР. Спасибо! В следующий раз я спрошу у мамы, что мне там делать: спать или...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Виктор, ты ли это?! Что ты себе позволяешь? Лена, принеси-ка ему молочка, что ли...

ВИКТОР. Прирост населения будете без меня регулировать. Ленка, не беспокойся, не хочу я вашего пастеризованного молока. Забеспокоились, смотри-ка! Что я вам, поперек горла стал? Да я же вижу. Ну почему, почему? Я же никому не желаю зла! Вы меня поймите! Не страдай, когда сердце разрывается... Тюфяк я, да?

ЛЕНА. Ладно, Вить, прости.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Эх, ты, бестолковый...

ВИКТОР. Бестолковый? Ну у меня же сердце есть! Я люблю ее!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Опять начал?! Ну куда она денется?

*Телефонный звонок.*

МИША. Я возьму. Да?!.. Ты?.. Лену?.. Сейчас... *(Не отдает трубку.)*

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Кто?

МИША. Сергей... Пьяный, что ли?.. *(В трубку).* Да, да. Завтра свадьба, я же тебя не приглашал, забыл. Приходи... Лена...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Леночка?..

ЛЕНА *(взяла трубку, долго стоит, молчит).* Да?

СЕРГЕЙ. Лена?

ЛЕНА. Лена.

СЕРГЕЙ. Я люблю тебя. *(Пауза.)* Что ты молчишь? Я люблю тебя.

ЛЕНА. Ты уже говорил об этом.

СЕРГЕЙ. А хочешь, я расскажу, как я тебя увидел в первый раз?.. *(Пауза.)* Помнишь, в девятом классе?.. Когда наши восьмые соединили... Ты вошла в класс, и я увидел твои глаза, огромные, зеленые, как майская зелень... Я увидел и очумел. Весь класс – что класс, все вокруг замерцало... Я, честное слово, люблю тебя! У меня нет никого, кроме тебя...

ЛЕНА. Не надо! У тебя в глазах опять замерцало. Глаза у меня стали серые!

СЕРГЕЙ. Неправда.

ЛЕНА. Правда, правда.

СЕРГЕЙ. Брось наговаривать на себя. Я тоже виноват, мы все виноваты...

ЛЕНА. У тебя мания искать виноватых.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Дай-ка трубку.

ЛЕНА. Обожди.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Долго ждать прикажете? Дай. *(Забирает трубку.)* Сергей?

МИША. Марья Платоновна!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА *(делает жест – «не беспокойся»).* Слушай, Сергей, ты знаешь, что Лена выходит замуж? Она любит мужа, и тебе, по-моему, не стоит звонить.

СЕРГЕЙ. Я не с вами разговариваю. И не хочу слышать о ее муже! Лена!

ЛЕНА *(отбирая трубку у Марьи Платоновны, очень тихо).* Да?..

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Лена, что ты тянешь?!

МИША. Леночка?

ЛЕНА *(держит трубку, а в ней звучит: «Лена, Лена...»).* Сергей, я завтра выхожу замуж. У нас на свадьбе будет пятьдесят шесть человек. Если ты придешь, будешь пятьдесят седьмым. Ты что-то хочешь сказать?

СЕРГЕЙ. Я хотел бы поздравить тебя, но не уверен. Не верю, что ты...

ЛЕНА. Я счастлива!

СЕРГЕЙ *(кричит).* Врешь!

ЛЕНА. Что ты орешь в трубку, освоитель природы? Телефон все стерпит... Теперь я знаю, почему ты убежал в тайгу! Там спокойнее. Ты же не можешь с людьми, ты или корчишься перед ними, или орешь! *(Бросает трубку. Мише и Марье Платоновне.)* Ну и что?!

МИША. Не надо было бы так прямо...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Правильно, правильно, доча.

*Квартира. Лена в свадебном платье. Наташа, Марья Платоновна.*

ЛЕНА. Нормально?

НАТАША. Где шили?

ЛЕНА. А туфельки, посмотри-ка...

НАТАША. Да!.. Невестой я была, а вот свидетельницей... что мне там делать?

ЛЕНА. Научат. Мам, ты бы шла, что нас ждать. *(Звонок.)* Наташка, открой. Жених, наверное... *(Входят Галя и Виктор.)* Галя?! Да... Вить, я думала, ты и на свадьбу не придешь.

*Марья Платоновна в первый раз, наверное, в жизни не знает, как себя вести.*

ГАЛЯ *(с цветами).* Успели. Витька не хотел, но я его притащила. Ну ничего себе: свадьба у сестры, а он что-то корчит из себя. Какие тут обиды... Здрасьте, Марья Платоновна.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ну, хамка.

ГАЛЯ. Давайте потом поругаемся. Лена, поздравляю тебя, от всего сердца, от всей души. *(Целует ее.)* Ты такая красивая, честное слово!.. Бежим с Витькой, думаем не застанем уже. Вить?

ЛЕНА. Спасибо, Галочка. *(Целует.)* Мам, ты иди, гости, наверно, уже собрались. И вы, Галь, идите, через дорогу в столовой. Витька?

ГАЛЯ. А как же... Не-ет! Пусть Миша тебя выкупит. Так просто мы тебя не отдадим.

ЛЕНА. Ты что, Галя, в деревне? Какие тут обряды?

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Конечно! Все позабыли, ничего не осталось от свадьбы. Раньше-то было...

ЛЕНА. Это раньше было... Будет он тебе тут бегать, выкупать. На регистрацию опоздаем.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ну и... Вы женитесь, вы и... Пойдемте... Вика.

ЛЕНА. Извини, Галя.

ГАЛЯ. А зря! Мы бы ему устроили. *(Уходят.)*

ЛЕНА. С этой Галей умора, честное слово!

НАТАША. Это и есть Галя?

ЛЕНА. Она. *(Входит Сергей.)* Решился? Пятьдесят седьмым будешь!

СЕРГЕЙ. Нет, Лен, я ключи принес...

ЛЕНА. Ключи... Хорошо. Положи... Ну, как я выгляжу в свадебном наряде?

СЕРГЕЙ. Да. Мне надо идти, я опоздаю на самолет.

НАТАША. Оставайся, Сергей. Сдадим твой билет.

СЕРГЕЙ. А ты кто, Наташа, свидетель?

ЛЕНА. Да! Беги, беги, ты опоздаешь!

СЕРГЕЙ. Поздравляю... Да, пора...

ЛЕНА. Спасибо. Беги! Ты всегда опаздывал.

СЕРГЕЙ. Вы только в ЖЭК сходите, сразу.

ЛЕНА. Не волнуйся. Миша успеет.

СЕРГЕЙ. Я понимаю, дурацкое положение... Ты правильно сказала, что я всегда опаздываю. Бегу, бегу, кажется, весь в поту, а все никак не могу вжить себя в жизнь... Все хорошо, а потом вдруг... крах. Не так живу? Да? Ты права: я убежал в тайгу, но я убежал, чтоб...

ЛЕНА. Зачем ты мне это говоришь? Зачем?! Ты опоздаешь на самолет.

СЕРГЕЙ. Я боялся показаться смешным... Я никогда не думал, что могу потерять...

ЛЕНА. И потерял.

НАТАША. Лена!

ЛЕНА. Потерял!

СЕРГЕЙ. Потерял? Но она же во мне. Здесь вот! Ты же не любишь Мишку?!

ЛЕНА. Люблю. Я люблю его!.. Большая любовь у больших людей, а у нас с Мишей маленькая, простая, обыкновенная. Ты, Сережа, человек. Это же только для тебя осталось: «Человечек, будь человеком!» Не каждый человек способен отдать свою любовь другому. Но в Мишке ты ошибся. Ты убежал, надеясь на Мишку. Да, да... Иди! Ты найдешь большую любовь.

СЕРГЕЙ. Я не хочу уходить. Не хочу быть пятьдесят седьмым! Наташка, ты ей скажи! Нельзя так! Почему я должен уходить?

ЛЕНА. Не надо, Наташа. Я знаю, что ты хочешь сказать. Я видела это в кино. Я не героиня. Нет. Ты, Сережа, выдержишь, ты сильный. Ты единственный, наверное, человек, каких я встречала. Я от тебя узнала, что есть сильные, честные... Ну, а я?! Я ничто! И я не хочу, не хочу этого тягостного, унизительного чувства слабого, не способного достать ту вершину, с которой ты зовешь меня... Ты только не психуй. Ведь я тебе всегда казалась такой же, как ты, а я...

СЕРГЕЙ. Мне ничего не казалось! Ты боишься отобрать у этих людей праздничный вечер? Так он же фальшивый, Лена, он фальшивый.

ЛЕНА. Иди, иди... Наташа?

НАТАША. Я, как дурочка, между вами. Вы понимаете, что вы делаете?! Вам же не по шестнадцать... Лена! Сергей!

ЛЕНА. Иди. Ну?.. Пойдем, Наташа. *(Уходят.)*

*Сергей один. Слышно как Лидия Ивановна играет «Реквием».*

*Квартира Гвоздаревых. Старое пианино стоит в углу. На нем свадебные подарки. Лена, Наташа.*

НАТАША. Нормальная квартира.

ЛЕНА. В норме... Так мой муж говорит.

НАТАША. А где он? Со свадьбы его не видела.

ЛЕНА. На промысел ушел.

НАТАША. Да, насчет кафеля, что Вовка с Мишкой договаривались. Я не знаю даже, как быть? Вовка-то мой совсем от рук отбился, как сел на эту проклятую машину, с тех пор и пошло все вверх тормашками. В книготорге же работает, книги начал толкать... Клиенты появились уже. А в эту пятницу привез полное собрание сочинений Лермонтова! Я ему говорю: давай оставим? Он как разорется, Раечку напугал. Я ему говорю: в милицию позвоню, начальству твоему... А он – «уйду!» И ушел же, гадина! Теперь звонит, о Раечке спросит и все!

ЛЕНА. Ты же сама этого хотела.

НАТАША. Я хотела?! Чего я хотела? Скажи еще, что я его на это толкнула. Знаешь, как он орал? Первый раз таким его видела... Я, говорит, на книгах больше выручаю, чем на основной работе, чем ты в своей бакалейке. Крутанусь, тогда собирай хоть тыщу томов, а сейчас мне оборот надо делать.

ЛЕНА. Наташа, как мне все это надоело! Как хорошо было в школе. Ни забот, ничего... Не надо крутиться... Убежать бы куда-нибудь в глухомань!

НАТАША. А чего же не поехала с Сергеем?

ЛЕНА. С Серегой? А дура была, ну а что теперь сделаешь?

НАТАША. Да... Если он и на день рождения не придет, пусть тогда совсем не приходит. На порог не пущу! Раечку даже не покажу! А он забудет, он сейчас обороты набирает... Я ему наберу.

ЛЕНА. А если придет – пустишь?

НАТАША. Тебе хорошо говорить, у тебя нет никого.

ЛЕНА. Точно, у меня никого... Ты вообще Вовку любишь?

НАТАША. Глупость какую-то несешь... Привыкла уже, да и Рая. Он хороший. По хозяйству, знаешь, все, и к Раечке... Не знаю я, Лена. Ну, что ты привязалась? Что я теперь, все ломать должна? Все так спокойно было! Вот надо было мне его на эти курсы шоферов толкнуть! Еще же думала!

ЛЕНА. А я Мишку не люблю, наверное... Помнишь, ты у меня его просила – забирай.

НАТАША. Ты – того? Мишку... Легко тебе все дается.

ЛЕНА. Как-то получилось все само собой.

НАТАША. Живи – не дури. Что тебе надо еще? Малышку бы вам, это хорошая вещь, честно! Подумай. Я поняла, что Вовке моему надо, он молчит, а ему... машину свою надо! Поболтали, побегу я... Дай-ка хоть губнушку, что ли.

ЛЕНА. Постарели мы с тобой... Губнушку? А я даже не знаю, где-то на фоно, посмотри.

НАТАША. Куда вам этот гроб, полквартиры занимает?!

ЛЕНА. А может, приедут?

НАТАША. Это специально за ним сюда ехать, выйдет как раз новое.

ЛЕНА. Не приедут, думаешь?..

НАТАША. Нет.

ЛЕНА. В комиссионку Мишка хотел, я не давала. Зря, да?

НАТАША. А ты что за собой не следишь?

ЛЕНА. А зачем? Покупателей я крашеная пугаю и некрашеная. Иду я на одно дело, может, отдохну эти три дня хоть от них?

НАТАША. Отдохнешь там... Ни разу не была?

ЛЕНА. Мишка говорит, ничего страшного.

НАТАША. Мишка говорит. Его бы туда. Не ходила бы, первый раз опасно.

ЛЕНА. Мы решили на семейном совете. Пока у нас нет приличного достатка...

НАТАША. А сама-то что думаешь?

ЛЕНА. Я думаю... Я все думаю, думаю. И ничего не могу придумать. Ты говоришь – я тебе верю. Мишка говорит – я ему верю. Тут что-то есть свое, вертится, но медленно... Осень, наверное?

НАТАША. Осень. И мне исполняется двадцать три года! Года-то как катятся...

ЛЕНА. Да, катятся, куда же прикатимся?..

НАТАША. С тобой, Ленка, что-то происходит. Боишься? Или с Мишкой поссорилась?

ЛЕНА. Я? С Мишкой? Ни разу в жизни с ним не ссорилась. Ни разу!

НАТАША. Это же Мишка... Ну, ладно, сиди не сиди, а бежать надо.

ЛЕНА. Провожу тебя.

*Выходят на площадку.*

НАТАША. Не заметила – дверь обили?!

ЛЕНА. Солиднее выглядит. Меняется площадка... Неуютная стала. Будь здорова.

НАТАША. Ага! *(Уходит.)*

*Лена сидит, курит.*

*По лестнице поднимается Миша.*

МИША *(целует).* Пришла уже?

ЛЕНА. Уже...

МИША. Пойдем?.. Или давай здесь покурим... Чуваки что-то мной недовольны...

ЛЕНА. Поругался?

МИША. Я? Нет. Надоело им на пьяные рожи смотреть... Играть им некогда... Они каждый день по червонцу, минимум, имеют. Хватит, говорят, лажу гнать, ну а что они в языке смыслят? Их натаскивать еще надо, а они вещи собираются делать.

ЛЕНА. Ты фоно-то сдавай в комиссионку.

МИША. Да надо, как-то забыл совсем... Хозяйка ты моя. Купим новое, надо по-настоящему заняться. А то пробовал сыграть – все перезабыл. Одно только – «И вдруг погасли две звезды...» Надо будет собраться... Мать не спрашивала насчет?..

ЛЕНА. Завтра ухожу. Миша, а может, не надо?

МИША. Лена, ты подумай сама... Я что-то проголодался. Пошли?

ЛЕНА. Я думала, думала... Что-то ничего не выходит, точку какую-то потеряла, опору. Я, наверное, знаешь о чем буду думать? Курить мне или не курить?

МИША. Ой, нашла о чем думать. У меня уже башка пухнет, а ты...

ЛЕНА. А я не хочу думать о том, о чем ты думаешь! Не хочу!

МИША. Хорошо, хорошо... Пошли.

ЛЕНА. Нет, не хорошо. Ты расскажи, как она у тебя пухнет, может, тебе дырочку проковырять и выпустить, что там у тебя?

МИША. Ты что, Лен?.. Не дури. Что-нибудь случилось?

ЛЕНА. Ничего! Все в норме! Как ты говоришь. Ну, давай, может, у тебя там воспаление?

МИША. Не надо. Лен. Я и так сегодня напсиховался за день. Не выводи меня из себя.

ЛЕНА. Тебя? Раньше я всех могла вывести из себя, кроме тебя. Знаешь, почему? У нас с тобой было что-то вроде деловых отношений. Ты был мне нужен, чтобы я не чувствовала себя одинокой, чтобы не страдало мое самолюбие, или – туфли от тебя... Я тебе была нужна... А зачем я тебе была нужна?

МИША. Потому что люблю тебя. Люблю... Дай мне отдохнуть. Я домой пришел, кажется, к себе.

ЛЕНА. А?! Для этого я тебе и нужна была, населить твой микромир! Дура! Ох...

МИША. Тьфу ты.

ЛЕНА. Давай поссоримся?! Куда ты, к теще?

МИША. Не хочу я. Устал и так.

ЛЕНА. Ну и катись. Тещинский зятек! Ты всегда так ловко ко всем подкатывал. Ко мне, к теще, к музыке...

МИША. Музыку не трогай!

ЛЕНА. Ой-ё-ё... И всегда у тебя смазочка есть, только что-нибудь застопорится, ты раз, подмажешь – скрипит, поедет. Вот если бы еще кусочек любви – и все было бы в норме. Ну, что ты, Мишка! *(Миша уходит.)* Поссориться даже не с кем!

*Лена курит.*

*Поднимается по лестнице Слесарь.*

СЛЕСАРЬ. Ты чего это, девка, на камень уселась?

ЛЕНА. Курю сижу.

СЛЕСАРЬ. Вижу. Ну, девка... Мать дома? Кран там у вас должен течь...

ЛЕНА. Не знаю.

СЛЕСАРЬ. А я знаю! Это у меня НЗ. Тихо только.

ЛЕНА. Время уже семь. Рабочий день кончился.

СЛЕСАРЬ. Жизнь, Ленка, такая... Жильцы тоже люди, их тоже понимать надо. Вот и без выходных, и без праздников. Я ж этот квартал... сам и теплотрассу вел, и монтировал сам, каждое колено знаю. А металл, металл менять надо! Вот у вас в ванной змеевичок стоит, лет ему, наверное, как бы не соврать, пятнадцать. Ткни пальчиком – зафонтанит, на красочке держится. Менять все надо... А, хрен с имя! На мой век продержится. Дома мать-то?

ЛЕНА. Дома.

СЛЕСАРЬ. Эх!.. Несподручно идти-то. Слышь, Ленка, вы в Лидии Ивановниной секции живете? Понимаешь, я кран там свой поставил, бронзовый...

ЛЕНА. Ну и что?

СЛЕСАРЬ. Заменить бы его надо. А то, знаешь, некрасиво, не глядится.

ЛЕНА *(показывает).* А у меня этого вот нет.

СЛЕСАРЬ. Да шут с ним... Понимаешь, в чем дело, я тебе как отец скажу... Непривычно мне без него, не с руки беседу без него начать, а главное – перед фактом уже не поставишь. Нету факта-то... Абсурд камурадус выходит.

ЛЕНА. Меняйте стиль работы.

СЛЕСАРЬ. Ты думаешь, менять надо? Поздновато. Отдай кормилицу. А то Мишке скажу.

ЛЕНА. А я ключи в форточку выброшу.

СЛЕСАРЬ. Эх, Ленка! Если ты в мать, то выбросишь. Она по молодости-то бойкая была, бедовая, энергичная. Но жизнь она, знаешь, уломает-укатает... Энергия, кажется, та, а... вот не туда хлестает. Не отдашь, значит... Ну, смотри, как побежит, так ты прямо ко мне. Хотя он сто лет простоит! Зараза! А я бы вам импортный поставил. Да... Идти – не идти?.. Как хорошо-то было – перед фактом поставишь, и... Что же делать-то?

ЛЕНА. Абсурд камурадус!

*Квартира Марьи Платоновны. Она шьет.*

*Лена лежит. Включен телевизор.*

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Вот зачем я шью, спрашивается?.. Это не дети, а изверги... Мог позвонить? Стыд, от чужих людей узнаешь, что стала бабушкой. Ростишь их, ростишь... Тьфу ты! Та-то ладно, ну а Витька-то? *(Телефонный звонок.)* Алле? Марья Платоновна... Кого? Сейчас. Лена, Наташа звонит.

ЛЕНА. Нету меня!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Леночка... Ну, я... Врать в моем возрасте...

ЛЕНА. О, боже мой, врать не можешь!.. *(Берет трубку.)* Да? Что?.. В честь чего?.. Ах, день рождения... Ну, забыла... Ну?.. Поздравляю. Нет... Не хочу и все. *(Кладет трубку.)* Нету меня. *(Ложится.)* Нет!

*Пауза.*

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ну что ты делаешь с собой?! Ты посмотри на себя? На кого ты стала похожа? Встряхнись, сходи...

ЛЕНА. Спасибо, мать. Только не надо проявлять заботу обо мне. Я здорова. Оставьте меня в покое.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ну, хорошо... Я не говорю, что ты больна, я... я не вмешиваюсь в твое дело, хочешь – лежи и ной себе под одеялом... Но ты мне, мне сердце разрываешь своим ничегонеделаньем!

ЛЕНА. Если ты о том, что я не работаю и даром ем хлеб?.. Я могу уйти.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Да при чем тут это!

ЛЕНА. А если ни при чем, не трогай тогда меня!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ну тебя... Живи как хочешь! Надо же, катастрофа!

ЛЕНА. Ма-ма!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ладно, ладно, молчу. *(Молчание.)* Так ты совсем ушла или как?

ЛЕНА. Не уходила я... Не знаю.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ну нельзя же так!

*Марья Платоновна выходит. Лена встает, включает телевизор, подходит к зеркалу, потом открывает сервант. Достает бутылку вина, наливает в фужер, выпивает. Задохнувшись, смотрит на себя в зеркало, потом идет и ложится.*

*Начинает «орать» телевизор и смеяться Лена.*

*Вбегает Марья Платоновна, с интересом смотрит на экран, потом на Лену.*

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Лена, Лена... Леночка... доча моя... солнышко мое... Ну, успокойся, прошу тебя. Леночка...

ЛЕНА. Я спокойна... Ха-ха...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ну, успокойся... ну не надо так.

ЛЕНА. Болванчики вокруг, болванчики, ха-ха... Мам, я маятник. *(Садится и начинает качаться.)* Болванчики...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Доченька, да что с тобой?

ЛЕНА. Маятник! Помнишь, мама, у нас в детстве были часы с кукушкой и маятником? Вот, ку-ку!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Прекрати!

ЛЕНА. Ку-ку!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Прекрати! *(Дает ей пощечину).*

ЛЕНА. Что? Бить меня?.. Ну, бей, бей!.. Что же ты раньше-то не лупила?! Болванчик...

*Марья Платоновна бьет, Лена падает на подушку. Плачет. Марья Платоновна видит фужер, бутылку.*

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. А, вот что! Докатилась!

*Звонок.*

ВИКТОР *(входит).* Здравствуйте.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Явился – не запылился!

ВИКТОР. Мама, я... я пришел сообщить вам, что я...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Папа! Ну, спасибо, мне люди об этом сказали... А сын!..

ВИКТОР. Извини.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Наплевать вам на свою мать! Что тебе, что твоей сестренке. Слушай, я сейчас сбегаю в одно место, а ты... Ты знаешь, что она сейчас мне устроила? Истерику пьяную! *(Одевается.)* Ты посиди и не давай ей пить. А потом мы с тобой сходим к Гале... Как назвали внучку?

ВИКТОР. Валера. Передачи до восьми... Ну, а что случилось?

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. С Михаилом разошлись. Неделю уже на работу не ходит, целыми днями сидит дома, не ест. Как она еще жива? Я побежала. *(Уходит).*

ВИКТОР. Лена! Привет.

ЛЕНА. О! Мой брат! Мишкин свояк... Давай выпьем? Нет... Гадость... Где мать?

ВИКТОР. Ушла.

ЛЕНА. Я ей хотела рассказать историю о маятниках... Ха-ха... А она отлупила меня, как шизофреничку. Неужели я похожа? Я маятник. Мне кто-то давным-давно дал под зад, и я задвигалась, а сейчас завод кончился... Ударь меня?.. Не хочешь? Хотя ты тоже род маятника, тебя самого заводить надо...

ВИКТОР. Ты чокнулась?

ЛЕНА. Не знаю. У нас есть в роду чокнутые? По-моему, нет... Я одна!.. Вы-то как живете с Галей? Убежали...

ВИКТОР. Ушли. В армию пойду вот.

ЛЕНА. Ты тоже чокнутый. Кто тебя отпустит? Кто будет спортивную честь города отстаивать?

ВИКТОР. Пора мне свою отстоять. После армии продолжать буду семейную традицию.

ЛЕНА. Вот это правильно. По-моему, мы с тобой не тем занимались... Я вон за болванчика замуж вышла. Ты не знаешь, почему?

ВИКТОР. Ты же сама что-то про пинок говорила.

ЛЕНА. Витька, братик ты мой! Это, наверное, такое счастье: просыпаться и не ждать пинка!.. Что тебя заставляет порхать, пересматривать жизнь свою? Любовь, вера? Не знаешь. А я по инерции.

ВИКТОР. Люби.

ЛЕНА. Любить?! Ха-ха... Давай выпьем?.. А как ты тут очутился? С матерью помирился? Напрасно... Я хочу, чтоб она меня выгнала. Сама уйти не могу. Нет веры в правильность своего поступка. М-да...

ВИКТОР. Надо что-то делать.

ЛЕНА. Надо! Но все трудно... Любить, верить... Любить веру, верить в любовь...

ВИКТОР. Знаешь, почему мы перестали верить в любовь? Потому что перестали за нее бороться. Так же? Ведь перестали же?

ЛЕНА. Но с кем? Вокруг столько милых, добрых людей... Выходи поскорей, не задерживай добрых и честных людей!..

ВИКТОР. Перестань из себя дурочку строить! С собой драться! Самое настоящее мы в себе прячем и ждем, что придет кто-то и разворошит всю дрянь... Сама же говорила, кстати, – инерция. Так и есть. Все прекрасно понимаем и что-то делаем, говорим, а все пустое. Потому что не наше!

ЛЕНА. Ты стал среди нас старшим... Почему у меня не было старшего братика?

ВИКТОР. Все вокруг хорошие, но никто определенно хорошего, своего не делает, и поэтому столько неопределенно хороших людей.

ЛЕНА. Дай-ка я тебя поцелую... Ты стал колючим. Ты становишься мужчиной.

ВИКТОР. Послушай! Я же стал папой! Понимаешь?!

ЛЕНА. Я знаю. Каждый мужчина должен быть папой...

ВИКТОР. Что ты собираешься делать?

ЛЕНА. Я приму ванну и лягу спать. Утром, если я почувствую пинок, схожу в кино... А если ты зайдешь за мной, пойду с тобой к Гале. А если нет, буду лежать и ссориться с матерью.

ВИКТОР. А может, хватит?

ЛЕНА. Нет. Ссориться придется, это в первый раз непривычно, а потом даже удовольствие испытываешь. Пока меня не выпнут...

ВИКТОР. Я побегу... Время, понимаешь. Но я забегу завтра. Ты смотри, не дури.

ЛЕНА. Как зовут твоего ребенка?

ВИКТОР. Валера... Девочка.

ЛЕНА. Пошла я. *(Уходит в ванную.)*

*Входит Марья Платоновна.*

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ну, как вы? Где Лена? Лена где, я тебя спрашиваю?!

ВИКТОР. В ванной.

ГОЛОС ЛЕНЫ: «Ку-ку!..»

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Вот, полюбуйся на нее! *(Тихо.)* Сейчас Миша придет, на работу бегала к нему.

ВИКТОР. Зря бегала. Она выгонит его. Я пошел, мать?

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Посидеть даже не хочешь с матерью. Эта целыми днями спит, лается, спит... И ты... Конечно, ты теперь папа, у тебя семья... Как чужие!

ВИКТОР. Ты же сама...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Что я вам?.. Я же не со зла.

ВИКТОР. Не надо, мам... Мы с Галей на тебя не в обиде.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Конечно, живешь – живи.

ВИКТОР. Ну, я же пришел. Я люблю тебя... Мне идти надо...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Обожди, сейчас. *(Собирает кульки.)* Это Гале, понял? Так. Вот. А завтра уж вместе...

ВИКТОР. До свидания. *(Уходит.)*

*Из ванной выходит Лена.*

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. С легким паром, Леночка.

ЛЕНА. Спасибо.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ты оделась бы... Сейчас должны прийти.

ЛЕНА. Я после купанья, мама.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ну, пожалуйста, Лена.

ЛЕНА. Я никого не буду шокировать... Я пошла спать.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Но это к тебе.

ЛЕНА. Я сегодня никого не принимаю.

*Звонок.*

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Входи, Миша.

ЛЕНА. Ах, это вы?!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Лена! Садись, Миша.

МИША. Добрый вечер. Ты, как русалка, я не видел раньше этого халата.

ЛЕНА. Это не ты его покупал. Вот этот бюстгальтер – ты, а халат – это еще девичий.

МИША. Что случилось? Марья Платоновна...

ЛЕНА. Мама – ты ее так звал.

МИША. Прибежала вся в слезах. Я подумал, не собиралась ли ты кончить жизнь самоубийством.

ЛЕНА. Старо, Мишенька. Как дела-то у тебя? Набрал мальчиков? Нет?.. А морду тебе не набили в ансамбле?

МИША. У меня в норме...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Давайте поужинаем, как раньше. Включим телевизор, накроем маленький столик...

ЛЕНА. Это обязательно?

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ленка, сейчас я начну психовать.

ЛЕНА. Это тебя не украсит.

*Марья Платоновна выходит.*

МИША. После того как... пора бы домой. Что тебе, Лена, не хватает? Любви? Я же люблю тебя.

ЛЕНА. А я когда-нибудь в этом сомневалась?

МИША. Ну тогда что?

ЛЕНА. А я тебя? Тебя это не интересует?.. Я же Серегу люблю... По-моему, мы все это знали.

МИША. Серега – тюха. Он не боролся за тебя. А я добивался, боролся.

ЛЕНА. Это больше было похоже на изнасилование...

МИША. Прекрати!

ЛЕНА. Уважают, Миша, женщины, такие как я, мужчин не за то, что он рядом идет, а за то, что он всегда ей руку подает и всегда впереди.

МИША. Интересно, моя дорогая! А почему я должен идти впереди, а ты, ты-то свободная... Иди! И мне могла бы подать.

ЛЕНА. Не получается такое. Это же классический случай... Баба же, она только тащит в люди и все. Наташка своего тащила, тащила, а он взял и брыкнулся... Правда, мы бы, может, с твоей тещей тебя бы дотащили...

МИША. Ой, Лена, только не надо мне об этом хоть...

ЛЕНА. Правда, с тещей ты общий язык нашел. Тебе бы такая, как она, нужна была... А я тебе не нужна и ты мне не нужен был! Нет, вру. Я тебе нужна была, как... ковер. Мягкий, пушистый. Красивая пушистая жена. Вот это, наверное, самое важное... Ты не муж, а женовладелец!

МИША. А сама-то ты... Неблагодарная ты! Что я, как пчелка, крутился для себя?! Все в дом тащил, для Леночки! А ты... Сказал бы я тебе, кто ты!

ЛЕНА. Я тебе скажу, ужина не будет! Зря ты расстегнул пуговицу на пиджаке.

МИША. При чем тут ужин! Я пришел поговорить.

ЛЕНА. Мы уже поговорили.

МИША. Мы не говорили, мы ссорились!

ЛЕНА. Прекрасно. Вдобавок, если ты не уйдешь, я разобью посуду. А она хрустальная, у нас на традиционных вечерах была, помнишь? Так пожалей нервную систему Марьи Платоновны!

МИША. Лена, ну ладно, хорошо, извини меня, если...

ЛЕНА. Мама!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА *(входит).* Опять начинаешь?!

ЛЕНА. Мать, ты зачем его привела?! А?! Зачем? *(Мише.)* Убирайся к черту!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Что ты кричишь на меня? Я тебе мать пока! Не смей!

ЛЕНА. Болванчики!.. Уходите... Ну, что вы ко мне привязались?

МИША. Извините, Марья Платоновна.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Это ты извини, Миша. *(Миша уходит.)* Ленка! Мне надоело!..

ЛЕНА. А мне?!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Давай поговорим серьезно. Откровенно.

ЛЕНА. В кои-то веки тебя потянуло на откровенность?

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Хватит издеваться надо мною, слышишь? Зачем ты так? Вы же жили с ним... Хорошо жили!..

ЛЕНА. Не люблю я его. Не люблю!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. А кого же ты любишь?

ЛЕНА. Никого! Сама себя! Себя...

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Прекрати. Ты и себя не любишь. Ты, ты... я не знаю, кто ты. Эх, бессердечные вы. Что Витька, что ты!

ЛЕНА. А почему я здесь? Он пнул меня на аборт. Ну это для него ерунда. Но когда мне сделали больно, я подумала: как может человек послать любимого человека на пытку? Это были настоящие испанские штаны. Бр-р... Инквизитор!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Для вас все! Радоваться не могла, все в заботах, чтоб сыты, обуты были...

ЛЕНА. Ты этому только и научила, заботе... Да еще раз сто об этом напомнишь. А я не хочу!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Убирайся тогда! Все! Уходите! Витька ушел и ты убирайся!

ЛЕНА. Вот этого, мать, я ждала. Только поздно ты меня выгоняешь. Раньше надо было. Я уже привыкла... Но надо, наверное, рвать, кромсать, убегать. Раз мы привыкли чувствовать себя одинокими рядом с близкими людьми, может, на расстоянии сердце ёкнет?

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Кошмар!.. Что ты говоришь? Что ты плетешь, я не понимаю тебя?! Ленка, я поглупела... Какое одиночество, какая тоска?..

ЛЕНА. Одинокие мы, мать, одинокие бабы... Самое главное потеряли... и покатилась наша жизнь к телевизору, к кухне... Мама, мамочка, жить я хочу!

*Квартира.*

*Михаил, Наташа. Телевизор прощается – «Спокойной ночи». Стол. На столе – бутылка, кульки с домашней едой.*

НАТАША *(телевизору).* Спокойной ночи. *(Надевает тапочки).* Это твои?

МИША. Что? Выключи-ка... Это ты сама стряпала?

НАТАША. Сама... Вот и прошел день моего рождения! А никакой радости... Помню, в детстве, утром только проснусь, сразу под подушку... такая счастливая целый день, что день, целую неделю!

МИША. Сейчас поправим. Присаживайся. *(Наливает. Хочет что-то сказать.)* Ну... Будем пухленькими.

НАТАША. Ага. Будь! Ловко мы удрали? А ничего квартирка... будуар настоящий. А фоно где?

МИША. В комиссионке.

НАТАША. Сдали все-таки.

МИША. Ты извини, что из стаканов... Теща все подмела. Рюмки сама же подарила и забрала... Вертушку, маг, колонки... Но это еще посмотрим, пополам с моими дарили... Без музыки скучно.

НАТАША. А знаешь, зачем я вас позвала? Чтоб помирить.

МИША. С Ленкой?! Не надо, Ната, это же такая ведьма... Сколько лет я ее знаю и только раскусил. Дрянь она хорошая. Ты заметила, с кем она крутила у тебя? А... Хватит, у тебя день рождения!

НАТАША. Тапочки хорошие, мягкие...

МИША. Это я купил в Ереване... Строго, только свое забрали. Списочек у тещи такой, все переписано... За тебя, Ната!.. Свет давай выключим... Луна.

НАТАША. Давай.

МИША. Забыл. Где-то Серегин маг был. «Романтик» старый. Сейчас... Вот. *(Включает.)* Разрешите вас пригласить? *(Песня – «Синий иней».)* Старье... *(Песня обрывается. Звучит запись пятилетней давности.)*

ГОЛОС МИШИ. Все должно быть, как задумано... Я не провидец, но я знаю свои возможности. Я музыку слышу, глаза закрою и слышу, словно играю на воображаемом пианино... И теперь все! Куда я от нее?!. О любви? А, что о ней! Трудно даже загадывать. Главное – музыка, а остальное приложится. Через пять!.. Через пять лет! Главное – начать правильно... И, если серьезно, хочу славы! Я же не просто на дурачка буду работать!.. Ну все...

ГОЛОС НАТАШИ. Мишку я люблю... Вот сейчас сказала и так хорошо стало. Я никогда вслух не говорила этого... Так хорошо, прелесть просто... Я люблю тебя, Миша. Если он мне скажет, я с ним буду всегда... Я ему буду помогать. Вот... Поступлю в пед, на литературу и русский язык. Хочу быть, как наша русачка... Пять лет – это так много! За пять лет можно и поступить, и все, вот только Миша... Он музыкант! Ему музыка – все. Пять лет... Так хочется, чтоб все сбылось...

*Миша выключает магнитофон.*

НАТАША. Что ты, не нравится?

МИША. А тебе?

НАТАША. Поцелуемся?

МИША. С чего это?

НАТАША. Хоть разик? *(Целуются.)* Никакого эффекта... Раньше я думала, если ты меня поцелуешь, я в обморок упаду... А сейчас...

*Площадка.*

*Лена, Мужчина возле двери... Дверь открывается, на пороге – Марья Платоновна.*

ЛЕНА. А, ты не спишь?

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Что это?

МУЖЧИНА. Это не что, это кто. Это мы!

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Тебя не спрашивают, кажется!

ЛЕНА. Это – Леша.

МУЖЧИНА. Игорь.

ЛЕНА. Леша-Игорь... Болванчики.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ты сведешь меня с ума. Ленка, дрянь ты этакая!

ЛЕНА. Не ори, мать. Накрой-ка лучше столик, включи телевизор... Все в сборе, будем жить дружно. В меру есть, в меру пить, копить деньги, да... ну все остальное, что делают в порядочных семьях. Ну, что ты на меня смотришь?

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ты даже имени его не знаешь.

ЛЕНА. Серьезно? Коля. *(Мужчина хочет ее поправить.)* Не надо. Какая разница, все одинаковые, только у одних есть самолюбие, у других нет... Леша-Игорь, так или не так?

МУЖЧИНА. Я не Коля и не Леша, я Игорь!

ЛЕНА. Ты обиделся? Значит, у тебя есть самолюбие и меня не отпустишь. *(Матери.)* Один вопросик. Мама, что ты ценишь в зятьях?

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Хорошо, Лена, я сейчас приготовлю чай. Проходите.

ЛЕНА. Нет, мамочка, не увиливай. Ты скажи. Ну, не пьет, не курит – это в идеале... Ты как, Леша-Игорь?

МУЖЧИНА. Я тебе еще раз говорю: я не Игорь... тьфу ты! То есть я Игорь, но я не Леша. Поняла?

ЛЕНА. Смотри-ка?! Ты уже начал права качать. А мы еще не выяснили, годишься ли ты в зятья... Практичный? Деньгу зашибать умеешь? По роже видно, хитрюга...

МУЖЧИНА. Слушай, девочка, мы зачем сюда пришли? Это, по-моему, не деловой базар.

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Вы не обращайте внимания. Лена, иди в комнату!

ЛЕНА. Хитрая! Я уйду, а ты его выгонишь. И буду я куковать одна. Нет!.. Пошли, чего встал? Я тебе нравлюсь? Неужели тебя напугала какая-то пожилая баба?..

МАРЬЯ ПЛАТОНОВНА. Ленка!

ЛЕНА. Я двадцать два года Ленка! *(Мужчине.)* Пошли тогда ко мне...

*Лена и Мужчина входят в соседнюю квартиру.*

*Там – крутится магнитофон.*

ГОЛОС ЛЕНЫ. Вообще-то я не знаю, что будет через пять лет. Но я должна поступить, если не в этом году, то в следующем... Танцевать, придумывать танцы – это так здорово! И потом, я так считаю, что лицо человека – это его дело. И для любимого человека я буду интересна. Вот все считают, что мне Мишка нравится, и Мишка, наверное, так считает. Ну, а если серьезно, он мне нравится, но... Все равно уже прошло пять лет, я не люблю тебя... Мне нравятся парни такие серьезные, ну как бы сказать это, ну, в общем, знают, что им надо в жизни... А Серега, мне он нравится, но он какой-то несерьезный, а может, наоборот, серьезный слишком, но с ним неспокойно, и всегда он шутит надо мной. В общем, время решит. Вот он уезжает, но не навсегда же, если без него не смогу жить, то сама скажу. Только вы не улыбайтесь, трудно же вот так сразу определить: любишь ты человека или нет. Это же на всю жизнь! Я не хочу, как мама, всегда одна, она, наверное, любила отца, если всю жизнь одна. А я отца ненавижу... Наговорила, сама не пойму... Но если будет трудно, я скажу, Сережа, тебе: «Человек, помоги человечку...»

ГОЛОС СЕРГЕЯ. Кхе-кхе... Дорогие друзья! Итак, прошло пять лет. Значит, будем смотреть на все глазами двадцатидвухлетнего. Вы, наверное, уже женатые. Я поздравляю вас. И не обессудьте, что я нарушу вашу семейную жизнь маленькой грустной историей о любви... Истории о шутах вечно печальны. Раз откровенно: я люблю Ленку. Тихо, Миша. Но печаль моя светла, потому что мне самому очень важно, чтобы вы были счастливы... Опять вернемся к истории: в ней встречается банальный треугольник, но в нашем случае он решается просто: А плюс Б равняется любви и моему счастью, честное слово! «Ведь если друг и я – одно и то же...» Но, может быть, немножко грустно... По возможности, не буду приезжать. Берегите друг друга! Сергей. Июнь 197...

*Миша выключает магнитофон.*

**К урокам 26-27.**

**Валентин Распутин. «Живи и помни».**

**Валентин РАСПУТИН**

**ЖИВИ И ПОМНИ**

*Повесть*

1

Зима на сорок пятый, последний военный год в этих краях простояла сиротской, но крещенские морозы свое взяли, отстучали, как им полагается, за сорок. Прокалившись за неделю, отстал с деревьев куржак, и лес совсем помертвел, снег по земле заскрип и покрошился, в жестком и ломком воздухе по утрам было трудно продохнуть. Потом снова отпустило, после этого отпустило еще раз, и на открытых местах рано затвердел наст.

В морозы в бане Гуськовых, стоящей на нижнем огороде у Ангары, поближе к воде, случилась пропажа: исчез хороший, старой работы, плотницкий топор Михеича. Сроду, когда надо было что-то убрать от чужих глаз, толкали под не пришитую половицу сбоку от каменки, и старик Гуськов, крошивший накануне табак, хорошо помнил, что он сунул топор туда же. На другой день хватился нет топора. Обыскал все – нет, поминай как звали. Зато, облазив вдоль и поперек баню, обнаружил Михеич, что топор – не единственная его потеря: кто-то, хозяйничавший здесь, прихватил заодно с полки добрую половину листового табаку-самосаду и позарился в предбаннике на старые охотничьи лыжи. Тогда-то и понял старик Гуськов, что вор был дальний и топора ему больше не видать, потому что свои, деревенские, лыжи не взяли бы.

Настена узнала о пропаже вечером, после работы. Михеич за день не успокоился: где теперь, в войну, возьмешь такой топор? Никакого не возьмешь, а этот был словно игрушечка – легкий, бриткий, как раз под руку. Настена слушала, как разоряется свекор, и устало думала: чего уж так убиваться по какой-то железяке, если давно все идет вверх тормашками. И лишь в постели, когда перед забытьем легонько занывает в покое тело, вдруг екнуло у Настены сердце: кому чужому придет в голову заглядывать под половицу? Она чуть не задохнулась от этой нечаянно подвернувшейся мысли, сон сразу пропал, и Настена долго лежала в темноте с открытыми глазами, боясь пошевельнуться, чтобы не выдать кому-то свою страшную догадку, то отгоняя ее от себя, то снова подбирая ближе ее тонкие, обрывающиеся концы.

В эту ночь Настена не выспалась, а утром чуть свет решила сама заглянуть в баню. Она не пошла по телятнику, где в снегу была вытоптана дорожка, а по общему заулку спустилась к Ангаре и повернула вправо, откуда над высоким яром виднелась за городьбой крыша бани. Постояв внизу, Настена осторожно поднялась по обледенелым ступенькам вверх, перелезла, чтобы не скрипнуть калиткой, через заплот, потопталась возле бани, боясь войти сразу, и лишь тогда тихонько потянула на себя низенькую дверку. Но дверка пристыла, и Настене пришлось дергать ее изо всех сил. Нет, значит, никого тут нет, да и не может быть. В бане было темно, маленькое окошечко, выходящее на Ангару, на запад, только-только начинало заниматься блеклым полумертвым светом. Настена села на лавку у окошечка и чутко, по-звериному стала внюхиваться в банный воздух, пытаясь найти новые и непривычные, знакомые когда-то давно запахи, но ничего, кроме резкого и горьковатого духа подмерзшей прели, отыскать не смогла. «Выдумала, дура, чего-то», – упрекнула она себя и поднялась, не понимая толком, зачем она сюда приходила и что тут хотела найти.

Днем Настена возила с гумна солому на колхозный двор и всякий раз, спускаясь с горы, как завороженная посматривала на баню. Одергивала себя, злилась, но пялилась на темное и угловатое пятно бани снова и снова. Солому приходилось выколупывать из-под снега железными вилами, набрасывая на сани по жвачке, и за три ездки терпеливая к любой работе Настена умаялась так, что хоть веди под руки. Сказалась, видно, к тому же бессонная ночь. Вечером, едва поев, Настена упала в постель как убитая. То ли ей что ночью приснилось, да она заспала и забыла, то ли на свежую голову пало само, но только, проснувшись, она уже точно знала, что делать дальше. Выбрала в амбаре самую большую ковригу хлеба, завернула ее в чистую холстину и тайком отнесла в баню, оставив хлеб на лавке в переднем углу. Посидела еще, подумала, размышляя, в своем она уме или нет, и ушла, притворив за собой дверку с тайным, заклинающим вздохом.

Два утра после этого проверяла Настена – ковригу никто не тронул. Тогда она обменяла ее на другую, свежей выпечки, и положила туда же, на видное место. Она уже ни на что не надеялась, но какая-то неспокойная, упрямая жуть в сердце заставляла ее искать продолжения истории с топором. Не мог чужой догадаться, что под плахой тайник, – вот она, плаха, намертво лежит рядом с другими, не шевельнется, не дрогнет, хоть пляши на ней. Или кто подглядел? Хлеб, хлеб должен указать, кто это был, против хлеба устоять трудно.

Еще через два дня коврига исчезла! Не найдя ее на месте, Настена испугалась. Бессильно, со стоном опустилась она на лавку и покачала головой: нет, не может быть. Не может этого быть! Наверно, зашел свекор или свекровь, увидели тут ковригу и прибрали домой. Вот и все объяснение. Настена кинулась на колени – на полу валялись хлебные крошки. Нет, не свекор и не свекровь, кто-то другой. В каменке, в холодной золе, Настена разворошила окурок.

С этого часа она словно бы выглядывала из себя: что же будет дальше? Справляла домашнюю работу, ходила на работу колхозную, оставаясь на людях такой же, какой была всегда, а сама все время озиралась, пугаясь каждого стороннего звука. Но ждать, когда не знаешь как следует, чего ждешь, было больше невмоготу, и на субботу Настена затеяла баню. Семеновна отговаривала, ссылаясь на морозы, но Настена настояла на своем: она сама натаскает воды, сама протопит, им останется только помыться.

Она могла бы спроворить баню быстро, дело нехитрое, но нарочно не стала торопиться. Наколола пополам с сосновыми негарких березовых дров, позже обычного растопила каменку. День был холодный – морозы только еще начинали сдавать, – но спокойный и ясный. Поднимаясь от Ангары с водой, Настена невольно всякий раз посматривала на дым из трубы: его черный от березы, прямой столб уходил без ветра высоко и был виден издалека. Она нагрела полный, сверх надобности, чан воды, помыла пол и полок, прикрыла трубу и уже в сумерках пошла звать стариков, не забыв сказать им, чтобы они прихватили с собой керосину для лампы.

Она была как во сне, двигаясь почти ощупью и не чувствуя ни напряжения, ни усталости за день, но делала все точно так, как и задумала. Дождалась стариков, собрала белье и на вопрос Семеновны, с кем пойдет мыться, соврала, что пойдет с Надькой. Обычно Настена звала с собой в баню кого-нибудь из соседок; смотреть на свое голое закисающее тело было больно и горько, на глаза наворачивались слезы. Но сегодня ей предстояло обойтись без подружки. В темноте, когда ночь еще не выстоялась и не посветлела, Настена добралась до бани, занавесила изнутри тряпкой окошечко и разделась, решив похлюпаться наскоро, потому что ее загаданный час, по всей видимости, должен был наступить позже.

Помывшись, Настена вернулась домой, прибрала при лампе перед зеркалом волосы и сказала старикам, что пойдет посидеть к Надьке, с которой будто бы ходила в баню. К Надьке Настена и правда заскочила, но ненадолго и без всякого дела, лишь бы показаться на глаза. Она торопилась обратно в баню. Тихонько, по-воровски, подкралась к двери, опасаясь, что опоздала, и прислушалась, нет ли кого внутри, потом осторожно вошла. Баня еще не выстыла, и, чтобы не взопреть, Настена пристроилась на порожке. Если кто и появится, она успеет подняться и посторониться, а пока оставалось только ждать.

Из деревни доносились последние слабые голоса, лай собак, затем все стихло. На Ангаре изредка с тугим бегущим звоном покалывало лед, да вздыхала, остывая, баня. Настена сидела в полной темноте, едва различая окошко, и чувствовала себя в оцепенении маленькой несчастной зверюшкой. Что бы человеку здесь среди ночи делать? Она попыталась о чем-нибудь думать, что-нибудь вспомнить и не смогла: то, что просто было среди людей, здесь оказалось невозможным.

Позже, когда от двери стало сильно поддувать, она перешла на лавку.

Видно, она все-таки задремала, потому что не слышала шагов. Дверь вдруг открылась, и что-то, задевая ее, шебурша, полезло в баню. Настена вскочила.

– Господи! Кто это, кто? – крикнула она, обмирая от страха. Большая черная фигура на мгновение застыла у двери, потом кинулась к Настене.

– Молчи, Настена. Это я. Молчи.

В деревне взнялись и затихли собаки.

2

Атамановка лежала на правом берегу Ангары и была всего на тридцать дворов – не деревня, а деревушка. Несмотря на свое звучное название, лежала она одиноко и потихоньку да помаленьку, еще с довоенных лет, хирела: уже пять изб – и избы крепкие, не какие-нибудь развалюхи, – стояли мертво, с заколоченными окнами. Почему мелели деревни в войну, и объяснять нечего, тут причина на всех одна, но из Атамановки люди начали сниматься еще раньше, особенно молодые, из тех, кто не успел зарасти своим хозяйством. Их сманивали к себе поселения побольше да пошумней, с видом на будущее, а у Атамановки его не было. Она построилась когда-то на отшибе, до самой ближней деревни по своей стороне, до Карды, где располагался сельсовет, к которому была приписана Атамановка, насчитывалось больше двадцати верст. Правда, до Рыбной на другом берегу Ангары было ближе, но Рыбная всегда держалась своих нижних соседей: там сельсовет, магазины, начальство, в ту сторону район, туда и шли со всякой нуждой, а в Атамановку заплывали редко. Мимо Атамановки шлепали пароходы, провозили новости – многое проходило мимо нее, маячившей на берегу тускло и сиротливо. Даже о войне здесь узнали только на другой день.

Судьба ее, надо сказать, не вечно была такой незаметной. Свое название Атамановка получила от другого, еще более громкого и пугающего – от Разбойниково. Когда-то в старые годы здешние мужички не брезговали одним тихим и прибыльным промыслом: проверяли идущих с Лены золотишников. Деревня для этого стоит куда как удобно: хребет здесь подходит почти вплотную к Ангаре, и миновать деревню стороной никак нельзя, хочешь не хочешь, а надо выходить на дорогу. В самом узком месте возле речки отчаянные головы и караулили ленских старателей – слава такая о деревне держалась прочно. От устной молвы название «Разбойниково» перекочевало в бумаги, но еще до Советской власти кому-то в волости оно показалось неприличным, и его заменили «Атамановкой» – и смысл вроде остается, и уши не коробит. Местный народ, кстати, с этим переименованием почему-то не согласился. Еще и теперь, спустя много лет, старики из Карды, из Рыбной, из других деревень, как сговорившись, повторяли одно и то же:

– Вся деревня занималась разбоем, а захотели на какого-то атамана свалить. Нет уж, не выйдет.

Настену в Атамановку судьба занесла с верхней Ангары. В голодном тридцать третьем году, похоронив в родной деревне близ Иркутска мать и спасаясь от смерти сама, шестнадцатилетняя Настена собрала свою малую, на восьмом году, сестренку Катьку и стала спускаться с ней вниз по реке, где, по слухам, люди бедствовали меньше. Отца у них убили еще раньше, в первый смутный колхозный год, и убили, говорят, случайно, целя в другого, а кто целил – не нашли. Так девчонки остались одни. Все лето Настена и Катька шли от деревни к деревне, где подрабатывая на ужин, где обходясь подаянием, которое давали ради маленькой и хорошенькой Катьки. Без нее Настена, наверно, пропала бы. Сама она походила на тень: длинная, тощая, с несуразно торчащими руками, ногами и головой, с застывшей болью на лице. Только Катька, для которой Настена осталась вместо матери, заставляла ее шевелиться, предлагать себя в работницы, просить кусок хлеба.

К осени сестры кое-как добрались до деревни Рютина, где, Настена помнила, жила тетка по отцу. Та поворчала, поворчала, но девчонок приняла. Настена, отдышавшись, пошла в колхоз, Катьку отправила в школу. К этому времени стало полегче: принесли свое огороды, поспели хлеба. Голод, когда есть чем лечить его, лечить нетрудно, и уже к зиме Настена мало-помалу взялась поправляться. А на следующий год ухнул такой урожай, что не отъесться было бы стыдно. Постепенно у Настены разгладились ранние морщины на лице, налилось тело, на щеках заиграл румянец, осмелели глаза. Из недавнего чучела вышла невеста хоть куда. Там, в Рютиной, и встретил ее спустя два года Андрей Гуськов, чужой, но расторопный и бравый парень, сплавлявший на плотах горючее, которое брали в цистернах неподалеку от этой деревни. Сговорились они быстро: Настену подстегнуло еще и то, что надоело ей жить у тетки в работницах, гнуть спину на чужую семью. Доставив в МТС бочки с горючим, Андрей тут же, не мешкая, прикатил на пароходе обратно и увез Настену в свою Атамановку.

Настена кинулась в замужество, как в воду, – без лишних раздумий: все равно придется выходить, без этого мало кто обходится – чего ж тянуть? И что ждет ее в новой семье и в чужой деревне, она представляла плохо. А получилось так, что из работниц она попала в работницы, только двор другой, хозяйство покрупней да спрос построже. Гуськовы держали двух коров, овец, свиней, птицу, жили в большом доме втроем, Настена пришла четвертой. И вся эта тягость сразу свалилась на ее плечи. Семеновна давно уже ждала невестку, чтобы сделать себе наконец послабление, и, дождавшись, расхворалась, у нее стали сильно отекать ноги, ходила она тяжело, переваливаясь с боку на бок, как утка. Но хозяйкой оставалась она, всю жизнь Семеновна крутила это колесо, и сейчас другие руки, взявшиеся за него, казались ей и неловкими и ленивыми потому лишь, что это были не ее руки.

Характер у нее выказался не сладкий: то она принималась ворчать, не терпя ни возражений, ни оправданий, то в злости надувалась и не хотела сказать ни слова – надо было иметь каменное, как у Настены, терпение, чтобы не схватиться с ней и не разругаться. Настена обычно отмалчивалась, она научилась этому еще в то кусочное лето, когда обходила с Катькой ангарские деревни и когда каждый, кому не лень, мог ни за что ни про что ее облаять. Конечно, будь она из местных, из атамановских, живи тут же ее родня, которая при случае могла заступиться, не дать в обиду, то и отношение к ней было бы другое, но она, сирота казанская, неизвестно откуда взялась, принесла с собой приданого одно платьишко на плечах, так что и справу ей, чтобы показаться на люди, пришлось гоношить здесь же – вот как осело на душе у Семеновны, вот что в ненастную пору подливало ей масла в огонь.

Впрочем, с годами Семеновна свыклась с Настеной и ворчала все меньше и меньше, признав, что невестка ей попалась и покладистая, и работящая. Настена успевала ходить в колхоз и почти одна везла на себе хозяйство. Мужики знали только заготовить дров и припасти сена. Ну и если бы крыша над головой упала, тоже подняли бы, а скажем, принести с Ангары воды или почистить в стайке считалось неприличным для мужика, зазорным занятием. Семеновна на своих ходулях далеко достать не могла, всюду вертелась Настена, без которой уже нельзя было обойтись, и это поневоле смиряло свекровь. Одно она не хотела ей простить – то, что у Настены не было ребятишек. Попрекать не попрекала, помня, что для любой бабы это самое больное место, но на сердце держала, тем более что и Андрей у них с Михеичем остался единственным, за первого, второго и третьего, потому что две девчонки до него не выжили.

Бездетность-то и заставляла Настену терпеть все. С детства слышала она, что полая, без ребятишек, баба – уже и не баба, а только полбабы. Настена и не подозревала в себе этой порчи и пошла замуж легко, заранее зная бабью судьбу, радуясь самой большой перемене в своей жизни и немножко, задним числом, как это обычно бывает, жалея, что походила в девках мало. Андрей был с ней ласковым, называл кровиночкой, они на первых порах и не думали о ребятишках, просто жили друг возле друга, наслаждаясь своей близостью, и только. Ребенок мог бы этому счастью даже помешать. Но затем как-то исподволь, исподтишка, оттого лишь, что появилась опасность нарушения извечного порядка семейной маеты, возникла откуда-то тревога: то, чего вначале избегали и боялись, теперь начали караулить – будет или не будет? Шли месяцы, ничего не менялось, и тогда ожидание переросло в нетерпение, потом – в страх. За какой-то год Андрей полностью переменился к Настене, стал занозистым, грубым, ни с того ни с сего мог обругать, а еще позже научился хвататься за кулаки.

Настена терпела: в обычае русской бабы устраивать свою жизнь лишь однажды и терпеть все, что ей выпадет. К тому же виноватой в своей доле Настена считала себя. Лишь однажды, когда Андрей, попрекая ее, сказал что-то совсем уж невыносимое, она с обиды ответила, что неизвестно еще, кто из них причина – она или он, других мужиков она не пробовала. Он избил ее до полусмерти.

Правда, последний год перед войной они прожили легче, как бы начиная заново свыкаться друг с другом, хорошо теперь уже зная, что друг от друга можно ждать, и прибиваясь к старинному правилу: сошлись – надо жить.

Ласки от Андрея Настена по-прежнему видела немного, но и дурить он стал заметно меньше. Настена и этому была рада: они еще молодые, со временем все наладится. И если бы не война, может, так бы оно и вышло, да началась война, покорежила и не такие надежды.

Андрея взяли в первые же дни. Настена поголосила, поголосила и смирилась. Не она одна, у других, оставшихся с ребятишками, беда похлеще. Кажется, впервые за все годы замужества ее успокоила и обнадежила своя бездетность. Зря она обижалась на судьбу, судьба ей выпала разумная, далеко вперед разглядевшая лихо, которое сейчас свалилось на людей, и заранее устроившая так, чтобы перемочь ей это лихо одной. Потом, в добрую пору, пойдут и дети, еще не поздно. Лишь бы вернулся Андрей. Этим она и жила, пока тянулась война, этим и дышала в то страшное время, когда никто не знал, что будет завтра.

Андрей долго воевал удачно, но летом сорок четвертого года вдруг пропал. Лишь через два месяца пришло от него из Новосибирска, из госпиталя, письмо, в котором он сообщал, что ранен и что после поправки на несколько дней должны отпустить домой. Это обещание и удержало Настену от поездки в Новосибирск, хоть поначалу она и собралась к мужику. Если отпустят, лучше увидеться дома – так они и рассчитывали. Но Андрей ошибся: поздней осенью он коротко и обиженно написал, что нет, ничего не выйдет, из госпиталя его выписывают, но отправляют обратно на фронт.

И снова пропал.

Перед рождеством в Атамановку нагрянули председатель сельсовета из Карды Коновалов и конопатый участковый милиционер по фамилии Бурдак, которого за глаза звали Бардаком. От Ангары они повернули жеребца прямо к избе Гуськовых. Настены дома не было.

– Какие имеете известия от сына? – строго, как на допросе, спросил Бурдак у Михеича.

Ему показали последние письма Андрея. Бурдак прочитал их, дал прочитать Коновалову и спрятал к себе в карман.

– Больше он о себе ничего не сообщал?

– Нет. – Растерявшийся Михеич наконец пришел в себя. – А че такое с им? Где он?

– Вот это мы и хотим выяснить – где он? Потерялся где-то ваш Андрей Гуськов. Даст о себе знать – сообщите нам. Понятно?

– Понятно.

Ничего не было понятно Михеичу. Ни ему, ни Семеновне, ни Настене.

А в крещенские морозы из тайника под половицей в гуськовской бане исчез топор.

3

– Молчи, Настена. Это я. Молчи.

Сильные, жесткие руки схватили ее за плечи и прижали к лавке. От боли и страха Настена застонала. Голос был хриплый, ржавый, но нутро в нем осталось прежнее, и Настена узнала его.

– Ты, Андрей?! Господи! Откуда ты взялся?!

– Оттуда. Молчи. Ты кому говорила, что я здесь?

– Никому. Я сама не знала.

Лица его в темноте она не могла рассмотреть, лишь что-то большое и лохматое смутно чернело перед ней в слабом мерцании, которое источало в углах задернутое оконце. Дышал он шумно и часто, натягивая грудь, словно после тяжелого бега. Настена почувствовала, что и она тоже задыхается, настолько неожиданно, как Настена ни подозревала ее, свалилась эта встреча, настолько воровской и жуткой с первых же минут и с первых же слов она оказалась.

Он убрал наконец руки и чуть отступил назад. Все еще неверным, срывающимся голосом спросил:

– Искали меня?

– Милиционер недавно приезжал и с ним Коновалов из Карды. С отцом разговаривали.

– Отец, мать догадываются про меня?

– Нет. Отец думал, топор кто чужой взял.

– А ты, значит, догадалась? Она не успела ответить.

– Хлеб ты приносила?

– Я.

Он помолчал.

– Ну вот, встретились, Настена. Встретились, говорю, – с вызовом повторил он, будто ждал и не дождался, что она скажет. – Не верится, что рядом с родной бабой нахожусь. Не надо бы мне ни перед кем тут показываться, да одному не перезимовать. Хлебушком ты меня заманила. – Он опять больно сдавил ее плечо. – Ты хоть понимаешь, с чем я сюда заявился? Понимаешь или нет?

– Понимаю.

– Ну и что?

– Не знаю. – Настена бессильно покачала головой. – Не знаю, Андрей, не спрашивай.

– Не спрашивай... – Дыхание у него опять поднялось и запрыгало. – Вот что я тебе сразу скажу, Настена. Ни одна собака не должна знать, что я здесь. Скажешь кому – убью. Убью – мне терять нечего. Так и запомни. Откуда хошь достану. У меня теперь рука на это твердая, не сорвется.

– Господи! О чем ты говоришь?!

– Я тебя не хочу пугать, но запомни, что сказал. Повторять не буду. Мне сейчас податься больше некуда, придется околачиваться здесь, возле тебя. Я к тебе и шел. Не к отцу, не к матери – к тебе. И никто: ни мать, ни отец – не должен обо мне знать. Не было меня и нету. Пропал без вести. Убили где по дороге, сожгли, выбросили. Я теперь в твоих руках, больше ни в чьих! Но если ты не хочешь этим делом руки марать – скажи сразу!

– Что ты меня пытаешь?! – простонала она. – Чужая тебе, что ли? Не жена, что ли?

Настена с трудом помнила себя. Все, что она сейчас говорила, все, что видела и слышала, происходило в каком-то глубокому и глухом оцепенении, когда обмирают и немеют все чувства! и когда человек существует словно бы не своей, словно бы подключенной со стороны, аварийной жизнью. В таких случаях страх, боль, удивление, озарение наступают позже, а до тех пор, пока? человек придет в себя, в нем несет охранную службу трезвый, прочный и почти бесчувственный механизм. Настена отвечала и слабой, отстранившейся своей памятью сама же не понимала, как может она обходиться этими случайными и пресными, ничего не выражающими словами, – после трех с половиной лет разлуки, когда любой день грозил быть последним, и после того, что, оборвав этот срок, свалилось на них теперь?! Она не понимала почему сидит без движения, когда надо было бы, наверно, что-то делать – хоть обнять на первый раз и приветить мужа, встречу с которым голубила чуть не каждую ночь. Надо бы... но она продолжала сидеть как во сне, когда видишь себя лишь со стороны и не можешь собой распорядиться, а только ждешь, что будет дальше. Да и вся эта встреча – в бане среди ночи, отчаянной украдкой, не имея возможности взглянуть друг другу в лицо, а только, как слепым, угадывать друг друга, с горьким и почтя бессознательным шепотом, с настороженностью и страхом, – вся эта встреча выходила чересчур неправдашней, бессильной пригрезившейся в дурном забытьи, которое канет прочь с первым же светом. Не может быть, чтобы она осталась на завтра, послезавтра, навсегда, потянула за собой и другие, столь же мучительные и несчастные встречи.

Тяжелой, подрагивающей рукой он погладил Настену по голове. Это было первое, похожее на ласку, прикосновение. Настена вздрогнула и сжалась, по-прежнему не зная, что делать и что говорить. Он убрал руку, спросил:

– Как вы тут хоть жили?

– Тебя ждали, – сказала она.

– Дождались. Дождали-ись. Герой с войны пришел, принимай, жена, хвастай, зови гостей.

Продолжать этот разговор было ни к чему. Так много всего свалилось на них одним махом, такой клубок неясного, нерешенного, запутанного громоздился перед ними, что подступаться к нему, откуда ни возьми, было страшно. Они долго молчали, потом Настена, вспомнив, предложила:

– Может, помоешься?

– Надо помыться, – торопливо и даже как будто обрадовано согласился он. – Ты же для меня баню топила, я знаю. Скажи, для меня?

– Для тебя.

– Я уж и не помню, когда мылся.

Он отошел к каменке, булькнул там в чане водой.

– Остыла, поди, совсем? – зачем-то спросила она.

– Сойдет.

Настена слышала, как он нашарил по памяти деревянный костыль у двери и повесил на него полушубок, как стянул у порожка валенки и стал раздеваться. Чуть различимая корявая фигура приблизилась к Настене.

– Ну что, Настена, один я не справлюсь. Подымайся, спину потереть надо.

Он повалил ее на пол. От бороды его, которой он тыкался Настене в лицо, почему-то пахло овчиной, и она все время невольно отворачивала лицо на сторону. Все произошло так быстро, что Настена не успела опомниться, как, взъерошенная и очумелая, снова сидела на лавке у занавешенного оконца, а на другой лавке, осторожно пофыркивая, плескался этот полузнакомый человек, ставший опять ее мужем. И ничего – ни утешения и ни горечи – она не ощутила, одно только слабое и далекое удивление да неясный, неизвестно к чему относящийся стыд.

Он помылся и стал одеваться.

– Надо было хоть белье тебе принести, – сказала Настена, все время заставляя себя не казаться чужой, подталкивая себя к разговору.

– Черт с ним, с бельем, – отозвался он. – Я тебе счас скажу, что перво-наперво понадобится. Завтра отдохни, выспись, а послезавтра переправь-ка сюда мою «тулку», пока меня зверь не загрыз. Живая она?

– Живая.

– Ее обязательно. Спички там, соль, какую-нибудь посудину для варева. Сама сообразишь, что надо. Провиант к патронам у отца поскреби, да только так, чтоб не заметил.

– А что я ему скажу про ружье?

– Не знаю. Что хошь говори. Как-нибудь вывернешься... Запомни еще раз: никто про меня не должен даже догадываться. Никто. Не было меня и нет. Ты одна в курсе... Придется тебе пока подкармливать меня хоть немножко. Принесешь ружье – мяса я добуду, а хлеб не подстрелишь. Послезавтра приду так же попозже. Рано не ходи, смотри, чтоб не уследили. Теперь ходи и оглядывайся, ходи и оглядывайся.

Он говорил спокойно, ровно, голос его в тепле заметно отмяк, и все же в нем слышалось и нетерпение, и постороннее тревожное усилие.

– Погрелся, помылся, даже подфартило с родной бабой поластиться. Пора собираться.

– Куда ты пойдешь? – спросила Настена.

Он хмыкнул:

– Куда... Куда-нибудь. К родному брату, к серому волку. Не забудешь, значит, послезавтра?

– Не забуду.

– И подожди меня здесь, а там уговоримся, как дальше. Ну, я поехал. Ты немножко помешкай, сразу не вылазь.

Он зашуршал полушубком и примолк.

– Ты хоть сколько рада, что я живой пришел? – неожиданно спросил он с порога.

– Радая.

– Не забыла, значит, кто такой я тебе есть?

– Нет.

– Кто?

– Муж.

– Вот: муж, – с нажимом подтвердил он и вышел.

Мало что понимая, она вдруг спохватилась: а муж ли? Не оборотень ли это с ней был? В темноте разве разберешь? А они, говорят, могут так прикинуться, что и среди бела дня не отличишь от настоящего. Не умея правильно класть крест, она как попало перекрестилась и зашептала подвернувшиеся на память, оставшиеся с детства слова давно забытой молитвы. И замерла от предательской мысли: а разве не лучше, если бы это и вправду был только оборотень?

4

Андрей Гуськов понимал: судьба его свернула в тупик, выход из которого нет. Вперед еще есть какой-то путь, совсем, видно недальний, пока не упрешься в стену, а поворотить назад уже нельзя... Ничего не выйдет. И то, что обратной, дороги для него не существовало, освобождало Андрея от излишних раздумий. Теперь приходилось жить только одним: будь что будет.

В эти первые, прожитые в родных местах дни больше всего его донимали воспоминания о том, как три с половиной года назад он уезжал отсюда на фронт. Вся череда почти двух недель от первого известия о войне до прибытия в Иркутск, где формировалась дивизия, вставала перед ним настолько живо и ярко, что становилось не по себе от ее близости, от ее словно бы вчерашней законченности. Память удержала даже чувства, которые он испытывал, и чувства эти, похоже, теперь повторялись: та же, что и тогда, была сейчас в нем оглушенность, неспособность соображать, что будет дальше, та же ненадежность всего, что с ним сталось, злость, одиночество, обида, тот же холодный, угрюмый и неотвязный страх – многое, вплоть до случайных настроений, было тем же, с одной лишь громадной разницей: все это теперь оказалось словно бы вывернутым своей обратной, изнаночной стороной, которая подтверждалась и обстановкой. Вот он там же, где был, откуда начинал свой поход, но уже не на правом, а на левом берегу Ангары, и тогда стояло лето, а сейчас глухая зима. Тогда он уходил на войну, теперь вернулся, тогда уходил вместе со многими и многими, теперь пришел назад один, своей, отдельной дорожкой. Судьба, сделав отчаянный вывертыш, воротила чего на старое место, но по-прежнему, как и тогда, во всю близь, во весь рост перед ним стояла смерть, зашедшая на этот раз для верности со спины, чтобы он не смог уйти. Он вообще существовал сейчас какой-то обратной, спячивающейся жизнью, в которой невозможно понять, куда ступишь следующим шагом. После этой его жизни воспоминания, похоже, остаться не могли.

Семь атамановских мужиков, призванных по первому набору, в числе которых был и Гуськов, уезжали из деревни на пяти ходках: провожающих набралось почти столько же, сколько фронтовиков. Но Андрей простился со своими дома: ни к чему растягивать слезы и причитания, а себе травить попусту душу. То, что приходится обрывать, надо обрывать сразу, так же сразу он надеялся когда-нибудь (а то до этого уже было недалеко) закончить жизнь, не хватаясь за надежды, которые не держат. Он обнялся с матерью, отцом и Настеной у ворот, прыгнул в ходок и понужнул коня, а отъезжая, выдержал не оглянуться; только за поскотиной, когда Атамановка скрылась из виду, он натянул вожжи и дождался остальных, чтобы ехать одним обозом.

В Карде они пересели на пароход, к которому подгадывали, и спустились на нем в райцентр, а через день этот же пароход на обратном пути повез собранную со всего района команду в Иркутск. Рано утром проплывали мимо Атамановки. Карауля ее, не спали, еще издали принялись вразнобой кричать, не понимая, что и, главное, зачем кричат, но Андрей смотрел на деревню молча и обиженно, он почему-то готов был уже не войну, а деревню обвинить в том, что вынужден ее покидать. Мужики все же добились: на берег выскочили люди и тоже в ответ закричали, замахали платками, фуражками, но пароход шел далеко, и узнать кого-нибудь или услышать было нельзя. Андрею показалось, что он видел среди них Настену; он не был в точности уверен, что это она, однако обозлился: зачем, ну зачем устраивать эту никому не нужную потеху? Простились, все, что следовало, сказали друг другу – достаточно, войну не заворотишь. Но знай он, что та фигура, которую он принял за Настену, действительно Настена и была, ему, пожалуй, стало бы легче, а злость потому и проглянула, что он этого наверняка не знал. Невольная обида на все, что оставалось на месте, от чего его отрывали и за что ему предстояло воевать, долго не проходила, она и вызвала то обещание, которое он тогда дал, о котором помнил все эти годы и которое теперь ненароком сдержал. Не ради него он, конечно, вернулся, нет, но и оно сейчас, исполнившись, с самого начала не казалось пустым, и в нем чудилась какая-то приманчивая и достоверная сила, взявшаяся помогать Гуськову в его судьбе.

Пароход шлепал против течения трое суток, ехали шумно, ордой, вовсю отдавшись горькому веселью, хорошо понимая, что это последние свободные и безопасные дни. Андрей держался особняком, он не приучился к водке. Подолгу, как истукан, торчал на борту и смотрел перед собой. В разгаре было лето, все дни ходило по небу яркое солнце, катилась Ангара, от которой в воздухе стоял звон, и плыли, плыли мимо знакомые берега, деревни и острова, плыли и уплывали, скрываясь позади. При одной мысли, что он, быть может, видит все это в последний раз, у Гуськова схватывало сердце. Лучше было бы спуститься вниз и присоединиться к своим – не ему одному было тошно, или завалиться спать, подложив мешок под голову, забыться, потеряться, пока не поднимут по команде, но он не уходил и, донимая душу тоскливой пыткой, терзая и жалея себя, продолжал смотреть, думать и мучиться. И чем больше он смотрел, тем ясней и непоправимей замечал, как спокойно и безразлично к нему течет Ангара, как равнодушно, не замечая его, скользят мимо берега, на которых он провел все свои годы, – скользят, уходя к другой жизни и другим людям, к тому, что придет ему на смену. Его обидело: что же так скоро? Не успел уехать, оторваться, а уже позабыто, похоронено все, чем он был и чем собирался стать: значит, ступай и умирай, ты для нас конченый человек. Да неужели и впрямь конченый? Отказываясь, со взыгравшим недобрым упрямством он вслух пообещал:

– Врете: выживу. Рано хороните. Вот увидите: выживу. Уж с вами-то ни черта не сделается – увидите.

На фронте он оставил эту надежду. В первых же боях его ранило, но, к счастью, легко, пуля прошила мякоть левой ноги, и уже через месяц, прихрамывая, он вернулся в часть. Мысль о спасении казалась в то время бессмысленной, не он один прятал ее так далеко, что и сам себе не часто признавался, есть она в нем или нет: чтобы уберечь, не доставать на свет, под пули. Столько он перевидал рядом с собой смертей, что и собственная представлялась неминуемой: не сегодня – так завтра, не завтра – так послезавтра, когда подвернет очередь. Здесь, на войне, мирная жизнь, кому она выпадет, чудилась вечной, странно было думать, что она может длиться год за годом десятки лет, как у деревьев или камней: время здесь имело другие измерения.

Андрею Гуськову долго везло, только однажды еще до своего отбытия с фронта он не уберегся и, попав под бомбежку, был сильно контужен, взрывной волной ему начисто отбило слух, почти неделю он ничего не слышал, затем звуки постепенно вернулись. От контузии осталось смешное и досадное воспоминание: в лазарете его, глухого, прохватил звериный, ненасытный аппетит. Постоянно, каждую минуту, хотелось есть, в поисках еды он то и дело натыкался на всякие неприятности. Не слыша себя, он считал, что не слышат и его, и это его выдавало, когда он крался на кухню, чтобы раздобыть съестное, а когда он пытался договориться о добавочных порциях, на потеху выздоравливающим ему могли отвечать что угодно, он только хлопал глазами.

За три года Гуськов успел повоевать и в лыжном батальоне, и в разведроте, и в гаубичной батарее. Ему довелось испытать все: и танковые атаки, и броски на немецкие пулеметы, и ночные лыжные рейды, и изнуряюще долгую, упрямую охоту за «языком». Гуськов не привык, да и не мог привыкнуть к войне, он завидовал тем, кто в бой шел так же спокойно и просто, как на работу, но и он, сколько сумел, приспособился к ней – ничего другого ему не оставалось. Поперед других не лез, но и за чужие спины тоже не прятался это свой брат солдат увидит и покажет сразу. В «поиске», когда захватывающая группа в пять-шесть человек кидается в немецкую траншею, вообще не до хитростей – тут уж либо пан, либо пропал, а подержишься, побережешься, погубишь и себя, и всех. Среди разведчиков Гуськов считался надежным товарищем, его брали с собой в пару, чтобы, подстраховывать друг друга, самые отчаянные ребята. Воевал, как все, – не лучше и не хуже. Солдаты ценили его за силушку – коренастый, жилистый, крепкий, он взваливал оглушенного или несговорчивого «языка» себе на горбушку и тащил, не запинаясь, в свои окопы.

В лыжном батальоне Гуськов ходил под Москвой, весной на Смоленщине попал в разведчики, а в батарею его определили уже в Сталинграде, после контузии. Здесь, в дальнобойной артиллерии, когда пошли в наступление, стало полегче.

К зиме сорок третьего года ясно начал проглядывать конец войны. И чем ближе к нему шло дело, тем больше росла надежда уцелеть – уже не робкая, не потайная, а открытая и беспокойная. Столько они, кто дрался с первых дней войны, вынесли и выдержали, что хотелось верить: должно же для них выйти особое, судьбой данное помилование, должна же смерть от них отступиться, раз они сумели до сих пор от нее уберечься. И здесь, на войне, чудился некий спасительный испытательный срок: выжил – живи. Порой, в легкие, утешные минуты, на Гуськова находила счастливая уверенность, что ничего плохого с ним больше сделаться не может, что вот так же, как сейчас, потихоньку да помаленьку, не тратясь, доберется он до конечного, выстраданного, вдесятеро оплаченного дня, когда объявят победу и повезут по домам. Но светлые эти, солнечные минуты проходили, и тогда незаметно подступал страх: тысячи и тысячи, жившие той же надеждой, гибли на его глазах день ото дня и будут гибнуть, он понимал, до самого последнего часа. Откуда ж им браться, как не из живых – не из него, не из других? На что тут рассчитывать? И, поддаваясь страху, не видя для себя впереди удачи, Гуськов осторожно примеривался к тому, чтобы его ранило – конечно, не сильно, не тяжело, не повредив нужного, – лишь бы выгадать время.

Но летом сорок четвертого года, когда прямо перед носом зачехленной уже, готовой к переезду батареи выскочили немецкие танки, Гуськова ранило совсем не легонько. Почти сутки он не приходил в себя. А когда очнулся и поверил, что будет жить, утешился: все, отвоевался. Теперь пусть воюют другие. С него хватит, он свою долю прошел сполна. Скоро ему не поправиться, а после, когда встанет на ноги, должны отпустить домой. Все – плохо ли, хорошо ли, но уцелел.

Без малого три месяца провалялся Андрей Гуськов в новосибирском госпитале. Грудь, из которой дважды доставали осколки, долго не закрывалась, не заживала. Из дому, поддерживая, прислали посылку, потом другую. Настена просилась приехать, но он рассудил, что ехать и тратиться на дорогу незачем. Все равно скоро нагрянет сам. Солдаты, которые лежали в палате по соседству, поддерживали его в этой уверенности; раненые заранее знали, кому после госпиталя ехать домой подчистую, кому на побывку, кому возвращаться на фронт. Дней на десять отпустят, – определили Гуськову, – не меньше. – Ждите. Жди, Настена! Он теперь и поверить не мог, что когда-то по пустякам обижал ее: во всем свете не было для него бабы лучше, чем Настена. Вернется, и заживут они, – знал бы кто, как они заживут! После войны наступит другой свет и другой мир для всех, для всех, а для них – особенно. Ничего они до войны не понимали, жили, не ценя, не любя друг друга, – разве так можно?!

Но в ноябре, когда подошло время выписки, время, которого с таким нетерпением он ждал и ради которого чуть ли не лизал свои раны, его оглушили: в часть. Не домой, а в часть. Он настолько был уверен, что поедет домой, что долго ничего не мог сообразить, решив, что произошла ошибка, потом побежал по врачам, стал доказывать, горячиться, кричать. Его не хотели слушать. Можешь воевать – и точка. Его выпроводили из госпиталя, натянув обмундирование и сунув в руки солдатскую книжку и продаттестат. Топай, Андрей Гуськов, догоняй свою батарею, война не кончилась.

Война продолжалась.

Он боялся ехать на фронт, но больше этой боязни были обида и злость на все то, что возвращало его обратно на войну, не дав побывать дома. Всего себя, до последней капли и до последней мысли, он приготовил для встречи с родными – с отцом, матерью, Настеной, – этим и жил, этим выздоравливал и дышал, только это одно и знал. Нельзя на полном скаку заворачивать назад сломаешься. Нельзя перепрыгнуть через самого себя. Как же обратно, снова под пули, под смерть, когда рядом, в своей уже стороне, в Сибири?! Разве это правильно, справедливо? Ему бы только один-единственный денек побывать дома, унять душу – тогда он опять готов на что угодно.

И Настену не пустил – не дурак ли? Знать бы заранее, вызвал бы ее к этому сроку, повидал – все легче. Она бы и проводила, а когда провожают надежней: что-то в человеческой судьбе имеет глаза, которые запоминают при отъездах, – есть к кому возвращаться или нет. Все, как на вред, не туда поехало. Если и дальше так пойдет, не живать ему на свете. Уложат в первом же бою.

Он думал о госпитальном начальстве словно о какой-то потусторонней жестокой воле, которую человеческими силами не выправить, как невозможно, скажем, очурать грозу или остановить град. Один, самый главный, бог с бухты-барахты решил, другим пришлось соглашаться. Но он-то живой человек почему с ним не посчитались? Никто, правда, ничего ему не обещал, он обманул себя сам. Но отпускали же, отпускали, он видел, знал, что отпускали, – как было не обмануться?!

Неужели действительно обратно? Рядом ведь, совсем рядом. Плюнуть на все и поехать. Самому взять то, что отняли. Самовольничали, бывало, он слышал, и ничего, сходило. А ну как не сойдет? А не сойдет – туда ему и дорога. Он не железный: больше трех лет война – сколько можно!

На станции он пропустил один состав, потом второй... Мысли Гуськова путались, терялись, он не знал, что делать. И оттого, что не мог ни на что решиться и тратил зря время, злился еще больше. Получая по продаттестату паек, он разговорился в очереди с маленьким веселым танкистом в шлеме и на костылях, с подогнутой, толсто обмотанной правой ногой. Танкист добирался в Читу, на восток.

– А тебе куда? – спросил он Гуськова.

Гуськов неожиданно ответил:

– В Иркутск.

– Вместе поедем, – обрадовался танкист.

Так, в самый последний момент, подсадив своего нового товарища, Гуськов запрыгнул вслед за ним в поезд, идущий на восток. Будь что будет. Если сцапают, скажет, что собрался лишь до Красноярска, затем до Иркутска, решил обернуться за два-три дня – не страшно, вывернется. Иногда, задумываясь о своей выходке, Гуськов даже хотел, чтобы его сцапали и завернули обратно. Но в таких случаях везет: никто его не остановил. Поезда по-прежнему были переполнены, и все в основном народом военным, нахрапистым, к которому подступиться непросто.

Но, проехав до Иркутска больше трех суток, Гуськов не на шутку перепугался. Если двигаться дальше – дня тоже не хватит. И двух не хватит зима. А возвращаться с полдороги – зачем тогда затевал все это, зачем изводился, рисковал, настырничал, кому что хотел доказать? Да и не поздно ли возвращаться? Гуськов вспомнил показательный расстрел, который ему довелось видеть весной сорок второго года, когда он только что пришел в разведку. На большой, как поле, поляне выстроили полк и вывели двоих: одного – самострела с подвязанной рукой, уже пожившего, лет сорока, мужика, и второго – совсем еще мальчишку. Этот тоже захотел сбегать домой, в свою деревню, до которой было, рассказывали, верст пятьдесят. Всего пятьдесят верст. А он вон откуда метнулся. Нет, не простят, даже штрафбатом не отделаться. Он не мальчишка, должен был понимать, на что идет.

Вспомнил еще он, с какой ненавистью и брезгливостью смотрели солдаты на самострела. Мальчишку жалели, его – нет. «Шкура! – говорили. – Ну и шкура! Всех хотел перехитрить».

А он, Гуськов, чем лучше других? Почему они должны воевать, а он кататься туда-обратно – вот как рассудят, вот что поставят ему в вину. На войне человек не волен распоряжаться собой, а он распорядился, и по головке его за это, ясное дело, не погладят.

В Иркутске, растерянно бродя по вокзалу, он столкнулся с глазастой, пронырливой бабенкой, которая согласилась взять его на ночевку и привела к себе, далеко за город, в предместье. Она же сама, без подсказки догадавшись, что солдатик не знает, куда себя пристроить, подтолкнула его наутро к немолодой уже, но чистенькой, гладенькой немой женщине по имени Таня. У Тани он просидел в оцепенении и страхе весь день, все собираясь подняться и куда-нибудь, в какую-нибудь сторону двинуться, просидел так же другой, а потом и вовсе застрял, решив, что ему лучше переждать, пока его окончательно потеряют и дома, и на фронте.

У немой на краю предместья стояла своя избенка. Работала Таня уборщицей в госпитале, бегала туда на дню два раза – рано утром и вечером – приносила с собой завернутые в тряпицу нарезанные ломти хлеба, а в стеклянной баночке – кашу или суп. Хорошо еще, что ей не надо было ничего объяснять, не надо было вообще разговаривать; как по заказу, на удивление удобно и удачно ему подвернулась женщина, у которой бог отнял слово. Сказать ему нечего было даже самому себе. Порой, забывшись, он не понимал, как, почему здесь очутился, что его сюда привело, затем вдруг начинал видеть каждый свой шаг к поезду и каждый свой час в поезде до того близко и ясно, что скребло, надрывая душу. Он все еще был не в состоянии прийти в себя от случившегося и то подолгу сидел неподвижно, с пустым лицом, уставившись в одну точку, то срывался и принимался вышагивать, стараясь унять навалившуюся боль; избенка от его тяжелых шагов сотрясалась, а он все метался и метался из угла в угол и никак не мог успокоиться. Он как-то враз опостылел себе, возненавидел себя, хорошо понимая, что в том положении, в каком он оказался, хлопот с собой не оберешься.

И это чувство, а вернее, это самочувствие, это отношение к себе обложило его надолго.

Таня была на редкость ласковая и заботливая баба: Она ничуть не страдала от своей немоты, не озлобилась, не отшатнулась от людей; ни разу, сколько Гуськов жил, он не заметил ее угрюмой или чем-то недовольной. Лицо ее не было веселым, но оно было спокойным и добрым, готовым в любой момент на улыбку. Казалось, немота ей дана не в наказание, а в облегчение. С самого начала Гуськов не мог отделаться от ощущения, что она знает о нем все. Знает и жалеет его. Точно так же ему представлялось, что он очутился у Тани не по своей воле, что его привела сюда чья-то указующая, руководящая им рука. Зачем только – чтобы помочь или осторожно, постепенно погубить?

Возвращаясь с работы, Таня доставала свои баночки и сверточки и, устроившись напротив Гуськова, жадно, с любопытством и удовольствием смотрела, как он ест. Наевшись, он в благодарность легонько хлопал ее, будто мужика, по плечу. Счастливая, растревоженная этой грубоватой лаской, она ловила его руки и прижимала к своей щеке, затем принималась что-то показывать, но он не понимал. Горячась, она маячила на пальцах быстрей, торопливей – он мотал головой и отворачивался. Тогда, чтобы успокоить его, она оставляла попытки объясниться и виновато протягивала к нему руки.

Со временем Таня все же научила Гуськова разбирать многие свои знаки. Она втолковывала ему их с той же любовью и терпением, с какой ребенка учат говорить. Но ему была неприятна эта немая азбука, и он, как мог, отлынивал от нее. Оставаться здесь надолго он не собирался. По ночам, когда Таня прижималась к нему, Гуськову не на шутку представлялось, что он слышит ее обессиленный и подталкивающий шепот – те самые слова, которые вырываются в таких случаях у всех баб. Он пытливо замирал и, веря, что ошибается, не мог все-таки освободиться от недоброго чувства, что Таня – не та, за кого она себя выдает. Но и он, и он теперь был неизвестно кто. Все в нем сдвинулось, перевернулось, повисло в пустоте. Ехал ненадолго – застрял совсем, думал о Настене – оказался у Тани. Об остальном и вовсе было страшно рассуждать. Расхлебывай – не расхлебать, кайся – не раскаяться.

Через месяц ему стало совсем невмоготу. Хоть на смерть, но дальше. Поздним вечером, когда Таня убиралась в госпитале, он сбежал от нее. Дороги назад теперь ему не было, дорога оставалась одна – домой.

От Иркутска приходилось осторожничать изо всех сил. Показываться среди бела дня в деревнях он себе запретил: мало ли кто может повстречаться? Отсиживался на заимках, в зимовьях, в зародах сена, высматривал и пугался каждой фигуры, глухо матерился, замерзая и проклиная себя, а ночью, когда затихала жизнь, припускал со всех ног. Хорошо еще, что дни стояли короткие, спичечные.

Наконец в одну из крещенских ночей добрался он до Атамановки, остановился перед ее верхним краем и усталым, изможденным от снега взглядом окинул расходящиеся на две стороны белые крыши домов. Никаких чувств от встречи с родной деревней он не испытывал – не в состоянии был испытать. Постояв немного, он спустился к Ангаре и по льду, не видя из-под яра деревни, добрел до своей бани. Там, едва притворив за собой дверцу, он упал навзничь на пол и долго лежал неподвижно, как мертвец.

Под утро, еле волоча ноги, он поплелся на другую сторону Ангары. На плече он тащил лыжи, за поясом у него болтался топор.

Укрылся Андрей Гуськов в Андреевском, в старом зимовье возле речки. Расшурудил давно не троганную печку, вскипятил в манерке чаю и впервые за много волчьих дней согрелся. Через полчаса его вдруг стало сильно трясти, он видел по рукам и ногам, как ходит весь ходуном, – то ли тело, долго не знавшее тепла, набрало его сразу чересчур много, то ли сказывалось нервное напряжение, постоянное ожидание вот этого мига, когда можно будет наконец расслабиться, не остря каждую минуту глаза и уши, и отдохнуть.

Еще в Иркутске, прикидывая, где ему возле Атамановки приткнуться, он выбрал именно эту зимовейку. Стоит она как нельзя лучше, в глубоком, загнутом за гору распадке, откуда не подняться дыму, топи хоть круглые сутки. Кроме того, рядом, в двух шагах, речка, и по наледи сюда можно добираться, не оставляя следа.

Ничего не поделаешь, теперь приходилось думать прежде всего об этом. Удобно, конечно, что за Ангарой, сюда и в прежние годы мало кто заглядывая, а сейчас и подавно никто не полезет. Даже для бакенщика за островом не было работы: пароходы ходили по широкому, правому рукаву.

Атамановские поля и угодья испокон веку лежали на своей стороне, их и там хватало с избытком. Охота, рыбалка, любой промысел тоже были под своим боком, места к Лене я по зверю, и по ореху, и по ягоде считались богаче, поэтому за реку плавали редко. Остров напротив деревни, правда, косили, а заодно и обирали от ягод, он так – Покосным – и назывался.

Но еще до японской войны пришел в Атамановку из Расеи переселенец Андрей Сивый с двумя сыновьями. Пообсмотрелся, поогляделся и, на удивление мужикам, выбрал себе место для хозяйства за Ангарой. Избу поставил, как все люди, в деревне, а целину для пашни разодрал здесь. Особенно много ему корчевать и не пришлось, полян и прогладей, удобных для работы, тут было достаточно.

Срубил два зимовья: одно у речки, поближе к покосам, второе повыше, на взлобке, километрах в двух от первого, и повел хозяйство, да еще как повел!

С тех пор край этот и стали называть Андреевским, по имени Андрея Сивого.

Сам он к колхозной поре успел умереть, один из его сыновей не пришел с германской, а второго в тридцатом году раскулачили и вместе с семьей куда-то выслали. Так и не пустил переселенец Андрей Сивый корни на новой земле.

Поля его, как и следовало ждать, колхоз забросил. Стоило ли ради нескольких гектаров снаряжать людей и весной, и летом, и осенью к черту на кулички? Переплавлять через Ангару сеялки, жатки? Заводить ради этого паром? Действительно, стоило ли?

И вот теперь Андрей Гуськов должен был помянуть добрым словом переселенца Андрея Сивого, давшего ему удобное со всех сторон и надежное пристанище.

Если его жизнь здесь затянется, нижнее зимовье годится только до лета. Затем придется перебираться в верхнее или куда-нибудь еще – на тот случай, если сюда вдруг вздумает заглянуть рыбак или какая другая неспокойная душа.

И он решил: надо завтра же сходить к верхнему зимовью, посмотреть, что с ним сталось. Лыжи есть. По речке он поднимется вперед, потом на лыжах сделает крюк и зайдет с другого конца. Надо как-то устраиваться, если хочешь жить, оглядываться, что у него есть, с чем начинать новую жизнь. Ружьишко бы. Надо объявиться Настене, больше никому. Один он пропадет.

Вяло поразмыслив обо всем этом и чуть успокоившись от бившей его дрожи, он подкинул еще в печурку, свалился на нары и спал без просыпу сутки кряду, до утра следующего дня.

5

Вечером, как никогда ранняя в этом году, была подписка на заем, и Настена размахнулась на две тысячи. Только один Иннокентий Иванович из деревни дотянул до этой цифры, но у Иннокентия Ивановича, всякий знал, денег куры не клюют, его так и звали: Иннокентий Карманович, а из чего, из каких шишей собиралась рассчитываться Настена, она и сама не представляла. Михеич занемог или отговорился хворью, и на собрание пошла Настена, а о чем, по какому вопросу оно будет, заранее не сказали. И вот нате – бухнула. Уполномоченный похвалил, народ подивился, а Настена и сама испугалась своей смелости, но слово, как известно, не воробей, вылетит – не поймаешь. Отступать было поздно. Какой-то понимающий голос изнутри успокоил Настену, что она делает правильно. Коль сказала, значит, что-то подтолкнуло ее так сказать, неспроста это вышло. Может, хотела облигациями откупиться за мужика своего... Кажется, о нем она в это время не думала, но ведь мог и за нее кто-то подумать.

Михеич, как пришла и заикнулась про заем, сразу спросил:

– Ну и на сколь?

– На две тыщи.

Он вскинул от починки, за которой сидел на лавке, голову и не поверил:

– Ты че, дева, со мной шутки шутишь?

– Какие шутки...

– А с ума не спятила? Они, может, у тебя есть? Может, спрятанные лежат?

– Нету.

– Чем ты в таком разе думала? Где ты их собираешься брать? Меня или ее, – он кивнул на печку, где лежала Семеновна, – может, хочешь загнать? Дак нас никто даром не возьмет.

– Сказали, в последний раз. Для победы.

– Для победы...

На печи завозилась Семеновна, высунула голову:

– Це, це она говорит?

– Говорит, что богатые сильно стали. Что денег много накопили. Так много, что девать некуда.

Настена пошла на свою половину, за ситцевую занавеску, где они с Андреем спали раньше и где до сих пор стояла ее кровать. Настена знала, что Михеич покипит, покипит и остынет, а свекровь, когда разберется, что к чему, заведется надолго, ее пару хватит на месяц, а то и больше. Черт с ними! Выплатит она как-нибудь эти деньги, что-нибудь потом придумается. И собрание не последнее... Зато благодаря подписке заработала она право завтра ехать в Карду, и две тысячи вышли ей тут козырным тузом, без них у нее, конечно, ничего бы не получилось.

Она все рассчитала правильно. После собрания, видя, что Нестор, председатель колхоза, доволен подпиской – спущенную цифру подняли, не уронили, – с улыбочкой, что твоя именинница, подкатила к нему:

– Нестор Ильич, – Даже повеличала, чтобы подольститься, – кто завтра товарища уполномоченного поедет отвозить? Нестор хитро прищурился на нее и окликнул:

– Товарищ уполномоченный, а товарищ уполномоченный! Тут вот наша сегодняшняя ударница изъявляет желание с тобой завтра до Карды прокатиться. Как ты – не против?

Подошел уполномоченный, какой-то мятый весь, подержанный мужичонка с пучками волос на голове, и заворковал, заглядывая Настене в глаза:

– Какой же мужчина будет против? Я даже мечтать о таком провожатом не надеялся.

Нестор по-свойски хлопнул его по плечу:

– Ты только обратно ее потом отпусти. – И подмигнул Настене. – Долго не держи, а то у нас и так тут работать некому.

Завтра она поедет в Карду. Предстояло еще сообщить эту новость Михеичу, но лучше утром, на сегодня ему хватит и двух тысяч. Господи, что у нее теперь за жизнь пойдет?! Что с ними будет?! Что будет?!

...Той ночью, о которой уговорились в первую встречу, Настена отнесла Андрею ружье. Отыскала и патроны, но провианту у Михеича не было, и она с трудом наскребла на два-три заряда. Этого, конечно, мало, Андрей так и сказал, но собирать по деревне она боялась: тут же передадут свекру, и он всполошится. Деревня маленькая, и кто к кому вчера ходил за солью, кто у кого занимал до выпечки ковригу хлеба, знают все. Настена и так тайком от Михеича сняла в амбаре со стены ружье, завешанное одеждой; хватится неизвестно, что будет. Пока об этом не хотелось даже думать.

Андрей на этот раз в бане показал себя совсем другим человеком. Не стращал ее, не вздрагивал при каждом звуке, а сидел молча, потерянно, убито, сидел и не мог ничего сказать. Ей до того стало жалко его, что она чуть не разревелась. Уходя, он открылся:

– Выберешься, прибегай ко мне в Андреевское, в нижнее зимовье. Я там. И попросил дрогнувшим голосом: – Прибегай, Настена. Я буду ждать. Но только чтоб ни одна собака тебя не углядела.

Ради уполномоченного дали доброго коня, Карьку, на котором ездил сам Нестор. Настена запрягла его в председательскую же кошевку, подкинула в нее сена и подвернула Карьку к избе Нестора, где ночевал уполномоченный. Там еще только усаживались за чай, и Настена поехала к себе, чтобы сразу собраться и больше домой не возвращаться.

Утром, когда поднялись, Михеич как будто даже обрадовался тому, что Настене выпала эта поездка. В доме вышел керосин, и уже дважды Михеич воровски приносил его в бутылке из своей конюховки, да еще раз бегала прямо с лампой Настена к Надьке. И спички пора подновить, соль. Была надежда и на мыло, но надежда слабая, давно уж его не видели в глаза, стирали щелоком. В Атамановке с двадцатого года, когда партизан Гаврила Афанасьевич утопил в проруби торговку Симу, державшую лавку, негде было гвоздя купить, и за всякой даже чепуховой надобностью приходилось снаряжаться в Карду.

Но что особенно вышло удачно – Михеич сказал:

– И посмотри там, дева, в охотке пороху да дроби. Оно и стрелять уж с какой поры не стреляю, а про запас иметь надо. Может, по весне козуля в огород заскочит.

Он вынес из кладовки железную банку под керосин и бросил к ногам Настены свою собачью доху.

– Седни-то обратно ждать, нет?

– Не знаю. Как магазин. Как обернусь.

– Но-но. Не седни, дак завтра. – И не утерпел, вспомнил: – Не могла ты вчерась с самого утра куда-нибудь ухлестать. Не навязала бы мне на шею эти две тыщи. Шутка ли? А? Молчишь, дева? Ты бы вчера лучше помолчала или вполовину мене язык-то свой высовывала, а сегодня можно и поговорить. Ладно, езжай с богом, езжай. И зайди там еще в сельсовет, узнай, нет ли чего нового про Андрея. И на почту загляни. Может, письмо лежит или бумага какая.

Семеновна уж в который раз зудила с печки:

– Я бы где же одна ш чужим мужиком поехала. Да ишо по нонешним-то временам. О гошподи! Не знают, на кого и вешаться. – Половину букв Семеновна не выговаривала. – Ить он за кошевкой вшю дорогу не побежит, ить он ш ей рядом шядет.

– Ладно, ладно, старая, не выдумывай, – останавливал ее Михеич. Лежишь – ну и лежи себе, не насбирывай что попало. Нашла за кого бояться за Настену!

Добрая душа Михеич. Не он – Настене в эти годы пришлось бы совсем худо. Семеновна готова держать ее на привязи, от работы да от хозяйства не пускать ни на шаг. А на кого, спрашивается, тут заглядываться, когда на всю деревню один мужик, да и тот припадочный Нестор, которого и на войну-то из-за болезни этой не взяли и за которым в четыре глаза смотрит, в шесть рук хватается собственная баба. Михеич сам выпроваживал Настену за дверь: иди, иди, дева, к бабам на посиделки, поговори, посмейся, ты молодая, чего с нами, со стариками, киснуть.

Добрая душа Михеич, но скоро, похоже, разладится и с ним. Хватится он ружья, хватится одного, другого, а ей и ответить нечего. На воров сваливать нельзя: пойдет шум, начнут допытываться, доискиваться, и всплывет у кого-нибудь нечаянная догадка: почему воруют только у Гуськовых? Не свой ли человек рядом ходит, не своим ли пользуется, зная, где что лежит? Андрей запретил даже близко намекать о себе отцу. Вот тут и выкручивайся. Семеновна уж потеряла на днях ковригу, которую Настена унесла Андрею во вторую встречу, – пришлось придумать, что заняла Надька. А что будет дальше?

Поэтому в Карду Настене надо было позарез. Везла она с собой в отдельном узелке шерстяную вязаную кофту и, на всякий случай, если не позарятся на кофту, дорогую и красивую серую оренбургскую шаль, которую Андрей купил ей еще в первый год, как сошлись. Везла, чтобы обменять на муку. Картошки с ведро она Андрею утащила, а муку отсыпать побоялась: ее и всего-то в ларе осталось квашни на две. Будет у мужика мука – все легче: можно стряпать лепешки и потихоньку прикусывать. Обменивать она станет как бы для эвакуированной Маруси.

Карда – деревня большая, и концы в воду там спрятать можно. Кофту Настена, кстати, у Маруси и выменяла в прошлую зиму, так что тут правду от неправды почти не отличить. Вся Карда знает, что Маруся со своими ребятишками всю войну только тряпками и спасалась.

Выехали уж поздно, когда поднялось оплывшее прозрачное солнце. Мороз после крещенской заверти давно отпустил, утро было прохладное, но ясное и податливое к теплу, чувствовалось, что днем отмякнет еще больше. Карька сразу от деревни взял ходко и не терял рыси, кошевка по накатанной дороге скользила, как по льду, весело поскрипывая полозьями. От полей, покрытых снегами, поднималась парная синь, в воздухе перед окоемом мерещились стоячие белесые полосы. На голых березах сидели молчаливые вороны и чистили крылья, по-куриному оттопыривая их на сторону. Все вокруг, пригревшись, дышало свободно и жадно. До весны еще жить да жить, а она уже сказывалась, обещалась быть.

Настена бросила доху в ноги уполномоченному и встала у головок на колени, лицом вперед. От подков в лицо летел снег; Настена жмурилась, но не отвертывалась. Эта быстрая, с ветерком, езда, этот, казалось, протиснувшийся не в свой черед, словно специально для нее выдавшийся, тронутый весной день вызвали в Настене возбуждение, нетерпение, желание делать что-то наперекор всем, даже себе. Хватит, насиделась курицей в курятнике – вперед, Настена! Не бойся, Настена, – вперед! Радость твоя теперь должна быть особой радостью, твоя печаль от всех должна быть далеко. А ты не трусь: гони, скачи, не оглядывайся.

Уполномоченный лез с разговорами – она неохотно отвечала. Есть же такие мужики: все вроде на месте, а не мужик, одна затея мужичья. Вот и этот такой – ему только на облигации баб и подписывать. Не говорит, а всхлипывает, и лицо как застиранное: сколько раз за жизнь умывался – все, как на материи, осталось на нем, вот-вот местами покажутся дырки.

Кончились поля, проехали речку, и с обеих сторон встал вековой ельник. Здесь было тихо и мертво – ни ветерка, ни собственного звука, только цокал копытами Карька. Лишь изредка с веток, дымя, опадал снег да чуть подрагивали в вышине сходящиеся над дорогой острые верхушки деревьев – вот и вся жизнь.

Но уполномоченный здесь неожиданно осмелел. Сидел, сидел и вдруг схватил Настену сзади за ноги, повалил на себя и захрюкал. Настена ловко сама не думала, что так сумеет, – вывернулась и тут же вывалила его из кошевки в снег; Карька испугался и поддал, а Настена не стала его удерживать: пусть промнется товарищ уполномоченный, погорячит свою кровушку ножками. Три с половиной года, как доска, жила одна, но на такого ни за что никогда не позарилась бы. А теперь у нее есть мужик, не этому чета, как-нибудь успокоит.

Уполномоченный подбежал, запыхавшись, и, ничего не поняв, приняв Настенино сопротивление за игру, снова полез к ней. Пришлось осадить его как следует. Он захлопал глазами и притих, а через полчаса, словно вывернувшись, уже хвастал женой, рассказывал о ребятишках. Настена успокоилась – давно бы так – и заторопила Карьку.

В Карду приехали засветло, магазин, на счастье, был открыт. И тут повезло: оказалось, что есть и керосин, и провиант – самое главное, чем можно прикрыться перед Михеичем. И сразу же явилась отговорка, которую она представит свекру: мол, в первый день керосину не было, ждала, когда привезут. Против такой причины возразить нельзя. Мылом Настена, конечно, не разжилась, а спички и соль купила. Присмотревшись, выглядела еще свечи и взяла пять штук – откуда, из какой церкви их сюда занесло, неизвестно. Сроду Настена не помнила, чтоб в сельпо продавали свечи, а тут, как по заказу, лежат, горюют, уже старые, почерневшие, погнутые. Три она отвезет домой, а две оставит Андрею – все будет мужику чем посветить, когда понадобится, все иной раз станет веселее.

Правду говорят: коль повезет, то повезет до конца. Вечером Настена легко обменяла кофту на полпуда муки, шаль не пришлось даже показывать. Это так ее обрадовало, что на ночь глядя она засобиралась было обратно, да, слава богу, одумалась. Ночью спала и не спала, слышала сквозь стены, как хрумкает сено Карька, как отряхивается он от мороза и перебирает ногами. Помаялась, помаялась, тихонько поднялась, запрягла Карьку, тайком от хозяйки, знакомой солдатки, у которой остановилась, подбросила в кошевку сена на день коню и выехала. Ни одна собака не брехнула ей вслед, ни один звук не отделился от пристывшей во сне деревни.

За последними избами Настена потянула коня вправо, на Ангару. Карька непонимающе остановился: дорога домой шла прямо. Озлясь, Настена огрела его вожжами. Опять, как и вчера, ее охватило нетерпение, от него она вся тряслась, как в лихорадке, и готова была выскочить из саней и бежать поперед Карьки. Скорей, скорей! Знала, что нельзя гнать коня через Ангару: угодит где-нибудь в расщелину и останется без ноги, – и все-таки погнала. Она торопилась затемно, чтобы ее не увидели, проскочить Рыбную. Сердце колотилось во всю мочь, и, поддаваясь ему, Настена подпрыгивала, вертелась на подстеленной сверху дохе, размахивала вожжами и выкрикивала какие-то непонятные и жуткие слова. Скорей, скорей...

Все скорей, все, что есть и что будет!

И лишь когда Рыбная осталась позади, она попридержала Карьку и опустила вожжи. Теперь недалеко. Вся ее лихорадка как-то разом пропала, на душу пала пустота. Где-то в груди горчило, будто она наглоталась дыму, а отчего, Настена не знала.

По тому, как потускнела ночь, она поняла, что скоро начнет светать.

Она ехала и думала: вот и научилась ты, Настена, врать научилась воровать. А ведь это только начало – что с тобой, Настена, будет дальше? Но вины она за собой все-таки не чувствовала, не признавала, хотелось лишь краешком глаза заглянуть вперед, подсмотреть, чем все это кончится.

Уже рассвело, когда она остановила Карьку, взяла его в повод и повела по наледи в открывающийся с берега распадок.

6

– Ну, здравствуй, что ли, – сказала Настена и осторожно улыбнулась.

Она застала его врасплох. Он не слышал, как она подъехала, как, наскоро привернув коня вожжой к оглобле, оставила его на речке и тихонько подошла к зимовейке. Он спал, натянув на голову полушубок. И только когда Настена стала открывать дверку – его будто взрывной волной сбросило с нар, едва удержался на ногах. И вот теперь, взлохмаченный и ошалелый, он стоял перед Настеной, все еще не в силах поверить, что это она, и испытывая противное и досадливое чувство, что так перед ней напугался.

Наконец-то Настена могла разглядеть его: все та же корявая, слегка вывернутая вправо фигура и то же широкое, по-азиатски приплюснутое курносое лицо, заросшее черной клочковатой бородой. Глубоко посаженные глаза смотрели вызывающе и цепко, по шее неспокойно взад-вперед, как челнок, ходил острый кадык. И похудел, осунулся, поджался, а не надломился – видно, что сила и крепость еще остались, казалось, тронь – и зазвенит, спружинит от любого удара. Он, знакомый, близкий, родной Настене человек, и все же чужой, непонятный, не тот, кому она знала, что говорить и как спрашивать, и кого провожала три с половиной года назад.

– Вот, – виноватой улыбкой снова начала она, – приехала поглядеть, как ты тут. Ты не думай, никто не видел. Я уж сегодня из Карды прикатила, пока ты тут спал. Кой-чего привезла тебе на черный день.

– У меня теперь все дни черные, – впервые отозвался он.

Он был в ватных брюках и шерстяных носках. Только сейчас Настена заметила, что одна щека у него обморожена, на ней темнело пятно.

Понемножку он приходил в себя: сунул ноги в валенки, взялся за печурку. Настена шагнула было к двери, но он остановил:

– Куда ты?

– Да надо затащить сюда хозяйство-то мое, а то что ж на морозе будет.

– Сейчас пойдем вместе.

Они оставили в кошевке только банку с керосином, все остальное занесли в тепло. Потом отогнали Карьку вверх по речке за поворот, распрягли его там и подпустили к сену. И все молча, не лучше, чем чужие, обходясь самыми необходимыми словами, вроде – «возьми» да «подай».

Настена все еще не знала, как к нему подступиться и что сказать, а он то ли по-прежнему не мог преодолеть свою растерянность и оттого злился, то ли не решался сразу натягивать соединявшие их связи, которые за эти годы, неизвестно, сохранились или нет.

Пока управлялись с конем, в зимовейке нагрелось, и Настене пришлось раздеться. Она присела на нары, застланные пихтовым лапником, и сразу поднялась – нет, надо было что-то делать, чем-то успокоить себя и его, каким-то пустяком связаться вместе. Подошла к двери, где лежали сваленные в одну кучу манатки, выпростала из дохи наволочку с мукой и похвастала ему:

– Вот, достала в Карде муки тебе. Будешь лепешки стряпать. Он в ответ бегло кивнул.

– Это что же получается? – обиделась Настена. – Почему ты меня так встречаешь-то? Слова не скажешь. А я к тебе на всех рысях середь ночи летела, думала, обрадуешься. Может, мне лучше назад повернуть?

– Не пущу!

По тому, с какой решимостью, с какой злой, откровенной уверенностью он это сказал, Настена поняла: не пустит, ни за что не пустит. Она подошла к нему и вытянутой вперед, слабой, щупающей, как у слепых, рукой коснулась его головы.

Он повернул к ней побледневшее лицо и сказал:

– Неужто думаешь, я не рад, что ты приехала? Рад, Настена, еще как рад! Да радость-то у меня теперь ишь какая: ей требуется знать, нужна она или нет, можно ее показывать или нельзя.

Настена ткнулась ему в грудь головой:

– Господи! О чем ты говоришь? Я же тебе не чужая. Мы с тобой четыре года вместе прожили – или этого мало?

Он попридержал ее за руки и, не ответив, отпустил. Но она уже видела, что он поддается ей, отходит – вот и голова, не выдержав, склонилась набок, на подставленное плечо, – верный, только ей одной известный признак того, что он оттаял. По этому признаку она определяла раньше его настроение: если голова набок – говори, что хочешь, смейся, дури – все простит и поддержит, потянет в игре еще дальше и успокоится не скоро и не охотно. Нет, что-то осталось в нем от прежнего Андрея. Она улыбнулась ему неполной, наполовину придержанной, требующей поддержки и взаимности улыбкой и сказала:

– А я ведь тебя в первый раз сегодня только и увидела. Чудной ты с этой бородой.

– Почему чудной?

– Да какой-то... – Она засмеялась и так же прикусила, остановила смех. – Как леший. Я в бане понять не могла, кто со мной – ты или леший. Думаю, своему мужику берегла, берегла, а тут с нечистой силой связалась.

– Ну и как нечистая сила?

– Ничего. Но свой мужик лучше.

– Хитрая ты. Никого не обидела. Принеси-ка мне в следующий раз бритву, уберу я эту лохматину.

– Зачем?

– Чтобы не походить на лешего. – Он сказал и тут же одумался. – Хотя нет, не буду. Пускай торчит. Чтобы не походить на себя. Уж лучше на лешего.

– Господи! Что ж я мужика-то своего не кормлю, – спохватилась Настена. – Приехала тут разговоры разговаривать. – В заполохе она забыла, что они не успели еще двух слов сказать. – Ну, баба! Вот что значит: давно никто не колошматил.

Он внимательно посмотрел на нее и хмыкнул:

– Никто, говоришь, не колошматил?

– Ну.

– Соскучилась, что ли?

– Ну, так некому было на ум наставить. Ладно, садись, я счас.

– Надо хоть чаю поставить, – вспомнил он.

– Ставь – что ты стоишь, как неживой. Воды, что ли, у тебя тут нету?

Ей нравилось хоть ненадолго почувствовать себя хозяйкой и покомандовать над ним – так редко это случалось раньше, и неизвестно, удастся ли впереди. Она заставила его подбросить в печку и сбегать на речку за водой, потом развязала на его глазах свой узелок и открыла на свет ковригу ржаного хлеба и большой кусок сала. Сало еще с осени припрятала Семеновна для него же, для Андрея, когда ждали его на побывку. Побывка сорвалась, но приготовленное для встречи по какой-то старой, суеверной примете не трогали: изведешь жданки не дождешься и встречи. С месяц назад Настена нечаянно наткнулась на сало, завернутое в тряпицу и затолканное в дальний угол на полке в амбаре, и вот вчера половину отрезала. Для кого хранится – тому и пригодится. Где-то так же стоит, наверно, в запыленной бутыли самогонка, ждет, когда ступит Андрей на отцовский порог и придет час поднять за него, желанного, стаканы.

Еще до войны видела однажды Настена в кино (ей и всего-то три раза довелось посмотреть это чудо), как городская баба, не зная, чем угодить мужику, которого она без ума любила, кормила его, как маленького, из рук. Вспомнив сейчас об этом, Настена из какой-то вдруг приспичившей, незнакомой ей раньше причуды тоже решила подносить куски сала в рот Андрею, но он не позволил. Ей стало и неловко за себя, и весело, словно она переступила уже через какую-то мелкую стыдинушку и теперь могла ступать дальше. Но чай им пришлось пить из одной посудины – из крышки от солдатской манерки, передавая ее из рук в руки, и то, что Настена брала эту крышку после Андрея, а затем снова передавала ему, почему-то также волновало ее.

Да и все здесь волновало и в то же время пугало Настену – и запущенная, без жилого духа, зимовейка с как попало набросанными на землю плахами вместо пола, с прогнувшейся в потолке доской, с черными, в засохших тенетах, неровно стесанными стенами, и не тронутый ничьим следом, блестящий на солнце снег за окном, спадающий с горы огромным валом, и Андрей рядом, признанный теперь уже при свете дня, но не ставший от этого более понятным, и сама она, невесть как и зачем очутившаяся в этом дальнем, заброшенном углу. Отвлекшись на мгновение, она всякий раз поражалась, что видит перед собой Андрея, и тогда приходилось делать немалое усилие, чтобы вспомнить, почему он здесь. Лишь после этого все становилось на свои места, как оно есть, но стояло непрочно, шатко, так что положение это нужно было постоянно поддерживать, чтобы не уплыло оно опять куда-то и не потерялось – настолько все казалось неправдашним, придуманным или увиденным во сне.

Настена словно бы играла в прятки сама с собой: то была уверена, что все это со временем обязательно кончится хорошо, стоит лишь выждать, потерпеть, то случившееся вдруг открывалось такой проваленной, бездонной ямой, что от страха перехватывало дух. Но она не показывала страх, притворялась веселой. Неизвестно еще, что будет завтра, а сегодня ее день, сегодня за целые годы можно устроить выходной, дать свободу и отдых всему, что в ней есть.

Она съела за столом совсем немного, чтобы не отнимать у Андрея, и, разморенная теплом, зевнула.

– Наши думают, я в Карде, а я тут у тебя, – неизвестно к чему сказала она. – Вот бы знали.

Андрей не ответил.

Она постелила на нары доху, скинула с ног валенки и улеглась, широко раскинув руки. Андрей покосился на нее из-за стола – она, чтобы подразнить его, закрыла глаза, словно засыпая, и примолкла. Но едва он стал подходить, она быстро, одним рывком вскочила на колени, выгнулась вперед и бойко, по-девчоночьи, протараторила:

– Отскочь, не морочь, я тебя не знаю.

– Чего-чего?

– Отскочь, не морочь, я тебя не знаю.

– Гляди-ка ты!

Поддаваясь игре, он прыгнул к ней, она увернулась, поднялась возня, как когда-то давным-давно, в первый год их совместной жизни. Ох и дурили же они – пыль столбом стояла. Настена была не из слабеньких и сдавалась не сразу, с него, случалось, семь потов сойдет, пока она попросит пощады. Но сейчас ей почему-то не хотелось пытать его силу, она опустила руки. Он понял это по-своему и заторопился, засуетился, как мальчишка, – тогда она осторожно, чтобы не обидеть, удержала его:

– Тише, Андрей, не гони, не надо. Любовь-то моя сколько без корма, как худая кобыла, жила. Не надорви ее, не понужай.

Он послушался и, как никогда раньше, в первый раз, сколько она его знала, обошелся с ней ласково и внимательно, подлаживаясь под нее и угадывая каждое ее маленькое желание.

Отдыхая, Настена испытала неловкое и забавное чувство, будто она была не со своим, а с чьим-то чужим мужиком, на которого не имела права. Но чувство это скоро прошло. Она стала уже забываться, когда на мгновение ей показалось, что только что каким-то чудом ей удалось подглядеть себя далеко вперед нынешнего дня; что-то там было иное, чем здесь, но и там она тоже мелькнула не одна, хотя он в ее глазах почему-то не удержался, и она не знала, Андрей это был или кто-то другой. Наверное, Андрей, ни о ком больше она не помышляла.

Ей захотелось что-нибудь сказать ему, что-нибудь хорошее, свое, но, не найдя больше, с чего начать, она попросила:

– Покажи, где ранило-то тебя...

Он расстегнул рубаху и открыл на груди красноватые рубцы. Настена осторожно погладила их.

– Бедненький... убить хотели... совсем зажило, не болит?

– Сейчас, уж лучше, только ноет. Особенно в непогоду. А так – будто мешает все время, будто торчит что-то, не притерпелся еще.

Только что, час назад, она не могла взять в толк, как и почему очутилась здесь, а теперь ей уже представлялось, что она и не знает ничего другого, что она находилась в этих стенах всегда. Все, что можно было припомнить из какой-то иной жизни, смутно виделось позади беспорядочными обрывками растерянных снов. Неужели где-то там есть еще люди, война, смерть и беды? Когда это было, и было ли это когда-нибудь вообще? Воздух в зимовейке горчил, густая, неземная тишина убаюкивала, укрывала от всяких забот и хлопот, пьянила свободным и одиноким существованием. Успокоившееся тело раскинулось во всю сласть, лежало молча и забывчиво, не напоминая о себе ни одним желанием.

– Ты не рассердишься, если я усну? – слабым и счастливым голосом спросила она.

– Спи, спи.

Он приподнялся на локте, чтобы видеть ее, – она уже спала. Красное от зимнего загара, круглое лицо обмякло и светилось сквозь сон вольной улыбкой. Оно за эти годы чуть поддубело, огрубло, с него исчезли совсем, а исчезать стали еще при нем, девическое нетерпение и удивление, которые вечно были на виду: ой, как интересно, а что дальше? Сказка скоро кончилась, все тайны были открыты, а если и выпадало иной раз что-то еще удивительное, то оно догоняло, казалось, из прошлого, из того, что в спешке было пропущено по пути.

На грудь, где расстегнулась кофта, Настена положила руки, и они вздымались вместе с грудью, чуть пошевеливаясь в пальцах. Андрей заметил, что руки тоже набрякли и потяжелели – это от работы... От глубокого и ровного дыхания исходил теплый и сладкий, парной запах.

Он придвинулся к Настене вплотную, осторожно обняв, и услышал, как бьется ее сердце. Оно стучало отчетливо и близко, с каждым тукающим ударом наполняя его неясной, болезненной тревогой. Она, тревога эта, все прибывала и прибывала, и оттого, что он не знал, к чему она относилась и что предвещала, было еще неспокойней. Лежать больше он не мог и поднялся, тихонько сполз с нар и воровато, из-за спины, оглянулся на спящую Настену. «Спи, спи», – зачем-то шепнул он, но больше всего он хотел, чтобы она проснулась. Быть рядом с ней и не слышать ее, пропустить все, что она могла бы сказать и сделать, становилось невмочь, в груди быстро выстыло и опустело, сжалось, требуя движения и тепла.

Он вышел на воздух и зажмурился – так неожиданно ярко и резко ударил в глаза свет. Казалось, все солнце, стоящее как раз над горой, скатывалось с горы сюда. Снег пыхал, искрился, а в легких тенях отливало мякотной синью. Тепло было весеннее, с запахом. На углу крыши у зимовейки наплавлялась сосулька, на мелких от снега, проплешистых местах распрямлялся голубичник.

Андрей дышал с придыхом, словно давясь воздухом, Он сходил напоить коня, затем спустился к Ангаре, чтобы посмотреть, не видать ли чего постороннего. Но беспокойство не исчезало. Андрею казалось, будто сейчас, как раз в эти минуты он по своей глупости теряет что-то важное, невозвратное, донельзя необходимое ему, чего потом не найти.

Он вернулся в зимовейку – Настена все еще спала. Не находя места, он опять приткнулся к ней, прильнул головой к ее груди, но, задыхаясь от близости, отстранился. Настена во сне нашла рукой его голову, провела по волосам, и от этого прикосновения ему вдруг стало легче. Он закрыл глаза и, чувствуя на плече спасительную руку Настены и представляя, как он, медленно кружась, вворачивается в какую-то мягкую и просторную пустоту – это всегда помогало ему уснуть, – скоро забылся.

Они проснулись одновременно. Настена открыла глаза, взглянула на него, и он, вздрогнув, очнулся. Она улыбнулась ему.

Солнечное пятно из окна сместилось далеко к двери: день пошел под уклон.

– Так сладко поспала, – сказала Настена. – Уж и не помню, когда еще так доводилось – на самом дне. А все потому, что рядом с тобой. Гляжу на тебя и не верю, что это ты. А во сне, вот видишь, поверила, растаяла до последней капельки. Спокойно-спокойно было...

После сна они встретились словно бы заново и смотрели друг на друга с удивлением и ожиданием. Настена хотела подняться, но он удержал, и она, обрадованная этим, засмеялась.

Они все оттягивали и оттягивали разговор, хоть и понимали, что никуда от него все равно не деться.

7

– Возвернись я туда, я бы там и остался – это точно. Сколько держался, воевал и воевал, не прятался, не хитрил, а тут нашло. Нашло-наехало так – не продохнуть. Зря это не бывает. Зря не зря – теперь уж дело сделано, переделывать поздно.

Он лежал с закрытыми глазами – так легче было говорить – и говорил с той рвущейся, прыгающей злостью, какая бывает, когда ее не к кому обратить.

– Но как, как ты насмелился? – вырвалось у Настены. – Это ж непросто: Как у тебя духу хватило?!

– Не знаю, – не сразу ответил он, и Настена почувствовала, что он не прикидывается, не выдумывает: – Невмоготу стало. Дышать нечем было – до того захотелось увидеть вас. Оттуда, с фронта, конечно, не побежал бы. Тут показалось вроде рядом. А где ж рядом? Ехал, ехал... до части скорей доехать. Я ж не с целью побежал. Потом вижу: куда ж ворочаться? На смерть. Лучше здесь помереть. Что теперь говорить! Свинья грязи найдет.

– Война кончится, – может, простят, – неуверенно сказала Настена.

– Нет, за это не прощают. За это, если бы можно было расстреливать, а после сызнова поднимать, расстреливали бы по три раза. Чтоб другим неповадно было. Моя судьба известная, и нечего теперь о ней хлопотать. Я шел и думал: приду, погляжу на Настену, попрошу прощенья, что сломал ей жизнь, что гнул без нужды да изголялся, когда можно было жить. И правда – чего не жилось? Молодые, здоровые, всем, как нарочно, друг под друга подогнанные. Живи да радуйся. Нет, надо было каприз показывать, власть держать. Вот дурость-то. И сам же понимал, что дурость, не совсем ведь остолоп, понятье какое-то есть, а остановиться не мог. Казалось как: успеем, наживемся, налюбимся – век большой. Вот и успели. Думаю, приду, покажусь Настене на глаза, покаюсь, чтоб извергом в памяти не остался, погляжу со сторонки на отца, на мать, и головой в сугроб. Зверушки постараются: приберут, почистят. А уж чтоб вот так с тобой быть – и не надеялся, не смел. Это-то за что мне привалило? За одно за это, если б жить не вспохват, я должен тебя на руках носить.

– Ну что ты, что ты, – начала Настена, но он перебил ее:

– Погоди. Начал, так докончу, потом, может, не придется. Мне теперь про себя оставлять ни к чему, не пригодится. Что есть, то и выкладывай. Вот. Пришел, думал, ненадолго, думал, до прощенья да до прощанья, а сейчас уж охота до лета дотянуть. Посмотреть напоследок, какое лето. Охота, и все хоть убей. А тут ты сегодня обогрела – в пору скулить от радости. – Он поперхнулся, сглатывая комок в горле, и помолчал. – Мне от тебя много не надо, Настена. Ты и так сколько сделала. Потерпи еще эти месяцы, потаись, а там, придет пора, я сгину. Но потерпи. Немало ты от меня вынесла, вынеси еще и это.

Настена подумала, что надо бы вскинуться, обидеться, но двигаться почему-то не хотелось, слова не отделялись из одной общей тяжести, и она промолчала. Он помедлил, подождав, и продолжал:

– На людях нам больше не жить. Ни дня. Когда захочешь, когда жалко меня станет, приходи. А я молиться буду, чтоб пришла. На люди мне показываться нельзя, даже перед смертным часом нельзя. Уж что-что, а это я постараюсь довести до конца. Я не хочу, чтоб в тебя, в отца, в мать потом пальцем тыкали, чтоб гадали, как я прятался, следы мои нюхали. Чтоб больше того придумывали, косточки мои перемывали. Не хочу. – Он приподнялся и сел на нарах, лицо его заострилось и побледнело. – И ты – слышишь, Настена? – и ты никогда никому, ни сейчас, ни после, никогда не выдашь, что я приходил. Никому. Или я и мертвый тебе язык вырву.

– Ты что, Андрей?! Ты что?! – испугалась Настена и тоже приподнялась, теперь они сидели рядом, касаясь локтями друг друга, и она слышала его тяжелое, гудящее, как в полости, дыхание.

– Я тебя не пугаю. Тебя ли пугать, Настена?! Ты для меня весь свет в окошке. Но помни, всегда помни, живой я буду или неживой, где для меня горячо и где холодно. Потом, когда все это кончится, ты еще поправишь свою жизнь. Должна поправить, у тебя время есть. И может статься, когда-нибудь тебе будет так хорошо, что захочется за свое счастье выпростать себя до конца, сказать все, что в тебе есть. Это не трогай. Ты единственный человек, кто знает про меня правду, остальные пускай думают что хотят. Ты им не помощница.

– Чем же я, Андрей, заслужила, что ты так со мной разговариваешь? – спросила Настена. Она растерялась и не знала, что говорить, этот чисто бабий расхожий вопрос, в котором не столько обиды, сколько мольбы, сорвался у нее сам собой и прозвучал жалобно, но Андрей, казалось, даже обрадовался ему, чтоб под его смирением успокоиться совсем.

– Ничем не заслужила. Не сердись, не надо. Я знаю, ты поймешь. Поймешь все, как есть. В другой раз я бы, наверно, не стал такое говорить, а теперь приходится. Я теперь и сам не соображаю, что делаю, зачем делаю. Будто не я живу, а кто-то чужой в мою шкуру влез и мной помыкает. Я бы повернул вправо, а он нет – тянет влево! Ну ничего, уж немножко осталось.

– Ты как-то страшно все время говоришь...

– Не бойся. Я не тебя пугаю – себя. Да оно и себя тоже ни к чему пугать: страшней не будет. Это я при тебе слабину дал. Зато все, что надо, сказал, обо всем предупредил. Легче стало. Теперь ты говори.

– Что мне говорить...

– Как там мать – ходит?

– Последний год с печки почти не слазит. Только когда стряпня. К квашне меня не подпускает – сама. Так и не научусь, поди, никогда хлебы печь.

– Отец все в конюховке?

– Ага. Если бы не он, давно бы всех коней порешили. Он один только и смотрит. Тоже сдал. Кряхтит все, устает сильно. А тут еще я его позавчера оглоушила.

– Что такое?

– Подписка была на заем. Я сдуру и бухнула: две тыщи. Куда как проста: не пожалела, чего нет. А он сном-слыхом не чуял – ну и обрадовался, конечно, похвалил меня.

Настена виновато хохотнула и взглянула на Андрея.

– Стариков пока не бросай, – сказал он и опять затмился, задумался. Мать, поди, долго и не протянет. Надо как-то скараулить их, поглядеть.

– А как же, Андрей, дальше-то? – несмело, замирая сама от своего вопроса, спросила Настена. – Они ведь ждут, надеются: вот-вот ты скажешься, напишешь, где ты есть. Кончится война – что им потом думать? У них вся надежа на тебя.

– Надежа, надежа... – он вскочил и заходил по зимовейке. – Нет у них никакой надежи. Все. Нет. Я только что об этом толковал. А насчет того, где я, я тебе вот что скажу. В нашем госпитале капитан лежал. Подлечили его, документы в руки – и так же в часть. На другой день те документы в почтовом ящике подброшенные обнаружились. А капитана поминай как звали. Где он? Да сам господь бог не знает, где он. Или позарились на форму, на деньги, на паек да прихлопнули. Или сам замел следы. Был – и сплыл. С кого спрашивать? Что там капитан – тыщи людей не могут найти. Кто в воздухе, кто в земле, кто мается по белу свету, кто прячется, кто не помнит себя – все перемешалось всмятку, концов не сыскать. Вот и я тоже: то ли есть, то ли нет. Как хочешь, так и думай. Моим старикам ждать уж немного осталось. Там встретимся, поговорим. Может, там войны нет. А здесь хоть у слабого, хоть у сильного одна надежа – сам ты, больше никто.

Настена не решалась возражать, и он, помолчав, заговорил спокойней:

– Еще неизвестно, что лучше: точно знать – твой сын или твой мужик убитый лежит, или не знать ничего. Для жены, наверно, надо знать – чтоб устраивать свою судьбу. Тут дело понятное: сам не выжил, дай ей пожить. Не мешай. А для матери? Сколько их согласится не знать, жить с завязанными глазами. Она и похоронку получит – не хочет верить. Ей и место укажут, где зарыт, товарищ, который зарывал, напишет – все ей мало. Так пусть и моим старикам хоть никакой, хоть мертвый огонек, да маячит. Раз уж я другого не могу им показать. – Он повернулся к Настене и, отрубая, сказал: – Ладно, хватит об этом. Слезай, будем чай пить. Скоро тебе ехать. Поедешь или, может, останешься?

– Как же я останусь?

– Еще-то приедешь?

– Приеду, Андрей, приеду. А то прибегу. Дорогу теперь знаю.

– Неохота будет, не ходи, тут неволить себя нельзя. А я выдюжу, мне этого дня надолго хватит. Настена вспомнила:

– Ой, я ведь тебе провианту привезла. Чуть обратно с ним не уехала. Она легко соскочила с нар и выгребла из кучи в угол два холщовых мешочка – с порохом и дробью. – Половину отсыпь, а половину я отцу увезу, это он заказывал.

– Мне и половины за глаза достанет, – обрадованно засуетился над мешочками Андрей. – Теперь живу. Теперь мне и сам черт не страшен. Вот одарила ты меня. Всем одарила. Ну, Настена, золотая ты моя баба! – Он сграбастал ее и приподнял, она завизжала, отбрыкиваясь, но он тут же осторожно опустил ее и с жесткой тоской самому себе сказал: – С этой бабой в миру бы жить, а не по норам прятаться.

– Ну тебя! – не слыша, разволновалась Настена. – Прямо сердце зашлось до чего напугал! Я уж отвыкла, чтоб так хватали.

– Прибегай, я приучу.

– Да я-то бы каждый день прибегала.

– За чем же дело?

Пора было подбирать концы этого долгого, на весь день, и все же урывистого свидания. Смеркалось, из углов сильнее потянуло гнилью, ближе и опасней нависла прогнувшаяся в потолке доска, ненадежно, скользко, тревожно стало вокруг. Разговор остыл.

Они наспех попили чаю. Андрей заставил Настену поесть, и она без удовольствия пожевала сала с хлебом. Она уже оделась, когда он молча протянул ей что-то круглое и блестящее, со светлеющими, как глазки, точками. Настена тихонько ахнула:

– Ой, что за чудовина такая?

– Возьми, Настена. Часы. Я сам их с немецкого офицера снял. С живого не с мертвого. Мне они больше ни к чему, а тебе пригодятся. Будешь продавать, не продешеви: это хорошие часы, в Швейцарии делали. Меньше чем за две тыщи не соглашайся.

– Господи, да их в руки брать боязно.

– Бери. Больше дать тебе нечего.

Он проводил ее до дороги через Ангару, обнял в кошевке, замер на минуту и, стеганув Карьку, спрыгнул в снег. И долго-долго, пока видно было удалявшееся темное пятно, стоял неподвижно, с неподвижным же лицом и остановившейся, оборванной мыслью: вот так...

...Настена ехала и плакала – до того схватило и сжало душу, а почему так сильно схватило, сразу не понять, не разобраться. Ни одна боль в ней не вызрела, не дала знать, что с ней делать, – все сплошь обметало каким-то сквозным, сосущим беспокойством. Намешайте в чай пополам с сахаром соли и залпом выпейте – так же захолонет и запнется внутри: для сладкого там свое место, для горького свое. Чуть отдастся маленькой каплей сладкого и тут же перешибет соленым, и потечет горечь по всему телу, прохватывая до костей.

Сколько годов была привязана Настена к деревне, к дому, к работе, знала свое место, берегла себя, потому что и ею тоже что-то крепилось, стягивалось в одно целое. И вдруг разом веревки ослабли – не снялись совсем, но ослабли. Делай, насколько хватит свободы и силы, что хочешь, ступай, куда знаешь. А куда ступать? Что делать? Уж и привыкла к своей лямке, притерлась, и не уйдешь далеко, даже если решишься, и идти некуда. Как тут не растеряться? Нет, видно, из веревок не выпрячься, надо их подтягивать и ждать, что будет дальше. Убежать от судьбы она не сможет. Теперь и толочься-то придется по тому же кругу, но словно бы в сторонке. Подглядывать, как живут другие, и жить наособь, под секретом. Смотреть в оба глаза и говорить в пол языка. Работать вдвое больше и спать вдвое меньше. Хитрить, изворачиваться, врать и знать наперед, чем это кончится.

А все потому, что до поры сберег себя мужик.

Человек должен быть с грехом, иначе он не человек. Но с таким ли? Не вынести Андрею этой вины, ясно, что не вынести, не зажить, не заживить никакими днями. Она ему не по силам. Так что теперь – отступиться от него? Плюнуть на него? А может, она тоже повинна в том, что он здесь, – без вины, а повинна? Не из-за нее ли больше всего его потянуло домой? Не ее ли он боялся никогда не увидеть, не сказать последнего слова? Он перед отцом и матерью не открылся, а перед ней открылся. И может, смерть оттянул, чтоб только побыть с ней. Так как же теперь от него отказаться? Это совсем надо не иметь сердца, вместо сердца держать безмен, отвешивающий, что выгодно и что невыгодно. Тут от чужого, будь он трижды нечистый, просто не отмахнешься, а он свой, родной... Их если не бог, то сама жизнь соединила, чтобы держаться им вместе, что бы ни случилось, какая бы беда ни стряслась.

Живые там, он – здесь. Господи, научи, что делать!

Тяжко, смутно и в то же время просторно, оглядно было на душе у Настены как в доме, из которого вынесли вещи. Теперь можно распорядиться и так, и этак. И знобила, и заманивала, тянула эта пустота, обнажившая все углы, где каждая мысль отдавалась гулким вопросительным эхом.

8

Днем Андрей Гуськов старался не оставаться в зимовейке. Едва ли кого могло сюда занести, но он все же решил быть осторожным. Заталкивал под нары свои немудрящие пожитки, сгребал в кучу лапник на лежанке, всякий раз тщательно прибирая за собой следы, забрасывал за плечо ружье и уходил на лыжах по наледи вверх по речке. Правую, ближнюю к Рыбной, сторону он обычно не трогал и сворачивал влево, где на добрые тридцать верст не было обжитого угла.

В лесу не разбежишься, снег держал плохо, но на полянах Гуськов скользил по насту, как по льду, радуясь быстрому и свободному, приподнятому над землей движению, в котором был какой-то приятный и веселый обман: вперед, вперед, на простор и волю, в ту даль, где не надо бояться и прятаться, где все, что имеет свой вид, во весь вид и живет.

Тайга стояла в снегу – нагрузлом, лежалом, забросанном иголками и запятнанном шлепками с веток. Она еще не очнулась, стояла отягощенная смутной думой, но уже расправляла вверх ветки сосна, уже помякла, отзываясь на взгляд, березовая нагота и доносило терпким смоляным, исподним запахом корья. Сильные по зиме, словно единственные, белая и черная краски, когда и ель и осина кажутся одинаково черными, за недельное краснопогодье раздвинуло, и резче, яснее, ближе обозначилась каждая корявинка. Ветер, срываясь, уже больше не дымил ни поверху, ни понизу, снег по земле прочно лег там, где ему и изойти. Будет еще, конечно, с неба подбрасывать, и не раз, не два, но больше для форса, и тут же накиданное цепко прихватит старым. По бокам открытых колодин уже сочилось мокрецо.

По лесистому склону Гуськов долго шел до следующего распадка и по нему скатывался к Ангаре. Река здесь поворачивала вправо, и берег, намываясь год от года, лег широко и просторно. Богатый это был берег: ягодный, травный, грибной; когда-то, по слухам, где-то здесь стояла татарская деревня, но давно уже неизвестно почему снялись татары с облюбованного на чужой реке места, пожгли за собой постройки и ушли. Так или не так было – неизвестно, но то, что встарь тут трудилась человеческая рука, заметно и теперь: видны вырубки, поля, покосы.

По берегу снова шел – не шел, а катил – Гуськов по насту вверх по Ангаре.

Здесь таиться таись, но бойся меньше, это ничейная территория. Один район кончился, второй еще не начался. И люди, разделенные административно, мало знали друг друга. Выстрел, услышанный с разных сторон, на разные же стороны и относили: верховские могли считать, что палят низовские, а низовские – что верховские. Здесь, только здесь и наказал себе охотиться Гуськов.

Два дня он высматривал коз с берега и дважды же видел, как они пересекали Ангару через Каменный остров. На третий заход он перебрался на остров и устроил скрадень на нижнем пологом мысу, который прихватывали козы и с которого тот и другой берега были видны как на ладони: левый ближе, правый дальше. Место в этом смысле удобное, оглядное, но чересчур открытое для низовки, она тут секла нещадно. Прячась от нее, Гуськов пошел в камни, которые громоздились посреди острова, как громадный могильник, и неожиданно наткнулся за расщелиной на глубокую, уходящую далеко вбок выбоину, напоминающую пещеру, со следами старого кострища. Осмотревшись, Гуськов удивленно хмыкнул и вслух рассмеялся: о такой находке он и не мечтал. Еще не зная, как и зачем, он уже верил, что эта запазуха ему пригодится.

Он развел костер и согрелся. А согревшись, Гуськов решил, что, если сегодня не будет удачи, обратно в зимовье он не пойдет, ночует здесь. Что зря маять ноги в два неближних конца! Теперь пристанище есть и на острове, да еще какое пристанище! Ночью будет, конечно, прохладно, но с огнем нестрашно. Кто-то когда-то тут тоже скрывался – то ли от непогодья, то ли от людей. Скорей всего от людей – зачем еще, по какой надобности могла сюда занести нелегкая? Вон сколько нагорело золы, уже черной, закаменевшей, – не с одной ночевкой сидел тут человек. Давно только сидел. Долгое, видать, выдалось у него непогодье – свое собственное, обложное.

И как это раньше не пришлось Андрею побывать на Каменном? Рядом, а пропустил. Сколько раз проплывал мимо, таращился на скалу, а вот заплыть не выпало. Чужой, неуютный остров с обрывистыми берегами, камень и лиственница. Не лучше, наверное, кажется он и другим.

Андрей заночевал на нем, испытывая какое-то злорадное удовольствие оттого, что лежит в пещере, как бы в середине, в сердцевине камня, откуда его ни с одной стороны не достать. С вечера он запалил сушины, нагрел себе лежень и спал тепло и спокойно, без привычной опаски, без того постоянного острого напряжения, которое не оставляло его теперь и во сне.

На мыс он утром вышел поздно: пока вскипятил чаю и пил его, обжигаясь, из манерки, пока заставил себя подняться и выбраться на холод... Низовка унялась, но с севера неслышно и ровно тянул хиус. Утро было какое-то мерклое, подслеповатое, вызывающее на осторожность и зверя и человека. Едва ли в такую неуверенную, неустоявшуюся погоду решатся козы на большой переход. Надо, наверное, потихоньку идти вдоль хребта обратно – может, удастся где наткнуться хоть на белку.

Он размышлял, что делать, когда, обернувшись на левый берег, куда предстояло идти, вдруг увидел, как с яра, подгибая передние ноги, скатываются вниз три козы. Они, они, миленькие.

Он отступил за лиственницу и снял ружье. Тяжелыми, рваными прыжками, топя ноги в твердом снегу, козы мели через протоку прямо на него. Что их всех, интересно, сюда тянуло? Может быть, желание хоть на мгновение укрыться в деревьях, унять страх, прежде чем снова выходить на открытое со всех сторон, опасное пространство?

Они приближались, держась одна за другой. Гуськов уже слышал гукающий, похожий на игру селезенки, звук их дыхания. До мыса оставалось метров сто, не больше, когда что-то насторожило коз, и передняя, которая вела след, вдруг повернула от острова вниз. Андрей ударил вдогонку из обоих стволов, и козуля, бежавшая последней, подсеклась, отчаянным прыжком выскочила высоко в воздух, но уже не вперед, а в сторону, и завалилась.

Когда Гуськов подбежал, она еще была жива. Хрипя и молотя ногами, она подгребала под себя снег; глаза налились кровью, голова вскидывалась и падала. Он не добил ее, как следовало бы, а стоял и смотрел, стараясь не пропустить ни одного движения, как мучается подыхающее животное, как затихают и снова возникают судороги, как возится на снегу голова. Уже перед самым концом он приподнял ее и заглянул в глаза – они в ответ расширились, и он увидел в их плавающей глубине две лохматые и жуткие, похожие на него, чертенячьи рожицы.

Он ждал последнего, окончательного движения, чтобы запомнить, как оно отразится в глазах, и пропустил его. Ему показалось, что глаза козули в этот момент были обращены в себя.

Иногда он уходил в верхнее зимовье. Оно было добротней и просторней нижнего; срубленное из листвяка и стоящее на взлобке, оно представлялось вечным. Поля вокруг него давно одичали, заросли чем попало, но рядом, за негустым осиновым строем, светилась круглая веселая поляна. Однажды, раздумавшись, Гуськов вдруг всхотел, чтобы его похоронили здесь, на меже осинника и поляны. Тут сухо, приветно, с деревьев будет падать лист, на цветы прилетят и попоют птицы, а постройка остановит зверя.

В зимовье не было печки (кто-то когда-то прибрал, не поленился тащить к воде), и, наверно, к лучшему: не удержись, разведи он огонь, и закурится на виду у Атамановки гора. По теплу, когда придется сюда перебираться, печка не понадобится, а пока он прибегал лишь на дневку и едва начинал застывать, шевелился, согревался без огня. Да и отпускало, припекало днями уж так, что мешал полушубок.

Скоро потечет, зазвенит, а у него ни сапог, ни фуфайки.

Андрей замечал: здесь он почему-то дуреет, чувствует себя совсем по-другому, чем внизу. Там было спокойней, привычней, там он не вылезал из своей шкуры, жил и думал, крепя и прокладывая жизнь немудреными зарубками: что делать, куда пойти завтра, как достать одно, второе, чем утолить голод? Не заглядывал далеко и старался не помнить издалека, светя в памяти лишь то, что началось отсюда, и эта обрубочная, теперешняя, на живот и дыхание, жизнь его устраивала. А здесь он разлаживался, разбаливался, накатывали ненужные мысли, которые не смотать, не свернуть, сколько ни мотай, постанывало запретное, запертое на десять замков, запоздалое, дурацкое раскаяние.

А что думать, что размышлять, тянуть из себя попусту жилы? Близко локоть, да не укусишь.

Как-то, вспомнив эту поговорку, он схватил другой рукой локоть и изо всех сил потянулся к нему зубами – вдруг укусишь? – но, не дотянувшись, свернув до боли шею, засмеялся, довольный: правильно говорят. Кусали, значит, и до него, да не тут-то было.

Здесь он ненавидел и боялся себя, тяготился собой, не зная, как себе похлеще досадить, что сделать, чтобы стало еще хуже, чем есть. И, самоедствуя, грозил: ну погоди, придет пора, ударит час! Потом спохватывался со страхом: действительно, придет пора, ударит час! Еще как ударит! Не поднимешься, не опомнишься.

И что было причиной этой его дури, он не знал. Зимовье ли, поставленное на долгую жизнь, веселое ли, молодое место вокруг него, откуда из-за деревьев проглядывалось торосистое поле Ангары и виднелся далеко на другом берегу край Атамановки, или что-то еще – неизвестно. Но находило, схватывало – не отодрать.

Но именно это и тянуло его сюда – как на сладкий, податный грех.

Через неделю после первой козули он подстрелил все на том же Каменном острове вторую, приволок ее на лыжах и уже в потемках ободрал и разделал у нижнего зимовья. Мясо до свету забросил наверх, под крышу.

Рано утром, выходя, он открыл дверь и обомлел: от двери огромным прыжком отскочила и, оскалясь, уставилась на него большая серая собака. Не сразу Гуськов сообразил, что это волк. Тощий и длинный, со взъерошенной, торчащей, как всегда при линьке, космами шерстью, он смотрел на Гуськова с такой лютой злобой, что Андрей схватился за ружье. Но опомнился и стрелять не стал. Волк оказался старый, ученый: отскочив от наставленного дула в гору и не слыша выстрела, он опять остановился и зарычал.

С тех пор по ночам он стал подходить к зимовью. Он научил Гуськова выть.

Волк устраивался на задах зимовья и затягивал свою жуткую и острую на одном дыхании, песню. Все на свете меркло перед ней – настолько тонким режущим лезвием, взблескивая в темноте, подступал этот голос к горлу. Страдая, что не может ничем пугнуть зверя, Гуськов приоткрыл однажды дверь и в злости, передразнивая, ответил ему своим воем. Ответил и поразился: так близко его голос сошелся с волчьим. Ну что ж, вот и еще одна исполненная по своему прямому назначению правда: с волками жить, по-волчьи выть. «Пригодится добрых людей пугать», – со злорадной, мстительной гордостью подумал Гуськов.

Он прислушивался к волку и с какой-то радостью, со страстью и нетерпением вступал сам. Зверь, где нужно, затем поправлял его. Постепенно, ночь от ночи, Гуськов, догадавшись надавливать на горло и запрокидывать голову, убрал из своего голоса лишнюю хрипотцу и научился вести его высоко и чисто, поднимая в небо ввинчивающейся спиралью.

В конце концов волк не выдержал и отступился от зимовья. Но Андрей теперь мог обходиться и без него. Когда становилось совсем тошно, он открывал дверь и, словно бы дурачась, забавляясь, пускал над тайгой жалобный и требовательный звериный вой. И прислушивался, как все замирает и стынет от него далеко вокруг.

9

В середине марта вернулся в Атамановку первый фронтовик – Максим Вологжин. Хотя, если вспомнить Петра Луковникова, то не первый: Петра еще на втором году войны отпустили домой, но отпустили умирать. Два месяца промучился он в горячке в постели, почти не выходя на улицу, и сразу после покрова, когда прибрались в полях и огородах, тихонько скончался. Уж и то хорошо, что могила была дома, не в чужой стороне.

А Максим, хоть и раненый, пришел жить, и пришел совсем, подчистую. И Атамановка встрепенулась. Значит, действительно близко, если раненых распускают по домам, значит, скоро вслед за ним потянутся и другие. Тут важно показать след, потом по нему пойдут. Оно, правда, и идти-то мало кому осталось. Иннокентий Иванович, который всему любит дотошный счет, на цифрах показал, как извели атамановских мужиков: двое остались на финской, восемнадцать человек ушли за войну на фронт. На сегодняшний день один (Максим Вологжин) в достоверности живой, один (Петр Луковников) в достоверности на своем кладбище мертвый, десять похоронок на руках у баб, остальные воюют, Простая арифметика, деревня, маленькая, на пальцах сосчитать можно.

В тот день Настена, Надька и Лиза Вологжина подчищали у складов на ветрогоне семенной ячмень. После обеда подскакал галопом на своем Карьке Нестор, осадил коня, поставив его на дыбы, и закричал:

– А ну прыгай, Лизавета, скорей на мово жеребца. Живо, кому говорят! Максим пришел.

Лиза отшатнулась от него, побледнела и, взревев, помела с дурным ревом в деревню. Атамановку к тому времени уже встряхнуло. От горы, где стояли склады, видно было, как бегут на верхний край к дому Вологжиных ребятишки и собаки, как, возбужденно переговариваясь, тянутся туда же старики. Опять проскакал куда-то, стреляя на ходу и добавляя деревне переполоху, Нестор. От него шарахались, Карька от выстрелов подпрыгивал и хрипел, но Нестора теперь было не остановить, он палил и палил, наскакивая то на один конец Атамановки, то на другой.

– Хоть так повоюет, – со злостью сказала Надька. – Генерал.

Она села на мешок с зерном и с тою же злостью, додержав ее до тоскливого отчаяния, произнесла:

– Не мог мой паразит живым остаться... Что ты на меня уставилась? Не правда, что ли? – вскинулась она на Настену, которая посмотрела на нее с удивлением. – Наклепал ребятишек и... смертью храбрых. А что с его храброй смертью я теперь делать буду? Их, что ли, кормить? – Надька кивнула в сторону дома, где оставались трое ее ребятишек, и заплакала, размазывая по пыльному лицу слезы. – Кто теперь меня возьмет с этим табором? А мне только двадцать семь годов. Двадцать семь годов – и все, отжила. Пропади оно все пропадом.

Больше в тот день не работали. Прибрали отвеянный ячмень и пошли по домам, постучав по дороге кладовщице, чтобы закрыла амбары.

Дома даже Семеновна слезла с русской печи и, приохивая, приседая при каждом шаге, расхаживала свои отечные ноги. Михеич, взбудораженный и растерянный, топтался с ней рядом. Он обрадовался Настене:

– Слыхала, Максим Вологжин пришел?

– Слыхала.

– Ты там не была?

– Нет.

– Надо бы сходить... может, он знает че про Андрея.

– Пошел бы ты, штарый, шам, – застонала Семеновна. – Больше надежи. Она ить и шпрошить как шледует не шпрошит.

– А что там спрашивать? Будет че сказать, сам скажет.

– Ой, да делайте, как знаете.

Настена замечала, что в последнее время, с тех пор, как потерялся Андрей, Михеич стал чураться людей. В конюховке, конечно, от народа никуда не спрячешься, но, возвращаясь домой, он так дома и пристывал, все реже и реже выходя к старикам покурить и поговорить. И даже когда заходили к нему, он больше отмалчивался. У него появилась привычка в разговоре кивать головой, словно соглашаясь с тем, что говорят, а скорей всего – чтобы меньше говорить самому. Задумавшись, он мог кивать и совсем один, глядя перед собой неподвижными, безжизненными глазами, и чем в эти минуты была занята его голова, в чем он наедине с собой утверждался, едва ли он знал, но в чем-то неясном еще, надвигающемся и неприятном утверждался, чего-то с уверенностью ждал.

В этот год он был как раз на половине к седьмому десятку своих лет. Его усы, молодецки закрученные вверх еще перед войной, теперь обвисли и выцвели до ржавого цвета. Да и весь вид у Михеича был измученный, безнадежный, когда не взбадривают ни сон, ни отдых. Держался он прямо, откидывая при ходьбе голову назад, за последний год он сильней стал приволакивать ногу, подбитую еще в первую германскую войну, но едва садился, сразу опускал голову, прикрывая глаза, и заходился в гулком утробном кашле, бухая всем своим большим прокуренным нутром. Семеновна, не выдерживая, кричала с печи, чтобы он перестал, – он, не отзываясь, кашлял и кашлял, с кашлем же уходил во двор и там за каким-нибудь делом незаметно успокаивался, но долго еще дышал со свистем, с натугой. А чаще всего он глушил кашель тем же табаком – это походило на вечное похмелье, на вечное вышибание клина клином, и чем дальше – тем яростней и нетерпеливей. Голос его сделался глуше и сдавленней, глаза прищурились, словно присели от тяжести, костистое лицо еще больше заострилось – так сильно сдал Михеич за один год, что, задумываясь об этом, Настена боялась, что будет дальше.

– Сходи, дева, сходи, – отправлял он Настену. – Мне ишо на конный надо.

Чтобы не идти к Вологжиным одной, Настена забежала к Надьке. Та, как всегда, воевала со своей ребятней. Во весь голос ревела, сидя на полу, видно только что отшлепанная, самая младшая, Лидка, родившаяся уже без отца; всхлипывал возле кровати Петька; отвернулся к окну старший, Родька. Надька с грохотом метала в тесной кути посуду и, надрываясь, кричала время от времени на ребятишек, чтобы они замолкли.

– Хотела коврижку на два дня растянуть, прихожу, а они ее уж умяли, принялась она жаловаться Настене. – Ну, не прорва ли, не прорва ли – скажи ты мне! И ведь нашли, паразиты. Проглотили и не подавились. Теперь я вас накормлю, теперь вы у меня три дня мышиной крошки не получите. Перестанешь ты или нет? – прикрикнула она опять на Лидку. – Ты меня доведешь, я над тобой че-нить доспею. Она же брюхо набила, и Она же еще ревет, а я виноватая. О-е-ей! Почему пропасти-то на вас нету? Вот чем я вас дальше буду кормить, чем? У меня мучицы на одну квашонку осталось – и все, потом хоть всем в один мешок завязывайся и в Ангару. Я уж два раза ее, муку-то, со слезами с горькими выписывала, мне ее больше никто не даст. А они хоть бы капельку че-нить понимали. И ведь он-то, балбес, уж не маленький, – Надька ткнула рукой в сторону Родьки, – должен бы хоть немножко че-то соображать нет, лишь бы счас наглотаться, лишь бы мать обмануть. Я для себя ее, че ли, прятала, для себя берегла? Для вас же, паразиты вы ненаедные, чтоб вам завтра было че жевать. Чтоб вам же с голоду не подохнуть. А теперь хоть подыхайте, раз так – не жалко.

– Скоро Ангара пройдет, рыбу буду ловить, – буркнул от окна Родька.

– Ты там помалкивай: рыбу он будет ловить. В прошлом годе не проедали твою рыбу и нонче объедимся. Куда только кости от рыбы девать станем – никак не придумаю. Стой и молчи, чтоб я голосу твоего больше не слыхала. Рыбак, мать твою так. В кладовке ты хорошо рыбачишь, а не в Ангаре.

Настена с трудом перебила ее:

– Пойдем, Надька, на Максима посмотрим. Посмотрим, какие теперь мужики, и обратно.

– А че на него глядеть? Только душу травить. На чужое счастье не наглядишься.

– Не пойдешь, что ли?

– Да погоди, пойду. Дай мал-мало прибраться, чтоб их тут можно было оставить. Не стой ты там как истукан, – крикнула она на Родьку. – Неси дров да затопляй печку. И не вздумай мне удрать. Ишь, запечалился, в какую сторону лыжи навострить. Дома весь вечер будешь сидеть – так и знай. Чтоб никто мне из избы даже не высовывался.

Лидка сообразила, что мать собирается уходить, и заканючила:

– С тобой хочу. Возьми меня, возьми.

Мать показала ей из кути сковородник, и Лидка понимающе притихла.

– Видала? Вот так. Где сидишь, там и сиди, прижми свой хвост. Со мной она пойдет. Еще в чужих людях я с вами не скандалила. У всех ребятишки как ребятишки, а эти идолы какие-то, наказанье божье. Ой, че с них будет, че с них будет? – кто бы мне сказал.

Настена подняла Лидку с пола и, почти не чувствуя ее тяжести, перенесла на кровать. Там девчонка сразу свернулась клубочком и, всхлипывая, вздрагивая от всхлипов всем тельцем, закрыла глаза, хорошо понимая, что никакой радости ей ниоткуда сегодня не дождаться и самое лучшее – уснуть и до нового дня не просыпаться. Настена погладила ее по голове, но от ласки Лидка завздрагивала сильней, и Настена отошла от девчонки.

Нельзя, конечно, похвалить, но трудно было и судить Надьку за глотку. Она и до войны была бабенкой шумной и не напрасно не ужилась со свекровью, которая невзлюбила ее за строптивый характер, так что очень скоро Надьке с Витей пришлось отделяться в свою семью. Родня у Надьки жила где-то на Лене, здесь Надька считалась пришлой, чужой. Витя ей попался на счастье: работящий, спокойный, добрый, опустит свой светлый чубчик на лоб и улыбается, сколько бы Надька ни разорялась перед ним. Надоест – сгребет в охапку, оттянет шутя широкой, как лопата, ладонью по одному месту, и Надька довольна. Да она и не скандальная сама по себе была, просто шумная: где Надька – там обязательно гвалт, смех, пересмешки, в которых больше всего ей же и доставалось, но которые без нее не начинались. И если б не война, скорей всего помякла бы, присмирела она возле ребятишек да возле Вити, к тому дело в последнее время и шло, да война и в первую же зиму смерть Вити оглушили и ожесточили Надьку. По Вите она убивалась так, что кровь стыла в жилах от ее крика. Она тогда только-только родила, и ее приходилось загонять домой, чтобы она кормила девчонку, – Надька уходила то в лес, то на берег, и в Атамановке всерьез боялись, как бы она себя не решила. Но обошлось: перегорела Надька, пошла опять на работу, пошла колотиться-молотиться, чтобы прокормить ребятишек. Надеяться было не на кого: свекровь, невзлюбив Надьку, не привечала и внучат от нее. Как ни старалась Надька, а концы с концами не сходились. Дополнительный хлеб, который полагался на семью погибшего фронтовика, она выбирала еще зимой, а дальше билась, билась ото дня ко дню, и все не хватало – ни поесть, ни одеться. Ребятишки все были в Витю: белесые, молчаливые, а война и дерганый Надькин характер сделали их еще и боязливыми, тихими. Казалось, они и сами не верили, что выживут. Выйдут все трое за ворота и стоят, смотрят на улицу, дожидаючись мать, – до того сироты и пострадальцы, что у доброго человека зайдется от жалости сердце. Крикнет он Родьке, поведет с собой и сунет ему что-нибудь в руки, а Родька еще и отказывается. Настена, как могла, тоже баловала Надькиных ребятишек, особенно девчонку, но в последние недели за своей бедой почти забыла о них, и сейчас, подняв плачущую Лидку в кровать, Настена почувствовала вину перед ней.

Пока она дождалась Надьку, уж смерклось, пожухший за дневное тепло снег подмерз и приятно хрустел под ногами. Весь нижний край деревни будто вымер ни голоса и ни стука, лишь в нескольких избах слабо мерцал старушечий свет. Собаки и те сбежались к дому Вологжиных, откуда доносилось их бестолково-радостное гавканье. Там же слышались возня и крики ребятишек. Настена и Надька шли молча и торжественно, невольно прямя шаг, охваченные общим праздничным волнением. Впервые оттуда, с войны, с кромешной битвы, пришел человек, чтобы остаться с ними, – пришел как посыльный, как вестник от всех мужиков: скоро, бабы, скоро. Скоро все выяснится окончательно: одним рыдать, потеряв последнюю надежду, другим радоваться, а всем вместе начинать новую жизнь.

У Вологжиных было людно, шумно; две десятилинейные лампы, пристроенные под потолок, освещали в большой горнице застолье. Во главе стола сидел он Максим, похудевший, почерневший, с коротко подстриженной, как у арестанта, головой, глазастый, разомлевше-счастливый. Правая, забинтованная рука висела, оттягивая шею, на марлевой повязке, с левой стороны сидела на коленях, побрякивая медалями на отцовской гимнастерке, шестилетняя Верка, младшая из двух вологжинских девчонок. Надька подошла первой, поздоровалась с Максимом за руку, сказала:

– С возвращением!

И Настена вслед за ней повторила:

– С возвращением.

На лавках вокруг двух сдвинутых вместе столов сидели старики, бабы; рядом с Максимом справа, оттерев от него Максимова отца, деда Ефима, громоздился, что твой друг и брат, уже пьяненький Нестор, слева место было оставлено для Лизы, но она едва успевала бегать из кути в горницу и обратно. Лиза сияла – сияло ее лицо, обычно бледное, унылое, сияли, захлебываясь от радости, глаза, сияла под голубенькой кофточкой прогнувшаяся грудь – сияло все, сияла вся, сияла вовсю. Она усадила Настену и Надьку и, не сдержавшись, обняла их, прижала к себе, зашептала:

– Еще утром ниче не знала. Ячмень вместе чистили. Ячмень... всхлипнув, она засмеялась и убежала.

Максим, улыбаясь, смотрел на них – на Настену и Надьку. Они сидели как раз напротив него, по другую, дальнюю сторону стола. Настена опустила глаза и услышала, как Максим спросил:

– Ну, Настена, когда ты своего будешь встречать? Настена сжалась и покраснела; как можно спокойней, не сразу подняв голову, она ответила:

– Я уж и не верю, что доведется встречать. Потерялся где-то мой...

– Кто – Андрей потерялся?

– Он в госпитале лежал... тоже раненый. А после его обратно, значит, на фронт. – Настена говорила и больше всего чувствовала на себе внимательный, пытливый взгляд Иннокентия Ивановича. – С той поры ни слуху ни духу. Не знаю... Ничего не знаю.

– Ну, найдется.

– Дак это... всерьез потерялся, – взялся объяснять Иннокентий Иванович, поглядывая на Настену. – Тут с расследованиями приезжали, спрашивали. Нигде, видать, по документам не значится.

– Перехватили где-нибудь по дороге в другую часть. Это сколько угодно бывает. А письмо теперь не всякое до места доходит, – уверенно сказал Максим, и Настене от этой уверенности почему-то сразу стало легче, будто она и в самом деле не знала, что с Андреем.

Откуда что и взялось у Лизы: вроде не чаяла, не ждала, а стол был заставлен. Куриц, понятно, порешили сегодня, но соленые ельцы достояли с лета и береглись скорей всего специально для этого случая, как и самогонка, которая выстаивалась в четверти не год, а то и не два. Так же и у других баб, кому еще осталось кого ждать: сама будет голодать, ребятишек недокормит, а припас для встречи оставит. Скольким из них уже пришлось доставать этот припас со слезами! Прошлой осенью Агафья Сомова, получив похоронку на сына и отголосив первые дни, собрала баб, выставила спирт, о котором за войну забыли, что он есть, наготовила вместе с блинами да киселем всякой закуски, и пошел тот спирт на поминки. Не у одной Агафьи так вышло теперь только вспоминай, и неизвестно еще, кому судьба готовит такой же оборот. Пока не ошиблась одна Лиза.

Лиза подливала, и за столом стало совсем шумно. Нестор порывался запевать, но его не поддерживали, на него вообще как-то не обращали внимания. Кое-кто из стариков уже отвалился от стола и пристроился на корточках вдоль стены, взявшись за курево; тут же, не подымаясь, они принимали от Лизы стаканы и чокались. Иннокентий Иванович подсел к Максиму и завел серьезный и умный разговор об Америке – о том, как она воюет и когда можно ждать там революцию. Максим отвечал неохотно – видно было, что Иннокентий Иванович знает об этом больше, особенно о революции. Верка задремала на коленях у отца; Лиза хотела унести ее в постель, но Верка ухватилась за отца, закричала – пришлось оставить ее в покое. Кто-то спросил, и Максим не в первый, наверное, раз взялся рассказывать, как в госпитале ему хотели отнять руку, но он не дал – добро бы левая, а то основная, правая рука, без нее совсем калека, но теперь с ней еще нянькаться да нянькаться. Надька, хлопнувшая стакан самогонки, поинтересовалась:

– А ее это... в сторону-то сдвинуть можно?

– Куда в сторону? Зачем?

– Ну, ночью-то она мешать не будет?

Максим засмеялся:

– Мешать будет – Лиза отрубит.

– Я тебя, Надька, из колхоза за такие разговоры выгоню, – ухмыляясь, заявил Нестор.

– Сиди ты. Выгоняла. Как бы тебя самого не поперли, – взвилась Надька, но как-то без злости, лишь бы отшить. – Вот придут мужики, и припухнешь как миленький. Хватит, покомандовал над нашим братом, покуражился. Не все коту масленица.

– Я над вами куражился? – обиделся Нестор. – А, бабы? Я куражился? Бабы молчали.

– Слушай ты ее, – вступилась за Нестора Василиса Рогова, которую в деревне звали Василисой Премудрой, – толстая, неповоротливая, ничуть не похудевшая за войну баба, с толстым же, басистым голосом.

– А че слушай?! Че слушай?! Не правда, че ли?

– Не все, Надежда, что тебе под язык попало, можно на люди высказывать, – важно наставляла Василиса Премудрая. – Фронтовик не успел на родной порог заступить, а ты ему подковырки подбрасываешь.

– Какие подковырки? Он, конечно, первым делом нас с тобой всю ночь станет слушать, какие мы ему сказки расскажем, а про Лизу забудет. У него, поди, одна рука только подбита, остальное в сохранности.

Максим опять засмеялся, и вслед за ним заклохтали сквозь кашель старики.

– Я знаю, – наступала Надька, – это ты меня, Василиса, боишься. Бойся, бойся: вот Гаврила твой придет, я его быстренько охомутаю. Я помоложе тебя буду, тебе со мной не справиться.

– Я за Гаврилу спокойная, – насмешливо ответила Василиса.

– Чего это ты, интересно, за него спокойная? Святой он у тебя, че ли?

– Святой не святой, а с тобой займоваться не будет. Зачем ему добрую птицу на сороку менять? Ты же сорока, тебе лишь бы пострекотать.

– Ой, глядите-ка, сравнила! – обрадованно зачастила Надька. – Я сорока – ладно, а ты-то что за добрая птица? Уж не та ли, что вся в черном летает да одно только слово знает?

– Нет, Надежда, – хитровато улыбаясь в свою рыжую бороду, вступил Иннокентий Иванович. – Тебе под Василису не подкопаться, там фундамент глубокий. Гаврила с фронта посылки-то, однако, не тебе шлет. Сколько посылок пять, однако, в этом году было? – обернулся он к Василисе. – Или поболе? Та замялась:

– Я не считала.

– Она их даже не открывала, – съязвила Надька. – Вместо табуреток держит.

– А это уж не твоя забота, как я их держу.

Но Надька разошлась, остановить ее было непросто.

– Сколько ты, Лиза, от своего красноармейца посылок получила? – спросила она.

– Ни одной не получала.

– Я бы его после этого на порог не пустила. Че ж ты тоже, как одна худая птица, без понятия? Еще и радуешься.

– А мне и не надо никаких посылок, – счастливо засмеялась Лиза. – Я сегодня говорю: давайте, говорю, корову забьем, чтобы встретить дак встретить. Они меня очурали. Рубите, говорю, тогда всех до последней куриц, чтоб я их больше не видала. Они и куриц пожалели. Даст бог, все наживем, только б вместе быть. Я бы одна загибла, не выжила, от тоски бы загибла, а то руки на себя наложила.

– Значит, загибла бы? – натянуто, с подманкой переспросила Надька.

– Загибла бы, загибла.

– А то руки на себя наложила?

– Ага.

– Чего ты приставляешься, Лиза? – вкрадчиво начала Надька и не выдержала, голос ее от обиды дрогнул и раскрылся. – Это че же – значит, мне, Катерине вот, Вере, Капитолине – всем нам руки на себя накладывать? Так, че ли? Думаешь, ты его больше всех любила, больше всех ждала? Думаешь, мы их сами потеряли? Ты, Лиза, не была в нашей шкуре и не говори. У меня бы и руки на себя не заржавело наложить, да ребятишек куда? От него только и осталось на белом свете, что ребятишки, – как же их-то загубить? Ты не знаешь, как все внутри головешкой обуглилось, уж и не болит больше, а горелое-то куда-то обваливается, обваливается... Ты теперь будешь бабой, женой жить, будешь обниматься, миловаться, а я нет, я только рабочая сила, затычка во всякую дырку, кормилица-поилица, я для себя кончилась. Да если бы знать, что так выйдет, я бы хоть раньше-то всласть пожила, чтоб было о чем вспоминать, а то все на потом, на потом оставляла, долго собиралась припеваючи жить дооставлялась. Теперь вся память-то что о войне, эту память ничем не вывести, остальное уж вымыло или высохло – нету.

Лиза легко повинилась.

– Ой, не судите меня, бабоньки, я че-то не то сказала.

– Чего тебя судить? Живи за всех за нас, раз ты такая везучая. Но гляди: плохо будешь жить – берегись. Не пожалеем – это я тебе точно говорю. Я первая тебе яму зачну копать. Мы не виноватые, что наши мужики там полегли. Правда, Максимушка, не виноватые? Скажи ты нам.

– Не виноватые.

– Вот. У нас есть за что на судьбу обижаться. До самой смерти теперь мы на нее будем зло держать. А тебе, Лиза, не за что. Вам сейчас только жить да радоваться, у вас все от самих себя зависит. И если че не так, знай: ты допрежь всего нам в глаза тычешь, что у меня, у нее, у нее так же могло сложиться, если бы судьба нас и пожалела. А нам это видеть нельзя. Мы ниче такого знать не хотим – понятно?

С шумом открылась дверь, и в избу полезли ребятишки. Лиза кинулась их выпроваживать, но они в голос загалдели:

– Ему не давали – вот этому.

– Он только пришел.

– Дядя Максим, ему не давали.

Ребятишки вытолкали к столу Родьку. Надька, увидев его, взревела:

– Ты откуль здесь взялся? Я тебе че наказывала? Я тебе че говорила? А ну марш отсюда!

Родька, не двигаясь, с жадным мучительным вниманием, во все глаза смотрел на Максима. Встретившись с этим взглядом, Максим тихонько опустил на пол девчонку и поднялся.

– Ты, что ли, Родион? – глухо, перехваченным голосом спросил он.

Родька торопливо закивал.

– Ну, здорово, что ли. – Максим подошел к мальчишке и протянул ему здоровую руку. – Смотри, как вырос, совсем мужик. Молодец. Что ж ты так поздно? – Он достал с полки круглый печатный пряник, какими одаривал всех ребятишек, и протянул его Родьке. Тот взял. – Вот и весь гостинец, больше ничего нету. Посласти, брат, во рту, побалуйся. А завтра днем, будет время, приходи, поговорим. Сегодня, видишь, некогда. Придешь завтра?

Родька опять закивал и попятился к порогу. Ребятишки сомкнулись за ним, зашумели и вывалились в двери.

– Смотри, как вырос, – с печальным удивлением повторил Максим, усаживаясь обратно.

– Они растут, – бодро подтвердил Нестор, которому по привычке не терпелось взять на себя разговор. – Им и война нипочем.

– Скоро она кончится, война-то? – спросила вдруг Лиза. – Ты, Максимушка, оттуда, скажи ты нам – долго еще ждать?

– Для тебя она кончилась, – негромко сказала Надька, но Лиза услышала и обиделась:

– Почему это она для меня кончилась? Думаешь, если он здесь так мне и дела больше ни до чего нету? Ты скажешь. Я не бесчувственная какая-нибудь, что всем плохо, а мне хорошо. И не на заимке живу, чтобы дальше глаз своих не видать, а с народом.

– Скоро, бабы, скоро, – ответил Максим. – Сами знаете, наши до самой Германии уж дошли. Теперь додавят.

– А не заворотят? Немец тоже под Москвой был, а прогнали.

– Заворотят? – Максим прищурил глаза и натянулся, – подавшись вперед, словно вглядываясь в одному ему ведомую даль. Лицо его чуть перекосилось. Нет, не заворотят, Лиза. Я обратно с одной рукой пойду, одноногие, покалеченные пойдут, а не заворотят. Хватит. Невозможно, чтобы заворотили, не позволим. Не на тех нарвались.

– Четыре года – куда больше? – закивала Василиса Премудрая. – И мы тут поизносились. Надька не пропустила:

– Че-то по тебе не видно, что ты поизносилась.

– Ох, Надежда... Кто бы тебе язык укоротил? Серьезный разговор идет, а она свои колючки тычет.

– И нам досталось, – подхватила Лиза. – Верно, бабы, досталось? Тошно вспоминать. В колхозе работа – это ладно, это свое. А только хлебушек уберем – уж снег, лесозаготовки. По гроб жизни буду помнить я эти лесозаготовки. Дорог нету, кони надорванные, не тянут. А отказываться нельзя: трудовой фронт, подмога нашим мужикам. От маленьких ребят в первые годы уезжали... А кто без ребят или у кого постарше – с тех не слазили, пошел и пошел. Настена он ни одной зимушки, однако, не пропустила. Я и то два раза ездила, на тятю тут ребятишек бросала. Навалишь эти лесины, кубометры эти, и стяг с собой в сани. Без стяга ни шагу. То в сугроб занесет, то еще что – выворачивай, бабоньки, тужься. Где вывернешься, а где нет. Настена он не даст соврать: в позапрошлую зиму раскатилась моя кобыленка под горку и на завороте не справилась – сани в снег, набок, кобыленку чуть не сшибло. Я билась, билась – не могу. Из сил выбилась. Села на дорогу и плачу. Настена сзади подъехала – я ручьем заливаюсь, реву. – На глаза у Лизы навернулись слезы. – Она пособила мне. Пособила, поехали вместе, а я никак не успокоюсь, реву и реву. – Еще больше поддаваясь воспоминаниям, Лиза всхлипнула. – Реву и реву, ниче не могу с собой поделать. Не могу.

– Лиза, Лиза! – останавливая ее, позвал Максим.

– Не буду, Максимушка, не буду. Это я от дурости. Вы разговаривайте, я не буду. – Она ушла в куть и тут же вернулась, встала на то же место, у края застолья. – А облигации? – напомнила она, растревожившись и не в состоянии сразу остановиться. – Последнюю картошку весной в Карду леспромхозовским возили продавать – только бы рассчитаться, на что подписались, только б фронту подмогчи. Все, думаем, легче им там хоть сколько будет. А ты тут как-нибудь, в нас не стреляют, не убивают. Да чтоб ему, фрицу проклятому, и на том свете покою не было. Пускай ему отломится за все, за все наши мучения.

– Кто из нас, непонятно, – я или ты сегодня мужика дождалася? – спросила, оборачиваясь к Лизе, Надька.

– Я, Надька, я. Больше не буду.

– У нас все шиворот-навыворот, – обиженно загудел осоловевший Нестор. Что за народ! На войну мужиков провожали – пели, а встречаем – как на похоронах. Хватит нам Надьку слушать, давайте песню.

Надька шевельнулась, но ответить не успела. Лиза за спиной у Настены полным, чуть подрагивающим от волнения и слез голосом начала «Катюшу». Ей подтянули, и в числе первых подтянул Иннокентий Иванович. Лишь старики у стенки тихонько бормотали меж собой. Пела Василиса Премудрая, пел Максим, размахивал руками Нестор. Отстав, вступила Надька и вдруг сорвалась, уронила на стол голову и затряслась в рыданиях. Лиза обняла ее сзади за плечи и подняла «Катюшу» еще выше, песня не споткнулась, даже когда вслед за Надькой громко, навзрыд заплакала Вера Орлова. Надька оторвала от стола голову, взяла стоящий перед Настеной стакан с самогонкой, залпом выпила и, не вытирая слез, снова запела.

Настена, затаившись, молчала. Она не могла ни говорить, ни плакать, ни пить вместе со всеми – как никогда раньше, Настена поняла здесь, что ничего этого нельзя: не имеет права. Что бы она ни сделала, все будет обманом, притворством – ей оставалось только осторожно слушать и смотреть, что делают и говорят другие, ничем не выдавая себя и не обращая на себя внимание. Она уж и жалела, что пришла сюда, но и уйти теперь тоже было неловко. Все они тут были на виду: и счастливая, сияющая Лиза, и Максим, оглушенный родными стенами и ослепленный родными лицами; и растерявшийся, в один день полинявший Нестор; и хитроумный чтей-грамотей, колхозный счетовод Иннокентий Иванович старающийся обо всем знать поперед других; и уверенная в себе, твердо и спокойно ступающая по жизни Василиса Премудрая; и простоватая, задиристая Надька – все держались открыто и ясно, и если что-то скрывали про себя – без этого человек не живет, – то по малости, по надобности, и скрывали свое, личное, Настена же таила такое, что почему-то касалось всех и было против всех, с чем бы каждый из них к сегодняшнему вечеру ни пришел, против Надьки, и против Василисы Премудрой, и даже против Лизы. Она, эта тайна, соединяла их вместе и отделяла от них Настену; ее еще по привычке принимали за свою, а она уже была чужой, посторонней, не смеющей отзываться на их слезы и радости и не решающейся вторить им в разговорах и песнях.

Хитрит Надька, что не она потеряла Витю, что он полег от вражеской пули сам. Потому она и говорит, потому и спрашивает об этом, что чувствует свою вину – малой каплей не знает, в чем она, эта вина, не понимает, как можно было помочь Вите, но чувствует и мучается. Или меньше, чем надо, молилась, или меньше страдала, думала о нем? Почему Лиза дождалась, а она нет? Почему Василиса Премудрая, хоть война еще не кончилась, не сомневается, что ее Гаврила придет целым и невредимым? И придет – с такими, как Василиса Премудрая и Гаврила, ничего не делается – всех выбьют, все вымрут, а они вдвоем останутся и заживут спокойно себе дальше. Почему так получается? Нет, что-то тут есть, что зависит и от бабы тоже. Испокон, наверно, баба маялась этой загадкой, пыталась открыть эту тайну, не надеясь только на удачу, и впустую: век от века каждая обходилась своим чутьем, слепым, страстным и неуверенным заклинаньем, и если его не хватало, изводилась все от той же вины.

Верила и Настена, что в судьбе Андрея, с тех пор как он ушел из дому, каким-то краем есть и ее участие. Верила и боялась, что жила она, наверно, для себя, думала о себе и ждала его только для одной себя. Вот и дождалась: на, Настена, бери, да никому не показывай. Одна, совсем одна среди людей: ни с кем ни поговорить, ни поплакаться, все надо держать при себе. А дальше, как дальше быть? Как его вызволить из этой беды, как жить, чтобы, не ошибясь, не запутавшись, помочь? Что бы с ним теперь ни случилось, она в ответе.

Она тихонько выбралась из-за стола и выскользнула на улицу. Было уже поздно, разбежались по домам ребятишки и собаки. Весь нижний край деревни лежал темно и глухо. Настена постояла еще у освещенных вологжинских окон, из которых вырывалась песня, и повернула в заулок к Ангаре. Без людей ей стало легче, и она с укором покивала себе: вот до чего уж дошло – раньше, чтобы успокоиться, держалась людей, а теперь, наоборот, бежит от них. Боль в душе притупилась, но дышалось почему-то со стоном – жалобно и горько. Вздохнув глубоко, всей– грудью, Настена приглушила в себе этот самовольный стон и зашагала по льду вдоль берега вниз, замечая и обходя проруби. Она шла и все смотрела, смотрела на противоположный берег, в тот едва различимый за островом мертвый угол, где хоронился Андрей, веря и не веря, что он тут, рядом; в какое-то выпавшее из-под ее власти, безнадзорное мгновение ей почудилось, что она только что, минуту назад, все выдумала – и что вернулся Максим, и что прибежал Андрей – выдумала, представила, как оно могло быть, и поверила. Отправься она сейчас в Андреевское, и никого там не найдет. Но наваждение сразу же прошло, оставив одну досаду, и еще ближе и безжалостней подступила правда: ничего не выдумала, все так и есть.

Под своим берегом она поднялась на яр и, оглянувшись в последний раз в сторону Андреевского, тяжелым шагом направилась домой – предстояло еще докладывать Михеичу, что Максим ничего не знает об Андрее. Никто ничего не знает, кроме нее, но об этом нельзя проговориться даже в беспамятстве.

10

Еще днем Настена никуда не собиралась, но к обеду замело, запуржило со снегом; Настена спохватилась, что воды в кадке на дне, и, пока погода совсем не сдурела, кинулась на Ангару. На Ангаре задувало во всю моченьку, мокрый липкий снег несло по воздуху мутным прогонистым течением и несло тоже вниз верховиком. По привычке посмотрев в сторону другого, утонувшего теперь в этой кутерьме, берега, Настена подумала, что вот сейчас бы туда и бежать, никто не увидит. Подумала просто так, мельком, но сердце, зацепившись за эту подсказку, вдруг взнялось: а что, если правда побежать? Плюнуть на все и побежать? Когда еще дождешься такого удобного случая? Она торопилась с водой обратно и, унимая нетерпение, уж знала, что побежит. Это одним духом принятое решение вызывало суматошную радость и отчаянность; казалось, удерживай ее сейчас кто угодно, всех бы обманула и убежала.

Но удерживать ее было некому: Михеич на конном, а свекровь, как обычно, дремала на печке. Настена мигом достала из подполья ведро картошки, сверху отбавила в чугунок, чтобы старикам не гоношиться, если понадобится вечером варить, остальное высыпала в брезентовую сумку. Сбегала в амбар, принесла припрятанный заранее мешочек с горохом и отрезала полбуханки хлеба. Хлеб был желтый, тоже с горохом – во всей деревне наступило гороховое царство с гороховой музыкой: колхоз недавно расщедрился и выдал его на работников почти девять центнеров, так что гороховую кашу теперь заедали гороховым хлебом и прикусывали круглым горохом.

Настена быстро собралась, сменив обутые утром чирки на катанки, а фуфайку – на плюшевую жакетку, и мимоходом стыдливо заглянула в зеркало. В фуфайке идти через Ангару было бы, пожалуй, даже удобней; но хотелось показаться на глаза мужику поаккуратней Он-то, может, ничего и не заметит, ему там не с кем ее сравнивать, но она сама в выходном чувствовала себя праздничней и опрятней, вместе с одеждой снимался какой-то рабочий груз, какая-то тягловая, будто сбруя, зависимость от работы, когда уж и не помнишь, кто ты – женщина или нет, в какой ты поре и что у тебя на душе ничего не помнишь, только давай и давай, нажимай и нажимай. Потому и любила Настена по вечерам, покончив с делами, пусть ненадолго, да переодеться в чистое, невольно тогда являлось ощущение своей молодости и красоты – того капризного богатства, которое чем дальше прячешь, чем меньше помнишь, тем быстрей оно убывает. А переодевшись, Настена и ступала осторожно, словно боясь в себе что-то повредить, и улыбалась ласковей и теплей, опять-таки словно оберегая какую-то свою, ее одной касающуюся тайну, для которой еще не наступило время. В такие минуты она, не смиряясь с войной, с нуждой, с одиночеством, берегла и готовила себя для будущей счастливой жизни. Знала Настена: стареют с годами, а душой можно остыть и раньше лет – этого она боялась больше всего. Сколько людей, и здоровых и сильных, не отличают своих собственных, богом данных им чувств от чувств общих, уличных. Эти люди и в постель ложатся с тем же распахнутым, для всего подходящим удовольствием, с каким садятся за стол: лишь бы насытиться. И плачут, и смеются они, оглядываясь вокруг – видно, слышно ли, что они плачут и радуются, не потратиться бы на слезы зря. Эти свое отзвучали: тронь их особой тронью – не поймут, не отзовутся, ни одна струночка не отдастся в ответ чуткой дрожью: поздно – заглохло, закаменело, и сами они никого также не тронут. А все потому, что в свое время не умели или не хотели остаться наедине с собой, позабыли, потеряли себя – не вспомнить, не найти.

Сборы заняли у Настены не больше десяти минут, а ей показалось, час до того не терпелось бежать. Подхватив наконец сумку, Настена выскочила на улицу и приостановилась, торопливо оглядываясь и приноравливаясь к ветру. Лишняя осторожность не мешала, поэтому она припустила через телятник: если кто ненароком и увидит – мало ли зачем ей понадобилось в баню, пусть хоть в клящую пургу? Здесь, возле бани, такая густая стояла круговерть, что даже ближние избы едва мерещились: уже без боязни Настена скатилась на лед и взяла вправо, туда, где дорога поворачивала на реку. Только теперь она спохватилась, что дорогу могло занести – тогда придется пробираться наугад, а это сейчас опасно: в такой кутерьме недолго и заплутать, потерять берега и укатать невесты куда по ветру, который так и сталкивал с ног, так и сносил, не давая держать направление. Но дорога, на счастье, еще просматривалась, ее заносило перед торосами, в основном же снег протаскивало мимо.

Идти приходилось низко согнувшись, пряча лицо, чтобы не захлебнуться в сплошном потоке мокрого месива. Ветер бил ровно и сильно, без порывов, одной бешеной струей. Гудело как в трубе – мощным и длинным гулом, но и сквозь него отчетливо слышалось вторым голосом шипение несущегося снега. Уже в трех шагах ничего нельзя было рассмотреть, хотя вокруг казалось светло, но светло каким-то белесым, как в тумане, непроглядным, рвущимся в движении, мелькающим светом. Голые торчащие льдины звенели, снег, налетая на них, брызгами разбивался на стороны, там его подхватывало и несло дальше.

Откуда сорвалось? Сколько Настена помнила, никогда в эту пору так не заметало. Вот тебе и весна – март покатился под горку.

Она стала терять дорогу, но пока находила ее, и всякий раз слева; как Настена ни упиралась, как ни правила под ветер, ее сносило, скашивало вниз. Можно представить, куда бы ее теперь утартало без дороги. Но и различать старый санный накат становилось все трудней и трудней. Гребни наносов нарастали и смыкались. Настена искала клочки вмерзшего по обочинам сена, шляпки обтаявшего грибками конского навоза, оставшиеся с тех пор, как с Покосного возили сено, – по этим приметам и шла. Она устала, поначалу сдуру рванула изо всех сил и быстро запалилась, тяжелая сумка оттягивала руки, ветер сбивал дыхание, ноги вязли в снегу, на катанки налипало, полушалок и жакетка вымокли. Ветер, правда, был не холодный, южный, но оттого и мокро, слякотно, что не холодный, – неизвестно еще, какой лучше.

Всматриваясь влево, она искала остров; дотянуть бы до него – там легче, там протока узкая, можно брести напрямик. Настена не боялась, что не дойдет, – дойдет, никуда не денется, но выйти хотелось как можно ближе к распадку, чтобы у берега не гадать, где он, не метаться из стороны в сторону. И что потащилась в пургу, нисколько не жалела: ей надо было идти, может, оттого и взыграла сегодня непогода, чтобы прикрыть ее от чужих глаз. Почему-то не верилось только в сухое тепло, в то, что наступит такая минута, когда она сбросит катанки, вытянет гудящие ноги и прикроет от удовольствия глаза, это представлялось чересчур далеким, чуть ли не сказочным.

В конце концов она потеряла дорогу и не нашла ее – все под ногами слилось в одной движущейся неразберихе. Тогда Настена решила больше забирать против ветра, чтобы, уткнувшись когда-нибудь в берег, наверняка знать, что речка где-то правей. И все же то, что она не удержала дорогу, обидело Настену; без страха, только от обиды и усталости, она всхлипнула и зачем-то, крикнув, позвала Андрея. Глупо было бы надеяться, что ее кто-то услышит голос тут же скомкало и кинуло вниз.

Она еще долго шла, с трудом уже помня, куда идет, но, подняв однажды голову, вдруг заметила, что ее не пришлось тотчас же прятать. Ветер, казалось, ослаб. Она остановилась и огляделась: позади несло все с той же безудержной силой, но здесь что-то мешало ветру, обо что-то он задевал, сбивался с прямого хода. Пройдя еще немного вперед, Настена увидела берег. То был не остров, остров она пропустила, не заметив, – то был уже материк. Через Ангару, слава богу, перелезла, теперь надо искать Андреевское. По тому, как изгибался берег, Настена поняла, что высокий лесистый мыс, который она помнила за островом, остался слева; он-то, видать, и загораживал от ветра. Значит, как она и рассчитывала, ей надо спускаться вдоль берега вниз. Теперь, считай, добралась, теперь недалеко. Внятно и глухо шумел по горе сосняк, на неширокой луговине выпрямившегося берега полоскало на ветру голые березы и осины. Вправо Настена старалась не оборачиваться, там по-прежнему творилось все то же. В спину подталкивало, и она, не поспевая ногами, спотыкалась, однажды упала, вывалив из сумки на снег две картофелины, и почему-то, с какой-то невольной досады, не захотела поднять их, оставила замерзать.

С ходу она едва не проскочила речку, но вовремя заметила, как в бок с силой втягивает снег, и поопнулась. А то бы, глядишь, ухлестала до Рыбной. Настена не могла понять, везет ей сегодня или нет: вроде благополучно перешла Ангару, не заблудилась, не завалилась и лишнего пути по этой негляди почти не сделала – другая бы радовалась, как все удачно складывается, а ей отчего-то казалось, что все идет, наоборот, шиворот-навыворот, не так, как могло бы идти. И не одной только усталостью было сбито с самого начала и придавлено настроение – чем-то еще; она боялась думать, что – это «что-то» есть нехорошее и верное предчувствие.

Вскоре она поднялась к зимовью.

Андрей был здесь: с трубы на крыше сбив, ало дым. Не хватало еще, чтобы после всего, что она вынесла, пришла к разбитому корыту, к пустому зимовью. Помня, как она в прошлый раз напугала мужика, Настена не полезла в дверь. Она отдышалась, вытерла ладонью мокрое лицо и только после этого осторожно постучала в окошко:

– Андрей, это я! Андрей!

Он услышал, выскочил, обхватил ее за плечи, что-то говоря и подталкивая к двери, – она не понимала, на нее вдруг в одно мгновение навалилась такая страшная усталость, что не было сил пошевелиться. Перешагивая через порог, она запнулась и чуть не упала – это ее, и без того близкую к слезам, доконало: не сдерживаясь больше, она заплакала. Андрей растерянно топтался возле, не зная, что делать и как быть, да он, похоже, все еще не в состоянии был поверить, что это действительно она.

– Мог бы встретить, – капризно и запальчиво выкрикивала она сквозь слезы. – Думала, не дойду, думала, упаду, а он тут сидит, ему хоть бы хны.

– Откуда я знал, что ты сегодня пойдешь?!

– Откуда! Знать надо было! Откуда!

Он догадался наконец снять с нее жакетку и полушалок, раскисшие пудовые катанки она с отвращением скинула сама. Он подобрал их, взвешивая в руках, удивленно покачал головой и пристроил сушить к печке. Печка топилась, в зимовейке было тепло, спокойно; приятно и домовито постреливали горящие дрова да еще позванивала в окошке стеклина – единственное напоминание о том, что творилось на улице.

Андрей подсел к Настене на нары и осторожно спросил:

– Что прибежала-то? Ничего не стряслось?

– Что прибежала-то? – снова вскидываясь, передразнила она. – К тебе прибежала – вот что! Он, еще спрашивает! – Уже другим, остывшим голосом она ответила: – Ничего не стряслось.

– Отчаянная ты. Я и не знал, что ты такая отчаянная. Сегодня зверя и того из норы не выгонишь, а ты осмелилась.

– Ты вообще ничего не знаешь. Живешь, как крот, в потемках и жену свою не разглядишь.

– Как крот, – согласился он, но не дал себе сбиться с радостного, счастливо-удушливого настроения и спросил: – Проголодалась, поди? Обедать будем? Или ужин скоро, я все перепутал.

– Чем ты меня, интересно, собираешься кормить? – Едва он заговорил об этом, Настена почувствовала, что в самом деле хочет есть. Она не садилась за стол с утра, а теперь день подвигался уж к вечеру. Отказываться нельзя было еще и потому, что она видела, как ему хочется услужить ей, хоть чем-нибудь удивить, показать себя хозяином.

– Ушицу можно сварить. Я тут взялся рыбалить помаленьку.

– Только я на улицу больше ни за что не пойду.

– Сиди, я сам.

Он приоткрыл дверь и, высунувшись, не соступая с порога, достал откуда-то сверху мерзлую рыбину – хорошего, килограмма на три, налима и со стуком опустил его на стол.

– Я вижу, ты здесь живешь, однако, получше, чем мы, – удивилась Настена.

– Да вот вчера подфартило. Как нарочно, для тебя. Фартовая, выходит, ты.

– Ну, еще бы не фартовая, – с непонятной, сдержанной интонацией отозвалась она.

Он умолчал, каким образом приспособился рыбачить. Этого сказать он ей не мог. Еще совсем недавно он и подумать не смел что способен позариться на чужое, а теперь вот докатилось ужи и до этого. Кто-то из Рыбной поставил уды возле своего верхнего дальнего острова со стороны протоки, у тихого илистого берега, а он однажды ночью случайно наткнулся на них и не утерпел. Он знал, что каждый день таскать пешню в деревню и обратно никто не станет, и действительно отыскал ее в кустах, там жел лежала маленькая совковая лопата с коротким черенком – рыбак, видать, во всем любил обстоятельность. Уды обычно проверяют по утрам, Гуськов же взялся посматривать их по вечерней темноте, чтобы за ночь снова успело затянуть лунки льдом. Так он добыл уже четырех налимов. Работал он чисто и аккуратно, не оставляя за собой следов; едва ли хозяин мог что-то заподозрить, к тому же на долю хозяина приходился ночной, может быть, самый удачный клев. Хорошо сказано – «работал», такую работу Андрей сам раньше называл пакостью.

И не нужда, та нужда, что хватает за горло, заставляла его выходить на этот нечистый промысел. У него еще осталось мясо, постоянно что-нибудь подбрасывала Настена. Запас, как известно, карман не ломит, но тут больше исподволь подталкивала и зудила Гуськова какая-то тайная и властная обида за себя, вызывающая столь же старательно припрятанное, со всех сторон замаскированное желание досадить тем, кто, не в пример ему, живет открыто, ходит не прячась и не боясь, хоть в чем-нибудь перебежать им дорожку и тем самым почувствовать себя словно бы причастным к их судьбе: без него было бы одно, а с ним другое. И пусть его не видят и не слышат, не подозревают о нем, но он есть и его существование так или иначе должно сказываться на других, иначе он мертвец, тень, пустое место. Удовольствия это не доставляло, для удовольствия надо признаваться в том, что делаешь, но чему-то, маленькому и убогому, потрафляло, что-то питало. Он не доискивался, что именно: необязательно знать, чем облегчаешься, было бы легче.

Уха на горячей печке забулькала быстро, и они поели, причем для Настены нашлась даже отдельная деревянная ложка, вырезанная Андреем специально для таких вот праздничных случаев. Он постепенно обзаводился хозяйством, варили уже не в маленькой манерке, а в трехлитровом котелке, который Настена на прошлой неделе принесла в баню вместе с фуфайкой.

Они тогда виделись, но, как всегда в бане, ощупью. У Настены после этих встреч оставалось неприятное и брезгливое чувство своей неразборчивости и нечистоплотности; ей по-прежнему мерещились подмена, обман, и хоть она понимала, что никакой подмены нет, привыкнуть и успокоиться все же не могла: прислушивалась к голосу Андрея – его ли? Искала и, конечно, когда ищешь, находила в его повадках то, что раньше не замечала, – пугала и запутывала себя почем зря. Но особенно неприятно было ложиться на холодный и скользкий, пахнущий прелым прогорклым листом, высокий полок, куда приходилось забираться на четвереньках; Настене казалось, что она сразу же вся там покрывается противной звериной шерстью и что при желании она может по-звериному же и завыть.

Здесь другое дело. Здесь они могли смотреть друг другу в глаза, по его лицу она догадывалась, о чем он думает, здесь их близость оправдывалась прежней семейной жизнью, а то, что эта близость происходила в столь чужой и неказистой обстановке, добавляло Настене тревожного, незнакомого, но и желанного волнения, переходящего за черту обычного в таких случаях рабочего чувства.

Обида за их горькое положение мужа и жены, которым приходится встречаться тайком и нечасто, искала у Настены возмещение в самих встречах; Настена хотела бы, чтобы каждая из них вмещала в себя годы жизни и наполнялась особым смыслом, особой силой и лаской. Как того добиться, она, понятно, не представляла; терзаясь, мучаясь, боясь завтрашнего дня, она мечтала о чем-то большом, доступном ей и все-таки неясном, надеясь лишь, что, приди оно, оно бы в ней не обманулось.

Однажды, кажется, что-то похожее случилось, но когда, в какое из свиданий, она не знала, и это ее тоже мучило: как можно было такое пропустить? Уж не бесчувственная ли, не деревянная ли она? Правда, Настена не была до конца уверена, что оно действительно произошло, но слишком многое показывало, что да, произошло – еще и потому она была сегодня взбудораженной и растерянной.

Она поднялась из-за стола и, припадая на гудящие, налитые усталостью ноги, перебралась на нары и легла. Теперь ему можно было сказать, с чем она пришла.

– Андрей, знаешь что?

– Что?

Но она передумала:

– Ладно, потом.

Настена решила подождать, когда он придет к ней. Он все еще оставался за столом; Настена заметила, что Андрей ест медленно, – сказывалась, видимо, его привычка в последнее время никуда не торопиться. Наконец он поднялся, но, вспотев от еды, полез охлаждаться в дверь. Настену окатило хватким морозным ветром, и она закричала:

– Закрывай скорей.

– Закрыл, закрыл. Вроде послабже дует.

– Ага, послабже. Он подошел и присел к ней. – Все еще не согрелась, что ли?

– Я согрелась, а как вспомню, что скоро обратно бежать, всю прямо дрожью обдает. Сюда-то до смерти пристала.

– Побудь подольше, отдохни. Одна ты не пойдешь, я тебя доведу.

– Как же подольше-то, Андрей? Я и так сорвалась, никому ни слова, ни полсловечка. Меня уж теперь, поди, потеряли. Прибегу середь ночи – кому это понравится? Я и без того приповадилась по ночам шастать. Вот, думают, невестка... – Представив, как она будет стучать в запертую дверь, Настена закрыла глаза.

– Отец ни о чем таком не спрашивал?

– Нет пока. Молчит. И как он по сю пору не хватился ружья, не пойму. Скоро одно к одному сойдется.

– Ты хоть придумала, что говорить, когда хватится?

– Придумать-то придумала... – Настена поморщилась.

– И что придумала?

– А зачем я тебе стану свои враки передавать? Не хочу. Я уж как-нибудь сама.

Он неловко погладил ее по голове:

– Тяжело тебе, Настена?

– Да нет. – Она открыла глаза и улыбнулась. Лицо ее, опаленное ветром, в тепле разгорелось и пылало чистой малиновой краснотой, улыбка на нем вышла слабой. – Вот за тебя сердце болит. – Она не хотела и не стала говорить всего, что чувствовала. – А сама я что? Я дюжая, сколько надо, смогу. Без тебя-то, думаешь, легче, что ли, было? Каждый божий день обмирать, живой ты сегодня или нет. Тут я хоть знаю, что живой.

– Может, нам пока не видаться, чтоб ты отдохнула маленько? У меня все есть, я проживу.

– Ты почему такой-то? Отдохнула, говорит. А ты спроси, хочу я отдыхать? Скоро и так Ангара раскиснет, потом покуда пройдет, покуда установится наотдыхаемся, успеем. Если и тебя еще не видать – что мне тогда остается? Ничегошеньки ты не знаешь. – Настена чуть помолчала, вздохнула глубоко и, решившись, медленно и осторожно, с натянутым, отстраненным вниманием к своим словам, произнесла: – Забеременела, кажется, я, Андрей.

– Что?! – У него вышло не «что», а с охом: – Что-ох! – Он не усидел, вскочил. – Ты это правду... правду говоришь?

– Точно еще не знаю. Но никогда так не бывало. Кажется, правду. – Она отвечала по-прежнему медленно и осторожно, словно стараясь оттянуть тот миг, когда выяснится, как он к этому относится.

– Что ж ты молчала? – неуверенно начал он, и, пока говорил эти первые попавшиеся слова, его проняло, весь смысл случившегося дошел до Андрея и окатил его с головы до ног своим жаром. – Нас-те-на! – негромко и истово взмолился он и, обессилев, сел, схватил Настену за руку. – Вот это да! Черт возьми! Это что ж теперь такое?! Ты понимаешь? Ты понимаешь, Настена? Вот оно, вот... Я знаю... теперь я знаю, Настена: не зря я сюда шел, не зря. Вот она, судьба... Это она толкнула меня, она распорядилась. Как знал, как знал – ты понимаешь? Как чувствовал. А еще, дурак, боялся. Да ради этого... – Он не вскрикивал, он выдыхал слова запаленным сухим голосом, кашляя и смеясь одновременно, глаза его разгорелись и смотрели куда-то далеко, словно пронзая стены; обращаясь к Настене, он, казалось, и не видел, не замечал ее – он говорил для себя и убеждал себя. – Это ж все – никакого оправдания не надо. Это больше всякого оправдания. Пускай теперь что угодно, хоть завтра в землю, но если это правда, если он после меня останется... Это ж кровь моя дальше пошла. Не кончилась, не пересохла, не зачахла. А я-то думал, я-то думал: на мне конец, все, последний, погубил родову. А он станет жить, он дальше ниточку потянет. Вот ведь как вышло-то, а! Как вышло-то! Настена! Богородица ты моя! – Он кинулся на нары и припал к Настене, обнял ее, что-то еще шепча и поводя большой лохматой головой.

– Настена, обрадованная поначалу его радостью, слушала затем уже с обидой и тревогой: что ж он о себе только? А она? Какое же для нее-то оставлено место? Где оно?

Тревога и обида эти и были в ней недалеко – вот почему они поспели так скоро. Неделю назад, когда Настена впервые заподозрила в себе начало новой жизни, она едва не задохнулась от нахлынувших на нее – давно отринутых, оскорбленных, упрятанных и вот теперь освободившихся и оправдавшихся чувств: господи, неужели?! Неужели и она тоже, как все нормальные бабы, способна стать матерью? Неужели бог сжалился над ней и даровал ей это счастье? Неужели после стольких лет супружеской жизни, после стольких напрасных желаний, стараний и молитв теперь, когда казалась потерянной всякая надежда, она каким-то чудом вздобрилась и понесла? Что случилось? Она собиралась ложиться на ночь и уже задула лампу, когда ее поразило этими «неужели?», оторопев, она присела на край своей широкой деревянной кровати, чуть отдышалась, потом плотнее задернула на двери занавеску и разделась – голой, в чем мать родила, встала у окна под луну, как нарочно низкую, круглую, яркую, и принялась внимательно, с нетерпеливой жадностью осматривать себя, пытаясь глазами найти в себе какие-то перемены. Тело ее, сильное и крепкое, полное не лишней, а своей собственной, здоровой полнотой, светилось теплой, парной белизной, подрагивало от волнения и внимания, но ничего, однако, не объяснило ей, а заметив на груди похожую на большой мрачный крест тень от оконного переплета, Настена напугалась и отошла. Она легла, но легла поверх одеяла, опустив по бокам руки, прикрыв глаза и задержав дыхание, чтобы не помешала никакая малость, и теперь уже прислушалась, напрягая внимание на одной, где-то глубоко затаившейся точке, и достала до нее – достала, отделила от всего остального, тронула, и та в ответ слабо, чуть внятно отозвалась: есть.

Так ей почудилось, пригрезилось, и тело ее с той поры занялось ожиданием: правда ли есть, не обманулась ли она? А если есть, как быть, что делать дальше?

Действительно, как быть, что делать? Счастье-то счастье – и какое счастье! – но что с него, если взошло оно в самое неподходящее время? Где же оно, жданное-пережданное, было раньше, почему открылось только сейчас? Ведь она не вдова, не мужняя жена, неизвестно кто сегодня и неизвестно кем останется завтра. Все для Настены перепуталось, все сошло со своих мест и встало с ног на голову. Ей ли не знать, что ни с кем никогда, кроме мужика своего, она не бывала, а деревне известно другое – деревне известно, что вот уже четыре года она его не видела в глаза. Так ветром, что ли, надуло ей это счастье? На ветер оно бы неплохо свалить, да не выйдет, надо искать живую душу. А зачем ее искать, зачем на кого-то, невинного, взваливать грех, если его и не было вовсе? А кто есть, о том не скажешь.

Все, все перепуталось, перемешалось, а потом перепутается еще больше.

А может, ничего нет, может, попусту она мечется, зря изводится? Мало ли как случается у бабы, раз на раз, ясное дело, не приходится. А она уж в панику ударилась – может, напрасно? Как не было, так и нет. И не будет.

А что лучше – чтобы было сейчас или не было совсем? Если бы довелось выбирать – что, в самом деле, лучше? Остаться в положении или никогда его не дождаться?

Она и побежала к Андрею, чтобы при нем хоть немножко разобраться во всем этом, прийти к какому-то решению, как-нибудь успокоиться. И до самой последней минуты не знала, стоит ли открываться, не подождать ли до полной уверенности, пригревшись пока, приласкавшись возле него, набравшись терпения и сил. Много ей не надо – побыть возле человека, с которым она разделила судьбу, который, похоже, все дальше и дальше отводит ее от людей, оставляя только для себя. К кому же еще приткнуться, у кого найти успокоение, как не у него?

Но она открылась и, слушая его сбивчивый, заходящийся от радости шепот, пожалела: зря сказала. Он придавал этому такое значение, о каком она не подумала.

– А я? – приподымаясь на нарах, спросила Настена. – Как же со мной-то быть? Я же середь людей живу – или ты забыл? Что я им, интересно, скажу? Что я скажу твоей матери, твоему отцу? Они ведь, наверное, спросят, поинтересуются.

Так близко, совсем рядом, был этот вопрос, но он почему-то не ожидал его. Он выпрямился и опять сел, уставившись на нее с удивленной оторопью.

– Не знаю, – пожал он плечами. – Плевать нам на все.

– Тебе хорошо плевать, ты здесь один.

– Что такое ты говоришь, Настена? Ты сама-то не рада, что ли?

– Я радая, да как теперь быть-то? Куда мне себя девать? Ведь это скоро на глаза полезет, откроется.

– Помнишь, сколько мы ждали, сколько надеялись? – В его голосе была обида, он по-прежнему не хотел ничего понимать.

– Помню... как не помнить. Ты почему такой-то, Андрей? Что ты меня уговариваешь? Не я ли ночи напролет молилась, все просила ребеночка от тебя. Ничего мне больше не надо было – только чтоб родить, пользу тебе принести. Не я ли до смерти боялась остаться сухостойной? Грех-то на меня ложился, не на кого-нибудь. И ты на меня его относил. Мне много хужей было, чем тебе, я со всех сторон обманщицей, воровкой какой-то выходила. Отец с матерью понадеялись на меня, родили, чтоб и я тоже рожала, ты понадеялся, взял за себя, а я – вот она такая свиристелка, полюбуйтесь на нее. Как будто чужое место занимала, на чужое счастье позарилась. Я себя сто раз прокляла – ты не знаешь. Если б можно было, я бы давно потихоньку пропала куда-нить, а то в Ангару кинулась, чтоб освободить тебя. Ты сам не пускал. Потом эта война. А ты говоришь: помнишь? Кому же еще и помнить, если не мне? Кому радоваться сейчас, плясать, песни петь от радости? Я, может, заново теперь родилась. Господи! Но ведь тебя же нет! Тебя нет, Андрей, нет! – простонала Настена и махнула рукой, словно отгоняя от себя это лохматое неуклюжее видение. – Ты не велишь мне ни одному человеку шепнуть, что ты здесь. Ну нет – значит, нет, я молчу и молчать буду. Я понимаю. Но ведь тогда и ребенок, если он будет, не твой. Чей угодно, только не твой. Тебя нет, и неизвестно, живой ты или неживой. Может, твои мать с отцом мне спасибо скажут, когда я им без тебя в подоле принесу? Может, люди пожалеют? Ага. Знать бы им, что ты неживой, и то легче, хоть кто-то бы понял, не осудил одним махом. А то ведь считается, что ты в любой момент можешь прийти ко мне. А я-то, я-то что делаю, как тебя дожидаюсь? Тут на меня самая распоследняя собака ветер понесет – и правильно, гляди, на что идешь. Трудно, однако, одной от людей будет с моим грузом – боюсь не справиться, Андрей.

Он молчал, тяжело, неподвижно глядя куда-то в угол. Он молчал долго, и Настене стало сначала неловко, а затем уже и страшно за свои слова. Выходило, что она отказывалась от ребенка. А вдруг сейчас как раз то самое переломное время, когда, чуть завязавшись, он может продолжаться, а может и задохнуться. Откажешься – ничего не будет. Все от нее зависит. Будет плохо, и не будет – тоже плохо. Но отказываться от него она не хотела – нет, жутко, неможно казалось ей взять на себя такую тяжесть – отречься от своих же собственных надежд; она бы хотела, чтобы ничего от нее больше не зависело и чтобы то, что есть, ни в чем изменить уже было нельзя.

– Я не знаю, Андрей, – обращаясь к нему за помощью, виновато добавила она. – Не знаю, что делать. Растерялася.

– От судьбы, Настена, никуда не уйдешь, – отозвался наконец он. – Хошь делай заделайся поперек ей, а она на своем поставит. – Он невесело, утверждающе усмехнулся, будто знал об этом больше других, помолчал еще, теребя себя за бороду, и заговорил уверенней и злей: – Это ж она меня с войны сняла и сюда направила. Она. Может, против сил моих направила, чтобы успеть нас до смерти моей свести. Ты думаешь, легко мне здесь зверюгой лесной прятаться? А? Легко? Когда они там воюют, когда я тоже там, а не здесь обязан находиться? Я здесь по-волчьи научился выть. Хочешь, покажу? Не дожидаясь согласия, он поднялся, тяжелым шагом подошел к двери, распахнул ее и, выгнувшись вперед, не сразу, начав со всхлипа, словно доскребаясь до нужного голоса, и, достав, навострив его, пустил тонкий и длинный, режущий по живому, жалобный и убийственный стон. От ужаса Настена вскочила на колени, схватившись руками за грудь. Андрей вдруг оборвал этот нечеловечий голос, прикрыл дверь и, откашлявшись, воротился обратно. – Похоже? – спросил он и сам же себе ответил: – Похоже. Знай, что это я, когда услышишь. А волков я тут давно распугал, все, наверно, на ваш берег сбежали. Ишь какую забаву нашел. От безделья, думаешь? Нет, Настена, не от безделья – от другого. От веселой жизни. Что ж ты последнюю надежду от меня отымаешь, что я хошь для какого-то надобья сюда шел? Что не совсем зря я принял на себя позор? Показала, дразнула и отымаешь. Мне ж теперь тошней того будет. А роди ты, я себя оправдаю, для меня это последний шанс. Что я говорю: шанс, это все для меня, вся моя служба в жизни. И пускай люди не знают, зато кровь моя знать будет, что он мой. Нас потом только кровь и помнит.

– Да ведь его, может, еще и нет, – слабо возразила Настена. – Я сказала, что еще не точно. Надо подождать.

– На нет и суда нет. А есть – оставь, не губи. Спаси мою душу. Я хошь завтра же сгину и ничем тебя больше не потревожу, и ты во всем другом поступай как знаешь...

– Мне совсем не надо, чтоб ты сгинул! Что ты говоришь?!

– Четыре года мы прожили вместе. Плохо ли, хорошо ли, но вместе. Да четыре года война. Тоже одной веревочкой были связаны, хошь и за тыщи верст. Неужели все вхолостую, все зря, и ничего от нашей жизни совсем не останется? Ты будешь дальше жить, ты еще молодая, красивая, но этих-то годов все равно не воротишь. Они прошли. Как бы твоя жизнь потом ни сложилась, да ведь и я в этой жизни тоже был. Куда меня денешь? Сколько баб осталось за войну с целой оравой, а ты одного не хочешь принять. Что бы ты делала, если б он раньше, еще до войны, появился?

– Я разве не хочу, Андрей?! Я разве не хочу?! Я хочу. Что ты на меня наговариваешь? Зачем ты так?

– Ты не отказалась от меня, когда увидала, что я пришел с войны не тем ходом. Не выгнала, не выдала, пособила выжить – без тебя я, наверно, пропал бы. Знала, какую тяжесть на себя берешь, и все ж таки взяла, не побоялась. Кто мог подумать, что теперь, когда у нас уж не семья... какая семья?.. так, две половинки от семьи, что теперь-то мне и выпадет один-единственный раз в жизни сделать свое мужицкое дело. Для того, что не совсем же зря я жил. Что говорить?! У тебя была только одна сторона: люди. Там, по правую руку Ангары. А сейчас две: люди и я. Свести их нельзя: надо, чтоб Ангара пересохла. Конечно, мне легко говорить, мне пузо не таскать. Я здесь, в упрятке, отсижусь до своего часа.

– Перестань, Андрей! Хватит, не надо так.

Запал из него вышел, Андрей опустился на нары и лег на спину, сдерживая заходящееся дыхание. Но он не досказал и, помолчав немного, подталкиваемый оставшейся болью, заговорил снова, уже спокойней и легче, зная, что главное сказано.

– Пересудов людских ты боишься... Что они тебе? Люди – как собаки: кто где не так пошевелился – они в шум. Полаяли и перестали – и опять ждут, кто бы себя чем выдал. Конечно, на тебя напустятся – не без этого. Помоют языки, постараются. О хлебе забудут, дай им только твое пузо пославить. Ну и пускай славят, пускай чесотку свою чешут, это ж у людей чесотка, зуд, обязательно надо кому-нибудь косточки перебирать. Они без этого не могут. А ты знай помалкивай, делай свое дело и не дразни их – скорей уймутся. А потом и до кого другого очередь дойдет, и ты уж вместе с людьми окажешься. В первый раз так, что ли? За то же самое, за что они костерили, они тебя потом похваливать начнут. Люди... Да доведись такое до них, неизвестно, кто себя как бы повел. Не людей – себя слушай. Ты знаешь, как было. Что ни перед кем ты не виноватая. Что и со стороны отца он тоже твой родной ребенок. Этим себя охраняй, этим спасайся, этим. Конечно, не сладко тебе придется. А сейчас-то, сладко разве?

– Я не жалуюсь.

– Что жаловаться – так видно.

Они не заметили, как затихла хлябающая в окне стеклина, как в зимовейке сначала посветлело, а потом стали настаиваться спокойные сумерки. Ветер пронесло, и только отбившиеся от него, закружившие где-то порывы изредка бестолково налетали и опадали то у одной, то у другой стены. Печка протопилась и почернела. Переламывая разговор, Андрей поднялся, перекрыл заслонкой трубу, чтоб не выносило тепло, и заглянул в окошко. Даже со стороны горы нахлестало порядочную, чуть не до стекла, завалину снега, мокрый снег налип на стволах деревьев, в низком затухающем небе все еще гнало клочья разодранных, дымных туч.

Настена, повернув голову, следила за Андреем. Он воротился и опять прилег к ней. Ничего не изменилось, но это необязательное вставание означало для обоих, что больше того, что сказано, говорить сейчас не следует. Действительно, надо подождать. Чтоб не получилось, как у той причитающей бабы: ах, если бы у меня был ребенок, да если бы он занемог... То, что нужно, Андрей сказал, Настена выслушала – и достаточно. Надо потерпеть – на днях все выяснится окончательно.

Настена облегченно вздохнула и осторожно, для себя одной, потянулась, разгоняя по телу набрякшие комки. У нее всегда так: чуть растревожится, разбередится – кажется, к самой коже подступают изнутри чувствительные, болезненные наплывы, в которых отдается малейшее страдание и которые исчезают затем не скоро и не легко. Она все еще сторожилась, боялась, как бы он ненароком, забывшись, не сломал их молчаливую и оттого слабую, ничем не скрепленную договоренность.

Он пошевелился, и она замерла.

– Давно уж, с третьегодняшнего лета, помню я про тебя один сон, неожиданно начал он и помедлил, подождал, пока она поспеет к этому повороту разговора. – Все там осталось на месте – и где мы стояли, и люди, которые со мной вместе воевали – с чем вокруг себя лег спать, то и увидел во сне. И вот будто лежу, а от березок – там недалеко березки стояли – идет ко мне девчонка. Совсем вроде незнакомая. Идет в обтрепанном платьишке, заморенная, босиком – ничего твоего нету, а я почему-то знаю, что это ты.

– Это я и была, – удивленно согласилась Настена. – До тебя еще, когда ты меня не знал. И волосы как у мальчишки подстриженные?

– И волосы подстриженные, – я.

– Но как же? Раз я тебя такой не видывал – как ты мне в точном обличье явилась?

– Не знаю. Может, рассказывала. Но это я была, я.

– Да я и толкую, что знал почему-то, что ты. Подходит и говорит: «Чего это ты здесь застрял? Я там с ребятишками замучилась, а тебе и горя мало». «Какие, – спрашиваю, – у тебя ребятишки? Откуда они у тебя взялись? Что ты собираешь? Иди обратно и проверь, есть они у тебя или нет?» Она пошла.

– И ушла?

– Вроде послушалась, ушла. И опять стоит. И опять, как в первый раз, с той же придурью: я, мол, там с ними замучилась... Я ей посуровей отвечаю: «Иди и не приставай больше ко мне – нет у тебя никаких ребятишек». Она вроде поймет, задумается так, назад повернет. И сон-то какой-то просветный: будто я и во сне тоже хочу уснуть. И не успеваю. Глаза закрою и сквозь них вижу: обратно ко мне от тех же березок идет. И одно по одному, одно по одному. Извела она меня в ту ночь.

У Настены вдруг что-то заскреблось в памяти, заскреблось, приподымаясь, и, еще не понимая, что заставляет ее спрашивать об этом, она быстро, спохватно спросила:

– А в конце? Что ты сказал ей в конце? В последний раз?

– Не помню. То же самое, наверно, и сказал. А что я мог сказать?

– Мог бы пожалеть, не перечить, – вмиг осевшим, пустым голосом ответила она.

– Зачем?

– Ни за чем. Сколько ведь просила. – Настена внимательно всматривалась во что-то перед собой и, словно по увиденному, говорила: – У вас там еще пушки стояли. А в низинке, откуда я к тебе подымалась, стояли машины. Большие такие, зеленые. Ты спал на потнике, а укрывался поверх шинели брезентом. Ты с краю лежал, а рядом лежало то ли трое, то ли четверо твоих товарищей. Я подходила как раз с твоего краю...

Он приподнялся на локте и уставился на нее:

– Откуда ты знаешь?

– Я тоже видела этот сон. Со своей только стороны. Надо же так?! Настена удивленно замерла и прислушалась, не подскажет ли что в ней, можно или нельзя об этом говорить вслух. Обоюдный сон – такого она, сколько жила, не знала. Обоюдный – стало быть, не простой, вещий. Его и разгадывать не надо, он весь на виду. Готовая в любой момент умолкнуть, она начала осторожно вспоминать: – А меня бабка одна надоумила. Какая бабка – хоть убей, потеряла из памяти. Иди, говорит, к нему и скажи о ребятишках. Если признает, согласится – так тому и быть, откажется – останетесь при своих интересах. Я пошла. Ты ни в какую. Я уйду и опять ворочаюсь, и опять ворочаюсь, а ты никак в толк не возьмешь: нет и нет. Я хочу намекнуть и не могу. Ты сердишься на меня, гонишь. А вот как было в последний раз, не помню. Помню, что пошла уж в своем, а не в девчоночьем виде, чтоб на тебя подействовать. Приходила я к тебе такая?

– Приходила.

– И что ты мне сказал?

– Не знаю. Не помню.

– Что-то ведь должен был сказать?

– Наверно, должен.

– Ишь как! Самого главного-то и не узнали. – Настена не удержалась, укорила. – Что тебе стоило согласиться или на худой конец промолчать? Теперь бы все по-другому было.

– Не хватало еще верить во всякие сны, – неуверенно возразил он.

– Сон-то, сам видишь, какой. На две стороны. В одну ночь, поди, и приснился обоим. Может, то душа моя к тебе наведывалась. Оттого все так и сходится. – Все еще надеясь на что-то, Настена продолжала допытываться: – И ни разу, ни разу ты меня после того с ребятенком не видел? Вспомни хорошенько.

– Нет, ни разу.

– Забылось, может? Перебило чем похлеще... войной этой. Она все под собой топит.

– Нет, это я бы, наверно, не забыл. Помню же вот, как ты приходила. Два года помню.

– А конец все равно потерял? Как его теперь угадать?

– Конца, наверно, никакого и не было. Судьба его нарочно нам оставила. Чтоб не во сне, а в жизни показать. Показать, а там – хошь имайся, хошь не имайся. Как хошь.

– Что-то много ты стал о судьбе говорить. Раньше я вроде не замечала, чтобы ты ее когда-нибудь поминал.

– Заговоришь... – Он усмехнулся, закивал себе. – Ты тоже: нашла чем попрекать. Заговоришь, когда вот она, рядом, в ногах примостилась. И ни на шаг от тебя. Обуздала как миленького. Что хочет, то и делает.

– У меня и в мыслях не было тебя попрекать. Само сказалось. Но в ноги, куда кивнул Андрей, Настена взглянула.

– А теперь она еще и тебя в упряжку ко мне подстегнула, – не то припугнул, не то пожалел Андрей. – Посмотрю я на тебя, как ты от нее вывернешься.

– Зачем мне выворачиваться? Я с тобой. Если уж что, так вместе.

11

И все же легче стало Настене. Свободней на душе. Тяжесть не снялась нет, она нагрузла еще больше, нечего было и думать, чтобы избавиться от нее, но она прояснилась – как если бы, заблудившись, выбившись из сил, Настена вдруг разобралась, куда она попала, отыскав себя в девятой дали, гораздо дальше, чем надеялась, зато зная теперь, как отсюда выбираться. Другое дело – достанет ли сил, чтобы выбраться, пройти через все, что уготовано, но куда идти, какой стороны держаться, ей открылось.

Для Настены это значило не трепыхаться, смириться с тем, что есть, и не перечить судьбе. Что будет, то пускай и будет. Она еще не прибилась окончательно к этому решению, но уже понимала, что никуда ей от него не деться. Видно, придется испить свою горькую чашу до дна. Отступать поздно. Да она и не хотела отступать, для Настены это было все равно что отказаться от самой себя, и Андрею она взялась возражать для того лишь, чтобы в его словах найти для себя поддержку. Где ее больше искать? Она подала ему надежду, за которую он не мог не ухватиться, для него это теперь все равно что воздух. Что он станет говорить, нетрудно было догадаться заранее.

Значит, как катился колобок, так пускай и катится, пока не остановят. Какую только, интересно, она станет петь песенку? Где был метен-скребен, от чего ушел, к чему пришел?

Но это потом, потом... успеется, споется.

А прояснило, и смуть отошла с души: семь бед – один ответ. Слишком далеко Настена зашла, слишком многого нужно бояться, а потому лучше не бояться ничего и идти напрямик. Судьбой ли, повыше ли чем, но Настене казалось, что она замечена, выделена из людей – иначе на нее не пало бы сразу столько всего. Для этого надо быть на виду. Конечно, сейчас ей приходится нелегко, но разве лучше было коптить, как она коптила, небо и топтать одну и ту же, короткую, никуда не ведущую, ни в чем не обнадеживающую дорожку? Без милости ее, наверно, не оставят и, когда понадобится, помогут, а там еще, глядишь, и вознесут за страдания – даром ничего не дается. Она потерпит, вынесет все, что придется на ее долю, но коптить небо плюновой, ни на что не пригодной бабой она не согласна – тогда уж лучше и не жить.

С малых лет Настена, как и всякий живой человек, мечтала о счастье для себя, наделяя его своим, с годами меняющимся представлением. Пока ходила в девках, и счастье ее тоже гуляло легко и свободно, в любой момент оно могло нагрянуть отовсюду, все четыре стороны для него была распахнуты. Так и грезилось: она стоит посредине, а оно, заигрывая, подлетает то слева, то справа, дразнит, щекочет мимолетным ласковым касаньем, зовет за собой и до поры, оставив обещание, отлетает. Так его было много, столько в нем чудилось красивой, непознанной радости, столько любви и удовольствия, что не терпелось тут же окунуться в него и купаться, купаться, тратя его напропалую каждый день и каждый час, чтобы не оставить после себя сиротою. И в то же время из какого-то приятного, сладостного ожидания хотелось оттянуть миг полной с ним встречи, потому что встреча эта все равно казалась неминуемой. Настена и замуж пошла не задумываясь, что из всех дорог она теперь оставляет для счастья лишь одну – ту, которую выбрала сама, но пока еще широкую и просторную, где есть место, чтобы разминуться добру и худу. Семейная жизнь виделась ей по-хозяйски надежной, но и работной, а в отношениях с мужем веселой и легкой: так и будни короче, и праздники красивей. Конечно, она могла иногда от чего-нибудь скомкаться или споткнуться, без сучка и задоринки ничего не бывает, но затем обязательно выправиться и продолжаться в любви и согласии дальше; причем любви и заботы Настена с самого начала мечтала отдавать больше, чем принимать, – на то она и женщина, чтобы смягчать и сглаживать совместную жизнь, на то и дана ей эта удивительная сила, которая тем удивительней, нежней и богаче, чем чаще ею пользуются. Настена верила, что и с ней так же будет, и в одном только этом она, пожалуй, не ошиблась. А счастье... счастье, показавшись, помаячив, обнадежив в первое время, отступило затем без ребятишек куда-то вперед – там и предстояло его встретить, но теперь дорожка, на которой они могли сойтись, стала вдвое уже прежней и превратилась скорее в тропинку, хотя проглядывалась все еще ясно.

Настена никогда не оглядывалась назад, не жалела о сделанном, не спохватывалась, что где-то когда-то надо было повернуть не сюда, а туда. Жизнь – не одежка, ее по десять раз не примеряют. Что есть – все твое, и открещиваться ни от чего, пускай и самого плохого, не годится. С Андреем Настене выпадали тяжелые дни, но даже и в мыслях она не переиначивала свою судьбу; поправлять наперед поправляла, но по-готовому не перекраивала и рядом с собой другого мужика не представляла. Тогда и из себя надо делать другого человека – кто ей позволит? Пускай другие как хотят, а она проживет начатой жизнью и метаться из стороны в сторону не станет. Она дождется своего, а не чужого счастья.

На всех его, говорят, не хватает – кому повезет, кому нет. Но она-то на белом свете только одна, ничем ее заменить нельзя – почему именно ей обходиться без него? Кто это сделал такое распределение? Для чего, в таком случае, ей дали жизнь, если того, ради чего она родилась, на нее же может и не достать? Вся ее жизнь в ней, в ее сердце, душе, теле, остальное пусть и близко, рядом, но в сторонке, остальное благодаря ей только и существует, так почему же предназначенное для нее как нарочно должно пройти мимо и попасть к кому-то другому? Нет, так с человеком нельзя. Добро бы ей жить потом во второй, в третий раз, чтобы наверстать упущенное, – да не жить, не наверстать. Все свое бери с собой, не оставляй про запас – не пригодится.

Война надолго задержала Настенино счастье, но Настена и в войну верила, что оно будет. Вот настанет мир, придет Андрей, и все, что за эти годы остановилось, снова тронется с места. Иначе Настена и не представляла свою жизнь. Но Андрей пришел раньше времени, прежде победы и все перепутал, перемешал, сбил со своего порядка – об этом Настена не могла догадываться. Теперь приходилось думать не о счастье – о другом. А оно, напугавшись, отодвинулось куда-то, затмилось – ни пути ему, казалось, оттуда, ни надежды.

Дальше – больше.

Неужели впрямь так до конца без него? Никогда еще Настена не попадала в столь страшное положение. И никакого просвета впереди, сплошь темень. Действительно, дальше – больше, сегодня плохо, завтра лучше не будет. Но ведь «больше», то, на чем оно сейчас остановилось – это ребенок, о котором она страдала, которого хотела изо всех сил. Он и представлялся ей желанным счастьем. Не значит ли это, что она совсем рядом со своим счастьем, только с другой, противоположной стороны, как если бы она зашла ему со спины? Или это оно зашло ей со спины? Какая разница? Лишь бы встретиться, не разминуться.

Но что, что ей сейчас от этого счастья?

Нет, что-то должно произойти и выправить ей жизнь, иначе недолго и рехнуться. Уже произошло: зачался ребенок. Ее заметили, ей не дадут пропасть. Если будет ребенок – что еще ей надо?! А он будет, будет, он подвигается, идет.

Теперь она знала, что делать. Ничего не делать. Пустить, как оно есть, по ходу. Где-то там, близко ли, далеко ли, должно ждать ее тоже настрадавшееся, оттого что порознь, не вместе, ее собственное, законное счастье.

Вот она лежит, а колобок тем временем катится все дальше и дальше.

Они лежали и говорили о чем придется, точно обкладывая то самое главное, хрупкое и ломкое, что было сказано, мягкими оберегающими пустяками. Когда лежишь, легче вести такой разговор: можно, закрыв глаза, сказать то, что в лицо говорить не решишься, можно без стеснения помолчать, можно взять и, затаившись, остаться одному, а затем опять сойтись вместе.

Стемнело, а огня не добывали, в окошко от павшего снега и без луны стелился пустынный холодный свет. Лица Андрея и Настены казались в нем бескровными, фигуры – неживыми, тряпичными, движения – вызванными посторонней силой. Голоса тоже словно доносились откуда-то исчужа. И сами себе Андрей и Настена виделись в этот укромный час не настоящими, чужими настолько покаянно и тихо, смиряя все вокруг, с полным прощением перед прощанием, отходил этот крутой, горячий день. И они в лад его смирению говорили тихо, почти шепотом. Разговор ни за что особенно не цеплялся и был ненатужным, легким, покачиваясь, как маятник, который мог в одной стороне задержаться больше, в другой меньше, мог, где хотел, остановиться и снова задвигаться туда и сюда. Но после одной такой остановки Андрей ни с того ни с сего вдруг спросил:

– Чего бы ты от меня, Настена, хотела?

– Как – чего бы хотела? – не поняла она.

– Я вот знаю, что от тебя хочу. И ты это знаешь. Мы уж сегодня говорили, и начинать все сначала я не собираюсь. Но мне еще и, окромя того, много чего от тебя надо. Ты и хлебушком снабжаешь, и одежонкой. Все, что здесь имеется, все через твои руки прошло. Мне уж совестно с тебя тянуть, только тянуть да тянуть, и ничего, ни одной крошки взамен. Кой-какая совесть еще, видать, сохранилась. Я ж на полном твоем иждивении, а иждивенец-то ишь какой: он за десятерых потянет. Что там за десятерых – больше! Ты из-за него теперь людей должна бояться. Я-то боюсь, мне есть за что, – а тебе? Тебе-то из-за чего с белым светом расходиться? Я знаю: ты пожалела меня. И тут, о чем мы сегодня толковали, тоже пожалеешь. Такая уж ты есть. Вот увидишь, ничего не станешь делать. Я тебя не подначиваю – нет, я тебя знаю. Ты бы и хотела, да не сможешь. Не сможешь, Настена, вот попомни мои слова. Я на тебя все взваливаю, взваливаю, а сам, что ни возьми, в сторонке, ты одна обязана колотиться. Правильно ты говорила. А что я могу? Что я могу, Настена? Подумай сама. Я бы рад тебе пособить, да как? Мне же охота пособить, я не привык на готовенькое, я бы, кажись, в лепешку разбился, чтоб сделать что-то, но скажи тогда, что надо?

– Что надо? Ничего не надо.

– Вот видишь, ничего не надо, – с готовностью подхватил он, словно другого ответа и не ожидал. – Ишь как: мне надо, а тебе – нет. Вот до чего я докатился: никакой пользы от меня не приходится ждать. Я и сам это знал, да надеялся еще на что-то. А ну, думаю, вдруг что попросит? Нет. Хоть какую ерунду-чепуху? Тоже нет. Выходит, от меня теперь один только вред, одно мучение со мной – больше ничего. Ясное дело, я человек пропащий, для всех пропащий – я на это и шел, да вдруг, думаю, не для тебя? Вдруг, думаю, ты мне милостыньку подашь; найдешь хошь маломальское для меня место? – Несмотря на боль, которая била из него и его обжигала, он говорил неторопливо и спокойно; казалось, ему доставляет удовольствие издеваться над собой и терпеть эту боль. – Ты меня, выходит, только жалеешь. Для меня и это, конечно, сейчас спасенье, да на жалости все одно долго не продержишься тонкая она сильно веревочка, того и гляди лопнет.

– Ты что, Андрей?! Ты что?! – испуганно перебила его Настена. – Я думала, ты так просто спросил, так просто и сказала тебе, а он вон куда повернул. Разве ж так можно? Ты почему такой-то? Ни с того ни с сего взял и погнал в свою сторону и меня с санок скинул. Ты уж меня-то не скидывай, не надо. Еще глядишь, пригожусь. Я, если хочешь, хоть счас тыщу дел для тебя найду.

– Каких, к примеру?

– Для начала хоть не говорить так. Мне и вправду скоро нелегко придется, а если еще и ты не будешь верить, что мне тогда останется?

– Без меня, ясное дело, было бы лучше.

– А что? Конечно, лучше, – согласилась она. – А еще лучше мне было бы без себя. Ничего не знать, не видеть, не слышать, ничем не болеть, не страдать – ой, как хорошо, как спокойно! А куда я себя, интересно, дену, если я – вот она? Зачем ты мне говоришь, как было бы без тебя? Я знать этого не хочу. Ты уж меня от себя не отделяй, не надо. – Настена подхватила сорвавшееся дыхание и продолжала: – Давай вместе. Раз ты там виноват, то и я с тобой виноватая. Вместе будем отвечать. Если бы не я – этого, может, и не случилось бы. И ты на себя одного вину не бери. Я с тобой была – неужели ты не видел? Где ты, там и я. А ты здесь был со мной. Нам и сны одни снились зря, что ли? Ой, Андрей, не зря. Хочешь ты или не хочешь, а мы везде были вместе, по одной половине здесь, по одной там. Ты что, считаешь: если б ты пришел героем, я бы была ни при чем? Что мне и порадоваться с тобой не разрешилось бы? Ну да! Я бы себя получше твоего героем почитала, мой мужик, не чей-нибудь. Я бы козырем по деревне вышагивала: глядите, бабы, завидуйте – вот она я, вот как я отличилася!

– Ты бы уж не поминала такое, не сравнивала...

– А что? Почему нельзя? Тебе выпало другое – плохо, значит, я тебя остерегала. Или не верил ты мне, раз не выдержал, или не хватило на тебя моей заботы, или что еще. Ты от моей вины не отказывайся, я ее все равно вижу. А если вот: скажем, если бы я тебя не дождалась, выскочила за другого, все бросила и уехала с ним неизвестно куда – ты бы одну меня виноватой считал?

– А кого еще?

– Нет, и ты бы здесь был замешан. Как же без тебя? Это ты бы помог на такое пойти. Может, еще задолго до того, может, и сами забыли, когда решились, но вместе решились, одна бы я не посмела. Господи, о чем я говорю! Я-то бы никогда и не посмела, я к тому, что незачем нам делить: тебе одно, мне другое. Мы с тобой сходились на совместную жизнь. Когда все хорошо, легко быть вместе: это как сон, знай дыши, да и только. Надо быть вместе, когда плохо – вот для чего люди сходятся. Я не могла родить – ты меня не выгнал. Ты согласился на меня, какая я есть, не кинулся искать, что получше. А кто, интересно, мне позволит сейчас от тебя отъединиться? Я бы потом извела, исколесовала себя...

– Плохое плохому рознь, Настена. Я преступник, против меня сам закон. Зачем еще и тебе заодно со мной быть преступницей?

– Теперь поздно спрашивать. Надо было думать раньше, когда ты на это пошел. А пошел – значит, и меня за собой повел. По-другому я не умею. Ты сам говорил: мы одной веревочкой связаны. Так оно и есть. Только верь мне, верь, а то нам обоим придется плохо, мы сами себя измотаем. – Настена умолкла, ожидая, чем ответит Андрей, но он замешкался, и она, подумав, добавила: – Я бы, может, хотела себе другую судьбу, но другая у других, а эта моя. И я о ней не пожалею. Она моя. – Настена снова умолкла и снова добавила: – Все еще обойдется, Андрей. Не может не обойтись. Вот увидишь.

Он так ничего и не ответил.

– А мне и сейчас хорошо. Ты же помнишь: мне много не надо. Я с тобой и хорошо, все остальное где-то далеко-далеко. Не помню, что было, и не вижу, что будет. И даже как бы не верю, что будет еще что-то. Кажется, так и останется навеки: ты да я, да мы с тобой. Только я бы заставила тебя бороду сбрить, ты с ней какой-то чужой. Не могу привыкнуть, и все, хоть ты что делай.

Чуть приподнявшись, Настена обернулась к нему, и он, не видя ее, по одному только изменившемуся дыханию почувствовал, что она улыбается. До этих пор они лежали неподвижно, с одинаково, повернутыми вверх, в потолок, лицами, словно и не обращаясь друг к другу, словно говоря лишь для себя. Андрей от начала и до конца говорил с закрытыми глазами – так действительно было легче. Но сейчас, отвечая на улыбку Настены, он открыл их, встретился с ее внимательным, податливым взглядом и не выдержал его, отвел глаза.

– Почему мы раньше ни разу вот так не поговорили? – сказал он и в подтверждение себе со спокойной и безнадежной обидой покачал головой. – Все ведь могло повернуться иначе, другим боком. Или это только кажется, что могло, – черт его поймет! Но не говорили же – ясное дело, нет. Только переговаривались, кому что надо, по пустякам, каждый день по пустякам. За четыре-то года было время поговорить, поглубже спросить друг друга, кто что думает. Я ж тебя, выходит, как следует и не знал. В лицо разве что. Есть – и ладно, а что есть, что имею, не знал. Надо же: руку на тебя поднимал.

– Ты на меня руку не поднимал.

– Не поднимал?

– Нет.

– Не хочешь, значит, зло помнить. Ну, нет так нет. Хотя для меня, наверно, было бы легче, если бы помнила. Куда я с тобой с такой? Сильно много буду должен, а расплачиваться, сама видишь, нечем. Эх, Настена, Настена! Тебе бы не меня, а кого другого. Ты не думай: я это всерьез. Ты же вон какая! И как тебя угораздило со мной столкнуться – не пойму.

– А мне другого не надо, мне с тобой хорошо. Я уж и говорила. И ты за меня не решай.

– Ну, еще бы не хорошо...

– Ничего-то ты, Андрей, не понимаешь, – досадливым и обиженным, простанывающим шепотом сказала Настена и опустила опять голову на свою подостланную в изголовье жакетку. – Где ж ты, интересно, был, что не знаешь, хорошо мне было или нет? – Он не ответил, догадавшись, что ей и не нужен ответ. – Когда ты меня сюда привез, я ни одного человека тут не знала, все чужое, все. Я, можно сказать, с закрытыми глазами за тобой пошла: куда приведешь – там и ладно; Я и тебя-то почти не знала, что это – два или три раза играючи встретились и так же играючи, чуть ли не в шутку, договорились. Я до последнего и не верила, что ты приедешь. Ну, не страшно ли было? Вся жизнь заново, ничего от той жизни не осталось, только я одна, да и то уж не пойму, я ли, не я ли. Помнишь, поди: сошли мы с парохода, я глаз боюсь поднять, на ровном месте спотыкаюсь. Помнишь? Так и было: на яр влезли, у меня нога за ногу заплелась, я упала. Люди засмеялись, а мне тошней того, земли под собой не вижу. Ты понял, что мне страшно, взял меня за руку и повел. Приходим домой; ты говоришь: вот она, моя жена. Отец спрашивает: как зовут? Настя, говорю. Он перекроил: Настена. С той поры и пошло – Настена да Настена. А мать смотрит и молчит. Я вижу, что не сильно поглянулась ей, что она, может, другую невестку ждала. И ты заметил. Заметил и говоришь: она здесь одна – это про меня, – заступаться за нее некому, давайте не будем ее обижать. Шуточно вроде сказал, со смешком, а на самом-то деле какая же шутка? Вот тогда я и поверила, что нет, не зашибусь за тобой, хоть оно и кинулась сломя голову неизвестно куда, что мне с тобой будет хорошо.

В тот же самый вечер ты повел меня к людям. Помнишь? Заходили к Вите Березкину, к Максиму Вологжину, к другим. Я забыла тебе сказать: Максим воротился на днях. С рукой – сильно, говорит, покалечена, по сю пору на перевязке. – Андрей, затаившись, ничем не отозвался на эту новость, и Настена продолжала: – Ты не мной ходил хвалиться, а чтоб я людей сразу узнала, чтоб не быть мне середь них чужой. И правда, утром Надьку Витину встречаю и глаза вылупила: откуда, думаю, взялась тут моя знакомая? Ведь знаю же человека, знаю, а откуда, кто – не найду. А потом: господи, да ведь не дале как вчера познакомились, ты приводил, а у меня без ума-то все в голове перемешалось. И так ей обрадовалась – будто родной. А ночевали мы, помню, в амбаре. Ты так захотел – ну, там и постелили. Мне поначалу чудно показалось, но амбар был чистый, опрятный – тот, маленький, крайний ко двору. Только без окошка темно-темно. И так же вот нары – куда они потом делись, эти нары, кто их снял? Да ты же, однако, и снял. Правильно, ты: сусек там понадобилось делать. А жалко: такие были аккуратные нары. Темно как под землей, а пахнет деревом, стружками, там отец до того столярничал, что ли. И от тебя тоже пахнет стружками – как сейчас помню. Ты спрашиваешь: не страшно? Нет, говорю, с тобой не страшно. А тут петух за стенкой на насесте будто подслушал и захотел проверить – как закричит дурноматом! Я как вскинусь! – Настена засмеялась: негромко, ласково-бережно пролился ее смех и затих. Она легко вздохнула. – А утром я едва дверь нашарила. Не могу найти, в какой она стороне, да и только. Ты до обеда валялся и про жену свою молодую забыл. Я сходила на Ангару, посмотрела огороды – и тот, и другой. За стол без тебя не сажусь, жду. Мать не вытерпела, подняла тебя. Все вместе, помню, пили чай с калачиками – отец, мать, ты, я. Ты еще втихомолку приставал ко мне, дурачился, будто меня всю ночь где-то не было. Попили – ты говоришь: собирайся. Куда? На кудыкину, говоришь, гору. И правда, потащил меня в гору, на елань, показал поля, пустоши – все кругом показал, рассказал, до самого вечера ходили. А воротились – сидят твои дружки: выставляй, говорят, тарасун, раз женился. И Витя опять там был, и Максим Вологжин. Витю убили – знаешь, поди? Знаешь, я писала. А что у Надьки уж без него девчонка родилась – не помню, писала, нет ли. Теперь их у нее трое, мается она, ой, мается. А куда денешься?

Настена скосила глаза влево, где лежал Андрей, – он был как каменный, не показывая себя даже дыханием, и она, спохватившись, пожалела, что упомянула о Вите. С Витей они были товарищи. Но торопиться перебивать этот разговор чем-нибудь другим Настена не хотела. Она и не смогла бы, наверное, это сделать. Воспоминание все еще стояло перед ней в свою полную живую силу, радостно и тревожно подрагивая перед глазами, умоляя не оставлять его, продолжать дальше. То, на чем остановилась Настена, наплывало совсем близко, словно пытаясь подхватить ее к себе, наполнить собой и направить вперед. Так действительно хорошо там было, так счастливо и отрадно, сколько там было обещано! И все-таки Настена уняла это воспоминание: достаточно. Наполняясь уже новым видением и новым настроением, она, улыбаясь, спросила:

– А помнишь, как я приезжала к тебе в район, когда ты учился на курсах?

На вторую зиму, как сошлись они, Андрея послали от колхоза на курсы счетоводов. У него было шесть классов, все-таки грамота, поэтому его отговорили от трактористов, куда он было нацелился, и направили в счетоводы. Тоже уважаемая, заметная работа, хотя и не такая, как на тракторе, зато постоянно дома, на одном месте, а свяжись с МТС, месяцами будешь пропадать на чужих полях да в чужих людях. Это и остановило Андрея, когда пришлось выбирать.

На Новый год он приезжал и прожил дома до рождества, а в феврале снарядилась к нему Настена. Ехать до райцентра надо было семьдесят верст, с ночевкой по дороге. Собрались в одной кошевке Иннокентий Иванович, Василиса Премудрая, которой приспичило зачем-то в больницу, и Настена. Иннокентий Иванович с Настеной, коротая дорогу, бормотали о чем придется. Иннокентий Иванович любил поговорить, а у Василисы Премудрой слово – что золото, зря не выронит. Ко второму вечеру добрались, договорились справить дела за день и разошлись в разные стороны. У Настены и дел-то было – Андрея повидать, а на это хоть сколько дней заказывай, все равно мало.

Андрей квартировал в подслеповатой избенке на берегу речки, недалеко от устья в Ангару. Старуха-хозяйка не обрадовалась Настене, а еще больше не обрадовался ей товарищ Андрея по комнате, пожилой уже, угрюмый мужик с корявым оспяным лицом и в очках с разными – одно много темней другого, похожими на шоры, стеклами. Он как лежал на кровати с книжкой, так и не поднялся, не сказал ни одного привечающего слова. Андрей посуетился, посуетился и повел Настену ночевать в Дом колхозника.

Еще раньше, надумывая ехать, заимела Настена маленькую надежду, в которую она и сама, боясь вспугнуть ее, заглядывала только тайком. А уж Андрею ее она бы ни за что не выдала. Ей возомнилось, что если она не умеет забеременеть дома, то, быть может, удастся это сделать здесь. Дома они привыкли, притерпелись друг к другу, а здесь все будет внове, и это вполне может; сказаться.

Не зря говорят, что самые скорые, самые цепкие дети – подзаборные, они только того и ждут, чтоб о них забыли, и тогда-то вот они: привет от папы! А у Настены все было бы по чести, по любви, с одной лишь поправкой: далеко от дома и, значит, от неудачи. Она не верила, что от этой ее надуми что-нибудь получится, но чем больше не верила, тем больше подталкивала себя к ней и ждала проверить.

– Помнишь, утром ты не пошел на свою учебу, прибежал за мной, и мы с тобой отправились в чайную – тут же, через дорогу. Там еще стоял на столе прямо огромадный самовар, я такого никогда больше и не видывала. А в кранике он прохудился и бежал, и сильно бежал, под него специально глубокую тарелку подставляли. Чего уж они не могли его запаять, не знаю. И вот она, тетка, что чай разливала, в стакан тебе из той тарелки – р-раз! Ты заметил. «Нет, говоришь, – давайте из самовара». Она заспорила: мол, это и так из самовара. «Нет, это накапало, – ты говоришь, – это уж не чай, а ополоски». – «Никакие не ополоски». – «Ополоски». Она все ж таки уступила, дала из самовара. Помню, ты еще купил мне конфеток в бумажках, и я вприкуску их с чаем хрумкала заместо сахару. Медовые, что ли, были конфетки: запашистые, протяжные – съешь, а вкус-то долго держится, не пропадает.

Словно вызывая в себе ту незабытую приятную сласть, Настена причмокнула языком и облизнула губы.

– Ну вот, попили, поели мы, и опять к тебе – где ты квартировал. Турсука твоего, который в разномастных очках, нет, а старуха дома. Ей на счетовода не учиться – сидит, зырит на нас, что мы станем делать. Вредная старуха: видит, что мы ждем, чтоб она ушла, и нарочно не идет. Тогда ты придумал, как отослать ее: дал денег, чтоб она сходила в магазин за четушкой. А она, ты потом сказывал, любила сама их брать и никому эту работу не доверяла. Старуха наша засобиралась. «Вот за четушкой, – говорит, – так и быть, сбегаю, а больше никуда бы с места не стронулась». – «Бегом-то, – ты ей говоришь, – не беги, успеешь». – «Я-то, – она говорит, – успею, а вот ты, касатик, все-таки крючок на дверь накинь, чтоб мне по-культурному в свой дом прийти».

Настена засмеялась – тепло, притаенно, не вздрагивая телом, будто маленькое аккуратное колесо прошлось по воде и удалилось.

– А потом мы с тобой весь день ходили, ходили – где только не побывали, – опустив опять до шепота голос и растягивая слова, продолжала она. – Ты от меня никуда, и даже радый был, что вместе, я же видела, что радый. А уж я-то, я-то до чего была радая! Зимой, в мороз, прямо вся грелась от радости. Иду и слышу, как изнутри лицо горит, как руки дрожат. Я ведь поначалу боялась, что спросишь: зачем приехала? И правда, зачем? На словах разве объяснишь? У меня и заделья никакого к тебе не было – приехала, и все тут. Нагрянула – куда тебе с добром! И пошла гулять-разгуливать, мужика от учебы отрывать. Кино смотрели! – вдруг воскликнула, почти выкрикнула она. Помнишь? Кино смотрели! Ишь что из памяти чуть было не выскочило. Совсем закоулочная какая-то сделалась память: главное не держит. Я на другой день, как обратно поехали, стала в санях кино пересказывать – так даже Василиса Премудрая разговорилась. А сидели мы с тобой на самом заднем ряду под окошечком, откуда киношный свет идет. Под конец ты ко мне привалился и шепчешь: «Может, не поедешь завтра, может, еще на денек останешься?» Я головой мотаю, а слезы так и катятся, так и катятся: сам позвал остаться, сам. Сердце выскочить хочет...

А дальше, дальше-то помнишь, Андрей? Дальше-то – умора. До того, как проводить меня в этот Дом колхозника, зашли сызнова к тебе. Знаем, что старуха теперь добрее. Пришли – она говорит: «Давай еще, касатик, на четушку, да и оставайтесь здесь, в моей кухоньке, а я, – говорит, – у подружки своей заночую, мы с ней возле четушечки вместе погреемся». Ты дал отчего не уважить старуху? Она пропала, а вскорости, мы еще подумать не успели, чтоб ложиться, она обратно. «Магазин, – говорит, – закрыли, а без магазина к подружке идти незачем». Ты тогда сам побежал, где-то раздобыл спровадил старуху. А потом оказалось, что и турсук твой надутый тоже не пришел, где-то пристал на стороне. И мы с тобой всю-то ноченьку одни барствовали. Ох, Андре-е-ей! А ты говоришь: хорошо ли мне было с тобой? Что же ты говоришь?! Господи! Сам подумай. Что мне еще надо?

Но Андрей уже не слышал и не понимал ее. Следя поначалу за воспоминаниями Настены, он испытывал сладкую и щемящую боль, все сильнее и сильнее подступавшую к сердцу, – боль оттого, что все это действительно когда-то было, он тоже помнил все это, но как-то сухо, смутно, бедно и торопливо, словно это было и не с ним, а с кем-то до него, с кем-то, кто отдал ему свою память. Что теперь делать с ней, он не знал. Она, живая и пытливая, ничего, кроме страданий, доставить ему не могла: с его собственной памятью она не уживалась. Они отказывались понимать друг друга; в одной посудине они умудрялись занимать совсем разные места, не мешаясь и не переступая установленную границу. Но его собственная память была злей и сильней, она, когда хотела, брала верх.

Так случилось и на этот раз. Настена с тихим волнением говорила, он, не отвечая, слушал, то поспевая за ней, то не поспевая, задерживаясь на своих подробностях; он хоть и шел вслед за Настеной по проложенной, проторенной дорожке, а все равно часто и мучительно спотыкался, оглядываясь и боясь, куда она его заведет. И когда настигло его собственное воспоминание, он не удивился – так и должно было случиться, он словно поджидал его, надеясь скорей отмучиться, испытать, что положено, и снова вернуться к Настене.

Оно, воспоминание это, началось ни с чего, с какой-то тонюсенькой паутинки, которую он неосторожно перекинул вперед и которой оказалось достаточно, чтобы перед Андреем возникла, а потом и навалилась другая картина. Она стояла ближе к сегодняшнему дню – сил, чтобы отказаться от нее, у Андрея не было. Это последнее, относящееся к войне воспоминание, всегда являлось неожиданно и властно держало долго, безжалостно, до содрогания, до ужаса четко высвечивая каждую подробность, – множество раз уже Андрей Гуськов вынужден был переживать одно и то же, одно и то же. В сущности, с того, что произошло тогда, и перевернулась его жизнь: он попал сначала в госпиталь, а затем прямой дорожкой сюда.

...Теплым летним вечером, отстрелявшись в артподготовке с закрытой огневой позиции, собирались переезжать на новое место. Связь с наблюдателями давно свернули, справа батарея уже снялась, слева еще копошились. Особенно не подгоняли. С гаубицы, в расчете которой воевал Андрей, успели все же снять прицел, свести и замкнуть станины и теперь возились с чехлами. Сзади, из-за горбатого, тронутого редким леском увала, взвывали один за другим моторы тягачей, две машины, болтая расхлябанными кузовами, уже ползли к орудиям.

Моторы тягачей и приглушили, видимо, гул танков. Настолько внимание людей было расслаблено сборами и переездом, настолько притупилось у них чувство опасности, что, быть может, и слыша, выделяя густой чужой рокот, они не обратили на него внимания. И когда на гору впереди выкатились немецкие танки и, только на мгновение притормозив, справившись с минутной растерянностью, покатились вниз, – это было как наваждение. Откуда? Впереди свои! Откуда? На одной и другой батареях послышались крики, заметались расчеты, срывая чехлы, разводя станины, опуская и разворачивая стволы орудий. Андрей (он был заряжающий) бросился к снарядному ящику, когда его оглушило и кинуло на землю, – падая, он словно бы и с закрытыми глазами видел, как медленно плывет, прокручиваясь, приподымаясь вверх и снова опускаясь, колесо соседней гаубицы. Осознав, что жив, Андрей прыгнул вперед и подхватил ящик.

Танков было пять. Но один с левой, первой по номеру батареи успели подбить, он горел. А вторая, где был Андрей, не сделала еще ни одного выстрела. Что-то надсадно и хрипло кричал командир, но что делать, ясно было и без команд. Танки сползли с горы и разделились: две машины двинулись на первую батарею, две на вторую, причем они хитро выходили на линию между батареями, чтобы артиллеристы били друг по другу. Но раздумывать об этом было некогда.

Один только выстрел и успела сделать первая, основная в батарее, гаубица, которую заряжал Андрей Гуськов.

Потом рядом с ним хрястнуло с мгновенным дребезжащим звоном, и он, как казалось ему, кувыркаясь, полетел в сторону.

Откуда-то издалека-издалека звучал голос Настены, звучал протяжно и ласково и знобил Андрея своей интонацией. Слов он не различал: в его ушах стоял грохот этой недолгой и страшной схватки железа с железом, где люди вроде были и ни к чему, в глазах короткими повторяющимися вспышками мелькали картины боя, наносило смрадом, возникали в одном горячем клубке крики, полоса черной, пропоротой незакрепленными сошниками земли, тягачи, торопливо уходящие обратно в укрытие, наводчик орудия по фамилии Коротько, который, приподняв голову, заглядывал в свой развороченный осколком живот, вскинутый взрывом в воздух чехол ствола – и все это под нарастающий, увеличенный страхом лязг гусениц.

И вдруг голос Настены исчез. Еще не очнувшись, не вернувшись из своего последнего боя, Андрей осторожно обернулся и увидел в глазах Настены совсем другое – в ее глазах было тепло от ее собственного воспоминания. Не выдерживая больше, Андрей ткнулся головой в ее грудь и застонал.

– Андрей, что ты?! Что ты?! Что с тобой?! – испугалась она.

Он чуть было не всхлипнул, но удержался.

– Ничего. Ничего, Настена. Ты здесь, ты со мной. Но он все еще боялся, что только что привидевшийся ему бой и есть настоящее, и продолжал озираться.

– Что ты подумал? – Настена стала руками ласкать его голову, но говорила о своем. – Дурачок ты, больше никто. Выдумал что-то. Это, может, тебе со мной плохо, а про меня не говори. Мне всегда с тобой хорошо, всегда – так и знай. Я и подумать не смею, чтобы я без тебя жила. Как это – без тебя? И все эти годы, покуда я тебя ждала, я же тебя ждала, не кого-нибудь. Я ни разу спать не ложилась, покуда с тобой не поговорю, и утром не вставала раньше, чем до тебя не дотянусь, не узнаю, что с тобой. Мне и вправду казалось, что я вижу тебя, сначала нет никого, только шум, вроде как ветер свистит, потом все тише, тише – значит, до тебя уж недалеко, а потом вот он ты. Всегда почему-то один. Сидишь или стоишь во всем солдатском, печальный такой, печальный, и никого возле тебя нету. Я взгляну, что живой, и обратно: задерживаться или там разговаривать нельзя. И дальше перемогаюсь, и дальше день ото дня. Я, может, даже чересчур тебя ждала, свободы тебе там не давала, мешала воевать. Откуда я знала, что можно, чего нельзя, – делала, как могла, да и все, никто не научил, не подсказал. И ты молчал. Ох, Андрей, Андрей... Он обхватил руками голову и, быстро двигая ею из стороны в сторону, словно пытаясь сорвать непосильную тяжесть, простонал:

– Господи, что я наделал?! Что я наделал, Настена?! – И, убрав руки, повернул лицо к Настене. – Не ходи больше ко мне, не ходи – слышишь? И я уйду. Совсем уйду. Так нельзя. Хватит. Хватит самому мучиться и тебя мучить. Не могу.

Настена растерянно замерла.

– Нет уж, – остановила она. – Ты уйдешь, а я? Что со мной будет – ты подумал? Куда я со своей виной? На люди ее не понесешь. Давай уж вместе. Погодим, Андрей, погодим, не торопись. Может, все обойдется, должно обойтись. Моя мать давно еще говорила: нет такой вины, которую нельзя простить. Не люди они, что ли? Кончится война – посмотрим. Или можно будет выйти покаяться, или еще что. Только потерпи, не уходи. Один ты пропадешь. И я пропаду – сначала-то я пропаду. Тут я хоть буду знать, где ты. А если, правда, ребенок? Ты же один только знаешь, что это твой ребенок – не чей-нибудь. С кем мне еще поговорить, душу облегчить... я ж теперь от людей чужая. Скажи, не уйдешь?

Не отвечая, он не сразу, но помотал головой.

– И правильно, правильно, не надо. – Она вздохнула и, чуть помолчав, обернулась к окну. – Темно-о-темно. Я уж и забыла, что надо идти. Вставай, Андрей, пойдем, ты говорил, что проводишь. Пойдем – все больше вместе побудем. И ничего не выдумывай. Ты не один. Если б был один, тогда бы и делал, как знал.

В темноте не видно было, как по щекам ее текут слезы.

12

Через три дня после этой встречи, как только нанесенный ветром снег согнало до старой корки, Андрей Гуськов собрался в Атамановку. Его давно уже подмывало походить возле деревни, но он все удерживался, боясь какой-нибудь случайностью или неосторожностью выдать себя, а теперь, после разговора с Настеной, после того, что он узнал от нее, сдерживаться больше стало невмоготу. Удивительное дело: он теперь и чувствовал себя гораздо уверенней, словно получил вдруг какие-то особые права на свое присутствие здесь и мог меньше бояться, меньше считаться с подстерегавшей его опасностью. К тому же потеплело, весна разогналась вовсю, и это тоже как нельзя для него было кстати, а чуть промедли, прогоди он, и станет поздно.

На исходе ясной и звездной, уже смеркающейся ночи перебрался Гуськов через Ангару, обогнул с нижнего края деревню и поднялся в гору. С этой стороны свою Атамановку он, как вернулся, не видел, и она показалась ему еще меньше, чем была. Он смотрел на низкие, будто и не стоящие, а лежащие вдоль улицы избы – с присевшими и разномастными (где со ставнями, где без ставен), похожими в эту пору на заплатки, окнами, с чуть не достающими до земли крышами, с растянутыми на стороны неуклюжими заборами и едва узнавал их. Гуськов наизусть помнил, где чья постройка, и все же, вглядываясь в них сейчас, чуть не перед каждой терялся: вроде та и не та – по месту, конечно, та, а по виду не понять. Или это оттого, что еще не рассвело как следует, и воздух был мерклый, мутный, или впрямь так постарела за войну деревня без мужицких рук?

Он долго пропускал свою избу и нарочно не смотрел на нее, чтобы до того хоть немножко привыкнуть к деревне и почувствовать ее близость, поверить, что она видится ему не по воспоминаниям, а наяву. Но чувство это не торопилось: за те годы, что он здесь был, а особенно за те месяцы, когда, находясь рядом, он приказывал себе не знать Атамановки, он во многом успел и разняться с ней. Ничего не поделаешь: деревне оставаться здесь, ему бродить где-то там. Вместе им не живать, ему не бывать даже в ней похоронену значит, нечего понапрасну и томиться, надрывать душу, исходить бесполезной тоской. Порой, натыкаясь взглядом на виднеющийся из-за Ангары край Атамановки, Гуськов как бы лениво и неряшливо, с какой-то даже издевкой к себе принимался вспоминать: что ему там надо было? Что-то ведь когда-то надо было, а что именно – забыл.

Изба, где он родился и вырос и где жили его самые родные на свете люди, стояла как раз напротив, в нижнем порядке улицы. Наконец, приготовившись, напрягшись вниманием, Гуськов перевел на нее глаза: те же самые три окна, обращенные в нагорную сторону, на него, тот же покосившийся левый передний угол (отец говорил: изба в хозяина – хроменькая), те же добротные, как пристрой, бревенчатые просторные сени, на односкатной крыше которых навалено всякое хламье. Изба была крепкой, не знающей веку, но в свое время недосмотрели и дали осесть углу, как раз в то лето, когда начаться войне, и собирались после покоса собрать мужиков на «помочь», чтобы одним махом, не копаясь, подвести оклад и выправить угол. «Собрали, выправили»! А теперь старику, конечно, и думать об этом заказано. Так и будет кособениться изба, пока не завалится совсем или не дождется доброго хозяина. А что? Отцу с матерью долго не продержаться, а Настена... Настена едва ли здесь останется, а если и останется, то не одна. Гуськов изо всей мочи всматривался в окна, словно надеялся увидеть сквозь них то, что делается внутри. Правое крайнее окно – в куть, сразу за окном курятник, напротив – русская печь, на которой днюет и ночует в последнее время мать. Печь еще не растопили – дыма нет. Но вот-вот поднимутся; мать окликнет Настену, та возьмется за лучину. Настенино окно-крайнее слева, у покосившегося угла. Сейчас ее последние минуты во сне, она лежит на спине с вытянутыми ногами, обхватив руками живот – эта привычка, если правда, что Настена понесла, ей теперь пригодится. Вот как, оказывается, задолго, за многие годы наперед готовится человек к тому, что в нем быть: Настена еще до войны без всякой ясной причины, словно бы только из блажи, приучилась обнимать свой живот – и вымолила, выласкала. Сегодня Андрей точно узнает, не лопнула, не пролилась ли его надежда, сегодня Настена подаст ему знак. Если ничего не изменилось, она растопит вечером баню. Но Настене неизвестно, что он здесь, поблизости, и ждать его ночью в бане она не станет, он сказал только, что выйдет на Ангару.

Представив, как Настена лежит сейчас в постели – обмершая, распростертая и теплая, собрав на животе рубашку, с чуть подпухшим и побледневшим за ночь, слегка подрагивающим, словно силящимся что-то вспомнить, лицом и распущенными волосами, – представив себе сейчас Настену в ее последнем утреннем сне, Гуськов замер, и какой-то маленький тоненький пузырек, лопнув, простонал в его горле. Вздохнув, Гуськов перевел взгляд на амбары, стоящие слева одним рядом, – того крайнего ко двору, о котором говорила Настена, вспоминая о первой их ночи, отсюда было не видно. Но, вспоминая об этом, Настена сказала не все, – она не сказала, что петух, всполошивший ее, показался ей тогда дурным предзнаменованием, от которого она долго не хотела отказываться. «Дурное и дурное», – повторяла она, а он, Андрей, пытался успокаивать: «Слушай ты петухов, верь им побольше, они тут каждую минуту орут».

Утро наконец полностью высвободилось, посветлело, и деревня приподнялась с земли, подступила ближе. Из труб поползли дымы, послышались слабые, еще полусонные, неясные звуки. Поднялась и Настена: окно, что напротив печки, занялось прерывистым алым мерцанием. Мелькнул, открываясь, угол двери, кто-то вышел, но забор мешал видеть – кто: Настена или отец? Настене пора идти к корове, но отец, наверное, еще до дойки задает скотине корм, а может, и это теперь легло на Настену – кто их там знает! А вдруг мать, взбередившись каким-то неспокойным чутьем, из последних сил выбралась на улицу и стоит, ждет, что ее позвало сюда и что и куда подвинет дальше? Неужели мать совсем, ну совсем ни капельки не чувствует, что он здесь, рядом?

Он стоял, смотрел, припоминал, но все как-то легко, без волнения и боли – или они еще не проснулись, не расшевелились, или он успел их погубить. Он и сам начинал удивляться своему спокойствию: впервые за четыре года стоит перед родной деревней, и стоит, понимая, что ему, быть может, больше не доведется так стоять, и хоть бы хны. Там изболелся, исстрадался, готов был что угодно отдать, чтобы пусть разок напоследок, пусть одним глазком взглянуть на свою Атамановку, ради этого, можно сказать, и шел сюда – и вот пришел, а душа пустая. Неужели правда все выгорело дотла?

Чтобы проверить себя, он перевел взгляд на избу Вити Березкина, своего товарища и одногодка, который остался под Москвой. Знакомая изба – тоже вон пустила дымок, в ней теперь Надька с ребятишками. Андрей помогал Вите перевозиться сюда с верхнего края, когда Витя отделился от матери. А что было особенно перевозить? Запрягли коня, сбросали на телегу два или три узла, кровать да деревянный топчан – вот и все хозяйство. Лавки, стол сколотили уж здесь, инструмент брал из дому Андрей. Что-то смастерили не по Надьке, она разворчалась – тогда ее вдвоем, как Надька ни верещала, как ни отбивалась, затолкали на крышу и, посмеиваясь, слушали ее рев оттуда на всю матушку-деревню. За то, чтоб снять, требовали бутылку и добились: обещала. Ничего другого Надьке не оставалось – прыгать она боялась, а лестницы не было.

И вспоминалось тоже легко, легко и живо – потому и всплыло поперед всех именно это воспоминание. Но Андрея насторожило, как близко и точно представился ему сейчас Витя: лицо, голос, походка, жесты – все. Словно только что стоял рядом и отошел на одну минутку. «Интересно, – подумал Гуськов, – его нет, а я вижу и слышу его как живого. Кто тут постарался Витя или моя память? Видит ли кто-нибудь так же хорошо, скажем, меня? Я есть, я должен лучше видеться людям, живой – живым! Нет, тут дело, наверно, в другом, – остановил он себя. – Витя исполнился, дошел до конца, все знают, что с ним сталось. А что с тобой – никому не известно. Люди уже сейчас избегают тебя вспоминать, у тебя нет пристанища, откуда могут пойти воспоминания, ты и живой для них стерся и растаял, как прошлогодний снег. А потом: память о человеке, которая идет к людям, наверняка знает себе цену, поэтому память о тебе вечно будет стыдиться и прятаться, как прячешься сейчас ты. Не надейся, ни на что не надейся – тебе и тут ничего не светит».

Он и размышлял спокойно, пропуская мимо сердца то, о чем думал. Нет так нет. Когда он умрет, ему все равно будет, что станут говорить о нем люди. Там от этого кости не болят, там все в одинаковом положении. Внимание Гуськова по-прежнему было занято своим домом, с которого он старался не спускать глаз. И отца он увидел сразу. Ему показалось даже, что он слышал, как скрипнула калитка. Отец прикрыл ее за собой и, задержавшись, внимательно посмотрел в гору, где стоял Андрей, будто догадываясь, что он там стоит, затем своей обычной прихрамывающей походкой пошел по улице вправо, пуская не то парок от дыхания, не то дым от курева – издали не разобрать. «Вот он мой отец, – с какой-то стылой, неповоротливой мыслью замер Андрей. – Это он». Он глядел в спину отца, в спину, которую тот все еще прямил, отказываясь сгибаться по-стариковски, и чувство растерянности и пустоты все больше и больше охватывало Андрея. На полдороге отец остановился и согнулся, переломился в пояснице, дергаясь головой, – он, видно, кашлял. И опять Андрею почудилось, что он слышит этот кашель, что тяжкие, надсадные звуки достают до него. Направившись, отец захромал дальше и через минуту исчез за углом избы-читальни.

Андрей постоял еще, бессмысленно глядя перед собой в землю, и вдруг сразу, как спохватившись, быстро, чуть не бегом, кинулся в гору, потом, когда деревня скрылась, повернул вправо и все тем же скорым, торопящимся шагом пошел через лес, пока не наткнулся на дорогу. По ней он опять спустился вниз, возле густого молодого ельника, который огибала дорога, оставил ее и двинулся напрямик. И только по выходе из ельника, когда стали открываться постройки, он придержался – перед ним лежал конный двор, верхняя изгородь которого подступала вплотную к лесу. Здесь Андрей должен был увидеть отца ближе.

У них с отцом не существовало каких-то особых отношений – ни плохих, ни хороших, каждый, можно сказать, жил сам по себе. В детстве, правда, отец приглядывал за ним, но только приглядывал, почти не вмешиваясь в его занятия и заботы. Сыт, обут, одет – справлен во всем, что требуется от родителя, – и достаточно, а к жизни пусть приучается самостоятельно, на то он дал ему голову и руки. Он не поучал сына и не воспитывал, да он и не знал, что такое воспитание, с чем его едят; жизнь, считал он, любого обратает и воспитает, сделает из него то, на что он годится. Надо было – одергивал, нет – оставлял в покое. Если Андрей спрашивал что – объяснял, причем объяснял обстоятельно, толково, радуясь, что сын интересуется, а он может показать и рассказать; если видел, что тот тянется к чему-то полезному, – потакал, подмечал, что умеет, но насильно никогда не подталкивал, не имел такой манеры. Сам, пусть до всего доходит сам – крепче выйдет учение. Лишь однажды, сколько Андрей помнил, отец помог ему разобраться, что хорошо и что плохо: когда, напакостив, Андрей свалил вину на соседского Мишку, отец снял с крюка ременные вожжи и молча поучил – лишь однажды.

Поэтому с отцом было легко. Он не ласкал, но и не кричал, не ярился, как мать, у которой часто случались неожиданные перепады в настроении: сегодня она одна, завтра – совсем другая. К отцу Андрей в любой момент мог идти смело, а к матери прежде присматривался: какая там нынче погода? Мать была из низовских, из-под Братска, где цокают и шипят: «крыноцка с молоцком на полоцке», «лешу у наш много, жимой морож». На Ангаре всего несколько деревень с таким выговором и с красивым, как на подбор, рослым и работящим народом, особенно женщинами – откуда тут взялась эта порода, никто не знает. Выше и ниже этих деревень говорят нормально, а тут почему-то иначе не могут, словно у них как-то по-своему, по-особому подцеплен язык. Для постороннего уха он, конечно, кажется непонятным, диким, к нему надо привыкнуть. Над матерью в Атамановке до старости подсмеивались, передразнивая, а она злилась и не умела скрыть свою злость, а потому сторонилась людей, старалась оставаться одна. Но матери и кроме того было чем подпалить свое сердце: гражданская война начисто искоренила всю ее родню: отца, мать, трех братьев – всех. Младший брат, когда-то служивший у Колчака, чтобы спастись от партизан, прибежал к сестре в Атамановку, но его достали и здесь. Это было, похоже, самое первое, изначальное, смутное и обрывистое воспоминание Андрея, которому тогда исполнилось лет пять, – воспоминание о том, как чужие бородатые люди увели, вытащив из подполья, дядю. Мать потом всю жизнь корила отца за то, что он не вступился за ее брата. Отец отмалчивался: сам он, вернувшись с германской покалеченным, умудрился больше ни под чьим ружьем не ходить. В колхозе с первого дня, как вступил, он пошел на конный.

Коней он любил. Андрей не знал больше никого, кто бы так жалел и уважал эту скотину, как его отец. Он, может, потому и попросился на конный, что не доверял чужому догляду, когда повел со своего двора на общественный три, если считать с жеребенком, лошадиные головы. Чуть дело касалось коней, отец, обычно спокойный, даже вялый, никому не спускал. Однажды, еще в первое колхозное время, он на глазах у мужиков отодрал чересседельником Нестора, теперешнего председателя, когда тот пригнал откуда-то всего в мыле, с разорванными в кровь губами, запаленного жеребца по кличке Гром, – отодрал как миленького, и никто не посмел его остановить. Причем и жеребец-то до колхоза был Нестерова старшего брата Ульяна, убитого впоследствии в финскую войну; потому, может, Нестор и гонял его, как хотел, что считал жеребца своим, но отец не посмотрел ни на что. Он сердился на людей, которые брезговали есть конину, доказывал, что из всех животин эта – самая чистая, однако сам он ее тоже не ел: не мог. Из любви к коню, из сострадания к нему, пусть даже и мертвому, не мог. Он говорил: «Умирать стану, а коня и человека в рот не возьму». Под Сталинградом, спасаясь от голода кониной, Андрей часто вспоминал эти слова и пришел к выводу, что в его положении отцу не доводилось бывать, иначе он поостерегся бы так высказываться. Там однажды случилось им рубить на мясо и варить издохшего коня – и тому были рады, да еще лезли за ним под пули.

Затаившись в ельнике, Андрей ждал, когда покажется из хомутарки отец. Посреди двора на старом месте стояли на подставках два длинных, долбленных из цельного дерева корыта, рядом с ними с задранной, по-пушечному нацеленной на Ангару бочкой торчала водовозка. Вдоль левой изгороди выстроились в ряд с поднятыми и подвязанными оглоблями летние одры и ходки, заваленные березовыми заготовками и гнутьем, справа за конюшнями начинался загон, там шевелились конские спины. Ничего тут за эти годы не изменилось, может быть, только постарело. Двор от сенной трухи и шивяков был грязно-рыжий, мягкий, от него, перебивая придых мороза, уже с раннего утра несло густым, настоявшимся запахом оживающей прели и вони; Андрей втягивал его и, отвыкнув, задыхался, но задыхался с удовольствием, с хмельным, веселым желанием угореть.

Во дворе одиноко бродил красивый, с одинаковыми подпалинами на боках вороной стригунок – сильный, ухоженный, с легкими крепкими ногами, с лоснящейся от черноты спиной, с подстриженной гривой и челкой. Залюбовавшись им, Андрей решил, что стригунка, наверно, не станут портить, оставят на развод – уж больно заглядистый был подросток. Но и любопытный: сумел как-то учуять Андрея и, подойдя к изгороди напротив и просунув между жердями голову, уставился на него долгим изучающим взглядом. Андрей пугнул его стригунок отскочил, оглянулся на конюшню – здесь ли, и снова перевел глаза на чужого, подозрительного человека. Так потом и не забывал: покопается в трухе – и посмотрит, покопается и посмотрит.

Андрей находился в каком-то блуждающем, неразборчивом до растерянности, до провалов в памяти состоянии, то не мог понять, почему он прячется в лесу, когда нужно сделать всего несколько шагов, перемахнуть через прясло и выйти на свет, взять и выйти – чего он ждет? То, спохватившись, что выходить ни в коем случае нельзя, не мог, наоборот, взять в толк, откуда взялся перед ним этот знакомый по прежней, прожитой и закопченной жизни уголок, если он, Андрей, давно состоит в другом мире. Откуда? Примерещился, наворожился? Зачем? Кому это надо? Что между ними общего? Как он сюда попал?

Андрей пропустил, когда вышел из хомутарки отец, и вдруг увидел его с кобылой в поводу: отец выводил ее из конюшни. Кобыла была жеребая, на последних днях, бока ее раздулись, живот прогнулся, ступала она тяжело и осторожно. Внимание Андрея прежде обратилось именно на кобылу, она его поразила больше всего. Он и сам не сумел бы объяснить почему: или давно не видывал жеребых и забыл, как они выглядят, забыл даже, что они могут быть на свете, или обрадовался удачной возможности не смотреть сразу на отца во все глаза, а, держа его вполвида, привыкнуть и лучше подготовиться к встрече. Отец вывел кобылу и, остановившись, обошел вокруг нее, решая, наверно, надо ли ее прогуливать, потом снова взял в повод, и они тронулись дальше. Вдоль нижней изгороди они дошли до угла и повернули в гору – туда, где стоял Андрей... Он всполошился, заметался, не зная, оставаться на месте или отступить в глубь ельника, и в конце концов остался, понадеявшись, что ветки прикрывают его хорошо, но на всякий случай присел.

Провожая его на фронт, отец при последнем прощании дрогнул, сорвавшись, спросил кого-то: «А суждено ли нам увидеться-то, суждено ли?» Он представлял себе только два пути: или увидеть им когда-нибудь друг друга, или не увидеть. А то, что один из них может увидеть второго, а второй первого нет, ему и в голову бы не взбрело – слишком простая для этого голова. А так, именно так оно сейчас и происходило. Отец приближался; он был в фуфайке, перехваченной ремнем, в ватной самошитой шапке с подвернутыми наверх ушами и в ичигах. Шел он медленно и устало; усталость замечалась в бессильно опущенных руках, в натужном, пристегивающемся, когда одна нога только подставляется к другой, шаге, в сильно оседающем при хромоте теле – больше всего он сейчас походил на подранка, который, не выдерживая погони, двигается лишь по инерции. Теперь Андрей не сводил с него глаз. Отец приближался, и чем ближе он подходил, тем больше, забывая об осторожности, приподнимался, распрямлялся Андрей и, поднимаясь, словно обмирал, цепенел внутри, плохо видя и соображая. Чуть не дойдя до прясла, отец закашлялся и остановился. Кобыла сзади смотрела на него умными, понимающими глазами. Он кашлял долго, с хриплым надрывом, держась руками за грудь и отворачивая лицо в сторону, потом, успокоившись, поднял голову и посмотрел прямо перед собой на Андрея. Между ними едва было двадцать шагов. Андрей обмер. Задержи отец свой взгляд, он бы, наверное, не выдержал и вышел, но отец опустил глаза и потянул повод. Взгляд, направленный на Андрея, ослепил его, он не запомнил отцова лица, не заметил, как оно изменилось, он видел только, что это оно, отцово лицо с обвисшими седыми усами, и все; уж после, глядя в спину уходящему отцу, ему показалось, что в нем проснулось какое-то особенное, способное ухватить любую мелочь, внимание. Но оно опоздало. Отец через боковые ворота завел кобылу в конюшню и исчез, спустя пять минут Андрей еще раз мельком увидел его с большим навильником соломы. Затем кто-то окликнул отца. Андрей сообразил, что ему пора уходить.

13

Он выбрался на дорогу и, не прячась и не торопясь, пошел по ней вверх. Куда – он не представлял, просто двигался подальше от людей, подальше от того, что ему привелось сейчас пережить. Но он и не жалел, что побежал на конный, он не мог догадываться, что то, ради чего он побежал, тоже пойдет ему навстречу. Кто знает, не потому ли и побежал, не потому ли вообще переходил сегодня Ангару, что надеялся: а вдруг случится, вдруг невзначай сойдется так, как сошлось? Ясное дело, он рисковал, зато его душа, которую он чуть было не испек, не надорвал, теперь еще больше закалилась – ей пригодится.

Да что там! Он видел отца, родного отца, когда-нибудь это ему зачтется. Ему легче будет дальше жить: один долг он отдал. Он обязан был увидеть отца, существует же что-то такое, что передаст перед смертью отцу, что сегодняшним утром сын стоял перед ним, испрашивая прощения, – обязано что-то такое существовать. И отец простит. Как он его не заметил? Смотрел ведь прямо в глаза. А может, заметил, да не захотел признать и сделал вид, что смотрит в пустоту. Нет, не заметил. Иначе бы спросил. «Он-то бы спросил, а что бы ты-то сказал? Что бы ты после этого делал, куда пошел? Под свой груз лучше никого не пристегивать, вези один. Настена вон помогает, и от этого тяжесть вдвое больше. Надо, видно, теперь и Настену потихоньку освобождать. Одному, только одному. Без Настены? Врешь – без Настены тебе жизни нет. Настена тебе дышать дает, и, может быть, далеко-далеко вперед, даже после твоей смерти».

Он не заметил, как взошло солнце; на подъеме, где лес просекой разошелся по сторонам, оно ударило прямо в глаза, заставив Гуськова зажмуриться, и все вокруг сразу пришло в движение – пока слабое, осторожное, но разгонистое. День обещал быть богатым и звонким, небо стояло открытое, чистое, воздух от солнца помяк, ледок по дороге начал запотевать. В лесу лежал еще снег, но он всюду проседал, источаясь, из него торчала, как взросла за эти дни, прошлогодняя трава, виднелись проталины. Деревья, еще не пробудившись окончательно, уж распрямлялись, отогревались, потяжно пошевеливались от собственных токов. Горчило: воздух за ночь не успел поднять в вышину вчерашнего натая. Солнечные лучи стелились как бы вдоль земли, не доставая до нее, но наклонялись все ниже и ниже.

Гуськову следовало поторопиться, чтобы скорее уйти от деревни, но торопиться ему не хотелось, и он двигался вялым, потерянным шагом. Встреча с отцом не прошла бесследно: Андрея охватило безразличие. Куда, зачем он идет, что здесь ищет? Сидел бы лучше на своей стороне, сидел бы на своей стороне и не рыпался. Там он стал успокаиваться, привыкать к своему положению, а идти сюда с самого начала значило то же, что посыпать раны солью. Но нет, ему это надо, надо – потом будет легче. Нельзя по-настоящему почувствовать себя зверем, пока не увидишь, что существуют домашние животные, нельзя продолжать новую жизнь, не подобрав пуповину от старой, а она, пуповина эта, как ни скрывал он ее, болталась и мешала. Ему надо было прийти сюда, чтобы наяву, вблизи убедиться, что никогда больше не бывать ему в родном доме, не говорить с отцом и матерью, не пахать этих полей, – и он пришел, полагаясь на старинное правило: клин клином вышибают. Теперь раз и навсегда он поймет, что сюда ему ходу нет. Он перестрадает наконец страданием, которое долго оттягивал, но которого так или иначе было не миновать.

Встреча с отцом, казалось, затаилась в нем и ждала лишь удобного момента, чтобы всколыхнуться и приняться за него с новой силой; он чувствовал, что отдал ей мало себя. Сейчас она стояла перед ним как сон, легко проскользнувший в память, но не улегшийся там, а словно бы вставший торчмя, мешающий теперь и идти и думать. Он то и дело возвращался к ней, то замирая опять от удивления, что так близко видел отца, то вздрагивая запоздалым страхом, что отец мог его заметить, но возвращался осторожно, мельком, боясь расшевелить встречу и пережить ее с гораздо большим страданием. Сегодня это ни к чему: он на чужой стороне. На чужой? Усмехнувшись, Гуськов согласился с собой: да, на чужой – здесь надо держать ухо востро, здесь нельзя поддаваться слабости, слишком дорого она может обойтись.

Почему-то ему вспомнилась немая Таня, у которой он прятался в Иркутске, вспомнилась без всякого случая, просто всплыло перед глазами ее лицо с шевелящимися, что-то спрашивающими губами, и Гуськову вдруг захотелось очутиться опять у Тани. Взять бы ее с собой и умотать куда-нибудь на край света, где нет людей, разучиться там говорить, а в отместку в свое удовольствие измываться над Таней, а потом жалеть ее и снова измываться она все стерпит и будет счастлива самой малостью. Забавные все-таки у немых лица: улыбаются, а глаза холодные, безучастные, губы шевелятся, а все остальное неподвижно и напряженно.

Он-то, конечно, недостоин и Тани, но этот грех он бы на свою душу принял. Таня и без того обижена, а потому можно обижать ее дальше. «А доведись – зачем бы тебе ее обижать?» – спросил он себя. Затем, что вина требует вины, пропащая душа ищет пропасти поглубже. Он бы, наверно, не сумел иначе, ему постоянно нужны были бы подтверждения, доказательства, что он превратился именно в то, что есть. Так он чувствовал бы себя уверенней.

Гуськов вышел в поля и повернул вправо, на дальние елани, ему предстояло провести там весь день. В эту пору людям там делать нечего: назем туда и в добрые-то годы не возили, а теперь, да еще по этой развезени, и подавно. Какие-нибудь неспокойные ноги тоже едва ли забредут: то, что нужно от леса, можно взять рядом с деревней. А если и забредут, ничего страшного пусть боятся его, а он сегодня бояться не намерен. Близко, чтобы могли узнать, он к себе не подпустит, а издали пусть сколько угодно смотрят и гадают, кто это, – ему наплевать. Он имеет право пройтись тут хозяином, он работал на этих полях не меньше других, он наизусть помнит, сколько в каждом из них земли, где что до войны было сеяно и сколько собрано. И то, что они до сих пор не заросли и продолжают приносить хлеба, есть и его потяга – там, в прежние годы. Он здесь не чужой – нет. Здесь сейчас в воздухе стоит, что он нашелся и идет мимо, – поля натянулись и замерли, узнавая его, он теперь только такой памяти и доверял. Люди не умеют помнить друг о друге, их проносит течением слишком быстро; людей должна помнить та земля, где они жили. А ей не дано знать, что с ним случилось, для нее он чистый человек.

Солнце поднималось все выше, припекая, и по дороге уж засочилось, засверкало, собрались первые, короткие течи. Снег по сторонам, посинев, набухал и тяжелел, тяжелел и воздух, постепенно пропитываясь сыростью. Гуськов шел в валенках (другой обутки у него не было, Настена в последнее свидание обещала разыскать его старые, заброшенные ичиги), и эти валенки больше всего сейчас досаждали Гуськову. Они, казалось, выдавали его, не позволяли прикинуться своим; их запоздалость, нелепость и непригодность словно разделяли его с землей, по которой он шагал. Идти в валенках уже и теперь было трудно, а как он станет передвигаться через три-четыре часа, когда день распалится вовсю, он не представлял. Придется, видно, где-нибудь отсиживаться; на последней елани у ручья стоит зимовье – можно там. Нет, сегодня он, пожалуй, прятаться в зимовье не захочет – надоело, не для того он сюда шел. Тогда уж лучше разуться и шлепать босиком, но шлепать, разнести свой дух везде, куда достанет, – больше, может быть, не доведется.

Подступали воспоминания, которые наносило отовсюду – с полей, с межей, от старой корявой лиственницы, торчащей посреди пашни, от ключика, бьющего из-под ели в узеньком перелеске, даже от неба, своим, как нигде, рисунком возносящегося из-за лесов, но Гуськов, боясь воспоминаний, отказывался, отряхивался от них, и они, начинаясь, обрывались, опадали куда-то вниз. Им только поддайся, потом не отвяжешься. Что ему сейчас от воспоминаний, зачем эта пытка, если ничего изменить нельзя? Жаль, что память этого не понимает. Вот ведь как: на двоих, совершенно чужих друг другу людей досталась одна память, и никак ее невозможно поделить. Если б получилось умертвить, начисто забыть то, чем он жил раньше, было бы намного легче, – да не получится: тот, прежний человек все еще существует и будет, подавленный и подневольный, существовать долго – никуда от него не денешься. И не знать ему, Гуськову, покоя, не видать освобождения, мыкаться ему и мыкаться до конца своих дней.

Он поймал себя на мысли, что, соглашаясь с этим, убеждая себя в этом, он наперекор всему продолжает на что-то надеяться: маленькая молчаливая надежда жила в нем в такой тайне, что он и сам не всегда мог распознать ее, но жила, дышала, изредка он слышал ее опасливое, осторожное шевеленье. Но надеяться не на что, не на что совсем – никакое чудо не грянет. Похоже, впервые перед Гуськовым так близко встала вся голая правда его положения, без жалости и оговорок, – казалось, он почувствовал ее физически, словно она, пронзив, прошла сквозь него от начала и до конца; от холода ее он содрогнулся. Что ее вызвало, он не знал. Не раньше и не позже, именно сейчас, когда он поднялся в родные, прикипевшие к сердцу места, – уж не они ли приговорили? Гуськов покосился вокруг и, одернув себя, жестко, зло усмехнулся: жди, через минуту прилетит птичка и человечьим языком признается – они. Гуськов бодрился, но что-то в нем подготовлялось, нарастало, что-то непонятное и неприятное, шаг его сделался сбивчивым, хоть он и торопился и старался идти широко, дыхание тоже запрыгало и зачастило. «Птичка... подхватилась неожиданная мысль. – Я сам тут жил как птичка небесная. Что еще надо было? Что?»

После этого его сорвало со всех замков, со всех запоров и запретов и понесло. Остановить, успокоить себя он уже был не в силах.

«Если б не война, если б не она, проклятая, – оправдывался он, – так бы и жил я, так бы и работал. Какие мои годы: тридцать лет – полжизни еще не заступило. Полжизни не заступило, а уж все, конец. Да почему ж на меня-то? Столько народу в мире... Чем я провинился перед судьбой, что она так со мной, – чем? – Он застонал и стал искать, где присесть, ноги отказывали ему. Впереди валялся возле дороги грязный и мокрый чурбан, на него он и опустился. – Так бы и жил не хуже других, – хватался он за подвернувшуюся мысль, – работал бы, я ж хороший был работник – все знают. Шел бы сейчас тут по какой-нибудь надобности... вот так же и шел, вот так же сел и посидел бы, покурил, а потом управился с делом и обратно в деревню... – Настолько близкой, и вероятной почудилась ему эта возможность, что он, оцепенев и потеряв себя, потянулся искать, не так ли оно и обернулось в действительности, не пора ли ему справить то, зачем он сюда пришел, и возвращаться в деревню. Нет, мир не перевернулся, все осталось на своих местах. Это было не пробуждение от сладкого сна, а одно из многих и многих, происходящих каждый день подтверждений его самого, того, что с ним сталось, но сейчас оно показалось ему особенно горьким и страшным, вся его с трудом налаженная оборона вмиг куда-то пропала, он был беззащитен; противная мягкая слабость охватила его, он не мог даже на себя прикрикнуть и почему-то был доволен этой слабостью, тем, что не в состоянии с ней справиться. – Это все война, все она, – снова принялся он оправдываться и заклинать. – Мало ей убитых, покалеченных, ей еще понадобились такие, как я. Откуда она свалилась на всех сразу! – страшная, страшная кара? И меня, меня туда же, в это пекло, и не на месяц, не на два – на годы. Где было взяться мочи, чтобы выносить ее дальше? Сколько мог, я дюжил, я ж не сразу, я принес свою пользу. Почему меня надо равнять с другими, с заклятыми, кто с вреда начал и вредом же кончил? Почему нам уготовано одинаковое наказанье? Им даже легче, у них хоть душа не мается, а тут когда она еще свернется, станет бесчувственной... Вот вышел сюда, а она уж готовенькая, уж раскисла – слабая... Я ж не власовец какой-нибудь, что против своих двинулся, я от смерти отступил. Неужто не зачтется? От смерти отступил, – повторил он, обрадовавшись удачному слову, и вдруг восхитился: – Такая война – а я утекнул! Это ж уметь надо – черт возьми!»

И, подняв лицо, глядя куда-то поверх полей, которые миновал, он засмеялся – вызывающе и громко.

Он еще немало сидел, нашептывая вокруг все то же, и так же, поддаваясь моментами слабости, обмирая от казнящей боли, когда хотелось по-собачьи скулить, он, отмучившись, оправившись от нее, принимался издеваться над собой, взыгрывая каким-то отчаянным, нездоровым, едким весельем, пока снова не накатывало и не окунало его в свою глубь.

Потом он решил, что вся эта пытка происходит от неподвижности, оттого, что он ничем не занят, и поднялся, а чурбан, на котором сидел, выкатил на дорогу – кому-то придется убирать. Оглядевшись вокруг, Гуськов двинулся дальше; на душе у него было стыло, муторно, но быстрый шаг и в самом деле не давал подхватиться мысли, она отставала.

Утро полностью разогрелось, потекли ручьи, пока еще безголосые и натужные; над полями с подгорной стороны заструился, волнуясь, воздух, лес за ним выбелило солнцем в одну клубящуюся полосу. Из деревни доносились праздничные, торжествующие крики выпущенных на волю петухов; колюче, занозисто каркала в полете ворона; путался, не направляясь, слабый земляной ветерок. Гуськову саднило лицо не от ветерка, а от солнца, ветерок же лишь натягивал и опять опускал воздух, принимаясь за него то с одного, то с другого конца. На гумне у зимовья галдели в мякине грязные, лохматые воробьи, два диких голубя, когда Гуськов подходил, снялись с кормежки и со свистом пронеслись мимо.

Гуськов остановился у гумна и стал наблюдать за воробьями – в Андреевском, далеко от людей, их не было. Он спросил себя, сколько лет живет воробей, прикидывая, нет ли в этой голодной суматошной стае птиц, которые летали здесь еще при нем. Но он не знал воробьиного веку, раньше такие пустяки его не занимали, и от этого к нему опять подступила досада... Вспугнув воробьев, он подошел к зимовью, с трудом оторвал приросшую за зиму дверь. В зимовье было холодно и пусто; Гуськов поискал, нельзя ли чем поживиться, и, ничего не найдя, вышел обратно. Его что-то томило, хотелось не то есть, не то спать – он не мог разобрать. Еды он с собой немного взял, но ее следовало приберечь на более поздний час. Почему-то он надеялся, что достанет здесь что-нибудь из съестного, хотя доставать было совершенно негде: не в деревню же идти просить, а помимо деревни в эту пору ничего не растет, не хранится.

Он долго топтался, не зная, за что приняться, затем, как бы пробуя, прикидывая, куда себя пристроить, завернул за зимовье, под солнце с горы, сел там на бревешко и прислонился к стене. Когда-то, после голодного тридцать третьего года, он раздирал эту елань, перед ним как раз лежало поле в два с половиной гектара, которое он пахал. Боязливо, опасаясь ненужных воспоминаний, Гуськов глянул на него, уже почерневшее с нижнего края, с торчащей стерней, но поле, напротив, казалось, приветило, утешило его: пригревшись, расслабившись под солнцем, Гуськов действительно задремал. Время от времени тяжелые глаза его размыкались; только они одни, не тревожа больше ничего, привычно следили, не появилось ли где постороннее пятно. Все было спокойно.

Гуськов дремал, и ему мерещились короткие и обрывочные, не соединенные в целое, беспорядочные сны. То капитан Лебедев, командир разведроты, отправляя взвод в поиск, почему-то предупреждает его, Гуськова, что, если он перебежит к немцам, его обменяют на генерала и не расстреляют, нет – много чести! – а будут казнить три дня и три ночи – ох как будут казнить! То на ничейной полосе там же, на Смоленщине, вдруг появляется атамановская мельница, на которую он определен мельником, и в него, не жалея огня, бьют с обеих сторон – лишь из-за него теперь и продолжается война, и победит в ней тот, кто его подшибет. Затем он видит себя в новосибирском госпитале, где хирург, усатый медицинский подполковник, зовет его в свой кабинет пить спирт и за спиртом предлагает ему подменить только что скончавшегося важного полковника. И опять он на фронте, уже при гаубице; он теряет ящичек с прицелом, и его отдают под трибунал. Длинное-длинное узкое поле, залитое ярким светом прожекторов; он идет по этому полю, задыхаясь от жары, а свет все накаляется и накаляется, синеет и пышет огнем.

Он очнулся, но долго еще сидел без движения, угнетенный и уязвленный этими бродячими злыми снами. Ничего от правды в них не было, никто никогда в плохом его не подозревал. Но вот ведь как последний шаг подгнетает под себя всю жизнь: даже сны переменились, даже они, возникающие в нем же, выступают против него. Что спрашивать с остального?

Пригрезившаяся мельница навела Гуськова на мысль сходить к ней. До нее было не близко, но и день для Гуськова тоже только начинался. На мельнице скорей всего никого сейчас нет, время не помольное. Он снова поднял с мякины воробьев, которых вдруг возненавидел, и стал по краю поля спускаться вниз, затем, когда поле кончилось, круто повернул к речке. Снег в холодном еловом лесу почти и не таял, солнце здесь и на открытых местах было слабей, чем на еланях, на полянах лежали четкие, как вытиснутые, раскрытые тени деревьев. Валенки Гуськова ступали тут уверенней, и он опять приободрился. Он чувствовал волнение, оставшееся от прежних лет, – когда-то он любил бывать на мельнице. А кто не любил? Это была праздничная, веселая, итожная работа молоть хлеб. После страды наезжали сюда в очередь, с удовольствием оставались ночевать, но не спали: старики курили и бормотали, молодежь-холостежь шухарила, взвизгивали в кустах девки, выдумывались забавы, горел костер, подогревая чайник за чайником, а жернова все ходили и ходили с сытым ворчащим шумом, и все сыпалась и сыпалась в подставленные мешки теплая, парная мука.

Гуськова засветили эти воспоминания, он улыбался, душа его, казалось, отогрелась и ублажилась. Но ненадолго: подходя к мельнице, он насторожился, напрягся, выгнул тело вперед и, приостанавливаясь и призывая себя к вниманию, тихонько за-прукал губами. Человечьим духом вроде не пахло: и верхняя и нижняя двери были замкнуты, на лестнице, по которой поднимали зерно, лежал снег. Гуськов подождал еще, удерживая себя не торопиться, и от ближних вербных кустов пошагал к двери. Замок на ней, как и раньше, висел для блезиру: Гуськов дернул его – он тут же раскрылся. И правильно сделал иначе Андрей выдернул бы пробой или выставил раму в окне, но не отступил.

Внутри было холодно и пыльно, на полу оставались от валенок белые следы. Сначала Гуськов заглянул в каморку мельника и нашел там на полке большую эмалированную кружку, две головки чесноку и полпачки соли, на стене висела ножовка. Он затолкал все это в рогожный куль, валявшийся под лавкой, и пошел проводить ревизию всей мельнице. Дважды поднимался он наверх, обшнырил все углы, все закоулки, но ничего полезного больше не отыскал, кроме еще одного мешка да книжки с оборванной коркой. Их он тоже прибрал: пригодятся.

Он вышел на воздух, навесил обратно на дверь замок, осмотрелся, и его вдруг охватило безудержное, лютое желание поджечь мельницу. Долго ли – вон валяется береста, спички есть, постройка давняя, сухая, займется быстро. Он помнил себя, понимал, что нельзя поджигать и что в конце концов он не посмеет поджечь, но дьявольский искус был настолько силен, так хотелось оставить по себе жаркую память, что он, не надеясь больше на свою волю, не доверяя ей, подхватился и заторопился прочь от мельницы, подальше от греха. Лишь возле запруды он на минутку задержался, остановленный сиянием чистого, зеленого стекольного льда, под которым, завораживая и потягивая за собой взгляд, шевелилась вода. Гуськов представил, как на лед, грязня его, стали бы отлетать и с шипением дымить головешки, – что-то в нем с новой силой запросило этого зрелища, и он ушел – опять в гору, в поля.

Весь день он бродил по еланям, то выходя на открытые места, то прячась в лесу; порой ему до страсти, до злого нетерпения хотелось увидеть людей и чтобы его увидели тоже, увидели и встревожились, что он за человек, затем на него без всякой причины накатывали приступы страха, и он подолгу стоял не двигаясь, не смея пошевелиться. Журчали ручьи, на солнцепеке дымилась земля, вязкие, хмельные запахи кружили голову. От них или от чего-то еще Гуськов угорел: у него полностью выпал большой, в два-три часа, кусок дня после обеда; припоминая потом, где он тогда был и что делал, он ничего не мог ответить, из этого беспамятства доносилось только пение петухов из деревни, надсажающее его душу, да звенела вода. Валенки его вымокли до того, что хоть выжимай, ноги в них чавкали и зудились, а он все шел и шел куда-то, не разбирая дороги, не выбирая, где тверже и суше.

Вечером он не рассчитал время и спустился к деревне в поздних сумерках. Но предметы, постройки еще выделялись; он отыскал глазами свою баню и не увидел над ней дыма. Гуськов похолодел: весь день он почему-то не сомневался, что увидит его, и даже с уверенностью прикидывал – вот сейчас Настена таскает воду, сейчас она растопила каменку... Неужели сорвалось? Кажется, впервые за свою бродячую жизнь Гуськов взмолился богу: «Господи, не оставь. Сделай, господи, так, чтоб баня уже протопилась, – ты можешь, еще не поздно. Сделай только это одно и поступай со мной как знаешь, я со всем соглашусь». Его неожиданно принялась бить крупная, прохватывающая длинными очередями, нервная дрожь и, потрепав, словно внушив что-то, так же неожиданно оставила; после нее тело пронялось занывающей слабостью. Гуськов присел на подвернувшийся пенек и стал дожидаться ночи.

Взлаивали и умолкали собаки, доносились живые, идущие от людей, звуки, изредка слышались голоса, но все то доплескивалось до Гуськова вялыми, невесть с чего берущимися волнами. Он, как и ранним утром, выстыл опять от чувств, его терзало только одно, самое важное: что с Настеной? Но огни в окнах волновали все же Гуськова, ему представился самовар на столе, горящий камин, тень от огня на стене, взбитые на кровати подушки, половики под босыми ногами – пахнуло родным духом, от которого сладко и безнадежно заныла душа – заныла, поныла и понимающе свернулась. Гуськов отвернулся от огней и закрыл глаза – в наступающей тьме он походил на корягу.

Потом, когда деревня затихла, он в одно приготовленное, заранее намеченное мгновение решительно поднялся, короткими кивками головы, не тревожа рук, перекрестил себя и зашагал вниз к Ангаре. По льду он дошел до бани, вскарабкался на яр, у прясла задумчиво замер – не столько от осторожности, сколько от важности следующей минуты, и подлез под жердь. Еще у двери он почувствовал, что внутри тянет теплом.

Он вошел в баню, прикрыл за собой дверь, неторопливо снял с ног тяжелые и мокрые, опостылевшие за день валенки и лишь после этого, приготовившись, зло и победно клохча, засмеялся. Он с трудом удержал себя, чтобы не зашуметь, не закричать, не запеть, всполошив все кругом, – не отпраздновать тем самым вволюшку своей радости.

О Настене он здесь близко как-то и не вспомнил, ему было достаточно того, что баня горячая.

14

Все – началось. И началось, как Настена ни сторожилась, как ни готовилась к этому, неожиданно.

В апреле, едва согнало снег, Михеич с Настеной взялись за дрова. Пилили недалеко от деревни, чтобы можно было, когда у обоих совпадало свободное время, прибежать на час, на два, поширкать пилой, сколько удастся, и обратно. Колоть чаще всего ходил один Михеич, потом Настена так же набегами складывала наколотое в поленницу. Но пилилось нынче плохо, Михеич, как никогда, быстро уставал и за каждой чуркой отдыхал. Без кряжей и раньше не обходилось, а теперь, судя по всему, только на них в новую зиму и оставалась надежда.

Ружья Михеич с собой не брал, оно тут, в версте от деревни, было ни к чему. Но лесная работа все-таки, видать, растревожила охотничью душу Михеича: он взялся наготавливать патроны, почистил свое ружье и однажды, перед самым выходом в лес, закрывая дверь в амбар, где он долго возился, вдруг спросил:

– Тебе, дева, не попадалась на глаза Андреева «тулка»? Все перерыл как скрозь землю провалилась.

Настена, ожидавшая свекра, чтобы идти, застыла с пилой в руках посреди ограды. Она постоянно боялась этого вопроса, давно приготовилась, как на него отвечать, и все же он застиг ее врасплох. Не сейчас бы объясняться со свекром, ох, не сейчас бы – в другой раз: уж больно неподходящее было время.

– Нигде не видала? – переспросил Михеич, готовый отступиться от нее.

– Видала, – с дурацкой, растерянной улыбкой призналась Настена и, чтобы не говорить громко, подступила к Михеичу ближе. – Я ее продала, тятя. – В особенные моменты она называла его, как и Андрей, тятей.

– Продала? Когда продала, кому?

– Давно уж. Все боялась сказать тебе, боялась, что будешь ругаться. Когда отвозила уполномоченного в Карду... Ты тогда обозлился на меня за облигации – и правда, думаю, где взять столько денег? Сдуру ведь болтанула, а где их столько взять? А он сам: посмотрел, оно ему поглянулось. Пристал: продай да продай. Ну и продала... уговорил.

– Че ты, дева, собираешь? Кто посмотрел? Кто уговорил? Ниче не пойму.

– Какой-то мужик в Карде. Я его не знаю, помню, что в военной шинельке был. Катя Хлыстова, невестка Афанасия Хлыстова, однако, знает, она с ним по-свойски разговаривала. А мне неудобно было допытываться, кто такой. Уговорились – и ладно.

– Дак ты его, ружье-то, с собой, че ли, брала?

– С собой. Думаю, ну как обратно в темноте придется ехать... боязно.

– И продала?

– Продала.

Михеич стоял на предамбарнике, где его застала эта новость, со сморщенным, некрасиво застывшим от напряжения лицом и раскрытым ртом, голова его подалась вперед, к Настене, глаза непонимающе мигали.

– Ты, Настена, не шутку надо мной шутишь? Ты правду говоришь? – все еще не хотел он поверить.

– Правду. Сразу надо было... все откладывала, боялась.

– А ты как думаешь: Андрей придет, он нам спасибо за твою продажу скажет? Или как?

– Придет – наживем, поди. Я ж хотела, как теперь выпутаться, я не для себя.

– Наживем... – повторил Михеич и мелко закивал головой, соглашаясь скорей всего не с Настеной, а с какой-то своей нерадостной мыслью. Он помолчал, доводя до полного, окончательного решения эту мысль, и вспомнил, спросил, чуть поворачивая лицо на сторону, подставляя ухо, чтобы лучше слышать: – Ну и... за сколь продала?

Наступил самый интересный, самый скользкий момент во всей этой истории.

– Счас, – пообещала Настена, пошла в избу и достала с полочки завернутые в тряпицу часы, которые отдал ей в свое время Андрей. Когда она воротилась, Михеич спустился с предамбарника и сидел на приступке. – Вот, протянула ему Настена часы.

Свекор отшатнулся от них и поднялся на ноги.

– Это... че тако? – опешил он, и лицо его от излишнего внимания опять сморщилось.

– Часы. Это часы, – заторопилась Настена объяснять. – Я его, ружье-то, не на деньги продала, а вот на них. Вроде как поменяла. А часы легче продать, они, тот человек сказывал, особенные, иностранные, их шибко ценят. Ты погляди, они на трех стрелках. – Настена быстро подкрутила заводное колесико, которое она, похоже, трогала не в первый раз, и сунула часы в руки Михеичу. – Погляди: большая-то тонкая стрелка прямо на глазах бежит, так и скачет, так и скачет. Я таких сроду не видывала. Вот ведь до чего додумались, до какой красоты... и всегда правильно показывают, не врут. Михеич со страхом, как бомбу, повертел часы в руках, придерживая одну ладонь другой, и тут же вернул обратно. – А в темноте они светятся, вот эти точечки прямо белым огнем горят, все видно, – со слепым отчаянным восторгом добавила Настена и умолкла.

– Ружье – на часы, на игрушку, – приходя в себя, проговорил свекор. Ну и ну.

– Часы легче продать... Ружья здесь у каждого, а часы... да еще такие часы... Их с руками оторвут, только покажи.

– Вот тебе, дева, следовало бы за это кой-чего оторвать. Чтоб думала маленько, а не, кидалась сломя голову незнамо на что. Кому ты их продашь, кому они нужны?! Солнышко-он ходит.

«В темноте светятся», – озлился он, вспомнив, что выставляла Настена козырем для часов, и сплюнул. – А на что он мне, этот свет? Вшей при ем бить?

– Иннокентий Иванович купит, – не сдавалась Настена. – Я знаю, они поглянутся ему, он любит такое – только показать. Уполномоченный, которого я отвозила, он у меня их за две тыщи рублей выпрашивал, – ввернула она для убедительности. – Да еще как выпрашивал...

– За сколь, за сколь?

– За две тыщи.

– Ну и че не отдала, если такой дурак находился?

– Они, может, побольше стоят.

– Вот и ищи за побольше. Погляжу я, как ты найдешь. Две тыщи рублев... Он, уполномоченный-то твой, в дурачки, поди-ка, с тобой играл, а ты поверила. Ладно, – обрезал он, – пойдем. И так сколь потеряли из-за твоих часов. Порадовала ты меня, хватит. Да убери ты их с глаз моих, убери, христа ради.

Они пошли. Но Настена предчувствовала, что разговор этот не закончен, что Михеич не вытерпит и еще вернется к нему, – слишком долго им предстояло оставаться вдвоем, а, взбередившись, говорить после этого о чем-то другом далеко не просто. Настена побаивалась, хотя самое страшное на сегодня, она надеялась, миновало, теперь важно было держаться своих слов, не сбиться с них, прикидываться все той же недотепой. Зато изморное, тягостное ожидание прорвалось, одна пропажа – худо ли, хорошо ли, но оправдана, потом, если все продолжится скрытно, станет легче – до того, конечно, интересного момента, когда понадобится оправдываться уже не в пропаже, а в находке – в приплоде. Но до этого пока еще далеко, хотя сомневаться в этом больше не приходилось.

На месте они сразу, не споткнувшись, взялись за сосну, заранее намеченную, чтобы валить. Михеич сделал подруб с той стороны, куда смотрела сосна, напротив него стали пилить. Дерево было не толстое – выбирали полегче, но пила почему-то шла вязко и забирала много силы; Михеич скоро задохнулся и закашлялся. Дожидаясь, пока он успокоится, Настена присела на землю и среди прошлогодней травы вдруг заметила бледный зеленый росточек он блеснул и погас, но Настена, склонившись, отыскала его снова, а рядом с ним нашла еще и еще. Она сорвала один и, лаская его в руках, задумалась, подступая, как ей казалось, к какой-то важной дальней мысли, которая способна принести ей надежду, но мысль эта, дразня, так и не далась Настене, ускользнула от нее. Подошел, накашлявшись, Михеич, и Настена показала ему:

– Гляди, новая травка уж полезла. Впервой нынче вижу. Он, не ответив, потянул на себя пилу. Настена пожалела, что заговорила: выходило, что она подлизывалась к свекру, пыталась травкой замять свою вину.

День стоял светлый, но неяркий и тихий – какой, – то сонный и это при солнце на небе; солнце, казалось, истончилось, догорая, его слабый свет повисал в воздухе, не доставая до земли. Где-то насвистывал бурундук, далеко на горе лаяла собака, скрипело старое дерево, но звуки эти не мешали тишине, снимали с нее тяжесть. Походило на то, что день специально выдался таким незаметным и укромным, чтобы без боязни всходила из темноты трава и набухали на деревьях почки.

Сосна под пилой наконец хрустнула, верхушка ее дернулась, замерла еще в отчаянном усилии удержаться, выстоять и не смогла – пошла, повалилась, раздирая оставшуюся ткань. Михеич с Настеной отскочили в сторону. Комель повернулся на пне, ствол в воздухе крутанулся и ухнул – высоко в воздух подскочила, оборванная ветка, сотряслись кусты, за рекой отозвалось эхо. Михеич подобрал у поленницы топор и пошел обрубать сучья, Настена, как всегда, стаскивала их в одну кучу.

Потом, когда, подготовив сосну для распилки, они сели отдыхать, Михеич спросил:

– Ты, Настена, правда не знаешь, где Андрей? Вот этого она не ожидала чего угодно, но только не этого; тут было отчего испугаться.

– Андрей? – вскинулась она, и страх удачно подыграл ее удивлению. – А откуда я буду знать? Почему ты спрашиваешь?

– Не знаешь, значит?

– Ничего не знаю. То же и знаю, что ты. Откуда мне еще знать? Мы, кажись, в одном доме живем.

Он смотрел на нее пристально и мучительно – не смотрел, а пытал, словно не доверял ее словам и хотел по виду, по тому, как она держится, понять, что ей известно.

– Я подумал, что ты, может, че другое знаешь. Может, че сказать не хочешь. Дак ты это... скажи, Настена. Мне одному скажи. Не скрой.

– А что говорить-то? – опомнившись, она стала отвечать уверенней. – Что я тебе, интересно, скажу? Если б было что сказать, я бы не сказала, что ли? Я столько же знаю, сколько ты.

– Да я спросил только... А спросил из-за того, что какая-то не такая ты за последнее время сделалась.

– Какая не такая? – с осторожным, выведывающим интересом удивилась Настена.

– Вроде как сама не в себе. Может, показалось... Но я ни в жисть не подумал бы, что ты без спросу ружье на какие-то часы станешь менять. В тебе раньше этого не было. Че-то с тобой, дева, деется – окромя ружья видать. Как вроде че-то ты все время боишься... торопишься все время... Может, ты уйти от нас собираешься?

– Не-ет, куда мне уходить? Поживу, покуда сами не выгоните, – искренне, со своей затаенной искренностью отозвалась она. – Скоро кончится, поди, война – что-то будет.

– Где от он?

– Я не знаю, где он, я сказала.

– Да я уж не у тебя, дева, спрашиваю.

Они взялись опять за пилу; Настена водила ее вперед и назад, от себя и на себя, и, бросая украдкой взгляды на свекра, пыталась понять, поверил он ей или нет. Уж одно то, что он заподозрил, будто она знает что-то об Андрее отдельно, не сулило ничего хорошего. Нетрудно было догадаться, что с этого дня он станет следить за ней, – невольно станет следить, если даже сейчас поверил, потому что от подозрения так просто не отделаешься: оно, появившись, существует самостоятельно, и это оно потом забирает власть над человеком, а не человек над ним. Теперь придется вдвое, втрое быть осмотрительней и рассчитывать каждый свой шаг. А что его рассчитывать, что осторожничать, если месяца через два напухнет пузо, от которого не отговоришься, как от ружья, – эти часы затикают громко и безостановочно. Настена не могла представить, что ей готовится, ее воображения на это не хватало; то, что должно было свалиться, не с чем было сравнить, его приходилось покорно ждать, ничего не предпринимая, пока не обнаружится всенародно, что с ней, пока не ткнут в нее пальцем и не спросят, – и тогда уж карабкаться, карабкаться, надеясь только на собственные силы, потому что никто ей не поможет, – только на собственные силы, которыми одной понадобится спасать всех троих. Достанет ли сил, она не знала и не хотела заранее думать об этом, надеясь все же, что она не из слабеньких, и боясь в то же время, что тут, кроме сил и терпения, потребуется что-то еще, чего в ней не окажется. Можно, наверное, вынести любой позор, но можно ли обмануть всех людей, весь мир разом, чтобы никто никогда не открыл правды? Не мало ли для этого одного человека, его хитрости и изворотливости, какими бы удачными они ни были? Не слишком ли большой принимаемой грех? Больше себя самого, больше всей оставшейся жизни, которой пришлось бы его замаливать.

В какой-то подходящий момент ей захотелось открыться свекру, что она беременна, чтобы избавиться заодно и от этого, самого трудного страха перед будущим разоблачением. Семь бед – один ответ. Смирись он с этим – пусть не сразу, не легко, но смирись в конце концов он с этим, ей было бы намного спокойней, остальное она бы вынесла. Но Настена пожалела Михеича. Она наперед увидела, как он испуганно замер, с какой тяжелой и угрюмой мыслью склонил голову, не решаясь спросить то, что следует в таких случаях знать, нет, достаточно с него на сегодня ружья, а с нее достаточно уже состоявшегося разговора. Не получилось бы так, что, признавшись, она еще больше подтолкнет свекра к его подозрению, убедив его в том, что сейчас ему, быть может, только мнится. Настена боялась, что Михеич знает ее лучше всех и не поверит ее неуклюжим придумкам. Слишком тогда все сойдется одно к одному и укажет на Андрея – этого она позволить не имела права: любой намек, любая неосторожность были ей запрещены.

Они распилили сосну и собрались уходить: времени больше не оставалось. День уже далеко склонился, заглядывая вниз; в одном небе сошлись на разных сторонах солнце и месяц; узкий и острый серпик месяца мерцал при бледном солнце со злой напористостью. Настена всякий раз чего-то боялась, когда видела их вместе, и не понимала, почему они, как положено, не могут разойтись. И теперь ей тоже стало не по себе. Она, не жмурясь, в полные глаза смотрела на солнце, и ей казалось, что она чувствует, как до нее достают колючие холодящие лучи месяца.

Перед уходом Михеич присел на чурку, и Настена насторожилась, опасаясь, как бы он снова не заговорил об Андрее. Но уходить одна она не решалась; Настена не хотела, чтобы он подумал, будто она убегает от него. Он закурил и, подымив две минуты, поднялся; Настена вспомнила, что он не любит курить на ходу. Молча, связанные неприятной недосказанностью, они вернулись в деревню.

Убираясь по хозяйству, домашничая, Настена несколько раз за вечер спохватывалась с испуганной оторопью, что тот человек, который пытался сегодня запутать Михеича, но не запутал, а скорей всего только насторожил, что человек, о котором боязно задуматься, представить, что с ним будет, который, как нарочно, делает глупость за глупостью, чтобы погубить себя, будущее которого обрывалось за ближайшими месяцами, а настоящее разошлось на отдельные, разные, чужие друг другу куски, – что человек этот и есть она сама. Ей становилось страшно, страх был испытующий, тягучий, словно рассчитанный надолго, и игриво послушный: при желании он снимался, будто показывая, что законное его время еще не приспело, затем снова накатывал и снова снимался, оставляя после себя особенно мучительную тревогу. Вот тревога не убывала, с ней Настена справиться не могла. Она видела, что жизнь ее сегодня сделала важный поворот к тому, чему быть; тайна, которой она должна была владеть одна, замерцала, похоже, сегодня перед другими глазами тут невозможно оставаться спокойной. Настена упрекала в этом себя: значит, не то она выдумала, не так говорила, не сумела как следует спрятать то, что требовало особой заботы, не сумела убедить Михеича, что она все та же открытая, послушная душа...

Не находя себе места, Настена ждала, когда свекор вернется с работы, чтобы посмотреть, как он поведет себя с ней и что скажет, ей необходимо было находиться рядом с ним – даже от худшего, если оно выкажется, ей в таком случае станет легче, понятней, чем от неясных и путаных опасений. Она надеялась, что, будь у Михеича что на уме, он не вытерпит и скажет, а хоть и не скажет, так чем-нибудь выдаст. Он человек не скрытный, не хитрый, любит договаривать до конца.

Но Михеич, она знала, приходил с конного поздно, уж в потемках, поэтому, чтобы не маяться попусту и куда-нибудь пристроить себя, чем-то занять, Настена после домашних дел отправилась к Надьке.

У Надьки ужинали, вернее, усаживались за ужин. Перед каждым лежала на столе кучкой поделенная по старшинству картошка: перед младшей, Лидкой, четыре штучки, перед Петькой пять, перед Родькой и матерью – по шесть. И по ломтю хлеба. Настену тоже пригласили за стол, от еды она отказалась, а чаю налила и подсела к Лидке. На Лидку было больно смотреть: она в один миг уплела свой хлеб и, принявшись за картошку, бросала быстрые и жадные взгляды на ломти братьев. Надька прикрикнула на нее, чтобы она не подавилась. Наблюдая за Лидкой, Настена почувствовала усталость от привычной тяжелой мысли: когда это кончится? Когда выправится нормальная, зависящая от самого человека, а не от какой-то посторонней жестокости, от какой-то геенны огненной, жизнь? Когда хоть ребятишки станут питаться досыта? Они-то в чем виноваты?

Все с той же бешеной скоростью Лидка умяла картошку и, не найдя больше ничего перед собой, удивленно запнулась, держа на весу руки и водя голодными ищущими глазами.

Никто не хотел замечать ее растерянности: для того мать и делила еду, чтобы каждый рассчитывал только на свою долю.

– Пей чай и ложись, – подтолкнула ее мать, и девчонка послушно взялась за стакан.

Настена не вынесла, пошла в куть, где, заметила она, горбилась под полотенцем оставленная на завтра коврига, и хоть помнила, что Надька может расшуметься, отрезала все же на свой страх и риск небольшую краюшку и принесла Лидке, чтобы та пусть не насытила, но уговорила голод, не обрывала его на полном скаку. Надька промолчала. Но чуть позже, когда Настена взяла Лидку к себе на колени и прижалась к ее худенькому подрагивающему тельцу, она обиженно, с подначкой, сказала:

– В дети не хочешь взять?

– Зачем я у тебя буду брать? Я, может, сама скоро рожу – ты же не знаешь.

Ответила так и пожалела: что ее вынесло? Потом, когда Надька заметит неладное, она припомнит эти слова, они-то как раз и помогут ей раньше всех разглядеть неладное. Да и не заметила ли она уже сейчас, по голосу, по тому, с какой уверенностью и вызовом прозвучал ответ, что это не просто отговорка, что в ней что-то есть.

– Че же ты раньше не рожала? – резонно спросила Надька.

– Не хотела.

– Ишь ты: не хотела. Пережидала, когда война пройдет, – так, что ли? Хитрые, погляжу я, вы все. Нет чтобы мне шумнуть, что, мол, война готовится, я бы тоже, глядишь, не стала бы каждый раз их таскать, попридержалась бы.

Настена засмеялась, представив, как Надька, пять лет дожидаясь начала войны и четыре – ее конца, никого к себе не подпускает – ни Витю, ни кого другого. Она сказала об этом Надьке, и та тоже хохотнула.

– Куда мне, – согласилась она. – Это ж какое терпенье надо! Мне волю дай, я бы каждый год их таскала. И еще на второго оставалось бы по три месяца – я удобристая, с первого раза завожусь. У меня всегда все наготове. Не то что у некоторых, – не утерпев, кольнула она Настену. – Мне если б не беречься, я бы тут цельный ребятник развела – успевай только принимай да корми. За мной бы никакой гарем не угнался. Слыхала про гарем? Мне Витя про него из книжки рассказывал. Что это за бабы такие, что одному мужику их много надо? И вот он ходит, петушится перед имя: захочу – выберу, не захочу – оставлю тосковать. Пускай бы он надо мной покрылил, я бы с него петушиный гонор-то сбила, я бы ему, капиталисту бабьему, показала, где раки зимуют. Что это, правда, за бабы, что их табун надо держать, чтоб ребятишек маленько развести? Я бы им одна нос утерла. – Надька издевалась над собой, наговаривала на себя, но, издеваясь, и гордилась: она свой бабий долг исполнила, этого у нее не отнимешь. Раньше Настену, наверно, задело бы Надькино хвастовство, но сейчас ей было даже приятно его слушать.

Лидка, приласкавшись к Настене, уснула; Настене и спящую ее держать доставляло удовольствие, ей чудилось, что плод ее, отзываясь и ревнуя, торопится в эти минуты как никогда.

Она вернулась домой и застала картину, которую совсем не ожидала увидеть. Михеич учил Семеновну ходить на костылях. Он давно уже изготовил их, да Семеновна наотрез отказывалась вставать на эти подпорки, но сегодня Михеич каким-то чудом сумел настоять на своем. Семеновна мучилась: уперев костыли в подмышки, она почему-то, как стреноженная, выбрасывала их вперед одним махом и, чтобы не упасть, заступала на больные, подламывающиеся ноги, – заступала, хваталась руками за что попало и принималась охать и причитать.

– Ты попеременке, попеременке их двигай, – наставлял Михеич. – Чего такая бестолковая-то? Ты не прыгай, отпрыгалась уж, хватит. Совсем он без ног ходят, а твои ноги ишо живые, подсоблять помаленьку можно. Ты научись сперва шагом ходить, опосля уж торопись.

– Гошподи! – стонала Семеновна. – Зашто мне такое муценье на штарошти лет?.. Пожалей хоть ты меня, прешвятая богородица. Втолкуй ты этому штарому дураку, што до могилки я и без его коштылей доеду. Ты хошь в гроб-то их ко мне не клади, – набрасывалась она на Михеича, – не позорь меня там. Ить надо же: дошпел, ш пецки меня шнял: иди. Куды иди? Куды иди?

– Ну, посиди, посиди, – усаживал он ее на топчан. – Отдохни, раз пристала, че ж. Ноги-то болят?

– Как же не болят? Как же не болят? Огнем горячим полыхают. Гошподи... не болят, говорит.

Настена поставила возле русской печки самовар, направив колено трубы в дымоход, и хотела засветить лампу, но Михеич остановил, сказав, что керосин выходит и его надо беречь. Он разжег камин. Настена обиделась, ей показалось, что, если б это не она взялась за лампу, ее чуть погодя запалил бы сам свекор, а так он нарочно пошел Настене наперекор. Камин с месяц уж, как прибыл день, не трогали, а он вот вспомнил о нем, сходил за смольем – не спор ли, молчаливый, но твердый, вспомнил?

Зашумел самовар, загудел камин, отбрасывая длинные ворожущие отсветы огня на стены и окна, и в избе стало теплей и живей. Семеновна сидела с недоступным, отстраненным лицом и вялыми движениями рук, согнувшись, разминала ноги.

– Ну, че, старая, дальше поедем? – окликнул ее Михеич.

– Доконать меня хоцешь? – со слезливым вызовом в голосе спросила она.

– Ага.

– Давай, доканывай. Не жалей.

Со злой, обреченной решимостью она взялась подниматься: сначала снялась с топчана, привстав на согнутые, как сидела, ноги, затем потихоньку стала распрямляться, надавливая на колени руками. Михеич подсунул ей опять под мышки костыли. Настена, готовясь подхватить свекровь, зашла с другой стороны. Но Семеновна на этот раз на удивление скоро разгадала шаг в этой новой для нее ходьбе: опираясь на один костыль, она тычком переносила второй вперед и переваливалась на него. В ее голосе, как у ребенка, впервые овладевшего тем же ремеслом, послышались капризное нетерпение и гордость, когда она потребовала:

– Ну-к отойдите, не держите. Шама.

Она прошла по горнице из угла в угол, долго разворачивалась, развернувшись, воротилась обратно к топчану и, удовлетворенно приохивая, села. Михеич, наблюдая за ней, беззвучно смеялся, плечи его вздрагивали, усы подпрыгивали. Не оборачиваясь к нему, Семеновна устало согласилась:

– Нице, годятша ноги рашхаживать. Их когда рашходишь-то, на их приштупать можно.

– Ну от, – весело сказал Михеич. – А то на двоих одна моя нога – далеко ли мы так с тобой ускачем? То ли дело теперь: три здоровых, две лечить, поди-ка, можно, да одна в запасе.

– Ох, увидал бы меня Андрюшка, как я коштыляю, уж он бы пошмеялша... Ох и правда, кому шмех, кому грех.

– Нам с тобой, старуха, совсем на печку забираться нельзя, – с какой-то особой – теплой, но и требовательной убежденностью, которая показалась Настене не случайной, сказал Михеич. – Хошь и на костылях, а шевелиться надо.

Настена почувствовала в этих словах скрытый, тайный смысл и отнесла его к сегодняшнему разговору. Нет, для свекра он напрасно не прошел, свекор что-то понял, что-то решил, – что-то такое, что заставило его, не мешкая, поднимать Семеновну на костыли. Уж не готовит ли он ее к тому, что скоро придется обходиться без Настены? Но почему? Почему?

– А лето придет, ноги твои, глядишь, ишо отогреются, побегут, подбадривал он старуху. А она отзывалась:

– Хорошо бы, ох, хорошо бы напошледок.

– Помнишь, как ты раньше поперед всех взбегала на елань?

– Помню... как не помню... Ты бы уж, Федор, не поминал, не бередил меня.

Настена вздрогнула: давным-давно старики не называли друг друга по именам, и она забыла, что свекра зовут Федором; имя это случайным отзвуком донеслось из далекой и звонкой их молодости. Настена взглянула на стариков они, занятые воспоминаниями, молчали.

И вдруг невесть с чего, с какой-то невольной и неясной обиды, такой она почувствовала себя одинокой, такой окаянно-несчастной, понапрасну загубленной, обманутой и чужой, что горло тут же забил удушливый комок и захотелось плакать – горько, опустошительно, навзрыд. Но она сдержалась: плакать было нельзя, даже эта откровенность ей воспрещалась. Она поймала удобный момент, когда Михеич пошел в куть, кинулась за ним и торопливым шепотом спросила:

– Тятя, ты не злишься на меня за ружье? Не злишься, а?

– За ружье? – Он был еще в другом мире и не сразу понял, о чем она говорит. – Да нет, дева, не злюсь. Че уж тут о ружье...

И эта недосказанность только прибавила тревоги в ее заблудшую душу.

15

В последний раз Гуськов побывал в бане в середине апреля, уже по ненадежному, разлывистому льду. Он нашарил под полком объемистый мешок и перетащил его в зимовье. В мешке оказалась картошка, несколько головок луку, две редьки, наволочка с гороховой, как и раньше, мучицей, а в ней с десяток яиц, в холстине – коврига хлеба, в другой, грубой холстине, предназначенной на портянки, – старые ичиги, внутрь которых были затолканы кусок кожи, дратва и сапожная игла для починки; кроме того, в мешке нашлись темная рубаха, ржавые овечьи ножницы, огрызок химического карандаша, немножко соли, немножко листового табака, черный обмылок и, к удивлению Андрея, четушка самогонки. На этом добре Гуськову предстояло продержаться неизвестно сколько, но никак не меньше месяца, до тех пор, пока по полой воде не приплывет Настена. Пока опоражнивал мешок, казалось много, богато, но уже через три дня пришлось брать на учет каждую картофелину и каждую щепотку муки. Табак он намешивал пополам со мхом, но и эту гадость постановил себе курить до трех, а поздней и до двух закруток в день – утром и вечером.

Зимняя Ангара совсем прохудилась, лед болезненно посинел, у берегов, да и не только у берегов, разлились полыньи. Дорога через Ангару, обтаявшая по сторонам, почернела и выторчилась, по ней с недовольным карканьем ходили вороны. Корявые лиственницы на острове в чистом весеннем воздухе виделись мрачными, уродливыми, словно нарочно подпорченными чьей-то недоброй прихотью, хотя и нетрудно было понять, что там, под постоянным ветродуем, без изъяна дереву подняться трудно. Да и везде, в любом, даже светлом березовом, лесу – самая унылая и неприглядная пора, как известно, промежуток между снегом и зеленью, когда человеческие чувства обострены до тоски, до голода и не хотят мириться с пустотой, чернотой и затхлостью, каких осенью не бывает.

Сбросив наконец ненавистные валенки и переобувшись в легкие, удобные для ноги ичиги, Гуськов много ходил; это было для него лучшее, самое приятное состояние – идти, двигаться куда ни попало. При ходьбе мысли проще, и занимать их можно тем, что попадается по пути. Он таскал с собой ружье, но не стрелял, и стрелять было некого: зверь в апреле – мае бережется как никогда старательно, а глухариных токов поблизости не было, птицы вообще в эти места без полей налетало мало.

Чем ближе подступало лето, чем теплей становилось, тем больше проявлялась в Гуськове страсть искать снег – те остатки зимы, которые еще сохранились в глухих, темных углах. Он находил его, останавливался перед грязными и плоскими, мокрящимися ошметками снега и с неподвижной, тяжелой думой прощался с ним веря, что нового снега ему не видывать. Он готовил себя к тому что идет по последнему кругу и круг этот скоро замкнется: он прожил последнюю осень, последнюю зиму, пропускает последнюю весну, впереди последнее лето. Глядя на истаивающий снег, Гуськов ощущал в себе непонятную родственную связь с ним: они здесь были в одно время, и снег, лед – это также последнее, что ему суждено проводить, все остальное останется после него. Он наметил для себя и последний поворот, за которым наступит последний недолгий срок его существования. Этим поворотом станет день, когда вскроется Ангара и когда он переберется в верхнее зимовье. Он уже подготовил его, даже перенес туда кой-какие шмутки, без которых мог обходиться, набросал на нары лапник, чтобы он успел высохнуть, не выдав постороннему глазу, когда сломлен. Раньше этого дня Гуськов запретил себе думать о переезде – именно тогда, в праздник реки и всего, что живет возле нее, он войдет в свое последнее пристанище и сразу, обдав душу восторженной жутью, увидит сверху полую воду – то, что он поставил конечной целью своего присутствия здесь, когда прибежал. Какой далекой она тогда казалась и как скоро она свершилась! Другой цели он не придумал. Ему чудилось, что до лета целая жизнь впереди, и вот ее утянуло, пронесло, вот оно, лето, – а что дальше? Он достанет Настенин подкладыш – четушку самогонки и, глядя на освободившуюся бешеную Ангару, свидетельство его исполненного желания, выпьет. Он выпьет, займется сиротским хмелем, сгоряча перемешает в себе боль и позор, покой и надежду, отчаяние и страх, перемешает, опалит этой мешаниной душу, и доспеет одно-единственное немудреное, светленькое, как окошко, чувство: я есть, что бы там завтра ни случилось, а сегодня я есть. Он наперед знал, что так оно и будет, и, заранее боясь и радуясь этому дню, ждал с холодным удивлением, что он неминуемо придет.

Спал он теперь урывками. Лунные ночи стали беспокоить его, он просыпался в какой-то тягостной беспричинной тревоге и уходил из зимовья. В эти часы у него сильнее, чем обычно, болела раненая грудь. И чем ярче сияла луна, тем неспокойней, удушливей ему было. В своем представлении, что будет на том свете, он видел луну – полную, нескончаемую, без восходов и закатов, неподвижную на низком и плоском, как потолок, небе и почему-то дымящуюся.

Он уходил обычно на берег Ангары, садился в ночную тень и подолгу смотрел на лед, завидуя и заражаясь его бесполезной настойчивостью. Даже и ночью, когда подмерзало, лед изнурялся: его подтачивала снизу и шевелила вода, опадали и рассыпались на сосульки торосы, с мгновенным, чиркающим свистом пробегали трещины, колыхалась и вздыхала тоненькая короста замерзая на полыньях. Гуськов замирал, как зверь, чутко отзываясь на каждый звук и каждое дыхание. Он научился, подчиняя все остальные одному чувству, проникать туда, куда человеку доступ закрыт: ему чудилось, что он слышит, как поет на льду лунный свет, повторяя медленными кругами длинную и легкую звенящую мелодию. Или, напрягшись, он видел могучую струю Ангары, пронизанную сверху глухим зеленым сиянием льда, видел, наметив какой-нибудь знак в воде, куда он передвинется в следующее мгновение. Он жил в эти ночные часы только чутьем и ни о чем не думал, чутье же вело его перед утром обратно в зимовье и окунало в сон.

Остальной сон он научился добирать днем, устроившись где-нибудь в лесу под солнце. Несколько минут он смотрел в небо, скоро изнемогал от его осиянной беспредельной пустоты и забывался, а потом, очнувшись, продрогший и голодный, недовольно озирался: куда теперь? Этот вопрос стоял перед ним постоянно, чаще всего Гуськов не справлялся с ним и брел куда попало, лишь бы брести.

Он шел и внюхивался, всматривался, озирался, иногда принимаясь скрадывать неизвестно кого, придумывал из какой-то даже и не ребячьей, а просто бессмысленной блажной забавы, будто идет за кем-то по пятам, или, наоборот, уходит от преследования, сторожил свой шаг, огибал открытые места, прятался в ельниках, а потом, наигравшись, сам же над собой и смеялся, и, смеялся громко, зло, с придуривающей откровенностью. В такие минуты ему словно бы застило память, он отказывался верить, что был на войне и жил среди людей, а казалось, что всегда так вот один и шатался, не имея и дела, ни долга, что с самого начала именно такая участь ему и была уготована.

Он постоянно хотел есть, и все кругом представлялось ему, как и он, голодным и жадным; его домогал даже воздух, сосущий и острый – слишком много приходилось воздуха на одного человека. Гуськов захлебывался, давился им, чувствуя, как чрезмерное, напористое дыхание отнимает у него последние силы.

Накануне мая он собрался в поход вверх по Ангаре, где можно было стрелять. Снарядился как следует: кроме ружья, взял с собой топор и на всякий случай мешок – при ночевке пригодится то и другое. Он прикинул, что одним днем эта вылазка не обойдется, ему захотелось опять побродить где-нибудь возле жилья, поглядеть на людей, а до деревни шагать было добрых тридцать верст. Он не знал в точности, пойдет ли до нее, но пойти подмывало, приспичил какой-то неуемный, зудящий срок подразнить себя людьми и потревожить, если удастся, их собой. А может, и не тревожить, просто посмотреть со стороны, услышать человеческие голоса, понять, о чем говорят и чем живут, заполнить внутри себя неспокойную, требовательную пустоту и повернуть восвояси обратно. Идти к Рыбной, где его могли увидеть и признать, он не решался, лучше всего для этого годилась незнакомая деревня. Мало ли что действительно случится?!

Он вышел рано утром по первому свету и еще до обеда был на берегу напротив Каменного острова, где промышлял зимой коз. Посреди синюшного, источенного солнцем и водой льда остров торчал сейчас особенно голо и неказисто, но Гуськову захотелось тут же, не мешкая, пойти к нему, захотелось из-за пещеры, в которой он ночевал во время охоты и которая навела его на удачу. Не останься он в той пещере, неизвестно, повезло бы ему или нет. Она манила к себе какой-то особенной, потайной, сродни ему, запретной властью, и манила тоже для тайны, которая могла там открыться или которую там можно укрыть. Гуськов до сих пор верил, что пещера попалась ему на глаза не случайно, что в том, что он наткнулся на нее, была не иначе как воля судьбы. Его вообще в последнее время стали тянуть к себе все укромные места, какие только встречались в лесу, даже самые малые и бесполезные. Так, он вдруг останавливался возле мышиных нор и ковырял в них палкой, словно прикидывая, на что они могут пригодиться, спускался в небольшие впадины и приседал, проверяя, можно ли в них спрятаться; от глубоких, настоящих ям, где еще плавал в воде снег, подолгу не отходил, любуясь их обрывистостью и примеряясь к их глубине; он заглядывал под корни вывороченных лесин, мечтая отыскать пустую медвежью берлогу; любил ходить по оврагам, неожиданно посреди спокойного шага вдруг вставать за дерево и озираться, забираться в глухой чащобник – он как бы прятал себя по частям, по долям то тут, то там, надеясь сделаться невидимкой. И каменная упрятка на пустынном, заброшенном острове не могла ему не поглянуться, в ней как нельзя более удачно сходилось вместе все то, что он выискивал по крупицам.

Берег напротив острова был широкий, открытый и успел подсохнуть, из земли бледной прозрачненькой зеленью сочилась новая травка. Над Ангарой стоял глухой натужный гул, с каким расшатывало лед. Скоро, совсем скоро, ближними днями лед сорвет и потащит, потартает вниз – во всем вокруг чувствовался этот близкий и звонкий момент. И все было в нетерпении, в ожидании этого момента: казалось, пройдет Ангара – и сразу, без промедления, грянет лето, как, провернувшись, одним махом наберется и засветит, запылает не остановить, не удержать никакими оглядками. И сразу грянет какая-то новая, переломная судьба. Гуськов вдруг тоже ощутил в себе нетерпение: надо было что-то делать, куда-то торопиться, чем-то заняться. Он наспех поел, зачерпнув воды из шевелящейся полыньи, и двинулся дальше.

По дороге он подстрелил кедровку. Заряда на нее было жалко, но Гуськов знал, что к вечеру он промается не на шутку, а завтра снова шагать, так что следовало подкрепиться получше.

Он не стал подходить близко к деревне, которую еще при солнце увидел на излучине Ангары, а, напротив, повернул от нее в гору и, как ни устал, как ни намаялся, заставил себя уйти подальше. Зверя он давно не боялся, но показывать свой след человеку не хотелось. И утром, продвигаясь к жилью, он сделал прежде большой крюк по горе и обошел деревню с верхней стороны.

И опять он услышал крики петухов и тот невнятный, неразборчивый, звенящий на одном сплошном зыбком голосе гуд, какой висит над каждым поселением. Забавно: даже здесь петухи пели иначе, чем в Атамановке, они здесь действительно пели, а не горланили что есть мочи, как в его родной деревне. Вот что значит другой район. На западе, на фронтовых дорогах, где приходилось слышать петухов, он всякий раз отмечал, что они там слабей, бережливей, сдержанней, а может, хитрей ангарских, но оказывается, что и на Ангаре они голосят по-разному.

Спустившись с горы, Гуськов наткнулся на поскотину, верхняя городьба которой неровно и дыряво виляла через березник. Городили, похоже, бабы, и городили уже в войну, жерди были протянуты как попало: где с кольями, где просто прибиты или подвязаны к деревьям – и провисли, а поправить руки еще не дошли. Вот посеют хлеба – придется поправлять. Вытянув шею, Гуськов смотрел влево, где в версте или чуть побольше от него маячила крайняя изба, и размышлял, как подобраться к деревне поближе, чтобы видеть, что в ней происходит. Ему и страшно было, и хотелось, не терпелось попытать себя опасностью, хотелось что-нибудь вытворить, напугать и себя и других; в нем начинала разогреваться накопившаяся дурная кровь, взыгрывать неопределенные поперечные желания. Он не понимал, для какой надобности тащился сюда за тридцать верст – не для того же, чтобы постоять вот так возле прясла и повернуть назад.

Нет, следовало найти то, ради чего он затеял весь этот поход.

Неподалеку хрустнула ветка, и Гуськов вздрогнул. Только сейчас он увидел на поскотине за черемуховым кустом корову – крупную, пегую, в больших черных пятнах на белом или, наоборот, в белых на черном; он потому и не разглядел ее раньше, что она была под рябь березника, за которым он стоял. Рядом с коровой пасся теленок – маленький, такой же пятнистый, в мать, первогодок, по третьему или четвертому месяцу. Обрадованно, что отыскалось занятие, Гуськов стал наблюдать за ними. Опустив голову, корова что-то выискивала по земле, хотя подбирать в эту пору зелень, которая еще путем не взошла, было все равно что пить росу. Теленок, кажется, понимал это лучше матери и знай тыкался в ее вымя, а она не давалась, она переступала и отходила. Он лез снова, тогда она, оборачиваясь, отталкивала его тупым комолым лбом.

Гуськов следил за ними с тем же особенным, пристальным вниманием, с каким месяц назад он следил за стригунком на конном дворе, когда высматривал отца. Теперь это внимание еще больше обострилось и напряглось, и, похоже, не зря: он словно чувствовал, что ему никогда впредь не придется иметь дела с домашним, полезным человеку скотом, и, отлученный от него, он тянулся к нему тем сильней, чем дальше должен был отстоять. По сравнению с другими потерями эта была не самой важной, но почему-то болезненной и непонятной, и что-то в нем не хотело с нею мириться.

Корове, конечно, случайно удалось увести телка со двора: ни одна хозяйка не отпустит в эту пору сосунка на волю. Как корова ни отбрыкивается от него, а домой она сегодня вернется без молока. Гуськов, довольный, улыбнулся, ему показалось, что не кто иной, как он, подстроил этот побег. Не приди он, вполне могло выйти, что и теленок остался бы у себя дома. А теперь, коль выскочил, не отступайся: долби ее, долби, вытягивай все до последней капли – будет о чем твоей хозяйке вечером поговорить.

Но пора было подвигаться потихоньку к деревне, где Гуськова ждало какое-то пока неизвестное ему дело, ради которого он сюда шел. По-доброму, надо бы, наверно, переждать белый день и лишь потом соваться туда, куда его не звали, но ждать он не хотел, его по-прежнему зудило, подгоняя вперед, нетерпение, оно становилось все неспокойней и злей. Гуськов знал, что на рожон он не полезет и последних дуростей делать не станет, и надеялся, что, как бы ни повернулось дело, успеет скрыться. Голыми руками его не возьмешь.

Он тронулся осторожно вдоль изгороди, часто останавливаясь и озираясь. Скоро перед ним открылся край деревни, и только он открылся, донеслись звуки гармошки. Гуськов оторопело вспомнил, что сегодня не простой день, что сегодня праздник – Первое мая. Ишь как: справляют, значит. Война не война, а справляют, гуляют, вывесили вон красный флаг, достали сбереженную гармошку, к вечеру пойдут компаниями от избы к избе, запоют, запляшут, распахнутся во всю душеньку – нет, видать, ничем не пришибить народ. И в Атамановке сейчас тоже гуляют. Гуськова охватили не отчаяние и не обида – что теперь обижаться! – а взяло какое-то недоверчивое удивление: празднуют. Как до войны, будто ее и не было. И наплевать им на то, что он бродит поблизости, он тут для них не существует.

Теперь понятно, как удалось теленку вырваться из загородки на свободу. Гуляют. Все мелкие заботы сегодня ничего не значат: у людей праздник. Гуськов оглянулся: корова медленно подвигалась к березнику и была уже недалеко от того места, где он только что стоял. Он направился дальше и снова оглянулся, всматриваясь в теленка с неожиданно павшей жестокой мыслью. Теленок взбрыкнул задними ногами, будто кто его ужалил или ткнул, отскочил в сторону и скоро успокоился, принявшись лениво помахивать хвостом. Гуськов оглянулся теперь уже на деревню – дорога к поскотине была пуста – и решительно повернул назад.

Солнце поднялось высоко, в чистом знойном воздухе настоялась звонь, легкая и праздничная, возникающая от солнца и полнящая тишину. Едва деревня скрылась из виду, угасла и гармошка, все звуки слились в одно широкое и просторное, бесконечное русло. Пытаясь остановить себя, Гуськов на минуту задержался возле прясла, где наметил перелезать, еще раз прислушался и осмотрелся кругом и торопливо, боясь в то же время опомниться, перемахнул через низкую городьбу. Подобрав по дороге хворостину, он зашел снизу в тыл корове, она, почуяв его, повернула голову и уставилась на человека большими водянистыми глазами, настолько водянистыми и невинными, что у Гуськова навернулись слезы. Он взмахнул хворостиной, направляя корову через дыру в городьбе в гору, – она послушно пошла. Теленок – это был бычок с короткими тупыми рожками – жался к матери. Но, выйдя за поскотину, корова вдруг кинулась влево, к деревне – хорошо еще, что в березнике она не могла разбежаться и Гуськов успел ее заворотить. Она остановилась и громко, яростно замычала, бычок подмыкнул, и тогда Гуськов, встревожившись, заторопился еще больше.

Он направлял их к речке, вдоль которой утром спускался, зная, что там, в глуши, никого сегодня не встретит. Но туда-то как раз корова и не хотела идти и бросалась то вправо, то влево, чтобы оторваться от человека и поворотить назад; бычок, почуяв неладное, не отставал от нее. Корова дышала тяжело, бока ее раздувались, с губ свисала слюна. Гуськов тоже запыхался, ружье за спиной мешало, он снял его и взял в руки. Они метались по лесу, наверное, уже с полчаса, а до речки все еще было далеко.

Останавливаясь после каждой попытки обмануть друг друга, корова и человек смотрели друг на друга с ненавистью; корова затравленно мычала, на ее белых пятнах обозначались потные потеки.

Порядком намаявшись, Гуськов догадался действовать иначе. Он снял с себя ремень и, оставив корову в покое, стал скрадывать бычка. Лучше бы, конечно, делать это подальше от деревни, но другого выхода не было. Бычок, однако, тоже не давался, в последний момент он взбрыкивал и отскакивал. Гуськов прыгал за ним, метя накинуть ременную петлю на телка, и не успевал. Злость у человека перешла в ярость, он готов был взвести курок, чтобы одним разом покончить с этой затянувшейся дурацкой охотой, и только боязнь выдать себя удерживала его.

Все же ему повезло: бычка удалось наконец загнать в чащобу, и пока он тыкался между кустами, Гуськов сумел набросить свою опояску ему на шею. Бычок рухнул на колени, вскочил и запрыгал, забился, стараясь вырваться, но человек знал, как в таких случаях управляться со скотиной: он схватил его другой рукой за хвост, завернул и поволок из кустов. Бычок от обиды и страха заревел. Не давая ему опомниться, человек бегом потянул его к речке. Корова, мыча, побежала следом. Бычок теперь уже жалобно взмыкивал, из перехваченного горла вылетали хриплые сдавленные звуки, похожие на мяуканье.

Перед речкой Гуськов остановился отдохнуть, он уже не справлялся с дыханием. Он привязал телка к осинке и попробовал отогнать корову, но она не шла, она отбегала и останавливалась, а потом, едва Гуськов отходил, снова лезла к телку, обнюхивала, лизала его и подталкивала головой, будто уговаривая, пока не поздно, отрываться и бежать. Бычок под настойчивой и испуганной лаской матери, пошатываясь, постанывал; он обессилел и надорвался, надорвался памятью, понятьем, чутьем – всем, что в нем было.

Отдышавшись, Гуськов опять подхватил его и потащил дальше. Он решил перебраться через речку, надеясь, что лед задержит корову. Нет, не задержал: не задумываясь ни капли, она кинулась вслед за ними на лед, ноги ее разъехались – неловко, с растянутыми на стороны передними ногами, она упала, долго возилась, поднимаясь, и не смогла – так, на коленях, поползла, – не поползла, а покатилась к другому берегу. Гуськов, не пуская, замахнулся на нее прикладом – отчаянным прыжком она бросилась вперед и вымахнула на берег.

Они были теперь от деревни верстах в трех – не меньше. На всякий случай Гуськов протянул телка еще немного в гору, выбрал место посуше, но и поупрятней, и привязал опять бычка к дереву. Корова, встав поодаль, следила за каждым движением человека. Взыграв крутой неожиданной злостью, он выхватил из-за пояса топор и кинулся с ним на корову. Шумно, заплетая прихрамывающими ногами и ломая ветки, она побежала, но только остановился он, остановилась и она. Не было никакой возможности избавиться от нее. Возвращаясь обратно, человек увидел, что теленок лежит, – он так обессилел, что не мог стоять на ногах. Испуганно повернул он к приближающемуся человеку голову – быстро и точно, с мгновенным замахом человек ударил его обухом топора по подставленному лбу, и голова, чуть хмыкнув, повалилась и повисла на ремне. В тот же миг сзади закричала корова. Совсем озверев, Гуськов пошел на нее, готовый зашибить и корову, но, видя, что она не двигается от него, остановился. Хватит с него на сегодня одного убийства – иначе можно и подавиться.

И пока он обдирал теленка, корова стояла все на том же месте, не сводя с человека глаз, заставляя и его, в свою очередь, боязливо следить за ней, и изредка, слабо, со стоном взмыкивала. От запаха парного, еще не потерявшего жизни мяса Гуськова стошнило. Он отрубил от туши два стегна, добавил к ним еще один кусок и затолкал в мешок, остальное, как медведь, завалил прошлогодним листом и забросал хламьем. Перед тем как уходить, Гуськов в последний раз оглянулся на корову. Пригнув голову, она смотрела на него с прежней пристальной неподвижностью, и в ее глазах он увидел угрозу какую-то постороннюю, не коровью, ту, что могла свершиться. Гуськов заторопился уйти.

На обратном пути он ночевал в тайге напротив Каменного острова. Место это продолжало манить Гуськова с непонятной требовательной страстью; вечером, чтобы дотянуть до него, Гуськов брел из последних сил. Среди ночи он проснулся от прерывистого гула, идущего от Ангары: ломало лед. Гуськов не удивился и не обрадовался: то, что лежало в мешке, казалось, надсадило и выпростало все его чувства. Он и сейчас не знал, только ли ради мяса порешил телка или в угоду чему-то еще, поселившемуся в нем с этих пор прочно и властно.

А через неделю, перебравшись уже в верхнее зимовье, Гуськов услышал однажды среди дня со стороны Атамановки частые суматошные выстрелы. Он догадался: кончилась война.

16

Кончилась война.

Из Карды прискакал нарочный и прокричал эти слова, обдав деревню долгожданным громом. И деревня взыграла.

Первым, как всегда, схватился за ружье Нестор, его поддержали поднялась пальба, какой Атамановка сроду не слыхивала; бабы, бросаясь друг к другу, закричали, заголосили, вынося на люди и счастье, и горе, и вмиг отказавшее, надсадившееся терпение; забегали, засновали ребятишки, оглушенные новостью, которая в них не вмещалась, была больше всего, что довелось им до сих пор испытать, с которой они не знали, что делать, куда нести. Но и взрослые тоже растерялись, простых человеческих чувств, какими они привыкли обходиться, для этого случая не хватало. Поплакав, пообнимавшись, потрясшись в первый момент, люди, словно не выдерживая счастья, ошалело и бестолково тыкались из угла в угол, расходились и снова сходились, прислушивались к чему-то, ждали чего-то, какой-то команды. Подоспел Нестор, приказал вывешивать флаги. И хоть власти у Нестора больше не было, уж месяц, как он сдал свое председательское место Максиму Вологжину, но ему подчинились, полезли искать красное. Кто нашел, кто нет, но деревня, как могла, принарядилась, люди достали и оделись в лучшее, что хранили годами, ребятишки тут и там поднимали над воротами, над избами самодельные флаги. Агафья Сомова прикрутила к шесту сыновью красную рубаху, осиротевшую с прошлой осени, но еще добрую, не вылинявшую; Нестор, наскочив, закричал, чтоб сняла, но Агафья и не подумала послушаться, а чтоб без нее не сняли, встала у ворот на страже.

И день, хмурившийся с утра, тоже распразднился: растаяли в небе облака, и накрепло, разгорелось солнышко, осияв все под собой веселым и торжественным светом.

Настена с Василисой Премудрой пахали на ближней елани под горох, двигаясь одним гоном друг за другом, когда из деревни загрохали выстрелы. Василиса Премудрая, первой сообразив, в чем дело, кинулась выпрягать коней. Настена – за ней. Они прискакали в Атамановку в самый разгар, когда она ходила ходуном. Отпустив у ворот лошадей, разгоряченная, запыхавшаяся, Настена с ходу влетела в избу, всполошив стариков: испуганно приподнялась навстречу ей с лавки Семеновна, круто обернулся от окна Михеич растревоженные одной радостной вестью, они ждали другую. И Настена тотчас запнулась у порога: куда она так бежит, что хочет сказать им?

– Слышим; палят, – стала объяснять она и без того понятное. И натянуто, слепо, словно перебившись чем-то, закончила: – Догадались.

– Гошподи! – взмолилась Семеновна и перекрестилась на образ. – Ужели вправду дождались? Теперь, поди-ка, должны шказать, где Андрюшка-то наш?

– Должны, старая, должны, – отозвался Михеич, осторожно глянув на Настену.

– Теперь вшех по домам рашпуштят... по матерям, по женам...

– Сразу всех распускать нельзя.

– Пошто нельзя?

– Пошто... Мало ли что может произойти. Без войска не положено.

– А в той войне вот так вот шпокой не объявляли, – вспомнила, помолчав, Семеновна. – Никто не знал, концилашь, не концилашь... Германца брошили, промежду шобой шхватилишь, да ишо тошней того. Так боле миру, поцитай, и не было. За коммуны билишь, за колхозы. Ни дня, однако што, не было шпокою.

Настена прошла в свою боковушку и переоделась. Душа ее, взлетев и возликовав еще на пашне, продолжала играть, просилась на люди, но что-то удерживало, наговаривало, что это не ее день, не ее победа, что она к победе никакого отношения не имеет. Самый последний человек имеет, а она нет. Не зная, куда приткнуться, Настена прилегла с краю на кровать и привычно ощупала живот, но не проникая к нему чувством, а забывчиво, потерянно просто руки нашли свое место и затихли. С улицы доносились выкрики, кто-то проскакал, наяривая коня, кто-то незнакомым мужским голосом отрывисто запел:

Мы с железным конем

Все поля обойдем

Соберем, и посеем, и вспашем.

Настена, вскочив, выглянула в окошко: неужели кто успел в этот день прийти с войны? Посреди дороги, заплетая ногами, вышагивал в окружении ребятишек чужой, неизвестный Настене, высокий сухопарый мужик в распахнутой фуфайке и с непокрытой головой. Настена услышала, как Михеич в горнице объяснял Семеновне:

– Из Карды... который известие привез. Накачали на радостях. Ему не уберегчись, нет... В кои-то веки...

– Лю-у-ди! – вдруг возопил мужик, останавливаясь и раскидывая на стороны для прочности руки. – Выходи все на де-мон-стра-рацию! Титлер капут! – Он люто выругался в лад последнему слову и, крутнув головой, точно освобождаясь от крика, закачался и запел дальше:

Наша поступь твер-р-да,

И вр-рагу никогда

Не гулять по республикам нашим.

И крик этот, песня, случайная, запоздалая для нынешнего дня, еще больше занозили и натянули Настенино сердце; горячась и болея, страдая, оно обрывисто спохватывалось, кидалось куда-то, что-то искало. Настена вышла в ограду и, высунувшись через заплот, заметила на верхнем краю улицы движение, но, чтобы не узнать, кто ходит, не стала вглядываться и воротилась обратно в избу. Она мельком вспомнила об Андрее, но вспомнила с неожиданной злостью: из-за него, из-за него не имеет она права, как все, порадоваться победе. Потом Настена подумала, что ему, когда он услышит о конце войны, станет потешней, – за себя потешней, и, тотчас опомнясь и отмякнув, но все же с досадливым, злым чувством, пожалела его и вдруг всхотела к нему, чтобы быть им вместе. Им бы сегодня и надо быть вместе: два сапога – пара, от всех людей, от их всесветного праздника, от которого лишь они двое оказались в сторонке. «Ничего не в сторонке, – обиженно отказалась она, вступаясь за себя и возвращая себя обратно к людям. – Что я – не работала всю войну, не старалась? Меньше других силушки отдала, чтоб наступил этот день? Счас возьму и пойду. Возьму и пойду», – подгоняла она себя, оставаясь сама на месте, словно дожидаясь какого-то постороннего решительного толчка, который бы поднял ее и двинул к людям.

И она действительно дождалась его. Послышался конский топот, тпруканье под окном, и все тот же неуемный, гремучий Нестор, свесившись с седла, громко забарабанил в стекло и лихоматом закричал:

– Эй, кто живой, кто мертвый! Все в избу-читалку на собрание! На собрание-заседание-отмечание! Михеич! Где ты? Настена!

– Но-но, – отозвался Михеич, неторопливо подходя к окну. – Че так орешь?

– На собрание-заседание-отмечание. По случаю Победы. Срочный приказ. Что есть, чего нету – тащите с собой в избу-читалку. Складчина. Тарасун, Михеич, тащи. Не жалей. Тарасун, говорю, тащи – понятно?

– Понятно, понятно, – заворчал Михеич. – Тарасун тебе. Боле ниче не надо? Все бы тарасунил.

Но Нестор уже не мог слышать его, он ускакал дальше.

– Ой, дикошарый, – испуганно прицокивая языком, закачала головой Семеновна. – У их, у агаповшких, вше любят трезвонить, но этот шовшем дурной.

– Иди, Настена, – сказал Михеич, грустно и задумчиво улыбаясь в опущенные усы. – И тарасун есть. Иди, – вскидываясь, решительней повторил он. – Я опосля тоже загляну. Седни грешно дома сидеть. А тарасун в подполье, по правую руку за доской – доставай. Пускай празднуют. И ты попразднуй. Иди.

– Ты тарашун отдашь, а Андрюшка придет, це подавать штанешь? – вмешалась Семеновна.

– Андрюшка придет – найдем. Когда ишшо это будет? А сегодняшнего дня боле не будет. Лезь, Настена, доставай.

Это была обыкновенная самогонка, из довоенных еще богатых хлебов, но ее здесь испокон веку называли бурятским словом «тарасун». Настена знала, где он стоит: по ранней весне, отгребая картошку, она разглядела торчащую из земли, как фитиль, затычку и под ней нащупала бутыль, которую прятали не от нее, не от Настены, и не от кого-то еще, а просто прятали, чтобы до поры не попадалась на глаза и не тревожила понапрасну душу. После Настена отлила из бутылки в четушку, а четушку подсунула в мешок Андрею: все, может, на час, на другой утешит, пободрит мужика, позастит ему глаза. Чем ему больше отвлечься, куда кинуться от тоски и беды? Один и один. Недели и месяцы один. А она вот сейчас пойдет на люди. Не заслужила разве? Не может того быть, чтоб не заслужила!

Семеновна все же настояла на своем: из четверти, которая и была неполной, половину отлили в банку и спрятали, а вторую половину, чтобы не обманывать бутылью, Настена процедила в бидончик. Она вышла с ним за ворота и, приостановившись, набираясь решимости, осторожно, по-старушечьи осмотрелась в ту и другую стороны улицы.

Давно улица так не гомонила. Изба-читальня стояла посреди деревни, через три двора от Гуськовых, оттуда слышались громкие возбужденные голоса и тянуло дымом. Видя людскую суматоху, одурело носились и гавкали собаки, кричали и били крыльями петухи, наговаривали куры, визжали поросята, хлопали двери, скрипели калитки, топотила бегавшая стайками ребятня. Но поверх всего этого бестолкового шума и гама парил, звеня и переливаясь, еще какой-то отдельный особый звук – сладкий, стеклянно-чистый и ликующий, хорошо знакомый Настене, но как бы позабытый или потерянный. Она подняла глаза, отыскивая, откуда он берется, – на крыше сарая сидели в ряд три ласточки и заливались, рассыпались своей песней. Прилетели. Подгадали: не раньше и не позже, как раз сегодня. Прилетели, голубушки, вернулись на родину летовать, лепить гнезда, нести яйца, выводить птенцов. Вот и мирная жизнь возвращается в родные места, откуда ее, как былинку, сорвали, – надсаженная, покалеченная, растрепанная, но, может, действительно мирная. Не верится: отвыкли, обросли страданиями и страхом. Ласточки щебечут, славят что-то, обещая и благодарствуя, звонят свой хрустальный и нежный благовест, а той вести, поди, и не знают, что кончилась война. А может, и знают, может, нарочно летели-торопились, чтобы люди, услышав, подняли глаза и догадались: все, сегодня край страданий.

И с этого момента Настена словно тронулась душой. Ее охватила какая-то счастливая и глупая слабость, какое-то блаженное, чувствительное удивление чем ни попало, теми же ласточками, а пуще всего – желание показать, что она не хуже других и что она ничего не боится.

Перед избой-читальней стоял дом Иннокентия Ивановича, высокий и веселый пятистенник с крутой крышей, на одной половине которого жили старики Иннокентий Иванович с Домной, а вторая, отведенная для приемыша Васьки (своих ребят у них не было), уже две весны, с тех пор как подросшего Ваську забрали на фронт, пустовала. Пустовала, но не теряла жилого вида, протапливалась и знала уход: на подоконнике стояли горшки с цветами, по бокам окон виднелись занавески. Да и нельзя было понять как следует, какую половину избрали теперь старики: люди у них бывали редко, Иннокентий Иванович не привечал гостей, хотя жил крепко, имел что поесть-попить, в чем выйти на люди. Он всегда жил крепко, для такой именно жизни он и был рожден, и другая ему не подошла бы, как высокому, большому человеку не подходит одежонка подростка.

Когда Настена проходила мимо, звякнула щеколда на воротах, ворота открылись, и показался Иннокентий Иванович – помолодевший и нарядный, в темно-синем френче, застегнутом на блестящие металлические пуговицы, из-под которого на шее выглядывал рисунок косоворотки, и в таких же темно-синих новых брюках, заправленных в поношенные уже, но добротные, густо смазанные дегтем и приятно пахнущие яловые сапоги. Настена обрадовалась Иннокентию Ивановичу как родному и сделала несколько шагов навстречу, улыбаясь и любуясь его бравым видом.

– Иннокентий Иванович, дождались! – крикнула она.

– Дождались, – степенно ответил он и спросил:– Нету известий от твоего?

– Нету, – хохотнула и смело заглядывая ему в глаза, ответила она. Нету, Иннокентий Иванович. Ни слова, ни полсловечка. И, подумав, добавила:

– Может, ты знаешь, где он, – скажи? Иннокентий Иванович отшатнулся.

– Я-то откуда буду знать? – изумился он. – Чудишь ты, бабонька, чего-то.

– Если что – говори, Иннокентий Иванович, не скрой, – подбавила еще она все с тем же подозрительным хохотком. – А я – тебе скажу. Не сомневайся, Иннокентий Иванович, скажу.

Во дворе избы-читальни горели огни и в двух больших котлах кипело варево. Оказалось, что Максим Вологжин, новый председатель артели, позволил по случаю Победы заколоть колхозного барана. Бабы, расположившись на бревнах, чистили картошку. Народу толклось дивно: собралась вся деревня. В помещении составили в один ряд столы и накрывали их тем, кто что принес. А натащили по малости много: капусту, огурцы в глубоких чашках, творог и тарак в кринках, свежедобытую рыбу, тертую редьку, калачики, шаньги, яйца, полпирога с черемухой – не жалели ничего, несли последнее. Один отряд из ребятишек помельче отправили за березовым соком, чтобы было что наливать, если не хватит приношений; второй отряд, постарше, сидел на Ангаре за рыбой. Каждый пойманный ельчик, пескарь, а пуще того – хариус незамедлительно, еще живой, доставлялся на столы и прыгал на них, то заскакивая в чашки, то обрываясь на пол. Окна распахнули, на подоконнике наяривал во всю ивановскую патефон, возле него, прижимая к груди заводную ручку, стояла Надькииа Лидка. Надька тоже чистила картошку. Настена подошла к ней, присела поперед на корточки и остановила Надькины руки.

– Дождались, Надька? – со слезливым, блажным смехом спросила она. Надька, не отвечая, отвела глаза. Настена нашла Лизу Вологжину и обняла ее.

– Ты че, Настена, ты че, – забормотала занятая у котлов Лиза, оборачивая к Настене красное от огня и спокойное лицо. – Радая?

– Радая.

– Ждешь своего Андрея?

– Жду.

Максима она поцеловала, обхватив его принародно руками за шею, и он, сконфуженный и довольный, закричал:

– Кто еще? Подходи, пока Лиза добрая.

– Я те дам добрая! – отозвалась Лиза полушутливо-полусердито. – Я только Настене позволила, да и то взаймы, до Андрея, а боле никому.

Настена тыкалась в людей и дрожащим, услужливым шепотом, смутно и виновато улыбаясь или хихикая, как ненормальная, говорила, не то спрашивая, не то напоминая: «Дождались?» – ничего больше она сказать не могла. Но в этот день все было кстати. Она обнимала, и обнимали ее, она показывала слезы, и ей отвечали слезами; она принималась смеяться – ее поддерживали. Она точно не помнила себя, пораженная редкой душевной болезнью, чувства ее, привыкшие к жизни простой, понятной и надорванные, задерганные лихорадочной пляской, толкающей то плакать, то смеяться, то радоваться, то замирать от жути и страха, а сегодня и вовсе растерявшиеся и загнанные, – чувства ее отказали ей, и она, обычно сдержанная и осторожная в последнее время, знающая отвечать, а не спрашивать, послушно пошла туда, куда ее повело. Впоследствии ей было неловко, что она не догадалась даже помочь бабам и села на готовенькое. Она помнила: почему-то казалось, что этот день – последний, когда она может быть вместе с людьми, завтра она останется одна, совсем одна, в какой-то беспросветной глухой пустоте.

Сели за столы. Максим Вологжин по праву – и как фронтовик, и как председатель – занял первое место. По одну руку от него устроился, конечно, Нестор, по другую – нарочный из Карды, время от времени закрывающий глаза и роняющий голову, но вздергивающий ее снова и снова. Максим, звякнув медалями, поднялся.

– Люди! – тонким, застрявшим внутри голосом начал он, и застолье замерло. – Люди! Я не мастер говорить, сейчас бы нам кого другого послушать. Да и что говорить! Что говорить, когда победили! Не придумали еще таких слов, чтоб сказать. Выстояли, выдюжили и пошли, сломали спинной хребет лютому зверю, проклятому Гитлеру. Я там был, я знаю, что там творилось. Сердце кипит... – Максим набрал полную грудь воздуха и, вздрагивая, выдохнул его. – Вы все знаете. Сейчас все мои товарищи, все, как один, бойцы, кто живой, стремятся домой, чтобы двинуть нашу жизнь дальше. Много у нас потерь. Там, где прошла война, земля поднялась от могил. Земли стало больше, а рук меньше. Что говорить?! Нам ни за что бы там не выдержать без вас, кто оставался здесь. Потому что мужик воюет, а баба кормит, мужик ненавистью на врага исходит, а баба за тыщи верст сердце его собой да семьей мягчит, чтоб не взялось то сердце камнем. Ни черта бы мы без вас не сделали, и не было бы счас этого дня. Великая наша страна, огромадная страна, а без нашей Атамановки не обойтись. И мы там воевали, и вы здесь подмотали. Поднимитесь, люди, взглянем во все глаза на сегодняшний день и на веки вечные запомним его. Не было еще такой войны, а стало быть, не было такой победы. Отметим, люди.

Застолье поднялось и, звякнув стаканами, охнув единым вздохом, в молчании село обратно. Настена потянулась чокаться с Надькой, рядом с которой сидела, но Надька успела выпить раньше всех. Была она в этот раз на удивление молчаливой, в разговоры не ввязывалась и смотрела вокруг себя пристально и как бы непонимающе, что происходит, почему нарушился порядок мучительных, но уже привычных дней. Для ее жизни, как и для любой жизни, нужен был мир, но теперь, когда он наступил, Надька с тревогой думала о том, что теперь и ясней, резче, безжалостней обозначится счастье одних и несчастье других.

Кардинский нарочный, выпив, опять затянул:

Наша поступь тверда,

И врагу никогда

Не гулять по республикам нашим.

Кто-то ласково осудил его:

– Ой, хороши-ый! Как он домой-то поедет?

– А он это... не придумал, что война-то кончилась? Такой, правда, пьяный. Мало ли что на ум взбредет...

– Я придумал?! – расслышал нарочный и стал подниматься, с трудом поднялся, и в глазах его блеснули слезы. – Я придумал? – спрашивал он, обводя всех отчаянным, умоляющим и возмущенным взглядом. – Вы че это? Вы че это?! – сильней выкрикнул он и задохнулся, не сразу отыскал голос. – Кто посмеет, чтоб придумать! Вы думаете, об чем говорите?! Я к вам скакал... чтоб знали. От своего народа ускакал. Ну, спасибо... Да у кого зла хватит, чтоб придумать? Вы че это?!

Его кинулись успокаивать:

– Да нет, нет, не придумал... Не видно, что ли?

– Кто же, правда, на такое решится?

– Да он приехал-то тверезый. Ему, поди-ка, здесь уж на радостях подали.

– Че зря наговаривать на человека... Шутка ли – двадцать верст отмахал.

– Налейте ему, пускай выпьет, пускай простит нас, бессовестных. И верно, бессовестные какие...

И нарочный, выпив, простил, стал рассказывать, как он сам услышал о победе и как согласился ехать в Атамановку.

– А у нас-то все знают, нет? – громко спросил Максим, потому что шум нарастал.

– Все-е – как не все!

– Такую пальбу открыли – тут мертвые и те узнали.

– А дедушка-то? – вдруг вспомнив, вскинулась Лиза. – Дедушка Степан-то? Он со вчерашнего дня на мельнице че-то ладит. Дедушка-то не знает!

– Дак от выстрелы-то, поди-ка, слыхал?

– Че он слыхал! Он совсем глухой.

– Ой, дедушка-то и правда все еще воюет.

– Надо послать за ним – нехорошо.

Опять завозился нарочный, порываясь ехать на мельницу, чтобы «исполнить свой долг до последнего человека – до дедушки», но его усадили, уговорили остаться. Выскочил Нестор, конь его, на котором он прыгал весь день, так нерасседланным и стоял на дворе, за ним кинулись еще двое парней. Бабы, высовываясь в окна, закричали вдогонку:

– Вы только там ему ниче не говорите. Сюда везите.

– Вяжите и везите.

– Не вздумайте вязать. Ишо помрет.

Снова уселись за столы, снова налили, на этот раз сусла, за которым бегали домой к Иннокентию Ивановичу. Сам он, как все, не понес, выждал подходящий момент и объявил, что у него есть сусло, чтоб каждый знал: Иннокентия Ивановича сусло. Но оно и верно было хорошо – тягучее, обманчиво-сладкое, хмельное. Бабы заахали, зачмокали, взялись вспоминать, как варили его до войны, какие богатые были праздники, с чьих домов начиналась гулянка.

– Нагуляемся еще, бабы, нагуляемся, – крикнул веселый, с красным лицом Максим, поддергивая раненую руку. – Где наша не пропадала! Все будет. Скоро придут мужики...

– Кому приходить-то? – негромко, но внятно, слышно для всех спросила Вера Орлова, вдовая молодайка, оставшаяся с мальчишкой.

– Ну... – замялся Максим, – кто-нибудь придет...

– По моим сведениям, – поднимаясь, доложил Иннокентий Иванович, должно прийти шесть человек. Он отыскал за столом Настену. – Это с Андреем Гуськовым, котрый без вести пропавший.

– Кто да кто еще?

– Да что мы, не знаем, что? Чего спрашивать! Но Иннокентий Иванович взялся перечислять.

– А моего почему не считаешь? – заговорила вдруг Надька, когда он кончил, заговорила сразу, как сорвавшись, требовательно и зло. – Или считать дальше не умеешь, счетный работник?

– Потому что ты извещение получала. – Непросто было сбить с толку Иннокентия Ивановича, он знал, что отвечать.

– Ну и что, что получала? А ты считай. Он придет. Я говорю: он придет, – с вызовом обращаясь ко всем, накалялась Надька. – Вот увидите. Не надейтесь, что не придет. Придет и собьет твой счет. Так что считай сразу. Не шесть, а семь – так и говори.

– Тогда и мой придет, – глухо, не глядя ни на кого, сказала Вера Орлова.

– Про твоего не знаю, а мой придет. Бабы неловко заговорили:

– А что – все бывает... Он в Карде у сватьи Настасьи...

– А в Братском, сказывают, две похоронки на мужика пришло, и везде будто по-разному убитый. А он возьми и на порог... Вот и верь.

И в этот момент привезли мельника, дедушку Степана. Нестор ввел его в дверь под ружьем, с завязанными за спиной руками. Кто-то, не подумав, подсказал, а он сдуру исполнил. Дедушка споткнулся у порога и без всякого выражения окинул застолье маленькими, в густых дремучих бровях, глазами, не выказав ни удивления и ни страха – ничего, будто то, что увидел, и собирался здесь застать.

Нестор задрал голову и, обращаясь не столько к народу, сколько к портретам на стене, рявкнул:

– Неохваченный элемент по вашему приказанию доставлен. Скрывался на мельнице.

– Дурак ты, Нестор, – опомнилась первой Надька. – И как мы с таким дураком не пропали?

– Дедушка! – в десять голосов ахнули люди. К нему кинулись, развязали, подняли на руки и усадили, крича близко в уши, отталкивая и перебивая друг друга:

– Дедушка, война кончилась!

– Дедушка, миленький, где ж ты был?

– А мы тут без тебя. Забыли про тебя. Ты уж не серчай. Все с ума посходили.

– Сидим, а кого-то не хватает. Кого не хватает? Дедушки не хватает. Господи!

Он вертел большой лохматой головой и бессловесно, спокойно, показывая, что понимает и прощает, неторопливо и мудро кивал. И, глядя на него, близкие к слезам бабы разом заплакали. Только сейчас, когда последний живой человек в Атамановке узнал от них, что случилось, они наконец поверили и сами: кончилась война.

17

Все уже спустили лодки на воду, плавали помаленьку, а Михеич, как нарочно не торопился. Его шитик, даже и не заваренный еще, перевернутый вверх днищем, одиноко валялся на берегу. Настена извелась вся, но подгонять свекра не решалась: нельзя было показывать, что ей зачем-то нужна лодка. Но и терпеть, находиться в бездействии, не зная, как там Андрей, отсиживаться, когда открылась дорожка к мужику, она больше не могла. Ей казалось, что теперь, раз кончилась война, вот-вот должно что-то решиться в его судьбе, а значит, и в ее судьбе тоже, – поэтому надо, не медля, повидать мужика, понять, что настроен он делать, куда кинуться. За эти долгие, как годы, недели, пока они не встречались, Настена не один раз готова была на крыльях лететь к нему, чтобы успокоить его и успокоиться самой; ей мерещилось, что сейчас, когда во всю свою красоту раскрывается лето, когда вышла из земли трава и оплывают зеленью леса, а Ангара, выпроставшись ото льда, завораживает, затягивает своим движением и синью, что сейчас, когда человеческая душа, как в никакое другое время, отзывчива и ответна, Андрей может не выдержать и что-нибудь с собой сотворить. И сны ей снились тревожные, неразборчивые, не под разгад: то будто кто-то щекочет ее, кто-то неизвестный, невидимый, и она, заливаясь от смеха и ерзая на бегу, мчится со всех ног в постель, чтобы спрятаться под одеяло; то она разговаривает с коровой Майкой, и корова умно и дельно ей отвечает; то самое себя, маленькую еще, жившую под Иркутском, она, взрослая и замужняя, учит плавать в Ангаре; то что-нибудь еще. Настена просыпалась от этих снов и с бьющимся, прыгающим сердцем подолгу лежала недвижно, боясь пошевелиться и все думая и думая об Андрее, любя его горькой и заботливой любовью. Она любила его жалея и жалела любя – эти два чувства неразрывно сошлись в ней в одно. И ничего с собой Настена поделать не могла. Она осуждала Андрея, особенно сейчас, когда кончилась война и когда казалось, что и он бы остался жив-невредим, как все те, кто выжил, но, осуждая его временами до злости, до ненависти и отчаяния, она в отчаянии же и отступала: да ведь она жена ему. А раз так, надо или полностью отказываться от него, петухом вскочив на забор: я не я и вина не моя, или идти вместе с ним до конца хоть на плаху. Недаром сказано: кому на ком жениться, тот в того и родится. Ему в тысячу раз тяжелей, он под худой, под позорной смертью ходит, да еще надумал никому, ни единому глазу не выдать себя, чтоб не оставить по себе злую славу. Виноват – кто говорит, что не виноват! – но где теперь взять ту силу, чтоб вернуть его на место, с которого он прыгнул не туда, куда полагалось прыгать. Он бы что угодно отдал за эту силу, да где она?

Нет, надо скорей повидать Андрея, узнать, что у него на уме.

Живот у Настены раздался, и когда она перед ночью оголяла его, горка была хорошо заметна. Тихонько и нежно поглаживая ее, Настена замирала, потом, чуть отдохнув на этой первой ступени, замирала еще больше, неслышно отнимаясь и возносясь куда-то, в какое-то чудесное самовидное одиночество, где в тишине и пустоте, забыв обо всем на свете, она видела и ощущала каждую свою каплю. И плод, то, что превращалось постепенно в ребенка, она тоже видела; ее чувство, прикасаясь к нему, рисовало ей все – и как он лежит, и с какой ленивой и непрерывной требовательностью тянет из нее материнские соки. Это был, как хотел Андрей, мальчонка, и он немного пугал Настену: если б девочка, была бы надежда, что пойдут еще дети, родные по отцу и матери братья и сестры, а мальчонка мог остаться единственным. Но размышляла она об этом уже после, возвращаясь из своего чуткого и обморочного проникновения в себя, когда она внимала себе словно бы со стороны и, возвращаясь, со слабой понятливостью осознавала, где она есть и что с ней происходит. Она боялась того дня, когда откроется беременность, но, боясь, и хотела, чтоб он скорей наступил – тогда не придется затягиваться, прятать живот, не придется оглядываться, следить, не видит ли кто, что она не одна, что она носит в себе ребенка. Да и ожидание этого дня измучило Настену. При ее полноте не заметят еще, может, с месяц, а потом сразу ахнут. Все чаще Настене представлялось, что ее с силой затягивает в какую-то узкую горловину и будет затягивать до тех пор, пока можно дышать, а затем, придавленную, задыхающуюся, полуживую, в последний момент куда-то вынесет. Вот заглянуть в эту новую жизнь ей не удавалось, для нее она была так же темна, так же сокрыта, как замогильный покой.

Надо было что-то придумывать, чтобы попасть за Ангару, и Настена пошла к бакенщику деду Матвею. Его будка стояла в полверсте от деревни, от ее верхнего края, на высоком красноярье. Дед Матвей был родной брат Иннокентию Ивановичу, но братья мало знались между собой. Иннокентия Ивановича вот величали, он ходил на виду, знал грамоту, разбирался в политике, до войны не раз выезжал из деревни, и выезжал далеко, посмотрел, что к чему, а чтобы назвать деда Матвея, старшего из братьев, по отчеству, язык ни у кого не прикладывался – до того прост, бесхитростен и обычен был дед Матвей, который дальше Карды из Атамановки не выглядывал. Жил он от колхоза самостоятельно, но в страдные дни всегда приходил колхозникам на помощь, а в особенности любил крючить горох – то, что мужики обычно не любят, и стоять на зароде, когда мечут сено.

Настена пошла к деду Матвею, вспомнив, как он вчера просил у Максима Вологжина напарника на день, чтобы отвезти и поставить на воду, на летнюю службу, бакены.

– Силенки нонче совсем не стало-ка, – объяснил он. – Не справлюся один. А без спросу сманивать кого вроде нехорошо. У вас посевная. А я бы в покос, даст бог поправу, отробил бы. За мной не пропадет.

Настена пропустила мимо ушей этот разговор, а теперь спохватилась: вот и надо было вызваться к деду Матвею, там, глядишь, что-нибудь придумалось бы. И как она сразу не дотумкала? Не умея плавать, Настена, правда, боялась работы на воде, но как-нибудь один день, наверно, перемогла, перетерпела бы свой страх. Того ли ей сейчас следует бояться?

Она подходила к будке повечеру, когда солнце уже спускалось за Ангару, точно в тот западающий на горизонте прогал, где лежало Андреевское. Полреки было покрыто тенью, светлой еще и легкой, но течение там казалось много сильней и туже, чем на освещенной половине. А на солнце вода ярко, слепя глаза, играла блестками, словно отвлекаясь, кружась и задерживаясь в движении. Часто и весело, с каким-то своим восторгом плавилась рыба – от самой маленькой, отчаянно выскакивающей в воздух, разогнавшись, подряд по нескольку раз и смыкающей за собой круги в кружевную лестницу, до большой, взрывающей где-то вдали воду изнутри с солидным и довольным чмокающим звуком. Под яром лежал еще лед – колючий, дырявый и грязный, от него, пробив в песке и камнях дорожки, струились ручейки. По берегу носились суетливые, быстрые и вертлявые, с длинными острыми хвостами птички, которых там, где росла Настена, называют трясогузками, а здесь – плишками. Также и мелочь рыбная, табунящаяся под берегом, там – мальки, а здесь – омулявки, как бы в честь омуля, знаменитой байкальской рыбы, в Ангаре, однако, не живущей. Омулявки эти, заслышав Настенины шаги, шумно взбурливая воду, бросались в глубь, делали полукруг и снова, пропустив человека и чуть сплавившись по течению, подтягивались к берегу. Со свистом проносились над головой Настены стрижи, остро пахло, забивая дыхание, сыростью; лениво чавкала слабая, изнутри себя берущаяся волна, потому что в воздухе было тихо, сморенно; издали, с верхнего мыса Покосного острова, доносился шум воды. Тень наступала, ее движение видно стало глазом, и, едва зашло солнце, протянул, словно закрывая день, и опять затих ветерок. Теперь уж вся Ангара от берега и до берега побежала быстрей; Настена с детства верила, что в темноте течение сильней, торопливей, чем на свету.

Дед Матвей возился у лодок, у него, как у бакенщика, было четыре лодки, и все их смастерил он сам. На каменишнике стояли приготовленные для сплава, сияющие свежей краской бакены – три красных и два белых. Настена опустилась по вырубленным в земле и обшитым деревом, как лестница, ступенькам вниз и поздоровалась с дедом Матвеем, с особым интересом посматривая на бакены.

– Ну что, дедушка, – сразу спросила она, – кого тебе Максим на помощь дал?

– Дак кого дал... – Дед неторопливо всполоснул в воде руки, отер их о штанины и выбрался из лодки. – Максим, паря, хитрый. Кого, мол, уговоришь, того бери, а я, мол, на эту работу назначать не имею-ка права. – Дед закряхтел, наклоняясь и что-то отыскивая под ногами. – Фитиль, паря, где-то-ка посеял, – объяснил он. – Погляди, у тебя глаза острые. А их, широких-то фитилей, боле нету-ка, их нигде не взять. Ить только в руках держал – куды от он запрыгнул? – Фитиль нашелся в лодке, под сиденьем. Дед спрятал его в карман. – Мне бы только два подсобить, а те я сам поставлю. А два без напарника не взять. Один он под островом, тама-ка вода не дай бог дурная, не устоять будет. А другой, тоже-ка белый, напроть релки за деревней, где голомыска. Дак ты должна помнить, где они в прошлом годе стояли. А красные я один потихоньку отведу. Идти от надо-ка, поманить кого, а то катер не седни-завтра с проверкой придет. Неохота-ка, чтоб хужей всех было.

– А возьми меня, дедушка. Как сумею, помогу, – сказала Настена, оглядываясь опять на бакены и уже со страхом отличая белые, самые трудные.

– Но, – осторожно отозвался дед и помолчал, не зная, верить, не верить Настене. – Почему-ка не взять, коль не шуткуешь. Кого ишо брать? Ты правду поплывешь?

– Правда, дедушка. Только дай мне потом вечером ненадолго лодку. Хочу талины на острове нарезать. А наша по сию пору на суху.

– Дак талины я тебе подсоблю нарезать – эко дело!

– Нет, нет, дедушка, – испугалась Настена. – Я сама. Не торопясь. – И чтоб он не заметил ее страха, добавила: – Ну, там видно будет...

– Как хошь. А то подсоблю, это нехитрое дело. Откулева тебя, девка, бог послал? – Дед Матвей прищурил от неожиданной удачи белесые, в белесых же, выцветших бровях и ресницах, глаза и удовлетворенно засопел. – А я тужу: к кому идти кланяться? У всякого своя работа. Но раз поедем, давай поедем поране. Не доспи маленько. Придешь, не омманешь?

– Приду, приду, дедушка. К солнцу прибегу, даже раньше. Только ты не говори Максиму, что я сама напросилась. Скажи, уговорил. А мне неохота завтра опять на эту пахоту, уж надоело – все отдохну немножко.

– А, ну-ну. Это конешное дело. Скажу, как велишь.

И весь день Настена провела на реке. Снарядились чуть свет, по холодной еще свежести и глухой, сонной тишине, в которой слышался только все тот же дальний шум воды на перекате да едва различимый шелест течения. Ангара казалась темной и густой, у берегов стояла мелкая рябь, между нею широкой серединой, маслянисто отсвечивая, протаскивало воду. Поплыли в большой, как баркас, устойчивой лодке, которая требовала, однако, силы и силы, чтобы двигать ее и тащить сзади тяжелый, неуклюжий бакен. Сначала затянулись на бечеве вверх, потом Настена села за лопашны, а дед Матвей в корме за одноручное весло. Отвернули от берега, и с этих пор Настена старалась на воду не смотреть, уставившись глазами себе под ноги и боясь думать о том, что скоро придется подниматься в лодке в рост и что-то делать, как-то помогать деду Матвею.

С этим, первым, бакеном помаялись порядочно. Перегребая, промахнулись и оказались ниже, чем надо, а все попытки хоть немного подняться против течения посреди реки ни к чему не привели. Да и смешно было на это надеяться. Вода тут неслась мощным, туго натянутым гудящим потоком, перехлестывая брызги через борт. Выругав себя за дурость, дед Матвей сдался. Погребли к берегу, теперь уже левому, который был ближе и на который Настена больше всего и стремилась попасть – да не так, не с бакеном, не с дедом. И все же, когда подплыли, до того захотелось придумать что-нибудь и остаться, уговорить деда Матвея приехать за ней под вечер – тогда бы и установили они этот проклятый бакен. Но она знала: нельзя. Отдохнув, потянулись опять вверх, на этот раз зашли с запасом, поплыли обратно и загодя сбросили камень-держак, так что пришлось поддергивать его, чтобы снесло. Вся работа Настены состояла в том, чтобы грести, держать по команде деда лодку. Установив как надо бакен, дед Матвей облегченно вздохнул и закурил.

– Этот-ка самый чижолый, – признался он. – Я и зажигать, и гасить его поперед всех плыву. Ишь какая нехорошая, буянистая вода. Он как прет, никакого удержу.

И действительно, второй бакен поставили легче. Настена соглашалась и на третий, время еще было, но дед, отказав, отпустил ее.

– Хватит. Уговор был на два, – весело, и без того довольный сделанным, говорил он. – А об тех у меня заботы-ка нету. Я их завтра потихоньку один сплавлю. Езжай куда надо, покуль день не ушел. Пособить тебе, нет?

– Я сама, дедушка.

– Ну, как хошь.

Он давал ей легкий, быстрый шитик, но Настена осталась в той же лодке: она к ней за день привыкла и боялась уже меньше. А в вертлявом, послушном любой волне и любому ветерку шитике было страшновато: вдруг поднимется низовка или еще какая беда – все, пропала. Тише едешь – дальше будешь. Человек в постели, на ходу ли, случайной, поспевшей ли смертью, но должен умирать непременно на земле, когда под ногами привычная твердь, а в легкие просится воздух. Настене только однажды, еще задолго до войны, пришлось видеть утопленника, и до сих пор при одном воспоминании о нем ее пробирала жуть.

Она высадила деда у будки и, отказавшись чаевничать, сразу взяла через Ангару. Теперь, когда она осталась одна и когда встреча с Андреем, которой она всякими правдами и неправдами добивалась (а какими правдами? – только неправдами!), когда встреча эта после двух почти месяцев розной жизни была наконец близка, Настену охватило раздумчивое, осторожное желание оттянуть ее, оставить все, как есть. Что она сейчас скажет Андрею? Кончилась война, пришел в деревню еще один фронтовик, прежний партизан Лука Смолин, пожилой уже, молчаливый мужик, взятый поначалу в конницу и прослуживший всю войну при конях же – возницей. Михеич три дня назад заставил ее, Настену, написать в розыск, спрашивая о судьбе Андрея, и сам отдал письмо почтальону. Семеновна ходит лучше, уже и без костылей, – тепло, что ли, помогло? Хорошо, конечно, что ходит, но Настена готова была заподозрить в этом какой-то особый, недобрый для себя знак. Что еще? Живот... Это он увидит сам. Да, и недавно осмелилась-таки, продала Иннокентию Ивановичу часы, и ясное дело, продешевила, а что дал Иннокентий Иванович, внесла за облигации: наступил срок платежа и деваться было некуда.

А что скажет ей он? Что ему сказать? Посмотрит она на него и поймет все без слов: и каково ему пришлось, пока не виделись, и что держит он на уме. Долго так теперь продолжаться не может, надо что-то решать, куда-то приклоняться. А что, куда?.. Близок, близок суд – людской ли, господень, свой ли? – но близок. Ничего в этом свете даром не дается.

Солнце стояло еще высоко, но на воде было свежо, с севера потягивал ветерок. Настену всегда удивляло, как ветер летом может идти встречь течению, – казалось, что река своим широким и могучим движением должна двигать за собой и воздух.

Она гребла неторопливо, тяжелые лопашны за день все же с непривычки показывали себя: руки гудели, спина в одних и тех же беспрестанных движениях отерпла и пронзалась мурашками. В ушах приятно звучало шуршание разрываемой глади – мягкое, мелодичное, со звоном крошечных гибнущих колокольчиков. Второй звук, тяжелый и скрипуче-надсадный звук отодвигаемой лопашнами воды, исходил от работы. На средине реки, как на воздусях, видно было далеко и охватно, и все качалось, сплывало – избы, лес, небо, пашня на горе, берег, во всем чудилась ненадежность, подо всем – размытость и хлябь. Высоко в небе над Ангарой маленькой точкой парил, что-то высматривая и надумывая, ястреб, и Настена впервые в жизни невесть с чего пожалела эту вредную птицу: тоже не сладко дается ей хлеб. Настене вообще в последнее время казалось, что никого осуждать она не имеет права – ни человека, ни зверя, ни птицу, что всякий живет своей, но не зависящей от него, подневольной жизнью, изменить которую он не в силах.

Она ухватилась за нижний край острова, по другой, закрытой для деревни стороне затолкалась опять вверх и приткнула там лодку к берегу. Теперь осталось переправиться только через протоку – втрое меньше того, что выгребла. Но остановилась она не от усталости. На нее навалилась другая, душевная слабость. Настена чувствовала в себе путаницу, неразбериху, в которой сошлись вместе и радость, оттого что она увидит сейчас Андрея, и страх перед этой встречей, страх заглянуть туда, что покуда сокрыто темью. Надо было привести душу в порядок, настроить на один лад и уж тогда двигаться дальше. Настена сидела, смотрела бессмысленно в воду и улыбалась нарочитой, сделанной и направленной внутрь себя улыбкой, по которой могло бы густо, как масло, потечь успокоение. Но оно не натекало, не наступало, и беспокойство не проходило. Настена сидела уже не с улыбкой, а с гримасой на лице и вспоминала, как она продавала Иннокентию Ивановичу часы. Уж что-что, а это воспоминание утешить ее не могло.

Иннокентий Иванович долго вертел часы в руках, прикладывал их к уху, подносил к глазам, остро, пытливо взглядывая на Настену.

Видно было, что часы ему нравятся, но больше желания заполучить их Иннокентия Ивановича терзало желание узнать подноготную часов, выяснить, как, через чьи руки они сюда залетели. Он и к глазам подносил их, чтобы рассмотреть, не осталось ли на них каких-нибудь следов – надписи или знака, которые бы что-то указали и прояснили. Но нет, ничего не осталось. Подождав, спрятав свое нетерпение, поманежив еще себя и Настену, он наконец как бы между прочим спросил:

– Откуль они у тебя? Андрей, что ли, послал? Ответ у Настены был приготовлен, и она, так же играя в прятки с Иннокентием Ивановичем, сказала:

– Какой Андрей... Для него же, для Андрея, покупала в прошлом годе в Карде. А теперь вот приходится продавать. За облигации нечем рассчитываться. Придет – сам наживет. Уж десять раз покаялась, что взяла.

– За сколь купила-то?

– За две тыщи.

Говорить ему, как Михеичу, что она будто обменяла часы на ружье, Настена боялась: этому только покажи кончик, он вытащит всю нитку.

– Ну, у меня таких денег нету, – покачал головой Иннокентий Иванович. Ишь, а все прикидываетесь бедненькими. Две тыщи р-раз! – и достала, отдала, как два рубля. Это кто же в Карде продал их тебе?

– Я толком и сама не знаю. Какой-то военный вроде, в шинелке был. Поглянулись они мне сильно, я и схватилась, кофту, шаль продала, насбирала, – врала напропалую Настена и бесстрашно смотрела в лицо Иннокентию Ивановичу. – Счас-то разве стала бы покупать?

– Двух тыщ у меня нету. Я не такой богач, как ты, – примеривался и прикидывался Иннокентий Иванович, все так же пристально наблюдая за Настеной. – Тыщу с грехом пополам, может, наскреб бы, а больше нету.

Она, подумав, вздохнула:

– Ну, тогда хошь за тыщу. Кому я их еще тут продам? А в Карду ехать день, а то все два терять надо. Счас не до того.

Тысячу Иннокентий Иванович отсчитал, но не поверил он Настене, видела она, что не поверил. Не надо бы к нему ходить, но больше действительно идти было не к кому: в Атамановке только у него водились деньги. А кроме того, что-то тянуло Настену, помимо ее воли тянуло пойти именно к нему. Уж больно он любит нюхать чужие следы, знать о чем ни попало больше и раньше всех так на, нюхай, сама подаю кусок, который пахнет жареным-вареным. Верти своим длинным носом сколько влезет, скоро еще один кусок поднесу – не боюсь. А бояться-то следовало: не ангел. Нет, что ни сделаешь, все не так.

18

Настена помнила, что Андрей должен теперь находиться в верхнем зимовье, но не знала, что делать с лодкой: или спускаться и прятать ее в речке, или оставить напротив острова под берегом – с той стороны не увидать, а на этой, если кто появится, все равно не скрыть. Так что лучше и не прятать. Мало ли для чего потребовалось ей за Ангару! Нарезать вот талины свекру на плетенье, а тальники здесь самые богатые. Михеич же как-то обмолвился, что неплохо бы сплавать на остров за прутьями – правда, на остров, не дальше, но это почти одно и то же. Михеичу она скажет, что нарезала на острове, он удивится, а возразить нечем: и верно, сам подсказал, а она услужила. Да и что ему возражать, если сделала доброе дело – везде ей чудятся недоверие, подгляд, даже там, где их нет.

Но на этот раз подгляд, оказывается, был. Едва Настена, переплыв, вытащила нос лодки на сухое и, вскользь осмотревшись вокруг, стала подниматься на невысокий берег, из кустов, густо нависших над водой справа, вышел человек. Настена не заметила, как он вышел, она услышала лишь шуршание гальки сзади и, испуганно обернувшись, увидела его, склонившегося над лодкой и сильными рывками подвигавшего ее на каменишник. Настена вскрикнула.

– Что же ты ее так оставляешь? Унесет, – сказал он и, пригибаясь, пошел к ней.

Это был Андрей. Настена кинулась к нему с оборвавшимся от испуга и радости сердцем, вздрагивая крупной дрожью и приохивая, но он не дал себя обнять, а повел скорей за кусты, где их не видно было с Ангары, и там обнял сам, крепко сжав в руках, тяжело дыша и заглядывая в лицо.

– А я знал, что ты сегодня будешь, с утра знал, – щурясь оттого, что так близко видит ее, бормотал он быстрыми выдыхами. – Услышал утром голоса на протоке и узнал тебя. Догадался, что приплывешь. И весь день караулил. Потом вижу: гребешь.

Он прижал ее к себе еще крепче.

– Тише ты, медведь, – оттолкнулась она и выпятила живот. – Раздавишь. Не видишь, что ли?

– Есть? – пьянея уже этой радостью, коротко спросил он.

– Каши, думаешь, наелась?

Он неумело, отвыкнув, с отрывистым гулом засмеялся и осторожно, проверяя упругость живота, ощупал его широкой, разлапистой ладонью. Настене было приятно это прикосновение, она глубоко и ласково вздохнула.

– Ниче еще непонятно, – сказал он.

– Ну уж, непонятно...

Она взяла его ладонь и приставила туда, где начинал бугриться, уже чем-то упираясь, ребенок.

– Понятно?

– Вроде че-то есть.

– Вроде... Сам ты вроде. Еще как есть. Я уж знаю: это парнишка.

– Знаю, – хмыкнул он. – Откуда ты знаешь?

– Спорим на девчонку, что парнишка?

– Роди сперва этого.

– Рожу. Че ж не родить? Еще не бывало такого, чтоб там оставался. Настену самое же и распотешили эти слова, она рассмеялась.

Но, вглядевшись как следует в Андрея, она остыла, и все ее счастливое возбуждение от неожиданно скорой, раньше назначенного времени встречи с ним стало меркнуть. Лицо его сильно заострилось и высохло, даже сквозь бороду видно было, как обвисли на нем щеки. Глаза застыли и смотрели из глубины с пристальной мукой. Борода казалась уже и не черной, а грязно-пегой, завитки на ней делали ее и того более неряшливой. Голову он держал, подав вперед, словно постоянно всматриваясь или вслушиваясь во что-то перед собой, – так оно скорей всего и было. Волосы на голове он недавно подбирал и остриг на ощупь, они висели неровными лохмами. Глаза, больше всего Настену напугали глаза: так они изменились с последней встречи, настолько зашлись тоской и потеряли всякое выражение, кроме внимания...

Андрей заметил, с каким страданием она смотрит на него, и дернулся:

– Не нравлюсь, что ли?

– Андрей... – Настена ткнулась ему лицом в грудь, чтобы не отвечать, и оттуда, от груди, зашептала удушливо то, что считала самым важным: – Андрей, ты не знаешь еще: кончилась война.

– Знаю, – спокойно сказал он.

Настена отшатнулась от него:

– Как знаешь? Кто сказал?

– Слышал ваш салют.

– А-а, стреляли... ага.

– У меня теперь глаза и уши такие стали... дале-о-ко вижу и слышу. – То ли он отводил разговор, то ли действительно решил похвалиться. – Самому себе завидно. Утром вы еще по большой Ангаре греблись, а я уж знал: плывут. И вон откуда, с горы, от зимовья, услыхал. А как на протоку вышли, и тебя определил.

– А я тебе ничего почти и не смогла привезти, – медленно и отчужденно, думая о другом, сказала Настена. – Так, хлеба маленько да яичек. Боялась, чтоб не заметили.

– Мне и не надо. Теперь проживу, тайга накормит. Мне только сетку надо, Настена. Мошка вот-вот загудит. Заест она меня без сетки.

– Сетку... И правда, как я забыла про сетку?

– Привезешь в другой раз.

– Привезу...

Она стала думать о том, где взять сетку. Его, Андрея, старую из конского волоса, давно истрепали, а лишней в доме не было. Надо где-то найти: мошка хуже лютого зверя, а здесь он, мужик, один, вся мошка кинется на него.

Они все еще стояли, топчась друг возле друга, рядом с молоденькими, одного с ними роста, распускающимися березками. Листочки на них уже распрямились из трубочек, но были маленькие, бледные под солнцем, с глубокими бороздками.

В просветах между березками виднелась Ангара. Деревню скрывал остров; солнце, склоняясь, било туда косым упором. Берег здесь был широкий и красивый – в черемухе, в березе, раскиданными там и сям по луговине, чуть заметно покатый к воде и молчаливый, словно затаившийся или необжитый. В траве хлопотали какие-то маленькие, но безголосые птички с полосатыми, как у бурундуков, спинками и высокими головками. Лишь издали, но с этого же берега, давно и нудно напрашивалась на гадание кукушка. Настену еще на реке подмывало погадать, побоялась, теперь бы уж насчитала лет с двести – живи не хочу.

– Ну, в зимовье пойдем, нет? – спросил, оглядываясь почему-то, Андрей.

– Далеко, поди, – замялась Настена. – Лодку брошу... не угнал бы кто.

– Кому здесь...

Настена спустилась к лодке и взяла в носу узелок с едой. Но в зимовье они все же не пошли; подыскали место, где устроиться, наткнулись они на глухую круглую полянку, перечерченную пополам белой и твердой, как кость, колодиной, на которой и уселись. Настена подала Андрею узелок; Андрей, глядя куда-то вдаль, неторопливо развязал его, но, увидав хлеб, не смог сдержать нетерпения и впился в него зубами. Настена старалась не смотреть, с какой жадностью он ест, и сползла с колодины на землю, удобно вытянув задеревеневшие в лодке ноги, но нет-нет да поднимала голову и украдкой косилась на Андрея, удивляясь, поражаясь уже и не ему, и не голоду его, а тому, что этот оборванный, запущенный мужик, выколупывающий сейчас из бороды хлебные крошки, и есть тот, о ком она не спала ночей и к кому стремилась из всех своих сил. Господи, как же чувства человеческие капризны и смутливы! До чего они требовательны и изменчивы! К нему ли, к этому ли человеку, она плыла, о нем ли страдала, он ли получил над ней страшную и желанную власть? Не верится. Но Настена остановила себя: а не так ли и он спрашивал, впервые увидев ее после фронта: к кому бежал? ради кого наломал дров? А ему ведь было не Ангару переплыть – почище. И тоскливо, безысходно сжалось сердце: ничего не знает о себе человек. И сам себе он не верит, и сам себя боится.

А кукушка, не меняя голоса, все куковала и куковала, наговаривая – кому столько? – деревьям, реке, камням. Шумела пред островом вода; под низким боковым солнцем блестела в деревьях ранняя паутина. От наливающейся зелени плыл и туманился зеленой же поволокой взгляд, дыхание холодило влажными тягучими запахами. Сверху на полянку оборвалась бабочка и долго не могла вылететь, тычась в плотный кустарник. Но вид на Ангару сквозь ветки оставался, в нем торчала даже корма лодки под берегом, и Настена часто взглядывала туда, боясь не столько за лодку – вообще чего-то боясь, чего-то с неотвратимостью ожидая.

Андрей поел, и, чтобы разговор не ушел в сторону, Настена сразу спросила:

– Кончилась война – что теперь-то с нами будет, а, Андрей?

– Не знаю, – пожал он плечами, и Настене стало не по себе, ей показалось, что он чересчур спокойно сказал «не знаю», что он и не хочет ничего знать.

– А кто за нас будет знать? Что-то надо делать, Андрей.

– Что ты хочешь, чтоб я делал?

– Почему же я хочу... Не я... Но... ничего не делать, или как? Ты скажи.

Он обернулся к ней и, помолчав еще, подобрав первые слова, твердо ответил:

– Что делать? Тебе – рожать, вот что делать. Умри, но роди: в этом вся наша жизнь. Делай что хошь, но знай, что тебе надо родить. К этому и готовься. – Он начал твердо, даже жестко, но голос его сорвался; голос его вообще, Настена заметила, часто ломался, то становясь некстати суровым, то тут же рядом жалобным, чуть не плачущим – или от постоянного молчания, от одиночества, или от чего-то еще. Андрей откашлялся и продолжал: – А мне? Что мне делать? Ты, поди, не один раз подумала: ни черта бы там со мной не доспелось. Не отказывайся, я знаю. Я сам так думаю. Оно теперь, когда война кончилась, дивля так думать. Может, правда, ни черта бы не доспелось. Выжил бы, пришел. – Он наклонился к Настене, вплотную приблизив лицо и пуще обычного прищурив, спрятав глаза, и зашептал жутким, хриплым и сдавленным шепотом: – А если доспелось бы и я счас бы тут с тобой не сидел? Никто не знает. А я сижу. И ты не спрашивай, не толкай меня делать. Сделать я могу только одно. – Он выпрямился и качнул рукой вниз. – Погоди, не перебивай. Я знаю, я верю тебе. Я тогда как сказал: до лета. Вот оно и лето прикатилось. Давно ли ты ко мне по заметели бежала, а сегодня уж по воде. Пропасть, Настена, не штука, все равно от этого никуда не деться. Я за эти четыре месяца здесь прожил все сорок годов. Да тридцать своих. Пропасть, я говорю, не штука, но я должен знать, что не зазря пропадаю. Мне верить охота, что я еще пригожусь тебе, что ты прибежишь сюда не для меня, а для себя. Чтоб полегче тебе стало.

– А я и счас не знаю, для кого прибежала, – призналась она.

– На все плюнь, обо всем забудь – рожай. Ребенок – все наше спасенье. Ты тоже в этом деле моем немаленько заляпана. А ты совестливая, тебе неспокойно. Родишь – будет легче. Ребенок спасет тебя ото зла. Да разве есть во всем белом свете такая вина, чтоб не покрылась им, нашим ребенком. Нету такой вины, Настена. Так и знай. Я ждал тебя, каждый час ждал, чтоб сказать: готовься. Возьми сердце в камень, завяжись в узелок, зажми уши и не слушай, что на тебя понесут. Я знаю: тебе придется ходить по раскаленным углям... вытерпи, Настена. Но чтоб ему не повредило. А станет невмочь – прибегай. Прибегай. Я тебя буду ждать. Я для тебя и буду жить, больше мне тут делать нечего. А станут совсем донимать тебя – всех порешу, всех пожгу, родную мать не пожалею...

Судорожно, уставив безумные глаза на ту сторону Ангары, он втянул голову в плечи.

– Андрей! Андрей! – испугалась Настена.

Он невидяще глянул на нее и, отходя, освобождаясь от припадка тихой удушливой ярости, надолго умолк. Настена тоже не знала, что говорить. Какой-то словно чужой, издевательской мыслью она вдруг вспомнила, что ей нечем резать прутья, за которыми приплыла: не взяла с собой ни ножа, ни топора. Нет, в каждом из них с руками-ногами на одного сидит все же не один человек – несколько: вот и тянут его в разные стороны, разрывают на части, покуда не сведут в могилу. А он-то, бедный, еще говорит, что чужая душа потемки, будто хоть немножко знает свою.

Земля под Настеной стала холодить, и Настена приподнялась, села на колодину. Андрей подвинулся к ней ближе, но не обнял, как она насторожилась, а закачался маятно вперед-назад. Солнце уже ушло с полянки, отодвинулось к реке. В корме лодки прыгала, дергая хвостиком, плишка – взлетела, скрылась и тут же появилась опять, быстрыми поклонами заглядывая в воду. На востоке, где всходить солнцу, появились белые легкие полосы туч, и Настена затревожилась, не сменилась бы погода.

– Может, схожу на Лену, – неожиданно сказал Андрей.

– На Лену? – удивилась Настена. – Зачем?

– У меня там был дружок, вместе воевали. Коля Тихонов. – Он поперхнулся, словно в горле сдавило что, и повторил: – Коля Тихонов. Мы, правда что, в разных находились взводах: я в первом, он в третьем. А взводы в разведку по очереди ходили. Мы нечасто и видались. А чуть подфартит – все вместе. Он холостой еще был... хороший бы мужик вышел. Добрый, простой. И умелый – все мог. Последнюю рубаху с себя скинет, а там – последнюю пайку отдаст. На щеке шрам, да так к месту – вроде ямочка. В драке вилами в малолетстве проткнули.

И вот мы с ним уговорились: кого убьет, другой чтоб приехал и рассказал. Он с Лены, а я с Ангары – земляки, далеко ехать не надо. Он чудной маленько был. А как, говорю, обоих убьет? Обоих, говорит, не убьет, для этого надо, чтоб Ангара и Лена в одну воду сошлись. – Андрей коротко хмыкнул и длинно, протяжно вздохнул. – Я ему свою грамоту показал: мол, они и так сходятся в одну воду – там в море. А море, отвечает, это смерть. Они живут, пока по своему руслу текут, а море – смерть. После смерти и мы сойдемся. Приходим мы под утро с «поиска», а мне говорят: Колю убитого принесли. Может, схожу, расскажу, – не прерываясь, продолжал он. – Я знаю, помню, где похоронен, сам хоронил. Уговор надо бы выполнить.

– Как же ты пойдешь? – осторожно спросила Настена.

– Прикинусь, что издалека. Деревушка у него махонькая. Посижу, поговорю и обратно. Как хоронили, не плакал, там это не заведено. А недавно вспомнил, и слезы потекли. Я ж не бесчувственный, Настена. А лучше бы бесчувственный легче. Думаешь, думаешь до одури, а мысли все колючие... Жалят, жалят... Думаю: если пойти, сдаться – получай, что заслужил: и чем больше, тем лучше. Заслужил – прими. Чем на себя руки поднимать – пускай закроют, кому велено, это дело со мной, заткнут моей смертью. И им спокойней, и мне тоже. Настена замерла, стараясь не пропустить ни слова, но он поднял голову и решительно, широкими взмахами покачал головой: – Нет, не пойду. Не за себя боюсь – мне бы, может, это в радость было: встать под расстрел. Там хоть зароют, а здесь и спрятать некому. Не хочу вас марать. А если узнают, что родила от меня, – съедят тебя. Я-то ладно, с меня спрос особый, а тебе за что? И родишь ты – на ребенка слава упадет, век ему маяться с ней. Нет, не пойду. Ты говоришь: что делать? Я, что ли, не пытаю себя: что делать? Погодим – должно разъяснеть. Может, правда, на Лену схожу. А может, побоюсь, не пойду. Мне страшно, Настена, далеко от тебя отрываться, я только возле тебя и дышу. Утром просыпаюсь и думаю: что счас Настена – поднялась или нет? Днем брожу и думаю: где счас Настена? Какими словами она меня поминает? И говорю: терпи, Настена, терпи. И молчи. Не дай бог тебе кому сказать. Ты уж и не жена мне – с женой дома живут, ты для меня весь белый свет, все на тебе сошлось-съехалось. Не разомкнуть.

– Не говори так, Андрей, зачем ты? – Она прижалась к нему, и неловкой, тревожной радостью, как у человека, который, заблудившись, не знает, какая на небе заря – вечерняя или утренняя, – занялось сердце.

– Я намолчался, мне охота поговорить. Помнишь, на ильин день косили мы с тобой за речкой, в кочках? Показалось, на своем покосе мало, пошли туда. Жарко, пауты донимают, размахнуться литовкой нельзя, ровного места нету. А хужей всего – не знаем, надо косить, не надо. Вроде праздник. Люди гулять не гуляют, но и не работают. И гром, как водится в ильин день, вот-вот рявкнет. Помнишь?

– Помню, как не помню? Это в последнее лето перед войной было. Ты в то лето со счетоводов ушел, Иннокентий Иванович на твое место заступил.

– Ага. Ходим и злимся друг на дружку. А из-за чего, из-за какой холеры злимся, и сами не знаем. Погляжу на тебя и думаю: что бы такое сказать, чтоб заплакала, а я бы тогда добавил, отвел душеньку. И ты, вижу, косишься, губы поджала. А что бы, кажется, догадаться: давай бросим, ну ее к лешему, работу эту, и пойдем в деревню. Нет, затаились, пыхтим и молчим. И вдруг заместо грозы откуда ни возьмись дождик, да такой ласковый, теплый. Не из чего, тучки-то на небе не было ни одной. Это уж потом опустилась пасмурь, а до того чисто, как стеклышко. Мы с тобой остановились и друг на дружку посмотрели. Помнишь? И так хорошо, так радостно стало, что дождик, что мы с тобой одни и что не успели поругаться. И будто другие люди тут до нас были, а мы только что встретились. И не у одного, у обоих сразу такая перемена. Что вот, что было? Неужто из-за дождика все, из-за того, что работать не надо?

– Потом пошли на горох...

– На горох пошли поздней. Бросили литовки – и друг к дружке. И дождик-то какой-то не мокрый был, летит и на лету тает. Вроде как дымный или святой какой. Может, правда, это он нас заворожил. А на горох ты позвала, я тогда куда хошь бы пошел за тобой. Вот ведь что вспомнилось...

– А это мы сидим счас, Андрей? Или те, другие, которые косили?

Он, склонив голову набок, задумался дальней, тяжелой мыслью.

– Не знаю. Не те и не другие, наверно, а третьи. Была война... все было. Нет, – встрепенулся вдруг он. – Это мы, мы, Настена. Счас это мы. Иначе я бы не вспомнил. Это мы. Это не пропало совсем. Не одно плохое у нас было, было и хорошее – правда же, было?

– Зачем же помнить плохое?

– Все надо помнить, Настена. Все надо помнить, но плохое, как срамное место, без нужды показывать не надо.

– А помнишь?..

И она, завороженная и вознесенная воспоминаниями, близко и чудесно коснувшимися сердца, не замечала уже ничего: и что он оборван, запущен, не чист – это был ее Андрей, родной человек, с которым она знала жизнь единственную и радостную. Столько, оказывается, в ней было счастья! И очнулась Настена, когда солнце перед заходом полосой поднималось на той стороне в леса, воздух погустел, потемнела и остыла зелень. Перед глазами Настены подрагивала непонятно откуда взявшаяся лиственничная ветка, на которой из корявых и некрасивых, как бородавки, почек выбивались аккуратные хвойные метелки. Рядом, устало посапывая, сидел Андрей. Очнулась она и испугалась:

– Господи, да ведь мне нельзя без прутьев домой показываться! У тебя хоть ножик с собой?

– С собой.

– Пойдем скорей.

Она пропустила мимо ушей и только после догадалась, почему он спросил, провожая ее:

– Скажи, Настена, как я появился здесь, никого из деревни не убило? Не было похоронок?

– Как ты появился?

– Ага.

– Кажется, нет. Нет, не было. Последний был Володя Сомов. Осенью еще.

– Ну-ну.

Он искал себе вину поменьше. И она задумалась: зачем, для чего? Для себя только или он прикидывал что-то другое?

19

Через несколько дней Настена приплыла снова, на этот раз в своем шитике, который Михеич наконец скатил на воду. С утра зарядил дождь, мелкий, но злой, холодный, и работа в поле сорвалась. Хотела покопаться в своем огороде, где только и сделали, что натаскали гряду под огурцы, но дождь и того не дал, напрасно лишь вымокла и расстроилась. И чтоб день не пропал совсем впустую, решила: поплыву, отвезу мужику сетку, которую с грехом пополам достала, отвезу еще бутылочку дегтя от той же мошки, свалю с души одну печаль. Она обрадовалась, что Михеича нет и не надо с ним объясняться, а Семеновне сказала, будто сходит порыбачить, – Семеновна, все хныкала, что «вот люди ловят, а они с нонешней Ангары хвоштика омулявошлого не видели». Настена так и сказала – «сходит», чтобы непонятно было, пойдет она куда-то пешком или поплывет в лодке, – то и другое означало «сходить». Семеновна не успела ответить, не успела ни задержать, ни дать позволенья, а Настена уже выскочила и быстрым шагом направилась к Ангаре. Весла держали в банных сенцах, там же валялись старые переметы на рыбу, смотанные на деревянные колышки. Настена подхватила их, спустилась торопливо к воде и оттолкнула лодку. Вместо того чтобы заходить вверх, она сильными рывками погнала шитик вниз по течению. Через пять минут, когда деревню не видно стало за зыбкой, туманной завесой дождя, она повернула лодку поперек реки.

Дождь глухо, с сытым ворчанием шумел, входя в воду; река казалась серо-стальной и тусклой. Остров казался размытым и приподнятым, будто низкая туча, грязным пятном. Размыто было и небо, а лучше сказать, его не было вовсе, оно закатилось куда-то, как закатывается солнце, и теперь там настали сумерки. Настена вспомнила, что в марте, в лютую и мокрую метель, она бежала по льду где-то здесь же: время идет, а у нее ничего не меняется, и зимой и летом приходится искать непогоду, чтобы попасть все туда же, все для того же. Настена была в прорезиненном плаще, наброшенном поверх кофты, но он давно вытерся и не спасал от дождя, по спине неприятно, теплыми струйками, набираясь и нагреваясъ, стекала вода. Мокрая кофта на лопатках влипла в тело, и это было тоже противно; Настена то и дело поводила спиной, отдирая ее и морщась, и сбивалась с греби.

Она переплыла Ангару и, отыскав речку, загнала шитик в нее, протолкнув его далеко вверх и поставив под нависшую низко над речкой раскидистую березу, чтобы и не видно было постороннему глазу и поменьше нападало сверху дождя. Один перемет она взяла с собой, второй оставила в лодке. И, сойдя на берег, вздохнула натруженна: убежала, добралась, и добралась будто в одно мгновение. Но она потому и прихватила перемет, чтоломнила: придется возвращаться. Все у них теперь шиворот-навыворот: сроду человеку легче было возвращаться по своим следам, чем идти вперед, а у них – нет. Попробуй Андрей возвернуться туда, откуда он скосил свою жизнь! Попробуй она воротиться к той Настене, какой была полгода назад! А как тяжело будет ей плыть сегодня обратно: та же Ангара покажется впятеро шире, те же весла тяжелей, та же вода – страшней и глубже. Взять бы и не возвращаться, остаться здесь, на положенном ей месте, с положенным человеком, чтоб не прикидываться, не лукавить, не врать, а жить свободно тем, что она есть.

Она спустилась обратно к Ангаре и на каменистом берегу с быстрым и прямым течением размотала перемет. Этой снастью только теперь и рыбачить, через неделю-две, когда высветлится и войдет в свою норму вода, она не годится. В прошлом году после льда Настена несколько раз ставила под своим берегом – и добывала: приносила и ельцов и хариусов. Михеич по-стариковски признавал только морды, от всякой другой рыбалки он отошел.

А ей, Настене, сегодня, чтобы замазать глаза, хватило бы одного самого заморенного ельника. Главное, было б что сказать, чем прикрыться, а поверят, не поверят – наплевать. Так или иначе все идет к концу. В черном земляном яру с торчащими прутьями корней Настена, обваливая податливую почву и выворачивая коряги, набрала червей, наживила крючки и забросила за подвязанный камень перемет в воду. Ловись, рыбка, большая и маленькая, ловись. Уходя, Настена подумала, что, если ничего не поймается, надо хоть не обрывать с крючков остатки червей, чтобы видно было, что она действительно наживляла, действительно рыбачила, а не занималась чем другим. У Михеича голова бедовая, в нее что угодно может закрасться.

Дождь все нудил и нудил; Настене чудилось, что она слышит протяжное, надсадное поскрипыванье, с каким он спадал на землю. Трава, мягкая, далеко не вызревшая, принимала его бесшумно, на деревьях зябко подрагивали листья, над Ангарой висела глухая, как осенью, туманная морось. В небе появилось чуть заметное движение – или оно тоже чудилось, наплывало перед глазами, которые не любят пустоты? Настена не бывала в верхнем зимовье и шла наугад шла сначала по-над берегом по старой запущенной тропке, которую выдавали в траве продольные залысины, затем повернула в гору. Ей казалось, что она должна сразу найти прежние работные места, но полян по склону светлело много, и не понять было, вечные ли это поляны или одичавшие поля; она продвигалась от одной к другой, от другой к третьей, забираясь все выше и выше, а постройка все не находилась. Взгляд по дождю доставал недалеко, и она еще долго плутала, прежде чем наткнулась на ключ, догадалась спуститься по нему и увидела прямо перед собой за редким осиновым леском черную от дождя и времени драньевую крышу зимовья. И опять Настена, как когда-то, постучала в окошко и тут же крикнула, чтобы Андрей узнал ее голос и не успел испугаться. И опять он выскочил, завел ее внутрь и помог скинуть мокрую одежду. Но разговор на этот раз пошел у них иначе, чем накануне, когда Настена приплыла впервые и они встретились на берегу.

Виновата в этом была Настена. Слушая Андрея, она поддавалась ему, верила, что так оно все и есть, как он говорит, что нет у них сейчас другого выхода, как скрываться ему здесь, а ей молчать там, – молчать, стиснув зубы, продираясь сквозь дни, точно сквозь острые камни, к какому-то неясному пока, неизвестному спасительному исходу. Но едва она оставалась одна, подступало отчаяние и мучительной жутью пронзалось сердце: да что же они делают? Что они делают, на что надеются? Правда – она сквозь камни прорастет, посреди Ангары в самом быстром и глубоком месте поднимется из воды говорящим деревом. Никакой силой ее не скрыть. Не лучше ли Андрею все же выйти и повиниться? Веруют же: об одном кающемся больше радости в небе, чем о десяти праведных. Люди тоже должны понимать, что тот, кто упал до такого греха, впредь для греха не годится. И, увидев опять перед собой провисшее и некрасиво заросшее, как замшелое, лицо Андрея, его провалившиеся глаза, острые и измученные страданием, его полусогнутую настороженную фигуру в грязной одежде; попав после дождя в сырое темное зимовье с горьким запахом спертого, задушенного воздуха, – увидев и ощутив все это, Настена с новой болью содрогнулась.

– Не топишь ты здесь, что ли? – спросила она, не сумев сдержать раздражения.

– Печки нетути, – осторожно, почувствовав ее настроение, ответил он.

В нахлынувшей горькой тоске, от которой стало пусто, ветрено во всем теле и застучало в голове, Настена простонала:

– Андрей, может, не надо, а? Может, не будем так, выйдем? Я бы пошла с тобой куда угодно, на какую хошь каторгу – куда тебя, туда и я. Так я больше не могу. И ты не можешь, ты посмотри на себя, какой ты стал, что ты с собой сделал? Кто тебе сказал, что расстреляют? Война кончилась... и без того задохнулись в смертях...

Она, торопясь, говорила и видела, как отодвигается от нее лицо Андрея, как, удивленно замерев, перекашивается оно недоброй усмешкой. Он сказал:

– Избавиться от меня надумала? Но-но, давай.

– Андрей! – испугалась она.

– Избавишься, Настена, избавишься, – клоня, пригибая и выворачивая голос до утешения, продолжал он. – И то: устала – сколько можно? Пора и честь знать. Должен сам понимать. Избавишься, Настена, да не так, как задумала. Со мной, говоришь, пойдешь? – Он еще тошней того усмехнулся и набрал голос: – Да ты же знаешь, что тебя рядом со мной к стенке не поставят. Пожалеют. А меня поставят. Тебя он хошь из-за пуза пожалеют. И пойдешь ты, голубушка, одна, и совесть свою освободишь. Ишь как ладно.

– Перестань, Андрей, счас же перестань. Как тебе не совестно говорить такое?

– Я тебя, Настена, сам от себя избавлю. Скоро уж, скоро, недолго ждать. Я не собираюсь всю жизнь тебя так мытарить. Да хошь завтра, если на то пошло, хошь счас – Ангара рядом. И зарывать, хлопотать не надо. У меня и веревочка припасена. По льду еще на мельницу заходил, прибрал там веревочку. Надежная – пятерых удержит. С твоей же лодки и прыгну, а ты доглядишь, чтоб не всплыл. Тебе же все равно через Ангару надо – ну и меня по пути подбросишь, я тебе полдороги погребу.

Прижав к груди руки, словно защищаясь, и качая головой, чтоб не слышать и не понимать, Настена взмолилась:

– За что ты так меня, за что? Что я тебе сделала? Я думала, как лучше... я ж не уговариваю тебя, я сама не знаю. Сказала, что на ум пришло. А ты что говоришь? Зачем ты так?

– Нечего меня подталкивать, я сам знаю. Я тебе сразу, в первый же день, сказал: нет. И ты меня не повернешь назад, не старайся. Ничего не выйдет! – кричал он, уже не сдерживаясь и набрасываясь на нее с такой злобой, что она оцепенела. – Ишь, добренькая какая: лучше хотела. Я знаю, чего ты хотела. Догадалась, как спровадить, всю ночь, поди, не спала, все думала. Додумалась – лучше некуда! И сеточку вон принесла, чтоб мошка меня не кусала, когда руки-ноги свяжут. Обойдусь. Без сеточки твоей обойдусь. И ничего мне больше не надо, а то ты надсадилась таскать. Хватит. Хватит с тебя, отдохни. Больше сюда не показывайся, все равно ты меня не увидишь. И правда: на шею сел бабе – тяжело! Но запомни еще раз: скажешь кому, что я тут был, – достану. Мертвый приду и стребую. Запомни, Настена.

В надежде остановить, унять его она шагнула к нему – он искривился в быстрой брезгливой гримасе и втянул голову в плечи.

– Погляди на меня, Андрей, – попросила она со слабой настойчивостью. Погляди. Нет, ты погляди, не отворачивайся. Погляди и скажи: похожа я на ту, про кого ты говоришь? Бог с тобой, Андрей, что ты выдумал? Ну, скажи: похожа?

– Может, мне еще и повиниться перед тобой? В ножки упасть: мол, напраслину возвел? Или что ты хочешь, чтоб я сделал?

– Не надо виниться. А в ноги я сама упаду, только не говори так. Не верь ты себе, что наговорил, не обманывай себя. Как тебе в голову взбрело, что я могу поперек тебя пойти? Что ты, Андрей: что ты! Не надо так, ну, не надо... Ты посмотри хорошенько, посмотри на меня, такая я или нет? Неужто ты не видишь? – И, не отнимая глаз от него, прикусив губу, чтоб не расплакаться, она затряслась от рвущихся, через силу сдерживаемых рыданий.

– Себе, значит, не верь, а ей верь... Славно, – буркнул он, растерянно отворачиваясь и злясь на все, на все кругом, слепой, безысходной злостью.

Они надолго замолчали, Настена поднялась уходить, а он не сдвинулся с места, как стоял, так и остался стоять – не проводил.

Она вытерпела немного – только три дня. И при первой же возможности, никому ничего не объясняя, столкнула лодку и поплыла – больше находиться в неизвестности, здесь ли он, живой ли, она не могла. И когда ночью уж, в темноте, Настена постучала в окошко и он вышел, она кинулась ему на шею сама не своя от радости, не помни ни обиды и ни зла, видя только, что он здесь, живой. Лаская ее и тоже чуть не плача от встречи, он каялся, называя себя дураком, умолял не сердиться, не верить тому, что наговорил, говорил, что если б она не приплыла, то он угнал бы лодку и стал ее караулить, чтоб просить прощенья, – от всего этого Настена еще сильней зашлась, потерялась душой и пообещала:

– Если ты над собой что доспеешь, я тоже решусь – так и знай.

20

А дальше все покатилось как под горку, и под горку крутую.

В субботу Настена истопила баню, закрыла ее и, зная, что Семеновна не любит первого жара, пошла поперед всех. Но едва она намылила голову (Лиза Вологжина где-то разжилась и дала полкуска черного мыла), кто-то пришел и стал раздеваться в сенцах; замерев, Настена различила знакомое покряхтывание свекрови. С маху Настена кинулась всполаскивать голову, чтобы выскочить из бани, когда Семеновна войдет, сказать, что помылась, но потом одумалась и удержала себя: коли свекровь пришла одна, все равно она ее не отпустит. Нет, чему быть, того не миновать. И чего притащилась старуха – сроду вместе не мылись! Как нарочно, как знала, что ее-то здесь больше всего и не ждут. А может, действительно нарочно, может, действительно знала: присмотрелась заранее, скараулила и решила проверить. Если так, сейчас будет потеха. Настена забралась подальше в угол и, загородившись шайкой, попробовала втянуть живот внутрь – а куда его втянешь, если он выкатился, куда его денешь, если он здесь? Как ни старайся, видно же, видно.

На этот раз, на удивление, обошлось. Семеновна или не заметила ничего, или, заметив, не поверила, перевела то, что баба раздобрела, на другую причину. И все же дважды или трижды, пока мылись, Настена ловила на себе ее упрямый, зыркающий взгляд и тогда подбиралась вся, поджималась так, что от натуги сводило скулы. После, когда оделась и вышла, пожалела: чего скрывалась? Самый удобный и верный был момент, чтобы, наоборот, показаться во всю свою красоту, а спросит – сказать, что есть. Даже лучше, если бы свекровь услышала это от нее, от Настены, а не от чужих людей. Наверно, не хватила бы кипятком, а что раскричалась, распалилась бы – пусть, зато Настена наконец освободилась бы от этого беспрестанного ожидания, от этого страха, который чем дальше, тем страшней и невыносимей.

Но баня для Настены все-таки даром не прошла. Семеновна с тех пор стала приглядываться к ней со своим особым, на один глаз, целящим прищуром, который, Настена знала, ничего хорошего ей не сулит. Значит, старуха что-то почуяла, не иначе. Началась самая настоящая охота: свекровь на дню по двадцать раз вставала в стойку, уже и не пряча, куда, в какое место, она наводит глаза, а Настена, скрываясь, или прошмыгивала бочком, или ходила, загораживаясь руками, запахиваясь в просторный Андреев пиджак, или сгибалась, выносила вперед грудь. А живот, тот в последнее время поднимался как на опаре, и никакими хитростями утаить его было уже невозможно.

И как-то под вечер, когда Настена и Семеновна были одни, суетясь и домашничая каждая за своим делом, – Настена больше во дворе, Семеновна по избе, – свекровь, будто впервые наткнувшись на Настенин живот, спросила прямо:

– Ты, девка, не брюхата ли? Што так расперло-то?

Сердце у Настены оборвалось: вот оно, вот. Вот он, порог пред ее крестным путем. Перешагивай, Настена. Отказываться, скрываться дальше некуда. И тем же словом, повернув его другой, твердой стороной, Настена ответила:

– Брюхатая.

– Эва-а-а! – удивленно и даже как бы обрадованно, что подозрения ее оказались непустыми, протянула Семеновна и вдруг подскочила на своих больных ногах, сдавленно, зайдясь от бешенства, вскрикнула и долго не в состоянии была выговорить ни слова, только трясла головой.

– Шуцка! – выкрикнула потом она, и Настена не сразу поняла, что это «сучка». Раньше свекровь никогда не ругалась. – Шуцка! Ой-е-е-е-ей! – заголосила она, хватаясь за голову. – Штыд, штыд, како-ой! Гошподи! Прешвятая богородица! Покарай ты ее, покарай на меддте. Побежала! Не дождалашь! И живет, притихла, шуцка такая! Андрюшка придет, а она, кобыла, уж готовая... Штыд-то твой где был? Где он у тебя был, куды ты его дела? Да штоб у тебя там цервяки завелишь! Штоб тебе вовек не оп-роштатьша! От бы хорошо было, от бы хорошо! – Семеновна и сама испугалась своих проклятий и, остановившись, поперхнувшись, с последней надеждой спросила: – Ты, может, врешь? Может, нету нице?

– Есть, – с каменным бессилием, зная только, что иначе отвечать нельзя, сказала Настена и невольно качнула вперед животом.

– Ешть, – простонала Семеновна. – Ешть, говорит. Будто так и надо. Не подавитша штыдом – нет. Не кошка ли ты? Не кошка ли ты, пакоштливая, блудливая? – нашла она новое слово и, как на кошку же, крикнула, указывая рукой на дверь: – Брышь! Брышь из дому, блудня! Штоб духу твоего тут поганого не было. Уметайша немедленно! Где была, туды и беги. Андрюшка придет – це мы ему шкажем? Кого держали? Кого пригрели на швой позор? Ить в деревне-то узнают, в деревне-то узнают – гошподи! Я тебя, девка, ш первого дни разглядела, я шразу по-цуяла, какая ты ешть. Побежала, принешла! Уметайша, не жди, покель я ухватом тебя не помела. Штоб тобой тут боле не пахло.

Настена в чем была, в том и вышла. На крыльце она подобрала ведро, в котором выносила теленку пойло и впопыхах забыла на ступеньке, и поставила его на лавку. Из избы продолжали греметь и шипеть проклятия; Настена постояла еще, как бы не понимая, не веря, что они относятся к ней и что ее действительно изгнали из дому, потом нерешительно, все еще медля чего-то и ожидая, открыла калитку. Неподалеку на полянке ребятишки играли в бабки, среди них был и Родька. Настена спросила у него, дома ли мать, и он ответил, что, наверно, дома. Больше идти было некуда – Настена пошла к Надьке.

Она не обижалась на Семеновну – что тут, в самом деле, обижаться? Этого и следовало ждать. Но до самого последнего момента Настена надеялась, что, раз она ни в чем не виновата, правда каким-то образом должна сказаться и уберечь ее от такой расправы. И не справедливости она искала – сейчас невозможно понять, что справедливо и что нет, она и сама давно заплутала в этих двух соснах, но хоть маломальского сочувствия от свекрови, ее молчаливой и вещей догадки, что ребенок, против которого она ополчилась, ей не чужой. Неужели своя кровь ничего ей не шепнула, не плеснула в сердце пытливым толчком? На что тогда рассчитывать от людей? Вот он, нарыв, который долго нарывал, тянул из нее терпение и силы, наконец лопнул, а приложить к ране нечего. Много ли помогут одни свои наговоры, бедное утешение в том, что надо все перетерпеть ради чего-то, что наступит после? А что там хорошего наступит? Нет, нечего ждать, нечего.

Сердце у Настены как упало, так и не поднялось, слабо стучало откуда-то снизу. Или она уже обходилась сердцем, которым жил внутри ее ребенок? До себя ей не было никакого дела, лишь бы спасти его, ребенка, не дать ему тронуться страданием, которое выпало ей, в целости-сохранности донести до того дня, когда придет пора выходить ему в мир. Может, люди, увидев его, когда будет на что смотреть, проймутся жалостью и не изгонят от себя, как изгнали сейчас из родного дома ее. Родной уж стал, восемь лет оттрубила. Не обидно, что так вышло, – нет, не обидно, а стыдно; и не за себя стыдно, она свою дорожку знает, смирилась с ней, а потому, что это произошло, что дошло оно до того, что надобно проситься ей в люди, чтобы было где переночевать. И уехать нельзя, двойной путой связана по рукам, по ногам, и ехать некуда. Одна, совсем одна.

Она пришла к Надьке и тяжело привалилась к дверному косяку, не смея, пока не договорится, пройти вперед. Кто знает, может, Надька откажет; каждого человека теперь надо узнавать заново: стоит только сдвинуться с того места, где стоял и к которому привыкли, как меняется все к тебе, люди готовы называть тебя другим именем. Надька, возясь у растопленной печки, спросила:

– Че ухайдакалась?

– Пустишь меня пожить маленько? – сразу, не в силах тянуть и готовиться к разговору, начала Настена.

– Кого – тебя?

– Меня.

Надька, собиравшаяся отмахнуться, вгляделась в нее внимательней:

– Че такое стряслось?

– Выгнали.

– Тебя выгнали?

Настена показала на живот:

– Видишь?

– Пи-пи-пи-и, – не своим голосом запела Надька и ахнула: – Заправду, че ли? Ты откуль его взяла? Погоди-ка, погоди-ка. – Надька подскочила к Настене и усадила ее на топчан, а сама, склонившись, встала напротив. – Это че на белом свете деется? И верно, видать. А никто ниче... Ты откуль его взяла? Ну, утво-рила-а! Вот это пикулька-свистулька! Засвистит, засвистит! Ничче себе! Кто это тебя?

– Святой дух. – Чего только Настена не отдала бы, чтобы ее ни о чем не спрашивали, не тормошили, не тыркали, чтобы ее оставили в покое. Тошно.

– Святой-то, святой, – подступала Надька. – Интересно же знать. Конечно, если секрет, то не надо. Ни одного мужика вроде не было. Нет, ты давай сразу рассказывай. Чтоб без околичностей. Я, может, сама этого святого захочу проверить?

– Не догонишь, Надька. – Понимая, что больше объяснять никому ничего не понадобится, достаточно одной Надьке, Настена решилась. Противно, но делать нечего, что-то говорить надо. Не первый и теперь уж, наверно, не последний грех на душу. – Помнишь, уполномоченный приезжал? – спросила она. – Который на облигации подписывал?

– Ну?

– Вот и ну! – озлилась Настена. – Запрягли, поехали, и... привезла. Долго ли умеючи?

– Недолго, недолго, я знаю, – торопливо согласилась Надька. – Долго потом расхлебывать. Ну, Настена! А все тихоней прикидывалась, краснела. Вот тебе и тихоня. А дальше-то как хочешь? Если Андрей придет? Он же убьет тебя.

– Пускай. Что ты спрашиваешь: как, как? Откуда я знаю?! Скажи лучше, могу я у тебя первое время перебиться? Пустишь, нет?

– Да можешь, можешь. Куда тебя деть. Вместе будем, если че, обороняться. Старуха тебя, конечно, не пожалеет, у ей счас все косточки против тебя бренчат. Внучонка сподобила, – не утерпела, хихикнула Надька. То-то она все зырила за тобой. А бабу где же укараулишь? Баба сама себя перехитрит, не то что других. Кто бы вот про тебя подумал? Ну, Настена-а! Рисковая ты, рисковая, не сладко тебе придется. Ниче, вместе станем горе мыкать. Я дак уж привычная. Ты так, с пустыми руками, и пришла? Ничего не взяла? Может, мне сходить, собрать там?

– Не надо. Я потом сама.

– Сама... Ты уж досамакалась. Да не вянь ты, не вянь, не пропадешь. Не то бывало. Встарь бывало и собака с волком живала. Проживем. А то че ж: названье одно, что баба. Нет, ты роди, потом поглядим. Как его хоть звали?

– Кого?

– Кого... Кого еще – этого твоего, который тебя на заем подписывал? Ловкий какой! Имя-то хоть спросила?

– Нет.

– Имя не спросила? Дура ты, Настена. Как же ты ребенка навеличишь. От что значит: не рожала. В метрику ведь придется записывать, а там спросят. Ниче, сочиним. Покуль суд да дело, найдем ему отца, самого хорошего.

Надька поохала еще, поахала и шмыгнула за порог. Все равно деревня узнает – как же было упустить возможность рассказать первой! А Настена, оставшись одна, упала на топчан, закрыла глаза, и дыхание ее перехватило крутой, обжигающей болью. Она бы и заплакала – так хотелось вволюшку пореветь, чтобы вынести из себя эту непомерную, охватившую уже все тело, несусветную боль, но боялась, не повредили бы слезы ребенку. И долго с одним тянущимся стоном каталась она на топчану, то вскакивая, то падая снова, и малой каплей не было ей ни в чем облегчения, не было ни затишья, ни усталости измученной душе.

Поздно вечером пришел Михеич и через Родьку вызвал Настену в ограду. Он сел на суковатый, истыканный топором чурбан, Настена осталась стоять. Она едва держалась на ногах, но сидеть не смогла бы сереем – так хоть оставалась возможность переминаться, шевелиться, а неподвижность ее давила. Корявыми, трясущимися пальцами Михеич набил трубку и закурил, не сразу добыв из кресала огонь. Хватил дыму и захлебнулся, закашлялся, отвернувшись, склонился к земле, зашелся, натягивая и надрывая внутренности, и отдышался не скоро. Настена ждала. Отдышавшись, сделав еще несколько успокаивающих затяжек, Михеич поднял на Настену слезящиеся глаза и устало, вымогающе сказал:

– Он здесь, Настена. Не отказывайся, я знаю. Никому не говори, откройся мне одному. Откройся, Настена, пожалей меня. Я ить отец ему.

Настена покачала головой.

– Дай один только и в последний раз увидаться. Христом-богом молю, Настена, дай. Не простится тебе, если ты от меня скроешь... Хочу я спросить его, на что он такое надеется? А? Не говорил он тебе? У нас в родове всякие бывали, но чтоб до такого дойти... От стервец дак стервец. Доигрался... Сведи нас, Настена, – почти с угрозой потребовал он. – Христом-богом молю: сведи. Надо заворотить его, покуль он совсем не испоганился. Ты сама видишь: дале некуда играться. Хватит. Пожалей меня, Настена, подмогни. И тебе легче будет.

И, уже задумываясь, поддаваясь его мольбе, она покачала опять головой:

– О чем ты, тятя? Что я тебе скажу? Сказать-то нечего. Нету тут никого, придумал ты. Нету.

– Не ври, Настена. – Михеич поднялся и пристукнул трубкой по ноге. Кому ты врешь? Я с тобой по-хорошему хотел. Это ж от него пузо-то твое! От кого еще?! Будто я тебя не знаю. Будто не знаю, какая ты есть. Это ты старухе, бабам сказки рассказывай, а не мне. И ружье ты ему унесла, и много чего стаскала. От оно, доказательство-то. – Он чуть не достал трубкой до Настениного живота и отдернул ее. – Куды ты его денешь? Куды? Я тебя спрашиваю!

Понимая, что не надо бы этого говорить, но не найдя, не зная, что больше сказать, стараясь закончить, оборвать скорей разговор и уйти, упасть опять на топчан, она достала черного, нечистого, подложного козыря:

– Я с вашим Андреем четыре года прожила и – ниче. А ты говоришь: доказательство.

Он замер, испуганно заморгал, глядя на нее, и повернулся, тяжело зашагал к воротцам. Кто-то, видно, проходил в это время по улице; Михеич, открыв воротца, дернулся обратно, но подтолкнул себя и вышел.

21

Настена долго лежала, притворяясь спящей, дожидаясь, пока Надька и ребятишки угомонятся, накинула и вытерпела добавочное время на тот случай, если кто сморился не сразу, и лишь тогда тихонько поднялась, прихватила платье, фуфайку и чирки в руди и босиком на цыпочках вышла. На крыльце под глухой стеной она оделась и обулась и так, в полном облачении, но простоволосая, пристыла на верхней ступеньке, набираясь решимости и проверяя себя, надо ли делать то, что вознамерилась, не лучше ли никуда не двигаться, а завалиться обратно в постель и забыться наконец, хоть ненадолго, потерянным, желанным покоем.

Ночь была жутковатая – морошная, глухая, темная до крайней темноты. В прошлую ночь прошел дождь, с утра тоже принималось порывисто брызгать крупными редкими каплями, будто ветром, как с деревьев, сбрасывало последнее с туч, но дождь не направился, и весь день попусту простояла плотная, злая хмурь, которая теперь, похоже, накрепла еще сильней. Постройки в кромешной темени почти и не выделялись, приходилось пристально вглядываться, напрягать глаза, чтобы с трудом различать ближние избы, а может, даже не различать, лишь угадывать их на привычных местах; тяжелое небо нависло так низко, что чувствовалась его инакая, чем на земле, холодная сырость и чужое, кружное шевеление воздуха. Ночь, чтобы спрятаться, самая подходящая, если бы Настена не боялась такой крутой, зловещей темноты, которая там, на Ангаре, мерещилась и того страшней.

На Ангару она и наметилась, поднявшись с крылечка; по ночам да непогоде, скрываясь от людей, она давно уже знала только один путь. Мелко и часто перебирая ногами, чтобы не запнуться о что ни попало и не зашибиться, она прошла по телятнику к бане, которую еще три дня назад считала своей, и нащупала в сенцах лопашны и шест. Одноручное весло Настена не тронула: управляться как следует им она не научилась. Теперь, когда она не жила у Гуськовых, пользоваться без спросу лодкой Михеича походило на воровство, нет ничего другого Настене не оставалось. Не брать же совсем у чужих – еще науськают собак или придумают что похлеще; достаточно с нее и того, что есть. Как бы отзываясь на ее страхи, где-то посреди деревни вдруг забрехала непонятно с чего собака, к ней пристегнулась вторая – Настена испуганно остановилась и присела у прясла, с бьющимся сердцем пережидая, когда собаки затихнут. Сегодня она боялась всего: и темноты, которая на самом деле была ей на руку, тишины, как никогда густой и чуткой, выдающей любой маломальский звук, и вот этого лая, который скорей всего был пустячным, с сонной собачьей дури, потому что скоро умолк, – во всем ей чудились намеренность, подстроенность, дурное предзнаменование. Осторожно, чуть не ползком, припадая при каждом шаге и прислушиваясь, спустилась она под яр, но скрип гальки под ногами на каменишнике показался ей оглушительным, так же громко, оглушительно зашуршала сталкиваемая лодка: Отпихнувшись, Настена перевалилась в нее и пригнулась, примолкла, давая течению стянуть шитик за деревню.

Здесь, на Ангаре, было светлей: от реки поднималось серое, исподнее мерцание, в котором взблескивала и терялась вода, как бы изгибаясь и опадая вниз. Выше его за мерклой прокладкой виделось полосами другое, более мутное и слабое свечение, неизвестно откуда берущееся; сразу за ним начиналась дремучая тьма. Настена отыскала глазами огонек бакена – белого, который она помогала деду Матвею ставить и который сплавляли вторым, и оттого, что он здесь, не исчез, не погас, не сгинул, ей стало немножко легче. Шум воды на перекате ночью представлялся глуше, спокойней, но зато упругий, протяжистый, с легким подсвистом шорох течения слышался сейчас совсем хорошо. Слепо кружал, нарождаясь, подхватываясь и немощно опускаясь, предутренний ветерок...

Пора было браться за весла: как ни морошно, а летняя ночь все равно коротка. Настена рассчитывала поначалу еще до свету пригнать лодку обратно, но теперь понимала: не получится. Слишком долго пролежала в постели, просидела на крылечке, долго скрадывала весла и таилась, пока снесет, на воде – время не ждало. Добро бы воротиться хоть и по свету, но до того, как поднимутся и вылезут на реку люди, чтобы не причаливать на виду и не подавать на пересуды-разговоры лишнего намека. Быть может, в последний разок и плывет, впредь не понадобится. Нельзя дальше испытывать судьбу достаточно. Похоже, что она, Настена, и без того где-то когда-то промахнулась, показала больше, чем следовало, – где, когда, что? К чему теперь доискиваться? Ничего это не даст. Успеть бы предупредить Андрея, уговориться с ним, а там будь что будет. Такую страшную, непосильную чувствовала она усталость, что хотелось отгрестись подальше, опустить весла и лечь, закрыть глаза – пускай бы тащило, уносило куда попало, хуже б не стало.

Три дня прошло, как Семеновна помела ее из дому, а Настена все не хотела поверить, что живет она где-то в людях, что нельзя ей, как раньше, пройти в свою комнатенку, переодеться и, опустившись на деревянную кровать, стыдливо приласкать перед сном живот. Теперь, когда прятать его было ни к чему, когда каждый кому не лень, тыкался в него глазами и опивался, как сластью, его открывшейся тайной, начала подтачиваться и глохнуть и нежность к ребенку, чуткое, дрожливое ощущение его наполняющейся жизни. Остался один страх: что с ним будет? Непросто было без конца выдерживать на себе хваткие и судные взгляды людей – любопытные, подозрительные, злые; как сама Настена не в состоянии была понять, что все, происшедшее с ней, – правда, так и другие не могли поверить, что она и есть та Настена, которую они знали, и всякий раз искали подтверждения молве: тут ли он живот-то, не опал ли, не исчез? Никто, ни один человек, даже Лиза Вологжина, своя в доску, не подбодрил: мол, держись, плюнь на разговоры, ребенок, которого ты родишь, твой, не чей-нибудь ребенок, тебе и беречь его, а люди, дай время, уймутся. Если б чуть сходилось по срокам, наверно, и Лиза покатила бы на нее, подозревая, не Максим ли там был. А может, и теперь задумывалась, подсчитывала – кто ее знает? Катерина вон, жена Нестора, не на шутку косилась, дурила про себя, а не подходить же к ней, не объяснять – мол, успокойся, твой Нестор тут ни при чем. Не всякий поверил Настениной сказке про уполномоченного – так, пожалуй, и должно быть, но Настене от этой отговорки легче не становилось. Бабы – ладно, с бабами обойдется, она знала, что не виновата пред ними – той хотя бы виной, которую они примеряли к ней, поэтому смотрела на них без стыда; куда хуже было, когда намекали на что-то близкое к правде. Иннокентий Иванович, щуря свои хитрые, пронырливые глаза и понимающе качая головой, в первую же встречу, когда обнаружился ее грех, закинул:

– Надо еще разобраться, бабонька, кто это тебя такой медалью наградил. А?

И пытко, зорко, весь в нюху, уставился на нее, ожидая, не дрогнет ли где жилка, не выкажет, не откроет ли что ненароком.

– Разбирайся, разбирайся, Иннокентий Иванович, – как всегда в последнее время настырничая с ним, не давая ему спуску, ответила Настена. – А я покуда шепну, что ребенок-то, однако, на тебя будет походить.

– Тьфу, язва! – сплюнул он и пригрозил, отходя: – Нич-че, выясним, на кого он будет походить.

Вот это уже выходило пострашней, и что тут делать, Настена не представляла. Она вообще нисколько не представляла, что ей делать, не в силах была задуматься и что-то решить: как оцепенела в первый день, когда на нее накричала Семеновна, так и не отошла.

Все кругом стало немило, все казалось чужим, направленным против нее, высматривающим каждый ее шаг, подслушивающим каждую мысль. Она шевелилась, чтобы не застыть, не обмереть окончательно, выходила на работу, говорила какие-то слова, когда спрашивали, но о чем говорила, какую работу исполняла, где была, сразу же забывала. Ночами она почти не спала, изнываясь тяжистой, горькой болью, когда ни в чем нельзя было отыскать спасенья, а при свете не отличала утра от вечера – заблудилась, закружилась, заплелась. Надька покрикивала на нее, подталкивая то к столу, то в постель, то в поле, Настена послушно двигалась, делала, что требовалось от нее, и снова коченела, уставившись перед собой невидяще и замаянно. И все ждала сенокоса, который должен был начаться со дня на день; почему-то верилось Настене, что в эту веселую, любимую ею прежде страду должна переломиться, прийти к какому-то одному концу вся ее мучительная, смутная заверть. Хватит – сколько можно?!

Она не собиралась сегодня к Андрею, но вечером пришла с посиделок Надька и доложила:

– Слушай-ка, Настена, че про тебя говорят... Говорят, будто ты от родного мужика, а не от чужого, пузо-то наростила.

Настена почувствовала, как ее с головой захлестнуло жаром.

– Где бы я его взяла, своего-то? – заставила она себя хмыкнуть. Четыре-то года, однако, много будет для пуза?

– Это Иннокентий Иванович догадки все строит. От него, мне кажется, пошло, – объяснила Надька. – Неймется ему, старому хрычу. Сам-то для бабы бесполезный человек – вот и мутит народ, придумывает что поинтересней.

– От своего – так от своего, – согласилась Настена, чтобы показать: говорите что хотите, не жалко.

Уже после разговора ее пробрал страх: а ведь дотянется, ушлятина, дотянется. Другого такого Иннокентия Ивановича во всем свете нет. Будет рыскать до тех пор, пока не выйдет на прямую дорожку: раз уж запало ему – не отступится. Поедет в район, разыщет уполномоченного и с подмигом ему: мол, скоро в Атамановке ждут от него приплод. А тот, ясное дело, открестится, возмутится, и пойдет разговор у них всерьез. Нет, надо уходить Андрею – хоть куда, в какую угодно сторону, но уходить. Или выходить и сдаваться: когда по своей воле, надежды на пощаду больше. Господи, да сколько веревочке ни виться, а конец будет. Какую заварил кашу... какую кашу... к чему! Если и уйдет он, укроется на веки вечные, будто его и не было вовсе, – она уж и не знала, чего хотела! – все равно на ребенка после этого падет слава, от которой больше всего он хотел его уберечь: ходил-де в свою пору слух, что отец ему – бегляк с войны. И ничем эту славу не вытравить – так устроен человек, что скажи ему, будто кто-то рожден от самого дьявола, он поверить не поверит, но про дьявола не забудет и даже найдет сотню доказательств: от него, от нечистого. Стало быть, и ребенок родится на стыд, с которым не разлучаться ему всю жизнь. И тут не выйдет, как хотели, – ничего не выйдет. И грех родительский достанется ему, суровый, истошный грех, – куда с ним деваться?! И не простит, проклянет он их – поделом.

Темно; до чего темно, беспросветно кругом! И давит, давит тяжестью с неба, и нет берегов – только вода, которая в любой момент может, не останавливаясь, разомкнуться и снова сомкнуться. И не понять, светит ли еще, не умерк ли робкий огонек бакена – то сверкнет, то потеряется. Ночью на воде неживой дух – дух размытого старого кладбища, когда свербит и свербит в горле поврежденной кислой затхлостью, а душа боязливо замирает в уголке, прячась от неясных подзывов, и чудится, что вот-вот мелькнет в глубине голос, скажет что-то зловеще-верное, с чем не захочется дальше и плыть.

Настена мягко, без всплесков, опускала лопашны и осторожно протягивала их в воде, подавая лодку вперед. Она двигалась, казалось ей, бесшумно, чутко внимая каждому звуку – речному, чужому ли, потустороннему, – ко всему настороженная, ко всему готовая. И когда на берегу что-то коротко и сухо стукнуло, будто опустили дерево на дерево, она тотчас поймала этот стук и замерла. И сразу же услышала тот внятный, скребущий шум, с каким сталкивают с галечника лодку. Булькнула потревоженная вода, затем все стихло, но скоро до Настены донеслись мерные, чуть чмокающие чесы одноручного весла.

Сомневаться не приходилось: кто-то плыл за ней. Кто-то скараулил, подождал, пока она отгребла, и тронулся следом. Кто – Михеич или чужой? Неподалеку под одним яром стояли еще две лодки – Иннокентия Ивановича и Агафьи Сомовой, можно было взять любую, та и другая не замыкались. Настена не шевелилась; шитик ее развернуло и понесло, лопашны растопыренно бороздили по воде. Нечего было и думать, чтобы двигаться дальше: если слышит она, услышат и ее. Сплавала, предупредила! Надо возвращаться. Добро бы Михеич не так страшно, а вдруг не он? Кто б это ни был, воду ему она уже показала.

Та лодка, потеряв Настену, тоже примолкла, потом опять тихонько заработало кормовое весло. Настена догадалась, подлаживаясь под его звуки, грести к берегу. До него было неблизко, но ниже далеко в Ангару выдавалась релка, там на камнях билась вода. Дотянуть бы до релки – и греби без боязни, только не стучи. Аккуратные, едва различимые всплески весла поравнялись с Настеной и прошли мимо; снова там затаились, ожидая, чтобы Настена выдала себя, и снова, не дождавшись, тронулись дальше.

Настене показалось, что светлеет; в воздухе появились мутные ржавые разводины. Перед утром настужалось, натягивался ветерок, определяясь в низовку, за бортом зарябила мырь. По-прежнему таясь, Настена добралась наконец до релки и шестом подтолкалась к берегу. Сейчас бы не сторожиться, а, наоборот, застучать, загреметь, чтобы знал он, тот, кто гоняется за ней, что она и не собиралась переплывать Ангару, а всего-навсего с бессонья вздумала прокатиться под своим берегом, развеять грусть-тоску. Устала она, от всего устала. Измоталась. Скорей бы конец: любой конец лучше такой жизни. Хотелось спать, но она понимала, что от неудачи, от того, что попасть в Андреевское не удалось, она не заснет. Только навредила: выдала Ангару.

Она пристала к берегу и неизвестно зачем вскарабкалась на яр. И правда, светлело: в темном небе со стороны горы мерцали прогляди. Ночь подвинулась; похоже, шевельнулась и погода может, к белому дню все-таки стянет с неба эту угрюмую железную навесь. Тяжелая, недобрая ночь – в такую ночь маются и с чистой душой, а у нее, у Настены, истерзанная, беспутная душа надорвалась и только ноет, ноет, жалуясь и плача без капли надежды.

Настена вдруг оступилась и вскрикнула, ухватившись рукой за покосившийся деревянный крест. Господи, куда попала?! Куда попала?! К утопленникам! От ужаса ее продрал мороз, ноги обмякли и не слушались. Ползком Настена выбралась из обвалившейся могилы и покатилась вниз, к лодке. Господи, пожалей! Что же это такое?! К чему это, зачем? Неужто мало ей еще своих страхов? Не раздумывая, что ее могут услышать, она схватилась за шест и изо всей мочи погнала шитик вверх, прочь от поганого, жуткого места. Кладбище это развел за лето Мишка-батрак, еще в начале войны прибившийся к Атамановке из детдома мальчишка, вымахавший с тех пор почти во взрослого парня.

Нынче, как никогда, много несло утопленников. Отчего? Война кончилась, надежды стало больше – или жизнь сделала слишком крутой крен, и не все удержались на повороте, слабые попадали в Ангару? Кто знает... Мишка-батрак, которому дали прозвище за то, что пробавлялся он по-первости в работниках, не брезговал вылавливать их и хоронить, получая от сельсовета за каждую могилу по десять рублей. Заработок этот ему понравился, целыми днями Мишка-батрак пропадал на реке, высматривая цепкими ястребиными глазами добычу, и зарыл на нижней поскотине уже четверых – зарыл как попало, без усердия, лишь бы колхоз заверил справку, что зарыт, по которой сельсовет выплачивал деньги.

И всю дорогу, пока Настена заталкивалась, ее трясло. Ведь помнила же, помнила, днем за версту обходила, боялась взглянуть в ту сторону, а ночью полезла. Прямо в могилу завалилась – что ж это такое?! И, ахая, содрогаясь от страха и омерзения, уже боялась за себя: заляпалась. И мыла, мыла потом руки, которыми хваталась за глинистую, липкую могильную землю, и все казалось ей, что пахнут они чем-то похожим на дрожжи.

Но она не забыла проверить: тот, кто плыл за ней, взял лодку Агафьи Сомовой.

22

Утром Настена не вышла на работу. Не вышла и Надька – ничего плохого в этом не было: завтра выезжали на покос, а последний день, кому надо, как обычно отдавался на сборы. Наконец-то Настена дождалась сенокоса, на который возлагала нынче какие-то особенные спасительные помыслы, хотя и близко не ведала, чем он ей сможет помочь. Но ведь сенокос же... Всегда в эту пору чувствовала она себя просветленно и празднично, податливо к любому покосному делу. Любила еще до солнца выйти по росе, встать у края деляны, опустив литовку к земле, и первым пробным взмахом пронести ее сквозь траву, а затем махать и махать, всем телом ощущая сочную взвынь ссекаемой зелени. Любила стоялый, стонущий хруст послеобеденной косьбы, когда еще не сошла жара и лениво, упористо расходятся после отдыха руки, но расходятся, набирают пылу, увлекаются и забывают, что делают они работу, а не творят забаву; веселой, зудливой страстью загорается душа – и вот уже идешь, не помня себя, с игривым подстегом смахивая траву, и кажется, будто вонзаешься, ввинчиваешься взмах за взмахом во что-то забытое, утаенно-родное. Любила даже гребь по мертвой жаре, когда сухо и ломко шебуршит собираемое сено и густым, едким дурманом пахнет урожайное разнотравье; любила спорое, с оглядкой на небо и вечер, пока не отошло сено, копненье; любила тесную суету у зародов – любила все от начала и до конца, от первого и до последнего дня.

Но то была другая Настена. То была другая Настена, но эта еще нетерпеливей той, с непонятным порывистым чаянием и слепой верой ждала сенокоса, будто от него решалась вся ее судьба. И верно, мерещилось ей: в сенокосные дни все и выяснится – где ей быть, с кем жить, на кого злобиться, на кого молиться. И так хотелось выйти опять до солнца одной-одинешеньке, встать на меже по пояс в заросшей дурнине и взмахнуть литовкой – и упрямо, задиристо махать, не опинаясь, до тех пор, пока не выстелется дорожка к другому краю гона. И тогда оглянуться и вздохнуть свободно. Не зря говорят: работа робит человека, но она же, работа, до гроба кормит его и хранит. Главное, что хранит.

Но и это было вчера, а сегодня, после ночи, когда Настене не дали увидаться с Андреем, она совсем потерялась; усталость перешла в желанное, мстительное отчаяние. Ничего ей больше не хотелось, ни на что не надеялось, в душе засела пустая, противная тяжесть. То, что вчера еще представлялось возможным, просветным, сегодня опустилось стеной. За ночь она не сомкнула глаз, голова болела – и не болела уже, а истягивалась непрерывной мукой; что-то давило и занывало внутри – там, где ребенок, и она не знала, должно так быть или она успела покалечить ребенка. «Ишь что вознамерилась, – угрюмо кляла она себя и теряла мысль. – Так тебе и надо».

Делать она ничего не делала, ни за что не бралась, мыкалась и мыкалась с опущенными руками из угла в угол, из избы на улицу и обратно, будто что-то искала, чего-то ждала – и не находила, не могла дождаться. Ловила Лидку, обнимала, ласкала ее и надоела той. Лидка стала прятаться от нее.

– Тронулась ты, че ли? – прикрикнула на нее Надька. – Где ночью блудила-то?

Настена не удивилась и не испугалась: и верно, блудила – почему не спросить?

– К мужику своему хотела пробраться, да раздумала, – ответила она. Когда говоришь правду, легче не верят. А ей легче говорить ее. Надоело обманывать. Все надоело.

– Тронулась, – решила Надька. – Ну и черт с тобой, если ты человечьих слов не понимаешь. Рожай ты скорей и не изводи себя. Ребенка же родишь – не щененка.

Спасибо Надьке, хоть она не гонит. А больше Настене и держаться некого. Только что ей жаловаться на людей? Сама от них ушла. Той же Надьке, которая к ней с открытой душой, она врет, будто клятому врагу. Надька простоватая, верит, но когда-нибудь и она увидит, что ее водят за нос, и не поблагодарит. Заплуталась, некуда идти.

Перед обедом, пробравшись заулком, пожаловал Михеич и вызвал опять Настену в ограду. Он торопился и заговорил сразу, глядя в упор на Настену без капли тепла и жалости и точно отрубая слова:

– Слушай, дева. Если он здесь, пускай скорей уходит или ишо че, покуль не словили. Мужики, кажись, чего-то задумали. Туту них Иннокентий Иванович комиссарит. Нестор седни в Карду поехал. Неспроста это...

Настена молчала. Повернувшись уже уходить, Михеич добавил все тем же сухим, каленым голосом:

– Проклял бы я тебя, дева, что не дала мне с им свидеться, да на твою голову и так достанет хулы. А грех этот на тебе, никуды тебе от его не деться. – И выбилась все-таки горькая горечь, признал Михеич: – И он тоже гусь: с отцом испугался поговорить. А-а, ну вас...

И, махнув рукой, он полез обратно через заплот, смешно, уродливо задирая хромую ногу.

А Настена замерла и, долго еще оставалась без движения посреди ограды, пытаясь достать, сработать какое-то важное и нужное решение и не дотягиваясь до него, раз за разом прокручиваясь невнятной мыслью впустую. Все выгорело, а пепел не молотят. Да и что теперь придумаешь? Поздно.

Она уже ничему не верила – ни тому, что был Михеич, ни тому, что ночью кто-то выслеживал ее на Ангаре. Ей чудилось, что она выдумала все это с больной головы и забыла, что выдумала. Она любила раньше от скуки представлять, будто с ней случаются всякие забавные истории, и заигрывалась порой до того, что с трудом отличала правду от неправды. Так, наверное, и тут. Голова действительно разламывалась. Настена готова была содрать с себя кожу. Она старалась поменьше думать и шевелиться – не о чем ей думать, некуда шевелиться. Хватит.

Вечером Надька принесла новое известие: приехал Бурдак, милиционер. Настена молча усомнилась: может, приехал, а может, и нет. Точно никто не знает. Верь им, они наговорят. А хоть и приехал – что страшного? Мало ли зачем понадобилось ему в Атамановку? Рыбки, к примеру, половить или подогнать своей властью тех, кто не вносит налогопоставки. Атамановка – его участок, он тут волен околачиваться каждый день. Приехал и приехал – что такого?

Она легла рано и тут же, несмотря на возню Надькиных ребятишек, уснула легким и скорбным сном. Точно в загаданное мгновение будто кто подтолкнул ее – она очнулась. Чувствовала она себя отдохнувшей и бодрой, в голове установился покой. Настена не знала, сколько прошло ночи – ходики на заборке, обвиснув гирькой, молчали, – но почему-то верила, что не опоздала, что ее не успели опередить. Оделась не таясь и так же не таясь вышла, плотно притворив за собой дверь. Когда не скрываешься, не прячешься, получается удачней, а удача на этот раз была ей необходима позарез.

Только сейчас Настена заметила, что за день худо-бедно прояснило и теперь на небе мигали, пробиваясь, звездочки. Ночь была тихая, потемистая, но в ровном бедном свете виделось все же достаточно хорошо, а на Ангаре, в длинном просторном коридоре, и того лучше. Настена сняла с берега лодку, оттолкнула и сразу взялась за лопашны. Надо успеть, надо предупредить мужика. Надо попрощаться. Навсегда, до других ли времен – неизвестно:

Стыдно... почему так истошно стыдно и перед Андреем, и перед людьми, и перед собой? Где набрала она вины для такого стыда?

До чего легко, способно жить в счастливые дни и до чего горько, окаянно в дни несчастные! Почему не дано человеку запасать впрок одно, чтобы смягчать затем тяжесть другого? Почему между тем и другим всегда пропасть? Где ты был, человек, какими игрушками ты играл, когда назначали тебе судьбу? Зачем ты с ней согласился? Зачем ты, не задумавшись, дал отсекать себе крылья именно тогда, когда они больше всего необходимы, когда требуется не ползком, а летом убегать от беды?

Настена гребла и с покорным, смирившимся чувством соглашалась с тем, что происходило: так, видно, надо, это она и заслужила... Доверь непутевому человеку после одной его жизни вторую, все равно не научится жить. До чего тихо, спокойно в небе. А вчерашней ночью было жутко; боязно, когда глаза совсем ничего не различают в темноте, мерещится, что вот-вот что-то случится. Правду ли говорят, что звезды со своей вышины видят под собой задолго вперед? Где они ее, Настену, разглядели за этой ночью, что они чуют? Слабенькие сегодня звездочки – куда им задолго?

Она гребла, смутившись непривычными и непосильными, праздными мыслями, удивляясь, что душа тщится отвечать им.

На душе от чего-то было тоже празднично и грустно, как от протяжной старинной песни, когда слушаешь и теряешься, чьи это голоса – тех, кто живет сейчас, или кто жил сто, двести лет назад. Смолкает хор, вступает второй... И подтягивает третий...

Нет, сладко жить; страшно жить; стыдно жить.

И вдруг посреди этих мыслей ее застигли другие, совсем не песенные голоса. Она удивленно обернулась и увидела на берегу фигуры людей.

– Вон она, вон! – кричал Нестор. По воде хорошо слышно было и что говорили и кто говорил. Нестор матюкнулся ляпким, хлестким, словом, и Настена догадалась, что слово это послано ей. – Помела, поперед хотела проскочить. Не выйдет, голуба, не выйдет. Догоним.

– Вторую лодку сталкивай, – это уже голос Иннокентия Ивановича. Скорей – чего телишься!

– Доста-а-нем!

С испугу Настена кинулась было грести во весь дух, но тут же опустила весла. Куда? Зачем? Она и без того отплыла достаточно, дальше грести ни к чему.

Устала она. Знал бы кто, как она устала и как хочется отдохнуть! Не бояться, не стыдиться, не ждать со страхом завтрашнего дня, на веки вечные сделаться вольной, не помня ни себя, ни других, не помня ни капли из того, что пришлось испытать. Вот оно наконец, желанное, заработанное мучениями счастье, – почему она не верила в него раньше? Чего она искала, чего добивалась? Напрасно, все напрасно.

Стыдно... всякий ли понимает, как стыдно жить, когда другой на твоем месте сумел бы прожить лучше? Как можно смотреть после этого людям в глаза?.. Но и стыд исчезнет, и стыд забудется, освободит ее...

Она встала в рост и посмотрела в сторону Андреевского. Но оно, Андреевское, задалено было темью...

Лодки приближались. Сейчас, сейчас уже будет поздно.

Она шагнула в корму и заглянула в воду. Далеко-далеко изнутри шло мерцание, как из жуткой красивой сказки, – в нем струилось и трепетало небо. Сколько людей решилось пойти туда и скольким еще решаться!

Поперек Ангары проплыла широкая тень: двигалась ночь. В уши набирался плеск – чистый, ласковый и подталкивающий, нем звенели десятки, сотни, тысячи колокольчиков... И сзывали те колокольчики кого-то на праздник. Казалось Настене, что ее морит сон. Опершись коленями в борт, она наклоняла его все ниже и ниже, пристально, всем зрением, которое было отпущено ей на многие годы вперед, вглядываясь в глубь, и увидела: у самого дна вспыхнула спичка.

– Настена, не смей! Насте-е-о-на! – услышала еще она отчаянный крик Максима Вологжина – последнее, что довелось ей услышать, и осторожно перевалилась в воду.

Плеснула Ангара, закачался шитик, в слабом ночном свете потянулись на стороны круги. Но рванулась Ангара сильней и смяла, закрыла их – и не осталось на том месте даже выбоинки, о которую бы спотыкалось течение.

Только на четвертый день прибило Настену к берегу недалеко от Карды. Сообщили в Атамановку, но Михеич лежал при смерти, и за Настеной отправили Мишку-батрака. Он и доставил Настену обратно в лодке, а доставив, по-хозяйски вознамерился похоронить ее на кладбище утопленников. Бабы не дали. И предали Настену земле среди своих, только чуть с краешку, у покосившейся изгороди.

После похорон собрались бабы у Надьки на немудреные поминки и всплакнули: жалко было Настену.

**К уроку 28.**

**Валентин Распутин. «Живи и помни».**

**Валентин РАСПУТИН**

**ЖИВИ И ПОМНИ**

*Драма в двух актах*

Действующие лица

АНДРЕЙ ГУСЬКОВ.

НАСТЕНА.

МИХЕИЧ.

СЕМЕНОВНА.

МАКСИМ ВОЛОГЖИН.

ЛИЗА.

НАДЬКА.

НЕСТОР.

ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ.

*Бабы:*

ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ.

АГАФЬЯ.

ВЕРА.

КАПИТОЛИНА.

КАТЕРИНА.

*Старики:*

СТЕПАН.

ЕФИМ.

*В воспоминаниях Андрея:*

ХИРУРГ.

МЕДСЕСТРА.

ПОДПОЛКОВНИК.

ТАНКИСТ.

РАНЕНЫЙ.

*Действие происходит в сибирской деревне Атамановка в 1944 – 1945 гг.*

**АКТ ПЕРВЫЙ**

**Картина первая**

*Действие начинается с какой-то неожиданной и трагической ноты – это может быть взрыв или звук лопнувшей струны, означающих переломное и неестественное положение, в котором оказываются и появляются перед зрителями главные герои.*

*В полутьме едва видна крадущаяся фигура. Она замирает у банного окошка, всматривается и прислушивается, затем осторожно открывает дверь. Другая фигура, притаившаяся внутри, испуганно вскакивает. Это Настена.*

НАСТЕНА. Кто здесь?

*Ей не отвечают.*

Господи! Кто это? Кто?

АНДРЕЙ. Молчи, Настена. Это я. Молчи.

НАСТЕНА. Ты, Андрей?

АНДРЕЙ. Молчи! Ты кому говорила, что я здесь?

НАСТЕНА. Нет.

АНДРЕЙ. Искали меня?

Настена *(отвечает как бы через силу, все еще не в состоянии поверить в случившееся).* Милиционер недавно приезжал из Карды. Спрашивал.

АНДРЕЙ. Отец, мать догадываются про меня?

НАСТЕНА. Нет.

АНДРЕЙ. Хлеб ты приносила?

НАСТЕНА. Я.

*Молчание, когда они не могут и не знают, что говорить.*

АНДРЕЙ. Ну вот, встретились, Настена. Встретились, говорю. Не верится, что рядом с родной бабой нахожусь. Не надо бы мне ни перед кем тут показываться, да одному не перезимовать. Ты хоть понимаешь, с чем я сюда заявился? Понимаешь или нет?

*Настена неопределенно кивает.*

Ну и что?

НАСТЕНА. Не знаю.

АНДРЕЙ. «Не знаю» ... Вот что я тебе сразу скажу, Настена. Ни одна собака не должна знать, что я здесь. Скажешь кому – убью. Убью – мне терять нечего. Так и запомни. Я тебя не хочу пугать, но запомни, что сказал. Повторять не буду. Мне сейчас податься некуда, придется околачиваться здесь, возле тебя. Я к тебе и шел. Не к отцу, не к матери – к тебе. И никто – ни мать, ни отец – не должен обо мне знать... Не было меня и нету. Я теперь в твоих руках, больше ни в чьих.

*Настена продолжает неопределенно и испуганно кивать.*

Ты для меня баню топила? Знаю, что для меня. Я уж и не помню, когда мылся. *(Раздевается и начинает наливать воду.)* Ну что, Настена, один я не справлюсь. Спину потереть надо. Не забыла еще, как родному мужику спину трут? Ну что стоишь, где ты там?

*Настена приближается к нему – Андрей обнимает ее и валит на полок.*

ГОЛОС НАСТЕНЫ *(из темноты).* О господи! Что же! это? Как же это так?!

*Музыка. Появляется свет. Настена, взлохмаченная и еще более испуганная, стоит в рубашке, Андрей одевается.*

АНДРЕЙ. Бельишко бы надо почище. Да черт с ним, с бельишком. Я тебе счас скажу, что перво-наперво понадобится. Завтра отдохни, выспись, а послезавтра доставь-ка мою «тулку», пока меня зверь не загрыз. Живая она? Ее обязательно. Спички там, соль, какую-нибудь посудину для варева. Сама сообразишь, что надо. Зарядов к патронам у отца поскреби. Да только так, чтоб не заметил. Про ружье отцу не говори. Придется тебе пока подкармливать меня. Принесешь ружье – мясо я добуду, а хлеб не подстрелишь. *(Поднимается.)* Ну вот, погрелся, помылся, пофартило даже с родной бабой поластиться. Пора и честь знать.

НАСТЕНА. Куда ты?

АНДРЕЙ. Куда... К родному брату, к серому волку. Послезавтра прибегай ко мне на тот берег Ангары, в нижнее зимовье, что под Андреевском. Знаешь? Вот там и договоримся, как дальше. Не забудь – послезавтра. Рано не ходи, смотри, чтоб не уследили. Теперь ходи и оглядывайся. Ну, я пошел. Ты немного помешкай, сразу не вылазь. *(Собирается выйти и приостанавливается.)* Ты хоть сколько рада, что я живой пришел? А?

*Настена кивает.*

Не забыла, значит, кто такой я тебе есть?

*Настена кивает.*

Кто?

НАСТЕНА. Муж.

АНДРЕЙ. Вот, муж. *(Уходит.)*

НАСТЕНА *(после паузы).* А он ли? Муж ли? Не оборотень ли это был? Господи!

**Картина вторая**

**ПОДПИСКА НА ЗАЕМ**

*На небольшом возвышении стол, за которым расположились председатель колхоза Нестор и уполномоченный из райцентра, а в зале на табуретках или скамьях – старики и бабы. Предполагается, что собрание началось недавно.*

НЕСТОР. Вот так, бабоньки! Чтоб без недопониманиев. Товарищ уполномоченный правильно сказал... Последний военный заем. На окончательную и бесповоротную, значит, победу. Ежели на русский язык растолковать – Гитлеру на петлю. На это дело давайте не будем жаться. Давайте по порядочку, без этих... без посторонних прениев. Дело нам всем знакомое, маленьких тут, которые, значит, первый раз замужем, нету. Кто начнет?

КАПИТОЛИНА. Че-то рано нонче. В те года под осень только собирали.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ. В те годы, войне продолжение предвиделось, а теперь мы стоим на пороге конца. Если нынче сроки подвинуты, это нам диктует сама победа. Хватит или не хватит воевать?

НЕСТОР. Вот так надо обстановку понимать. Вот гак надо на посторонние прения отвечать. Молодец, товарищ уполномоченный. По второму разу спрашиваю и прошу вопрос в кусты не уводить. Кто первый?

*Молчание.*

Экие вы, бабоньки, какие все днем несмелые! Не помните, где чешется, где царапается? Прямо хошь по одной вас на облигации подписывай. *(Уполномоченному.)* Стесняются, товарищ уполномоченный. Стеснительные. Ни разу не рожали. Мы счас это дело поправим. Пойдем по дворам. Кто где построился, тот по порядку и будет называться. Преданно и добровольно будет называться. С верхнего края, от поскотины, значит, и пойдем. Спокойным шагом. По левую руку там первая будет Агафья Сомова. Здесь Агафья Сомова?

АГАФЬЯ. Я-то здесь, дак я переехала.

НЕСТОР. Че такое? Куда переехала?

АГАФЬЯ. На нижний край.

НЕСТОР. Ниче, поживешь на верхнем. Не задерживай, давай ответ, какую ты цифру подымешь.

АГАФЬЯ. А на сколь я в прошлом году подписывалась?

НЕСТОР. Я, Агафья, в своем кармане твою память не таскаю. Сама должна относительно себя помнить. Давай живей. Мне в твоем дворе до петухов торчать некогда, меня вся деревня ждет.

КАПИТОЛИНА. Ниче, мы подождем. Погрейся, не торопись.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ. Товарищи, подписка на заем – это важный политический акт. А мы здесь не чувствуем момента, устраиваем, понимаете, базар. Неужели непонятно, для чего пойдут ваши сбережения?

КАТЕРИНА. Какие сбережения? Если бы сбережения.

ВАСИЛИСА. Мы бы не рады, что ли?

КАПИТОЛИНА. Не понимаем, что ли? Что нас агитировать?

КАТЕРИНА. Хоть шаром покати по деревне.

НЕСТОР *(обрывает).* Шарики катать не будем, никто не позволял. Русским языком товарищ уполномоченный вам сказал: дело пахнет политикой. Пр-реданно пахнет. Без прениев. Счас военное время. Прения будете разводить по ночам.

КАПИТОЛИНА. С кем их разводить-то?

НЕСТОР. Жисть подскажет. Агафья Сомова!

АГАФЬЯ. Ну, пиши на триста...

НЕСТОР. Заноси, товарищ уполномоченный, – пятьсот. С учетом, что живет она одна, в годах, два сына на фронте. С тобой все, Агафья Сомова. Пошли дальше. Рядом через баню Лиза Вологжина. Отвечай без запинки, Лиза Вологжина, на сколь?

ЛИЗА. Ой, да я рада бы хошь на мильон, только где его взять? Я бы не знай на сколь рада...

НЕСТОР. Эка, эка, остановись. Ты не в ту сторону погнала – заворачивай. «Выходи, кума, глянем, че нагрела». У тебя фронтовик воюет?

ЛИЗА. Воюет. Счас-то, он писал, по ранению...

НЕСТОР. Хочешь ты, чтоб твой фронтовик домой воротился?

ЛИЗА. Как не хочу? Очумел ты, че ли?

НЕСТОР. В таком разе – тыща. Не маши, не маши крыльями – не полетишь. На фронте заема мы солдаты, а не курицы. Подмогчи надо своему фронтовику, понятно? Правильно я с народом разговариваю?

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ. Правильно.

НЕСТОР. Я тоже маленько подкованный. Вера Орлова!

*Вера поднимается, молчит.*

*(Оборачивается к уполномоченному.)* Это она, значит, не в себе. При похоронке, значит. Ниче, Вера Орлова, ты баба ишо молодая, жизнь заставит. Преданно и с народом. С, одной стороны – горе, я понимаю, с другой – молодая. Восемьсот запишем. Не будем политический момент подмачивать слабостью. Не надо. Для этого есть домашняя обстановка. Время военное.

*Вера садится. Входит Настена.*

Проходи, Настена, и до тебя очередь дойдет. Кто у нас там дальше по порядку? Дальше переходим на другую сторону через улицу и в ворота. Надежда Березкина. *(Сбиваясь с уверенного тона.)* К тебе, значит, пришли, Надежда. Поглядим, че ты нам скажешь. С учетом настоящего момента.

НАДЬКА *(с вызовом).* Пришли?

НЕСТОР. Пришли.

НАДЬКА. Ну и как че вы у меня видите?

НЕСТОР. Как че видим? Че надо, то и видим.

НАДЬКА. А ребятишек моих видите? У которых рук ишо, чтобы подмогать, нету, а рты есть? Че вы ишо видите, окромя голодных ребятишек? Вот на их и подписуюсь, хошь на всех сразу. Чтоб не знать мне больше этого мучения, не видеть этого наказания, освободиться этой кары...

ВАСИЛИСА. Че уж ты так, Надька! Опомнись!

КАТЕРИНА. Про ребятишек-то зачем так! У тебя у одной, что ли, они голодные?

АГАФЬЯ. Все бьемся.

НАДЬКА. А какое есть богатство, то и берите. Другого не завела. Мужика отдала – ниче не жалко, берите. Я теперь простая, мне все равно.

НЕСТОР. Пятьсот запишем.

НАДЬКА. А по мне хошь пятьсот, хошь пять тысяч. Для меня никакой разницы. Сколь бумага возьмет, столько и пишите.

НЕСТОР. Пошли дальше. Тетка Василиса Премудрая, твоя очередь. Называй, сколь берешь на себя.

ВАСИЛИСА *(неторопливо и важно).* А мне рано называть. Ты ко мне не в очередь заехал.

НЕСТОР. Как так – не в очередь?

ВАСИЛИСА. А так. Там поперед меня Гуськовы живут.

НЕСТОР. Ну, пропустил. После тебя к ним заверну. Че такого?

ВАСИЛИСА. Нет уж, по порядку, дак по порядку. Нечего ко мне с наскоком. Я тебе дверь покуль не открывала.

НЕСТОР. Значит, так? Значит, назад? Вот, товарищ уполномоченный, какой у нас отдельный народ имеется.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ. Действительно, как при царе позволяем себе выходки: я не я и хата не моя.

НЕСТОР. Ладно. Воротимся к Гуськовым, ноги не отвалятся. Но запомним. Преданно запомним. Настена! Готова отвечать?

НАСТЕНА. Готова.

НЕСТОР. Давай не тяни. Было время подумать, покуль мы туда-назад шарашились. Сама скажешь или тебе подсказать?

НАСТЕНА. Сама.

НЕСТОР. Давай.

НАСТЕНА. Две... две тысячи.

*Все ахают.*

АГАФЬЯ. Настена, да ты никак озолотела?!

КАТЕРИНА. Где ты их взяла? Шепни нам, мы тоже там пошарим.

АГАФЬЯ. Две тыщи – ить это подумать только! Две тыщи!

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ *(поднимается, восторженно).* Ударница! Настоящая по части заема ударница!

НЕСТОР. Вот так, товарищи колхозники! Вот так, товарищ уполномоченный! *(Хлопает его по плечу.)* Самая что ни на есть преданная цифра. Молодец, Настена. Не галдите, не галдите, а берите пример. Страна зовет – и мы идем вперед. Не будем терять победного шагу. Кто дальше?

ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ *(с достоинством).* Меня тоже пишите на две тысячи. Я не привык оставаться позади. Во все военные годы...

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ. Правильно, Иннокентии Иванович.

АГАФЬЯ. Ну-у, этому че? Это не Иннокентий Иванович, а Иннокентий Карманович.

КАТЕРИНА. Он и три тыщи в леготочку подымет.

АГАФЬЯ. Он, ежли пощупать его, ероплан построит.

НЕСТОР *(снова бьет по плечу уполномоченного).* Вот, товарищ уполномоченный, какой у нас отдельный народ имеется! Вот каким народом я руковожу! А мы с тобой ишо сумление имели насчет цифры. Будет цифра. Будет. Кто дальше, товарищи колхозники? Хватит бродить по дворам, пошли прямо без дороги. Преданно и вперед. Кто дальше?

*Затемнение, а когда сцена снова освещается, видно, что собрание закончилось и люди начинают расходиться.*

НАСТЕНА. Нестор Ильич! *(Оглядывается на отошедшего уже от стола уполномоченного.)* Нестор Ильич! Кто завтра с товарищем уполномоченным поедет в Карлу?

НЕСТОР *(кричит).* Товарищ уполномоченный, а товарищ уполномоченный! Тут вот наша, значит, сегодняшняя ударница желает с тобой завтра до Карды прокатиться. Как ты? Не против?

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ *(подходит, жеманно).* Какой же мужчина будет против? Я даже и мечтать о таком провожатом не надеялся *(Настене.)* Вы правда хотите со мной поехать?

НАСТЕНА. Мне в Карду до зарезу надо.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ. Очень буду рад составить вам приятную компанию.

НЕСТОР. Ты только обратно ее потом отпусти. Долго не держи, у нас и так тут работать некому.

*Затемнение.*

**Картина третья**

**ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА В ЗИМОВЬЕ**

*Обстановка самая грубая и простая: нары, железная печурка, у окна столик. Раннее утро. На нарах, укрывшись полушубком, спит Андрей, но спит довольно чутко и, едва приоткрывается дверь, вскакивает и в испуге прыгает в сторону.*

*Входит Настена, замечает испуг Андрея и улыбается жалкой и просительной улыбкой.*

НАСТЕНА. Вот приехала... Здравствуй, что ли.

*Андрей не отвечает.*

А я уж сегодня из Карды прикатила, пока ты тут разлеживался. Так удачно получилось. Кой-чего привезла тебе на черный день.

АНДРЕЙ. У меня теперь все дни черные.

*Снова молчание. Настена делает движение, чтобы уйти.*

Куда ты?

НАСТЕНА. Так надо занести сюда хозяйство-то мое, а то че ж на морозе будет.

АНДРЕЙ. Я сам. *(Выходит.)*

*Настена осматривается, заглядывает в окошко, точно так же, как Андрей в начале картины. Когда раздаются за дверью шаги, испуганно отскакивает от него. Андрей вносит и кладет на стол большой узел.*

НАСТЕНА *(развязывает его).* Вот достала в Карде муки тебе. Будешь лепешки стряпать. И правда – так удачно с этой Кардой вышло. *(И опускает руки, с обидой.)* Это что же получается-то, Андрей? Почему ты меня так встречаешь-то? Слова не скажешь. Я к тебе на всех рысях кинулась, думала, обрадуешься, думала... Может, мне лучше назад повернуть?

АНДРЕЙ *(подходит и обнимает ее).* Не пущу! Неужто думаешь, я не рад, что ты приехала? Рад, Настена, еще как рад! Да радость-то у меня теперь ишь какая: ей требуется знать, нужна она или нет, можно ее показывать или нельзя.

НАСТЕНА. О чем ты говоришь, Андрей. Я же тебе не чужая. Мы с тобой четыре года вместе прожили – или этого мало? Ой, Андрей... А я ведь тебя только сейчас как следует и разглядела. Чудной ты с этой бородой.

АНДРЕЙ. Почему чудной?

НАСТЕНА. Да какой-то... Как леший. Я в бане понять не могла, кто со мной – ты или леший. Думаю, своему мужику берегла, берегла, а с нечистой силой связалась.

АНДРЕЙ. Ну и как нечистая сила?

НАСТЕНА. Ничего. Но свой мужик лучше.

АНДРЕЙ. Хитрая ты. Никого не обидела. Принеси-ка мне в следующий раз бритву, уберу я эту лохматину.

НАСТЕНА. Зачем?

АНДРЕЙ. Чтобы не походить на лешего. Хотя нет, не буду. Пускай торчит. Уж лучше на лешего.

НАСТЕНА *(чутко ловит перемены в его настроении и пытается поправить дело).* Господи! Что ж я мужика-то своего не кормлю. Приехала тут разговоры разговаривать. Ну, баба! Вот что значит – давно никто не колошматил.

АНДРЕЙ. Никто, говоришь, не колошматил?

НАСТЕНА. Ну?

АНДРЕЙ. Соскучилась, что ли?

НАСТЕНА. Ну, так некому было на ум наставить.

АНДРЕЙ. Чаю, что ли, согреть?

НАСТЕНА. Грей, что ты стоишь как неживой. Воды, что ли, у тебя тут нету? *(Подает ему чайник, Андрей пытается обнять ее, но она ускользает.)* Отскочь, не морочь, я тебя не знаю.

АНДРЕЙ. Чего-чего?

НАСТЕНА. Отскочь, не морочь, я тебя не знаю.

АНДРЕЙ. Гляди-ка ты, что вспомнила. *(Обнимает Настену.)*

НАСТЕНА *(отстраняется).* Погоди, Андрей, не гони, не надо. Любовь-то моя сколько без корма, как худая кобыла, жила. Не надорви ее, не понукай. Я только сейчас и поверила, что это ты, что это я с тобой. И так хорошо, так спокойно стало. Сама себя не чую. *(Смеется.)* До того хорошо, что в сои клонит. Сегодня я не спала почти. С вечера прилегла – думаю, че я буду лежать, че время терять? Давай запрягать...

АНДРЕЙ. Ляг, подремли.

НАСТЕНА. Вправду, что ли, ненадолго прилечь?

АНДРЕЙ. Ложись, ложись.

НАСТЕНА. Мешать мне не будешь?

АНДРЕЙ. Посмотрим.

НАСТЕНА *(ложится на нары и сразу приподнимается).* Покажи, где ранило-то тебя...

*Андрей отворачивает рубашку.*

Совсем зажило? Не болит?

АНДРЕЙ. Сейчас уже лучше. Только ноет. Особенно в непогоду. А так будто мешает все время, будто торчит что-то. Не притерпелся еще.

НАСТЕНА. Бедненький. Убить хотели.

АНДРЕЙ *(укладывает ее).* Ладно, спи.

*Настена закрывает глаза. Андрей отходит от нее и садится возле топящейся печки, блики от которой начинают играть на его лице. Затем они прыгают и мечутся, слышатся отзвуки канонады, шум и крики – только ни в коем случае это не должно быть громким – отходящего боя. Они все тише и тише – до полной и мертвой тишины. Госпиталь. Появляются хирург и медсестра.*

ХИРУРГ. Фамилия?

МЕДСЕСТРА. Гуськов.

ХИРУРГ. Гуськов... Гуськов? Тот самый?

МЕДСЕСТРА. Да.

ХИРУРГ. Ну что, братец, как ты себя чувствуешь?

МЕДСЕСТРА. Очень слаб еще...

ХИРУРГ. Дайте снимки.

*Медсестра подает снимки.*

*(Рассматривает.)* В рубашке ты, Гуськов, родился. Я, братец, когда зашивал тебя, не больно верил, что ты оживешь. Пожадничал ты – сильно много железа в себя принял.

*Снова отзвук и отблески боя, и снова воспоминание возвращает Гуськова в госпиталь.*

Сколько на фронте?

МЕДСЕСТРА *(заглядывает в бумаги).* С самого начала.

ХИРУРГ. До этого ранения были?

МЕДСЕСТРА. Два раза.

ХИРУРГ. Ну, я думаю, хватит, можно заканчивать счет. Три ранения – это уж полный набор. Должно же для тех, кто воевал с самого начала войны, выйти особое, судьбой данное помилование: выжил – живи.

*Исчезают. Рядом с Гуськовым присаживается раненый с повязкой на голове.*

РАНЕНЫЙ. Недели на две, конечно, должны и отпустить. А потом могут и обратно. Это дело такое. Далеко до дому-то? Сибирский, говоришь? Ну, так это дома, считай... *(Уходит.)*

ГОЛОС АНДРЕЯ. Ехать сюда, в госпиталь, Настена, не надо. Поправлюсь – приеду сам. Теперь уж недолго осталось. Ждите. Жди, Настена.

*Паровозный гудок, который тут же обрывается. Появляются хирург, медсестра, подполковник.*

ПОДПОЛКОВНИК. Фамилия?

МЕДСЕСТРА. Гуськов.

ПОДПОЛКОВНИК. Давно у вас?

МЕДСЕСТРА. Три месяца.

ПОДПОЛКОВНИК *(хирургу).* Ну вот, опять чуть не полгода. В кого ни ткни – три, четыре, пять месяцев. Что у вас – курорт, что ли? А мы там каждого человека считаем. Война-то ведь идет... Она идет, полковник.

ХИРУРГ. У Гуськова очень тяжелое ранение, товарищ подполковник. Две операции делали. Ему бы отдохнуть.

ПОДПОЛКОВНИК. Посмотрите, какие после этих операций он щеки наел. *(Решительно.)* На фронт.

ХИРУРГ. Необходимо заключение комиссии, товарищ подполковник.

ПОДПОЛКОВНИК. Будет заключение комиссии, будет, не сомневайтесь.

ГОЛОС АНДРЕЯ. Как же так?! Товарищ подполковник! Товарищ подполковник! Ведь рядом же, в своей стороне. Мне бы хоть на недельку... повидаться, душу унять... я потом куда угодно, что угодно. Товарищ подполковник!

ПОДПОЛКОВНИК *(отходит).* На фронт!

ГОЛОС АНДРЕЯ. Ведь это неправильно, несправедливо... Как же так?! Три года – сколько можно?!

ХИРУРГ. Я, Гуськов, вслед за тобой, кажется, поеду. Те же три года просился – не пускали.

*Исчезают. Вспышки разрывов, грохот боя, голоса.*

ПЕРВЫЙ ГОЛОС. Первое! Первое! Гуськов! Почему молчит первое? Что там у вас? Где Гуськов?

ВТОРОЙ ГОЛОС. Сейчас, сейчас, товарищ командир. Гуськов... Он это... он не шевелится. Его нет, товарищ командир.

ГОЛОС АНДРЕЯ. Неправда, я есть. Я должен быть, я заслужил...

*Паровозный гудок. Возникает танкист.*

ТАНКИСТ. Ты сам-то откуда?

ГОЛОС АНДРЕЯ. Иркутский. С Ангары.

ТАНКИСТ *(обрадованно).* А я из Читы. Вместе поедем. Подмогни-ка. Прыгай, прыгай скорей.

ГОЛОС АНДРЕЯ *(торопливый).* А если самому взять то, что отняли? Самовольничали, бывало, и ничего, сходило. Мне бы хоть на день, на два...

*Снова паровозный гудок.*

ТАНКИСТ *(радостно).* Па-е-ха-ли! Ты совсем иль на побывку?

ГОЛОС АНДРЕЯ *(в такт движению поезда).* Совсем – на побывку... совсем – на побывку... совсем – на побывку...

ТАНКИСТ. Ну, чего затосковала, артиллерия?

ГОЛОС АНДРЕЯ. Уж больше чем на сутки опаздываем.

ТАНКИСТ. Быстрей не будет, это уж точно. Сейчас на запад опаздывают, а про восток и говорить нечего. *(Исчезает.)*

ГОЛОС АНДРЕЯ. Влип. *(В отчаянии.)* Вот влип, так влип!..

*Затемнение. Когда свет появляется, Настена и Андрей продолжают разговор, начатый несколько раньше.*

НАСТЕНА *(неуверенно).* Война кончится, может, простят.

АНДРЕЙ. Нет, за это не прощают. За это, если бы можно было расстреливать, а после сызнова поднимать, расстреливали бы по три раза. Чтоб другим неповадно было. Моя судьба известная, и нечего теперь о ней хлопотать. Я шел и думал: покажусь Настене на глаза, покаюсь, погляжу со сторонки на отца, на мать, и головой в сугроб. Зверушки постараются: приберут, почистят! А уж чтоб вот так с тобой быть – и не надеялся, не смел. Это-то за что мне привалило? За одно за это, если б жить не вспохват, я должен тебя на руках носить.

НАСТЕНА. Не надо, Андрей...

АНДРЕЙ. Погоди. Начал, так докончу, потом, может, не придется. Мне теперь про себя оставлять ни к чему, не пригодится. Что есть, то и выкладывай. Вот. Пришел, думал, недолго, а сейчас уж охота до лета дотянуть. Посмотреть напоследок, какое лето. Охота, и все – хоть убей. А тут ты обогрела – впору скулить от радости. Мне от тебя много не надо, Настена. Ты и так сколько сделала. Потерпи еще эти месяцы, потаись. Немало ты от меня вынесла, вынеси еще и это. *(Молчание.)* На людях нам больше не жить. Ни дня. Когда захочешь, когда жалко меня станет, приходи. А я молиться буду, чтоб пришла. На люди мне показываться нельзя, даже перед смертным часом нельзя. Уж что-что, а это я постараюсь довести до конца. Я не хочу, чтоб в тебя, в отца, в мать потом пальцем тыкали чтоб гадали, как я прятался, следы мои нюхали, чтоб больше того придумывали, косточки мои перемывали. Не хочу... И ты, слышишь, Настена? И ты никогда никому, ни сейчас, ни после, никогда не выдашь, что я приходил. Никому. Или я и мертвый тебе язык вырву.

НАСТЕНА. Зачем ты так, Андрей?

АНДРЕЙ. Я тебя не пугаю. Тебя ли пугать, Настена?! Ты для меня весь свет в окошке. Но помни, всегда помни, Живой я буду или неживой, где для меня горячо и где холодно. Потом, когда все это кончится, ты еще поправишь свою жизнь. Должна поправить, у тебя время есть. И может статься, когда-нибудь тебе будет так хорошо, что захочется за свое счастье выпростать себя до конца, сказать все, что в тебе есть. Этого не трогай. Ты единственный человек, кто знает про меня правду, остальные пускай думают, что хотят. Ты нм не помощница.

НАСТЕНА. Чем же я, Андрей, заслужила, что ты так со мной разговариваешь?

АНДРЕЙ. Ничем не заслужила. Не сердись, не надо. Я знаю, ты поймешь. Поймешь все как есть. В другой раз я бы, наверно, не стал такое говорить, а теперь приходится. Я теперь и сам не соображаю, что делаю, зачем делаю. Будто не я живу, а кто-то чужой в мою шкуру влез и мной помыкает. Я бы повернул вправо, а он нет – тянет влево! Ну ничего, уж немножко осталось.

НАСТЕНА. Ты как-то страшно все время говоришь...

АНДРЕЙ. Не бойся. Я не тебя пугаю – себя. Да оно ми к чему пугать. Страшней не будет. Это я при тебе слабину дал. Зато все, что надо, сказал, обо всем предупредил. Легче стало. Теперь ты говори.

НАСТЕНА. Что мне говорить...

АНДРЕЙ. Как там мать – ходит?

НАСТЕНА. Ходит! Видел бы ты, как ходит! На костылях. Отец ей костыли выстрогал, вот она и ходит. Клянет их, а ходит.

АНДРЕЙ. Отец все в конюховке?

НАСТЕНА. Ага. Если бы не он, давно бы всех коней и порешили. Он один только и смотрит. Тоже сдал. А тут еще я его позавчера оглоушила.

АНДРЕЙ. Что такое?

НАСТЕНА. Подписка была на заем. Я сдуру и бухнула: две тыщи. Куда как простая: не пожалела, чего нет.

АНДРЕЙ. Стариков пока не бросай. Мать, поди, долго и не протянет. Надо как-то скараулить их, поглядеть.

НАСТЕНА. А как же, Андрей, дальше-то? Они ведь живут, надеются: вот-вот ты скажешься, напишешь, где ты есть. Кончится война – что им потом думать? У них вся надежа на тебя.

АНДРЕЙ *(взрывается).* Надежа, надежа... Нет у них никакой надежи. Все. Нет. Я только что об этом толковал. А насчет того, где я? Тыщи людей не могут найти. Кто в воздухе, кто на земле, кто мается по белу свету, кто прячется, кто не помнит себя – все перемешалось всмятку, концов не сыскать. Вот и я тоже: то ли есть, то ли нет. Моим старикам ждать уж немного осталось. Там встретимся, поговорим. Может, там войны нет. А здесь хоть у слабого, хоть у сильного одна надежда – сам ты, больше никто. *(Молчит.)* Еще неизвестно, что лучше: точно знать – твой сын или твой мужик убитый лежит, или не знать ничего. Для жены, наверно, надо знать, чтоб устраивать свою судьбу. Тут дело понятное: сам не выжил, дай ей пожить. Не мешай. А для матери? Сколько их согласится не знать, жить с завязанными глазами? Она и похоронку получит – не хочет верить. Ей и место укажут, где зарыт товарищ, который зарывал, напишет – все ей мало. Так пусть и моим старикам хоть никакой, хоть мертвый огонек, да маячит. Раз уж я другого не могу им показать... Ладно, хватит об этом. Скоро тебе ехать. Поедешь или, может, останешься?

НАСТЕНА. Как же я останусь? Ой, Андрей, я ведь тебе пороху, дроби привезла. Чуть обратно с ними не уехала. Вот. *(Достает из узла мешочек.)* Половину отсыпь, а половину отцу – это он заказывал.

АНДРЕЙ *(обрадованно).* Мне и половины за глаза достанет. Теперь живу. Теперь мне и сам черт не страшен. Вот одарила ты меня. Всем одарила. Ну, Настена золотая ты моя баба! *(Подхватывает и кружит ее.)* С этой бабой в миру бы жить, а не по норам прятаться

НАСТЕНА. Ну тебя! Я уж отвыкла, чтоб так хватали.

АНДРЕЙ. Прибегай, я приучу.

НАСТЕНА. Да я-то бы каждый день прибегала.

АНДРЕЙ. За чем же дело стало? *(Достает часы.)*, Вот, Настена!..

НАСТЕНА. Ой, что за чудовина такая?

АНДРЕЙ. Бери. Часы. Я сам их с немецкого офицера снял. С живого – не с мертвого. Мне они больше ни к чему, а тебе пригодятся. Будешь продавать – не продешеви: это хорошие часы, в Швейцарии делали.

НАСТЕНА. Господи, да их и в руки брать боязно.

АНДРЕЙ. Бери. Больше дать тебе нечего. *(Провожает ее.)* Еще-то придешь?

НАСТЕНА. Приду, Андрей, приду. Я-то прибегу. Дорогу теперь знаю.

АНДРЕЙ. Неохота будет, не ходи. Тут неволить себя нельзя. А я выдюжу, мне этого дня надолго хватит.

*Затемнение.*

**Картина четвертая**

**ВСТРЕЧА МАКСИМА ВОЛОГЖИНА**

*На сцене шумное и праздничное деревенское застолье, которое уже не в первой поре, когда галдят, говорят разом и плохо слушают друг друга. Во главе стола с подвязанной правой рукой сидит разомлевше-счастливый от родного дома и покорный всему Максим Вологжин, рядом с ним, оттеснив Лизу, устроился Нестор.*

НЕСТОР *(заметно пьян).* Товарищи колхозники! Тихо! Давайте за фронтовика еще по одной. Пр-реданно и до дна. Такой фронтовик пришел! Лиза! Почему у всех есть, а у меня нету? Почему ты плохо следишь за своим председателем?

ЛИЗА. Я тебе, однако, только что подливала...

НЕСТОР. Это ты деду Ефиму подливала. Все, сдаю колхоз фронтовику, раз такое дело. Я свою поставленную задачу выполнил – всех до одной баб для фронтовика сохранил в целости и сохранности. Могу передавать свои дела. Давайте за фронтовика.

*Выпивают.*

ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ *(Максиму).* Ты, Максим Ефимыч, мериканцев-то видал, нет?

МАКСИМ. Нет, не довелось.

ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ. Как они? Какие из себя вояки? Не слыхал? Не особо пужливые?

ДЕД ЕФИМ. Мериканец, он с туркой не воевал, с немцем он первый раз схватился – откуль он будет вояка? Откуль он сноровку возьмет, ежели всю жисть возле бабы сидел?

МАКСИМ. Они, говорят, хорошо воюют. Хитро. Зря своего брата не укладывают.

ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ. Ишь ты, холеры какие! Соображают. А не слыхать, скоро, нет ли у них революция будет?

МАКСИМ. Не знаю.

ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ. Должна быть. Если у их глаза есть на нас поглядеть, они первым делом должны дома заваруху поднять. Они народ боевой, ты говоришь, им это ниче не стоит. Тогда мы вместе.

НЕСТОР. Пр-реданно!

ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ. Тогда с им можно через Колыму, ежели прямое сообщение.

ДЕД ЕФИМ. У его, у мериканда, земли тоже вдоволь.

ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ. Сговориться и вместе хозяйничать. Тогда всякие другие страны можно в огород на капусту пустить. В Италии вон, однако, и климат мягкий, а пошто режим для простого, трудящегося народа такой неподходящий?

МАКСИМ *(уходя от этого разговора).* Ну, Настена, скоро ты своего будешь встречать?

НАСТЕНА *(растерянно).* Не знаю. Я уж и не верю, что доведется встречать. Потерялся где-то мой.

МАКСИМ. Кто – Андрей потерялся?

НАСТЕНА. Он в госпитале лежал... тоже раненый. А после его обратно на фронт. И нету. Не знаю. Ниче не знаю.

ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ. Он это, Андрей-то всерьез потерялся. С расследованием приезжали. Нигде, видать, по документам не значится.

МАКСИМ. Перехватили где-нибудь по дороге в другую часть. Это сколько угодно бывает. А письмо не всякое до места доходит. Я вон из госпиталя написал, что еду, а приехал нежданным. Лиза ни сном-духом...

ЛИЗА *(счастливо).* Ни сном-духом, ага. Вместе Настеной утром ячмень чистили. Слышу: шум по деревне... Че такое? Вместе же были. И вот Надька с нами...

НАДЬКА. Не мог мой паразит живым остаться. Наклепал ребятишек и... смертью храбрых. А че с его храброй смертью я теперь делать буду? Че вы на меня уставились? Не правда, че ли? Мне двадцать семь годов. Двадцать семь годов – и все, отжила. Кто меня с этим табором возьмет? Пропади оно все пропадом.

ВАСИЛИСА. Не ты одна, Надежда... Сколько их по России матушке осталось куковать?

НАДЬКА. А мне че, легче от этого? Ладно, это я так. Нашло. Где ты там, Нестор? Давай, за фронтовика

НЕСТОР *(подхватывает).* Только за фронтовика. Полным строем. Вперед и вместе.

ВАСИЛИСА. Может, покажет теперь живым дорожку...

ЛИЗА. И чтоб рука скорей зажила. Правая рука, основная... болит, говорит, пока...

НАДЬКА. А ее это... в сторону-то сдвинуть можно?

МАКСИМ. Куда в сторону? Зачем?

НАДЬКА. Ну, ночью-то она мешать не будет?

МАКСИМ. Мешать будет – Лиза отрубит.

НЕСТОР. Я тебя, Надька, из колхоза выгоню за такие разговоры

НАДЬКА. Сиди ты, выгоняла.

ВАСИЛИСА. Не все, Надежда, что тебе под язык попало, можно на люди высказывать. Фронтовик на родной порог не успел заступить, а ты ему подковырки подбрасываешь.

НАДЬКА. Какие подковырки?! У него, поди, одна рука только подбита, остальное в сохранности. Я знаю, и ты меня, Василиса, боишься. Бойся, бойся: Гаврила твой придет, я его быстренько охомутаю. Я помоложе тебя буду, тебе со мной не справиться.

ВАСИЛИСА. Я за Гаврилу спокойная.

НАДЬКА. Чего это ты, интересно, за него спокойная? Святой он у тебя, че ли?

ВАСИЛИСА. Святой не святой, а с тобой займоваться не будет. Зачем ему добрую птицу на сороку менять? Ты же сорока, тебе лишь бы пострекотать.

ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ. Нет, Надежда, тебе под Василису не подкопаться. Там фундамент глубокий. Гаврила с фронта посылки-то не тебе, однако, шлет. Сколько? Посылок пять, однако, в этом году было?

ВАСИЛИСА. Я не считала.

НАДЬКА. Она их даже не открывала. Вместо табуреток держит.

ВАСИЛИСА. А это уж не твоя забота, как я их держу.

НАДЬКА. Сколько ты, Лиза, от своего красноармейца посылок получила?

ЛИЗА. Ни одной не получала.

НАДЬКА. Я бы его после этого на порог не пустила.

ЛИЗА. Ой, господи! На что мне посылки? Я сегодня говорю: давайте корову забьем. Вот тятя не даст соврать: давайте, говорю, корову забьем, чтоб встретит дак встретить. Они меня очурали. Рубите, говорю, тогда всех до последней куриц, чтоб я их больше не видела. Они и куриц пожалели. Даст бог, все наживем – только б вместе быть. Я бы одна загибла, не выжила, от тоски бы загибла. А то руки на себя наложила...

НАДЬКА. Говоришь, загибла бы?

ЛИЗА. Загибла, загибла...

НАДЬКА. А то руки наложила?

ЛИЗА. Ага.

НАДЬКА. Это что же, значит, мне, Катерине вот Вере руки на себя накладывать? Так, че ли? Думаешь, ты его больше всех любила, больше всех ждала? Думаешь, мы их сами потеряли? Ты, Лиза, не была в нашей шкуре и не говори. У меня бы и руки на себя не заржавело наложить – нет, я не из трусливых, – да ребятишек куда? А? Ты не знаешь, как все внутри головешку обуглилось, уж и не болит больше, а горелое-то куда-то сыплется, сыплется, будто вся ты осыпаешься, всё меньше тебя и меньше...

ЛИЗА. Ой, не судите меня, бабоньки, я че-то не то сказала.

НАДЬКА. Живи за всех нас, раз ты такая везуча. Но гляди: плохо жить будешь – берегись. Не пожалеем. Мы невиноватые, что наши мужики. там полегли. Правда, Максимушка, невиноватые? Скажи ты нам.

МАКСИМ. Нет, конечно. Как вас можно винить?

НАСТЕНА *(Надьке).* А ты правда веришь, что ты не виновата?

НАДЬКА. В чем? Я что – с ним там была, под пулю его толкнула? Ты, подружка, говори, да не заговаривайся...

НАСТЕНА. Хитришь ты, Надька. Все хитрят, кто так думает. Потому ты и говоришь, потому ты и спрашиваешь об этом, что мучаешься. Не так, что ли? Нет, что-то тут есть, что зависит и от бабы тоже. Или меньше, чем надо, думаем о них, страдаем? Для себя живем? Нет, без нас тут не обходится. Не обходится, бабы, нет, нет.

НАДЬКА. Ты че это – откуль сорвалась? Не рано ты, подружка, берешься других судить? Еще неизвестно, как у тебя самой выйдет. Не будешь ли ты виновата? Посмотрим тогда, что ты запоешь.

НАСТЕНА. И я буду виновата. Правильно: и я. Че бы с ним ни было, и я буду виновата. И я, и я...

ЛИЗА *(бросается ее успокаивать).* Настена! Настена! Ты че это? Ну, не надо. Все хорошо у тебя будет. Чего ты раньше времени-то?

НАДЬКА. Свихнулась. А свихнешься... на чужое-то глядючи. Мы ведь, Максимушка, забыли уж, как мужиком пахнет.

НЕСТОР *(запевает).*

А казак еще был молодой,

Да к тому ж еще был холостой...

*Никто не поддерживает его, и он умолкает.*

ВАСИЛИСА. Скоро она кончится, война-то? Ты, Максим, оттуда, скажи ты нам.

МАКСИМ. Скоро, бабы, скоро. Сами знаете, наши до Германии уж дошли. Теперь додавят.

ВАСИЛИСА. А не заворотят? Немец тоже под Москвой был?..

МАКСИМ. Заворотят? Нет, не заворотят, бабы. Нельзя. Я обратно с одной рукой пойду, одноногие, покалеченные пойдут, а не заворотят. Хватит. Невозможно, чтоб заворотили. Не позволим.

ВАСИЛИСА. Четыре года – куда больше? И мы тут поизносились.

НАДЬКА. Че-то по тебе не видно, что ты поизносилась.

ВАСИЛИСА. Ох, Надежда, кто бы тебе язык укоротил? Сурьезный разговор идет, а она свои колючки тычет.

ЛИЗА. И нам досталось – че там! Верно, бабы, досталось! Тошно вспоминать. В колхозе работа – это ладно, это свое. А только хлебушек подберем – уж снег, собирайся на лесозаготовки. По гроб жизни буду помнить я эти лесозаготовки. Дорог нету, кони надорванные, не тянут. А отказаться нельзя: трудовой фронт, подмога нашим мужикам. От маленьких ребятишек в первые годы уезжали... А кто без ребят или у кого постарше, с тех не слазили, пошел и пошел. Настена вон ни одной зимушки, однако, не пропустила. Я и то два раза ездила, на тятю тут ребятишек бросала. Навалишь эти лесины, кубометры эти. То в сугроб занесет, то еще что – выворачивай, бабоньки, тужься. Где вывернешь, а где нет. Да чтоб ему, фрицу проклятому, и на том свете покою не было. Пускай ему отломится за все, за все наши мучения.

НАДЬКА. Кто из нас, интересно, я или ты сегодня мужика дождалась?

ЛИЗА. Я, Надька, я. Больше не буду.

НЕСТОР. У нас все шиворот-навыворот. Что за народ! На войну мужиков провожали – пели, а встречаем – как на похоронах. Давайте песню,

КАТЕРИНА. Правда, песню.

ВЕРА. Давайте «Катюшу».

*Запевают. Надька начинает вместе со всеми, но вдруг срывается, роняет голову на стол и бьется в рыданиях. Потом, не вытирая слез, берет стакан с самогонкой, залпом выпивает и подхватывает дальше, Одна Настена, окаменев, смотрит, не решаясь петь со всеми вместе, и, кажется, не понимает, где она и что вокруг происходит.*

*Затемнение.*

**Картина пятая**

**ВТОРАЯ ВСТРЕЧА В ЗИМОВЬЕ**

*Андрей лежит на нарах. Стук в дверь. Он вскакивает, но, не успев испугаться, слышит голос Настены.*

НАСТЕНА. Андрей, это я! Андрей!.. *(Входит в зимовье.)* Мог бы встретить. Думала, не дойду, думала, упаду, а он тут сидит, ему хоть бы хны...

АНДРЕЙ. Откуда я знал, что ты сегодня придешь?

НАСТЕНА *(готовая расплакаться).* Откуда! Знать надо было! Откуда!..

АНДРЕЙ *(осторожно).* Что прибежала-то? Ничего не стряслось?

НАСТЕНА. Что прибежала?.. К тебе прибежала – вот что! Он еще спрашивает!

АНДРЕЙ. Отчаянная, ты. Я и не знал, что ты такая отчаянная. Сегодня зверя и того из норы не выгонишь, а ты осмелилась,

НАСТЕНА. Ты вообще ничего не знаешь. Живешь как крот, в потемках, и жену свою не разглядишь.

АНДРЕЙ. Как крот... Это верно, что крот. Это ты правильно. *(После паузы.)* Тяжело тебе, Настена?

НАСТЕНА. С чего ты взял?

АНДРЕЙ. Может, нам пока не видеться, чтоб ты отдохнула маленько? У меня все есть, я проживу.

НАСТЕНА. Ты почему такой-то? Отдохнула, говорит. А ты спроси, хочу я отдыхать? Скоро и так Ангара раскиснет, покуда пройдет, покуда установится – наотдыхаемся, успеем. Если и тебя еще не видеть, что же тогда остается? Ничегошеньки ты не знаешь. Забеременела, кажется, я, Андрей.

АНДРЕЙ *(оглушенно).* Что?! Что-ох? Ты это правду... Правду говоришь?

НАСТЕНА. Точно еще не знаю. Но никогда так не бывало. Кажется, правду.

АНДРЕЙ. Что ж молчала? *(Истово.)* Нас-те-на! Вот это да! Черт возьми! Это что ж теперь такое?! Ты понимаешь? Ты понимаешь, Настена? Вот оно, вот... Я знаю... теперь я знаю, Настена: не зря я сюда шел, не зря. Вот она, судьба... Это она толкнула меня, она распорядилась. Как знал, как знал – ты понимаешь? Как чувствовал. Да ради этого... Это же все – никакого оправдания не надо. Это больше всякого оправдания. Пускай теперь что угодно, хоть завтра в землю, но если это правда, если он после меня останется... Это же кровь моя дальше пошла. Не кончилась, не пересохла, не зачахла. А я-то думал, я-то думал: на мне конец, все, последний, погубил родову. А он станет жить, он дальше ниточку потянет. Вот ведь как вышло-то, а? Как вышло-то! Настена! Богородица ты моя!

НАСТЕНА. А я? Как же со мной-то быть? Я же середь людей живу – или ты забыл? Что я им, интересно, скажу?

АНДРЕЙ. Не знаю... Плевать нам на все.

НАСТЕНА. Тебе хорошо плевать, ты здесь один.

АНДРЕЙ. Что такое ты говоришь, Настена? Ты сама-то не рада, что ли?

НАСТЕНА. Я рада, рада, да как теперь быть-то? Куда мне себя девать? Ведь это скоро на глаза полезет, откроется.

АНДРЕЙ. Помнишь, сколько мы ждали, сколько надеялись?

НАСТЕНА. Помню... как не помнить. Ты почему такой-то, Андрей? Что ты меня уговариваешь? Не я ли ночи напролет молилась, все просила ребеночка от тебя? Ничего мне больше не надо было – только чтоб родить, пользу тебе принести. Не я ли до смерти боялась остаться сухостойной? Грех-то на меня ложился, не на кого-нибудь. И ты на меня его относил. Мне много хужей было, чем тебе, я со всех сторон обманщицей, воровкой какой-то выходила. Как будто чужое место занимала, на чужое счастье позарилась. Я себя сто раз прокляла – ты не знаешь. Если бы молено было, я бы давно потихоньку пропала куда-нить, а то в Ангару кинулась, чтоб освободить тебя. Ты сам не пускал. Потом эта война. А ты говоришь: помнишь? Кому еще и помнить, как не мне? Кому радоваться сейчас, плясать, песни петь от радости? Я, может, заново теперь родилась. Господи! Но ведь тебя же нет! Тебя нет, Андрей, нет! Ты не велишь мне ни одному человеку шепнуть, что ты здесь. Ну нет – значит, нет, я молчу и молчать буду. Я понимаю. Но ведь тогда и ребенок, если он будет, не твой. Чей угодно, только не твой. Может, твои мать с отцом мне спасибо скажут, когда я им без тебя в подоле принесу? Может, люди пожалеют? Ага. Знать бы им, что ты не живой, и то легче: хоть кто-то бы понял, не осудил одним махом. А то ведь считается, что ты в любой момент можешь прийти ко мне! А я-то, я-то что делаю, как тебя дожидаюсь? Тут на меня самая распоследняя собака ветер понесет – и правильно, гляди, на что идешь. Трудно, однако, одной от людей будет с моим грузом – боюсь не справиться, Андрей. Я не знаю, Андрей, не знаю, что делать. Растерялась.

АНДРЕЙ. От судьбы, Настена, никуда не уйдешь. Хошь делай-заделайся поперек ей, а она на своем постановит. Это ж она меня с войны сняла и сюда направила. Она. Может, против сил моих направила, чтобы успеть нас до смерти моей спасти. Ты думаешь, легко мне здесь зверюгой лесной прятаться? А? Легко? Когда они там воюют, когда я тоже там, а не здесь обязан находиться? Я здесь по-волчьи научился выть. Хочешь, покажу? *(Воет.)* Похоже? Похоже. Ишь, какую забаву нашел. От безделья, думаешь? Нет, Настена, не от безделья – от веселой жизни. Что ж ты последнюю надежду от меня отымаешь, что я хошь для какого-то надобья сюда шел? Что не совсем же зря принял на себя позор? Показала, дразнула и отымаешь. Мне ж теперь тошней того будет. А роди ты, я себя оправдаю, для меня это последний шанс. Что я говорю: шанс – это для меня, вся моя служба в жизни. И пускай люди не знают, кровь моя знать будет, что он мой. Нас потом только кровь и помнит.

НАСТЕНА. Да ведь его, может, еще и нет. Я сказала, что еще не точно. Надо подождать.

АНДРЕЙ. На нет и суда нет. А есть – оставь, не губи. Спаси мою душу. Я хоть завтра же сгину и ничем больше не потревожу, и ты во всем другом поступай как знаешь.

НАСТЕНА. Мне совсем не надо, чтоб ты сгинул! Что ты говоришь?

АНДРЕЙ. Четыре года мы прожили вместе. Плохо ли, хорошо ли, но вместе. Да четыре года война. Тоже одной веревочкой были связаны, хошь и за тыщи верст. Неужели все вхолостую, все зря, и ничего от нашей жизни совсем не останется?

НАСТЕНА. Я разве не хочу, Андрей? Я разве не хочу?! Я хочу. Что ты на меня наговариваешь? Зачем так?

АНДРЕЙ. Кто бы мог подумать, что теперь, когда у нас уж не семья – какая семья? – так, две половинки от семьи, что теперь-то мне и выпадет один-единственный раз в жизни сделать свое мужицкое дело. Для того, что не совсем же зря я жил. Пересудов людских ты боишься... Что они тебе? Люди как собаки: кто где не так пошевелился – они в шум. Полаяли и перестали – и опять ждут, кто бы себя чем выдал. Люди... Да доведись такое до них, неизвестно, кто себя как бы повел. Не людей – себя слушай. Ты знаешь, как было. Что ни перед кем ты не виноватая. Что и со стороны отца он тоже твой родной ребенок. Этим себя охраняй, этим спасайся, этим. У тебя была только одна сторона – люди. Там, по правую руку Ангары. А сейчас две – люди и я. Свести их нельзя, надо, чтоб Ангара пересохла. Конечно, несладко тебе придется... А сейчас-то сладко разве?

НАСТЕНА. Я не жалуюсь.

АНДРЕЙ. Что жаловаться – так видно. *(После молчания.)* Послушай-ка, давно уж, с третьегодняшнего лета, помню я про тебя один сон. Все там осталось на месте – и где мы стояли, и люди, которые со мной вместе воевали, – с чем вокруг себя лег спать, то и увидел во сне. И вот будто лежу, а от березок – там недалеко березки стояли – идет ко мне девчонка. Совсем вроде незнакомая. Идет в обтрепанном платьишке, заморенная, босиком – ничего твоего нету, а я почему-то знаю, что это ты. Подходит и говорит: «Чего это ты здесь застрял? Я там с ребятишками замучилась, а тебе и горя мало». – «Какие, – спрашиваю, – у тебя ребятишки? Откуда они у тебя взялись? Что ты собираешь? Иди обратно и проверь, есть они у тебя или нет?» Она пошла.

НАСТЕНА. И ушла?

АНДРЕЙ. Вроде послушалась, ушла. И опять стоит. И опять, как в первый раз, с той же придурью: я, мол там с ними замучилась... Я ей посуровей отвечаю: «Иди и не приставай больше ко мне – нет у тебя никаких ребятишек». Она вроде поймет, задумается так, назад повернет. И сон-то какой-то просветный: будто я и во сне хочу уснуть. И не успеваю. Глаза закрою и скрозь них вижу: обратно ко мне от тех же березок идет. И одно по одному, одно по одному. Извела она меня в ту ночь.

НАСТЕНА. А в конце? Что ты сказал ей в конце? В последний раз?

АНДРЕЙ. Не помню. То ж самое, наверно, и сказал. А что я мог сказать?

НАСТЕНА. Это я и была. До тебя еще, когда ты меня не знал. И волосы, как у мальчишки, постриженные?

АНДРЕЙ. И волосы постриженные.

НАСТЕНА. Я.

АНДРЕЙ. Но как же? Как ты мне в точном обличье явилась?

НАСТЕНА. Не знаю. Может, рассказывала. Но это я была, я. У вас там еще пушки стояли. А в низинке откуда я к тебе подымалась, стояли машины. Большие такие, зеленые. Ты спал на потнике, а укрывался поверх шинели брезентом. А рядом лежало то ли трое, то ли четверо твоих товарищей. Я подходила как раз с твоего краю...

АНДРЕЙ. Откуда ты знаешь?

НАСТЕНА. Я тоже видела этот сон. Со своей только стороны. Будто какая-то бабка мне говорит: иди говорит, к нему и скажи о ребятишках. Если признает, согласится – все будет хорошо. Откажется – останетесь при своих интересах. Я пошла. Ты ни в какую. Я уйду и опять ворочаюсь, и опять ворочаюсь, а ты никак в толк не возьмешь. Я хочу намекнуть и не могу. Ты сердишься на меня, гонишь. А вот как было в последний раз, не помню, помню, что пошла уж в своем, а не в девчоночном виде. Приходила я к тебе такая?

АНДРЕЙ. Приходила.

НАСТЕНА. И что ты мне сказал?

АНДРЕЙ. Не знаю. Не помню.

НАСТЕНА. Что-то ведь должен был сказать?

АНДРЕЙ. Наверно, должен.

НАСТЕНА. Ишь как! Самого главного-то и не узнала. И ни разу, ни разу ты меня после того с ребятишками не видел? Вспомни хорошенько.

АНДРЕЙ. Нет, ни разу.

НАСТЕНА. Забылось, может? Перебило чем похлеще... войной этой.

АНДРЕЙ. Нет, это я бы, наверно, не забыл. Помню же вот миг, как ты приходила. Два года помню.

НАСТЕНА. А конец все равно поверял? Как его теперь угадать? То, может, душа моя к тебе приходила. Потому всё так и сходится?

АНДРЕЙ. Конца, наверно, никакого и не было. Судьба его нарочно нам оставила. Чтоб не во сне, а в жизни показать. Показать, а там – хошь лови, хошь не лови. Как хошь.

НАСТЕНА. Что-то много ты стал о судьбе говорить.

АНДРЕЙ. Заговоришь... Заговоришь, когда вот она, рядом, в ногах примостилась. И ни на шаг от тебя. Обуздала как миленького. А теперь еще и тебя в упряжку подстегнула. Как ты от нее вывернешься?

НАСТЕНА. Зачем мне выворачиваться? Я с тобой. Если уж что, – так вместе!

**АКТ ВТОРОЙ**

**Картина шестая**

**«ПОВЕРИЛ ИЛИ НЕ ПОВЕРИЛ»**

*Двор Гуськовых. Михеич, отец Андрея, и Настена пилят на козлах дрова.*

МИХЕИЧ *(задерживая пилу).* Тебе, дева, не попадалась нигде на глаза Андреева «тулка»? Все седни перерыл – как сквозь землю провалилась. В амбаре по дохой, помню, висела – и нету. Нигде, случаем, и видала?

НАСТЕНА *(растерянно и не сразу).* Видала...

МИХЕИЧ. Ну вот. Мне бы тебя и спросить... Где она?

НАСТЕНА *(помедлив, с решимостью).* Я ее продала, тятя.

МИХЕИЧ. Продала? Бог с тобой! Когда продала? Кому?

НАСТЕНА. Давно уж. Все боялась сказать тебе, боялась, что станешь ругаться. Когда отвозила уполномоченного в Карду. Ты тогда рассердился на меня за облигации – и правда, думаю, где взять столько денег? Сдуру ведь объявила, а где их взять? А он сам посмотрел, оно ему поглянулось. Пристал: продай да продай. Ну и продала... уговорил.

МИХЕИЧ. Че ты, дева, собираешь? Кто посмотрел? Кто уговорил? Ничего не пойму.

НАСТЕНА. Какой-то мужик в Карде. Я его не знаю. Помню, что в военной шинельке был. Неудобно был допытываться, кто такой. Уговорились – и ладно.

МИХЕИЧ. Дак ты его, ружье-то, с собой, че ли, брала?

НАСТЕНА. С собой. Думаю: ну, как обратно в темноте доведется ехать... Боязно.

МИХЕИЧ. И продала?

НАСТЕНА. Продала.

МИХЕИЧ. А тебя дурная собака не укусила? Ты как думаешь – Андрей придет, он нам спасибо за твою продажу скажет? Или как?

НАСТЕНА. Придет – наживем, поди.

МИХЕИЧ. Наживем... Такое ружье, дева, с бухты барахты не наживешь. Золотое было ружье, таких теперь не делают. Да что с тобой разговаривать? Продала... Эк просто – взяла и продала. Ну и... за сколь продала?

НАСТЕНА. Я не на деньги, тятя. На часы.

МИХЕИЧ. На часы?

НАСТЕНА. Вроде как поменяла. А часы легче продать, они, тот человек сказывал, особые, иностранцы их сильно ценят. Сейчас я их тебе покажу. *(Достает из кармана часы.)* Гляди: на трех стрелках, одна-то стрелка так и бежит, так и бежит на глазах. Красивые! Я сроду таких не видывала. И всегда правильно показывают, нисколько не врут. А по ночам светятся, в темноте-то. Там такие точечки – дак они белым огнем горят.

МИХЕИЧ. Ты, Настена, не шутку надо мной шутишь? Ты правду говоришь?

НАСТЕНА. Правду. Сразу надо было сказать... все откладывала, боялась.

МИХЕИЧ. Ружье, да какое ружье! На часы, на игрушку...

НАСТЕНА. Часы легче продать. Ружье здесь у каждого, а часы у кого? Их с руками оторвут. Только покажи.

МИХЕИЧ. Вот тебе, дева, следовало бы за это кой-что оторвать. Чтоб думала маленько. Кому ты их продашь, кому они нужны? Тебя, как маленькую, нагрели, а ты все в толк не возьмешь. «В темноте светятся...» А на кой ляд он мне, этот свет? Вшей при ем бить?

НАСТЕНА. Иннокентий Иванович, если на то пошло, сразу купит. Я знаю, они поглянутся ему, он любит такое. Уполномоченный, которого я отвозила, он у меня их за две тыщи выпрашивал. Да еще как выпрашивал!

МИХЕИЧ. За сколь, за сколь?

НАСТЕНА. За две тыщи.

МИХЕИЧ. Ну и че не отдала, ежели такой дурак находился?

НАСТЕНА. Они, может, побольше стоят.

МИХЕИЧ. Вот и ищи за побольше. Он, уполномоченный-то твой, в дурачки, поди-ка, с тобой играл, а ты поверила. A-а... *(Безнадежно машет рукой.)* Че с тобой толковать?

*Появляется Семеновна.*

Ты куда опять, старая, вылезла? Ног совсем нету, а туда же куда и люди. Завалишься ведь, расшибешься.

СЕМЕНОВНА. Нет, нице. По теплу-то легче штало проштупать. Разойдушь, и нице. *(Отстранила подошедшую к ней на помощь Настену.)* Я шама. *(Садится на чурок.)*

*Настена отходит.*

МИХЕИЧ. Настена!

НАСТЕНА. А?

МИХЕИЧ. Ты правда не знаешь, где Андрей?

НАСТЕНА *(испуганно).* Андрей? А откуда я буду знать? Почему ты спрашиваешь?

МИХЕИЧ. Не знаешь, значит?

НАСТЕНА. Ничего не знаю. То же и знаю, что ты. Откуда мне еще знать? Мы, кажись, в одном доме живем?

МИХЕИЧ. Я подумал, что ты, может, че другое знаешь. Может, че сказать не хочешь. Дак ты это... скажи, НАСТЕНА. Мне одному скажи. Не скрой.

НАСТЕНА. А что говорить-то? Что я тебе, интересно, скажу? Если б было что сказать, я бы не сказала, что ли? Я столько же знаю, сколько и ты.

МИХЕИЧ. Да я спросил только... А спросил из-за того, что какая-то не такая ты за последнее время сделалась.

НАСТЕНА. Какая не такая?

МИХЕИЧ. Вроде как сама не в себе. Может, показалось.

СЕМЕНОВНА. Це, це она говорит?

МИХЕИЧ *(Настене).* Но я ни в жисть не подумал бы, что ты ружье на часы станешь менять. В тебе раньше этого не было. Че-то с тобой, дева, деется – окромя ружья, видать. Как вроде че-то ты все время боишься... торопишься все время... Может, ты уйти от нас собралась?

НАСТЕНА *(настороженно и со смыслом).* Не-ет, куда мне уходить? Поживу, покуда сами не выгоните. Скоро кончится, поди, война – че-то будет.

МИХЕИЧ. Где вот он?

НАСТЕНА. Я сказала: я не знаю, где он.

МИХЕИЧ. Да и уж не у тебя, дева, спрашиваю.

СЕМЕНОВНА. Це, це вы говорите? Пошто так говорите, што я не шлышу?

МИХЕИЧ. Говорим, что лодку на воду спустили, а высмолить некогда. *(Подходит к Семеновне и уводит ее в дом.)*

*Когда они скрываются, Настена вдруг, решившись, берет стоящие в углу двора весла и управляется с ними к реке.*

**Картина седьмая**

**ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА В ЗИМОВЬЕ**

*Андрей у печурки курит. Настена на нарах.*

АНДРЕЙ *(задумчиво).* Чего бы ты от меня, Настена, хотела?

НАСТЕНА. Как – чего бы хотела?

АНДРЕЙ. Я вот знаю, что я от тебя хочу. И ты это знаешь. Я на тебя все взваливаю, взваливаю, а сам, что ни возьми, в стороне. А что я могу? Что я могу, Настена? Мне же охота пособить, я не привык на готовенькое, я бы, кажись, в лепешку разбился, чтоб сделать что-то, но скажи тогда, что надо?

НАСТЕНА. Что надо? Ничего не надо.

АНДРЕЙ. Вот видишь, ничего не надо. Ишь как: мне надо, а тебе нет. Вот до чего я докатился: никакой пользы от меня не приходится ждать. Я и сам это знал, да надеялся еще на что-то. А ну, думаю, вдруг что попросит? Нет. Хоть какую ерунду-чепуху? Тоже нет. Выходит, от меня теперь один только вред, одно мучение со мной. Ты меня, выходит, только жалеешь. Для меня и это, конечно, сейчас спасенье, да на жалости всё одно долго не продержишься – тонкая она сильно, веревочка, того и гляди лопнет.

НАСТЕНА. Ты что, Андрей?! Ты что?! Я думала, ты так просто спросил, так просто и сказала тебе, а он вон куда повернул. Разве ж так можно? Я, если хочешь, хоть счас тыщу дел для тебя найду.

АНДРЕЙ. Каких, к примеру?

НАСТЕНА. Для начала хоть не говори так. Мне и вправду скоро нелегко придется, а если еще и ты не будешь верить, что мне тогда останется?

АНДРЕЙ. Без меня, ясное дело, было бы лучше.

НАСТЕНА. А что? Конечно, лучше. А еще лучше мне было бы без себя. Ничего не видеть, не слышать, ничем не болеть, не страдать – ой, как хорошо, как спокойно! А куда я себя, интересно, дену, если я – вот она? Ты уж меня от себя не отделяй, не надо. Давай вместе. Раз ты там виноват, то и я с тобой виноватая. Вместе будем отвечать. Если бы не я – этого, может, и не случилось бы. И ты на себя одного вину не бери. Я с тобой была – неужели ты не видел? А ты здесь был со мной. Нам и сны одни снились – зря, что ли? Ой, Андрей, не зря. Хочешь ты или не хочешь, а мы везде были вместе, по одной половине здесь, по одной там. Ты что, считаешь, если бы ты пришел героем, я бы была ни при чем? Что мне и порадоваться с тобой не разрешилось бы? Ну да! Я бы себя получше твоего героем почитала: мой мужик, не чей-нибудь. Я бы козырем по деревне вышагивала: глядите, бабы, завидуйте – вот она я, вот как я отличилася!

АНДРЕЙ *(с горечью).* Ты бы уж не поминала такое, не сравнивала...

НАСТЕНА. А что? Почему нельзя? Тебе выпало другое – плохо, значит, я тебя остерегала. Или не веришь ты мне, раз не выдержал, или не хватило на тебя моей заботы, или еще что. Ты от моей вины не отказывайся я ее все равно вижу. А если вот, скажем, если бы я тебя не дождалась, выскочила за другого, – ты бы один меня виноватой считал?

АНДРЕЙ. А кого еще?

НАСТЕНА. Нет, и ты бы здесь был замешан. Как же без тебя? Это ты бы толкнул меня на такое. Может, забыли, когда, но вместе решились, одна бы я не посмела. Господи, о чем я говорю! Я к тому, что незачем нам делить: тебе одно, мне другое. Мы с тобой сходились на совместную жизнь. Когда все хорошо легко быть вместе: это как сон, знай дыши, да и только. Надо быть вместе, когда плохо, – вот для чего люди сходятся.

АНДРЕЙ. Плохое плохому рознь, Настена. Я преступник, против меня закон. Зачем еще и тебе заодно со мной быть преступницей?

НАСТЕНА. Теперь поздно спрашивать. Об этом надо было думать раньше, когда ты на это пошел. А пошел, значит, и меня за собой повел. По-другому я не умею. Ты сам говорил: мы одной веревочкой связаны. Так оно и есть. Только верь мне, верь, а то нам обоим придется плохо, мы сами себя измотаем. Я бы, может, хотела себе другую судьбу, но другая у других, а эта моя. И я о ней не пожалею. Она моя. Все еще обойдется, Андрей. Не может не обойтись. Вот увидишь. А мне и сейчас хорошо. Я с тобой – и хорошо, все остальное где-то далеко-далеко. Не помню, что было, и не вижу, что будет. И будет ли еще что-то. Кажется, так и останется навеки: ты, да я, да мы с тобой. Только я бы заставила тебя бороду сбрить, ты с ней какой-то чужой. Не могу привыкнуть, и все, хоть ты что делай.

АНДРЕЙ. Почему мы раньше ни разу вот так не поговорили? Все ведь могло повернуться иначе, другим боком. Или это только кажется, что могло? Но не говорили же, ясное дело, нет. Только переговаривались, кому что надо, по пустякам, каждый день по пустякам. За четыре-то года было время поговорить, поглубже спросить друг друга, кто что думает. Я ж тебя, выходит, как следует и не знал. Есть – и ладно, а что есть, что имею, не знал. Надо же, руку на тебя поднимал.

НАСТЕНА. Ты на меня руку не поднимал.

АНДРЕЙ. Не поднимал?

НАСТЕНА. Нет.

АНДРЕЙ. Не хочешь, значит, зла помнить. Эх, Настена, Настена! Тебе бы не меня, а кого другого. Ты ни думай, я это всерьез. Ты же вон какая! И как тебя угораздило со мной столкнуться? Не пойму.

НАСТЕНА. А мне другого не надо, мне с тобой хорошо.

АНДРЕЙ. Ну, еще бы да не хорошо.

НАСТЕНА. Ничего-то ты, Андрей, не понимаешь. Где ж ты, интересно, был, что не знаешь, хорошо мне было или нет? Когда ты меня сюда привез, я ни одного человека тут не знала, все чужое, все. Я, можно сказать, с закрытыми глазами за тобой пошла: куда приведешь – там и ладно. Я ж тебя-то почти не знала, что это – два или три раза играючи встретились и так играючи, чуть ли не в шутку, договорились. Я до последнего не верила, что ты приедешь. Ну, не страшно ли было? Помнишь, поди: сошли мы с парохода, я глаза боюсь поднять, на ровном месте спотыкаюсь. Ты понял, что мне страшно, взял меня за руку и повел. Приходим домой, ты говоришь: вон она, моя жена. А мать смотрит и молчит. Я вижу, что не сильно поглянулась ей, что она, может, другую невестку ждала. И ты заметил. Заметил и говоришь: она здесь одна – это про меня, – заступаться за нее некому, давайте не будем ее обижать. Шуточно вроде сказал, со смешком, а на самом-то деле какая же шутка? Вот тогда я и поверила: нет, не зашибусь за тобой, хоть оно и кинулась сломя голову неизвестно куда, что мне с тобой будет хорошо. В тот же самый вечер ты повел меня к людям. Ты не мной ходил хвалиться, а чтоб я людей сразу узнала, чтоб не быть мне середь них чужой. А потом все вместе, помню, пили чай с калачиками – отец, мать, ты, я. А помнишь, как я приезжала к тебе в Карду, когда ты учился на курсах? Помнишь, утром ты не пошел на свою учебу, прибежал за мной в Дом колхозника, и мы с тобой отправились в чайную – тут же через дорогу. Там еще стоял на столе прямо огромадный самовар, я такого никогда больше и не видывала. А в кранике он прохудился и бежал, сильно бежал, под него специально глубокую тарелку подставляли. Чего уж они не могли его запаять, не знаю. Помню, ты еще купил мне конфеток в бумажках, и я вприкуску их с чаем хрумкала заместо сахару. Медовые, что ли были конфетки, запашистые, протяжные. Съешь, а вкус-то долго держится, не пропадает. А потом мы с тобой весь день ходили, ходили – где только не побывали, – ты от меня никуда, и даже радый был, что вместе, я же видела, что радый. А уж я-то, я-то до чего была радая! Зимой, в мороз, прямо вся грелась от радости. Иду и слышу, как изнутри лицо горит, как руки дрожат. Я ведь поначалу боялась, что спросишь: зачем приехала? И правда, зачем? На словах разве объяснишь. У меня и заделья никакого к тебе не было – приехала, и все тут. И пошла гулять-разгуливать, мужика от учебы отрывать. Кино смотрели! Помнишь? Кино смотрели! Вот память какая закоулочная! Самого главного чуть не забыла. А сидели на самом заднем ряду под окошечком, откуда киношный свет идет. Под конец ко мне привалился и шепчешь: может, не поедешь завтра, может, еще на денек останешься? Я головой мотаю, а слезы так и катятся, так и катятся: сам позвал остаться, сам. Сердце выскочить хочет... Эх, Андре-е-ей! А ты говоришь: хорошо ли мне было с тобой? Что же ты говоришь?! Господи! Сам подумай. Что мне еще надо?

*Мучительным стоном Андрей прерывает ее.*

Андрей, что ты?! Что ты?! Что с тобой?!

АНДРЕЙ *(вне себя).* Ничего. Ничего, Настена, здесь, ты со мной.

НАСТЕНА *(испуганно).* Андрей!..

АНДРЕЙ. Господи, что я наделал! *(Готов биться головой об стену.)* Что я наделал, Настена?! Не ходи больше ко мне, не ходи – слышишь? И я уйду. Совсем уйду. Так нельзя. Хватит. Хватит самому мучиться, тебя мучить. Не могу.

НАСТЕНА. Нет уж. Ты уйдешь, а я? Что со мной будет – ты подумал? Куда я со своей виной? На люди ее не понесешь. Давай уж вместе. Погодим, Андрей, погодим, не торопись. Может, все обойдется, должно обойтись. Моя мать давно еще говорила: нет такой вины, которую нельзя простить. Не люди они, что ли? Кончится война – посмотрим. Или можно будет выйти покаяться, или еще что. Только потерпи, не уходи. Один ты пропадешь. И я пропаду – сначала-то я пропаду. Тут я хоть буду знать, где ты. А ребенок? Ты же один только знаешь, что это твой ребенок, не чей-нибудь. С кем мне еще поговорить, душу облегчить... Я ж теперь от людей чужая. Скажи, не уйдешь?

*Андрей постепенно успокаивается.*

И правильно, правильно, не надо. И ничего не выдумывай. Ты не один. Если б был один, тогда бы и делал, как знал. *(Некоторое время без слов продолжает успокаивать его.)* Вставай, Андрей, пойдем. Ты говорил, что проводишь. Пойдем – все больше вместе побудем.

**Картина восьмая**

**ДЕНЬ ПОБЕДЫ**

*Улица в деревне, которая по мере действия все больше и больше заполняется людьми.*

НЕСТОР *(стреляет в воздух).* Эй, люди! Все на собрание! На собрание-заседание-отмечание! По случаю... по случаю Победы!

ЛИЗА. Очумел ты, че ли?

КАТЕРИНА. Че палишь-то?

КАПИТОЛИНА. Развоевался опосля войны-то, генерал!

НЕСТОР. Салют, бабоньки! Салют, понимаете вы или нет? Должен или не должен сегодня салют?

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ *(пошатывается).* Должен, Нестор Ильич, должен.

НЕСТОР. Вот! Вот! *(Стреляет.)*

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ. Я как услыхал, первым делом про нас вспомнил. Думаю, радио нету, думаю, как так?

*Входит Максим, на его гимнастерке ордена.*

МАКСИМ *(взволнованно).* Всех сюда собирайте. Чтоб ни одна живая душа дома не оставалась. День такой!

НЕСТОР. Складчина. Что есть, чего нету – все тащите сюда.

МАКСИМ. Все держались, и все выйти должны. Хоть на руках несите. День такой.

НЕСТОР. А перво-наперво ее несите. Самогонку значит, ежели на русский язык перевести. Без нее сегодня нельзя. Кто утаит, тот, значит, на сегодняшний день – враг народа.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ *(пытается рассказать Нестору).* Мне говорят: что ты поедешь? Что ты от своего народа поедешь? А я говорю – надо.

*Появляется Иннокентий Иванович с патефоном в руках.*

НЕСТОР. Иннокентий Иванович, с музыкой! Это ты правильно. Это преданно. С музыкой мы победный час не уроним! *(Пытается забрать патефон.)*

ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ. Погоди, не хватай. Я уж сам, она меня лучше знает, музыка-то.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ. Ты, Иннокентий Иванович такую заведи, чтоб по моменту.

*Бабы вносят и накрывают столы.*

НАСТЕНА. Дождались, Надька! Дождались, Лиза *(Обнимает подруг.)*

ЛИЗА. Ты че, Настена? Рада?

НАСТЕНА. Рада.

ЛИЗА. Ждешь своего Андрея?

НАСТЕНА. Жду. *(Подходит к Максиму.)* Дождались, Максим. *(Целует его.)*

МАКСИМ. Кто еще, бабоньки! Подходи, пока Лиза добрая.

ЛИЗА. Я тебе дам, добрая! Я только Настене позволяю, да и то взаймы, до Андрея. Боле никому.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ *(поет).*

Наша поступь тверда.

И врагу никогда

Не гулять по республикам нашим!

ЛИЗА. Тверда, тверда. *(Усаживает его.)*

НАСТЕНА. Иннокентий Иванович, дождались!

ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ. Дождались. Нет известий от твоего?

НАСТЕНА. Нету, Иннокентий Иванович. Ни слова, ни полслова. Может, ты знаешь, где он? Скажи.

ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ. Я-то откуда буду знать? Чудишь ты, бабонька, че-то.

НАСТЕНА. Ежели что – скажи, Иннокентий Иванович, не скрой. Ты же первым всегда все знаешь. А я тебе скажу, не сомневайся, Иннокентий Иванович.

ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ. Тронулась, че ли?

НАСТЕНА. Ага.

ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ. Оно и видать.

НЕСТОР *(встречает подходящих).* Бабка Наталья, ты с закуской! Ниче, закуска пригодится.

*Появляется бабка Варвара с бидончиком.*

Погодь, погодь, бабка Наталья. Пропусти поперед бабку Варвару. У ней, однако, это самое, для чего закуска предназначена. Все должно в свою очередь, по справедливости. Так, а теперь ты.

МАКСИМ. Проходите, родимые, проходите. *(Усаживает старух.)*

НЕСТОР *(встречает Семеновну и Михеича).* Правильно, Семеновна, в этот день ноги у всех обязаны ходить. Без промедления. *(Хочет ей помочь.)*

СЕМЕНОВНА. Я шама.

НЕСТОР. А у тебя пошто такая маленькая посудинка? Тетка Агафья? Че там, говоришь? Спирт? Ты его где, откуль? С до войны? Ну-у! Вот это выдержка так выдержка! Че ты не сказала, тетка Агафья, я бы тебя на коне встретил!

МАКСИМ. Собрались? Че же тогда, будем начинать. Давайте усаживаться.

НЕСТОР. Все за столы! Кто готов, кто не готов – все за столы! Без всяких яких. Приказ.

*Все рассаживаются за накрытыми столами. Максим поднимается.*

МАКСИМ. Люди...

НЕСТОР. Тихо! Послушаем дружно все, как один, фронтовика и нашего нового председателя. Это вам не я, это вам он!

МАКСИМ. Люди! Я не мастер говорить, сейчас бы кого другого послушать. Да и что говорить! Что говорить, когда победили! Не придумали еще таких слов, чтоб скачать. Выстояли, выдюжили и пошли, сломали спинной хребет лютому зверю, проклятому Гитлеру. Я там был, я знаю, что творилось. Сердце кипит. Вы все знаете. Сейчас все мои товарищи, бойцы, кто остался в живых, стремятся домой, чтобы двинуть нашу жизнь дальше. Много у нас потерь. Там, где прошла война, земля поднялась от могил... Земли стало больше, а рук меньше. Что говорить?! Нам ни за что бы там не выдержать без вас, кто оставался здесь. Потому что мужик воюет, а баба кормит, мужик ненавистью на врага исходит, а баба за тыщи верст сердце его собой да семьей мягчит, чтоб не взялось сердце камнем. Ни черта бы мы без вас не сделали и не было бы сейчас этого дня. Великая наша страна, огромная страна, а без нашей маленькой Атамановки не обойтись. И мы там воевали, и вы здесь помогали. Поднимемся, люди, взглянем во все глаза на сегодняшний день и на веки вечные запомним его. Не было еще такой войны, а стало быть, не было такой победы. Отметим, люди.

*Все поднимаются и, звякнув стаканами, выпив, опускаются обратно.*

НЕСТОР *(выпив).* Он, тетка Агафья, он! Не обманула! Ух, какой! Преданно, на все девяносто шесть.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ *(пытается запеть).*

Мы с железным конем

Все поля обойдем,

Соберем, и посеем, и вспашем.

АГАФЬЯ. Ой, хороший! Как он домой-то поедет?

КАТЕРИНА. А он это не придумал, что война-то кончилась? Такой, правда, пьяный. Мало ли что на ум взбредет.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ *(поднимается).* Я придумал? Придумал? Вы че это? Вы че? Кто посмеет такое придумать! Вы-то думаете, о чем говорите? Я к вам скакал... Чтоб знали, чтобы обрадовались. От своих, от своего народа ускакал. Ну, спасибо... Да у кого зла хватит, чтоб придумать? Вы че это?

КАПИТОЛИНА. Да нет, нет, не придумал. Раз можно такое придумать! Вы че это?

ВАСИЛИСА. Кто же, правда, на такое решится?

АГАФЬЯ. Он ить приехал-то тверезый. Ему уже здесь на радостях поднесли.

ВЕРА. Че зря наговаривать на человека. Шутка ли, двадцать верст отмахал!

НЕСТОР. Налейте ему, пускай пьет.

КАПИТОЛИНА. Пускай простит нас, бессовестных.

КАТЕРИНА. И верно, бессовестные какие.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ. Я за вас во всем ответственный в районе. И когда спросить надо по всем статьям и когда победу отметить надо. Я так понимаю. Думаете, мне приятно деньги с вас по заему выколачивать, хлеб и уборочную выколачивать, по налогам давление производить? Думаете, так приятно? Не надо... Я делаю. А сегодня от меня не требовалось. Я сам. Знаю, что у вас радио нету. Знаю, что ждете. Раз ответственный – во всем ответственный, я так понимаю.

МАКСИМ. А у нас-то все знают? Никого не забыли?

ВАСИЛИСА. Все, как не все. Такую пальбу открыли – тут и мертвые и те узнали.

ЛИЗА. А дедушка-то? Дедушка Степан-то? Он со вчерашнего дня на мельнице че-то ладит. Дедушка-то не знает.

КАТЕРИНА. Дак он выстрелы-то, поди-ка, слыхал?

ВАСИЛИСА. Че он слыхал – он совсем глухой.

ВЕРА. Ой, дедушка-то, и верно, все еще воюет!

АГАФЬЯ. Надо послать за ним, нехорошо.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ *(поднимаясь).* Это я... Я свой долг до последнего человека, до дедушки.

*Его усаживают.*

НЕСТОР. Сиди. Ты свой долг не только исполнил – перевыполнил. Сиди. Это мы сами. *(Уходит.)*

КАПИТОЛИНА *(вслед).* Ты только ему там ничего не говори. Сюда веди.

КАТЕРИНА. Вяжи и веди.

ВЕРА. Не вздумай вязать – ишо помрет...

СЕМЕНОВНА. Гошподи! Неужели дождалишь?! Теперь, поди-ка, вшех по домам рашпуштят... по матерям, по женам.

МИХЕИЧ. Сразу всех распускать нельзя.

СЕМЕНОВНА. Пошто нельзя?

МИХЕИЧ. Пошто... Мало ли что может произойти. Без войска не положено...

СЕМЕНОВНА. А в той войне так вот шпокой не объявляли. Никто не знал, кончилашь, не кончилашь... Германца брошили, промежду собой шхватились. Да ишо тошней того. Так боле миру, пошчитай, и не было. За коммуны билишь, за колхозы билишь... за че только ни билишь. Вот он, гошподь, поглядел, что вше равно бьютша...

МИХЕИЧ *(перебивая ее).* Не собирай, че не надо, старая.

СЕМЕНОВНА. А пошто не шобирай! Не так, че ли! Так, так. Гошподь, он все под шобой видит. Потому и Гитлеру капут!

НАСТЕНА *(как бы думая вслух).* Все дождались у всех праздник сегодня. Правда, Максим, у всех!

МАКСИМ. Конечно, у всех. Ты что, Настена?!

ВЕРА. Неужели будет, как было до войны? Не верится. Не верится, и все.

МАКСИМ. Будет, все, бабы, будет. Вот придут мужики...

НАДЬКА. Кому приходить-то?

МАКСИМ. Ну... Кто остался – придет...

ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ *(поднимается).* По моим подсчетам, должно прийти шесть человек. *(Настене.)* Это если брать с Андреем Гуськовым, который без вести пропавший.

НАСТЕНА. Это если с ним брать – правильно. Правильно, Иннокентий Иванович.

ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ. Тут арифметика простая. По пальцам можно сосчитать. Гаврила Рогов – раз, Голубев – два, Степан Сомов и Афанасий Сомов – три и четыре, Иван Слободчиков – пять. И Андрей Гуськов, ежели что...

НАДЬКА. А моего почему не считаешь? Или считать дальше не умеешь, счетный работник?

ВЕРА. Тогда и моего.

ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ *(спокойно).* Потому что вы на своих извещения получали.

НАДЬКА. Ну и что, что получали. А ты считай. Мой придет. *(С вызовом.)* Я говорю: он придет. Придет и собьет твой счет. Так что считай.

ВЕРА. Тогда и мой придет.

НАДЬКА. Про твоего не знаю, а мой придет.

ДЕД ЕФИМ. А что – всякое бывает. Вон в Карде у сватьи Настасьи...

КАПИТОЛИНА. А в Братском, сказывают, две похоронки на мужика пришло, и везде будто по-разному убитый. А он возьми и на порог... Вот и верь...

*Появляются дедушка Степан с завязанными за спиной руками и Нестор.*

НЕСТОР *(берет под козырек).* Неохваченный элемент по вашему приказанию доставлен. Скрывался в мельнице.

КАПИТОЛИНА. Дурак ты, Нестор. И как мы с таким дураком не пропали?!

*К дедушке Степану бросаются, развязывают его и чуть не на руках усаживают за стол.*

ВЕРА. Дедушка, миленький, где же ты был?

ВАСИЛИСА. Сидим, а кого-то не хватает.

ВЕРА. Кого не хватает? Дедушки не хватает!

ЛИЗА. Дедушка, милый, война кончилась!

*Дедушка Степан молча кивает головой, затем осеняет себя крестом.*

*Затемнение.*

**Картина девятая**

**ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА**

*Настена идет от лодки по берегу Ангары, навстречу ей выходит Андрей.*

АНДРЕЙ. А я знал, что ты сегодня будешь, с утра знал.

НАСТЕНА *(отстраняется).* Тише ты, медведь. Раздавишь. Не видишь, что ли? *(Показывает на живот.)*

АНДРЕЙ. Есть?

НАСТЕНА. Каши, думаешь, наелась?

АНДРЕЙ. Ниче еще непонятно.

НАСТЕНА. Ну уж, непонятно...

АНДРЕЙ *(проводит рукой по ее животу).* Вроде правда есть...

НАСТЕНА. Вроде... Сам ты вроде. Еще как есть. Я уж знаю, парнишка.

АНДРЕЙ. Знаю. Откуда ты знаешь?

НАСТЕНА. Спорим на девчонку, что парнишка?

АНДРЕЙ. Роди сперва этого.

НАСТЕНА. Рожу. Че ж не родить? Еще не бывало такого, чтоб там оставался. *(После паузы, приготовившись.)* Андрей... Андрей, ты не знаешь еще: кончилась война.

АНДРЕЙ. Знаю.

НАСТЕНА *(удивленно).* Как знаешь, откуда?

АНДРЕЙ. Слышал ваш салют.

НАСТЕНА. А-а, стреляли... ага. А я тебе ничего почти и не смогла привезти. Так, хлеба маленько, яичек да сетку. *(Протягивает ему еду.)*

*Он жадно принимается есть.*

АНДРЕЙ. Сетку – это правильно, Настена. Мошка вот-вот загудит. *(Замечает ее внимание.)* Чего смотришь, не нравлюсь, что ли?

НАСТЕНА. Кончилась война – что теперь-то с нами будет, а, Андрей?

АНДРЕЙ. Не знаю.

НАСТЕНА. А кто из нас будет знать? Что-то надо делать, Андрей.

АНДРЕЙ. Что ты хочешь, чтоб я делал?

НАСТЕНА. Почему же я хочу... Не я... Но... ничего не делать или как? Ты скажи.

АНДРЕЙ. Что делать? Тебе – рожать, вот что делать. Умри, но роди, в этом вся наша жизнь. К этому и готовь себя, только к этому. А мне? Что мне делать? Ты, поди, не один раз подумала: ни черта бы там со мной не доспелось. Не отказывайся, я знаю. Я сам так думаю. Оно теперь, когда война кончилась, легко так думать. Может, правда, ни черта бы не доспелось. Выжил бы, пришел. А если доспелось бы? А? Если бы доспелось? И ты не спрашивай, не толкай меня делать. Сделать я могу только одно. Погоди, не перебивай. Пропасть, Настена, не штука, все равно от этого никуда не деться. Я за эти четыре месяца здесь прожил все сорок годов. Да тридцать своих. Пропасть, я говорю, не штука, но я должен знать, что не зазря пропадаю. Мне верить охота, что я еще пригожусь тебе, что ты прибежишь сюда не для меня, а для себя. Чтоб полегче тебе стало.

НАСТЕНА. А я и счас не знаю, для кого прибежала.

АНДРЕЙ. На все плюнь, обо всем забудь – рожай. Ребенок – все наше спасенье. Ты тоже в этом деле моем не маленько заляпана. А ты совестливая, тебе не спокойно. Родишь – будет легче. Ребенок спасет тебя ото зла. Да разве есть во всем белом свете такая вина, чтоб не покрылась им, нашим ребенком? Нету такой вины, Настена. Так и знай. Вытерпи, Настена. Но чтоб ему не повредило. А станет невмочь – прибегай. Прибегай. Я тебя буду ждать. Я для тебя и буду жить, больше мне тут делать нечего. А станут донимать тебя *(с яростью)* – всех порешу, всех пожгу, родную мать не пожалею...

НАСТЕНА. Андрей! Андрей!

АНДРЕЙ. Что делать? Я ли не думаю, что делать. А мысли все колючие... Жалят, жалят... Что делать? Я бы ушел куда... тянет другой раз уйти... Но мне страшно, Настена, далеко от тебя оторваться, я только возле тебя и дышу. Утром просыпаюсь и думаю: где счас Настена – поднялась или нет? Днем брожу и думаю: где счас Настена? Какими словами она меня поминает? И говорю: терпи, Настена, терпи. И молчи. Ты уж и не жена мне – с женой дома живут, – ты для меня весь белый свет, все на тебе сошлось-съехалось. Не разомкнуть. А ты говоришь, что делать? Я ли не пытаю себя – что делать? А теперь, знаешь, днями чем занимаюсь? Дни теперь долгие, делать нечего... я хожу и высматриваю ошметки снега, где он остался с зимы. И такая радость, когда найду: лето, тепло, а он где-то в трущобе или в яме лежит... сморщенный, грязный, исходит уж, но из последних сил держится, лежит. Не должно пить, а есть – вот что меня в нем тешит. Как родному радуюсь.

НАСТЕНА. Андрей, может, не надо, а? Может, не будем так, выйдем? Я бы пошла с тобой куда угодно, на какую хошь каторгу – куда тебя, туда и я. Так я больше не могу. И ты не можешь, ты посмотри на себя, какой ты стал, что ты с собой сделал? Кто тебе сказал, что расстреливают? Война кончилась... и без того задохнулись в смертях...

АНДРЕЙ *(с вызовом).* Избавиться от меня надумала? Но-но, давай.

НАСТЕНА. Андрей.

АНДРЕЙ. Избавишься, Настена, избавишься. И то, устала, сколько можно? Пора и честь знать. Должен сам понимать. Избавишься, Настена, да не так, как задумала. Со мной, говоришь, пойдешь? Да ты знаешь, что тебя рядом со мной к стенке не поставят. Пожалеют. Из-за пуза пожалеют. А меня поставят. И пойдешь ты, голубушка, одна, и совесть свою освободишь. Ишь, как ладно.

НАСТЕНА. Перестань, Андрей, счас же перестань. Как тебе не совестно говорить такое?

АНДРЕЙ. Я тебя, Настена, сам от себя избавлю. Скоро уж, недолго ждать. Да хошь завтра, если на то пошло, хошь счас – Ангара рядом. И зарывать, хлопотать не надо. У меня и веревочка припасена. Надежная – пятерых удержит. С твоей же лодки и прыгну. Тебе же все равно через Ангару надо – ну и меня по пути подбросишь, я тебе по дороге погребу.

НАСТЕНА *(в отчаянии).* За что ты так меня, за что? Что я тебе сделала? Я думала, как лучше... я ж не уговариваю тебя, я сама не знаю. Сказала, что на ум пришло. А ты что говоришь? Зачем ты так?

АНДРЕЙ. Нечего меня подталкивать, я сам знаю. Я тебе сразу в первый же день сказал: нет. И ты меня не повернешь назад, не старайся. Ничего не выйдет. Ишь, добренькая какая: лучше хотела. Я знаю, чего ты хотела. Догадалась, как спровадить, всю ночь, поди не спала, все думала. Додумалась – лучше некуда! И сеточку вон принесла, чтоб мошка меня не кусала, когда руки-ноги свяжут. Обойдусь. Без сеточки твоей обойдусь. И ничего мне больше не надо. Хватит. Но запомни еще раз: скажешь кому, что я тут был, – достану. Мертвый приду и стребую. Запомни, Настена.

НАСТЕНА. Погляди на меня, Андрей. Погляди. Нет ты погляди, не отворачивайся. Погляди и скажи: похожа я на ту, про кого ты говоришь? Бог с тобой, Андрей, что ты выдумал? Ну, скажи, похожа?

АНДРЕЙ. Может, мне еще и повиниться перед тобой? В ножки упасть?

НАСТЕНА. Не надо виниться. А в ноги я сама упаду, только не говори так. Не верь ты себе, что наговорил, не обманывай себя. Как тебе в голову взбрело, что я могу поперек тебя пойти? Что ты, Андрей, что ты! Не надо так, ну, не надо... Ты посмотри на меня, такая я или нет? Неужто ты не видишь?

АНДРЕЙ. Себе, значит, не верь, а ей верь...

НАСТЕНА. Если ты над собой что доспеешь, я тоже решусь – так и знай. У меня тоже свету в глазах немного осталось. Может, меньше, чем у тебя.

*Затемнение.*

**Картина десятая**

**КОЛОКОЛА**

*На протяжении этой картины, то усиливаясь, то слабея, звучат колокола, отмечая этапность последнего крестного пути героини. Улица. У двора Гуськовых – Семеновна. Появляется Настена.*

СЕМЕНОВНА *(недовольно).* За тобой, девка, однако, шобак приштавлять надо, Как ни хватишьша – нету, как ни хватишьша – нету. Где вот ты опять блудила, каку холеру ишкала?

НАСТЕНА *(безучастно).* Тут, недалеко была...

СЕМЕНОВНА. Только и шмотришь, как бы из дому ноги навоштрить. Я давно гляжу: ты, девка, не шлештнулашь ли ш кем? Штарый вше норовит заштупитьша за тебя, а меня на мякине не проведешь. Корову запуштила, избу запуштила – только бы убежать. Че молчишь? Ишь, раздобрела – куды тебе ш добром! Пузо выпуштила... Ты, девка, уж не брюхата ли? А? Че молчишь? Я тебя шпрашиваю?! Ш какой опары ты его нароштила?

НАСТЕНА. Брюхата.

СЕМЕНОВНА. Эва-аа! *(Подпрыгивает на своих больных ногах.)* Эва-а-а! Врешь?!

*Настена показывает головой – что нет, не врет.*

Ты што это? Ты што это говоришь?! Шучка! Шу-у-чка! Ой-е-е-ей! Штыд, штыд какой! Гошподи! Прешвятая богородица! Покарай ты ее на месте. Ее, ее... Побежала! Не дождалашь! И живет, притихла шучка такая! Андрюшка придет, а она уж готовая, уж шподобилась. Штыд-то твой где был? Где он у тебя был, куды ты его дела? Нет, ты, может, издеватьша надо мной надумала?.. Ты... не надо так, не надо. Может, нету ниче?

НАСТЕНА. Есть.

СЕМЕНОВНА *(со стоном).* Ешть. Ешть, говорит. Будто так и надо. Не подавитша штыдом. Андрюшка придет – че мы ему шкажем? Кого держали? Кого пригрели на швой позор? Ить в деревне-то узнают, в деревне-то узнают – гошподи! Куды от штыда-то деватьша? А ей хошь бы хны! Ешть, говорит. Ешть. Побежала, принешла! Кошка! Я тебя, девка, ш первого дня разглядела. Шразу почуяла, какая ты ешть. Кошка! Кошка пакоштливая, блудливая! Брышь отшюда, блудня! Чтоб в избу не заходила! Чтоб духу твоего поганого не было! Уметайша, пока я тебя коштылем не помела. Иди! Иди туды, где была. *(Уходит, бормоча проклятия.)*

*Колокола. Появляется Надька.*

НАДЬКА. Кто это? Ты, Настена? Че с тобой? На тебе лица нету. Стряслось че-нить?

НАСТЕНА. Пустишь меня пожить маленько?

НАДЬКА *(удивленно).* Кого – тебя?

НАСТЕНА. Меня.

НАДЬКА. Да че стряслось-то?

НАСТЕНА. Выгнали.

НАДЬКА. Че ты выдумываешь? Тебя выгнали?

НАСТЕНА *(указывает на живот).* Вот. Видишь?!

НАДЬКА. Че там такое? Неужели?! Это... это самое? Оно, че ли? Настена... Пи-пи-пи! Заправду, че ли? Дак ты откуль его взяла? Ниче не пойму. Погоди-ка, погоди-ка... Это че на белом свете деется? И верно, видать. А никто ниче... Ну, утворила-а! Вот это пикулька-свистулька! Засвистит, засвистит! Нич-че себе! Кто это тебя?

НАСТЕНА. Святой дух.

НАДЬКА. Святой-то святой... Я так и подумала, что он. Больше некому. Интересно же знать. Я, может, сама этого святого захочу испробовать...

НАСТЕНА. Не догонишь.

НАДЬКА. Это не тот ли, который на облигации подписывал? Которого ты в Карду отвозила? Не он? Конечно, если секрет, то не надо.

НАСТЕНА. Пустишь ты меня или нет? Могу я у тебя первое время хотя бы перебиться?

НАДЬКА. Да можешь, можешь. Куда тебя деть? Вместе будем, если что, обороняться. Ну, Настена-а! Рисковая ты, рисковая, не сладко тебе придется. Ниче, вместе станем горе мыкать. Я дак уж привычная. Ты так, с пустыми руками, и пришла? Ниче не взяла? Может, мне сходить собрать там?

НАСТЕНА. Не надо. Я потом сама.

НАДЬКА. Сама. Ты уж досамакалась. Да не вянь ты, не вянь, не пропадешь. Проживем. А то че ж: названье одно, что баба. Нет, ты роди, роди, потом поглядим, баба или нет. Как его хоть звали?

НАСТЕНА. Кого?

НАДЬКА. Твоего святого духа. Имя-то хоть спросила?

НАСТЕНА. Надька...

НАДЬКА. Ну ладно, ладно. Потом... Охота же знать. Мы с тобой не чужие. *(Собирается убегать.)*

НАСТЕНА. Куда ты?

НАДЬКА *(чуть смутившись).* Все равно ведь узнают... Теперь че же, теперь не скроешь... *(Убегает.)*

*Колокола.*

НАСТЕНА. Все чудятся голоса, вроде поют, и поют вроде для меня. Или это только кажется, что для меня? Неужели есть кто-то, кто видит обо мне всю правду и понимает, как тяжело мне? Неужели я все-таки не одна? Совсем одной нельзя... не перенести тогда человеку того, что в нем есть. Кто-то с ним должен быть обязательно... Есть или нет кто со мной? Живой человек или нет? Что ж ты молчишь? Самое время сейчас отозваться тебе. Ты же видишь... ты видишь, что со мной сталось. Или ты думаешь, что этого еще мало и я не вытерпела всего? Господи! Где он, который со мной? Почему он молчит?

*Появляется Михеич.*

МИХЕИЧ. Он здесь, Настена. Не отказывайся, я знаю. Никому не говори, откройся мне одному. Откройся, Настена, пожалей меня.

*Настена молчит.*

Дай один только и в последний раз увидаться. Христом-богом молю, Настена, дай. Не простится тебе, если ты от меня скроешь. Хочу я спросить его, на что он такое надеется? А? Не говорил он тебе? У нас в родове всякие бывали, но чтоб до такого дойти... От стервец дак стервец! Доигрался... Сведи нас, Настена. Из последнего молю – сведи. Надо заворотить его. Ты сама видишь – дальше некуда играться. Хватит. Пожалей меня, Настена, подмоги. И тебе легче будет.

НАСТЕНА. О чем ты, тятя? Что я тебе скажу? Сказать-то нечего. Нету тут никого, придумал ты. Нету.

МИХЕИЧ. Не ври, Настена. Кому ты врешь? Я с тобой по-хорошему хотел. Это ж от него пузо-то твое! От кого еще! Будто я тебя не знаю. Не знаю, какая ты есть. Это ты старухе, бабам сказки рассказывай, а не мне. И ружье ты ему унесла, и много чего стаскала. *(Тычет рукой в Настин живот.)* Вот оно, доказательство-то. Куды ты его денешь? Куды? Я тебя спрашиваю!

НАСТЕНА. Неужели ты, тятя, сам не понимаешь? Я с вашим Андреем четыре года прожила – и ничего. А ты говоришь: доказательство.

*Михеич пятится от нее и уходит.*

Устала, я. Знал бы кто, как я устала. И стыдно... почему так истошно перед всеми стыдно? Господи, где набрала я вины для такого стыда? Неужели только это я и заслужила?

*Входит Надька.*

НАДЬКА *(торопливо).* Слышь, Настена, че про тебя говорят... Говорят, будто ты от родного мужика, а не от чужого пузо-то нарастила.

НАСТЕНА *(уже и без испуга, и без чувства).* От своего оно бы не худо. Да четыре-то года, однако, много будет для пуза? По столько вроде не носят?

НАДЬКА. Это Иннокентий Иванович догадки все строит.

НАСТЕНА. А ты скажи ему: мол, Настена намекает, что ребенок, однако, на него будет походить.

НАДЬКА. Куда ему! Он для того и мутит народ, что сам-то для бабы бесполезный человек. Куда ему, старому хрычу! А мне волю дай да хорошего мужика бы еще – я каждый год бы рожала. На то и баба, чтоб рожать. Я не то, что некоторые, которые одного едва-едва задумают и загодя помирают. Ты где это ночью блудила-то? Я проснусь – нету, проснусь – нету. Под утро, однако, уж заявилась...

НАСТЕНА *(отстраненно).* К мужику своему хотела пробраться, к родному, от которого, ты говоришь, забеременела... Да не дали. Кто-то следом пошел. Пришлось воротиться.

НАДЬКА. Тронулась. Тронулась и есть. Ну и черт с тобой, если ты человечьих слов не понимаешь. Рожай ты скорей и не изводи себя. Ребенка же родишь – не щененка. *(Уходит.)*

*Колокола. Появляется Михеич.*

МИХЕИЧ *(говорит, оглядываясь и запыхавшись).* Слушай, дева. Ежели он здесь, пускай скорей уходит или ишо че, покуль не словили. Мужики, кажись, че-то задумали. Тут у их Иннокентий Иванович верховодит. Милиционера из Карды вызвали, седни приехал. Неспроста это. Проклял бы я тебя, дева, что не дала мне с ним свидеться, да на твою голову и без того достанет хулы. А грех этот на тебе, никуды тебе от его не деться. И он тоже гусь – с отцом испугался поговорить, A-а, ну вас! Поняла, что я тебе сказал?

НАСТЕНА. Поняла. *(Вкладывая иной смысл.)* Все поняла.

МИХЕИЧ. Уговори его: пускай сам выйдет, покуда не словили. Словят, все равно ведь словят, раз выказалось. Скажи ему как следует, втолкуй. Скажи, что я знаю. Вот натворил дак натворил! *(Уходит.)*

*Колокола. Настена с веслом идет, поднимаясь в глубину сцены. Темнота. Голоса в темноте.*

ГОЛОС НЕСТОРА. Вон она, вон! Погребла. Предупредить захотела. Не выйдет, голуба, не выйдет.

ГОЛОС ИННОКЕНТИЯ ИВАНОВИЧА. Вторую лодку сталкивай. Скорей! Скорей!

ГОЛОС УПОЛНОМОЧЕННОГО. Достанем!

НАСТЕНА. Стыдно... Всякий ли понимает, как стыдно жить, когда другой на твоем месте сумел бы прожить лучше.

ГОЛОС МАКСИМА. Настена! Не смей, Настена! Насте-о-о-на!

НАСТЕНА. Нет, сладко жить, страшно жить, стыдно жить...

*Колокола. Зеленый речной свет заливает сцену, будто хлынули на нее воды Ангары. Темнота и голоса:*

– Да вы ниже гребите!

– Теперь греби не греби...

– Ниже смотрите!

– Теперь смотри не смотри...

*Свет. Пустая лодка, с борта которой свешивается платок. Захлебываясь, гремят колокола.*

ГОЛОС НАСТЕНЫ. Сладко жить... Страшно жить... Стыдно жить...

**К урокам 29-30.**

**Валентин Распутин. «Дочь Ивана, мать Ивана».**

**Валентин РАСПУТИН**

**ДОЧЬ ИВАНА, МАТЬ ИВАНА**

*Повесть*

**Часть первая**

Кухонное окно было над подъездом, над его визгливой дверью, голосившей всякий раз, когда входили и выходили. В том нетерпении, горевшем огнем, в каком находилась Тамара Ивановна, она бы услышала звук двери из любого угла, даже из спальни на другой боковине квартиры, где уснул муж, но уже несколько часов продолжала стоять у окна, точно вытянувшаяся струна, направленная в улицу и ожидающая прикосновения. Но там было темно и глухо. Световое пятно от лампочки у подъезда едва доставало до низкого штакетника, которым огорожен сквер и детская площадка в нем среди высоких, шатром разбросавших ветви, старых тополей. И никто в него, в этот недвижный и блеклый световой круг, не входил. Тамара Ивановна была так напряжена, и сама пугаясь продолжительности накала внутри, до сих пор не испепелившего ее, что заметила бы любую тень в черном до темна сквере и услышала бы любой скрад шага из-за угла, если бы они только явились. Но нет, все замерло и оцепенело. С улицы, загороженной и приглушенной спящими домами, поначалу еще пошумливали машины: точно запоздавшие птицы снимались с кормежки, теперь и там вымерло.

Самый глухой час ночи, наверное, уже больше трех.

Муж спит. Как же все-таки по-разному устроены мать и отец: разве она могла бы уснуть? В детях, может, и есть половина отца, да только малая она, эта половина, без вынашиванья и без того вечного, неизносного присутствия в своем чреве, которое чувствует мать. И, рожая дитя свое, превращающееся затем во взрослого человека, не все она в родах и корчах выносит наружу: впитавшееся в стенки то же самое дитя остается в ней навсегда. И не сердце одно болело теперь у Тамары Ивановны, а вся она превратилась в сгусток боли, все в ней исходило в пытке. Но скреблось что-то и отдельно, особой болью, скреблось и скреблось, разрывая ткани и выстанывая одно слово. Скреблась она, Светка, зовущая мать...

Вечером, когда началась эта пытка, Анатолия, мужа, дома не было. Но Тамара Ивановна знала, что он у Демина, они затевали какое-то общее дело, уже с месяц дальше разговоров никуда не продвинувшееся. Заводилой был Демин, более решительный и опытный в новой жизни. Он сразу же, как только покатилась старая жизнь с высокой горки, грохоча, кувыркаясь и разбрасывая обломки, ушел с автобазы, где они с Анатолием сошлись до дружбы, поработал где-то снабженцем, а теперь имел свой киоск на центральном рынке и торговал всяким шурум-бурумом от электролампочек и краски до запчастей к автомашинам. Анатолий же застрял на базе, которой отдал двадцать лет, все реже и реже выезжал в рейсы, да и то пустяковые, возвращался обратно – стыд сказать! – то с дровами, то с навозом, а то и совсем порожняком. Терпел, терпел и дотерпелся до того, что выставляли его теперь на улицу. Отрубалась безжалостно за ненадобностью не только часть жизни, но и часть души: там, на автобазе, и встретил он Тамару, три года она рядом с мужиками крутила баранку.

Тамара Ивановна отыскала его по телефону у Демина уже после одиннадцати вечера. До этого она сбегала на соседнюю улицу к Светкиной подружке Люсе, рослой и пышной девчонке, которую можно было принять за совсем вызревшую женщину, если бы не откровенно кукольное лицо – круглое, с большими вращающимися глазами и щеками-подушечками. И по этому лицу, деланно испуганному и одновременно восторженному, нельзя было понять, говорит ли девчонка правду, будто она видела Светку только днем. Видела на рынке, они ходили спрашивать про работу, с ними была и Лида Тополь. Работы не сыскалось, и она, Люся, уехала, оставив подружек возле торгового комплекса. Когда уходила, заметила, как к Светке и Лиде подошел какой-то парень кавказской национальности в джинсовой куртке.

Один был толк от этого похода: Люся назвала адрес Лиды Тополь, та жила далеко, в микрорайоне.

После того, возвратившись домой, Тамара Ивановна и позвонила Анатолию и уже без всяких сомнений сказала, что Светка потерялась. Такого еще не бывало, чтобы она приходила позже девяти. Этот час и был ей указан как домашний порог, и задержаться где-нибудь по своей воле после девяти она бы не решилась. Ивану, младшему на год, дозволялось больше, он мог летом, как сейчас, носиться хоть до полуночи, и никого это не пугало: парень. И совсем иное дело – девчонка шестнадцати лет, хорошенькая, нетвердая, любопытная, уже и к этой поре соступившая с проложенной дороги. Она пошла в школу рано, шести лет, и рано же, после девятого класса, бросила школу, заразившись поветрием, невесть откуда налетевшим, что учиться необязательно. Пошла на девятимесячные курсы продавцов, поближе к красивой жизни. Закончила эти курсы, а на работу не берут: несовершеннолетняя. И вместе с подружками, с которыми училась на курсах, принялась похаживать на рынок, выпрашивать торгашеское занятие, трясти перед покупателем хозяйским товаром.

Вот так.

Анатолий приехал с Деминым, в деминской машине. Тамара Ивановна, не находя себе иного места, вот так же стояла возле кухонного окна и видела, как беззвучно и валко, вышаривая в густых сумерках дорогу в узком и дырявом, яма на яме, проезде, подплыла «семерка» и выскочил Анатолий, а выскочив, застопорил, поджидая Демина. Так легко было догадаться: не хотелось ему одному подниматься сейчас в родное гнездо с нагрянувшей туда угрозой и встретить испуганный и требовательный взгляд жены. Но и Тамара Ивановна вздохнула легче, увидев Демина. С ним надежней. Демин выбрался из машины и, как всегда, горбатисто, клонясь вперед, со свисающими с плеч длинными руками, похожий на первобытного человека, каким рисуют его в школьных учебниках, первым шагнул в подъезд. А войдя в открытую дверь, поняв по напряженному лицу Тамары Ивановны, что девчонки по-прежнему нет, сказал по обыкновению гулко и с хрипотцой:

– Не паникуй. Рано паниковать. Время-то еще детское.

Но все услышали, в том числе и сам он, что это были только слова. Ненужные слова.

Оставили дома Ивана, наказав ему не ложиться, пока они не вернутся, дежурить неотлучно у телефона, и вышли.

Поехали.

Ночь наступала теплая, темная и вялая, должно быть, к дождю. Прохожих уже и не было, зато разудало, почуяв свободу, неслись машины, в три-четыре года свезенные сюда со всего света, чтобы устраивать гонки. И эти гонки на чужом были теперь во всем – на тряпках и коже, на чайниках и сковородках, на семенах морковки и картошки, в обучении ребятишек и переобучении профессоров, в устройстве любовных утех и публичных потех, в карманных приборах и самолетных двигателях, в уличной рекламе и государственных речах. Все хлынуло разом как в пустоту, вытеснив свое в отвалы. Только хоронили по-старому. И так часто теперь хоронили, отпевая в церквях, что казалось: одновременно с сумасшедшим рывком вперед, в искрящуюся и горячую неизвестность, происходит и испуганное спячивание назад, в знакомое устройство жизни, заканчивающееся похоронами. И казалось, что поровну их – одни, как бабочки, рвутся к огню, другие, как кроты, закапываются в землю.

Ехали молча, только Демин покряхтывал, когда подрезали его иномарки или ослепляли мощными встречными фарами, не считая нужным переключаться на ближний свет. Спустились в центр, по старому мосту перескочили на левый берег Ангары, повернули вправо и оставили город позади. По сторонам встала темнота. Чтобы не оцепенеть, Тамара Ивановна на заднем сиденье, пригибаясь и выворачивая перед стеклом голову, принялась высматривать в небе звездочки. Их не было, широко стояло там, в высоте, как болотная ряска, радужно-гнилое свечение от электрического разлива города. Тамара Ивановна, не отыскав звездочки, стала вспоминать, загадывала ли она что-нибудь, высматривая их, но не могла вспомнить, словно разошлась, разделилась уже на две части, меж которыми слабое сообщение.

– Тихо едем? – по-своему понял ее шевеление Демин.

– Да нет, Демин, не тихо. Торопиться раньше надо было, – уже себе сказала она. А ему добавила: – Как въедем, у второго или у третьего светофора направо.

– Точней некуда, – хмыкнул Демин. После молчания они рады были любым словам.

– Да... вот... – начал и Анатолий, и не сложилось у него, что он хотел сказать.

– Где «вот»? – не понял Демин.

– Где что?

– Ты сказал: вот. Где «вот»?

– Вот не знаю. Я тут не бываю, – сказал Анатолий так простодушно, что Демин хохотнул.

Долго искали улицу по названию Черемуховая; если судить по названию, должна была она находиться на краю микрорайона и быть деревянной. Сворачивали и у второго светофора, и у третьего, утыкались то в болотину, то в ангарский берег, у каждого перекрестка останавливались, наводили свет на угловые дома и заборы, чтобы отыскать надпись, но микрорайон в этой стороне на постороннего человека не был рассчитан и имена своих улиц не оставлял. Спросить было не у кого, шел первый час ночи. Только однажды разглядели они фигуру, крадущуюся по тротуару вдоль забора; Демин, опустив стекло, окликнул ее с дружелюбием, на какое был способен, но фигура, походившая на подростка, вдруг сделала мгновенный прыжок и провалились сквозь землю. Деревянные дома лежали в темноте, какой-то особенно плотной, словно из освещенного центра она вся отступала сюда; в каменных, этажных домах освещенных окон было больше, но попробуй достучись, доберись до них за двойными и тройными запорами.

Тамара Ивановна из машины не выходила. Отвалившись на спинку сиденья, упершись коленями в переднее сиденье, в странной напряженной забывчивости ждала, когда найдется нужный дом. Тупо смотрела она в темноту и еще тупей в запутанные ходы тоннеля, по которым, вспарывая перед собой фарами черную плоть, колесила машина. Замечала и не замечала, как мигает светом Демин редким встречным машинам, прося остановки, не возмущалась и не удивлялась, чувствуя в этом какое-то даже утешение, когда те проскальзывали мимо и прибавляли ходу. Наконец одна, храбрая, затормозила. Демин зашагал к ней, к нему вышел коротышка, похожий на бочонок, и, разминая ноги, точно приплясывая перед огромным Деминым, принялся крутить руками.

Черемуховая оказалась вовсе и не в стороне, а рядом с центральной улицей, протянувшейся через весь микрорайон, и оказалась она переулком всего с несколькими четырехэтажными домами. Остановились у подъезда, конечно же, забронированного железной дверью, совсем темного, во мраке как бы вдавленного внутрь. Демин на ощупь воткнул в круглую дыру один зубристый штырь, потом второй – дверь щелкнула и подалась.

– Мне идти? – спросил он у Тамары Ивановны.

– Не надо.

И вот перед нею и Анатолием вторая Светкина подружка – с вытянутым вперед узким зверушечьим лицом на сдавленной по бокам голове и с живыми, мечущими мгновенные взгляды, круглыми мигающими глазами. Высокая, черноволосая, сметливая, старшая рядом со Светкой и Люсей, она бывала у Воротниковых. Тамара Ивановна мимоходом присматривалась: кто из них верховодит? И не высмотрела, все они притягивались друг к другу какой-то равно невеликой силой – как временные попутчицы, ищущие общих занятий. Но эта, Лида, была хитрее. Встроен был в нее особый инструмент, дающийся не всем, на котором она умела играть. Есть люди, нисколько не скрывающие, что они хитрят, хитрость у них написана на лице, выдающем поиски замысловатых боковых ходов, но так она располагающа, такой она кажется невинной и бестолковой, более того – приятной, что никаких подозрений она не вызывает.

Лиду подняли с постели, и теперь она, испуганная, с нервно двигающимися тонкими губами, в коротком и узком застиранном халатике, едва сходящемся на скромной груди, стояла возле круглого голого стола рядом с зашторенным окном. По другую сторону стола сидела мать, вялая и невыразительная женщина с таким же, как у дочери, вытянутым лицом, подавленная не приходом непрошенных гостей среди ночи, а подавленная чем-то давно и безысходно. Глаза ее смотрели пронзительно и устало, с какой-то пронизывающей тупостью. Тамару Ивановну и Анатолия усадили на диван, уже раздвинутый для сна, со скатанной в валик постелью.

Лиду застали врасплох, она не знала, как отвечать. И отвечала осторожно, выдавая недосказанное подергиваниями плеч, то ли себя выгораживая, то ли Светку. Прежде чем говорить, спросила: а что сказала Люся? Сказала, что она уехала? Нет, не обманула, вправду уехала. А к ним возле торгового комплекса подошел парень. Он на рынке фруктами торгует, приезжий. Как зовут? Он сказал, как зовут, я нерусские имена не умею запоминать. Говорил? Он к Светке приставал, говорил, что она ему понравилась, он к Светке не в первый раз подходит. Говорил: зачем ты меня обманула, тебя зовут не Марина. Сказал... город ему понравился, просил показать город... Я, говорит, поймаю машину, вы мне покажете. Нет, не согласились. Мы уходим, а он не отстает, прилип. Кое-как убежали. Потом Светка пошла к дяде Володе, а я поехала домой.

Дядя Володя – это Демин, у него на рынке киоск, куда Светка и верно забегала частенько.

Расспрашивал Анатолий, Тамара Ивановна не вмешивалась. Она и слушала, казалось, вполуха, занятая пристальным и тяжелым изучением обстановки в этом жилье. Двухкомнатная квартира была запущенной, до последней бедности оставалось немного. Ржавые потеки с отставшей известью на потолке, когда-то зелененькие обои, выцветшие, померкшие, разлохмаченные в швах. Мать пьющая, взгляд застывающий, невидящий. Пьющая, должно быть, не в последней стадии, есть еще куда падать. Продолжает обманываться, что устоит. Мать с дочерью не в ладах, доходит до крика, а потом мать плачет перед дочерью, а потом дочь плачет в одиночестве. И рвется вырваться, и боится опоздать, рано услышав в себе беспощадный отсчет времени. Большой рыжий кот трется о ноги, вычесывая шерсть, и просительно задирает голову, в глазах тоска...

– Все рассказала? – спросил Анатолий.

– Все.

И тогда, уставив беспощадный взгляд на подружку дочери, Тамара Ивановна отчеканила:

– Вот что, милая. Ты рассказала... как ты рассказала – нам надо сейчас ехать в милицию и писать заявление. Светки-то нет, она пропала. Ты была последняя, кто ее видел. Дядя Володя внизу в машине, Светка к нему не приходила. Мы напишем заявление и еще до утра милиция приедет с допросом. Там другой разговор будет. Так что давай-ка дальше. Ты не все рассказала.

– Я все рассказала.

– Когда вы со Светкой разошлись?

– Не помню точно... часов в пять.

– А когда ты приехала домой?

Лида молча вела какие-то подсчеты; мать ответила за нее:

– Часов в девять. – И сказала дочери без нажима: – Рассказывай, Лидия, затаскают.

Видно было, что девчонка струсила, уже не только по губам, а по всему лицу стали прокатываться судороги, подсчеты подходили к тому концу, куда направляла их Тамара Ивановна.

– Вы вместе куда-то пошли или поехали? – наступала она.

– Поехали...

И рассказала, сначала под продолжающимися вопросами, а затем уже и без них, говоря и испуганно взглядывая на Тамару Ивановну, пугаясь ее вида и говоря уже с отчаянием, – рассказала подружка, что кавказец, узнав, что они продавцы без товара и ищут работу, предложил им поехать к своему двоюродному брату, тот ищет таких, как они, потому что ему надо срочно распродать большую партию китайских товаров. Они долго не соглашались, но парень настаивал, показал какой-то документ, говорил, что это недалеко и они скоро вернутся, у него яблоки на прилавке, ему задерживаться нельзя. Пока они раздумывали, он остановил машину, затолкал упирающихся девчонок и сказал шоферу, куда ехать. Ехать действительно было недалеко, на бульвар Постышева, в общежитие для малосемейных. В однокомнатной квартире был старик, он сразу ушел. Никакого брата не оказалось. Они просидели часа два, пили чай, парень предлагал вино. Но вино не пили. Всякий раз, когда они поднимались уходить, он кричал: «Придет! Придет!» Это он о брате. Потом стал говорить, что он знает, где брат, надо поехать к нему, тут тоже недалеко. Чтобы выбраться из этой квартиры, они согласились, хотели обмануть его. На машине ехать отказались, пошли на трамвай. Парень взял Светку под руку и не выпускал. На трамвайной остановке было много народу, но он все равно не выпускал, как она ни вырывалась. Там, на остановке, она от них, от этого кавказца, вцепившегося в Светку, сбежала.

Ко всему была готова Тамара Ивановна, но все равно как топором ее оглушило. Анатолий расспрашивал, как найти это общежитие для малосемейных; девчонка, повторяя «визуально», «визуально», нравящееся ей, очевидно, звучанием, как и большинство чужих слов, довольно толково рассказала, где оно и как отыскать квартиру.

Возле общежития Тамара Ивановна и из машины выходить не стала, сидела, уставившись в темноту, дышала с подсвистом, как больная, и ничего, кроме затвердевшей, туго спеленавшей ее черноты, не ощущала. Чувствительность и боль нахлынули потом, когда, воротившись домой ни с чем, встала она в одиночестве возле кухонного окна под наплывающие и все жуткие, все обдирающие сердце картины того, что могло быть со Светкой.

\*\*\*

Муж называл Тамару Ивановну телеграфисткой. Она и верно начинала в городе с того, что работала после курсов на телеграфе и усвоила, не будучи от природы словоохотливой, четкий и сжатый стиль разговора. На болтливость она смотрела как на распущенность, как на неумение владеть собой, и попервости, как сошлись, нередко с удивлением и даже с некоторой завистью к не свойственному ей таланту, останавливала Анатолия, любившего пускаться в длинные рассуждения:

– Удила бы тебе от уздечки под язык, чтоб поменьше молол! Гнет бы какой, чтобы он усталь знал, не балаболил, как заводной, – и прищуривала свои красивые карие глаза, видя, казалось, всю гору мякины, которую мог он намолоть, если не остановить.

Он не оставался в долгу:

– На меня уздечку, ладно, уздечку, а тебе подрезать бы его маленько, язык-то твой, – подрезают же ребятенкам в детстве, когда он врастет в гортань, как полено. А эту девочку упустили, она только и знает, что тпру да ну!

– Тпру-у! Замолчи, ботало!

– Вот-вот.

И – как накаркала Тамара Ивановна: в последние годы прикусил Анатолий язык. Такой гнет свалился на них, так придавил, что и сказать оказалось нечего, всякое слово, если не произносилось оно для самой простой житейской надобности, стало представляться не просто пустым, а и чужим, словно бы сказанным по наущению через тебя для твоего же унижения.

Они оба были крепышами, прочно и аккуратно сбитыми по одной мерке, вызывающими, когда шли рядом, удовлетворенные взгляды – как от хорошего сорта чего бы то ни было. Она ходила по-мужски, уверенным и размашистым шагом, «ступью», как говорили раньше, желая сказать о весомости шага, чувствуемого землей. Да и все делала с заглубом, с запасом: если разводила стряпню, то на две семьи; картошки накапывали, капусты насаливали больше, чем могли съесть, и корила себя за это, и ничего не могла с собой поделать, а оказалась права, когда наступили времена, что любого запаса стало мало. К Анатолию присматривалась почти год, прежде чем сказать «да» и позволить себя обнять; через год после дочери родила сына и сразу же пошла на третью беременность, да жестокая желтуха заставила отказаться от родов. Почти до тридцати годов носила русую косу во всю спину – из одного только упрямства, из сопротивления моде, по которой весь женский пол поголовно смахивает косы, как связанные овцы шерсть, – пока не прочитала в одном из старых журнальных советов, что невысоким и широколицым девушкам коса не идет. Ну, не идет так не идет – всему старому она доверяла больше, чем новому, – и смахнула, а потом долго смотрела на себя в зеркало с досадой, будто все сразу в ней, и без того не рослой, стало короче – и ноги, и руки, и шея. И больно кольнуло, когда Светка, в пятом, кажется, классе запросилась под ножницы: ну как девочке без косы, прямо разор какой-то, ведь не косу она в малолетстве убирает, а жизнь направляет. Мода? Да что это за владычица такая, что все перед ней на колени, никто устоять не моги?! Торговка это, устраивающая перемену товара, наживающаяся на всесветном раболепии. Но и сама одевалась хоть и не броско, но по моде, дав моде притереться в народе, приглядевшись, что в ней хорошо и что нет. Джинсы – да ведь это крепчайшая, хоть на камнях дери, ткань; эту моду давай сюда. Кожаные куртки пошли – да ведь кожа испокон была у нас в носке, забыли о ней по великой бедности, а миновала нужда, и о коже пора вспомнить. Она и представить себе не могла, что совсем не за долгими годами суждено ей быть закройщицей на фабрике, да не на какой-нибудь, а на кожаной, и фабрика эта к той поре станет называться фирмой.

Она рано убежала из деревни, еще и семнадцати не исполнилось. Все они рвались тогда в город, как бабочки на огонь, и сгорали в нем. Сгорали одни сразу, в первые же годы, другие позже, но кончалось, за малыми исключениями, одинаково – загубленной жизнью и бабьей обездоленностью. Повыдергают у не опытной еще, еще не запасшейся умишком девчонки перышки, а там лети. Тамара Ивановна могла считать себя везучей – при надежном муже и неиспорченных детях, умевшая оберегаться и от безоглядного сломяголовства в опьянении новизной, и от цыплячьей доверчивости, этими двумя нетерпеливыми вожатыми, которые и приводят деревенских девчонок к беде. Тамара Ивановна продвигалась вперед неторопливыми и выверенными шагами, выстраивая свою судьбу как крепость, без единого серьезного ушиба, только дальше и дальше.

Но странная это была прямоходность – не подхватывающаяся из одного в другое, не выматывающая одну нить, все обрастающую и обрастающую новой нажитью, а топорщилась эта нить на подвязах узелками. И все подвязы имели начало там, в деревне. Родилась девочкой – значит должна была, в свою очередь, рожать, обихаживать и воспитывать детей, натакивать их на добро. И никаких ошибок тут, если дети живы-здоровы и знай себе растут под родительской опекой, казалось, и быть не могло; не считать же за ошибку повторяющуюся беременность... Но и это только казалось. В телеграфистки пошла – запала в память прочитанная в детстве книжка о молодых радистках на войне. Читала она ее летом на сеновале, прячась, чтобы не нашли и не помешали. Все вокруг звучало и пело в торжестве сытой природной жизни, надрывались петухи, утомленно и гулко трубили возвращающиеся с поскотины коровы, напевали ласточки над головой на крыше, тарахтел трактор на холостом ходу, то взвывая мотором, то переходя на усталый бормоток. В воздухе стоял сплошной гул от мухоты; от дыха низкого вечернего солнца похаживал по сеннику, по сухому, измятому в лепешку прошлогоднему накосу, слабый ветер. И мать кричала с крыльца, растягивая «а»: «Томка-а-а!», прерывая себя коротким и нетерпеливым на «о»: «Томка, лешая, куда ты запропастилась!» А Томка, как в младенчестве, уткнувшись лицом в открытую книгу, чтобы ее не было видно, выжидала, когда стихнет зов, и снова хватала, хватала воровато куски из книги и никак не могла насытиться.

Ничего в памяти из книги не осталось, кроме того что героиня в чувственном отчаянии посылает в эфир признание в любви молодому лейтенанту, отозванному в другую часть, те самые слова, которые она не решалась сказать при встречах с ним. Но осталась затаенная мечта тоже что-то посылать в эфир, в это могучее и прекрасное пространство, посылать личное, несказанное, такое, отчего вознеслась бы сразу и расцвела вся ее неказистая жизнь. Остался звучащий на разные голоса, но одно выпевающий, одно обещающий, как оркестр, небесный простор, и то счастливое до блаженства состояние, когда она, покачиваясь, как на волне, вздымаясь и опускаясь, плыла и плыла по его золотистому безбрежью. И, наткнувшись в городе на объявление о наборе на курсы телеграфисток, ни минуты не сомневаясь, она по нему и пошла.

Два года проработала на телеграфе – все не так, как мерещилось. Сначала нравилось, но больше, пожалуй, от тихой гордости собой: захотела и исполнила свою грезу, ничто не смогло остановить. Потом стало обручем давить однообразие работы и унылые тексты телеграмм, которые можно уложить всего-то в десяток образцов: поздравления, оправдания, просьбы, похороны, рождения, приезды и отъезды... Стали замечаться и дым коромыслом в туалете от курящих девчонок, и неинтересные, неискренние разговоры в коридоре, и грубость старшей по смене, и выжженный электричеством воздух в операторской. Оказалось, кроме того, что и душу ей послать в эфир некому. Она ушла из телеграфисток, так и не взлетев ни разу в это великолепное и гулкое пространство, по которому лучиками и звездочками мчатся навстречу друг другу неземной любви признания.

Отец научил Тамару в четырнадцать лет водить мотоцикл, в пятнадцать она села за машину. Поэтому, недолго размышляя, чем ей заняться, пошла она после телеграфа на курсы шоферов, а потом устроилась на автобазу облпотребсоюза, где и встретилась с Анатолием Воротниковым, своим будущим мужем. Он, как это и заведено было среди мужиков, все звал ее в напарницы для дальних рейсов, пока она не ответила насмешливо:

– Зовешь, а сам боишься: а ну как соглашусь!

Он с растерянным смешком согласился:

– Боюсь. Заклюет братва. Но и не хочу, чтоб ты к другому пошла в напарницы. Тогда уж лучше ко мне. Я не обижу.

Кончилось тем, что она пошла к нему в напарницы для самого дальнего и тяжелого рейса – для жизни.

В шоферах ей нравилось. Любила она, когда в дороге на нее оглядывались – женщин за баранкой тяжелых машин тогда было раз-два и обчелся, и на тракте, во встречном потоке, парни в мгновенном ухажерстве вскидывали дурашливо руки, округляли глаза, сигналили, а пожилые, с большим стажем, водители, должно быть, фронтовики, одинаково склоняли головы и прикладывали руку к виску, отдавая честь. Нравилось ей это дорожное братство людей, занятых тяжким и важным делом. Любила ровное гудение мотора, свист разрываемого воздуха, стукоток кузова за спиной, научилась чувствовать, будто в себе самой, и натяг мотора, и тяжесть груза, и то, как он уложен, и меру сцепления резиновых скатов с асфальтом. Особенно любила утренние и вечерние часы в дороге; утром свежо, воздух упругий, тело после ночи отдохнувшее, ловкое, жаждущее движения, словно бы разматывающее и разматывающее, как лебедка, силы, и машина тоже все разбегается и разбегается, становится все мощней и послушней, и вздохи ее при переключении скоростей все легче. Вечером, особенно осенью, при заходящем солнце, оно, большое, наплывшее, играет с нею, перекидывается с левого борта на правый и обратно, приседает совсем низко к горизонту и вдруг откидывается, ищет для прислона неколючий выгорбок; в небе плавно качаются большие птицы; кружатся перед глазами разряженные перелески; капот разрисован травяной пыльцой причудливыми картинками. Вечерами в уставшем теле является какая-то особенная, спокойная и зрячая, все замечающая, на все откликающаяся, любовь к жизни.

Ей досталась крепкая, ходившая в хороших руках, машина ЗИЛ-130 и она года два не знала с нею горюшка. А если где в дороге приходилось притормаживать и задирать капот, склоняясь над ходовым хозяйством, уж как пить дать скоро кто-нибудь подъезжал и предлагал помощь. Тогда это было делом обычным. Но она и сама хорошо разбиралась в машине, тоже с деревни еще, от отца. Да и в дальние рейсы ходила мало: не приспособлены они для женщины. На постоялых дворах одно мужичье, так что и места не найти, назойливое внимание, грубые шуточки. И она стала соглашаться только на поездки, укладывающиеся в день. На базе их, женщин за рулем, было всего трое; одну, разбитную безмужнюю Клавку, называли почему-то Брашей и распевали:

Куды Браша, туды я, Туды я, тудыт меня...

Вторая, с двадцатилетнем стажем за рулем, крупная, с вырубленным грубо лицом, пугающая Тамару своей мужиковатостью, бесстрашная и громкая Виктория Хлыстова не боялась ни начальства, ни мужиков, ни дорог, ни постоев. И начальство, и мужики ее побаивались. Глядя на нее, бабе можно было поучиться постоять за себя в мужичьем коллективе, но заодно надо было учиться и не перебирать в этом умении до потери в себе женщины. Главный же урок, который выучила Тамара Ивановна, присматриваясь к Виктории, было понимание, что нельзя тут, среди этого неженского дела, задерживаться надолго, иначе и сама не заметишь, как превратишься в железяку.

Она уходила по беременности, но на родившейся девочке не остановились, вслед за первой беременностью решились под запал на вторую – и ушла совсем. Маленьких надо было устраивать в ясли – и устроила бы, упорства ей не занимать, но как представишь: утром чуть свет бегом тащить их, полусонных, силою вырванных из постели, одну на своих ножонках, упирающуюся и всхлипывающую, второго на руках, а потом вприпрыжку на работу, вечером надо вовремя поставить машину, вовремя забрать ребятишек домой, а что такое на разъездной грузовой машине «вовремя», там все часы, весь порядок кувырком; как представила все это, надрывающее ребятишек и себя, и с решительностью, привыкнув все делать решительно, устроилась рядом с ними нянечкой. После шоферов – попки вытирать; после мужской, полетной удалой работы – внаклонку, чуть не ползком, в глухих стенах, всегда с мокрыми руками; после упругого, струйного, песенного звука мотора – беспрестанно вязкий и надрывный крик. «Ну, развели опять ораторию», – добродушно ворчала заведующая, рыхлая и томная бурятка с печальными глазами и больными ногами, по имени Олимпиада Иннокентьевна, всегда, зимой и летом, кутавшаяся в пуховую серую шаль. Тамара Ивановна, толком не зная, что такое оратория, воображая только, что это должно быть что-то громкое и напыщенное, что поется в театре, полюбила это слово; пройдет три года, она сама поднимется до заведующей и, точно так же входя в ползунковую группу, с которой начинала и в которой никогда не стихал надсадный ор, будет с удовольствием повторять: «Развели опять свою ораторию» и с насмешкой смотреть на себя в большое, в рост человека, дымного стекла зеркало в прихожей, не переставая удивляться, как она здесь оказалась. У нее было острое, как у животного, чувственно сильное восприятие жизни с необыкновенно развитым обонянием, перелившимся, должно быть, из глубокой древности, еще в детстве она различала запахи даже в ключевой воде, которую пила; ей казалось, что она чувствует приближение опасности из самого воздуха, когда он только еще занимается тревогой, и шесть лет, отданных садику, казались ей не жизнью, а робким и невнятным топтанием возле жизни, словно ходишь, ходишь кругами рядом, а решимости проникнуть внутрь не хватает. Ей этого было мало, ее натура требовала большего. Но что же! – отслужить эту службу ради ребятишек надо было, и Тамара Ивановна ни разу не позволила себе пожалеть о своем затянувшемся сидении с сопливыми ангелочками.

Потом ребятишки пойдут в школу, и быстро рассеются у нее воспоминания о яслях-садике, будто их и не было. Останется в памяти почему-то рослая грудастая деваха Евдокия с широким красивым лицом и тяжелыми руками и ногами, с напористым эхозвучным голосом, за который ее прозвали Сормовской – в честь знаменитого волжского завода. Дуся Сормовская числилась воспитательницей в садиковой группе и в свои восемнадцать лет нажила закоренелую страсть не ставить ни во что мужиков. Всякий раз, изготавливаясь к атаке, она находила против них столь серьезные доводы, что спорить с нею было трудно. Ясельные и садиковые группы соединял тоннелеподобный полутемный кирпичный коридор с узкими и высоко задранными бойницами окон, гулкий и неуютный, из него и выплывала Евдокия с припухшими от скуки большими ленивыми глазами, не знавшими краски. Ее тут же кто-нибудь поддевал:

– Не влюбилась, Сормовская? Никакой мужчина еще не зауздал тебя, кобылицу?

– Муж-чина, – презрительно растягивая слово, Дуся кривила полные, аккуратным ровиком округлившие рот губы. – Вы только посмотрите: муж-чина... А почему мужчина? Это слово женского рода. Женщина, к примеру, это она, она и есть женщина. И мужчина тоже она, а не он.

– Как же не он? А кто? Что ты городишь? – обязательно находился кто-нибудь, и не из девчонок, а из поживших, пожилых баб, кто тут же втягивался в спор.

Дуся неторопливо выбирала место, где шевелящихся под ногами карапузов было меньше, прочно устанавливалась на нем раздвинутыми ногами под короткой юбочкой в обтяжку, и принималась вразумлять:

– Название-то не мужское. Посмотрите. Муж-чина. Скарлатина с таким же окончанием – это она, скарлатина. Скотина – она. Щетина, ангина, равнина – все она...

– Дружина, дрезина, резина, калина-малина, стремнина, осина... – наперебой начинали подсказывать воспитательницы.

– Пропастина, образина, кручина, лучина, пучина, картина, турбина...

– Вот! – торжественно провозглашала Дуся. – И что из этого выходит?

На Дусю смотрели насмешливо и обескураженно: в самом деле что-то не то выходит. Ползунки и те, взволнованные собранием, задирали головёнки и застывали.

– Не может быть! – подавался опять голос в защиту мужчины. – Должны быть мужские слова.

– Говори, если должны быть.

– Сразу на ум не приходят.

– И не придут. Нету таких слов. Русский язык давно разобрался с этим мужчиной. Кисель он, студень... одно выражение мужское. Выраженец.

– Евдоки-и-я! – раздавалось из садикового отсека. – Сормовска-а-я! Эй вы, ясельки! Турните вы ее от себя, чтоб место знала! Христом-Богом молим: турните! У нее ребятишки убиваются, а она дурью своей бродит трясет!

Дуся сочувственно кивала на крик и выстанывала мощный, трубный вздох из одной истинной правды. Бабам не хотелось отпускать ее победительницей.

– Что ты так на них окрысилась-то? – спрашивали ее. – Как на вражину! Чего тебе от них надо?

– Чего надо! Мужика хорошего надо. Чтоб промял до кости, повытряс гонор-то. Сразу шелковой станет.

– Ребятенков своероженых надо. Втрескаться надо так, чтоб из глаз искры сыпались.

Дуся, уходя, отдразнивалась:

– Тю-тю-тю, тю-тю-тю. Прозявили жизнь попусту, а теперь оправдание себе ищете.

...Ушла Тамара Ивановна из садика, когда вслед за Светкой подоспел к школе и Иван. Больше ей делать там было нечего. Будто вместе с выросшими дочерью и сыном вышла она из возраста, который доставлял удовольствие и терпение возиться с малышами. Как у роженицы появляется грудное молоко для кормления ребенка, а потом в свой срок исчезает, почувствовала она в себе вычерпанность от долгой нутряной истяги. Будто однообразные и невыразительные круги крутила над солнечной сердцевиной жизни. Захотелось движения, жизни, физической усталости от здоровой работы.

\*\*\*

Утром, так и не приклонившись к подушке, она подняла Анатолия рано: надо было что-то делать. Он, поспавший, но не выспавшийся, пил крепкий чай и, зевая, оглаживая лицо, снимая с него сон, одурь и нерешительность, сидя в кухне напротив окна, угрюмо смотрел в него по тополям, только-только выпустившим зелень. Воздух, окаймлявший ее, был фиолетовый, без солнца. Подошла Тамара Ивановна и села напротив.

– Ну что, отец, делать будем? – требовательно спросила она, выставив руки и сцепив пальцы в замок.

– Не знаю, мать, – в тон ей ответил он и отвел глаза. – Не знаю.

Она посидела еще, маятно откидываясь назад и оборачиваясь к окну, возле которого ночью высмотрела глаза до синяков под ними, и вдруг стукнула кулаком по столу, крикнула в никуда:

– Да как же так!.. – и вышла, удивленная собой.

Анатолий соскабливал с лица выросшую вдвое гуще за вчерашний вечер щетину, когда позвонил Демин. Он даже и вопроса не задал, ждал, что скажут.

– Нету пока, – сказал Анатолий каким-то новым, прыгающим голосом.

– Я у себя буду, в киоске, – объяснил Демин. – Если часам к десяти пришлете мне кого-нибудь из девчонок... лучше ту, которая видела его вблизи... Мы бы с ней прошлись по рядам.

– Понял.

Иван спал, поднимать его не стали. Спал он на узком и длинном диване, занимавшем в проходной комнате, которая считалась гостиной, почти всю лобовую стену, едва оставив место для двери в Светкину комнату, сейчас прикрытую... Дверь в родительскую спальню была слева, в двух шагах от дивана, из нее и падал свет на погруженного в сон парня. Окно в гостиной оставалось зашторенным. Иван развалился на спине, свесив правую ногу и чуть покачивая ею, точно баюкая себя; лицо с тонкой девичьей кожей подрагивало – как от пробегающих сновидений. Тамара Ивановна постояла возле него, слепо и натужно всматриваясь: вот он здесь, а где сейчас Светка? – и решительно направилась к выходу.

На улице уже было людно – торопились на работу. На остановке стояли большой покорной толпой, развернувшейся влево, откуда ждали троллейбуса. Беспрерывным потоком, припуская и с ходу приседая, катили машины; поток этот где-то впереди запрокидывало и разворачивало второй стороной улицы обратно. Небо в дымчатом, тонкорунном покрове быстро белело и таяло, взблескивая голубыми провалами. Троллейбус постоянно дергало со скрежетом, плотно один к другому стоящих в проходе грузно раскачивало, оживляло до вскриков. Второй троллейбус, в который пересели возле кинотеатра на пересечении двух потоков, заполнен был пожилым энергичным народом – дачниками, выбиравшимися за город. Они без стеснения перекликались, громко обсуждали пользу лунного календаря для посадок на грядках, уговорили кондукторшу, вьюном вьющуюся среди них молодую низкорослую девчонку с хриплым голосом, притормозить троллейбус между остановками, откуда было ближе до пригородного автобуса, – вели себя, словом, как именно те люди, дело которых абсолютно правое. И ехали в двух троллейбусах не более получаса, а уж небо очистилось, последние кудряшки с облаков стягивало за горизонт за рекой. Солнце открылось, трепетала от его тяги мелкая, еще не раскрывшаяся, листва на тополях и кленах и стоял в них воробьиный гвалт. День обещал быть жарким.

Нашли опять общежитие для малосемейных, в котором ночью побывал Анатолий. Подняли опять старика, хозяина однокомнатной квартиры в конце правого коридорного рукава на третьем этаже. Коридор был узкий, запущенный, с закопченными избитыми стенами, доведенными до такого отчаяния, когда на них появляются неприличные надписи. Запущенной оказалась и маленькая квартира, где все было стеснено до последней степени – и комнатка, и кухонка, и низко нависал потолок, и тускло смотрели в улицу всего два окошка. Старик стоял перед ними в донельзя заношенной, сетчатой от дыр, майке и в щеголеватых спортивных штанах с фирменными надписями вдоль по штанинам. Лицо заросшее, неглупое, мелкие слезящиеся глаза в мутной ряске.

– Что не спрашиваешь, кто идет? – напористо начал Анатолий. – Или все, кому не лень, к тебе идут?

– Все идут, – скрипуче и спокойно отозвался старик и продолжал смотреть на Анатолия.

– Я ночью у тебя был... не помнишь?

Старик нехотя вспомнил, махнул рукой, чтобы проходили, проследовал поперед по коридорчику в два шага и скрылся за дверью в кухне, зашумел там водой. В комнатке Тамара Ивановна мгновение осматривалась, решительным движением подняла с пола валявшуюся на боку крепкую, выкрашенную зеленой краской, табуретку, увидела, что сидение чем-то, должно быть, топором, истерзано до щепы, с бряком вернула ее в прежнее положение и опустилась на нее – будто подсеклась. Перед нею был журнальный столик с остатками еды на газетах, и она, прямя спину, отшатываясь, все смотрела и смотрела неотрывно на засохшие куски хлеба и вспоротые консервные банки. Кончики ее рта, выдавая сильное волнение, подергивались.

Вышел старик, приободренный умыванием, с продравшимся из глаз взглядом, в постельном ворохе на низкой лежанке за журнальным столиком отыскал рубаху, которая ночью служила ему наволочкой, повертел ее, донельзя изжульканную и засаленную, в руках и кинул обратно. Анатолий продолжал торчать на ногах; старик все так же неторопливо, не теряя какого-то последнего достоинства, сгреб ночные тряпки в угол лежанки и пригласил:

– Садитесь. В ногах правды нету.

– У тебя тут ее ни в чем нету, – Анатолий продолжал говорить требовательно, напористо.

– У меня тут одиная правда, – не согласился старик, вздергивая голову в сторону одного угла комнатенки, потом другого. – В таких хоромах врать не тянет. Да и вообще... кто теперь самые честные люди? Кто до края дошел. Ползают, как черви, портят картину, но если украл кто у такого же, как он сам, две пустые бутылки... спроси его: украл? «Украл», – скажет и отдаст две пустые бутылки обратно. А к другому, к серьезному воровству нашего брата не подпустят, за нашим братом такой надзор, будто это он и съел великое государство.

– Из интеллигентов, что ли?

Старик покивал Анатолию:

– Из них. Я понимаю вашу иронию: любить их не за что. Я тоже их не люблю. Но я-то больше из разночинцев буду, – поправился он с усмешкой, показавшей редкозубый рот. – Много чинов перебрал. А вот друг мой... это он здесь хозяин, не я... он из интеллигентов, из них, да... бывший интеллигентный человек.

– Ты не хозяин? А где хозяин?

– А помер, – весело сообщил старик, переводя засиявшие глаза с Анатолия на Тамару Ивановну. – Мы с ним друзья были не разлей вода, – он хохотнул, сделав ударение на последних словах. – Вместе приходили, вместе уходили. Вместе об землю падали, вместе на ноги подымались. Один раз было... вместе по лесенке скатились. У одного правая щека рассеченная, у другого левая. Пожалуют к нам гости, мы рады. Приедут, придут – уходите, старики, на два часа. А то на всюю ночь. Денег дадут... уходим. Только скажем: ключик оставьте у дежурной, внизу. И дежурную побалуйте, она старица бедная, конфетку любит. А летом хозяин, друг мой, помер... Он был до того одинокий, что совсем без родни жил.

Анатолия передернуло. Взглядывая на Тамару Ивановну, неподвижно и прямо застывшую на боковине лежащей табуретки, он продолжал допытываться:

– А ты, значит, выдаешь себя за хозяина и живешь в его квартире?

– Я ни за кого себя не выдаю, – с удовольствием отвечал старик. – Я прихожу и ухожу.

– И никто не догадается турнуть тебя отсюда? Развел притон и доволен?

Тамара Ивановна перебила мужа, рывком подаваясь к старику:

– А вчера... вчера на сколько было сказано уйти?

– Сказано было: до восьми часов. Я уж в сумерках пришел – фатера моя свободная.

– Сколько их было? – опять Тамара Ивановна, уже подымаясь.

– А комплект. Два парня, две девчонки.

Анатолий поправил, замирая:

– Один парень, две девчонки...

– Как так? Один парень две девчонки попервости пришли, второй парень потом подошел, я еще тут был.

Анатолий содрогнулся так, что подскочили плечи:

– Убивать надо таких!..

– Да надо бы, – согласился старик и уступил дорогу: гости торопливо уходили.

Обманула подружка Лида. Поймали на вранье, пригрозили милицией, она чуть добавила правды, чтобы звучало убедительней, и все-таки обманула. Бросились, поймав частника на зеленой «Ниве», опять в микрорайон, долго звонили во входную дверь, за которой жила подружка, принялись колотить в нее кулаками – открыла наконец заспанная, в тяжелой полудреме от чего-то дурного, мать подружки, не сразу признала в Тамаре Ивановне и Анатолии ночных пришельцев, а вглядевшись, признав, не говоря ни слова, развела руками: нет Лиды. Покорно пропустила мимо себя рванувшегося вперед, уже ничему не верящего Анатолия, и не пошла за ним, ждала, привалившись со сморенными глазами к стене, пока не выйдет. Так и стояли по разные стороны распахнутой двери две матери, не глядя друг на друга и не понимая уже, почему они так стоят и что происходит.

Нет, сколько ни откладывай, а надо заявлять в милицию. Частник, толстогубый мужик лет пятидесяти, с иссеченной в мелкую сеточку кожей на толстом лице, истомившийся за дорогу в микрорайон от тяжелого молчания, когда дальше адреса разговор не пошел, встретил своих пассажиров вопросом:

– Нету?

– Нету, – сказал Анатолий.

– А чего нету? – оживляясь от ловкости, с какой поймал он молчунов на крючок, подхватил частник, оборачивая к своим пассажирам на заднем сиденье плутоватое лицо.

– А ничего хорошего, земляк, нету.

Тамара Ивановна сразу опять оцепенела, уставившись глазами прямо перед собой на дорогу. Но ничего, кроме воспаленного солнечного пятна, прыгающего перед машиной, она не видела. Внутри, там, где полагается быть чувствам, сменяющим одно другое, залег камень, и он начинал раскаляться. Она физически ощущала этот нагрев от пыточного огня. Верилось, что можно еще отодвинуться от него, что для этого надо лишь сделать усилие над собой, но не было никакого желания искать себе облегчение.

Потом она долго будет вспоминать это мгновение. Вдруг какая-то торопливая и вороватая истома, невесть откуда взявшаяся, ворвалась в нее, пробежала сверху вниз от груди на живот и, настегивая себя, напетливая холодными лапками, закружилась там, пока не нашла ход и не скользнула в него, пронзая жутью. Тамара Ивановна замерла, такого с нею не бывало. Она перегнулась в животе, чтобы придавить этот мышиный катышок, но продолжала чувствовать, как схватками ноет и ноет внутри, опускаясь все глубже и неприятней. Это происходило с нею и в ней и как бы не в ней, как бы в какой-то скрытой раздвоенности и повторенности, в каких-то притаенных створках, до этой поры не дававших о себе знать. Катышок все метался, все тыкался в стенки и точно раздвигал их, в исподе чутливо отыскивал свой испод, проникал внутрь, затихал ненадолго и вдруг суматошно принимался кружиться, как бы догоняя свой хвост и заполняя круговоротом норку – и от этого крутящегося клубка, пускающего электричество, по всему телу проносились колючие пронизи. Тамара Ивановна вся сжалась от переполнявших ее гадливости и испуга: откуда-то ведь это должно было взяться? Что это, откуда, почему? Она уже готова была остановить машину, чтобы выйти и хоть на голову встать, но стряхнуть с себя эту пакостливую тварь, но постепенно стало отпускать, постепенно под руками, сдавившими испуганное место, наступило затишье.

Возле дома Тамара Ивановна вышла из машины одна, Анатолий поехал на рынок к Демину. Когда требовалось идти на что-то совсем уж тяжкое, она невольно нагибала голову, изготавливаясь пробить ею любую стену, – так и теперь, набычившись, она решила, что телефонные звонки возьмет на себя. А уж после... И после того, как повидаются с Деминым, после того, как ничего другого больше не останется, пойдут подавать в розыск.

Это походило на веревочную лестницу, раскачивающуюся на убийственной высоте, по ней, не сорвавшись, надо подняться на твердую площадку с поручнями. Устроившись перед тумбочкой с телефоном на детской табуретке, которую мастерили когда-то для нее же, для Светки, Тамара Ивановна набирала номер за номером, слушала резкие, требовательные гудки, доставляющие ее в разные концы города, потом отзывался голос, всегда женский и всегда недовольный, который заставлял ее однообразно думать: «Стервы же мы, бабы!» – голос на минуту-две отступал, перебирая бумаги, и со сдержанной, подобревшей переменой от результатов поиска сообщал: «Нету такой». Еще одна ступенька извивающейся под ногами веревочной лестницы оставалась позади: Светки в этой больнице не было. Ее не оказалось ни в одной больнице, которые перебрала Тамара Ивановна, и, дав себе передышку, она осторожно и тупо, не надавливая на слова, жевала не ахти какой мысли жвачку: «А хорошо ли это, что ее там нет? Не лучше ли было бы, если бы какая-никакая, а была?»

Она снова взялась за телефон, и веревочная лестница под нею закачалась еще сильней от порывов ветра, поднятого словом «морги». Тамара Ивановна нашла его в справочнике, выписала с четырех столбцов цифры, на разный манер повторяющие его, и принялась накручивать на диске эти цифры, гулко отдающиеся в сердце и в той пустоте, куда они улетали. Теперь отвечали молодые мужские голоса, ни один из них не был ни пьяным, ни ироничным, но трое, как машины, произнесли совершенно одинаковое «не присутствует», а четвертый, должно быть, постарше, взялся объяснять, что девочки этого возраста к ним попадают так редко, что можно сказать, не попадают совсем. Содрогнувшись от перенесенного испытания, Тамара Ивановна поднялась с низкой табуреточки, ноги ее, затерпшие в неудобной позе, заплелись, и она едва успела ухватиться за диван. Так и ткнулась лицом в измятые Ивановы простыни, стоя на коленях, бессознательно потеребила их в руке, вспоминая, когда она в последний раз видела сына, и, встав на ноги, с тяжелым и пристальным вниманием осмотрелась вокруг как в незнакомом месте. И уходила – будто спячивалась от чего-то, по-хозяйски расположившегося в квартире... Она не могла понять, почему Иван, парень аккуратный, так же, как и Светка, не прибрал за собою постель и выскочил куда-то в такой спешке, что, похоже, не помнил себя.

\*\*\*

Сколько помнила себя в детстве Тамара Ивановна, кормились они лесом да Ангарой. Кормились во всех смыслах, потому что отец был лесничим, огромные владения, числящиеся за лесничеством, располагались на левом берегу Ангары, а деревня лежала на правом, в тех местах, где балаганская степь переходила в тайгу. Уже через пять-шесть десятков километров тайга побеждала полностью, только и оставалось от степи, что большие поляны, отороченные березой, клином вонзающиеся в леса, с высокими травами для покосов. Но в тех местах, за пять-шесть десятков километров по сбегу Ангары, Тамара Ивановна не бывала, она знала только левобережную тайгу, которая и напротив степных раздолий стояла сплошной стеной. Здесь тоже поднималась вода и селениям тоже пришлось перекочевывать, но, в отличие от низовий, недалеко, распах запруженной в Братске Ангары здесь уже терял свою мощь. И Ангару не перестали называть Ангарой, в море, хоть и рукотворное, разливом она не вытягивала. Только очень изменилась, запустила и зарыхлила свои раздвинутые берега, затянула песочек тиной, извела родную рыбку – хариуса да ленка, при воспоминании о которой бежала слюнка, остановила свой бег, постарела. Но переселение деревни не оставило тяжелых впечатлений: в тех же жили избах, в том же порядке стояли улицы. И небо осталось в том же растяге, без углов и запаней, какие появляются над искривленной землей.

Отец Тамары Ивановны Иван Савельевич Радчиков прошел войну счастливчиком: два ранения и оба легких, домой вернулся в целости-сохранности, жену взял из деревни неподалеку, из Чичково, об этой деревне говорили, что там девки «чичкастые». Он умел все – и плотничать, и слесарить, и выгнуть лодку, и управляться с любыми машинами, и брать зверя, и прийти ему на помощь в тяжелые снежные зимы, и ночевать в снегу в клящие морозы, и сложить печку, и затянуть песню. Сын такого же многорукого отца, он перенял от него умелость и сметку с той же наследственной легкостью, как черты лица. Был несуетлив, приглядист, учил дочь: «Ты сначала нарисуй себе в голове, что надо сделать, до всякой загогулины нарисуй, а уж опосле и берись без оглядки». И еще наставлял: «Всякое дело имеет свой ход, его чуять надо. Поторопишься – сякотак может выдти, задержишься – размер сорвешь. Всякое дело надо в свой размер уложить».

Отец без скидки учил свою Томку тому же, что давал сыновьям. Один брат был старше ее на три года, второй на два года моложе. Дочь принялась льнуть к отцу рано, еще не опали ангельские крылышки за плечами, почуяв чистым сердечком его доброту и покладистость и разглядев особое непрекословие в отношениях с матерью. Мать была упрямой, вспыльчивой, от нее «летели искры», и отец не однажды острил, что ему спички не нужны, «дети, где мои папиросы, прикуривать буду от нашей Степаниды Петровны». Он подтрунивал над матерью, что без него она, «чичковская столбовая дворянка», кипятится больше, а он действует на нее успокаивающе. Было, конечно, наоборот, но даже опытная по части его проделок мать становилась в тупик перед его непробиваемой безмятежностью. У отца было свое объяснение того, как, каким макаром и до деревни докатилась мода в семьях командовать бабам. Он считал, что произошло это от смертельной усталости мужиков, воротившихся с фронта и свалившихся без задних ног подле своих баб. И вот пока фронтовики от чистого сердца и не чуя беды дрыхнули, бабы успели заседлать их и давай рвать губы железной уздой. «Вот та-ак», – горько вздыхал Иван Савельевич и поводил своей крупной, под машинку выстриженной, головой, проверяя степень свободы. Отец взял за правило в споре не добиваться своего, он своего добивался за спором, кружным путем, и мать не замечала, как, каким образом она опять скатывалась с высоты, на которой только что гордо крылила, и опять шла на приступ. От этой новой атаки отец принимал такой несчастный вид, что дочь приходила в восторг, в восторге била ножкой о пол или забавно, надувая и без того толстые щеки, закатив глаза и пришлепывая губами, фыркала как-то странно и резко, по-совиному. Мать бросалась ее успокаивать, а отец исчезал и оставался при своих интересах.

– Ты знаешь, Степа, – говорил он чуть погодя миролюбиво, – Томка у нас в тебя. У нее будет сильный характер, на ней не поездишь.

Характер у Тамары Ивановны и верно был материнский, но как бы обработанный отцовскими инструментами, всякими там крошечными напильниками, наждачными шкурками, лобзиками – всем тем, что в огромном количестве, частью приведенном в порядок, а частью разбросанном как попало, жило в мастерской. И все же там, внутри характера, находился кремень. С годами она научилась управлять своим настроением, оно не вспыхивало и не взрывалось разом, как молния и гром, а натягивалось, подобно мороку, постепенно и шумело без накала.

В двенадцать лет дочь хорошо стреляла из тозовки и из берданки, в пятнадцать села за руль лесхозовского «уазика», через год освоила трактор, сначала колесный «Беларусь», затем гусеничный «ДТ-54». И, начиная с пятого класса, стала учиться хуже, хотя и без двоек, и так до последнего, до восьмого. В школе ей было неинтересно, хотелось воли, движения, удовлетворения практического интереса, приближения к опасности; в школе она отбывала повинность, которая чем дальше, чем становилась тяжелей. В последние деревенские годы очень сдружилась с младшим братом, Николаем; в семье про него говорили, что он не от мира сего: мягкий, затаенный, с постоянной задумчивой улыбкой и продолжительным взглядом. Любил уплывать с ружьем за Ангару и совсем еще мальчишкой уходить в тайгу с ночевкой, а то и с двумя, стрелял редко и особо скроенную свою душу заполнял тихими и тревожными наблюдениями. Однажды пропал кобель, который был ему за друга, Курган, и он как по увиденному пошел за двадцать верст к Сухому ручью и вынул его из петли на медведя уже бездыханного, а после этого заболел и провалялся в горячке неделю, не изъявляя никакого желания подниматься. Отец стал смотреть на него с печалью: непонятный, скрытный вырастал мужик, впустивший в себя неизвестное терзание. Тамара Ивановна запомнила на всю жизнь, как он сказал при ней, ни к кому не обращаясь, ни от кого не ожидая ответа, с подступившей самотеком тревогой:

– Одна в парня пошла... хорошо ли это? Одна в парня, а другой – в кого? Что же вы, детки родные, из себя-то повыбирались, как из дырявого мешка?

Но эти слова еще больше подтолкнули ее к Николаю. Он читал книги, и она принялась читать, пересказывая ему из своих книг самое интересное, доставшее ее до сердца. Старший брат, Василий, не понял бы, да он и далеко жил от надуманных книг, занят был серьезными практическими делами и наперед выкроил свою судьбу. Как выкроил, так потом и сбылось. Сначала в город в техникум, затем армия, после нее завод и заочная учеба в политехническом институте, диплом инженера и со временем должность начальника цеха. На Николая он смотрел как на мямлю или как на порченого; старше Николая на пять лет, он чутьем сумел угадать в парнишке расстроенность, которая может испортить жизнь. Тамара брала младшего под защиту, а это, как водится по таинственным законам взаимоотношений, дало Василию право не стесняться: уж если защищаешь, то надо, чтобы было от кого защищать.

Лесничим тогда каких только планов не давали: и веники вязать, и сок березовый набирать, и травы целебные, и грибы, ягоды, орехи. Это помимо того, что надо было косить сено, рубить осинник для зверя на случай снежной зимы, ставить зимовья, торить тропы, делать подсечку, отводить лесосеки, много чего еще из основной работы. Все лето вся радчиковская семья, кроме матери, не выходила из леса, там, на лесхозовском подворье за Ангарой, и жили, там и баня стояла с каменкой, ухавшей таким жаром, что кожа, как под иголками, потрескивала и волосы на голове секлись. Но как хорошо было в ягодниках и сосновых пустошах, державшихся недалеко от берега, чтоб подгонять рыжик густыми, дающими рост, туманами; как ловко и ладно смотрелись Тамаша и Николаша, когда, подобранные, одноростые, круглолицые, в форменных темно-зеленых куртках и штанах, заправленных в кирзовые сапоги, с непокрытыми русыми головами и с горбовиками за спинами, вставали они на тропу и оборачивались к Ангаре, чтобы видеть деревню на том берегу, где оставалась мать.

Вот так бы и всегда, не дальше этой тропы. Так бы устроиться, чтоб по утрам, вставая на нее, оборачиваться на родную деревню и ступать потом уверенно, как под благословением. Но тропа для деревенской молодежи уже набита была в другие тайги. Первым ушел по ней Василий, через два года засобиралась и Тамара. Отец на проводах выпил больше, чем обычно, и прослезился. В вымощенной плахами ограде он отвел ее к заплоту, за которым начинался скотный двор, встал напротив и, покачиваясь, размахивая перед своим носом разбухшим от работы указательным пальцем, точно не ей указывал, а себе, отрывисто говорил:

– Томка, помни, помни, куда едешь. Там пропасть – что плюнуть! Там только споткнись – разотрут тебя и не заметят. Держи там себя в уме и строгости. Будешь держать – тебя же и уважать станут. А нет – и тебя нет. – Он вытер ладонью глаза, откашлялся и вдруг совсем трезвым голосом продолжил: – Ну а мы потом куда? Колька уедет – что тут нам делать? Для кого все это? Кольке-то совсем бы не надо уезжать. Выберет там себе стерву... это уж обязательно, таким, как он, это на роду писано... и будет она на нем безвылазно ездить...

Как в воду глядел Иван Савельевич. Уехал в свой черед и Николай, поселился под Иркутском и в том же поселке купили себе потом дом отец с матерью. На глазах у них и тянулась тяжелая подневольная жизнь Николая с криками, слезами и бесконечными ультиматумами, то сходились, то расходились, то прибегал он среди ночи в домашних тапочках, то занимал деньги, чтобы купить себе возвращение к ребятишкам. Затем свалились и вовсе дурные времена, ни работы не стало, ни денег. За три месяца до того, как случиться у Тамары Ивановны несчастью с дочерью, дошел Николай до последнего отчаяния и поднял на себя руки. Но выжил, притих под тяжелым душевным гнетом и не выходил из отцовского дома. Матери к тому времени уже не было.

\*\*\*

То, что казалось страшным и непристойным, произошло обыденно и быстро. Подать заявление о пропаже собственной дочери – да это представлялось Тамаре Ивановне из себя вон, чтобы вытерпеть все оголенные расспросы, язвительные замечания и пугающие намеки. Ничего похожего не произошло. День был жаркий, час пополуденный в четыре, когда вязкое пекло и из камня выдавливает влагу и пригашает порывы. Но суббота есть суббота, и в отделении милиции оказалось людно, возле перегородки, за которой сидел перед тремя телефонами бравый сержант с багровым лицом и воловьим терпением на этом лице, толпились люди и стоял гул. Стены в узком коридоре были облеплены стоящими, возле дверей в кабинеты на выставленных обшарпанных стульях можно было устроиться лишь развернув ноги на сторону по ходу коридора.

Каждое помещение имеет дух и вид той жизни, которая в нем происходит. В милиции, даже только что отремонтированной, даже только что отстроенной и обставленной новой мебелью со всеми необходимыми для справления закона приспособлениями и удобствами, уюта создать нельзя. Хоть мраморные колонны ставь, выстилай полы дубом, а стены оклеивай персидскими мануфактурами, но стоит только открыть хоть и хрустальные двери для несчастного народа, проходящего через милицию, и вся эта роскошь через две-три недели примет скорбный и донельзя безутешный вид. Надышит несчастный народ своим горем, обмусолит бедностью и лукавством, натрет домашними раздорами, обнажит раны и язвы. От иных рассказов стены здесь трескаются и потолки качаются, от иных криков привидения мечутся по коридорам. Точно знают это все ответственные люди и дают под милицию самые тесные, темные и бросовые помещения: все равно придет к тому же концу. И несчастные, вливающиеся сюда день за днем беспрерывно, теряют последнюю надежду и рвутся скорее обратно на солнце или уж дальше по этапу судьбы, но прочь от этой забившей воздух тревоги.

Тамара Ивановна и постояла в коридоре минут пятнадцать, пока Анатолий пробивался к дежурному, но за это время провели мимо группу ребятишек лет от восьми до одиннадцати, имеющих варначий и веселый вид, очень довольных тем, что их сграбастали и будут вести с ними воспитательные беседы, глубоко уже погрязших в пороке, с мордашками, на которых впечаталась ранняя опытность. Все они были с сумками, в которых что-то трепыхалось, в майках, с голыми, уже черными от загара ногами, почти все обуты в спортивные разбитые кроссовки – точно собрались в пионерский лагерь имени Дзержинского. Был такой, Тамара Ивановна помнила, и находился он неподалеку от поселка, в котором теперь жил отец. Старушка у противоположной стены, маленькая и сухая, бодренько вертевшая непокрытой головой с остатками примазанных белых волос, шевеля губами, вздохнула им вслед. Пожилой, с трещинками, задиристый голос от той стены, возле которой держалась Тамара Ивановна, заинтересовался старушкой:

– Что, бабка, за пенсией пришла?

– За пенсией? – она, должно быть, так много думала и говорила о пенсии, что не удивилась вопросу. Лишь чуть замешкалась с ответом: – В тюрьму проситься пришла.

– А чего в нее проситься? Ты, бабка, туда не торопись.

– А жить негде. Выдавляют меня из фатеришки.

Прошли двое: высокий, плотный капитан в форменной рубашке с темным пятном на спине и подпрыгивающий перед ним, заглядывающий ему в лицо и торопящийся что-то досказать, хромой парень с собранными на затылке и подвязанными волосами. Они свернули к лестнице на второй этаж, и уже оттуда, с высоты, под отчаянный визг ступенек, послышался бас капитана:

– Счас зайдем – чтоб не верещал. Сиди и помалкивай. И глазки от стыда опусти. Я буду говорить.

– А кто из квартиры-то выдавляет? – продолжал разговорившийся мужик с надтреснутым голосом, и Тамара Ивановна подумала: чего-то боится, страх в себе заговаривает.

Она рассмотрела через головы, что Анатолий близко от дежурного и стала продираться к нему. Дежурный никак не мог отвязаться от какого-то образованного гражданина в синей тенниске, который, называя законы, все говорил и говорил. Дежурный уже не слушал, подняв глаза вверх, и только делал ему огромной рукой ленивые прощальные движения.

– Что у вас? – спросил – как подвинул к себе замешкавшегося Анатолия.

– Дочь потерялась. Она...

Дальше сержант не слушал. Он подтянул к себе дальний телефон, поднял трубку и тою же рукой, не выпуская трубки, принялся набирать номер.

– Товарищ лейтенант? В розыск. Отправляю к вам.

В кабинете на втором этаже, квадратном, с голыми стенами, за одним из трех маломерных, как в школе, столов, сидел в одиночестве, упираясь животом в столешницу, чернявый лейтенант и пил пиво. Двустворчатое окно было настежь открыто, за ним в тупой бездыханности лежала улица. Лейтенант делал глоток, ставил бутылку и наблюдал, как над горлышком вспучивается пенистая пробка.

– Пишите заявление. – Он подвинул бумагу, указал на соседний стол и вздохнул: пива оставалось мало.

Писал Анатолий, он еще мог хоть что-то объяснять на бумаге, Тамара Ивановна не могла. Заявление заняло полстраницы, но лейтенант долго в задумчивости сидел над ним, не желая расставаться с приятными ощущениями от напитка, снова вздохнул, на этот раз очень решительно, подвинул к себе лист бумаги и принялся расспрашивать и записывать.

Обратно они уходили вместе с участковым, молодым толковым парнем, еще не уставшим от службы и, по-видимому, добросовестным, считавшим, что он должен знать Светку, вспоминавшим раз за разом, какая она, и все ошибающимся. Вместе они по заданию лейтенанта должны были найти подружку Лиду и прочесать все места, тайные и явные, где могла находиться Светка. Но прежде всего решили заглянуть к Демину.

Возле деминского киоска металась разлохмаченная, вспотевшая и испуганная подружка Лида. Увидев подходивших Светкиных родителей, она острым и бешеным голосом закричала:

– Поймали! Поймали!

– Светка где? – закричала, в свою очередь, Тамара Ивановна, схватив девчонку и тряся ее, вытряхивая из нее единственное, что нужно было ей знать.

– Здесь, в милиции, которая на рынке!.. Вон там!..

\*\*\*

До замужества Тамара Ивановна нередко смотрела на себя с удивлением и тревогой. Но с еще большими удивлением и тревогой она о себе думала. В деревне они жили в большом пятистенном доме, уходившем глубиной своей во двор, где дочь и занимала дальнюю выгородку, долго остававшуюся без дверей и укрываемую тяжелой бордовой шторой. И только года за два до ее отъезда отец навесил двери и выгородка приняла наконец вид комнаты. Туда втащили трюмо, с облупившейся с изнанки краской, косившее, рябившее, когда искали перед ним красоты и опрятности, но продолжавшее служить. Перед сном, закрывшись на крючок, Тамара поднимала перед мерклым зеркалом ночную рубашку и всматривалась в себя с тою удесятеренной пристальностью, с какой почти всякая девочка-подросток чуть ли не в таинственном обмороке следит в себе за всеми переменами, возвещающими приближение женщины. Не больно она себе нравилась: невысокая, плотно сбитая, с поднятыми плечами, ноги крепкие, мускулистые, подлинней бы, подлинней, да и всю ее хоть чуть развернуть бы и пустить повдоль. Ей представлялось, что женщина вся от начала до конца должна быть выстроена снизу вверх, к небу и солнышку, которое высоких, поднявшихся выше обычного порядка, приласкивает больше, и что даже клетки женского тела должны напоминать вытянутые зерна ржи. Тогда они чувствительней, нежней, радостней и притягательней.

Не сразу она смирилась с тем, что высокой ей не быть. Но и «самоваристой» быть не хотелось, и кой-какие меры она для этого приняла, кой-какие руководства для себя составила. И не это теперь ее волновало, когда в чем мать родила приближалась она к зеркалу. Это происходило только на самый первый взгляд, входной. Но вот она входила, узнавая себя и растирая тело, готовя, оглаживая его продольными движениями, и прикрывала глаза.

Так хорошо было в этом томительном и чутком ожидании. Медленной волной, осторожно наплескивающей по бокам, проходила сверху вниз истома, пробуждала глубины и низы, сладко закручивалась в каких-то теснинах, снова распускалась и ответной волной, уже уверенней наглаживая, шла вверх. Там все натягивалось, замирало, струило, дыхание слабо колыхало его откуда-то со стороны, и, разбуженные, растворенные, наперебой пульсировали токи. Она вся точно наэлектризовывалась, телесный цвет податливо переходил в мягкое свечение – и точно изнутри доносилась притаенного голоса почти беззвучная, баюкающая песня: должно быть, она ее когда-то слышала:

Тихая, тихая

Реченька текла.

Дождика, дождика

Много набрала.

Ой люли, ой люли,

Речка, не бурли.

Воду свою светлую

Не му-ти.

Ее волновала женская тайна, в ней же заключенная, но не то физиологическое, тоже непонятное, жуткое, но и одинаковое для всех, а то невидимое, нутряное, более чувственное, чем физиология, запаленное особым духом: или тихое, сонное, едва шевелящееся, нежно перебирающее грудь, или вдруг окрыляющееся, распирающее ту же самую грудь, поднимающее от волнения на цыпочки. Словно что-то, не смеющее открыться, жило в ней, что-то счастливое уже тем, что его чувствуют и ищут. Песни она слышала из себя не однажды, и все того же тонкого тоскующего голоса. Она терялась от мысли, что она совершенно себя не знает. Все видимое имеет какую-то функцию, все пойдет в дело, для жизни и продолжения жизни, но нельзя же всю женщину, сколько ее есть, определить в постель и на кухню. Она вся туда не поместится, и не все будет принадлежать мужу. А что же есть то, что останется свободно, что-то сверхчувственное, не плотское, держащее себя в чистоте, устраивающее хозяйский обход, ласкающее женщину, когда не хватает ласки, и тихо-тихо перебирающее ее струны? Бывало, Тамара Ивановна стыдилась себя перед этой сокрытой в ней частью, где она возгорается не огнем желания, а огнем чистого вдохновения и вся-вся порывисто и неудержимо приготавливается для счастливого подвига. Одна из многих и многих миллионов женщин, похожих на нее, она, благодаря этой особой сверхчуткости, этой способности самопроникновения, могла считать себя единственной: такая и не такая, кое-что есть и еще.

Отец, провожая ее в город, прикинулся пьяным больше, чем был, чтобы предупредить: до мужа, дочь, блюди себя как зеницу ока. Сказал другими словами, но что же было переводить: она поняла их именно так и даже обиделась на отца за то, что он заставил себя их говорить. Но наступило время, когда и ей пришлось повторить их для Светки; как же, Господи, быстро свершаются сроки, в которые суждено детям, в свою очередь, быть родителями взрослых детей, выходящих на самостоятельную дорогу, полную ловушек. Светка выслушала ее, пряча от стыда и неловкости глаза, но это-то так и должно было быть: в таких понятиях они все остались недотрогами, даже Анатолий. Грубые слова и бесстыдные разговоры не только не были заведены в семье, но сорвись они у кого из посторонних, загремела бы гроза. Демин и тот побаивался Тамару Ивановну и, когда требовалось произнести незаменное слово, к восторгу тогда еще маленьких ребятишек, принимался нечленораздельно вылаивать его, это слово, после чего, то есть после надругательства над его привычным языком, Демина бил кашель. С приходом свободной жизни, когда из телевизора, как из волшебного горшка, полезла каша, состряпанная из гадостей, а слово, чтобы остановить ее, перевалившую через порог и забившую улицу, – слово это потеряли, Тамара Ивановна, не долго катаясь умом, грохнула телевизор о пол и вымыла руки.

– Не перестарайся, мать, – сказал более спокойный Анатолий. Они, как почти и во всех семьях, где поднимаются ребятишки, невольно называли друг друга «мать» и «отец».

Она отошла и заплакала, стоя перед окном и по-девчоночьи размазывая по лицу слезы. И, как всегда после подобных взрывов, на весь день окаменела, говорила медленно и тяжело. Тамара Ивановна тогда только что пришла работать после детсадика на почту, и вид привозимых почтарям из типографии и с вокзала красочных газет с неслыханными историями и невиданными картинками, ее потряс. Журналы шли не лучше; на обложках книг, продаваемых здесь же, на почте, торчали красотки с задранными ногами и презрительными ко всему свету ухмылками. Она пришла на почту по старой специальности – телеграфистки; изменились и тексты телеграмм: пошлости, скрытые и явные угрозы, ругань, какая-то абракадабра, словно проверяющая, до каких пределов дозволяют дурость и издевательства. Но ничто больше не запрещалось, все шло открыто, свободно, беспощадно – будто торопились выявить всех безобразников, сколько их есть, безобразия их собрать воедино и уничтожить, а самих их отправить по этапу... Но куда? Отправлять было некуда, не осталось ни одного угла, не охваченного этой проказой.

В первые годы этой сошедшей с каких-то крутых гор грязной лавины Тамара Ивановна от бессилия, от невозможности загородиться, убежать от этого бурлящего, кипящего нечистотами потока, на гребне своем вздымающего издевательское ликование, впадала в слезы: сдавливало грудь, боль неподвижным валуном залегала внутри и на часы перехватывала дыхание. А поплачет, польет слезами испуганное сердце, погреет ими, горючими, камень-валун, он вроде и подвинется, освободит дыхание. Но надолго слезами спасешься? Она как-то поймала себя на том, что размышляет – заплакать, не заплакать? Значит, могла не заплакать, не поддаться бабьей слабости. Почему же в таком случае научилась поддаваться, обманывать себя, верить в невольное облегчение, в истечение той горячей тяжести, что забивает нутро? Слезами, что ли, можно изгнать заместившего все и вся, превратившегося в родителя, учителя и государственного служащего, бесстыдство? Нет, все, хватит мокроту разводить!

И все чаще в поисках крепости, где можно было бы найти спасение, вспоминала Тамара Ивановна свою деревню на берегу Ангары, широкую луговину, заставленную березой и сосной, в белой кипени майскую черемуху по обочью, сладкий дух ее в деревне, черемуховые метели после цветения, покрывающие улицу белизной, высокое, вынашивающее землю под собой, небо, а под ним на закатной стороне разлив ангарской воды, тяжелый и покорный, с глухими и все-таки родными берегами. И все это сходилось в одно, переливалось, играло, шумело, набегало друг на друга и расходилось, виделось отовсюду, откуда ни зайди, приближало и подставляло под разгляд все, что ни попроси... И все это так ярко, живо и больно влипло в Тамару Ивановну, подобно коже, не знающей забывчивости, что она боялась доискиваться, у всех ли такое бывает и не дана ли ей эта неизносная память в пытку. Во сне к ней несколько раз приходила покойница-мать и, оглядываясь, торопясь, чего-то боясь, рассказывала, в свою очередь, о своей покойнице-матери, бабушке Тамары Ивановны, которая чего-то добивалась от матери Тамары Ивановны. Никак нельзя было понять, чего она добивалась, но жутко становилось оттого, что там тоже продолжаются какие-то отношения. Вот так же приступами наплывала картина деревни и всего ее опояса по полям, заречью и широким боковинам с огороженным выгоном для скота. То надвинется лесхозовское подворье за Ангарой и вытоптанная глубокая сходня к воде, то однобокая, с обломанным вторым отростом, береза напротив деревенского дома, которую ветер треплет так, что изогнутой вершиной она напоминает на древке полотнище. Но это еще понятно, это из памяти. Но чудно и непонятно было то, что являлось иногда или напрочь забытое, или не бывавшее при ней вовсе, происходившее, должно быть, уже после ее отъезда. Вот идет она по луговине энергичным шагом, деревня и Ангара справа, слева открывшиеся за оголенным леском выкошенные поля, воздух прозрачный, по-осеннему стекленеющий, иглистый, подходит к одной из старых берез с потрескавшейся кориной и видит, что на нижний сук перекинута прялка. Ну и что? – прялка да прялка, за ненадобностью вынесли и пристроили на показ – может, кто приберет, чтоб не пропадало добро. Но не было прялки в прежних видениях, а уж Тамара Ивановна и в них, в видениях, с такой памятливостью исходила все тропки, что не замеченным ничто остаться не могло. Стали появляться лица ребятишек, родившихся на свет уже после нее. «Ты чей?» – «Зыряновский». Карапуз смотрит на нее с любопытством, он тоже удивлен встречей с незнакомой тетей. – «Чей зыряновский?» – «Люсин». Тамара Ивановна долго перебирает в памяти, есть ли у зыряновских Люся, и не вспомнит. Но, стало быть, есть, если этот гражданин последнего деревенского замеса с такой уверенностью называет свою фамилию и имя матери. Ясно, что не из сказки они взялись.

«Все Ангарой пронесет – и детство, и старость, и радость, и горе», – философски изрекалось у них в деревне. И жизнь проносила, и долю намывала новую, и такие сказки по камешкам насказывала, пока была проточная вода, что только дивуйся. Теперь все на дно уходит, илом затягивает. Тамара Ивановна невольно задумывалась об этом, ей и впрямь казалось, что от того, какой Ангара полнится водой, чистой и говорливой, или тяжелой, стоящей неподвижной запрудой, зависит и наполненность ее поселенцев. Да, все уходит на дно безразборно и безразлично. И что же потом из этого будет? Что за месторождение, для какой надобности оно станет разрабатываться непредставимым в далях будущего человеком?!

Мать была верующей, правда, без икон и молитв, но имя Божье в обиду не давала и поминала его часто. «Богу надо показаться послушницей, – внушала она дочери, – чтобы он заметил и взял тебя под защиту». Тамара была уже большенькой. «Но как же Бог может всех нас знать? – спрашивала она в задумчивости. – Ведь нас много, прямо сплошные тыщи». И тут встревал отец. У него было свое объяснение небесного учета земных дел. «А мы все ходим воду пить на реку, – полушутя-полусерьезно, присаживая голову, покивывая себе, говорил он. – Без реки, без Ангары нашей, никто не проживет. А все реки мимо Бога протекают. Он в них смотрит и, как в зеркало, каждого из нас видит. Поняла?» Что же было не понять? Она кивала и замирала, уставив перед собой неподвижный взгляд. Но сколько потом вспоминались эти слова, как они зацепили душу, когда по утрам открывала она кран в городской квартире и вода застоявшейся пружинистой струей, слепой и затравленной, выфыркивала из трубы, как из преисподней. Какое уж тут зеркало, какое попечение, целение?! Богатые люди не напрасно этой водой из-под крана брезгуют, ездят с пластмассовыми ведерными бидонами то на Байкал, то на источник. Они разборчивы, как и в еде, как и в воздухе, которым дышат, знают прекрасно, что телесные болезни набираются от пищи и воды.

Эх, жизнь-самокатка, катится-то сама, да не барыней ты сидишь в ней, понукающей весело солнышко в небе, а по камням, по грязи и иному бездорожью тобою же продирается след, оставляя непоправимые раны.

И опять возникала в Тамаре Ивановне песня, печальная и чистая, затаившаяся в душе, сама собой натекающая под невольным наклоном. Опять тонкий, чуткий, не плеснувший ни в одном звуке, голос выводил:

Легкая, легкая

Лодочка плыла.

Горькие слезы я

В лодочке лила.

Ой люли, ой люли,

Сердце, не слези,

Долю мою счастную

Не сро-ни.

Тамара Ивановна с жалостью к себе вздыхала, неопределенно и ищуще думала, но мысли по привычке скоро подгибались все к тому же: чего там «не срони», когда в глубокую пропасть столкнули... С усилием вздымая грудь, она выправляла их, невеселые свои мысли, и старалась настроиться на обнадеживающий лад. Но и в нем трудно было задержаться надолго. То представлялось ей, что от недавнего прочного мира, в котором прожила она сорок лет, теперь уже ничего не осталось, все вокруг, как после гигантского смещения породы, завалено обломками, часть их рельефно благополучной грядой выжало наверх, другую, большую, часть разбросало в жалком беспорядке, но там и там не только не противоположные силы, а вовсе никакие не силы, а лишь руины, застывшие в непохожих формах. То вдруг картина менялась и руины получали осмысленное построение, выстраивались в незнакомый, но все-таки порядок, по крайней мере, в очередь к порядку, и казалось, что надо только перетерпеть это страшное время, охранить детей и собственные души – устроится же когда-нибудь жизнь, не может не устроиться!.. Так хотелось дотянуть до этого, так хотелось отдыха еще в жизни! И – подхватывалось струистым, мягко облекающим пением:

Тихая, тихая

Реченька текла.

Слезынек, слезынек

Много напила.

Ой люли, ой люли,

Речка, не бурли.

Лодочке дороженьку

По-сте-ли.

\*\*\*

Светка стояла по одну сторону стола, который занимал почти всю вытянутую от двери к окну комнату, оставив только проходы по бокам, – стояла в оцепенении, вздрагивая и отшатываясь от совсем уж диких криков, а по другую сторону, напротив нее через стол, извивался, визжал и кричал что-то неразборчивое кавказец в джинсовой куртке, черный, безростый, с бешеным лицом и кипящими большими глазами. Такими и увидела их Тамара Ивановна в милиции, куда они прибежали чуть не бегом с Анатолием и участковым. Перед Светкой, загораживая ее, стоял в торце стола Демин, всклокоченный, с еще более длинными, чем всегда, взмахивающими руками, и тоже что-то кричал. Тамара Ивановна не отодвинула Демина и не бросилась к дочери – она вонзилась в нее глазами и высмотрела ее всю. Потом перевела тяжелый и пронизывающий взгляд на кавказца и его тоже высмотрела до печенок. У Светки был огромный, чуть не в половину лица, синяк под правым глазом, верхняя губа рассечена, она стояла сжавшись, с выдвинутыми вперед плечиками, которыми пыталась прикрыться, сгорбившись и втянув в себя голову. Взглянула на мать и вздрогнула крупной судорогой, прокатившейся по всему телу. Рукав джинсовой куртки на кавказце был наполовину оторван; когда парень кричал и размахивал руками, дыра на рукаве, как уродливая пасть, с жевом открывалась и закрывалась. Во главе стола у окна сидел капитан, молодой еще, с жидкими волосами и шишковатым лицом; он ни о чем не спрашивал и ничего не записывал, брезгливо смотрел на кавказца и Демина. Кавказец по взгляду Тамары Ивановны догадался, что пришла мать, и, обращаясь к ней, показывая на Светку, так же заносчиво, бешено, но, позаботившись о том, чтобы его поняли, прокричал:

– Она врет, плохо врет! Фу! – пыхнул он злобой в сторону Светки. – Ей не жить, если будет врать!

Демин перегнулся через стол и сжал кавказцу плечо так, что тот заверещал как поросенок.

– Руки! – прикрикнул капитан.

Потом они оказались в прокуратуре, всего-то в ста шагах от рынка. Присесть было некуда, стулья в коридоре почему-то не полагались; отирая стены, переминаясь с ноги на ногу, ждали... Кавказца увели, Светку допрашивали в кабинете неподалеку. Было семь часов, восьмой, жара спала, в воздухе висела прозрачная, спекшаяся плоть. Двери по коридору хлопали все реже, машинный рев с улицы доносился волнами – то набежит, то затихнет по воле светофора. Демин опустился на подогнутые колени и, задирая голову, оборачивая ее вправо, к Тамаре Ивановне, и влево, к Анатолию, терзал сигарету и говорил:

– Вы ушли, мы со Светкиной подружкой еще раз сделали обход по рядам. Нету. Светкина подружка, видно, что в страх впала. Прибежит-убежит, прибежит-убежит. И у меня на весь день только три покупателя. Я и тем не рад. Выйду и кружу кряду не знаю сколь раз. Как предчувствие было. И вот стою смотрю... не знаю уж, куда и смотреть. И вижу: Светка на меня идет, а рядом бабенка, видно, что не сама по себе, что со Светкой. Светка меня увидала, подбежала, прячется за меня. Бабенка слиняла. Лицо такое у Светки, что лучше и не расспрашивать. Дрожит, оглядывается. «Он меня, – говорит, – бил и не велит отходить от него, он нас за водой отправил, а я сюда повела». – «Где он?» – «Там, торгует». – «Пойдем, покажешь!» – «Нет, я не пойду, я боюсь, он кричит на меня». – «Да что было-то, что он на тебя кричит?» – «Все, – говорит, – было».

Тамара Ивановна дернулась от сильного нутряного толчка, но продолжала все так же тупо смотреть налево по коридору, где одновременно вышли из кабинетов напротив один другого две женщины с бумагами и разговаривали, помогая руками, будто обмахиваясь от жары. Демин замолчал, курить ему хотелось невыносимо. Анатолий ухнул в себя и сидел не шевелясь.

– Дальше, – не оборачиваясь, подтолкнула Тамара Ивановна.

– Покурить-то никак нельзя? – взмолился Демин к проходившей мимо женщине, одной из тех, с бумагами.

– Нельзя! – бросила она.

– Дальше интересней было, – почему-то решил Демин повеселить свой рассказ. – У меня ладонь чесалась. У добрых людей к деньгам чешется, у меня обязательно к драке. Я уж не помню, когда в последний раз дрался, и она помалкивала, не зудилась... – Демин как-то сумел послушать себя со стороны и застыдился, оставил игривый тон. – Ну вот... Я кричу Светке: «Идем – покажешь». Она боится. «Он меня убьет» – да и только! А на нас уж оглядываются, я ее за руку держу. Я шипеть на нее уж потом стал. «Иди, – говорю, – поперёд меня, чтоб я тебя из виду не выпускал, и где он, как-нибудь мне кивнешь». Пошли вдоль рядов. А их там, этих чурок, через одного. Замечаю – показывает мне. Она-то показала на кого надо, а я совсем на другого кинулся, перевернул ему всю торговлю. Пришлось ей подскакивать ко мне и уж не таясь показывать. Тут я сграбастал его от души. Зол злодей, а ты позлей злодея будь. Через минуту милиция как из-под земли. Мне того и надо. Он Светку заметил и быстренько смекнул, что к чему. Хотел мальчишкой безвинным прикинуться, а из меня разбойника сделать. Я кричу: «В милицию нас, в милицию, там разберутся». Милиционер засвистел, еще один подскочил. Повели.

Долго молчали. Тамара Ивановна и Анатолий с разных сторон с мучительным вниманием наблюдали, как Демин выдавливает из сигареты на пол табак.

– Ну и что, Демин, нам теперь делать? – спросила потом Тамара Ивановна с пугающим спокойствием.

– Теперь не вам делать, теперь с вами будут делать. Теперь закрутилось – не остановишь. Вытерпеть надо. Или ты хотела остановить? – спросил Демин.

– Не-е-ет! – протянула с такой решимостью, что зазвенело в воздухе. – Я тебя не о том спрашиваю. Я спрашиваю, как жить-то нам теперь?

Демин не ответил. Смотрел в пол и возил вывернутыми губами.

– И почему это на нас? Почему это на нас, Демин?

– Надо не так говорить. Если уж на то пошло, надо спрашивать: почему это бывает? А раз бывает, с кем-нибудь да бывает...

– Ну да, с кем-нибудь... это понятно. Но это с нами... это непонятно. Слух со стороны дойдет, – продолжила она после паузы, – так слуха одного боишься, прячешься от него. И думать боишься, что же теперь с ними – с ней где-то там, далеко, с родителями. От чужого горя и то жутко. А тут не слух, а тут не с чужими. Как это-то вынести? От этого сбегать надо на край света.

Анатолий поднял голову, во все время этого разговора опущенную, и сказал:

– Куда бежать-то?

– Где ни одного знакомого нету.

– Для этого надо и нам с тобой друг друга не знать. И себя забыть.

Отпустили домой Демина, всю последнюю ночь из-за них же он не спал. Ждали еще долго, до темноты на улице. Светку выводили из кабинета, провели в какой-то другой кабинет и снова вернули в прежний. Без Демина и вовсе не говорилось. Тамара Ивановна раз за разом уходила в такое оцепенение, в такую пустыню с непроницаемым воздухом и мертвенным светом, что, опоминаясь, подолгу не приходила в себя и не узнавала, где она, что за мрачный коридор перед нею, из какой он жизни. Анатолий дважды заглядывал в дверь, за которой держали Светку, и снова пристраивался рядом. Не всякая беда сближает мужа и жену, от этой они вдруг почужели, говорить не хотелось. И двигаться никуда не хотелось Тамаре Ивановне, так бы стояла и стояла неподвижно, стояла бы и день, и два, лишь бы не приближаться к тому, что будет дальше.

Но двигаться пришлось – Светку наконец выпустили. Она вышла с бумажкой в руке – с направлением на медицинское освидетельствование. Его нужно было пройти сейчас же, не дожидаясь дня. Под самую ночь поехали в трамвае к тем особого рода врачам, которые дежурят круглые сутки в ожидании «потерпевших». В трамвае было много молодежи, возвращающейся с удовольствий, они стояли группами или парами, но разговаривали нешумно, без выкриков, утомленные бурными и напряженными часами. И так же, сдвинувшись друг к другу в кружок, тесно, лицом к лицу, стояли и они – мать, отец и дочь. На лице Светки под глазами крапинами вдавились внутрь высохшие слезы. Тамара Ивановна не знала, что сказать ей, чтобы не сделать больно. Только и спросила:

– Ты спала сегодня?

Светка испуганно, быстрыми движениями покачала головой: нет.

– А ела?

Показала, что ела.

Что-то говорил дочери отец, силясь улыбаться, приближая голову. Тамаре Ивановне хотелось лишь одного – ехать бы и ехать, но не подъезжать – пусть бы бесконечно визжал на поворотах и дергался трамвай, люди входили и выходили на остановках, как это происходит и вообще в жизни, а ей бы только смотреть на них и не двигаться.

– Что вы так на меня смотрите? – спросил вдруг очень высокий, с тяжелым подбородком парень, стоявший к ней лицом.

– Я не смотрю, – коротко ответила она, удивившись, откуда он взялся, она его и не видела.

Домой вернулись в пятом часу. Заметив, что Светка готовится упасть в постель, приказала:

– Вымойся! – и сама набрала в ванну воды.

Иван спал, когда пришли. Что же это: уходили – спал, днем заходила – не было, и теперь спит? И так неуютно и горько показалось ей в родных стенах, будто не она здесь хозяйка, будто сдали, как это ныне водится, квартиру кому-то чужому и неприятному, который все в ней переиначил и изгадил, а они тайком в глухой час пришли убедиться в этом. Она не смогла бы заснуть, сердце стучало глухо и тяжело, удары его отдавались во всем теле. Вспомнив, что можно добыть чай, она вскипятила чайник и долго и жадно пила, пытаясь горечью крепкой заварки перебить в себе чужесть, пронзившую все тело, – будто это ее изгадили.

\*\*\*

Светка росла слезливой, мягкой, как воск, любила приласкаться, засыпать у матери на руках, сказки позволяла читать только нестрашные, и не про детей, подвергавшихся колдовской силе, не про братца Иванушку и сестрицу Аленушку, о судьбе которых начинала страдать заранее, прижимаясь к матери, а про козляток да поросяток. Была чистюлей и аккуратисткой, в ее игрушечном уголке каждая тряпочка знала свое место и каждая кукла вела разумный образ жизни, не валяясь где попало с растопыренными руками и ногами. Над вымазанным платьем Светка ревела ручьем, брату, пока он не вышел из ее повиновения, бралась отстирывать с мылом ссадины на руках и лице. В детском саду Тамаре Ивановне пришлось запретить своим детям по всякому пустяку искать у нее защиты и приклеиваться к материнской юбке – Иван скоро и легко принял это правило, а Светка, не спуская с матери зареванных глаз, отходила в уголок, чтобы казаться окончательно несчастной, и истекала слезами, делая порывистые движения в сторону матери и не смея нарушить запрет. Она мало читала в детстве и развивалась какими-то собственными, вызревавшими в ней, впечатлениями, подолгу затаенно и чутко прислушивалась к ним, медленно, в такт чему-то, поводя красивой головкой с закинутыми за спину пшеничными увязками кос. Знала много песен, и народных, и под народные, ее обучала им бабушка Евстолия Борисовна, мать Анатолия, жившая в трех кварталах от них в одиночестве своей квартирой. Был у них коронный номер, исполнявшийся при гостях и всегда вызывавший восторженный смех. «Вот кто-то с горочки спустился...» – басисто, тягуче, мощно начинала бабушка и умолкала, закатывая глаза и откидывая крупную, гладко расчесанную голову, а внучка чистым, звонким, хрустальным голоском подхватывала, вся превращаясь в восторженное сияние и вытягивая шейку, точно высматривая: «Наверно, милый мой идет...». – «На нем защитна гимнастерка...» – взревывала после ангельского Светкиного вступления Евстолия Борисовна, а Светка, испуганно приахнув, артистически затомившись нетерпением, приложив ручонку к груди, округляя сердечком губы, уж совсем на пределе нежного и самозабвенного звона признавалась: «Она меня с ума сведет». Слушать их, смотреть на них было уморительно: одной рано выглядывать «миленького», другой поздно, и голоса, слишком разные, не соединимые ни в одном звуке, выдающие у одной колодезные заросли прожитого, а у другой – только что выбившийся из-под земли ключик хрустально-счастливого плеска, – удивленно и простодушно заявляли о невинности той и другой.

Иван в малые годы был более самостоятелен и умел настоять на своем. Захочет чего – вынь да положь ему. Тамаре Ивановне постоянно было некогда, она, торопясь отойти, уступала, и парнишка все набирал и набирал твердости. С трех лет он басил, да так по-мужски, будто голос из мехов выходил. В детсаду поражались: «Ты, Тамара Ивановна, своего бурлака хоть медом бы, что ли, подкармливала, чтоб горло помягчело, он же пужает ребятишек. Как труба ерихонская, ей-Богу, что с ним потом-то будет, какие страсти?!» Но, заявив о себе, погудев для острастки, гуд прекратился и голос опал, сделался почти как у всех мальчишек и все-таки покрепче, потуже, в тон характеру.

Во все годы Иван учился хорошо. В круглых отличниках не ходил, но ему это и не надо было; он рано приметил в отличниках почти рабское преклонение перед высшим баллом, постоянную напряженность и выструненность ради оценки. Велят стараться – они и стараются до потери сознания. В круглых пятерках, считал он, несвобода, чрезмерная исполнительность, стесненное дыхание. Вот почему когда снялись в школе все ограждения и хлынула в нее дикая свобода, отличников почти не стало. В школу ворвался Гаврош с сигаретой в зубах, в грязной заграничной куртке, с выписанными по груди и спине загадочными словами, отодвинул от стола учительницу и крикнул: «Айда, ребята, там стреляют, там делай, что хошь!» И ребята посыпались из-за парт, собираясь в отряды, шныряющие по вокзалам, рынкам и помойкам, обживающие чердаки и канализационные ходы. И как знать, не от худшего ли еще они сбежали? В школу, как новую мебель, натащили новые науки, появились учебники с откровенными картинками и призывами вроде: «бейте лампочки в подъездах, люди вам спасибо скажут», набрались неведомо откуда экзотические преподаватели, едва говорящие по-русски, а родную литературу, историю, русский язык принялись сталкивать на обочину, превращая их в третьестепенные предметы и наполняя новой начинкой...

Светку после девятого класса Тамара Ивановна сняла из школы, послушалась ее – и не спасла. Иван оставался в школе, теперь уже тоже в десятом, – и неизвестно, спасется ли. Одна надежда на его твердый и самостоятельный характер, на крепость собственного закала. Только такие теперь и выстаивают.

К шестнадцати годам Иван поднялся в высокого и красивого парня. Все в нем сидело плотно, спина не прогибалась, как обыкновенно у высоких подростков, руки и ноги не вихлялись, будто плохо ввинченные, шея не вытягивалась по-петушиному. Недорослем его не назовешь. Больше всего Тамара Ивановна гордилась ростом сына: она и Анатолий обошлись средним ростом, Светка вышла в них, а Иван – надо же! – как на опаре поднялся в полную и завидную стать. Лицо у него было чуть вытянутое, голову носил высоко, задирая подбородок, глаза смотрели внимательно, без спешки. Ботинки покупали ему сорок пятого размера. Об одежде заботился мало и ничего модного не выпрашивал, любая рваная майка сидела на нем как родная, зимой бегал в коротком и тонком китайском пуховике, в котором свистел ветер. Мать со скандалом заставляла его идти с собой на барахолку, в царство яркого и дешевого китайского изобилия, чтобы не стыдиться его дыр, а он и не замечал обновки. Так же не замечал он голода: усадят за стол – съест с короб, не глядя, что ест; не найдут, не усадят – и не вспомнит, что полагается обедать. И при этом худым не был, не выбегивался, кости не выставлял. Все было при нем. Он не отказывался помогать ни по дому, ни по даче, но ему надо было напоминать: сделай это, это и это – сам он сделать не догадывался, мог пройти мимо слетевшей на пол книги, не заметить, что на столе нет хлеба. Тамару Ивановну это возмущало, она пробовала стыдить сына, а он хлопал невинными изумленными глазенками, не понимая, чего от него добиваются.

– Ты говори, – даже и не оправдывался он, а искренне не мог взять в толк, почему бы его, как всякое требующееся движение, не подтолкнуть. – Ты говори, я сделаю.

– А без «говори» ты не можешь сделать? Как же ты без меня-то, без нас собираешься жить?

– Я сам себе буду говорить.

– Так ты и теперь сам себе маленько говори.

Он умел найтись, ой, умел:

– Но ты же у нас диспетчер...

– Что-о-о?!

Мать под горячую руку могла и затрещину отвесить; сына как ветром сдувало. И, зная, что она высматривает его в окно и наставляет, как орудие назидания, кулак, он вставал перед окном в боксерскую стойку, делал уморительную рожицу, показывал язык и вприпрыжку удалялся.

– Ну, мать! – как-то незадолго до этой истории, уже по сухой зазеленевшей весне, воротясь домой, с воодушевлением взялся рассказывать Анатолий. – Иван-то у нас, а! Счас идем по улице – так заглядываются на него невесты-то! Теперь это у них без стеснения – сами заглядываются, глазки вострят! Вот увидишь: все девки будут его.

– Зачем ему все девки? – Это было в субботу, собирались на дачу, и Тамара Ивановна вся была в хлопотах. И отозвалась – как мяч, летящий на нее, отпаснула.

– Да красивый у нас парень-то растет! – не унимался Анатолий. – Красивые у нас дети. Вообще народ, если на молодежь смотреть, красивей становится, какой-то отбор происходит.

До народа Тамара Ивановна не стала подниматься, не до того; об Иване сказала, распрямляясь из согнутого положения: она собирала в мешок рассыпанную под столом картошку, которая проращивалась для посадки:

– Зачем ему красота?! – А раз уж выпрямилась, бросила из-за пустяка дело, то и пошла в наступление: – Зачем парню красота? Парня портить? Ему не красота нужна – умнота. На умноту-то, поди-ка, не заглядываются! И рассмотреть не умеют.

– Да и умнота есть. Не дурак. Что это ты? Умеешь глядеть – гляди.

– А ничего пока увидать не могу. Глаза стали плохие.

– Ну, это ты зря, Тамара Ивановна.

Это словно клавиши музыкального инструмента – то, как мужья и жены в разные минуты обращаются друг к другу. Анатолий не часто, но называл все-таки иногда свою жену и Тамарой Ивановной – когда надо было с легкой дразнящей иронией приподнять имя к «Ея Величеству»; называл и просто Тамарой – в ровные и безоблачные будни, напоминающие о молодости; и «мать» говорил – при детях, как это с возрастом бывает у многих, и «голубушка» – чтобы внешне безобидным, но чувствительным скребком снять лишнюю накипь, и «подругой дней моих счастливых» – когда счастья хотелось больше и лучшего качества... Тамара Ивановна называла его то Толей, то Толяном, то «отцом», то – очень редко и вне себя – «супругом», точно предъявляла свидетельство о браке, которое может быть выброшено. Вот и теперь Анатолий выбрал «Тамару Ивановну» – стало быть, имел к ее мнению нешуточные претензии.

– Это ты зря, Тамара Ивановна. Парень у нас хороший вырос. Я о нем меньше беспокоюсь, чем о Светке.

Но и Тамара Ивановна беспокоилась о нем меньше. И потому, что парень, а значит опасностей сразу вдвое меньше, и потому, что мог уже, не обделенный силой, постоять за себя. Но больше всего – какая-то прочная сердцевина, окрепшая в кость, чувствовалась в нем, и на нее, как на кокон, накручивается все остальное жизненное крепление. Понятно, что это крепление ложилось пока слабо, кое-где топорщилось, кое-где высовывались петли, но оно было на месте, на котором и надлежало ему быть. Это главное. Иван, как и все подростки, ходил на дискотеку, но она не захватила его с руками и ногами, не проникла вместе с ним в дом и не загремела на все пять этажей, как исчадие ада. Все, на что фанатически бросаются другие, его настораживало. В школе все учили английский язык, чтобы проложить им дорогу к красивым и сытым занятиям, он среди всего четырнадцати таких же «поперечных», ходил во французскую группу. Все набрасывалась на порнофильмы, с горящими глазами и почесывающимися выпуклостями собираясь по передовым хазам – чтобы непременно вместе и непременно в учебных целях – он сходил за компанию раза два, почувствовал какую-то внутреннюю морщь и слизь, стыд, удивляясь удалым и неприятным комментариям товарищей, и больше не пошел. Все, старые и малые, валили огромными океанскими волнами на «Титаника» – он удержался, не желая быть каплей того же состава, которые вздымаются рекламным ветром в слепые и кровожадные валы, снова и снова атакующие обреченный лайнер и испытывающие удовольствие от предсмертных криков. Одно время у Ивана случилось странное для парня и хранимое в секрете увлечение – он собирал фотографии принцесс и королев здравствующих монаршьих семей – шведской, датской, испанской, португальской, английской, японской – он вглядывался в их лица, чтобы понять, что за особый такой отпечаток накладывают аристократизм, династическая порода, считающаяся спущенной с небес, и восторженное почитание. Но после того как лучезарной звездой просияла принцесса Диана, изменявшая мужу на глазах у всего впавшего в неистовое любопытство мира, Иван выбросил свою коллекцию и вспоминал о ней со стыдом всякий раз, как снова и снова возносили скандальную принцессу как богиню аристократической свободы.

Этим он был в мать. Иван даже стеснялся этого сходства и в решительности своих поступков старался сыскать другие причины. Мать могла сгоряча наломать дров, нередко так и происходило. Сгоряча, к примеру, разбомбила и выставила телевизор, как забывающегося гостя, поведшего себя неприлично. Выставила и только навредила: Светка повадилась бегать под телевизор к подружкам; Евстолия Борисовна, признаваясь, что она «не вылезает из телевизора», приходила совсем редко. «Так не делается, – считал Иван. – Прежде остынь, потом решайся на размашистые движения». Его поступки, считал он, вызываются волевым решением. Дискотека – это детская болезнь, так же как пакостливые заглядывания в чужую постель, от нее, от этой болезни, все равно придется освобождаться, и чем раньше, тем лучше. «Титаник» – результат массового психоза, «что все, то и я», а он собирался быть человеком самостоятельным. Французский... Французский понадобится, конечно, меньше, чем английский, и к английскому когда-нибудь придется вернуться, но сегодня английский – это для сбитого с толку поколения загон, где ему помогут расстаться с родной шерсткой. О принцессе Диане и говорить нечего, она не одну себя отдала на съедение хищникам, а вместе с собою повела миллионы, многие миллионы дурочек, жаждущих мятежного примера.

В последние месяцы у Ивана появилось новое увлечение. Его, впрочем, и увлечением назвать нельзя, оно сразу показало себя не пустым занятием, а интересом, за которым открылся совсем рядом лежащий потайной и увлекательный мир. Это было совсем не то, что ищут, чтобы чем-нибудь себя занять. Однажды он катал-катал случайно подвернувшееся слово, которое никак не исчезало, – бывает же такое, что занозой залезет и не вытолкнешь, – и вдруг рассмеялся от неожиданности. Слово было «воробей», проще некуда, и оно, размокшее где-то там, в голове, как под языком, легко разошлось на свои две части: «вор – бей». Ивана поразило не то, что оно разошлось и обнаружило свой смысл, а то, что настолько было на виду и на слуху, настолько говорило само за себя, что он обязан был распознать его еще в младенчестве. Но почему-то не распознал, произносил механически, безголово, как попугай. Недалеко оказалось и другое, летающее рядом с воробьем, столь же очевидное и самоговорящее: «ворона», «вор – она». Вспомнилось, что «спасибо» – это «спаси Бог». Вот уж верно: спаси и вразуми нас, произносим как пустышки, как фишки, как номера какие, которые имеют условное обозначение, требующее запоминания.

– Мама, ты знаешь, что такое сволочь? – погуляв перед матерью петухом, придав себе важности, спросил Иван, улучив момент, когда Тамара Ивановна вечером перед сном, уставшая и размякшая, опустилась на диван.

– Сволочь она и есть сволочь, – мрачно ответила она.

– А что такое подонки?

– Чего это тебя потянуло туда: сволочи, подонки?

– Слушай, мама, и запоминай. Сволочь – это такая дрянь, которую надо стащить, сволочь с дороги, где люди ходят. Слово «сво`лочь» – от «своло`чь», убрать с глаз. Переставляешь ударение и все ясно. А «подонки» – осадок по дну посудины, несъедобные, вредные остатки, их только выплеснуть.

– Гли-ка! – слабо удивилась Тамара Ивановна. – Сам разглядел или кто подсказал?

– Я теперь к каждому слову прислушиваюсь. Вот «бездна». Что такое «без дна»?

– Ты у меня, что ли, спрашиваешь?

– У тебя. Посмотрю на твое развитие...

– Я те покажу развитие... Доразвивались... дальше некуда. Ахнули в пропасть – вот тебе и бездна.

– Правильно: «про’пасть» – от «пропа`сть», и она «без дна» – вот и «бездна».

– Учись, – вздохнула Тамара Ивановна. – Так учись, чтоб не пропасть. Счас все шиворот-навыворот – ой, разбираться днем с огнем надо. Слова взялся разгадывать... разгадай-ка сумей, где хорошее и где, ой, нехорошее. Ой, Иван, берегись. Счас матери с отцом углядеть вас – никаких глаз не хватит. Сам берегись. Теперь детишкам хуже, чем в детдоме. В детдоме досмотр был, там, может ласки не хватало, а досмотр был. А счас и при живых родителях сиротство: все под смех да под издевки пошло.

И сама же, спустя недели две, вспомнила:

– Ну, что еще разыскал? В словах-то? Какие там еще разъяснения?

– Разъяснения мне больше неинтересны, – ответил Иван, напуская на себя опытность. – Я в этом предмете в следующий класс перешел. Я теперь интересуюсь, как слова меняют свой смысл. Вроде как взрослеют. Вот, к примеру... вот, к примеру, «злыдни»... Ты знаешь, что такое «злыдни»?

– У нас в деревне говорили: последние злыдни выгребли. Значит: остатки, деньги там или продуктишки, на черный день приготовлены.

– Да, теперь так. Но если смотреть на слово – это «злые дни». Сначала оно, видать, жило с этим значением, а потом потихоньку-потихоньку перешло в запас для тяжелых, для злых дней. Или слово «равнодушный». Оно относилось к человеку равной с другим, равновеликой, души, а сейчас это бездушный человек. Вон куда уехало.

Тамара Ивановна покивала, с усиленным вниманием разглядывая сына, и спросила:

– Так ты, может, по этой части и пойдешь после школы? Ишь как завлекло! – Она вздохнула. – Только не кормежное, однако, это дело, это твое гадание на словах...

– Языкознание называется. Конечно, не кормежное. – Иван вдруг заливисто, притопывая ногами, рассмеялся. – Не кормежное – еще бы!

– Чего ржешь-то как жеребец! Кормить-то кто будет?

– Да мне ведь еще ведь еще год в школе...

– Школу-то не задумал бросать?

– Нет, не задумал. Я мог бы, конечно, самостоятельно... – «Хвастунишка, – подумала Тамара Ивановна. – Сразу то и другое заедино: и хвастунишка-мальчишка, и взрослый уж, серьезный человек. – Мог бы самостоятельно, – выхвалялся сын, – но мне аттестат зрелости не повредит.

– Вот чего бы Светке не учиться?.. Школа – плохо и без школы плохо.

– С нами плохо, а без нас тоже плохо, – поддразнил Иван.

– И правильно! – решительно подтвердила Тамара Ивановна. – Ты надо мной смешки не строй, я тоже разбираюсь. Правильное – оно и будет правильным, как ты его не обсмеивай. Этим твоим горлопанам, этим твоим дуроплясам надо бы знать: правильное правильным и останется. Они в дым превратятся, в фук, в вонь, а оно стоять будет.

– Да с чего они мои-то? Ты с чего их мне в родню-то записала?

– Потому что они для тебя стараются!

– Они и для тебя стараются!

– Меня им не взять!

– А если меня взять – плохо ты меня воспитываешь!

– Ничего, я вас воспитаю! Вы у меня шелковые станете!

– Ма-а-ма! – миролюбиво протянул Иван, лицо его поехало на сторону от смеха. – Как называются первые огурцы?

– Чего-о-о?

– Как называются первые огурцы, помидоры, ну и так далее?

– Чего ты меня дуришь?

– Ну, как они называются – знаешь?

– Так и называются. Первые они и есть первые. Первый ребенок – первенец. Первый огурец – тоже, поди, первенец.

– Поди... Вот тебе и поди. Огурец-то – это, поди, не ребенок. Первые овощи, мама, – начатки. А как называется беременная женщина? Она называется: непраздная. Вот так. Тоже мне: не кормежное дело... А вспомнишь, что начатки, и огурцы вкуснее.

– Хоть русские слова – и то ладно. А то сейчас понатаскали всякую дребедень, будто мы уж не дома, и скалят под нее зубы, и скалят...

– А почему девушку называют красной? – не отставал Иван; очень ему нравилось учительствовать перед матерью, так и приплясывал он перед нею, наигрывая головой, так и брызгали его глаза веселым нетерпением. – Красна девушка – это что?

– На морковке да на свекле со своей грядки возросла – вот и красная.

– Красная – это красивая. Так в старину говорили. Красная площадь в Москве – не от морковки же она красная... А потому что выстроена красиво.

– Площадь, может, и не от морковки, а красна девушка от морковки, – уперлась Тамара Ивановна. – Тут уж ты меня не перебьешь. От огородного, от таежного, от чистого воздуха – вот она откуда, краса. Никакой мазни не надо. Лицо белое – от коровки, щеки жаром пышут – от чего же еще, как не от нее, не от морковки; глаза чисто глядят – утром встанет пораньше да умоет свои глаза свежей росой, они и рады-радешеньки. А ежели еще коса на месте... Коса на месте – все на месте, так и запомни.

Иван на торжественной ноте продекламировал:

– У красной девицы, мама, не глаза, а очи: жгучие очи. Не щеки, а ланиты: бархатные ланиты. Губы алые, шея лебединая, груди – это перси: трепетные перси...

– Что еще за персы? Рано тебе трепетать от всяких персов. Ишь, туда же! Имей стыд-то! Заповзглядывал куда не просят! Персы!

– Не персы, мама, а перси-и. Это по-старорусски. Когда хотели возвышенно сказать о женщине, наградить ее неземной красотой...

– Чем земная-то плоха стала?

– Да посмотри: с ланитами да персями, с очами да веждами совсем по-другому смотрится женщина. Боярыней смотрится. Павой. Знаешь, что такое пава? «А сама-то величава, выступает словно пава». Помнишь?

«Пава» почему-то обидела Тамару Ивановну:

– Ладно, хватит выставляться-то перед матерью. Учись да не заучивайся, дальше ума не лезь. Ишь, пава... Придет время – не паву себе ищи, не на персы глаза пяль, а душу почуй. Душа-то, поди, себе имена-фамилии не перебирала... Перебирала или нет?

– Не знаю. Кажется, нет.

– Ей это и не надо. Она скромницей живет. Терпеливицей. А паву твою я и знать не желаю.

\*\*\*

На следующий день после возвращения Светки пришлось идти в прокуратуру с самого утра. В этот раз их, Тамару Ивановну и Светку, вызвали вместе, Тамару Ивановну как законного представителя потерпевшей. Вот кто теперь они, дочь и мать: одна законная потерпевшая, другая – законный представитель потерпевшей. Таков язык в этих стенах, видевших и слышавших такие истории, что никакие слова и никакие происшествия тут никого покоробить не должны, и, если, по несчастью, это происходит, значит человек плохо представлял себе, куда он шел.

Следователь, сидевший за столом, был из того распространенного типа мужчин, в который в схожих условиях и со схожим образом жизни к сорока годам попадают многие: рыхлое и посиневшее крупное лицо, лысина на голове, которую уже и маскировать нечем, нарочито замедленные движения, поскольку в неконтролируемом положении они нервны и суетливы, и мутный взгляд много повидавших глаз. Фамилия его была Цоколь, он назвал себя сразу же, как только усадил перед собой Тамару Ивановну и Светку. Светка села напротив следователя, Тамара Ивановна в углу стола, справа от дочери. Имя не сказал, тут это не полагалось. И их имена записал только на лицевой стороне протокола допроса и впредь легко, нисколько не затрудняясь в обращении, обходился без имен.

Кабинет был сурового и холодного вида: кроме стола Цоколя в левом углу у окна, еще один стол по правой стене ближе к двери, окно, невеселое, выходящее во двор, на покрытую металлическими листами и крашеную суриком крышу хозяйственного пристроя. Одинаково громоздко подпирали боковые стены большой темный шкаф справа и большой железный сейф слева, тот и другой давно миновавших, но поразительно прочных образцов. Тамару Ивановну эта мрачная обстановка удивила. Она считала, что, если новая власть купается в сказочной роскоши, а закон истово помогает новой власти нарушать правосудие, то и его служба должна оплачиваться щедро. Оказалось, судя по обстановке в прокуратуре, это совсем не так.

Цоколь хлюпал носом: спасаясь от вчерашней жары, он, должно быть, неосторожно подставил себя сквозняку. Окно и теперь было приоткрыто и в него наносило приторным запахом растопленной на пристрое краски. Но сегодня и жара донимала меньше, солнце горело вполнакала.

Цоколь спрашивал и записывал. Записывал шариковой ручкой, машинки в кабинете не водилось. Он предупредил Светку, как и Тамару Ивановну, об ответственности, сказал о правах и обязанностях. Здесь упоминание о них казалось единственно к месту, не то что на площадях среди одуревших от свобод митингующих. Тамара Ивановна поняла только, что она не должна мешать допросу. А чего бы ради ей и мешать? Жалея девчонку, она так и не расспросила ее... да и когда бы, как бы она стала расспрашивать? Под утро пришли чуть живые; сегодня, пока не постучала к ней Тамара Ивановна, Светка из комнаты не выходила, а сон ли ее свалил после двух страшных ночей, или рвала она на себе волосы – как знать! Да и что прикидываться: Тамара Ивановна, откладывая разговор, не только Светку жалела, но и себя. Пытать, добиваться подробностей – это хищной птицей расклевывать сердце дочери и свое. И вот теперь она вынуждена была слушать.

Светка встретила, оказывается, этого парня, азербайджанца по имени Эльдар, еще в четверг. «Еще в четверг», – повторила про себя Тамара Ивановна, отмеряя это временное удаление двумя разными мерами: так давно это было, на краю какого-то прежнего летоисчисления, а потом – так близко, всего-то три дня прошло, за три дня ничего слишком уж тяжкого не должно было произойти, ведь это не стихийное бедствие. Из этих трех дней дочь потерялась на сутки. Сутки эти, пока они выворачивались из-под земли, пока в терзающем оголении проносили они каждую минуту, выросли в вечность, но теперь, когда они остались позади, они представлялись чем-то вроде тонкой завесы, которую надо было только догадаться приподнять, чтобы увидеть, что за нею происходило.

Девчонки, Светка с двумя подружками, стояли на площади возле торгового комплекса, а наверху, на площадке перед входными дверями, торчал кавказец в джинсовой куртке, засунув руки в карманы зеленых спортивных брюк, и уставился на них. Под его слишком уж пристальным показным вниманием они захихикали, а он, словно только этого и ждал, сбежал к ним вниз и уставился уже на одну Светку... Наигрывая плечами, нащелкивая пальцами, он объявил ей с акцентом, что она ему нравится. Девчонки еще пуще засмеялись; парень в толстой куртке и толстых штанах в совсем жаркий день, с черным узким лицом, с вихляющейся фигурой на неподвижных ногах был забавен. Его этот смех разозлил, в глазах появилось бешенство. Без всяких подступов и ухаживаний он решительно велел Светке быть вечером в семь часов там же, где стояли. Говорил он с сильным акцентом и злился еще и оттого, что его плохо понимали. «Приду», – со смехом пообещала Светка, чтобы отвязаться. «Приходы!», – еще более требовательно, с угрозой повторил он и направился в сторону рынка.

«Это все торгашество, все оно, подлое... – спохватно думала Тамара Ивановна, слушая Светку. – Все профессии, все специальности – вон, ничего не надо, кругом одно торгашество! И где она была, какой бес отнял у нее разум, когда согласилась она на курсы продавцов, на которые нацелилась Светка, после того как бросила школу?! Потому и нацелилась, потому и бросила, что все кругом, вся жизнь перешла в шумный и липкий базар. Где она, мать, была, почему не сообразила она, что выйдет девчонка с курсов – на работу ее, малолетку, не возьмут и может повадиться она ходить на эти бесчисленные базары-ярмарки и искать любое купи-продай, любую мелочишку из любых рук в любые руки. Так оно и вышло. Что ни день – как на биржу труда, туда, к торгашам, пять дней впустую, а на шестой какой-нибудь проныра-хозяин поставит на угол совать прохожим китайские заводные игрушки и зазывно, не набухшим еще голоском, выкрикивать, чтоб подходили.. Господи, девчонка заворотила глаза – ей простительно, а она, мать-то, где была, почему тоже заворотила глаза на эту всесветную барахолку?! Вот оно, наказание-то, вот оно, принимай, мамаша», – неожиданно чужим голосом, издевательским и назидательным, ткнула себя Тамара Ивановна в грязный стол, за которым, как приговор, заполнялся протокол допроса.

– А на следующий день ты тоже случайно встретила его, этого кавказца? – равнодушно спрашивал следователь, быстро водя ручкой по разлинованной бумаге.

– Тоже случайно, – согласилась Светка и умолка.

– Рассказывай, – подтолкнул Цоколь, мельком взглянув на Тамару Ивановну, сидевшую в неподвижном и как бы прочно замкнувшем себя положении: склонившись над столом и опершись на него обоими локтями, она одной рукой ухватилась за щеку, вобрав ее в кулак, а второй подпирала лоб.

– Он искал меня, – продолжила Светка, – а для меня это было случайно. Я работала у входа на барахолку. О нем забыла. В четыре часа сдала остатки хозяину, он велел в четыре, он куда-то торопился... Я сдала ему и пошла к торговому комплексу...

– Почему опять туда?

– Там Люся Кудашкина работает. Мы договорились встретиться. Я нашла на барахолке Лиду и сказала ей, что пойду к Люсе. Лида тоже пошла со мной. Мы подошли к комплексу, и я увидела: опять там, у дверей, стоит этот парень. Мне показалось, он меня не заметил. Я кинулась за угол и вошла в комплекс с другой стороны, со стороны рынка. Стала подниматься по эскалатору, а он на втором этаже стоит у эскалатора и ждет меня. Схватил за руку и держит. Говорит: «Пойдем гулять». Но не злой был, улыбался. Не отставал от меня. Пришлось с ним вместе подходить к Люсе, она уж ждала. Там и Лида была. Мы при нем разговаривали с Люсей о работе. Чтоб нас на улицу на россыпь поставили. Люся хотела с кем-то договориться. У нее не получилось. Он слышал наш разговор. Когда на улицу вышли – он, Лида и я – он говорит: «У нас много работы, у моего двоюродного брата. Давайте поедем к брату, это рядом, брат вам на полгода даст работу». Понимать его было трудно, он плохо говорил по-русски. Кричал: «Брат скажет, брат скажет!»

– И поехали – так, да? – опять подталкивая умолкнувшую Светку и выдержав, не взглянув на Тамару Ивановну, которая все так же, еще шире раздвинув по столу локти и еще ниже склонив голову, сидела неподвижно.

– Я хотела сбежать!.. – загорячившись короткой вспышкой и переходя опять на покорный тон, говорила Светка. – Я хотела сбежать, но он держал меня за руку, спрашивал: «Почему ты меня боишься? Я тебе дурного не сделаю». Он мне был противен, я боюсь их, этих... Я попросила Лиду не бросать меня. Я повела их к киоску дяди Володи Демина – киоск закрыт. Дядя Володя был где-то недалеко, машина стояла на улице. Мы минут пятнадцать ходили вокруг, я думала, он придет. «Съездим к брату, поговорим с ним и обратно», – повторял он, этот... Говорил, что у него яблоки на прилавке, ему задерживаться нельзя. Мы с Лидой пошептались, что если вместе, то не опасно...

– И куда поехали?

– В общежитие для малосемейных, на бульвар Постышева. Там старик был, он ушел ненадолго и привел второго кавказца, старше. Звали его Эдик. Эдик принес водку, одну бутылку, консервы, колбасу. Тот, который с нами пришел, стал требовать, чтоб пили и ели. Но никто не пил, он один выпил полстакана и сделался совсем злым. Стал кричать на меня, хватал на руку. Когда Эдик хотел его успокоить, он кричал на Эдика. Мы с Лидой хотели уйти – он вскочил, закрыл дверь на ключ, сказал: если мы подойдем к двери, он выбросит ключ в окно. Уже было больше семи часов, я заплакала. Он схватил меня за руку и потащил в туалет – будто умыться. Говорил: умойся, умойся, не плачь... Он... я...

– А где был старик?

– Он ушел раньше.

Светка замолчала и уставилась в стол. Лицо ее сделалось мелким, жалким и посинело, словно от синяка под глазом краска под давлением разошлась по всему лицу, и покрылось точечными капельками пота. Она была в легкой темной спортивной курточке, волосы на затылке перехвачены резинкой, фигура надломленная, глаза забиты воротившимся при воспоминании страхом. Тамара Ивановна взглянула на нее и быстро убрала взгляд, ужаснувшись тому, как быстро психика или что там еще у дочери отозвались на подготавливавшийся момент прыжка в пропасть, перед которым она застыла. Светка подошла в своем рассказе к самому страшному; теперь надо было только оттолкнуться и пролететь уже испытанным падением: так же с высоты удариться об острые камни, раниться, биться о них раз за разом, снова лететь, обдирая тело, по откосу и не иметь ни вздоха, ни сил, чтобы зайтись отчаянным воплем.

Из коридора время от времени слышались шаги – точно крадущиеся по случаю выходного, в открытое окно налетал ровный и спаянный гул города, идущий, казалось, из какого-то одного источника. Посвистывал больным носом следователь, нарочито размашистым движением заглядывал в отложенную страницу и, деланно сопереживая, вздыхал.

– Ты сказала ему, что ты несовершеннолетняя?

Светка мелконько, дрожью, затрясла головой.

– Не сказала?

– Я еще раньше сказала, что я девочка. А там я не могла говорить. У нас уж там не разговор был.

– А что у вас было? – Цоколь покосился на Тамару Ивановну и добавил: – Я понимаю, тебе тяжело говорить. Но у нас здесь тоже не дружеская беседа. У нас допрос. И мне нужны подробности. Рассказывай.

Светка тяжело подняла голову из наклона, лицо ее еще больше и гуще усеялось настолько мелким потом, что он не срывался и неподвижно лежал сплошной крапчатой сеткой.

– Пусть мама выйдет, – медленно, растягивая слова и произнося каждое слово с разной интонацией, как это бывает у маленьких детей, выходящих из истерики, сказала она, ни на кого не глядя.

– Мама не может выйти. Она здесь не для своего удовольствия сидит.

Дальше пошли короткие вопросы и короткие ответы. Когда Светка поняла, что спасения не будет и здесь, она как через порог в себе переступила и отвечала бесстрастным, выжженным голосом, которого хватало лишь на короткие фразы. И от этого голоса, от выдираемых изглубока слов Тамару Ивановну проняла жуть, она и слыхом не слыхала, прожив на свете сорок лет, что в мире, под которым ходит солнце и просушивает-проветривает все-таки человеческую грязь, могут существовать такие немереные бесстыдство и гадость. Вся натянувшись, обмерев, она уставилась на Светку как на что-то ужасное, как из-под смерти, из-под ада выбравшееся и принявшее образ ее дочери, и все сглатывала, сглатывала застрявший в горле воздушный комок и никак не могла протолкнуть его внутрь. Следователь раз за разом спрашивал: «Но почему?..» – Светка неживым голосом отвечала: «Я боялась, он грозился убить». Вопросы продолжались, продолжались и ответы. После одного из ответов, совсем уж неслыханного, молния сверкнула в голове Тамары Ивановны, возвещая конец ее терпению, – она стукнула кулаком по столу, вскочила и для себя же, для себя, не для кого другого, крикнула в нестерпимой муке:

– Да как это можно?! – и выскочила в коридор.

Следователь вернул ее, дал отдохнуть ей и Светке. Он закурил, вежливо осведомился, не мешает ли им дым, встал у окна, спиной к ним, отставив назад правую руку, разминая затекшие от писания пальцы. Тамара Ивановна и на руку его с растопыренными пухлыми пальцами смотрела с ужасом, как на надвигающегося огромного паука или скорпиона. Но нет, как известно, пределов человеческому терпению – смирила себя и она. И когда допрос продолжился, она успела в себе что-то закупорить, что-то замкнуть на прочные запоры и сидела неподвижно, но вполне в памяти. Хуже, страшнее того, что услышала она, быть уже не могло. Но и все остальное было не многим лучше.

Около полуночи кавказцы оставили тесный притон в общежитии. Своих девушек они вели под руку. По теплой погоде и только-только смеркшемуся дню на улицах было почти людно, по большей части молодым, не чурающимся приключений, народом. Трамвай долго не подходил, и на остановке то в одной группе, то в другой вспыхивал крик. Подруга Лида не обманула, что здесь она и оставила Светку с ее кавказцем, уехала домой, но она знала, куда везет Светку кавказец. Тот не скрывал, что его постой находится недалеко от рынка, за травматологическим институтом, в деревянном доме. Туда он и подругу Лиду с Эдиком тянул, размахивая руками и быстро лопоча что-то на своем языке, когда обращался к Эдику. Но тот был испуган происшедшим в общежитии и торопился сбежать подальше от своего родственника, который, конечно, братом ему не был, даже и двоюродным, но все они, выходцы из горного края, на стороне считали себя братьями.

– Ты могла от него сбежать? – спрашивал Цоколь.

Светка попыталась задним умом понять, могла ли, но и теперь по ее телу прошел испуг.

– Я боялась.

– Но ты могла, если бы не боялась?

– Я не знаю. Я боялась. Я на остановке хотела, но он предупредил, что догонит и зарежет. Там много кричали... если бы я закричала, никто не помог бы...

– А где он грозился зарезать – на трамвайной остановке?

– И там тоже. И потом... в деревянном доме.

Там он заставил ее выпить стакан водки. Расцепил зубы, зажав поднятую вверх лицом голову, как кочан капусты, и влил водку до последней капли. Молодая бурятка, хозяйка квартиры, и друг ее, еще один кавказец, высокий, с оспяным, чешуйчатым лицом и тяжелыми, в глубоких впадинах, глазами, смотрели, как дергается, захлебывается и обвисает в судороге юная пленница, с любопытством. Чего не происходит, когда гулянка, как гармошка, разыгралась так, что не унять, каких только красавиц не нахлещет сюда ее переборами! Домишко был маленький, в одну комнату с отгороженной кухней, посреди комнаты стоял стол, вытянутый к окну, а по обе стороны от стола к стенам прижимались две старые деревянные кровати, застеленные суконными солдатскими одеялами. Стол отодвинули, откуда-то загремела музыка, и он, этот Эльдар, заставлял Светку плясать по-ихнему, по-кавказски. Она не умела, и он с кровати, изгибаясь телом и выбрасывая ноги, пинал ее в такт дикой музыке.

– Неужели ни одного ласкового слова он не сказал тебе? – вздохнул следователь, наглаживая левой, свободной, рукой лысину. – Неужели все таким зверем?

Светка припоминала:

– Не знаю, может, у них это ласковые... «Ты меня любишь?» – спрашивает. Я говорю: «Нет». Он ударит: «Любишь меня?» – «Люблю». – «Родишь мне сына?» – «Нет». Бьет. Говорю: «Рожу». – «Любишь меня?» – «Люблю».

Тамара Ивановна выдержала все. Только жалкий какой-то голос – есть, оказывается, в человеке самоговорящий голос, не мысленный, не угадывающийся, а совершенно самостоятельный, – только этот жалкий голос, по тону Светкин, но и не Светкин, как бы ее самой, но и не ее, в продолжение всей второй половины допроса тыкался ей под сердце и путано наговаривал: «Ничего, ничего... это ничего.. это к нам, принимайте гостей... мы гостям завсегда рады, мы со всяким нашим удовольствием... мы ничего... мы такие...» Этим голосом кто-то, как бы раздвоившийся в ней и счастливый от раздвоения, нахлестывал ее, издеваясь и ликуя, по-свойски находил, где ударить больнее, слащаво поддакивал удару и затаенно ждал, когда в разговоре появится новая подробность, чтобы принять ее с восторгом и значением.

– И что дальше? – спросила Тамара Ивановна у следователя, когда допрос наконец был окончен и листки протокола подписаны. – Где его будут судить?

Следователь с жалостью посмотрел на нее, заметил, что она, поднявшись, пошатывается, и уклончиво ответил:

– Судят по месту преступления. Но до суда еще далеко-о.

Последнее слово он невольно, ни на что не намекая и ни к чему не склоняясь, отправил в недосягаемые выси.

– А что – почему так далеко? – Тамара Ивановна и не заметила, что она отозвалась не на смысл, а на интонацию.

– Много чего требуется. Я еще свидетелей не опрашивал. А свидетели есть. Есть свидетели.

\*\*\*

Началась рабочая неделя, наступил понедельник, последний день мая. Ранняя жара наконец спала, распустив зелень до последнего листочка, и тополя, клены стояли в новых и роскошных складчатых одеяниях. Ими наигрывал слабый прохладный ветерок и молодые листочки мелко трепетали, все разом радостно наговаривали. Небо было в тучах, тяжелых и рваных, солнце то показывалось, то пряталось, небо стояло высоко, отодвинувшись от большого города, который всю зиму коптил его нещадно, а теперь перешел на летнюю норму копчения. В квартире свет был пригашен не от туч, а от густой, стоящей стеной, зелени в сквере, куда смотрели три окна из четырех.

Утром, часов в десять, позвонил Цоколь, следователь, и попросил Светку прийти к нему после обеда. Разговаривала с ним Тамара Ивановна. Цоколь успокаивающе сказал, что встреча нужна для прояснения некоторых обстоятельств дела и что он будет разговаривать с потерпевшей наедине. Пусть разговаривает наедине, согласилась Тамара Ивановна, но Светку она одну не отпустит, в прокуратуру они пойдут вместе. Спустя примерно час раздался новый звонок, на этот раз разговаривал Анатолий. Он зашел в кухню к жене взвинченный, лицо напряглось и покраснело. Зашел и вышел, глянув на жену и пожалев ее. Но тут же вернулся.

– Предлагают деньги, – сказал.

– Кто-о-о? – почти спокойно спросила Тамара Ивановна, оборачиваясь от окна, возле которого проводила теперь часы, будто все еще высматривала и ждала ту, прежнюю, Светку, ушедшую из дому в пятницу. Почти спокойно спросила – больней ее боли не бывает.

– Мужской голос был, с акцентом. Предлагают тысячу... тысячу долларов, если заберем заявление обратно.

– Что ты ему сказал?

– А что я ему мог сказать? Послал подальше.

После этого решили идти в прокуратуру втроем. Стояли в коридоре, подпирали стены, пока Светка была у Цоколя... Уже и не маялись, высматривая потерянные часы, – обреченно стояли и молча ждали, что будет дальше. Быстро сновали по коридору работники прокуратуры – все с бумагами и все в спешке, и медленно, затягивая шаг, вступали в него с лестницы приглашенные, озирались, тревожным взглядом обводили коридор из конца в конец, вытягивая по-гусиному шею, заглядывали в нужный кабинет, чтобы показать себя, и, если оставались незамеченными, отыскивали место, где пристроиться. Из кабинетов доносился трезвон телефонов, иногда голоса людей, если переходили они на повышенный тон, но временами вдруг все умолкало, движение прекращалось, и тогда Тамара Ивановна делала усилие, чтобы понять, где она.

Силы ее были на исходе: три ночи без сна. Синяки под глазами, как растворимая под горем краска, расползлись по лицу, превратив его в сплошное темно-фиолетовое пятно. Камень внутри накалился так, что, казалось, уже и трескался; перед глазами порхали разноцветными бабочками вспышки; пойманной птахой трепыхалось сердце, подбито опадало, исчезало совсем; озноб просекал все тело, казалось, что и конец уже... Но нет, дыхание, спотыкаясь, возвращалось и в глазах опять ненадолго прояснялось...

Цоколь вышел из своего кабинета с чрезвычайно занятым и обремененным видом, не глядя на Тамару Ивановну и Анатолия, в два шага пересек коридор и скрылся в кабинете прокурора. Он пробыл там считанные минуты и только тогда, на обратном переходе, позволил себе заметить родителей потерпевшей и на ходу бросил:

– Прокурор хочет переговорить с вашей дочерью.

– Мы тоже пойдем! – крикнула ему вслед Тамара Ивановна.

– Нет, прокурор будет разговаривать с вашей дочерью с глазу на глаз.

Потом, спустя две недели после того, что произойдет на следующий день, придется и прокурору района давать свидетельские показания по этому делу следователю областной прокуратуры, и она, прокурор района, скажет:

– В понедельник 31 мая следователь Цоколь доложил мне, что подозреваемый и потерпевшая допрошены, подозреваемый отрицает насилие. Со слов следователя явствовало, что по предварительным данным девственная плева у потерпевшей не нарушена. По окончательному заключению медэкспертизы это оказалось недействительным, но я тогда об этом не знала. Кроме того, Цоколь сказал, что у него есть сомнения в показаниях потерпевшей. Я спросила, на чем они основаны. Он ответил, что у потерпевшей и ее матери сложные отношения, мать держит свою дочь в строгости, дочь ее боится и в связи с этим в показаниях не договаривает. Она несовершеннолетняя, но не учится, часто бывает с подругами на рынке. Я попросила следователя, чтобы он прислал потерпевшую ко мне. С нею хотела войти ее мать, но я не разрешила. Я считала, что, если действительно мать оказывает давление на дочь, то это помешает. С потерпевшей я разговаривала наедине. Потом согласилась принять ее родителей».

Это была женщина немолодая, крупная, затянутая, двигающаяся осторожно, находящаяся в стадии борьбы со своими формами, выпирающими, как тесто из квашонки, с загрубевшей темной кожей на лице и жестким голосом. Все в ней было большое – руки, ноги, грудь, голова, все подготовлялось для жизни значительной. Положение ее и было значительным, но, как и все в эти годы в сдернутой с копылков стране, не было оно достаточно прочным. Сидела она за обычным канцелярским столом, явно не подходящим для ее размера, в обычном кабинете, давно не видевшем ремонта, и такой же, как в кабинете у Цоколя, двустворчатый шкаф, забитый бумагами, ютился у стены, и такой же в углу массивный мрачный сейф, не содержащий ни единого секрета хотя бы по той причине, что секреты в этой стране были отменены, и такие же голые, без вождей и авторитетов, стены.

– О чем вы хотели со мной говорить? – не стесняясь, бесцеремонно поторапливая, спросила она, как только Тамара Ивановна и Анатолий устроились перед нею на стульях.

Тамара Ивановна молчала, невидяще уставившись в лицо прокурора. В самые последние минуты перед тем как войти в кабинет, там, в небольшой приемной без секретарши, глаза у нее кое на что прозрели. В дверь, открывавшуюся вовнутрь приемной, несколько раз заглядывали, пока Тамара Ивановна с Анатолием ждали приглашения в кабинет. Тамара Ивановна поднимала голову, уставляла на заглядывающего невидящие глаза и снова опускала их в покорном ожидании. Она подняла и опустила их и в этот раз, и уже опустив, уже за закрытой дверью, увидела высокого, плечистого кавказца, оставшегося недовольным сидящими в приемной. Из-за спины его выглядывал еще один уроженец гор. Она подержала их лица перед собой, соображая, зачем они могут быть ей нужны и вдруг быстро поднялась, открыла дверь. В коридоре их не было. Осторожно приоткрыла она дверь в кабинет Цоколя – они, загородив собою следователя, стояли перед его столом. Ее могли заметить – она прикрыла дверь, оставив щелку, и прислушалась. После гортанных, одновременно вырвавшихся слов, послышался голос Цоколя.

– Меру пресечения решает прокурор, а не я, – торопливо говорил он. – Уберите это от меня! – вдруг перешел он на требовательный и растерянный шепот. – Уберите немедленно. Не я решаю. Завтра мы приведем его на санкцию. Сегодня я ничего не могу обещать. Завтра.

Только Тамара Ивановна вернулась в приемную, прокурор вызвала их. И вот теперь, словно увеличившись перед Тамарой Ивановной в размере, она спрашивала, уже во второй раз, для чего они добивались с нею встречи. Анатолий заторопился:

– Дочь у нас... Подверглась изнасилованию. Мы пришли узнать...

– Что пришли узнать?

Тамара Ивановна отчеканила:

– Пришли узнать, что будет с насильником?..

– Для нас он подозреваемый, – назидательно сказала прокурор, откидываясь на спинку низкого кресла, отчаянно скрипнувшего под ней, но устоявшего. И в этом скрипе Тамара Ивановна услышала: фигу вам!

– Пусть он для вас будет хоть святой. Насильник есть насильник. Он изнасиловал несовершеннолетнюю, нашу дочь. Нашу дочь! – подчеркнуто повторила она, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не сорваться и не сказать лишнее. – И мы пришли узнать, что будет с насильником. Вот!

Прокурор перевела глаза с Тамары Ивановны на Анатолия и опять на Тамару Ивановну. Она тоже удерживала себя от резкостей.

– Вот что, уважаемые родители, – подчеркнуто спокойно сказала, не потеряв самообладания, и в голосе послышалось удовлетворение собой. Я познакомилась с делом вашей дочери. Через этот кабинет проходят десятки... да! – десятки таких дел, и мы научились в них разбираться. Следствие еще не закончено, но вот что я вам скажу. А вы уж стерпите, мы тут пустыми словами не бросаемся. Если бы ваша дочь не захотела с самого начала иметь дело с этим... с кем она легкомысленно поехала... А потом: если бы она захотела убежать от него, а потом – позвать на помощь – она бы это сделала. У нее была не одна возможность избежать случившегося. Она ни одной не воспользовалась...

– Она боялась... – осторожно перебил Анатолий.

– Чего она боялась? На трамвайной остановке десятки людей, она сама это показывает... Броситься к людям за помощью боялась? Или раньше еще, на рынке, где ступить негде от народа, боялась не поехать с неизвестной личностью? Когда боятся, поступают наоборот. Я понимаю ваши родительские чувства, но правосудие должно руководствоваться не чувствами, а намерениями и поступками...

– Да как же не бояться-то! – вскричала, вскочив, Тамара Ивановна, раненная этими двумя стрелами – словами «правосудие» и «бояться – не бояться». – Правосудие! Вот и дайте нам правосудие! Как же не бояться?! – оглядываясь вокруг, обращаясь не к прокурору, а к стенам, еще горше вскричала она. – Среди бела дня убивают – ничего, ни преступления, ни правосудия! Круглые сутки грабят – ничего! Воруют, насилуют, расправляются как со скотом... хуже скота! Нигде ничего! Вы что думаете, – задыхалась она, – что если бы она, наша дочь, на трамвайной остановке бросилась искать защиту, – помогли бы ей? Вы уверены? А я не уверена! И дочь моя была не уверена! Мы что, не знаем, как человека убивают середь толпы, и толпа разбегается! Не знаем мы, как от крика «спасите!» люди шарахаются и зажимают уши! Правосудие! Люди до того напуганы, что они уж и кричать от страха не могут. А вы здесь: он, видите ли, подозреваемый, он несчастный, наша дочь его в несчастье втянула... Мы его поймали, привели вам, преступление как не блюдечке, а вы боитесь его оскорбить не тем словом. Но почему вы не боитесь оскорбить нашу дочь?.. ведь ее избивали, насиловали, как бы вы ни крутили это дело! Это вы привыкли, что насилуют – вообще, везде! А мы не вообще, у нас дочь! Ее же изнасиловали и она же теперь у вас подозреваемая... наравне с этим бандитом!

– Успокойтесь. Или оставьте кабинет, такой тон я выслушивать от вас не желаю.

Тамара Ивановна села, задыхаясь, сердце билось у нее задним ходом. В эту минуту и почувствовала она толчок изнутри, мгновенный и решительный, который придавил ее к стулу и заставил замереть. И то, что сказалось ей или приказалось, что отчетливо прозвучало в ней, заставило ее, как только она пришла в себя, по-другому взглянуть и на прокурора, объяснявшего что-то Анатолию, и на проводимое этой женщиной правосудие, и на шумящую за окном жизнь, изо дня в день шагающую по своим законам. Казалось, со всем она примирилась и всему поняла цену. Прислушавшись, она стала различать слова прокурора:

– У нас сейчас только показания потерпевшей и подозреваемого. Свидетели допрошены не все, нет окончательного заключения эксперта. Когда следственные мероприятия будут закончены, тогда и будет решаться вопрос о пресечении меры содержания.

«Дело ясное, что дело темное», – подумала Тамара Ивановна и спросила на удивление спокойно:

– Что такое санкция?

– Какая санкция?

– Ну, что такое привести на санкцию?

– Привести на санкцию значит объявить подозреваемому его дальнейшее положение по истечении срока задержания, – всматриваясь в Тамару Ивановну и настораживаясь от ее вопроса, ответила прокурор. – Вы хотите знать, какие могут быть санкции? Может быть или заключение под стражу, когда это необходимо, или, когда это допустимо, освобождение под залог.

– И пока ничего не ясно, как повернется дело?

– Пока ничего не ясно.

– Могут и отпустить?

– Под залог. Я сказала: когда это допустимо. Такая мера пресечения предусматривается законом. – Прокурор поднялась, оставив последнюю фразу для большей четкости быть произнесенной на ногах. – Если вы не доверяете нам, у вас есть право обратиться в областную прокуратуру.

Тамара Ивановна взглянула на нее с укоризной:

– Никуда мы обращаться не будем.

Выйдя от прокурора, заторопились к телефону позвонить Светке. Светка давно была дома, ее, как и договаривались, привез Демин, но отвечал по телефону Иван. Он говорил с набитым ртом, и понять его было трудно. Тамара Ивановна вяло прикрикнула на сына, сказав, что она надеется, что уши у него не забиты жвачкой, и он слышит ее, и приказала, чтобы он не выходил из дома, пока они не вернутся. Жвачка в ушах развеселила Ивана; сглатывая, он смеялся и кашлял одновременно, но обещал быть дома и дверь посторонним не открывать.

Вечером стало теплее и мягче, вместе с западающим солнцем, совсем освободившимся от облаков, горой стоящих над головой, натекала совсем летняя спелость нагретой земли. Тамара Ивановна, невесть с чего приободрившаяся, вдруг решила, что сегодня надо сделать ужин. «Сделать ужин» означало, что они не станут обходиться чем попало, как всегда в последнее время, а устроят что-нибудь повеселее. Анатолий обрадовался и испугался: что это – приходит она в себя, приказав себе смириться со случившимся, или просто решила отделить жирной чертой последние черные дни от наступающих, ведущих неизвестно к какой, но развязке? Тамара Ивановна смотрела перед собой тяжелым решительным взглядом и шла быстро, встречный народ обтекал ее с опаской. Анатолий едва поспевал за нею; они почти не разговаривали. На рынок заходить не стали, тошно было смотреть на рынок, да он уже и пустел. Недалеко от дома зашли в большой гастроном, Анатолий взял бутылку водки и бутылку вина; Тамара Ивановна – сосисок, яблок и большой пышный торт, над какими сама же всегда и издевалась, называя их «парфюмерией». Но издевалась не потому, что брезговала, а кошелек в кармане не велел. Но сегодня – эх, изобилие! Эх, мать его растак! и так! и так! и так! – подумала и взяла еще связку бананов, брезгливо, на вытянутой руке, подержала ее, приняв с весов, за отросток и кинула в широкий зев сумки. Наполненная сумка заинтересовала ее; Тамара Ивановна отыскала столик, не выпуская из левой руки коробку с тортом, правой потеребила сумку, расправила ее, всматриваясь в нутро и размышляя. Сумка была черная, вместительная, продолговатая, с легко и ловко ездящим замком, из прочной искусственной ткани, как теперь все они; она могла казаться маленькой при малой загрузке, а могла быть большой. Оглянувшись, найдя Анатолия взглядом уже возле выхода, подхватила сумку, расчетливо встряхнув ее в руке, и заторопилась.

Светка не вышла на голоса; Тамара Ивановна решительно толкнула дверь в ее комнату – Светка в полумраке, с зашторенным окном, полусидела-полулежала, навалившись на спинку кровати. Она даже головы не повернула к матери. Пока ее дергали, заставляли куда-то идти, что-то говорить, она шла и говорила, изымала из себя и выставляла свой позор, муку свою смертную, надрывала сердчишко, но вот оставили ее на несколько часов в покое, и начался молчаливый, страшный, доклевывающий сердце, разговор с собой. Там ее спрашивали, что с ней было, здесь она спрашивала себя, что с ней будет. Там ее ответы заносили на бумагу, здесь же какой-то неумелый самописец, не зная, что писать и не слыша ответов, рвал и рвал на куски обожженную душу. До сей поры она и не подозревала, какая бездна, недремная и безжалостная, скрывается в человеке и какие изнуряющие ведет она беседы.

Тамара Ивановна положила дочери под руку связку бананов.

– Чего это ты? – дрогнувшим голосом удивилась Светка.

– Ешь! Не пропадать же теперь! Нет, девка, теперь надо быть сильной. Сильнее себя. Ешь и выходи, ужин будем делать. Я и торт купила.

– Сластить будем? – Светка выговаривала слова вязко, через слипшееся горло.

Тамара Ивановна будто и не заметила вырвавшегося Светкиного вызова. Отчаянным взмахом руки слева направо она перечеркнула перед собой все, что навалилось, и сказала:

– Пожуй и выходи. Нечего тут залеживаться, нянькаться в себе... – она не договорила, никакое просившееся сюда слово произносить не хотелось. Опять больно пронзило ее, как изменилась дочь всего в несколько дней: маленькая, как у подростка, голова, слабая, раздавленная грудь и сжатые неналившиеся ноги. Почувствовав этот взгляд и угадав, о чем думает мать, Светка решилась:

– Мама, можно, я сегодня пойду к бабушке ночевать?

– Почему? – было отчего подкоситься ее ногам: Тамара Ивановна опустилась рядом с дочерью. Было отчего: она сама собиралась отправить Светку на эту ночь к Евстолии Борисовне, Светка могла помешать ей сегодня. Но она собиралась заговорить об этом позже, при всех за столом, чтобы и тени подозрения не вызвать, будто это нужно ей. Вот пожалуйста – как подслушала Светка.

– Можно?

– Иди, если так хочешь. Но вечер пробудешь дома. К ночи пойдешь.

Ивану Тамара Ивановна заявила, выходя из Светкиной комнаты:

– А ты, дружок, сегодня из дома ни ногой. Понял?

– Понял. Но жду разъяснений! – энергично отозвался Иван.

– Побудем вместе сегодня. Вот и все разъяснения.

– Маловато, но на сегодня хватит.

– Почисти картошку. Ужин будем делать, – уже в который раз за вечер, как заклинание, повторила Тамара Ивановна.

А что было и делать?! Сварили картошку и сосиски, достали из холодильника банку с огурцами, наткнулись там же, в холодильнике, на банку грушевого компота с большими склизкими кусками груш и тягучим соком, остатки сыра, остатки клюквы из морозильника, остатки конфет в коробке, залежавшиеся еще со дня рождения Тамары Ивановны в апреле.

Светка по зову матери вышла натереть свеклу и морковь, постояла, постояла с теркой в руке, силясь отыскать в памяти, как это делается, – и не отыскала, спряталась опять в своей комнатке. Тамара Ивановна махом натерла сама, добавила в эту кашицу еще и тертого чеснока, заправила майонезом и снова окликнула Светку, заставила ее накрывать на стол. Выставили все, что было, словно больше ничего и понадобиться не могло; натыкались в тесной кухонке друг на друга и друг друга задирали; Светка завизжала девчоночкой, когда мать, как в детстве, оттянула ее с размаху ладонью по выставленной в наклоне попе, Иван неестественно громко смеялся, отец покрикивал, торопя и потирая руки. Стол накрыли в большой комнате, придвинув его к дивану; Светка и Иван устроились рядом на диване, мать напротив, поближе к кухне, отец сбоку, поближе к спальне. Светка утонула в мягком диване, только головенка торчала над столом, и обрезанное лицо ее, выглядывающее откуда-то издалека, из чужих приютов, было как бы и не ее: затертые пудрой ссадины, заострившиеся скулы, подернутые пленчатой зыбью глаза. Но у них у всех лица были не свои, они все с болью смотрели друг на друга. Один Иван выглядел молодцом и, только спохватываясь время от времени, обводил всех тревожным взглядом.

– Кто как хочет, а я водочки, – заявил Анатолий, налил себе полстакана, окликнул жену, и она кивнула в ответ, протянула для звона маленький хрустальный стаканчик с вином и сказала детям:

– А вам нельзя! Рано еще. Подрастите, ума наберитесь. – Она испытующе смотрела на Ивана. – Совершеннолетними станьте. Не торопитесь.

Иван сказал – должно быть, потому, что мать обращалась к нему:

– А вы, значит, раз вы совершеннолетние, выдуете у нас на глазах две бутылки с воспитательной целью?

Анатолий громко и облегченно, с удовольствием освобождая от тяжести грудь, загоготал.

– Язва же ты! – сказала Тамара Ивановна Ивану, чуть усмехнувшись, помолчала нервно, теребя щеку, и вдруг позволила: – А, хотите, так и выпейте маленько, для памяти. – Последние слова, чтобы не послышалось в них ничего подозрительного, она произнесла быстро, успев поджевать их.

– Да мы и не хотим вовсе, – пробурчал Иван. – Успеем. Подождем совершеннолетия. Нам это нипочем. Правда, Светка?

Светка с испугом взглянула на брата и еще больше втянула голову в плечи и склонилась над столом.

– А я так и совсем не собираюсь пить, – продолжал Иван и покосился на мать: не подумала ли она, что он брякнул свое решительное заявление впопыхах, чтобы выйти из неловкого положения: Светке сейчас задавать такие вопросы не следовало. – Я из чувства противоречия не буду пить, – пришлось настаивать ему. – Потому что все пьют. А я не буду.

– И не надо! – с лихостью подхватил Анатолий. – Молодец! У тебя и гены с моей, с отцовской стороны, не подорванные...

– С моей, что ли, подорванные? – не пропустила Тамара Ивановна.

– И с твоей целехонькие. Хоть на базар неси.

– На какой еще базар?! Что ты мелешь?

– Да это только так говорится. Когда продукт хороший, чтобы выдать знак качества – вот и говорят. А так-то, конечно... какой базар? Ты правильно постановил, Иван. Это бедствие сейчас: пьют беспробудно и даже без закуски. С пьяным народом каши не сваришь. Кому-то надо пример показывать.

– У нас в школе их «горнистами» зовут. На перемене голову запрокинут, бутылку с пивом в зубы... совсем как горнисты на пионерской зорьке! На глазах учителей. И те молчат. Торопятся мимо проскочить, будто не видят

– По губам бы их, по губам бы!.. – тихо и бессильно отозвалась Тамара Ивановна.

– Свобода, мама, права человека. Теперь выпускной экзамен такой есть: ЧиО – человек и общество. О правах человека. У нас недавно один пятиклассник в суд на директора подал.

– А это еще что такое? – хохотнул Анатолий, пристально вглядываясь в свой опорожненный стакан. – По загривку, что ли, схлопотал малец-то? Не вытерпел директор?..

– Нет, за рукоприкладство его бы четвертовали. Наш директор дал указание убирать мусор на школьном дворе. Выгнал на воскресник. Массовая эксплуатация детского труда. Теперь по загривку-то ему дадут.

– Господи! – без страсти, уставшим, тусклым голосом взмолилась Тамара Ивановна и решительно откинулась на спинку стула, покачалась, дав ему поскрипеть. Ни на кого не глядя, сказала, отвернув глаза в окно: – Пьянство и трусость, пьянство и трусость! Куда мы на таких рысаках управим?! Что будет?

– Что-нибудь да будет, мать...

– Мне не надо «что-нибудь». Сколько можно: «что-нибудь» да «что-нибудь». Даже у зверя, у птицы, у червя есть, наверное, воля, характер... и он уползает или отбивается, а не лапки вверх...

Говорили... и о чем говорили – Бог весть! Лишь бы не задевать свое, кровянившее сердца, лишь бы дать хоть немножко притихнуть боли. И все равно задевали, вздрагивали испуганно от неловкости и забывчивости, направляли разговор на постороннее, где, казалось, никак уж невозможно коснуться раны – и опять касались, опять принимались взглядами предостерегать друг друга. Тамара Ивановна слушала строго и рассеянно, встревая редко, вслушиваясь не в слова, а в голоса, и по голосам определяя, кто как держится, у кого остались еще силы и у кого уж не осталось ничего, кроме тяготы перемогания. Светка умница, она чутьем раненого зверька поняла, что лучше всего свои раны ей зализывать не дома, где от каждого ее вздоха содрогается вся семья и где одни взгляды станут постоянно бередить душу. Да какая она умница, Господи, какая она умница?! – простодырая она дура, больше никто! Но и этот голос пресекала в себе Тамара Ивановна, и его принималась она гонять, как бесенка, чтобы и духу его не осталось.

Она почти ничего и не ела – поковыряла сосиску и поклевала клюкву. Не до еды было и Светке; Светка намяла в тарелке невообразимую кашу из картошки, огурцов, сосисок, бананов и ягод и забывчиво смотрела, что у нее получилось. Иван успевал говорить и намолачивать, за три дня, в которые в доме все пошло кувырком, он успел нагулять аппетит. Анатолия выручала водка, он выпил еще полстакана, забивая в дальний угол какое-то колючее осколочное напряжение, терзавшее грудь, и решительными взмахами набрасывал в опустевший желудок порцию за порцией. Разговор продолжался, Тамара Ивановна услышала, как Светка сказала, не владея голосом, – хотела подтрунить над братом, а получилось жалко, слезливо:

– Иванка у нас философ!

Анатолий, теряя пыл, поддаваясь усталости, но по-прежнему шумно – лишь бы не оборвался этот сторонний разговор, лишь бы не остаться им, боящимся друг друга, наедине – возражал Ивану:

– Это ты, философ ты наш, загнул. Как это можно: все ошибаются, а один не ошибается? Одному, да будь он семи пядей во лбу, против всех не устоять. Все равно точку зрения всех принимать придется. В тебе счас задира сидит, тебе лишь бы спорить.

Ивану и верно это было в удовольствие – спорить. Он говорил:

– Точка зрения всех... А что такое точка зрения всех? Это же не истина... И все – это, конечно, не все, а большинство. Как один – это не один, а меньшинство. А большинство внушению поддается легче. Разве не так? Оно этим и утверждает себя: нас много, мы не можем ошибаться. Да вы потому и ошибаетесь, что вас много. В толпе думать просто невозможно, там порыв, извержение эмоций... И получается пустое множество. Арифметическое: раз-два-три-четыре-пять, и сто, и тысяча, и пять тысяч... Да нет, даже не один-два-три-четыре-пять, не целые числа, а дробь. В числители у этой дроби, где личность, значение личности, там мизер... А в знаменателе, где подчинение общему мнению, там да-а! там такая сила, такие аргументы и факты, только головой верти...

– Ты бы, дружок, поосторожнее с дробью-то... – решил предостеречь отец. – А то загнут тебе салазки, сделают из твоей единицы колесо.

– А почему я должен осторожничать? Что есть, то и вижу. Что вижу, то и беру в расчет. Это и есть взгляды – самому смотреть, а не слушать, что на уши вешают.

Тамара Ивановна из своего далека спросила:

– Где это ты такого гладкого ума набрался?

– А нам, мама, теперь некогда до тридцати лет на печке лежнем лежать.

– Выучись сначала, отслужи, женись, а уж потом и забивай себе голову.

Иван хмыкнул:

– Да ведь и служить, и учиться, и жениться тоже надо с умом.

– Ум в самой жизни... как живешь. А не в словах.

– Вот мы свои слова-то и отдали кому попало. Теперь слушаем чужие.

Зазвонил телефон; Анатолий, не поднимаясь, подпрыгал вместе со стулом к тумбочке, снял трубку, мгновение ждал в тревоге, с изменившимся, приготовленным для тяжелого разговора, лицом и вдруг просиял:

– А-а, мать! Это ты? А это мы. Сидим, чай пьем, я даже водочки немножко принял. Все хорошо у нас, все хорошо. Скоро за торт возьмемся. Дела идут. Что ты говоришь? Отпустить Светку к тебе? Погоди, выясню.

– Скажи, что отпустим и приведем, – велела Тамара Ивановна.

– Отпустим и приведем! – доложил Анатолий. – А то пришла бы к нам сама на торт. Ноги болят? Так они у тебя давно болят, уж хватит им болеть. Ты, мать, им поваду даешь. Ты им не давай повады, командуй ими. Ладно, жди. Отпустим и приведем.

Тамара Ивановна пытливо взглянула на дочь, та отрицательно покачала головой: нет, они с бабушкой не договаривались. Это что же тогда? Как по заказу. Уж больно подозрительно выстилается дорожка. А ведь совсем узкой казалась она, не продраться, и вдруг чуть ли не выходные ворота раскрываются. Пожалуйста! Это для чего же они так широко раскрываются?

Она быстро, через «не хочу», набросала в себя еду: силы ей понадобятся. Звонок Евстолии Борисовны подстегнул: а ведь пора заканчивать застолье. Засиделись. Пора выставлять на стол торт, так неожиданно нагрянувший в такой день в гости. Им, этим изделием сладкой жизни, и отпечатается потом в памяти навсегда сегодняшний грустный вечер. Горе-горькое тоже любит взблеснуть чем-нибудь этаким, вроде жемчужного зерна.

Она никого не торопила, а заторопились вдруг все сразу, точно неслышный сигнал прозвучал, отсчитавший положенное время. Торт съели без остатка, но в спешке, без восторженных восклицаний и удовольствия. Перестал умничать Иван и обиженно замолк, никто его рассуждения больше не поддерживал; натужно, то вздрагивающим, то соскальзывающим от усталости взглядом осматривалась вокруг Светка. Ей не терпелось уйти. Тамара Ивановна опять почувствовала в себе подталкивающее жжение: дальше, дальше! Отдохнули, побыли вместе, поиграли словами, чтобы ничего не сказать, пободрились всяк на свой манер – Господи, да разве этим притворством унять боль, разве заделать какой-то там кратер, из которого она выбрасывается?!

Она приобняла Светку, когда та уходила, приподняла обнимающей рукой ее лицо и заглянула – и ей для памяти, и себе. Светка убрала глаза. Обычным голосом, не позволив ему дрогнуть, сказала дочери, чтобы она отоспалась и без ее материнского звонка никуда не выходила. Самой Тамаре Ивановне было не до сна. Чтобы отдаться сну, надо вместе с одеждой взять и выпростаться из себя, как из кукольной оболочки, а она в такие была закована кандалы, что, как ни сдвигай их, как ни укладывай в поисках облегчения, они не переставали выгибать ее в муке.

Но прежде всего: предстояло Тамаре Ивановне в эту ночь еще одно дело, и было оно сильнее двухсуточного измождения без сна.

Утром, в самом начале рабочего дня, она была уже возле прокуратуры, прохаживаясь на противоположной стороне улицы вперед-назад и не выпуская из виду обычную, слишком скромную для этого пугающего заведения, дверь, безвкусно обитую узкой вагонкой. День опять собирался быть жарким, угарная сушь настаивалась в воздухе и надувала пыль на только что распустившиеся тополя. Одним концом, близким, улица выходила к рынку, вторым в центральную магистраль, которая делила старый район города на две части: одна прилегала к Ангаре, другая к горе. Туда и сюда перед Тамарой Ивановной народ двигался густо и невесело, с выражением общей и привычной повинности. Над рынком, над всеми его торговыми окраинами и рукавами, как над чадящей печью, висело мутное желто-мглистое облако. Автомобильное движение на поперечной улице перед рынком было одностороннее, убегающее влево, и машины, припуская от светофора, взревывали так, что саднило в ушах.

Из дому Тамара Ивановна ушла рано – пока не поднялся Анатолий. Она оставила ему записку, что будет в прокуратуре, чтобы он не бросился ее искать. А в прокуратуре – значит тягомотина бескрайняя. Она тут и была, приготовившись к какому угодно ожиданию. Больше всего она боялась, чтобы из прокуратуры не вызвонили и не вызвали Светку. Светка могла ей помешать. Поэтому в записке Тамара Ивановна еще раз оставила для дочери наказ, чтобы ни под каким вызовом от бабушки она не выходила, пока не услышит ее, материнский, голос.

Прошел Цоколь, вышагивая с размеренным гусиным достоинством; дверь за ним закрылась бесшумно. Долго не было прокурора, и Тамара Ивановна забеспокоилась, не пользуется ли она каким-нибудь незаметным служебным входом, чтобы избегать нежелательных встреч. Прокурор приехала в одиннадцатом часу, тяжело выбралась с заднего сиденья черной иномарки, которых расплодилось, как саранчи, так много, что в названиях их Тамара Ивановна давно уж не разбиралась. Даже на улице прокурор имела величественный вид: прямая, с высоко взбитой прической, в светлом костюме. Кто-то выходил и придержал ей дверь. Тамара Ивановна напряглась: вот теперь не зевай, теперь в любую минуту могут доставить твоего... Как его назвать? Никак его не хотелось называть, скоро у него должно быть новое название.

Улица была заставлено плотно – и все магазинами, киосками, ресторанами; никакому иному учреждению, кроме прокуратуры, сюда бы не втиснуться, а прокуратуру для того, надо думать, и подселили в это торгово-развлекательное царство, чтобы население его, падкое на грех, о законе и возмездии не забывало. Удавалось ли неподкупным блюстителям закона произвести впечатление на ловких рыночников – неизвестно, наяву же было то, что прокуратуру и видно не стало, и слышно не стало, и надо было пять раз пройти мимо сиротского вида двери, прежде чем удавалось разглядеть столь же, как дверь, малоприметную вывеску.

Не прошло и получаса после приезда – прокурор вышла и уехала.

Тамара Ивановна испугалась. Что бы это значило? Какие там случились перемены? Или «санкция» откладывается? Но, кажется, ее нельзя отложить даже на завтра, трехдневный срок после задержания заканчивается сегодня. Не наступил положенный час или там какие-то хитрости? Она вдруг ощутила сильную жажду, терпение ее потребовало, чтобы его смочили, почти физически она представляла, как по нему, по ее терпению, коробом поднявшемуся где-то внутри, пробегают трещины. Но как зверь, обходящий свой участок, она подошла прежде к прокуратуре, постояла, всматриваясь в дверь, и только потом направилась на рынок. Пока шла, что-то прояснилось внутри, и пить захотелось не чего угодно, не какой угодно отравы, лишь бы залить жажду, – захотелось острого, до печенок пробирающего, кваса. Вот такими заданиями и надо держаться, пока не дойдет до дела: отыскать и напиться квасу, посмотреть, что просят перед новой картошкой за старую, потом что-нибудь еще. Хорошо, что успели посадить картошку. Чем бы ни обернулись ее планы, а картошка без едоков не останется.

Встал перед глазами отец, потому что картошка высаживалась в его огороде и была под его присмотром, но Тамара Ивановна, морщась от боли, которую предстоит испытать отцу, стряхнула это видение. Сейчас ни до чего такого, что могло бы ее расслабить. Сейчас ей никто не нужен.

Зажав сумку подмышку, старательно оберегая ее, она дважды прошлась по рядам в крытом рынке с высоким прозрачным потолком, заглядывая за спины продавцов, где выстроены были на полках целые полчища банок и бутылок с яркими наклейками, и только потом сообразила: квасу среди них быть не может. Не вышел породой. Надвинулось чужое изобилие, и все местное в год исчезло, спряталось стыдливо или вовсе прекратило существование. Она вышла в уличные ряды, где и торговый народ и товар были попроще, обошла и их, только чтобы занять себя, то забываясь до полного непонимания, что ей здесь надо, то спохватываясь и начиная опять ощущать сухость в горле. И с каким-то странным утешением поняла: бесполезно искать. «Все правильно», – думала она, стоя сбоку от закрытого ларька, воняющего краской, и озирая бесконечную торговлю, которая перед воспаленными от бессонницы глазами вспучивалась как огромная и радужная муравьиная куча. И уточнила: «Все у меня правильно».

Она вернулась в крытый рынок, отыскала возле правой боковой стены краник под раковиной и, наклонившись, выгибая неловко и больно голову, приникла к нему. Пила и плескала в лицо, пила и плескала. Под крышей, как под небом, порхали голуби и воробьи. «А где же здесь птица-то пьет? – стала размышлять. – Еды здесь натряхивается вдоволь, а вся вода закупорена, до нее не добраться. Или в крыше есть дыры? Но если бы были дыры, птицы сюда, под сытую жизнь, набиралось бы тучами. Вот ведь как: куда человек, туда и голубь с воробьем. Человек повалил из деревни в город, – и эти, пернатые-крылатые, полетели вослед. Человек в городе устремился за прилавок – и воробей тут, начирикивает: торгуй, торгуй! А ведь было время – подбадривал: паши, паши!»

Гуд стоял плотный, вязкий, отупляющий. Не вырывались из него ни вскрики, ни удары, все перемешивалось и тонуло под безостановочным движением тяжелых лопастей. Картины наплывали одна на другую, кружение людей кружило голову, фигуры становились несоразмерными, то очень маленькими, детскими, то пугающе-большими, с огромными лицами. Тамара Ивановна прислонилась к стене, боясь упасть, и ухватилась глазами за сидевшего неподалеку спиной к ней на металлической тележке парня. Постепенно все установилось на свои места и вошло в свои размеры. Постояла еще, прислушиваясь к себе, проверяя глазами надежность людского круговорота, и вышла.

За какие-то полчаса все как бы онемело в ней. Как бы коркой покрылась сплошная рана и слабо понывала в глубине, присасывая и подсушивая кровянящий испод. Должно быть, боль тоже устает болеть и дает себе отдых, когда у жертвы кончаются силы. Жара набухала, солнце, взобравшись в зенит, откуда никакие городские нагромождения не могли его загородить, слепило нещадно. Но удивительно: Тамара Ивановна то ощущала жару, то не ощущала, словно то входила в раскаленную зону, то выходила, и солнце перед нею то горело в обруче ярким кипящим пламенем, то разлохмачивалось в дымный клубок. Пора было возвращаться. На торговой улице, несмотря на жару, народ сновал еще гуще и, как всегда в многолюдье, не обращал внимания друг на друга, бессознательно обтекая друг друга с помощью какого-то особо развившегося навигационного чутья, – и, значит, вызвать подозрение она не может. И вдруг испугалась, подходя к двери, что там, за дверью, время в ее отсутствие могло двигаться быстрее, чем здесь, на улице, и много чего там могло произойти. «Ротозея», – сказал кто-то ей бесстрастно и внятно. Стараясь не торопиться и не боясь больше обнаружить себя, она вошла внутрь, по широкому и длинному маршу с ажурным металлическим ограждением поднялась на площадку, с которой прямо уходило небольшое крыло с кабинетами по одну сторону, а влево остаточным довеском подняты были еще четыре ступени в основной коридор, где и размещались кабинеты прокурора и Цоколя. И тот, и другой были замкнуты. Следовало подумать, что бы это значило. Неужели эту самую «санкцию» решили устроить где-то в другом месте? Бывает такое или нет?

На улице она заставила себя успокоиться и нарочито замедленным шагом принялась вымерять метров двести в одну сторону и столько же в другую, пока такая маета не показалась ей совсем уж бессмысленной: не в клетке же она в самом деле, не на поводке же! Она почти в панике стала искать, куда пристроить себя, заходила в магазин запчастей, натужно всматриваясь в кучу железяк на полках и в витринах, что-то напоминавших и предлагавших свои названия, устремлялась в огромный, на весь квартал, хозяйственный магазин и тут же выскакивала, чуть не бегом бежала к оставленной двери и заходила внутрь. Цоколь вернулся, перед ним кто-то сидел, Тамаре Ивановне показалось, что это старик из общежития для малосемейных; прокурора по-прежнему не было.

Рядом, напротив прокуратуры, сжатый домами, был малозаметный проход во двор, и там, на задах ухоженной архитектуры, лепился свободный пейзаж из складских, подсобных и прочих сооружений неизвестного назначения: низких, вдавленных в землю, с плоским верхом, крытым то шифером, то толью, то ржавыми железными листами, где кирпичные, где деревянные, где с одним-двумя подслеповатыми окошками, где совсем без них, – все обветшавшее, скособоченное, вцепившееся друг в друга, чтобы не упасть. Тамара Ивановна заглянула сюда случайно, тычась в любой угол, в любую щель, лишь бы убить те короткие промежутки в десять-пятнадцать минут, которые она позволяла себе между проверками прокурорского кабинета. Возле глухой кирпичной стены одного из бесформенных сооружений, уныло обживших двор, стояли мусорные контейнеры, доверху набитые картонными коробками, за ними куча битого кирпича. «Вот тут и пристроиться, тут и дать ненадолго отдых ногам», – решила Тамара Ивановна. Возле мусора – это даже и хорошо, ее будут принимать за бомжиху, караулящую добычу. Этого ей и надо, на бомжих даже внимание обращать брезгуют. Она соорудила из кирпичей сидение, подстелила сверху чистый лист картона и с пристоном опустилась, вытянув ноги и прикрывая ладонью от солнца глаза. «Вот и хорошо, вот и хорошо», – приласкивала она себя, чуть раскачиваясь и обирая этими осторожными движениями изнутри страхи и неприятный едкий нагар, которым она, казалось, пропахла до самых печенок. Дверь прокуратуры отсюда не видна была, надо было подниматься и за десять шагов выходить на прямую обзорную линию. Так и придется делать, только такой отдых с подпрыгами она и может себе позволить.

Дважды она поднималась, смотрела поверх двигающихся голов, в разрывах этого бесконечного движения отыскивала влипшую в стену дверь и скорей опускалась обратно.

Жара уже стала не жара, а какое-то мягкое колыхание, обвевающее и укутывающее приятным прикосновением волн. Уличный шум поднялся в высоту и ходил там приглушенными однообразными порывами. Где-то неподалеку сыто наговаривал голубь. Нагревшаяся земля, не забитая здесь асфальтом, отдыхивалась забродившими испарениями вековых нечистот. Перед глазами поплыло марево, сквозь него маячили серые громады выходящих в улицу зданий; марево, уплотняясь, превратилось в туман, плывущий белыми лохмами, улица в нем опрокинулась, преображаясь в выглаженное пустынное поле. И только уж после обросло оно скудной жизнью.

Это даже и не поле, а большая покатая поляна на спуске с горы, заваленная с краю вросшими в землю каменистыми валунами. Внизу земля выравнивается и снова идет на подъем, там густо зеленеет кустарник, цветущий мелкой желтой россыпью. По окружью поляны лес, но редкий, обдерганный, как на брошенных лесосеках. Небо тусклое, бело-дымчатое, воздух в расплавленном горячем солнечном свете.

Тамара Ивановна, что-то высматривая, отыскивая, бродит среди валунов в меднистых крапинах, и на какой она взглянет, тот начинает до боли в глазах искриться. Она прикрывает глаза ладошкой и смотрит сквозь щели между пальцами, во все нарастающем нетерпении продолжая что-то искать. Что? – никак не может вспомнить, уверенная, что увидит – узнает. Никогда прежде она не бывала здесь, и все для нее здесь чужое, властно затянувшее ее сюда по какому-то тайному сговору. Она кружит слепыми движениями, то чуть поднимаясь в гору, то спускаясь, но не сбиваясь с направления, которое ведет вдоль склона к двум корявым и низкорослым соснам с редкими, широко растопыренными, ветками. Сразу за соснами земля круто уходит вниз, и они четко вырисовываются в пустоте как входные ворота в пугающую и манящую неизвестность. Тамара Ивановна на них и не смотрит, как пойманная на крючок рыба не видит рыбака и, делая под неспешным подтягиванием лески подныры то влево, то вправо, продолжает неумолимо приближаться к встрече. Но нет в Тамаре Ивановне ни отчаяния, ни страха, и, кажется, ей доставляет утешение, даже радость уже то одно, что она может самостоятельно загибать то в одну сторону, то в другую, и, обманывая себя, всматриваться под ноги, отыскивая что-то совсем бессмысленное и лишнее в ее положении. В желтых цветочках на низком кустарнике она узнает курильский чай, валуны начинают обрастать мелконьким и ломким мхом-ягелем, похожим на прохудившуюся, истыканную солнечными стрелами, бересту; возвышение слева вдруг отступает, и одновременно полоса кустарниковых зарослей в сырой низинке разворачивается и круто уходит вправо. Перед Тамарой Ивановной в одно мгновение открывается огромный и пустынный простор с лысыми сопками в солнечной дымке далеко впереди и полукружьем лесистого берега по краям обрыва. А что там, в этих обрывистых берегах за соснами, – озерная ли вода в горах, или давний-предавний разлом, обшитый корнями деревьев и трав, – понять нельзя. Ветер при ее приближении к соснам бьет короткими и душными порывами.

Неожиданно доносится глухое, пробующее голос, ворчание грома. Гром почему-то пугает Тамару Ивановну больше всего, словно, готовая к чему угодно, его-то она и не ожидала. Она сбивается с ноги, оглядывается, тянет голову, чтобы скорей отыскать что-то, так и не найденное, захлебывается горячим воздухом. И раз за разом приостанавливается, ждет: вдруг это вовсе и не гром, вдруг это всего лишь камень сорвался и прокатился гулко по заваленной щебенкой гряде? Или вдруг это так исказило далекий крик зверя? Но гром рявкает так близко и с таким отчетливым вышним рыком, раздающимся прямо над соснами, что Тамара Ивановна едва не падает на колени. И прислушивается. Гром еще катит перед собою стукоток, перемещаясь вправо, где и туч нет, где солнце только теперь испускает из себя радужную маревую завесу, как вдруг невесть откуда, кажется, что сразу отовсюду, слышится человеческий голос, отчаянный, надрывный, торопящийся предостеречь:

– Томка-а-а-а!

Это голос отца, Тамара Ивановна узнала бы его где угодно, и слышится он точно бы из детства. Разве не может быть такое, что предостережения наших родителей, которым мы в свое время не вняли, блуждают в горах и лесах до той самой поры, до той совпадающей черты, когда требуется их точное повторение. Ошеломленная, Тамара Ивановна замирает.

– Томка, воротись! Томка-а-а! – истошно зовет отец, и гром опять грозно гремит вослед его словам.

Тамара Ивановна понимает, что надо торопиться, и успокаивается. Торопиться не возвращаться, как велит отец, а вперед, только вперед. Другой дороги ей нет. И, больше уже ни на что не отвлекаясь и не оглядываясь, чувствуя лишь душное дыхание солнца, с окаменевшим сердцем, уверенно, как по расстелившейся тропке, шагает в сторону двух стоящих на краю обрыва сосен.

– Томка-а-а!

Голос отца еще стоял в ушах, в глазах еще продолжали мерцать очертания двух корявых, изломанно торчащих на каменистой земле деревьев с короткими верхушками и вразнобой торчащими ветками, еще бухал уныло гром, так и не добившись дождя, когда Тамара Ивановна разомкнула глаза и огляделась. Не сразу вспомнила она, где оказалась. Сон был так тяжел и так липок, такой душной пеленой застелил он сознание, что и выдираться из него пришлось долго и мучительно, не понимая, откуда и куда выдираешься. Но когда наконец выдралась, когда с тяжелым вниманием огляделась и вспомнила, кто она и где она, в ужасе она давнула себя так, приподняв и молотом опустив верхнюю часть туловища на нижнюю, что захрустели косточки. Шел четвертый час пополудни. Она проснулась в поту, больше часа плавилась под кипящим солнцем, теперь ее продрал озноб. И все же прежде чем подняться, огляделась еще раз. Был ли голос отца только оттуда, где разгуливала она по лесной пустыни, не соединился ли он, как и гром небесный, еще постукивающий в отдалении, с реальностью отсюда? Не прячется ли где отец, наблюдая за нею, не его ли оберегающее заклинание прозвучало для нее громким криком?

Она медленно поднялась со своих кирпичиков и вдруг рванулась в развороте: здесь. Сумка, остававшаяся за спиною все это время, пока она спала, была на месте. Ее, спящую, уткнувшую голову в колени, должно быть, и верно приняли за бомжиху, утомленную лазаньем по городским свалкам. Схватив сумку и нащупав в ней знакомые очертания, Тамара Ивановна медленно, запретив себе торопиться и не веря уже ни в какую удачу, сделала те самые десять шагов, которые позволяли увидеть на противоположной стороне улицы дверное бельмо, – и увидела: возле двери толкутся трое или четверо кавказцев. Не помня себя, пересекла она улицу, расчетливо обошла с правой стороны, ближней к стене, кавказцев, убедившись, что ее парня среди них нет, отодвинула одного из них плечом, чтобы протиснуться и показать себе, что никого и ничего она не боится. Так же медленно, стараясь не сбиться с полусонной неповоротливости, обманывая ею себя и стараясь обмануть кого-то еще, поднялась в прокуратуру. Коридор был почти пуст, только в дальнем его конце маячили две фигуры. Дверь к прокурору прикрыта и безмолвна. Тамара Ивановна с безжизненным спокойствием подала ее от себя и в образовавшуюся щель увидела: как раз там, возле самой двери справа, где только вчера сидела она сама, маясь в нетерпении, когда их с Анатолием примет прокурор, сидел теперь тот, кто и был ей нужен. В синей джинсовой куртке, с обросшим лицом и хищно опущенным носом, он стал поднимать глаза. Успел ли он их поднять и узнать ее, она не знала, но за дверью было по-прежнему тихо. Вот теперь все сжалось и напружинилось в ней до предела; казалось, еще мгновение, и она бы вырвалась из чего-то удерживающего и взвилась в воздух, но за это мгновение она успела поднять к груди сумку, на ощупь отыскать и наготовить в ней то, что было нужно, и выставленной вперед сумкой снова приоткрыть дверь. Теперь он узнал Тамару Ивановну, лицо его перекосилось то ли от брезгливости, то ли от ужаса. Сумка грохнула выстрелом. Тамаре Ивановне на всю жизнь запомнилось: парень, казалось, начал привставать, чтобы броситься на нее, но это грудь его приподнялась в последнем вздохе, и, прихватив ее рукой, он откинулся на спинку стула, тотчас оттолкнулся и медленно повалился вперед. Упав, он придавил дверь, за которой сидел конвоир, приведший его на «акцию». Когда конвоиру удалось выскочить в коридор, там никого, кроме перепуганных посетителей в дальнем его конце, не было.

Тамара Ивановна успела заскочить в кабинет напротив. Она совсем не помнила себя, но что-то вроде величайшего удивления последней волной окатило ее, когда навстречу ей с не меньшим удивлением поднялся из-за стола Цоколь. Столбняк поразил обоих. В кабинете был еще один человек, кавказец, он пытался спрятать в ладонях пачку денег. В ярком, брызжущем искрами, беспамятстве Тамара Ивановна бросила сумку с вырванным от выстрела боком посреди кабинета и, крикнув: «А теперь меня спасайте!» – кинулась к открытому окну и перевалилась через подоконник на крышу хозяйственного пристроя. Грохот раздался такой, будто разверзлась земля. По грохочущему покату крыши, высоко задирая ноги, она добежала до края и, не глядя, не примеряясь, скинулась вниз. Упала неловко и по-куриному распласталась, разбросав руки, точно крылья, не делая попыток подняться.

Потом ее тронули за плечо – огромным усилием она подняла глаза. Над нею стоял пожилой человек в синей форменной рубашке с короткими рукавами. Он наклонился, заглядывая ей в лицо, и, подавая руку, сказал хрипловато, с неподдельным участием:

– Пойдем, милая!

**Часть вторая**

Анатолий с работы вернулся рано и никого дома не застал. Он потом многажды невольно соединял эти мгновения: в те же самые секунды, когда он открывал дверь квартиры, недоумевая, куда все подевались, Тамара Ивановна открывала дверь в приемную прокурора. По времени совпадало: примерно половина пятого. Он мог бы не ходить на работу, как это сделала жена, позвонив еще накануне и предупредив, что ее не будет, да поверилось ему, что после возвращения дочери жизнь, пусть и в жестокой ране, да все-таки прилегла к их общему семейному телу. Долго еще будет болеть и саднить, и никогда нельзя будет неосторожным движением прикоснуться к месту этой раны, но надо же как-то и выздоравливать. А для этого для начала надо вернуться к прерванным занятиям, восстановить порядок жизни, и чем раньше, тем лучше.

Но никакой из него был не работник, и, потолкавшись неприкаянно среди таких же, как он, не знающих, чем заняться, шоферов, он еще больше убедился, что надо уходить с автобазы. Делать там нечего, работы нет, договоров нет, половина машин разобрана на запчасти. Но очень уж некстати было уходить именно сейчас: по ране раной, по разрыву еще один разрыв. В таких случаях лучше держаться последовательных действий. Как при ходьбе: когда одна нога отрывается от земли, чтобы перенестись вперед, тяжесть тела в это мгновение опирается на вторую, установившуюся ногу. И так по очереди: одной-второй, одной-второй – можно уйти далеко при любой лихорадке и претерпеть многое. Отказала одна опора, обопрись на другую, но не обе же сразу прочь с копылков.

Он не знал еще, что как раз в эти минуты судьба нанесла по его семье, не дав опомниться от первого, второй удар, еще более непереносимый.

Было ли у него предчувствие новой беды, какая-нибудь стискивающая душу тоска или сбивчивые удары сердца, передающиеся от запаленного сердца жены? Может быть, и было. Сыновья постель опять оказалась неприбранной, в Светкиной комнате пахло нежилым, в кухне тоже стоял какой-то странный запах, точно побывало что-то чужое. К остаткам вчерашнего пиршества, затолканного в спешке как попало в холодильник, никто не прикасался. Анатолий взял рукой холодную сосиску, пожевал, обходя снова комнаты и вглядываясь в их выстуженность, потом позвонил матери. «Да, – ответила Евстолия Борисовна, – Светка здесь, у меня, Тамара Ивановна звонила и приказала Светке без ее зова сидеть безвылазно, кто бы ее ни потребовал». – «Давно звонила?» – «Давно, перед обедом». – «Как Светка? Не плачет?» – «Ой, Толя, да лучше бы она поплакала... Когда слеза есть, она все, любой камень, растопит». Не прощаясь, он положил трубку, машинально, не зная, куда себя деть, опять поднял и долго слушал напористые гудки.

В седьмом часу он не выдержал и поехал в прокуратуру. Суматоха там еще не улеглась. Следы случившегося были уже подтерты и прибраны, коридор освобожден от постороннего народа и громкие голоса затихли. Но никто не расходился, женщины из различного вспомогательного и письмоводительного звания, озираясь, переходили из кабинета в кабинет и продолжали обсуждение, гулко, с каким-то странным детонирующим эхом, гремели телефонные звонки, в распахнутое окно прокурорского кабинета набрасывало порывы ветра, а в приемной прокурора две мужские фигуры на четвереньках ползали по полу и по заметам мелка растягивали рулетку и делали замеры. Кто-то невидимый и важный вышагивал по коридору, всем казалось, что они слышат его шаги, и, когда женщины выходили из кабинета, они, не отпуская дверной ручки, прежде осматривались, где он может быть, а уж после возле самой стены скользили к следующей двери.

Все тут существовало во имя преступления, для того, чтобы распутать его или, напротив, запутать, снять с него мерки и назвать его точный размер, по которому и определяется мера наказания. Не будь преступления, не было бы и этого учреждения. Но все преступления, какими занималось оно, происходили где-то на стороне – во дворцах и ночлежках, на улицах и в парках, в магазинах и на рынках, в укромных местах и на открытых площадях многолюдного города. Это там катился, никогда не прекращая своего жадного вращения, огромный клубок человеческих страстей, оттуда они, вычлененные и отсортированные, названные по именам и отжатые от слизистой скверны, которая тоже переходила только в названия, перемещались сюда и укладывались в канцелярские папки под номерами. Конечно, и здесь, как всюду и везде, не обходилось без собственных правонарушений, но они были вторичными, происходящими от сомнительного или уж бессомненно неправильного использования служебного положения, носили умозрительный характер и делались без шума, шито-крыто. По большей же части здесь творится тяжелая и грязная по своим подробностям работа, истину приходится порой выуживать из таких мерзостей, что не всякий способен их вынести даже и в словесном переложении. Но выстрелы здесь не звучат и кровь здесь не проливается. Это все там, там – в подземельях и трущобах морали, в пристанищах корысти и грубой праздности. И когда это по редкостному недоразумению попадает сюда, раз в тридцать, пятьдесят или даже сто лет, когда по окончательному невежеству умывальник путают с унитазом и гремит здесь выстрел, по полу прокурорского кабинета растекается кровь, совмещая воедино место преступления и место расследования, это производит на блюстителей закона столь сильное впечатление, что они приходят в растерянность гораздо большую, чем простой обыватель на улице.

В прокуратуре еще не опомнились, когда сюда в поисках жены пришел Анатолий. Как ни странно, никто его после столь громкого происшествия, которое не должно было в этих стенах случиться, но случилось, – никто его при входе не задержал, и по монументальной каменной лестнице он поднялся наверх, постоял в недоумении перед раскрытой дверью в приемную прокурора, за которой как раз происходили замеры, и только после этого постучал в дверь Цоколя. Никто ему не ответил. Чтобы убедиться, что она заперта, Анатолий с силой толкнул ее – все двери тут открывались вовнутрь – она распахнулась и с грохотом ударилась о стену. Цоколь вскочил из-за стола, вскочили на ноги и возившиеся в приемной с рулеткой. Анатолий повинился за переполох в ту и другую стороны; Цоколь, не слыша, закричал на него:

– Вы что?!

– Я невзначай, – по-детски отвечал Анатолий, замирая, начиная уже кожей ощущать покалывание повисшей в воздухе тревоги.

Цоколь узнал его и опустился опять на стул. Но продолжал смотреть на Анатолия неотрывно, с растерянной строгостью, будто узнать-то узнал и определил уже место Анатолия в своей калейдоскопической жизни последних дней, но не мог отыскать хода, которым можно было бы извлечь этого человека из круговерти проходивших перед ним несчастных людей и поставить его уже на законном основании так, как он стоял перед ним. Одутловатое лицо Цоколя напряглось и покраснело, шишковатый кадык челноком ходил по шее вверх-вниз, толстые вывороченные губы, слепляясь и разлепляясь, примеряли какую-то подступающую мысль.

– Я зашел узнать, – сказал Анатолий, глядя на лежащий на столе неподвижной приплюснутой змейкой крапчатый галстук Цоколя, – зашел узнать: вы сегодня мою жену вызывали?

– Вы что! – закричал Цоколь отчетливым и страшным выдохом. – Не знаете, что ваша жена убила тут человека?! Не знаете?

Анатолий смотрел на Цоколя, Цоколь на Анатолия. В голове у Анатолия метались отчаянные вспышки сложений и вычитаний в поступках Тамары Ивановны с того самого часа, как вышли они вчера отсюда, и по их результату он понял: правда. Цоколь увидел это на его лице, перевел взгляд на то место на полу между ним и Анатолием, куда со стуком была брошена сумка и в дыру сумки на глазах его выползло дуло обреза, и не удержался, взглянул еще и на окно, теперь плотно закрытое, за которым в пыльную жестяную крышу впечатались кругляшки от кроссовок. Он вышел из-за стола прикрыть дверь, и из коридора его спросили:

– Позвонить?

– Позвони, – согласился Цоколь.

Где-то допрашивали в это время Тамару Ивановну, где-то срочно решалось, кому в прокуратуре более высокой инстанции поручить это громкое дело, в котором все на виду с самого начала, все карты вверх картинками, следствия и причины не придется искать далеко, и вся деликатная сложность которого заключается в том, чтобы, не пряча истины, не дать ей полной откровенности, а закону, как самонаводящейся ракете, указать координаты только видимой цели, не обнаруживая выявивших ее причин.

Анатолий сидел на подставленном ему стуле все в том же кабинете Цоколя и ждал. От огня, плеснутого в него страшной новостью, часть его сознания выгорела, и он лишь разрозненными мятущимися наплывами вспоминал изредка дочь и сына, но жена так же, как вчера перед прокурором, стояла перед ним во всей своей измученной и справедливой грозе, пытающейся получить ответы, и говорила, говорила, натягивая голос до полного беззвучия. Анатолий сжался и молчал. Ни себе, ни из себя сказать ему было нечего. Такая в нем была глушь, такая пепельная пустыня, что нечему было там, внутри, даже и задраться, чтобы вызвать занозистую боль.

Уже совсем поздно, в глубоких сумерках, треплемых разгулявшимся ветром, попал он домой в сопровождении следователя, назвавшего себя Алексеем Васильевичем, фамилию Анатолий не расслышал. Немногословный, с выражением внимания и терпения на крупном лице, только-только начинающем колоситься морщинами, с прихваченными до мутной илистой белизны висками на короткой стрижке, следователь объяснил, пока шли от троллейбуса, что он всего лишь «сегодняшний» на этом деле, дежурный, должный кое-что посмотреть в квартире обвиняемой по горячим следам, а завтра за дело возьмутся люди из областной прокуратуры. Сказал это не извиняясь и не выставляясь, а просто чтобы сообщить, кто он такой есть и что дальше требующегося от него сегодня он не полезет. Но сегодня ему потребуются понятые, осмотр надо будет производить при них.

Открыл Иван, настороженно взглянул на чужого человека и решил уединиться в кухне. Но кухня-то как раз и потребовалась следователю для осмотра. Он встал в дверном проеме, быстро выхватывая глазами, где что стоит в кухне, убеждаясь, что стоит именно так, как ему было сказано, и поторопил застывшего за его спиной Анатолия:

– Кто тут у вас толковые соседи? Пойдемте-ка вместе, мобилизуем, пока не заснул народ. Теперь народ, сами знаете, засыпает рано.

– Почему засыпает рано? – спросил Анатолий.

– Делать нечего. Когда нечего делать – что остается? Спать.

В понятые мобилизовали боцмана Василия Афанасьевича с третьего этажа, красномордого живого старика, то ли тридцать, то ли сорок лет сплавлявшего грузы в Якутию, и соседку со второго этажа Веру Постнову, два года назад похоронившую мужа и оставшуюся с двумя малыми ребятишками. Боцман согласился с удовольствием и в две минуты был у Воротниковых, поддергивая на крутой живот атласные спортивные штаны и докладывая следователю, что он уже в третий раз за свою жизнь становится понятым и что все обязанности ему известны... Веру Постнову пришлось долго уговаривать, она всего боялась. Никаким боцманом Василий Афанасьевич не был, но был он при невеликом росте плотен, могуч, ходил враскачку, не вылезал из тельняшки, как истинный боцман, десятки навигаций сопровождал один и тот же бесценный на севере груз – спирт – и любил рассказывать о способах его незаметного изымания в пути из цистерн и бутылок. Вера Постнова, с испугу натянувшая на голову темный платок, когда привели ее и объяснили, что от нее требуется, и вовсе была близка к обмороку.

– Теперь давайте вместе смотреть, – призвал следователь понятых и обратился к Анатолию: – Есть у вас оружие?.. одностволка двадцатого калибра?

– Есть... была, – поправился Анатолий, уже составивший представление, что за работа шла в кухне ночью, когда он спал, и с чем, с какими «доводами» ушла утром жена в прокуратуру.

– А давайте смотреть: есть или была?

Где искать, ему было известно. Справа от окна за газовой плитой под наброшенной тряпкой оказалось белое пластмассовое ведерко, а в нем вставленные стоймя две пилки – по дереву и металлу, опиленный по шейке приклад и трубка от укороченного ствола – все то, что потребовалось, чтобы изготовить обрез. Опилки, те и другие, были аккуратно собраны в полиэтиленовый мешочек. Тут же, перед ведерком, веник и совок. Рядом, перед окном, крепкая старая табуретка с едва заметным надрезом сбоку. Все было учтено, все приготовлено для неоспоримого свидетельствования, чтобы ни своим, ни чужим не доставлять лишних хлопот.

Следователь неторопливо выуживал все эти явные доказательства намеренного преступления из ведра, называл их: это ножовка по дереву, это по металлу, это опиленное ложе... сложил в ряд на столе, дал полюбоваться и спросил у Анатолия:

– Не знал?

Не размыкая губ, Анатолий дернул головой: не знал. С тяжелым любопытством следователь задержал на нем взгляд: видно, что не знал; но как же так, браток, – не знал!..

– Все, значит, подготовила честь по чести, пошла и стрелила! – зычно и торжественно подвел итог боцман, с восторгом озирая на столе вещественные доказательства. – Ну, молодец баба!

– Стрелила и что... убила? – с трудом подала голос Вера Постнова.

– Наповал! – подтвердил боцман. – Такая не промахнется!

– Но этого быть не может... Она всегда была такая справедливая...

– Ты, Вера, добрая баба, но как человек ты непрофессионалка, – внушительно сказал Василий Афанасьевич. – Ты знать должна: чего быть не может, то и бывает.

Когда ушли, Анатолий крадущимся шагом, ставя ноги так, будто он слепо поднимается по лестнице и нащупывает ступени, направился к сыну, торопливо вышедшему навстречу ему из Светкиной комнаты, сделал движение, чтобы обнять его, и не обнял, каким-то фальшивым голосом, тужась, с невесть откуда взявшейся хрипотцой, сказал:

– Ты понял, сын, что случилось?

Иван кивнул.

– Мама наша... – Анатолий не договорил и, махнув в отчаянии рукой, пошел в свое укрытие всех последних дней – в темную спальню. Там он долго стоял перед окном и, уставив глаза в улицу и ничего не видя, кроме сильно раскачиваемых ветром тополей и сползающих вниз обломанных тяжелых веток, пытался что-то добыть, выскрести из своего нутра. Не много же он добыл, когда вышел опять к сыну, сидевшему на диване и ждавшему его... Только и сказал:

– Она хоть спать сегодня будет... она все сделала. А мы? А мы-то как? Что нам-то делать?

\*\*\*

Что делать? – надо было как-то жить, протискиваться сквозь теснины, видимые и невидимые, обдирающие до мяса и крови сердце, проходить через казнь бессонных ночей, днями в тягучем кисельном воздухе хватать дыхание, куда-то и зачем-то торопясь среди толпы со стертыми лицами, нырять в ворота и двери, никуда не ведущие, проталкивающие мимо себя с автоматической бесстрастностью и везде торопящие до спотыка и грязного тумана в глазах. Надо было как-то жить, не веря ни воспоминаниям, ни утешительным взглядам вперед, а только околачивая день за днем безвольными движениями. Демин заставил Анатолия взять на автобазе отпуск без содержания, он зачем-то поехал и взял, хотя с тем же результатом мог бы не мять ноги: никакого содержания там давно не водилось. Он же, Демин, посадил Анатолия в свою машину и повез на оптовый рынок, один из тех, которые вползли теперь в цеха почти всех крупных заводов, и на свои деньги, не скупясь, набрал кормежки. Часть отвезли Евстолии Борисовне со Светкой, часть оставили осиротевшим мужикам. Анатолий не спорил, но и не мог понять, зачем нужна эта заготовительная экспедиция: если он изредка и брал какой кусок в рот, то не помнил. Светка так и оставалась у Евстолии Борисовны, Иван то бросался читать умные книги, то норовил сбежать из дома. К Тамаре Ивановне не пускали, но она передала на половине тетрадного листочка записку, доставленную к ним домой сильно припадающим на правую ногу долговязым парнем. В записке было: «Ко мне тут относятся хорошо, не беспокойтесь. Не выпускайте Светку из дому». И все, больше ни слова. Анатолий показал эту записку Светке, она, некрасиво дергая ртом, ткнулась испуганно в материнские слова и торопливо вернула листочек. Он смотрел на Светку, сидящую перед ним с поднятыми коленками в расшатанном и продавленном кресле: посиневшая, в неделю опавшая до худобы, с мучительным взглядом сузившихся, не желающих ни на что смотреть, глаз. Евстолия Борисовна при ней же, как малая на большую, жаловалась: не дает ей Светка смотреть телевизор.

– Оно, Толя, и вправду там буйный дом, одна стрельба да неприятности, – басила она, – но я уж привыкла. От меня все это как от стенки горох, а попереживать люблю. Нас, стариков, из жизни ведь теперь совсем исключили – чем нам заняться? Спасибо твоему Демину, продукты прислал... а то мне в магазин сходить – как на Тутурскую гору влезти.

Анатолий сквозь туман в голове вспоминал: Тутурская гора – это что-то старинное и невсподъемное, до чего никогда не добраться.

– Потерпи, мать, – только и мог он сказать ей, прося пощады и оглядывая, как всегда, на прощанье маленькую однокомнатную квартирешку, выстаревшую до морщин на стенах, и поднимался. Не сиделось и тут. Нигде не сиделось. Только в маете на ногах и мог он еще как-то забываться.

Часто, очень часто стиснутым, на одно направленным воображением он пытался представить, что сейчас, в эту и эту минуту, там, в огромной, как овечий загон, камере может делать жена, и морщился от боли. Всегда казалось само собой разумеющимся, заложенным в основание человеческой жизни, что мир устроен равновесно, и сколько в нем страдания, столько и утешения. Сколько белого дня, столько и черной ночи. Вся жизненная дорога выстилается преодолением одного и достижением другого. Одни плачут тяжелыми, хлынувшими из потаенных недр, слезами, другие забывчиво и счастливо смеются, выплескиваясь радужными волнами на недалекий берег. Да, впереди всегда маячил твердый берег, и в любом крушении всегда оставалась надежда взойти на него и спастись. Теперь этот спасительный берег куда-то пропал, уплыл, как мираж, отодвинулся в бесконечные дали, и люди теперь живут не ожиданием спасения, а ожиданием катастрофы. Исподволь, неслышимым перетеканием, переместились горизонты восхода и заката солнца, и все, что подчинялось первичному ходу тепла и света, неуклюже и растерянно оборотилось противоположной стороной. Стал замечать Анатолий, что, если и смеются вокруг, то натужно или грубо, без трелей серебристого чувственного выплеска, который прежде и в посторонних людях умел заразительно затронуть потаенные колокольцы, а уж если страдают, то бездонно и горько. Лица унылые, скорбные или уж нахальные, ко всему готовые, но те и другие как две стороны одной искаженной действительности.

Он и прежде не мог не замечать, в какой спешке люди ограждаются оконными железными решетками и бронированными дверями, а богатые еще и протягивают над бетонными заборами в два человеческих роста колючую проволоку, по углам возносят сторожевые башенки с вооруженной охраной. Но прежде это было приметой неспокойного и беззаконного времени, теперь вдруг выставилось в печать мученичества. В самом деле – как много, до ужаса много этой зарешеченной жизни! Как много страха, безумия, безнадежности! Невинные люди сами себя заточают в клетку, преступники разгуливают на свободе. И уж совсем по-другому, чем раньше, начинал думать Анатолий о тех несчастных, кто в тесных камерах с удушливым смрадным воздухом и горькими выкриками, не жалеющими друг друга, живут рядом с женой. Господи, взними в них остатки добрых сердец, дай им силы претерпеть все, что насылает судьба! Дай им ума понимать и не обижать друг друга!

Два дня после того, как забрали Тамару Ивановну, ни его, Анатолия, ни детей не трогали. Потом стали вызывать в областную прокуратуру и добиваться: бывали ли у Тамары Ивановны вспышки невменяемости, какой характер носили и доходили ли до крайностей вспышки гнева? Почему-то там хотелось показаний, что да, бывали и доходили, к этому сына и дочь и подталкивали, но сказать им было нечего. Могла вспылить, могла крикнуть, по-девчоночьи иногда выставляла фигу, чтобы показать, что не выйдет по-ихнему, с размаху топала о пол на Ивана ногой и, отбив ногу в легкой войлочной обувке, с оханьем подпрыгивала к дивану или стулу и стучала о колено кулаком, вразумляя теперь уже не сына, а себя... Кто сейчас сохранил спокойствие и безмятежную душу, кто способен не кричать от боли в себе или из себя и не надрывать сердце? Вызвали и Ивана Савельевича, отца Тамары Ивановны, и тоже: страдал ли кто в их роду психическими заболеваниями или другими помешательствами? Иван Савельевич заехал после этого к Анатолию и, швыркая чистый, без молока и сахара, чай только что с огня, потея и краснея, обирая ладонью с морщинистого бугристого лица и растрепанных усов влагу, рассеянно размышлял: пойми теперь, где помешательство и где не помешательство? Такое вокруг помешательство, такая свистопляска! – никаких концов не сыскать.

– Вот у меня было два ружья, с Ангары привезенные... – со стоном от чая и горя говорил он. – Два ружья было – шестнадцатого калибра и двадцатого калибра. Одно вам сюда от греха подальше переправил, другое у себя спрятал. Так его Николай, от кого спрятал, все ж таки разыскал и пальнул в себя. Другое висело-висело... сколь годов висело... теперь Томка из него пальнула. Два ствола было – и обои не по цели стрелили. Это помешательство или что? Э-эх! – безнадежно и гулко крякнул он и отдышался. – Спрашивает меня... этот, допросчик-то седнишний, говорит: «Как узнал, как отнесся?» – «Узнал, – говорю, – в тую же ночь, зять приехал, сообщил. А отнесся, – говорю, – как родной отец, а не как чужой человек».

Анатолий рассказал:

– Охранник, который привел этого парня к прокурору, он за дверью находился. Он в этот момент поднялся, ключ в кармане искал, чтобы наручники разомкнуть. Парня выпустили бы, это теперь они вид делают, будто собирались его обратно в камеру воротить. Охранник один бы ушел. Но ишь ведь как получилось-то: охранник-то не ушел пустым. Ему же и пришлось обратным ходом сопровождать Тамару.

Иван Савельевич поразился:

– Чтобы не было, значит, пустого прогона?

– Так вышло.

– Во как все в дело идет! Будто у хорошего хозяина. Кто же это так хорошо хозяйничает, Толя? Кому мы не угодили? Э-эх! – привычным вздохом подытожил он и зашевелился подниматься, ему тоже не сиделось, в движении было легче.

Анатолий удержал его:

– Погоди, отец. – Редко-редко, раза три или четыре за выпивкой, в минуты чувствительной растроганности, когда весь мир хотелось взять в родню, называл он отцом Ивана Савельевича. И вот теперь, когда хоть на обочину многолюдной улицы выскакивай и зови на помощь, придвинулся, жалея себя и старика, ближе. – Я спросить хочу: ты Светку недели на две не возьмешь к себе?

Иван Савельевич насторожился:

– Эти пужают?

– Нет. – Анатолию не хотелось договаривать. – Это я на всякий случай. Береженого Бог бережет. Грядки тебе будет полоть.

Вглядываясь в Анатолия сильно провалившимися глазами, Иван Савельевич не поверил. Подергал свои неопрятные, как неродные, усы, размышляя, надо ли выпытывать, и не стал. Сказал:

– Привози хоть седни, хоть завтри. Но с умом привози. Эх, зятюшка, зятюшка, – вздохнул опять, стараясь и в тоне обойтись без упрека.

«Эти пужали» странно. Они меняли машины, подъезжали то на белой «Волге», то на блестящей небесным лазурным сиянием новенькой японской «Тойоте», то на «семерке» со свежеободранным боком, и старались показать себя: двое молодых, лет тридцати, похожие друг на друга, как братья, с небритыми лицами в короткой, словно после стрижки, черной щетине, невысокие, быстрые, с наглыми глазами, и третий постарше, за сорок, с подобранным крепким телом, – они ставили машину то перед прокуратурой, когда Анатолий провожал туда сына или дочь, то перед домашними окнами в детском скверике, куда въезжать, конечно, не позволялось и где никто ни разу не сказал им ни слова. Они ставили машину, опускали стекла и выглядывали или прогуливались рядом. В скверике же Анатолий подошел к ним и, не владея собой, прокричал:

– Вы добиваетесь, чтобы теперь я пристрелил кого-нибудь из вас? Вы этого добиваетесь? Я пристрелю!

– Дорогой! – вскричали весело молодые, высовываясь из окон «Тойоты» и перебивая в восторге друг друга. – Ты так знакомиться пришел? Давай знакомиться! Ты так друзей встречаешь?

Тот, что постарше, сидел за рулем, смотрел на Анатолия холодными, спокойными и жестокими глазами. Они отрезвили Анатолия: этих не испугаешь, и в той игре, которую они затеяли, нужно быть осторожным или уж действительно стрелять.

Он стал подумывать, где взять оружие.

С трудом заставил себя пойти в милицию и рассказать о кавказцах, о их «художественном» запугивании, стал сбивчиво объяснять, что боится не за себя, а за детей. В милиции отмахнулись: не угрожают? Вот когда станут угрожать – приходите. И Анатолий вспомнил об Алексее Васильевиче, том самом следователе, которого приводил домой за «вещественными доказательствами» и к которому у него оставалось доверие. Кое-как пробился к нему, но пришел в неподходящую минуту: в комнате было шумно и дымно, толпились взволнованные люди – случилось что-то нерядовое – и Алексей Васильевич, слушая Анатолия вполуха и обратив к нему прищуренный левый глаз, правым косил в сторону разгорающегося спора. Только и спросил:

– По телефону звонят?

– Дважды звонили еще при Тамаре Ивановне. Предлагали деньги, если мы заберем заявление. Теперь звонят, чтобы только голос услышать, сами не говорят...

– Хорошо, – торопливо, чуть не выпроваживая, Алексей Васильевич попрощался. А вечером позвонил и глухим, не потерявшим доброжелательности голосом сообщил, что разговаривал с кем-то... с кем, Анатолий не понял, и с завтрашнего дня за ними будут присматривать...

Присматривали или нет, Анатолий не мог сказать наверняка. Или делали это так ловко и профессионально, что он не замечал, или всего-то успокоили его, чтобы он меньше боялся. Но кавказцы исчезли. Едва ли они исчезли куда-то дальше глаз его, да и то продых. Светку они с Деминым поздней ночью отвезли к Ивану Савельевичу, сын, остававшийся без дела, уверял отца, торопливо кивая на тумбочку с толстыми книгами, что теперь он безвылазно будет сидеть дома за словарем Даля. Любым обманом, любой хитростью готов был обмануться Анатолий, лишь бы утишить внутри поддувало, раскаляющее боль.

\*\*\*

Демин жил в одиночестве, бобылем, и так же в одиночестве жила его «боевая подруга», как он называл ее, известная в своем кругу по отчеству – Егорьевна. Демин любил перекраивать – Объегорьевна. Ни он, ни она съезжаться не хотели, но обойтись друг без друга не могли. У Демина была большая комната в «коммуналке по-новому», когда дети после смерти родителей не сумели договориться, как разделить большую родительскую квартиру и жили в ней двумя семьями: сестра с мужем и двумя девчонками занимали три комнаты в глубине общего коридора, у Демина была комната возле входной двери. Он поставил в ней электроплиту и умывальник, отгородил бамбуковой вьетнамской шторой под кухню уголок по левую руку и поставил отдельный телефон. Ночевал он нередко у Егорьевны, но отдыхать приходил сюда. Отдыхать он мог только в одиночестве, оттого и не заводил семью. Его Егорьевна, сдобная, белотелая, крутозадая женщина в возрасте «бабы ягодки опять», была замужем дважды и не скрывала, что это она виновата в разводах как в первый, так и во второй раз, и не без гордости восклицала в игривые минуты: «Я баба угарная». Уже в новые времена, курсируя с огромными баулами то в поезде, то в самолете в Китай, Корею, а раза два и в Турцию, она купила квартиру сначала сыну, потом дочери и барствовала в двухкомнатной квартире старого широкого покроя одна. Где-то там, в кругу таких же расторопных и ловких, она поднялась в своем положении и больше уже баулы не ворочала, отдаваясь делу, которое несведущим, далеким от этой деятельности, людям разъяснить невозможно. Если бы не Егорьевна, деминский киоск с железяками и мазями давно пошел бы ко дну. Но, будучи оборотистой, была она еще и осторожна и, не умея разглядеть, чем могут закончиться новые порядки, старалась держаться в тени.

Демин зазвал в гости к ней Анатолия в выходной, среди бела дня. Теперь, когда оказался Анатолий без дела и без работы, в одном непролазном мытарстве, невзлюбил он выходные. Нужны они людям рабочим, а находящимся в бессрочной увольнительной они в упрек. А у него все пошло мимо дела. На даче, требовавшей рук да рук, пришлось бы отвечать на вопросы соседей, выслушивать подбадривания – и не ехал. На место несуществующей работы идти было незачем – и не шел. К Тамаре Ивановне не пускали – и не настаивал, боясь встречи с нею, снова и снова спотыкаясь о взгляд, каким она его встретит со своего высоко поднятого лобного места. За что бы он ни взялся – все было не то, куда бы ни пошел – не туда. Ему легче было, когда звонили и требовательно вызывали или в прокуратуру, или к матери, или к университетскому профессору, занятому судебно-психологической экспертизой подсудимой. Так же требовательно позвал с собой Демин – и Анатолий с тем же безразличием и угнетенностью подчинился.

Сидели за круглым столом посреди комнаты, обставленной под гостиную. Над головами свисала хрустальная люстра и от гудящего голоса Демина тонко и пугливо принимались названивать вытянутые под дождевые капли подвески. За спиной у Анатолия стоял диван, низкий, тяжелый, с выгорбленной спинкой и тоже горбатистым, еще не продавленным сидением, и одного с ним семейства два низких и широких кресла с массивными подлокотниками. Большое, сплошного стекла, окно смотрело в разрыв между двумя пятиэтажками далеко и поверх деревянных кварталов на окраине города доставало до небольшой березовой рощицы, тускло светящейся в мареве жаркого дня.

Демин, как всегда и везде, не находя себе места, не мог долго высидеть и за столом, поднимался то курить, то размять спину, вышагивал стреноженным в тесноте шагом и пытался размахивать руками.

– Далеко вам еще идти, товарищ прохожий, – невинно и серьезно, будто в первый раз, спрашивала Егорьевна с другой стороны стола, водя головой за его маятниковыми движениями. «Угу, подхожу», – так же серьезно отвечал он и действительно опускался на стул. А через десять минут снова вскакивал.

– Он, Толя, дубовую кровать мне расшатал, это ладно, – по-свойски, на всякий случай напуская на себя застенчивость, жаловалась Егорьевна. – Но он ведь мне и квартиру, как ведмедь, расшатал...

– Шатун, – с напускной мрачностью соглашался Демин. И обращался к Анатолию: – Ты знаешь, почему она говорит «ведмедь», а не «медведь»? Она у нас натура романтическая. Проста – дальше некуда, но кому сейчас нужна простота, всем охота быть с вывертом, с фокусом... Завораживать охота, колдовство, чары напускать. Ведьмой быть. Они почему-то считают, – Демин намекал на круг новых людей, из которых теперь происходила и Егорьевна, – они считают, что ведьма – это что-то волшебное, хорошее. Не баба-яга, а Василиса Прекрасная. Понимаешь, Толя? У нас как было: у-у, ведьма! – в лоб говорили бабе, что она нечистая сила. А у них: «Ой, как она умно все обделала, как красиво! Настоящая ведьма!» У них и медведь – не тот, кто сначала человека задерет, а потом медком побалуется, у них это милый шалопай рядом с ведьмой – ведмедь.

– Фу! – фыркнула Егорьевна, и губы ее еще больше округлились. – Ты сам же говорил мне, что ведмедь – это ведун.

– По меду! – коротко и зычно хохотнул Демин.

Круглое лицо с блестящими, искристо просверкивающими глазами, с маленькими ушками и с аккуратным, лукаво вздернутым носом, маленьким, чуть выпяченным, розанчивым ртом, придававшим иногда совсем детское выражение, лоснилось у Егорьевны и от печного жара, и от плотской сытости, и от удовольствия принимать гостя. Грудастая, с полными руками и с ямочкой на чувствительной шее, сразу за которой начиналось изобильное плато, рослая, раздобревшая, но не раздавшаяся, словно бы только размягчившаяся от доброго нрава, она оставалась в той спелости, которая еще брызжет соком. Изредка она взглядывала на Демина по-деловому, словно спрашивая, так ли все идет, как надо, и Анатолий уже не сомневался, что со стороны Демина тут не обошлось без инструкций.

Ели, пили, говорили о чем придется – и вдруг стыдно стало Анатолию: что же он тут делает, в укрытие, что ли, ушел? Какое ему может быть укрытие, какой праздник, какой выходной? Из этой же комнаты, перебравшись в кресло возле журнального столика, на котором горбился матово-сиреневым жуком телефонный аппарат, он позвонил домой. Иван был дома, ответил. Ответил обиженным, натянутым голосом, недовольный тем, что отец не пустил его сегодня на дачу. На даче работы невпроворот, но ведь не грядки же полоть рвался туда парень! А зачем рвался, Иван и сам, скорей всего, не знал. И мог нарваться. Пусть посидит дома. Спросил у сына, не звонил ли Иван Савельевич? Это хорошо, что нет. А в дверь не звонили? Тоже хорошо. А ты выходил? И понял по сопению, из которого никак не мог выбраться внятный ответ, что, несмотря на запрет, выходил. Не стал выговаривать, а со вздохом положил трубку. Парня не удержать, он и при нем мог, хоть кричи закричись, подняться и выйти. Позавчера не мог, вчера не мог, а сегодня отец, такой отец, ему не указ.

Через полчаса он опьянел совсем ни с чего, с двух рюмок водки. Рюмки, верно, были вместительные, пузатенькие, с какими нужна осторожность, но для мужика это все равно только легкая разминка. Значит вконец вышел мужик, ничего не осталось. И когда Егорьевна потребовала от Анатолия здравицу, вспомнив, что тост – это чужое слово, пускай под него чужаки и пьют, он забормотал:

– Да какая от меня здравица? От меня одно расстройство. Конечно, я желаю вам... я вам много чего желаю... да толку-то от моих пожеланий! – И, обращаясь к Демину, заговорил отчаянней и тверже. – А ведь это я, Демин, должен был сделать... что она сделала... что Тамара моя сделала. Это мужик должен был сделать, отец. А мужика не оказалось, он спать ушел... устал сильно. Он и помнить забыл, что у него ружье двадцатого калибра за шкафом висит, а в шкафу два патрона с картечью уж который год, как часы, тикают. Я слышать должен был, как они тикают. Ну, какой это мужик, – с еще большим нажимом повторил он, – если жена среди ночи ствол обрезала, а он сил набирался, чтобы назавтра наблюдать, как этого поганца... он в семью нашу ворвался и всю ее испоганил... как этого поганца станут отпускать на все четыре стороны. Мужик сил набирался... А ведь вроде не трус. Ну, это мы еще разберемся, трус или не трус? – пригрозил Анатолий, морща от презрения к себе лицо. – Чудно: как-то так струсил, что и не догадался, что струсил.

– Вот так здравица! – растерянно ахнула Егорьевна. – Это никакая не здравица, это я не знаю что... Вы, Анатолий, все не так понимаете. Честное слово. Демушка, скажи ты ему...

Демин мрачно, наклонив рюмку с водкой и вздувая в ней волну, не глядя на Анатолия, спросил:

– Все сказал? Или про запас еще маленько оставил? А теперь слушай, как мы это понимаем. Для начала спросить хочу: зачем ты это говорил?

– Как зачем?

– Ну, зачем? Утешения захотел? Хотел, чтобы мы тебя успокоили: мол, все это не так и ты, дорогой друг, поклеп на себя возвел... Да тебя сейчас нельзя успокоить, ты сам это должен понимать. Тебя потом, позже, жизнь сама успокоит, да и то – как успокоит? Не успокоит, а закалит, будет долго еще бить тебя и мять, мять и бить, раз уж ты под руку ей попался. Она любит нас, дураков, учить.

– Для того и говорю: из ружья не выстрелил, так теперь хоть дерьмом выстрелю.

– Слушай и запоминай. – Демин поднялся, встал напротив Анатолия рядом с Егорьевной и, простирая над столом руки, заставляя Анатолия отшатываться, бросал рублеными, чеканными фразами. – У меня будет во-первых, во-вторых и в-третьих. Освободи там у себя место, чтобы все вошло правильно одно за другим. Во-первых... Во-первых, и в главных: тебе не дали бы стрелить. Не дали бы! Твоя Тамара Ивановна сколько там... часов семь невидимкой терлась возле стен, пока не привели этого вашего турку. Ты бы так не сумел, тебя бы десять раз разоблачили: чего это он тут скрадывает, что это у него там в сумке? Сграбастали бы, как миленького, и цель твою тебе не показали. Что может баба, мужику ни в жисть не смочь. Стрелять – да, это дело мужицкое, но тут еще надо было подкрасться, чтобы стрелить... для этого ты бы не годился. Ни ты, ни я не годились бы... Спроси вон у Егорьевны, почему мужики, которые поначалу тоже кинулись в «челноки», не сдюжили? Силенки маловато? Да нет, силенка еще имеется. Но силенка там – не все, там, может, главнее – исхитриться, разжалобить, дипломатию развести, всяких надувал надуть. У мужика не получается. Спроси, спроси Егорьевну, она скажет: не получается. Не та натура, не те извилины в голове. Это во-первых... – Демин щелкнул перед носом Егорьевны пальцами, и она тотчас поняла и налила ему в рюмку. Не приглашая никого присоединиться к себе, он выпил, хрюкнул удовлетворенно и продолжал: – А теперь слушай второе. Слушай! Даже если бы эти остолопы из прокуратуры дали тебе выстрелить и ты бы убил – закатали бы тебя без всякой пощады... ты бы убийца был и больше никто. А мать она и есть мать. Где мать имеет право не выдержать, отец терпи и не рыпайся. Ты бы убил, и через полгода забыли бы, что за дочь убил, честь родной дочери спасал, а помнили бы только, что убил... ни за что убил.

– Тамару Ивановну очень жалеют, – подтвердила Егорьевна, показывая жалость на лице, сморщив его и собрав на лбу аккуратные скорбные морщинки. – Очень. Весь город об этом говорит. Она у вас героиня. Я бы так не смогла, я бы струсила. А она героиня. Раньше рожать надо было, рожать и рожать каждый год, чтоб стать мать-героиней... А теперь вот: защитить их, роженых, надо. У нас говорят... я Демушке уже сказала... у нас говорят: соберем деньги на адвоката. Сколько надо, столько и соберем. Велят передать: это пускай будет за нами. Самого лучшего надо взять. Не отказывайтесь.

– Не откажемся, – заверил Демин, принявшийся опять расхаживать вокруг стола, вытягивая над ним и без того гнутую фигуру, чтобы зацепить вилкой закуску. – Это вы правильно: бедным и несчастным помогать надо. Бедным и несчастным вообще всегда надо помогать, а тут дело особое. Тут дело такое: не поможете вы сегодня – завтра и до вас доберутся, и из вас сварганят бутерброд на закуску. Это же не случайно, это же нашествие – все эти черные, желтые, пегие... они ведут себя как завоеватели, мы для них быдло. Да! Но я не досказал! – вострубил он сердито, обращаясь к Анатолию. – Я не до конца вправил тебе мозги. У меня еще есть в-третьих. В-третьих и в главных. Слушай. Это тоже всех нас касается. Но сначала давай ухнем. Разговор у нас серьезный. Разбередил ты мою душу.

Выпили; Егорьевна быстрее и ловчее мужиков, поглядывая после этого на них со снисходительным терпением, пока они охали, кряхтели и сопели, прежде чем наладить дыхание. Демин продолжал:

– Вот ты говоришь, что струсил и сам не заметил, что струсил. Себя, значит, заклеймил и душу свою на лоскуты рвешь. И собираешься рвать до победного конца, пока от нее живого места не останется. Да ведь мы все, разобраться если, струсили. Струсили и не поняли, что струсили. Когда налетели эти... коршуны... коршуны-то какие-то мелкие, вшивые, соплей перешибить можно было... Но хищные, жадные, наглые, крикливые... И подняли гвалт несусветный, что все у нас не так, все у нас по-дурному, а надо вот так... А мы вместо того, чтобы поганой метлой их, рты разинули, уши развесили. И хлопали своими слепыми глазенками, пока обдирали нас, как липку, растаскивали нашу кровную собственность по всему белу свету. А нас носом в развалины: вот тебе, вот тебе, ничтожество и дикарь, знай свое место. Ну и что? Стерпели, как последние холопы. Если кто и пикнул – не дальше собственного носа. Как-то всенародно струсили и даже гордиться принялись: мы, мол, народ терпеливый, нам это нипочем, мы снова наживем. Дураки? Нет, не то: дураки, да не последние же... В водочке захлебнулись? И это есть: может, на треть захлебнулись. А остальные где? Где остальные?

– Где остальные? – как эхо, отозвалась Егорьевна.

– Вот и я спрашиваю. Где-то должны быть и нигде нету. И кажется мне, что мы какую-то штуковину в себе обронили. Какую-то детальку... она с момента выпуска, видать, плохо была закреплена, а по нашим дорогам еще больше расслабла. И вот где-то на хорошем ухабе ее окончательно скинуло. А деталька такая, что без нее все ходовое хозяйство теряет натяг. Хлябает, трется. Да. Я раньше как размышлял... – Демин вздохнул глубоко, поводил глазами по столу, но удержался, не стал наливать. – Я раньше немножко по-другому смотрел на причину... я думал, мы по той причине не уважаем себя, что нас... ну, как бы обчужили, втерли в нашу шкуру всякие там вещества, чтобы она на чужое отзывалась с полным нашим удовольствием, а на свое не отзывалась, к своему, значит, была нечувствительна. На чужое клевала, а от своего нос воротила.

Не вытерпел, встрял и Анатолий:

– А что – не обчужили, что ли? Еще как обчужили!

– Было. Ясное дело – было. И никуда не сплыло. Сегодня в 155 раз больше втирают, чем было. Раньше в кожу втирали, а теперь в душу. Способы такие появились – в душу втирать. Но мы-то... тут я спотыкаюсь... да нешто мы настолько никуда не годимся, что не понимаем? Не может такого быть! Мы понимаем... и раньше понимали, когда в кожу втирали... Конечно, молодежь падкая, на нее процентов десять–пятнадцать отдавать надо. Но не больше, не вся она падкая. Мы все ж таки в себе остались. В нас кровь по-другому ходит, ни турками, ни американцами мы сделаться не можем. Ни по каким причинам. – Демин опять гулко вздохнул и поморщился. – В себе-то мы остались, а штуковину потеряли. Где, когда потеряли – никто не скажет. А без нее... то ли трусость, то ли безразличие. То ли жилы надорвали, то ли трын-трава.

– Найти надо эту штуковину! – чересчур бодро, выдавая этой бодростью свою усталость от умничанья Демина, воскликнула Егорьевна. – Найти и вставить на место. Чтобы натяг был. Правда, Демушка?

– Найти и вставить, только и всего, – с усмешкой согласился Демин. – Натяг нужен, без натяга нельзя. Водку пей, но песни свои пой. Сначала свое, а уж там... у нас натура широкая, в нее много чего войдет.

Боясь, чтобы он не сбился опять на путаные рассуждения, Егорьевна торопливо, точно за хвост поймав упоминание о песне и с маху окунув голос в жалостливость и игривость, затянула:

Голова ль моя, головушка! До чего ты довела – Говорили раньше: вдо-овушка, Говорят теперь: вдова-а.

– Нету такой песни, – решительно отзывается Демин и косится на ее раскрасневшуюся огнедышащую грудь. – Где ты ее взяла? Сама, что ли, сочиняешь?

– А я ни одной песни не знаю, – с удовольствием признается Егорьевна и смеется. – Правда, до конца ни одной не знаю. Поют, а я подмыкиваю, как корова. Я в молодости дура дурой была, песню принимала за забаву, я только недавно и поняла, какая в ней радость.

– Сначала родила, потом забеременела.

– Фу ты! Такое даже и представить нельзя, о чем ты говоришь.

– А ты все-таки пыталась представить?

– Ну, конечно, пыталась, раз тебе нравится, – соглашалась она, поднимаясь собрать грязную посуду.

То она кажется недалекой, простушей из простуш, круглые глаза выставляются пленчатым блеском целомудренной наивности и грубых желаний; грудь вздымается – потому что мехам ее приходит время воздушной прокачки, а не от порывов глубокого волнения; темно-коричневое лицо, подвяленное от продолжительного бывания на свежем воздухе, ровно заполнено по всем заводям от внутреннего штиля и житейские бури туда пробиваются разве что в исключительных случаях; то вдруг в одну минуту все в ней меняет выражение и глаза смотрят внимательно и умно, лицо оживает и отзывается на происходящее чувственными переливами, губы сами собой округляются и растягиваются, тугие щеки волнуются от дыхания...

– Мы вас совсем бросили, – говорит она Анатолию, возвращаясь к столу и окликая Демина, вышедшего курить на балкон. – Совсем, совсем вас бросили. Демушка, шатун, как нехорошо! При даме пускаешь дым ей прямо в лицо, а чуть дама отошла – вспоминаешь о приличиях. Теперь что – так принято?

– Да, – соглашается он, прикрывая балконную дверь, – принято. В связи с происшедшими в даме изменениями.

– Какими изменениями?

– Такими, что мы скоро пощады запросим: не курить при нас. Зачадили весь белый свет.

– Странно. Кто из нас курит – ты или я?

– Это ни о чем не говорит.

– Да как же не говорит?!

– А так, что мы с тобой, как два сапога пара, не в счет. Ты сапог с левой ноги, задержалась в развитии в одну сторону, а я сапог с правой ноги, я задержался в развитии в другую сторону.

– Я сапог с левой ноги... Спасибо. Я, значит, задержалась в развитии в левую сторону. И в каком, интересно, виде я теперь нахожусь?

Демин загоготал и, вытянув над столом руки, ухватил Егорьевну за плечи и усадил ее.

– Конечно же, – пошел он на попятную, – ты избежала дурного развития и сохранилась в образе самой непорочной женщины.

– Спасибо.

Быстро же она умела меняться! Только что стояла в напряжении, тянула слова, выговаривая их четко и требовательно, вот-вот, казалось, готова была опасно забренчать чайными чашками, и вдруг отставляет чашки, засмеявшись и затомившись, превращается опять в простушку, прижимает руки к груди и, выкачиваясь на стуле перед Деминым, запевает сочно и фальшиво:

Совушка-вдовушка,

Где же ты летала?

Или над могилкою

Сладко ты рыдала?

– Нету такой песни! – возмущается опять Демин. – Где ты их берешь?

– Ну, конечно, нету, – радостно соглашается она. – А может, и есть, я точно не знаю. Я же говорю... я только те песни и знаю, которых нету. Но похожее что-то ведь есть, правда? Скажите вы, Анатолий... он не песенный человек, хоть и бурлак... он не знает. – Анатолий тоже не знает, есть ли похожая песня и пожимает плечами. – Я ее в хорошие минуты частенько напеваю. Так хочется иногда быть вдовушкой.

– Мужиков пожалей, – бурчит Демин. – Пусть живут.

– Ну, конечно, пусть живут. Я им желаю долгой-предолгой жизни, я их люблю. Но вот найдет: хорошо бы стать вдовушкой. Что-то сладкое в этом есть. Это ведь судьба русской бабы – быть вдовой... оттого нас, наверно, туда и тянет. Вдова по улице идет... не идет, а вышагивает, она не суетится, не хватается за судьбу, она полного своего положения уж достигла.

– Не приведи Господь!

– Не приведи Господь, а вот тянет, как дурочку!

Демин громко чихает, хмыкает на радостный возглас Егорьевны, закричавшей «правда, правда, вот видишь, правда!», вытягивает из кармана огромный платок и гулко сморкается вслед этой радости. Говорит, теребя нос:

– Снять бы счас ремень, заголить одно место да выпороть тебя прямо при Анатолии.

– При Анатолии не надо, – канючит она по-девчоночьи, морща лицо и с деланным испугом отъезжая на стуле от стола. – Не надо при Анатолии, Демушка! Не будешь?

– Отстань!

– Но не будешь при Анатолии? Мне стыдно будет.

Потом пьют горячий зеленый час, вкус к которому хозяйка вывезла из Китая и никакого другого уже не признает. Демин тоже привык и не морщится, а Анатолий подслащивает каждый глоток порцией пирожного. Стол от сладостей ломится, уже без всякого порядка навалены на него и торт, и пирожные, и конфеты в круглой жестяной банке, и мармелад, и орешки в меду... И до всего этого хозяйка оказалась охотница. Она уже говорит неторопливо, лениво, бархатным голосом, вкладывая и в слова удовольствие от еды. Рассказывает, как прошлым летом в последний раз ездила за товаром в Корею и как, спроворив закупки, забежали они, три иркутские бабехи, в Сеуле в японский ресторанчик. Там на русский говор подсел к ним пожилой господин, очень пожилой, высокий, поджарый, с умным бескровным лицом, но очень подвижный, легко вскакивавший и легко говоривший, оказавшийся русским эмигрантом из Токио.

– Мы ели мороженое, а оно плохое, водянистое, во рту на колючие сосульки разваливается. Ну и говорим ему, что у нас мороженое лучше. «Да, – говорит, – мороженое лучше, а конфеты хуже». – «Нет, – мы хоть бабехи-распустехи, а патриотки. – Нет, конфеты тоже лучше». Он вскочил и отошел, и, пока мы сидели, привозят огромную картонную коробку, а в ней разных сортов конфеты, сортов десять или пятнадцать. Он что... он оказался конфетным фабрикантом. Распечатывает нам, кажется, три коробки: ну-ка пробуйте. На вид конфеты не очень, беловатые такие, как наша помадка... «Ну что?» – спрашивает. Мы жуем, а понять не можем. «Какие-то не такие». – «Но какие не такие? Вкусные?» – «Вкусные». – «Ваши конфеты, – говорит, – хороши, но одно в них плохо, много в них валят сахара. В два раза надо меньше сахара – и они будут и полезней, и вкусней». Вручил нам эту коробку, довез до отеля, приглашал в Токио. Я его часто вспоминаю. Он все дивовался на нас. А мы и правда, как на подбор, одинаковые: бокастые, горластые, мужикастые. Те же бабы, да не те. Не легковые, а уж грузовые, с дороги не столкнешь. Прощаемся, он говорит: «Вы меня, бабоньки, успокоили, теперь я знаю, что есть в России сила».

– Наездились вы, насмотрелись, – с благодарностью говорит Анатолий, уже совсем отрезвевший, изнывающий от желания подняться и распрощаться, повторяющий про себя раз за разом: «Везде хорошо, где меня нету». И сам же неосторожно, от неловкости за свое молчание, дает новый ход разговору, припомнив:

– Я утром радио слушал. В Англии, – сказали, – двадцать процентов женщин не желают выходить замуж. Двадцать процентов – это много, это целый поход получается.

Демин, опустив голову и пристально глядя себе в переносицу, словно считывая оттуда результат, докладывает:

– Двадцать не двадцать, а десять и у нас наберется. И все они потом мечтают стать вдовушками.

– Жалко тебе, что ли? – отзывается хозяйка и лениво поднимает на него волоокий взгляд.

– Да нет, не жалко, но не по порядку, не по справедливости.

Она мощно вздыхает, восстанавливая недостающую справедливость, с молчаливой важностью наливает себе из новомодного стеклянного заварника чай, кивком спрашивает у Анатолия, не налить ли и ему. Он, покачав головой, отказывается. Демин наливает себе водки и тем же способом, кивком, обращается к Анатолию. Тот отказывается и от водки.

– Я тоже желаю рассказать... из заграничных впечатлений... – выпив, говорит Демин с усмешкой, обращаясь к Егорьевне. – Интересная там жизнь. У нас она теперь тоже интересная, но там все равно интересней. Потому что там все передовое, а уж мы потом следом, вприпрыжку. Я там видел... и вот теперь думаю: может ли у нас быть такое?

– Где и что ты, Демушка, мог видеть? – с милой иронией спрашивает она и, подперев рукой щеку, клонясь на правый бок, ближе к Демину, принимает благосклонное выражение.

– Видеть я мог в заграничном государстве Молдова в позапрошлом году. Мы с тобой тогда еще не были близко знакомы, а то бы я, конечно, не поехал, мне бы хватило твоих рассказов. Летал я туда дядю хоронить. Он у меня был последний дядя, с отцовской стороны, а жил в Кишиневе, он там сорок лет братьям-молдаванцам помогал промышленность поднимать. Еще бы пожил, да молдаванцы не велели. У них там на фронтоне одного дома лозунг такой... сам видел. Аршинными буквами на русском... вообще-то русский они там метлой поганой везде повыметали, а тут для нас, чтобы мы читали... выведено огромными буквами: «Русских за Днестр (в Россию, значит), евреев в Днестр, хохлы сами разбегутся». – Демин пошлепал губами, изображая, до каких границ может дойти разгулявшаяся дурость, и продолжал: – Дядю своего я опоздал похоронить, на три часа опоздал. Без меня похоронили. Зато насмотрелся, пока жил там до девятин. Октябрь, теплынь, еще лето, народ на улицу высыпает, народ там очень общественный. Ну и я посередь него шмыгаю.

– Как мышка, – пропела Егорьевна.

– Как коломенская верста. Но и коломенская верста будет шмыгать, когда объяснят ей, что по-русски на улицах разговаривать опасно. Пришибут ненароком, как вражеского шпиёна. Солнце светит, город красивый, я в нем и раньше бывал, к дяде же после армии приезжал. И народ раньше был нормальный, а тут сделался прямо злой, ходят и высматривают, на кого бы наброситься. Я стараюсь не обращать внимание на обстановку, гуляю. Замечаю: парк Пушкина остался под этим же названием, памятник Пушкину тоже стоит, хоть на него и было покушение. Ну, думаю, и я должен уцелеть. Слышу: смех, музыка, праздник. Недалеко от парка Пушкину памятник Штефану Великому, он раньше в парке и стоял, но его перенесли... чтобы не было, значит, подчинения. И русские буквы с памятника срезали, свои, самостийные, наклеили. Штефан этот в средние века жил. Стоит на высоком постаменте огромный свирепый дядька, правда что великий, правой рукой крест над собой поднял, в левой меч держит. А вокруг свадьба. Я протиснулся, гляжу: невеста в этой... как ее? – в фате белой, а сама потрепанная такая, 29-й свежести, по лестнице на постамент взобралась... это ведь надо было – лестницу из дому приволочь!.. взобралась к Штефану и к ногам его льнет. А выше достать не может, размеры не позволяют. Думаю: фотографируется на память. А жениха не видать. Невеста чего-то покричит, покричит в толпу, азартно так, не по-свадебному, и опять к ногам Штефана... прямо богатырские ноги, толще, чем у слона. Замечаю: веселье вокруг не так чтоб уж свадебное, но цветы, цветы, все завалено, коробки с подарками. Она ползает в ногах у Штефана, а он стоит, ноль внимания.

– Кино снимают, – вставил свою догадку Анатолий.

– Кино, да не то, шоу, да нехорошоу, – Демин покосился на Егорьевну, она, делая вид, что рассказ ей совсем не интересен, закатив глаза и нажевывая конфеты, уморительно вытянув губы, за которыми, слизывая налипшую конфетную кашицу, метался язык, откинулась на спинку стула. Невозможно было удержаться – и Демин машинально тоже повозил языком и только уж после этого направил его по назначению, чтобы продолжить рассказ. – Догадаться-то я догадался, что это не кино, а спросить... молчу. Слышу две старушки рядом шепчутся по-нашему: с ума, мол, сошли... Так что оказалось! – Демин мрачно взглянул на Егорьевну, продолжающую самозабвенно крутить во рту языком. – Вечером по телевизору передают: какая-то фокусница, самая большая у них там задира против русских... стихи сочиняет... специально разошлась с мужем, чтобы в патриотических целях выйти замуж за Штефана. Вот как бы, например, – жестом приглашения наклоняясь к Егорьевне и протягивая ладонь, сказал Демин, – вот как бы ты захотела замуж за Петра Первого. Она за своего Штефана Великого, а ты бы, чтобы утереть всем им нос, за нашего Петра Великого. С ними только так и надо. А?

– Придется подумать, – ласково отозвалась Егорьевна.

– Карусель ты моя ненаглядная! – постарался он сказать с грустью. – На все-то ты согласная... жила бы страна родная! Нет, что это все-таки делается – ты можешь ответить? Что надо бабам? Живых мужиков уж совсем ни во что не ставят, каменные, с трехэтажный дом, фигуры им подавай! Что вы в них находите?

Напросился Демин на ответ и незамедлительно его получил:

– Что надо, то и находим.

Самое время было подниматься, и Анатолий стал прощаться. Демин вышел из-за стола и, вытянув голову, поворачивая ее то в сторону Анатолия, то в сторону Егорьевны, топтался, не зная, куда двинуться.

– Посуду мыть, Демушка, посуду! – распорядилась хозяйка, приходя опять в деловое настроение.

\*\*\*

Иван Савельевич жил в большом и бойком пригородном поселке, через который проходили две дороги на Байкал: одна из Иркутска делала дугу и возвращалась на накатанный Байкальский тракт, а вторая тянулась больше ста километров на западный берег. Дугу эту дачники любили: тут хороший хозяйственный магазин, тут выпекался вкусный хлеб и тут же самосевом пророс небольшой базарчик на площади, откуда южная и западная байкальские дороги расходились в разные стороны. Все, что требовалось для ремонта и огорода, для стола и развлечения, тут и добиралось без толкотни в десять–пятнадцать минут, после чего, сбежав от городской тесноты и светофоров, можно было катить спокойно дальше.

Изба Ивана Савельевича стояла в сторонке, по дороге в пионерский лагерь, давно заброшенный и разграбленный, в редколесной сосновой рощице. Вразброс в ней стояло еще несколько изб с огородами; рощица, потеснившись для них, их же потом и защитила: поселковым сходом решено было для дальнейшего заселения ее закрыть.

Три прямоствольных сосны с высоко задранными ветками гнулись-шумели под ветром и во дворе Ивана Савельевича. А двор всегда был забросан ноздреватыми шишками, которые шли потом в дело для топки самовара. Скотину Иван Савельевич, оставшись в бобылях, давно уже не держал, но по весне привозил с птицефабрики молодок, летом у него были яйца, а по осени мясо. Жил он с Николаем, младшим сыном, а в это лето у них гостила дочь Николая десятилетняя Дуся, девочка, как говорил Иван Савельевич, «на два лица»: то квелая, постоянно зевающая, глядящая вокруг себя пустыми глазами, а то, как по погоде, кудахтистая, что-то наговаривающая и напевающая, играющая роль хозяюшки. Дусю, как и младшего братца ее, мать после развода с Николаем увезла в Ангарск – и вдруг отправила ее к отцу и деду, к их несказанной радости, даже не предупредив. А теперь вот и Светка с ними, которую от беды подальше спрятали, считалось, за высоким забором. Забор из потемневших плах был, но так себе, и кобель сигал через него почем зря, едва перебрав лапы.

И, как давно уже не было, стало уютно Ивану Савельевичу в доме – эх, если бы еще отгородиться совсем от мира и унять израненное сердце. И Николай, поднимая руку на себя, стрелял в него, и Тамара Ивановна, наводя свою справедливость, тоже часть картечи выпустила в отца. Но вот собрались здесь возле него эти две несчастные девчонки, тоже подбитые выстрелами, и поверилось осторожно, что, быть может, самое страшное позади и должно же из горя горького выпечься утешение. Ему уже было за семьдесят, два года доходило сверх того, лицо, исхлестанное уличными ветрами и нутряными пытками, словно бы окорилось с выщербами, грудь опала, руки и при хороших глазах, а у него все еще были хорошие глаза, часто тыкались слепо, мимо цели. Но, проведя полжизни в лесу, запас сил он в себе еще ощущал и земля под ним еще не шаталась. Если бы не горячило постоянно и не взбрыкивало испуганно сердце, примериваясь, как ему придется выпрягаться... Если бы не стискивало временами голову так, будто в нее вкручивают металлический обод...

Он поднимался после ночи рано и, глянув на щель в заборке на спящих в соседней комнате девчонок, шел во двор искать работу. Невелико хозяйство, но она находилась всегда – накачать воды в бочки для огородного полива, прибрать одно, другое, пятое, десятое, накормить молодок, которые вот-вот начнут нестись, поговорить с ними, а потом поговорить и с кобелем, еще не омужичившимся, игривым, ревновавшим Ивана Савельевича к молодкам и гонявшим их так, что они разлетались от него, как перья. А потом в летней кухне вскипятить чай и, отдыхиваясь облегченными, снизывающимися с какого-то мотка, вздохами, долго пить его на крылечке с растворенной за спиной дверью и ощущать, как втягивает туда, внутрь, уличный воздух.

Девчонки поднимались поздно. Ни та, ни другая на улицу за ворота не рвались. Дуся привезла с собой огромную, как библия, «Энциклопедию женщины» и утыкалась в нее, забравшись с ногами на продавленный диван в прихожей и часто и гулко перелистывая тяжелые страницы. Ивана Савельевич все подмывало взглянуть в эту «библию», чтобы разобраться, полезна ли она для подростка, но рука не поднималась: не его это дело. Ну и высмотрит, ну и что – запретит? Да нет, только отодвинет от себя девчонку. С ними теперь надо как-то по-другому, чем «можно» или «нельзя». Вон морковка нынче выскочила чуть не на две недели раньше обычного срока – и разберись: или семена такие, или общая атмосфера потянула. Ох, эта общая атмосфера!.. чтоб ей было пусто.

Не понуждал Иван Савельевич девчонок и к огороду, но к вечеру, когда ослабевало солнце, они раскачивались сами; младшая, Дуся, при этом делала заявление: «Дедушка, мы идем полоть! Дедушка, ты слышишь?» Ей требовалась похвала еще до начала работы.

– Ну и ступайте, – отзывался он. – Дело хорошее. Не перестарайтесь только. Вы хоть морковку от морковника сумеете отличить?

– Они в малом возрасте не отличаются, – к его удовольствию толково отвечала Дуся. – Пускай подрастут вместе, потом разберемся.

Светка на тонкой шее тянула голову и вслушивалась, она все еще не пришла в себя и смотрела вокруг с пристальностью глухонемой.

О, Господи, спаси и помилуй неразумная чада Твоя! Так их много, вся земля устелена ими от одичавших злаков! Для чего, Господи, предназначаешь Ты столь щедрый урожай? Для кучного выправления или для единовременного выкоса, чтоб пресечь недостойное?!

Николай летом дома бывал мало. Он подсаживался на лесовоз, отворачивающий с дальней байкальской дороги на лесосеку, и на старых вырубках, которые тянулись на многие десятки километров, сходил. И во всякую пору что-нибудь да подбирал: черемшу, травы и корни, ягоды, кедровую шишку. Где-то там были у него схроны от непогоды, свои, скрытые от чужих глаз, деляны, свои тропы. Людей он чурался, пряча в тайге искривленное, поведенное на левую сторону, обезображенное выстрелом лицо. За черемшой, за ягодами заходила во двор к Ивану Савельевичу бабка Суслониха, прозванная так за ровно стекающее с маленькой головки широкое становище, установленное на короткие и крепкие ноги; она ехала с таежным урожаем на городской рынок и продавала. И они, Николай с Иваном Савельевичем, полгода этим жили, и она, продавалка. Николай ходил без ружья, хватит – настрелялся, и пропадал иной раз по неделе, а осенью и больше. Но и дома отмалчивался, отвыкая от слов; когда узнал о случившемся с сестрой, заплакал, из вытекшего левого глаза побежала струйка желтой слезы. «Она бы лучше мне сказала», – выговорил с трудом и тут же испугался своих слов, замотал головой. Светку, когда привезли ее, погладил рукой по плечу и тут же спрятался.

Анатолий приезжал через день, новости не могли быть утешительными: Тамару Ивановну судить не торопятся, от адвоката она отказывается, говорит, что защищать ее не нужно, никому она не верит. Областной следователь топчется на месте, ждет окончательных результатов судебно-психологической экспертизы. И все-таки есть одно, непроверенное... но как знать!.. В Москве застрелили депутата Думы от Иркутской области, чеченца, и в Иркутске спустя несколько дней стреляли в его брата, тоже какого-то главаря. И вполне может быть, что кавказцам, которые преследовали Анатолия, теперь не до него, в последнее время охоту за ним они, похоже, сняли.

Иван Савельевич предостерег:

– Но ты Светку все-таки не торопись забирать.

– Нет-нет, пускай здесь побудет. Как она – оживает?

– А не знаю, Толя. Не пойму. Рана там глубокая, заживы долго может не быть. Иной раз глядишь: то ли от боли морщится, то ли силится улыбаться. Это хорошо, что они тут с Дусей вместе.

Сидели в избе, в прихожей, где прохладнее, Иван Савельевич за столом на скамейке у окна, опершись локтем о подоконник и сцепив на животе руки, Анатолий напротив, задрав высоко колени и утопив зад, гнулся на продавленном диване. Только что отчаевничали, посуда была еще не убрана, и над нею кружила пчела. Дверь в сенцы была отворена и в прихожей гулял ветерок, пузырем втягивая в комнату девчонок сквозящие от стирки ситцевые занавески. В избе было прибрано и все-таки сиротливо без хозяйки, сам жилой дух казался горчащим. Тамара Ивановна, наезжая, и скребла тут, и мыла, навешивала на окна свежие занавески, вытирала в межоконье рамки с фотографиями под стеклом, смахивала тенетистые узоры с потолочных углов, вытряхивала домотканые, еще с Ангары привезенные, половики и коврики, но проходило несколько дней и вновь проступала серая, золистая испоть, и опять все покрывалось сиротством. А без Тамары Ивановны что станется, и говорить нечего.

Солнце сдвинулось и перестало бить в окно, возле которого сидел Иван Савельевич, нагретый воздух перед глазами Анатолия в четко очерченном квадрате окна курился, дрожал. И в этом струении марева казалось, что свисающий с ближней сосны шест, которым поднимали на высоту скворечник да так и оставили там, легонько качается стоймя, чтобы, раскачавшись, спрыгнуть. Самого скворечника не видно, но Анатолий знал, что он пустовал. Его из году в год зорили вороны. Прежде их отпугивали ружьем и навсегда разогнали малых пташек, а большие, вороны и дятлы, до сих пор били клювами в пустующий домик и пытались столкнуть его вниз. Пойми эту жизнь... ничего-то нигде, оказывается, понять нельзя.

Уже неделю как жара не донимала сильно, дни стелились солнечные и яркие, но не гнетущие. За другим окном, на восток, цвела в палисаднике сирень, расклонив по сторонам тяжелые ветви в убранстве горящих фиолетовым огнем свечей. Обломанная сирень в банках с водой красовалась везде – и в спальне у девчонок, и в летней кузне, и в сенцах, и рядом с собачьей будкой на двуногой, с отростом, березовой чурке.

– Даже в самовар, вертихвостки, натолкали, – рассказывал Иван Савельевич. – И снует эта, меньшая-то, и снует: – «Деда, когда самовар кипятить будем?» – «Да кипятите, – говорю, – когда вам охота: не маленькие. А чего не маленькие – маленькие! Им охота, чтоб я ткнулся, увидал да ахнул погромче: «Эк она где, холера, проросла!» Мы ведь как разговариваем, Толя... Спросишь ласково – не знают, как отвечать. А разворчишься – это им то самое, глядишь, и по душе отзовутся.

Хлопнула с маху калитка во дворе – Иван Савельевич, вздрогнув, обернулся – никого, должно быть, выскочила Дуся. И спросил:

– Свидание-то не дают?

– Нет пока.

– А Ванюшка-то что ж не приедет сюда?

– Я пока его дома держу. За книжками сидит.

– Я уж перестал понимать, Толя, хорошо ли это – книги? Говорят: плохому не научат... смотрю я: запутать могут, хорошее с плохим воедино смешать. – Иван Савельевич опять оглянулся во двор: кто там мог проскочить в калитку? – и продолжал: – Николай у нас книжки читал... я радовался, пускай умнеет парень. А он вишь до чего поумнел! Шире головы. Он еще там, дома, – домом Иван Савельевич до сих пор называл деревню на Ангаре, – блажить стал. Задумываться начал. Наманят, наманят книги, насулят с три короба, а жизнь, она другая. И вот я думаю: человек от рождения, от родителей направлен по одной дорожке, по родословной сказать, а книжки его выгибают на другую. Ломоносов за рыбным обозом пешком из Холмогор ушел, так он Ломоносов был, кругом его по ученой-то части редколесье было. Он почему еще не сбился с пути... он в котомку себе родной холмогорской землицы набрал и все законы из нее вывел. А наши что? Они прямо в чащобу устремляются таких же, как они, без царя в голове, они все голодные до незнаемой жизни... И вот он, Коля наш... Впопыхах женился, какую-то чудь в ней увидел, а она, чудь-то эта смазливая, зубастая оказалась, клыкастая, на нем же ездила и его же ни в грош не ставила.

Иван Савельевич вздохнул тяжело, с мыком, помолчал, облизывая сухие губы, и спросил у Анатолия:

– Ты не закурил?

– Нет.

– А я покуриваю. Думал, что до смерти освободился, а не смог. Да-а, – с горечью протянул он, возвращаясь к прежнему разговору, – начудили. Я ему, Николаю, еще в те поры, как разглядел хорошенько его чудь, разъяснял... Говорю: вот поставь ты передо мной двадцать девок, двадцать невест, и я тебе без всякого испытания скажу, какую выбрать. На самую добрую покажу. Выбирать надо добрых, а не показных.

Анатолий представил себе этот осмотр, Ивана Савельевича, прохаживающегося перед строем выставочных невест, и засмеялся:

– А почему надо двадцать, а не десять?

– Десяти может не хватить. Лучше двадцать. Доброта у девки на лице написана, ей и мазаться не надо, чтоб себя красивой сделать. Природу не спрячешь, она себя обязательно покажет.

Иван Савельевич тяжело вылез из-за стола, потоптался на месте, наставляя затекшие ноги, и пошел посмотреть, где девчонки. Светка в летней кухне играла с котенком и раззадорила его до того, что он напрыгивал на нее, взобравшуюся с ногами на голый деревянный топчан, она вскрикивала, перебирая ногами; котенок, пушистый комок из желтого и белого, отскакивал, не разворачиваясь, шлепался на спину, взвивался вверх, чтобы приземлиться на лапы, делал стремительный разбег и снова кидался на Светку. Иван Савельевич от порожка полюбовался, и, когда Светка, ухватив котенка за шкирку, выставила его за дверь, за спину Ивана Савельевича, спросил:

– А Дуся где?

Девчонок так часто приходилось спрашивать, где одна и где другая, что и они тоже научились не выпускать друг друга из виду.

– Где-то за воротами, – задышливо, пятясь от котенка, приседавшего для прыжка через порог, отвечала Светка и ждала, когда Иван Савельевич отойдет.

– Шла бы, посидела с нами, пока отец не уехал.

– Ну, потом, – отговорилась она и, оставшись в кухне, прикрыла дверь. Пойми от кого – от котенка или от деда.

Воротившись, Иван Савельевич, посмеиваясь, рассказал о Светкином занятии, порылся на полочке возле двери, отыскал жестяную банку с табаком, пахнувшим ядреным едким духом, и принялся сворачивать самокрутку. Сигареты он не признавал, а папирос не стало. Закурив, сделав несколько жадных затяжек, отдышался и опять приободрился.

– Ничего, Толя, как-нибудь. Не может быть, чтобы свернули нас в бараний рог. Я вот тебе расскажу...

И рассказал Иван Савельевич историю, которая вспомнилась ему, надо думать, раньше и вспоминалась не однажды в эти дни, а теперь запросилась наружу.

– Это сколько же годков минуло? – спросил сам себя и прикинул: – Да уж не меньше тридцати. Томка тогда с Дусю была, может, немножко постарше. У нас в деревне вскорости после смерти Сталина угнездилась одна семья. Сам он, хозяин-то, был в наших краях на высылке, а как дали ему вольную, ворочаться не стал, откуда вышел, а выписал себе жену с погодками-ребятенками... мальчишка и девчонка были... и осел как вольнопоселенец. Кряжеватый такой мужик, рожа хмурая, все попервости в зеленых галифе ходил, в отместку, поди, тем, кто его в лагере караулил. Звали Ефроим. Заняли они избенку в три окна на верхнем краю деревни, последний парнишка уж у нас народился. Заняли избенку-горемыку, а потом и давай строиться, и давай. И это по тем временам, когда мужика гнули в бараний рог: на заем последнюю копейку отдай, молоко от коровы на молоканку отнеси, яйцо от курицы в сельпо сдай, огородные сотки еще и до Хрущева обрезали. А он в рост и в рост. В колхоз не пошел, устроился сначала бакенщиком, а опосле, как Ангару запруживать вознамерились, по зоне затопления каким-то чинодралом заделался. Но это уж потом. А до того при самой нашей глухой бедности... она его не касается, наша бедность... На задах избенки поставил времянку, да крепкую, не хуже этой избенки, а избенку смахнул и давай на том месте подымать крестовый дом. В два лета поднял, откуда что и взялось. Баба некорыстенькая, росточку небольшого, а тоже пятижильная, так и снует, так и снует. Дом поставили под шифер, у нас этого еще и в заведении не было, у нас контора была под тесом... Обнес свое поместье глухим забором, в улицу – высокие теремчатые ворота под навесом. Только ахай! У первого у него мотор на лодку, у первого мотоцикл «Урал» с коляской, у первого нарезная винтовка. Боролись, боролись с кулачеством, а он посередь голытьбы возрос как чирей на ровном месте.

Иван Савельевич говорил неторопливо, с улыбчатой усмешкой, подкивывая себе и морща и без того морщинистое лицо. И последние слова подвел, прямо как к воротам, к вопросу.

– А с чего возрос-то? – спросил Анатолий, слушавший невнимательно, с усилием, как и все теперь делавший с усилием, перемогавший какую-то налипшую изнутри, как грязь, тяжесть. – С приисков, что ли, явился?

Иван Савельевич с готовностью подхватил:

– С приисков, говоришь? Ну да, с приисков. С тех, где под конвоем водят. Сам он не признался бы, но слух такой стоял: когда мы Украину от немца отбивали, он в лесах против нас партизанил.

– Ну, за это так скоро не выпустили бы...

– А там тоже после Сталина порядка не было. Одних за колоски в землю вбивали, других из-под самой страшной статьи втихомолку выводили. Умел он, значит, и там себя поставить. Такие нигде не растеряются, повсюду найдут кума и брата.

– Но откуда же у него взялись деньги? Не в огороде же он их нашел?

– А вот этого никто не знал, – быстро и уверенно отвечал Иван Савельевич, ответ у него был готов. – Слухи разные ходили, да из слухов, сам знаешь, дело не сошьешь. А я так думаю: это ему баба с родины доставила. Он оттого, думаю, и не захотел на родину ворочаться, что не мог там ими распорядиться, они у него запашок имели. Он для того и изъял оттуда семью, что хотел следы замести. На войне в тех местах чего только не бывало.

– А потом он, значит, с тобой воевал?

– А его, Толя, со всей деревней мир не брал. Не любили его, а поманит, покажет бутылку – идут беспрекословно. А опосле еще больше не любят. Но он во внимание не брал, любят его, не любят. И сам никого не любил, жил в бирюках без нужды в людях. На подмогу, я говорю, зазывал, а так, чтобы по душам поговорить с человеком, этого в нем не водилось. Мы для него были люди десятого сорта.

Вошла Светка, юркнула за занавеску в свою комнатку, а потом встала в дверях, придавив одну полу занавески спиной, а другую жгутом держала в руке.

– Послушай, послушай, Света, – сказал ей подбадривающе Иван Савельевич, – какую мы оказию с твоей мамой прошли. Она тогда еще на подросте была, босыми ногами пыль на дороге взбивала... Ты дверку в кухню прикрыла?

– Прикрыла.

– А то кобель бы не полез. Он у нас из варнаков.

Иван Савельевич продолжал рассказ, а Анатолий посматривал на Светку, не слушавшую, уставившуюся в окно, за которым, кланяясь, тяжело раскачивались яркие гроздья сирени. Оттуда же заглядывало и солнце и Светкино лицо в обрамлении золотисто-смиренного закатного потока выпечатывалось особенно четко. Не было на Светке ее лица, слезло оно – так же, как слезает, меняя черты, кожа в тяжелой болезни. Все в этом новом лице обострилось и распалось: глаза, глядевшие тускло, сами по себе, ставший совсем маленьким и некрасивым нос сам по себе, и крепко сомкнутые, вдавленные одна в другую губы, тоже сами по себе. Все на месте и все сдвинуто, не соединено: во всем видна стылость донельзя измученного человека. «Чем бы развлечь здесь дочь, что бы придумать?» – стал размышлять Анатолий. – Может, телевизор сюда привезти? Евстолия Борисовна свой, конечно, не отдаст, он для нее весь свет в окошке. Но теперь у многих по два, по три телевизора; если поспрашивать – найдется, поди... Сидели бы девчонки, смотрели...» И услышал голос Тамары Ивановны: «И что бы они смотрели? Не насмотрелись еще, что ли, не отравились до конца жизни? Не надо, Анатолий, не смей!».

Иван Савельевич говорил:

– Парнишка этого Ефроима, Гошка, все на мотоцикле гонял. И все нашу Тамару пугал. Разгонится и прямо на нее. Она отскочит... пока мотоцикл разворачивается, то убежит, то на забор запрыгнет. Ухватил я его как-то на ходу за воротник, поставил на ноги. «Ты, парень, что делаешь? Ты же ее изувечишь?» Зубы оскалил и на меня, как звереныш: гы-ы! Не подействовало. Снова руль на девчонку. И опять, и опять. Кончилось тем, что наскочил и ободрал ей ногу чуть не до кости. В район, в больницу я ее возил. Зашили, замотали – месяц на ногу не приступала. Пошел к Ефроиму: так и так, уйми своего парня. Он на меня вточь так же зубы: «Гы-ы, у них это, можа, любовь». И меня же высрамил, что у меня девчонка по улице шляется.

Стукнула калитка; Иван Савельевич, прерываясь, крикнул в окно:

– Мы все здесь.

Вбежала Дуся, раскрасневшаяся, с короткой мальчишеской стрижкой, в короткой майке, по моде не закрывавшей пупа, и в шортах, получившихся от обрезанных, одна штанина короче другой, джинсов. Глаза ее блеснули удивлением от неподвижно расположившихся фигур, и она заявила:

– Хочу поесть.

– Ты только не расхоти, – сказал Иван Савельевич. – Погоди чуток, мы вот скоро закончим, я расскажу, чем дело кончилось, и мы твоему хотению дадим свое имение.

– Как это?

– А что имеем, то дадим. А чего нет, того и не будет. Сядь, прижми свою вертушку. – Небольно-то и вертлявой была Дуся, и сказал Иван Савельевич... для всех ребятишек заготовленными словами сказал. – Сядь и слушай. Сейчас и про папу твоего будет.

– А что про него будет?

– Не забегай вперед, слушай. Садись вот рядышком со мной.

Произошло общее перемещение. Иван Савельевич подвинулся на скамье, и Дуся сбоку водрузилась на нее с коленками; Анатолий подъелозился к диванному валику, облокотился на него, приняв удобное полулежачее положение, а возле другого валика устроилась Светка.

– И пошла у нас самая настоящая вражда, – вернулся к рассказу Иван Савельевич и с укоризной почесал седую клочковатую голову. – До последнего случая я вроде сильно и не вражевал на него, думал: дурость и дурость, должна же она затихнуть, эта дурость, ведь рядом живем. Ан нет, Толя, тут не простая обнаружилась дурость. Он, этот Ефроим, он что... он подсмотрел нашу слабость. Не он один подсмотрел... если на теперешнее время оглянуться – много кто подсмотрел. Мы, русские, большой наглости не выдерживаем. Маленькой, гонору всякого, этого и у нас самих в достатке, а большую, которая больше самого человека, то ли боимся, то ли стыдимся. В нас какой-то стопор есть. Вот и я долго так же: сердце зажму и отойду. Я отхожу, а он все наглей, уж никакого ему удержу. Я к той поре уж в лесничество перешел. И знал, что зверя он берет впору и не впору, охранного закона ему не писано. Наши егеря поймали его с поваленной стельной изюбрихой, послали протокол куда следует. Отвертелся и на меня же прокурором смотрит. Идешь с поклажей на Ангару, чтоб на тот берег переплавиться... у нас там уж большое хозяйство расчалось... идешь, он на берегу, на каменишнике, с веслом в руке, волком смотрит.

– Ты когда, – спрашивает, – утопнешь?

Вот до чего у нас дошло! Он Ангару за свою собственность стал считать. Я креплюсь, а вовнутри-то кулак хороший отрастает. Ответишь ему только: не дождешься, мол, утопленником меня зреть, а в самом закипит: чем бы тебя, вражину, погладить?

– А когда папа будет? – поторопила Дуся.

– Вот сейчас и будет. Потерпи. Сейчас мы с твоим папой сядем в лодку и поплывем. Плавали мы туда-сюда часто, хозяйство там, дом здесь. У нас в лесничестве были две грузовые лодки, широкие в борту, вроде карбаза, на волне стойкие. И мотор «Вихрь» дали, этот мотор в ту пору казался зверем. Рычит и прет скрозь любую непогоду. И вот так же мы с папой твоим, а ему в ту пору годков десять исполнилось, так же с левого берега на правый рулим. А уж сумерки, вода в Ангаре темная и низовка тянет. Но сумерки пока светлые, в них видать даже дальше, чем на солнце, и волна еще не разошлась. Идем поперек реки, Коля в носу, спиной к ходу, я в корме за мотором. Вижу: с правой стороны, от верхнего острова лодка повдоль реки. Ходко бежит, носом по волне настукивает. Вглядываюсь: Ефроим. Лодка у него хоть и ходкая, на манер шитика, а верткая. Да и легкая. Сближаемся, я гляжу по ходу шитика, что я успеваю проскочить. Но Ефроим поддал газу и прет прямо на нас. На таран идет. Он-то, конечно, рассчитывал, что я струхаю и отверну. «Ах ты, гад! – думаю. – И тут захотел меня в грязь носом». Кричу Кольке: «Падай!» и руками машу, чтоб падал в лодку. И только-только успел нос развернуть под шитик...

Иван Савельевич сделал полагавшуюся паузу. Светка, откинувшись на спинку дивана, смотрела на него во все глаза, голые ее пятки, высовывающиеся из босоножек и едва касающиеся пола, выплясывали нервную чечетку. Дуся, вытягивая шею и морща от напряжения нос, пыталась поймать себя в висящем над диваном зеркале. Анатолий спросил:

– Перевернулись?

– Шитик отбросило метра за три от нашего карбаза и перевернуло. Мотор оторвало, Ефроим вынырнул еще дальше. Я, как испуг отхлынул, соображаю: если Ефроима к себе в лодку из воды поднять, он, чего доброго, и меня, и парнишку поскидает в Ангару. Испуг отхлынул, злость прихлынула: ты хотел, чтобы я слабость свою перед тобой показал – на же: подгребаюсь к нему, сбрасываю конец, чтоб ухватился, и плавом, как бревно, тяну к берегу. Таким вот манером и доставил. В ангарской водичке он присмирел, едва на берег выполз. Хотел еще зуботычину дать, да ладно, думаю...

Анатолий подождал и опять подтолкнул Ивана Савельевича:

– Ну и какое у вас дальше соседство было?

– Друг на дружку не смотрели. Я Кольке наказал никому не сказывать об этом происшествии и сам помалкивал. Признаться, побаивался. От него всего можно было ожидать. Злого человека от зла отучить нельзя! – Дуся нетерпеливо подталкивала Ивана Савельевича плечиком, напоминая о своем голоде, и он поднялся, уже на ногах закончил: – А он недолго после того и оставался в нашей деревне. Началось затопление, вся Ангара на дыбы, он чем-то поруководил-поруководил, а когда началось переселение, снял свой дом и увез. Говорили, в город увез. Где он теперь, живой ли, не знаю.

– Учить таких надо, да, дедушка? – как поняла Дуся, так и спросила.

Иван Савельевич подумал.

– Учить надо – осторожно ответил он. – Но сдается мне, что поодиночке не выучить. Всех вместе надо. А как – не знаю. Сейчас вот про Бога вспомнили... Так к Богу-то пошли несчастные люди, которые от злодея терпят. Злодей к Богу не торопится. А власть, она вишь, какая власть, она распояску злодею дала, с ним по совести не поговоришь. Как на фронте было, – обращаясь уже к одному Анатолию, добавил Иван Савельевич. – Кто кого: перекрестимся втихаря да с криком «За Родину за Сталина!» – в атаку. Вот так-то бы и теперь всем оставшимся народом!

Уже в темноте уходил Анатолий. Все вышли за калитку, договаривая, задержались на выбитом ногами плешивом пятне перед воротами. Светка, оттиснув отца в сторонку, быстро, напрягшимся голосом, спросила:

– Папа, когда маму можно будет увидеть?

– Не знаю, – удивленный ее напористостью, ответил Анатолий. – Лицо Светки в зернистом свете электролампочки с дорожного столба было решительно, панцирной неподвижностью отблескивала на нем кожа. – Не знаю, – повторил он. – Может, на следующей неделе, а может, и нет.

\*\*\*

Прошло два дня – и вдруг Светка исчезла. Иван Савельевич с ночи встал по обыкновению рано: накрапывал из безнебья, из низкого серого сумрака, дождь тихой моросью, сильно и вязко пахло в ограде сиренью, а в огороде дикой коноплей. И, пока не разошелся дождь, прикатил Иван Савельевич на тачке три возка черной земли на огуречную гряду, чтобы заглубить уже поднявшиеся всходы. Под дождем оно хорошо, сразу же и породнит старую засыпку с новой; после этого обошел раза три огород, размечая в памяти, что надо будет сделать самому и на что направить девчонок. Дождь не расходился, и подставлять ему, слабо сеющемуся, голову и лицо было приятно – как помазание мягкой редкошерстной кисточкой происходит, и руки, творящие его, выбирают самые чувствительные места. Потом, как всегда долго, пил Иван Савельевич чай, шикая на куриц, вспрыгивающих на порожек летней кухни, и слабым поминаньем, не торопясь выстраивать их в черед, касался своих житейских туч, то отдергивая память, то снова заставая ее подле больного места.

И долго не шел в избу, чтобы не потревожить девчонок. Досидел, пока не вышла Дуся и, зевая, от позевоты сгибаясь и разгибаясь, будто в поклонах, раздутыми словами, с трудом скатывавшимися из широко раскрытого рта, выговорила:

– А где-э Све-эта?

– Где ей быть? – посмеиваясь над девчонкой, сказал Иван Савельевич. – Возле тебя где-нибудь. Вы вместе почивали.

– Не-э-ту.

Иван Савельевич заглянул в избу, прошел в огород, уже в тревоге выскочил в улицу: нету. В том же порядке, с зачастившим сердцем, заставляя себя не торопиться, обошел с полным обыском все, где Светка могла находиться, – нигде ее не было. Сунул Дусе стакан горячего чая, все остальное сыщет сама, и бросился на автобусную остановку. А прибежав, понял, что бежал без головы: если бы Светка решилась уехать, за утро она бы уехала десять раз, а в небольшой очереди, сидящей возле магазина на крылечке и толкущейся рядом, ее быть не могло. Поспрашивал в магазинах, в том и другом, – не видели. Обратно домой; Дуся встревоженно и молча следила из летней кухни, как он мечется, и продолжала в испуге намазывать на хлеб варенье и слизывать его языком, выгнув над столом голову и глядя в раскрытую дверь.

Иван Савельевич присел рядом с нею. Украли Светку? Но как ее могли украсть – не из постели же вытащили?! Схватили, когда Светка вышла из избы? Но она бы закричала! По тихому утру он бы услышал ее откуда угодно. Сама, не сказавшись, сбежала? Но почему? Зачем по следу одной беды догонять другую?

Он решил: подождет час, а потом надо ехать в город. Час он дал себе на всякий случай: а ну как вздумалось Светке погулять по рощице, которая еще за двумя дворами переходила в лес. Через час надо бить тревогу. Но как ехать, бросив здесь Дусю? Куда ее? Тащить с собой? Пугать своим испугом? Да и что там, в городе, будет?

Он выждал час, прибавил еще полчаса и бросил-таки девчонку, решив, что по дороге на автобус забежит к Суслонихе и попросит ее приглядеть за Дусей. Но Суслонихи дома не оказалось; бухал матерой глоткой кобель, таская грохочущую цепь; от крыльца, со ступенек, уставил на Ивана Савельевича маленькие глазки поросенок, склонив короткую голову набок и шевеля прозрачно-розовыми ушами; с поката над сенцами уже струилась вода. Дождь томился, томился да расходился. И Иван Савельевич, перекрестив про себя Дусю, не стал возвращаться: будь что будет.

Он поехал уже в двенадцатом часу; из пористого замшелого неба сыпало вовсю. В городе по обочинам дороги налились лужи, люди под зонтиками, по-куриному вытягивая шаг, крались и подпрыгивали. Все было мокро, мрачно, все погрузилось в тяжелое ожидание. У Ивана Савельевича и внутри будто отсырело от разлившейся смертной тоски. Если он не застанет сейчас Анатолия дома, что ему делать? А если и застанет, вместе они, потелефонив туда-сюда, уложат на коленях руки в оцепенении: что дальше?

А вышло, что и Анатолия он не застал, дома был Иван, и осторожные их звонки Евстолии Борисовне и в прокуратуру ничего не дали. В прокуратуру они звонили не в ту, а Евстолия Борисовна первой спросила, когда приедет Светка. Иван, еще больше вытянувшийся в последний месяц, с длинными руками и огромными босыми ногами, задумчиво хлопал глазами и пытался вспомнить, что говорил ему перед уходом отец. Кажется, собирался пойти в какую-то мастерскую. Надо было искать Демина и уж тогда выходить на след Анатолия. С тем и снарядил Иван Савельевич внука, а сам, как побитая собачонка, не сослужившая самой простой службы, поплелся в обратную дорогу.

Да и не поплелся, а погреб. Дождь полоскал без устали, из трубного зева водостоков вода выфыркивала залпами, залитый асфальт пузырил, люди попрятались, машины медленно проплывали, отваливая на стороны волны. «А это к чему? – огромным, ко всему приложимым и ничто по своей безответности не говорящим вопросом мучился Иван Савельевич, преодолевая потоки.

\*\*\*

Эти два дня после отъезда отца прожила Светка в непрерывном нетерпении, точно что-то нагорало в ней и нагорало, превращаясь в золу, но под золой не затухли и теперь принялись горячить угли. Она продолжала оставаться вялой и неразговорчивой, все так же смотрела перед собой пристально и невидяще, но и лицо ее от внутреннего напряжения морщилось, и плечи судорожно вздрагивали. Светка ждала отца, считая, что должно что-то обязательно произойти и он привезет новости. А что должно произойти и какими могут быть эти новости, она не представляла. Но если занывает так в непрекращающейся муке – значит занывает неспроста. Однако отец, по обыкновению пропустив один день, на второй не приехал. И Светке стало совсем нестерпимо и за дедушкиным забором, и в своем нездоровом почужевшем тельце. Ей чудилось, что от нее и пахнет нехорошо – и чем дальше, тем больше. Прождав отца до вечера, утром она решила ехать. Ничто не могло остановить ее – ни переполох, который поднимется здесь и дома, ни опасность, от которой ее прятали, ни унижение, которого не миновать, едва лишь она начнет добиваться своего. Хоть что, хоть в тысячу раз больней, но только не так, как теперь, в дошедшем до края изнеможении.

А, решившись, она и спала хорошо, и проснулась рано. Услышала, когда Иван Савельевич вышел, зная, что теперь до позднего утра в избу он не вернется, высмотрела в окно, что нашел он занятие в огороде, и выскользнула в калитку. В легкой беленькой курточке на плечах, в тонких летних джинсах с подвернутыми штанинами, в разношенных шлепанцах и с белой маленькой сумкой в руке, в которой ничего, кроме мелких рублей да носового платка, не было. Накрапывал дождь, гулко, будто соскользнувший и разметавшийся по земле гром, мычали коровы. Со стороны города, как к ночи, вставала темнота. На автобусной остановке Светка еще издали заметила Суслониху, низкую и громоздкую, как животное, мотающую маленькой головой, и отошла, а потом, когда автобус подкатил, бегом вбежала в последний момент в заднюю дверь и отвернулась, уставившись в стекло на убегающую дорогу. На автобусной станции в городе сидела в углу зала с опущенным лицом, прикрывшись ладонью, делая вид, что дремлет, изредка вскидывая из-под пальцев глаза на стенные часы со звучно прыгающей секундной стрелкой. Вскоре она и верно задремала, успокоившись, ощутив и в себе часовой механизм, отбивающий секунды и умеющий насторожить ее на время, когда нужно будет подниматься. Хлестала дверь, плавал от стены к стене гул голосов, слышались объявления – и все это превращалось в чеканный ход часов, стерегущий среди многолюдья ее жалкое укрытие. И так ей наконец было хорошо в эти полчаса, когда совершенно забылась она, столь сладкое она испытывала забвение, так укачало ее это спокойное людское волнение, что, придя затем в себя и оцепенев от возвращения, она еще долго набиралась решимости, чтобы подняться. Объявили посадку сразу в два больших автобуса, ползала зашевелилось, заторопилось к дверям, и только тогда общий порыв подхватил и ее. Она вышла, окунулась в настегивающий ливень и пешком побрела в сторону центра.

В небольшое, в три этажа, аккуратное белое здание, сохранившее свою белизну даже в ливень, мирным своим видом больше похожее на какое-нибудь скромное благотворительное общество, чем на областную прокуратуру, Светка прошла беспрепятственно. Охраны здесь не водилось, доверительным расположением небольшого уютного фойе она, казалось, и не была предусмотрена, а за столом дежурного слева от входа напротив мраморной лестницы, никого не оказалось. Светка задержалась у дверей, давая стечь с себя воде и глядя под ноги, и почувствовала, что туда же, под ноги ей, на происходящий непорядок, смотрит кто-то еще... Он, этот человек, окликнул Светку с противоположной стороны фойе и спросил, к кому она пришла. Спросил вполне дружелюбно, но переживая, казалось, за коллегу, в кабинет которого может переместиться это истекающее водой существо. «К Николину», – слабым голосом ответила она; это было у нее первое слово за весь день. Человек подошел к столу дежурного, поднял трубку телефона и набрал номер. Только теперь, протерев глаза ладошкой, она рассмотрела его и больше всего на его лице, белом, нисколько не загоревшем, поразили ее очень густые и очень лохматые брови, из-под которых с трудом выглядывали маленькие глаза. Николин в трубку удивился: «Разве я вызывал вас?» – «Мне надо», – сказала Светка и после продолжительной паузы, способной напугать, услышала: «Поднимайтесь и ждите, сейчас я занят».

Перед дверью Николина на втором этаже она прислонилась к стене и почувствовала себя почти так же хорошо, как на автостанции, когда она полностью забылась в себе, будто в уютном гнездышке. С волос продолжала стекать за шею вода и щекотливыми струйками сбегала по спинному желобку вниз, и куртка, и кофточка влипли в тело, оно зудилось, выгибалось и вздрагивало. И все равно было хорошо, всякое страдание в ней умолкло, поддалось смирению и терпению. Впервые, еще не различив, не назвав ее, Светка коснулась истины: ожидание события сильнее самого события.

Минут через двадцать Николин крикнул через дверь, чтобы она заходила.

Он был немолод, с седыми висками и подсушенным правильным лицом, с прямой высокой фигурой и твердым взглядом глубоко посаженных глаз. В деле Тамары Ивановны обвиняемая была видна ему как стеклышко самого простого изготовления, но он с жалостью и даже с некоторым раздражением смотрел на ее дочь, начало и причину всей этой истории. В отличие от матери крепкого орешка из дочери не вышло. Беда невелика, если бы по множеству самых неуловимых примет не распознавалась эта слабость в людях силой и грубостью. В благополучном обществе с действующими нравственными и юридическими законами эти противоположности сдвинуты, сильный становится терпимей, а слабый сильней, но как только люди выходят за установленные границы, неминуемо просыпаются самые грубые инстинкты и низменные страсти, и те законы, которые действовали в условиях «мирного» времени, становятся недостаточными не только по букве, но и по смыслу. Когда верх берет вырвавшаяся наружу грубая сила, она устанавливает свои законы, неизмеримо более жестокие и беспощадные, нежели те, которые могут применяться к ней, ее суд жестоко расправляется с тем, что зовется самой справедливостью. Ее, эту грубую и жестокую силу, начинают бояться, даже прокурор в суде заикаясь произносит вялый приговор, который тут же отменяет общественная комиссия по помилованию. Правосудие не просто нарушается – его подвешивают за ноги вниз головой, и всякий, кому не лень, с восторгом и бешенством, мстя за самую возможность его существования в мире, плюет ему в лицо.

В такой обстановке, считал Николин, любая слабость, происходит она от государства или человека, провоцирует на новое преступление, и всякий слабый человек притягивает к себе преступника как магнит.

Кто виноват: у хозяина содержалась во дворе кормилица, волк забрался и, недолго думая, зарезал ее, а хозяин, державший для защиты берданку, пальнул в волка, когда он терзал свою жертву, и не промахнулся. Волк не может быть никем иным, кроме волка, стало быть, и спрашивать с него, коли он существует в природе, нечего. Корова или овца в стайке тоже не могут быть никем иным, кроме коровы или овцы, они защититься от волка не в состоянии. Хозяин с ружьем не способен возносить молитвы за волка, чтобы он переменился и побратался с овцой. Так кто же виноват? Если бы не было в этом дворе овцы, волк побежал бы дальше, пока не отыскал овцу в другом дворе; если бы не было волка – тем более обошлось бы тихо-мирно, а если бы не было хозяина с ружьем – не было бы и выстрела, и отсутствие слопанной бесхозной овцы никто бы не заметил. Выходит, виноват хозяин, он своим грубым поступком принудил закон вмешаться и готовить последнее слово. Конечно, в деле Тамары Ивановны расположение фигур несколько иное, но схема та же самая. Не из дремучего леса явился хищник, а из общества, объявленного цивилизованным; не овца, бессловесная тварь, стала жертвой его, а родная дочь хозяина или хозяйки; хозяйка решилась наводить свой суровый приговор не тогда, когда хищник крался к жертве, хотя намерения его и тогда были ясны, но не было еще состава преступления, а лишь после того, как преступление свершилось, и даже после того, как стреноженного хозяйкой и переданного в руки правосудия преступника вознамерились отпустить на все четыре стороны, чтобы следующей же ночью он набросился на новую жертву. Однако убийство случилось, волка в маске человека не стало, и этот конечный и исключительный факт затмил собою предыдущие события. Да, затмил, но ведь не отменил, не вошел в противоречие с ними и явился ничем иным, как их неоспоримым следствием.

Об этой истории много говорили, в том числе и у них в прокуратуре. Душою жалели Тамару Ивановну, служебным положением осуждали за превышение... за превышение чего? – материнских и человеческих чувств, за превышение чувства справедливости? Но как еще можно противостоять бешеному разгулу насилия и жестокости, если государство своих обязанностей не исполняет, а правосудие принимается торговать законами, как редькой с огорода? Как? Тамару Ивановну жалели и втайне ее оправдывали; о дочери же ее, как только заходил о ней разговор, неопределенно вздыхали, не желая договаривать: слишком большую приходится платить за ее честь цену – будто эту цену запрашивает она сама или будто слабость виновата в том, что она слабость.

С тем же чувством жалости и невольной брезгливости смотрел теперь и Николин на сидевшую перед ним Светку. Вид у нее после дождя был как у ощипанной курицы: и волосы влипли в голову, и одежонка в тело. Слабые грудки ужались так, что не топорщили кофточку, серое лицо вздергивалось, когда она простуженно швыркала носом и испуганно уставляла на следователя глаза; сидела она с плотно сжатыми коленками, придерживая их руками. Несчастная, на что-то решившаяся, чем-то подстегивающая себя девчонка, больше ничего в ней не было.

– Что еще случилось? – спросил он, показывая, что после случившегося все, что могло случиться вдогонку, большого значения не имеет.

– Мне надо повидать маму! – с отчаянной решимостью выпалили она.

– Надо повидать маму?

Кивнула всем дернувшимся телом.

– А ты представляешь, сколько мне всего надо, когда тебе надо, а мне не положено? Ты, голубушка, этого не представляешь, иначе ты бы не пришла сюда с таким заявлением.

– Я не могу больше.

Конечно, в это можно было поверить. Есть предел человеческой выносливости. Ее выносливость потребовалась дважды, раз за разом без передышки, и второй удар был не легче первого... Если представить человеческую выносливость в виде витой, как веревка, жилы, протянутой между двумя какими-то креплениями, то она у этой девчонки должна превратиться в лохмотья, держащиеся на волосинках, и эти волосинки, ободранные и нагие, выглядывали из всего жалкого облика девчонки, даже стали ее обликом и молили о помощи. Николин, представив, что такое теперь сидит перед ним, подумал: «Я смотрю на нее как на помеху, срывающую мои сегодняшние планы, а ведь она вышла, чтобы сказать «мне надо», из таких зарослей, из такого отчаяния, что и представить нельзя. Бывают положения, когда человек чувствует себя ровно так, как говорят его слова. «Мне надо» – и больше ничего в ней теперь нет.

Николин со свистом выдул из себя набранный воздух, еще раз удивился этой невесть откуда взявшейся в нем манере подавать сигнал о принятом решении и сказал:

– Иди побудь еще в коридоре, я позову.

И он подвинул к себе телефон. Уговаривал, настаивал, взывал к человеческим чувствам, грозил карой небесной, обещал, на кого-то ссылался, кому-то напоминал, что тот его должник. Дважды выходил за какими-то бумажками, с заходившими к нему расправлялся быстро и решительно. Светка, сцепив замком на груди руки и затаившись, влипла опять в стену. Она слышала голос Николина из кабинета, могла бы слышать и разговоры, потому что говорил он громко, но ничто не подсказало ей, что можно вслушиваться в слова и составлять из них смысл, и она оставалась безучастной, выполняя лишь то, что было ей сказано. Проходя мимо, Николин возбужденно бросал «жди!» – и она сжималась еще больше, веря, что оттого, как она будет ждать, зависит, чему быть. Так продолжалось около часа; наконец Николин вышел с зонтиком в руках и закрыл дверь на ключ. «Поехали!» – сказал, торопливым шагом направляясь к лестнице.

Ехали на старенькой «Ниве» Николина минут двадцать и все вброд, вброд, и представлялось порою, что вплавь. Дождь то примолкал, то припускал вдруг с такой яростью, что под сплошным его боем становилось совсем темно и глухо. Ехали молча, Николин только покряхтывал от досады, еще не окончательно смирившись с тем, что день у него пошел наперекосяк, а Светка и соображала плохо, где она и что с нею происходит, не помня, что происходит на этот раз по ее воле. Подъехали к трехэтажному зданию, окованному с обеих сторон тяжелой бетонной стеной с колючей проволокой, сбоку, отдельно от общего входа, отыскалась невзрачная дверка, облегчившая проникновение внутрь, по узкому коридору попали в проходную комнату, где вдоль стен сидело несколько человек, тоже пришедших с улицы. Николин оставил здесь Светку и скрылся в другой, противоположной, двери. Вокруг Светки сидели в молчании и терпении, каких там, за стенами, не бывает, – совсем никуда не торопясь и ни о чем не спрашивая. Когда в очередной раз принимался нахлестывать дождь за окнами, еще теснее сжимались, еще больше опускались на дно своих тяжких дум или уж окончательного бездумья пожилые женщины, каждая в обнимку со своим горем-злосчастьем. И Светка среди них, равных ей по закаменевшей боли, опять отдалась удобному и глухому оцепенению: так хорошо ей было в беспамятстве и безволии, почти и на грани бездыханности.

Но вернулся Николин и повел ее за собой – опять по коридору, опять через двери и двери. Завел в кабинет: обшарпанный стол перед единственным окном, два старых стула с решетчатыми спинками подле стола, два у стены. И больше ничего; стены голые, окно затянуто дремучей вековой пылью. Какой-то маленький человек при их появлении поднялся из-за стола, что-то негромко сказал Николину и вышел. Николин сел на его место, поднял трубку черного допотопного телефона с пронзительным, как у сирены, гудком, что-то невнятное буркнул, дождался ответа, выждал еще отведенное время и, подмигнув Светке, тоже вышел.

В ту же минуту вводят мать. Человек, сопровождавший ее, от двери сурово оглядывает Светку и исчезает. Не помня себя, не способная соединить во внятную последовательность все происходившее с утра, Светка не узнает и мать, смотрит на нее с ужасом, потом со сдавленным и пронзительным вскриком бросается к матери и оседает у нее на груди.

Тотчас приоткрывается дверь, и вставленное в ее проем лицо чеканно командует:

– Ти-ха! Раз-веду!

Тамара Ивановна осторожно отстраняет вцепившуюся в нее Светку и вдавливает в свои глаза слезы. Светка пытается успокоиться, но едва лишь мать берет ее руку в свою, чтобы усадить на стул возле стены, плечики ее опять принимаются подпрыгивать от сдерживаемых, клохчущих рыданий. Она умоляюще оглядывается на дверь, показывая, что сейчас этот приступ пройдет, сейчас, сейчас... как только она справится с собой. Тамара Ивановна рядом на стуле гнет голову к стене, ища опоры и твердости, и бормочет:

– Ниче, ниче... Это что же? Это ты откуда взялась?

Она в темной застиранной рубахе с накладными карманами и в темной же юбке в крупную коричневую клетку, на ногах старые кроссовки с короткой шнуровкой, те самые, в каких она ушла из дома. Волосы забраны сзади под резинку. Лицо почерневшее и почужевшее, глаза смотрят с силой. Жадно и пугливо всматривающаяся в нее Светка замечает в углах ее губ вскипевшую смолку.

– Ничего, – повторяет Тамара Ивановна уже спокойней и отирает пальцами губы. – Надо же – пробилась! – опять удивляется она. – Отец знает, что ты здесь?

– Нет.

– А мне тебя и надо было повидать. Ты как почуяла, что тебя-то мне и надо.

– Здесь страшно, мама?

– Да почему же страшно? Не страшней, чем там, у вас. Те же самые люди.

Светка тычется головой в материнские колени; Тамара Ивановна выдвигает свой стул поперед, удобнее устраивает на коленях лицом к себе Светкину головенку и, наглаживая, прижимает ее к животу. Светка всхлипывает совсем по-детски, но слова, которыми давится она, выговариваются со дна беспросветного отчаяния.

– Мама, как же мне теперь жить-то? – спрашивает Светка. – Как? Я сама себя ненавижу. Я с собой не знаю, что сделала бы...

Тамаре Ивановне хочется, в свою очередь, спросить: «А мне как жить? Мне-то как жить, дочь ты моя родная?» Но не спрашивает. Разве можно сыскать такие слова, которые бы их утешили, дочь и мать, сброшенных куда-то, где нет ничего, кроме пытки... Самые справедливые, самые надежные слова, способные дать утешение, не утешив, спекутся в том же пекле, в каком горят они. Больно, больнее боли больно. Все нутро выгорает. Тамара Ивановна нянькает на коленях дочь, затверженно повторяя: «ниче, ниче», наглаживает ее волосы, вытирает пальцами с глаз ее и свои слезы. Надо бы говорить какие-то напутствия, распоряжения, надо бы... много чего надо бы, коли подвернулся такой счастливый случай, но Тамара Ивановна боится вспугнуть Светкину доверчивость, нежность ее и беззащитность... нет, не надо ничего говорить... так больно и так хорошо! И когда слышит Тамара Ивановна едва различимые Светкины слова: «Мама, ты меня не презираешь? Скажи, мама, скажи!» – она и на них не отзывается, а только еще крепче прижимает к себе Светку и раз за разом нагибает голову, чтобы поцеловать ее в мокрые глаза.

Когда, стукнув в дверь, входит Николин, они, выпрямившись, сидят рядом; Светка со склоненной на материнское плечо головой, кажется, измученно дремлет.

– Наговорились? – спрашивает Николин.

Отстраняя от себя осторожно Светку, Тамара Ивановна поднимается.

– Наговорились.

И чужим, излишне бодрым голосом, точно продолжая разговор, наказывает дочери:

– И мужикам нашим скажи, чтоб обо мне не беспокоились. Скажи, что я тут даже комиссарю немножко...

– Об этом и мы наслышаны, – с иронией соглашается Николин и дает ей знак, чтобы она выходила.

Тамара Ивановна приподнимает со стула Светку, еще раз целует ее и направляется к двери, за которой ее ждут. Светка только теперь понимает, что мать уводят и, не в силах совладать с собой, кричит: «Мама!». Тамара Ивановна уже за дверью вытянутой назад рукой делает ей прощальный взмах, как это бывало в детстве, когда ей надо было уйти, а они, ребятишки, не пускали, и тяжелая, глухая и тупая дверь закрывается за нею.

На улице Светка не замечает ни солнца, согнавшего тучи и ярко блестящего в лужах, ни шумного и веселого воробьиного гвалта на маленькой пустой площади, ни плывущего над городом сладкого боя церковных колоколов. Она с трудом взбирается с помощью Николина на высокое сиденье «Нивы», и рыдания снова принимаются сотрясать ее маленькое изнуренное тельце, пляшут даже ноги. Николин, набросив руки на баранку и не делая попыток успокоить Светку, терпеливо ждет. Он слишком хорошо понимает, что у девчонки это прощание с собой, и с тою, какой она была раньше, и во что превратилась в последний месяц, и что это в корчах и муках рождается новый человек. Каким он будет, неизвестно. Но чем страшнее муки, тем больше перемены.

\*\*\*

После свидания с матерью Светка в деревню не вернулась, осталась у бабушки, у Евстолии Борисовны. Скрываться больше она решительно отказалась, и ни отец, ни Иван Савельевич уговорить ее не могли. В ней вдруг появилось спокойное и непробиваемое упрямство: нет и никаких! Анатолий растерянно уступил, Иван Савельевич подавил-подавил на зятя, чтобы он употребил отцовскую власть, но, видя, что ничего тот употребить не может, в конце концов отступился. И от обиды почти перестал бывать в городе. За весь июль приехал лишь однажды, привез с огорода зелень и полдня промаялся перед окнами: никто не отвечал, полное запустение, полный разброд без Тамары Ивановны.

Иван перебрался на дачу и в город глаз не казал. Анатолий недоумевал: то пряником парня туда не заманишь, то не выманишь; Иван, рывками насаживая на крепкую шею голову, как всякий раз, когда требовалось выкрутиться, и, научившись простодушно выставлять свои невинные зенки, объяснял с глубокомысленным вздохом: «Земля потянула». Ну, как же – земля его потянула! – случилось что-то, что заставило его искать там укрытие, не иначе... Если так – не больно надежное укрытие. Анатолий попробовал по-отцовски поговорить – не получилось. И заговорил вяло, не зная, как ему теперь разговаривать с детьми, и, услышав отговорку, настаивать не стал. Он теперь ни на чем не настаивал и ни до чего не допытывался, а только скользил по дням-горушкам, как выпавшая из употребления деталь, ни на что в отдельности своей, вне сборки, не годная и постоянно получающая беззлобные и болезненные пинки. Иван, присматриваясь к отцу, невольно спрашивал: а мог ли он, отец, решиться на поступок, совершенный матерью? Не трус ли он? И отвечал себе: нет, отец не трус и на любой решительный поступок он способен, если... Если до него додумается. А он мог и не додуматься не от недостатка ума, а от какого-то особого положения ума, не посягающего на взлеты.

Друзей Иван после домашних несчастий растерял, и все больше нравилось ему оставаться одному. Дома он по требованию отца и в «санитарных целях», как изъяснялся Демин, также участвовавший в воспитании Ивана, высидел только неделю, да и то не без отлучек, чтобы не страдало самолюбие, а затем взял полную волю и уходил, куда глаза глядят. Оставаться в домашних стенах, сразу осиротевших без матери, онемевших без ее голоса и решительных шагов, стало невмоготу, а уезжать на дачу... на дачу тогда еще не хотелось из чувства противоречия... отец советовал – ну и не хотелось. Почему он должен кого-то бояться? Мать не испугалась и тем самым как бы и ему наказала не бояться. Испытывая себя, он до глухой ночи бродил по темным и пустынным улицам, опустевавшим сразу же, как только опускались сумерки; днем шел на рынок с «колониальными» товарами и, пристроившись в сторонке, подолгу наблюдал с каким-то странным наваждением за улыбчивыми китайцами и мрачными кавказцами, раскидывающими паутину, в которую уж как-то слишком легко и глупо попадались местные простаки. На рынок его тянуло все больше и больше – точно передалась эта тяга от Светки. Он многое научился замечать: вот подходит служитель порядка в форме и приценивается к свежей черешне, а к нему бросаются сразу двое-трое расторопных джигитов и наваливают в сумку и черешню, и вишню, и яблоки, и помидоры, и что-то еще... Разыгрывается незатейливый спектакль: милиционер, мордатый дядя с выпяченными губами, с которого кавказцы легко считывают тайные мысли, поясняет продавцам, что он просил только килограмм черешни и платить будет только за килограмм, остальное просит из сумки вынуть. Джигиты цокают языками, размахивают руками: ай-я-яй! как же это они не поняли! как же оплошали! – и, вынув из сумки горсть ягод и два яблока, возвращают ее хозяину, берут с него за черешню и с ненавистью смотрят ему вослед. Через десять минут подходит к ним женщина, немолодая, зоркая, обманутая не единожды и на этом основании считающая себя опытной, кого ни на мякине, ни на фруктах больше не проведешь; она тянет голову, всматривается пристально в радужное сияние рассыпного южного изобилия... Но и на ней они, лицечеи, безошибочно читают все, что там написано. А написаны на лице этой женщины неуверенность, торгашеская безграмотность и обида за прежние обманы. Джигиты советуют ей взять вот это... они принимаются бурно нахваливать это... женщина, зная, что верить им нельзя, отстраняется от того, что ей навязывают, и тянется к другому, к яблокам, которые надраены меньше, но кажутся ей сочнее. Она просит попробовать. Пожалуйста. С видом легкого разочарования ей подают с ножа кусочек, отворачиваются. Но кусочек подан с яблока другого сорта – того, от которого она отказалась; в четыре снующих руки выкинуть такой фокус ничего не стоит, и женщина опять уходит обманутой.

Китайцы хитрее, кавказцы наглее, но те и другие ведут себя как хозяева, сознающие свою силу и власть. В подчинении у них не только катающая тележки местная челядь, с которой они обращаются по-хамски, но и любой, будь он даже семи пядей во лбу, оказывающийся по другую сторону прилавка. Эта зависимость висит в воздухе, слышна в голосах и видна в глазах. И те, и другие ощущают ее, кровь, разносящая импульсы, доносит, кто есть кто. Точно на огромной шахматной доске это предрешено расположением и активностью фигур, и назначенные существующими обстоятельствами позиции местами никак поменяться не могут.

Учиться Ивану оставалось еще год, и он решил, что школу обязательно закончит. Но прежние планы, куда дальше, вдруг отодвинулись и поблекли. И недавнее любопытство к нутряному русскому языку, к корням его и ветвям, тоже отодвинулось и поблекло: разве это теперь главное? А что главное – не знал, но представлялось ему, что это должны быть какие-то физические действия, а не лингвистические изыскания. Только сейчас, оставшись наедине, он, казалось, наконец вытиснулся из себя и вышел в мир. И то, что увидел он в нем, поразило его.

Казалось бы, он должен осознавать происходящее и приблизиться к нему в совместных обсуждениях с кем-то, кто и опытней его, и старше, в чтении специальных книг, с помощью нацеленных извлечений из широкой картины событий, в результате всего того, что дает постоянная и длительная выучка... Что-то похожее и случалось изредка обрывочно и случайно, но сложиться в мировоззрение не могло. Да и не было у него еще никакого четкого мировоззрения, а вдруг в считанные месяцы точно открылось какое-то глубинное зрение и переместило его из одной действительности в другую. И все отчетливей, теперь уже сознательно и жадно вглядываясь, стал видеть Иван то, что прежде не замечал.

Огромные и страшные перемещения, от которых взрослые почему-то отворачивают глаза, происходят в мире, одни наступают, другие отступают, и среди вразброд отступающих, растерянных и обессиленных, как приговоренное жертвенное стадо, теснимое к обрыву и не понимающее, что с ним происходит, был и его народ. На самой-самой кромке обрыва вынесут ему окончательный приговор: одних, просветленных новыми знаниями и новыми правилами поведения, помилуют, других, обсудив, как гуманнее поступить с ними, отправят восвояси, в те глухие и немые свояси, где уже ничего нет. От помилованных потребуют: отрекитесь! И отрекутся. А вослед приговорённым скажут: вы видели, как много среди них было больных и дурных, преступников и староверов; мы сделали это, чтобы спасти от них мир. И мир согласится: тому и быть, каждый получает то, чего он заслуживает.

Никаких планов на будущее у Ивана не было, и казалось ему, что они и не нужны, что в скором времени предстоит какая-то всеобщая мобилизация, и тогда его судьба решится сама собой. Он стал ловить сообщения о русских добровольцах в Сербии, гордился тем, что научился в фальшивых голосах дикторов распознавать истинный смысл и различать тот особый, пылко-торопливый акцент, в который рядится ложь. Хотелось повидаться с матерью и намекнуть ей, что за летние месяцы, пока ее не было рядом, у него отросли крылья и чешутся, чтобы испробовать себя в полете. И, конечно, получить в ответ от матери выволочку, он даже представлял, в каких словах, и ежился от них. Но в любом случае материнская выволочка – это уже и совет, если с умом покатать ее, как горячий, с пылу, с жару, колобок, а потом и скушать.

В бесцельных шатаниях по городу Иван однажды душным вечером обнаружил себя возле военкомата, а полчаса спустя возле расположенной неподалеку областной милиции в новых и тусклых, нашлепистой архитектуры, зданиях. Выходит, цель все-таки была, что-то вело его сюда помимо воли, чтобы заранее знать, куда идти, когда потребуется. Он покрутился поблизости среди старых деревянных домов, по окна закатанных асфальтом, у водокачки поплескал себе в лицо, приободрился, входя в память, и наугад взял в сторону центральной улицы. Вышел к кинотеатру «Пионер», где прежде показывали детские фильмы. Иван захватил еще то благополучие «Пионера», когда тут бывало шумно, чинно и празднично; раза два их со Светкой приводила сюда Евстолия Борисовна, заставлявшая их браться за руки. Он и не помнил, что смотрел тут: стыд оттого, что за одну руку его держала Светка, а за другую бабушка, сильнее врезался в память, чем впечатления от кино. Но теперь, конечно, «Пионеру» каюк. И как это самое невинное существо умудряются превратить в самое порочное, что за мстительный закон тут действует?! Весь город знал, что «Пионер», не поменяв имени, превратился в притон наркоманов и проституток школьного возраста и на дискотеках разыгрывается здесь такое «кино», что только «туши свет» и больше ничего.

Он приостановился возле входа в кинотеатр, облокотившись на клонящийся в уличное машинное кипение тополь, и рассеянно смотрел, как вываливаются из двери и вваливаются в нее такие же, как он, недоросли, но почти все расшатанные, скрюченные, с туманными глазами и резкими вскриками при встречах друг с другом. В скверике по правую сторону кинотеатра они справляли малую нужду, курили и, как с седала, снимали с широкой бетонной лестницы, по которой прежде спускались из зала зрители, гроздьями висящих там девчонок и вихляющей походкой уводили их в чрево «Пионера». Ивана и подмывало пойти вслед за ними, и останавливали брезгливость пополам с осторожностью: там, поди, как в аристократических клубах, чужаков не жалуют.

И вдруг туда же, в это нечистое чрево с визгливой и бухающей дверью, прошествовала группа бритоголовых – крепких, плечистых, уверенно ступающих друг за другом, как боевое подразделение, «накачанных» до того, что с них соскальзывал взгляд. Иван встрепенулся: а эти зачем? – они другого поля ягода, они вместе с теми, кто там, внутри, на одной поляне не растут. Тут же вслед за первой, широко распахнув дверь и, пинками не давая ей закрыться, пошла вторая группа бритоголовых, похожих на инопланетян и отзывающихся на неземное имя – скинхеды. Не раздумывая больше, Иван кинулся за нею.

В вестибюле его оглушила визгливая музыка, доносившаяся из зала, на подоконниках, на полу в обнимку с девчонками и бутылками корчились в дыму и мате то ли человекоподобные, то ли червеподобные... Появление скинхедов, отталкивающих их с прохода ногами, они, привыкшие к любому обращению и пребывающие невесть где, встретили вялыми приветственными взмахами рук. Вместе со второй группой непрошенных гостей Иван попал в зал. Музыка там уже сбилась, взрыдывая трагическими аккордами, исчезая и снова взрываясь, разогнавшаяся пляска половину зала продолжала крутить и подбрасывать, другая половина тянула шеи и выкрикивала ругательства. Один из скинхедов, должно быть, старший, казавшийся огромным, с огромной же, сияющей, как шаровой светильник, бритой головой, завладел на сцене микрофоном и потребовал тишины. Зал в ответ взорвался криками. Но микрофон был сильнее, он перебил бунтующий зал, когда в нем загремела команда.

– Две недели назад, – рубил короткими фразами скинхед, – мы предупреждали вас! Мы предупреждали вас! Чтобы вашими вонючими потрохами здесь не пахло! Чтобы сворачивали этот гадюшник! Чтобы в нашем городе не ползала такая мразь! Мы пришли!

В него полетели бутылки, сразу несколько человек, маленьких и отчаянных, выскочили на сцену. Скинхед, изготовившись для прыжка, издал дикий гортанный вскрик, похожий на боевой клич вождя индейцев, призывающий к бою, с обезьянней ловкостью схватил одного из нападавших, запустил им, как снарядом, в другого и скинулся вниз. И еще одна группа бритоголовых ворвалась в зал, и еще одна... В мгновение оцепили они зал с трех сторон, оставив свободной лишь ту, где двери, и запустили свою широкозахватную косилку на полную мощность, срезая все, что не успевало убежать или уползти. Крик, стон, плач, визг, свист, глухие удары и рявкающие команды, тяжелое дыхание и звон стекла – под эту многоголосую «музыку», звучавшую все равно приятней, чем та, только что оборванная, которая наигрывала здесь праздник, выбивался теперь прощальный марш, и лишь опытный слух мог заподозрить в нем разнобой оркестра. Досталось и замешкавшемуся Ивану: чья-то рука ухватила его сзади за вихры, нагнула голову влево, а справа прилетел такой удар, что Иван присел под ноющую песенку, но тут же вскочил от громкого и протяжного крика: «Мен-ты-ы-ы!» Все бросилось врассыпную. Когда Иван выскочил на улицу, два милиционера за дверью хватали по очереди то космача, то бритоголового, пускали их подзатыльниками еще двоим, орудовавшим возле «воронка», а уж те вталкивали их в фургон. Иван проскользнул мимо, рванул со всех ног по улице вправо и только возле автобусной остановки притормозил, делая равнодушный и ни к чему не причастный вид. Отер ладонью лицо, подвигал челюсть и, убедившись, что она цела, совсем успокоился. Подкатила «маршрутка», и в ней в двух парнях в одинаковых легких шапочках, явно маскировочного назначения, он признал скинхедов из «Пионера». Через две остановки они выходили; Иван выскочил за ними и, окликнув, спросил:

– А меня-то вы за что?

– Что за что? – с нарочитой вялостью отозвался один, белобрысый, ставший сразу, как только снял он шапочку с головы и засунул ее в карман, лупоглазым, с торчащими большими ушами. Второй, не вмешиваясь, отдыхал.

– Меня-то за что зацепили? Я с вами туда зашел. Похож я на них?

– А ты и на нас не похож, – сказал белобрысый.

Что верно, то верно – не похож ни на тех, ни на других. И не однажды задумывался Иван: а надо ли на кого-то походить? Или, напротив, ни на кого не надо? В «Пионере» он держал себя нейтралом, оказавшись в этой схватке случайно, но со своей нейтральной полосы был, конечно, на стороне скинхедов: они на свой манер делали то, что должна была делать городская власть, чтобы остановить пложение этой сопливой нечисти. Но власть теперь всего боится и ничего не делает. Не поймешь, кому она служит и на что рассчитывает завтра, если сегодня последние остатки здорового увязить, как в болоте, в невмешательстве. Утром газеты с захлебом назовут скинхедов после этой истории русскими экстремистами и фашистами, снова и снова будут гнусаво каркать, добиваясь, чтобы позволили им расклевать мясо скинхедов до костей... И что же – поганистая «пионерия», захлебывающаяся наркотиками и теряющая человеческий образ, лучше? Так выходит. Это она – будущее России? А ей именно и позволяют быть будущим. Кто-то должен же ее и все подобное ей остановить? Или уж коли пущена жизнь на самотек, то так она и пойдет, пока не придет к конечному результату!

И все же оказаться среди скинхедов Иван не хотел бы... Почему? – он не смог бы внятно объяснить, это было то-то интуитивное и невыговариваемое, не имеющее отношения ни к внешней браваде этих ребят, ни к их действиям. Встречаешь иной раз человека, с которым во всем согласен, который делает тебе добро и оказывает услуги, а подружиться с ним не тянет. Душа не пускает. Сблизился – узнал бы лучше, а не хочешь узнавать лучше. Боишься его нутра, его чужести. Или это всего лишь отговорки, чтобы остаться чистеньким и не мазаться в грязи, подобно той, какая ползала в «Пионере»? И кто-то должен эту грязь вытряхивать и принимать на себя сыплющиеся со всех сторон проклятия! Может, дело только в этом и к бритоголовым стоит получше присмотреться, а не уходить в сторонку с удобным оправданием?

Но и собственное нутро Иван хорошо не знал, и в нем обнаруживались пугающие бездны. Он продолжал бывать на рынке, находя тайное и безрадостное удовольствие в смутном ожидании чего-то, какого-то то ли несчастья, то ли возмездия за всю тайную клоачную жизнь этого муравейника, куда неудержимо втягивало и пороки, и несчастья. А между тем рынок по-прежнему продолжал втягивать в себя и остатки их семьи, становясь судьбой и роком. В начале августа отец наконец расстался со своей «пустопорожней» автобазой, давно не дающей заработка, и вошел в долю с Деминым. Входить в долю на равноправных началах было не с чем, это Демин пожалел отца, придумав арендовать грузовичок, на котором бы Анатолий крутился, подвозя и развозя оптовый товар и для себя, и для связанных каким-то боком с ним мелких магазинчиков вокруг китайского рынка. Анатолий подозревал, что связь эта – через Егорьевну, подругу Демина, но ни ему об этом не было сказано, ни он не спрашивал. В этом мире, куда он был позван, и верно, чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Но Егорьевна, яркая, сдобная, белотелая, все больше смахивающая на процветающую купчиху, набирающую обороты, изредка милостиво подъезжала к деминской неказистой лавке и давала Демину наставления. И так совпадало, что после этого и у Демина находились наставления для Анатолия. Не нравилась Анатолию эта карусель, а что же делать? Приняв первую получку, он разбередил сердце: если бы заглядывали к ним такие деньги раньше, можно было уберечь и Светку, и Тамару Ивановну. А тут еще Демин предложил запрячь и Ивана в помощники к отцу на оставшиеся до школы две недели. Тоже приработок на школьную амуницию.

Но этому плану не суждено было сбыться.

Иван, бывший с полчаса за сторожа в деминском ларьке, изнывал от безделья, когда воротившийся Демин, не придавая никакого значения своим словам, сказал:

– Там чего-то казаки опять гуртуются...

Иван тут же распрощался с Деминым. «Казаки гуртуются» – могло означать и мирный заготовительный выход, казак тоже любит сладко поесть, а рынок сейчас, в августе, – скатерть-самобранка со всех концов света. Поспевает к этой поре и свое – из тайги, с огородов, полей, пасек, с полян и пустошек, даже с городских балконов, превращаемых на лето в грядки... Тучные ряды ломятся от изобилия, так и плывут, так и плывут перед глазами полными коробами, бойкие языки зазывают на десятках акцентов, и никакая иная любовь не знает столь нежных слов, как любовь к садовым и огородным чадам, никакое сладострастие не сравнится со вкусом южных плодов, за тысячи и тысячи километров спешивших к тебе, чтобы в юности, свежести и красоте усладить твою целомудренную страсть. Рынок в августе – это за душу берущий гимн земле-роженице и человеческому кропотливому и неустанному пособию ей в вынашивании плодов, это песнь величию и чистоте человеческих рук и душ, тянущихся друг к другу, чтобы ни у кого ни в чем не было недостатка. А если навеется кому в голову случайная и кислая, точно в недозрелом плоду, мысль: как же, мол, при таком изобилии процветает такая бедность? – гоните ее прочь. От одной картины этого великого благополучия можно насытиться и усладиться с лихвой всем, кому только захочется. Рынок в августе – это такая же демонстрация нашей непобедимости, как военный парад в красные дни национального торжества; это такой же фейерверк рассыпающихся на гирлянды разноцветных огней, как праздничный салют.

Вполне могли казаки гуртоваться, чтобы полюбоваться на это дивное, редко когда выпадающее зрелище, к которому не может быть равнодушен никакой человек. А могли явиться и с взыском, такое тоже бывало.

Так оно и вышло в этот раз. И вовлекло в свою бучу Ивана. Потом город, не соглашаясь с газетами, говорил, что казаки пришли, чтобы взять и сдать в милицию не то азербайджанца, не то чеченца, который в определенный час отрывался от прилавка с фруктами и спускался в общественный туалет, где вручал «агентуре» для распространения «взятки», порции наркотика. Среди тех, кто потом этими дарами пользовался, оказался и сын казака. Казаки умеют снимать показания, и сын показал на снабжавшего его зельем, а тому пришлось показывать на «источник». Казаки явились вшестером, но о мере наказания заранее не договорились и еще при подходе громко обсуждали, сдать им чеченца или азербайджанца в милицию сразу или прежде публично тут же, на рынке, выпороть, а уж потом сдать. Чеченец или азербайджанец успел скрыться. Разъяренные казаки с криком набросились на его друзей кавказцев, те ответили издевательским гвалтом – слово за слово, угроза за угрозу, казаки были дурнее, кавказцы злее и наглей; казаков взбесило еще и то, что кавказцев в минуту набралось втрое-вчетверо больше, чем их; казачья честь оказалась в опасности. И – взорвалось! С переполненных, густо усыпанных горками, рдеющих и переливающихся всеми цветами радуги, рядов полетело на землю, рассыпалось, захрустело под ногами; загремели сброшенные орудия торговли, заголосили бабы, вмиг наскочила беспризорная ребятня. Казаки рывками двигались друг за другом вдоль рядов и с ревом сметали с них все до полного опустошения. Иван и сам не помнил, как он оказался рядом, – и тоже с криком и неистовством переворачивал, сталкивал, отпихивал, орудуя руками и ногами, надвигаясь и отступая, как в ритуальной пляске. Потом сцепились и бешеным орущим клубком принялись дергаться и кататься из стороны в сторону. Кавказцы одолевали: одного казака распяли на асфальте и всаживали в него пинки; другой, оглушенный чем-то тяжелым, сидел на земле и мотал головой. Только один мужичонка из местных и подскочил на помощь; маленький, юркий, с подпрыгивающей, как мячик, лысой головой, он взмахивал короткими руками так удачно, что успел вызволить из кавказского плена двоих казаков, прежде чем согнулся от тяжелого пинка. Пинали и Ивана, пинал и он... Кавказец с оскаленными зубами кинулся на него – Иван, отступая, споткнулся о чье-то распластанное тело, упал, успел кувырком откатиться, вскочить и локтем садануть в подвернувшийся тугой живот, пробив его до утробного всхлипа. Потом кто-то схватил его сзади за шею и сильно сдавил; он чуть не потерял сознание. Его встряхнули и развернули – перед Иваном громоздился милиционер и наяривал в свой свисток. Одной рукой милиционер держал Ивана, другой норовил сграбастать прыгающего рядом казака. И тут Иван рванулся, оторвался и сиганул в распахнутую дверь крытого рынка, в его густое многолюдье. Но когда он, потолкавшись в нем минут десять и переведя дух, собрался выйти в улицу с противоположной стороны, там, в отдалении, чтобы обозревать сразу все три выхода с рынка, зырился на них в боевой стойке все тот же милиционер.

После этого Иван решил перебраться на дачу и до школы не появляться в городе. Тем более что дело о нападении на кавказцев, как и следовало ожидать, уже было заведено. Правосудие вовсю шустрило, чтобы угодить газетам. Хватит приключений. Да и привести в порядок разбитое лицо, с впечатанным под левый глаз радужным синяком и разорванной губой, тоже лучше всего было там, в одиночестве и раздумьях, что же это происходит и с ним, и вокруг него.

Но недолго он и предавался размышлениям, хорошо или плохо это было, что он ввязался в драку, недолго и мучился совестью. Ввязался – потому что покусывало, саднило внутри болью от бездействия и безволия, требовало хорошей встряски. Вот она и подвернулась. Что дальше – видно будет. Пойдет в школу – невольно отступит опять в возраст и положение недоросля, примет полагающиеся правила, из которых он вырос, и надо будет почти год ежиться в них, пока не выйдет на полную свободу.

А пока... пока дни за днями проходили у Ивана в приятном и каком-то приподнятом, сытящем его безделье. Никто не мешал ему, не командовал и не направлял, и не было у него, казалось, даже перед собой никаких обязанностей. Соседи справа уезжали в эту пору на своем катере на Байкал, а соседи слева за густо разросшимися кустами малины были не слышны и не видны. Грядки без матери запущены были с весны, но в густой и сопревшей, лежавшей мочалкой, траве сидела крепкая морковка, за дровяником среди хлама расползлись по сторонам и ровно горели глянцевым золотистым светом кабачки, под неокученной и тонкой, казавшейся дикой, картофельной ботвой прятались изрядные клубни. И теплой печалью ложилось на сердце: забросили посадки, а они сумели сами постоять за себя и взять у набросившегося на них беспрепятственно полчища сорняков и корм, и влагу, и солнце. На ягодных кустах и сквозь дубраву крапивы и осота чернела и краснела смородина, багровел полосатый крыжовник... и все это в тихие и солнечные дни сидело смиренно и терпеливо, приготавливаясь опасть вместе с листом и уже опадая... Иван ленился готовить себе обеды и по часу-полтора пасся в ягоднике, грыз морковку, а вечерами, вполне сытый и умиротворенный, окунался в печаль уходящего лета. И расслабленно и приятно ощущал, как она, эта печаль, чуть колеблющимся, чуть волнующимся дыханием вплетается в его дыхание. Это было внове, и Иван затаенно прислушивался к себе. До того он знал два состояния погоды – плохая и хорошая, удобная и неудобная для прогулок, а оказалось, что выпадают часы и дни, благоприятные для созревания глубинных чувств и проницательности: смотришь и видишь скрытое, неразличимое в другое время, чувствуешь, как открываются в тебе какие-то поры и сладкая мука жизни вливается в них и начинает щемить сердце. В тысячный и тысячный раз смотрел он в обращенный к Байкалу раствор ангарской мощной струи, то темной, то голубой, то серой, то гладкой, то бьющейся в волнах, но впервые, заскользив по ней все быстрее и быстрее, он вдруг поднялся в высоту и с восторгом, паря, как птица, разом охватил и впустил в себя все далеко живущее вокруг по обоим берегам реки. Для чего-то поспевал он неведомого, какие-то пробивались в нем новые чувственные струи. И так приятно, так сладко было обмирать, внимая этому новому дыханию, которое, казалось, навеивалось со стороны!

Из невольной вины перед заброшенным, еще совсем недавно казавшимся таким сильным, увлечением он взял с собой из дому на всякий случай книгу пословиц русского народа и церковно-славянский словарь. И на всякий же случай из того же чувства вины на третий или четвертый день раскрыл словарь. Полистал, вслух повторяя осторожно и трогательно, словно пробуя на вкус и боясь вспугнуть: лепота, вельми, верея, чресла, навет, златозарный, светосиянный... и откинулся в изнеможении: что это? Если бы отыскался человек, воспитывавшийся в глухом заточении и никогда не слышавший слов: мама, люблю, дорогой, спасибо, никогда от рождения своего не ведавший ласки и не засыпавший под колыбельную, он бы их тотчас понял и узнал при встрече, потому что он и не жил без них, все ждал и ждал, когда прикоснется к нему волшебная палочка их звучания и оживит его. Иван точно клавиши перебирал, и дивная музыка узнавания звучала в нем мягкими и торжественными аккордами. Все эти слова, все понятия эти в Иване были, их надо было только разбудить... все-все знакомое, откликающееся, давно стучащееся в стенки... Это что же выходит? Сколько же в нем, выходит, немого и глухого, забитого в неведомые углы, нуждается в пробуждении! Он как бы недорожденный, недораспустившийся, живущий в полутьме и согбении. «Душу мою озари сияньми невечерними», – пропел Иван, заглядывая в словарь и опять замирая в восторге и изнеможении.

Нет, это нельзя отставлять на задний план, в этом, похоже, и коренится прочность русского человека. Без этого, как дважды два, он способен заблудиться и потерять себя. Столько развелось ходов, украшенных патриотической символикой, гремящих правильными речами и обещающих скорые результаты, что ими легко соблазниться, еще легче в случае разочарования из одного хода перебраться в другой, затем третий и, теряя порывы и годы, ни к чему не прийти. И сдаться на милость исчужа заведенной жизни. Но когда звучит в тебе русское слово, издалека-далёко доносящее родство всех, кто творил его и им говорил; когда великим драгоценным закромом, никогда не убывающим и не теряющим сыта, содержится оно в тебе в необходимой полноте, всему-всему на свете зная подлинную цену; когда плачет оно, это слово, горькими слезами уводимых в полон и обвязанных одной вереей многоверстовой колонны молодых русских женщин; когда торжественной медью гремит во дни побед и стольных праздников; когда безошибочно знает оно, в какие минуты говорить страстно и в какие нежно, приготовляя такие речи, лучше которых нигде не сыскать и, как напитать душу ребенка добром и как утешить старость в усталости и печали – когда есть в тебе это всемогущее родное слово рядом с сердцем и душой, напитанных родовой кровью, – вот тогда ошибиться нельзя. Оно, это слово, сильнее гимна и флага, клятвы и обета; с древнейших времен оно само по себе непорушимая клятва и присяга. Есть оно – и все остальное есть, а нет – и нечем будет закрепить самые искренние порывы.

До конца недели все так же простояло в полусолнце, в полудреме, было тепло и тихо и все так же располагало к тому, чтобы заглядывать в себя и искать перемен. Но хотелось уже и движения. Поднимаясь от залива с ведром воды, наткнулся Иван взглядом на лодку на каменишнике, второе лето ни вперед, ни назад, ни на яр, ни в воду, и захотелось ему столкнуть ее и поплавать. Теперь все на мощных моторах, на водных мотоциклах, на яхтах, рев по вечерам среди лета стоит такой, что хоть убегай, а взять бы да потихоньку, почмокивая веслами и прихлебывая ладонью из-за борта, тянуться и тянуться куда-нибудь на противоположный берег, безлюдный и сухой, с уютными каменистыми лагунами. Захотелось и захотелось до безудержу – скатил Иван лодку в воду, а из всех щелей фонтанчики. Они еще больше раззадорили. И полдня конопатил он донельзя рассохшуюся лодку, вгонял долотом паклю в дыры, на ряд накладывая ряд и закрепляя клейкой лентой. Заварить было нечем; прошелся по швам старой краской – вроде держит. Вытесал из сухой доски что-то похожее на одноручное весло, подхватил котелок, чтобы вычерпывать воду, и оттолкнулся.

Но и правда хорошо было на том берегу: вода теплая, берег чистый, спускается к нему от поляны с березками выстеленная ковровой дорожкой мурава, близко заливается кукушка... до того близко, что слышно, как после каждого «ку-ку» сглатывает она воздух. Иван лег в воду, положив голову на белый камень-валун, слушал в полудреме, не веря кукушке, но и подбадривая ее: давай-давай – пригодится. Нежными вздохами плескала вода, с берега тянул запашистый зной, белесое, томное небо висело в такой недвижности, словно остановилось время.

Обратно Иван перегребал часа полтора. Не столько греб, сколько вычерпывал: залитая водой лодка угрузла и подвигалась плохо. Вся его работа, размокнув, пошла насмарку: краска отстала вместе с лентой, пакля тянулась за лодкой бородой. На быстрине лодку снесло далеко вниз, и, выгребая, Иван с непривычки натер на ладонях волдыри.

На берегу его поджидал мужик – с брюшком, с лысиной, с разгоряченным одутловатым лицом; не часто бывая на даче, Иван не знал его. В руках мужик держал камень, поигрывая им, нервно перебирая, чтобы камень был виден.

– Ты! Подонок! – завопил он, едва лодка заскреблась о берег. – Ты что, подонок, себя позволяешь?! Тебе жить надоело! Насобачился угонять!

Иван растерялся, стал оправдываться:

– Да я прокатиться только... Она же стояла тут никуда не годная... Я проконопатил ее...

– Я тебе счас проконопачу!..

Он шагнул вперед, Иван спрыгнул в воду и, быстро нагнувшись, выхватил из-под ног камень, который был поувесистей, чем у мужика. С минуту они стояли друг против друга в молчании.

– Ты! – в тон мужику, стараясь быть спокойным, сказал потом Иван. – Ты слышал... – он не сомневался, что в их небольшом поселке об этом слышали все. – Слышал ты, что недавно одна женщина прямо в прокуратуре пристрелила... – пришлось поискать слово. – Пристрелила такого же налетчика, как ты! Это моя мать.

– Щенок! – завопил мужик. – Ты еще пугать меня!..

– Этот щенок тоже умеет кусаться больно.

И, отбросив камень, Иван нарочито близко, едва не задевая, прошел мимо мужика и поднялся на яр.

Через час, остынув, он вышел взглянуть: мужик и не подумал вытаскивать свою лодку – так она была ему нужна! Ивану удалось перевернуться ее в воде и с кормы, поддергивая из стороны в сторону, юзом втолкнуть нос на сухое, а уж потом полностью вытащить лодку на берег. Только установив ее в ту же самую канавку, в которую она была погружена, Иван окончательно успокоился. И решил: все, хватит прятаться, пора возвращаться в город и искать настоящего дела. Ему хотелось поправить себя: не просто дела, а деятельности... Но нет, на такое замахиваться рано, руки коротки. Достаточно неслучайного полезного дела. Надо найти людей, умеющих извлекать корень квадратный из всех нагромождений и конструкций, в которые превращены поиски родного.

\*\*\*

Суд над Тамарой Ивановной состоялся в середине сентября, через три с половиной месяца после возбуждения уголовного дела. Защитника пришлось все-таки взять, на этом настоял Демин, он же выложил деньги. Но лучше бы его и не брать. Тамаре Ивановне он не понравился сразу: с большим лбом, глазами навыкате, пухлыми щеками и маленьким острым подбородком; слова катятся, как горошины под уклон, понимать трудно. На суде он взялся наводить тень на плетень, зачастив о невменяемости подсудимой во время совершения преступления, и Тамара Ивановна, не дожидаясь, когда ей дадут слово, выкрикнула, что это неправда: какая могла быть невменяемость, если она загодя готовилась... Тогда, заглядывая в судебно-психологическую экспертизу, защитник заговорил столь мудреными словами, что никому из простых смертных понять их было не дано.

Обвиняемая полностью признавала себя виновной, представителей потерпевшего на суде не оказалось, преступление было совершено без отягчающих обстоятельств, мотивы преступления очевидны – суд от начала до конца прошел спокойно, даже залу, человек в сорок-пятьдесят, собравшемуся для поддержки Тамары Ивановны, не пришлось выплескивать заготовленные эмоции. Прокурор не гремел обличениями, как кандалами, судья вздыхал и когда выслушивал других, и когда сам говорил, у адвоката красноречие было невнятным, да оно и не требовалось, у зала не было причин для шума и волнения. Все словно чувствовали себя виноватыми и прятались за процедуру суда, необъяснимая тяжесть висела в воздухе. Через три с половиной часа после начала заседания объявили приговор: шесть лет содержания под стражей. Тамара Ивановна приняла приговор не вздрогнув, родные были в растерянности, не понимая, много это или мало. Дали Тамаре Ивановне последнее слово, и она сказала:

– Виновата – буду ответ держать. Сделанного не воротишь. А я и не жалею о сделанном. Теперь мне каторга шесть лет, а если бы насильник ушел безнаказанным, – твердо подчеркнула она, – для меня бы и воля на всю жизнь сделалась каторгой... – Она еще не знала или не хотела говорить, что не миновать ей этой пожизненной каторги под спросом совести и теперь... – Подавать кассацию не буду. Что заслужила – все мое.

Судья вздохнул еще громче и протяжней и не стал препятствовать, когда родные окружили осужденную и Светка прильнула к ее груди. Тамара Ивановна и тут держала себя твердо, обняла Светку, потом Ивана; охранник заторопил ее, и мужу с отцом она только кивнула и ушла не оборачиваясь. Зал стоя устроил ей овацию.

Перевели Тамару Ивановну в женскую колонию в девяноста километрах от города, стала она там шить телогрейки.

Светка все реже заходила домой, только чтобы взять остававшиеся здесь вещички, и двигалась по квартире медленно и настороженно, точно чего-то боялась или никак не могла вспомнить, что ей тут еще надо. К Ивану не обращалась иначе, как Иванка-философ, песенно и фальшиво протягивая эти слова, за которыми обычно больше ничего и не следовало. Наткнется на Ивана, пропоет, узнавая, и отходит; но и он тоже отделывался шутками.

«Она твоя сестра, она твоя несчастная сестра, поговори с нею», – внушал он себе. Но о чем, о чем? Успокоить ее он бы не сумел, да и обидела бы Светку жалость; говорить ей, как он говорил себе, что необходимо создавать из себя крепкий орешек, чтобы устоять перед безжалостными жерновами жизни, было некстати. И оба они, чувствуя кровное тяготение друг к другу, но, не умея сблизиться, чувствовали и невольное облегчение, когда расходились.

Отец, став зарабатывать, совал им деньги; Светка безучастно брала, Иван у отца на глазах засовывал их в шкатулку на шкафу для общего пользования. Демин смотрел-смотрел однажды на Ивана, вылезшего из всех отверстий своего старенького пиджака, и окликнул Анатолия: «Ты посмотри, отец, ты все его за цыпленка держишь, а он уж в петуха вымахал. Ты посмотри: ему в этой поддевке и пупа не спрятать». И верно, Иван только за последние месяцы без матери вымахал так, что не наахаешься, а взглянуть на себя не умел, этим всегда занималась мать.

В школу он ходил без удовольствия, там были одновременно и каторга, и карнавал с переодеванием, к прошлогодним новациям добавились свежие, каждый день по семь-восемь уроков, а на русский язык час в неделю, на отечественную историю тоже час, второй час отдали журналистике. Три программы на шее – общероссийская, местная и особо своя, школьная, с набором факультативов, все решительней занимающих главное место. Превращалась школа в старую клячу, неспособную тянуть телегу со всеми, кто в нее понавскакивал. А упадет она от бессилия, эта кляча, и добьют, исколят своими острыми указками расплодившиеся «культурологи» и потребуют огонь-скакуна, у которого бы искры летели из-под копыт, когда помчит он по безбрежным мировым нивам.

Порой от всего-всего, и от домашнего, и от школьного, так становилось тошно, что хоть сбегай куда глаза глядят. Но школу дотянуть надо, а там... Там был какой-то обрыв, в скрытых глубинах которого ничего не разглядеть. В университет он не пойдет, там сейчас не рассветная пора, раскрывающая глаза на мир, а барахолка, ярмарка тщеславия и вкусов. В настоящий университет не попасть, их немного совсем и осталось, настоящих-то, а эти, самозванные и скороспелые, блистающие наготой... чур-чур от них! От армии он прятаться не станет, а год до армии... не потерять бы только и этот год, прожить его с пользой, выстроить ступеньку, на которую потом можно опереться. Да, придется быть «упертым», иначе нельзя. Иван все же изредка пробовал размышлять, где, на какой стезе лучше всего было бы «упереться и не даваться». Да везде, везде это потребуется, везде зашаталось и сквозит, задувает. Вот хоть школа... он бы, пожалуй, мог пойти в педагогический, чтобы учить потом ребятишек русскому языку... у него бы, пожалуй, получилось. Ну-у, нет! И не тетрадки его пугали, с тетрадками он бы как-нибудь справился, привык... Но уже вовсю шли у них в школе разговоры о реформе русского языка, которая позволит писать так, как слышится и избавиться от вековечных норм правописания; уже открыто в присутствии учеников заявляли учителя-словесники, что реформа эта убьет окончательно грамотность; уже появились в школе дразнилки: «ты карова через «а», ты заиц через «и» и уже непроизвольно, как атмосферное давление перед переменой погоды, падало усердие и учителей, и учеников. И получалось, что еще и не объявленная, еще и не вступившая в свои права реформа свое дело делала. А что будет, когда ее запустят?

В середине октября холодным вечером в конце недели позвонил Иван Савельевич и, услышав, что Анатолия нет, покряхтывая болезненно в трубку, сказал Ивану:

– Приехал бы ты ко мне, парень... Я тут принемог... у меня тут трын-трава...

«Трын-трава» – значит что-то неладное. В субботу, после школы, Иван поехал. Иван Савельевич был на ногах, но глаза впавшие, полумертвые, плечи обвисшие, ноги в валенках, в избе не протоплено. Он не стал тянуть, рассказал:

– Николай потерялся. Боле двух недель нету. Об эту пору такое не должно быть. Там, в тайге-то, поди, уж снег лег. Там и брать теперь нечего.

– Искать, наверно, надо... – что мог еще сказать Иван?

– Позавчера двое охотников ушли, вчера воротились. Никаких следов. Где его логовище было – никто не знал. Где искать – неведомо. Пытал не раз: «Где ходишь?» – «Везде по дороге на Косую степь, и по левому хребту, и по правому». А я там не бывал, мне тутошняя тайга чужая. Шоферов хожу прошу: поглядите. А далеко ли они наглядят?..

И поднялся, взялся растапливать печку, загремел чайником. Низкое закатное солнце, побледневшее и сжавшееся, смотрело прямо в окно, жиденьким пятном лежало на беленом боку печки и зябко подрагивало от набирающегося тепла. Почуял тепло и подросший котенок, вспрыгнул из комнаты, которая летом была девичьей, и, оттягивая по очереди то левую заднюю лапу, то правую, морщась и зевая, смотрел на Ивана.

– Подрос, – сказал о котенке Иван Савельевич и с горечью добавил: – Летом для девчонок забава была, теперь на мое попечение перешел. Кобель да котенок – вот и вся живность, все крестьянское хозяйство. Молодок я своих прикончил, поросенка не стал больше заводить. Картошку-то почему не берете? – вспомнил он. – Полное подполье картошки. Мне одному она невпроед, сгною добро. Картошка нонче хорошая... у матери твоей рука легкая, это она садила. Я, как знал, остерегал: куда столько? «Все подберем, – говорила, – зима долгая». А теперь уж и зима подступила, и ни одной картофелинки не взяли...

– Увезу завтра сумку, – пообещал Иван.

– А летом как хорошо было: и Дуся со мной, и Светка. Больно смотреть на них, что на ту, что на другую, а рядом – и теплей, и все одно обнадежа, глаза смотрят вперед, а не позадь себя... – Откашлявшись, Иван Савельевич не удержал свою боль, спросил: – Что ж это, парень нас так бьет-то? Раз за разом, раз за разом.

Иван промолчал.

– Если не сыщется Николай – да ведь это же что?! Это же хуже некуда.

– Не хорони раньше времени...

– Да я похоронить-то рад бы! Я не похоронить боюсь! – выкрикнул Иван Савельевич и оборвал себя, затих и поднялся найти табак. Когда воротился, жадно хватая дым, Иван предложил:

– Давай я схожу папе позвонить, чтоб он не терял меня. А сам останусь. Завтра воскресенье, завтра можно поехать поискать.

– Чего мы с тобой наищем...в незнакомой-то тайге... – не сразу отозвался Иван Савельевич. – Я так и не ходок уж по горам да колдобинам, не осилю. Нет, надо мужиков нанимать с вездеходом. Завтрашний день еще подожду, вдруг да солнышко для меня в остатный раз выглянет... А ты ночуй. Ночуй, парень. Вот только электричеством я тебе посветить не смогу, не бывает у нас электричества. А керосинка есть. Не пропадем.

Легли рано, Иван в девичьей, Иван Савельевич в прихожей на своей деревянной кровати с высокой гнутой спинкой. Оставили на столе лампу с подвернутым фитилем, на всю избу стоял крепкий запах горелого керосина, круглое световое пятно на потолке, как бабочка, дрожало, билось, внизу висела полутьма.

– Дедушка! – окликнул Иван. – А разве дядя Николай не с собакой ушел?

– Он с собакой ушел, а дня через два она прибежала обратно. Это не впервой, это бывало и раньше. У нас беспутный кобель, любит бегать неведомо где. А он бы и путный... в тайге собака любит при деле быть. А ежели хозяин без ружья, на лай не идет – никакой собаке это не поглянется. Ей скучно, она сбежит.

– А потом может обратно прибежать?

– Может прибежать, а может и не прибежать. Наш кобель приповадился к бродячей жизни, он на цепь идет, только уж когда совсем оголодает.

– Мне послышалось, будто с заплота кто спрыгнул...

– Ну-ка... – Иван Савельевич быстро поднялся и, не одеваясь, вышел, послышался его зовущий голос: – Буран! Буран! – тишина, снова голос, надтреснутый, «осколочно-фугасный», как он сам говорил, и снова долго ни звука. Вернулся со вздохом:

– Нет, нету. Почудилось. Спи, парень, в деревне тебе должно хорошо спаться. Всласть.

Сам же позвал спустя десять минут:

– Спишь, парень?

– Нет.

– А ведь мы с тобой впервой в одних стенах ночуем. Я вспоминал-вспоминал: тебя и маленького на ночь не оставляли. Это неладно. – Иван Савельевич опять поднялся, босыми ногами, ступая на них бочком, подковылял к столу, со чмоком, втягивая воздух, прикурил от лампы. И пожаловался: – Тяжелы для стариков ночи, ох, тяжелы. Хужей любой работы. Я подумал счас... а ведь у меня здесь и сын мой старший, твой старший дядя, дядя Вася, за пятнадцать лет один только раз побывал, три ночи ночевал. Да и то – на похороны... мать хоронили. Ладно это? Писульками отделывается. Два раза на году, под Новый год и под День Победы шлет горячие поздравления. И на том, конечно, спасибо, да ведь это что же? Это кровь замолчала. Прописал ему слезами про мать твою, а он: жалко сестру. Да разве это жалко – печатными буквами отозваться, что жалко? Вот, Иван! Скажи ты мне на свой молодой ум... скажи, отчего это у нас в народе кровь такая молчаливая... такая вялая на родство? Будто и родных нет, а все троюродные да сводные. Или это неправда?

– Не знаю, – смешался Иван. – Не думал. По-моему, неправда. Вон мама... И мы с тобой...

– Однако, и правда, и неправда, – вздыхая, сказал Иван Петрович. – И то, и другое, однако... Я на всякое насмотрелся. У нас и внутри нас идет нешуточная перетяга: кто победит. А вот кто победит – сын мой старший, который мне горячие приветы шлет, или дочь моя, у которой кровь вскипела, когда ее дитя обидели? А в результате – второй мой сын, Николай... Где вот он? Эх, Колька, Колька, бедовая ты голова!

Иван Савельевич со всхлипом вздохнул и добавил:

– А разобраться если – все трое бедовые головушки! Никому не позавидуешь. А Николай бедовее всех. Неглупой был парень, добрый, а где доброта там и слабость.

Чадила лампа, стекло покрывалось копотью, еще сильнее пахло керосином, болезненные пятна слабо порхали по стенам. Иван Савельевич несколько раз порывался задуть лампу, но останавливала опаска: как же совсем без огонька, как же не посветить надежде, которая, быть может, пытается найти к ним дорогу? Иван задремывал и, лежа на спине, сам себя слышал, как он пускает всхрапывающую фистулу, обрывал ее, поворачивался на бок, но в это время раздавался шлеп собачьих лап о землю. Казалось, кобель спрыгивал раз за разом, чтобы обратить на себя внимание; Иван ждал: вот сейчас раздастся лай, вот сейчас... Нет, было по-прежнему тихо. Луна вышла поздняя, неяркая, и только тогда с шепотливым бормотаньем и задул Иван Савельевич лампу, выругался от фукнувшей в нос керосиновой гари, постоял перед окном, в котором в знобком оцепенении лежала ограда, и торопливой рукой перекрестился.

\*\*\*

Погода повернула на зиму рано, еще не сошел октябрь. Задул пронизывающий ветер, какой-то бешеный, продирающий каждую улицу, как при уборке, вперед-назад, понесло мелким колючим снегом, на полнедели упали сумерки. И Анатолий, долго державшийся на пределе терпения, – будто в пропасть скатился: вконец опустились руки, сдавила жестокая хандра, когда ни-че-го не надо. И себя не надо, так бы ухватил себя и с размаху об угол, чтоб дух вон. Но духа-то уже и не было, превратился в мешок. Везде пустота с холодным сквозным ветром, везде невыносимая горечь, забивающая дыхание... Он позвонил Демину, теперешнему своему начальнику, и сказал, что на работу не выйдет, нет мочи. Тот загоготал: «Нету мочи – чем помочи?» – «Не трогай ты меня дня два-три, – попросил Анатолий. – Оклемаюсь – сам приду. Чего-то увял». Демин принялся объяснять, что в его годы таких болезней не бывает, надо взять себя в руки, но Анатолий не стал слушать и положил трубку. Может, и верно, что ни у кого больше не бывает, а у него бывает. И еще тошней стало Анатолию. Он лежал пластом на диване в прихожей, поближе к двери, и время от времени громко отдыхивался, пытаясь вытиснуть пустоту. Прибежал из школы Иван и не нашел ничего лучшего, как напевать с приплясом: «Я те рожу растворожу, зубы на зубы помножу!»

– Чего это ты? – взмолился Анатолий. – Совсем очумел?

– Но ты вникни, папа, как сказано! – Иван с карканьем пропел еще раз. – Какая поэзия даже в угрозе! И это не из книжки, я это на улице, в нашей буче кипучей, услыхал. Или вот еще: «Господи, прости, в чужую клеть впусти, помоги нагрести да и вынести!» Это же надо так выразиться! Целая философия в трех словах!

– О-о-о! – застонал Анатолий и по-стариковски, шаркая тапочками, заковылял в спальню, осторожно, как в могилу, опустился в постель.

А ведь эта черная немочь, это бессилие подготавливались в нем давно. Еще в ту майскую ночь, когда они с Тамарой Ивановной везли в трамвае Светку на экспертизу, в ночь, которая громоздким и унизительным памятником закаменела в его сердце, почувствовал Анатолий от предельной натуги в себе какой-то обрыв, что-то лопнуло внутри, послышался словно бы всхлип и жаром обдало нутро. Потом это повторялось – и когда дал ему следователь прочитать показания дочери, и когда там же, в кабинете Цоколя, услышал он, на какую расправу решилась Тамара Ивановна, и еще несколько раз позже, казалось бы, совсем ни с чего, от одного лишь неосторожного движения – будто раз за разом из какого-то поврежденного пузыря под давлением выходил в нем с этим самым всхлипом дух. Выходил, выходил – и вот весь вышел. Стало пусто и гулко: ветер, задувающий на улице, задувает и там, в его полости, боль, как желчь, разлилась и все собою загорчила, а в сердце тычутся иголки, пробующие, живо оно или нет. Только на приглушенные стоны и хватало сил; Анатолий сознавал, что он мог бы и не стонать, что это стонет в нем жалость к себе, но и она, жалость, была жизнью, за которую он хватался, и она давала видимость облегчения.

Он промаялся так весь день, не выходя на улицу и с отвращением выглядывая в окно на серый, треплемый ветром, свет. Все одно и то же, одно и то же – когда это кончится? Ночью лежал в страхе: надо бы хоть ненадолго забыться, а забыться не получалось, а, значит, еще больше изнемогал. И опять смотрел с кровати на бьющийся в окно липкий снег, рвущийся, казалось к нему, чтобы окончательно застудить сердце, на раскачиваемые голые и черные деревья, до жути уродливые, с обрезанными верхушками и мертво растопыренными ветками. И опять темнота, вечерняя или ночная, – не хотелось и узнавать. Иван появлялся и исчезал, поняв, что с отцом неладно, с тревогой всматривался в него, лежащего, спрашивал, не надо ли лекарств, напоминал о еде. Анатолий молча отмахивался, боясь показать слабый, ставший писклявым, голос, но внимание сына было приятно. Приходила в голову несусветная глупость: вот если бы ворвался сейчас с невиданным буйством ветер и выкинул его в окно – ведь пришлось бы, хочешь не хочешь, есть силы или нет, а подниматься на ноги и искать спасения... пришлось бы, пришлось! И, кляня себя, Анатолий поднялся, вспомнил о «санитарной» склянке спирта в шкафу, тяготясь лишним движением, из склянки же и сглотнул, потом еще раз, задохнулся, закашлялся и осел на стул с молниями в глазах, с решительным ожиданием худшего.

После этого уснул.

Разбудил его громкий стук и голоса за дверью. Пришел Демин, рядом с ним торчало улыбающееся низкорослое чучело в зимнем бушлате, разрисованном разводьями отнюдь не фабричного происхождения, в черной вязаной шапочке и легких летних туфлях, обросшее пегой шерстью, с большим, оттягивающим руку, пакетом, разрисованном похожей же рожей.

– Посмотри, кого я тебе привел! – загудел Демин, проталкивая вперед чучело. – Не узнаешь нашего друга-товарища?

Анатолий, вглядевшись, узнал: это был старик из общежития для малосемейных, в комнатке которого сначала побывала Светка, а потом и они с Тамарой Ивановной.

– А это еще зачем? – обрадоваться появлению такого гостя было невозможно. Анатолий смотрел на него с отвращением.

– А он, понимаешь ли... – Демин, никогда не чувствовавший себя виноватым, заговорил витиеватей. – Он тут у вас, понимаешь ли, золотодобычу ведет. Иду я мимо, а он рожу на меня... На роже написано: нашел! Довольная-предовольная. Не хочешь, да позавидуешь.

– Не пойму.

– Контейнеры тут у вас во дворе шурудит. Санитар-приискатель. Самородки выуживает. И неплохо живет. Посмотри ты на него. Очень даже неплохо.

– Удружил...

– Ну, а как было не показать его... Посмотрим. Или шкуру с него сдерем, или пятки поджарим, или еще чего придумаем. Нельзя же было упускать такую личность.

Старик, склонив голову набок, на правое плечо, лаская мехом воротника щеку, продолжал счастливо щериться. Это была и не улыбка, и не оскал, а какой-то странный зигзаг на лице, какой-то невинно-порочный, отталкивающий и одновременно притягивающий, перекосивший лицо так, что одна его половина имела страдальчески-беззащитное выражение, как бы говорившее, что человек этот еще не окончательно погиб, а на другой, дергающейся, торжествовал, ухмыляясь и подмигивая, порок.

– Из общежития поперли тебя? – спросил Анатолий с мукой: вот и ворвался в его укрытие буйный ветер, вот и выбросил его в улицу, где потребуются силы вдесятеро больше того, что у него осталось.

– Поперли.

– Правильно сделали. Тебя гнать мало, тебя на березе надо вздернуть.

Старик принял полную покорность судьбе и сказал, пришамкивая:

– А я тут рядом живу.

– Квартиру купил?

Старик хохотнул и оставил рот открытым. Анатолий содрогнулся: за те три или четыре месяца, что они не виделись, старик, как семечки, выщелкал остатки своих зубов, только по углам рта торчали развалины двух клыков. «А ведь ему все нипочем, – с завистью подумал Анатолий. – Ни угрызений, ни уныния, ни заботы о завтрашнем дне – ничего... Что же это – бесстрашие теперь такое перед сломной жизнью, инстинкт самосохранения или слепое и глухое вырождение без всякого чувства вины и жалости к себе? Нет, что это такое? Когда бы не он – не случилось бы, наверное, случившегося со Светкой, не случилось бы потом с Тамарой Ивановной... А он стоит теперь как ни в чем не бывало и лыбится, встрече рад, друг-товарищ...

– Демин, – попросил с последней мукой Анатолий, – убери ты эту образину отсюда. Убери, не могу я его видеть. Я всерьез говорю. Не могу.

А через полчаса сидели втроем за кухонным столом и пили чай. К чаю стояла опорожненная наполовину, доставленная Деминым для оживления Анатолия, бутылка коньяка. Демин, размахивая руками, вскакивая и усаживаясь, недовольно озирая тесную кухонку, разглагольствовал, обращаясь к старику:

– Ты, конечно, тварь, букашка-козявка, но ты загадка. Тебя это... препарировать надо и заспиртовать... – Старик согласно кивал головой. – Чтобы и через сто лет люди смотрели и морщились: экая бесстыжая бестия! Чтобы до тебя доразвиваться, чтобы, значит, тобой оказаться, такой рожей, как ты, человеку требуется целая историческая эпоха. А ты... вот он ты, как тут и был. А ведь мы тебя так скоро и не ждали... Не подготовились.

Старик слушал, усмехаясь, кивая, поглядывая на недопитый коньяк. Демин заставил его помыть голову в трех водах и в пяти водах с хозяйственным мылом лицо, и старик преобразился, на голове обнаружились желтые седые волосы, будто он их чем-то, какой-то гадостью, травил да недотравил, а на лице за желтыми же зарослями зарумянилась надраенная кожа. Рвань из нескольких рубах валялась у порога, старику был выдан черный, тоже повидавший виды, с дырами в подмышках, свитер Анатолия. Натянув свитер на себя, старик все пробовал его на ощупь, удивляясь первозданной мягкости материи. Он уже успел рассказать, что поселился на соседней улице в подвале; в подвале этом еще недавно размещалась подсобка для слесарей и маляров, но ее под запал общей борьбы со старыми службами ликвидировали, а подвал заперли на висячий замок. Что ж туда не попасть! – всего-то сдвинуть решетку над ямой, в которую выходит подвальное окно, и выставить в окне стеклину. Влез, а там тепло, остались старые шкафы из-под инструмента, даже кой-какой инструмент остался, стол и лавка. И полным-полно коробок и ящиков, из них не одна лежанка может получиться. Чего еще и желать?! Казенный замок он сбил, навесил свой и заходит теперь, как все добрые люди, в дверь. Попервости побаивался, ждал темноты, чтобы нырнуть в свое логово, но скоро понял, что никому ни до него, ни до подвала дела нет, каждый уткнулся в себя и свое. И стал спокойно входить и выходить среди бела дня. Теперь телевизор ищет, старые телевизоры на свалке не в редкость, надо только с утра пораньше делать обход. Хорошие вещи днем стесняются выбрасывать – выбрасывают в темноте.

– Да-а, – выслушав старика, – крякнул Демин. – Ловок же ты: своего нет, а чужое не упущу. Приватизация по-бродяжьи. Вот и спасись мы: сверху гребут и снизу тянут. – Демина не интересовало прошлое старика, он говорил с ним только в настоящем времени, и Анатолий с безразличием подумал, что это ведь теперь со всеми так: будто и не было прошлого, будто только-только соскочили с какого-то огромного транспорта, доставившего их на необитаемую землю, где не водилось ни законов, ни обычаев, ни святынь, и, расталкивая друг друга, бросились занимать места. В спешке и брани расхватали, что получше, а на всех не хватило, теплых и выгодных мест оказалось много меньше, чем охотников до них... И принялись скорей изобретать законы, которые удостоверили бы, что так тому навсегда и быть. Кто остался на бобах, те среди себя пусть устраивают иерархию на пустом месте низших над более низшими и над совсем низшими... И так быстро это размещение и разделение на высших и низших устроилось, что только разевай рот, как рыба на берегу, и хватай обжигающий воздух.

Демин разливал коньяк, подогревал за хозяина чай, а у Анатолия опять все поплыло-поплыло перед глазами и замутилось в песочном мельтешенье. Мохнатое лицо старика то приближалось вплотную и дышало вонью, то отстранялось с ухмылкой и дразнило. Что это – от слабости ударил коньяк или глаза ни на что не хотят смотреть? Со скрежетом, как несмазанные ворота, гудел бас Демина:

– Я тебя разгадать хочу. Вот ты сидишь именинником и облизываешься – наелся, напился и нос в табаке. А для чего ты живешь, скажи, какая у тебя цель в жизни?

– Я без цели живу, – отвечал старик, пришамкивая, прижевывая деснами слова, и спрашивал в свою очередь: – А у тебя какая цель?

– У меня цель – человеком остаться. Понял ты меня? Хоть что будь – хоть землетрясение, хоть снегозадержание – «снегозадержание» случайно попало Демину на язык, но и оно пошло в дело. – Теперь человека из себя вытряхивают прямо безрассудно, как будто ни одного грамма полезного вещества в нем не осталось. Сдают за копейку... приемные пункты для порожней этой тары чуть не на каждом углу и даже в каждой квартирешке. Вот до чего дошло! Согласен ты со мной?

– Наполовину согласен, наполовину не согласен, – уклончиво отвечал старик.

– Чего это ты как девица: наполовину дала, наполовину не дала. Так не бывает. Где она у тебя, половина-то? – покажи мне ее. Не покажешь. – Демин запнулся, сердито косясь на старика, и продолжал, обращаясь уже к Анатолию. – Я раньше не понимал... да и не было этого, не было! Но как казалось: раз человеческий образ, то и человек. Один лучше, другой хуже, не без этого, но все люди – раз образ имеется. Каждого можно приспособить для полезного дела. Человек от человека происходит самосевом – ну и можно не задумываться об этом... кто родился – тот пригодился. А теперь что делается? Образ есть, а человека нету. Нету! Куда подевалось? Пусто! – Демин с отчаянным свистом выпустил из себя последнее слово и неподвижными, круглыми глазами, стоя, глядел ему вслед. – Как молотилку такую запустили на скрытной тяге, и она заработала во всю мощь. Тогда другой вопрос, – оборачиваясь опять к старику, потребовал Демин: – Кому это надо? Как так может быть, что человеку надо, чтобы в нем не было человека? Может такое быть?

– Может, – хохотнув, ответил старик.

– Чему, дурак, радуешься? – одернул его Демин. – И как такое может быть, что человек в этом заинтересован?

– Вот ты же заинтересован... – У старика получалось «жаинтерешован», – чтобы перед тобой сидел дурак. Так и другие заинтересованы. Дураком и управлять много ума не надо. Подсунь ему, прямо сказать, в телевизоре права человека, а корку хлеба в натуре подсунуть забудь – ему и этого по гроб жизни хватит.

Демин, похмыкивая, с минуту внимательно смотрел на старика и сказал, обращаясь опять к Анатолию и не ожидая от него ответа:

– Посмотри, как заговорил, а! Как заговорил! Он не дурак... поговорить он умеет. Не дурак... Но – не человек! Дурак-то что... дураком тоже можно доброе дело закрепить. Я вот ржавый гвоздь, а потребуется мной доску прибить, я держать буду. А кто человека в себе потерял... это гниль, труха, одна видимость. Ни им забить, ни в него забить. А человека в тебе нету, – решительно определил Демин, нависая над стариком и отшатываясь от него. – Я не о том, что ты по помойкам промышляешь. Это твое личное дело. Всем нам нынче такие права дадены. Я вас жалею. Хочешь знать, я вас даже уважаю... за несчастье за ваше. Каждый может упасть. Но только не на колени. В любом положении надо держать фигуру.

– Какая там фигура?! – Анатолий сказал и повел головой, озираясь: он это сказал или не он?

– Можно, – не согласился Демин. – И под забором умирать надо с пользой. Чтобы ты и мертвый... дай Бог вытянуть это слово... сви-де-тель-ство-вал... во! свидетельствовал, а не валялся куском дерьма. Чтобы и на подзаборного на тебя глядючи, люди правду видели. Правда мертвой не бывает. Вот таких я всегда уважать буду, у них положения нет, а человек есть. А ты что? – взялся опять Демин за старика. – Смотрю я на тебя: а ведь ты везучий. Везение твое тараканье, а все равно... Тебя по правде надо было заодно с твоим казбеком прихлопнуть, а мы тебя коньяком угощаем, воспитательные беседы с тобой ведем.

Старик с разомлевшим користо-малиновым лицом покорно кивал, снова и снова просил чаю. За окном вдруг ярко озарилось и распахнулось – выдралось из небесной хмари предзакатное низкое солнце. Пришел из школы Иван и, полюбовавшись с минуту в дверях на забавную компанию, скрылся в комнате, в прежней Светкиной, в которой поселился теперь он.

– А бесполезно все это, – откидываясь на спинку стула и принимая независимое положение, с неожиданной твердостью заявил старик.

– Что бесполезно, о чем ты, дорогой?

– Бесполезно. Наша песенка спета. И стреляла она зря. Не остановить.

У Демина от удивления даже голос присел:

– Погоди, погоди... А ну-ка сначала. Это ты о чем-то серьезном. Давай разбираться.

– И с начала, и с конца одно выходит... Иссякли. Были, шумели и все вышли. Хоть Сталина зови, хоть Петра. Не поможет. Человек старится и народ старится. Слабнет, переливается в другой народ. Закон природы.

Демин, придя в себя, загремел, одной рукой стиснув плечо Анатолия, другой старика:

– Да это же целая философия, философия прямо с помоек. Ты погляди на него! Чтобы оправдать свое ползучее положение, посмотри, какое они учение изобрели!

– Мы первые, а вы покричите, покричите да туда же... Чему быть, того не миновать.

– Врешь, никогда не бывать этому!

– Ты сам говоришь: человека не стало...

– Да не совсем же не стало! Ты меня на свою сторону не тяни!

– Не стало. Критический период наступил. Силы не стало, воли, фигуры, которую ты поминал... Бросились врассыпную кто куда. В прислугу перешли. Своих не любят, прямо сказать, ненавидят, перед чужими ползают.

– Как ты перед своим придурком-джигитом!..

– Как я, – спокойно согласился старик.

Демин то присаживался, то вскакивал, ощущая тесноту в том и другом положениях; наконец он решительно поднялся и скрестил на груди руки, как при окончательном решении, после которого остается только действовать. Голос его загремел с новой силой:

– Он говорит... он-то из своей щели говорит, ему, таракану, все можно, с него взятки гладки. Но ведь этакое не там только говорится. Это много где говорится. Ишь, наша песенка спета. Про песенку погоди, разберемся, – пригрозил Демин старику. – Но ты забыл сказать, что мы и никогда ни на что не годились... ошибка природы, наказание божье, дурная болезнь... Это ведь тоже говорится! – Демин перевел дух и закричал: – Ива-а-ан! Не убежал еще? Поди сюда, послушай!

Иван подошел, в дверях навалился на косяк. Был он по-домашнему в майке, на которой красовался бык с наставленными рогами. Демин настороженно покосился на быка.

– Слушай, Иван, тут вот говорят, очень даже убедительно говорят, что наша песенка спета. Русская, значит, песенка спета. Что мы уж ни на что не годимся, только свет впустую коптим. Ты у нас молодое поколение, как ты считаешь?

– Попоем еще, – улыбаясь, отвечал Иван.

– По-по-ем! – подхватил, зычно пропев, Демин. – Но ты это, – он опять обернулся к Ивану, – ты это так, к слову, сказал или вы там это обсуждаете? Сказать по-разному можно.

– Обсуждаем.

– И много вас, кто обсуждает?

– Нет, не много. Но много и не надо.

– Почему? Отвечай!

– Остальные – кисель. Под телевизором угорели. Им все равно. С ними еще работать да работать.

– А есть кому работать?

Иван неопределенно пожал плечами, или не желая говорить, или оттого, что нечего было сказать, перегнулся через отцовское плечо и насадил на кусок хлеба кусок рыбы из консервной банки.

– Голодный? – встрепенулся Анатолий и подвинулся, освобождая сыну рядом с собой место, но Иван отказался:

– Попозже. У меня еще дело.

– Крепкие нужны дела, Иван, крепкие, – взялся наставлять его Демин.

Иван обвел их внимательным взглядом, пытаясь соединить вместе то, что в его сознании не соединялось, и, продолжая улыбаться, рассказал:

– Недавно была одна встреча. Выступал ученый из Новосибирска. По теме: «Есть ли у России будущее?» Он хорошо говорил, нам понравилось. Его спрашивают: «Почему вы всех русских хотите сделать русскими?» – «А почему я всех русских должен делать нерусскими? Они ведь рождены русскими!» – говорит.

– Во! – вскричал Демин. – Ну молодец! Ну голова! Вот так и надо отвечать. Чем проще, тем точней.

– Ему дальше. «Дело не в имени, не в национальности, – говорят. – Каждый человек должен меняться, как хочет, как его душа желает, способом свободной эволюции». Он отвечает: «Это будет не эволюция, а мутация, атмосфера создана такая, что он будет перерождаться в чужое. А когда переродится, он будет ненавидеть всякого, кто не переродился. Это, – говорит, – закон потери лица, закон предательства».

Демин задумался, глядя на Ивана, и сказал Анатолию:

– А ведь мы с тобой, однако, глупее были...

– Хорошо бы, – отозвался Анатолий.

– Что хорошо? Хорошо, что мы глупее?

– Хорошо, что они умнее.

– Они правильно делают – подковываются. Им палец в рот не клади.

Старик, едва мерцая мутными глазами, притих и не выказывал больше желания спорить. Анатолий заметно устал от застолья; Демин, как всегда, был полон сил, и пришлось ему эти силы употребить на то, чтобы скомандовать общий подъем и проследить за исполнением. Вышли, как и пришли, Демин и старик вместе, и слышно было из-за двери, как Демин что-то зычно внушает старику, останавливая того на каждом пролете и снова подталкивая вперед.

Утром, пересиливая горькие остатки нездоровья, пошел Анатолий на работу и не слезал с нее, или это она не слезала с него, три долгих месяца, до весны. А весной, уже в апреле, когда пришла пора разводить огородишко на даче, опять весь вышел – до того, что слышал, казалось, в себе гулкую пустоту, и провалялся без всякого интереса к чему бы то ни было неделю. И стало потом повторяться это с ним периодически. Свидания с заключенными полагались в колонии раз в квартал, но Тамаре Ивановне в поощрение давали их ежемесячно, и она сама назначала, кому приехать к ней – мужу, дочери, сыну, отцу. Но много ли на таких урывчатых встречах поговоришь и разглядишь, если даже добавляли время, потакая Тамаре Ивановне, пользовавшейся в колонии авторитетом снизу и сверху – как среди подобных ей бедолаг, так и среди начальства. Долго скрывали от нее, что сгинул в тайге Николай, пока не приехал Иван Савельевич, он скрыть не мог. После этого Тамара Ивановна призвала Ивана и тугим, с хрипотцой, голосом заявила, что, если они бросят дедушку, она и отсюда, из-за колючей проволоки, задаст ему, Ивану, такую трепку, что хватит на всю жизнь.

– Я ответственный за дедушку? – уязвленный, взявший слегка шалопайский тон, спросил Иван.

– Ты! Ты! Понял?

– Я, мама, хорошо понимаю тебя, даже если тебя рядом нет...

– Ишь, закрутился! Я, может, и зря на тебя, ты сам с усам, а ты все равно слушай.

Иван дурашливо вскинул ладонь ко лбу:

– Слушаю и повинуюсь!

Особенно настораживала Тамару Ивановну Светка. Светка не успокоилась, нет, по лицу ее еще пробегала дрожь, руки безвольно опускались, когда она забывалась, глаза устремлялись в пустоту, чрезмерно накрашенные губы оттопыривались. Она не успокоилась, нет, но она смирилась с собой, определила свое место среди людей, видя, что там, в их кишащем клубке, она не из последних, и научилась смотреть на все исподлобья, говорить мало и неохотно. Не все могла спросить у нее Тамара Ивановна и не все говорила ей Светка, но замечала мать, что девчоночья пора ее дочери кончилась – может быть, тогда, при нежном и истеричном свидании в стенах СИЗО и кончилась, и теперь к матери приходила женщина, отягощенная клеймом несчастной и ищущая, как ей с ним ужиться.

Анатолий всякий раз и ждал встреч с Тамарой Ивановной, и тяготился ими. Он давал отчет: что едят, что из одежонки куплено, прибавлял свой заработок, чтобы жена меньше беспокоилась о них. И тем самым как бы поднимал себе цену. Это было противно и не было в этом никакой необходимости, но в следующий раз опять повторялось. Он делал отчет, задавал одни и те же вопросы: что принести? как она спит? не устает ли? – и сказать ему больше было нечего. Он боялся спрашивать о жизни и отношениях в колонии, это было что-то непредставимое, о чем не хотелось и знать. И, уходя от жены, чувствовал Анатолий облегчение.

Когда-то он читал книги, теперь не заглядывал даже в газеты. Там ничего не меняется: в одних газетах бедные жалуются на свою судьбу, вспоминают прежние времена и порядки, клянут реформаторов; в других говорят на каком-то странном диалекте, который невозможно понять, – будто Россия, ободранная и кровоточащая, осталась только для бедных, а для богатых это совсем иная страна, ничего общего с прежней не имеющая... Бедные требуют справедливости, богатые настаивают на продолжении реформ – и нет, и не может быть между ними согласия, только глухая вражда. Богатые и бедные настолько далеки друг от друга, настолько в разных обитают мирах, что ни один бедный не убил ни одного богатого и ни один богатый не помог ни одному бедному. У богатых даже солнце свое, отдельное от бедных, – на каких-то экзотических островах – отнятое и вывезенное из рая; у них народились фантастические вкусы: играть в футбол они летают на Северный полюс, для прогулок в космос нанимают в извозчики космонавтов, любовницам дарят виллы в миллионы долларов. А бедные между тем спорят, ходить или не ходить им на выборы, и, в сотый раз обманутые, все-таки идут и голосуют за тех, кто тут же о них забывает. Эти два разных мира разнятся не только богатством и бедностью и вызванными ими инстинктами, не только несхожими приемами жизни – во всем, во всем без исключения: что хорошо для одних, то плохо для других. Но ни там, ни там нет согласия и внутри себя – у одних от непривычки к неправой роскоши, у других от непривычки к нищете. И никто не знает и знать не желает, удастся им когда-нибудь притереться друг к другу и стать одним народом или никогда не удастся и кому-то в конце концов придется уходить.

Анатолий ставил машину в гараж далеко, на выезде из города, и добираться оттуда домой приходилось трамваем, а потом еще и троллейбусом. Народ ехал тяжелый – сухой порох да и только, задень ненароком, – сразу вспыхивает и чуть не за грудки. Сорвав злость, опять наглухо умолкают, словно боясь уже и себя, убрав глаза, затаив чувства. Потряхивает, подергивает – покорно трясутся, подпрыгивают, а то и летят кучей малой по проходу, сдавленно ойкая и подбирая ноги. Уже и не ругают ни власть, ни порядки, а только терпят. Залетит в троллейбус стайка молодежи, окликая друг друга и перебрасываясь шутками, – и тоже примолкнет через три минуты. Влезет какой-нибудь хам, поднимет голос на проводницу, требующую билета, и никто за нее, девчонку, не вступится. Все равно. Нет справедливости в большом – что искать ее в малом! Спасайся кто как может, кто во что горазд.

И по улице двигаются невесело. И только по делу, по нужде, по неволе. Совсем не стало праздно прогуливающихся: машины вытеснили отовсюду, по тротуарам нет больше пешего хода, на проезжей части голову сложишь незамедлительно, на старые деревянные переулки, когда-то тихие и приветливые, теперь разбитые и замусоренные, тоже густо облепленные машинами, глаза бы не смотрели... Все торопятся добежать до цели, все с сумками, баулами, огромными пакетами – будто переезжают. А куда переезжать? Тут хоть троллейбусы ходят, электричество, тепло не только по праздникам, но и по будням, а в других городах, слышно, и этого нет.

И дома как не дома было Анатолию – пусто, неуютно, безотрадно. Присели стены, стылостью затянуло окна, как-то вдруг сразу, за месяцы, расшатались и заголосили половицы. И руки не поднимались поправлять. Светка сняла и постирала перед Новым годом шторы, а навесила – то же самое, боль да стынь не отстирываются. В новогодние и рождественские дни было много солнца, деревья стояли в куржаке и ярко переливались на солнце брызжущими искрами, снег по утрам под ногами скрипел с бодрой голосистостью – и Анатолий думал: «Что это – остатки прежней жизни или все-таки нарождается новая?» На площади наморозили сказочный снежный городок – с былинными фигурами, форсистыми избушками, с башнями и горками, с музыкальной каруселью... Анатолий шел мимо, утонув в счастливой ребячьей галде, и едва сдерживал слезы: а ведь у его детей такой сказки не было. К Ивану забежала одноклассница с широко раскрытыми глазами на круглом лице, с румянцем на щеках, с ямочкой на подбородке, веселая, сияющая, звенящая, и красота ее показалась Анатолию столь свежей и милой, что поверилось, будто прежде такой и быть не могло, потому что она, такая, только-только народилась в возмещение каких-то происшедших в человеке потерь. И опять ни с чего подступили слезы. Он становился слезлив на хорошее, чудом сохраняющееся в жизни; хотелось верить, что это не прощальное, а, напротив, приходящее, небывалое...

Но позвонила тогда же, вскоре после Нового года, Светка и облила холодной водой:

– Папа, ты помнишь Николина... ну того, из областной прокуратуры?

– Помню.

– Убили его.

– Как ты знаешь? За что? – Анатолий встревожился, не связано ли это как-нибудь с ними – со Светкой и Тамарой Ивановной?

– По телевизору только что сказали. А за что? ...Въехал, наверное, куда не просили...

Анатолия поразили и этот язык, какого еще совсем недавно не было у Светки, и тон ее, тоже новый, неприятный, в котором жалость звучала спокойно, почти безучастно.

Он подошел к окну и уставился в улицу. Час был не поздний, но, кроме проносящихся машин, составляющих теперь и дыхание, и кровообращение города, ни одной живой души на улице не было. Дали людям две праздничных ночи и заперли опять в квартиры, разогнали по щелям. И станут они теперь покорно ждать, когда солнышко растворит день пошире и прибавит светлые часы утром и вечером.

**Часть третья**

Освободилась Тамара Ивановна – за примерное поведение и добросовестную работу – через четыре с половиной года.

Эти четыре с половиной года превратились в целую вечность, и много что в ней произошло. Похоронили Евстолию Борисовну, скончавшуюся скоропостижно и не по-христиански: перед телевизором, за одним из тех фильмов-убийц, которые ежедневно разрывают сердца пожилых простодушных людей. Однокомнатная квартира Евстолии Борисовны досталась Светке, а еще через полгода Светка так же скоропостижно выскочила замуж за мелконького, похожего на парнишку, 30-летнего самозванца, наплевшего ей с три короба, называвшего себя менеджером и полными днями валявшегося на кровати. Светка родила от него девочку и разошлась, когда убедилась, что ее «менеджер» крутится в шайке наркоманов. Разошлась – не значит рассталась: муженек покидать квартиру отказывался, не давал жизни ни Светке, ни всему подъезду четырехэтажного дома, пока Анатолий не собрал для него отступные и не науськал на него, по совету Демина, одного, похожего на бандита, общего их знакомого. Девочка росла испуганной, нервной, на ноги встала только в полтора года, говорила плохо. Светка не работала. И, конечно, ждала и боялась возвращения матери. Она и девочку пугала:

– Вот погоди – придет Тамара Ивановна, придет твоя бабушка, она нам задаст!

И тут же бросалась успокаивать:

– Бабушка у нас хорошая. Она справедливая. – И для себя добавляла: – Она – солнышко с продиристым ветерком.

Иван после школы лето и осень проплавал на Байкале, на катере Гидрометслужбы, а потом на два года ушел в армию, служил в ракетной части в Забайкалье. Но Байкал и снился, и постоянно мерещился ему и в армии. Он будто альбом листал. Накатывал лениво крутой вал, выбрасывал в последний момент, как жало, белый пенистый гребешок и с силой ударял в нос катера, подбрасывая его вверх, в воздух, и вдруг проваливался – задиралась корма, нос из пустоты гулко бухал в водную канаву и тут же снова стремительно взмывал вверх. И сразу же другая картина: слева по ходу катера необъятная гладь воды, замершая в истоме, греющаяся на солнце, раскинувшаяся столь далеко, что едва виден противоположный берег, а справа ссыпается ворохами с близких береговых откосов чистое золото осеннего «цветения»... И третья: могучие, в белых каракулевых папахах, ряды гор, как воинов, стерегущих Байкал на выплыве его в Ангару, и – волшебное, радужное, переливающееся под тихим вечерним солнцем зелеными, голубыми, синими струями, мерцание бездонной воды... За четыре месяца на Байкале Иван не взял в руки ни одной книжки, весь отдавшись новым и живым впечатлениям, в армии тоже было не до чтения, а, воротившись из армии, неделю бродил по городу, высматривая и выпытывая, куда без него развернулась жизнь, и вдруг нанялся в бригаду плотников, уезжавших строить в дальнем селе церковь. Это было районное село на Ангаре, недалеко от него лежала-бедовала родная деревня Тамары Ивановны и Ивана Савельевича. Когда заглянул Иван к дедушке и сообщил ему об этом, тот только крякнул от удивления:

– Хо! Ну ты, парень, и пострел – везде поспел! Кто это тебя надоумил?

– Надоумили, – с улыбкой отвечал Иван, поверивший, что нет, не случайно выпадает ему эта дорога на родину матери и дедушки.

– Поставите церкву – свози меня поглядеть. И на деревню свози в остатный раз. – Иван Савельевич расхрабрился. – Ну, подбодрил ты меня, парень! Пойду сегодня объявление делать своему поместью... что передумал сдаваться... надумал дюжить, покуль ноги держат. Я свои ноги не совсем еще стер. Ни-че-во! – все больше утверждал себя в собственных силах Иван Савельевич. – Попыхтим еще. Ни-че-во!

Поместье – и огород, и ограда – было сильно запущено, сосны насорили шишками, нижние сухие ветви на соснах торчали как признак общей омертвелости, на крылечке прогибались и выдавливали гниль половицы, перед поленницей огромная куча щепы, заплот совсем почернел, осел и прогнулся. Но хуже всего – глубоко просела на северный бок изба. Внутри избы стоял тяжелый спертый запах запущенности и старости. Все больше и больше обращая внимание на это убожество, Иван думал: «Вот навострюсь тюкать топориком – и надо сюда. Надо наводить порядок. Тут, если руки приложить, жить да жить еще можно».

Ивану Савельевичу шел семьдесят седьмой год.

Анатолий недолго выдержал жизнь в торгашеском мире и перешел в фирму, занимавшуюся ремонтом квартир. Он упрямо называл свою фирму «организацией», ему казалось это приличней и надежней, но – что в лоб, что по лбу! – торгашеством было пропитано все, а специализировались они на евроремонте, что с «организацией» никак не вязалось. Зарабатывал Анатолий неплохо, но надо было кормить и одевать Светку с девчонкой, помогать Ивану Савельевичу, вспоминать о сыне, отнести жене, да и непременно, с постоянством дождя летом и снега зимой, случалось что-нибудь такое, что требовало непредвиденных расходов, – и не хватало. Он отказывался от выходных, возвращался домой поздно и, вспоминая о заброшенной даче, ждал Тамару Ивановну, чтобы решить, не продать ли дачу... Он постарел и жил в постоянном страхе перед своей «интеллигентной», как ее называл Демин, болезнью, которая сбивала его с ног на неделю, каким-то подлым приемом выпуская дух и превращая тело в мешок едва шевелящихся костей. Он пробовал лечить свою болезнь, узнав, что есть у нее и название, а, стало быть, может быть и излечение, за нахальную цену покупал таблетки, напоминающие сгустки бычьей крови, но приступы не исчезали и – бросил. Такое время – что поделаешь! Знай терпи. И всерьез, как что-то живое, но всегда существовавшее скрытно, стал считать это время, продолжающееся уже более десяти лет, буйнопомешанным, вырвавшимся по недосмотру из-под запоров, где ему полагается находиться. Анатолий с состраданием и ужасом смотрел на знакомых, которых не встречал несколько лет; за несколько лет они превращались в стариков... С ужасом смотрел он и на любимых когда-то актеров, днюющих и ночующих теперь в телевизоре: бесы, бесы с поведенными на сторону, искривленными дряблыми рожами, с нарисованными уродливо глазами и ртами, с дурацкими ужимками, с пошлой скороговоркой... Ну, не могут же они не понимать... они, бывшие еще недавно умными и талантливыми, вызывавшими восторг одним своим появлением!.. Это время, время виновато... не время в продолжительности дней, несущих неизбежные перемены, а время в своем уродстве и низменных изувеченных страстях... это оно лишает нас рассудка и лица! И должно же это когда-нибудь кончиться! И невольно, и понимая прекрасно, что это слишком уж по-детски, связывал Анатолий чаемые свои надежды с освобождением Тамары Ивановны.

Тамара Ивановна вышла за ворота колонии уже после обеда: пока выписывали полагающиеся бумаги, пока выяснилось, что автобуса в город в этот день не будет... Кто-то крикнул за ее спиной, когда она закрывала за собой последнюю дверь: молодой женский голос прозвучал весело-отчаянно и срывно, как почти все выкрикивалось здесь на срывной ноте, и Тамара Ивановна поняла этот голос как посланное ей вдогонку прощание. За четыре с лишним года она прошла за этими стенами горькие, порой жестокие, но и полезные университеты и знала, что самое лучшее средство от надсады и разрыва сердца – умение отключить его от перегрева: кровь пусть качает механическими, безучастными толчками, но чувствительные и всякие там эмоциональные клапаны силою воли перекрыть, будто и не его это дело. И так – и есть сердце, и нет его – можно держаться неделями, погрузив себя в пустынное, отсутствующее состояние. Избавление от каторги, встреча с родными – событие не из рядовых, тем более следовало в этот день поберечь себя, и Тамара Ивановна еще с утра постаралась «обесточиться», чтобы, не дай Бог, не сдали нервишки. Доберется до дома, скинет с тела, и с сердца тоже, четырехлетний нагар, отмоется в десяти водах, поверит, что это не сон, – тогда и можно будет прижать к лицу свою серую, под цвет нещадной тоски, арестантскую хламиду и смочить ее слезой.

Тамару Ивановну никто не встречал, о дне своего освобождения она не стала извещать родных. Ни к чему. Ушла не попрощавшись и вернется не сказавшись. Все ее вещички уместились в просторную матерчатую сумку, подмышкой держала она подарок, врученный ей, бригадиру, на прощание ее бригадницами, – простеженную по всем правилам ватную телогрейку, каких на воле не сыскать. Подарок бесценный, неизносный, с невыветриваемым запахом ее подконвойной жизни.

Стоял поздний октябрь, еще сухой и еще не сдавший окончательно тепло. Бледное солнце устало точило слабый, едва подкрашенный, свет. День был тихий, обмерший, грустный. Сосновые рощицы, разбросанные по всему кругозору тучными, подпаленными рыжиной, скирдами, лежали безмолвно и безжизненно; откуда-то сладко доносило дымком. Заставив себя не торопиться, Тамара Ивановна по закатанному землей старому асфальту, превратившемуся опять в проселочную дорогу, шагала в притрактовый поселок, где остановка рейсового автобуса, и старалась спокойно, с привычной озабоченностью пустившегося в путь человека, думать о ближнем и будничном. Нет, не получалось: странно было идти в одиночестве, в тишине и бескрайности, словно из ниоткуда в никуда, без цели и понуждения; странно было нащупывать ногами эту земную картину, на которую она годами смотрела почти как на небо; и ощущать удивительную легкость и плавность шага, как при передвижении по небу и вспоминать себя случайными, с опустевших полей доносящимися, дуновениями, а затем опять забывать; и чувствовать вместе со всем, что было вокруг, немой восторг перетекания в какой-то иной состав.

Она подошла к остановке за час до автобуса и устроилась на единственное, никем не занятое, сидение – на торчащий из земли, гладко отполированный валун, подстелив на него телогрейку... И застыла изваянием, таким же, как этот валун, насадив на него небольшое возвышение. Проходили мимо люди, проплыли, едва передвигая ногами, след в след, крутобокие пестрые коровы, пробегали машины, чужая разнопородность которых слабо удивила Тамару Ивановну: и когда успели набежать? Смиренность дня передалась и людям: большой бурятский поселок лежал сонно, изредка подавая глухие и замедленные признаки жизни. Стали подходить к автобусу, бросали на Тамару Ивановну равнодушные взгляды: к таким, как она, здесь привыкли. Ни с нею никто не заговаривал, ни она ни с кем. Полная тишина лежала у нее на душе. Поднимая иногда взгляд на лагерные постройки, хорошо видимые в чистом воздухе, она не сразу и узнавала их, не сразу и соединяла с ними себя, а, соединив, скользнув молниеносным воспоминанием, не дав высечь в себе чувства, отводила глаза. Что было, то было; что будет, то будет, а сейчас она только катышок, выпущенный из прочных визгливых ворот, прокатился он неспешно и бесстрастно по одной дороге среди полей и перелесков, свернул на другую, по обочине ее, чтобы никому не мешать, докатился до камня-валуна возле разбитой деревянной ожидалки и приник к нему, а затем вскочит он в другой, большой и полый, катышок и внутри его покатится дальше.

И здесь сладко тянуло дымом: в огороде за спиной жгли высохшую картофельную ботву. Тамара Ивановна развернулась в ту сторону: рослая мясистая деваха вела впереди себя вилами по борозде и навивала лохматую кудель, с вилами на весу на вытянутых руках несла ее затем к огню. И стояла с широко расставленными голыми богатырскими ногами, многодумно наблюдая, как огонь пожирает ботву. На заборе неподвижно сидела кошка и тоже наблюдала за происходящим в огороде. Очищенную борозду тут же захватывали курицы и принимались деловито что-то подбирать, ни разу не вскудахнув, не вспорхнув в тревоге... Пустячная эта картина почему-то взволновала Тамару Ивановну до комка в горле. Господи, неужели сохранилась еще где-то цельная и размеренная жизнь, а не одни ее обломки? Неужели такие девахи, способные уверенной поступью ступать по жизни и внушать спокойствие всему, что есть вокруг, еще не изведены? Тамару Ивановну нельзя было обмануть: эту с могучих ее ног не собьешь и она в мелкую тараканью жизнь не вместится. Или выдался сегодня день целебный, случающийся раз или два в году, на каких-то таинственных переходах, все-все вокруг умиривший, напитавший надеждой? Счастливы, должно быть, бывают приходящие на свет в такой день... Но уж, наверное, не окажутся обделены совсем и те, кто начинает с него новую жизнь...

Тамара Ивановна так глубоко и бодро вздохнула, будто очнулась от обморока.

День будний, на торги успели уехать с утра, скоро уже и возвращаться, поэтому в автобусе, следующем в город, оказалось свободно. Покатилась дальше Тамара Ивановна. Телогрейку устроила на колени, сверху сумку, и хоть спи на ходу; усыпляюще ворчит мотор и мягко зыбают по добротному асфальту колеса. За спиной бормочут две пожилые женщины; на другой, на левой, половине салона, уткнувшись в стекло, горько вздыхает раз за разом мужик – не иначе как с похмелья; по проходу катаются две пустые пластмассовые бутылки, которые на обратном пути хозяйственными бабами будут непременно подобраны и, залитые брагой или самогонкой, превратятся в «соски» для взрослых дядей и тетей – по двадцать пять и пятьдесят рублей за штуку. Как ни замкнута на запоры, как ни закрыта была зона, но и в нее попадали эти «соски», и там припадали к ним жадными, причмокивающими губами.

Отваливались на сторону придорожные перелески, то раскрывая, показывая полевые глубины со стерней, торчащими из земли капустными кочерыжками и валами черной пашни, то смыкаясь, двигаясь в непрерывном медленном танце, пригибаясь и расправляясь в рост. Значит, засевались все-таки поля, значит собиралось что-то с них и опять готовилось к засеву. Значит, кроме «купи-продай» и «украдь-сбудь», сохранились все-таки и серьезные, рабоче-крестьянские, занятия, а не одно только дуроломство... Или это ничего не значит? Не китайцы ли выращивают эту капусту, не кавказцы ли скупили эти поля? А до того местную власть скупили, как морковку? Тамара Ивановна с легким укором одернула себя: не сейчас бередить этим сердце, не сейчас... Не сегодня. Как хорошо, как пусто на душе, и нет продолжения ничему-ничему, что было вчера, а есть лишь окончание, какие-то тихие, свершающиеся в небесах, дожинки после страдной поры и плавный переход в другую жизнь. Или это никак невозможно – приподнять верхнюю землю над землей исподней, незагаженной, стряхнуть с нее, верхней, могучим движением все, что взросло пагубой, и опустить, обновленную, обратно! Как бы хорошо, если бы такое было возможно и это возможное творилось уже сегодня!

С въездной горы город открылся широко-широко и показался в серой, похожей на пыль, дымке нагромождением руин, среди которых сливалась в разные стороны в тяжелом металлическом блеске лава. И потом, когда эта лава очертилась в потоки машин, а город принял свой обычный, бескрасый без зелени, вид, бесконечная грусть, курясь и смеркаясь от болезненных выдохов, облаком встала над ним и облекла все небо.

На автостанции Тамара Ивановна вышла из автобуса последней, чуть отступила от людской толчеи и огляделась, интуитивно держась какой-то правильной последовательности, с какой следует впускать в себя уже и выветрившуюся из нее, уже и народившуюся без нее, вольную городскую жизнь. Визжал на повороте трамвай, разрисованный рекламными рожами и расписанный чужими буквами, приткнулся ненадолго, выдавливая из себя и всасывая в себя набравшуюся порцию пассажиров, и опять с визгом сворачивал на прямой путь. Неприкаянно бродили вокруг с такими же, как у Тамары Ивановны, сумками поникшие, как трава в затяжное ненастье, люди; со спокойным нахальством, без моторного грохота, проносились захватившие дороги иномарки. В колонии, всматриваясь в лица своих подруг по несчастью, Тамара Ивановна пыталась понять, есть ли отличие между ними и теми, кто на воле, а если есть, в чем они? Их не могло не быть, этих различий: одни во всем стеснены, другие по всем свободны; одни себе не принадлежат совершенно, у других весь мир под ногами; одни деформированными скребками продираются сквозь каждый день, как через бесконечные глухие заросли, другие дней не считают. И казалось Тамаре Ивановне, что в лицах лагерниц мало себя; желание забыться, перемочь каторжные годы только частью себя, притом, не лучшей частью, чтобы сберечь лучшую для иной доли после освобождения, искажают лица до неподобия, в выражении их как бы появляются пустые, ничем не заполненные, места... Эти наблюдения можно было делать лишь в первый год, затем, увязнув в одинаковом для всех горьком быте и имея перед глазами лишь один мир, Тамаре Ивановне было не до них. И вот теперь, жадно всматриваясь в людей, остававшихся здесь, ничем не стесненных, безоговорочно себе принадлежащих, она вдруг поразилась: да ведь это лица тех, за кем наблюдала она там. Те же самые стылость, неполнота, следы существования только одной, далеко не лучшей частью... Это что же? Почему так? И там, где нет свободы, и здесь, где свобода навалена такими ворохами, что хоть из шкуры вон, результат одинаковый?

Но уже догадывалась Тамара Ивановна, что на подобные вопросы здесь больше не отвечают. Не четыре с половиной года не было ее на этих улицах, а все сорок пять. И за эту эпоху жизнь закалилась и уплотнилась настолько, что она не признает никаких сомнений, ничего хлябающего, перетаптывающегося, и уверенно делает главное свое дело – чеканит из человека монету.

Тамара Ивановна и себе не могла бы признаться в этом: не хотелось ей торопиться домой. Словно только в таком положении, как теперь, вне времени и жизни, на какой-то короткой переправе с берега на берег, и дышалось ей вольно. В разбитом скверике подле вокзала она отыскала место почище, опять подстелила телогрейку и устроилась лучше не надо. Смеркалось, сильнее запахло дымом от печей, важно поднимавшимся над деревянными домами за речкой; приятно, перебивая бензиновую настоенность, загорчил воздух. Слетела припозднившаяся стайка воробьев и, вытягивая головки, всматриваясь, кто она есть, – человек или камень, запрыгали вокруг, не находя в ней ничего опасного. Тамара Ивановна покивала им с благодарностью и с таким облегчением вздохнула, что почувствовала, как что-то словно бы распрямилось в ней, прибавив ей роста. Нет, хорошо, хорошо было оставаться в небытии: еще не потерялась и еще не нашлась; еще не забылась и еще не припомнилась себе... За речкой, сразу же за безобразно раскиданным по берегу, как цыганский табор, торговым торжищем из палаток, киосков и металлических контейнеров, высилось каменное здание столь основательной старой постройки, что за ним угадывались и крепостные стены, и нутряные ходы, и глухие помещения... Почудилось Тамаре Ивановне, что не она смотрит на этот дом, а он на нее смотрит, чего-то добиваясь... Пришлось вспомнить: да ведь это пересыльная тюрьма, по-теперешнему СИЗО, следственный изолятор, где она отбыла три месяца до суда. И ему покивала Тамара Ивановна со вздохом, ничего не означающим, кроме облегчения, которым она старалась выстелить дорожку возвращения.

Надо было подниматься, от речки и от недалекой отсюда Ангары понесло прохладой, проносящиеся машины принялись бить по ушам музыкальным грохотом. Тамара Ивановна решила идти пешком. Куда ей торопиться? Сошла на дорогу, поворачивающую влево, и, не оглядываясь, не озираясь, ступая уверенно среди тяжелых грузовиков, кружа вместе с гремящей дорогой в частых поворотах, стала всходить в гору, на улицу Красноярскую.

У себя во дворе она опять присела – на бортик детского песочника напротив своего подъезда. И минут пять, не шевелясь, смотрела неотрывно на тускло светящееся узкое окно на втором этаже, вспомнив и тут же заставив себя забыть, как она искала в нем из кухни каждую тень в ту ночь, когда потерялась Светка. Потом нашлась... Но нашлась ли? Нет, не надо это вспоминать, ничего не надо. И неужели же правда, что долго, очень долго ее, Тамары Ивановны, здесь не было? Теперь вернулась... Но вернулась ли? Как можно оттуда вернуться после всего, что было? Все перепуталось, нигде ее сейчас нет.

К соседнему подъезду подкралась машина и окатила Тамару Ивановну ярким светом. Ну что же – вперед! Под капризный плач ребенка из машины она шагнула в темную дверь своего подъезда и, поднимаясь по лестнице, ворчливо повторяла: «Минутки не хватило, всего одной минутки...»

Ей открыл Демин. Он разинул рот и хлопал глазами, уставившись на нее как на привидение. Потом взревел по-медвежьи, сграбастал ее вместе с пожитками, не переставая реветь, внес в комнату и бухнул на ноги перед выскочившим Анатолием. Анатолий в полной потерянности неловко обнял ее и отпустил.

– Что это ты меня как племянницу какую... – сказала строго Тамара Ивановна, отбрасывая в сторону поклажу и освобождая руки. – А ну-ка еще раз!